



В. В. Розанов



В чадѹ войны

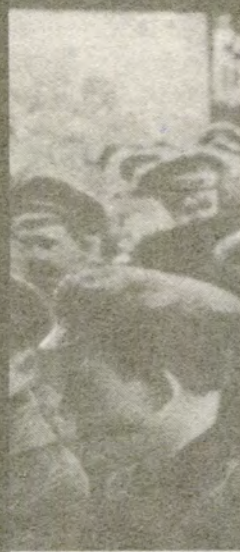


ЗАДАВА
ЕСЛУБА





ВЛАСТЬ
ЕСТУБА



09.11.1945

В. В. Розанов

В чаду войны

В чаду войны

Статьи и очерки 1916 – 1918 гг.



В. В. Розанов

Собрание
сочинений

В. В. Розанов

В чаду войны

Статьи и очерки
1916–1918 гг.

Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина

Москва
Издательство «Республика»

Санкт-Петербург
Издательство «Росток»
2008

УДК 1
ББК 87.3
Р64

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Российская академия наук
Институт научной информации
по общественным наукам

Составление и подготовка текста
А. Н. Николюкина, В. Н. Дядичева, П. П. Апрышко
Комментарии *В. Н. Дядичева*
Проверка библиографии *В. Г. Сукача*
Указатель имен *В. М. Персонова*

Р64 Розанов В. В.

Собрание сочинений. В чаду войны (Статьи и очерки 1916–1918 гг.) / Под общ. ред. А. Н. Николюкина; коммент. В. Н. Дядичева, А. Н. Николюкина. – М.: Республика; СПб.: Росток, 2008. – 621 с.

ISBN 978-5-94668-057-8

Настоящий, 24-й том Собрания сочинений В. В. Розанова включает его статьи и очерки 1916–1918 гг., впервые собранные в отдельную книгу из газет и журналов, статьи писателя и философа, написанные в «чаду» Первой мировой войны и отражающие обстановку и умонастроения в России в канун, во время двух русских революций 1917 г. и в 1918 г., когда он издавал свой знаменитый «Апокалипсис нашего времени». В том вошли работы Розанова о философах С. Н. Булгакове, Н. А. Бердяеве, П. Б. Струве, Е. Н. Трубецком, П. А. Флоренском, В. Ф. Эрне и др.

Для всех, кто интересуется русской литературой, философией и культурой.

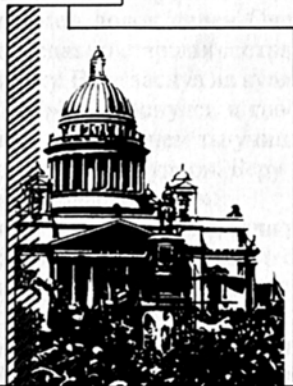
ББК 87.3



9 785946 680578

ISBN 978-5-94668-057-8

© А. Н. Николюкин. Составление, 2008
© Издательство «Республика», 2008
© Издательство «Росток», 2008



В чадѹ войны

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ

Война будоражит головы всех. Мой сынишка 15 лет уже месяц крушит, бурлит, ворчит на маму, мне – слова сказать не смеет: оказывается, у мамы он требует, чтобы отпустила на войну. Говорю: «Ты должен за больной мамой ходить и сестер в старости холить». Воротит морду, не слушает. Хотел выпороть, да с меня ростом: боюсь, сдачи даст. Ничего не поделаешь. Терпи, родители.

В два часа ночи вижу тайный свет из-под двери. Вхожу: черными нитками по белому коленкору шьет мешок. Рядом другой мешочек уже переполнен: «Покажи». Сконфуженно вытаскивает. Стеариновых вершковы́х огарков штук шесть, – явно вытаскивал потихоньку из подсвечников. – «Это зачем?» – «Это если я буду с солдатами сидеть в землянке, то зажгу». – «Дальше?» Папиросы бедные, совсем жалкие: однако набил ими, самодельщиной, целую коробку из-под табаку; начатые (т. е. открытые, но не вполне использованные) спичечные коробки. Веревки. И еще непонятная чепуха.

Оказывается, уже несколько раз бегал на Варшавский вокзал, бегал и расспросил солдат, как ехать. Отправлявшиеся солдаты сказали: «Если с нами, то никакого разрешения родителей не требуется. Сядешь в вагон, и мы доедем. А там, в Варшаве, тоже устроимся. И так далее». Он поверил «и так далее» – и раз насмешливо прямо ответил, что «уедет и без позволения», т. е. если «добром не отпустите». Решил «добром отпустить».

Смышлен, ловок, силен. Очень практичен. Только «теория» ему в голову не идет. Недавно старшая сестра, смеясь, входит и говорит нам (родителям):

– Вхожу. Вася заснул на кушетке с книжкой. Я разбудила его. «Что же ты не учишь?» – Проснулся и говорит: «Очень трудно, Алечка, я ничего не понимаю». – «Да о чем ты учишь?» – «По закону Божию. Задали о сокольных чках, да очень трудно». Беру книгу: в «Истории русской церкви» задана глава *«О стригольниках»*...

Что же у него в голове, если вместо знаменитой секты он читает «сокольные чки» и ожидает читать там о соколиной охоте и, естественно, поэтому не понимает, что такое непонятное о них напечатано.

Разумев о церкви, что «туда ходят молиться», он не имеет ни образа, ни понятия, ни имени и слова «секта», «ересь», «сектантство».

– Я тебе пальто шить не буду, – сказал я решительно.

Через два дня несет охапку какого-то старья. И говорит:

– Слушай, папа. Вот мамина беличья мантилья. Она ей не нужна. Из нее Домна Васильевна (бонна «с шитьем») сошьет мне меховую рубашку, шерстью вниз. Тепло? Потом твоя охотничья («австрийская») куртка.

И мигом оделся. Она – широченная, с поясом. Под грубым верхом положен тонкий слой ваты, и низ – фланелевый. Стара, нежна, как бабушка. Я бросил за изношенностью.

– В меховой рубашке и в твоей куртке мне будет тепло, как в пальто. Меховая шапка есть.

Я понимал, что тепло. Позвонил по телефону «кому следует». Отвечают:

– Непременно нужны еще теплые штаны на вате.

Это рубля полтора. Можно. Весь дом (в женской половине) восстал:

– Он простудит почки. Главное – почки. Все возвращаются с простуженными почками. Сидят в окопах, в сырости и холоде!

И тому подобное. Я вооружился мужеством и говорю ему:

– Помнишь, Василий, из «Тараса Бульбы»: «Эй вы, бабники, что сидите за спинами своих баб на печи. Выходите все, берите пики и садитесь на коней». Они – женщины и не понимают мужчин. Мужчина действительно должен сражаться и, конечно, «за отечество». Теперь мы «за отечество» против подлых немцев, которые отняли у славян «отечество».

Глаза сынишки горели.

Учение? Что такое ученье? Это десять книжек, от которых тошнит с детства? Кого же «ученье» воспитало, вдохнуло героизм, мужество, правду, все, что «воину полагается знать»? Учение... его всегда найдешь, много их шляется учителей без места. Но война, и особенно такая война – на нашей памяти уже не повторится. И не то, что «сражаться», чего 15-летнему едва ли дадут, но уже «потереться плечом» около войны, идти с обозом, присматривать за солдатскими вещами на повозках, быть посланным куда-нибудь «передать то-то» и издали слышать гул пушек, вдыхать напряжение войны, видеть раненых, сделать перевязку, дать раненому пить – все это *воспитывает*. И воспитывает таким реальным и действительным способом, какого, конечно, ни в какой школе не содержится.

Например, я был в 1872–73 годах в Симбирске. Знаете, что составляло у жителей самую сладкую тему разговоров? – Как Пугачев с полчищами пришел в Симбирск, как его отражали, как он занял город. Вот *сколько времени помнится* от отца – к сыну, от деда – к отцу, от прадеда – деду. *Живая традиция* ничем не заменима, никаким Иловайским. А *живая традиция* – только там, где «потеря плечом», и всего лучше, величественнее и священнее – около войны.

Только что слышал в редакции от одного из сотрудников ужасную вещь. Передаю как слышал.

– Вы знаете, что делают немцы? В занимаемых ими польских местностях они изнасиловали всех женщин и взрослых девушек, – по отданному от начальства приказанию... Конечно – штабного, вообще от командного состава, и конечно – не без знания и одобрения кайзера. Об этом не пишу, как не

говорят о всяком опозорении, потому, что позор лежит, как пятно, на чести несчастного. Щадят, скрывают честь польских женщин и девушек. Гнусная мысль заключалась в том, чтобы испортить польскую кровь населения, смешав ее с их подлой тевтонской кровью. Чтобы испортить семью, род; чтобы волей-неволей родились от полек дети от германских отцов.

Что же: раз они все «искоренили» в Бельгии и Польше, испортили самую *почву* там, – мысль испортить «кровь» нации естественна и правдоподобна. Это просто «полнота мысли» и до известной степени «завершенный план победы». Мысль имеет свой прогресс и разветвляется во всех направлениях. Это частица «организации войны», над книгою о которой трудился фон-дер-Гольц-паша, организатор турецкой армии. В книге его есть замечательная фраза:

«Великим я назову того полководца, который во время боя, видя истекающий кровью батальон, спокойно рассчитывает, что он может еще извлечь из этого батальона в целях достижения успеха».

Мерзавец оценил и восхвалил только *холод и бездушие* в полководце. Скажите, разве не напрасно колотил этих мерзавцев Наполеон? И тогда как оценил бы немецкий «организатор победы» нашего Суворова, сказавшего солдатам в невыносимо трудную минуту:

«Ребята, если вы отступите, то сперва *закопайте меня старика в землю*».

И лег на землю. Маленький Суворов, великий фон-дер-Гольц! Нет, таких мерзавцев надо колотить по морде, – ружьем, плетью, кулаком, чем попало.

Вспомним о польских женщинах и двинемся за поруганную их честь всем славянством.

Идите и старый, и малый против этих ученых зверей!

О НАШЕМ «ХРИСТОЛЮБИВОМ ВОИНСТВЕ»

...Громада поднявшегося и еще продолжающего подниматься на защиту отечества воинства русского уходит на Запад, размещается так и этак здесь. И, смотря на эти народные массы, у разных людей поднимаются разные мысли, заводят споры, пролетают сомнения. Основа – солдат. Сумма их – «христолюбивое воинство»... *Кто* назвал? *Откуда* имя? В официальных документах его нет. Так, само собою, «назвалось» оно, и верно так захотелось назваться ему. Даже «воинством» нигде никто не называет их. «Воинства» были у царя Константина Великого греческого, и по примеру греческих и римских кесарей «воинством» назывались великокняжеские и царские дружины в Киеве и Москве. Петроград дал простое и рациональное имя – «армия», «солдатчина». – Вот вам «Артикул военный», – сказал Петр о новой армии, повелев перевести последний со шведского. Так и печаталось «повелением Его Пресветлого Величества» в двух текстах: на левой стороне страниц – шведский текст, на правой стороне страниц – русский перевод. Но армия почему-то о себе удержала древнее название «от царей греческих» – «воинство», придав

русское прибавление – «христолюбивое». Должно быть, так оно полагало о себе, так представлялось самому себе. В понятие «христолюбивого воинства» входит понятие о каком-то «страдании для Христа». Армию, поднимающуюся в поход, можно сравнить с женщиной, ложащейся в родильную кровать. «Пришел час ее», – женщины и армии. «Армия» она – пока стоит; а как поднялась в поход – в ней рождается «христолюбивое воинство»; и была «дама», пока гуляла по улицам, закупала покупки, вела хозяйство. А легла в постель, перекрестилась и волила в «родную матушку». Хлопочет повивальная бабка, скоро будет позван поп. В походе и на войне армия вырастает во что-то священное, подобно как и женщина вырастает во что-то священное в родах. Этот момент перехода «в священное» армию и обозначен в самом имени «Христолюбивое воинство». Час, и дни, и недели, и месяцы похода, и войны солдатами чувствуются как «Христово служение». – «Умираем за други своя», по слову Христа, «за землю русскую», «за весь христианский народ».

Один священник и вместе профессор духовной академии прислал мне письмо, где делится редкими и драгоценными своими наблюдениями над солдатами *на исповеди*. Конечно, с биением сердца оно прочтется всю Русью. Вот оно:

«Ведь о восприятии зрителями и наблюдателями *толпы* народной, *массы* человеческой – всегда может быть поднят спор и может быть задан вопрос: «Да не знает ли кто-нибудь основательно *всю подноготную владеющего толпою подъема или восторга?*» И на вопрос этот обычно не находится ответа. Так подсказываются искусственные и придуманные ответы, и касательно подъема духа в армии, коего мы все свидетели. То же, о чем я сейчас хочу рассказать вам, само по себе есть «вся подноготная». И она – чиста и высока. Я разумею исповедь.

Последнее время мне много приходилось исповедовать солдат, раненых и больных, запасных и с действительной службы, разных полков, с разных театров войны и из разных губерний. Одни из них холостые, другие семейные. Они разного общественного положения, хотя, в общем – около низших классов: мещане, ремесленники, железнодорожные служащие, крестьяне и т. п. Но все это разнообразие не мешает удивительному единству в «едином на потребу». Исповедь, *вообще*, когда исповедуются *городские жители*, довольно тягостна, и после исповеди бывает на плечах и на сердце ощущение стопудовых грузов. Городские жители, на самом деле, будучи в большинстве случаев весьма скверного душевного здоровья, очень плохо сознают свои болезни. Недовольство, ропот, обвинение других и обеление себя, лукавство перед Богом, – все это тяжело и безнадежно как-то. Рассудком поймут, а сердца не умягчишь. И чувствуешь нередко, что *нет* настоящего покаяния. Таковы, хотя, конечно, и не всегда, мирные граждане.

Готовясь исповедовать солдат, я уже заранее настроился на все худшее, ибо известно, что такое солдат. Это мое настроение относительно них сидело крепко во мне еще с годов студенчества в Москов-

ском университете, когда я безотчетно не мог не подпасть общеинтеллигентным взглядам на солдатчину. Реально же я их вовсе не знал. Да и по существу дела: чего ждать от людей, оторванных от семьи, от крова, полуголодных нередко, а иногда и голодных вообще. Им сам Бог простит согрешения, – думалось мне, – простит за их труды, жертвы. Ведь многие из них почти мальчишки.

Однако все эти соображения оказались ошибочными. Более выскокого и чистого состояния на исповеди, чем со своими солдатами, я никогда не переживал. И если было что плохо, так это разве то, что во мне шевелилось что-то вроде зависти. Душа открыта, раскаяние легкое, от глубины души, чистосердечное. Себя извинять не стараются... да и не в чем. Если у кого были грехи, то это – сделанные ранее, в мирной жизни. В походе же, кажется, только у двух оказался грех, и вон какой: один стащил где-то арбуз, а другой, не ев несколько дней, попросил в каком-то селеенье хлеба, и ему сказали, что хлеба нет, хотя тут же, на столе, лежал целый, – тогда солдат отрезал себе часть. Вот, кажется, и все грехи, указанные мною. Да, – еще один признался, что он в душе роптал на тяжелое положение, а другой – что чего-то не исполнил или исполнил не так, как было приказано. Но оба они, из запасных, в мирное время допускали довольно серьезные грехи. Один когда-то, вступаясь за мать свою, которую очень оскорблял и бил отец его, грубо говорил с отцом. После того они с отцом много раз мирились, – и мирились нарочито перед отправлением на войну, – но он все не может успокоиться и терзается муками совести. Спрашивал я *всех*, когда исповедовал, обижали ли они-де мирных жителей. И ответ всегда в одном роде, с разнообразием только в интонациях: у одних ответ звучит с глубокой верой в свое дело, у других – чуть-чуть обиженно, «как-де задаешь мне такой обидный вопрос»? Ответ же таков: «Что вы, батюшка, ведь мы по-православному...», «нет, этим не занимались, мы – все по вере», «нет, мы – православные», и т. д.

Это – *очень важно*. Ведь если бы что было, хотя бы самое малейшее, то при той легкости и непосредственности, с какой солдаты говорят о своих грехах, они непременно поспешили бы покаяться. Об арбузе-то и хлебе, ведь, сами поспешили сказать, без всяких вопросов, *первым делом*. Явно, что это тяготило совесть.

Ни у кого во все время военной жизни (а некоторые, ведь, не с войной только, а ранее попали на службу) никаких признаков распутства, ни в какой форме. Только один был грешен пороком, но это – в *мирное* время, а не теперь.

Все твердо и просто верят. Все с внутренним убеждением и чисто православную сознательностью (а вовсе *не* слепо и не по забитости) не только повиноваться начальству, но и иметь внутреннее недовольство – считают грехом. «Все же страдают». – «Я – не один». «Всем надо», «Бог велел» – вот ответы на вопрос об отношении к службе.

Замечательные лица. От духовного ли подъема, или от болезней и трудов, но все облагородилось, и даже кожа стала совсем не такой, как

у простонародья. Удивляешься их благообразному виду, после столького пребывания на воздухе, в грязи, в мокроте и спанья на земле. Они сейчас благообразнее, чем были ранее, и одухотвореннее. Лица чистые, часто невинные, с ясными взорами и внутренней решительностью».

Таково «христолоубивое воинство».

Таковы слова священника-исповедника. К ним прибавлять что же? Разве что, прочтя их, оглянуться на заботливую «анкету», какую поспешная интеллигенция устроила «промеж своих», по вопросу, «насколько зверства, проявленные культурными германцами на войне, угрожают быть проявленными и со стороны менее культурных русских войск?». Анкета дала, кажется, успокоительные результаты. О всем этом хлопотливо писал Философов, «отзывающийся на события». У интеллигенции всегда много хлопот, страхов и предвидений. Ну, «чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало». Да еще мне хочется припомнить один рассказ матроса, бежавшего с взбунтовавшегося «Потемкина Таврического» в Соединенные Штаты:

«Приезжаю туда, оглядываюсь, – будто люди живут. Однако же потом плюнул и вернулся (потихоньку) в Россию. Дикие люди. Ни царя у них, ни – закона».

Почему «ни закона» – не ясно. Передаю, как слышал. Должно быть, нет «закона» вот в виде этого *нравственного каждому внушения*, какое делает церковь прихожанину на своих службах, делает и священник на исповеди кающемуся.

И этот беженец-матрос, но со старорусскою крестьянскою основой в себе, высказал настоящее культурное отвращение к состоянию людей действительно в тайне вещей *бескультурному*. «Ни – царя, ни – веры, один телефон».

О ДУХЕ И СМЫСЛЕ РУССКОЙ АРМИИ

В скольких, скольких случаях русский человек, русский обыватель, русский писатель имеет повод воскликнуть сейчас: «Ныне отпускаеши раба Твоего», или по-русски: «Господи, наконец, Ты показываешь *правду Свою!*...» Всего месяца полтора назад я прочел в одном радикальном журнале анонимную рецензию на книгу Амфитеатрова: «1812 год. Очерки из истории русского патриотизма», и в ней следующие слова:

«А. В. Амфитеатров в своей книге доказывает, что в «Войне и мире» Толстой изобразил в фальшивых красках офицерство александровской эпохи. «Силою волшебной художественной лжи (?!?) Толстой, – заставил Амфитеатров, – заставил общество переменить то отрицательное типическое об этом офицерстве представление, которое крепко вкоренилось благодаря литературе прадедов и дедов наших. Толстой победил Грибоедова. Ник. Ростов искупил Скалозубова» (141 стран.). Сводя изображение офицерства александровской

эпохи у Толстого почти исключительно к фигуре Николая Ростова, г. Амфитеатров решительно заявляет, что «Толстой сделал как раз все, чтобы многолетние улыбки, сарказмы, смехи и карикатуры отошли на задний план, – чтобы нашла себе понимание, а следовательно, и извинение та узкая александровская армейщина, из которой выросла и жалала Россия в кулак служилая николаевская дворянщина». «И нельзя не признать, – прибавляет Амфитеатров, – что эта неблагодарная по существу задача ему до известной степени удалась». Толстой «сумел художественным обманом придать очарование реакционно-му классу, ранее преданному литературою и обществом презрению и посмешищу» (218–219...).

Я вырвал гнусную и страшную рецензию и кинул в письменный стол, думая: «Найдется *опровержение!*» Я называю эту рецензию *страшной*, потому что не страшно ли зрелище, что шляющийся где-то за границей неоплаченный должник, разыгрывающий роль революционера (Амфитеатров), и какой-то столичный рецензент (конечно, из «наших писателей») ставят армию 12-го года в положение «объясняться и извиняться» пред собою... Вся Россия верила, любила эту армию; благодарила за пролитую кровь, которою она отстояла Россию... Какой подвиг, какие люди, какое страдание!! И вот приходят какой-то Амфитеатров и какой-то рецензент и плюнули на все это. Плюнули и растерли ногой... Между тем это – любимый журнал учащейся молодежи, студентов, курсисток. Как поднялась рука писать такие строки, зная свою читающую публику, – зная, что это *доверчивая и любопытная, зеленая молодежь*...

И вот документ пришел, и даже два. Недавно я напечатал рассказ священника о том, какую он *увидел на исповеди душу* русского воина, а вот и второе письмо, пришедшее с пометкой «5-е декабря» из Москвы. Написано оно женщиной, трудящейся в лазарете около воинов:

«Плакала я сегодня, читая в статье вашей о нашем «христолюбивом воинстве» и рассказ священника о том, что ему пришлось узнать на исповеди. Я хожу за ранеными и больными, будучи «сестрою» в госпитале. Вижу всю красоту души их и поражаюсь этим дивным созерцанием до глубины моего существа. Посылаю *молитву перед сражением*, которую я слышала, как ее тихо и благоговейно читал один из раненых моей палаты. Я просила написать ее и мне, что он и исполнил. Уже стоя в полной готовности начать или принять бой, каждый про себя молится:

«Спаситель мой! Ты положил за нас душу Свою, чтобы спасти нас; Ты заповедовал и нам полагать души наши за друзей наших, близких нам. Радостно жду я исполнить святую волю Твою и положить жизнь свою за друзей наших, близких нам. Радостно жду я исполнить святую волю Твою и положить жизнь свою за Царя и Отечество. Вооружи меня крепостью и мужеством на одоление врагов наших и даруй мне умереть с твердою верою и надеждою в блаженном Твоем Царствии. Мати Божия, сохрани меня под покровом Твоим. Аминь».

Другой у нас раненый, Фоменко, не знал этой молитвы, так как не во всех частях учат ее. Из госпиталя он прямо пойдет опять на позицию. Из дома, за все время двухлетней его службы и за время последнего периода, когда он был в бою на границе Пруссии и 14 августа был привезен больным в наш госпиталь, где остается по сей день, – он от двух братьев и от жены (других родных нет) ни разу не получил ни единого письма и ни копейки денег. Вот этот самый кроткий юморист Андрюша Фоменко слышал, как я читаю эту молитву, любуюсь ею. «Что ж то, сестрица?» – «Молитва перед сражением». – «А я ее не знаю. Напишите печатными буквами мне; я ее выгучу и буду читать, когда надо будет».

Написала я ему молитву. Целый день, лежа на постели, учил ее мой милый Андрюша, в промежутках исполняя мои просьбы по уходу за больными, делая это охотно и весело. А потом я должна была приклеить этот писанный «печатно» листочек к его маленькому походному молитвеннику. Теперь он уже совсем годен в поход; у него уложено и тщательно завернуто в бумажку и завязано веревочкой имущество: молитвенник, набитые папироски штук 100; 4 листка и 4 конверта с адресами домой, на случай, если «что будет там, на позициях», – чтобы известили, и – «мое сокровище», как Андрюша зовет подаренную ему мною зажигательницу с кремнем, а на случай – с фитилем бензиным. Зажигательница доставляет ему великое удовольствие и точно какое-то тепло. «Теперь что ж?! Теперь я всегда с огоньком! Спичек и не надо, всегда дома?!» И много, много красоты такой мудрой, такой кроткой, великой по своей красоте и детской кротости. Никогда я не слышала от них ни малейшего ропота или укора. Точно так и быть должно, точно это совершается акт высшей справедливости, что они, дорогие, должны быть принесены в жертву за общее благополучие. Таковых есть Царство Божие, ибо они принимают его, как дети.

Порою я останавливаюсь в невыразимом изумлении пред этою нравственною, возвышенною, ничего не требующею красотою. Познания, музыка, природа, Господь, геройство, тихий смех, вечерние сказки, песни и пляска выздоровевших, церковное хоровое пение, простые и с юмором порою рассказы о военных событиях и приключениях, письма родным, нежность к «своей сестрице» (милосердия) – все слилось в прекрасное целое, в родное наше, явившееся пред глазами во весь рост и поразившее видящих своим полным содержания обликом. Но, родной писатель, жители «большого» города все еще не понимают свой «народ» и все еще продолжают относиться к нему покровительственно. Какая правда: Вы говорили, что наша церковь была для народа высшей академией. Верно это. У нас в госпитале церковь. Как они, раненые, с перевязками, в халатиках, на костылях ходят в церковь, ко всенощной, к обедне. Как пред причастием просят прощения у «сестрицы» (милосердия) за прегрешения пред нею, а пред «сестрицей»-то они именно *никогда* (подчеркнуто в письме двумя чертами), никогда не грешат».

Письмо – пожилой супруги московского присяжного поверенного, г-жи Ш–вой. А не сказать ли так об уходе за ранеными: раненые около нас выздоравливают, а мы выздоравливаем около раненых. Сколько в этом письме и в таких письмах разного народного чувства; как везде, по госпиталям сейчас идет уже физическое, через видение, через слух, – общение с народом; общение не на минуту, не через встречу на улице, а тянущееся недели и месяцы. Сейчас лазареты – великое народное училище, где образованные классы впитывают в себя народные вдохновения... Целое поколение уже до гробовой доски не забудет «увиденного и услышанного» в 1914–1915 годах в госпиталях.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ

Ни в один год за истекшие сто лет чувство *Христа рождающегося в мире* не проходило так ярко и глубоко в душе народной, как этот год, как эту зиму, как этот день сегодняшней. Воистину, «со звездой путешествуем», – каждый, всякий, во дворцах, в хижинах. Все мы, весь русский народ, ныне не памятью и воспоминанием уносимся к Младенцу, родившемуся 1900 лет назад на спасение мира, а точно зрим и трогаем Его руками и поклоняемся Ему с пастырями и волхвами, как будто вот-вот все у нас перед глазами... Потому что спасительный акт нашей веры, эмблема и пример рождения *добра* в мир, – ныне в самом деле развертывается у нас перед глазами, как рождение *в великое добро* русского народа, Русской земли...

Вся Русь слилась в одного человека. Уже велик этот момент, велик и редок. Все поднялось, все поднялись. И нужда, и радость, и труд, и надежда, – все, как одна стрела, пронизавшая сто пятьдесят миллионов сердец. Кто из детей наших переживет такую же историческую минуту еще? А которые наши дети чувствуют и сознают это – пусть на этой минуте воспитываются и памятью ее растут потом. Этот год мы все живем минуту, как год, и в год – переживем век. Как полно содержанием время! Не редкость ли? Не радость ли? Не чудо ли?

Но прильнем полнее сердцем к радости сегодняшнего праздника, к чуду религии, которое мы празднуем всею Русью, и с нами празднуют наши солдаты и офицеры в окопах. От истории этого года перенесемся ко дню 1900 лет назад. Слава Богу, мы в него верим, мы *его знаем*. Слава Богу, не раскладили Русь ученые изыскания и цинические смехи, – те изыскания, в которых больше фантазии и самолюбия, чем *дела*, и те смехи, в которых чувствуется душа гориллы, препрославленной Дарвином, как его личного дедушки – и будто бы дедушки всего народа человеческого. В нынешнюю годину мы испытываем на *деле*, какую драгоценность сберегли в душе своей сбережением веры и какая драгоценность потеряна на Западе через все эти пошлости учения Тюбингенской школы об Иисусе Христе и через другие пошлости учения разных Геккелей о человеке и об роде человеческом. Давно было замечено, давно говорилось и горячо говорилось, что в основе этих «науч-

ных веяний» лежит не *дело*, не *знание*, но ряд *низких предрасположений*... Павший человек, павший в чудовищной технической работе и в ежедневных коммерческих расчетах, стал *предрасположен* ничему небесному не верить, а все, даже и небесное, построить из земли и грязи. Человек грязными руками стал собирать грязь в кучки, громоздить кучку на кучку, и полез на небо через посредство этих кучек, чтобы там «распорядиться по-своему». Но шлепнулся обратно носом в свою грязь. Этот ужасный шлепок, этот убийственный шлепок – поразившее мир варварство самой ученой в мире нации. Нам Достоевский предсказал: «Ваша наука окончится *антропофагией*» (людоедством, пожиранием человека заживо). Не осуществилось ли? Не видим ли все? Эти немцы, обрубающие кисти рук у 17-летних мальчиков-бельгийцев, чтобы они «никогда не могли вредить потом немцам», не суть ли уже ученые антропофаги? И, разрушая Реймский собор, не приводили ли они «в действие науку своих поганых тюбингентов, учивших, что христианство есть миф, вздор и выдумка? Не удивляемся. На поганом месте вырос поганый гриб.

Слава Богу, Русь за лесами своими, за болотами, за реками, за морями сохранилась от этих якобы «ученых веяний», а на самом деле ученого *фантазирования* и *празднословия* и *Святое Слово Евангелия* сохранила, как небесное чудо, никак не могшее слепиться из грязи, помой и навоза. Скажем мудро, просто и ясно, что Русь оказалась умнее их Геккелей, а русская деревня со старым погостом возвышеннее и духовнее Тюбингена. Там выводили «историю христианства», как страницу из «истории обезьян», а у нас думали иначе: и «Блаженны чистии сердцем, яко тии Бога узрят», и все речения Спасителя помещали в книгу с серебряным многофунтовым окладом, осыпали этот оклад драгоценными камнями, клали ее на престол в храм, подходили, крестились и целовали эту книгу. И когда пришел час «проверить мудрость», – гориллы стали поступать, как гориллы, а человеки стали поступать, как человеки. Гориллы бросились и стали разрушать Реймский собор, обрубить руки юношам, насиловать девушек и женщин, а человеки шли в бой, перекрестясь, с молитвой, и ни детей, ни женщин не трогали.

Спор наш с Западной Европой вообще кончен в эту войну.

И хочется сказать: еще прибавим серебра на серебряные оклады наших Евангелий, еще прибавим драгоценных камней сюда, чтобы никак не смешать эту книгу с другими, чтобы как можно больше выразить, что книга эта – совсем другая от прочих, ничего с ними общего не имеющая, большая, единственная, главная. Ею – живы, ею – не умрем.

И вот сегодня старый культурный народ, древний религиозный народ – выше подними свою «Звезду Вифлеемскую», пусть видится она во всей Европе, наша русская звезда. Там это – аллегория и детский праздник, у нас – вера; там – обычай времен, приятный семьям; у нас – вера и стояние народное. Никто на России не осмелится усомниться, что Христос *точно* родился и днесь вновь рождается, и вечно рождается, и будет рождаться... Потому что на Руси кто с этим заспорит – того бьют, а бой всегда осязательное дело и «спорить не приходится». Оговоримся, что мы не считаем такую физичес-

кую защиту своего упования ни грубостью, ни варварством, а просто крепостью и здоровьем народным; ибо что же был бы за народ, который не поднял бы руки на защиту драгоценнейшего своего душевного достояния, как поднимают руку на защиту матери, на защиту чести семьи, поднимают руку за обиду жены, и за обиду отечества поднимается весь народ на войну. Народ вправе иметь свои неполитические святыни и требовать, чтобы каждый перед ними снял шапку. Снимают ее перед знаменем, сними и перед крестом. Сними шапку, человече, и помолись на православную церковь: ныне она спасла нас от зверства и образа звериного.

Посему праздник этот мы должны ныне провести весело, энергично и всенародно. Около «Христа рождающегося» ныне должны особенно и совокупно возвеселиться. Положите все лишний гривенник на блюдо с воззванием: «На украшение храма». Хочется их украсить, нужно их украсить, во благовремени их украсить. Если мы «возрождаемся», этот год – Христом возрождаемся. Без него война была бы бессильна, без Него и с выигрышем война – ничего. Не хотим расти в пузо, хотим расти в дух. Ибо рост в дух бесконечен и никогда не умрет, а пузо у всех умрет завтра. Странная идея заменить «историю человечества» историею «усовершенствованных обезьян» содержала в себе уже умирание на завтра. Ибо гнилой грибок вообще существует один день. Европа кричала о «бесконечном прогрессе», – кричала именно, неся на плечах Геккелей и Штраусов, – но какой же прогресс был для этой пьяной толпы, как не свалиться в яму? – единственное «новое» и «неожиданное», что ее ожидало и что ожидает в эту войну ученых антропофагов.

Оставим, однако, их и обратимся к *своей* радости. На веки вечные вспомним, что мы живы только христианством и что жизнь наша струится только из церкви. Тут важны подробности, мелочи, – важно даже то, что около столь великого предмета показалось бы смутительным. Для нас это «вспоминания», для духовенства – служба. «Служба» – что посерьезнее и солиднее, фундаментальнее воспоминательных разговоров. Дома наши украсятся елкою, а духовенство поведет всех в церковь, поведет *увидеть, услышать и возгласить*. Все как-то действительнее, все как-то осязательнее. Я провожу ту мысль, что отношение духовенства и церкви к событию Рождества Христова, бывшему уже 1914 лет назад, совсем иное, нежели у нас, неотразимо иное, полно сока как зеленое молодое дерево, которое за 1914 лет нисколько не состарилось, не увяло, не упало. Все церковь нам сохраняет, сохранила, а вовсе не «мы сохранили Рождество Христово». Это надо твердо помнить, и это иногда тускнеет в воображении, в памяти, в сознании. Заговаривают, и еще недавно было бесстыдное упоминание, что хорошо бы и у нас провести «отделение церкви от государства», по примеру Запада. Какая низость думать подобные враки! Да и никто решительно не допустит, чтобы «государство Российское», хотя бы через тысячи лет, стало когда-нибудь «не православным», и за это русский народ умрет, т. е. всю жизнь народною не допустит до такого «отделения». Между прочим, в нем потеряется сразу *осязательность и «воочию» истина* церкви и христианства; сейчас государство

за службу духовенству платит многие миллионы. Это слишком наглядно и убедительно, что «Рождество Христово» в точности было, ибо за штрафовские «мифы» казначейство денег не платит и не станет платить. Таким образом, «жалованье духовенству» есть такая же убедительная вещь, как крещенская вода, которую кропятся наши дома. Кто же дерзает поднимать мысль об отнятии этого у народа. Мы упомянули частность, чтобы немного хоть удержать от врак нашу склонную забываться интеллигенцию.

Великие идеи, спасительные идеи надо хранить, как реальность. Скажем точнее: их *подобает* хранить, как реальность, и это предчувствовал уже Платон-язычник, который сказал, что одни «идеи» суть *подлинная реальность*, не подлежащая разрушению от времени и от перемен исторических.

Возрадуемся же *Рождеству Христову* как величайшей *реальности* всей нашей истории, более несомненному, чем монгольское иго и история князей. Более осязательному и каменно-твердому, чем московский Кремль. Ибо Кремль построен *около* соборов кремлевских, а соборы кремлевские и все на земле соборы построились *около* Рождества Христова.

И скажем: радуйся, Рождество Христово! Радуйся, русский народ, *около* своего Великого праздника.

Поздравляем всю Русь с Христом рождающимся, ныне и вечно.

ГОЛОСА НАРОДНЫЕ О ВОДКЕ, ВИНЕ И ПИВЕ

Облагорожение народа, *облагорожение* быта, *облагорожение* самой души человеческой – вот объединяющее слово и имя, вокруг которого идет борьба, когда она идет о вине и пиве. – «Не хочу *образины* на себе, хочу *лица человеческого*» – вот крик, вот стон, на который поистине умел отозваться один Государь в рескрипте на имя вновь назначенного министра финансов 30 января 1914 года: «Совершенное Мною в минувшем году путешествие по нескольким великорусским губерниям дало мне возможность непосредственно ознакомиться с жизненными нуждами народа. С отрадою в душе Я видел проявление даровитого творчества Моего народа, но, рядом с этим, с глубокою скорбью Мне приходилось видеть печальную картину народной немощи, семейной нищеты и заброшенных хозяйств – неизбежные последствия нетрезвой жизни». . . И далее: «На Мне лежит пред Богом и Россией обязанность вести безотлагательно, в заведование финансами и экономическими задачами страны, коренные преобразования. Нельзя ставить в зависимость благосостояние казны от разорения духовных и хозяйственных сил Моих верноподданных». Вот слова Государя, проистекшие из *личных* Его наблюдений во время путешествия по внутренней России и из *личного* размышления о виденном, – которые и решили все. Против вина борется Государь, и вино побеждает Государь, – это надо очень помнить, чтобы не запутаться в деле. Не Чельшев, не мы, не писатели, не общества трезвости, которые могли писать,

говорить и плакаться сто лет в будущем, как они плакались пятьсот лет в прошлом в этом старом историческом вопросе, – и ровно ничего из этого же не вышло, пока не воспоследовало *«Быть по сему»*, – и поворот всего государственного корабля на другой румб. Этот поворот совершает Сам и единолично Государь – и нам остается только следовать, помогать, способствовать, радоваться. Это разграничение надо очень помнить. Только сознавая его, мы сильны. И вот свершилось, правда по случайному поводу мобилизации, счастливо совпавшей через шесть месяцев с изъяснением воли Государевой о вине, – полное прекращение вина по всей России. Зрелище открывшееся было до того поразительно и неожиданно, – что нельзя было «не ухватиться». Одно дело – «считать по пальцам», гадать, думать, надеяться и другое – видеть. Недоставало «видеть», недоставало зрелища и полной *убедительности его*. В несколько дней, уже к первому сентября Россия стала неузнаваемой: благородной, чистой – и по дням, почти по часам богатеющей. «Эврика, эврика!» – разнеслось везде. Вот где закрыта была смерть России, и «теперь мы воскресаем!». Этих первых тогдашних дней, июльских и сентябрьских, невозможно забыть, – и они есть колоссальный исторический факт. Тот факт, за который «все уцепились». И уже теперь этого «уцепились» нельзя поколебать ни Совету Министров, при всей его почтенности, и никому вообще. «Нашли! Глаза открылись! Увидели воочию». И теперь Россию никто не ослепит.

От этих первых дней конца августа я имею несколько писем из провинции, тон и дух и смысл которых считаю историческим, и мне их хочется сохранить, как «памятки истории».

«...Говорю о том, чему лично был свидетелем. Живу в деревне. Лично наблюдаю результаты дней трезвости. Деревня неузнаваема. Народ как-то преобразился. Помимо того что хулиганства и в помине нет, – люди совсем другие стали. Появилась красота души, столь свойственная нашему народу, задремавшая было под пьяным налетом. Во многом она уже проявилась и проявляется. Тысячу лет пройдет, и не будет, не случится более удобного момента помочь народу удержаться от пьянства. Это необходимо учесть и воспользоваться случаем, иначе совершите величайшее из преступлений. Сам Бог облегчает пути избавления от ужасного порока. Надо ли говорить о благах неисчислимых трезвости?

Возьмем разницу между трезвым и пьяным почти всю жизнь человеком и применим, не преувеличивая, это сравнение ко всей России!..

Не могу спокойно говорить об этом, оттого, может быть, и пишу бессвязно, но необходимо в печати «закричать», чтобы все услышали, и этот «крик» воздействует неотразимо, на кого следует».

Это – из Тверской губернии; письмо писано 16 августа. С пометкой «20 августа» я получил письмо из Тульской губернии:

«Если бы вы видели, как вижу я в глуши деревни трезвые «пребстольные праздники», то что бы вы почувствовали!..

Когда приближалось их празднование, то народ недоумевал и как-то смущенно спрашивал: «Чем же мы гостей-то угощать будем?» Под «угощением» подразумевалась, конечно, водка, и без водки *как же? чем же?* И вот теперь, вместо трех дней отчаянного пьянства, как бывало здесь прежде, часто начиная с самого батюшки и кончая чуть не трехлетними ребятами, во время которого совершались драки и всякие безобразия, теперь на моих глазах праздники кончались уже к вечеру того же дня. И рабочие по деревне, и прислуга, живущая у помещиков, – все к вечеру праздника уже были на местах. Нечто небывалое.

Вообще, в деревнях тишина и серьезность трогательные. Бабы в церковь надевают не яркие наряды, а темные – больше все черные с белым, особенно головные платки.

Старосты, десятские тех волостей, которые подчинены земскому начальнику, поражают своей серьезностью, своим отношением к возложенным обязанностям, сильно влияют на народ. К сожалению, церковная служба здесь не благолепно правится: за обедней, когда молитвы о православном воинстве особенно нужны, особенно трогают, священник, как-то особенно быстро, скороговоркой, их читает*^{*}. Вот, кажется, стал на его место и так бы вознес к Господу молитву о «христілюбивом воинстве», что все зарыдали бы! От «страждущих и плененных» у него ничего не осталось. Он проглатывает эти слова, а не то, чтобы в землю за этих «плененных» долгим поклоном поклониться.

Мои четыре воина с радостью пошли навстречу врагу за родину, за честь, за славу постою. Улан мой, уходя, писал мне: «Как ты, дорогая мамуля, должна быть счастлива и горда, что все твои четыре сына идут на защиту родины. Недаром ты нас родила и недаром казна нас кормила». С тех пор, как *все это началось*, я как бы постоянно сердцем стою на коленях и не здесь на земле, а где-то выше. С воздетыми к небесам руками я повторяю: «Да исполнится воля Твоя!» Какое время! И как нужны были огонь и кровь, чтобы многое очистить, многое уничтожить и много хорошего породить. Да будет воля Твоя, Господи!»

Около этого государственного письма, с государственною озабоченностью, сопоставим такое же государственное слово старухи-крестьянки. Значительно позднее я получил письмо из Тульской губ.:

«У меня служили рабочими два брата. В первую мобилизацию взяли одного, а в призыв ратников – и другого. Мать их, также живущая у меня, провожая его, сказала, рыдая: «Сыночек! Об одном прошу тебя: Царю-то будь верен».

Не могу не сообщить вам этого прекрасного слова, за подлинность которого ручаюсь. Примите уверение в совершенном почтении.

Н. Горбов».

* Эту жалобу на неразборчивое, невнятное чтение священниками самых важных молитв, до войны относящихся, я слышал в те дни в Петрограде и о петроградском духовенстве, и меня просили обратить на это внимание в печати. Исполняя, хоть и поздно.

Так мы росли, день за днем, эти два месяца, входя в разум и серьезное государственование. Мы – не прошельги, а сыны Русской Земли. Мы не под забором где-нибудь родились, а в честном доме нашей матушки.

А ведь духом «прошельжным», духом чего-то несчастного и случайно-го в нашей истории уже начала затуманиваться вся страна, и как помогали этому в душе каждого, в душе сел и городов, зеленые пары.

Небушко увидали, Господа, – не будем отводить глаз с Него.

«ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ» В 1915 г.

Опять великий праздник искупления смерти смертию, праздник – воскресения умирающего, которое *умерло, было, и снова ожило*... Ныне для нас мистерия религии сливается с мистерией истории, которая ведь есть часть *природы*, и в ней также умирают и оживают; хочется добавить: «также *умирают*, но – *веруют*, и тогда – вторично *оживают*». Нынешний, 1915 год, как мы веруем и чаем, делается годиною воскресения славянских народов, над погребением которых столько потрудились и тевтоны, и турки...

Для множества, множества семей, для матерей, сестер, для жен и детей – идут дни и месяцы воистину «Страстной седмицы»... Что им сказать, что о них сказать? *Им* все сказало четверговое Евангелие с рассказом о прощальных беседах И. Христа с учениками Своими, о мучениях, о перенесении оскорблений и издевательств Самим Богом нашим, пришедшим в мир «грешные спасти»... Что можно прибавить к этому? Прибавлять – нечего, а только можно подумать, что их умершие сыны, и братья, и отцы «пострадали за Русь», умерли «за братию во Христе», – так же, как и они, православных, – повторяя и подражая Христу, умершему за человечество. Там – религия; здесь – история; но на этот раз воистину история есть маленький кусочек религии. И «доброму разбойнику», которому самое последнее свое слово на земле сказал И. Христос: «*Днесь будешь со Мною в раю*», – этому разбойнику, поминаемому для православных пред самым причащением, уподобились все павшие в бою с иноверными. Все были с грехами, все были с недостатками, все с человеческою слабостью. И вот все *очистились* и вошли *в воскресение*. Все умерли и не умерли, убиты и вошли *в вечную жизнь*. Нет печали: ибо с такою мыслью не печальна сама смерть. И воистину, сегодняшний день должен быть счастлив и для сирот, и для вдов: их умершие – невидимо с ними; да и сами они, эти сироты и вдовы, повременя и погода, встретятся, как живые с живыми, с *временно разлучившимися* от них.

При вере в таинства религии, при вере в *воскресение* и *искупление* – есть печали, но нет безысходной печали, есть горе и страдание, но воистину нет отчаяния. Отчаяние – состояние безверного, отчаяние тому, кто не

поверил Христу. Вот почему. Смело и мужественно говорим сиротам и вдовам, о которых *сейчас* первая мысль, и сами они – первые между нами: садитесь за Пасху Господню с нами, садитесь, как бы у вас не было печали, ибо сам Господь так устроил, что во вселенной *эти-то* именно *ваши скорби* переходят во всеконечную радость и полный восторг!.. Нет смерти – нет и искупления, нет страдания – нет и очищения; а раз *совершилось* страдание и смерть, и это уже *позади* – мы ожидаем только воскресения и избавления...

Всякая мать, вдова и сироты пусть прочтут сегодня о женах-мироносицах, как они пришли к гробу: но уже в гробу видели одни погребальные полотнища, ибо «бывший в гробу» ныне воскрес. Пусть прочтут и утешатся, и улыбнутся. Пусть помнят, что улыбка тихой радости с ними и никогда не отнимется у них. Пусть они живут между нами, как лучшие из нас, как первые между нами, тихо трудясь на остаток дней своих, без слез и уныния. Ибо Евангелие отерло им слезы.

* * *

Гигантская борьба, а с ней и страдание, продолжаютя. Воистину, «искупается» грех европейской истории. В *чем* грех, *какой* грех? Но разве не грех было забыть ради каких-то новейших книжонок, с их недомыслием или детской мыслью, – самый фундамент, на котором возросла вся европейская история: вот эту трагедию жизни и греха, страдания и искупления, трагедию победы вечной жизни над временною гибелью?! Воистину, европейцы променяли религиозное «первородство» на позитивную «чечевичную похлебку» и платятся теперь кровью, голодом, разрушениями городов и стран. Чего им не доставало? чего у них не было? Не *вся* ли земля была, в сущности, их владением? Первые по могуществу, по богатству, по просвещению, что они делают? Вместо мирного сожительства и гармонического развития своих сил один народ захотел стать «сверхпервым», нагло объявил «Deutschland über alles» (т. е. «Германия да будет *над всеми*») и сейчас же облился весь кровью, залил кровью и своих соседей. Вместо разума – бессмыслица, вместо силы – угроза завтрашней слабостью; буквально – вместо просвещения тьма. Но почему? Где источник? Забвение Бога и религии, забвение спасительных «неисповедимостей» религии. Человек измельчал. Человеку стала «не по плечу» религия. А в *ней-то* и широта созерцания, а в *ней-то* и покой созерцания. Покой созерцания и *устойчивость* жизни. Едва подточился фундамент, как зашаталось все здание. Храмы покинуты, а базар шумит, панорама всемирной истории не видна, зато везде множество кинематографов. Вот измельчание человека и глубокое опошление всей жизни, – результатом коего явилась теперешняя война. На базаре, конечно, не видно, почему «Германия» не должна быть «über alles». Кинематограф не доказывает, почему все народы, и даже первые из первых между ними, должны сохранять сми-

рение пред великими задачами жизни и смерти, пред великою угрозой греха и наказания. Все это – «мистерии», о которых помнит мужик в деревне, – помнит и *боится*, – но о которых забыли в берлинских дворцах; и чего же там пугаться «этих суеверий». Ну, не «испугались» и ринулись... И все залилось кровью. Кровью и пожарами, огнем и смертью.

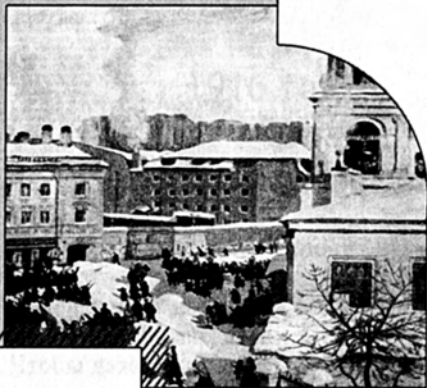
Ужасный катаклизм, собственно, всей европейской истории, всей европейской цивилизации. Цивилизация всегда возникает на 2–3 истинах, очень простых, но чрезвычайно глубоких, «всеобъемлющих». Христос ограничил *силы человека*, точнее: Он указал, что и *всегда*-то эти силы были не велики, – гораздо менее, чем представлял себе человек в самоуверенном языке. Отсюда – Он указал *смирение* человеку. Итак, *скромность* и *смирение* – это не личные добродетели отдельного человека, не «хорошие качества» тех и иных людей, а это есть нравственный и религиозный фундамент самой цивилизации. Без этого в *этой* цивилизации, в нашей христианской цивилизации, – все будет безуспешно, ненадежно, опрометчиво; хотя «без этого» могли расти отлично Греция и Рим, «без этого» могут процветать Япония и Китай. Да, – им дано, возможно; но нам – запрещено Тем, Кто есть наш Бог и Искупитель. Из этой «закваски» все у нас «выросло» и *может* расти далее только из *этой* же закваски. «Живи-живи, – а подумывай о смерти»; «без Бога – ни до порога» – вот опасливые русские поговорки, на которых народ наш перевел этот канон Христовой и христианской жизни. Самоупоенность, самоуверенность, гордость, тщеславие, – смертные грехи в нашей цивилизации, именно – в нашей. Христос именно умертвил эти грехи, как бы показав миру: «вот Я – Бог, и – умираю». Человечество вздрогнуло, зарыдало и испугалось. И с тех пор мы все боимся «быть гордыми»: «как бы не наказал Бог».

И вот, поскольку мы боимся этого, боимся «своей *выпуклости*» над «другими», – мы мирно живем, или, вернее, Господь нас сохраняет в мире и невидности. Мы боремся против «Deutschland über alles», и никогда на место его мы не поставим «Russland über alles»... Так Бог устроил наше сердце, что нам это просто *противно*. Противно, не нужно и враждебно. Мы и *всегда* хотим жить среди народов, как *один из них*, не помышляя ни о каком водительстве, гегемонии и первенстве. Былое панство, потом – Наполеон и сейчас Вильгельм, или, что почти то же – преемственно Италия, Франция и Германия ринулись к этому «первенству», забыв, что один Христос есть «первый», но и Он – пострадал, а человеку указал границы его смиренной доли. «Первенство», «гегемония» и «выше всех» есть языческий принцип, на почве коего всегда будет «не удаваться» у европейцев, и что составляет драгоценнейшую черту Руси, воистину «святую» в ней особенность, – это то, что решительно никакому русскому это «первенство» не снится, не мерещится и окончательно не нужно. «Все умрем»... и «праведную смерть» надо себе *заработать* – вот коротенькая мысль, с почвы которой если не сойдет Русь, – она поистине «не приобщится» смерти. А она с почвы этой

мысли не сойдет – ибо мысль эта в каждой крестьянской хижине, она живет у нас и в избах, и во дворцах.

Будем, православные, хранить свою религию; будем горячее вдумываться в глубины ее. Ибо глубины эти бездонны, и глубины эти окончательны. И они – спасительны, животворны. Пусть другие народы ищут «живой воды» в естествознании; мы «живую воду» найдем у своего приходского священника. У того простого священника, у которого находили «живую воду» и Ярослав Мудрый, и Александр Невский, находил каждый век *наш* и каждое поколение *наше*. Будем скромны, не самонадеянны, просты. И Господь нас убережет и спасет. Он – Спаситель.

– Христос Воскресе! православный люд. Сядем спокойно за столы свои и разговеемся «ныне и присно и во веки».



Статьи и очерки 1916 – 1918 гг.

1916 год

С НОВЫМ ГОДОМ!

Таков закон жизни, что все крупное – трудно, всякое героическое – тяжело, и нет величественного, которое достигалось бы без жертв. И провожая истекший год и входя в новый год, мы должны оглядываться на этот закон и не предаваться унынию, сожалению, страху. Нам тяжело, детям и внукам будет легче. Чтобы даже открыть форточку и очистить в комнате воздух, нужно встать на стул и все-таки «потрудиться» открыть ее; а тут мы вентилируем страну от Атлантического до Великого океана от немецкого засорения, которое продолжалось двести лет. Мало ли труда, мало ли подробностей, и мы еще должны благодарить Бога, что все сконцентрировалось в один удар, все получило отчетливость начала и, естественно, получит отчетливый, обрубленный конец. Нет ничего опаснее и отвратительнее, наконец, нет ничего несноснее для человека, хронических заболеваний, которые тянутся неопределенно, изнуряют силы и отнимают всякую надежду. В сущности таково было положение России до великой войны. Мы хворали, и никто не принимал ни одной меры, чтобы не только побороть и выгнать болезнь, но даже опознать ее, определить ее границы; определить точки ее приложения к нашему телу. «Все болело» у нас от немца, «езде больно», – жаловался неопределенно хилевший русский человек. Все были бедны, и русский человек только и «энергичен» был, что на водку. «На водку Русь зла», – говорили мы своеобразною нашею филологиею, выражая, что при виде водки у всех глаза разгораются и «червячок» внутри шевелится. Эта водка, по-немецки «шнапс», была лучшим другом германского засилья, без которого Германия и не затолкала бы нас никогда в такое гнилое болото. Но при водке ей открывались поистине полные перспективы полного покорения Руси, даже не поднимая на нас меча. И слава Богу, что «меч поднялся». Все осознали, в чем дело, где зло. «Меч» – это уже опасность явная, а не подкрадывающаяся. Настала определенная минута, когда все вдруг потекло «обратно» и мы, слава Богу, «поперли» из Руси немца. О, слишком еще недостаточно, не энергично: но уже начало сделано. И как это было инстинктивно верно и провиденциально спасительно, что война открылась и в тот же самый миг была закрыта водка.

Водка, подсекая физические силы и здоровье населения, клала это население под ноги торжествующей германской промышленности и немецкому коммерсанту. И совершенно параллельно этому торжеству германской промышленности в верхних слоях исторической атмосферы плыли духовные навевания Германии. Россия «германизировалась» снизу и доверху, от пуговиц и виц-мундира департаментского чиновника до Академии Наук, до гимназических программ, до уставов университетов и до профессорских диссертаций. Своего ума – нигде; везде ум, вкус, выбор – подражательный, вторичный. Где русский человек? – Молчание. – Где наша смекалка? – Безмолвие. – Ну, хоть «сердце» где русское, – ведь его не вырвешь, ведь оно непокорливо и сказывается «вдруг». – Увы, и это дорогое, и это золотое русское сердце сказывалось не в серьезном чем-нибудь, было позвано, допущено и применено не к строительству Царства Русского, а сказывалось только в дебошах, озорстве, пьяных драках и знаменитой ругани, коей подобного от сотворения мира нигде не появлялось и где мы не имели соперников.

Не пропадали ли Русь?

Каждый видит.

К прискорбию и изумлению, здесь *бесхарактернее* частного общества и отдельных лиц оказалось правительство, – тогда как «правительство», «государство» – по смыслу и всеобщему ожиданию – и есть броня, защита нации, – есть ее скрепа, ее отвердение. Кроме двух эпох, Петра Великого и Екатерины II, русское правительство было рыхло. Это было какое-то тесто, в котором все увязало, в которое все залезало, которое «отпечатывало» на себе всякое чужое давление. Знаменитое выражение Каткова – «правительство возвращается» – и могло возникнуть только на фоне предыдущей действительности, когда «правительство отсутствовало». Не страшно ли? А все получали жалованье. Как смешно. И больше всего этому, конечно, смеялся немец. Ему-то уж ой-ой как было нужно, чтобы «правительство отсутствовало», ибо именно в этой-то темной ночи государственности он и влез в российское тесто как барин, озолотившись мундирами всех министерств.

1. Немец «охраняет».
2. Немец изобретает этикетки и церемонии.
3. Он дал немецкие названия чинам и классам должностей, от «канцлера» империи до «коллежского регистратора» захолустной канцелярии.
4. Как «Кюнер» и «Кремер», он учит гимназистов; как Пухта, Савиньи и Блюнчли, он учит студентов.
5. Профессора бегут к немцу.
6. Школяры обучаются «по-немцу».
7. Моды – из Парижа; но душа исключительно и постоянно – «от немца». И наш литературный сентиментализм, и наш литературный романтизм.
8. В «чистую публику», – в казенный театр и даже на бульвар «с музыкой», не пускают «в русском платье». А ученым Эрмитажа было запрещено уставом печатать результаты своих трудов на каком-нибудь языке, кроме немецкого, латинского, французского или английского. На русском язы-

ке, во всяком случае, было запрещено. И только за год до войны в Императорской Академии Художеств догадались учредить кафедру истории русского искусства.

Эти совершенно невероятные факты тем не менее составляют подлинную русскую действительность.

Черная действительность. И она была «официальной», «правительственной». Т. е. против нее был рискован явный протест.

Происходило что-то вроде «крещения в немца». В эпохи – особенно Николая I и Александра II – русских «насиленно загоняли в немецкий хомут». Сюда загоняли учреждения. Сюда загоняли чиновников. Сюда загоняли школы.

«Только что и оставили православную русскую обедню». Этого уж нельзя было изменить. Хотя опять же немецкая штунда прокрадывалась и здесь. Русские крестьяне начали «культивироваться» около немецких колонистов.

Александр III первый рванул руль корабля; повернул его «на сторону». Он был подлинно великий государь. Только теперь опознаются подлинные размеры этого всего только 13-летнего и «мирного» царствования. Увы, в «мире» его содержались большие грозы и бури, нежели даже в бурном царствовании Петра. «Не хочу служить Европе». «Россия не должна служить Европе». «Россия – для русских». Это значило, если не сейчас, то в ближайшем будущем опрокинуть на себя чуть не весь мир. «Как, медведь, – ты убегаешь? ты идешь на меня? А, ведь, я думал – ты убит». Вот вой старого охотника за Россией и русскими».

Ныне царствующий Государь совершенно правильно и неуклонно, последовательно принял на себя «продолжение и дальнейшее развитие царствования Александра III».

Теперешняя война есть следствие лозунга: «Россия для русских». Нужна была физическая борьба, явная, с криками, осязательная, в определенную минуту начавшаяся. А, – «тут дело ясно». И мы воюем.

Мы воюем за освобождение России, покорявшейся медленно два века. Легко ли? Естественно, очень трудно.

Тяжело и фронту. Тяжело и внутри. Внутри приходится больше всего бороться с правительственной рыхлостью, тягучестью, нерешительностью. Мы указали, но еще не доказали, что общество все-таки у нас было мужественнее и патриотичнее правительства. В самом деле, оно создало *славянофильство* в теории, в мышлении, и создало «натуральную школу», «реализм» и «народничество» в литературе, в поэзии (Кольцов, Никитин, Некрасов), в живописи, в музыке и архитектуре. Таких «русских мотивов» в администрации что-то не видно, не слышно. Везде сидит космополитический чиновник, имеющий «патриотизм своего департамента» и не имеющий «патриотизма России». Разлитие русского чувства, русского здравомыслия, ясности ума и доброты души – одна из важных задач нашей години; разлитие и влитие всего этого в механизмы государственной работы, в строй правительственного организма.

И больших и малых дел перед нами очень много. Много для сил и больших, и обыкновенных. Спать никому нельзя. Что этот год не доделаем – нельзя будет вообще никогда делать.

Особенный год. И, поблагодарив Бога, что мы все-таки живем в напряженно-исторические години, войдем смело и спокойно в 1916 год.

С Новым годом, господа! С Новым годом, святая Русь!

СТАРИНКА

«Кирилловской езд 7061 г.». Правдивое сказание о днях запмятных. С примечаниями. А. Приклонский. Петроград. Государственная типография. 68 с.

До сих пор крепко сохраняемый обычай в народе – «ходить ко святым местам», повторяет в себе или, вернее, идет параллельно царским «ездам» по святым местам. Эти «езды», как и народные паломничества, были в одно время трудом, отдыхом (от ежедневности, от колеса ежедневности), выполнением обета, праздником, молитвою, прогулкою, географическим и этнографическим обозрением своих земель и вместе любованием вообще на свет Божий. Все время дышалось чистым, полевым и лесным воздухом; а перед душою и глазом проходило одностильное и разнообразное зрелище «чудес», «святынь» и градов, и монастырей, и торгов, и людей. Понятно, почему и цари и народ любили и любят эти «езды» и «ходы», хождения. Об одном из таковых царских «ездов» записано в Никоновской летописи под 1553-м годом или от сотворения мира 7061:

«Кирилловский езд. Того же лета, месяца мая, поехал царь и великий князь Иван Василиевич всея Руси и с своею царицею и с сыном царевичем Димитрием и з братом князем Юрием Василиевичем помолитися по монастырем: к живоначальной Троице, да оттоле в Дмитров по монастырем, на Песношу к Николе; да тут государь сел в суды в Яхроме-реке, да Яхромоу в Дубну, да был у Пречистья в Медведеве пустыне, да Дубною в Волгу, да был государь в Калязине монастыре у Макария чудотворца, да оттоле на Углич и у Покрова в монастыре, да оттоле на усть-Шексны на Рыбную, да Шексноу вверх к Кириллу чудотворцу; да в Кириллове монастыре государь молебная совершив, учредив братию, да ездил един в Ферапонтов монастырь и по пустыням, а царица великая княгиня была в Кириллове монастыре. И оттоле царь и государь поиде опять Шексноу вниз, да и Волгою вниз на Романов и в Ярославль; и в Ярославле государь был у чудотворцев, да поехал в Ростов и был у чудотворцев, да в Переяславль, к Живоначальной Троице; и приехал государь в Москве месяца июня».

Сия страница летописи бысть как бархатная; не токмо путешествовать, но уже читать узорно, учительно, географично и исторично. Все верховье Волги, с Тверцою, Мологою, Шексною, с Ростовом, Рыбинском, Ярославлем, — уезжено «ездами» царскими и ухожено «ходами» народными и есть та же расширенная Москва, — Москва, выкатившаяся на ближние полянки и рощицы, поля и леса, и малые речки. Тут все «домашнее» для Москвы, согретое ее дыханием, ну и «ученое» ее батогом. Где благочестие — там и строгость, инде — милование, а инде — и взыскание.

Это-то сказание летописи, подробнее изложенное (листы 35–41 подлинника) в «Истории о великом князе Московском» князя А. М. Курбского, ныне г. А. Приклонский переложил в распевец и издал с обширными комментариями и со всем великолепием теперешнего типографского искусства, в удовольствие читателя и, кажется, на пользу школ.

Стихи?

Они заботливы, старательны и вместе текут с внутреннею свободою, с одушевлением. Они хороши, — и если не «поэтичны», то кажется самою темою и сюжетом поэтичность здесь не требуется как непременно. Вот посещение государем у Троицы князя Михаила Ивановича Голицы, отпущенного из долгого плена год назад Жигимонтом Литовским и который теперь оканчивает дни при монастыре:

Государю и мрачной, и узкою
Показалася келья Голицына;
Только очи его, изнуренного,
Лучезарно светились от радости.
И поднявшись с одра, приободренный,
Князь Голица без ропота сказывал,
Как он жил на чужбине, тоскуючи,
Покаянья святого не ведая;
Как кручинился с братом Димитрием,
Преставленья Василья прослышавши;
Как один пережил он товарищей,
По великому гневу Создателя,
И готовится ныне к отшествию...
— Есть отрада и в муках страдания! —
Говорил он, крестом осеняясь:
«В безысходные ночи недремные
Постигаешь другим недоступное...
И вся жизнь на земле быстротечная,
Мне неволей в Литве представляется —
На реках Вавилонских рыданием!
Ждет покоя мой ум немоствующий,
Дожидаюся гласа от Господа:
За лихие оковы литовские.

За лихие страданья недужные
Он воздаст мне свободою вечною.
Восхвали же, душа моя, Господа
За великие милости царские!
Пусть и сын мой, царем возвеличенный,
Не поступится шапкой боярского
На святом государю служении –
Он не презрит заветов Булгаковых.
Покорителя царства Казанского
Воспрославят и внуки и правнуки!
Да сияет чело твое мужеством, –
Красотою Донского и Невского!
В ожидании часа последнего
Зрю тебя, как светило небесное,
Все дивуюсь на сына Васильева»...
И глубокие очи Голицына
Оросились слезой умиления.

Еще немного из другого свидания царя Ивана Васильевича – с Максимом Греком:

Видел царь и Максима премудрого,
При Василье от греков добытого,
И в писанье церковном искусного.
Больше скорби, чем радости, выпало
На высокую долю Максимову:
Он заехал с Афона далекого
На Москву для труда богословского.
По наветам монахов неистовых, –
От делян с Даниилом владыкою,
В вольнодумстве судом уличаемый,
Он полжизни провел в заточении.
Во снегах беспощадной Московии
Вспоминал он отчизну цветущую, –
Вечно синее небо Албании,
Голубую волну Адриатики,
И обитель свою Ватонедову,
Где под многою пылью священной
Неисчетны сокровища книжные...

Это очень хорошо. Свободно по движенью руки и мысли «перелагателя» – в высшей степени заботливо и старательно по выполнению. А пусть-ка «на Рождество к праздничку» купят родители гимназистов и гимназисток эту книжку в подарок; много пользы будет. О широком педагогическом применении книжки позаботится и министерство просвещения (если оно вообще о чем-нибудь заботится).

ЛЕВИТАН И ГЕРШЕНЗОН

Русские пропилен. Том I. Материалы по истории русской мысли и литературы. Собрал и подготовил к печати М. Гершензон. Москва. Издание М. и С. Сабашниковых. 1915. – С портретами В. С. Печерина и Н. М. Сатина. Левитан. Очерк А. А. Ростиславова. Издание Н. И. Бутовской.

«Русские пропилен» М. О. Гершензона как-то коронуют писательскую, издательскую, редактирующую деятельность московского историка и критика русской литературы. Вне всякого сомнения, вне всякого сравнения, он идет первым теперь в многочисленном сонме изыскующих и рассказывающих прошлые судьбы нашей художественной, поэтической и умственной жизни. Он не только впереди всех, но и далеко впереди... Страницы книг его, изящные и спокойные, точно продушены запахом тех липовых садов и парков, где когда-то спорили герои и героини Тургенева. Но этого мало: Гершензон – великий мастер именно книги, ее компоновки, ее состава и, наконец, ее мелочей, где торопливо хочется отметить характер печати и бумаги (необыкновенно важно!). Он понял и догадался, что нельзя же печатать письма Natalie Герцен, Огарева, комментарии к Киреевскому и Чаадаеву, – на глянцевиной торговой бумаге новых книг и брошюр, и печатать их газетными тонкими шрифтами наших дней. Это же нестерпимо!! И вот, после монументальных изданий И. В. Киреевского и Чаадаева, он пишет «Жизнь Печерина», московского профессора начала 40-х годов, бежавшего за границу, перешедшего в католичество и бывшего последние годы жизни «братом милосердия» в Дублине, затем – «Образы прошлого» и, наконец, все увенчивает «Русскими пропилями», два тома коих вышли, и, очевидно, это прекраснейшее издание с безграничными по самому заглавию рамками он может продолжать сколько угодно; и, право, ему нужно «испортить жизнь», чтобы прекратить эти «Пропилени» и перейти к другим темам и задачам: ибо лучше, изящнее этого замысла и плана решительно нельзя ничего придумать. О нем, как о Саллюстии, хочется сказать с Кюнером: «Sallustius est elegantissimus scriptor, ejus libros lego libenter»*. Книги Гершензона по русской литературе нельзя забыть, и никогда не будет времени, когда бы к ним перестали обращаться. До того тут все умно, обдуманно, полно, закончено.

Левитан истории русской литературы. Берешь одну книгу – и залюбовываешься... Берешь другую книгу – и залюбовываешься. Как у Левитана смотришь один пейзаж и восхищаешься, смотришь другой пейзаж и восхищаешься. А все скромно, смиренно, т. е. у Левитана; и все – не крикливо, не выдается – у Гершензона. Оба, и Левитан, и Гершензон, умели схватить как-то са-

* Саллюстий – изящнейший писатель, книги которого читал с удовольствием (лат.).

мый *воздух* России, этот неяркий воздух, не солнечный, этот «обыкновенный ландшафт» и «обыкновенную жизнь» (у Гершензона), которые так присасываются к душе и помнятся гораздо дольше разных необыкновенностей и разных величавостей. Замечателен ум обоих: как Левитан нигде не берет «особенно красивого русского пейзажа» (а ведь такие *есть*), так точно Гершензон как-то обходит или касается лишь изредка «стремнин» русской литературы, Пушкина, Гоголя, Лермонтова... Его любимое место – тени; тенистые аллеи русской литературы, именно – «Пропилен», что-то «предварительное», вводящее в храм, а не самый храм. Мы чувствуем, что Левитан не мог бы написать: «Парк в Павловске», «Озеро с лебедями в Царском Селе». Отчего бы? Ведь так красиво. И это – *есть*, это – *в натуре*. Нет, он непременно возьмет бедное село, деревеньку; и лесок-то – всегда не богатый, не очень видный. Так точно Гершензон не начнет собирать переписку Гоголя, не возьмется издавать «письма Пушкина». Отчего бы? – Оба поймали самую «психею» русской сути, которая, конечно, заключается в «ровностях», в «обыкновенностях», а отнюдь не в горних кручах, не в вершинах. Но эти «обыкновенности» уже собственной работой они как-то возвели в «перл создания», и Россия залюбовалась. Залюбовалась, и, конечно, вековечно останется им благодарна.

Замечательно, что на пейзажах Левитана мы наблюдаем собственно «la nature morte», потому что этот пейзаж всегда – *без человека*. Вот «Весенняя проталинка», ну – и завязло бы там колесо. Обыкновенное русское колесо обыкновенного русского мужика и в обыкновенной русской грязи. Почему нет? Самая обыкновенная русская история. «Прелестная проталинка», – и ругательски ругается среди ее мужик, что «тут-то и утоп». – «Ах... в три погибели ее согни». – Да. Но *c'est mauvais genre**. Как же это передать, как не несколько обезобразив «Проталинку»? Картина будет «уже не та». Уже не «Левитан», а «Репин». Между тем Левитан, конечно, есть Левитан, и репинских «невоздержанностей» он избежал. Поэтому

Эти бедные явления,
Эта тусклая природа

обходятся у него везде без человека, или если «человек» где и попадет, то миниатюрной фигуркой, меньше вершка, так что лица и костюма, а особенно лица – нельзя рассмотреть. Человек может быть, например, рябой, курносый, – и испортит ландшафт. Посему «люди» сокращены или удалены вовсе у Левитана. Без них удобнее, легче, – и «тогда воздух так прозрачен».

Я думаю – стремнин и крупных людей приблизительно по той же причине не берет Гершензон. «На крупном все видно»: а, например, Natalie Герцен, естественно, только прелестна и всегда прелестна. Поди-ка Пушкин: *разберись* во всей этой истории с Дантесом, с бароном Геккерном, с раздраженно-кровавыми письмами Пушкина... Грязь. – Грязь, мука и раздражение.

* дурной вкус (*фр.*).

«Кто прав?» – «Как он дошел до судьбы такой?» Да если в этом «разбираться», то выйдет «испачканный надписями забор», а не «Пропилен» в афинском стиле.

Вдруг «сивухой запахло». В литературе-то? Литература *должна быть благоуханна*, и Саллюстий не только «erat scriptor elegantistimus», – но тот древний Саллюстий и вообще все и всякие Саллюстии, сколько бы еще их со временем ни родилось, все «erunt (будут) elegansissimi», и вообще литература и литературная жизнь «scribenda bene et pie et juste»*. Она «долженствует быть чистой, спокойной и везде должна хорошо пахнуть».

Оба, и Левитан и Гершензон, содержат в себе безотчетную *реакцию* против 60-х годов с тогдашним безумным «реализмом», состоявшим в «вали сюда все». Зачем же «все»?.. Нужно «выбирать». И оба написали – один «избранный пейзаж», а другой – «избранную литературу». Вот секрет обаяния Гершензона (его книги решительно обаятельны). Он не все пишет. Он не обо всем упоминает. Как и у Левитана.

Эти тусклые селенья

– везде поставлены под хороший вечерний свет, спокойный вечерний свет. Они взяты «в лучший час дня», когда печки уже истопились, дыма не идет из труб, трубочист – не нужен, и, с другой стороны, – никто еще не пьян, так как это случается в дурной час ночи. «Дурные часы» исключены у Левитана и Гершензона; и нельзя не сказать, что «Пропилен» Гершензона, будучи точны и верны с подлинной действительностью, тем не менее через устранение «дурных снов русской действительности» (Глеб Успенский, Некрасов, Лесков) как-то очень уже «обафинены» и ближе к Акрополю и Марафону, чем собственно к Москве или к Орловской губернии.

Но все это чуть-чуть заметно. Именно «Пропилен», а не «храм». Храм? И значит, русская «суть»? – Ах, она мучительна. Ах, она страшна. До «Святой Руси» народ дотащился сквозь чернь таких окаянных «труб», с таким «скрежежом зубовным», и стенаниями и вздохами... Они оба, пейзажист и историк, взяли «Власа» вот собирающим копеечки на блюдо для построения «Церкви Божьей». Благочестивый вид и благообразное занятие. Но была история «до этого», и вот на эту «историю» оба накинули покров. Отчего как-то и заключаешь, что Русь не «кровная» им, не «больная сердцу». Ибо «родное»-то сердце всю утробушку раскопает и все «на свет Божий вытащит», да и мало еще – расплачется и даже в слезах самого историка или ландшафтиста «кондрашка хватит».

Это мастерская «стилизация» русского ландшафта и то же истории русской литературы; и еще глубже и основнее – стилизация в себе самом – русского человека, русского писателя, русского историка литературы, русского живописца. Мастерство сказалось в том, что все точно и верно, но все несколько мертво, не оживлено. Нет боли, крика, отчаяния и просветления; не понятно, откуда вышли «русские святые», потому что спрятан, а в сущно-

* сочинительство прекрасно и благочестиво, и справедливо (*лат.*).

сти не разгадан и «русский грешник». Греческие Пропилеи?.. Но у нас были только «проселочные дороги», неудобные и мучительные. Гершензон «что-то такое сделал в воздухе», — написав чарующие строки, страницы и книги, так что множеству русских читателей кажется, что все еще «стоит Греция», с ее великолепными «Пропилеями» и «Парфеноном», и в них как-то заворачивают и даже с ними сливаются и в них переходят наши «проселочные дороги» и довольно обыкновенные «домишки». Стих Тютчева не показался верным или достаточно красивым Гершензону; и он его немного «подправил», выкинув «Христа» в конце и «эллинизировав» в начале.

БОГОСЛОВИЕ В 1915 г.

Богословская литература в 1915 г. не отличалась ни особой производительностью вообще, ни какими-либо частными явлениями выдающегося достоинства и широкого значения. Это и понятно и извинительно по обстоятельствам героически-военного времени, когда ослабевают все другие отвлеченно-теоретические интересы, а сердце всегда находится в трепете то радости, то тревоги... Гораздо более удивительно, что слишком мало богословских откликов на связанные с войной темы и изданий назидательного характера, хотя и Государственная Дума настойчиво обращала внимание духовного ведомства на эту жизненную сторону, обещая всякую поддержку. Эта ответственная миссия принадлежала, прежде всего, непосредственным синодальным органам, в числе которых имеется даже специальный «издательский совет» со всеми полномочиями и средствами для развития самой интенсивной и всесторонней деятельности. К сожалению, как-то помутилось ныне наше церковное течение и в нем начались смутные и смущающие пертурбации, совершенно неблагоприятные богословскому знанию. В этом отношении идет прискорбный и пагубный регресс в сторону принципиального отрицания. Сначала богословская наука лишалась почтения, которое окружало величием особого священно-служительства и являлось мистическим источником неиссякаемого вдохновения; потом она перестала патронироваться простым вниманием, затем уже открыто третируется подчинением контролю, чуждому всякой научности, и, наконец, решительно отвергается как не нужная ни для какого церковного служения и иерархического положения, успешно достигаемых совсем иными путями и средствами. Богословская наука сделалась традиционно-декоративную показностью, которая больше терпит по российской косности, чем даже просто допускается. Не время и не место выяснять весь генезис этого печального явления, и мы лишь констатируем его, чтобы найти здесь хоть сколько-нибудь смягчающую причину синодально-издательской скудости. Может быть, этими общими условиями парализуется и деятельность синодального «издательского совета», который решительно не оправдывает самого своего бытия ни малочисленными и ничтожными листками, ни другими предприятиями, которые слагаются из календаря, неудовлетвори-

тельного даже по специально церковной части, из компиляций и перепечаток давно известных и общедоступных русских изданий, и иногда все упрощается до такой примитивности, что ставится только имя этой фирмы на перевернутых оттисках из синодального журнала, расходящегося, пожалуй, свыше 50 тысяч экземпляров. Видимо, это дерево – кривое и сухое, не имеющее жизненного корня и не обещающее плодов. Но наряду с прочими обязательными духовными изданиями оно занимает место в наших нешироких богословских потребностях и вытесняет оттуда других, убивая их принудительностью своей подписки. Естественно, что результатом такого положения было крушение или подрыв всех частных конкурентов, судя по многим достоверным сведениям. Заслуженный и авторитетный церковно-публицистический еженедельник «Церковный Вестник», принадлежавший академической петроградской корпорации, должен окончательно прекратиться на 41-м году своего существования, не встретив от «могущих» хотя бы сочувственной поддержки; старейший академический журнал «Христианское Чтение», подвизающийся уже 95 лет, ищет помощи для своего продолжения; другие академические органы едва питаются и готовы чуть не погибнуть, несмотря на всяческое саможертвование его участников. Вот и нужно бы направить центральное внимание на развитие и усиление прежних предприятий, засвидетельствованных опытом огромной культурной работы, а не заводить на пагубу прежних и соблазнительное раздражение завистников и зоилот разные обязательные органы, которые ни для кого не авторитетны, без собственного мнения, и не могут достойно функционировать уже по отсутствию жизненных задач и определенных, ясных целей.

Зато там, где последние имеются, дело идет вполне успешно. В этом отношении с прекрасной стороны выделяется «издательская комиссия» при синодальном училищном совете. Призванная удовлетворять потребности церковной школы и внеклассного религиозного чтения, она проявляет кипучую энергию и расширяет свою живую деятельность до самых возможных пределов, давая солидные богословские пособия (например, учебное руководство по Свящ. Писанию проф. о. Д. В. Рождественского) и начав большую серию по ознакомлению с подлинным святоотеческим учением систематическими извлечениями («Вера и жизнь христианская по учению св. отцов и учителей церкви»), каких в этом виде не имеется во всей научной литературе; вышло уже три выпуска (о богопознании, о Свящ. Писании и свящ. предании и о Троице-Боготворении), составленные проф. Н. И. Сагарда. И все другие многочисленные издания этой комиссии всегда благовременны по темам, жизненны по содержанию, общедоступны по изложению и на редкость изящны по внешности.

Из собственно ученых изданий самым значительным является «Сборник статей, принадлежащих бывшим и настоящим членам академической корпорации», «В память столетия (1814–1914) Императорской московской духовной академии» в двух больших томах (Сергиев Посад, 1915 г.), где затронуто

множество разнообразных и важных богословских предметов и получило солидное раскрытие. В области Ветхого Завета наиболее существенным остается продолжение труда проф. П. А. Юнгера по переводу Библии на русский язык с греческого текста LXX-ти, который, во всяком случае, ближе к христианскому воззрению и заслуживает преимущественного внимания (для чего см. и у проф. о. И. Н. Королькова в переписке преосвящ. Феофана); издана сей год в научной обработке Псалтирь (Казань, 1915 г.). Можно еще назвать старательную, но шаблонную диссертацию прот. И. Я. Богоявленского «Значение Иерусалимского храма в ветхозаветной истории еврейского народа» (Петроград, 1915 г.). По Новому Завету всего важнее большое критико-экзегетическое исследование ректора Киевской духовной академии епископа Василия (Богдашевского) о Евангелии от Матфея (Киев, 1915 г.), но так как начало последнего здесь опущено, то весьма пригодным дополнением оказывается интересное истолкование Нагорной Беседы (Матф., гл. 5) проф. С. М. Зарина в двух выпусках (Петроград, 1915 г.), а равно обширное «Экзегетическое исследование» епископа Иннокентия (Кременского) «Нагорная проповедь Христа Спасителя» (Астрахань, 1915 г.). Справедливо отметить ценный для новозаветной эсхатологии (о втором пришествии Христовом, об антихристе и т. п.) труд проф. Н. Н. Глубоковского о втором послании к Феоссалоникийцам (Петроград, 1915 г.), два этюда по изучению послания к Евреям: «Ходатай Нового Завета» (Сергиев Посад, 1915 г.); «Христос и Ангелы» (Петроград, 1915 г.); а частью переводный его трактат о «Греческом новозаветном языке во свете современного языкознания» (Петроград, 1915 г.). В области догматики полезен в разных отношениях, но выделяется не столько оригинальностью, сколько, пожалуй, больше декадентскою искусственностью «опыт мистической идеологии пасхального догмата» (?) проф. А. М. Туберовского, под заглавием «Воскресение Христово» (Сергиев Посад, 1915 г.). Для сравнительного богословия пригодна брошюра проф. А. П. Орлова «Сотериология Ансельма Кентерберийского в связи с антропологическими и христологическими его воззрениями» (Сергиев Посад, 1915 г.), а для исторического изучения догматики ценна диссертация проф. Л. И. Писарева «Очерки из истории христианского вероучения патристического периода», пока в первом томе, обнимающем «век мужей апостольских» (Казань, 1915 г.). По теоретическому богословию важен тщательный «опыт апологетически-этического исследования наместника Александро-Невской лавры епископа Феофана (Тулякова) «Чудо: христианская вера в него и ее оправдание» (Пгд., 1915 г.), но достойны внимания еще издания университетских профессоров — о. Н. М. Боголюбова «Философия религии» (Киев, 1915 г.) и о. И. И. Галахова «О религии» (Томск, 1915 г.), а также редактированная проф. А. А. Бронзовым «Апология христианства» Люгарда (Пгд., 1915 г.). По древней церковной истории научно-солидна работа проф. о. Н. Н. Фетисова об основателе антиохийской богословской школы епископе Диодоре Тарском (Киев, 1915 г.), ценно по внутреннему ана-

лизу и сопоставлениям сочинение проф. С. Л. Епифановича о преп. Максиме Исповеднике и византийском богословии (Киев, 1915 г.), интересна по теме диссертация И. И. Адамова «Св. Амвросий Медиоланский» (Сергиев Посад, 1915 г.). Для собственно византийского периода почтенны: трудолюбивая и богатая основательными данными диссертация проф. Ф. М. Россейкина «Первое правление Фотия, патриарха константинопольского» (Сергиев Посад, 1915 г.), третий том известной «Истории Византии» проф. Ю. А. Кулаковского (Киев, 1915 г.) и труды проф. И. И. Соколова, редактора «Сообщений Императорского Православного Палестинского Общества», о епархиях константинопольской церкви, о современном православном греческом Востоке (оба Пгд., 1915 г.), о вселенских судьях в Византии (Казань, 1915 г.). Для церковно-археологического знания самым большим приобретением является второй том «Иконографии Богоматери» академика Н. П. Кондакова (Пгд., 1915), а для общих его успехов предназначен богато иллюстрированный (417 рисунками) и компетентный семинарский учебник проф. Н. В. Покровского «Церковная археология в связи с историей христианского искусства» (Пгд., 1916). Для литургики полезен труд Ф. Краснорецкого «Сакраментальный элемент в христианском богослужении в первые три века» (Казань, 1915 г.) и отвечает жизненным запросам третий выпуск (Киев, 1915 г.) «Толкового Типикона» проф. М. Н. Скабаллановича. Для морали можно отметить переизданное (хотя, к сожалению, не пересмотренное) «Христианское учение о нравственности» Мартенсена (Пгд., 1915 г.), но к ней же примыкает капитальное и интересное сочинение проф. Л. А. Соколова «Епископ Игнатий Брянчанинов: его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения», в двух больших томах (Киев, 1915 г.). По истории русской церкви, в разных ее отраслях, имеются следующие издания научной важности: Н. И. Серебрянского о древнерусских княжеских житиях (Москва, 1915 г.), проф. архим. Гурия (Степанова) «Очерки по истории распространения христианства среди монгольских племен, т. I: Калмыки» (Казань, 1916 г.), основательная диссертация проф. М. Н. Васильевского о «государственной системе отношений к старообрядческому расколу в царствование императора Николая I» (Казань, 1915 г.), ценные своими богатыми новыми и важными для хлыстовства материалами три громадные тома проф. И. Е. Айвазова «Христовщина» (Пгд., 1915 г.) и удобное для общего ознакомления компилятивное пособие проф. о. Т. И. Буткевича «Обзор русских сект и их толков, с изложением их происхождения, распространения и вероучения и с опровержением последнего» (2-е изд., Пгд., 1915 г.). А в заключение всего приятно упомянуть две работы о достойных русских деятелях — очерк А. Ходзинского об известном профессоре большого и глубокого влияния Памфиле Даниловиче Юркевиче (Харьков, 1915 г.) и симпатично-трогательная книга г-жи М. Б. о недавно почившем (4 ноября 1912 г.) приснопамятном святителе Антонии Вадковском, митрополите петроградском и ладожском (Пгд., 1915 г.).

СТРУВЕ О ДУХОВНОМ СОСЛОВИИ И ДУХОВНОЙ ШКОЛЕ

В последней декабрьской книжке «Русской Мысли» редактор журнала, П. Б. Струве, поместил, хотя несколько запоздало, разбор известной книги – «У Троицы в академии», составленной к столетнему юбилею Московской духовной академии бывшими ее слушателями и посвященной обширным воспоминаниям о сей «млекопитательнице» нашего духовного юношества. Струве, выпускавший до «дней свободы» заграничный журнал «Освобождение» (выходил в Штутгарте), который собою предварял эти «дни свободы», звал их и требовал им «места в России», в последующие годы все более и более отходил от левых – частью оппозиционных и частью революционных групп – и сливался, как симпатиями, так и разумом, с идеями и инстинктами государственного строительства. Но не далее и не правее, точнее – не далее и не глубже. Это он в 90-х годах прошлого века принес к нам на Русь «марксизм», не как одно из многих литературных и общественных течений, в каком виде он и раньше у нас существовал, а как движение исключительное, как «завтрашний день» России и всего мира, с замашками диктаторскими, с замашками на подавление всякого иного образа мыслей, всякого себе противодействия. Всем памятна эта эпоха «беснования о марксизме», когда пылкие курсистки клали на столик «Капитал» Маркса и впереди его – портрет этого противного берлинского жида и зажигали перед портретом восковую свечу, как перед образами в церкви. Это не анекдот, хотя может лишь и редкий случай: о таковой курсистке и ее «марксистской мольбене» мне пришлось услышать от дочери-очевидицы. Теперь все это – покинутые Струве знамена. Но нельзя «без последствий» носить никакое знамя: на руке остается, на всю жизнь отпечатление его... Душа Струве изъедена экономическими и политическими интересами, волнениями, методами; и в особенности все сколько-нибудь мистическое, религиозное – чуждо ему, как «заправскому» медику чужды стихи, музыка и подобное. Но у человека есть душа и есть судьба, – и часто душа с судьбою не сходится. Сложная и в высшей степени интересная судьба Струве все более и более склоняет его в сторону, в которую он никогда не хотел бы ходить, в которой он никогда не думал быть. Дело в том, что среди всяческой трухи экономических и политических воззрений в душу его залетело одно ангельское существо: любовь к России. За многие годы, как я мысленно слежу за ним, я ни разу, ни на минуту и ни в какой час нашей истории не замечал в нем отрицательного, холодного чувства: «Россия – нам не нужна», «что бы ни было с Россией – нам все равно: торжествовали бы лишь наши теоретические убеждения». Россия в ее громадной конкретности всегда господствовала в нем над его личною судьбою, над его частными взглядами и убеждениями, над его, скажу по-своему, ошибками. И тут отнюдь не следует думать, что он только совпал с нашими эмигрантами и вообще «левыми», вдруг «поправевшими» в июле и в августе 1914 года. Ничуть. За несколько месяцев до войны Струве вышел из состава конституционно-демократической партии, в которой был ког-

да-то лидером, а потом долгие годы «пассивно» числился в ней. Еще за год перед этим он вышел из состава совета Религиозно-философских собраний, где начали, по поводу процесса Бейлиса, согласно со всею остальною интеллигенциею распинать Россию, русское правительство, русское, «на своих ногах стоящее» общество... И, наконец, когда грянула война, – приблизительно дня 2 или 3 спустя после объявления ее – появилась июльская книжка «Русской Мысли»: ей предшествовало – в начале книжки, на отдельном листочке – такое горячее и бесповоротное обращение редактора к читателям журнала все позабыть, всякие распри, всякие теоретические споры, и сосредоточиться на одной мысли, на одном желаниии – дать отпор Германии. Тут не было шовинизма, но было горячее чувство России. Это чувство было прекрасно...

Вообще тон поправки Струве, медленного и органического, шаг за шагом и с каким-то внутренним упорством, глубоко отличен от многочисленных «поправок» его сверстников и современников... В самом характере слов его о России слышится чувство именно к России, а не пошлая «партийная тактика», не «соображение политического момента», – не тысяча мотивов, личных и политических. Просто – он любит Россию: и этим сказано все.

И вот он читает «У Троицы в академии», книгу, где поистине не слышится ни один орудийный выстрел, – да, наконец, и книгу, которую, конечно, не взял в руки ни один из многих тысяч его партийных сотоварищей, помощников, друзей... Право, – «Струве, читающий «У Троицы в академии», могло бы составить сюжет превосходной исторической картины, со смыслом не только политическим, но и со смыслом до некоторой степени религиозным... Что такое эта книга и все материи, в ней обсуждаемые, для «маленького Герцена» наших дней, как многие иронически называют Струве? – Тьма, невежество и суеверие. В этой книге и самых материях ее – полное отрицание решительно всего, чем жил Струве, над чем он всю жизнь трудился, чем целую жизнь интересовался, от дней гимназических и вот до старости...

И книга прочитана внимательно; отнюдь не «просмотрена», не перелистована. Ну, и что же? – с замиранием мы спрашиваем себя и в ответ читаем:

«Любопытная книга, которая представляет очень-очень значительный интерес, как сборник материалов по истории русской культуры и литературы.

Одна из интереснейших проблем развития культуры вообще и литературной культуры в частности, каждого народа есть вопрос о роли в ней различных социальных элементов, – о том, как в творчестве культуры и литературы отпечатлевается тот или иной социальный строй.

Всякая культура в значительной мере является созданием вершин культурной лестницы в их взаимодействии с широким народным основанием. Таких вершинных слоев до образования «интеллигенции» в России было два: дворянство и духовенство.

Дворянство дало русской культуре первоклассных деятелей во всех областях, но роль дворянской культуры в особенности велика,

дворянский отпечаток особенно явствен и показателен в литературном творчестве. Пушкин, Лермонтов, Гоголь и великие классики послегоголевского периода суть, конечно, выразители общенациональной культуры, но их в то же время исторически и социально нельзя не «вменить» русскому дворянству.

Менее блестящ, но все-таки многозначителен тот вклад, который в историю русской духовной культуры внесло духовенство как социальный слой и культурный тип».

Вставим здесь заметку, «не замеченную» Струве: духовенство и не звалось так «густо», почти все сплошь, как звалось дворянство, «во все области культуры». Ему был указан определенный угол «культуры», где оно и стояло, где было почти заключено, оставляя который ему было запрещено. Дворянин мог быть всем: офицером, поэтом, музыкантом, живописцем, хозяином, экономистом; мог заниматься всем, от конских заводов до драматического искусства; ему все поприща были открыты, и он был везде желанный гость. Духовенство же всегда было замкнутым, почти замурованным сословием.

Это – одно, что ускользнуло от внимания. Второе не менее важно.

Духовенство всегда строило душу народную и к этой одной заботе было позвано, было допущено. Но какова эта задача? Да обширнейшая и важнее не то что корифеев литературы: «Пушкина, Лермонтова, Гоголя и великих классиков послегоголевского периода», – но и важнее и ценнее всей вообще литературы. Без этого – ничего, без этого – «ни аза», между прочим и в самой литературе. Священник, решительно каждый, на своей «службе» – построил (или если он худ – то «расстроил») что-нибудь в душе народной, в душе сотен и даже тысяч христианских душ, тогда как вот этого исторического дела, дела отнюдь не своего личного, дворянин вовсе не делал, строил ли он конский завод, или писал стихи, или занимал должность действительного статского советника. Священник вечно пашет ниву историческую, – ее одну, ее всегда – и этого не делает член решительно никакого другого сословия. Это очень важно, это нужно постоянно иметь в виду, оценивая и сравнивая «исторические заслуги»...

«Его значение с этой точки зрения еще не оценено, самая научная проблема влияния русского духовенства, как социально-культурной силы в нашем общенациональном развитии, не только не разработана, но даже не прочувствована и потому не поставлена.

Русское духовенство создало особый духовный тип, и этому особому типу принадлежит своя особая роль в русском культурном процессе. Это совершенно ясно ощущается, когда вас любовно вводят и заставляют пристально взглянуться в историю такого организма, как Московская духовная академия. Прежде всего русский «семинар» и «академию» как-то на свой манер и весьма многозначительно вложились в историю русской науки. На этот счет не может быть никаких сомнений.

Но науки и, в особенности философия и история, главные науки, которые ведь культивирует богословская школа, в своих высших про-

явлениях в «национальную литературу». Боссюэт, Гизо, Шеллинг, Гегель, Ницше, Штраус, Ранке, Момзен принадлежат не только филологии и историографии, но и национальной литературе, как общекультурной стихии данного народа.

Своеобразную прелесть такого сборника исторических матерьялов, как тот, который с великим пиететом издали бывшие воспитанники Московской духовной академии, составляет именно то, что здесь мы непосредственно воспринимаем, как духовное просвещение, дело церкви и духовенства, претворяется в национальную культуру. Если А. В. Горский был ученым эрудитом, не создавшим ничего цельного, всю свою жизнь таскавшим «кирпичи» для научного здания, – если Е. Е. Голубинский был ученым исследователем, своего рода Нибуром русской церковной истории, творения которого лишены всякой литературной и даже архитектурной прелести, то В. О. Ключевский – историк, с таким же правом принадлежащий к русской национальной литературе, как и Карамзин, – художественный гений исторического прозрения и изображения. И в то же время Ключевский – первый и единственный подлинно гениальный в русской национальной литературе попович. Так же как Пушкин или Лев Толстой, порождены и вскормлены дворянской стихией той же культуры, так Ключевский создан и воспитан «духовной» или «клирной» стихией той же культуры. По своему своему развитию он нераздельно связан с этой стихией, органически гораздо более связан с нею, чем его предшественник по университетской кафедре и тоже попович – С. М. Соловьев».

Это – в отношении Ключевского – сказано очень хорошо. Ключевский как-то «удался в поповичах», тогда как Соловьев не очень удался; т. е. на Ключевском легло и осталось гораздо больше специфически-духовного, специфически «даже семинарского» отсвета, отблеска, чем сколько лежало на Соловьеве. Кто слушал Ключевского, – помнит, до чего в каждом движении, в каждом даже жесте, и в складе речи, и в тоне голоса он был, что называется, «занесшийся фистулой в небеса дьячок», поющий херувимскую или концертное пение. Красиво, великолепно, исключительно; но думалось всегда: «Этак выводить ноты умеет дьячок на нашем селе».

«СТАРЫЕ ГОДЫ»

Ежемесячник для любителей искусства и старины.
Июль – сентябрь, 1914.

«Старые годы» только что выпустили громадный том – «Гатчина при Павле Петровиче, цесаревиче и императоре». Текст составлен из статей: Н. Лансере. «Архитектура и сады Гатчины» и «По поводу «Павильона Венеры», П. П. Вейнера – «Убранства Гатчинского дворца», А. Трубникова – «Старые портреты старого замка», С. Казнакова – «Павловская Гатчина». Картинное,

портретное и виньеточное убранство книги – обычное «Старых годов», т. е. великолепное по вкусу, выбору, знанию подробностей и пониманию целой эпохи. Почему на времени Павла I, как и Александра I, лежит какое-то особое дворцовое великолепие, какого уже отнюдь не лежит на более сухом, формальном и казенном царствовании Николая Павловича? В чем тут секрет? В Павле I были капризы, а не воля; в Александре I было то упоенное, то меланхолическое безволие. Россия при них формировалась, но еще не сформировалась. Вот это-то, может быть это, и напоило эпоху богатством личного элемента, тем великолепием «придури», без которого жизнь есть слишком дело и слишком не сказка. В двух этих царствованиях, как еще и в царствовании Екатерины II, лежит слишком много сказки, романа, и это сообщает им особенную занимательность и привлекательность. Законы, которые всегда на Руси исполнялись мало, тут решительно не исполнялись, – и все «шло» по ветру, по фантазии, по вдохновению, по героизму. Больше «отличались», чем служили: была какая-то «свалка» событий, а не размеренный «часовой ход» государственной пружины. В самом деле, знаменитое выражение: «Государство есть *машина*» – неприложимо даже и в отдаленной степени к этой эпохе. А машина подавляет дух. И вот хотя русским тех времен было жить как-то «опасливо», но вместе с тем «легко дышалось»... Как в лесу: где можно встретить медведя, однако, большею частью попадаются ягоды. Русские если не «граждане», то обыватели, историки, археологи, художники, очень любят эту эпоху, все о ней рассказывают, все к ней влекутся.

ПРИЗВАНИЕ РУСИ

Еще книга на дорогу нам всем и волнующую сейчас всех русских тему – о будущности России, на основании того, как она слагалась в веках и как гадали об этой будущности лучшие русские люди: «Святая Русь и русское призвание» А. С. Волжского. Но прежде два слова об авторе.

Волжский всегда берет темую рассуждений и описаний как бы дрожащие в воздухе предметы и явления, – в бытии которых есть неуверенность, нетвердость, зыблемость, – надвигающееся «прощай» или зарождающееся «здравствуй». Полного здоровья он никогда не опишет; а болезнь – его тема. Полдень ему не нужен; а вот закат солнца и первые звезды на небе – и он весь трепещет. И сии свойства письма – от писателя: в нем самом есть нетвердость, вечное трепетание; испуг, смешанный с надеждою. Все это – те состояния души, или те свойства души, в которых и зародилось христианство или в ответ которым христианство появилось во всемирной истории. Отсюда литературные его темы – о Чехове, Гаршине, Гл. Ив. Успенском, Ф. М. Достоевском. И религиозные: «В обители преподобного Серафима» и, наконец, только что появившаяся – «Святая Русь и русское призвание». И манера писаний Волжского – коснуться, а не изложить; сделать намек или воскликнуть, а – не доказать. В данной книжке он обозревает «богатырей старших» русского

самосознания – братьев Ивана и Петра Киреевских, А. С. Хомякова, К. Аксакова; и «богатырей младших» – Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева; тоже – Влад. Соловьева. Особенно много горячих страниц посвящено Леонтьеву:

«В холодном мгlistом сумраке, до жестокости строгий, до суровости неприступный, весь скорбный, в черном, с большим железным крестом и тяжелыми веригами под платьем, весь мученически согбенный, с очами опущенными долу, со страдальчески сжатыми тонкими губами, а сердцем нежным-нежным, теплящимся в сокрытости, как лампада у старого иконного лика, – *таким* как бы стоит Леонтьев у Распятия. Весь, со всем борением души, в страстной боли устремленный к Его подножию, готовый все жертвенно сложить здесь, все отдать, все свое унять, все принять от Господа сил... Всем пожертвует, отвергнет все, – себя, свое, – все цветение жизни, всю негу исторической цветистости, которую любит так утонченно, целомудренно-артистически; отдаст и самую дорогую ему сладкую горечь печали бездонной, как море, – красоту несказанную; отвергнется мира, славянства, даже своей собственной России, единственной Руси святой, – не быть бы только изверженным из Церкви Православной, Единоспасающей... С цепкостью гибнущего, гонимый страхом страшным, в очах не закрывающимся, держался он за объективные начала *принудительности* в Византии. Извне – меч, изнутри – крест, до красна накалившее железо *внешней необходимости, принуждения*, внутри расплавляется белым калением вольного страдания, свободы голгофского пути, убеленными одеяниями... Рабство истории дает свободу и силу спасения для личности, умаление выковывает смирение, угнетение – кротость. Принудительность византийских государственных начал не спасает сама по себе, так как духовное не питается от чувственного, но она, принудительность эта, – создает условие личного спасения, пробуждает духовность в мирском, сверхчувственное в чувственном. Разлом дебелисти, чувственной плотяности, благополучной здешности родит касание мирам иным, родит духовную нищету, отверзает двери покаяния. Касание горнему, нездешнему, через распинание дольнего, здешнего, со страстями и похотями, живит страстное Господнее в жизни человеческой, как бы вдальбливает крест в самую грудь, действительно приближая к сердцу стынущему – тайну искушения, правду спасения. Потому-то и мессианизм Леонтьева – весь крестный, страстной, как бы распятый на древе православном, на кресте византизма, а *русская идея* пригвождена к подножию Распятия. Она, святая Русь, обращенная к Византии, как бы молится молитвою благочестивого разбойника: *Памяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое. И слышится оттуда святое-вечное, но как бы и к ней обращенное: Днесь со Мною будеши в раю...*» (стр. 72–73).

Это очень ярко, жарко... И я прибавил бы холодку для членораздельности. Здесь Волжский характеризует не только Леонтьева, но тоном речи, нервами речи характеризует и себя, когда-то социал-демократа и марксиста,

бредшего в мутных волнах революции, а ныне способного или, вернее сказать, вынужденного говорить таким языком и такие слова... Но жизнь наша, обстоятельства нашей жизни таковы же, как тот «встречный», который нас слишком часто посылает «в сторону иную», нежели куда мы первоначально и от юности своей шли...

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ О М. ГОРЬКОМ

В статье Струве о книге «У Троицы в Академии» целиком приведено замечательное суждение В. О. Ключевского о Максиме Горьком. Суждение это приведено в кратком сообщении проф. Е. В. Барсова, которое, по словам Струве, «вполне совпадает по своему общему смыслу с суждениями Ключевского о Горьком, известными из других источников». Эта ремарка Струве, так сказать, уплотняет достоверность и согласие записанных проф. Барсовым выражений Ключевского. А выражения эти достопамятны и, поистине, принадлежат к лучшим ненапечатанным «историко-критическим эпизодам» почившего знаменитого историка.

Вот что рассказывает проф. Барсов:

«Однажды во время моей беседы с В. О. Ключевским о современных литераторах я спросил его:

– А как вы смотрите, Василий Осипович, на Максима Горького и чем вы объясняете успех его произведений?»

Курсивы ниже – везде Барсова – Ключевского:

«– Горький, – ответил Ключевский, – это *пропаганда*, а *пропаганда* – не литература. Горький пришелся по плечу обществу, которое теперь особенно умножается. Это – люди, борющиеся за свое существование, много читающие и работающие над собою этим путем больше, чем учащаяся молодежь, но в них нет никакой устойчивости; они непрерывно хромают на оба колена и подаются под ветром модных учений. Этому слою низменных людей с напряженными потугами на знание и мнящих себя интеллигентами совершенно по плечу творения своего собрата – Горького; в их неразвитых и небрезгливых вкусах блещут талантами и такие его произведения, как снохачество «На плотях» и «Дно» всяких мерзостей, с подкладками нитцшеанства, политиканства и т. п. Если просвещенная публика бросилась видеть в театре это «Дно», то, увидев, никогда больше не пожелает его видеть и в большинстве с омерзением отвернется от него. У Горького вовсе не талант, а одно пыльное воображение.

– Однако, Василий Осипович, Горький известен и за границей, а там его хвалят, – возразил я.

– Если его славят за границей, – отвечал он, – то ведь и там есть отбросы общества, имеющие свои газеты, кои видят в Горьком свои вкусы и кричат о нем.

– Но недаром же, – говорю, – наша Академия Наук хотела возвести Горького в «академики российской словесности».

– Если бы Академия это сделала, – продолжал Василий Осипович, – то в глазах просвещенного общества «по Сеньке была бы и шапка». Академия сама спустилась бы на «Дно» Горького, и здесь, среди оборванцев, с течением времени, явился бы и герой в академическом мундире с проповедью физической силы против морали, социализма против собственности и государственности. Конечно, тогда ликовали бы и рукоплескали герои и любители «Дна», вознося превыше небес российскую Академию Наук; но что показало бы на страницах ее истории это несуразное явление? – Отсутствие элементарного *этического* чувства у академиков нашей эпохи и преклонение перед бойким пером в ущерб науки и действительного таланта.

– Жестоко ваше слово, Василий Осипович, – заметил я, – а ведь, говорят, Горький достал ваши лекции и выучил их наизусть.

– Ну, что ж, – отвечал он, – жаль напрасного труда. Не в коня корм – изучение моих лекций. Горький и после этого остался тем же Горьким, т. е. *пропагандистом*, а не *литератором*».

Как известно, выбор в члены Академии Наук человека, не только не имеющего к наукам никакого отношения, но и враждебного вообще всяким наукам по коренному строю своей души и своих убеждений, – не был утвержден, что послужило поводом к выходу из состава членов Академии Чехова и Короленка, имевших к «наукам» лишь немного больше отношения, нежели Горький. Один хоть окончил гимназию, другой был, по званию, хоть кой-каким врачом. Собственно, ушло из Академии лишь то, что ей всегда было не нужно и «сочленство» чего было с самого же начала диким недоразумением. Как странно и неуместно было бы зачислять химиков, физиков и математиков в состав «журналистов и литераторов», хотя они и пишут в академических журналах, и посему формально суть литераторы, так странно вводить в круг членов Академии Наук таких лиц, которые суть мастера рассказа и художественного вымысла, т. е. чего-то совершенно противоположного, совершенно отрицательного в отношении точного знания.

Сам Струве резко не соглашается с отзывом Ключевского о Горьком, не приводя мотивов несогласия. Но в высшей степени любопытны немногие замечания, которыми он сопровождает характеристику Ключевского, связывая ее с духом сословия, из которого он вышел:

«В цитированном выше явно пристрастном и несправедливом мнении Ключевского о Максиме Горьком, – пишет он, – характерно то отталкивание, которое испытывал от фигуры Горького Ключевский. Несмотря на весь относительный политический радикализм последних годов своей жизни, знаменитый историк от своей среды и ее культуры унаследовал значительную дозу органического консерватизма, которому была чужда, непонятна и прямо претила новизна «босячества», воплотившегося в Горьком. Ведь, Ключевский представлял кость от кости и плоть от плоти русского духовенства и орга-

нически воплощал в себе его традиции, представляющие своеобразное соединение консерватизма с демократизмом. В русском духовенстве и его культуре нет ни грамма аристократизма, столь характерного для духовенства западноевропейского, оно ни в историческом, ни в бытовом отношении не связано с дворянством, но это не мешает ему и его элементам, поскольку они сохраняют свое лицо в культурном и социальном отношениях, хранить также и большой запас консерватизма, правда не похожего вовсе на консерватизм дворянский, но не менее его подлинного».

Эту мысль Струве об отсутствии какого-либо аристократизма у русского народа мне хочется подтвердить достопамятными словами митрополита Антония, сказанными несколькими членам бывших в 1903–1904 годах Религиозно-философских собраний: «Русское духовенство судят так и иначе, но нельзя забыть драгоценной в нем черты: близости его к народу». Эти слова тихого пастыря, сказанные тихим голосом, нельзя забыть как некоего внушения, вместе, зова. Он почти хотел ими сказать, что русское духовенство необходимо, пока оно народно; и еще: что русскому духовенству можно и следует отпустить все его недочеты ввиду сохранения им такой жемчужины, как близость к народу, сходство – даже физическое, физиологическое – с древне-народным обличем, и бытовую и сердечную дружбу к простым русским людям. Струве не точно выразился, говоря о «своеобразном соединении в духовенстве консерватизма с демократизмом». Нет, – не то: ни «консерватизма», ни «демократизма» в духовенстве вовсе нет, а есть – «народность». «Демократизм» Западной Европы – это обновленная народность, – народность, лишенная своей пахучести, своего исторического аромата, «народность», без народных нравов и только с политической программой «в свою (народную) пользу». Струве многого не договорил, а лучше и вернее – он вовсе ничего лучшего и дельного не сказал. Если бы русскому крестьянскому люду, да и сколько-нибудь порядочному мещанству и торговцам предложил: «Не хотите ли вы получить все, стать барами над господами, сесть в барские кресла, получить задаром купеческие богатства, заместить своими людьми чиновничество, знать», и т. д., и т. д., – то настоящий народ от подобной программы отшатнулся бы. Он понял бы совестью и страхом в себе, что его зовут к темной судьбе жены рыбака в сказке «О рыбаке и золотой рыбке», он понял бы, что в предложении содержится зов «взять не свое», и от чужого – отказался бы. Таким образом, «демократическая программа» вовсе чужда народу, – и чужда оттого, что народ – строительная сила в истории, и мнит себя не «сословием», а «Русью». Переходим к духовенству: так и оно, подобно крестьянству, сознает себя «Русью», но с этим оттенком чего-то духовного, умственного, идейного, как специфически ему принадлежащего, принадлежащего ему в отличие от крестьян. Священник говорит крестьянину с некоторою властью, и говорит так именно – прямо, открыто и смело. Почему? Да не князь, не барин, не, наконец, ученый какой-нибудь написал для Руси «Домострой», – для Руси всей, для крестьянства и равно для дво-

рянства, а «московский поп Сильвестр». Наука «как жить», наставление «как жить» идет от священничества, от духовенства, и идет издревле, «с первоначала». Это страшно ярко, это вечно надо помнить; и потому взялся за это не князь и не боярин, а иерей Сильвестр, что так это лежит в самом деле, в самой должности иерейства, в книгах, которые оно читает и по которым оно служит. «Служит»... это опять важно. Вся жизнь священника есть «служение», а служение бывает «по чину», т. е. по порядку, – в гармонии, одно другому наследуя и одно с другим согласуя. Вы видите, откуда порядок, и до какой степени «священник» и «порядок» – вещи неразъединимые. Отсюда-то и проистекает то, что Струве неудачно назвал «консерватизмом». На самом деле в духовенстве вовсе нет никакого «консерватизма», а есть вечно «зижди», как повторение и дальнейший рост в истории Божественного «сотворяю». «И сотворил Бог небо и землю... и все твари... И благословил вся». Это для нас урок маленьким детям на Законе Божием, скоро забываемый, скоро захлестываемый другими впечатлениями. Для священника же это – вся жизнь его. Он вечно держит в уме порядок и должность и чин: без коего – все вообще разрушено, Церкви нет, его самого, священника, – нет. Хаос. А это – «против Бога», это-то и есть отрицание Бога. Струве в одном месте вспоминает о «великом пиетете», с которым написаны все статьи «У Троицы в Академии» и который проникает всех авторов в отношении к этой академии. Вот еще источник того, что он не точно называет у духовенства «консерватизмом». Священник весь стоит на «Писании», и без «Св. Писания» он пропал. Таким образом, «почтение», почитание, – взор, устремленный снизу вверх, – есть молоко, с младенчества впитываемое священником и всеми детьми священническими; без этого опять – «все пропало», «хаос», нет самой жизни. Все – строительное сословие, извечно строительное и до скончания веков строительное. Это не «консерватизм», как какое-то бессмысленное всего решительно «охранение», а активное, живое во всем разыскание доброго, светлого, гармонического, сотворяющего, «созидающего на завтра».

КЛЮЧЕВСКИЙ

(К 75-летию со дня рождения В. О. Ключевского)

... Читал весь вечер Ключевского – о Лермонтове, Нартове, Петре Великом, «Недоросль» Фонвизина и проч. И опять удивлен, и опять восхищен.

Что за ум, вкус и благородство отношения к русской истории. «Оглядываясь кругом» (литература, печать) – думаю, что это – последний русский ум, т. е. последний из великих умов, создавших от Ломоносова до него, вот Ключевского, славу «русского ума», славу – что «русские вообще не глупы». Ибо теперь, в настоящее время, русские решительно как-то глуповаты. Плоски, неинтересны.

Ключевский – полон интереса.

Историки до него, как равно и современные нам теперь, кажутся даже и не историками вовсе. Кажутся каким-то «подготовительным матерьялом». Он есть в сущности первый русский историк. Но мне хочется, от пресыщенности удовольствием, назвать его и «последним историком». Отвертывая страницу за страницей, учась из каждой строки, думаешь: «лучше – не надо». Я даже не хочу, чтобы «лучше Ключевского объясняли историю»: я хочу, чтобы ее непременно объясняли и чувствовали, как Ключевский.

* * *

Даже удивительно, каким образом в такое пошлое время, как наше, мог появиться такой историк. Это его сохранила Троице-Сергиева лавра (долго был там профессором, до приглашения в университет), да (прости добрая память, если ошибаюсь в имени) Евпраксия Ивановна. Говорят, он очень любил свою старушку. Во всяком случае, за Ключевского мы обязаны 1) Церкви, 2) Сергию Радонежскому, 3) Евпраксии Ивановне и 4) студенческой богеме, массе этих «нечесаных», которых он очень любил (рассказы).

* * *

Ключевский – весь благороден. Как он пользуется везде случаем сказать уважение о Болтине, Татищеве и пр. (своих предшественниках).

* * *

Фигуру его на кафедре я помню... Как сейчас... Она вся была прекрасная. Голос писклявый и смелый (бабий). Вертится (двигается) на кафедре... Ни о чем не думает, о слушателях не думает... Творит. И он творил как соловей. Как соловей «с мудростью человека в нем», т. е. как вещая птица.

Мне кажется, если сказать, что Ключевский был «русский историк», то этого недостаточно. Место его выше. Мне сейчас хотелось сказать, что его место «в литературе»: но, в сущности, и этого он выше. Его место среди «замечательных русских людей», или – вооружимся классицизмом – «среди достопамятных людей земли русской»... Это одна из фигур длинного ряда, начатого Ярославом Мудрым, Иоаннами и Василиями, Артамоном Матвеевым, Ордын-Нащекиным, Нартовым, Екатериною, Фонвизиним и Новиковым, Пушкиным, С. М. Соловьевым и – им, Ключевским.

Это – создатели Русской Земли. Ключевский именно не «написал русскую историю», но создавал самую землю русскую, – орудием чего избрал курс лекций.

* * *

Как мало мы от него воспользовались! О, какое бедствие (профессора мне казались недоступными), что я не «попил у него (студентом) чайку»! Бесконечное бы заприметил в нем. Как (студентом) мне всегда хотелось пойти к профессору («боги»). Но боялся. Ведь не помнил хорошенько латинских спряжений. «С такими-то сведениями пойду»...

В дали моей юности какие это три столпа: Буслаев, Ключевский, Тихо-
нравов. Самый рост их и вся фигура как-то достопримечательны и высокодо-
стойны. Теперь я таких людей (фигурою) не вижу. Обыкновенные.

Но договорю: самое слово его (стиль, слог) прекрасны, т. е. везде в уро-
вень с предметом. Он не «отстает от тем», хотя темами этими были Лермон-
тов, Пушкин, Петр. Говорит он везде, как «господин дела». Нет, «господин» к
нему не идет: говорит как друг и отец, как «верноподданный» великих Госу-
дарей своих и как пописатель писателей (о Лермонтове, о Пушкине, о Фонви-
зине). Он еще не победил тою «воюющею собакою» около трона, — тем клевет-
ником около сословий и исторических лиц, впечатление чего дают последую-
щие «историки и публицисты», все эти Бильбасовы, Пыпины, Стасюлеви-
чи, Лемке, — и сколько их там еще есть...

Несчастные...

Но Бог с ними...

* * *

Его место в рядах классической русской литературы, классических русских
умов, поскольку проявлением ума своего они сделали не поступок, а — слово.
Между Карамзиным, коего больше не читают (и читать невозможно), но на него-
ворящий памятник коего никогда не перестанет оглядываться всякий благород-
ный русский человек, как бы далеко ни укатилась наша история и разнообразно
она ни покатила, — и между Львом Толстым с его постоянной (удачною или
неудачною — другой вопрос) заботою о нравственном воспитании русского
народа, возле «нашего наставника» Крылова, певца — Кольцова и его (Клю-
чевск.) семинарская тень. Не смейте улыбнуться. Без «семинарии» русская
история не полна и однобока. Упрямо и могуче топнув, он сказал: «Семина-
рия — не нигилизм. Семинария — не Чернышевский. Те были неучи, чего обо
мне никто не скажет. Талантом я не убожее Чернышевского, и прыткости во
мне не меньше, а ученостью, знанием и наукою я богаче, не только всего «Совре-
менника», но и кумиров его — Бокля, Дрэпера и какие там еще есть. Семинария —
не нигилизм, и в Славяно-греко-латинской академии выучился Ломоносов.

Семинария имеет золотое в себе зернышко, золотую пшеничку, идущую
от Иоаннов Златоустов, от Савватиев и Зосим и всех праведников Русской
Земли. Нет, больше того: и не это еще — главное. От самого Иисуса Христа,
пришедшего грешные спасти, хранится в семинарии луч, и он хранится толь-
ко в семинарии, в университетах его нет, в Петербурге он погас, погас в
чиновничестве и придворной жизни. Но этот дрожащий вечерний луч — он
греет всю Землю Русскую, он просвещает всех, — и это одна Церковь напо-
минает на литургии каждый день:

Свет Христов просвещает всех.

Вот, господа. И этому лучу я остался верен. Пришел в университет — и
верен; избран в ученые академики — и верен. Прославлен в печати, в журна-
листике — и все-таки верен. И не отрекаюсь я и не хочу откаться от темной,

заскоруждой, с гречневой кашей – семинарии, которая «при всей гречневой каше» одна тем не менее стоит не колеблющимся стражем у:

Бессмертия души
Загробной жизни
Памяти Бога
Совести человеческой,

без чего вообще у вас, – и в журналах, и у Боклей, и в придворной жизни, и у чиновничества, – рассыпается все мелкою крупую, которую расклеивают воробьи. Верен и аминь».

* * *

Хорошо теперь Василию Осиповичу. Пошел он со своей бородачочкой и дьячковскими волосами, ковыляющей походкой, «на тот свет», не сняв даже мундира своего «Ведомства». Идет, ничего не думает, точно читает свои «столбцы» (мелкое письмо XVII–XVI века, – разных «приказов»). Без ответа и без страха, с одними столбцами.

И встречает его Господь Иисус Христос словами:

– Верным тебя послал, верным ты возвращаешься. Иди, сын Мой возлюбленный, семинарская голова, – вот тебе и куца заготовлена, и давно дожидается тебя там твоя спутница... Видишь, сияет вся, что остался верным ее друг, и оба вы, верные Мои, теперь загоритесь вечными звездочками на северной части Моего неба, в странах православных и русских».

ЮБИЛЯР

Старейший из сотрудников «Вестника Европы», г. К. Арсеньев, дает в декабрьской книжке этого журнала обзор его истории за 50 лет существования. К книжке приложены и два портрета М. М. Стасюлевича, – основателя журнала: один в старости, в «конце», другой – в цветущем возрасте, в «начале». Лицо, – очень красивое или, во всяком случае, очень правильное, – не дает впечатления резкой индивидуальности. Обыкновенное лицо обыкновенного хорошего человека. На нем нет ни преобладающей страсти, ни преобладающего умоначертания. Лицо до такой степени общечеловеческое, без «русских черточек» в себе, что его легко было бы принять за лицо немецкого профессора или журналиста, за лицо американца, шведа, особенно за лицо швейцарца. Что-то во всяком случае оторванное от «своего», от какой-либо родной почвы; что-то в высшей степени международное, принадлежащее «всем» и «никому». Он основал 50 лет тому назад «журнал науки – политики – литературы», надписав все это красиво славянскою вязью, как подзаголовок под «Вестником Европы», и это не могло всем не понравиться. Всякий схватывал сразу, что «толстый журнал» должен быть именно посвящен вопросам и интересам науки – прежде всего, политики – во-вторых, и литературы – как

некоего общего охвата и красивого увенчания. Именно так русские люди представляли себе всегда задачи крупной журналистики. Наконец, название «Вестника Европы» повторяло в себе название журнального детища Карамзина, — и это связывало настоящее тех шестидесятых годов (1865 год) с самым почтенным из давно прошедших времен: Карамзин, только что вернувшийся из Европы, автор знаменитых «Писем русского путешественника», и Стасюлевич, только что окончивший преподавание всеобщей истории Наследнику Цесаревичу Николаю Александровичу, — оба выступили с журналом одного имени...

Журнал должен был сразу и всем понравиться. И он действительно сразу и всем понравился. Упреков ему ни с какой стороны нельзя было сказать. Он устранял возможность всяких придировок.

«Прекрасное, интересное, спокойное чтение»: чего же еще?

Тут нужно принять во внимание эпоху, когда он явился, — 1865–66 годы. Были только что совершены величайшие реформы, только что было усмирено польское восстание: Россия была вся взволнована, и, кроме взволнованной, не имела другой журналистики. Между тем уже самый труд, как преобразований, так и борьбы с Польшею, вызвал чрезвычайное во всех нервное и умственное утомление, — и нужда отдыха, органическая, неодолимая, лежала в каждом. В это время появление журнала со спокойною программю естественно должно было показаться отрадою для всех. С программю — спокойною, но вместе — прогрессивною, либеральною, творческою, просветительною. Естественно, за журнал взялись все; естественно, на журнал подписались все.

И с тех пор, — в течение 50 лет, — несмотря на ожесточеннейшие нападки на него как с крайней левой стороны, так и с крайней правой стороны, он был самым читаемым журналом и имел читателя самого устойчивого. Он никого не волновал, не заражал, — как «Отечественные Записки» поры Некрасова, Михайловского, Елисеева и Энгельгардта («Письма из деревни»). Никого не ожесточал — как «Русский Вестник» поры Каткова и Леонтьева, Достоевского и Толстого. Но самая эпоха, еще чрезвычайно взволнованная, клонилась к успокоению, шла «скатом», а не «накатом», и «Вестник Европы» читался. Он читался тем стойким русским читателем, который внутри себя желал прежде всего «порядка»: слово и понятие, которое потом выразилось в газете «Порядок», наиболее личном и индивидуальном издании М. М. Стасюлевича в мартовскую пору 1881 года, в пору Лорис-Меликова.

Стасюлевич был глубоко мирный, прогрессивный и просвещенный человек. И к нему тянуло таких же читателей и сотрудников.

К. К. Арсеньев, А. Н. Пыпин, Л. З. Слонимский — все это можно сказать «артисты» на спокойствие: их ничем нельзя было бы возмутить, измучить, заставить кричать, заставить вопить. Это не «вопиющие», а разговаривающие люди, — разговаривающие «урожденно» и непоколебимо. Это совершенно другая категория, другой сорт породы человеческой, нежели, напр., Достоевский, чем, напр., Катков. И вот все «спокойное» поплыло к Стасюлевичу, — наполняя, если не украшая его журнал.

Журнал вообще был без особенных «украшений»... Но читатель и не читал их с мукою, с неперемностью. Читатель «Вестника Европы», – средний и заурядный, либеральный и просвещенный, – хотел просто разумного и просвещенного чтения. Хотел России, «идущей» вперед, а не прыгающей вперед.

Все это Стасюлевич дал, – сумел дать. В обзоре истории журнала К. К. Арсеньев отмечает эпохи борьбы журнала, особенно против «ложноклассической системы образования» графа Д. А. Толстого, – против ограничений суда, и проч. и проч. Все эти борьбы, и еще многие другие, были очень упорны, были многолетни; журнал их «вел» с честью и достоинством. Но все они окончились «не в пользу журнала». Журнал не умел или не мог «ушибить» злого предначертания административной власти, – касалось ли это суда, касалось ли это школы. Он ни разу (ни одного раза!!) не умел привести какого-нибудь такого аргумента или сказать какое-нибудь такое слово, которое взволновало бы всю Россию и заставило власть остановиться. Наконец, и власть ведь все-таки рассуждает. К. К. Арсеньев приводит случаи, – и многочисленные, когда министерство народного просвещения в лице гр. Д. А. Толстого *отвечало* на критику именно его, «Вестника Европы»; отвечало официально и в самом же «Вестнике Европы». «Выждав месячный срок, положенный в законе, – пишет К. К. Арсеньев, – журнал выставлял новые убийственные аргументы». Но, вероятно, они не были «убийственными», так как от них никто не умирал. Классическая система Толстого, конечно, была вредная, и ее легко было разоблачить *в существе*, но именно этого-то журнал и не делал. Он ограничивался остроословием; он нападал (не в изложении К. К. Арсеньева, а *в те годы*, о коих он, как будто, забыл несколько) именно на классицизм, т. е. на романтизм и эллинизм в школе, предлагая и настаивая на правах исключительно «реальных училищ». Опять – училищ не технических, торговых, не разных «специальных», что было, очевидно, нужно, а на *отвлеченно-реальном* образовании, с изгнанием классиков. Это не было нисколько очевидно.

Вообще «оппозиция» «Вестника Европы» никогда не была бурей, а хроникою; была словесным спором, – более словесным, чем деловым. Журнал как будто не добивался победы, а хотел «сделать неприятность» власти, творящей что-то дурное. В нем не было горячего, пылкого сердца, не было – «во что бы то ни стало». И он победы никогда и ни в чем не одержал. И это было вовсе не в существе дела, а это лежало в темпераменте и в духе самого редактора и ближайших его сотрудников, – тех же А. Н. Пыпина, К. К. Арсеньева и Л. З. Слонимского. Их «спокойствие» было хорошо, было исторически нужно; но это было уже «слишком спокойствие».

Судьба журнала и роль его в обществе? Не будучи никогда яркою, она была чрезвычайно полновесною. Эти 50 лет спокойного из месяца в месяц трактования «насушных вопросов» как-то выгладили по-новому умы русского обывателя, или «русского гражданина» – если угодно; они значительно «перефасонили» русского образованного человека и, пожалуй, сыграли преобладающую роль в формировании «русской интеллигенции» и образа «русского интеллигента». В нем есть что-то нерешительное, недело-

витое, непрактичное и говорливое. Он именно «хроника», а не удар. Вечный ритор, говорун и обсуждатель всех тем. Он именно «интеллигент», т. е. «понимающий», и – неделающий, неисполняющий, недостигающий. В нем слабые реальные черты, ему недостает практицизма. С другой стороны, и в мире собственно идей – он не несет в себе удара. Он не ушибает, а только раздражает. И раздражает этой способностью вечно спорить, – и без конца. Опять – «хроника», а не «событие». Это бессилие русского интеллигента сотворить из себя «событие», – как не узнать в нем отражение вечных «хроникеров» М. М. Стасюлевича и поющего ему «50-летнюю славу» К. К. Арсеньева.

«Славы» не было и не могло родиться, но влияние было огромное при его продолжительности, устойчивости и однотонности. «Не мыгьем, так катаньем»: и «Вестник Европы» «катал» 50 лет. Одно из самых больших в Петрограде наводнений, – запомнившихся в истории, – совершилось при ветре до такой степени слабом, что его и не заметили петроградцы. Никто на него не обращал внимания, как вдруг Нева перелила через гранитные брустверы, и река вошла в ужас. Всеобщий ужас – «да ведь и ветра нет?!!» Ветер был небольшой, но он целую неделю дул, не меняя нисколько направления, и надавил воду, как масса на массу. «Поднял воду», целую реку поднял, да какую огромную, многоводную, «взя чуть-чуть». Вообще роль «слабых давлений», но чрезвычайно продолжительных, в истории огромна, в истории – и так же в политике.

М. М. Стасюлевич и огромный за 50 лет сонм его сотрудников мало-помалу «вымочили» русского человека, – как есть «моченые яблоки», «моченая рыба», «моченая селедка». Они немножко рассолили его, отняли из него слишком терпкое, пахучее и специальное. «Русский человек» стал менее русским человеком; он не запоеет о себе «Песню лихача-кудрявича», и о нем вообще не запоеет никто песни. Он как-то не фигурен стал, не яркок. Говорлив и слишком «вообще» образован. Есть национализация, но есть и денационализация. «Вестник Европы» денационализировал своих читателей, и это едва ли «плюс» к его поведению. Но именно *это*, главным образом, *это*, он, по-видимому, ставил «плюсом» в свое поведение. «Красно-сине-белый» русский флаг он продолжительным «пищеварением» переработал во что-то серое, неясное, тусклое. «Тем лучше» – по нему, «тем хуже» – по-моему.

Вкусы расходятся. Не будем спорить о вкусах.

Ему (М. М. Стасюлевичу) недоставало творчества, и он тянул к себе не творческие же силы; тянул «способных», а не талантов. Появление гения, – появление «Преступления и наказания», или «Войны и мира», или «Анны Карениной» решительно размомало бы весь журнал, – разрушило бы его многочисленные и мелкие перегородки, клеточки, все устройство. Каким образом около Достоевского стал бы писать Пыпин, каким образом рядом с Толстым начал бы рассуждать Слонимский? Это невысказано, и этого никогда не случилось. Им пришлось бы замолчать. Но замолчать именно Пыпину и именно Слонимскому труднее, чем кому-нибудь.

И они говорили. Но на страницах «Вестника Европы» не появилось никогда ни Достоевского, ни Толстого.

ИЗ ИСТОРИИ ВОСПИТАНИЯ И УМСТВЕННЫХ ЗАНЯТИЙ † КНЯЗЯ ОЛЕГА КОНСТАНТИНОВИЧА

Я позволю себе еще раз остановить внимание читателей на истории воспитания, роста и умственных занятий погибшего в начале германской войны сына Великого князя Константина Константиновича, Олега Константиновича, содержащейся в книге, посвященной его памяти («Князь Олег». Петроград. 1915 г.).

Без подчеркивания, без выделения, книга дает, однако, понять, что дальновидная педагогическая забота все время хранила детство князя, который был *четвертым* сыном в семье, вдали от сильных дворцовых влияний, в строго обдуманной обстановке или исключительно классных занятий, или внутренних покоев княжеской семьи, или – в быту усадебном, деревенском, провинциальном. Блеск и приемы, торжества и официальность – это все, хотя бы только *как зрелище*, менее всего соответствует внутреннему детскому миру, этой крошечной поверхности детской души, которая не выносит большого солнца, опалается, сжигается и засушивается им. Этого и не было. В самые ранние, доучебные годы, выделяются рассказы его няни, Е. Чернобуровой, которая плела вымыслы и действительность в своих рождественских и пасхальных, вообще около-праздничных, разговорах. Анонимные авторы книги замечают: «В эту же пору самого раннего детства окружающие подметили в князе Олеге первые проблески глубокой вдумчивости, вообще свойственной недюжинным натурам: все, с чем он ни сталкивался, привлекало его внимание и вызывало на размышления. При этом его детский ум наталкивался порою на такие вопросы, которые невольно оставались без ответа, и это, видимо, заставляло уходить в себя и наедине с самим собою пытаться проникнуть в тайны жизни и разгадать ее загадки. Так, например, когда у одного из преподавателей князя умер брат, – конечно, еще не представляя реально самого факта потери близкого существа, но, чувствуя, что в смерти есть что-то страшное, настойчиво спрашивал окружающих: «Как человек умирает? Что он тогда испытывает? Как может остановиться сердце?» И т. д.

Все, довольно многочисленные, преподаватели предметов у князя *были русские*, кроме одного учителя музыки, Г. В. Кюндингера. Ознакомление с миром растений велось под руководством проф. Д. Н. Кайгородова.

На 9-м году впервые князь и его братья узнали русскую деревню. Около этого времени кадеты Симбирского корпуса поднесли детям Великого князя Константина Константиновича, бывшего Главноуправляющим военных учебных заведений в России, разборную модель крестьянского дома, со двором и приспособлениями для домашней скотины. С тех пор «игра в деревню» сделалась любимым времяпрепровождением маленьких князей. Они разбирали и собирали свою любимую избу. И по рассказам няни Чернобуровой, и по «Запискам охотника» Тургенева, – что им читалось по вечерам, – они уже знали уклад деревенской жизни. Но им хотелось узнать все это осознательно, в

действительности. Им мечталось пожить летом в деревне, вместо привычных Павловска и Стрельны. Наконец, весной 1901 года им сказали, что они поедут на дачу в Калужскую губернию, в имение «Нижние Прыски». Радости их не было предела. От этого времени сохранилось письмо девятилетнего князя Олега к матери: «Милая мама! Ты знаешь, что мы посадили огурцы в классной комнате. Они теперь цветут, и показался огурчик. В четверг мы с Мари и Димитрием (Великая княгиня Мария Павловна и Великий князь Димитрий Павлович) пили молоко в Елагином саду, собирали цветы и нашли много фиалок и видели бабочку аврору и траурницу» (красивейшие бабочки северной и средней полосы России, — последняя с черной траурной широкой каймой на краю крыльев; первая — известная *Vanessa aurora*). Весело было путешествие князей с нянею в Калужскую губернию. Но на месте их ждало все-таки разочарование: они поселились в барской усадьбе. Здесь они жили с мая по 2 октября, причем родители пробыли с ними не более месяца. По поводу этого пребывания воспитательница Татианы Константиновны, Олсуфьева, записала в своих воспоминаниях:

«Воспитанный с детства в любви к родине и ко всему русскому, князь Олег с ранних лет стремился из обстановки дворца, города и пригородных местностей, как Стрельна и Павловск, в настоящую привольную русскую деревню, и он был бесконечно счастлив, когда его мечта осуществилась в 1901 году... 4½ месяца была на редкость благодатная погода, и князь Олег имел возможность воспринять всю красоту и поэзию вступающей во все свои права радостной весны, с роскошным ковром благоухающих цветов, с множеством до тех пор ему незнакомых птиц; он видел лето с сенокосом на лугах, жатву и посев озимей, видел и живую золотую осень с носящимися в прозрачном воздухе паутинами, с отлетающими «в теплый край, за синее море» журавлями. Это первое лето, проведенное им в русской деревне, в сердце России, в Калужской губернии, в живописной местности на берегу Жиздры (родная река пишушего), в 3 верстах от Оптиной местности, полной живых воспоминаний о только недавно скончавшемся старце Амвросии, и в 6–8 верстах от созданного этим старцем женского Шамардинского монастыря, в котором он и скончался, наложило, несомненно, глубокий отпечаток на вкусы и характер Олега Константиновича и вложило в его юную впечатлительную душу ту поэтическую любовь к родине во всех ее проявлениях, которою он с годами все более и более проникался. Приехав в «Прыски», он с увлечением наслаждался всем привольем деревенской жизни, с купаньем в чистых струях реки с мягким песчаным дном, с большими прогулками на заливных с заводами и с низкими прудами лугах и в вековом лесу, где так поэтично приютилась пустынька Шамардинского монастыря. Посещение Шамардина было дневною экскурсией маленьких князей. Дорога сюда шла вековым сосновым бором. И все это было полно особенностей, чисто русской прелести и поэзии. В Оптиной, на месте старца Амвросия, сидел другой старец, Иосиф».

Князя здесь носили ситцевые рубахи и часто ходили босиком; свели знакомство с деревенскими ребятами, из которых двое сделали завсегдами их игр. Сильное на них впечатление произвела славная старица Евфросиния, поставленная в Шамардине еще о. Амвросием, и жившая там же сестра Мария, родная сестра Льва Николаевича Толстого, с которой они познакомились. В «Прысках» они увидели те боли, страдания и уродство, каких обычно не видно из дворцов.

Разнообразные волнения, пережитые в «Прысках», вызвали то, что девятилетний князь Олег завел потихоньку себе тетрадочку, на заглавном листе которой старательно выведено детским почерком:

«Я – большой и потому имею мужество.

Я – тут отмечаю, сколько грехов я сделал во весь день...

Отмечаю тут неправду точками, а когда нет неправды, – отмечаю крестиками».

Первая пометка в этой тетрадошке-дневнике сделана 15 ноября 1901 года; и дальнейшие пометки следуют ежедневно до 2 сентября 1903 года. Почти два года. Никакого текста нет. Только точки и крестики. Этот молчаливый «дневник», – дневник Его памяти, – показывает, что крошечный мальчик всыкательно следил за собою: об этом можно судить по многочисленным многоточиям, т. е. «грехам».

Привычка к «дневникам» – всегда позыв к литературе. Он начал «точками», безгласными, безмолвными самоупреками, и продолжал в ближайшие следующие годы словами. Вот записи:

1905 год начало (13-ти лет):

*«У меня очень неприятная вещь: я не могу почти молиться. Мне очень трудно. Я вдумываюсь и очень трудно вдуматься. Я повторяю одно слово или фразу несколько раз. Это у меня отнимает много времени. Я раздражаюсь и устаю. Думаю поговорить с А. М. (воспитатель А. М. Максимов). Он мне помогает, дает советы. Он мне сказал – если трудно молиться, то прочитать одну молитву. Перед молитвой надо представить себе, как Господь говорил – *Отче наш*, надо вообразить, как Иисус Христос сидел на горе и учил. Но когда я выздоровлю, как тогда? (это было время заболевания его сильною корью). Тогда, может быть, пройдет... В некоторых случаях бывает так тяжело. Душа у меня в грехах. Я обдумал некоторые вещи во время болезни. Иногда кажется, что не наследуешь Царствия Божия. Я думаю об этом. Молиться надо: хорошо, что спохватился, а то было бы поздно».*

Кто не только в эти 13 лет, но и старше, – лет в 14–15, – пытался писать «Дневники», тот хорошо знает, как это вообще трудно, т. е. трудно сохранить искренность и правду, простоту и естественность «передачи дела». Передача «дела», факта, случившегося за день, – неодолимо переходит в «рассказ о себе», и тут вкрадываются неизбежные самолюбования, «оправдания себя», «подстегивания себя», поза, кривлянье. Дневник, по-видимому, легчайшая форма писания – на самом деле труднейшая. «Дневник» хорошо выходит в

старости, «когда все кончено»; но именно в юности, в отрочестве, ему невероятно трудно «выйти». Возраст этот, казалось бы, невинный, на самом деле полон *начала пороков*, закрадывающихся в душу со всех сторон, нападающих на нее, штурмующих ее, еще слабенькую, бессильную, неопытную. Именно в 13 лет «всего ломает», лезут в голову фантазии, помыслы, порывы, часто весьма не детские. Вот отчего дневник князя читается с величайшим изумлением, с непрерывным восхищением. Он действительно естествен, прост, правдив и странно серьезен. *Написать лучше его – нельзя*. Это очень большая похвала и идет от человека, имеющего большой опыт «дневников». Риторика, напыщенность, деланность, фальшь и ложь «с самим собою», при полной уверенности, что «Дневник» никому не попадет в руки, – самая обычная вещь. Потом, посмотрите на строение фразы: ни одного периода, нигде периодической речи. Он – только передает, бросает на бумагу, «что заметил» без «извинений» поистине грешной души, – в этом-то именно возрасте неулловимо грешной, тщеславной, гордой, напыщенной, рвущейся и разорванной...

Удивительно.

Вот еще немного:

«Я слишком о себе высокого мнения. Гордым быть не хорошо. Я напишу тут, что я про себя думаю. Я – умный, по душе хороший мальчик, но слишком о себе высокого мнения. У меня талант писать сочинения, талант к музыке, талант к рисованию. Иногда я сам себя обманываю и даже часто. Я иногда закрываю себе руками правду. Я нервный, вспыльчивый, самолюбивый, часто бываю дерзок от вспыльчивости. Я эгоист. Я сердит иногда из-за совсем маленького пустяка. Хочется быть хорошим. У меня есть совесть. Она меня спасает. Я должен ее любить, слушаться, а между тем я часто ее заглушаю. Можно заглушить совесть навеки. Это очень легко. Но без совести человек пропал... Надо прислушиваться к ней. Она иногда забывает человека, если человек забывает ее. (NB. Как удивительно выражено!!) Но не надо забывать совесть. Она для человека – верная спутница. Я теперь читаю «Петербургские шарманщики». Григорович говорит, что у некоторых из них тоже есть совесть. (NB. До чего прелестно по детству.) Верно!!! У каждого, даже дурного человека, совесть заработает, если он ее вспомнит. Каждому человеку дана совесть, но не у каждого она сохранилась... Когда не знаете, как поступить, спросите совесть. Кроме того, говорите всегда правду. Для чего неправда? Вы отвечаете: «Для того, чтобы не узнали». Уверю вас (NB. Уверяет весь мир 14-летний мальчик!), – если теперь не узнали, потом всегда узнается. Сколько раз мне ни приходилось врать, всегда узнавали. Если вы в детстве научились обманывать, то потом вы с трудом отучитесь или совсем не отучитесь. Для человека две главных вещи: совесть и правда. Если человек никогда не будет обманывать, – он счастлив, если человек всегда слушается совести, – он будет хорошим человеком»...

Удивительно. Удивительно все по простоте, ясности и отсутствию всего излишнего. Между тем именно загроможденностью «излишним» страдает этот возраст, рвущийся вперед и строящий перед собою воздушные замки вместо – говоря образами и желаньями князя – «простой деревенской избы». В душе прекрасного Отрока жила именно всегда «простая деревенская изба», незатейливая, нужная, достаточно греющая.

Приведу еще выдержки:

«Я однажды лежал вечером в кровати и прочитал все заповеди Ветхого и Нового Завета. Подумал о моей жизни: могу ли я наследовать Царствие Небесное? И когда я прочитал вторую заповедь Ветхого Завета *не сотвори себе кумира*... то подумал, что верховая езда – мой кумир. Я весь день думаю, будет ли верховая езда, а душу забываю. Я должен заботиться о своей душе. Я должен о ней думать и готовиться к Страшному суду. А я о ней так мало думаю. Можно думать и о верховой езде, но не надо этим злоупотреблять и забывать душу».

Мальчик с такой душой естественно волновался около таинства «исповеди», где все утаенное в «дневниках» должно быть сказано вслух и другому. Князь вписывает в 12-летнем возрасте:

«Я боялся вписать (в «дневник») то, что меня беспокоило, но теперь надо сказать. Я не говорил на исповеди одного греха. Это для меня теперь мученье. Я это скажу на исповеди и грех скажу. Сейчас идем в церковь, но мы не теперь исповедуемся, а вечером. Грехи мои: обманывал, дразнил, был невежлив со старшими, делал дурные вещи, когда знал это, дразнил, передразнивал, со служащими был невежлив. Я непременно все скажу. Вспоминаю молитву Ефрема Сирина. Если бы люди исполняли эту молитву! Мы молимся, чтобы Господь избавил нас от лени, а я что делаю? Лень идти на уроки и готовить их; лень скоро мыться; лень идти на отдых.

Уныние. Сразу, как получу наказание, – всегда уныние.

Любоначалие. Всегда приятно покричать. Никогда Игоря не пускаю командовать.

Целомудрие и смиренномудрие. Разве я целомудрен? Разве я смиренен? Разве я всегда добрый? Разве я всегда хороший? Разве я не бывал невежлив? Разве я не люблю поважничать?»

Нельзя не иметь в виду, что эта внутренняя скромность и постоянные самоукоры маленького князя (всего 12 лет!) должны были пробиваться сквозь твердую, можно сказать, неодолимую стену того неодолимого и уже нисколько от князя не зависящего *внимания, предупредительности, снисхождения* и, увы! угодливости, которою Он был по своему рождению и положению окружен! В книге, Его памяти посвященной, подробно рассказывается, как Он определен был в эти двенадцать лет в Полоцкий кадетский корпус, а «ученье» и «уроки», к его классу относившиеся, проходил в Петроградском Александровском кадетском корпусе. И сколько около этого было возни, забот,

«причитаний», – подарков маленькому князю, телеграмм от начальника корпуса к Великому князю Константину Константиновичу, который ведь был начальником всех в России корпусов. Все это делалось «невольно» и «само собою», и все создавало обстановку в высшей степени неблагоприятную для «самоуко́ров», для самоанализа. Но чистая, на редкость благородная натура мальчика все это одолела. Поистине, ему было труднее в великокняжеской обстановке, чем Робинзону Крузо на необитаемом острове, пробыть в добродетели, скромности и самоупрекам!! Но мальчик пробился! Ключ, бывший у него из сердца, растопил внешность и согрел ее уютом этих заветных дневников. Как хорошо, что они напечатаны. Все русские дети получили в книге Его памяти прекраснейшую воспитательную книгу. И имя и образ князя Олега никогда не забудутся на Руси.

НОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ЛЕТОПИСЬ»

Говоря политическим языком, заглавия русских журналов большею частью скрывают в себе какую-то провокацию: т. е. они получают при «крещении» или рождении имя, ничуть не соответствующее уже решенному («направлению»), а находящееся с ним в резкой противоположности. Таковы были «Отечественные Записки», «Русская Мысль» Лаврова и Гольцева, «Русское Богатство» Михайловского и Короленко, которые были или органами профессорских кругов, или выражением радикально-политической программы, и никакого отношения собственно к «отечественному» и прямо к «русскому». И это сыграло свою крупную роль. Покойный Н. Н. Страхов говаривал мне: «Главная масса читателей и подписчиков «Русской Мысли» – православное духовенство, которое подписывается на журнал ради его патриотического названия, думая в нем найти выражение именно русской мысли, русского образа мысли и зренья... И читают, вовсе не догадываясь о направлении журнала, нисколько его не понимая и если б его открыть прямо – ни малейше ему не сочувствуя». Он не говорил то, что я теперь думаю: «отцы семейств» духовных, действительно, читали «Русскую Мысль» Гольцева с этим благочестивым чувством; но далеко не так воспринимали его «дети» тех же семейств... И в расчет своеобразной литературной провокации входил именно план войти в русские мирные дома с самым благочестивым именем, но совершить там работу далеко не мирного смысла...

«Летопись», новый крупный журнал, начавший выходить с декабря месяца в Петрограде, «при ближайшем участии Максима Горького», который, вероятно, будет скоро назван или будет приниматься как просто журнал Горького, открытый при содействии, помощи и сотрудничестве группы разделяющих горьковские идеалы лиц, – носит это же тихое, киевское название, веющее древностью: и мы уже «по закону провокации» должны ожидать в нем чего-нибудь резко антиисторического, совсем новенького, чего-нибудь

варшавского, шкловского, митавского, – и без допущения хотя бы малейшего запаха старого Киева. Пересмотрев в подробности книжку, мы это и находим. Печать уже широко реагировала на появление нового журнала и подвергла жестокой критике программную статью Максима Горького – «Две души»... В статье этой Горький совершенно отвергает «восточную душу», под которою справедливо подразумевается главным образом русская, вообще, славянская душа, – и высоко поднимает «западную душу», под которою прозрачно светит собственно митавская и данцигская душа, если уж не называть решительно Берлина... Н. А. Бердяев назвал в «Биржевых Ведомостях» это прямолинейное отрицание своей души и погоню за чужою душою чем-то этнографически-первоначальным, подобным тому, как негры отдают свое золото за стеклянные безделушки заморским купцам; но еще полнее и острее ответила в «Утре России» на статью Горького и программу журнала г-жа Анастасия Чеботаревская (г-жа Сологуб):

«Странное существо – русский интеллигент. Все бы ему с кем-то бороться и сражаться, хотя бы на бумаге, – препираться, хотя бы словесно. Вся энергия, которую разумная природа отпускает каждому человеческому существу не слишком чрезмерно, уходит у него на это постоянное боренье, – одоление хотя бы несуществующего врага; вся тратится на разрушение (подчеркнуто автором), на критику, на полемику бумажную и словесную, – ничего не остается на созидание, на строительство и утверждение хотя бы тех крупниц правды, мудрости и красоты, которых только слепой и глухой не видит или не хочет видеть в истории родной страны. Поистине можно сказать, перефразируя слова Вольтера, что если бы у русского интеллигента не было противника для единоборства, он бы его себе избрал, – так велика в нем тоска по крушительству, тяга к обличениям, к какому-то почти садическому самоистязанию, самооплеванию, уничтожению своего, родного, за счет чужого, нноземного... Так, появилась сейчас первая книга нового журнала «Летопись», – журнал скучно-интеллигентского вида, издающийся при ближайшем участии Максима Горького»...

Это так прямо и метко сказано, и самая ценность слов так значительна, – что, без сомнения, тысячи хороших русских рук протянутся, чтобы пожать руку писательнице.

Мне кажется, вот уже много лет, как все, возражающие Горькому, трудятся до известной степени не на тему. Дело уже давно не в Горьком, а в том, кто его окружает. В данном случае, именно в крупном журнале, – это вполне удобно рассмотреть. «Идейная» сторона нашей журналистики всегда выражалась в критике: и вот в 1-й же книге «Летописи» мы находим обширную статью г. Пинкевича «Писарев и естествознание», популяризирующую и без того довольно понятного критика 60-х годов, и среди разных Заземанов, Левинсонов, Шаскольских, Натанов, Венгеровых, Левидовых, – мелкую обширную библиографию, в которой вложены в своем роде «цветочки Франциска Ассизского».

В пространной заметке видного русского социал-демократа В. Базарова разбирается брошюрка в 40 коп. г. Немова: «Идея славянского возрождения», очевидно раздражившая рецензента не видом и значительностью, а самую тему, — и автор пишет о ней:

«Идея славянского возрождения, с такой помпой возвешенная год тому назад кружком московских славянофилов, отцвела, не успевши расцвести. Жизнь сыграла с проповедниками этой идеи одну из самых злых своих шуток. Пока писались, печатались и рассылались по книжным магазинам брошюры на тему: «время за нас», «сама история славянофильствует» и т. п., — коварная история самым решительным образом перестала славянофильствовать. И когда читатель получил возможность познакомиться с произведениями славянофильской музыки, ее самодовольный ликующий тон звучал уже как произвольное, но тем более мутное глумление над действительным ходом событий, производил впечатление неуместного ерничества, какой-то разухабистой арлекинады посреди трагедии»...

Каково? Это об отступлении русских войск из Карпат! Кому горько, а кому сладко. Другьям Максима Горького ни мало не огорчительно подобное «отступление», со всею его мукой, скорбью, — потому что ведь оно обращает в «арлекинаду» ненавистные, и ненавидимые за много лет раньше войны, славянофильские идеи... Не надо и раскрывать скобок, чтобы увидеть прямо сказанные слова, что если война принята за свободу и будущее счастье славян, то сторонники «экономического материализма» и разных берлинских премудростей радуются — когда русские бегут, когда за ними гонятся, на них насаждают и русским нечем отстреляться.

Вот уж поистине «ура-поражение»... Слово пришло на ум, когда в той же рецензии и того же марксиста мы прочитали об «ура-правовереии обычного московского типа» (стр. 399).

Г-н В. Б. в разборе книжки М. Н. Покровского «Очерк истории русской культуры», можно сказать, переменяет «все ценности» русской истории. Кто были злодеями Руси? — Князья. Кто были благодетелями Руси? — Монгольское иго. Не верите? — убедитесь:

«Читатель «Очерка» М. Н. Покровского убеждается, что норманские или «варяжские» князья (в презрительные кавычки поставлено даже привычное и родное слово — «варяги» и заменено отвлеченным и чуждым русскому учебному слуху — «норманы»), — что эти князья менее всего заботились о насаждении государственности среди приднепровских славян, но видели в этих последних лишь (почему? — В. В.) источник прибыльной добычи, и прежде всего (где доказательства?) видели здесь рабов, которых особенно выгодно было сбывать на византийских и других восточных рынках того времени»...

Вот тебе и «жития святых» Киевской Руси... Зато среди татарских баскаков автор книжки и рецензент ее выводит перед нами граждан прогрессивного типа. Слушайте:

«Наоборот, «дикие татарские орды» оказываются не только не опустошителями, но и несомненными основоположниками некоторых форм нашей культуры. Но особенный интерес книжки представляет выяснение той роли, которую играл нам наш городской торговый капитал, сначала в борьбе с феодализмом русским, а затем в дальнейшем усовершенствовании московского единодержавия»...

Ей-ей, это написано. Что Калита, — главное Генрих Блок; его не заметили только такие наивные люди, как Погодин, Соловьев и Карамзин: но Покровский все разрыл, открыл и заново объяснил русскую историю. Теперешний «очерк» его — популяризация, так сказать, «для школ» и «домашнего чтения» ранее вышедшей его же «Русской истории» в пяти томах. Труд монументальный. Никто не слышал об этом новом Ключевском? Напрасно. «М. Н. Покровский, мастерски владеющий оружием историко-матерьялистического анализа, разрушает целый ряд трафаретов, беспощадно уродовавших русскую историю до самого последнего времени. История России в том виде, как ее представляли себе наши ученые XIX века (т. е. Карамзин, Соловьев, Костомаров и Ключевский), — как она и до сих пор еще преподается в школах, казалась глубоко отличною от западноевропейской истории»... Но это опроверг г. Покровский, нашедший уже в Киевской — Московской Руси — сначала феодализм, потом — классовую борьбу, и так все «чин чином», пока не дошло дело до 9 января и шествия Гапона. «Непрерывные успехи Генриха Блока и Карла Маркса».

Третий рецензент, г. Ас-ов сравнивает послереволюционную интеллигенцию с «парусом без ветра».

«Если бы такой парус мог говорить, то он, вероятно, наскзал бы нам много горьких слов о своей невеселой доле. Такому парусу нельзя не посочувствовать, пожелав ему при этом некоторого мужества. Но было бы жестоком заблуждением поверить, будто безветрие продолжится вечно, будто оно обрекло нас болтать всякий пессимистический вздор о том, что мы умерли и вместе с нами погибла и будущность человечества»... (стр. 392).

Где же и искать «будущности», как не в песнях «Буревестника» М. Горького.

Еще в четвертой рецензии, подписанной г. Левитовым, передается, что плоха, сера и тускла новая книжка рассказов г. Л. Добронравова. «Но за всем тем — их нужно прочесть». Почему?

«Рассказы взяты из жизни духовенства. А теперь слишком много места в нашей жизни занимает лицемерное христианство. Ныне это — меч в руках гг. Эрнов, Булгаковых и прочих, борющихся с якобы гнилым атенстическим Западом. Полезно поэтому познакомиться с тем, как этот меч выковывается и кто его кует. Рассказы г. Добронравова вполне дают это знакомство».

Так все и напечатано. Христианства не нужно, а нужен телефон. Что, однако, вы будете говорить по телефону? Роковой вопрос. Если сбросить все духовное, то «по телефону» вам решительно не о чем говорить, как заказать

обед в ресторане, к вечеру – билет в театре и сказать «благодарю» публицисту, который особенно хорошо разделал этих мистиков-славян.

В статье Базарова: «Единство культуры и национализм» о немцах:

«Современный немец, отправляясь на позицию, охотно вспоминает, что он – не только немец, но, сверх того, еще европеец, – и ему легче умереть с сознанием, что он борется не только за отечество, но, сверх того, за высшие интересы цивилизации» (стр. 136–137).

Но это же совершенно противоположно тому, что сами немцы рекламировали о себе именно в связи с войною. Откуда это г. Базаров взял?

И наконец, последнее и самое выразительное – это «плач на реках Вавилонских» о том, отчего само русское общество собственными руками не разломает стены своих школ, своих университетов и других высших учебных заведений, чтобы впустить туда всех беженцев из бывлой черты оседлости. В этой статье, полной плача и ярости, мы собственно и находим разгадку, отчего «телефон», а не «христианство», ради чего «монгольское иго» лучше «киевских князей», зачем надо переделать всю русскую историю, – и вообще откуда весь этот дым, копоть, гарь и вопль в горьковской «Летописи».

Журнал, в лице г. Шаскольского, можно сказать, припирает к стене все русское правительство. Да расправляется и с русским обществом. Цензура зачеркнула некоторые строки статьи, и мы будем цитировать ее с многоточиями, которыми журнал заменил зачеркнутые места:

«Мой очерк кончен. Он показывает –
.....
что даже и «верхи» русского «общества» не умеют на уступках, сделанных Советом Министров при виде физически разрушившейся черты оседлости, настаивать. Моральная вина за еврейский вопрос лежит в России общественные деятели
..... как это ни грустно признать, устраивают даже
..... правительственной уступке тайную или явную обструкцию. Жизнь все-таки возьмет свое. Но остается глубоко грустным то, что в медленном ходе жизни русское «общество» принимает такое бледное и жалкое участие».

Да, бывают обстоятельства, что натиск, нахрап, домогательства сламливают сопротивление даже и официальной власти, которая является «правительством» в данный тяжелый момент исторической жизни. Но общество и верные служители этого самого «правительства» понимают, что оно уступило только силе, уступило засилью: вот причина, что «правительство» встречает «обструкцию» даже среди подчиненных ему чиновников, и уже тем более и свободнее встречает эту обструкцию со стороны ни мало ему не подчиненного общества. Пример этого, – на наш взгляд доблестный пример, дало одно петроградское высшее учебное заведение. Г-н Шаскольский и грозит и требует и занимается бессильным доносительством:

«Совершенно беспримерно поступило в еврейском вопросе одно частное высшее учебное заведение, а именно Петроградский институт высших коммерческих знаний, в преподавательском составе которого встречаются наиболее прогрессивные имена петроградской профессуры, и даже ряд имен еврейских. Совет профессоров института еще весною из-за хлопот о получении полных прав высших заведений по своей инициативе постановил впредь до выравнивания нормы (еще не введенной!) больше евреев не принимать... И вот даже теперь, несмотря на постановление Совета Министров от 10 августа, пользуясь тем, что он частное учебное заведение, институт не отказался от своего поистине недостойного решения и не принимал даже евреев-участников войны.....».

Циркуляр, на который ссылается «Летопись», разрешил «прием во все учебные заведения Империи, в каком бы ведомстве они ни состояли, детей лиц, несущих службу в рядах действующей армии, без различия национальностей и вероисповеданий, вне конкурса и не считаясь с иными существующими ограничениями, хотя бы сверх установленных вакансий или комплекта».

Как известно, циркуляр этот, составленный спешно и нарушавший вековые принципы и правила наших женских институтов, а равно и военной службы, не допускающий евреев в офицерскую службу, был на другой же день опротестован... А то и в Пажеский корпус валом повалили бы дети еврейских банкиров... И это вызывает послание г. Шаскольского.

«Подчиненные министру просвещения и другим министрам учебные чины деятельно повели обструкцию. В газеты проникали сведения, что даже в самых недрах министерства народного просвещения, среди чинов центрального ведомства гнездится оппозиция министру (прямой донос!!), стремящаяся превратить в мертвую букву многие его распоряжения («Речь» от 28 августа, «Министр и чиновники»). Ближайшее будущее, может быть, позволит свести все случаи противодействия на местах и в центре в общую систему. Но достаточно показательным является тот факт, что всю вторую половину августа в министерстве народного просвещения, в дни приема у министра, наблюдалось настоящее нашествие молодых людей из евреев, приходивших с прошениями и жалобами по поводу отказов и затруднений в приеме в учебные заведения. Установилась очередь, причем стоявшие в очереди заполнили не только все коридоры, но стояли даже на Чернышевой площади. Подано было, например за день приема 27 августа, свыше 800 прошений («Речь», 28 августа)... И так было во все дни приема у министра» (стр. 318–319 «Летописи»).

Одна оговорка: почему это, в самом деле, и каким образом русские на войне не выпрашивают себе ничего сверх всегда у них бывшего, никаких «прибавок» и «привилегий», — «льгот» и прочее: а выпрашивают, домогаются, а наконец, и требуют прибавок, льгот и привилегий именно евреям!!

Можно, однако, надеяться, что по 800 прошений за один прием – это утомит и графа Игнатьева. И терпеливый министр свалится от переутомления. «Да, тяжела ты ноша иудейская», может быть, шепчет во сне испуганный 800-прошений министр просвещения.

О БОГЕ

(Из-за океана)

Лежит у меня на сердце поделиться с читателями «Утра России» извлечениями из писем русского военного инженера, который весной минувшего года был срочно командирован в Канаду и затем в Соединенные Штаты к приемке военных снарядов, в составе небольшой комиссии. Образованнейший, деятельный, полный энергии человек, лет тридцати с небольшим. Очень интересно все, что он пишет. Русский глазок, русский ум. В огромной разнице стран, Америки и России, он подсмотрел кое-что любопытное. И это «любопытное» мне хочется донести до читателя. Письма он присылает не по почте, а с «нарочными», ибо, оказывается, сношения между Петроградом и Америкой довольно деятельные. Но не стану рассказывать, а стану излагать письмо – из Нью-Йорка:

«...Хотелось бы, чтобы настоящее письмо вы получили к новому году. Я начал Вам писать к празднику совсем другое письмо, по поводу полученного мною письма от одного моего друга, адвоката из Москвы, которое поразило меня последней своей фразой: «Поймите, если есть Бог, не могут немцы победить!» Много говорит эта искренняя, из души брошенная фраза, – ведь ее бросил наш «интеллигент», давно бросивший Бога. И вот теперь ужасом и болью происходящего он пыгается решить вековечный вопрос – есть или нет Бог?!..

Вся почти безграничная область игры и борьбы идей, на протяжении всей истории, все проблемы морали и религии, – все смятено и бессильно, решительного ответа никто и ничто не дали, – и вот в факте, в эпизоде, залитом кровью, обвитом воплями и грохотом борьбы, в экстазе безумия, в холоде немой смерти человек (а может быть, и человечество) ждет ответа на вопрос: «Есть Бог или нет Бога». И обстановка вопроса таковы, что и сердце чует, и ум понимает, что здесь заключено какое-то неумолимое и единственное острие, к которому придвинута вся ценность, весь смысл нашего существования. «Да!» – и мы живы. «Нет» – и все прощено, все мертво. Нет компромисса, нет пряткой и скользкой уловки изощренного ума, которому стоит оказать – «это трансцендентно», и все делается покойно. И чем больше напутано трансцендентности, тем лучше и покойнее! Нет, тут до ужаса просто – кровь, боль и рядом – «есть Бог или нет Бога?» Я много перечитал и в нашей и в иностранной болтающей и говорящей печати о войне и ее отражениях в уме современников, и только сейчас я вижу это «наше», русское – «война, война, покажи мне Бога!» Ведь в скольких формах кричали и писали о гибе-

ли и ценности культуры, общественности в побежденной немцами или в освобожденной от немцев Европе! А вот он, один, адвокат из Москвы, вспомнил Бога! Тут все дорого, – и то, что «адвокат», и то, что «из Москвы!». И дорого то, что найдено одно слово и перед найденным – все ноль!

И как ни странно звучит дилемма – «или немцы, или Бог», но звук сильный и к сердцу льнет, как благовест.

«Русский интеллигент не печаловавшийся о Боге и вдруг так страстно ощутивший» живой ужас утраты этого Бога, – да ведь это *мы*, все *мы* «с высшим образованием» и «при должности»... И если есть смысл в эти дни года (писано перед Рождеством) вспомнить рождение Божества на земле, то в эти дни нашей жизни постараемся пожелать рождения Божества в нашей душе, потому что в наши дни и против воли, и против «ума холодных наблюдений» почувствуешь, что в этом Божестве наше «быть или не быть».

Это – как предварительное «здравствуйте» моего заатлантического (в данные минуты) друга... И мне захотелось его донести до читателей. Математик, инженер... Посланный за специальной надобностью по крайне ответственному делу, ежеминутно тревожному. Можно сказать: минуты и дни его – как охотника на прицеле: выстрелил, дал промах, и дичи – нет. И в такую минуту, в такие часы, месяцы своей жизни, когда – будем говорить практически – определяется и устанавливается вся будущая карьера человека, наконец, когда делается страшно нужное дело для дорогого отечества, он, весь взволнованный письмом от адвоката (тоже характерно!), говорит о связи войны с нашей верой в Бога! Не характерно ли? Не единственно ли? Об адвокате этом, фамилию которого он не пишет в письме, я понятия не имею. И самого инженера я знаю отдаленно, отнюдь не интимно: он был, до отъезда в Америку раза четыре, – и мы говорили «всякий вздор», не касаясь ни войны, ни религии. Из этого «вздора» я, однако, запомнил одну подробность: он сообщил мне, что, когда война была объявлена или дня за три-четыре перед объявлением ее, хватились о запасах у нас *ртут*и, – и оказалось, что ее имеется всего несколько, немного пудов. Не помню, чем разрешилось дело или как уладилось, только помню же его прибавку: «А вы знаете, что без ртути нельзя сделать ни одного *разрывного* артиллерийского снаряда». Как нас Бог спасает – неведомо. Но явно, что «спасает» и, что значит, что «Бог есть» и еще значит, что «немцы будут побеждены», по идеологии его – его московского друга-адвоката.

Как греки классического периода своей истории, горя в политике мелких своих республик, держали в памяти вечно проблемы своей философии, – держали их на рынках, в торговле, в судах, в театре, – так верно стихия православленной души вечно держит «на прицеле» не только дуло ружья, не только практическую работу, государственную службу, но и «*есть* Бог или Бога – *нет*», как об этом говорит Достоевский, характеризуя в «Братьях Карамазовых» своих «желторотых мальчиков»...

В том же письме он говорит о технической части своей работы. Об этих частях письма – потом.

Г-Н ИГОРЬ ГРАБАРЬ И ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

В Третьяковской картинной галерее в Москве – неблагополучно. Городское управление, естественно, не может в такие дни, как теперешние страдные для всей России дни, взглянуть на знаменитую галерею с тою специальностью внимания, сосредоточенного и безраздельного, с какою она посмотрела бы в другое время на порядки в ней; и ее новый распорядитель, г. Игорь Грабарь, задумал переставить в ней картины по своему пониманию, которое неумовимо смешивается с произволом, чем произвел величайшее волнение среди художников, отражением коего является полученное мною письмо от одного пользующегося всероссийским признанием живописца. Вот оно:

«В московскую городскую думу поступило коллективное заявление художников о порядках в Третьяковской галерее. Не скажете ли вы в «Нов. Времени» о том, что *грех* (курсивы везде автора письма) городу Москве не исполнять заветов своего почетного гражданина П. М. Третьякова.

Завещая Москве и России свой великолепный дар, П. М. Третьяков был до чрезвычайности скромен в своих желаниях. Он просил, ставил в условие сохранить лишь полную неприкосновенность галереи, завещая *не смешивать* его детище со всем тем, что поступит в галерею после его смерти. Город таковое обещание дал, и... не исполнил, а санкционировал произвольное действие Грабаря...

Не уподобился ли гор. Москва здесь «немцу», не обратил ли духовное завещание П. М. Третьякова в «клочок бумаги»?

Мы полагаем, что думская «прогрессивная» партия с ее ставленниками ведет все к *юридическому* спору по духовному завещанию П. М. Третьякова, тогда как следует решать вопрос *нравственный, этический* по отношению воли завещателя и даже – России.

При отсутствии должного контроля думы у общества и нас, художников, не может быть доверия к беспристрастию лиц, стоящих во главе управления галереей, самовластно вершающих ее судьбы.

Известно же, что «жена Цезаря должна быть вне подозрения».

Прошу вас, скажите в «Нов. Врем.» об этом наболевшем деле, об его нравственной, «душевной» обязанности для всех без исключения».

Конечно, это вопрос не сухо юридический, а нравственно юридический, как пишет художник; конечно, московская городская дума имеет перед собою задачу не только вчитаться и «исполнить букву» духовного завещания П. М. Третьякова, – но душевно слиться с его целостною волею, совершенно определенно сказанною в завещании: принять дар жертвователя и сохранить его неприкосновенно...

Тут фарисейничать («буква») нечего, тут надо исполнить душевно и благостно по благой, благородной воле жертвователя. Ведь он *любовался* своею

коллекцию, любовно столько лет *собирая* ее и *сберегая* как зеницу ока; и согласно нашей церкви, зовущей к сохранению *вечной памяти* об умершем человеке, городская дума, если хочет благородствовать около духовного завещания, а не крючкотворствовать около духовного завещания, должна сохранить коллекцию П. М. Третьякова как бы *для вечного из самого гроба любования ею усопшего*, так, как он видел еще ее при жизни... Вот полная мысль и завещавшего и приывших его коллекцию в час приятия: «сохраним! сбережем! не тронем, не переменим!» Конечно, так, а иначе бы он вверил коллекцию не вечному городу, а своим наследникам... Он боялся около коллекции «чужой воли», «чужого преднамерения».

Коллекция должна остаться *в том самом виде*, и даже следовало бы избежать покупки в нее новых картин; или, по крайней мере, для новых приобретений сделать пристройку к зданию галереи, т. е. все-таки галерею имени П. М. Третьякова оставить в прежнем виде и составе. Или, самое большее, что можно допустить, — это покупку в галерею Третьякова картин *той самой русской школы* и приблизительно тех же художников, каких он облюбовал при жизни. Его галерея — очевидно вкусовая, с выбором, — а не как набор или сбор «вообще живописного». Это, очевидно, галерея определенной эпохи русской живописи, — эпохи 60-х, 70-х, 80-х годов... Эпоха царствования Александра II, с ее особым вдохновением, выпуклостью и удачей; с ее талантом, вкусом и даже предрассудками, наконец, — недостатками. Что же, разве жертвователю галереи не мог любить свои недостатки, — как есть у каждого из нас такие? И разве громада его жертвования не закрывает эти крупилы его предрассуждений, — которые в количестве дара незаметны, тонут. Г-н Грабарь может быть с большими ученохудожественными заслугами, но он их выразил в книгах, и потому не позволит он вставлять в свои книги поправки, примечания, перетасовки текста. Но тогда зачем же это моральное «варварство», т. е. «вторжение инородного», он позволяет себе в отношении П. М. Третьякова? Нам кажется, он просто должен отказаться от своей мысли, отказать *сам*, как от чего-то явно неуместного и недозволительного. Ведь что грозит наследию Третьякова, что его собрание будет завалено, закрыто, перестанет почти быть видимо среди новых картин, выбранных по вкусу почти противоположному. П. М. Третьяков будет плакать в могиле.

ОБ ОСТОРОЖНОСТИ ОКОЛО ПОБЕДЫ...

(По поводу Эрзерума)

Есть тихие радости и есть шумные радости. И насколько тихие радости созидательны, настолько шумные радости разрушительны. Думаю так не на основании только того, как «хотелось бы думать», по аппетиту духовному и предрассуждению, а также и на основании тех неодолимых, невольных наблюдений, какие в течение тринадцати лет преподавания в гимназиях мне приходилось делать над исходом битв, сражений, походов, вообще политических предпри-

ятий, в связи *исхода* их с *предварительным* настроением души у военачальников и в массе войска, у государей, у политиков. Это что-то фатальное и единообразное, почти как закон истории, политики и войны: как только шумный восторг о победе, удаче, как только говорливый расчет на то, что «выйдет отлично» и «мы непременно разобьем», так восторженного человека, массу войск, полководца или государя, где-то уже сторожит за недалеким углом неудача, несчастье, «непредвиденность, которая вдруг испортила все расчеты».

Это – наблюдение учителя истории, повторяю, на протяжении длинных лет учебного преподавания, над эпохами всех стран и народов.

Косовская битва и, с другой стороны, Куликовская битва дают для этого разительный пример. Перед Косовом: турки угрюмы, молятся; в стане сербского короля – пиршество, отсутствие всякого сомнения, что «разобьем наголову». Славяне были разбиты.

Куликово поле: у русских тихо, молитвенно, «гадают» по звукам земли, что будет «завтра», гадают с естественным трепетом... Да и как не трепетать хотя бы от мысли, сколько крови будет пролито. Напротив, Мамай вступает с уверенностью о победе в бой. Татары были разбиты.

Упоенное со стороны французов начало войны 1870 года; отсутствие криков «ура» со стороны Германии. Результат известен.

И наконец, в теперешней войне: пусть меня зовут «старым суевером», но несчастье при Сольдау я больше всего приписываю тому поистине грешному и несчастному предрасположению всей России, всего сонма общества, всех сонмов газет, какие сопровождали «головкружительное вторжение» в Восточную Пруссию...

И наконец, к Галиции, когда мы брали крепость за крепостью.

Надо было ликовать в сердце, а мы ликовали на улице.

Не надо этого, господа, не надо. Это опасно. Всякая победа не тверда, если о ней ликуют. И никакое поражение не опасно, если после него в тишине молятся и готовятся.

Тишина – великий, колоссальный залог к успеху.

Кто тих, – и даже тих и немного опечален заранее, – никогда не будет побежден...

Тут чудо и судьбы. Будем верить судьбам. К приведенным примерам приложим Дария и Ксеркса, вторгшихся «с полчищами» упоенно в Грецию: последовали Фермопилы и Марафон, последовало истребление персидского флота при Саламине. Забыл еще «великую армаду», посланную Филиппом II Испанским «на завоевание Англии». Поднялись бури (почему они поднялись? кто их поднял?), и корабли разбились.

Природа, мироздание – любит чудо, неожиданность. И если ожидаешь, что «худо», то выйдет «хорошо», а если ожидаешь, что «все пойдет отлично», то... «кажинный раз на *этом* месте» (Горбунов о перевернувшейся пролетке).

Почему природа хочет «неожиданного»? Господи, но ведь всякое «будущее» есть собственно «роды» природы, «роды» судьбы нашей, нашей истории. Не совершенно ли естественно, что бабушка-Натура запрещает нам знать,

будет ли «мальчик» или «девочка». Что она сердится, когда мы «наверное, рассчитываем»... и в гневе делает «не по-нашему».

Природа любит человека, но любит умного человека.

Она награждает его неведение и тихую молитву «неожиданной радостью». Ведь у православных даже есть икона «Божией Матери *Нечаянной Радости*». Вот какой иконе надо молиться, – и постоянно, а особенно во время войны.

Этого грозного наступающего марта месяца не испортим пустотой общества, газетными шумными столбцами, расчетами по пальцам «наверное».

Будем знать твердо, что в такой сложной войне, как теперешняя, – все «не-наверное»; и, по Фамусову, что – «все врут календари».

Я бы теперь читал мало газет, а просто работал – до изнурения, до пота.

В разговорах наших Россия не нуждается, а в работе страшно нуждается.

Бабушка (Натура) – в трудах, в потугах. Ей, голубушке, трудно. Приличествует молчать или, отойдя в сторонку, – тихо помолиться. «А что Бог даст» – увидим.

Бриллиантик Эрзерума – понятен. Но не шумите никто. Эрзерум – всего «чуть-чуть» на длинном страдном пути. О, как длинен и сложен ведь этот путь.

ИЗ СТАРЫХ ПОРТРЕТОВ

Поминается 25-летие со дня кончины Софьи Васильевны Ковалевской и вместе 65 лет со дня ее рождения (род. 3 января 1850 г., умерла 29 января 1891 г.), знаменитой женщины-математика, умершей в Стокгольме, где она была профессором университета, от гнилостного воспаления легких. Это наиболее крупное имя, наиболее блестящая удача, наиболее поэтическая и привлекательная судьба во всем нашем «женском движении», поднявшемся в 60-х годах прошлого века. И хочется неодолимо сказать несколько слов и о памяти ее, и обо всем этом движении.

Прежде всего кидается в глаза следующее: все эти прекрасные и многозначительные имена поднимаются, так сказать, со «старых почв», из старого уклада жизни, из крепко, «традиционно» сложившихся дворянского, духовного и купеческого сословий. Вне – сословного – ни одного имени. Это есть схема биографии, ни разу не нарушенная: старозаветная, крепкая семья; девушку держат дома, как в тереме; но до нее доходят слухи, что далеко-далеко где-то, за границей, и у нас, в столицах, происходит движение девушек и женщин к свету, учению и свободе. Это они узнают и из книг, из журналов; это узнают, и еще ярче, из случайных встреч. Расходясь с родителями, расходясь ломко, язвенно и мучительно – они вырываются из родительского гнезда и... дальше все понятно и известно. Схема эта нигде не нарушается, но, кажется, нигде до сих пор не отмечено, что пунктом отправления, что местом «вылета» является крепкое сословное гнездо. Против которого и против таких же гнезд, вообще против «сословности» строя жизни и против «замурованности» места воспитания детей, и в частности дочерей, потом направляется вся

жизнь, вся деятельность талантливой исключительной девушки. И вот – слепота: каким образом сами они не обратят внимания, не обратят особенно теперь, когда уже «много воды утекло», когда история «освобождения женщины» длинна и сложна, – что почему-то совершенно не поднимается столь же привлекательных фигур, столько же мужественных и энергических личностей из этих свободных семей, которых теперь уже везде многое множество? Междусловный щепень ничего не выращивает. «Разночинство» – ничего не дает. Свободная семья, где дети растут свободно и без ограничений, дает что-то вялое, безжизненное, дает молодежь во вкусе Арцыбашева и Санина, ищущую удовольствий и не склонную к борьбе. Что это значит? И не содержит ли вопрос об этом – задачу более трудную, чем все те математические проблемы, над которыми работала Софья Васильевна.

Почему она, почему люди ее категории и судьбы никогда над этим не остановились и не обдумали внимательнее того гнезда, из которого сами вылетели. Они его ненавидели – притом, очевидно, довольно сильно. Всю жизнь они положили на отрицание сословий, на отрицание и отвержение вообще социальных «клеток». Да, это были клетки. Но что делать и как обойтись, если только из них вылетают такие орлы, орлицы?

Знаем ли мы хорошо законы и психологию детского роста, детской души? «Нужно, чтобы нигде не теснило» – это крик эпохи, вот уже длящейся 65 лет. Хорошо. Но тогда как же в ребенке, в девушке, в мальчике разовьется сила преодолевать сопротивление, – разовьется самый инстинкт борьбы, самая сласть борьбы. А есть она, эта сладость, и ее узнали люди 60-х годов, ею-то они и окрасились, и зарумянились. И знали ее обильно во всю свою историю англичане, и на ней выросло могущество и красота Англии.

Это – одно.

Другое: замкнутость, «вот еще враг человечества». Суть терема, как и суть монастыря, – некоторое принудительное одиночество, затвор. Но представьте человека, и еще ужаснее (и безжалостнее внутри себя) мальчика, девушку, вечно болтающих и которые, так сказать, вечно живут «на болтовне», будет ли это болтовня подруг и товарищей, друзей и знакомых, гостей дома и т. д.?! Так живут на курсах, в гимназии, в школе вообще: и решительно миллионы теперь «школьного ученичества» тоже дают из себя что-то серое и тусклое, что-то не интересное и не яркое. Неприятный, но – факт. Молчание и затвор отнюдь не отрицают общения, ибо человек-то, пребывающий в затворе, ведь отнюдь не пустой. Он именно – человек, т. е. исполненный внутри себя речей, но которые постоянно подавляются наружным шумом, наружными говорами, отрывками, обрывками чужих речей, без начала и конца, недоговоренных и недослушанных. В молчании эти внутренние речи вырастают, удлиняются, правильно слагаются. В благоприятных обстоятельствах – слагаются в целый мир, распорядителем которого является единственно личность так растущего юноши и девушки.

Это – если мы рассмотрим дело «освободительного движения» с начала. Но его можно рассмотреть еще и с конца – так сказать – прочесть его эпита-

фию. Опровергает ли оно убеждение многих тысяч лет о том, что человечество сотворено в своей мужской части и в своей женской части не по одному плану: одному полу – деятельность, мирской и мировой труд, заботы государства, труд и тягость войны, мир искусства, художества и наук; а другому – призвание воспитывать детей, рождать и воспитывать и быть мужу «помощницей» в трудах его.

Не опровергает.

Каждый знает уже в зоологическом мире, так сказать, псевдоформы, т. е. ложную форму, надетую на существо совсем другой природы. Кит кажется рыбою, а между тем он млекопитающее; летучая мышь имеет самую характерную особенность птиц – крылья; и между тем это – зверек.

Эта псевдоформа есть и во всем женском движении. Это – псевдоженское движение, а по существу и внутренне – мужское же. Нельзя не обратить внимания, до какой степени «не выходит» семья у всех решительно девушек или женщин, сыгравших сколько-нибудь талантливую и значительную роль в «женском движении». Скажут: «Им некогда было предаваться семье». Ну, это инстинкт настолько могущественный и неодолимый, настолько, когда наступит, «расслабляющий человека», что ради его «оставляет человек отца и мать», и не остановился бы, да в бездне случаев и не останавливается, «оставить курсы», «оставить ученую карьеру» и т. д. Естественно было бы: поступила на курсы, полюбила молодого человека, курсе на 2-м, на 3-м вышла замуж; курсов недокончила и стала просто семьянинкой с рождением первого ребенка. Повторяю: так и бывает в бездне случаев, в огромном их большинстве. Но это и суть девушки с «женственностью» в себе, семьянинки по призванию и судьбе, у которых «женское освободительное движение» было собственно «псевдодвижением». Однако вовсе не они являются орлицами в нем. Эти как бы вспорхнули на бессильных крыльях и осели назад, – говоря насмешливым языком (я его, конечно, не разделяю) – в «старое болото семьи и семейственности». Напротив, настоящие, т. е. орлицы, иногда как будто и завязывают семью, но – ненадолго. Это – преходящий роман, случайный роман; в сущности, – роман слабый. Семья у них «не удастся» и фатально не удастся. Да в чем дело? Да в том, что их не с такою силою тянет к себе противоположный пол; тянет, – но немного, и не имеет силы привязать на всю жизнь. И детей много никогда не рождается, разве-разве один, а большею частью – ни одного. Бесплодные, бездетные семьи, притом не удерживающиеся и как семья: муж и жена расходятся, решительно не чувствуя тяготения друг к другу. В чем же дело? Да если девушки с истинною женственностью в себе совершали собственно псевдодвижение, то настоящее женское движение совершают псевдоженщины, с явно выраженной в них мужскою природою, с голосом грубоватым и мужеватым, с резкими жесткими движениями, с хорошими способностями к математике, к физике, к медицине, к политике, к адвокатуре. Это все – псевдоформы «кит, похожий на рыбу и, в сущности, млекопитающее». Это просто мужчина, несколько недовершенный, «пробивает себе дорогу» и устраивает себе «обычную карьеру». Так что тысячи и миллионы женщин, приветствующие «высокота-

лантливому товарищу», всходящего на кафедру или получающего ученую награду, приветствуют именно «товарища», а не «подругу». Ошибка в адресе, который написан с женским окончанием. Напишите его с мужским окончанием – и все объяснится. Бедные женщины, по-настоящему женственные приветствуют мужчину в псевдодорме. Слова Библии о плане сотворения мужчины и о плане сотворения женщины остаются в известной своей силе. Одному дана энергия, другой – красота; одному – деятельность, другому – быть «помощницей» в деятельности и параллельно созидать свой другой совершенно мир: мир нежной семьи, домашнего уютa, домашней поэзии и тепла около детей. А оба вместе, оба именно в разных планах своего сотворения – осуществлять всемирную гармонию, а не всемирный какой-то бесполоый унисон.

София Вас. Ковалевская (по мужу) родилась в аристократической семье Корвин-Крюковских. В кратких биографических воспоминаниях о ней, написанных радикальной рукою, сообщается, что детство ее протекало «в семье, с ног до головы опутанной предрассудками, кодексом стародворянских традиций. Чтобы вырваться из этой семьи на простор научной работы, чтобы только иметь возможность слушать лекции Сеченова, Страннолюбского, Грубера и других тогдашних покровителей этих женских стремлений, нужно было совершить ряд подвигов, нужно было разломить на куски старый, тяжкий быт, путем ли бегства из родительского дома, как это сделала подруга сестер Крюковских, Анна М. Евреинова, впоследствии доктор прав Лейпцигского университета, – или же путем фиктивного брака, на который и пошла сама София Васильевна Ковалевская.

Тогда, в ту эпоху, находилось немало и таких «братьев по духу», как Владимир Онуфриевич Ковалевский (знаменитый впоследствии эмбриолог), соглашавшихся жениться на девушке исключительно для того, чтобы дать ей свободу. Как горестно и одиноко чувствовали себя сестры Крюковские в семье, мы узнаем из «Воспоминаний детства» самой Софьи Вас. Ковалевской. – «В доме нашем, – пишет она, – из периодических журналов получались лишь самые степенные и солидные «Revue des deux mondes» и «Atheneum» из иностранных, «Русский Вестник» – из отечественных. В виде большой уступки духу времени отец мой согласился в нынешнем году подписаться на «Эпоху» Достоевского». Из этих «Воспоминаний детства» мы узнаем, откуда и как докатывались в тихий дворянский уголок, Полибино (Витебской губернии) новые идеи великой эпохи. Сын приходского священника, отца Филиппа, окончив семинарию и радуя отца своим добронравием и послушанием, вдруг сбесился, отказался идти в священники и поступил своекоштным в Петербургский университет. Приезжая на каникулы в тихое Полибино, он давал Анюте Крюковской (сестра Софьи Ковалевской) «Современник», «Русское Слово» – «каждая книжка которых, – вспоминает Ковалевская, – считалась событием у тогдашней молодежи. Однажды он принес сестре Анюте даже нумер запрещенного «Колокола» Герцена. Таким образом, деревенский попovich, сам откуда-то втянувший в себя новые веяния, перекинул эти настроения на молоденьких Крюковских, жадно подхвативших их. И как метко

в дышащих весельем и юмором набросках рисует Соф. Вас. это «преображение» сестры Анюты под влиянием нигилиста-поповича: «Она изменилась даже наружно, стала одеваться просто в черные платья, с гладкими воротниками, и волосы стала зачесывать назад, под сетку. О балах и выездах она говорит теперь с пренебрежением. По утрам она призывает дворовых ребятшек и учит их читать, а встречая на прогулках деревенских баб, останавливает их и подолгу с ними разговаривает. Разговаривать с бабами было еще можно, да и то потихоньку от отца. Но когда преобразенная девушка решила ехать в Петербург, одна, чтобы учиться, отец сильно рассердился и прикрикнул, как на маленькую: «Если ты сама не понимаешь, что долг всякой порядочной девушки жить со своими родителями, пока не выйдет замуж, то спорить с глупой девчонкой я не стану»... Мудрено ли, что при таких семейных условиях единственным выходом был фиктивный брак»...

Ну, и так далее. Совершилось все, как совершилось. Два слова об этих старых альбомах, где залежались старинные карточки-дагерромины девиц и женщин 60-х и начала 70-х годов. Да, это – так. Гладко зачесанные назад волосы, собранные «под сетку», – так и хочется сказать – «под помятую сетку». И – в кринолинах. Платья скромные или черные, или в клетку. Гладкие воротнички. Все так, как описано в милых воспоминаниях Софьи Ковалевской. И вот, разглядывая эти старые портреты и вникая в выражения тех лиц, вздохнешь вздохом Пушкина:

Все минует, все пройдет...

Что пройдет – то станет мило...

Поздние фразы нигилизма, – нигилизма самоупоенного, нигилизма, смещавшегося с евреями, наконец, нигилизма сухополитического, в сущности, не повторяют собою ту первую его фразу, в шестидесятых годах, которую мы чуть-чуть помним, но, все-таки, помним, ибо видели кончик его левым глазом. И вот хочется сказать, что хотя идейно это все было ошибкою, ибо, прежде всего, все было антиисторично, но собственно, как образ и картина, это не было дурно, а иногда бывало и чарующе. Это «преображение Анюты Крюковской» решительно нравится; как и судьба Софьи Ковалевской – привлекательна, как лучшее из приключений Робинзона Крузо. Пусть все ошибочно: но по действию сил все прекрасно.

Есть портретное впечатление, и впечатление истинное, реальное, которое одолевает видную логику. Кое-что из этих прошлых времен я видел, помню, – из стародавних лет, в Симбирске и в Нижнем (70-е годы). И должен сказать, что суровая и презрительная живопись Гончарова и Тургенева («Обрыв», «Отцы и дети», «Новь») решительно не верна именно в художественном, именно в портретном смысле. Не было все так плохо, не было все так грубо; не было все так плоско и бессмысленно. И семинарист-нигилист, и сестры Анюта и Соня в отцовском доме, бурлящие, непокорные, бегущие – это тоже красиво, живо, интересно, наконец, это так же благородно и самоотверженно, как Курбский с Шибановым, бегущие в Ливонскую землю, как

первые путешественники за границу при Петре... Ах, не хочется никакой странички вырывать из родной истории... И пусть будет она вся благословенна.

Все-таки «они» – «мы»...

Все-таки «она» – «наша»...

И все-таки этот реальный факт, это «математическое доказательство»: где же в «Обрыве», «Отцах и детях», «Нови» – Софья Ковалевская, А. П. Философова, Н. П. Сулова и многие, многие еще, целые толпы таких. Их было очень много таких и подобных: и никакого их ответа, отражения – у Гончарова, Тургенева, у Писемского, у Лескова.

Ах, старые альбомы не лгут. Верьте, читатель, больше старым альбوماм, чем старым романам.

ОБ ИТАЛИИ

Ипполит Тэн. Путешествие по Италии. Перевод П. П. Перцова. Том II. Флоренция и Венеция. Москва. Книгоиздательство «Наука». 1916 г. (со множеством рисунков).

Вот и второй том великолепно изданного «Путешествия по Италии» Ипполита Тэна, – книги, которая будет настольною у любителей итальянской культуры, итальянской старины, тамошней жизни, нравов и людей, а по окончании мировой войны, конечно, сделается другом и спутником бесчисленных туристов в Италию... С трудом отрываешься от страниц Тэна: форма частных писем, дающих «отчет о впечатлениях» другу ученого путешественника, захватывает и читателя, приобщает его к друзьям Тэна, – и по страницам книги пробегаешь как бы по почтовым листочкам, написанным тебе и специально для тебя. Это рождает интимность между читателем и автором и в высшей степени согревает самое чтение. Оно легко: а между тем предметы чтения, самые темы писем – бесчисленны, важны, непрерывно волнуют ум и обогащают сведениями. «Выучиваешься» без труда, «образовываешься» без отягощения.

Ум или, точнее, душа Тэна не совсем адекватна предмету. Ленивая, роскошная и несколько развращенная Италия, – развращенная уже нескончаемым историческим опытом, – стоя перед зеркалом этого ума, в высшей степени упорядоченного, корректного, строгого, вооруженного всеми знаниями конца второй половины XIX века («Письма» от 1864 года), – естественно не «надышала» в книгу некоторых своих закулисных тайн, некоторых своих знойных секретов... Тэн никогда не был «гулякой праздных», а это необходимо для полного восприятия Италии. Он всегда трудился, изучал, размышлял. Он аналитик и буржуа-библиотекарь XIX века. Это, конечно, не вполне достаточно. Он в своем путешествии делает «смотреть» этой старой ханже, богомолке и развратнице: и старушка скорее «убегает» от него, нежели «распускается» перед ним. А хорошо, если бы она немножко «распустилась» и поделилась своими «воспоминаниями», из которых многие довольно интересны... Ах, Пушкина бы туда... Он бы все воспринял, полную гамму Италии, и увековечил... Но... ограничимся Тэном.

Лучшие, по крайней мере с наибольшим интересом читаемые, страницы книги те, где он говорит о стране и ее «ландшафте», связывая это с историей городов и отдельных «мест» Италии; где он говорит о населении, его праздности и труде «сейчас». Для нас уже все в Италии половины XIX века передвинулось в прошлое, и занимательно видеть и слышать итальянцев накануне их национального «объединения», в дни Кавура и Гарибальди. Книга полна трепета тех дней, и каждый поймет, как интересно прочитать обо всем этом в частных письмах от очевидца». Затем в книге очевидец «сегодняшнего дня» отходит вдаль, уходит в прошлое, и повествует о временах Сфорца и Макиавелли, строителей Palazzo Vecchio, где теперь помещается великая и необозримая галерея Уффици, и Palazzo Pitti, наполненного несравненными картинами Возрождения и античными статуями... Рассуждения его об искусстве, которые были бы голы и отвлечены без воспроизведения «предметов» речи, переводчик книги, г. П. П. Перцов, сопровождает в своей книге множеством рисунков, фототипий и цинкографий. Вообще в русском чтении книга удобнее, чем как она дана французскому читателю.

Захолустные места Италии, ее маленькие городки, игравшие в Средние века и в эпоху Возрождения громадную, пылкую роль, а ныне умолкнувшие, конечно, представляют величайшую прелесть для туриста... Книга начинается дневником «от Рима до Перуджи» и открывается воспроизведением монастыря Св. Франциска, в Ассизи, и превосходною фрескою Джотто «Св. Франциск Ассизский». Но послушаем, что автор написал «своему другу» в письме от 4 апреля 1864 года.

Он приходит в Ассизи и осматривает монастырь Св. Франциска:

«На вершине обрывистой возвышенности, над двойным рядом аркад, появляется монастырь. У его подножия ручей размывает почву и уносит далеко, и меж песчаных берегов, накатанные глыши. Мы поднимаемся медленно, под палящими лучами солнца, и неожиданно, на конце двора, окаймленного тонкими колоннами, входим в мрак здания... Нет ничего, равного ему: не видав его, нельзя составить себе понятия об искусстве и гении Средних веков. Прибавьте сюда Данта и «Fioretti» («Цветочки») св. Франциска, – вот шедевры мистического христианства. – Здесь три церкви, одна над другой, все расположенные над гробницей св. Франциска. Поверх почитаемых останков того, кого простой народ до сих пор считает живым и лишь погруженным в молитву в глубине недоступной пещеры, возвышается и пышно расцвело, подобно каменной раке, это здание. Нижняя церковь представляет темный, как гробница, склеп, куда спускаются с факелами. Паломники пробираются вдоль влажных стен и ощупью касаются решетки. За нею находится гробница, – в бледном меркнувшем свете, подобном загробному. Несколько медных светильников, почти без огня, горят здесь неугасимо, как звезды, тонушие в мрачных глубинах. Копоть ползет по сводам, и тяжелый дух свечей смешивается с запахом пещеры. Сторож поправляет свой факел, и эта внезапная вспышка в жуткой темноте, над мертвыми костями, подобна видению

Данта. Вот таинственная гробница Святого, который из темницы липкой земли созерцает пришествие Спасителя в неизреченном свете.

Но что нельзя описать словами, – это средний храм, длинный и низкий, как печной душник, поддерживаемый небольшими круглыми аркадами, которые сгибаются в полутьме, – покорное смирение, заставляющее вошедшего невольно склонить колено. Темно-лазурная облицовка с красными полосами, усеянными золотыми звездами, великолепная ткань орнаментов, изящных закружений и перевитий, листвы и разнообразных фигурок, покрывает арки и потолок своей гармонической пестротой; глаз упивается ею; целое царство форм и цветов живет на этих сводах; я отдам за этот подвал все римские церкви. Ни древность, ни Возрождение не понимали этого могущества множественности: классическое искусство действует простотой, искусство готическое – изобилием; одно берет за образец ствол дерева, другое – целое дерево, со всею пышностью его листвы. Здесь – целый мир, как в живом лесу, и каждый предмет сложен и завершен, как живое явление: вот кресла хора, обремененные и испещренные резьбой; дальше – великолепная витая лестница, чеканные решетки, изящная мраморная кафедра... Там и сям тянутся вверх ростки тончайших колонн, или нагромождение каменных безделушек в фантастическом беспорядке, или, наконец, среди лабиринта расцвеченной листвы – обилие аскетических изображений в венчиках старого почерневшего золота. Все это мелькает перед глазами, среди черного блеска деревянной резьбы, в свете гаснущего пурпура, между тем как во входные двери падает сноп золотых стрел заходящего солнца, – точно павлин развернул свое оперение.

Это – две церкви, одна над другой; и еще над ними – третья, «столь же блистательная, воздушная и ликующая, насколько средняя была низка и сурова». Тэн говорит, что архитектор, по-видимому, имел в виду «в этих трех святых местах представить три мира: там, внизу, – смертную тень и страх адской гибели; по середине – страстное волнение христианина, который в молитве и борьбе полон упования, среди земных испытаний; и сверху – радость и ослепительное сияние рая.

Как-то даже странно, дико читать об этом в наш век позитивизма и естествознания, – «когда даже изобрели телефон» и культура достигла апогея. «Куда нам стремиться? Мы всего достигли!» А, читатель? Не достигли ли мы маленького балаганчика в ледяной пустыне, где, правда, весело сейчас, собралась хорошая компания, «вот и Эдисон, и Маркс», но который сорвет с оснований поднимающийся ветер, и мы увидим вдруг тот ужасный мрак, среди которого на самом деле находимся.

Книга Тэна, – которая в ознакомлении с Италией сыграет у нас классическую роль, – на самом деле, внутренне и тайно, не совсем хороша. Строгий врач у постели умирающего гения – это не совсем то, что надо. Хочется исповедника, хочется человека соответственной натуры. Я беру назад слово, неосторожно сорвавшееся у меня выше, – «ханжа». Да, было и ханжество. Но была и вера, гений, святость, – ибо цивилизации растут только на таком

основани. Ах, никакой библиотекарь не уловит вздохов умирающего! Но Тэн «в границах XIX века» все-таки сказал наилучшее, что могло быть сказано об Италии в этом веке. И сотни, и тысячи людей прочтут его страницы везде с почтительностью и местами с восхищением.

ЦАРЬ СРЕДИ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

Государственная Дума пережила величайший исторический момент, вполне соответствующий необъятному размеру переживаемых миром событий, в которых России суждено играть величайшую роль.

Русский Царь, Своею Державною волею призвавший народных представителей для участия в законодательных трудах, вчера впервые переступил пороги законодательной палаты, Сам пришел помолиться с народными избранниками перед предстоящим им тяжелым и ответственным законодательным трудом, благословить их на этот труд, пожелать им от Царского сердца успеха, столь необходимого для горячо любимой родины.

Единение Царя с народом еще раз было проявлено в необычной силе и значимости.

Накануне еще никто ничего не знал, и ожидалось обычное открытие думских занятий, шли обычные толки и предположения. Утром вчера председатель Совета Министров известил председателя Государственной Думы, что его Величество Государь Император посетит Таврический дворец и придет к молебну перед началом думских занятий.

Известие это мгновенно облетело депутатов, и с 12 ч. дня залы Таврического дворца заполнились депутатами, закипели особым радостным оживлением и нетерпеливым ожиданием.

В Таврический дворец прибыло много членов Государственного Совета, прибыл затем Совет Министров с председателем Б. В. Штюмером во главе.

– Прошу господ депутатов в круглый зал, непосредственно примыкающий ко входу в Таврический дворец, – громко провозгласил М. В. Родзянко и направился к общему депутатскому входу в зал, так как было известно, что Государь Император выразил желание прибыть в Думу не с министерского, а с общего депутатского подъезда.

Несколько минут спустя у входа в Таврический дворец грянуло восторженное «ура», прокатилось по всем залам и могуче зазвучало и внизу среди депутатов, членов Государственного Совета и служащих Государственной Думы, и наверху на хорах, густо заполненных собравшейся на открытие сессии публики. Государь шел под этими немолчными кликами, милостиво отвечая на поклоны депутатов в сопровождении великого князя Михаила Александровича, министра Императорского Двора гр. Фредерикса, дворцового коменданта свиты г.-м. Воейкова и дежурного флигель-адъютанта Свечина.

Восторженные крики смолкли, когда Государь остановился перед аналоем, где уже ждало в полном облачении духовенство церкви Таврического дворца, – и немедленно начался молебен.

«Спаси, Господи...» было подхвачено всем залом, и общий молитвенный зов о победе и за Царя, глубоко волнует и подчиняет себе все, казалось, вылетел из единой груди и единого молящегося о России сердца.

Дружно присоединился зал и к Царскому многолетию.

Святою тишиною и необъятным молитвенным порывом повеяло, когда зазвучало: «вечная память» и Царь вместе с народными избранниками благоговейно опустился на колени, прося о вечной памяти тем, кто положил свой живот за Царя и отечество на необъятном жертвеннике нынешней войны.

По окончании молебствия Его Величество милостиво беседовал с председателем Государственной Думы, затем удостоил своего приветствия послов союзных держав, находившихся здесь же в среде депутатов.

Все глаза были устремлены внутрь круга, образованного депутатами, мгновенно установилась чуткая тишина, когда Государь сделал движение, показавшее желание Его Величества обратиться с милостивыми словами к народным избранникам. Государь сказал:

«Мне отрадно было вместе с вами вознести Господу Богу благодарственные молитвы за дарованную Им нашей дорогой России и нашей доблестной армии на Кавказе славную победу.

Счастливы также находиться посреди вас и посреди верного моего народа, представителями которого вы здесь являетесь.

Призывая благословение Божие на предстоящие вам труды, в особенности в такую тяжкую годину, твердо верую, что все вы и каждый из вас внесете в основу ответственной перед Родиной и Мною вашей работы весь свой опыт, все свое знание местных условий и всю свою горячую любовь к нашему отечеству, руководствуясь исключительно ею в трудах своих.

Любовь эта всегда будет помогать вам и служить путеводною звездой в исполнении вами долга перед Родиной и Мною.

От всей души желаю Государственной Думе плодотворных трудов и всякого успеха».

Громовое «ура» покрыло слова Государя.

Председатель Государственной Думы голосом, в котором отражалось настроение переживаемой исторической минуты, приветствовал Царя следующими словами:

«Ваше Императорское Величество. Глубоко и радостно взволнованные, мы все верноподданные ваши члены Государственной Думы, внимали знаменательным словам своего Государя.

Какая радость нам, какое счастье; наш русский Царь здесь, среди нас. Великий Государь. В тяжкую годину еще сильнее закрепили Вы сегодня то единение Ваше с верным Своим народом, которое нас выведет на верную стезю победы.

Да благословит Вас Господь Всевышний.

Да здравствует великий Государь всея Руси».

«Ура» вновь гремит после слов М. В. Родзянка, затем из этого хаоса звуков вырастает стройная гармония народного гимна, подхваченная всеми при-

сутствующими. Вновь гремит «ура». М. В. Родзянко делает знак депутатам, и они устремляются в зал заседаний на свои места.

Его Величество, сопровождаемый председателем Государственной Думы, появляется в зале заседаний, войдя через средний вход для депутатов, встреченный громовым «ура», под немолчные звуки «ура» проходит через весь зал между депутатскими скамьями, останавливается впереди председательского места и, обернувшись лицом к залу, милостиво отвечает на восторженные приветствия, немолчно несущиеся с депутатских скамей, из лож для публики и дипломатического корпуса.

Из зала заседаний Государь проследовал в находящийся рядом полуциркульный зал, где внес свое имя в «золотую» книгу Государственной Думы, куда собственноручно вписывают свои имена Августейшие гости законодательной палаты.

Из полуциркульного зала Государь Император проследовал через стенографический отдел, где находились чины канцелярии Государственной Думы, удостоив некоторых из них в военной форме и с боевыми знаками отличия милостивых распросов. Далее, окруженный депутатами, через Екатерининский зал Государь проследовал к выходу и уже в дверях дворца еще раз, прощаясь с депутатами, пожелал им успеха в законодательных трудах.

Депутаты хлынули толпой на подъезд Думы, и царский автомобиль отъехал от подъезда Таврического дворца под громовое «ура».

Великий князь Михаил Александрович остался в Таврическом дворце, вернулся с подъезда вместе с председателем Гос. Думы и его товарищем С. Т. Варун-Секретом и проследовал в кабинет председателя Гос. Думы, где провел время, беседуя с С. Т. Варун-Секретом и товарищем министра внутренних дел, бывшим товарищем председателя Гос. Думы кн. В. М. Волконским, до начала заседания. Во время заседания его императорское высочество находился в ложе Высочайших особ.

ЧТО РАЗУМЕЛОСЬ САМО СОБОЮ...

Иногда дать резкую, яркую формулу какой-нибудь мысли, которая у всех на уме, набросать яркий образ фигуры, которая давно уже давит, как кошмар, на общее воображение, значит, оказать услугу обществу или данному текущему историческому моменту. В Петрограде много говорят о двух памфлетах Н. Я. Абрамовича. Автор книг: «Художники и мыслители», «Творчество и жизнь», «Лермонтов, Гончаров и Тургенев» посвящает... первый памфлет московской газете «Русское Слово», второй памфлет – «Улица современной литературы».

Не правда ли, страничка критики на газету? Да, но давно было пора оглянуться на положение вещей. Раз газета выходит в количестве 150 000–200 000 номеров ежедневно, – явно, что она является «утренним классным преподаванием» для такого колоссального количества учеников, о каком никогда не

мечтало ни одно учебное заведение мира и которое одолевает действие какой угодно школы, гимназии, университета...

Одолевает действие самой классической, самой современной книги. Одолевает действие Пушкина...

Одолевает потому уже, что это читается «сегодня», а Пушкин читался и приводил в восторг «вчера». Но для читателя газета – всегда «сегодня» и «о сегодняшнем дне». У нее совершенно нет «вчера». И «сегодня» газеты льется вечно, неудержимо. Невообразимо, потрясающе, если остановиться и вдуматься. Это – каскад впечатлений, мыслей и впечатлений – если и не глубоких, то настолько постоянных и частых, что ему решительно не в силах противиться «обыкновенная душа человека», душа слабая, усталая, наконец, душа недалекая. Ведь газету «все читают»... И эта душа «всех», эта «общая душа», естественно, – есть душа очень обыкновенная...

Капля точит камень: вот эпитафия к истории всех газет мира.

Итак, «Русское Слово»... Эти 200 000 капель, ежедневно «точащих», по крайней мере, миллион человеческих голов (чтение газеты в семьях, в клубах, в товарищеских кружках). Конечно, критике давно было пора заняться этим явлением. Если это и не «факт литературы», то «факт общественный в связи с литературой», такой колоссальной значительности, около которого бледнеют самые явления литературы. Пушкин утонул в лучах «Русского Слова», как луна бледнеет в заре солнца.

Организатором, дельцом и вдохновителем «Русского Слова» явился «великий Влас», – как иногда называют Власа Михайловича Дорошевича люди своего, и не только своего, кружка, одни – с подобострастием, другие – с иронией, – личность с нажимом и расплывчато-гениальная.

Пишущему строки эти он говорил:

«Мысль моя о газете, требование мое от газеты, – чтоб она была Афинскою площадью... Вот идет Сократ и учит, вокруг его – толпа учеников... Здесь одни речи, один строй мысли, свои темы, свои предметы устремлений... Но это – уголок, и небольшой уголок площади, хотя, может быть, здесь и совершается самое ценное. Площадь – и базар, где торгуют, и разыгрывается скандал, откуда несутся крики. Это – жизнь Афин, которая «не по учебнику» была груба и резка, как всякая живая жизнь. Еще в третьем углу собираются воины вокруг полководца, и в четвертом месте политический авантюрист строит свои планы и осуществляет интригу. Чтобы газета давала чтение философу, ученому, учителю народной школы, офицеру, купцу, – всем, целому народу».

Я слушал. Но подумывал: «Для этого надо было родиться в Афинах, а не прийти из Одессы. Да и в Афинах не было книгопечатания: книгопечатание, и в частности – газеты, появилось «как раз к нашему времени».

Но речь его была умна, широка, одушевлена. Г. Абрамович освещает дело несколько односторонне и однобоко, без внутренней души. У Дороше-

вича, несомненно, была «душа» в организации дела, но, увы, душа наша получает «преломление» в своих вождениях. Так случилось и с мыслью Дорошевича. Г. Абрамович удивляется:

«Тон «Русского Слова» – жизнерадостный, крепкий, уверенный. В нем нет академизма, сухости. С другой стороны, будем справедливы, в нем нет типичной «желтизны», смакования убийств и пожаров, скандалов и обывательских драм, которые типичны для известной части столичной прессы. Но ведь «Русское Слово» определенно претендует на конкретное и общественное значение. Не забудем, что в списке его постоянных сотрудников мы находим людей очень определенного политического служения, как Горький, как Жилкин; культурного служения, как Мережковский, Философов, Петров... Чудовищно и характерно то, что этот газетный левиафан проглотил и переварил этих деятелей литературы и общественности, подчинил их голос общему своему тону, заставил служить своим рыночным целям, своему тучному брюху...»

Повторяю, тут именно «преломляющее» действие среды... Вот свидетельство:

Раз Дорошевич прямо вскочил в разговоре со мною: я упомянул о *чрезвычайной дешевизне* газеты (что-то, кажется, семь рублей в год) и сказал: «Отчего Сытин не повысит плату? Давать такую массу материала, такой объем, – значит почти едва сводить концы с концами, ибо плата за газету не оплачивает печатания и бумаги». Я удивлялся, зная, что издатель Сытин не может приносить материальных жертв литературному интересу. Вскочив, Дорошевич воскликнул:

– Сытин меня ненавидит!.. Я знаю это!.. Он требует повышения платы. Но я сказал, что откажусь от редактирования, если он на рубль повысит годовую стоимость! Рубль для простого бедного человека много значит. Газета не будет народным училищем, а «чистую публику» я не хочу учить.

Это очень характерно, очень показательно. Вполне уверен, что он ошибался насчет Сытина, который его вовсе не «ненавидел», а только не хотел разоряться на деле ради непонятных для него интересов, которые, по уровню образования, он видит лишь издали и «вообще». Я не доверяю тысяче рассказов об его («Власа») горькой и прогорелой судьбе в пору одесских и ранних московских странствий – об его будто бы цинизме, отсутствии у него убеждений и т. п. и т. п., и проч. Я беру все это охапкою и «перекладываю на другую сторону», не всматриваясь, не вслушиваясь: для меня как в Сытине, «фабриканте книгопечатного дела», равного коему нет даже в средоточии германской книжной производительности, в Лейпциге (при почти полной безграмотности Сытина), так и в «великом Власе» с его очерками Сахалина, Иерусалима, Индии и «тутошной грязи» есть нечто гениальное (в обоих), а, следовательно, внутри обоих есть какое-то «крыло», их несущее, – ну, несущее «черт знает куда», но – вдаль, и – далеко, т. е. есть энтузиазм, вдохновение, ураган, а вовсе не пошлое и подлое ползание «в целях одной

наживы». И «Русское Слово», в том смысле *понижения культуры*, как его объясняет г. Абрамович, вышло не из центра, а из периферии дела, не от вдохновителей, а скорее от кривизны улиц, по коим волочится вообще современная цивилизация, и, пожалуй, от странного сброда, где соединились экс-священник Григорий Петров, экс-декадент Мережковский, экс-эстет Философов и вечный «корреспондент с поля битв», даже во время мира, В. И. Немирович-Данченко... Когда мне объяснял Дорошевич увлекавшую его идею об афинской «агора» (площади), я улыбался внутри себя и цитировал мысленно из «Братьев разбойников» Пушкина:

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
Из хат, из келий, из темниц
Они стеклися для стяжаний...
Здесь цель одна для всех сердец...

Я чувствовал, – в мечте своей Дорошевич был наивен, и он, для всех такой «прожженный», был, в сущности, наивнее тихого ученого романиста Д. С. Мережковского, который устраивал свой роман из царствования Александра I: за три дня до появления его в книжке «Русской Мысли» – у Дорошевича – Сытина в «Русском Слове» и, спустя месяц или два, – в отдельном издании у М. О. Вольфа, и получал за одну и ту же вещь, бесцветную и bestолковую, трижды гонорар: 1) с Сытина, 2) с Струве (редактор «Русской Мысли»), 3) с Вольфа. Дело в страшном положении литературы, литераторов; дело в том, что не Сытин обошел Мережковского, а Мережковский обошел Сытина, и вся вообще «афинская агора» обошла «могучего Власа», принеся ему не ценное из произведений своего духа, не характерное и выразительное в себе, а «последнее» в себе, те общие фразы и общее фразёрство, какое у каждого литератора остается, когда работа и многие работы кончены, сделаны. Вот этот мусор, щебень своей души, лишь литературную фразеологию «за подписью известного имени» и за огромный гонорар они приносили Сытину и Дорошевичу, разрушив их «агора» и на месте ее установив просто московский рынок на парижский лад, вещь грубую, плоскую и пошлую.

Все объединились, соединились и обесцветились. Г. Абрамович изумленно восклицает: «Разве, в самом деле, слышим на столбцах этой газеты голос Горького?.. Ведь это даже не получалось. Это какое-то слабое пицание, слабое попискивание, тем не менее на столбцах этой газеты крупным и четким шрифтом набрано (анонс на завтра) – «Горький». Ведь это им до известной степени знамя. И оно – тоже там».

«Анонсы», я уверен, идут отнюдь не от Дорошевича и не от Сытина, а от фактического будничного его редактора – Ф. И. Благова, человека простодушного и незлобивого, зятя Сытина. «Анонсы» ему нравятся, это его вкус, совершенно бесхитростный и, как ему кажется, красивый. Помню противное и смешное впечатление, какое они на меня делали, и, без сомнения, они отчасти способствовали умозаключениям г. Абрамовича, совершенно не-

правильным. Дело «Русского Слова», картина «Русского Слова» сложилась фатально, неожиданно и автономно: она сложилась из наивности Дорошевича и Сытина, – пусть, в общем, и «прожженных», но в данном пункте наивных, – и из действительно «прожженного» отношения к этой богатой газете, короче – к купцу Сытину, в общем тихих и в других местах идеалистичных писателей.

И дело получилось огромное, скверное, кабацкое. Запахло трактиром. Но оно запахло именно в этом соединении и от этого соединения. В душе Дорошевича не было отнюдь мысли дать трактир; с другой стороны, литераторы эти нигде не пишут так плоско и бесцветно, как в «Русском Слове», и отнюдь это не происходит от давления редакционной цензуры, которое ни на Мережковском, ни на Философове, ни на Горьком нисколько не лежит. Дело все вышло «само собою»: Горький говорил, как Горький в «Русском Богатстве», Философов и Мережковский говорили, как «сами» и как «именно они», в «Мире Искусства» и в «Новом Пути». К Сытину же и Дорошевичу они приходят взять, а не дать:

Они стеклися для стяжаний,
Здесь цель одна для всех сердец.

Это – фатум, которого не могут переступить именно Дорошевич и Сытин. Зачем же они богаты, не бедны? Что же у них, в прошлом или теперь, есть или было интимно-общего с философами, с поэтами и политическими заговорщиками? Но получилось, совершенно «отраженным» образом, совершенно «косвенным» способом, отвратительное русское дело, подавляющего значения.

Абрамович пишет: «Признавая талант Дорошевича, мы в то же время должны отметить его природную близость к стихии улицы, к мирозерцанию улицы, к ее жестокости, тупости и кинематографу. Дорошевич – дитя этой улицы, он – плоть от плоти ее, он – выразитель ее. Вот почему он был так хорошо принят ею, признан и увенчан ею. И будучи признан, он захотел возвеличить эту улицу, создать некий храм ее, и создал с этою целью «Русское Слово».

Снаружи это кажется «так», и, наконец, это «вышло» – «так». Но внутренне и со стороны мотивов – это совершенно «не так», для всякого, кто знает внутренние отношения газеты и личных ее участников.

Я приведу еще блестящую характеристику г. Абрамовичем виднейшего «столпа» газеты, бывшего священника Григория Спиридоновича Петрова, который одно время был чрезвычайно близок к Сытину и едва не сделался организатором газеты вместо или, вернее, «в предупреждение» Дорошевича. Так как Сытин сблизился с Петровым раньше, чем с Дорошевичем.

«Литературно-житейская история Гр. Петрова – исключительная по своему внутреннему значению. Свидетели его публичных выступлений помнят эту эффектную фигуру священника, который ораторствовал с Евангелием в руках. Он начал со слова Божия, выступил с

Истиной религиозной. Позднее общественные, политические и бытовые неурядицы русской жизни заслонили от него первоначальные истины христианства, и бывший священник стал проповедником внешне культурного устроительства, насадителем у нас начал технического прогресса, общественного распорядка и организации и идеала тигоро, сытого и приличного мещанства. Вылился в законченную фигуру – «апостола центрального отделения».

Теперь эти общественно-политические достижения окончательно поглотили его душу. Он поверил бесповоротно и абсолютно в устроющую и творческую силу хозяйственной организации и технического процесса; для России и русской жизни он мечтает только об этом. В этом смысле достижения германского быта иллюстрируют ему до чрезвычайности, он с полнейшим преклонением живописует детали этого устроения. Он преклоняется перед силой этой культуры и исповедует только ее. Его бог – это центральное отопление и мотор, гармоническое городское хозяйство и лифт, железная дисциплина и обязательства культурной единицы в человеческом хозяйстве. Эти идеалы он принес на страницы большой коммерческой газеты, отражающей улицу и рынок. И общие цели «Русского Слова», как крепости обывательской философии, он подкрепил своей водянистой, расплывчатой, но самоуверенной и тепленькой аргументацией.

Хозяйственность, собственность, материальные достижения, крепкий быт, железные затворы на дверях, полные амбары хлеба, то самочувствие собственника и дельца, которое чувствуется в налитом кровью затылке лабазника, – вот что проповедует Григорий Петров, как идеал русской жизни и русского быта. Этот бывший священник стал по духу, по существу величайшим врагом Евангелия, – книги, в которой говорится о тех, кто «не сеет, не жнет»... Религия, философия и поэзия, против которых всегда ополчалась улица, рынок и лабаз, нашли своих принципиальных и крепких врагов в этом органе Григория Петрова, в котором соединились в крепком подлинном соединении купец, газетчик и исповедник промышленных и внешне культурных идеалов. Они делают одно и то же дело. Они укрепляют одни и те же устои несправедливого строя торжествующей грубой силы внешней культуры, которая вытравляет из жизни все начала лиризма, романтики, религиозности, духа, – все то, что ослабляет мощь внешнего достижения и окрыляет волю к бесплотным порываниям ввысь, к недостижимым вершинам отвлеченных горных идеалов.

Открытые враги духа, они фарисейски лгут, опускают забрало, лицемерят, притворяются слугами подлинной культуры...

И вот полились эти неударжимые потоки, это разливанное море публицистической и моральной воды. Петров проповедует труд, собственность, крепкую ограду вокруг нее, туго набитые добром амбары, центральное отопление, лифт, машины для рытья траншей...

Домохозяину, фабриканту, лавочнику, торгашу, уличному виверу, завсегдаютаю скачек, ресторанов, улицы, конторы, бульвара – слу-

жат все эти «писатели», укрепляющие под ним твердый базис железного эгоизма, закрепляющие механизм, мертвенность и все кошмары его в нашей жизни. Как пробудить, как расшатать душу буржуа после всех этих прислужников рынка. Вместе с толпою они бьют и изгоняют пророков и смеются над мечтателями и чающими иного жизненного движения.

...Популярность Григория Петрова – непонятна, противоестественна и уродлива. Петров – весь середина, весь тепленький резонер, длинноты которого скучны и мертвенны, лишены силы и огня, – это подлинное дитя толпы, полюбившей в нем свою серединность, свою хозяйственную мудрость, свое самодовольство... Вот он, признанный пророк, которого не избивают камнями, а в изобилии снабжают благами земными, пришедший по душе мещанину наших дней, принятый заодно со всеми мелкими дельцами «Русского Слова», шелуху и сор которых страницы этой газеты разносят по всей матушке России»...

И опять – дело народа проще, а «черт» вовсе не так страшен, как он намалеван г. Абрамовичем. Он даже не очень верно, не очень точно, не «в том стиле» рисует нарождающуюся или, вернее, пытающуюся родиться русскую буржуазию. У нас нет и не обещает быть «Домби и сына», не обещает быть «Ротшильдов», т. е. столбового, наследственного капитала, «королей капитала», а в этом все дело. И сам Петров – просто глубоко необразованный человек, и именно – *неспособный* развить ни в какую из тех сторон, в каких пытался двигаться, развиваться, восходить. «Сначала священник утверждал Евангелие... Теперь променял все это на идею центрального отопления домов». Но неужели же можно поверить, чтобы человек, хотя однажды прочитавший что-нибудь с чувством в Евангелии, мог променять его на амосовские печи. Явно, что он никогда совершенно не чувствовал Евангелия, как, я уверен, понимает плохо даже и амосовские печи. Он был лишь формально священником, как теперь лишь формально кажется буржуа, – как всю жизнь только формально казался писателем. Но все это – не по злокозненности, а по неспособности. Его единственное врожденное качество – прекрасный баритон, прекрасный – и красивый, и задушевный тембр голоса. Без этого из него никогда ничего бы не вышло, ибо не вышло бы оратора, которого весь Петроград съезжался и сбегался слушать, – ну, и затем «оратора» бросились по недоразумению «читать», но когда все это только одно на другое напутывалось, одно за другим следовало, то образовался издали видный «ком талантов» под фирмою «Григорий Петров». Но в нем не было ни ума и в действительности никакого таланта. Не было самой силы, а только ловкость, скорее – подвижность, говорливость и сноровка. Как-то у меня он сказал скороговоркой: «Ведь, в сущности, я – *балаболка*. Я был поражен глубиной самосознания, выходявшей из пределов ума, какой я у него не замечал. Я промолчал. Нельзя было согласиться, но возможно ли было протестовать? Хотел ли он меня испытать или проговорился, – не могу отдать себе отчета. Но, конечно, это – *так*. «Петров – буржуа»?.. Но он не мог бы никогда

жадно, цепко пересчитать денег, как не мог бы и даже не захотел бы их далеко-видно и выгодно куда-нибудь поместить. Правда, он всегда богато, до роскоши жил: но это были вкусы *не его лично*. Лично он мог бы жить в крестьянской избе, в бедной квартирке. Буржуазия с ее страшным тяготением к *власти* капитала ему чужда, непонятна, как и всякая вообще сила. Бедняк, он имеет одну жажду, и именно проистекающую из его специфической бедности: необразованный и «балаболка», он нуждается до задыхания, до обморока в «признании» себя, и именно – в признании культурною силой, политическим вождем и т. д. Поцелуйте у него руку – и он успокоится и сядет; устройте ему обед с речами – и он опять будет счастлив. «В доме графини Паниной, в зале Мраморного дворца, многотысячная толпа ждет священника Петрова, который будет произносить слово»: и он в карете Великого Князя, любезно ему предлагавшейся в те годы (до 1905 года), спешил, улыбался, счастливый, – и говорил свою обычную чепуху своим великолепным баритоном. В речи его всегда были одни шаблоны, и никогда не было ничего, кроме шаблона. Потому что он ничего, кроме шаблона, не мог выдумать, создать. Во всех его книгах (брошюрах) не содержится ни одной ценной мысли и никакого личного своего и нового наблюдения. «Теперь он проповедует технику»... Но это – на неделю: потому что в эту и эти недели обнаруживается недостаток в России техники, и она от этого терпит на войне. Это не аппетит буржуазии, а сведения репортера. Он именно «недельный человек», т. е. именно «балаболка». Так как и самую «неделю»-то он получил от кого-нибудь из рук. От кого-нибудь, от чего-нибудь, чаще всего – от начинающего подниматься шума. В нем нет совершенно никакой инициативы, и его всегда несут, везут, а он не идет «сам». «Цель» и «основание» – это не из его категорий мысли. Присмотревшись подробно и долго, замечаешь, что он весь бессодержателен и даже всегда в затруднении что сказать, – торопливо учась этому из слышанных кругом разговоров, из брошенного даровитым человеком (Толстой, Владимир Соловьев) замечания, из партийных программ, из книги, о которой «начинают все говорить». Он вечно ищет чужой «эврики». И если «нашел», – ну, выражает это своим прекрасным баритоном, и «зала замирает»... «Еретик»... Было – умора тогда уже, когда он был в этом обвинен. «Искали» (в его брошюрах) и, разумеется, ничего «не нашли», кроме газетного хлама, но это – легкомыслие и легкословие, наконец, это отсутствие вообще священства в человеке, а не присутствие кривой и твердой мысли. Последней явно не было, и тогда обосновали снятие с него ряс, так что он никогда на своих чтениях и в брошюрах не ссылается «на отцов церкви». Но как же бы он стал «ссылаться», когда он никогда их не читал и, может быть, только со скукой перелистывал в Духовной Академии и в семинарии. Я теперь раскрою главный его секрет и источник всех его «ересей»: он – безумно, до странности *невпечатлителен*, он со всех сторон своей красивой, изящной фигуры – туп, невосприимчив, деревянист. Сделан Аполлоном, но – из осины. Дерево мягкое, глухое, вялое. Из такого дерева нельзя сделать ни томительной великой скрипки, ни полнозвучной рояли. И Петров с таким чудным голосом на самом деле лишен всякой музыки в душе. И отсюда, как и из недостатка в нем какого-нибудь

перед чем-нибудь *умиленья*, вытекает коренная его безрелигиозность, хотя по профессии и *emprois* он и почитывал «религиозные книжки». Как и «тоже видел в Дрездене Мадонну». И «буржуа», и «писательство», и первоначальный «священник» лежали на нем внешнею одеждою, под которой ходил бедный уродец с нищенской душой. Его настоящее и единственное *emprois* – было бы стать разносчиком газет в трамваях и выкрикивать их названия своим чудным баритоном. К сожалению, его отдали в семинарию, и отсюда произошли все несчастья.

«ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» ЖИВОЕ И УБИТОЕ

Пусть и не часто, но все-таки случается, что и из семьи бывает брошен свет на учебное дело, к которому хорошо прислушаться, полезно присмотреться. В одной из провинциальных газет мне пришлось прочесть письмо матери семейства о так называемом «природоведении», которое проходится у нас в младших классах мужских и женских гимназий. И мне, не только как бывшему педагогу, но и как отцу таких же учеников и учениц, хочется сказать:

– Какая это *правда!*

Вот это письмо:

«Нельзя только критиковать и отрицать. Надо высказывать что-нибудь положительное, надо предлагать что-нибудь вместо того, что отвергаешь. И поэтому мне хочется высказать свои мысли, – мысли матери по поводу предмета, именуемого природоведением».

Самое слово «природоведение», – говорит мать семейства, – означает «узнавание природы» и имеет в виду, чтобы школяр не чувствовал себя слепым и глухим ни в поле, ни в лесу... И между тем этого нет: мальчик-гимназист II, III и даже IV классов, имеющий прекрасные отметки по этому предмету, прекрасно знающий, что белка относится к семейству грызунов, а желтофиоль к семейству крестоцветных, умеющий рассказать о разных октаэдрах, – совершенно пасует перед осведомленностью по части природоведения простого деревенского мальчишки.

«А знания простого деревенского мальчишки заключались в том, что он понимал природу не разбитую на классы, – не раздробленную, так сказать, на мельчайшие кусочки, а брал ее всю целиком, неразрывно связанную, со всеми особенностями и свойствами ее полной, разнообразной жизни».

Мать говорит о том, что *первый* взгляд мальчика или девочки на природу есть естественно *художественный*, не дробящий ее, а берущий «вкупе», в картине, в целости, «от головы до ног». Как и «маму» ребенок узнает: не *сперва* «голову мамы» и потом «ноги ее», а – «всю маму», «милую маму». По образцу этого и по типу этого образуются в них и все первые впечатления, все первые знания. Мать и говорит о детях-учениках:

«Я не говорю о преподавании в старших классах. На фоне общих знаний, как естественное следствие этих общих знаний, должна явиться классификация и подробное изучение по отделам, семействам и т. д. Но *начинать* с классификации, как это делается теперь, в младших классах, по моему глубококому убеждению, не только бесполезно, но и вредно.

Для ребенка трудно изучать, например, белку, независимо от той *сосны*, на которой она живет, шишки которой она грызет, чтобы достать *семечки*, – сосны, на которой она встречается с *дятлом*, в дупле которой прячется от *ястреба*. А как отделить сосну от леса, а лес от той *почвы*, на которой он растет?

Между тем современное преподавание вырывает белку из ее жизни, из жизни природы, укладывает на страницы книги и говорит: «Белка принадлежит к семейству грызунов. К тому же семейству принадлежат заяц, крыса и мышь. Отличительные свойства этого семейства такие-то и такие-то. И т. д.». Была белочка живая и интересная, и стала белочка – мертвая».

Как хорошо. Ясно. И важно. Право, это просится в *педагогическую хрестоматию*, т. е. в такую книгу, которую предварительно преподавания следовало бы давать читать самим учителям и самим чинам министерства просвещения.

Нельзя не заметить, что это пробивается в педагогике именно *русский взгляд, славянский взгляд*. Запад, европеец – это аналитик. Он *все расчленяет* и начинает с *расчленения*. Т. е. он умерщвляет и рассматривает убитое. Русский и славянин не начинает со *смерти*, особенно не начинает в школе, с ребенком. И характерно, что это указывает педагогам мать, – и указывает, не мудрствуя лукаво, а ссылаясь на своих детей и говоря, что ей странно видеть, как их учат в школе. Ее мудрое и любящее существо *матери* возмущается этим.

Она продолжает:

«Поэтому, мне кажется, нельзя делить в младших классах природоведение на минералогию, ботанику, зоологию. Для ребенка эти отделы слиты воедино самой природой, и нельзя начинать сразу с расчленения этих впечатлений. Надо изучать природу в младших классах по отделам: лес, поле, озеро и т. д.».

И она подробно излагает, что можно было бы показать и объяснить школяру в главе об *озере*. Шаг за шагом она озирает его, днем и ночью, с его населением, с почвою берегов его, с раковинами на берегу его, и т. д. Везде она не упускает из виду *картину* целого и *связь* вещей... И заключает свой пример:

«Нет надобности здесь избегать чисто научных данных, – в пределах детского понимания, конечно. Вообще, моя мысль о преподавании вовсе не исключает возможности дать научные знания, и никоим образом она не ограничивает преподавание изящными картинками, как это приходится наблюдать в книжках для детей с подобным содержанием. Но преподавание должно давать знание природы *во всей ее совокупности, во взаимной связи ее отдельных частей, как нечто целое*, а не дробить ее на мелкие частицы перед глазами тех, кто еще и смотреть-то не умеет».

Снова подчеркиваю я. Это – *синтетический* взгляд на природу и *синтетическое преподавание*, – которое имеет все права подняться в уровень с *аналитическим* западным.

У нас есть попытки основать русскую национальную школу. Избави Бог ее остановиться на легоньком, на пустячках, – на «русских кафтанчиках» и «русских шапочках». Это будет немецкая школа в русской шапочке. Конечно, школы у нас до сих пор совершенно нет никакой, кроме немецкой. Все и всякие ее образцы – от немцев, из Германии. Но когда будет серьезно подумано о *русских училищах*, о *русских гимназиях* – мысли этой умной матери семейства должны быть приняты во внимание.

PUER AETERNUS* (Я)

2 месяца до 60 лет (20 апреля 1916) – и чувствую себя все тем же риег**, как всю жизнь и вот до сих пор:

– Проказа –
– Напроказить бы } мое главное (страсть, удовольствие).

У меня никакой нет склонности к серьезному поведению!!

У меня есть физиологические особенности.

Прежде всего: удивительная непредрасположенность к заболеваниям. Начиная с IV-го класса гимназии – у меня никогда *t°* не поднималась выше 37 1/2, и едва ли раза 3–4 за всю жизнь (за 45 лет!) подымалась до 38. Когда бывает 37 1/2° – я «не нахожу себе места»: подымаюсь с постели, «опять одеваюсь», по крайней мере брюки и пиджак, и мечусь по комнатам, охая и стоная, и мамочка на «завтра» торжественно объявляет: «Василий Васильевич болен». Между тем я сплю, в этом случае (т. е. не спав ночью) до 11-го часу дня, и встаю вполне здоровый. Таким образом, даже инфлюэнции, «перехватывшей» всех в России, – никого не минувшей, – у меня бесспорно не было: ибо при ней *t°* подымается до 39°, и этого я определенно знаю, что у меня никогда не было.

В 4-м классе была *febris internio****. Вылечил врач, прописавший страшно горькую красноватую микстуру, «через 2 часа по столовой ложке». Это было в Нижнем. Отчего она произошла – я не знаю. М. б., «перемена климата» после Симбирска.

В Симбирске, в начале 3-го класса гимназии, произошло страшное воспаление легких, и я едва не умер. Произошло от следующего: мы гонялись, бегали по двору. Ловили друг друга. Так с час пробегав, весь потный до ужаса, я, запыхавшись, вбежал в сени «корридорчиком» и, наклоня ведро, – как лошадь «лопал» минут пять.

* Вечный мальчик (лат.).

** мальчик (лат.).

*** лихорадка... (лат.).

И должно быть, не бегал потом.

Я выпил страшно много («поту много спустил перед этим»). Остановлюсь, отдышусь (все не подымая головы из под дужки ведра) – и опять пью. Очевидно, легкое остыло. И произошло воспаление.

Помню телеграмму брата Коли из Нижнего, на вопрос: «Лечить ли?» – «Принять все меры к выздоровлению». Телеграмма эта меня спасла. Я уже лежал: и малейшая попытка повернуться со спины на бок делала ощущение, будто острый конец столового ножа входит где-то внутри во что-то.

Лечил доктор-старичок. Он сказал: «Если кризис вынесет благополучно – поправится».

Перед «кризисом» он сказал:

– Вот что одно остается: сшейте мешочек ему на грудь, набейте его горячей золой из печки, – как можно горячей, – и кладите сюда (где был процесс воспаления).

Я лежал в забытьи. У меня были галлюцинации. Видел «черта», проходящего по тому «корridorчику». И т.д.

Выздоровел. Эта-то припарка из горячего песка и спасла меня. И доктор так сказал, что «она спасла».

Да и явно: ведь «воспаление легких» есть «насморк легких». А тут – тепло: как при насморке.

Процесс выздоровления б. бесконечно радостен. Я жрал.

О, как я жрал! И какая радость была в аппетите.

Аппетит был всегда: едва приносили горшочек ячневой каши (специально мне варили), как я со страхом смотрел, не захочет ли бы кто еще «попробовать» (очень вкусно). И съедал его. О, как съедал! С маслом.

И масла не жалели. Давали. Мне вообще тут «давали».

Но спустя уже 1½ часа после обеда я начинал бродить «тут где-нибудь около кухни»: и приподнимал разные их салфеточки и полотенца: не лежит ли чего. И находя хлеба (белый! домашний, к чаю) – здорово запуская нож, «потолще», книзу – и отрезав ¼ ломтя, ¼ ломтя, ломоть, – сжирал.

О, Господи: как жрал.

За чаем, все. Варенья не давали. Да мне довольно было хлебного.

Хозяйка – Ольга Николаевна Николаева.

И в детстве, у 4–5-летнего – свирепая скарлатина: впечатление одно: как с горла тряпочками сходила кожа: и как я любил, что она сходила, ибо было легко отирать.

Потом – университет. Учительство. Однако я думал, что «доживу до 36 лет». Причина: что у меня грудь была впалая.

Это был уже 7-й или 8-й год службы. Я наконец, чтобы определить *fatum**, позвал одного из двух светил елецких (Слободзинский и Ростовцев) – Ивана Николаевича Ростовцева.

* судьба, участь (лат.).

У него была кажется чахотка, и сам, страдая, он eo ipso* сострадал больным. И вот в смысле «поохать около больного», облить его нежностью и участием – я еще подобного ему не встречал врача за всю жизнь.

– Осмотрите вы меня всего. Я чувствую, что я болен.

Повод позвать был. Он состоял в следующем явлении, повторявшемся и в Петербурге, и «таинственного смысла», коего я до сих пор не понимаю.

Засыпаю. Сплю. Уснул. И пробуждаюсь внезапно от потрясающего озноба, тогда как комната тепла и одет я тепло. Явно – это было нервное. Я решил, что я «с ума сойду», а это «предвестие». Что у меня что-то делается в спине, в спинном хребте.

Это – раз.

2-е: между лопатками, ближе к левой, как положен ледяной древесный лист. Прямо чувствую и помню: величина древесного листа: и вот мокрое и холоднее льда прилипло к коже.

– Разденьтесь, – сказал Иван Николаевич.

Исполнил. Лег. Сидел. Стоял. Он слушал. Трубочка и все. Тоже – ухом. Живот мял. И сказал:

– Вы здоровы.

Я с изумлением посмотрел на него.

– Вы *вполне здоровы*.

– Так что вы думаете, я проживу до 36 лет, даже до 40-ка???

Робко. Тихо.

Он:

– Почему «до сорока»: вы же ничем не больны.

– Но грудь моя, – сказал я с отчаянием.

– Грудь???

– Она же ВПАЛАЯ!!!

– «Впалая» – не больная. У вас очень, очень давно было воспаление легких, но от него едва-едва-едва сохранились следы. Грудь, легкие – совершенно здоровые. А от «впалости» у вас, вероятно, бывает небольшая одышка при ходьбе – но это ничего не значит.

Это был «перелом» в моей мнительности: тогда я решил, что буду жить на 5-х.

И прожил так до 1900–1901 года, когда у меня случилась грудная жаба.

Припадок был внезапен, сразу. Без приуготовления, без предвещения. Грудь начинало как между двух досок посдавливать. А перед этим «отдает в левую руку».

Шервинский. Сиротинин.

Диета, – «черное мясо», – воды, и если припадок – «2–3 капли nitroglycerin на кусок сахара и сосать». «Как рукой срежет».

Правда, «срезало»: но что я заметил:

1) После nitroglycerin'a ходишь дня 3 как пьяный. В голове мутно. Мысли нет. Всему не хорошо.

* тем самым (*лат.*).

2) И через неделю, через 5–4–3 дня опять «припадок».

Господи!

Я стал бояться этого nitroglicerín'a... и тем спас себя. Я решил, когда начинается давление в груди, «сжать зубы и лежать недвижно и все перенести – но nitroglicerín'a не принимать».

Да. Грудь давит. О, очень, о, ужасно. Почти не могу выносить. Весь в страхе, в отчаянии. Но лежу...

Лежу...

Лежу...

Мамочка около меня, смотрит на меня.

И вот, «когда сошел сон» – я не помню. Я помню только, как я проснулся. И я поднимаюсь. Осторожно. И бреду чай пить – уже без боли.

[Contraхanil?] пью. Диета и прочее.

И – лучше, лучше. «Приступы» припадка – реже и реже, слабее и слабее. Раз 3 в год, при усиленных занятиях (а я ли «усиленно не занимаюсь»?!), они и теперь повторяются, или если побежишь – к конке, или много шел («нет извошика»): и тогда я встану, и – стою: «отдаване в руку» растаивает, теснота в груди – отходит, и я, «едва бредя» – как хмуренький чахленький Розанов: прихожу: и начинаю перебирать бумажонки.

«Ничего нет. Слава Богу».

Помолишься – и в постель.

«Кой-что» у меня стало прекращаться к 55 годам; даже (я думаю) к 52-м. Я стал с удивлением замечать, что я могу «удерживаться»: чего «с незапамятных времен» и «подумать было нельзя». Раз приходило желание – оно было так неотступно, вернее – так томительно, «манило все более и более», сладость его «все нарастала», и, наконец, я весь горел, сгорал, «все прочие мысли» куда-то отходили, рассеивались, туманились, и сладко было «одно», то «одно», из которого рождались образы, воображения, вставал в душе «Великий Фетиш» – и... находило так, иначе, «и прочая и прочая» – исход.

Так было лет с 10–12–14 до 52 лет; центр напора 17 лет. И в одной степени почти 17-ти лет держалось лет до 47. Я думаю – это хорошо. 30 лет. С 47 до 52-х стало «не так часто»: но очень сильно еще. И вот с 52-х лет я удивился великим удивлением, что СИЛА еще есть и даже не убавилась, а как-то «не так хочется».

Могу отвлечься.

Могу перестать желать.

Вообще – могу управлять собою. «Тут-то!!!»

И я сформулировал, судя «по себе – о всех», что «это самое» проходит три фазы:

«Можется и хочется».

«Можется – но не хочется».

И последний, увы:

«Хочется, но не может».

К удивлению, вот подходит «60», но я последнего фазиса не испытывал: и знаю его лишь по книгам. Во всех книгах рассказано, что «удивительно хочется», но «не можетя»: и принимают различные искусственные меры. Напротив, мне совершенно никогда теперь не «хочется», и я отошел так ровно и спокойно «от этого берега», что думаю и приписываю: я был в высшей степени нормально организован в половом отношении, и только надо было женить меня – приблизительно на 30-летней, в 10 или 11 лет. Тогда бы я хорошо учился. Был прилежен и умен. И хорошо вел себя.

Как бы отвечая моему тайному инстинкту, та Ольга Ивановна – сын коей был в 7-м классе гимназии, и у него был еще старший брат лет 21, и которой было лет 36, 38 – проходила часто через комнату, где я лежал с ее сыном под одеялом:

– Ты чего же, Василий, не идешь спать.

Я спал в верхней комнатке, где она спала с мужем (он приезжал в субботу к вечеру и проводил дома воскресенье, – а в понедельник рано уезжал на службу).

Шла она медленно, в сорочке до колен, босая. Большая хорошая грудь, голые руки. Лицо у нее было округлое. Полнота умеренная.

Я не отвечал.

А когда был наверху и «учил свой закон Божий», она перед лампой моей искала блох. Она так делала: руки – внутрь, поднимала сорочку в уровень с теменем, и изнутри ловила блох. Потому что, естественно, блохи внутри. Но вот: при всех «страстях» – я не осмелился и мне даже не пришло на ум посмотреть на нее «исподтишка». Тогда бы «дальше пошло». Затем она повертывала рубашку сзади на перед. И это было долго.

Странно, что я нисколько не интересовался. Правда, я ее ненавидел. Она была со мной невыносимо груба (она была очень умна) и называла меня «Василий» в хорошие минуты и обыкновенно «Васька».

Я не мог представить, чтобы «Я» мог ей «прийти на ум».

Между тем в отвлечении и вообще, когда я был под одеялом и один, «она» мне в голову приходила, а особенно какая-то ее же почти лет, не то прислуга, не то родственница, белая, тельная, мягкая и ласковая.

Вообще «приходили в ум» именно большие, «на молокососов и смотреть не хотел».

Вдруг однажды она мне сказала:

– Василий. Иди ко мне спать.

Я спал на кровати с Сережей (брат). И расхохотался.

Она не продолжала и потушила огонь.

Мне в голову ничего не приходило. И подумать не смел, чтобы «я пришел ей на ум». И лишь летам к 35 я догадался. «О несвязавшемся романе».

Дело в том, что лишь из последующих мне рассказов семейных людей – я узнал, что к этим годам «муж уже никогда не живет со своей женой», и она, при очень больших силах, была много лет не «евши». Тут все поймешь и все простишь.

Если бы все устроилось и в сдержанных формах – для меня наступила бы нормальная жизнь, я поздоровел, созрел. А она была, в сущности, «покинутая мужем жена», т. е. вдова со всеми правами вдовы.

Мне было 14, ей около 36. Она – в полном цвету. Я «в возможности» до преизбыточества.



Еще моя особенность: не ноги, а ногти. Крошечная ступня. И – удивительная походка.

Это я раз в досаде на себя (в огорчении, желая «плюнуться») написал, что у меня «кажется – преотвратительная походка». Правда, я думаю, она смешная со стороны, но *внутренно я совершенно иначе ее чувствую*.

Правда, всегда сижу, и даже гимназистом «ненавидел гулять по улицам». «Гулять», «рассматривать публику», «показаться» и «посмотреть» – этого я не только никогда не испытал, но и идея этого для меня была отвратительна и непонятна. Обычно – я сижу (и тогда всегда пишу) или лежу («мечтаю», «несутся мысли»).

Теперь слушайте же:

В походке моей есть какой-то таинственный внутренний параллелизм с моим «взглядом вперед»: едва я – по какому бы ни было случаю – начинаю «вперед смотреть» (*всегда-то – «вниз»*), как минуты через 1½–2–5 впадаю «в транс»: мысли Бог знает «куда отлетают», и я совсем Лермонтов (1 января):

И погружен в какой-то
смутный сон.

.....
И я люблю ее, мечту
мою...

И т. д. Теперь, слушайте же, слушайте: если мне нужно идти, если необходимость вынуждает меня встать и идти – то я собственно почти не касаюсь пола, и «твердое ощущение пола твердою ногою» – мне вовсе не известно. «Ступаю», «ступил ногою» – факт, мне вовсе не известный и никогда со мною не бывавший. Ощущение мое – что пол скользит подо мною назад, а сам я – быстро-быстро – несусь вперед, и «если б не дернули – то вот-вот полетел бы». Т. е. собственно, еще бы «что-то добавить к организации», то я вечно «игрался бы в комнате», между потолком, стенами, по воздуху, поперек, в брызгах смеха, веселости, радости или безумной задумчивости. У меня собственно нет психически предрасположения горизонтально двигаться, идти по линии, по дороге, «прийти куда-нибудь», «выйти» погулять. Отсюда – удивительная вещь: полное отвращение к ходьбе; и это-то отвращение делало, что я «куставал», только еще начав идти. Теперь, когда я «медицински» хожу в 59–60 лет – я с удивлением узнал (впервые!), что я собственно могу очень много проходить и не утомляюсь, не теряю сил, и даже (под старость!) «иду с удовольствием». Но *вспомнишь – «скорее в конку»* – и шлепнусь, или (с поступлением в «Н. Вр.») – скорей на извозчика – не торгуясь, – и шлепнусь. «Вези куда знаешь», «вези в редакцию» Но – вот еще удивительно – в театре, в

религиозно-филос. обществе («зал географического общества») у меня была психология: куда бы в дверь выскользнуть (вылететь, птичка), и, выскользнув, – я не «раскажывал», а «метался», ничего перед собой не видя, туда, сюда. К этому надо добавить, что в год раза 2 у меня бывает ощущение, что, «быстро-быстро» махая руками, сверху вниз, сжав пальцы в «лодочку», – я перелетаю «с печки на полку», «с забора к забору», но вообще – всегда через пространство, с этим чувством: «вот – и можно», «как хорошо», «что-то весело на душе», «это и гораздо легче, чем идти». Так что если «древние породы зверей живут в нас» (я думаю, моя гипотеза), то несомненно в моей организации сохраняется какой-то остаток птицы. И если добавить всю мысль, то – принимая во внимание другие инстинкты, – во мне есть остаток мифологического крылатого быка. Потому что я очень люблю и с детства любил одну вещь, которую всегда быки делают.

Вот.

Теперь – ногти.

Я только карандаша не могу очинить ногтями. Весь сложения мягкого и нежного, с нежными золотистыми волосами (особенно «там»), я имею ногти: 1) невероятно быстро отрастающие, «растут так, что видно» (преувеличение, но близкое к истине), и всегда, самую «веленевую» бумагу разрезаю ногтем, как и кардон, и собственному дереву – тоже уступает ногтю – необыкновенно твердому, крепкому. Сверх всего: ногти мои, едва чуть-чуть выросли, сгибаются книзу, и «план» когтя – явно выражен. Потом – они блестят, как бы из них просвечивает маслянистость. План их:



Самые пальцы – толстые, короткие. «Коротышки».

Но самое удивительное: ноги. Когда Вася (сын) был в I или II классе Тенишевского и по росту доходил мне до живота, то я раз надел «свои калоши, п. ч. с буквами В. Р.», заметив только, что «как будто они прежде не так жали ногу». Пришли, садимся обедать, и Вася говорит: «Ты, папа, мои надел калоши». Я изумился. Стали проверять: и оказалось – я ношу тот же №, как он!!

Еще, обувь: туфли или что выбираю. В громадном магазине «механической обуви» говорят:

– Возьмите или *эти*, или вам придется взять «недомерок».

– Как «недомерок»?

– «Недомерок», т. е. самый большой № детских туфель (или сапог, или калош, я забыл).

Между тем я – среднего роста, несколько не маленького. И собственно я всегда носил сапоги, в которых «большой палец» ноги на $\frac{1}{2}$ или $\frac{3}{4}$ вершка не доходил до носка. Ощущения физического, чтобы пальцы ног *касались* носка сапога – я не знаю.

К этому:

От «скользящей» походки, все «вперед» и несколько не «опираясь на пол», – обувь носится и носится, и я не могу ее износить.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<Об ошибке в тексте Розанова>

Один из сотрудников «Речи» упрекает меня и также редактора «Русского Библиофила», что я написал в рукописи, а он не поправил при напечатании ошибку, сделанную мною при цитации знаменитого стихотворения Тютчева: «Удрученный ношей крестной» и т. д. «Это противоречит принципу библиографической точности, и недопустимо для столь дурно написанных статей тратить роскошную бумагу Верже, на которой печатается русский библиографический журнал».

Как написание, так (предполагаю) и напечатание неправильное произошло по той же причине, по какой (есть много об этом рассказов) иногда случается ученому выйти из дома без шапки, что не обозначает намерения оскорбить нравы и законы улицы, а означает чрезвычайную рассеянность, происходящую от чрезвычайной занятости какою-нибудь темой, каким-нибудь предметом, мыслью. В данном случае темой была очень трудная параллель между стилизованным живописцем Левитаном и стилизованным историком литературы Гершензоном. Ошибки, происходящие от такой причины, не взыскиваются слишком строго, хотя все-таки они остаются ошибками и дурны сами по себе. Читатель и всякие люди общества относятся взыскательнее к пустым фланерам, которые хотя «при полном костюме», но утруждают взор своей праздношью. Мой критик (Д. В. Философов) всегда пишет слегка и мимоходом и цитирует всегда верно. Но эти верные цитации не украшают его безжизненных статей, и хотя библиограф бывает удовлетворен его точностью, но читатель пропускает их за бессодержательностью.

Очевидность мотива ошибки в данном случае доказывается тем, что одно и то же двуступище в одной и той же статье приводится *дважды*, и оба раза *различно*, чего, казалось бы, совершенно невозможно не заметить при написании и напечатании. Столь жестоко-грубая ошибка есть именно – «без шапки» на «прогулке», но это есть нисколько не желание оскорбить читателя, вкус и литературу. И если в этом допустимо обвинить меня, то никак нельзя заподозрить В. А. Верещагина, культ коего к прошлому и к литературе достаточно выражен и достаточно признан. Что же явил собою Д. В. Философов? Он хотел нам показать зрелище двух повешенных и одного палача, но на самом деле повторил собою сказку о неумном сыне счастливой матери, который век пишет, пишет там и здесь, и везде его печатают на хорошей и на плохой бумаге, не замечая совершенно, что ему нечего в жизни сказать, и он повторяет только давно сказанное и всем известное. Я надену свою шапку, извинюсь перед прохожими, но как поправится Философов в том действительном преступлении, что он кажется «быть писателем», не будучи нисколько писателем, и расхаживает под именем «умного» (роковая фамилия!), будучи только счастливо рожденным.

МОСКОВСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КРУЖКИ

Я остановлюсь еще несколько на изображении и особенно на объяснениях «литературной улицы», какие делает г. Абрамович. Он, очевидно, хорошо знаком с личным составом литературы и – с тою незримою для общества, для читателей, организацию, которая лежит под внешнею стороною литературных явлений. Иногда удивляешься: почему в живом обществе встречаешь людей и большого ума, и горячего сердца, и живой преданности своему отечеству, но – развертывая книжки журналов и газеты – как-то ничего этого и ничего подобного не находишь, а встречаешь потоки обездушенных фраз, шаблоны мысли, – встречаешь какие-то стертые давно клише, с которых печатали, печатали, – и, наконец, они дают только бедные, тусклые оттиски давно знакомых и давно надоевших фраз? Общество – живо, но печать решительно мертва. Общество, во всяком случае, живее и энергичнее, чище и непосредственнее печати. Откуда это?

Оказывается, печать давно соорганизовалась и не пропускает в себя ничего свежего и нового, главным образом по коммерческому интересу и отчасти по идейному, желая «отстоять старые знамена». Я припоминаю, как лет 8–10 назад тому получил из Москвы поразившее меня письмо. «Помилуйте, – писал мне автор письма, – чтобы попасть в сотрудники «Русских Ведомостей», надо стать зятем кого-нибудь из воротил этой газеты». Этот почти фамусовский мотив сотрудничества: «Ну, как не порадеть родному человеку» поразил меня в отношении такого прогрессивного органа. Но мне показалось, что невозможно было бы именно этого сказать, именно таким неправдоподобным способом оклеветать, если бы тут не лежало какой-то реальной и кричащей правды. Если человек кричит о том, чему нельзя верить, – значит, тут есть основание. И вот через 10 лет после этого письма г. Абрамович печатно и во всеуслышание говорит о чем-то весьма близком к содержанию письма. Я возьму его цитату немного раньше характеристики собственно московской печати.

Всего определеннее в смысле левого засилья были органы пролетарной идеологии и между ними журнал «Современный Мир». Ежемесячные кирпичи тяжеловесных и безжизненных теорий этого журнала, руководимого случайными работниками, идейная и литературная жидкость которых – вне всякого сомнения, совершали свое дело систематического омертвления русского читателя. Ему преподносили тенденциозные пролетарские романы и повести, наивные и фальшивые, и ежемесячную банальную фразеологию Иорданского, Клейнборта и Берлина, – рупоров общих мест, затасканных мыслишек, снабжавших читателя маргарином общественного протеста и общественной идеологии. На страже искусства выставлялись представители критики, за которыми можно признать все, что угодно: трудоспособность, верность общественным лозунгам, но только не живое художественное внимание к слову, но только не подлинное чувство и сознание души и формы творчества, но только не соответствующий художественный и идейный уро-

вень. И читатель принужден был питаться развязной болтовней и окрошкой из общих мест Кранихфельда, Рогачевского, а в последнее время сугубо обывательским резонерством Тальникова.

«В эту среду чистый художник и свободный теоретик попасть не мог, но мало того: от них читатель предостерегался в отделах критики и библиографии, их произведения обливались ядом, признавались ничтожными и вызывали то отношение, которое один из современных критиков назвал «презрением презренных». В этом смысле засилье общественников можно назвать и засильем бездарности».

Создалось литературное положение, из которого нет собственно литературного выхода. Взаимная круговая порука бездарности, «взаимное страхование тупиц» против возможности какого-нибудь обличения их, даже протеста против них. Что делать? Если нет литературного выхода, то какой же можно представить себе? Литература так автономировалась, она до того стоит «на своих ногах» – и, в сущности, не подлежит ничьему и никакому влиянию, что, раз ноги «пьяны» и шатаются, – ничего вообще нельзя сделать. Вследствие первоначального почти всеобщего обучения образовалась такая масса «низменного читателя», безвкусного читателя, глуповатого и простодушного читателя, что спрос на самые грубые и самые элементарные литературные произведения обеспечен не только на многие десятилетия, но и почти *ad infinitum**. Прежде считалось не совсем приличным «зачитываться» Боборыкиным, но теперь и он уже высок и труден: дешевые газетишки заправили рынок повестями и рассказами, где расписываются только разбой и любовные похождения, как можно более кровавого и как можно менее приличного содержания. Пагуба книжного рынка до такой степени ярка, до такой степени неудержима, что спрашиваешь: «Что же с этим делать?»

Спрашиваешь – и не находишь ответа.

Только считаешь «ступеньки»; только обдумываешь в печали: как же это произошло? Каким образом прекраснейшее движение нашей истории, создавшее от Ломоносова и Карамзина до Лермонтова и Тургенева такую роскошь ума, вкуса, благородного служения отечеству, могло «со ступеньки на ступеньки» ниспасть до Амфитеатрова и этих ужасных Клейнбортов, Берлинов, Кранихфельдов и Рогачевских?

Это вовсе не «вредные идеи»... Куда! Это вовсе не «извращение души». Это – ее отсутствие. Тут не то чтобы «худо», а просто – «ничего нет»!

Ужасно! Катаклизма нельзя ожидать. Ему неоткуда взяться. А «сама литература» явно не поправится, ибо никого не пропустят из «свежих», кто мог бы ее поправить.

Посмотрим, что же автор говорит о Москве.

«Это течение и сложение литературных обстоятельств всего ярче сказалось в деятельности одной московской литературной группы, объединенной задачами историко-литературными, но нашедшей при-

* до бесконечности (*лат.*).

ют для себя в одном из виднейших органов ежедневного общественного служения: в «Русских Ведомостях». Эта группа определяет литературное мнение газеты и самостоятельно ведет борьбу с враждебными ей течениями. Сплоченная, энергично действующая, жизнеспособная не в смысле идейной влияния или хотя бы средней талантливости своих членов, а в смысле чисто внешней энергии и дипломатических способностей своих руководителей, эта группа завладела в Москве целым рядом литературных организаций и обществ. Общество любителей литературы и искусства, – одно из старейших литературных обществ в Москве, почтенное по крупным именам своих прежних руководителей, – общество периодической печати, литературная комиссия Литературно-художественного кружка, – все эти общества, так же как и отделы критики и библиографии в «Русских Ведомостях», в журнале «Голос Минувшего» и в педагогическом ежемесячнике «Вестник Воспитания», – в руках этой группы».

Автор вот уже второй раз (смотри мою предыдущую статью) упоминает о каких-то «дипломатических действиях» и дипломатических способностях, – пускаемых в литературу. Что это такое – представить себе нельзя. Печально, что он не разъяснил этого термина, не пояснил его примерами. Но будущий историк литературы не должен пропустить его без внимания. Автор продолжает:

«Кроме того, эта группа влиятельна и в некоторых московских высших учебных заведениях, воздействуя, таким образом, не только путем журналистики, но также и непосредственным внушением с университетской и вообще преподавательской кафедры на учащуюся молодежь».

Автор подметил явление, но не углубил своего слова. Ведь явно, что всему этому вторжению рынка и рыночных отношений в литературу должна бы противодействовать кафедра истории русской словесности в университетах и на женских курсах, а затем и просто – кафедра русского языка и словесности в гимназиях.

Так оно и было во времена Буслаева, Тихонравова, Стороженко, Ключевского, С. М. Соловьева, – людей громадного ума, вкуса, образованности. Но, увы: не даром «трудолобничали» в истории русской словесности такие академики и такие ученые, как покойные: академик Пыпин и пресловутый Стасов. Это они принесли в русский журнал и, увы, даже в русскую науку шаблон, фразу и мелкокопательство. В данном отношении именно названным именам принадлежит движение «на ступеньку ниже» против оценок хотя бы и не ученого человека, но человека вкуса, – Белинского. И вот г. Абрамовичу приходится характеризовать науку русской литературы как на кафедре в Москве, так и в книгах:

«Налицо мы имеем тот факт, что эта группа, о которой я говорю, влиятельная своим большинством и успешным ходом дипломатических действий, – не имеет в своей среде буквально ни одного подлин-

ного и крупного писателя, одаренного талантом, Божиим даром мысли и слова. Среди ее членов есть несколько почтенных работников, как П. Сакулин, чья работа по истории русского романтизма насыщена богатейшим материалом, но является в то же время исключительно библиографическим рассмотрением этого материала, без малейшего следа проникновения в дух эпохи, в ее идейное и художественное содержание, не говоря уже об индивидуальных чертах художников и мыслителей того времени».

Действительно, – именно со времен Пыпина и Стасова, а также г. Венгерова появились странные увражи по истории русской словесности, без малейшего понимания лица писателя, без всякого проникания в свет и тени, в полутени минувшей эпохи, хотя бы ей исполнилось всего 60, 70, 80 лет!! Сакулин, сам позитивист, пишет об утонченнейшем романтике мыслителе кн. Ф. Одоевском, без всякого сочувствия к его идейному миру, – пишет так, как бы писал язычник об истории христианства. Удивляешься выбору темы. Зачем он за это взялся? А в Петрограде С. А. Венгеров, которому бы собственно надо писать о романах Золя, – устроил «семинарий по Пушкину», т. е. детальное изучение рукописей и творчества Пушкина, со студентами Петроградского университета. Скажем с Фамусовым:

Нельзя ли для таких прогулок
Подальше выбрать закоулок.

Наконец, еврей Гершензон... пишет о славянофиле Киреевском, издает его «Сочинения» и его письма. Какое-то прямо светопреставление по нелепости, по бессмыслию. Г-н Абрамович, кажется, именно имеет в виду г-на Гершензона, когда пишет далее:

«Способнейший из этой группы – библиограф, описатель исторического материала, несамостоятельный в области идей и литературных течений, вечный ученик, безнадежно плоский, никогда не подымающийся на высоту того поэтического и философского содержания, подле которого он бессильно мечется со своей ученической указкой. Что же касается остальных, то это Божией милостью бездарности, лишенные всего: элементарной литературности, какой бы то ни было связи с литературой, с почвой идей, образов и поэтических созданий. Это подлинные крохоборы, старающиеся как можно громче повторить общие места, ставящие себе в заслугу рытье в старинных сборниках и журналах, в которых от их внимания все скрыто: и душа старинных писателей, и своеобразие их духовного склада, и особенности их формы, и интимность их мотивов, и прелесть их художественного рисунка. Они могут пересказать содержание и с типичной важностью историко-литературных педантов классифицировать данное произведение, согласно указке учителя, «последнему слову науки». Это люди – без лица, без «я», – типичные книжные черви, не знающие, что такое прелесть книги и что такое подлинное внушение художе-

ственного слова или самостоятельной идеи. Они – ниже рядового читателя, потому что лишены его восприимчивости и искренности. Таковы московские представители истории русской литературы – Бродский, Сидоров, Каллаш и проч.

Одни из них вытаскивают из старинных журналов поэтов 30-х годов и бессильно пытаются коснуться их поэтического материала и истории их душевной жизни. От слепых кротов это ускользает, их удел – общее место, истасканные тряпки тех ими же опошленных лозунгов, которые не закроют их идейного убожества. Другие изучают рукописи Островского (Н. Кашина), имея в своем распоряжении не идеи, не художественное сознание, а примитивную грамотность гимназиста. В лучшем случае такой исследователь Островского предьявит характерное литературное убожество, самоуверенность и бессмысленный воловий труд.

И представители этой-то группы, будучи не в состоянии действовать самостоятельно в области идей, – ставят себе задачу ту борьбу со всеми живыми и творческими течениями литературной и критической мысли, в которых заключается живое осуждение мертвенности и тенденциозной пошлости всего, что делает указанная группа.

Она ведет борьбу с представителями художественного, эстетического и философского сознания, навязывая мертвую тенденцию, обзывая к бездарности, к общим местам, к банальности. И – апеллировать не к кому, некуда»...

Все у нашего автора очень верно. Все бьет «не в бровь, а в самый глаз». Но внимательный читатель заметит у г. Абрамовича один недостаток. Он старается шумом заглушить шум. Выходит два шума и никакой тишины. Нужно заметить, что отвратительное состояние литературы вызвано не только крайним понижением демократического читателя, но и влитием огромного числа еврейского элемента в литературу. Г-н Абрамович сам перечисляет их: О. Л. Д'О-р, Владимир Азов, Берлин, – называемые им издательства «Шиповник», «Сатирикон», «Синий Журнал» – все это еврейская литература в русской литературе, или, вернее, все это еврейское предпринимательство в русской литературе. «Дипломатия» и «группировка» этих господ напоминает «синдикаты» и «тресты» в промышленности и торговле. Еврей охватывает литературу, захватывает голос народный. Не достигается главного, и именно – что одно могло бы исцелить литературу – тишины. Трактиру и улице – противоположен монастырь. Великая русская литература создалась вся в тишине, неторопливости, благопристойности, – почти монастырской или сельской. Так творили, в своих имениях, в изгнании, в провинции – Жуковский, Карамзин, Пушкин, Тургенев, Гончаров. Лучшие создания Пушкина написаны в селах Болдине и Михайловском. «История Государства Российского» и «Обрыв» написаны в Симбирске. Лучшие вещи Лермонтова – на Кавказе. Г-н Абрамович слишком кричит, чтобы из брошюры его мог выйти толк. Толка не выйдет. Знаете, откуда может прийти исцеление? От читателя. Пусть читатель оглядится. Пусть он скажет себе, что всякая покупаемая им книга

или газета, на которую он подписывается, — дает перевес в литературе к серьезному и тихому или — к легкомысленному и, в сущности, к словесному трактиру. Нельзя не подумать в себе, что в общей массе огромное духовное сословие могло бы, как читатели, дать сильный наклон достойному существованию литературы.

К ВЫХОДУ СОЧИНЕНИЙ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

Вышли из печати 2-й, 4-й и 6-й выпуски «Собрания сочинений Аполлона Григорьева» под редакцією В. Ф. Саводника, содержащие крупнейшие труды покойного критика: «Основания органической критики», «Реализм и идеализм в русской литературе» и «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина». Первая статья, хотя не окончена, за смертью автора, но представляет собою изложение его взглядов, уже окончательно сложившихся, и, следовательно, — теоретическую предпосылку его отдельных критических очерков, имевших предметом какое-нибудь отдельное современное произведение или единичного художника, писателя. Г-н Саводник предпосылает этой статье небольшое, но содержательное предисловие.

«Одна из причин, почему Григорьеву не удалось дать стройного и законченного изложения своего положительного учения, заключается, кажется, в том, что ему, выступавшему в свете с идеями, резко отличными от тех, которыми жило и в которые веровало как ближайшее к нему поколение, так и поколение его современников, приходилось уделять очень много внимания задаче чисто отрицательной, т. е. борьбе с господствующими в современной литературе взглядами и течениями, их критическому разбору и опровержению».

Этих точек зрения, господствовавших в 60-е годы, было три: «историческая критика», объяснявшая, «как и что» и «из чего именно» вышло в процессе развития литературных форм, течений и настроений. Ее провозгласил Белинский в последний фазис своей деятельности. Далее, сильно бился пульс теории «искусства для искусства», которую отстаивал даровитый и влиятельный Дружинин. Это, собственно, германская точка зрения, заложенная в трудах Вильгельмана, Лессинга, Шлегелей, а также и в разветвлениях философии так называемого «германского идеализма». Эта точка зрения очень основательна как отдел науки, как отдел философии, парящей над искусством, — и особенно над искусством выразительным, каковы живопись и скульптура. Конечно, есть законы самодовлеющего искусства; есть что-то таинственное в человеке, что манит его украшать, улучшать; что создало, гораздо раньше статуй и картин, прически и костюмы, украшения деревенских изб, украшения оружия. Известна великая страница в «Илиаде», где подробно описан Ахиллесов щит, выкованный для героя по просьбе его матери богом Вулка-

ном. Щит – только защита от стрел и против меча. Вот его утилитаризм. Для чего же «богу» и человеку захотелось покрыть его резьбой и многочисленными изображениями, так сказать миниатюрами! А – покрыли. Закон, что это – «понравилось», что это было «любо». Открыть законы этого «любования», всемирно-человеческого чувства, всемирно-человеческого волнения, – конечно, любопытно и важно. Это – из великих вкладов и возможных разгадок человеческого духа; это – лестница к спуску в глубочайшие недра и сокровенности человеческого существа. Но в поверхностных своих выявляениях эта точка зрения обращается в пустейшее, праздное и отвратительное занятие, которое и справедливо и несправедливо Аполлон Григорьев называл «гастрономическим взглядом на искусство». Слово очень зло и остроумно, но оно убивает только, по-видимому. Да, это вполне таинственно уже в пище, где тоже есть свое «нравится», и хотя большая доля пищевого «нравится» объясняется из утилитарного мотива, из физиологических и химических потребностей организма, но, однако, есть некоторый остаток, который из этих мотивов уже не объясняется. Все лекарства почему-то «неприятны», несмотря на то что они «целебны». Хина горька для здорового и для больного. Касторовое масло решительно ни для кого и ни в каком состоянии неприятно.

Напротив, есть «вредные» вещества, которые «манят». Есть «сладкие» яды: и где им объяснение. Таким образом, «гастрономический взгляд на искусство» только углубляет тему и не рассеивает ее: особенно увлекает исследователя, что область безотчетного и недоказуемого «нравится» и «не нравится» исчисляется с таких первобытностей и элементарностей, как пища, еда.

Третья точка зрения, – и она шла победным ходом в 60-е годы, – была «утилитарная критика». Нельзя не удержать хоть внутри себя замечания, что именно и специально для тех 60-х годов эта точка зрения была в высшей степени уместна. В самом деле: шло преобразование не только государства, но всей народной жизни. Шло что-то подобное теперешней войне, по размерам, по важности, по потрясаемости. Были подняты все вопросы, самые даже элементарные: об устройстве семьи, о правах или бесправии любви. Волновались юноши, волновались девушки; волновались сыны, волновались дочери. Не в столице только, не в центре только, но по всей России, от Невы до Каспия, от Карпат до Арарата, точно было воздвигнуто и начало действовать «учредительное собрание», которому предстояло выработать все «заново», дать «новые скрижали» для «нового жития» народу, изводимому в своем роде из Египта: из бессудности или суда со взятками, из крепостного права или обеспечения лени и тунеядства высших классов, из запрещения по всей стране какой-либо самодеятельности, самоуправления, – т. е. из запрещения элементарной заботы о себе, мысли о себе. «Все – чиновник, везде – чиновник». «Он один, народ – безмолвствует и повинуется». Это, конечно, был Египет и египетское рабство. Нам теперь невозможно судить об этом положении, потому что мы не имеем живого ощущения этого положения. Мы – не видели, мы, в сущности, – не знаем. Потому что «знать» – это «подойти» и «понюхать». Покойный критик и философ Н. Н. Страхов рассказал мне

однажды, – точнее, он задумчиво говорил в моем присутствии: «Я не понимаю, почему в беллетристике и в обличительных стихах ни разу не описано то, что на самом деле было самым ужасным зрелищем крепостного права: именно зрелище улицы среди белого дня, улицы в столице и хоть под окнами министерства или дворца, где барин сходит с извозчика, т. е. с салазок мужика: и при малейшем его замечании о неверной уплате – бьет его по лицу кулаком, а мужик-извозчик стоит и, конечно, не смеет защищаться. Нельзя было пройти по улице, чтобы не наткнуться на такое зрелище. Между тем удар по лицу – это ужас для доброго и порядочного человека. И вот это чувство порядочности и доброты, это отрицание у мужика всякой чести и достоинства, это отсутствие мужику всякой защиты – попадаясь на каждом шагу, как только вы выходили из своей комнаты, – было до того ужасно и нестерпимо! И – никто на это в литературе не обратил внимания». Между тем эта, казалось бы, мелочь не приходит на ум при размышлении о крепостном праве. Оскорблялись не одни мужики: оскорблялись именно не мужики, а все гражданство, все население, все чиновничество и само дворянство, насколько оно не было набором Скотининых и Простаковых.

И вот запела тоскливая муза Некрасова, тоскливая и мстящая. Посыпались «социальные романы» Чернышевского, с убранием в сторону всякой «эстетики». Не буду говорить дальше и разъяснять дальше: шло время, шли годы, которых совершенно нельзя теперь представить, которые мы совершенно теперь позабыли, и в те годы – «утилитарная критика» метала свой *va bank*.

И она была права. Моментально, но – право. Добролюбов писал под псевдонимом «– бова», писал в «Современнике», где Чернышевский предоставил ему отдел «критики». С ним, с этим «– бовым», полное имя которого, конечно, было известно всем в Петербурге, да и всем в России, вел полемику в своем «Времени» и «Эпохе» Достоевский. И вот, у него вырывается принципиальное согласие, выраженное в следующих словах (цитирую на память, и только основную мысль):

«Конечно, если бы во время Лиссабонского землетрясения, на другой же день его, когда город дымился в развалинах и столько населения его погибло, – вышел вдруг поэт с лирою и начал петь:

Шепот, робкое дыханье
Трепи соловья,
Серебро и колыханья
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца.
Ряд волшебных изменений
Милого лица...

(известное стихотворение Фета): то лиссабонцы, – говорит Достоевский, – распяли бы этого поэта. Распяли бы за жестокость его, за насмешку над собою. И это их человеческое и гражданское движение было бы так же, пожа-

луй, автономно и неудержимо, так же, наконец, человечно и справедливо, как у самого поэта автономно и неудержимо вырвалось его стихотворение, «потому что уж он поэт», «даже во время землетрясения – поэт».

Ну, а в этом объяснении Достоевского – все оправдание Добролюбова. «Времена такие». «Времена особенные и ни на что не похожие». А между тем Достоевский полемизировал страстно; он страстно защищал права чистой поэзии, страстно нападал на Добролюбова.

Мы, когда пишем – невольно и безотчетно пролагаем свои строки «в вечность»: и от этого возникает половина человеческих полемик и споров. Нельзя пролагать «в вечность». Все – временно, и особенно – наши строки. Достоевский испугался за поэзию «в ее вечности». Он вообразил, что критика Добролюбова «повиснет мечом» и над поэзией XX века, над поэзией 90-х и 80-х годов XIX века, когда у нас «слава Богу, – Бальмонт». Его испуг был не прав; как, с другой стороны, и намерения или претензии Добролюбова дать «канон критики» на все времена, – конечно, были столь же не правы. Оба полемизирующие плыли на лодочке, воображая, что стоят на земле и что в писаниях их «планета движется». Планета ничуть не двигалась в их писаниях. Для 60-х годов был прав Добролюбов; а через 30–40 лет оказался столь же прав Достоевский. История вошла в русло свое; реформы совершились; настала тишина; и Бальмонту сказали: «Пожалуйте».

Г-н Саводник продолжает и объясняет:

«Точка зрения Добролюбова и Чернышевского пользовалась громадным авторитетом в русском обществе того времени, но она решительно противоречила всему складу личности Аполлона Григорьева, глубочайшим его верованиям и убеждениям. Против представителей этого направления, которых он обычно называл «теоретиками», и направлена, главным образом, полемика Григорьева, так как они в ту эпоху представляли собой крупную силу, главенствовавшую в общественном сознании и оказывавшую могущественное влияние на взгляды и вкусы читающей публики и преимущественно молодого поколения.

Полемизируя со своими противниками, Григорьев вместе с тем излагает свои собственные оригинальные воззрения на искусство, на методы и приемы его истолкования, излагает свою теорию органической критики.

Термин «органический» ближе всего можно бы заменить словом «живой», «жизненный». Григорьев горячо отстаивает серьезное, глубокое значение искусства, его непосредственную, кровную связь с жизнью, идеальным отражением которой оно является. «Искусство, – говорит он, – воплощает в образы, в идеалы сознания массы. Поэты суть голоса масс, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат ключом к уразумению эпох – организмов во времени и народов – организмов в пространстве». Соответственно такому высокому значению искусства, – продолжает и поясняет г. Саводник, – и критика должна под-

няться на надлежащую высоту. Помня, что в искусстве открывается смысл жизни, она должна ставить себе задачей, путем анализа художественных произведений, разъяснить этот скрытый в них смысл, выяснить их идейное содержание. Но эту задачу критика может осуществить только тогда, когда подымается до целостного интегрального понимания жизни, когда в качестве критерия для своих суждений и оценок примет не преходящие явления жизни и не те или другие отвлеченные идеи и теории, как это делали представители исторической и публицистической критики, а тот глубокий идейный смысл, который лежит в основе жизненных процессов и отражается в художественных произведениях. Для правильного понимания и истолкования явлений искусства критика должна найти общую с ними почву. И такая общая почва, несомненно, существует: «Между искусством и критикой, – говорит Григорьев, – есть органическое родство в сознании идейного, и критика, поэтому, не может быть слепонисторической, а должна быть, или, по крайней мере, должна стремиться стать столь же органической, как само искусство, осмысливая анализом те же органические начала жизни, которым синтетически сообщает плоть и кровь искусства». Но такая «органическая» критика возможна лишь тогда, когда она основывается на целом и прочном, органически сложившемся мировоззрении, когда она является не простою игрою ума и остроумия, а результатом серьезных духовных стремлений и исканий, когда она представляет для самого критика действительно жизненное дело, тесно связанное с его наиболее глубокими внутренними переживаниями. «Наши мысли вообще (если они точно мысли, а не баловство одно), – писал он в 1858 году в одном дружеском письме, – суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, вымучившиеся до формул и определений». И такой именно характер носит вся критическая деятельность Григорьева, тесно связанная с его личностью, с его глубокими, органическими симпатиями и тяготениями; во всех его статьях чувствуется горячее дыхание жизни, биение живого пульса, – чувствуется, что все вопросы, которых он касается в своих статьях, представляют для него не один только отвлеченный, головной интерес, но неразрывно связаны со всем его внутренним миром... Все это придает его писаниям особенную теплоту, которая вместе с тонким эстетическим чувством и художественной проникательностью обаятельно действует на вдумчивого читателя и заставляет его забыть некоторую разбросанность и сбивчивость изложения, обуславливаемую страстным, увлекающимся темпераментом Григорьева».

В. Ф. Саводнику принадлежит высокая честь – поднять Григорьева из гроба. Пытался это сделать, вскоре после смерти критика, Н. Н. Страхов: но – неудачно. Изданный им Григорьев был продан «свесу» букинистам: его никто не покупал, не брал. «Пошел на обертку» за ненадобностью благородному читателю. В издании В. Ф. Саводника (книгоиздательство Башмаковых) Григорьев быстро расходуется, и каждая серия новых выпусков вызывает со-

бою отзывы и критику в журналах и газетах. Другие времена пришли, живет другое поколение, то лучшее и более серьезное поколение, в образовании которого много сделали и Н. Н. Страхов и Ап. А. Григорьев. Вся личность, вся судьба Ап. Григорьева – поэтична, страдальческа, безумна. Он страдал тем пороком, которым страдал и Глеб Успенский, – и в личности и судьбе обоих, несмотря на разницу «политических платформ», было что-то общее, родное. И еще сюда прибавим великого композитора – Мусоргского. Это поистине гуляки – Моцарты в русской культуре: с огнем, сжигающим внутри, с бутылкой (увы) вина в руках. Какие личности! – скажу прямо: какая роскошь личности во всех трех!! Счастливы ли они были? По-своему и втайне – да. Ибо кто же променяет тайные звуки души, при всем ужасе внешней обстановки, – на благополучное существование Чичикова или Кутлера. Да, Григорьев, Мусоргский, Успенский – это уже «не мертвые-с души». Ошибся Гоголь: не все мертво на Руси. Ошибся великий Кашей нашей литературы. Хороша ты, Русь; ну – и пьяна ты, Русь. К счастью – была.

Еще заметка: Григорьев весь «наш», учебный, училищный, частью – студенческий. Он жил «попытками», учителем. Впрочем, и все у него в жизни было попыткой и неудачей. Во всяком случае, это только ясно: студент московский и потом учитель провинций. Потом пришел, приехал или прибежал в Питер: здесь он жил, женился, нелепо и бессмысленно, умер – почти неизвестно, где и как. «Не по Кутлеру жил». Ни профессором, ни присяжным критиком прочно поставленного журнала не был. Писал на «задворках» и где случится. Вечная ему память, прекрасному человеку, но я веду слово «наш» к тому, что теперь забота именно учителей гимназий и семинарий, старых педагогов-словесников, поставить Григорьева «на свое место»: в сердца учеников, гимназистов и семинаристов, в сердца учениц своих, и – на ученические полочки ученических библиотек. За вами очередь, господа русские педагоги.

МЕЛКИЕ СЧЕТЫ В ГОС. ДУМЕ

Не время и не место, – хочется сказать, хочется даже закричать при чтении речей гг. членов Гос. Думы Родичева и Замысловского и также других, о чьих речах был дан у нас отчет в № 14365 от 5 марта. Гос. Дума – колоссальный орган государственной работы и создан для работы мыслью и словом, для помощи словом и мыслью России в чудовищной борьбе, которую он выносит. Место ли и время ли теперь для сведения партийных счетов, для загрязнения политических противников? Депутаты-ораторы могли свести партийные и личные счета через посредство прессы или где им угодно, но только не всходя на трибуну Гос. Думы, где каждые десять минут очень дороги и должны служить свою службу России, так как трибуна эта занимает внимание ведь не одних членов законодательной палаты, но и целой России. А целой России решительно невозможно и решительно неудобно слушать о том, в целом или в скроенном виде было передано интендантское сукно для солдатских шине-

лей, подряд на которые взял один из членов Гос. Думы. С начала всемирной истории были партии менее укоризненные и более укоризненные, но не было партии совершенно безукоризненной. Но ни одна решительно партия и никогда не была застрахована от того, чтобы в состав ее не проник нежелательный член. Увы, все живое болит, а парламентаризм – живое явление.

Не в перекорах и взаимных уличениях сила, дух и патриотизм партий, а в мудрости, совете и разуме, которые от партий получает отечество. Не в единичных членах Гос. Думы дело, а в общем голосе их всех. Прения 4 марта решительно уронили Думу, решительно недостойны Думы. Все эти личные схватки и препирательства и не важны в самих себе, и не интересны никому в России.

Представительное управление *обязывает*, и больше всего должны об этом помнить те, кто несет на себе это представительство.

ИЗ МИРА СЛЕПЫХ

«Старость – не радость», говорит пословица. А к тому – болезни, а еще к тому – грехи, прошедшие, современные, и живешь совсем скверную жизнь. Дошел до того, что уже письма получаемые дочитываю лишь до половины, да и те моментально забываю. Что за существование? Не понимаю, кому оно нужно. Но Бог сказал: «Живи». И вот – живешь.

Защемил стыд в душе: на письменном столе попало письмо слепого, – слепого художника!! И, читая его волшебные строки, я весь заволновался. Под письмом пометка: «5 февраля 1916 г.». По письму я ничего не сделал, и я готов был бы поклясться, что его не читал, если бы оно не было вскрыто и вообще не имело вида «прочитанного письма». Но у меня – никакого о нем воспоминания!! Слепой зрячему приносит кучу новостей; да и вся Россия прочтет его с волнением. Слушайте:

«Будьте добры, – подействуйте помещению прилагаемого «Воззвания к слепым» в газете «Нов. Вр.». Думаю, однако, что в редакции это воззвание мало будет замечено в груде газетного литературного материала. Вот почему я и решаюсь побеспокоить вас особым личным обращением к вашему просвещенному и сочувственному вниманию. После недавней вашей статьи о слепых я имею некоторое основание предполагать, что вы не отнесетесь к настоящему воззванию группы петроградских слепцов, обращенному к слепым всей земли русской, равнодушно (а я то, окаанный!! – В. Р.). Напротив, мне хочется верить, что вы, действительно, и как-то душевно заинтересовались как исключительной психологией незрячих людей, так и особенным складом их почти уединенного житья-бытья.

Правду сказать, о нас слепых мало кто знает верное и важное, еще меньше пишут о нас и о нашей странной наружной и бессолнечной жизни (какое удивительное выражение! – В. Р.). Вот и вы, многоува-

жаемый В. В., изумляетесь в своей статье тому, что и слепые влюбляются и даже женятся. Но позвольте открыть вам, что браки среди слепых очень даже не редки. Пожалуй, реже браки слепых и зрячих между собою. Еще скажу вам, что дети даже от обоих слепых родителей всегда, всегда рождаются абсолютно нормально зрячим. Если же дети от слепых отца и матери и теряют впоследствии зрение, то подобные случаи крайне редки. Вообще же склонность к семейной жизни так же сильна среди слепых, как и среди всех прочих, людей на свете Божиим, если не сильнее еще».

Поистине слепые в семейном отношении ведут за руку зрячих. А ведь и в самом-то деле: «сообразим, догадаемся, что в то время как зрячий наслаждается театром, путешествиями, природой, видами, ландшафтами, слепой страшно стеснен в «выборе поля зрения» (!!!), стеснен в наслаждениях, в радостях, – к тому же он чувствует себя сиротою и обиженным в мире, и вот эта совокупность положения и эмоций, которые толкают слепых к браку, к семье! Так естественно, так натурально. Слепцы суть естественно брачные люди: потому, что лишь семья открывает им бесконечность утешения во взаимной нежности и ласке. Притом эти «верные муж и жена» (конечно, верные!) ведь ничем не развлечены, не развлечены «на сторону»... Неужели – нет? Господи, какие тайны!

«Подумайте, какие особенные и ни с чем не сравнимые чувства должны переживать слепые родители, когда они, например, устраивают елку (Господи, что это такое? Слепые зажигают елку, которой они не видят? Не видят огня и, стало быть, могут обжечься?! – В. Р.), – устраивают елку для своих зрячих и, стало быть, свободноподвижных, ловких, живых ребятшек. Дети любят огоньками и всей красочной нарядностью чудесной рождественской елки, дети кружатся и бегают вокруг зеленого Божьего дерева (пишет слепой: как он воспринимает «зеленый цвет»?!! – В. Р.), – а слепые их отцы и матери или радуются непонятными радостями своих любимых малюток, или, радуясь вместе с ними, с великой грустью отдаются воспоминаниям об утраченной навсегда красоте мира внешнего, если они потеряли зрение не в раннем детстве».

Господи! Видя слепого, быстро движущийся прохожий часто забывает, что в слепом живет все богатство души, вся сила разума, но какого-то запертого в вечное и страшное одиночество, запертого в неразрушимую темницу: но со всею своею энергиею, порывами, и, пожалуй, еще усиленными... Ба! Я в полном страхе; да как бы еще слепые у нас не устроили революцию и не обновили «строй», очевидно захудалый для всех зрячих. Вдруг они закричат зрячим:

– Соотечественники, вы – ничего не видите, мы – покажем вам дорогу. Ей-ей: непременно случится!!! «Партия слепых в отечестве»? Возможно.

«Однако одними домашне-семейными и профессиональными интересами русские слепые люди уже не удовлетворяются. Слепые щеточники и щеточницы, такие же корзинщики и корзинщицы, музы-

канти, певцы, массажисты обоого пола, как семейные, так и одинокие, словом, вся, если можно так выразиться, слепая Русь жаждет ныне иной, лучшей жизни. Правда, и теперь среди слепых найдутся и ученые, и прекрасные музыканты, и промышленники, и юристы, и писатели, и поэты, и даже один художник-живописец, но таких поднавшихся из бедности и неизвестности крайне немного в России. 250 000 русских слепых людей ожидают еще своего исхода из Египта особых слепцовских страданий и томлений.

Но Моисей не приходит. И вот, не желая пребывать в тяжком плену самых неблагоприятных условий и обстоятельств, быть может еще десятки мучительных лет, мы, русские слепые, вдруг встрепенулись, взмахнули крыльями и готовы вот-вот взлететь ввысь. И конечно, взлетим! Никто и ничто нас не удержит, не испугает. Мы действительно преисполнены страстной веры в победу, мы разоглись теперь такой горячей энергией и творческим энтузиазмом, что успех нашего замысла представляется нам обеспеченным.

Только бы узнали скорее наши слепые собратья в многочисленных уголках России об учреждаемом ныне «Всероссийском союзе слепых». Вы увидите, как воспрянут эти десятки тысяч заброшенных и часто задавленных тяжелой, мрачной судьбой людей. Вы изумитесь, как быстро эта слепая армия соберется в единое, стройное целое, как дружно и даже сердечно примется она устраивать свои позиции в обществе и государстве. Нам открываются такие перспективы в будущем, что печальное, тусклое или вовсе мрачное прошлое как будто уже ушло от многих из нас.

Без сомнения, в скором времени у нас, слепых, будут собственные газеты и журналы, в которых слепые будут писать и для слепых и для зрячих. Тогда нам уже не нужно будет обращаться к любезному содействию газет, издаваемых зрячими для зрячих. Но сейчас поневоле мы должны еще беспокоить и редакции газет, и гг. литераторов своими скорбями и нуждами. Не посетуйте за это на нас. Отнесите попросту, по-душевному к людям, которые из тьмы физической рвутся к свету духовному. Еще раз прошу вас позаботиться насчет прилагаемого объявления.

С совершенным уважением Василий П-в, слепой художник.
5 февраля 1916 г.» (приложен полный адрес).

Еще чудо: все письмо написано на машинке, но в двух местах, именно слова «уже» и «зрячими» – не совсем вышли: и тонкими буквами «печатного стиля», они подведены, доведены до полноты, – чернилами. Подозревать обман – не хочется, не имею права: но как же, добрый читатель, он их подправил, подправил нехватку в букве, – будучи слепым?

Дважды я видел в подробности слепого: раз это было в путешествии по Волге. Мы зашли осмотреть монастырь в Ярославле или поблизости к Ярославлю. И вот его нам показывал (*показывал!!* – В. Р.) слепой звонарь. Он оказался артистом-звонарем, жаловался, что «звона» в церквях теперь нигде

нет, он везде расстроен, «незаконен», не благозвучен, не по тонам, чуть не «по нотам»! Просто – чудеса, мне, профану, совсем непонятные. Казалось – «есть колокола», и – «звони», очень просто. Мне и моим спутникам не хотелось с ним расстаться, и, желая еще поговорить, мы напросились к нему чайку попить. Живо он поставил самовар в своей комнатке, где-то «внизу», в фундаменте, или под фундаментом какой-то постройки. И в разговоре, между прочим, сказал: «Вот теперь я уже стар и руки дрожат, и я не могу *починять часы*; потому там волосок (пружинка?), и руки мои уже не могут его правильно поставить!! Прочее все я и теперь могу: разобрать часы, собрать часы (карманные!). Это было любимое мое дело, а теперь я лишился главного своего заработка». Не удивительно ли? Вполне! Я думаю, я склонен думать, что слепые удлинено умны, талантливы и энергичны... Подумайте, какое сосредоточение души, постоянная работа внутри себя! Еще замечание, – слепые не имеют главного русского недостатка – легкомыслия! «Легкомысленный русский» – это само собою говорится; «легкомысленный слепой» – странно сказать.

Вообще у них есть внутреннее напряжение. Опять, – чего недостает нам. Уверен, что в умственную жизнь России слепые, когда у них будут «свои газеты», «своя литература», – могут внести много добра, – могут внести прекрасный, благородный тон и ту «внутреннюю литургию», которая не может не звучать в их уединенных, отторгнутых от мира душах и которой так недостает зрячим, хочется добавить – слепым зрячим.

К КОНЧИНЕ ХУДОЖНИКА В. И. СУРИКОВА

Не мы его будем увековечивать, но он сам себя увековечил, увековечив яркое и сочное в русской истории, в русском быте, в русской душе... «Суворов на С.-Готарде», «Меньшиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни при Петре Великом», «Ермак», – кто не помнит всего этого?.. А это – ступени русской истории поистине – уступы гигантской пирамиды русской истории. Какая кисть, краски, экспрессия фигур и лиц! Какое могущество воображения и изображения. «Суриков» – и из него лезет уже «Репин», как дальнейшее выявление того же...

Все – сок, сила. Нет идеала. «Идеал – это натура». Вот канон тогдашней живописи, этой живописи. Ничего, что были преувеличения. Жизнь идет скрещиванием мечей, противоречиями, прибоем и отбоем. Жизнь – это не доска, а волнение. И долго еще, долго, несмотря на перепевы пацифистов и вообще «мировых посредников» цивилизации, не умолкнет гул людского океана, столь ослепительный и страшный.

В истории живописи прошло, в эти шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы нашего русского XIX века, какое-то необычайной тонкости и сладости касательство к материи... Какой-то «любовный сон» с материею,

матерью всего живущего. Да, «Мать», но не «Отец»: отец, творец всего сущего, – дух. Его совсем забыли в те годы. И хорошо, что забыли. Не надо. Помешало бы делу, помешало бы миссии тех лет. Но «Мать» сущего, вот эту тоже очень таинственную «материю», русская кисть взяла и выразила так, что поистине «не остается ничего желать».

Кстати: мы имеем монументы музыкантам, писателям – очень много имеем, а вот живописцам – ни одного. Почему? Даже нельзя объяснить... «Не пришло в голову». Ах, русская заспанная и не очень причесанная голова вообще лениво думает. И вот именно по поводу Сурикова приходит – мысль о монументе. И так просто, дешево, хоть не в крупном виде: бюст, и под ним на плоскостях подставки-подножия бронзовое воспроизведение – увековечение его дорогих всей Руси картин.

Помнят Русь ее люди. А вот Русь не помнит своих людей. «Все спит, голубушка, распластавшись между океанами». А ведь в тайне-то вещи мы все любим этот сон нашей Матушки и оберегаем, и храним его.

Ну, я не за пробуждение вообще, но хоть иногда нужно все-таки просыпаться.

АНКЕТА ОБ ЕВРЕЯХ Л. АНДРЕЕВА, Ф. СОЛОГУБА И М. ГОРЬКОГО*

Вышло очень много интересных книг: только что подали с почты «Философию жизни. 1891–1916», известного профессора Московской духовной академии М. М. Тареева; несколько раньше появились «Классики философии» И. Г. Фихте. Избранные сочинения, перевод под редакцией кн. Е. Трубецкого, том I, изданный в Москве книгоиздательством «Путь»; «Архив села Караби-хи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову» – и другие. И хотелось бы, очень хотелось бы на них остановиться. Но –

Нужда скачет, нужда пляшет,
Нужда песенки поет...

Что делать. Напор сегодняшнего дня одолевает зовы сердца, пригибает к земле и нудит копать пальцами в грязи, в пыли, в зловонных отбросах на улице редакционных кабинетов, лекторских зал и суетливой «рабочей комнаты» современного литератора.

М. Горький в последнем номере своей «Летописи» напечатал тот доклад, который он прочел 12 декабря этой зимы при открытии вновь образованного в Петрограде «Русского Общества изучения жизни среди евреев». Доклад именуется «По поводу одной анкеты» и заключает в себе разбор тех писем, какие были получены в ответ на обращение к русскому обществу

* В «Моск. Вед.» уже была напечатана заметка по поводу этой анкеты, но содержание анкеты так важно и ярко, что читателям будет не лишне всмотреться в суть еврейского вопроса по данным этой анкеты.

трех корифеев современной беллетристики и поэзии – Максима Горького, Леонида Андреева и Федора Сологуба – по поводу антисемитизма в русском обществе.

Это печально, что вопрос такой глубины и обширности взят в трактовку беллетристами, которые «мыслят образами», а не силлогизмами, и что доклады о результатах анкеты взялся один из инициаторов этой же анкеты, который судит, таким образом, «в своем деле»: а известно, что «в своем деле» человек – не судья. Таким образом, с обеих сторон доклад М. Горького представляется недоброкачественным, неосновательным, несправедливым. И было бы вполне основательно его просто – отбросить, не слушать при чтении и не читать в журнале. Но что делать: он произвел впечатление при чтении, он произведет впечатление на читателей. И вот это «впечатление» третьей стороны вынуждает работать над докладом.

Все это в общем, однако, жаль. Вот Карл Маркс соорудил умопомрачительной величины трактат – «Капитал. Критика политической экономии». Евреи вообще очень трудолюбивы, очень книжны, очень к тому же страстны и волнуются. Отчего бы другому еврею, столь же талантливому и юркому, как Карл Маркс, наконец, отчего бы тому же самому Карлу Марксу вместо «разбора политической экономии» не выбрать тему более животрепещущую для его народа и более насущно важную и написать умопомрачительное по величине, подробностям и кропотливости исследование: «Антисемитизм. Разбор всемирно-исторической враждебности к евреям, начиная от всенародного изгнания их из Египта и кончая кишиневским и белостокским погромами». Книгу было бы можно написать не в одном томе, но в трех, в пяти томах. Наконец, книгу можно было бы написать так распространенно, как собрался же написать и написал покойный Н. П. Барсуков, одиночную и единоличную «Жизнь и труды Погодина» в 22 томах. Дело требует этого, важность зовет это. Можно бы на это посвятить целую жизнь и, так сказать, «исчерпать и кончить вопрос». В 22 томах его, конечно, можно было бы «кончить». Так, наш Н. Я. Данилевский исследовал в двух громадных томах своего «Дарвинизма» – теорию английского ученого «о происхождении видов» в животном и в растительном царствах, не оставив решительно ни одного уголка в этой истории неосвященным, необъясненным и, судя по всему, неопрокинутым. Так делается дело. Так делается оно учеными. Ученых очень немало среди еврейства, – и опять вспомним Карла Маркса. И вот то, что они совершенно *не исследуют* антисемитизма, а только кричат на антисемитов, заставляет относиться к всему делу как-то подозрительно. Является мысль, что вопрос этот евреям хочется скорее *закрыть*, нежели объяснить и *осветить*; что им нужна не истина, а потемки; что самый антисемитизм им противен и ненавистен не как собственно вражда к евреям, не как враждебное, и впрочем, бессильное течение против евреев в Европе и в России, а как именно тревога и обращение внимания на вопрос. Евреи зовут к квиетизму, к успокоению; «сидите тихо, все обойдется. Мы никого не хватаем за горло, не жжем домов, не скандалим, как суффражистки, не выбегаем на улицу с бар-

рикадами и стрельбой. Мы – самое тихое, самое исполнительное в отношении законов население и самое покорное властям, от полицейского до министра. Трезвы, трудолюбивы, книжники и фарисеи, т. е. ученые формалисты в религии. Чего же и кому же что-нибудь от нас нужно?! Если кто устранил все поводы к ссоре, все поводы к злобе, то это – мы, евреи».

Да. Тихи. Очень тихи.

Но вдруг ее население вокруг начинает визжать «без всякого повода». Сперва взвизги одиночны, потом сливаются во всенародный вой. А евреи – все тихи.

Все Богу молятся и немного торгуют. «Семейны, как никто». Сидят дома или в лавочке.

Поднимается, наконец, власть, как в Египте. В Египте еще не было наших дурных русских исправников, нашей нехорошей полиции, не было русских, столь несовершенных министров; черносотенцев и «Союза русского народа» еще не возникало. Все это зло, которому единственно приписывается Максимом Горьким антисемитизм в России и еврейские погромы, – отсутствовало. И вот в стране богатой, роскошной, языческой, – в стране ничуть не подвижной христианскими суевериями, – евреи изгоняются всею массою, чему, – очень замечательно, – предшествует попытка сперва остановить физиологический рост еврейского племени, т. е. просто сократить, убавить *численность в Египте евреев*. Меры, которые иными, менее жестокими путями, и, конечно, без всякого подражания египетским фараонам пытаются осуществить в западной России, стараясь прямо или косвенно вытеснить их, вызвать их эмиграцию в Америку и проч.

Замечательно, что евреи от времен Египта до нашего времени утруждают окружающее население просто массою, численностью своею. Как будто каждый единично еврей *тяжел для населения*. И население хочет хоть сократить массу этой тяжести через уменьшение «будто висящих на шее» единичных евреев. Почему бы? Мусульман, сартов, татар еще больше в Средней Азии, в Казанской губернии. Сколько башкиров, киргизов!! Но каждый башкир, киргиз, татарин, сарт стоит на своем месте, ноги его упираются в землю, и на соседей своих он никак и ничем не давит. Совершенно обратно – евреи. Евреи будто «едут на соседях», едут на русских, едут на французах, ехали на египтянах: и если еще «один» едет – русский, француз и египтянин – не кричит: а как их «много едет» – соседи начинают кричать, задыхаться и «принимать меры, чтобы их было меньше».

Это «езда верхом на другом», на соседе, на друге, на товарище, на всяком инородце, причем везущий решительно задыхается, теряет силы и, наконец, падает – и составляет суть всего, или – главное в сути, осязаемое и очевидное в сути. Евреи очень тихи и законосообразны: но что же делать, если они не умеют стоять на земле, а только на шее «ближнего своего». Они – не двуногие, а – верховые. Как есть человек – так еврей взлезает на него, овладевает им, пользуется им, направляет его туда, куда тот и не хотел бы идти, но куда еврею надо ехать. Как колдунья на Хоме Бруте в «Вие» Гоголя. И Хома

Брут бежит-бежит; чувствует истому; чувствует, что в нем нет своей воли, а – еврейская. Творит молитву, сбрасывает колдунью и бьет ее. Вот «еврейские погромы», которые, кстати, и в Малороссии были еще во времена Тараса Бульбы, до «наших северных министров», до полиции и до возникновения «Союза русского народа».

Я здесь высказал гораздо больше мыслей, чем М. Горький во всей своей журнальной статье, где собственно «мыслей» не содержится и есть одна брань на антисемитов, без всякого разбора дела, – и одно восхваление евреев, – тоже без разбора. И вот странное явление, или вернее – признак, что евреи «едут верхом на Максиме Горьком»: параллельно этому «бежанию под евреем» в М. Горьком, совершенно русском человеке, и даже (я думаю) – хорошем русском человеке, с добрым и великодушным сердцем, развивается положительная ненависть, положительная злоба к русскому народу, к русской земле, к самой русской душе даже!! В программной статье журнала «Две души» М. Горький без стеснения и прямо говорит, что он «ненавидит душу восточную», которую называет в то же время «душую русскою». Это – магия какая-то. Я серьезно настаиваю на слове «магия», потому что и вообще замечал, всегда замечал, что сближение с евреями и даже против допущения их замешаться в нашу жизнь сказывается в том, что по мере «прилипания» к ним, евреям, или вернее – «прилипания *под* них» – отражается и выражается ненавидением земли своей, истории и народа. Русский совершенно перестает быть русским, сливаясь («дружась», «знакомясь») с евреем: но еврей остается собой.

Оставляя в стороне «93 документа (из 267 писем), написанных представителями той России, которой, несомненно, принадлежит будущее России, – людей умных и честных», как характеризует М. Горький филосемитов в России, мы находим, что «глупые люди в России» хорошо навалили в шапку знаменитым литераторам.

«У хозяина в доме пожар, а вы к нему – со старыми долгами. Так – неуместно, противно. Евреи – хороши, они – свое возьмут, но – погодите. Если же они хотят повторения 1905 года, то пусть лезут: мы, народные учителя, первые поднимем народ и освободимся от немецкой, а заодно и от еврейской болезни... Анкетой своей вы вызвали гадливое чувство. Обидно за вас, за трех писателей. Ненавидящий и презирающий вас учитель Г. Щ.».

От 26 рабочих Харьковского паровозостроительного завода:

«Нам ничего не известно о трагическом положении евреев в России. Нам, русским рабочим, очень хорошо известно, что евреи принимали и принимают сверхэнергичное участие в разложении русского общества и армии, флота и учащейся молодежи, – много они потрудились, чтобы подготовить, вызвать и создать «Японское позорище», «9-е января», «Цусиму», «похождения «Потемкина» в Тавриде» под командой «доблестного» Шмидта и при благосклонном участии бывшего президента Черноморской республики «хрустально чистого» Пергаменты и К°...

Вашу чувствительную совесть почему-то угнетает «рост вражды к евреям», а нашу – угнетает сознание, что мы, благодаря вашей и еврейской про-

паганде, много зла причинили себе, всему русскому государству и народу. Да, как честные люди, мы утверждаем, что евреи, вы и мы, ваши ученики, последователи и поклонники, подготовили, вызвали и устроили бессмысленную братоубийственную революцию 1905–1906 года. Революцию, поглотившую сотни тысяч человеческих жизней и сотни миллионов народных денег, попавших целиком в карманы «угнетенного» народа. Впрочем, миллионы, подаренные на революцию Морозовым, попали, по словам евреев, в карманы одного из вас, русские писатели, – певца «бури и свободы».

У нас теперь совсем нет духовной жизни, – все великое, святое, дорогое для нас унижено, осквернено евреями. Нам нечем жить. Они отняли у нас веру в Бога, в Царя, веру в русский народ и в лучших людей государства... Желаем, чтобы вашу писательскую совесть никогда не угнетало сознание жестокости, ненависти и всяческой несправедливости, проявленной вами в отношении к русскому народу.

Все мы, 26 рабочих, бывшие «крайние левые», ваши ученики и последователи, а теперь люди, повисшие в воздухе и не знающие во что верить им, кого любить и где преклонить головы свои»...

М. Горький называет это письмо «несчастной и темной психологией», хотя и не решается отказать ему в «искренности». Еще бы. Это – боль души. И как она сказалась!

Замечательно, что из интеллигентов некоторые начинают одумываться. Так, г. Коломыйцев пишет в ответ на анкету:

«В издававшемся мною девять лет в Симферополе «Тавричанине» я постоянно отстаивал общечеловеческие права евреев. Я признавал и признаю человеческое и человеческое в евреях. Но из этого не следует, что анкета трех наших чудаков – Андреева, Горького и Сологуба – затеяна вовремя. Ею можно только возмущаться. Как не стыдно этим литературным кривлякам выступать с анкетами в такое время. Неужели они, в самом деле, склонны думать, что их имена что-нибудь значат вообще. Да, на такую дерзость, как их анкеты, не отважился бы в такое время даже такой гигант, как Толстой. И истинный писатель Чехов постеснялся бы».

Действительно. В гигантской борьбе, разделившей Европу, где столько счастья рушится, где столько жизней погибло, – что значит голос трех русских беллетристов? Какой смысл в самом вопросе? Говорить, обращать на себя внимание, занимать общество *своими* вопросами и недоумениями – это бесстыдный эгоизм, имя которому одно – пошлость.

«Прогрессивный журналист из Костромы» повторяет этот укор «трем писателям»:

«Теперь, когда надо всеми силами пробуждать русское национальное самосознание, не время – слышите, – не время заниматься еврейским вопросом. С этим проклятым тысячелетним вопросом можно подождать до окончания войны. В частности, – отойдите от этого дела, не губите свои имена, столь близкие русскому народу. Говоря проще, – бросьте это грязное дело».

Андрей К., из Риги, ответил на анкету очень выразительно, – и поставил на свое скромное место «трех писателей», в сущности – трех выскочек:

«Правительство озабочено всегда о правах своих подданных, но вам, как писателям, трудно вмешиваться со своими взглядами в действия правительства и спрашивать о взглядах публики. Поговорите с нашими генералами... В такое смутное время защищать их (евреев) права, – значит, быть преступниками правительства, это могут только Андреев, Сологуб и Горький»...

Не могу не сознаться, – пусть меня будут за это высмеивать, – что письмо это особенно дорого мне словами о правительстве. Это – тон гражданина, как Минин, как древние римляне, которые не позволяли себе и не позволяли никому в своем присутствии шуточек о сенате, о консулах. У нас, России, где есть только клубные понятия, а не гражданские понятия, где есть только речи адвокатов и никогда не услышишь речи государственного тона, – это страшно редко. Спасибо торговцу или кому другому «из Риги». Он ответил «трем писателям» от всех нас.

Есть ответы в одну строчку, но выразительные, как пословица: «Дать жиду права, – значит, посадить ехидну в карман». Это – явно из народа. Есть и красивые рассуждения. Одно обращено к Ф. Сологубу:

«Я думаю преимущественно о вас, Федор Сологуб. Вы – поэт, как выразились в пору Пушкина, – жрец искусства; вы – создатель легенды о пленительной, далекой Ойле... Это вы написали:

Быть с людьми – какое бремя!

или:

Вы счастливы, не желающие,
Лучших дней не ожидающие,
Жизнь и смерть равно встречающие
С отуманенным лицом.

Подумайте, какие ржавые, продажные перья скрипели вокруг еврейского вопроса... И вы вмешиваетесь в их ряды, обмакиваете в ядовитые чернила белоснежное перо, словно упавшее из крыльев врубелевской Царевны-Лебеди, а между тем сколько прекрасных мгновений, сколько желанных обманов могло дать это перо людям... Станем выше толпы и не будем говорить на жаргоне провинциальных передовиц. Я, со своей стороны, готов по-рыцарски поднять перчатку, так как считаю себя честным антисемитом...

Существуют два антисемитизма – народный и интеллигентский. Конечно, второй охватывает первый, он много шире по содержанию, сложнее, благодаря содержащимся в его распоряжении аргументам, историческим, научным и проч.

Самая наружность евреев, строение их тела, их манера говорить, их какая-то таинственная религия с обрядами крови, – все это не может не возбуждать презрливости. Это – не два племени, как славяне и литовцы, как даже

славяне и немцы, это – свет и тьма, добро и зло, короче – полное отрицание один другого.

Нам говорят, что евреи – «тоже люди», что они должны пользоваться «человеческими» правами. Может быть, но прежде всего – моя душа не выносит еврея, она ненавидит его, как тьму, как зло, как грязное пятно на белоснежном платке... Мне невыносимо жить с евреем и оставаться спокойным...

Наш главный пафос – это освобождение братьев, это крест на Св. Софии. У кого из славян не бьется сердце при звуке этих лозунгов? Мы все чувствуем, что необходимо разгромить Германию, страстно желаем этого. Какой же пафос у евреев в этой войне? Желанна ли она им? Нет, ибо какой прок для евреев в разгроме Германии, где кормятся и паразитствуют их братья, как и во Франции, и в России. Лучшая их мечта – хоть худой мир, ибо в мирное время хорошо заниматься «коммерцией» и набивать карманы золотом, а война – одно разорение. И вот почему я думаю, что чем скорее мы выбросим за борт корабля русской культуры эту мразь, тем лучше. Мне грустно только за вас, Федор Сологуб, мне бесконечно жаль видеть гибель вашего таланта поэтического. Я заранее не уважаю вашей книги об антисемитизме и не хочу, чтобы в ней была хоть одна моя строчка».

Взгляд этот М. Горький называет «взглядом эстета». Между тем тут гораздо более выражено русское историческое самосознание. Но что может говорить «крест на Св. Софии» автору «На дне» и «Мальвы»?

Студент М. насмешливо ответил («трем писателям»):

«Вы спросите об евреях тех людей, которые в эту войну вошли с ними в самое тесное соприкосновение, т. е. солдат. Последние скажут вам, как евреи «грудью и бескорыстно защищали Россию», – защищали ее «вместе с другими».

Из одного очень длинного письма я беру строку: «Евреи – это люди, которым чужда всякая государственность, всякая государственная жизнь».

Строка взволновала меня. Я давно думаю: «Да что такое эта всесветно либеральная роль, которую играют евреи во всей Европе?» Есть ли эта роль творчески-либеральная, творчески-освободительная, какая в Англии принадлежала индепендистам, принадлежала вообще творцам английской гражданственности и свободы, которая дала Англии Magna charta libertatum* и Habeas corpus**? Не обманываемся ли мы словами «свобода», «освобождение» и не сливаем ли в одно – из-за общего имени – две вещи, не только совершенно разные, но даже противоположные?

Увы, – да!!!

«Гражданская свобода», т. е. свободные условия существования и выражения христианской души в христианском обществе, в христианском царстве, – это что-то совершенно непонятное жалкому и анархическому остатку племени, жившего когда-то в «обетованной земле» Ханаана и затем во всех городах по побережью Средиземного моря, который знал наживу, знал гени-

* Великая хартия вольностей (лат.).

** Закон о неприкосновенности личности (лат.).

ально «проценты» и механизм и уловки хищнической торговли, знал и «обряды таинственной своей религии крови», начиная с обрезания, – обряды исключительно домашнего и семейного характера, – и собственно никогда не знал организованной жизни в организованном обществе, который есть, был и будет «племенным стадом» и никогда не станет и не был никогда «социальной единицей», «гражданством», «*civitas*», «*res publica*»*. Два только царствования, Давида и Соломона: да и эти-то царствования были с завещанием «кровавой мести» от отца к сыну (смотри наставление Соломону умирающего Давида в «Книге Царств»)! А остальное? «Боги» Иероваома, «скорпионы» его же; бессудность, бесправие при «законах» только домашней жизни и храмового богослужения... Никакого «*civitas*», гражданства, царства. Бунты, восстания везде и постоянно, пока пришли ассирияне и взяли одно, пришли сирийцы и взяли другое, пришли персы и опять же взяли, пришли римляне и окончательно покорили. Да и «покорять» нечего было, – и «покоряли» в сущности один храм, который оберегался богомольцами – иерусалимлянами. Это было что-то наподобие «Афонской горы» в Турции, это – знаменитая «Ветхозаветная теократия». И вот Иерусалим пал, богослужения в храме прекратились. А это есть «азбука» юдаизма, что «религия евреев» как-то для нас странным образом связывалась вовсе не «духовно» с храмом, а связывалась *метафизически* именно с *физическим* выражением себя в Соломоновом храме, так что гасла, как только храм разрушался!! Это – азбука: вне храма нет богослужения и невозможно оно нигде, кроме храма. Вообще ни это для христиан, у которых *где молитва*, там и *церковь*. Мы ничего не понимаем в юдаизме и никогда ничего не понимали. И вот остались они без храма, т. е. атеистами, людьми с одними домашними обрядами и без всякого бога. У нас «дух дышет иде же хочет», но у евреев – наоборот: нет храма и нет никакого «духа». Это же написано у них, мы только не умеем читать или упираемся прочесть: для чего же они приходят к «стене плача», упираясь лбами в покинутую, разрушенную стену, поистине, как ослы в бывшее стойло. И вот они живут среди нас. Что они такое? Да ничего. Что им нужно? Тоже ничего. Ничего и нажива. Или – нажива и ничего. Взял и отошел, плюнув назад, на свое и на народное (т. е. *нашего* народа) прошлое. Еврей не имеет *своего следа* в еврейской цивилизации. Говорят о человеке: «Он вошел в комнату и *наследил*». Еврей не «наследит», ибо он, в сущности, «пролетает» через европейскую цивилизацию, через римскую цивилизацию, через греческую и египетскую цивилизацию, везде забирая свой прибыток и не оставляя после себя «следа». Вот теперь и понятна, будет их «либеральная роль», которая была «либеральной ролью», поверьте, и в Риме, и в Греции, и в Египте. Им «ничего не нужно», они «не заинтересованы»: и вот суть их «либерализма». Англичанам нужны были фундаменты свободной жизни в своей стране, но евреям никаких «фундаментов» и ни для чего не нужно, – им нужен только «простор», «чистое поле» для своих торговых манипуляций

* общественное дело (*лат.*).

и для своих обрядов «таинственной религии», – в сущности семейной, внутренней религии, которой никто не видит и никто не знает, – и больше ничего. Что же такое их «либерализм»? Для европейца это – утверждение, для еврея – голое отрицание. И вот со времен французской революции и уже за полвека до нее, смешавшись густо с французами и прососавшись и всюду в Европе в германское общество, в голландское общество, в английское общество (франкмасоны, «вольные каменщики»), они всюду заявили себя распространителями «свободных взглядов», которые выразились не в «строительстве», а в разрушении. Еще полнее мы выразим мысль свою, сказав, что мечта «восстановить Соломонов храм» (мечта «свободных каменщиков», франкмасонов) не что другое есть, как мечта «разрушить Христов храм», что эти два выражения – одно и то же, так как неудобно и опасно среди христиан и европейцев говорить: «Мы пришли разрушить ваши церкви», то вместо этого говорится невинно: «Мы невидимо и неосознано восстанавливаем Соломонов храм». Между тем это две формулы одной мысли, это есть полное тождество. И вот их роль, начиная от французской революции и до сегодняшнего дня. Не творческая нация, нация только разрушительная, она и самого разрушения не может построить *из себя*, а вместо этого она *присосалась ко всему разрушительному у европейцев*, к разрушительным философским мыслям, к разрушительным религиозным и церковным мыслям, к разрушительным политическим мыслям. Но в то время, как в Европе и у европейцев все это было разрознено, было изредка и кое у кого, и поэтому безвредно и безопасно, – евреи все это *сплотили и объединили*. Пожары во всяком городе случаются, но это совсем не то, что «горит город»; пожары, верно, бывали и в Трое до Приама, но только при Приаме Троя «сгорела». Обратите внимание на сущность социализма при Сен-Симоне, Фурье и Бабефе и на сущность социализма после Лассаля и Маркса. Тогда это были домашние разговоры и кабинетные размышления, а евреи превратили это в колоссальный политический факт, в стенобитный таран для разрушения Трои. Ла-Метри и Гельвеций жили в XVIII веке: но пришли Фейербах, Кант (евреи ничего не говорят), и эти пошленькие теории тысячи жидков-отрицателей, тысячи жидков-журналистов, фельетонистов, стихоплетов, лекторов разнесли по всем европейским обществам, внушая каждому, что Христа и Бога нет, а есть «одна материя», т. е. тот же их вещественный Соломонов храм, который разрушил Христос еще глубже своею духовною религией, чем потом разрушил или, вернее, докончил разрушение Веспасиан и Тит. Все – одно. Везде – одно. Но всмотримся же в корень всего. Да просто они – глупы, они безгосударственны эти евреи или, пожалуй, эти «знаменитые евреи». Они – не либералы, а тупицы, ибо какой же это «либерализм», если свинья отрицает все, кроме своего домашнего хлева, и если никоим образом ей нельзя разъяснить, что такое римский сенат. Это – ограниченность, а не гений. И все евреи по существу своему бесконечно ограничены, – откуда и проистекает их тупой пафос, а нисколько не высоко способны. Их дар – один, в торговле; в торговле, которую они преемственно получили от финикийян еще, т. е. от

древних обитателей Ханаана. Вексель, кошелек и банк: дальше этого горизонта еврей никогда не заглянет. К этому горизонту он неодолимо сведет все. Марксизм есть величайшая пошлость (совершенно чистосердечная) на почве европейской политической экономии: ибо эта европейская политическая экономия рассматривала народное хозяйство, национальное хозяйство и богатство, и об этом думали европейцы от Адама Смита до нашего Посошкова. Вот благородная европейская мысль, гениальная и широкая. Что же из нее сделал мелкий жидок Маркс? Поистине есть курьез всякая полемика с этим плутягой. Он в хозяйстве понял только «банк», «кошелек» и «обирание». Он «хозяйство» и его автономные данные свел к процессу «обирания публики», чем занимались его предки, начиная от Ханаана, и затем крикнул рабочим: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», да еще прибавил несколько фраз в типично жидовском вкусе: «Пролетарию терять нечего, кроме цепей», «Пролетарий не имеет отечества» и, словом, «пролетарий» должен строить тот же «Соломонов храм», над которым трудятся все его соотечественники. Фраза, гадость и власть. На конце всего – разбой, который вообще стоит на уме у еврея при соприкосновении со всякою цивилизацией, т. е. с «не моим», «не нашим», с чужим. Посмотрите, как превосходно развилось это у Маркса, – глупо, узко, хитро и разбойно. Видите ли, не может сразу произойти переворот в пользу рабочих; они сперва должны «сами постараться», чтобы богатства всей страны, каждой отдельной страны, скопились в руках немногих. Надо ли объяснять, – и это Маркс сам знал, – что они скопятся в руках евреев. Это называется «капитализацией» народного богатства, национального богатства. Рабочие смотрят на «журавля в небе», на эти чудовищные тресты и синдикаты, следуя формуле Маркса: «Мы их уьем *потом*». Ну... *a пока* евреи посажены в цари и прибирают «на земле» все «земное». И евреям хорошо, и Марксу хорошо; плохо и жутко только рабочему, который несет на плечах своих «бога» – Маркса. Но он... «потом утешится», когда будет «расправа». Но с «орудиями производства» переходят во власть евреев и «правительства», в которых уже погашена царская идея, королевская идея, и на месте ее водворился везде парламент, с суфлерами-евреями. А среди «машин производства» находятся и машины производства пулеметов, которые, «когда час придет», будут ли направлены рабочими против банков или банками против рабочих, – это еще «бабушка надвое сказала». Печать всего мира уже в руках евреев, и можно ожидать, что пулеметы направятся туда, куда укажет печать. Ну, а со времен Дрейфуса и Бейлиса Европа уже испытала, разойдутся ли во мнениях еврей и еврей и посоветует ли когда-нибудь еврей или еврейская газета направить пулемет на банк, где сидят сородичи еврея – журналиста. Вот этой «синей птицы» не видать, ее не видела земля со времен Египта и до судеб Франции и России. Маркс, очевидно, построил «гениальную по прилежанию» постройку – клетку для рабочих, в которой они сварятся, да уже варятся и теперь, не легче, чем избиваемые племена Ханаана, когда туда вошел владетель – Израиль. Марксизм есть чудовищный обман для Европы, где рабочие сами строят для себя тюрьму, в которой задохнутся и сгниют. Но, конечно, до этого никакого не будет дела гниющим в земле

костям Маркса, которые, вероятно, благоговейно перенесут сородичи его в Палестину, когда вернутся туда при «достроенном, наконец» Соломонове храме.

«Я в Европе ничего не понимаю, и она мне совершенно не нужна. Не нужно ее христианство, не нужны ее царства, не нужны ее нации. Я – маленький торговец из Финикии. Живу – на время. Мне нужно – обрезание, мои дети и жена, бабушка и прабабушка. И эта вот лавочка, из которой я питаю их всех».

Вот философия еврея. Его философия, его религия и его политика. Но кто не заметил, что это есть внутреннее зерно решительно всех шумных лозунгов, которые раздаются над Европою. Это – шепот суфлера, под который играет бездарный европейский актер.

НОВОЕ ОБЩЕСТВО «ИСКУССТВО ДЛЯ ВСЕХ»

В Петрограде, по примеру Франции, возникло новое общество – «Искусство для всех», в целях разностороннего ознакомления людской массы, образованной и полуобразованной, с искусством во всех его проявлениях, в поэзии, музыке, декламации, пении, в скульптуре, живописи и зодчестве. Первый вечер состоится в четверг, 10 марта, в зале городской думы и будет посвящен «России в родных песнях». Стоимость билетов для рабочих и учащихся от 95 коп. до 30 коп. (билеты можно получать у Вольфа, Попова и по телеф. 106–44). В нем примут участие арт. Н. В. Ростова, Н. Н. Ходотов, А. Л. Каченовский, Е. Г. Ольховский, В. и А. Чекан, В. Г. Каратыгин, З. Н. Розовская, В. Г. Иолшина, С. М. Городецкий, Н. И. Клюев, Ф. Соллогуб, С. Я. Адаева, арт. придворн. оркестра, хор В. В. Певцовой и др.

Русская песня, лучшее украшение и главное утешение народа, будет представлена в образцах и объяснена в чтениях, лекциях. «Общество искусства для всех» предполагает кроме вечеров и лекций устраивать массовые посещения музеев и галерей, вероятно также и достопримечательных в художественном и в историческом отношении памятников зодчества. Мысль его – прекрасна и многообещающа. Пусть идут сюда и рабочие, и учащая молодежь; можно думать, что поспешат сюда и артисты, чтецы, музыканты, певцы. Вообще – дело развивающееся, обещающее собою развитие. Записываться в члены о-ва можно у секретаря о-ва г-жи А. Н. Чеботаревской-Соллогуб, Разъезжая, 31, телеф. 106–44. Членом о-ва будет считаться всякое лицо, внесшее взнос 5 р. (можно в два срока) или участвующее личным сотрудничеством. Особенно желательны члены – гг. артисты, музыканты, лекторы, художники. Внесшие членский взнос пользуются правом бесплатных или льготных посещений вечеров и лекций общества.

Дай Бог успеха. Если на какой почве единиться обществу художественному и трудовому, то всего легче и лучше – на почве невозмущенного и, будем надеяться, невозмутимого искусства. Искусство всех примиряет и соединяет.

СУВОРИН И КАТКОВ

В судьбах русской журналистики XIX века сыграли исключительную роль Катков и Суворин. Они не имели между собой ничего общего. И так, через контраст друг другу они отсвечивают особенно ярко во взаимном сопоставлении.

Катков создал государственную печать в России и был руководителем газеты, которая, стоя и держась совершенно независимо от правительства, говорила от лица русского правительства в его идеале, в его умопостигаемом представлении. Министры менялись, министры чередовались. Наконец, министров было всегда несколько, и они находились скорее в соперничестве между собою, нежели в единении и согласии. Уже по этому одному они оттеняли «государственное служение» личным элементом; наконец, оттеняли это служение тем, что можно назвать «чиновничьим бытовым элементом», своеобразным в каждом министерстве, и, наконец, последнее и самое печальное – сановным и чиновничьим карьеризмом... Где начинается «лицо служилое» и где начинается «государственная служба» – это не всегда было ясно самим чиновникам, самим сановникам и окружающему люду. В силу этих сложившихся обстоятельств «русское правительство» настолько же сколачивало и едилило Россию, насколько ее расхищало и растрепывало. Достаточно вспомнить министерство путей сообщения и эпоху железнодорожных концессий, достаточно вспомнить хроническое «соперничество ведомств», конкуренцию «нашивок на виц-мундире», чтобы наполнить конкретным содержанием ту общую мысль, которую я говорю. Правительство «было» и его «не было». Были «веяния», были «направления», были «течения». Программы же не было – иначе как случайной и временной. И хуже всего и опаснее всего было то, что власть была, в сущности, «расхищена»: и каждый ковал свое личное благополучие, ковал торопливо и спешно, из того кусочка «власти», который временно попал в его обладание.

Катков жил вне Петербурга, не у «дел», вдали, в Москве. И он как бы поставил под московскую цензуру эту петербургскую власть, эти «петербургские должности», не исполняющие или худо исполняющие «свою должность». Критерием же и руководящим в критике принципом было то историческое дело, которое Москва сделала для России. Дело это – единство и величие России. Ну, – и самовластность Руси: без этого такие железные дела не делаются. Хозяин «крутенок», да зато – «порядок есть». У «слабого» же, у «богомольного», у благодушного хозяина – «дела шатаются», и, наконец, все «разваливается», рушится, обращается в ничто.

Катков не мог бы вырасти и сложиться в Петербурге; Петербург разбил бы его на мелочи. Только в Москве, вдали от средоточия «текущих дел», – от судов и пересудов о мелочах этих дел, вблизи Кремля и московских соборов, могла отлиться эта монументальная фигура, цельная, единая, ни разу не пошатнувшаяся, никогда не задрожавшая. В Петербурге, и именно во «властных сферах», боялись Каткова. Чего боялись? Боялись в себе недостойного.

малого служения России, боялись в себе эгоизма, «своей корысти». И – того, что все эти слабости никогда не будут укрыты от Каткова, от его громадного ума, зоркого глаза, разящего слова. На Страстном бульваре, в Москве, была установлена как бы «инспекция всероссийской службы», и этой инспекции все боялись, естественно, все ее смущались. И – ненавидели, клеветали на нее.

Между тем Катков был просто отставной профессор философии и журналист. Около него работали еще два профессора – Павел Иванович Леонтьев, классик-латинист, и профессор физики Н. Любимов. В кабинете этих трех лиц, соединенных полным единством, любовью, доверием и уважением друг к другу, – задумывались «реформы» России, ограничивались другие реформы; задумывалось вообще «ну» и «тпруу» России.

Все опиралось на «золотое перо» Каткова. В этом пере лежала сущность, «арка» движения. Без него – ничего. Без него все трое – просто отставные профессора. В чем же лежала сущность этого пера? Нельзя сказать, чтобы Катков был гениален, но перо его было истинно гениально. «Перо» Каткова было больше Каткова и умнее Каткова. Он мог в лучшую минуту сказать единственное слово, – слово, которое в напряжении, силе и красоте своей уже было фактом, т. е. моментально и неодолимо родило из себя факты и вереницы фактов. Катков – иногда, изредка – говорил как бы «указами»: его слово «указывало» и «приказывало». «Оставалось переписать»... – и часто министры, подавленные словом его, «переписывали» его передовицы в министерских распоряжениях и т. д.

Что-то царственное; и Катков был истинный царь слова. Если бы вровень с ним стоял ум его – он был бы великий человек. Но этого не было. Ум, зоркость, дальновидность Каткова – были гораздо слабее его слова. Он говорил громами довольно обыкновенные мысли. Слова его хватало до Лондона, Берлина, Парижа, Нью-Йорка; мысли его хватало на Московский уезд, ну на Петербург; да и в Петербурге собственно хватало на министерские департаменты и преимущественно на министерство народного просвещения...

Катков был человек «назад», а не «вперед». Это был человек собственно александровской эпохи, николаевской эпохи, ну – краешком екатерининской эпохи. Вот когда бы он сыграл роль, – плечом к плечу около Карамзина, пожалуй – Державина, около Потемкина. Сам он был слишком чист, не испорчен и элементарен для своего времени. А время было сложное, лукавое и запутанное...

Замечательно, что в Каткове, как и в друзьях его, не было индивидуальности. Катков – фигура, а – не лицо. В нем не было чего-то «характерного», – «изюминки», по выражению Толстого; той «изюминки», которую мы все любим и ради которой все прощаем человеку. Ему повиновались, но «со скрежетом зубов». Его никто не любил. Поразительно: почти великий человек – он не оставил памяти. Его не хотят помнить. Ужасно!

Если поставить около Каткова Суворина – то это «совсем мало». Так кажется. Что такое «Маленькие письма», около передовиц его? Флейта около пушки. Да, но флейта играет и ее слушают, а пушка выстрелила и больше

слушать нечего. Суворин писал и писал, издавал и издавал, трудился, копался; трудился, смеялся, основал театр; ходил в театр; любил театр; даже актрис любил – такое легкомыслие. Суворин около Каткова вообще кажется легкомыслен. Но не торопитесь судить. Всмотритесь. После Каткова вообще ничего не осталось, как после пушечного выстрела, которого «теперь нет». Суворина живо помнят сейчас, многие любят его; его «Маленькую библиотеку» до сих пор читают во множестве, – вообще его «маленькие сосцы» сосут и до сих пор в великом множестве русские люди.

Катков «прошел».

Суворин «вовсе не прошел».

«Маленькие письма» и «Маленькая библиотека»... Характерно, что это повторилось в названии, в заголовке, в теме. «Мы будем работать в мелочах, в подробностях, а там – что Бог пошлет». Как ни странно сказать, Суворин при своем сравнительно с Катковым ограниченным образованием, «маленьком образовании», был природным умом богаче, сложнее и утонченнее Каткова. Он был его впечатлительнее, зорче, дальновиднее и сообразительнее. Нельзя не сказать, что он имел право и власть иногда подсмеяться над Катковым. «Гром прогремит, а человек останется».

«Мужик» во всяком случае останется, а Суворин был сыном мужика, вышедшего в офицеры, тогда как Катков был из дворян. И «мужик» пережил «дворянина».

Нельзя было сказать, где же кончается талантливость Суворина: до такой степени, дробясь и дробясь, она уходила в бесконечность, в сложность. «И актрису люблю». Все «люблю», что есть русское, талантливое, сочное, яркое, успешное, деятельное, энергичное. И около него начало копиться все это. Он был «большой хозяин». Катков (по структуре духа) был скупой хозяин. У Суворина – денег много, детей много, магазинов много, изданий множество. Везде и все «Суворин». Если не у «Суворина» печататься, то как же «получить известность». И тысячею своих талантов, на которые уже как-то сама ползла «удача», он сделал то, что «публичность» в России, «занятие собою общего внимания», слилось с его газетою, с его знаменитым «Новым Временем». «Легкомысленная газета». Да, но все читают. Печататься у Каткова значило «лечь под пушку и быть убиту», печататься у Суворина значило после 3–4-х статей стать всероссийскою известностью. Все потянуло к Суворину.

Суворин посмеивался. «И денег много, и славы много. Лафа».

И, в сущности, по сердцевинному пафосу, они были – единое. Любовь Каткова к России высилась, как бесплодная голая скала в пустыне; у Суворина было все равниннее и ниже, – но распустилось, как лес, как травы, как поля. У него не так ярко сияло, но было плодотворнее. Однако нельзя не заметить, что, пожалуй, Суворин любил Россию еще пуще, еще страстнее и многообразнее, а главное – он любил Россию как-то подвижнее и живее, нежели Катков. Тот любил более память России, память Москвы, этот любил будущность России во всем его неиссякаемом и неуловимом содержании; в

содержании, «какое Бог пошлет». У Суворина было гораздо менее «я», чем у Каткова; но у него было гораздо более «надежды на Бога».

У нас был патриотизм риторический, описный – в XVIII веке; был патриотизм официальный, правительственный – в николаевские времена; Катков дал нам вспомнить патриотизм величаво-исторический; наконец, славянофилы дали нам патриотизм мистический, мессианский, внутренний. Но не было у нас патриотизма дневного, делового, практического; «ежедневно-го» и до известной степени «журнального». В лучших случаях у нас была греза об отечестве и ода отечеству, но работы для отечества – не было. Суворин это-то пустое место и занял, сразу поняв и оценив, что это – самое важное место, самое хлебное место, самое исторически-значительное.

И для выполнения этой роли не могло быть лучшего положения, как положение журналиста! Что такое журналист? Ничего и все. Он «ничего» по силе, по власти: но он всякой власти и силе указывает, советует, содействует ей, ее оспаривает и ее, наконец, даже обличает! Положение универсальное, положение возбуждающее, колющее и ласкающее. Газета – то же, что шпоры для коня. Сами они не «едут», но могут заставить коня скакать: и «всадник» – отечество, общество – понесется.

Суворин осмотрелся. Все наши газеты, в сущности вся наша журналистика с покон веку была идейная и кружковая, была спорчивая, полемическая, но чисто воздушным способом полемики. России никто не выражал и не искал выразить; все выражали идеи «нашего кружка», «кружка Белинского» в «Отечественных Записках» 40-х и 50-х годов, «кружка Щедрина – Некрасова – Михайловского» в том же журнале 70-х годов, «кружка Чернышевского и Добролюбова» в «Современнике», «кружка Короленки и Михайловского» в «Русском Богатстве», «кружка Стасюлевича, Спасовича, Слонимского, Утиных, Пыпина» – в «Вестнике Европы». Если спросишь себя, что же это были за знаменитые «кружки», то увидишь, всмотревшись ближе, что это были кружки людей приблизительно одной школы, одного возраста и, самое главное – приблизительно одного «круга чтения», как выразительно назвал Толстой чтение из любимых авторов, любимых мест. Книга – вот что соединяла! Россия решительно много и решительно ничем в себе ни соединяла! Через это вся литература была собственно словесная, теоретическая. И, странным образом, «русского», кроме таланта и этики, в этой литературе ничего не было! Все мысли, все сердце, вся душа были «социалистические», «марксистские», англоманские, германфильские, полонфильские, космополитические. Потому что и основные-то книги русского «Круга чтения» всегда были не русские, а переводные или «в оригинале» иностранные. Хоть что-нибудь в этом отношении началось делаться с начала второй половины XIX века и даже позже – с 70-х, с 80-х годов, но, в сущности, и до сих пор делается очень мало. Следовало бы собрать статистику русской переводной и русской оригинальной книжности: результаты оказались бы, вероятно, отчаянными! Весь университет, вся гимназия, живет или питается иностранными учебниками, «руководствами», «обозрениями», «пособиями». Училась Россия и продолжает учиться по «шпаргалке» и «подстрочнику».

Все это увидел зоркий Суворин и кинулся спешно занять «пустое место». И хлебно, и славно. А главное – так важно и значительно. Но этот-то лучший и главный его шаг; поистине – лучшая его биографическая слава, и была причиною бесконечного против него журнального и газетного озлобления. Но мудрый журналист верно, конечно, разгадал, что «Россия будет за него». Россия и спокойный русский читатель понял журналиста и оценил газеты, где представительствовавшая Россия и русское дело, а не марксизм и марксистские успехи в Германии и России, где говорилось о пользах и нуждах России, а не о «пролетариате в Саксонии» и «партийном съезде в Марбурге левых групп», – и прочие излюбленные темы. Суворин – да будет позволено дерзкое слово – отпихнул ногою ту ленивую подушку, на которой дремала голова российского Обломова, видящая «третий сон о счастье человечества»; и все Обломовы накинулись на него с невероятной яростью за то, что он именно «ногою» смутил их блаженный сон. «Почему он не марксист или не антимарксист?» – «Почему он не любит стихов Верхарна и Поля Верлена?» – «Где следы его увлечения Шопенгауэром сперва и Ницше потом?» Вообще, «почему он не волнуется нашим кругом чтения?».

Суворин отвернулся и забыл самый вопрос. Просто, он был русский ясный и деятельный человек. Ни с Обломовыми, ни с Добчинскими ему было «не по дороге». Чернышевский и его племянничек Пыпин? Суворин просто их не принял «во внимание», – предпочитал лучше заниматься актрисами Малого театра, нежели этой беллетристкой.

Но он напечатал первый «Полное собрание сочинений Достоевского» в 1882 году, в лучшем до сих пор издании, с биографиею его, с воспоминаниями о нем, с письмами его. Он дал, в день 50-летия со смерти поэта, – рублевого Пушкина! По гривеннику за том, довольно значительный, в прекрасной печати, в переплете! Это значило, по тем временам, дать почти даром Пушкина!! Он дал его всей России, напечатав в огромном количестве экземпляров и не взяв в этом издании ни рубля себе в карман (я расспрашивал – о подробностях и о денежной стороне издания – его сына). И за это добро, за это просветительное добро всей России, всякому русскому мальчику, всякому русскому школьнику, наша нравственно малограмотная Академия Наук сорвала с него что-то около семи или десяти тысяч рублей, потребовав купить целиком и разом все ее дорогое издание в редакции Петра Морозова, – за то, что в свое маленькое издание Суворин взял несколько каких-то «вариантов» из знаменитого «ученого» издания, для большой публики и массового читателя, конечно, совершенно незаметных, неважных и ненужных (ибо Пушкин и без «вариантов» писал хорошо!).

Все накинулись на Суворина, в сущности, за отсутствие у него этого кружкового эгоизма; за то, в сущности, что он служил России, а не «снам Веры Павловны» (забытая теперь героиня забытого романа Чернышевского – «Что делать?»)... Это-то именно сорвало с уст окружающей печати: «Суворин не имеет убеждений», «Суворин служит тому, чему велят ему служить», «его газета есть газета «Чего изволите». Хотя никто решительно не мог его сво-

ротить с пути служения именно России, ее чести, славе и достоинству; главное – ее пользам и нуждам.

На страницах «Нового Времени» разрабатывались и проводились, проводились и толкались вперед, все реальные интересы России. Это есть главная работа газеты, сущность ее за сорок лет существования.

Мало-помалу она сосредоточила вокруг себя весь практический, деловой патриотизм. Газету полюбили вопреки всему, всем крикам, всей травле остального газетного мира. Суворин основательно посмеивался в ответ этому миру, хорошо видя, что каждый бы занял его место, но уже было поздно, потому что теперь «место было занято». Этот «выбор места», «выбор газетного положения» был главной его исторической заслугой. Говорят о его чуткости. Но она была вовсе не в мелочах, не в частностях «чуткости», на которые указывают, а в самом главном и важном: в широком охвате глазом «всей панорамы» текущего положения вещей, среди которого он схватил себе «главный пункт», «лучшую ситуацию».

И около него стали множиться практические патриоты, люди дела, а не фразы, люди не «флага», выкрика и программы, а инженерной, долгой и трудной работы для государства Российского, для всего нашего драгоценного Отечества. Одною из важнейших его услуг перед Отечеством было то, что он быстро и верно оценил особые и исключительные политические дарования, «общий дух» и золотое перо Меньшикова. При неудаче Меньшиков мог бы вечно прозябать на розовых страницах наивных «Книжек Недели» Гайдебурова: призванный в «Новое Время», он быстро, почти моментально развернулся в громадный государственный ум, зрелый, спокойный, неутомимый, стойкий, «не взирающий ни на что», кроме Отечества и его реальных нужд, и подающий советы, решения, «входы» и «выходы» от А до В. Меньшиков, в сущности, очень удачно, менее поэтически и более трезво, заменил самого Суворина в газете: и уже теперь за ним тянется вереница заслуг, чисто государственных. Напомним о неустанных его (притом его одного во всей печати) напоминаниях о необходимости множить артиллерию, множить пулеметы; о напоминаниях о нужде в подводном флоте. И множество его «словечек», которые, как формула, сразу обнимали умы всей России («октябристы суть плохие кадеты», «кадеты суть русские младотурки»). И проч.

Вечная память прекрасному старцу. Имя его никогда не умрет в истории русской журналистики, – в истории вообще русского книгопечатного дела.

В ГОС. ДУМЕ – О СЕМЬЕ И РАЗВОДЕ

Несравненная важность Гос. Думы заключается в чередующейся фиксации внимания целой страны, всех грамотных людей земли русской, от министра и ученого до рабочего и сельского священника, – на *одной* теме, *одном* вопросе, *одном* злоупотреблении, *одном* непорядке земли русской и Российской державы. «Вдруг все *взглянули* и *увидели*, вдруг все заговорили *разом*». Это –

прожектор освещающий; и при его действии уже нельзя «не обратить внимания», «замолчать», «спрятать под сукно», нельзя «обойтись келейно» и какибудь: «все оставить по-прежнему».

Сердце всей страны, конечно, билось усиленно, когда в последние дни февраля месяца, при обсуждении сметы Св. Синода, поднялся в Гос. Думе вопрос о разводе, когда вся Россия читала пламенную, яркую речь депутата-священника Филоненка...

«Старались якобы оградить интересы семьи, скрепить ее, а вместо этого получилось разложение семьи... Недавно на всю Россию на шумел арцыбашевский процесс. Я не буду останавливаться на всей этой системе лжесвидетельства, а скажу только, что это – сплошное издевательство над правосудием, над здравым смыслом, над совестью и личностью истца и ответчика, наконец, – над самими судьями, т. е. над членами консистории... Необходимо как можно скорее провести бракоразводную реформу, передав следственную часть бракоразводного процесса в общесудебные учреждения. Нам говорили, что образована ведомственная комиссия для рассмотрения реформы бракоразводного процесса. Дело не в комиссии, а в твердо выраженном желании как можно скорее покончить с этим нелепым и ужасным положением дела. И еще вопрос: почему ведомство не изъяло из употребления Арцыбашева? Не наводит ли подобная снисходительность на ряд нежелательных и подозрительных догадок?» («Нов. Вр.» от 27 февраля 1916 г.).

Здесь *гадость положения дела* названа такими именами, – здесь ткнуто в такие факты, прогремевшие на целую Россию, – словом, «прожектор» бросил на вопрос столь яркий свет, что может отказать от переделки развода лишь человек, который на всю Россию, не смущаясь, заявил бы:

– Я делаю злое дело и хочу делать. А мешать мне вам – не позволю...

После чего дальнейшим аргументом может быть только палка. Кто творит зло, – того связывают, отнимают дело, того вообще перестают просто слушаться, повиноваться ему.

Неужели до этого дошло дело в отношении духовной иерархии? Но каким образом оно могло сюда прийти?

Если «магическим» назвать непонятное и необъяснимое на свете, – то, право, в вопросе «развода» увидишь магию. Тут что-то всем запоросило глаза, и никто не видит очевидного. С вопросом «развода» случилось то же, о чем Гоголь рассказывает в своей «Страшной мести»: схватили казаки колдуна и хотели связать. «Но, – рассказывает колдун своей дочери, несчастной Катерине, – я им подставил пень. Ослепленные мною, они связали пень, а я убежал».

И «Арцыбашев», и «светский суд на место духовного» – это такой же «пень», который ретиво связывают казаки – реформаторы (развода). *Нам нужно счастье и благоустройство семьи* – и больше ничего не нужно. Мы не теоретики, а «живущие в браке» и просто говорим, требуем: «Да дайте же нам жить, как следует. А как вы дадите, – нам, в муке нашей, все равно».

Вот этому-то хоть *какому-нибудь* искомому счастьем помогал Арцыбашев и за это «естественно брал взятки» (или что-то для оплаты лжесвидете-

лей). Во Франции нет наших консисторий – и положение дела еще хуже. Там венчает «мэр», полицейский чиновник, а не священник. «Вполне освободившийся от церкви брак» (мечта реформаторов): но положение живущих в браке еще тяжелее нашего. Там «и Арцыбашев не поможет». Дело в следующем: церковь – отстраняется: но светский атеистический брак («гражданский») точка в точку входит в ту же самую ячейку, в которой лежал церковный брак; входит во всех правилах своего расторжения, во всей своей нормировке, течении, стиле и тоне, – и дело еще хуже, людям еще больнее жить.

Арцыбашев – последняя защита. Арцыбашев – последний якорь спасения. «Если бы не Арцыбашев – хоть не вступай в брак». А – тянет вступить, хочется вступить, «любят». Дело не в Арцыбашеве и даже не в разводе: а в *крушении самой семьи на почве такого развода*. Семья исчезает, люди перестают жениться, девушки – прекрасные, образованные, с добрым и милым характером – остаются в старых девах: по одной-единственной причине или *по этой главной причине, что закон развода* загрязнил, испортил брак, наполнил всю страну зрелищем отвратительных и несчастных семей, и к семье потерялось уважение, и хотя «тяга» еще есть, но все – пугаются. «Чем в такую-то гадость вступать, то я лучше как-нибудь обойдусь».

И «обходятся»... Ну, известно, как «обходятся».

Духовенство, поистине несчастное и опозоренное этим своим «браком», этим ужасным «законом развода», снизошло к миру, к людям, оно пожалело их и – «позвало Арцыбашева».

Все писали, когда поднялось дело об Арцыбашеве, – что «его лично знал покойный митрополит Антоний», чистейший иерарх, глубоко бескорыстный, сам не бравший своего жалованья, а его жертвовавший на школы и благотворительность. Уж о нем-то не может быть «подозрений и догадок». Да и вообще, как это «подозревать» всю сплошь духовную иерархию, т. е. *всю церковь в личном ее составе?!!* Но митрополит Антоний, когда-то счастливый семьянин до монашества, был *лично за счастье семьи, т. е. за развод*, «вопреки всему». И чтобы что-нибудь сделать для семьи, облегчить ее – «покровительствовал Арцыбашеву».

«Если нужно сделать добро – я обману», «если нужно помочь человеку – я буду лжесвидетельствовать». Т. е. *если иначе – нельзя*. Вот все простое дело. И никто не видит? Удивительно!

РУССКИЕ КРЕСТЬЯНЕ НА ВОЙНЕ

От полкового адъютанта одного из наших гвардейских полков я получил письмо, с просьбою опубликовать в «Новом Времени» приложенное в копии письмо крестьянки Наталии Куликовой к брату своему, ефрейтору пулеметной команды полка, извещающее о смерти другого их брата, погибшего в плену в Австрии. Г-н адъютант полка пишет от себя: «Письмо является настолько ярким по твердости мысли и сердца, настолько замечательным по образности и

силе простых его слов, что о нем нельзя не сказать обществу». Так как чувства народные есть наше общее богатство, то, принося одновременно г. адъютанту полка благодарность за сообщение, исполняю с радостью его поручение. Вот это письмо:

«Дорогой мой брат Гриша! Сегодня от тебя получила письмо в то время, когда заливалась горькими слезами. Извещаю тебя о большой печали. Говори: Царствие Небесное. Наш дорогой брат Филя (Филипп) погиб геройски от зверей-немцев в плену. Его расстреляли 1 июня 1915 года. Расстреляли за то, что Филя не пошел рыть окопы на русской границе. Это известие я получила из газеты. Бедный, бедный Филя! Погиб за веру и за отечество. Завтра иду служить панихиду по Филе. Он прославился своею смертью. Это известие я получила вчера и даже еще маме не говорила. Царство Небесное нашему дорогому Филичке. Не думал он раньше так умереть, – сам согласился на смерть, но не пошел рыть окопы против русских (семь слов не разобрано. – В. Р.). Гриша, не плачь, а в молитве поминай брата. Дай Бог тебе здоровья, чтоб увидиться с тобою и разделить горе пополам. Не горюй и не веселись. Сестра твоя Наталья».

Семья Куликовых, по сообщению г. адъютанта полка, – уроженцы Орловской губернии, Дмитровского уезда, Гнездиловской волости, села Гнездиловского. В настоящее время эта семья, мать и дочь, живет в Таврической губернии, город Алушта, «профессорский уголок», имение Чернова.

Приведу случай в параллель, коего был свидетелем. Это было в самые первые недели японской войны. Зашел я в церковь «Всех скорбящих радости», что на Шпалерной улице; она всегда открыта, и зашел я днем, во внебогослужбное время, чтобы приложиться к чудотворному там образу Божией Матери и поставить свечку. Беру свечку, – подал ее (потом я спросил его) подкиттор, мещанин. Как все говорили о войне, и я с ним заговорил. Ящик со свечами в этой церкви – совсем в темном углу; да и день вечерел. Так что голос говорящего я слышал, а лица его не видел. Он меня тоже не знал. И я услышал:

– У меня сына убили в сражении. Второй – на призыве. И этого пошлю. Если убьют, на то Божья воля. Для отечества ничего не жалко.

Как римлянин. А о Риме, верно, и не слыхал. Тусклый мещаниншишка и голосишко ледащий.

Я весь похолодел. Убили сына – так реально!

ИЗ ПОДРОБНОСТЕЙ О НЕКРАСОВЕ

Удивительная по сложности красок, на нее положенных природою, личность поэта Некрасова все привлекает к себе внимание исследователей. Только что появился первый том «Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову», с примечаниями г. Н. Ашукина. Карабиха – имение Ярославской губернии, принадлежащее младшему брату поэта, Федору Алексеевичу, который скончал-

ся в 1913 году. «Архив» не очень богат содержанием, но очень характерен. Он состоит из 47 писем самого Некрасова, исключительно к отцу и братьям, и из писем по адресу «Карабиха», которые приходили к поэту за время летних приездов к брату «погостить и отдохнуть». Между этими письмами к Н. А. Некрасову, интереснейшие – от Льва Н. Толстого, относящиеся ко времени первого выступления последнего на литературное поприще, и письма замужней сестры поэта, Анны Алексеевны Буткевич, писанные к брату Федору за время тяжелой последней болезни поэта, в которых содержится подробное описание хода болезни брата, за которым она ухаживала. Все эти письма и некоторые другие бумаги, в том числе несколько вариантов его стихотворений, были завязаны в одну связку и брошены в подполье при доме в Карабихе, ввиду ожидавшегося обыска. Здесь они пролежали целых 25 лет. Сыновья брата Федора, т. е. племянники поэта, отыскивали их, извлекли на свет Божий и приложили старание к их напечатанию. К изданию приложено несколько портретов, в том числе любопытнейший портрет отца поэта и брата его Федора. Портрета матери, которую так трогательно вспоминал поэт, – увы, нет. Не забудем, что время было, вообще, «не фотографическое еще» и нужна была особая удача, случай, близость художника к месту жительства, и прочее, чтобы любимое лицо сохранилось для памяти потомства. Теперь «аппарат шелкнул» и «вечность живого лица» обеспечена.

Все письма родных Некрасова, и в особенности его отца, оставляют впечатление такой дикости, первобытности, как идейной, так и грамматической, что просто как-то странно их читать. Отец его был дворянин, помещик и офицер, но, между прочим, пишет с маленьких букв «россия» и «федор», с больших букв «Не» и «Ни» и «Есть» (есть, существует). Он все о чем-то скучал, по-видимому, от безделья и болезней. «Обрадуй меня, напиши мне, право, мне так скучно, что скучней быть нельзя, Ни родных, Ни истинных друзей, кроме вас нет у меня – поклон от меня Авдотье Яковлевне (Есть ли это кстати) Федору я дал сто рублей, на покупку трех инструментов, он не высылает их и ничего не пишет, а музыка теперь Составляет Единотвенное Мое удовольствие. Груша тебе кланяется». Груша, судя по всему, крепостная баба, заменившая при старике мать Некрасова, – «Буде можно, пришли мне книжку твоих Стихов, отдельно напечатанных, которую у меня все (зм. все) знакомые спрашивают». Из идей единственно две – относящиеся до лошадей и собак – коснулись души его, и по этому только можно заключить о сословной принадлежности его к дворянству и помещицкому званию. Все прочие мысли отсутствуют, как равно отсутствуют всякие заботы, нужды и понимания. В короткой военной тужурке, белых панталонах, с маленьким лбом и небольшой бородкой, кряжистый, крепкий, сильный, с лицом скорбным, властным и жестоким, он являет выражение социальной и психической Нелепости (следуя его правописанию). И хотя этот жалкий человек едва находил у Бога уголок существованию своему, он воспылал сословной яростью, когда столь же и еще более жалкий сын его Константин, бежав от отца, женился в Москве на простой мещанке. Но сын – уже смягченная натура, а женитьба его была не только благоразумна, но и единственною формою спасения.

Дело в том, что отец морил его дома чуть не голодом и всячески унижал и оскорблял. Константин так излагает братьям – в коллективном на имя всех их и сестры Анны послании – свой поступок:

«Отец уехал в Москву, а я женился на молоденькой девушке, душа и карман у которой чисты как хрусталь, – есть ли вы друзья мои будете думать, что я сделал это с пьяных глаз, то сильно ошибаетесь, брат ваш не дурак, имеет совесть и обманывать не будет. Что будет дальше, но теперь душа моя покойна, просить на табак денег неучово! Уважая добрый нрав жены моей, я для нее совсем переродился, поклонение Багусу (Бахусу) давно уничтожено... Сделайте милость не удивляйтесь и не сердитесь, что я женился на мещанке, поверьте, что она гораздо умнее этих светских вертячек, у которых головы напичканы непотребными романами, в следствие чего они вертят мужчинами как черт палкой да наконец сравните вы образ одичалой, угрюмой жизни моей с уставами модницы барышни, привыкшей ко все возможным наслаждениям; ну мне ли степияку возиться с этими воздушными метеорами, мне ли постигать силу души их не бывши ни разу в обществе, пожалуй постигнешь так, что на другой же день почувствуешь боль под ложечкой, а это, как вам известно, некому не нравится (???) Богатых невест на мою долю не оказалось, да хоть бы и нашлись, так какая дура согласится иметь мужа дикаря с кавказскими привычками (???), – Ольга же мне пришлось по нутру, – «куй железо, пока горячо», как говорят французы (???)». – Показав предварительно благочинному Гурию угол пятирублевой ассигнации, объявил ему о своем желании и вслед за тем 26 августа был обвенчан. На третий день после происшествия приехал отец и, узнав о случившемся, откатал Гурия базарной бранью, я хотел было намекнуть о помиловании, но родитель, повторив серопегую брань, выгнал нас обоих из дому, после чего занавес опустился и представление кончилось довольно неудачно. Не знаю, что иачать! поступить на службу, получать три рубля жалованья, нанимать квартиру, кормить себя и жену, на эти деньги, дело недоступное даже для Соломона премудрого. Торговых спекуляций не имея полновесного фундамента открыть нельзя, хорошо, если бы к двум стам обитающим в кармане прибавить 500-т, я мог бы на них купить органиста Бурцева и уехать с ним в Астрахань открыть огромное заведение; а как цифра пять далека от меня как небо от земли, следовательно, план мой выполниться не может; остается одно! поступить конторщиком в питейный откуп потому собственно, что все благородные места как для человека бедного, без протекции, для меня закрыты; не все же так счастливы и умны, как ты, брат Николай, не все, подобно тебе, могут проложить себе завидную дорожку одаренным от Бога гением, – поймите – же друзья мои трудные обстоятельства брата и помогите мне хотя словом... Прощайте друзья мои будьте здоровы и счастливы – любящий Вас брат Канст. Некрасов. 5 октября 1857 года».

Письмо это так полно в себе и переполняет сердце исследователя русской истории, что невольно останавливаешься... Нужно заметить, отец Некрасова не был бедняком-дворянином, нищим-дворянином. В письмах мелькают большие цифры собак в охотничьей своре, мелькают цифры десятков лошадей для той же охоты, да и при вопросах о покупке дома, земли, о наследстве от свояченицы – мелькают цифры в пределах десятков тысяч рублей. Нищенства и даже большой захудалости не было. «Жить было можно», и с семьею, даже большою. Отчего же такое жалкое положение как отца овдовевшего, так и особенно вся «картина о себе», накиданная несчастною рукою, неудачника Константина? Вопрос именно историка, а не историка литературы. Страница эта документальнее и ярче лучшей страницы Ключевского. Собственно – средства есть, семья есть, сословие (дворянское) дано предками и метрикою. Да, вся подробность: зная или догадавшись, что поэт Некрасов имеет большие связи в Петербурге, отец пишет ему просьбу написать письмо на Кавказ к князю Барятинскому или к Милютину – с просьбою «принять на службу» этого дворянина Константина Некрасова, что, конечно, поэт не выполнил, – но – будь он не умница Некрасов, а другой помельче умом – письмо он, пожалуй, и написал бы, а «Константин Некрасов», по просьбе всеми чтимого великого поэта, и был бы, пожалуй, «в темную», зачислен на службу... Времена, – перед самым освобождением крестьян!! – буквально как Екатерины II, буквально как из «Недоросля», с какими ужасными еще прибавлениями, столь документальными, столь нелитературными, но «просящимися в книгу»... Где же корень всего?..

Да, не учились!!! – Нет учебы, науки... И «нет» этого в таком страшном смысле, с таким страшным потемнением, как будто и вся «линия предков Некрасова» до самого Гостомысла ничему никогда не училась, никогда ни о чем не слыхала, откуда-то узнав случайно носящиеся в воздухе слова – «метеор» (о барышнях), «псарня», «лошади», «дорого стоит корм прокормить столько лошадей». Как будто никогда не было элементарной грамоты, как будто никогда не было сельского училища, и никогда они не видали знаменитой теперь «сельской учительницы»... О, вот когда почувствуешь эту «сельскую учительницу» и захочешь поклониться ей в светлые ноженьки, прочтя это изложение «горестей Константина». Между прочим, прочтя письмо, письмо от 1857 года, т. е. всего за 5 лет до крестьянской реформы, совершенно не понимаешь, как же произошла эта реформа!!!! Письмо – из Ярославской губернии, совсем около Москвы, центра просвещения. А ведь были «низовые земли», по Нижней Волге, были Донские земли, темная Литва, Жмудь, прикаспийские, кавказские страны. Но остановимся на ярославцах, не заходя в глубь и темь. Ведь этот Константин, как и отец его, ничего не понимает. Они «могут» лишь физиологические отправления, а из социальных – одно-единственное – охоту, мчатся «на коне» и с «псарнею» за зайцем. И ничего более сложного...

Константин явно спасается «за мешанку». «При ее добром нраве, я прекратил поклонение Багусу» (Бахусу). Кроме «охотиться» все еще понимают

«пить». Ну и понимают до конца дней («Груша», у 60-летнего) «мужнее отправление». Еще – ничего. Еще – «не могу». Как же тут производить реформы? Вот прочтя такое письмо, понимаешь, до чего же было трудно правительству, правительству Александра I, правительству Николая I, не говоря о Екатерине, об Анне... Из Лажечникова не понимаешь Бирона, из «исторических романов», даже Толстого, не ясно: откуда все взялось? Но из письма Константина Некрасова и зверства и первобытности отца его как-то вдруг начинают сверкать черты Бирона, «железа на палку», «зверства против зверства» или, пожалуй – что хуже и опаснее, начинает высвечивать палка, обернутая в железо.

Но не было не только книги и книжного света, а что всего удивительно после «тысячелетия России», – до которого тоже не хватало всего пяти лет, – совершенно не видно и незаметно никакого бытового света, никакого трудового света, никакого света нравов, обычаев, манер и обращения. Это какая-то лесная и полянная жизнь, по традиции от «кривичей, древлян и полян», которая имеет вид неизмеримой отсталости от греков эпохи Троянской войны и перед римлянами времен Сервия Туллия, Кориолана и Цинцината. Как будто эти люди не знали истории и никогда не жили историческою жизнью; как будто никогда над ними не было правильной разумной администрации и правильного справедливого суда. Что же это такое и почему? Понимаешь нелепые часто решения «суда присяжных» нашего времени и чувствуешь неизбежность и надобность сохранить этот суд присяжных, несмотря на всякие бессмысленные приговоры, потому что «пустить хоть здесь народ приучается крошечку судить и рассуждать», приучается именно «выносить приговоры», «судить», потому что где же он все это приобретет, как не в качестве «присяжного заседателя». Чувствуешь вообще наряду с «невозможностью реформ» в такой среде и руками такой среды – потребность реформ, рвется из груди крик – «скорее реформ».

И вот из какой среды, быта, понятий и навыков вышел Некрасов. Он вышел из невыразимой «чаши леса» народного, деревенского, помещичьего, где все было не светлее и не лучше, чем у Простаковых и Скотинных и без всякого «Правдина» и «Стародума». Это чрезвычайно много объясняет в его биографии и личности. Брат недаром упоминает о «гении» у него. Да, был гений; да, был нужен гений, чтобы отойти от «Константина» до «Николая Некрасова». Между «Константином» и «Николаем» больше веков бытия, чем между «открытием Америки» и нами.

Письма самого Некрасова, т. е. поэта, помещены с крайним нарушением хронологической последовательности, – именно помещены, без всякой даты, отнесены целиком в конец, и читатель имеет нелепость читать после предсмертных писем – жизнерадостные письма, относящиеся до охоты. Например:

«Милый и добрый брат Федор, я все еще живу, – но если бы ты меня видел, то вряд ли бы порадовался. Могу сказать еще, что я в том же еще положении, в каком был при последнем нашем свидании, с

присоединением того, что имеется в боку искусственное отверстие*, которого при тебе не было, а естественное, как ты знаешь, отказывалось служить. Подробности излагать трудно, я не сумею – вижу только, что стал я более животное в грубейшем смысле этого слова, чем человек; голова, к сожалению, не всегда тупа. Чувствую, что эта грязная пародия на жизнь перестанет долго длиться, – и не весело мне, голубчик, 1877 г.»

И еще:

«Сим заявляю, что по крайней слабости здоровья ни принимать приходящих ко мне не могу, ни отвечать на письма, которые оставляются неп прочитанными. Н. Некрасов».

И вдруг после этого письма, которое помещено на 27-й стр. под № 32, следует на той же 27-й стр., далее – письмо о винокурении у брата, в Карабихе, с припискою в конце:

«Затем, будьте здоровы. Брат Константин может взять Медора – кобель отличный, только легко можно избаловать. Я был на охоте четыре дня, убил медведицу и двух медведей, в коих до 40 пудов весу».

Письмо не датировано и отнесено в конец; но явно и даже на удачу где-нибудь надо было поместить в середину.

Письма, вообще все, суть скорее записочки, нежели собственно письма. Вращаясь около редакторских дел «Отечественных Записок», и разных мелочных сплетен в Петербурге, да игры в карты, да цензурных затруднений, – они поразительно безыдейны. Точно люди эти работали пером, издавали, печатали, – никогда не спрашивая себя, «есть ли у нас душа». Ремесло – да, душа – вопрос. В одном месте говорится о щенке английской породы вместо – «дали имя ему», – «окрестили его». Все вообще элементарно, грубо... «Из лесов недавно вышли», «вышел вот 3-й сын Николай».

Но вот, что следует радостно отметить: в январской книжке «Русских Записок» г. Я. Евгеньев печатает новые материалы, касающиеся Некрасова. Здесь, на странице 59-й, приведен не напечатанный еще нигде отрывок из черновых записок соредатора Г. З. Елисеева, где рассказывается о предсмертных страданиях Некрасова и о тех словах глубокого раскаяния, которые он произнес в минуты этих страданий. И он записывает: «Из слушавших его исповедь никто не верил, чтобы мучения его совести могли происходить от тех малозначительных и даже вовсе ничего не значащих проступков, в которых он каялся и обвинял себя, что на душе его лежат какие-нибудь тайные злодеяния, которые он скрывает, и что они-то и могут ему причинить невыносимую боль. Но люди, которые стояли близко к Некрасову и более или менее были знакомы с его жизнью, слушая его, знали очень хорошо, что, кроме того, что он рассказывает, ему и рассказать нечего, – что если, несмот-

* Результат операции вызванного из Вены знаменитого хирурга Вильрота.

ря на это, при его нестерпимых болях физических – для него также и даже более нестерпимы страдания нравственные, то это происходит от того, – что он преувеличивает значение некоторых проступков, совершенных им при жизни, проступков, до того малозначащих, что при том уровне нравственности, который существует в обществе, еще остается вопрос: «Действительно ли это проступки»... И т. д. Слова эти показывают, что при шероховатой и суровой жизни, под льдом суровых и иногда жестоких слов, в Некрасове теплилась какая-то лампада нежности и глубокой совести. «Так ли это» и в каком смысле – «так», с какими оговорками, под каким освещением – все это разгадает только далекое будущее исследование. О Некрасове будут еще много, очень много писать.

НА ЛЕКЦИИ О «СЛАВЯНСКОМ КЛАССИЦИЗМЕ»

Лекция, которая, казалось бы, в год «Второй Отечественной войны» должна была собрать полные залы слушателей, если бы даже одновременно ее производить во всех лекционных залах Петрограда, – едва собрала в зал городской думы 100–150 человек. Что это? «Не понимаю» или «не хочу»? Мне казалось это каким-то общественным недоразумением... А может быть так решить: Россия вообще работает, сражается, – ну, и питается. Эта работающая и сражающаяся Россия, как и Россия «славянская», «богослужебная», – вообще лекций не слушает никаких. Не слушает и даже мало читает по «некогда». А на «лекции вообще» сходятся люди, которые и не сражаются и не работают, а только по преимуществу питаются и в виде отдыха развлекаются... Им славянских тем и русских тем не нужно, а «вот бы что-нибудь о футуризме»... Словом, публика г. Бурнакина была за плугом, за рабочим станком, в окопах и в церкви; а та публика, интеллигентная, которой он предложил лекцию в обычном месте лекционных чтений на интеллигентские темы, не пришла. Я думаю, результат был бы иной, если б на ту же тему он читал в зале граф. Паниной, где-нибудь в рабочем районе и т. д.

Основные линии умственных построений г. Бурнакина, конечно, правильны; скажем более: вполне удивительно, что столь юный лектор охватил эти линии в таком величественном целом. Конечно, *извод* будущей русской культуры – в Киеве, без односторонностей и пристрастий Москвы; в том златоглавом и многострунном Киеве, который и играл, и пел, и сказки рассказывал, – ну и молился еще по-киевски, по-общерусскому духу, тоже без сухости и деловитости Москвы. И что касается литературы как двигателя жизни и духа, как возбудителя их, то опять г. Бурнакин вполне правильно и точно все надежды возлагает на дивное «Слово о полку Игореве», этот вещий бриллиант, который через неожиданную находку в последние годы XVIII века вдруг загорелся перед нами и осветил так свято, благородно и величественно киевскую Русь.

Все это – так.

Вопрос лишь в сложности, лукавosti, «грехе» и «падении» нас и нашего... Вопрос в том, что теперь уже не «стрелы», а пушки; не простой быт и простые думы князей, дружины и пахарей, а «технический анализ» героев и современников Достоевского и Гёте, «Преступления и наказания» и «Фауста». Этого недоумения не нужно преувеличивать, ибо оно стоит не только перед идеею «славянского классицизма», но и перед простотою и истинною Евангелия, выслушанного, воспринятого и записанного рыбаками Галилейского озера. Идея и мечта «славянского классицизма» через это не падает, не опровергается, а лишь затрудняется в осуществлении, в реализации. Кривая сложность должна быть упрощена – это одно, а второе, что простой народ и упрощенные классы духовенства и мелкой буржуазии и теперь живут и *вечно* будут жить довольно упрощенными и сносно-прямыми мыслями и бытом. Говорят: сыр-рочестер превосходит: но его не возьмет в рот крестьянин. Вообще мысль г. Бурнакина через вопрос о *сложности* не опровергается, а лишь ограничивается, задерживается во времени, практически – затрудняется.

Читал он хорошо; кроме дикции – было одушевление, глубокая убежденность. Я верю, что этого молодого, начинающего лектора будут слушать совершенно иначе через десять лет. А пока – терпение и памятование о поговорке: «Терпение и труд все перетрут»...

Особенность лектора и, пожалуй, лучшая зараженность его стихиями поэзии, слова... Когда он цитирует, «Слово» ли или Иннокентия Анненского, – он точно забывается, точно во сне и в гипнозе. Видно, что он поэзию любит истинно и глубоко, и свято чтит высоких жрецов его...

К НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЯДОВИТЫХ ГАЗОВ НА ВОЙНЕ

Любовь, жизнь, смерть – все стало коротко.

«Бумаги не хватает». «Бумага укоротилась и стала дорога». «Пиши короче». «Литератор, пиши короче».

«Нужда государственная» – и о той нельзя говорить «долго».

Тут не начнешь «Илиады» или «Одиссеи». Гомеру ответили бы писчебумажные фабриканты: «Пиши, слепец, короче: иначе нельзя печатать».

Почему я говорю коротко: встретил молодого русского ученого (слава Богу, русского!), который изобрел противогаз. Именно в массу ядовитого газа, бросаемого, как известно, через посредство бомб, – бросаются «от нас», русских, через посредство таких же разрывающихся бомб, другие газы, которые *нейтрализуют их*, соединяясь моментально химически с ними и обращая их в безвредную приблизительно жидкость, грязь или еще более густые газы, но, во всяком случае, делая их бессильными, ничтожными, слабыми, не действующими.

Это был химик-изобретатель, страстный изобретатель, уже ранее изобретший моментально действующий могучий «огнетушитель».

Он говорил. Все изложил. Химические и математические формулы сверкали в его изложении. Химию я знаю лишь «вообще». Но даже для «вообще» совершенно ясно, что задача победы над удушливым газом, точнее, задача защиты от удушливого газа *заключается именно в этом*, а не в «респираторах», которые что же значат, когда удушливый газ тянется на версты, идет на все «горою»... Это все равно что «отмахиваться от дыма руками». Сколько ни «маши», он вас задушит.

И результат:

Его «выслушали», он заставил себя выслушать. Были назначены опыты. Опыты удались «блестяще». Были назначены большие опыты, «в обстановке военного времени». Назначены: пришел срок – отложены; прошло два срока – отложены. Третья, скрипит телега. «Ничего не выходит». «Не хотят смотреть, слушать и говорят: *нет средств для перевозки ваших вновь изобретенных снарядов*, потому-то перевозочных средств вообще мало, недостаточно».

«Нет средств, чтобы послать на место битвы *щиты*»????!

О, Господи... И как ни коротка стала бумага, я чувствую нужду донести до слуха эту новую беду, я думаю: от интриги немца. «Немцам-то, конечно, таких защитных средств у русских не нужно». И тогда «зачем проверять, надо *положить под сукно дело*».

ЗАДУМАЛАСЬ

Девушка задумалась... Очень молоденькая девушка, по-видимому... Она шла через большую площадь... Зашла в какое-то непонятное ей здание. Из него неслись голоса, пение. Она их не слушала. Не слышала. Она ничего не слышала в целом мире, кроме своих мыслей...

Мысли эти были «из круга Достоевского». О чем? О всем.

Попалась лестница, и она пошла по ней. Все выше и выше, не замечая ничего...

Она все думала. О Ставрогине, о Кирилове. Мир потух для нее, люди погасли. Во всем мире торчали 6–10 огромных глаз – героев Достоевского.

На Достоевского она променяла мир. В мире она ничего не слышала, кроме голоса Достоевского...

А ноги все шли. Медленно и задумчиво. Вечерело. Она вошла в какое-то тесное помещение. Она не заметила, что тут были колокола, что это была колокольня.

Подожла и подняла ногу... Край, бездна... Она не видит ничего. Город, огни. Она не хочет их. Нет, другое: хочет и не хочет...

Любит и ненавидит.

Отрицает и прокликает.

Размышляет и безумствует...

Она написала: «Королевские размышления» (Москва, – только что вышла).

Господа, мне больно и трудно – кто-нибудь, спасите девушку.

Она забезумствовала о литературе. Разве это можно? Литература есть все-таки литература, как бы хороша и сильна она ни была.

Достоевский есть Достоевский, человек, как мы.

Есть домики, семейства, есть город, а вы взобрались на колокольню. Это не дело, это озорство. Спуститесь, войдите в церковь и помолитесь.

Некому? Душа ваша пуста? Вы все потеряли, «приобрев только Достоевского»?

Но Достоевский учил о мире и учил любить мир. Вам нужен мир, людей полюбить. Вот в чем спасение.

Но вы его не хотите? В *этом* одном, именно в *этом*, вы не хотите следовать Достоевскому?

Ах, «Королевские размышления» – печальная и страшная книга. И я все-таки повторяю, что надо как-то спасти девушку. В книге есть зловещая строка: «Мне кажется, в один прекрасный час я подойду к зеркалу, взгляну на себя и сойду с ума». И еще: «Тишина – и я слышу, явно слышу, как земля летит в пространстве». Все это – жуткие строки. Да, впрочем, – жутка вся книга, от первой строки.

«СТАРЫЕ ГОДЫ» И «РУССКИЙ БИБЛИОФИЛ»

Я как-то упоминал вскользь, что духовное сословие у нас могло бы сыграть свою многоценную, многозначительную роль, как читатель. Позволю себе остановиться на этой мысли и несколько развить ее. Духовенство, собственно, есть класс, а не сословие, – приуроченный к отправлению церковной службы, отправлять которую, однако, невозможно хотя бы без некоторого элементарного образования. Таким образом, уже задачу своего существования духовенство призвано все сплошь к учебе, к книге, к книжности. «Без книги – попа не бывает» – этой поговоркой все сказано. По времени, в истории и по приведенной поговорке, которой если и нет, то она завтра должна сложиться – до того она естественна и ее истина очевидна, духовное сословие первенствует в образовании.

Образование это, с тех пор как в России появилось университетское, светское образование, считается «отсталым», считается «односторонним», «узким» и «второстепенным». Однако это требует своих оговорок, своих «примечаний». Некоторая «узость» чего-нибудь не противоречит идее глубины; односторонность не противоречит идее стойкости, силе убеждения. Что касается терминов «отсталость» и «второстепенность», то они могут быть прилагательны к «духовному» образованию, потому что нечто другое и позднее, другое и не вполне еще проверенное, выдвинулось вперед его и заслонило его. Так это, действительно, и случилось. После Петра Великого и вследствие сближения с Западной Европой потребовались велительно и приказательно, велительно и нетерпеливо, военные, технические, корабельные

знания, ведения, навыки, работы; и затем все это завершилось – обобщилось в «университете». Университет сделался «храмом науки», где идея «знания» и «образования» царил и первенствовала надо всеми. И совершенно естественно поэтому, что это учебное заведение, посвященное специально и исключительно одному служению чистой и универсальной науке, поставило в тень и второстепенность духовные академии, где «наука» была лишь служебным средством для чего-то более важного в самом себе, нежели наука, но вместе – второстепенным собственно к свету чистого знания, чистой образованности.

Все это естественно, – и духовные академии никогда не оспаривали «первенства» у университетов; а будущие преподаватели духовных академий, например по философии, смиренно, как и преподаватели других специальных высших учебных заведений, подчинялись требованию – получать ученую степень «магистра» и «доктора» из рук университета.

Это основывается не только на идее «универсальности», связанной с самым именем университета, но и на идее или предположении, что университетская наука и преподавание суть «чистая», «не прикладная», «не утилитарная». Что в поддержании и в методах своих эта наука есть «свободная» и «ни от чего побочного» независимая, кроме – собственного ядра, собственных целей.

Но около этих нюансов, клонящихся к умалению значения духовного образования, есть другие, которые клонятся, наоборот, к его возвеличению. Из них – первое: что самый «университет» и идея «университетской науки» в смысле «универсальной науки» родилась из духовной первоначально науки. Она родилась в те старые, седые времена, когда о «светском образовании» не было и помина; когда «светские науки» существовали в том малом первоначальном зародыше, как они преподавались в «духовных училищах», предварительной ступени «философского» и «богословского» класса прежней старой семинарии. Университет родился из «схоластики», из «схолистического преподавания», – которое одно царило в Средние века; из знаменитых «trivium» и «quadrivium»*, преподававших элементы грамматики, риторики, пиитики и несколько – математики. Все – наследовало Аристотелю и Платону, которым наследовали Плотин и новоплатоники, наследовали арабы и уже за ними европейцы. Все – родилось в те достопочтенные времена, когда, по стилю целой исторической жизни, также и наука одета была в хламиду и тогу, молилась в готических храмах, а до того – молилась еще в языческих храмах и связывалась с первоначальниками человеческого любознания, греческими и частью римскими философами. Да и довольно ясно, вообще, что едва ли бы сложилась идея науки в ее величавых чертах универсальности – в теперешние новые века, когда люди вообще живут так торопливо и думают так коротко. Первый «университет» – собственно Аристотель. Вот кто дал в своей «физике», «метафизике», в своей «Естественной истории», в своих

* «три пути»... «четыре пути» (лат.).

чениях и трактате «О душе», – «О сне и бодрствовании» и в множестве мелких трактатов полный очерк «университета», полный пыл «университетского преподавания», страсть, огонь его и его всеобъемлемость. Но духовная наука, в средние по крайней мере века, прямо следовала Аристотелю, была насыщена им. Таким образом, «университет», несомненно, родился из «духовного образования». «Духовное образование» – первенец, университет – «потом». Первое – Иаков, второе – Исав, скажем привычными терминами старой семинарии.

И нельзя не заметить, что кое-что и даже многое сохранилось до сих пор от этого древнего соотношения, от этого «генеалогического дерева» школ и просвещения. Именно: и до нашего времени в академическом преподавании есть что-то более солидное, стойкое и даже что-то более идейное, именно – «универсальное», нежели в университете. В университете только преподается гораздо большее число наук; но самый дух преподавания, зерно и стержень всего дела – в академиях и до нашего времени более «одет в тогу и хламиду». Университетская, напр., философия вовсе не дала России таких производителей цельной философской мысли, как Голубинский и Кудрявцев-Платонов, как М. И. Каринский. Вообще, философская традиция духовных академий стоит выше философской традиции университетов. Это – что касается уровня и состояния науки. Что же касается тенденций учащейся молодежи, то нельзя не отметить поразительного факта, что именно самые выдающиеся умы, окончив университетский круг наук, – переходили затем на духовную ниву и здесь «окончательно оканчивали» образование: примеры – Владимир Соловьев, П. А. Флоренский, Ф. К. Андреев. Последние – только в начале своего поприща. И тенденция эта, можно быть уверенным, не угаснет.

Корни этого, я думаю, кроются в историческом соотношении двух просвещений, духовного и светского (или университетского). Хочется вернуться к матери, к материнскому. Манят Аристотель и Платон своими световыми волнами. Манят вообще хлебнуть от «древнего» и «великого».

И наконец, начинающаяся за академическою стеною – великая, необозримая стена Церкви, во всей сложности и узоре ее мистической истории, в величии ее Основателя. Университет опирается на себя, академии опираются на Христа. Есть разница. «Для науки», в ее чистых и исключительных тенденциях, это, пожалуй, даже «нарекаемо». Допустим. Но сколько выигрывается в достоинстве и величии основания и исторических связей. И эти-то связи, и это-то основание кидают отблеск на слушателей, на питающихся: есть что-то неуловимо более солидное в питомцах духовной школы, нежели в слушателях университета. И это – не тенденциозное, не пристрастное наблюдение, а на самом деле – так.

«Чему будет служить слушатель университета?» – Светским успехам культуры. – «Чему будет служить слушатель духовной академии?» – Церкви.

Пожалуй – уже, но зато – глубже. Эта «культура» существует только четыре века, а та, «Церковь» – даже не две тысячи лет, а уходит корнями

своими в «ветхозаветную» Церковь, к низовьям Нила, к Ханаану, Сирии, к Вавилону и «всем древним чудесам Востока». И студенты академии, сами того не зная, сами того не сознавая, – несут что-то на себе, на своих скромных фигурах, на опущенных вниз головах, в неуклюжих, неловких, не «потеперешнему» движениях и манерах, – от светлых волн Евфрата и Тигра, от великих вод Нила. Им не видно, а на них – видно.

И вот, хочется мне сказать, что представители большого величия традиции, большого великолепия культуры, питомцы академий, да и все вообще наше духовное сословие могло бы положить тяжеловесную десницу, между прочим, на весы читаемости и нечитаемости книг. Я бы не говорил этого, если бы лет 12 тому назад г. Переферкович, переводчик на русский язык «Талмуда», не сказал в ответ на мое удивление выходу 2-м изданием 1-го тома «Мишны и Тосефты»:

– Нет, Талмуд выписывается вовсе «не в большинстве евреями», как вы думаете. Главная масса выписывающих – русские священники. И они создали успех всему изданию.

Я был поражен. Г-н Переферкович давал впечатление немного наивного еврея – «ориенталиста» (надпись на его визитной карточке – «филолог-ориенталист»), но совершенно чистого, чистосердечного. Бесспорно – это так и было. Каков был мотив священникам выписывать с такою жадностью «Талмуд» – я не знаю. Но факт: «создали успех» изданию, многотомному и дорогому.

С тех пор я стал думать о читателях, присматриваться «к этой стороне литературы». В самом деле, «спрос создает предложение». Точнее – вызывает его. А отсутствие спроса – убивает книгу; убивает вообще этот или иной отдел книжной производительности. Потому-то «книга» и «книжность», некоторую частью своею, «с одного бока», – есть все-таки и непременно – промышленность, производительность. «Законы труда и спроса» на нее определяют книгу, определяют повторение книги и появление подобных же книг; как, напротив, отсутствием спроса убивают отдельную книгу и как бы запрещают появление других подобных же. И это такое «запрещение», с которым может бороться только «герой», – кто «не шадит крови своей». Да и он в конце концов упадет и будет раздавлен. Тут рассуждения трудны: с тем рассуждение трудно, кто просто убивает.

При таком положении массивный духовный читатель, т. е. читатель из духовного сословия, может сыграть свою роль на весах культуры. Нельзя себе представить комнатки самого бедного священника, сельского священника, – у которого не было бы полочки с книгами. «Комнатка духовного лица всегда «комнатка с книгами». И это касается всего причта, – все равно диакона, все равно псаломщика. И вот я помню, как мне привелось гостить летом 1913 года в Бессарабской губернии: о местном священнике в селе Сахарне мне передали, что он есть единственный человек в целом уезде, который выписывает петроградский журнал «Сатирикон». Журнал коверканный, ломаный, не русский, декадентский. Зачем ему? Кому, для «матушки»?! Зачем – ей?! Я совершенно не понимал факта.

Пишу все это к тому, что мне хочется, и нетерпеливо хочется привлечь внимание духовного читателя к двум превосходным историческим русским журналам – к «Старым Годам» и «Русскому Библиофилу». Нейтральная почва истории есть самая удобная для прочих сословий и для взаимного ознакомления на этих границах. Журналы эти – светские. Но, занимаясь вообще русскою историею, вообще русскою старою книгою, они открывают лучшую сторону, с которой духовные лица могут посмотреть на другие русские сословия и классы. Тут – и искусство, тут – и быт, тут – и достопамятные лица.

Журналы эти несравненно более серьезные и солидные, нежели несколько дилетантский «Исторический Вестник», с его торговым пошибом, с его «историческими романами», которые появляются не то в учебно-повторительных целях, чтобы лучше помнилось «пройденное в гимназии», – не то просто как занимательный лубок, долженствующий чем-нибудь заполнить праздное время читателя.

Журнал «Старые Годы», ежемесячник для любителей искусства и старины*, дает в роскошных снимках и в описаниях специалистов все то, что в бедной и немущей России смогло сказаться роскошно, богато и властительно. Журнал почти исключительно посвящен описаниям художественных сокровищ наших дворцов, – сокровищ не только живописных и скульптурных, но и утвари, мебели, вообще художественного ремесла. Все то, что таилось и таится для наслаждения отдыхающего глаза в этих дворцах, что никому доселе было неведомо, кроме хозяев и обитателей этих дворцов, выведено на свет Божий и к общему созерцанию любителями сотрудниками этого журнала, не щадящего средств для воспроизведения «великолепной России». Дворцы здесь даны не только царские, но и старого русского барства, – фамилий исторических. Наконец, к этому добавлены описания домов – внутренней домашней утвари замечательнейших губернских и уездных имений. Чтобы дать понятие «в кусочке», я приведу наудачу хоть это описание «Старинных особняков в Плесе» из январской книжки за 1915 г.

«Маленький, тихий заштатный город Плес, Костромской губернии, уютно и живописно расположился на склоне одного из лесистых холмов правого берега Волги. Между Костромой и Кинешмой – вообще, самая красивая и типичная часть северной Волги. Но у Плеса картина этого пейзажа особенно поэтична и характерна для того фона, по которому разбросаны в этих местах памятники старины.

В Плесе работал этюды Левитан. В Плесе строил когда-то Висканти, – быть может строили, судя по остаткам, и мастера Екатерининского времени. Наглядным доказательством участия в строительстве Плеса хороших мастеров и являются сохранившиеся здесь «особнячки». Едва ли они относятся к времени более позднему, чем самое начало XIX века.

* Годовая стоимость журнала 15 руб.; адресоваться в контору редакции – Петроград, Рыночная, д. 10.

Здесь несколько таких купеческих, грузных, с антресолями и воротами, домов, расположенных по набережной Волги. Вокруг заросшие кустарником, с разрушающимися деталями, с повисшим зонтиком над парадным подъездом – дома эти навевают воспоминания о тех образах и типах, впечатления о которых остались еще со времен детства – от прочтения романов Мельникова-Печерского, так хорошо известного быт и характер типов этого края. Старозаветные купеческие семейства – только они могли населять эти особняки. Обширные высокие залы, лишённые уюта, но зато милые теплые комнаты антреселей, старинная неуклюжая «крепостная» мебель, всегда шумящий самовар на столе длинной-длинной столовой, прилавки в передней, лежанки из синих кафлей XVIII столетия, портреты каких-то полных дам в желтых платках и с платочками в руках, – мужские портреты с медалями на шее»...

И затем приводится описание нескольких домов, с оценкой их архитектуры.

Все это – в той же книжке журнала, в которой на первом месте напечатана обширная статья: «Итальянская живопись XVI века в Гатчинском дворце» со снимками с картин Тициана, Марко Марчиале, Франческо ди Санта Кроче, Беллини, Бернардино Личинио, Кариани, Тинторетто, Паоло Веронезе, Бордоне, Бассано, Робусти, Пальма-младший, Л. Лотто, Бенвенуто Тизи (Гарофало) и друг. Нельзя представить более приятного для глаз зрелища, нежели эта художественная роскошь дворца-жилища Павла I в бытность его Великим Князем и Императора Александра III. Мы все любим из бедности посмотреть на богатство, из ограниченности – взглянуть на безграничность, это есть мотив посещения дворцов и картинных галерей, даже мотив путешествий за границу: и вот «Старые Годы» до некоторой степени возмещают все это. Нет чтения «семейного», более воспитывающего вкус и дух историчности.

* * *

«Русский Библиофил», основанный в 1911 году Николаем Васильевичем Соловьевым, может служить прекрасною иллюстрацией к шедринской мифологии о «Колупаевых и Разуваевых», будто бы «разувающих» Россию и «колупающих» в отличие от просвещенных представителей британской и германской коммерции, которые украшают свое отечество и благотворят своему отечеству. Сын богатейшего в Петрограде торговца гастрономическими товарами, имеющего известные лавки на углу Невского и Литейного проспектов, он предался с бесконечным энтузиазмом тонкой области истории и литературы, именно библиофильству. Но предался с таким вкусом, с таким пониманием, вместе с тем с такою широтою и практичностью, что эту всегда несколько сухую область образовательных интересов возвел в роскошное явление, привлекающее внимание, вообще, историка, а не только одного библиофила.

Начало его деятельности на избранном поприще относится к 1902 году. В этом году он стал издавать журнал «Антиквар». В первом же номере он

поставил вопрос, отчего столько раз начинавшие у нас издаваться журналы, посвященные «старой книге», неизменно терпели фиаско? Между тем как имена Гартье, Лисовского и Шибанова говорят как за достаточность денежных средств, полагавших в основу издания, так и за большой энтузиазм и полную к делу подготовку, какую имели издатели. В чем же дело? И отвечает: в узости и бедности самого дела, самой темы, самого предмета. На Западе разработка истории «старой книги» оттого находит поддержку в читателях, что она поставлена всемирно, а не узконационально. И «библиографическое издание», выходящее в Лейпциге, Мюнхене или Берлине, – нужно, интересно и важно для не очень многих любителей этого дела в Англии, России и Франции, а таковое же лондонское издание выписывается, пусть в самых незначительных количествах экземпляров, в Германию, Францию, Россию, Голландию и Бельгию. Специальная и узкая область «библиографии», нося почти международный характер, лишь с некоторым преимуществом внимания к национальным книжным сокровищам, питается достаточным интересом и «подписчиком» со всего света.

Затем, самая история книги, не только внутренняя, но и внешняя, в смысле ее украшений и великолепия, в смысле богатого и иллюстрационного материала, – на Западе, и особенно в совокупности западных стран, неизмеримо богаче, нежели у нас. Что касается внутреннего содержания, то стоит вспомнить услуги науке, оказанные учеными «братьями Альдами» в Италии и Эльзевирами в Голландии, стоит вспомнить великолепные и неочевидные «инкунабулы» XV века, чтобы понять и почувствовать особую бархатистость цветов западной «старой книги». Так у нас эти цветы не пахнут, сносно-го вида и красоты не имеют. «Редкости» петровского времени, – такие большие редкости русской книжной торговли, они всего восходят к XVIII веку. Время – совсем молоденькое, совсем новенькое. Что такое русский XVIII век перед парижской, перед мюнхенской, перед венецианской историей книги!

Также с 1-го номера «Антиквара» Н. В. Соловьев начал печатать материалы для «Словаря русских библиофилов»; это – сведения о частных, о специальных библиотеках, как в отношении особенно интересной стороны их, древности, так и в отношении важных областей, на которые устремлено внимание собирателя: истории, положим, – Туркестана, – архитектуры, искусства, морского дела, истории географических открытий и т. д. и т. д. Нужно заметить, что два главных в России книгохранилища, Императорская Публичная библиотека и Румянцевский Музеум, имея – первая – всего сто лет существования, а второй – еще гораздо менее, вовсе не полны исчерпывающим образом даже в отношении русских книг XVIII века, не говоря уже о русских старых книгах славянской печати времен патриаршества на Руси. Посему «частные библиотеки» на Руси, и даже не очень богатые между ними, могут обладать сокровищами, каких нет ни в Императорской Публичной библиотеке, ни в Румянцевском музее. Вот почему «Словарь русских библиофилов» представлял вовсе не любительский интерес, но – абсолютную значимость. Н. В. Соловьев писал в заметке своей касательно этого собирания сведений:

«Между коллекционерством разных безделушек, марок и т. п., и – собиранием книг, существует неизмеримая разница; и если перечисление редкостей первых категорий выкажет их владельцев саморекламирующими маньяками, то желание поделиться с коллегами сведениями о своих книгах может быть только следствием любви и уважения к последним, взгляда на них не как на безумный предмет собирания, но как на хранилище высшего, духовного развития человечества. Каждая малейшая попытка к разработке нашей библиографии должна, несомненно, принести пользу всей русской науке, а наибольшее развитие первой возможно только на почве большого общения между собою тех, кто любит и ценит книгу. Таким образом, задача всякого желающего пользы нашей науке – не скрывать у себя тех сокровищ, которые судьба послала в его руки, но, по возможности, сделать их достоянием всего общества. Иначе как бесцельны будут все труды собирателей, как бесполезны станут их собрания, и высокая благородная страсть к книге обратится в смешную и жалкую манию».

В «Антикваре» Н. В. Соловьев поместил свою статью – «Альманах на Западе и у нас».

Но, просуществовав два года, «Антиквар» закрылся. Нужно заметить, что до некоторой степени «Антиквар» появился как практический путеводитель по покупке и продаже старых книг, ставший необходимым или очень полезным, когда в 1901 году Н. В. Соловьев открыл «Антикварный магазин» на Литейном проспекте, служащем в Петрограде вообще сосредоточением старой и с тем вместе солиднейшей и ученой книжной торговли, книжного дела. Антикварные магазины – это места отдыха, поэзии и «открытий» для ученых и писателей. Следовало бы пожелать, чтобы средние учебные заведения для пополнения своих фундаментальных библиотек обращались с заказами именно в эти магазины: так как, кроме «самоновейшего», ничего нет в других книжных магазинах, тогда как фундаментальные библиотеки нуждаются в солидных изданиях за век или за последние полвека. Говорю это по опыту, как бывший педагог, уже испытывавший, до какой степени трудно и даже вовсе невозможно пополнить грубейшие недочеты серьезных библиотек с помощью даже самых богатых книжных фирм, но ограничивающихся продажей «нового товара». Ведь именно в книге, в библиотеке – «новое» есть только верхний и тоненький налет книжных вообще богатств в стране.

По закрытии «Антиквара» Н. В. Соловьев сближается с просвещенным кружком людей, издающих «Старые Годы», и помещает сам в этом журнале ряд ценных работ: «Русская книжная иллюстрация XVIII века», «Иллюстрированные издания о России начала XIX века», «Иностранцы о России в XVII веке», «Библиография усадеб» (1910 года), «Валериан Лангер». Особенно важен предпоследний труд. Н. В. Соловьев был один из первых и немногих лиц, которые стали догадываться, что настоящим изводом русской литературы XIX века, в ее великом содержании и великой красоте, служит старая русская помещичья усадьба; и что изучение этой литературы нельзя и начи-

нать, не осмотрев и не изучив реально, по крайней мере, остатки прежнего усадебного «жизня-бытья». Там – ее дух, там – ее родник, там объяснения ее стиля, своеобразностей, грубостей и тонкостей. Как нельзя «вне церкви» понять религии, так нельзя «вне усадьбы» понять стихи и прозу всех этих Пушкиных, Дельвигов, Вяземских, Жуковских, Тургеневых, Толстых и всех почти прочих.

Но участие в «Старых Годях» не давало ему возможности развернуть свою главную страсть – к старой книге. С 1911 года он начинает главное свое детище – «Русский Библиофил. Le bibliophile russe», придав ему именно тот вид чего-то международного, с одной стороны, и чего-то вообще исторического – с другой стороны, с каковым характером единственно может у нас библиография получить значение и успех. Журналу этому он придал все возможное великолепие, не щадя средств на издание и привлечение сотрудников, не щадя усилий на разыскивание ценного материала. Во всяком случае, этот журнал есть самое роскошное из всего, что у нас появлялось до сих пор в этом отделе любительства и науки, – и книжки его, вместе с книжками «Старых Годов», останутся навеки вечные украшением всякой библиотеки, куда попадут. В первом же 1911 году один номер журнала (из восьми годовых) был посвящен специально одному Пушкину, а в 1912 году таковой же номер был посвящен специально одному Жуковскому, – кстати, любимейшему поэту Н. В. Соловьева. Об обоих поэтах в этих специальных номерах «Русского Библиофила» появилось много нового материала, – их письма, новые разысканные стихотворения и варианты их, рисунки пером и присьма. С 1913 года «Русский Библиофил» начал помещать интереснейшие «Записки князя И. М. Долгорукова», жившего в конце царствования Екатерины и в первые годы царствования Александра I; это прекрасный документ в нашей мемуарной литературе.

И все это он увенчал самым достопочтенным трудом личных интересов и вкусов. Нужно заметить, что все издание им «Русского Библиофила» носит романтический оттенок, – оттенок тех времен, когда Байрон писал свои поэмы и Жуковский писал «Светлану», когда, наконец, Руссо бродил с тростью около Женевского озера. Время было высокого культа женщины и женственного в литературе, в цивилизации, в духе времен. И вот в первых пяти книжках журнала за 1915 год Н. В. Соловьев воссоздал по рисункам, записочкам и письмам, по альбомам и дневникам, чарующий образ А. А. Воейковой (по мужу), ближайшего друга поэта Жуковского, в статье «История одной жизни. Воейкова – «Светлана». К этой статье неизбежно будет прибегать каждый, кто когда-либо возьмется за разработку личности и поэзии Жуковского: до такой степени жизненно и документально показан здесь Жуковский не в сюртуке и при звезде, как он снят на известном портрете, а показан дома, в деревне, – в халате или чем-нибудь, в рождественских удовольствиях, за играми и маленькой домашней литературой. «Светлана», не без подталкивания со стороны поэта, влюбленного в сестру ее и на брак с которою он надеялся, – была выдана замуж за ничтожного поэта александровских времен, Воейкова,

переводчика с французского «Садов» Делиля: человека до такой степени дурного в семье, в службе, в обществе, что все избегали какого бы то ни было общения с ним, но все же тянулись к их дому ради прелестной «Светланы». И вот начинается многолетнее умирание этой «Светланы» (от чахотки, от несчастия), а ближайшие друзья, роковым, хотя и печальным образом виновные в ее судьбе, окружают ее любовью, сожалением, всякой достижимой нежностью. Это – роковая судьба, по обилию грусти в ней – именно романтическая судьба, где «счастье – лишь в грезе, а на земле – одна грязь». Вот для примера из письма «Светланы» от 1 декабря 1826 года:

«Какой ты бесподобный человек, Жуковский. Какое милое твое письмо. Право, от всей души жалею, что ты мой вольтижирующий креститель (Жуковский был ее крестным отцом, – что и послужило каноническим препятствием для брака его с сестрою крестницы), а не муж. Мне бы веселее было на свете жить, особенно глядя на будущее моих детей, – но и теперь, как мы есть – ты единственное яркое пятно в их будущем, для меня, – особенно когда я больна. Но за что ты мою наследницу назвал Виргинией (знаменитый роман XVIII века, «Paul et Virginie»), когда она Леокадия? Это в сто раз глупее; или – для того, чтобы иметь Виргинию, иметь счастье быть Павлом? О моей поездке в Дерпт писала к маменьке, просила ее решить, теперь ли мне приехать или навстречу к тебе. Я бы желала последнего, – но ее удовольствие в этом случае должно нас решить. Козлов поднес свою «Невесту» (стихотворение Козлова – «Невеста Абидосская») Царице, и она, т. е. молодая, прислала ему прекрасный перстень в 1000 рублей с прелестным письмом, которое Козлов почтн стер поцелуями. Царь прислал 2000 руб. за свой экземпляр... M-lle Wildermouth (фрейлина молодой императрицы, ее бывшая гувернантка) приехала ко мне через час после того, как я получила твое письмо, и я ей прочла его tout hâte*. Она тебя любит так, что, право, один Перовский здесь (т. е. в сердце фрейлины) больше. У нас с Перовским нету приятного чувства, где бы не вмешалось: «Зачем не видит Жуковский?». И M-lle Wildermouth в том же роде; с нею для меня самое большое наслаждение. Я у ней довольно часто бываю, и не случилось ни разу, чтобы Lalla Rhouk (императрица Александра Феодоровна; Lalla Rhouk – героиня поэмы Байрона того же имени) не пришла. Последний раз она просидела с нами почти час. Ежели еще придется встретиться с Лалла Рук, то попрошу ее, чтобы она меня не отпускала до твоего приезда. Она со слезами на глазах велела тебя благодарить за письмо. Императрица говорит, что «пребывание здесь потеряло одну из главных прелестей вследствие Вашего отсутствия, – и что Вы не достаете ей везде». Комнат во дворце тебе приготовлено четыре, из коих одна огромна и, с прелестным камином, потом две с боку, – потом еще одна с другого боку, с русской печью. Очень чисто расписаны парке-

* наспех (фр.).

ты и для образца – мебель, – прехорошенькие диваны и по 4 и 6 кресел; таких же прибавят, ежели ты попросишь, – большие зеркала, столы красного дерева, все чисто и весело, только ужасно высоко. Прощай. Целую и люблю как душу. Писать буду часто, не могу делать иначе, нужда естественная с тобой говорит».

На адресе конверта – «A Monsieur de Joukowsky, recommandé aux bons soins de M. de Bassange. Dresde».

Эта страница совершенно воссоздает ту обстановку духа и материи, в которой Жуковский творил свои нежные, паутинные баллады, переводы из Шиллера, из Байрона, из Вальтер-Скотта и Томаса Мура.

Н. В. Соловьев вспыхнул высоким пламенем с первых же дней германской войны. Он встал во главе ряда лазаретов... Разрушение Реймса и Лувэна страшно потрясло его... Переутомление и простуда унесла его, совсем еще молодым, в могилу. Супруга его решила продолжать издание в память горячо любимого мужа; редакция его поручена одному из ближайших друзей покойного, В. А. Верещагину, – автору многочисленных трудов по истории и археологии русского XIX и XVIII веков.

Журнал выходит 8 раз в год. Контора его – Петроград, Рыночная, д. 10. Цена в России с доставкой – 8 руб. 50 коп. Наряду со «Старыми Годами» – это лучшее украшение нашей журналистики и библиотек.

ПОЧЕМУ ПОЯВИЛСЯ «АРЦЫБАШЕВ»?

(К вопросу о разводе)

Итак, помощь Арцыбашева – и не иначе? Введение в святилище судейское лжесвидетельства, и ничего другого? А вот послушайте, что рассказывает о себе человек.

«Содержание вашей статьи слишком сильно задевает меня, бердя не зажившие еще, свежие раны. Я один из тех неудачников, печальную жизнь которых вы разбираете в своей статье «Высший авторитет и дети». Подобно тысячам других молодых людей, я сделал один опрометчивый шаг на заре своей молодости, который отразился тяжелой драмой на всей моей жизни и до сих пор слишком сильно дает себя чувствовать. 26 лет я увлекся красивой эксцентричной девушкой, почти ребенком. Стройная, изящная, с горделивой аристократической осанкой, княжна по рождению, она пленила меня сразу и бесповоротно. Так как и с ее стороны выказывалось ко мне много расположения и внимания, то я смело мог предполагать, что я тоже сильно ею любим. Наши встречи заканчивались порою вспышками такой неудержимой, безумной страсти, что я решил жениться как можно скорее. Накануне свадьбы я пережил тяжелое душевное состояние. Эксцентричность моей невесты пугала меня, но сильная молодая

любовь победила, и с неизъяснимо сладким и честным чувством я ввел мою молодую жену в свой дом. В ту же ночь она убежала от меня, не желая быть на деле моей женой. Ей нужно было только одно мое имя, чтобы покрыть старые грешки, да и впредь, пользуясь положением замужней женщины, жить распутно и развратно. Сначала я умолял ее вернуться ко мне, надеясь силой своей любви переделать, перевоспитать ее, помочь бороться с дурными инстинктами, но вскоре убедился, что все напрасно, что она испорчена от природы, как и вся их семья и родственники ее, и для нее невозможна тихая семейная жизнь. С тех пор началась скандальная, полная приключений жизнь моей жены. Она скандалилась то с тем, то с другим богачом, была любовницей известного богача в Ялте, разъезжала по городам с клоуном Д., пела на открытой сцене и, наконец, сошлась с редактором Х*, где живет, имея несколько детей. От кого эти дети, где и когда родились, на чье имя записаны**, я не знаю; знаю, что они пользуются всеми правами законных детей и в случае моей смерти делаются моими наследниками. В 1899 году я начал бракоразводное дело с моей женой. Екатеринбургским окружным судом 20 мая 1904 года (через пять лет! – В. Р.) дело решено в мою пользу, я имею все права на развод; но мое злополучное дело в оренбургской консистории тянется до сих пор (письмо мною получено 4 декабря 1907 года. – В. Р.), не подвигаясь ни на шаг вперед).

Нужно заметить, тут не члены консистории виноваты; они только не отступают и отступить не имеют права от строжайших и подробнейших процессуальных правил, норм, установленных для развода в уставе духовных консисторий, который есть действующий закон, как бы «зарцало», над ними поставленное. Я помню, – читал в уставе эти самые правила, которые он далее описывает:

«То жена скрывается, то требуют вторичных свидетелей, тогда как большинство их или уже умерло, или переехало неизвестно куда; то просто требуется крупная взятка консисторским аргусам».

Может быть, это предположение автора письма: едва ли *прямо* о взятке ему кто-нибудь говорил. А просто – человек в тисках, и кричит, жалуется, «оговаривая направо и налево». «Отчего вы не даете мне жизни? *Взятка что ли нужна?*» Что таков закон развода, такова его процессуальная форма, – повторяю, мною читанная с ужасом когда-то в уставе духовных консисторий, автор этого, вероятно, не знает. Он чувствует свое *естественное право*, *ius naturale*, жить хорошо семейною жизнью, жить счастливою семейною жизнью, – и кричать: «Освободите же, освободи ты, церковь, освободите вы, духовные лица, от *такой жены*». Так я бы кричал. Так все бы мы кричали. Ну, и не высовывается ли уже тут голова «благодетеля» – Арцыбашева?

* В письме прописаны и полные имена как лиц, так и городов.

** Конечно, записаны на имя брошенного этою женщиною мужа, как «его законные дети».

«Это дело отняло и отнимает у меня массу времени, денег и здоровья. Я изнервничался, потерял веру в справедливость и людскую порядочность. Возненавидел священников. По природе своей, я не выношу одиночества, моя душа жаждет тепла и привета. Год назад (т. е. претерпев около десяти лет! – В. Р.), с большим трудом я сошелся с интеллигентною девушкою. У нас теперь ребенок, сын, которого мы оба любим больше жизни. Мы должны вести замкнутую жизнь, избегая общества, и положение наше ложно. У нашего мальчика нет ни имени, ни права быть открыто признанным «моим» сыном. Когда моя вторая жена должна была родить мне моего ребенка, ее нужно было отправить, во избежание огласки, в Балаклаву, совершенно незнакомый ей город, где она прожила в одиночестве самые тяжелые в жизни каждой женщины дни. И хотя мы любим друг друга и жизнь наша согрета присутствием нашего малютки, но полного счастья у нас нет. Каждая минута отравлена сознанием, что сын наш «незаконный», что когда-нибудь, сделавшись уже взрослым, он упрекнет нас за то, что мы обрекли его на тяжелую жизнь «незаконнорожденно-го». И если подумаешь, что горе наше разделяют сотни, тысячи таких же несчастных?!...»

Вот случай, господа; – вот случай, мир русский. Господи, кто упрекнет этого 26-летнего юношу почти, что он «ошибся в выборе», в доверии? Ошибаются цари, после глубокой проверки, в «выборе» министров, в назначениях... даже консистории ошибаются... чего больше, батюшки, и те ошибаются в доверии к другу, к соседу, к знакомому!! Или – без греха, без слабости? Без неведения и слепоты? Господи, Господи: не *целый* ли мир грешен и в немощах, и отчего только «женатому человеку», как какому-то Каину или обреченному, нет прощения и нет конца вины за его «ошибку». «Пусть и кается сам, что ошибся, – *мы ему не в помощь*. Пусть женился бы за *тридцать лет*, когда *уже голова не кружится...*» Но что же *до этого*, – разврат с девицами гулящими? Что посоветовал бы Дернов? – Нет, *этот* возраст благ для брака, ибо охраняет здоровье и силы целой нации, ее молодость, ее свежесть, ее талант.

И я говорил, лет семь, даже кричал. Но никто не услышал.

В православной русской церкви моя полемика о разводе и незаконнорожденных детях прошла без всякого следа.

«Очень нужно...»

ДВЕ ВЕЛИЧИНЫ, РАВНЫЕ ПОРОЗНЬ ТРЕТЬЕЙ, РАВНЫ МЕЖДУ СОБОЮ

Об этой аксиоме не спорят нигде, кроме духовного ведомства. Там же она яростно отрицается, – и не принимается ни в какое внимание, ни к какому убеждению.

В самом деле, случай, о котором рассказал потерпевший муж в письме, недавно приведенном мною, – что он был покинут женою своею в первый

же день брака, и он к ней вовсе даже и не прикоснулся, не равняется ли совершенно признанному и узаконенному мотиву развода, когда

1) муж женщины значится «пропавшим» в течение пяти лет. Причем хотя ни доказательства, ни удостоверения о его смерти нет перед духовным ведомством, тем не менее сие духовное ведомство *разрешает жене вступить в новый брак*.

2) Когда один из супругов ссылается в Сибирь. В сем случае духовное ведомство вполне знает, что «другая половина брака» жива, и даже по отбытии срока наказания может вернуться на место жительства, к жене. Однако оно дает *не осужденной стороне право нового брака*, расторгнув его с осужденным.

Спрашивается:

3) Отчего же супруг, брошенный женою, – как равно и жена, брошенная мужем, – по миновании хотя бы пяти лет бегства, не освобождается от уз брака? Почему в сем случае духовным ведомством не производится формальный развод и оставленная сторона не восстанавливается в правах на новый брак?

Непонятно. В Евангелии, нужно заметить, не указана в числе могущих быть причин расторжения брака *ни которая из всех этих трех причин*, – и первые две причины церковь ввела *от себя*, без всяких ссылок на Евангелие и без всякой опоры для себя в Евангелии, как новый повод к разводу.

Почему же? Почему?

Ни один канонист не разрешит вопроса. Ни один священник не найдется ничего сказать. Математическая и одновременно логическая аксиома: «две величины, равные порознь третьей, равны между собой», – горит в умственном мире, как Сириус горит в небе. И скорее Сириус погаснет, чем эта аксиома поколеблется.

Здесь мы имеем недобрую, злую волю разводящей инстанции и самого закона о разводе, который вышел из этой инстанции в таком выявленном, доказанном виде, что... имея стыд, надо же закрыть лицо и бежать.

И это все, что остается: бежать. Стыдиться и бежать, и ничего третьего. Государство имеет или получает такую почву под ноги – «двинуть по-иному развод», что «беженцы от стыда», как уличенные «в злом и недобром» – не могут ничего возразить. Рот замкнут. Рта нельзя раскрыть.

Ибо раньше всякого возражения надо крикнуть:

– Да, мы отвергаем, что величины, равные третьей величине, равны между собою. Они не равны, а *разны, неодинаковы*.

Но никто не поверит. Ни одного нет человека на свете, который бы поверил этому крику.

Существует ли закон о разводе?

Да, он «существует», насколько «написан». Но не существует, ибо в написанном читается: «Дважды два – стеариновая свечка».

И в растопленном, горячем, жгучем сале этой глупой «стеариновой свечи» духовное ведомство... и, хочется с воплем сказать: – святая церковь, попавшая в худое и бездарное управление русских недостойных людей, обер-прокуроров и иерархов, – топила несчастно-женатых людей. Что за несчастное учреждение брак!! Что за единственно-несчастное!!! Неповторимо-несчастное...

К БОРЬБЕ С УДУШЛИВЫМИ ГАЗАМИ

О борьбе с удушливыми газами, о чем я недавно поместил статью в «Новом Времени», я и не думал писать, как слишком не специалист в этом деле. И об отказе своем писать об этом деле я сказал изобретателю бомбочек противогазов. Намерение мое было столь твердо, что я не записал даже фамилии изобретателя, о которой только узнал точно несколько дней спустя от лиц, которые имели дело с этим изобретателем. Однако движимый патриотизмом и помня печальную и до некоторой степени страшную историю с профессором Черновым, который предложил в России купить открытый им секрет изготовления стали, рецепт, которой впоследствии попал к Круппу, у которого наше правительство за много миллионов купило право «повторять эту сталь на своих заводах» (все это мне рассказывал ученик-слушатель Чернова, слушавший изложение всего дела с кафедры самим Черновым, доселе здравствующим), – я решил, что и о противогасах надо «выкрикнуть», хотя бы рискуя ошибкой: «99 ошибок в печати не принесут столько вреда, сколько один случай слепоты ко всякому важному изобретению». Вот моя аксиома.

Очевидно, моя статья и была понята так, как мне хотелось, ибо я тотчас же получил приглашение ознакомиться с затронутым мною вопросом от лиц, наиболее официально знакомых со всем, что касается борьбы с газами, носящих к тому же чисто русские фамилии (я указывал на возможность здесь немецкой интриги) и которых по их служебному положению и специальному образованию вообще я не мог не счесть действительно компетентными лицами в этой новой области военного дела. Эти лица сделали мне весьма подробное всестороннее обстоятельное сообщение с показанием всего необходимого материала, как по затронутому мною вопросу о бомбочках, так и относительно постановки противогазового дела вообще.

Все эти сообщения заставили меня вполне успокоиться, и я считаю своим долгом и обязанностью перед читателями погасить в читателях возможное подозрение и недоверие.

Насчет судьбы бомбочек противогазов те теоретические и опытные данные, которые вызвали задержки в введении этих бомбочек в снабжение нашей армии настолько серьезны и пока непроверяемы, а отношение всех учреждений, к которым поступило предложение об этих бомбочках, было настолько благожелательно и предупредительно, что изобретателю была предоставлена полная возможность всестороннего выяснения при участии научных сил и обо-

рудованных лабораторий, в том числе и высших учебных заведений столицы, достоинства и качества предполагаемого им способа, что здесь нельзя и усмотреть какого-либо намека на историю с профессором Черновым.

Здесь же мне хочется поделиться с моими читателями, хотя бы отчасти, с тем обширным материалом, который был мне предоставлен.

Противогазовых повязок имеется несколько систем, и их множественность явилась результатом постепенного их усовершенствования, согласно прогрессу научных данных о газовой борьбе принятая в армии повязка представляет собою серьезную гарантию против газов, по преимуществу до сих пор употреблявшихся немцами; а благодаря внесенным изменениям, она годна и против многих других газов, о намерении применения которых нашими противниками имеются сведения; по случаю же предположения, что и эти повязки не смогли бы исчерпывать всей борьбы с газами, ввиду возможности усиления ядовитости немецких газов, в совершенно для нас неизвестных направлениях, принят новый тип противогаза, который парализует действие самых разнообразнейших удушающих и ядовитых газов, в том числе и синильной кислоты.

Здесь невозможно изложить всех подробностей дела за мелочностью и кропотливостью и специальностью всех его деталей и невозможностью опубликовать многие данные, составляющие военную тайну, но на меня вся постановка дела произвела впечатление прямого и честного к нему отношения. Предполагавшегося мною невнимания не было и не могло быть, и я имею радость гражданина подумать и сказать читателям, что здесь «все исправно», — и не только по материальному существу дела, но и с точки зрения «делопроизводства», которое идет с допустимой обстоятельствами дела быстротой исполнения, вследствие, так сказать, вечно висящей над головой всех возможности фактической и беспощадной ревизии со всех сторон, а в первую голову со стороны бдительного и требовательного верховного начальства.

Но и несмотря на все это, по словам вышеуказанных лиц, если бы появились какие-нибудь новые типы, более совершенные, чем изготовляемые практически универсального типа противогазы, — все же тотчас, несмотря ни на какие труды и расходы, последовало бы соответствующее распоряжение о принятии всех возможных мер к введению этого особо последнего типа. Всегда и во всем следовать за живой наукой, а не придерживаться лишь рамок бумажного делопроизводства является одним из принципов посещенного мною без шумихи работающего, не покладая рук, учреждения.

«НЕ НАДО БРАКА», «НЕ НАДО ПЛОДОРОДИЯ», «НЕ НАДО ДЕТЕЙ»

Откуда же он так несчастен, этот брак? А вот послушайте:

«В. В. Розанов кричит нам, монахам: «Вы прямой заповеди Божией не исполняете: *растите и множьтесь*». Читайте дальше, Василий Васильевич! Рано остановились! «И наполните землю». Так. Но

уже наполнена земля. Даже у нас на Руси никакой аграрный вопрос не разрешат. «Курицу, и ту, скажем, выпустить некуда» (страница 24 только что вышедшей и подаренной мне брошюры архимандрита Иллариона – «Единство идеала Христова. Письмо к другу. Сергиев Посад. Типография Св.-Тр. Сергиевой лавры». 1916 г.).

Прямое обращение, которому я так рад, потому что оно «кстати». Архимандрит Илларион еще молодой, но деятельный и порывистый монах и вместе профессор Московской духовной академии. «Кого и слушать, как не его?» Что же он говорит:

1) Опрокидывает Священное Писание, да притом самую стержневую его мысль, ссылок на слова мужика, пришедшего у барина покупать землю («Плоды просвещения») и в качестве жалобных мотивов говорящего слова: «Куренка выпустить некуда!»

Ведь это просто присловье, украшение речи ярким и острым словом. Толстой – не статистик, не ученый, а беллетрист.

А Франция и ее «вырождение»? Вся тревога целой страны о том, что население страны *более не растет?*

«Fécondité»* Золя? Печальные доклады парламенту? Всеобщие призывы в печати, в обществе – «плодиться, множиться»?

И печальное, глухое, страшное молчание в ответ на призывы. «Кто хочет, кто *за себя* рискует множиться – пусть и множится. А мы не хотим», – думает порознь каждый citoen.

Вдруг в Сергиевом Посаде монах, наш православный монах, до некоторой степени высказывает:

«Не надо множиться. Земля уже наполнена. Вот и Толстой говорит».

Это до того ярко и свежо, до того выпукло и бьет в глаза, что о. Иллариона воистину «Бог привел сказать свое слово, как раз *вовремя*».

Ибо я могу ему сказать, в ответ на «Письмо к другу», в своем роде «Ответ друга»:

«Монашество прекрасно, когда оно скромно и довольствуется своим делом, исполнительно в обетах своих, из них же главный: послушание и молчание. Но это-то – самые трудные обеты. Обыкновенно оно, особенно когда молодо, высказывает и торопится учить, наставлять, руководить. Так, друг, и с вами случилось. Ничего вы нового не сказали, и в этом-то моя печаль и мой страх. Увы, вы повторили то, что века и века говорили до вас, говорили до сказки Толстого и когда земля была еще мало и редко населена. Говорили уже в то время, когда во всей России было только 7–10–15 миллионов жителей, когда Сибирь стояла почти пустая, для черноморских губерний Екатерина не знала, откуда взять населения, Прикавказье тоже было пустынно. И тогда-то, тогда-то, в пустынные и безлюдные времена, вы и все ваши предшественники говорили точь-в-точь то же самое: «*Не плодитесь! Не множьтесь*». Но, однако, люди любили и множились... Что же вышло из ваших слов?

* «Плодородие» (фр.).

Вышло страшное. Помешать росту дерева вы не смогли, но вы его скривили и вывихнули. Вы все тянули (века!) древо жизни за вершину в одну сторону, на один бок и *заставили его* жалко и печально стлаться по земле». Жизни вы не убили (конечно!), но жизнь вы испортили.

«Кривое дерево», – это и есть наш брак. Оттого, единственно оттого, что хотя люди «любились», но женили-то и венчали их люди и авторитеты все «безбрачные». Все прямо и в упор, как вы же, отрицавшие волю Божию, они и дали брачующимся:

1) Самое отвратительное устройство, – явно злое, недоброжелательное, с этой мыслью – «куда множиться! – *не надо*».

2) И они же дали, выработали, создали «правила развода», которые решительно сделали из брака злостную и клеветническую картину «современного брака».

Брак в стране счастлив – счастлива, мила, благоустроена страна. Все трудятся, всем хочется трудиться: ибо все для детей, для жены.

Нет этого – исковеркана страна. Раствлены нравы. И явно, виновники этого, сказавшие и говорившие (века! века!):

«Брака *не надо*; или – лучше бы его *было меньше*».

О, прекрасны монастырские обители в лесах, в горах, в пустынях, в молчании, невидности. И да пребудут они вечно, как стражи Христова учения, которое звало всех к смирению.

Но «Христово смирения» тени не осталось в монахах. Они вдруг выскочили на площади, начали учить, кричать, взялись управлять, взяли в руки «жезлы управления» миром.

И не спаслись.

А мир погубили. Сделав его «кривым деревом», растущим «плашмя», «по земле», а не кверху, не к солнцу.

Вот где разгадка, и полная разгадка нашего «развода».

БЕСПРИЗОРНЫЕ ДЕТИ НА ГОВЕНЬЕ

Хорошие вести ни откуда так не радуют, как если они идут об церкви. Ибо – не говоря о святом в себе – это цитадель русской земли. Ибо если тут исправно, то везде и всюду все поправится, если даже и не скоро. Своим глазом не все увидишь, а мне пишут, и я радуюсь случаю донести весточку читателям и теперешним горячим богомольцам по церквам петроградским:

«Многоуважаемый В. В.! Вы меня не знаете, а пишу я потому, что «не могу молчать». Надо бы, мне кажется, ознакомить вас с одним отрядным явлением. Случайно узнала о нем, тронута, и хочется, чтобы и другие знали, особенно вы.

В церкви Введения, что против Царскосельского вокзала, идет на этой неделе детское говение. Всю зиму шли там беседы с детьми, преимущественно несостоятельными, которые охотно собирались,

молились и беседовали с батюшкой. Теперь они говеют, более 800 человек вместе. Специально для них идут службы ежедневно в 7 час. вечера, чтоб не мешать школе. Зашла я вчера: полутемный храм, детские голоса звенят, чудно смотреть – низко так уровень толпы. Клопы с 5 лет, стоят истово, поет вся церковь, не важно, не концертно, но молитвенно поет, с устремлением каким-то, враз встают на колена. На амвоне батюшка говорит: «Детки милые», – учит простому, понятному, и вся церковь отвечает гулом согласным.

– Ведь говорите же иногда – «дурак»? поди и часто?

– Да, батюшка!

– Ну, то-то! а не надо, детушки: знаете, что значит обругать-то?

Потом ласковыми, доверчивыми голосами кричат дети:

– Прощайте, батюшка! до свидания!

В пятницу исповедь, а в субботу причащаться будут и сами, одни, петь всю обедню.

Хорошо, Василий Васильевич! Умилительно! Сходите, послушайте на ближайших днях. Хочется верить, что добрый плод дадут эти семена. Я не церковница, хожу редко в церковь, а тут – тянет, потому что правда есть. Хочется призвать и других, что, мол, смотрите.

Ну, вот. Хорошо, кабы пришли. Всего хорошего. М. Т.».

Я тоже не церковник и редко бываю. А вот два нецерковника принесли более усердным людям хорошую весть к празднику. И они положат лишний поклон о «рабах Божиих Марии и Василье».

Как просто устроил священник. Только привет, только ласковое слово. И тысячная толпа детей согрета. В письме дан телефон, фамилия под письмом подписана, и я спросил по телефону, что это за дети? Мне ответила незнакомка, что это – беспризорные, уличные дети, и устроил их так в «общее говенье» батюшка от. И. Е. Фамилию не буду называть. Не надо. Он безмолвно начал, пусть безмолвно и продолжает. А то всякая молва как-то имеет тенденцию сглаживать, ослаблять, расхолаживать дело. Письмо получено с неделю назад.

С СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Великую радость кавказские войска принесли родине-России ко дню Святой Пасхи. Ими взята штурмом вторая твердыня в малоазиатских владениях Турции – древний и крепкий Трапезунд. Теперь уже почти вся армянская народность находится в пределах России, – и Бог даст и в будущем она останется единою и слитною под благоустроенным управлением. Посещение Государем Императором в прошлом году закавказских областей, где Он был встречен энтузиазмом всенародным, – было и предвидением и введением к успехам русского оружия на восточных границах Империи.

Но не там решится все дело этой ужасной войны, а на Западе, – на нашем западном и французско-английском фронтах. И здесь хотя также имеются хорошие признаки, между которыми отметим высадку в Марселе русских

воинов, однако все еще полно боренья ночной темноты и самых ранних лучей зари. Здесь – время молитвы и крепкого стояния. Всею Европою Пасха 1916 года встречается поистине в «страстных страданиях». Ближние и дорогие наши – в окопах, в ежедневной готовности к бою и смерти, и сколькие из них уже положили душу свою за дорогую родину. Хищный и свирепый враг еще в пределах нашего отечества, и нельзя освободить от него наши города, села и поля, иначе как пролив новые потоки крови.

Где же почерпать силы, как не в Христе, не в церкви, не в вере? И вот еще день, когда мы все должны теснее прижаться сюда. Страдания и Воскресение Иисуса Христа – взглянем сюда и укрепимся!

Таково таинственное сложение истории и судеб мира, что все идет в нем волнами, приливом и отливом; что ровного и тихого течения нет в истории, а везде – ночь и утро, скорбь и радость, несчастье и утешение, смерть и воскресение. Так в физической природе, не иначе в личной жизни, не иначе и в жизни государств, обществ и народов. И вот пришли эти тяжелые дни, в которых одно утешение, что ими мы покупаем весну и возрождение.

Но оставим общие мысли. Все-таки, все-таки сегодняшней день встретим по-народному, по-всегдашнему – с весельем, радостью, как наша церковь встретит его зажженными свечами и колокольным звоном. Дадим отдохнуть сердцу. Как и безжалостная природа дает все-таки отдохнуть всякой душе в час сна.

Сойдемся же все в церкви, к светлой заутрене, в светлых одеждах и с светом веры в уме. Этот день мы все едины, все миллионы и миллионы русского люда, «крещенные во едино крещение во оставление грехов». Ничто так не соединяет, нигде так не соединяются люди, как в праздники, от Царя до нищего исповедуя то же, веря в то же, повторяя слова одних молитв. Вот эту христианскую целостью и единством и проживем сегодня все.

Мы боремся страшною борьбою не за то, чтобы получить возможность из громадного уже богатства перейти в богатство еще громаднейшее, а боремся за свет души своей, который дало нам христианство, – дал наш Утешитель, который есть Христос. Мы боремся за таинственное и религиозное начало мира, которое выкинуто за борт своего житейского корабля этою плоскою, омещанившеюся Германиею. Она им не верит, этим чудесам религии, которые мы видим, потому что ими живем. Приблизилось время лютое, время какое-то апокалиптическое, когда над людьми «свилось небо, как свиток» и «попадали звезды» с него, как осыпавшиеся пуговицы. Все стало рационально, плоско, не интересно. Небо умерло, когда умер в нем Бог. Но для нас, для всей России, небо населено святыми, умершими прежде нас, и в нем живет Бог-Вседержитель.

Поэтому несколько мы не преувеличим, сказав, что немцы на нас бросились, как звери на человека в поле, и щелкают стальными зубами, грозясь нас проглотить. И горят в темноте два огненных глаза чудовища. Но не испугается этих глаз христианин-крестьянин, кладя на себя крестное знамя. Не впервые ему одолевать бусурманскую силу, а в лице германца с ним борется опять

именно бусурманская сила, дикая, бесчеловечная, в глубине вещей даже бессмысленная, и только технически превосходно вооруженная. Но дикому чудовищу никогда не одолеть и не съесть человека. «С нами крестная сила», — а крестная сила ничем на земле не одолевается.

Трудно нам. Но залог победы — в духовности нашей борьбы; и мы победим и, Бог даст, третью Пасху уже не будем встречать, имея на своей земле неприятеля. Во всяком случае, что бы Бог ни послал нам, сколько бы судьба ни испытывала наше терпение, мы будем стоять, бороться и ждать. «Оружия не положим, пока неприятель в нашей земле», — по слову Государя нашего на другой день после объявленной нам войны.

Пока же пусть катится колесо дней и месяцев. А Русь, как воин Христов, пусть стоит на страже «своего добра», готовая ко всему и на все, не мигая перед страшилищами и не отступая перед разверстым зевом врага.

«Христос воскрес!» — добрый православный люд. Оставшиеся дома, — пойдем в храмы, вернемся потом с семьями своими под родной кров, — и все разговеемся красным яичком и куличом и пасхой. Проведем все-таки этот день и все семь светлых дней в ясности души, без уныния и скорби. А там опять — за труды ратные и труды гражданские!

М. М. КОВАЛЕВСКИЙ

Я помню его молодым и шумным в Московском университете 1878–1882 годов. Огромная, почти колоссальная фигура его, — как-то выдающаяся в корпусе, в животе, — кидалась в глаза, как ни на какую другую в его ученой «братии» не похожая. Вся толпа их, вся линия тогдашних профессоров — была щупленькая, худенькая; и, как говорили по крайней мере студенты, среди которых я находился, — «они были все бедны, кроме профессоров медицинского факультета», которые имели средства уже не как профессора, а как в то же время и практикующие врачи. Вот к этим-то независимо поставленным профессорам из всего состава трех остальных факультетов принадлежал и Максим Максимович Ковалевский, о котором среди студентов известно было, что он происходит из богатой дворянской семьи, имеет годового дохода что-то около 15 000 рублей, делает у себя приемы товарищей-профессоров... И к этому прибавлялось, что, как человек обеспеченный, он держит себя вполне независимо в качестве профессора и ученого, не только перед попечителем учебного округа, тогда графом Капнистом, но и перед министерством просвещения, — в ту пору меняющихся министров, графа Д. Ф. Толстого, Сабурова, барона Николаи и графа Ив. Дав. Делянова. Была эпоха Лорис-Меликова, и Каткова, и Победоносцева, со стоящею около них железною фигурою графа Дим. Толстого.

Университет был, — как я его помню за все время моего учения, — распушенный. Под железным «скипетром» (министерским) Толстого — все равно шла «вовсю» проповедь с кафедры позитивизма, материализма, не явного,

но и не скрытого атеизма, начинавшегося тогда «катедер-социализма», т. е. социализма ученого, без бунта, а в смысле тихого и медленного государственного переворота. Такова ранняя фаза никогда еще не провозглашавшегося громко марксизма. Несмотря на управление Толстого и Победоносцева (в начале царствования Александра III), на громы Каткова и речи И. С. Аксакова, издававшего в то время газету «Русь», – никто не был «славянофилом», никто не называл себя «просто русским человеком», а, в сущности, все были членами космополитическо-европейских партий, и все мы бились, в Европе и в России, за разные европейские знамена, европейские лозунги и программы, без единой русской программы. Катков и Аксаков были читаемы собственно «своими», т. е. небольшою группою лично привязанных к ним людей, ограниченною группою правительственных лиц и совсем небольшим количеством читателей «Московских Ведомостей», «Руси» и еще газеты «Современные Известия», которую издавал непризнанный мудрец Никита Петр. Гиляров-Платонов.

В университете, в составе профессоров, правда, были лица не ярко западного направления, лица с большим вниманием к России и русскому. Но их было очень немного, хотя они все решительно были выпуклые университетские величины с большими учеными заслугами. Между ними сияли два старца, доживавшие свой век, – Ф. И. Буслаев и С. М. Соловьев; и в возрасте между 40 и 50-ю годами – Ник. Саввич Тихонравов, Вас. Ос. Ключевский; к ним, но без большой знаменитости, примыкали зоолог Усов, редактор прекрасного журнала «Природа» и профессор русской истории Н. А. Попов, зять С. М. Соловьева. Но и эти уже «русские профессора», с духом «русского направления» – не были ни один славянофилом; они все тоже были «западниками», по той простой и естественной причине, что все работали, размышляли и писали свои ученые труды по методам западной науки, западного научного мышления. Того огромного в сущности «русского движения», которое последние лет 15 сложилось в России отчасти в отпор революции, отчасти под эгидою правых и националистических фракций Госуд. Думы, тогда и в помине не было. Несмотря на весь ужас и все потрясение 1-го марта, – Россия, в сущности, продолжала идти в направлении 1 марта, и решительно никакой «общественной реакции» не было и нигде не чувствовалось. «Реакция» была ведомственная, министерская, – и дальше и глубже чиновников (да и многих ли из них?) не простиралась. Так что когда пришли 1905–1906-й годы, то это собственно лишь «раздалось в стороны» занавесы правительственной реакции, – одной правительственной, – из-за которых показалось «лицо общества», которое каким жило до 1 марта, таким же точно осталось и после 1 марта, только осталось «молча», «под цензурою».

Макс. Макс. Ковалевский был одною из самых ярких, пожалуй, даже – самую яркую фигуру этой профессуры и этого духа. Гораздо менее был заметен и гораздо менее выдавался около него профессор римского права – Серг. Муромцев. Но они вдвоем составляли что-то общее, «дружественное» и наиболее обращали на себя внимание как студентов, так и внеуниверситет-

ского общества. Однако нельзя сказать, чтобы они были выдающимися научными именами. В то время как Буслаев, Тихонравов, Соловьев и Ключевский имели в науке общерусскую значительность и их знали как «своих» в Казани, Харькове, Киеве, знали везде в провинции; ни Муромцев, ни Ковалевский отнюдь не пользовались общерусским признанием и даже общерусской известностью. Они были «светилами» своего факультета и самое большое – Москвы.

Из них Муромцев был уже совершенно сер и обыкновенен. Правда, он издал «Курс римского права», – но именно, можно сказать, «издал», а не написал. Дело в том и, пожалуй, печальный секрет в том, что наука, именно римского права, разрабатываемого исторически и обрабатываемого исторически с XVI и XVII веков, уже до такой степени во всех мелочах гениально построена и до скрупулезности выверена, что и преподавать ее «талантливо» и даже писать по нему огромные книги – может даже тупица. Тут нужна только библиотека и справки, прилежание компилятора и бумага для печатания. Сколько-нибудь новое, сколько-нибудь свежее слово может здесь сказать лишь человек колоссальных способностей, – каких именно на юридическом факультете у нас, увы, никогда почему-то не появлялось.

Таким образом, горел и сиял ну хоть «московскою знаменитостью» один Макс. Макс. Ковалевский. Прекрасный собою, живой, речистый, – с прекрасными живыми глазами, в которых светился ум и была всегда грусть, – он особенно очаровывал студентов и публику на диспутах при защите ученых диссертаций. Здесь каждое его выступление оставляло впечатление. Затем он издавал, вместе с филологом Миллером, «Критическое Обзорение», на которое, я помню, студентом был подписан; но журнал был тусклый, при всей яркости его статей. Дело в том, что в статьях раздавались резкие отзывы о новых диссертациях филологического и юридического содержания. Но и самые диссертации были не Бог весть какого содержания, и критические о них статьи, вернее – заметки в 2–3–4 страницы, не отличались особой содержательностью. Все было тускло по самому предмету. Ибо в те времена, в те определенно недолгие годы, не выходило у нас решительно ничего замечательного ни по филологии, ни по юриспруденции. Среди юристов уже не было Никиты Крылова, Б. Н. Чичерин был стар, – тоже «кончал жизнь», как и наши крупные историки и филологи 60-х и 70-х годов. Философские опыты К. Кавелина и Б. Чичерина выходили из специальности Миллера и Ковалевского, и за них просто «не брались» профессора-издатели.

Собственно ученые заслуги Макс. Макс. Ковалевского незначительны, хотя он и является автором множества трудов. Поэтому-то он не был ни мыслителем, ни монахом-эрудитом. Он был человеком богатейшей восприимчивости и впечатлительности – это одно, и человеком огромной памяти, причем уже само собою им одолевались иностранные языки и прочитывались и запоминались длиннейшие вереницы фактов, длиннейшие полки книг, притом по разным смежным областям знания. Он был русским «энциклопедистом», т. е. человеком, который «все знает», о всем «может судить», об очень

и очень многом даже может писать, но без того, чтобы его труд осветил по-новому какую-нибудь область. Но при живой впечатлительности и преданности общественному началу – он мог с необыкновенною быстротою обработать серии фактов в политической истории и средневековой Европы и новой Европы. Здесь – не то, что в римском праве, и в круге фактов, и в смысле теории. Там все ясно и обдуманно, и ничего нового неоткуда взять сверх того, что лежит в греческих и римских памятниках, несчетное число раз изданных и всячески комментированных. Здесь же каждый уголок какого-нибудь графства Англии, какого-нибудь кантона Швейцарии, какой-нибудь области Франции представляет своеобразие экономического и политического строительства. «Смотри и зарисовывай», «читай в древних хрониках и обобщай, разясняй». Словом, политическая история Европы, еще вовсе не обработанная ни в целом, ни даже в частях своих, являет груды сырого юридического материала для описания и для теоретических выкладок: и здесь широкая и живая натура Ковалевского могла взять себе много ученой «дани».

И все это было разнообразно; и все было без цензуры в себе. Суть Ковалевского – что он жил, бодрил людей, а не то чтобы их научал и руководил. Он был более друг, чем наставник, и более соучастник, нежели вождь, – по всем свойствам своей широкой, раскиданной натуры, хочется сказать – своей славяно-русской натуры после петровского времени. До Петра мы умели быть сосредоточенными, после Петра мы редко это умеем. Ковалевский – одна из широких и безверных, и верующих фигур эпохи от Грибоедова до нас. В нем множество характерных черточек этого изумительного столетия, где за столь немногие годы, объемом всего в две полные человеческие жизни (50 лет + 50 лет), создалась собственно целая своеобразная «русская культура».

О нем не говорили бы так много, как говорят сейчас, если бы он умер как приличествует умереть профессору-социологу, позитивисту и юристу. Тогда бы помянули его краткие и неясные ученые заслуги и его государственную деятельность, которая, впрочем, имеет характер рассыпавшейся кучи песку. Но он умер вовсе не так. Он умер обыкновенно, хорошо и по-русски. Он не сделал перед смертью и в смерти той скверной гримасы, которую, вероятно, собираются сделать его политические единомышленники, происходящие от Дарвина и его верной обезьяны. И возмутились духом окрест. «Как? Что? Каким образом?» Случилось, т. е. вокруг него, то же, что вокруг гроба и похорон известного Богучарского (литературный псевдоним Яковлева), – написавшего «Историю русских политических движений конца XIX века», – которого по теме этого главного труда его жизни считали если не первоапрелемцем, то, во всяком случае, скрытым революционером; считали и так прославляли при жизни, и так прославили при похоронах.

Между тем это было совершенно не так, – с Богучарским-Яковлевым и с М. М. Ковалевским. Нужно разобраться. Жизнь наша есть странствование, а при странствованиях приходится очень далеко заходить от места первоначального своего отправления. Уже эпоха наша такая, – эта поразительная эпоха от Грибоедова до декадентов и М. Горького. У кого мы не учимся? В

какие науки не приходится заглянуть, какой поэзии не читаешься? Ходишь во всех фасонах, носишь всякие сапоги. Да, но это – не то, «в чем родила матушка». Школа всегда не то, что рождение. Важно, помним ли мы родину, помним ли «извод» свой, свой «исход», – припоминая связь евреев с Египтом, положивший начало ветхозаветной Пасхе. Иногда это совершенно забывается до вырывания с корнем. С кем же, однако, это случается? С людьми жестокими и грубыми, с людьми жестокими или ожесточенными несчастливыми биографии. Но вообще тут – бедность, жалость и нищенство природы. Чуть натура подобнее, понежнее – она не забывает «Египта, где мы имели мясо в котлах и ели перепелов». В древности произошло то, чему судьба – происходит и вечно. И Богучарский-Яковлев, и Макс. Ковалевский – были добрые русские натуры, которым вообще ненависть и злоба на Россию и хотя бы «на наш ненавистный государственный строй» – невыносима до конца; и по крайней мере «в гроб с собою» они не захотели ее взять; не захотели положить змею с собою в могилу. И вот – простое разъяснение дела, о котором много гадают и скверно сплетничают. Что, что Ковалевский был «позитивист», т. е. следовал философии Огюста Конта, который сверх «*La philosophie positive*» сочинил и новую свою «позитивную религию», где вместо «святых» и «праздников» были выставлены для поклонения человечества имена ученых и великих изобретателей и дни замечательных открытий. Эта смешная подмена французским инженером (Конт был инженер) религии – «учеными интересами» нисколько не могла тронуть и увлечь М. М. Ковалевского, выросшего в деревне, а не около городских фабрик, помнившего просто-го нашего сельского батюшку, а не французского иезуита, с его политикой и ухищрениями. Да и помогла тень усопшей матери, русской, провинциальной помещицы. Все это было обвеяно васильками и рожью, бытом и историей, а не длинной хроникой какого-нибудь сословия клерков или класса писателей. И из него не вышло бездушного и черствого Вольтера, не вышло интеллигентного Макса Штирнера. Самый позитивизм он взял как метод работы, без его религиозных надстроек. И вот пришла смерть. Пришел конец всего недоделанного и только начатого, всего неверно сделанного и всего хорошо сделанного. Всему конец, конец самому лицу. У некоторых и перед этим страшным концом не растаевают сердце, – они и в нем продолжают играть свою маленькую литературную роль, свою газетную роль. Но не таков был, не так мелочен и безнатурен старый московский профессор. Вспомнил он двух матерей, – ту маленькую, давно схороненную матушку, которая дала ему физическое рождение; и ту великую Мать, нашу общую русскую Мать, – которую называет только одну свою Церковь русский народ. Одна мать его родила, другая мать его крестила «во оставление грехов и в жизнь вечную». И он подошел к ним, оставив для политических и литературных друзей, окруживших его предсмертное ложе, одни шуточки насчет икры и шампанского, которые были им наиболее понятны в строе их жизни, проходившей как шутка и икра.

И вот заспорили, когда он лежал уже бездыханным, – «Как?», «Что?» и – «Почему?» Но так все понятно и не о чем спорить. Он был русский; а посе-

му и жил как русский, и умер как русский. О русских же сказано давно, что они жить не умеют и, живя, – «за собою не гоняются». А вот придет последний час, и русский умирает величаво и истово. Ковалевский вспомнил перед смертью простое существо, ему, конечно, самое дорогое – мать свою. Не естественно ли, не ясно ли? Изрек глубочайшее перед кончиною слово, – что «идет с нею увидеться – там». Это та вера, которой нас учил Христос; и та вера, которой научал людей уже язычник Платон. Опять, не ясно ли? Он приложился умом и душою к мудрым, без раздражения и спора отодвинув в сторону мелочную и хвастливую мудрость своих дней, своего вот «позитивного века». Ведь это век характерного мещанства, прежде всего умственного мещанства. Очень просто: Ковалевский стоял выше друзей своих, точнее – своих политических и литературных товарищей. И они раскрыли рот в удивлении: «Так мы не первые? Не лучшие?»

Но кто же, кроме самих их, наговорил им, что они – первые и мудрейшие? Сокол между ними вылетел и улетел в соколиное гнездо. Вороны остались и им остается вернуться в свои вороньи гнезда.

ОСТАВЬТЕ НАШ СУД В ПОКОЕ

... Вот и в праздник не дают успокоиться и отдохнуть. Читатели пишут письма и рассчитывают, что я заволнуюсь от них, как Грозный, получив послание от Курбского, или как Годунов, согласно монологу Пушкина. Но у старого публициста нервы устали и он ни на что уже не реагирует. В первый день Пасхи получаю письмо от одного автора прелестных семейно-праздничных книг, где он пишет:

«Да, я протестую, но не из любви к искусству! Российских чиновников я ненавижу от всей души и считаю, что от них «все качества» на Руси (намек на пьесу Толстого: «От нее все качества»). Пока Россия не очистит эти свои Авгиевы конюшни, не видать ей счастья, ни прогресса... В начале сентября месяца я подал в петроградский окружной суд прошение взыскать в мою пользу с книгопродавца К. 530 руб., которые он замошенничал от продажи моих книг. Через три месяца меня известили, что нужно уплатить еще 3 руб. 40 коп., каких-то прогонных в 7-дневный срок. Я немедленно послал, но из-за войны деньги опоздали и все делопроизводство прекратили и мое прошение вернули. Пришлось вторично посылать и объяснять. Уважили, приняли; но через три месяца других оказалось, что не могут найти в Петрограде моего ответчика, хотя он там имеет домик и склад книг!! Все это до того меня возмутило, что я послал председателю письмом с просьбой *прекратить мое дело*... Наш суд одна форма, буква; но совести, но души в нем – ни на грош! Дело у меня правое и ясное как день; но оно прогорело потому, что не хватило к сроку 3 руб. и что не нашли ответчика в Петрограде... Если бы этот несчастный ответчик задолжался чиновникам на 3 коп., то они его и с неба свели бы, и из ада достали

бы, и из сибирской тайги вытащили; но так как это – дело чужое, обывательское, то что им возиться?.. *И так во всем*, с чем приходится сталкиваться. Одна *тоска* и *горечь* беспросветная...»

Я знаю, что репутация нашего суда – без пятен. Как того судить, кто сам всех судит. И посему это крошечное суждение из частного письма он должен принять без огорчения. К тому же, сколько я могу судить, именно специфически русский суд существует для защиты преследуемых и оправдания обвиняемых. Он творит великое дело защиты угнетенных. «Вот и Анатолий Федорович говорит»... Автор же письма захотел угнетать книгопродавца... И весьма естественно – суд выставил щит. Это не «буква» и «форма», а сущность суда; и не бездушие, а углубленность души. «Приидите ко мне все страждущие и обремененные, и Я успокою вас». Такого суда, как русский, еще нигде не существовало. Можно сказать – не юриспруденция, а одно сострадание. И что тут грабители, – даже кислотники и убийцы, если они «погорячились и неволью убили».

Не думаю, чтобы мой корреспондент был прав. Он совершенно не увидел великих и исключительных качеств русского суда. Кажется, это просто: «Не обвинить». А подите-ка, поразмышляйте...

СВЯЩЕННИК ПРОФЕССОР ВЛ. САХАРОВ. ИСТИННО ХРИСТИАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

(«Бог. Вестн.»)

К числу самых трудных, самых тонких и самых опасных вопросов принадлежит вопрос об отношениях церковного клира к государственности и общественности. Что тут сказать? Как поставить тезис? На что опереться? Как, в особенности, сохранить беспристрастие и равновесие духа и не допустить вмешаться личному произволению духа и личному пристрастию, наконец, даже просто – личной партийности, в разрешение вопроса всемирного, громадно-исторического и вместе громадно-богословского?

Наконец, кому нужен этот вопрос? Решительно каждому. Одним – пассивно, другим – активно. «Пассивно» он нужен решительно всякой партии, которая понимает важность слить со своими частными и житейскими домогательствами, со своею «политическою программю», сочувствие и голос многолюдного и влиятельного класса в стране, духовной иерархии, клира. Тут, можно сказать, происходит «море соблазнов» для клира. Его зовут единиться с собою те, кто духовно не имеет с клиром ничего общего, ни единого связующего звена. Зовут и одновременно обещают, зовут и одновременно подают надежду. Часть интересов и, наконец, правовых нужд клира зависит от общественности, от господствующих политических партий, от государ-

ства. Сюда, прежде всего, относится материальное, экономическое обеспечение клира содержанием; так как сам он физическими руками своими «не сеет, не жнет, не собирает в житницы», отозванный для делания на другую ниву, духовную. «Духовные сеятели» получают корм, одежду и жилище, свет и тепло, из рук «светских сеятелей», – как получают подобную же пищу учителя, врачи, судьи. Казалось бы, дело ясно: никто в мире не оспаривает жалованья учителей и судей, гонорара врачей, адвокатов и писателей. Но дело чрезвычайно осложняется именно высокоспиритуалистической деятельностью духовенства и саном «иерея»: ему не дают «жалованья», потому что чин его слишком высок, должность священна. И наконец, «гонорар» сходит на неопределенное «что-нибудь» и даже «ничего» по тем же мотивам. Тут правда, и глубокая правда, смешивается с жестоким и даже лютым лицемерием. «Пророков питают птицы небесные», – говорит циник, ухмыляясь в рукав. «Разве можно чем-нибудь оплатить труд посредника между Богом и человеком», – говорит другой еще больший циник, завязывая кошелек и кладя его в самый далекий карман. И священнику, монаху, архиерею невозможно возразить этому цинику, – невозможно даже при виде явной насмешки над собою, – потому что сделать это он может, лишь уравнивая и уподобив свою деятельность, чисто душевную и в самом деле священную, с трудом и ремеслом учителя, адвоката и врача. А уподобить и уравнивать эти деятельности – значит, не снимая ряссы, как бы снять ее, не отрекаясь от Церкви, – в то же время разрушить весь ее строй, сущность и основание.

Мучительное положение, опасное положение, отвратительное положение. Нет сомнения, что половина мук и, наконец, прямо терзаний духовенства возникает и течет на этой почве; нет сомнения, что циническое отношение к духовенству мирян, общества, деревни и города на этой почве вызвало ответно тоже циничные движения, циничные слова, циничные требования и «условия платы» со стороны духовенства, или – в массе, или – в огромном числе. Тут вся почва отравлена, вся почва полна греха. Древний ветхозаветный закон о «десятине» от всякого плода земного не был перенесен в христианскую Церковь и клир, ибо они «под благодатью» живут, и им дано слово Апостола: «даром получили (т. е. дар Св. Духа) – даром и давайте».

Древний закон разрешал просто, определенно и точно вопрос. В нашей Церкви он никак не разрешен. «Не разрешен», – и все пользуются неразрешенностью, надбавляя цинизм, с одной стороны, вызывая суровый отпор и еще более подавленный гнев и подавленную тоску – с другой стороны.

Вопрос этот стоит в каждом селе, в каждом городе. Но он переходил и в громадные государственные затруднения, когда напр., Арсений Мациевич заявил протест против отобрания монастырских вотчин при Екатерине Второй; когда при Иоанне Грозном развивалась полемика между самими членами клира по тому же вопросу: «прилично ли» «отрекшимся от мира» монастырям и, следовательно, монахам обладать «вотчинами, крестьянами, землями и всяким богатством».

Тут-то и завязывается узел ужасного зла, которое именуется «церковною политикою». «Церковь» и «политика», – какое ужасное несовмещение! Какое противоречие в самом имени, – да и мало сказать «в имени» – в сущности, в духе. Но обозрим дело спокойно: «политика» при этом нимало не теряет, ибо она «кочень рада» этому завязавшемуся узлу, на почве коего «дышит как рыба в воде», дышит в своей стихии и нимало не сходя с почвы своих приемов, духа, по всегдашней жизни и практики. Но Церковь? Она задыхается: «политика» есть отрицание той «благодати», дарами которой она единственно живет. Можно сказать, что «церковный политик» есть ни рыба, ни зверь, ни птица, но имеет всего помаленьку от этих существ и не знает, чем ему дышать, ибо не имеет ни вполне развитых легких, ни вполне развитых жабр. Существо – несчастнейшее.

И вот в этом-то, в сущности, несчастнейшем положении находится, например, вся римская церковь, где «политика» обняла «жизнь церкви» сверху донизу, – и обняла уже давно, уже века. Католики только не сознают этого, и не сознается это в самом Риме, где очень радуются «политическим победам» и даже если в политике они «хоть немного успевают»... Наши братья ныне, поляки, также совершенно лишены самосознания об этом.

Восток всегда был осторожен в этом отношении. Точнее – он был настроен здесь, боязлив, испуган. «Подальше от политики»... «Пока мы от нее воздерживаемся – мы, наверное, ничего не потеряем. А сохраним ли свое, вмешавшись в политику, – это еще, Бог весть». Осторожность или, точнее, нерешительность очень благоразумная. Но не станем ничего решать от себя. Мы только обрисовываем положение вопроса, указываем читателям обширность и трудность темы.

Но это – пассивная сторона: с Церковью стараются завязать политическую связь партии, отнюдь ничего церковного в себе не имеющие; стараются в своих целях использовать ее авторитет, голос в государственных собраниях, влияние. Перейдем к активной стороне, к самим верующим.

Нет верующего, который бы не мучился этим вопросом. Именно – внутреннее мучение. Как поступать? Как действовать? По которым образцам? Увы, «затворников», отрекшихся вовсе от мира, ни о чем мирском не знавших и которые по преимуществу и составляют сонм «святых», еще гораздо больше, чем тех иерархов Церкви или мужественных монахов, которые клали свое слово на весы – государственной и общественной правды. Кто руководитель, – Антоний и Феодосий Печерский или Сергей Радонежский и Александр Невский? Одни – не вмешивались, другие святыми руками строили Святую Русь. Пример обаятелен в тех и других: в тех и других был Святой Дух. Николай Чудотворец остановил руку светского палача, Иоанн Златоуст громил пороки византийского двора, Амвросий Медиоланский не допустил до причащения Феодосия Великого, с жестокостью и кровопролитием замирившего жителей малоазиатского города; а святые Борис и Глеб, святая великомученица Варвара только с молитвою умерли. Кому следовать? Все пророки ветхозаветные громилы язычествующих царей Израиля, – Моисей был вож-

дем народным и законодателем общины израильской: тогда как Христос на все века изрек: «Царство Мое не от мира сего». Куда же идти? Чему следовать? Сердце христианина раздирается.

Я помню впечатление лекции знаменитого канониста А. С. Павлова в Московском университете. Совершенно юный студент историко-филологического факультета, я зашел на юридический факультет, так как свой профессор очередной лекции не пришел по болезни. Что Павлов – огромный авторитет в своей науке – я не знал. Я попал случайно на лекцию, как «куда-нибудь» от досуга и скуки, не зная даже дотоле о бытии «церковного права». Сижу. Слушаю. Страшно заинтересовываюсь лекцией с первого же момента: а Павлов именно в начале своего курса и стал разбирать вопрос «об отношении государства и Церкви» как теоретическую предпосылку всего начинаемого им курса и тех специальных изысканий, которым курс будет посвящен. Повторяю, не зная об авторитете профессора, я вышел с его лекции неудовлетворенный и даже негодующий. «Как! Бесконечный авторитет Церкви и практический характер царств, заботящихся о земных нуждах?!!» Я добавлял в душе, по Пушкину: «о презренных земных нуждах». Сердце во мне кипело негодованием на нерешительность профессора, который, в самом деле, говорил тускло, серо, – говорил старческим голосом. Я был молод, а он сед; «ты сер, а я, приятель, сед», мог сказать он мне, как в басне Крылова опытный псареь говорит волку. Вопрос этот – нескончаемой трудности, нескончаемой сложности.

Вопрос, собственно, неразрешим, и он должен остаться в положении вечного колебания, как это и было во всю историю Церкви, и ветхозаветной даже, но особенно новозаветной. Христос, сказавший – «Мое царство не от мира сего», однако в земных условиях существования Своего вкушал, «жаждал», посылал учеников сыскать место, где бы Он мог с ними отпраздновать Пасху; а против зла наличного – книжников, законников и фарисеев, – шла вся Его проповедь, открывавшая «царство благодати». В знаменитом изречении: «Воздайте Богово – Богови, а Кесарево – Кесарю» обычно совершенно не видят, не замечают и прямо откидывают целую 2-ю половину изречения: а она – есть. «Вы все, и ученики Мои, и кто слушает, – воздайте Кесарю все, что до Кесаря относится». – Это огромный объем. И как его забыть? Посему делать вид, что «мы не замечаем царства» (и следовательно, ответственности), – что «мы стоим на молитве и царства для нас как и не существует» или что оно «слишком мало и призрачно» – было бы прямо видом христианского фарисейства, которое продолжало бы в другой обстановке и с переменою слов ветхозаветное иудейское фарисейство.

Вопрос, я сказал, неразрешим. На него нет формулы, нет ответа. Ответ в смысле полной отчужденности будет столь же фальшив и неверен, как и ответ в смысле постоянной и мелочной вмешиваемости клира в дела государства, политики и общества. Я упомянул о «мелочности» и в этом слове указал путь, такт и исход. Клир, Церковь, духовенство никогда не должны «лихорадить общественностью», ее темами, вопросами. Они не должны быть

«злободневны»), – эти слова, эти выступления духовенства. Они должны быть в некотором величавом покое и отдалении, но – зорко блюсти. Одно дело – механизм и другое дело – руль корабля, его паруса и «попутный ветер», о котором священник молится. Место духовенства – около руля, около парусов. Место – начать трапезу и всякий труд – молитвою. Меньше мелкого юридического спора и больше – программного повеления (на это – Церковь авторитет), зова, одушевления. Но, отдавая эту долю души (только долю, и не больше) политике, священник должен ни на одну минуту не забывать, что все-таки «Царство-то Его», – и Христа и священника, царство действительно «не от мира сего», и что самое главное его дело около души единичного человека, около скорби его, нужд его, болезни его, смерти и семейных радостей. Ах, вот где главное место духовенства – в семейной жизни людей. Священник считается первым другом семьи, советником, по мере возможности – даже руководителем, утешителем. Вот его царственное место, царственная должность. И ведь это возможно? О, да скорее придет этот час истории...

Приведенные мысли пришли мне на ум при чтении превосходного рассуждения на эту же тему профессора священника Влад. Страхова, предпосланного впереди всех других статей в «Богословском Вестнике», в книге: «К сто первой годовщине Императорской Московской Духовной Академии». Статья именуется – «Истинно христианская общественность» и дорога тем особенно, что в ней выделяется особый дух именно православной «общественности», нимало не похожей ни на лютеранскую «благотворительность» и пиетизм, ни на католическую вертлявость, иезуитизм и юридичность. Скажем прямо: «православная общественность» шла и да грядет впредь по «заветам отцов» (Страхов указывает на заветы и на примеры прямых наставников Моск. академии), она – народна, она расплывается в быту людей, действуя прежде всего на этот опыт и на весь строй души – спокойным примером и научением. «Наши почившие Академии учили своих слушателей общественности и сами были общественными деятелями. Но их общественность была не такой, какой хотим мы. Они убежденно говорили: естественно вмешиваться в жизнь общественную и политическую, это – неотъемлемое право Церкви и церковных деятелей, но истинно христианское влияние есть влияние нравственно-религиозное и о нем нужно заботиться прежде всего. «Лучший гражданин – это добрый христианин, и тем более это необходимо для священника. Спаситель, сошед на землю обновить человечество, не дал ни конституции, ни новых законов для общества; Он обратился к частному человеку и дал заповедь: будьте совершенны, – как совершен Отец ваш Небесный. Через исправление отдельных лиц Он исправил и все общество, и администрацию». Вот какой общественности учат наши почившие наставники!.. Каковы же были плоды такой общественности? Эти плоды: служение истине, широкий и ясный взгляд на достоинство науки, служение коей, т. е. науке, называли они «служение живому Богу» (Иванцов-Платонов). Это была убежденная проповедь права Церкви вмешиваться в общественную и государственную жизнь. Это была «закоренелая привычка спешить другим на

пользу (А. И. Горский), любовь и доброжелательность, нравственная теплота в отношении к людям (Иванцов-Платонов), это – широкая нравственная и матерьяльная поддержка всем нуждающимся»...

А в самом деле, – прерву и кончу: православная Церковь (какая разница с католиками) больше дает, чем берет, больше сама благотворит, нежели собирает с мира. Вспомним всех наших «нищелюбивых» святых и пастырей, даже до сего дня: и сравним «индульгенции» Тецеля, – с которых поднялась реформация.

А. ЯЩЕНКО. РУССКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФИИ

(Юрьев, 1915 г. Стр. 126). –

Э. Л. РАДЛОВ. ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ (1913. Стр. 698)

Почтение к труду своему русскому, к прилежной работе на избранном хотя бы и небольшом поприще – так же входит в круг обязанностей образованного общества, как и оценка и восхищение перед талантом и гением. И умение внимать труду даже более определяет ум, образование и культуру внимающего, будь то читатель или простой зритель, «обыватель», нежели вкус и восхищение к гению. Держась этой точки зрения, хочется указать читателям на внимательно и любовно составленную книжку г. А. Ященко «Русская библиография в истории древней философии». Юрьев, 1915 г., к которой хочется придвинуть труд почтенного профессора Э. Л. Радлова, несколько ранее вышедший «Философский словарь. Логика, психология, этика, эстетика и история философии» (издание 2-е). В последнем лучшая и прекрасная часть – *определения* философских понятий, терминов, течений, учений; слабейшая – *именной* словарь, слишком сжатый, сжатый до готовности впасть в ошибку. Так, с именем «Лавров П. Л.» связано только одно его сочинение – «Опыт истории мысли нового времени. Женева, 1888» и даже не упомянуты знаменитые когда-то его «Исторические письма», сделавшие огромное впечатление на образованное общество. Труд проф. Ященко составлен с любовью, даже с увлечением. В библиографию по истории древней философии автор вносит даже литографированные курсы лекций профессоров философии. Это очень важно и крупная заслуга. Затем его «библиография» всюду порывается перейти в критику или в «отзыв», сжатый, яркий. Отметка трудов сопровождается перечнем глав в труде, и, таким образом, читателю дано представление о содержании и объеме труда, всякого сколько-нибудь замечательного. Пятитомную «Историю политических учений» автор определяет как «самую полную из существующих в мировой литературе историй политических учений». Слава Богу, хоть в чем-нибудь, хотя бы в *одном* даже труде, русские стали на первое место в мировых литературах. Спокойный отзыв профессора-специалиста, конечно, компетентен. О превосходном и давно вышедшем из

продажи «Философском лексиконе» Гогоцкого (издан в 1857–1873 годах): «Труд капитальный, произведенный самостоятельным и оригинальным мыслителем, и совершенно исключительный, особенно если представить, что он дело рук одного лица. Некоторые слова, например «Гегель», представляют целые исследования. Этой философской энциклопедией может гордиться русская литература, и тем непонятнее кажется, почему не предпринято второго (подновленного) издания, хотя первое давно уже стало большой библиографической редкостью». Значит, не совсем уж у нас пусто и легко с философией. Судя по этой работе, кажется еще молодого ученого, мы можем ожидать от него «распространения» и больших фрутков. Что бы ему взялось за библиографию вообще *русской философии*, которая в кое-каких размерах все-таки *есть*. Дай Бог крыльев автору, а усилие лететь дальше, по-видимому, есть.

ОТКУДА ИДЕТ ГРУБОСТЬ СУДА НАД РАЗВОДЯЩИМИСЯ?

Самое предрасположение судить о приходящих просить развода бывает какое-то пренебрежительное. «Это худые люди и пришли за худым делом»... Всегда есть предположение, что это люди безнравственные или легкомысленные, ветреные, нетерпеливые, притом как в лице того, кто просит о разводе, так и лица, которое толкнуло другую сторону к необходимости просить развода. «Оба друг друга стоят». «Им дан был высокий церковный и гражданский институт – брак, их соединение в любовь и согласие было благословлено в храме Божиим – и они это испортили, изгадили, они не сумели обращаться с благородным по своему неблагородству. Стоит ли после этого торопиться с их делом и заниматься рачительно и любяще их делом, как инженер рачительно и спешно работает, строя железную дорогу, а техник рачительно, зорко и учено работает снаряды для войны. Тут дело низменных нравов; наказание мы наложить успеем, а кроме наказания, это дело, грязное и грешное по существу, и не вызывает о себе никакой мысли».

Вот предположения, предрассуждения, лежащие в основе бракоразводного процесса. Он так и груб оттого, что мысленно относится к людям почти улицы: «Худые люди, полицейские люди, – т. е. сюжет полиции и полицейских приемов управления и суда». Согласно этому консисторские приемы суда над бракоразводящимися суть типичные приемы старого полицейского суда, с «протоколом», «свидетелями», обильным «бумагописанием» и в заключение «кутузка» (бракоразводные «наказания», спитимья и проч.), а по дороге – тайною «взяткою». На самом деле и незримо члены духовной консистории, почтенные протоиереи, и сам епархиальный владыка, как равно и секретарь духовной консистории, – превращаются на этот час и на этот предмет в обыкновенных квартальных надзирателей для рассуждения почти о полицейском казусе, происшедшем в доме заведомо непорядочном. Низменность и грубость суда, самые термины, в каких он ведется, самые главы «Устава духов-

ных консисторий», до бракоразводного процесса относящиеся, самые «предметы» обсуждения («поводы к разводу»), – все это до крайней степени лишено какого бы то ни было духовного и идеального элемента, духовных и идеальных понятий и самых слов, – наконец, на каждом шагу встречаются требования крайне позорные для чести каждого человека («два очевидца прелюбодеяния», «медицинское освидетельствование и протокол освидетельствования о физической неспособности к исполнению супружеских обязанностей» и т. д.). Решительно, – судят людей, опустившихся до их уровня нравов и поведения. Посему у граждан, у семьянинов существует всеобщий страх переступить самый порог консистории для этого суда; зовется лицо «уже привычное» (нарицательный «Арцыбашев»), который, не краснея, отвечает на позорящие вопросы позорными словами, терминами и вообще проходит без краски стыда все фазы этого нимало не «духовного суда», а исключительно полицейского суда, и притом исключительно о физиологических отношениях, физиологических способностях и неспособностях супругов. «Брак есть одна физиология, без всякого духовного в нем света». Это совершенно неодолимый вывод до единого всех бракоразводных процессов. Как же с этим справляется *теория* брака как «тайнства»? А ведь процесс бракоразводный – это *дело*, это – *закон*, и теории нельзя так легко отделаться от его давящей тяжести, – от давящей тяжести «определения брака», в этом процессе, несомненно, содержащегося и законно выраженного. Как об этом мыслят канонисты, если они вообще мыслят?

Была ли для этого какая-нибудь необходимость и невольность? По существу, конечно, нет! Можно ли так *грубо* судить и рассуждать о семейных несчастьях? Ей-Богу, создали ли для этого эфир судебных форм, всю нежность, всю участливость их? Создали ли ухо музыкальное, умеющее слушать, создали ли взор деликатный, все понимающий с полуслова, понимающий все уже в тоне высказывания, рассказа. «Ведь это же люди», сказали ли в себе раньше законодательствование о разводе?

Но, однако, где же подпочва? Она *есть*, и есть в тысячелетних рассуждениях «о *сравнительных* достоинствах брака и девства», которых решительно тысячи в церковно-исторической литературе, в духовной литературе. В ней во всей, как по «заказу», брачное состояние решительно унижается перед безбрачным, и вот тут-то уже мелькают термины, которые затем и вошли в бракоразводный процесс. «*Низменное* состояние человеческой природы», «*плотская* сторона природы», «*уступка* низменным инстинктам человека» и т. д. Термины, как известно, «возвышенной» философии Платона, который брака недолюбливал. И он сам, и все его ученики основали вдали от Афин академию философов-девственников. Этот тон его философии сполна был перенесен в нашу духовную литературу, которая в отношении Платона есть ярко подражательная литература.

Эта тенденция «унизить бракоразводящихся» поддерживается, хотя безотчетно и невольно, тем, что можно назвать «мелочами беллетристики». Вся эта мелочь вращается около «адюльтера», – порнографит и позорит че-

ловека и тем «зашибает деньги». Духовным лицам, разумеется, некогда знакомиться с большой литературой, «Наль и Дамаянти» и на ум не приходит, но что-нибудь «из Арцыбашева» или «из Куприна» кто же и из них не прочел? И вот впечатление одно: это – «лошади», которые «живут», которым «надоедает», и они «расходятся». А «расходясь» – требуют «развода». Так думают духовные и так думает и секретарь консистории, которые опять же по этой причине, естественно, «не торопятся». «Худые люди», «худое дело», «будем их отвратительно судить». «Помучим, накажем медленностью, – ну, и немножко поубавим капитальца у этих разжиревших саврасов». Право, и я так же бы судил, если бы судил лошадей.

Но это все ложь беллетристики и платонизма. Беллетристика в неизмеримом большинстве случаев идет от холостых «талантливых» молодцов и девиц, и эти действительно «разжиревшие» господа, лучше знающие проститутток, чем женщину, – бросили и на семью «зажиревший» взгляд и зажиревший смех души самодовольной и самонадеянной, которая для себя «ни в чем не нуждается». «Брака не нужно, а нужны приключения...» Как это вторит платоновскому и вообще девственно-аскетическому: «Брак существует в удовлетворение *низменной плотской стороны человека* и к нему церковно лишь снисходится, *но в идеал всем людям он не ставится*».

«Вот почему везде помогают», «только в семье не помогают». Прямо абсурд.

К 10-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Сегодня исполняется десятилетие Государственной Думы... И нет ума в России, который не спросил бы в самом себе: «Ну, что же? Какой результат?»

Ответов будет столько, сколько голов. Или, по крайней мере, – столько, сколько партий на Руси. А их довольно много.

Но русскому человеку, русскому обывателю, русскому гражданину, наконец, русскому «историческому человеку» не в смысле личной значительности, а в смысле памятования судеб своего отечества, хочется, я думаю, иметь свой ответ на этот вопрос, – самостоятельный, из своей души вынесенный, – а не навешанный из программ партий. И вот, думая общим сознанием, кажется, можно сказать обобщающее следующее:

1) Стало живее на Руси.

2) Стало энергичнее на Руси.

3) Можно закричать, – и все услышат. Ну, закричать – «Караул», – ну, закричать, – «Подымай красные флаги», – ну, закричать – «Держи вора!». Всякое можно закричать. Дело в том, что *можно* закричать, в «сути», а не в качествах крика.

«Звон вечевоего колокола» вернулся. В этом большая «суть» Государственной Думы.

Горизонт стал неизмеримо шире и в значительной степени прояснился. Только теперь, когда мы *имеем Государственную Думу*, чувствуется и пони-

мается, до какой степени ее необходимо было завести ранее, и притом – гораздо ранее, приблизительно во времена Александра I или Николая I, когда в России были только русские интересы и русские мысли, когда к стене России еще не придвинулась громада космополитических мыслей, мирозерцаний, политики, лозунгов, фраз, – когда западничество было только «партией», а не «всем». Классическое время для введения Госуд. Думы было время Карамзина, адмирала Шишкова и Пушкина. Декабристы, в конце концов, верно угадывали момент. Он был пропущен. Но это могло быть видно не самим декабристам, а именно – нам, теперь.

Россия действительно оживилась, на Руси в самом деле все стало живее. Теперь страшно и невозможно представить себе «управление России», управление столько миллионным народом (в разные десятилетия оно менялось до удвоения), протянувшимся между тремя океанами, которое исходило из одной парадной комнаты, «кабинета министров», с зажженными канделябрами, с десятью – пятнадцатью чернильницами, и с десятком усталых голов, седых голов, которые «достигли всего земного»... и которым лично немного было нужно, кроме как «сидеть на месте». Что было там? Кто (по внутренней и существу) был там – было известно всем и целому миру только по сплетням, шепотам, пересудам, по подозрениям. Министры были «закрытые люди». Их лицо мало кто видел, их голоса никогда никто не слышал. Они проходили коридорами и жили в комнатах, но они не проходили по России и не жили в России.

Все «управление» России было какое-то отвлеченное, схематическое. Какие-то «астрономы управляли небом», а не то чтобы «небо говорило астрономам». Под «небом» я разумею российскую державу, русский народ.

Теперь кабинет астрономов растворился. Они все делают на виду. Услышали, наконец, их голос. Видят их ум. Возражают их уму. Есть «взаимодействие» управляющих и управляемых. Колоссальное дело.

«Все стало энергичнее»... О, гораздо. Это ни из чего так не усматривается, как из состава I Госуд. Думы в сравнении с теперешнею Думою, – и не за время войны, а до войны. «Общество» и «общественность», «народ русский» насколько он выражен Госуд. Думою, послал десять лет тому назад своими «избранниками» исключительно почти одних кадетов и значительное число «трудовиков» и более левых партий. Так что когда Дума собралась, пронеслось в кадетских газетах некоторое недоумение и смущение: с кем же они будут спорить? Кто им станет возражать? Представлялось, что Г. Дума – именно «арена спора», поприще «возражений». О каких-нибудь «националистах» там не было и помина, «октябристы» были в количестве смешном и жалком. Вообще, очень мало «левее кадет», и кадеты спорили с партиями лишь явно революционными.

Прошло всего десять лет, – всего минута, минуты истории. Что такое «десять лет» для «настроения страны»? Ведь «настроения» меняются только с десятилетиями. И вот мы тут наблюдаем работу исключительно и только Г. Думы, насколько она «кипит в своем соку». Настроение страны стало неуз-

наваемо!! И «неузнаваемо» по колоссальному ее передвижению в сторону охранения вообще, в сторону национального самосознания вообще. Революционные вспышки, знаменитые «университетские беспорядки» совершенно затихли, – и когда и как они затихли, мы даже не заметили. Как-то все «улеглось само собою», без определенного воздействия, без прямой борьбы против этой «болезненной сыпи» на теле России. Как это случилось? Можно только объяснить одним, что всеобщее внимание перенеслось на Г. Думу, и как революцию, так и университеты оставили «в покое». А раз от них перестали «ждать» и на них «надеяться», на них «рассчитывать», – они вошли в свое русло и утихли. Россия, которая была определенно «революционной» до Г. Думы, всего через десять лет после ее работы, могла сказать – через десять лет ее «переработки России», – сделалась столь же определенно *не*-революционной. Это решительно политическое «чудо» совершила, несомненно, Г. Дума, и совершила как-то косвенно, боковым образом, и, несомненно, это будет иметь колоссальные культурные результаты: ибо «революционный дух», например, обнял всю литературу, журналистику, печать, – не давая просочиться в них каким-нибудь другим течениям, возникнуть каким-нибудь другим самостоятельным интересам (к религии, к философии, к историчности).

Оказывалось, все дело 10–15 лет назад состояло именно в некоторой свободе и в некотором признании «общественности» как величины самостоятельной, как ума самостоятельного и ценного; и в том, чтобы все это взять в «совет» и «дружбу» себе, а не пинать все это, не запёхивать все это под стол, в невидимость, молчание и глухоту. Тогда странно было «посоветоваться», ибо все казалось (и *было*) революционным. Но «у страха глаза велики». «Посоветовались» – и все перестало быть революционным. Оказывалось, «ларчик просто открывался». И, увы, он открывался по европейскому шаблону. Это грустно признать, но делать нечего. Все дело запоздало, – и во времена Карамзина и Шишкова, Пушкина и Лермонтова, еще до придвижения к воротам Руси такой массы космополитизма и всяческих «измов» можно было бы сделать и устроить все это более «по-русски».

Вот то *общее*, что нужно сказать о Госуд. Думе, – и что скажет о ней всякий на Руси язык, скажет и друг Госуд. Думы, и ее недруг. Есть и такие недруги. Но и они должны сказать, что самою ненавистью к Госуд. Думе и парламентаризму вообще они обязаны Государственной же Думе и обязаны именно парламентаризму. «Все *поправело*» – относится и к ним, захватило и их. Это поразительно, что «самые правые» на Руси люди десять лет назад не были таковыми и тайно и явно шептали и вздыхали тоже по парламентаризму. Госуд. Дума только «вывела на кафедру» триумвират трудовиков, но они раньше были. А вот Пуришкевича, Замысловского и других Госуд. Дума и все десять лет «думства» – сотворили. По части идей и политических направлений, политических вкусов, Россия *до* Госуд. Думы была вообще настолько «левой», что решительно никакое удлинение в эту сторону было невозможно. Вспомним Герцена, Бакунина, Нечаева и прочее. Теперь «рбды» такого

человека, как Michel Vasounine, – на Руси невозможны. Все стало сравниваться, уравниваться и утихать. И великая законодательная деятельность Государственной Думы – быть может, не за горами.

Сказав об общем, должны сказать о частностях. Единственная уязвимая сторона в Гос. Думе – лежит в этих частностях... Партии господствуют над «русским духом», над «русским интересом»... Мало видно общегосударственного горизонта, мало глаза, заглядывающего в исторические дали. И – недостаточно практичности, которая, однако, быстро нарастает. «Мудрость растет с зубами», т. е. она растет вообще с годами, вообще с опытом. Никаким другим образом ее начать нельзя. Но вот что и здесь нужно заметить. Десятилетие Думы и в смысле *факта* и *деловитости* приходится приветствовать. Ведь как трудно было народу, населению перейти от полной бездеятельности – к деятельности почти универсальной, «ab ovo», все обнимающей, всего касающейся. Трудно было – скажем литературно, возродиться из «Обломова» – куда девать горькую истину – в «Штольца». Но каким-то чудом эта метаморфоза совершается, и что еще отраднее – в ней «русский человек» не теряет себя, а еще пуще даже русеет. Дело в том, что «парламент»-то заведен действительно по западному шаблону, но, однако, вошли в него все-таки русские люди; и стали «шаблон» примерять на себя, натягивать на себя, и тут «шаблон» несколько покривился, перекосялся и обнаружил «русскую статью». Гос. Дума – не мертвое парламентарное явление, никого не копирует, ничему не подражает. Она есть живое русское явление, живой организм в живой стране. Это в ней самая «задачливая черта», самая обещающая. Повторяем, не за горами тот день и те дни, когда она заговорит великие речи и создаст могучие решения. Две-три удачи при выборах; кто знает, кто теперь растет, зреет среди юных, в эпоху ужасов, гроз, войны. И, может быть, русский Питт, русский Эдмунд Борк, русский Каннинг или Роберт Пиль сейчас 17-летним мальчиком «подает снаряды» сражающимся...

Будущее темно. Но в смысле – отчетливости. Верим, однако, что из будущего придет к нам свет.

АНГЛИЙСКАЯ КНИГА О РОССИИ И ЕЕ ИУДЕЙСКИЕ КРИТИКИ

Всякий раз, когда появится на одном из иностранных языков книга о России, – еврейские писатели, пишущие в русских журналах и газетах, кидаются рассмотреть, как именно он отнесся к нашему отечеству. В большинстве результатов осмотра бывает удовлетворителен для евреев: иностранный автор, глядящий на русское село и на наши губернии с высоты берлинской, лондонской и парижской культуры, находит у нас все неблагоустроенным, грубым, диким и первобытным. Еще чаще он переписывает, не мудрствуя лукаво, в свою книгу, предназначенную для английских, немецких и французских читателей, те самые мысли и те самые «сообщения из провинции», какие находит в «авто-

ритетных и ученых» русских периодических изданиях типа «Вестника Европы» и «Русских Ведомостей», разумеется, без ссылки на источник, – и книга является достаточно удовлетворительной для иностранного читателя. И вот она попадает в руки русского, т. е. еврейского, рецензента. Видя такое поразительное совпадение со своими взглядами на «невольную родину» англичанина или немца, щупленький еврейчик в восторге. Теперь он окончательно укрепляется в мысли, что Россия есть самая отвратительная в мире страна, где жизнь совершенно невыносима, производит имя иностранного автора в «знаменитого английского писателя» или «известного германского ученого» и реферировать его на страницах или «Русских Ведомостей» или «Вестника Европы» с унылым видом вновь оскорбленного гражданина или угнетенного патриота. Появляется новая страница «взаимного понимания» русских и англичан или русских и немцев, – из которой оказывается, что на Темзе и Шпрее совершенно так же и в таких же терминах скорбят о свободе, о равноправии, о прогрессе и культуре, как скорбят об этих благах на Неве. Разбор посылается или же случайно попадает в руки «знаменитому автору», и он уже без всяких подсказываний отлично понимает, что следует и «впредь стараться в том же роде». Он делается сотрудником какого-нибудь берлинского или лондонского в своем роде «Вестника Европы» и всю жизнь освещает там «русские дела», как специалист по ним и знаток их. В то же время он становится и частым гостем в переводах и извлечениях русских газет и журналов, как «всем известный», «знаменитый» и проч., и проч. писатель и знаток России. Так образовались, установились и работают русско-английские и русско-германские «симпатии», под которыми на самом деле скрыты русско-шкловские и русско-бердичевские антипатии.

Но, избави Бог, если иностранец, в самом деле, задумает поездить и походить по России и вынесет из виденного и слышанного не такое впечатление, а впечатление трогательное и любящее. Последует «побиение камнями», – прибавлять ли: иудейское побиение камнями этой европейской блудницы или этой еврейской блудницы. . . Так именно произошло с книгою английского писателя Стефена Грэгема «The way of Martha and way of Mary»* (London, 1916). Первым о появлении ее сообщил в русские журналы известный «лондонский корреспондент» г. Дионео (еврей), а теперь голос «собрата» поддерживает его соотечественник из «Вестника Европы» Лазарь или Леонид Слонимский.

В чем же провинился англичанин перед обоими слонимскими и шкловскими приятелями? Протираешь глаза, читая невероятное, и просто не веришь. Происхождение книги и ее заглавия Л. Слонимский объясняет очень просто. Он говорит:

«В особой главе *о подвиге* (The podvig) Грэгем объясняет, что русские стремятся главным образом к духовному совершенствованию, а не к материальным улучшениям; они стараются совершать

* «Путь Марты и путь Марии» (англ.).

акты самоотречения и отрицания мира, не бояться о внешнем порядке и прогрессе». «Путь России есть путь евангельской Марии, а Запад, с Англией во главе, держится традиционного пути евангельской Марфы»; эта мысль постоянно повторяется в книге, с утомительным однообразием. За последнее десятилетие Англия будто бы все более уклоняется от пути Марфы и идет навстречу России и Востоку, сближаясь с ними на почве ослабления материальных успехов и усиления созерцательной религиозности в духе Марии; в доказательство приводится тот факт, что даже в наиболее промышленных районах Англии рабочие все чаще отказываются от работы и устраивают забастовки... «не потому, что им нужно повышение платы или облегчение условий труда, а просто потому, что им не хочется работать!» Стефен Грэгем как будто проговорился: если прославляемый им мнимый «путь Марии» заключается лишь в нежелании работать и в бесконечных трактирных беседах о религии, то становится отчасти понятным, почему он в такой резкой отрицательной форме характеризует по отношению к Англии и так настойчиво превозносит и рекомендует его для России».

Отзыв его об отношении Грэгема к таковым явлениям в Англии, конечно, инсинуируется, если принять во внимание самим же Слонимским указанное сочувствие Грэгема тому, что «на последние десять лет Англия идет навстречу России». Неправда в указаниях Слонимского явна здесь или там. Но послушаем дальше:

«Значительнейшая часть книги, посвященная религиозным суждениям, церковно-монастырским очеркам и описаниям, поддерживает в читателе какой-то странный, исключительный взгляд на русский народ, как на инертную (!) массу мечтателей, готовых отдать свои материальные интересы в распоряжение иностранцев. Народ, шествующий «по пути Марии» и поглощенный заботами о божественном и духовном, поневоле уступает устройство своих экономических и промышленных дел представителям других культурных наций, продолжающих идти по пути Марфы. *Стефен Грэгем, видимо, хочет дать понять иностранным капиталистам, что нет ничего легче, как завладеть естественными богатствами России при помощи известных финансовых комбинаций, ввиду господствующего у нас систематического пренебрежения к материальным интересам страны, – пренебрежения, объясняемого будто бы возвышенными религиозными причинами*» (стр. 373).

Вот в чем дело для шкловского публициста: конкурент пришел или конкурент показался на горизонте... Но едва ли чиновники и управляющие русского Государственного Банка много «беседуют по трактирам о религии» и от этого впали в рассеянность и начали ссужать еврейские банки русскими деньгами, каковая «финансовая операция», как это очень хорошо известно, и лежит фундаментом под захватом *евреями русских богатств в свои руки*. И

точно так же едва ли русские министры финансов, главным образом Витте и Коковцов, «призвали иностранный капитал в Россию» по «религиозному невниманию к материальным интересам России»... О «религиозном подвиге, the podvig» Коковцова и Витте ничего в России не известно. А ведь финансовая система России, денежное обескровление русского населения идет, конечно, не от мелочных русских лавочек и не от трактиров с «бесконечными религиозными собеседованиями», а от этих знаменитых финансовых мер двух министров и двух графов... Когда же Столыпин произнес только первое слово о национализации государственного кредита, т. е. о воспособлении русской работе, русской промышленности и торговле кредитом Государственного Банка, то он был немедленно убит еврейским патриотом Богровым, в то же время русским революционером. Ибо прикидываются ли они полицейскими или прикидываются революционерами, евреи в одной и в другой роли служат единому вековому иудейскому Молоху, – кагалу. Русская умная печать и русское мудрое общество, как известно, предались буйному ликованию, как только раздался выстрел Богрова. Вообще русская шея давно тоскует по иудейской веревке... И когда русские люди заревут ревя в этой петле, то будет уже совершенно поздно. Дело будет конечно чисто и аккуратно.

«С этой точки зрения, – пишет единоплеменник Богрова иудей Слонимский, – преувеличенные похвалы англичанина по адресу современной России могут показаться *крайне подозрительными*. В основе этих похвал лежит указание на возможность воспользоваться нашею традиционной беззаботностью относительно будущего для установления *новой культурной опеки благоселательных иностранных друзей над экономическою жизнью России*. Под видом восхваления «пути Марии» *пролагается совершенно иной путь*, не имеющий ничего общего с религией»...

Вот «гевалт» Слонимского, с которым он обращается к русским читателям якобы русского «Вестника Европы» и одновременно предупреждает «своих», чтобы «смотрели в оба». «В опеку» Россия давно взята евреями и немцами, поделившими богатства русских и оставившими туземцам кусочки. Овечка пусть живет и обрастает шерстью, которую будут стричь не русские ножницы. Мудрое русское общество уже многие десятилетия провожало ненавистью при жизни и провожало ненавистью в гроб каждого русского «националиста», напоминавшего об этой опасности, тревожившегося об этом положении России. Многие ли помнят, что в «Московских Ведомостях» поры Каткова, Петровского и Грингмута печатались настоячивые статьи о немецких колонистах в России, о захвате ими в свои руки Екатеринославской и Таврической губерний... Никто, ни одна газета в России не поддержала этого одинокого голоса поистине *clamantis in deserto**... Почему-то только стран-

* вопиющего в пустыне (*лат.*).

но было, что по совершенно другим причинам и по другим поводам, не упоминая ни словом о «колониях», имена и Грингмута, и Петровского, и Каткова были окружены во всей печати страстным ненаввидением. Протекли десятилетия. Началась великая война. И вдруг открылось, что под явлениями русской печати лежит просто немецкий колонист. Он давно стал миллионером, недостижимым для Каткова и Петровского, он состоял в связи с берлинским Reichs-Bank'ом, а русский демократический читатель бил лбом в землю перед ним, делая вид, что он поклоняется русскому мужичку и что ненавидит Каткова и Аксакова за их аристократические тенденции... Вообще русские литературные течения сложились и продолжают складываться в высшей степени остроумно. Вот сейчас так страдает и распинается Максим Горький...

Но что же это за злокозненная книга г. Грэгема и кто сам автор? «Стефен Грэгем много путешествовал по России, изучал ее народный быт, жил месяцами в разных городах Российской Империи и в том числе в обеих столицах, бывал в Сибири и на Кавказе, ездил с русскими богомольцами в Иерусалим и вообще имел возможность приобрести действительное и близкое знакомство с русскими нравами и обычаями. В новой книге о России он является горячим поклонником русского народа, превозносит его нравственные качества и его духовные стремления и религиозные идеи, хвалит русскую литературу, часто ссылаясь на Достоевского, Куприна, Чехова, Максима Горького»... Доселе, кажется, ничего преступного. Но Слонимский не находит у него «родимых сюжетов» шкловской скорби: «Он (Грэгем) ни одним словом не упоминает о русской администрации и ее особенностях; он как будто никогда не слышал о наших губернаторах и чиновниках, под властью которых ему приходилось, однако, жить... Способ ознакомления с Россией у автора — очень простой: он беседует со случайно встреченными лицами на разные темы и передает содержание этих бесед без всякой критики; вместе с тем он посещает трактиры, театры, монастыри и церкви и излагает свои впечатления. Одна из глав книги носит загадочное заглавие: «Опять Переплетчиков»; это значит, что по прибытии в Москву он заехал к своему «старому приятелю», художнику Переплетчикову, который провел лето на Новой Земле и стал рассказывать автору разные чудеса о природе и людях Крайнего Севера; автор все это записывал и включил в свою книгу»...

Я думаю, так поступают не только путешественники по чужим краям, но и те «беллетристы-народники» и «любители-этнографы», разные очерки и скитания которых, безграмотные и полуграмотные, появляются на страницах «Русских Ведомостей» и разных «Русских Богатств» и «Северных Записок». Вообще, трудно придумать какой-нибудь другой прием, так как нельзя же самолично объехать всю обширную страну, вроде России. Но обратимся к результатам наблюдения г. Грэгема, который, во всяком случае, самолично больше увидел в России и больше осмотрел Россию, нежели г. Слонимский, вот уже тридцать лет не выезжающий из единственного Петербурга-Петрограда, где он ежемесячно приносит в редакцию «Вестника Европы» неотвязный лай на Россию и «известные русские административные порядки», из

которых наихудший в течение 30 лет назывался «чертою оседлости», в которой томились сродственники петроградского журналиста. Вот что говорит Грэгем в изложении Слонимского:

«Запад идет по пути Марфы, хлопчущей о многом, а Россия – по пути Марии, проникнутом только одним – верой. «Русские, особенно крестьяне, – говорит Грэгем, – почти всегда рассуждают о Боге и религии. Если происходит оживленное собрание где-нибудь на монастырском постоялом дворе, в вагоне третьего класса, в чайной или в русском общественном заведении – трактире, то почти всегда можно быть уверенным, что спор идет о религии». Автор с большим сочувствием отзывается о трактирах: на одной стене, по его словам, висит четырехугольный фонарь с надписью «трактир», а на другой стене – огромная икона в золоченой оправе; там торгуют старым платьем, поют, курят махорку, читают Библию и толкуют о религиозных вопросах. Удачливый купец из крестьян, даже миллионер, не стесняется заходить в самый убогий трактир, чтобы поговорить запросто с простыми черно-рабочими и маклаками: «в этом – часть силы России», по замечанию автора. Посетители проводят там по несколько часов, довольствуясь ничтожным расходом на стакан чаю в пять копеек; так, Грэгем просидел с одним знакомым шесть с половиною часов за двумя стаканами чая в трактире, где собирались «богоискатели», представители и пропагандисты разных русских сект; там бывали нередко такие хорошо известные люди, как «Соловьев, Булгаков, Чертков, Великанов»; все разговоры вертелись около религии, причем упоминалось иногда имя «Михаила-угодника». Присутствовавшие успели обсудить вопросы о злых духах, об отличии человека от животного, о контрасте между Наполеоном и Христом. Стефен Грэгем также вставлял свое слово; он выразил свое убеждение, что «Россия есть надежда Европы, что все народы ждут чего-то от России, что она есть живой Восток, полюс мистицизма, в противоположность Америке, как живому Западу, полюсу материализма». Это «очень понравилось богоискателям»; они проводили его в другой трактир, чтобы выпить еще один стакан чаю и продолжать беседу о предметах, о которых «принято говорить каждый день и каждый час в России, в каждом городе и селении – о Боге, идее Христа и страданиях, о том, что нужно и чего не нужно»...

Да, это – так; об этом писал еще Достоевский, у которого великие диалоги воистину платоновской высоты ведутся по трактирам «с грязнотцой, за перегородкой». Это – и в «Бр. Карамазовых» (главы «Pro и contra» и «Великий Инквизитор») и в «Подрутке» (разговор Версиллова с сыном незаконнорожденным об угасающей Европе). Что тут особенно худого. Не все же научиться и обучаться в клубах, в тургеневских разговорах с флиртом, на лекции Максима Ковалевского. Пусть народ учится у самого себя, пусть варится он в собственном соку. Чего так боится тут Слонимский? По-видимому, тут боится он за себя и за своего соотечественника Богрова из Киева: такие «трактиры» и «чайные» – не арена для пропаганды и для подготовки дел во

вкусе киевского события. Слонимский иначе бы отнесся к Грэгему и книге его, если бы Грэгем не ездил с богомольцами в Иерусалим, не толкался среди бастующих студентов и рабочих, дружил с еврейскими журналистами и выведывал от них настоящие сведения о настоящей России.

Почва, которую освещает Грэгем, во-первых, есть натуральная почва древней и вместе вечной России, и почва нисколько не худая, а здоровая. А вместе – эта почва таинственным образом нисколько и *не* непрактична. Разве не русские старообрядцы, у которых «религиозные собеседования» велись довольно рьяно, вышли в первую линию всероссийских фабрикантов и торговцев; разве не Англия времен пуритан и Кромвеля вышла в первую линию европейских государств и всемирного капитализма? Вот где возможная «встреча» между классической Англией и классической Россией, – «классической» в смысле верности «основным своим началам». Дело в том, что в самой Европе «банк» и «банкиры» есть новое явление, недавняя сила; основой же богатства народного служат не «финансовые комбинации» соотечественников Слонимского, а широкая спина рабочего, здоровые руки землепашца, а те и другие всего здоровее – без водки и при молитве. Вечерком – побеседовать о Боге, а утром – на работу. В таком строе еврей не пропустит своего тонкого «носика-жала» и не извлечет нужной ему капли крови человеческой для питания паразитной своей плоти. И вот отсюда – вздохи Слонимского. «Как же мы и где же наш гешефт?»

За этим гешефтом надо хорошо смотреть из Петрограда и из министерских канцелярий, где вообще «богоискательством» не занимаются, но занимаются именно делами, «соприкосновенными» с еврейством. Вот когда в этих канцеляриях сумеют разжать костлявые еврейские пальцы и высвободить из них русское горло, – дело будет сделано. Но только дело это очень трудно, борьба трудна и опасна. Однако «Бог не выдаст – свинья не съест» и «волка бояться – в лес не ходить». Мы все-таки дождемся когда-нибудь премьера Столыпина, который подымет и осуществит его мысль о национализации государственного кредита... Великая тема русского «завтра».

ЕЩЕ ОДНО БУРЛЕНИЕ...

Борис Садовский. Ледоход. Статьи и заметки.
Петроград. 1916 г. Издание автора. Стр. 206.

Борис Садовский, можно сказать, за свой счет и рискуя ребрами, громит печатную современность. В этом смысле дано и заглавие его сборнику: «Ледоход». Т. е. «весна и день», «лето придет» и, с другой стороны, «зима проходит». Предисловие в книге – боевое: ну, и многие-многие из пишущей братии протянут автору руку, хотя масса лжебратии затопают на него ногами и, чего доброго, устроят ему рецензентский (ведь теперь в журналах и газетах критики нет?) кошачий концерт. Он пишет и, написав верно, бросил гневно перо на пол:

«Ледяные затворы, стерегущие нашу рыбу жизнь, трескаются и сплывают, а близкий ледоход готовится умчаться в жизненное море последние осколки рыбьей литературы.

Надо ли говорить, до чего все мы, писатели и читатели, страдаем и задыхаемся под сводами литературного льда? Нам не дают дышать свободно свои же братья-писатели, нас дают всяческие цензуры. Ах, цензура либеральная горше цензуры военной!

Самозванцы, люди с улицы, глашатаи толпы, непомнящие родства, хватают писателя за горло и приказывают молчать. Журнальные столбцы превратились давно в грязные участки, откуда несутся властные окрики: не пушать! Со всех литературных застав торчат угрожающие рогатки, и горе неосторожному, кто осмелится поднять голос в этом крошечном царстве.

Русский писатель не смеет быть самим собой, ежели не хочет быть оплеванным и забытым. В лучшем случае из него выходит самодовольный червонец, смесь золота и установленной лигатуры с пробою и клеймом.

Мы не знаем и не знали никогда наших великих писателей в их подлинном виде. Их нам искусно подделывают, как фальшивые деньги. Замалчивают одно, подчеркивают другое. И мы не смеем отбросить ложный стыд и прямо смотреть в глаза истории.

Конец литературщины не за горами. Явное обмелывание толстых журналов, никем не читаемых и давно никому не нужных, показывает, что добровольная цензура писателю и читателю одинаково ненавистна. Все чаще раздаются отдельные свободные голоса, падающие живыми семенами в родную почву.

Всего ужасней, конечно, наша роковая оторванность от жизни. Мы жизни не верим и прячемся от нее старательно в бумажную крепость. Не верим мы и в самих себя. Кажется, Белинский, умирая, просил, чтобы в гроб ему положили под голову последнюю книжку «Отечественных Записок». Вдуваемся пристальнее в эту легенду: какое духовное убожество в ней сказалось! Несчастный! – неужели не знал он, какие священник вложит ему в мертвую руку несравнимые по силе и красоте слова, какие над телом его прозвучат вдохновенные молитвы?»

Белинский, конечно, этого не знал. Никто так далеко от русской действительности не отвел русскую литературу, как Белинский.

«Так и литература русская, подобно Белинскому, духовному своему отцу, донине с презрением отвращается от многообразия жизни, от вечного искусства, от религии, от здравого смысла. Не явля ли, что для людей, отходящих от огненных глаголов Дамаскина к мертвечине литературной, невыносимо всякое проявление свободного духа?

Лет через 50 после кончины Белинского одному известному журналисту простодушный читатель из крестьян прислал трогательное приглашение на свадьбу дочери, приложив на дорогу деньги. Газет-

чик снисходительно посмеялся и, возвратив мужику проездные, остался в своей редакции. Он поступил умно. Несомненно, в деревне ждали от него напутствия молодым, мудрого совета, может быть – поучений. А чему способен научить ближнего русский литератор и что может сказать он народу на свадебном торжестве?

Да ледоход близок, – и никакими рогатками его не сдержать».

Выписка длинна... Но разве читатель не хотел бы и не хочет, чтобы о положении русской литературы было сказано так ярко, твердо, с этими разительными примерами Белинского и крестьянина, – и потому, увы, так длинно. За эту зиму вот уже второй раз и вот еще другой поэт становится так ярко против репетиловщины нашей журналистики, ее «застенка», ее «хамства», ее поклонения тоже хаму-читателю с его «рублем» и рыночною «славой», которую он дает... Так же точно и о том же приблизительно предмете высказался поэт А. А. Блок в предисловии к изданным им стихотворениям А. Григорьева.

Но... где боль – там и крик. А крик некрасив в литературе, в искусстве, некрасив особенно у поэтов. Эта «горькая участь» публицистов – ругаться, а поэты должны действовать «веяниями». Резкого и немного режущего тона предисловия гораздо лучше достигает текст книги, посвященной Лермонтову, особенно много: Фету, Баратынскому, Толстому, Языкову и Гоголю, Каролине Павловой, Тургеневу, Вячеславу Иванову, А. И. Ремизову.

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ.
СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА.
ОПЫТ ОПРАВДАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

(Москва, 1916)

Н. А. Бердяев только что отпечатал огромное исследование – «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (Москва, 1916 г.). Труд этот по отношению ко всем его предыдущим книгам – «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии», «Sub specie aeternitatis. Опыт философии, социальные и литературные», «Новое религиозное сознание и общественность», «Духовный кризис интеллигенции. Статьи по общественной и религиозной психологии», «Философия свободы», «Душа России» (брошюра), – по отношению ко всем этим работам новая книга является «общим сводом» над отдельными флигелями, постройками и чуланчиками. К тринадцати главам текста присоединены обширные примечания, в которых даются краткие, но острые по таланту и вниманию пишущего характеристики важнейших философских течений, направлений, характеристики и философствующих личностей, по преимуществу XIX века, но частью и более ранних.

Книга читается с непрерывным философским восхищением всяким, кто способен к философскому мышлению, кто любит этот прекрасный волнующий

щийся мир не полной достоверности, — это скольжение ума по краю правдоподобия, вероятности, «приблизительного», внутрь коего заключены величайшие ценности бытия, истории и самого человека. Есть проблемы, непрерывно волнующие человека от первого пробуждения в нем сознания и о которых «побродить» и «погадать» гораздо плодотворнее, жизненнее и полезнее, нежели вычислить механику какого-нибудь моста, найти решение какого-нибудь трудного уравнения, чем даже изобрести какой-нибудь состав лекарства, целительный в какой-нибудь болезни. Люди обходились до моста без моста: а больной все равно умрет не от этой болезни, так от другой. Ибо еще не найдено лекарства от смерти. Но почему человек вообще умирает, а не живет вечно, как минерал, — как кусок глины в болоте или горсть песка в пустыне? Отчего Сократ умирает так же жалко, как позднее умерли его судьи? Куда все стремится в неустанном беге вечности? Есть ли «добро» и «зло» или «добрыми» и «злыми» вещи нам только кажутся? Что такое это самое «кажется мне» в отношении «есть в самом себе», — ах, около всего хорошего хочется побродить неустанной страннице, человеческой мысли. «Не вполне достоверно?» «Нет полного единства между мыслями всех философов — о данном предмете?» Что за дело. Доля истины заключается уже в том, что рамки ответов, что, так сказать, поле сомнительности значительно сужено сравнительно с тем, как это было до философствования и философии. Возьмем пример: то, что в философии именуется «грубым эмпиризмом» и «грубым реализмом», вполне единогласно отвергается всеми философами, всеми философскими направлениями и школами. Тут нет разницы мнений, взглядов, теорий. Между тем это результат философской работы, результат споров «грубых эмпириков» и «грубых реалистов» против философов и метафизиков. Между тем «грубыми эмпириками» и «грубыми реалистами» бывают и остаются все люди толпы, все люди, лишенные философского образования и воспитания. Многозначительно ли это? Очень. Да можно сказать, не было бы всего русского течения так называемых «шестидесятых годов», с их беганьем за пошлостями врачей и естествоиспытателей вроде Молешотта, Бюхнера и Карла Фохта, если бы «люди 60-х годов» и самая масса общества того времени была сколько-нибудь философски образованы и развиты. Ну, а «течение 60-х годов» с его действием на литературу, на журналистику, с их влиянием на массовую молодежь, с их влиянием даже на политику и очередные тогда государственные реформы — это все факты огромной значительности, огромных последствий. Можно бы много мостов оставить недостроенными, и много можно было бы в аптеках разбить стклянок, лишь бы избавиться от коечего в общественных глазах того времени. Дикость и азиатчина общественных нравов как результат философской грубости и элементарности, — это стоит по опустошительному действию «хорошей» эпидемии.

Таким образом, отрицательное отношение к философии и метафизике, опирающееся на разноречия философов и метафизиков, весьма условно и ограничено. Результат критической работы метафизиков и философов, — их отрицания, — совершенно едины. Что касается их утверждений, то и здесь

прибавлено очень много к богатствам ума человеческого, ибо поле «возможных решений» сужено, убавлено, ограничено. Можно, например, «думать надвое», а не на десять манер, не в десяти направлениях, как это было до философской работы человеческого ума. Наконец, в ветвях философского мышления, в логике, в психологии, в родственных областях педагогики и т. д., – как много здесь остро прояснилось, как много стало абсолютно неизбежно после двух тысячелетий философской работы. Наконец, что касается влияния на всемирную образованность, на всемирную культуру, то может ли сравниться действие какой бы то ни было точной науки, физики, химии, математики, с всеобъемлющим влиянием «приближений к истине» Платона и Аристотеля, Декарта, Канта и Лейбница. Примеры Декарта и Лейбница удобнее всего. Декарт открыл «приложение алгебры в геометрии», Лейбниц открыл «дифференциальное исчисление». И оба ставили эти громадные математические открытия, совершенно преобразовавшие вид математики, на второе место сравнительно со своими открытиями в области метафизики. Хотя последние и были не абсолютно достоверны, а лишь приблизительны. Ну, а уж они «в своем-то деле» могли судить. Философия была, есть и останется царицею наук, – отцом и матерью всякого вообще «ведения».

Новейшая книга Н. А. Бердяева разрабатывает следующие проблемы:

1) Философия – как творческий акт; 2) Человек как микрокосм; 3) Творчество и искупление; 4) Творчество и гносеология; 5) Творчество и бытие; 6) Творчество и свобода, индивидуализм и универсализм; 7) Творчество и аскетизм, гениальность и святость; 8) Творчество и пол; мужское и женское; род и личность; 9) Творчество и любовь; брак и семья; 10) Творчество и красота; искусство и теургия; 11) Творчество и мораль; новая этика творчества; 12) Творчество и общественность; 13) Творчество и мистика; оккультизм и магия; 14) Три эпохи: творчество и культура, творчество и церковь, творчество и христианское возрождение.

Прелесть книги и самого изложения заключается в том, что на каждой ее странице вы видите человека, лезущего на трудную и высокую гору, – видите все его усилия. Перед вами непрерывно творческая философская личность и творческая религиозная личность, и этот «портрет» на протяжении 350 страниц большого квадратного формата дает достаточно умственной и, наконец, даже художественной эстетики... Просто – красиво смотреть, умно смотреть, поучительно смотреть. Наука – интересна, ученые – не интересны. В философии – наоборот: философия-то может быть и не достоверна, но сам философ есть просто прекрасное явление природы, есть просто прекрасное явление истории, кого история как-то посовестится забыть.

Книга Бердяева – именно такая личная книга, с личным устремлением к истине, для личного успокоения ли, возбуждения ли, но, во всяком случае, с личным героизмом. Ну, вот, например, страница о возрасте христианства и Церкви и об отражении этого возраста на личной религиозности каждого человека.

«Христианство наше уже не молодо – ему скоро 2000 лет. Церковь христианская стара. Нельзя измерять христианства индивидуальным возрастом человека, его индивидуальными заслугами, степенью его победы над грехом. Каждый из нас христианин не 30 или 40 лет, не 5 лет, если считать время нашего индивидуального обращения к Церкви, а – 2000 лет. Каждый из нас получает мировой религиозный опыт христианства. Есть в христианстве мировые времена и сроки. Безумно было бы исчислять христианский возраст нашей кратковременной жизнью. Мировой возраст христианства, мировые времена и сроки религиозного откровения не зависят от моих личных заслуг в борьбе с грехом. Мне больше может открыться не потому, что я лучше, религиозно совершеннее, безгрешнее, чем тот, кто был 1000 лет тому назад, а потому, что я живу в другие времена и сроки, что христианство ныне универсально более созрело. Взрослый не лучше младенца, но открывается ему больше. Лишь индивидуалистическое сознание измеряет возраст христианства возрастом индивидуальным. Ставить ступени откровения в исключительную зависимость от ступеней индивидуального восхождения – значит исповедовать религиозный индивидуализм. Индивидуализм этот вступает в конфликт с самой идеей Церкви как универсального организма, обладающего сверхличной жизнью. Есть религиозный возраст не только человека как индивидуального организма, но и Церкви как универсального организма. И вот ныне универсальный организм Церкви вступает в двухтысячелетний возраст и переживает кризис, связанный с мировыми временами и сроками. Не только индивидуальное совершенство в борьбе с грехом, но даже индивидуальная святость бессильна перед этим мировым кризисом возраста, перед этим вступлением в иную космическую эпоху, в иную стадию откровения. Иная стадия откровения, иная космическая эпоха совсем не связана с большей святостью человека, как думает религиозный индивидуализм. Святости прежде было больше, чем теперь. Ныне оскудела святость в мире, человечество как бы лишилось дара святости. И если от личной святости ждать нового откровения, религиозного возрождения, то положение человечества безнадежно, трагически безнадежно. Христианство как новозаветное откровение искупления дряхлеет. Христианская кровь холодеет, и тщетно пытаются ее подогреть всякими реставрациями. Нельзя искусственно возродить молодость. А христианская святость связана с молодостью христианства. В христианской святости есть вечная, неумирающая истина, но истина неполная, в которой не все открылось. Одна старая и вечная христианская святость бессильна перевести человека в творческую мировую эпоху. Каждый из нас, плохой христианин, не научившийся еще как следует крестить лоб, не стяжавший себе почти никаких даров, универсально живет уже в иной религиозной эпохе, чем величайшие святые былой эпохи, и потому не может просто начинать сначала христианскую жизнь.

Каждый из нас получает двухтысячелетнее христианство, и этим налагается на нас бремя мировой ответственности. На нас лежит ответственность мирового возраста христианства, а не личного нашего возраста.

В этом сплетении и смешении двух религиозных возрастов, личного и мирового, лежит корень запутанности и смутности нашей христианской жизни, ее болезненности и ее кризиса. Чисто индивидуалистическое понимание нынешнего возраста христианства – источник религиозной реакции и омертвения. Универсальное понимание этого возраста зовет к творчеству и возрождению. Для индивидуалистического сознания нет мировых стадий и эпох откровения, а потому и нет предчувствия новой мировой эпохи. Это омертвевшее индивидуалистическое христианское сознание переживает состояние болезненной подавленности и бессилия. Старохристианское сознание, боязливо закрывающее глаза на религиозный возраст человека, обязывающий к дерзновенному творчеству, обречено на изнывание от того, что нет ныне той святости, какая была в прежнем, молодом еще христианстве. Бессильная зависть к религиозной жизни прошлого гложет современных христиан. И эта постоянная подавленность духа парализует творчество, рождает лишь религиозную трусость. Недостойно это вечное изнывание от своего бессилия быть святым. От этого нисколько не прибавится святости. За омертвление христианской жизни ныне ответственны не худшие из православных, а лучшие из них. Быть может, всего ответственнее старцы. И нельзя возложиться во всем на святых – нужно самим действовать. Старохристианское, индивидуалистическое сознание не хочет знать того глубокого кризиса антропологической стихии, который совершается на протяжении всей новой истории. Лучший из современных старцев не в силах ответить на муку Ницше: он ответит ему лишь изобличением греха. Также не ответить на муку героев Достоевского. Новый человек рождается в муках, он проходит через бездны, неведомые старой святости. Мы стоим перед новым осознанием отношения святости и гениальности, искупления и творчества» (стр. 161–164).

Мы занимаемся книгою, а не мыслями; не оспариваем автора и не соглашаемся с ним, а лишь показываем, что он сделал и как он сделал. И вот, если к этим страницам придвинуть былые страницы, – еще недавние страницы, – Лесевича, де-Роберти, Михайловского, Миртова-Лаврова, Плеханова, Вырубова и прочих русских «социологов» и «позитивистов», то мы будем поражены: до чего изменился тон философских суждений в русском обществе и в русской литературе, до чего совершенно переменились все темы ее, все устремления, цели и надежды. Потому что ведь Н. А. Бердяев – это и не специалист-богослов и не специалист-философ, он не занимает кафедры, не читает лекций; внешнее литературное и книжное его положение – такое же, как

Чернышевского или Михайловского; да, кажется, в ранние годы, в молодой жизни, он и был приблизительно в кругах Михайловского или работал над его темами – «марксизм» и т. п.

«Новый воздух»! – «Новый материк перед нами», – не можем мы не воскликнуть, подобно спутникам Колумба.

Переходя же собственно к мысли Бердяева, мы не умеем сказать ни «да», ни «нет» о ней. «Новое религиозное сознание»... «Эпоха творчества в христианстве»... Конечно, мы живем совершенно в другой эпохе и, главное, в другой обстановке, чем жили древние христиане. Это – так, это – правда. Но правда и то, что Христос не учил о царствах, не говорил о технике, а единственное «на потребу», данное Им, – это мир человеческой души, личной души, именно – личной, частной, единичной. Что же вы тут сделаете, когда так учил Христос, так говорил, так открывал?! Мы – христиане. А Бердяев нисколько и не зовет нас выйти из христианства.

«Личная святость», идеал «старой святости»... Да, он труден и действительно редок теперь. Но, однако, Иоанн Кронштадтский и его исцеляющая болезни молитва? Вот – не медик, не Эскулап языческий, не ученый изобретатель лекарств вроде Эрлиха, а христианский праведник. «Подошел ли он к нашему времени» (Бердяев говорит о приспособлении к своему времени)? – Совершенно подошел, подходит. Дело в том, что никакое лекарство не победило смерть, а Иоанн Кронштадтский кроме «пользовании в болезни молитвою» давал и утешение умирающим и кто после смерти их остался жить. «Вопросы Ницше и Достоевского?» Заметим, что не на все вопросы стоит и нужно отвечать, – ведь есть вопросы и от праздности, – а затем: у Достоевского на «вопросы» отвечает старец Зосима и (в «Подростке») благообразный старец Макарий Иванович, – с женою которого жил Версилов. Дело в том, что «христианское лицо» и «христианская совесть», по видимому, способны ответить и на вопросы такой поздней эпохи, как наша, – может быть и на вопросы всех эпох. Не говорим «да», но кто же и сможет сказать – «нет»? Другое дело: что «вопросы»-то эти, и Ницше, и Достоевского, и Бердяева, никогда не предлагались в достаточно вразумительной и ясной форме «старцам», общее же сказать – «святым» христианской Церкви; что вообще – соприкосновения еще не произошло. Ну, и «святые» действительно не входили в эти темы. «Святые» жили около труда, около нужды народной; и всегда – помогали, о помощи единственно и помышляли. Но ведь возможно же появление среди «святых» и типов величия и глубины Оригена, – и тогда «разговор» будет другой, – другие беседы, обучения и «Творения иже во святых наших»... Все-таки – «во святых», это – главное. Европейская наука – именно грешна, черна, сорна. Она – холодна, люта. И не мы ли теперь вкушаем, в ужасной войне, горький хлеб «со спорыньею», взрощенный из злаков этой уж слишком не святой науки. «Святость» нужна для неба; но для земли – она еще больше нужна. Без нее люди замерзнут.

БЕСЧЕЛОВЕЧНАЯ РАСА...

(Труды Высочайше учрежденной следственной комиссии под председательством первоприсутствующего сенатора А. Кривцова)

«...И в награду обещали много золота. Пилюгин, однако, заявив, что такой правды русский солдат по присяге не скажет, и добавил, что войск у нас много и снарядов много»...

Фотография, как всякий механический способ съемки, не ошибается: и вот этим мертвым, не рассуждающим, не прикрашивающим, не сантиментальным способом воспроизведен: молоденький-молоденький, без усов и бороды, рядовой... стрелкового полка Матвей Поздняков с вырезанным у него языком, – и рядовой Михаил Ананьев, с обрезанным ухом, и с результатами поранений в щеку и рот разрывными пулями ефрейтор Иосиф Шишельский, тоже другой – в ногу, еще третий – в кисть руки, и опять в рот, в челюсть, да все молоденькие, почти мальчики... А вот снимки очевидцев-свидетелей того, как германцы сожгли сарай, в котором были размещены раненые русские пленные... А вот «подвешивание на балке, применяемое как наказание к пленным на местах принудительных работ в Австрии», сделанный с рядового Снисгоренко, вызвавшего желание наглядно показать способ подвешивания...

И около этого изумительная, прямо-таки сказать – деревянная отвага: уже с вырезанным языком пнуть ногой конвойного, ударить его куском меди по голове и бежать «к своим», тут же, недалеко... Я говорю – «деревянная», потому что только дерево не пугается, не смущено, не раздавлено, а все «действует». Но как солдаты наши, конечно, не «из дерева», то я хочу сказать, что храбрость, смелость, находчивость и приткость их в «наскоке» равняется лучшей механике. Да рассуждать нечего. Все разъяснено в ответе рядового Пилюгина, который мы взяли в эпитафию – «по присяге».

Несу сейчас в душе, перечитав столько ответов солдатских, – впечатление какого-то чудовищного реализма, правды – именно «деревянной», вот как в фотографическом аппарате. «Солдатскую душу снимай в фотографии – вся выйдет». Не умею иначе выразить, обрисовать. Эта солдатская душа всегда говорит то, что есть. «Вижу» – слово, «слышу» – слово. Ну, и что «кажется», но в чем солдат уверен. Тот же Пилюгин на вопрос германского офицера: «Правда ли, что в России уже забирают стариков и мальчиков на войну?» – ответил то, что «он думает». А именно: «В России так много войска, что пошлите вы 25 корпусов к нам, и они в 25 лет не сосчитают, сколько у нас войска».

Почему «25 лет» и «25 корпусов». Патриотизм и волновался. «Войска у нас тьма тьмущая».

Но «присяга»?

У солдата «присяга» – это «святой уголок» в комнате его души... Образа, Божия Матерь, Николай Чудотворец, лампадка, да не одна, – и вот все горит, сияет... а впереди всего или под охраной этого всего – его «присяга».

– Что такое?

– Я сын Рас-сей-ской державы. Моей любимой родины... От Рюрика святого и Александра Невского, т. е. от Владимира Святого, который окрестил нас: и если присягу нарушить, – то я уже не сын всего этого, а окаянец и убивец. Не-ма-гу!!

Вот его упорство. Дьявольское, железное. И о которое обламывают немцы и руки, и ноги, и свои окаянные, похожие на нож, штыки, и всю нечисть свою окаянную, бессильную именно в нечистоте и грязи своей. Да, перед русским солдатом, таким чистым, – немцы вовсе суть не «потомки рыцарей», а разбойная банда, напавшая на весь свет.

Какая грязь – поступков, поведения.

«В лагере Альтграбов комендант лагеря Вебер, встретив престарелого дивизионного священника, остановил его и, сделав замечание за недостаточно низкий поклон, неоднократно ударил рукою по лицу...»

«Рядовой 116-го Малоярославского полка Антон Ростовский был очевидцем того, как германский офицер избил, а затем зарубил шашкою русского пленного за то, что он отдал честь с нарушением (без сомнения, неизвестного ему *в точности*) установленного для этого порядка».

«Один из русских пленных, грузин по происхождению, задумал совершить побег, но был пойман и возвращен в лагерь. Немцы надели ему цепь кругом шеи и *загнали в собачью будку*, в которой тот не мог ни сидеть, ни лежать. При смене часовых каждый вновь занимавший пост солдат вытягивал пленного за цепь из будки и, нанеся несколько ударов, загонял обратно. Так продолжалось две недели» (рассказ очевидца, рядового 102-го полка Павла Кращенко-Кравченко).

И в заключение рассказ младшего унтер-офицера 23-го Сибирского стрелкового полка Алексея Логанова:

«В Страстную субботу, по окончании общей молитвы, всеми нами уважаемый и любимый врач Горлинов обратился к пленным со словами утешения: он назвал нас дорогими братьями, страдальцами на неволе, но далее говорить не мог: голос его задрожал, слезы брызнули из глаз... и, видя эти слезы, слезы горя и тоски, мы не могли более сдержаться... барак огласился рыданиями... мы рыдали все».

И представить себе только, что вот в эти минуты, – в эти самые, – «германская партия в России», среди самих русских и во множестве наших учреждений, вовсе не «низко поставленных», крепко держится и высоко несет голову... Да, что: архи-архи-демократ Максим Горький в наделавшей шуму статье «Две души» заявил во всеуслышание, что в мире есть две души: русская – это низкая душа и возвышенная душа – это западноевропейская.

Но, я думаю, – нужно добавить: в самой России есть тоже «две души»: народная – и она святая, правдивая, «в присяге». А над нею – верхняя душа «благородных сословий», которая два века кипит в котле всяких зелий, – ну, и «очарований» всяких, и смуты – тоже всякой... И не знает эта несчастная каинова душа, куда ей приткнуться, где жить, с кем хлеб-соль кушать.

КН. Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ И ЕГО «РАЗВЕНЧАНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА»

(«Русская Мысль», апрель)

Опять кн. Е. Н. Трубецкой выступает против «звериного национализма в России» и на защиту того европеизма, который, не ссылаясь ни на какие книжки, выкалывает глаза, вырезывает языки и обрезывает уши защитникам «звериной нации», русским солдатам... Ах, ведь тоска у князя одна: что там «солдат» и его уши или язык; нужно бы выколоть глаза у самой России, чтобы она не смела видеть, не смела слышать, особенно чтобы она не смела «лопотать на скверном русском языке» что-нибудь в защиту своего безграмотства и темноты...

Ах, князь, князь... Хороший потомок, должно быть, хороших предков. Философ, профессор, ученик Влад. Соловьева... Странная тоска по обрезанному языку своей родины.

Да она почти и молчит. Кто смеет вступить за народную честь России? В большой и читаемой прессе *единственное* «Новое Время», в журналистике <...>* России «Русская Мысль» г. Струве, коего – едва он стал защищать Россию – линия газет немедленно же переименовала в «патриота фон-Струве» и подняла к всеобщему глумлению... Да, «без языка» Россия, – главное: чтобы «не смела говорить, эта шельма». Пророчески сказал Достоевский, – сказал в «Дневнике писателя» прямо со стоном: «Боже, у нас есть *русская партия*». Это было еще при живых Каткове и Аксакове. Теперь, конечно, не «партия», а кой-что, – дробинки, песчинки...

И почему же кидается кн. Е. Н. Трубецкой на эти дробинки, песчинки? Какое злодеяние от них? Разве эти немногие дробинки мешают мирному процветанию и благополучной подписке «Вестника Европы», «Современного Мира», «Северных Записок», «Заветов» и проч., и проч., и проч. Почему «тело убитого врага хорошо пахнет» и ему надо во что бы то ни стало «вымести сор из России», т. е. последние остатки всегда ведь бессильной партии?

А вот подите же, старается. Старается, не находит покоя. И в Петроград приезжает читать лекции, и в Москве издает брошюры, и опять в Петроград шлет «Письма в редакцию» к г. Струве, чтобы, так сказать, «рассолить» его

* В тексте газеты – сбой (пропуск) одной строки. – *Ред.*

читателей-«потреотов». Ведь у нас самое слово «патриотизм» и «патриот» печатается и произносится в презрительно-безграмотном виде. Ибо подразумевается: «кто же из грамотных русских людей, поучившихся в гимназии и университете, может принадлежать к патриотам». Во Франции – патриотизм, в Германии – патриотизм, в Англии – патриотизм. Им – позволено. Но в России, конечно, – «потреотизм».

Темные люди. Жалкие. Т. е. русские. О них Мережковский выразительно как-то написал, «опять вернувшись из-за границы»: «Первое, что у нас лезет на глаза после больших городов европейских, – нищета, убожество, мизерность. И дома в России, и люди, и лошади, и вывески, и улицы, и площади, и садики, – все обшарканное, заплыванное, заплюзганное (словечко же! с какой любовью, т. е. с какой ненавистью, оно сказано), пришибленное, прощальное»... (Мережковский в книге «Было и будет»).

Ах, литературные наследники Белинского, Герцена и Михайловского: ну, что же вам выставить, ухо или язык? Пошадите хоть глаз: отечеству все-таки хочется увидеть, как с ним расправляются сынки. «Посмотрю и умру. Что же мне еще осталось?»

А втайне не говорит ли в вас, господа, совесть? «Убийцу тянет к тому дому, где он убил». И «заплеванная, заплюзганная Россия» все вас тянет к себе... И книжки, и лекции, и всякое старание.

Не хочу даже излагать «Развенчания (кто же его «увенчивал»?!) национализма» кн. Е. Н. Трубецкого в «Русской Мысли», в только что вышедшей апрельской книжке. И не советую читать ее читателям. Господь с ними, пускай глумятся. «Уж лучше одно ухо, князь, – не так больно». Это германцам вопил солдат: «Дорезьте ухо, оно болтается» (на куске кожи). Ему дали немцы перочинный нож. И он отрезал (Труды следственной комиссии, сенатора Кривцова). Вы, князь, действуйте сразу и не оставляйте висеть на лоскутке кожи. Хотя бы даже, если случится, и пот-ре-о-ту». Ведь и ему больно.

ГОРЕ И ДРЕМОТА, ДРЕМОТА И ГОРЕ...

«И рад бы не писать, да читатель хочет», – этот аргумент, абсолютный для писателя, я имею, к великой радости своей, по отношению статей своих о разводе (кстати, Св. Синод именно *эти дни*, как оповещено было в газетах, приступил к пересмотру бракоразводного процесса). Пишу это, ибо решил было уже «положить перо» под впечатлением грубого окрика одного читателя: «Что вы, в уме ли, что в такую войну говорите не о войне, а об *одном вам нужном* разводе. Устыдитесь, замолчите». Но вот, жесткий читатель, что мне пишет другое лицо:

«Как и прежние сочинения ваши, так и последнюю статью вашу по бракоразводному процессу я читал с живейшим интересом; я горячо желаю вам крепкого здоровья и энергии для дальнейшей деятельности вашей на пользу Русского государства вообще, а семейных начал особливо». Письмо от одно-

го профессора, судя по упоминанию о «государстве», очевидно, лично не заинтересованного разводом.

А вот и из «дебрей»... Так я называю болота бракоразводного процесса, где тонут, задыхаются, захлебываются русские люди, как я смею предполагать, *наилучшие приспособленные к семье*, но которым случилось попасть в несчастное положение, провалиться в «окошечку» болота (есть такие гиблые места на болотах) и... никто, никто, ни священник, ни судья не хочет ли... не может ли, не умею уж сказать, им бросить веревку, протянуть палку и, ей-ей, даже не хочет сказать им тихую панихидку. Потому что ведь таких людей все «презирают»...

Вот пример:

«Мил. госуд. В. В.! Ради Бога, ради всего святого, напишите вы *огненную* (курс письма) статью, подобную другим вашим статьям, – о необходимости давать развод и возможности вступать в новый брак супругам, которые оба обвинены в прелюбодеянии... Семь лет тому назад я брошен женою, уехавшею с любовником. Начал дело о разводе. Тем временем любовник, конечно, бросил жену; ему выгодно было иметь любовницу, содержимую мужем, но не им самим! Наученная ловкими людьми, жена начала встречный иск о моей вине, – и доказала! Доказать очень легко! Свидетели не дороги! И вот «брак оставлен в силе по вине обоих» и еще к эпитимье присудили. За что?

И вот семь лет одиночества... По своей натуре томлюсь без женской души. На гражданский брак, когда он презираем, кто же пойдет? Совестливые же девушки и женщины, даже сочувствуя мне, скажу больше – любя, всегда останавливались перед этой преградой.

За что же я замучен! И уходит молодость, лучшие годы!

О, инквизиторы! Мало им было костров, пыток под пение гимнов, славящих Творца, дающего жизнь.

Впрочем, тут больше значат деньги, и за хороший куш секретарь консистории умеет повернуть дело и так, и этак.

Теперь или никогда можно добиться лучших дней. Но что делает особое совещание? (Надеюсь, сидит? – В. Р.)

Надежды мало. Вы писали много об этом вопросе, но все же мало, – ведь это камни, которые надо долбить без устали.

Простите, пишу вам откровенно... и не я один так чувствую, а тысячи людей. Примите уверение в совершенном моем уважении. С. П-ов».

Как просто и ясно. Может быть, не очень образованно, но какая правда в каждом слове. Это не душа его кричит, а горло кричит, – крик физиологический. «Тону, потонул, – помогите же!!!»

Никто не смеет. «Сии старцы» молчат. Немного дремоты в креслах, очнутся, – откашлянутся. Спустят слюну в подставленный медный тазик и опять задремлют. И лет уж много, да и вообще «не можется».

Когда «старцы» дремлют, Россия должна ждать. Очевидно.

Еще случаи:

«Имея от роду 60 лет, инвалид бывшей русско-турецкой войны, я все время занимаюсь сельским хозяйством, но, к несчастью, так неблагоприятно сложилась моя *семейная* жизнь, что я не нахожу выхода из своего неопределенного положения, – и прошу вас, не придумаете ли вы какого-нибудь совета, как выйти из него.

Около сорока лет назад (в 1879 г.) я сошелся с чужою женою, будучи холостым и в отсутствие ее мужа. От этого сожителства явилась *нелегальная* семья.

По возвращении *законного* мужа, находившегося на военной службе, рядового солдата, и в отсутствии меня, офицера бывшего тоже на службе, – *законная его жена*, моя сожительница, была водворена к мужу, но у нее был уже ребенок от меня. Таким образом, со стороны моей не было причины, препятствующей законному водворению, – однако жена не согласилась к *совместной жизни* с своим мужем, разошлась и снова вступила в связь со мной.

Муж предъявил в одно и то же время *уголовное преследование* за «незаконное сожитие» ко мне по 1585-й статье и дело о разводе в духовном суде. В течение продолжительного сутяжничества и скандального процесса связь с чужой женой не прекращалась, она жила у меня с детьми. Уголовное преследование «за прелюбодеяние» доходило до высшей инстанции суда, и я был *оправдан*. Но духовный суд отказал в разводе, основываясь на том, что обе стороны оказались виновными в *прелюбодеянии*.

Таким образом, создалось *узаконненное попустительство* «в незаконном сожителстве неженатого с замужней женщиною», из которого какого-нибудь выхода, как из заколдованного круга, не предвидится! Что же делать? В течение нашего продолжительного сожителства получилась *нелегальная* семья, я успел детей усыновить и дал всем высшее образование; но на совести родителей перед ни в чем не повинными детьми лежит *тяжелый камень*.

1) Моя старшая дочь окончила курс (Бестужевских женских курсов) и в настоящее время в женском медицинском институте.

2) Один сын – старший врач N-ского артиллерийского дивизиона действующей армии.

3) Другой сын, поручик в N-ском корпусе в славной кавказской армии и в ночных боях 21 ноября 1914 г. захвачен в плен.

4) И младшая дочь – в гимназии».

Сорок лет жизни, – плодородие (ведь «Божие благословение?»), – такие заботы отца, явный талант или, во всяком случае, не бесталанность детей, – вся совокупность эта не доказывает ли, что «дело это настоящее», что тут – «хорошо», что тут, как говорится, «вышло»; а в первом случае – явно «не вышло», брак «не склеился», люди «разошлись». И неужели принцип «давности», везде действующий, не применим особенно сюда, где ради его неприменности страдают не мертвые вещи, а живые люди, – в данном случае целый народец 6-ти человек. Да ведь и тот, первый муж ее, тоже «запрещен к

браку», между тем как «прелюбодеяние» оказалось двойное и он значит тоже кого-то «любит», с кем-то «живет». Закон прямо «молотит» по более чем шести головам. Мне кажется, сюда нужно законодательно применить «закон десятилетней давности»; всякое сожитие, продолжающееся 10 лет и один день, узаконяется, прежний брак, если он был у которого-либо из сожителей, – расторгается; а дети, от сожительства прижитые, узаконяются.

Так просто. И около 50 000 семей в России успокоились бы. И этому ничто не мешает, кроме того, что можно назвать «духовным тщеславием». Но тут со стороны законодательной власти должно последовать принуждение, тем более что «кто называет себя смиренным – и будь смиренным».

«БЕЗДЫМНЫЙ ПОРОХ» В НАШЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

Зашла речь как-то в большой компании о некоторых странных явлениях в нашей общественности и в нашей печати. Люди были все мало мне знакомые, впервые знакомые; из «старых знакомцев» – только двое. И вот один, родом казак, но сидевший почему-то в турецкой феске (домашний костюм), г. М-ч, проговорил:

– Да человек может быть подкуплен, *совершенно не подозревая об этом.*

Перед этим он рассказывал о речах одного депутата Г. Думы, – о частных речах, в вагоне, – яро-левого, и который высказывался в таком тоне, как бы он в России никогда не жил, России не видал, а сердце и ум его вечно блуждали где-то между берегами реки Шпрее и реки Сены.

Меня взволновали эти слова. Я стал размышлять. Слушал еще речи о «левых направлениях» в обществе и печати и стал приходиться к заключению.

В самом деле – так. Людей давным-давно «продают» и «покупают», как вещь, как бездушный товар, совершенно не считаясь с их душою, а принимая во внимание, что он «чиновник такого-то министерства», и даже – «крупный», – сотрудник такой-то «газеты», и даже «видной», – что он – писатель, профессор, академик. А он все еще считает себя «честно мыслящим», «свободною птицею» и «делающим прогресс в России».

К «честно мыслящему» разве можно подойти со взяткою? Старая манера. Это прежде «порох дымил», теперь есть «бездымный порох». Человек окружается «совершенно бездымною лестью», он чувствует, что все его видят, на него смотрят, от него ожидают, на его мнения и главное на его слова ссылаются там-то и там-то, имя его сперва упоминается, а потом и трещит по газетным столбцам, и все с эпитетами – «наш почтенный академик», «всем известный ученый», «один из наиболее энергичных общественных деятелей». Кто упоминает его? Безвестные перья, – упоминается он в никем не подписанных статьях...

«Все складывается благоприятно для него». И не только в сфере неощутимого мнения, но и совершенно осязаемых материальных благ. Долг не

страшен этому человеку, ибо он всегда имеет «кредит». Потеря службы ему – ничего, потому что ему немедленно будет предложена другая, лучшая служба. Невидимые руки, так же как и безвестные анонимы, несут его от успеха к успеху, и он просто «плывет», не делает, а – «плывет», – можно сказать: не «он плывет», а «его плывут», – до тех пор, когда и в громовых статейках, и в тусклых речонках, где-нибудь в собрании, на митинге, на банкете, где-нибудь в «Речи», «Дне» и «Биржовке», «наших уважаемых газетах», он изо дня в день повторяет:

– «В России жить нельзя»...

Или:

– «Так долее жить невозможно».

– «Не могу молчать!!» – «Если мы не будем говорить, камни завопят».

Мысль не очень сложная. Но сколько можно сделать комбинаций из этой мысли? Ведь говядину можно есть и как котлеты, и как суп, и как ростбиф. Помилуйте, «все кушанья из говядины».

Вдруг несчастный в особо глупый час своего существования проговорился:

– «А все-таки, какова ни на есть Русь, – я люблю ее».

Как Ренников. Как Меньшиков.

Провал. Безумный провал. Все цвета природы превращаются в черный. Черные розы. Черные тюльпаны. Глупому патриоту остается только стреляться:

– «Вы читали, что написал этот Н-боков. Он же теперь пишет, как Меньшиков».

– «Нет, гораздо хуже: как Ренников».

– «Этот свирепый националист даже говорит: «Мне не нравятся немецкие бакенбарды барона Х.» И что же ему «бакенбарды»? Пусть Н-боков ест свою стерлядь и Х. носит усы à la Kaiser Wilhelm»? «Всем равноправие».

На следующий день появляются статьи:

1) В «Дне»: «Что наш известный прогрессивный деятель Н-боков становится, как мы слышали, главным редактором «Земщины», на место слишком одряхлевшего Глинки».

2) И в «Биржовке»: «Что вперед выборщикам в Госуд. Думу надо быть осторожнее и не делать своими фаворитами таких неясных господ, как г. Н-боков».

3) В «Речи» больше не принимается его статей.

4) И Н-ский банк закрывает ему свой кредит.

Из «всеми уважаемого» он превращается в «никем не уважаемого». Это – человек-то, который всю жизнь жил одним и исключительно тщеславием.

А вы посчитайте, сколько на Руси живет людей «одним единственно и исключительно тщеславием».

Разве Толстого читают столько, сколько Вербицкую?

И разве Достоевский имеет в отечестве своем такой успех, как Нат Пинкертон?

И вот «немецкая партия готова». И вот барон Х. чувствует свою силу «среди свиного стада русских». Ах, бездымный порох стреляет гораздо дальше дымящего. «По-тре-оты своего отечества» все еще вооружены «кремневыми ружьями» сева­сто­польского образца. А теперь действует оружие со­всем иного рода.

Понюхает воздух и чувствуешь: все русское – проваливается.

Повернул голову и видишь: все немецкое и инородческое всплывает кверху.

А «как», «что» и «почему» – не видишь.

ОДНА ЛЕГЕНДА О МИНИНЕ И ПОЖАРСКОМ

В годы, когда все так напоминает эпоху трудов и пота, и страданий, и увенчания Смутного времени, – под водительством славных Минина, гражданина нижегородского, и князя Пожарского, – и в народе бродят легенды о них, – слухи и томные сны, всякое «брезженье» ума и воображения, – говорящие о сохраняющейся подземной связи веков. Одна питомица Нижегородского женского института благородных девиц и уроженка Нижегородской губернии, в настоящее время подвизающаяся на ученом поприще в Петрограде, пишет мне, как тоже питомцу нижегородской почтенной гимназии, следующую свою запись, относящуюся до живой памяти в Нижнем о Минине:

«Многоуважаемый В. В. Летом 1905 г., во время нашей внутренней неурядицы, я записала в Нижнем на базаре у подновской бабы, торгочки яблоками, Федосьи Прохоровой (помните, за Печерским монастырем есть село Подновье, которое занимается разведением яблочек и ими торгует по всему Поволжью), следующую легенду:

«Ноне, кажennую ночь, Минин с Пожарским являются простому народу. Ходят они вместе, рука об руку, по Замковой тропе и тихо, тихо беседуют, – только речей их никто слышать не может, кроме самых старых стариков, своим *землистым ухом*. Старики говорят, что слышно, что придется нам опять нести наши медные деньги на площадь».

Т. е. нам, нижегородцам и преимущественно старикам, придется снова «вызволить отечество из беды».

Ученый автор письма, – сама собиравшая, записывавшая и издававшая легенды о старинных замках во французской Бретани, прибавляет:

«До XVIII века *Замковая тропа* была единственным спуском к Волге, шедшим изнутри Нижегородского кремля», – и еще далее: «Посылаю вам эту легенду, – может быть, она кому-нибудь понадобится: ведь это замечательный исторический пережиток в современном народном творчестве».

Упомянутый в письме Печерский монастырь (в Нижнем его именуют просто «Печёры») – сейчас, как выйдешь из Нижнего, минутах в 40–50 ходьбы. Кто же в Нижнем не знает «Печёр»? А сейчас за ним, немного дальше, но уже под горою, прямо на берегу Волги – Подновье с яблоками и *особенно*

знаменитыми огурцами (парниковыми), которые, конечно, и до Москвы и до Питера доходят. Там-то, в гимназическую пору приходилось и жить, и шляться, и проказить. Все это высоко над Волгою, на высочайшем нагорном правом берегу ее. Сам прелестный женский институт, где в 70-х годах училась автор письма, Е. В. Б-ва, – расположен прямо к выходу «в Печёры», на берегу же Волги и где уже «не слышно шума городского». Все в этом уголке Нижнего тихо, величественно и красиво. Спасибо автору за легенду, которую с удовольствием прочтет вся Россия. Как хорошо это отмеченное у него выражение: «Слышат одни старики своим *землистым ухом*».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ НИГИЛИЗМ

День за днем, шаг за шагом, – полоска света присоединяется к полоске света или, наоборот, темная полоска присоединяется к темной полоске, – и глядишь через 20–30–40 лет слагается такое положение вещей, что хоть «кричи благим матом!» Совершенно никто у нас не заметил, совершенно никто *громко не выговорил*, что пропорционально идее «нерасторжимости брака» иначе, как по поводам в природе вовсе не существующим («прелюбодеяние на глазах свидетелей») и в теснейшей связи с этою идеею и в зависимости от нее – вкралась сперва незаметно, затем все росла и, наконец, теперь получила законодательное утверждение идея *фиктивного брака*; идея, что «брак есть – ничего»; что «в нем может что-то содержаться, например семья и дети, общая совместная жизнь и т. д., но – *может и ничего не содержаться*, ни – семьи, ни – детей, ни – общей жизни». Просто – «пустое место», – это брак-то, основной, жизненный институт? Просто – «солома, из которой *вымолочено все*», просто на вопрос: «дайте мне *пить*», – человеку подали пустой стакан, насмешливо или рассеянно проговаривая: «нате, *пейте!*» Или придвинули к вам, во время чая, деревянную тарелочку с красивой резьбой и надписью: «кушайте на здоровье хозяйки», – но «*на эту тарелочку ничего не положено*»... Вот вам и ши. Вот вам и дело. Вот вам и «мировой институт», охраняющий мировое здоровье.

Я держу в руках письмо, только что присланное по адресу редакции из Москвы:

«Москва. 10 мая 1916 г. Господину сотруднику «Новое время» В. Розанову. Прочитав с особенным интересом статью вашу, озаглавленную «Горе и дремота», – я признал полезным ознакомить вас с моим семейным положением, на случай, если это представит для вас интерес для дальнейших статей по столь серьезному, вопиющему к справедливости вопросу.

Именно: я был женат и имел в 1880 году *трех маленьких детей* (в письме – крупным прописным шрифтом, как центр дела). Жили мы с женой относительно хорошо; но в сказанном году жена моя поехала в Петербург; там познакомилась и влюбилась в известного в то время

итальянского певца; уехала за ним за границу и – с тех пор, более 30 лет, в Россию *не* возвращалась и поныне продолжает благополучно проживать, как мне известно, во Франции.

Ввиду изложенного, несколько лет тому назад, представив консистории *документальные* данные о том, что жена моя от меня сбежала и более с тех пор *в Россию* не возвращалась, – я просил о разводе меня.

В ответ получил уведомление от консистории, что для развода требуется, хотя бы *пятилетняя*, но *безвестная* отлучка; а так как я заявляю, что она жива и продолжает жить за границей, – то развод быть дан мне не может.

Признавая настоящий ответ консистории *сущей нелепостью*, я написал прошение в Синод; но и оттуда получил такой же нелепый ответ».

Прерву: да и Синод, и консистория дали ответ *по закону*, содержащемуся в «Уставе духовных консисторий». Что же они могли сделать более и иначе? Ничего. Ровно ничего. И Синод, и консистория есть исполнительная власть, а не законодательная. И вправе только повиноваться закону, а не выдумывать от себя. Иное дело – следующее:

Ввиду особо яркого, вопиющего к небу случая, консистория обязана была возбудить перед Синодом вопрос об отмене «чудовищной по нелепости» статьи «Устава духовных консисторий», – именно вычеркнуть из нее одно только слово «*безвестная*» (отлучка), так что статья бы читалась: «брак расторгается по причине пятилетней отлучки одного из супругов, вопреки воле другого супруга, – каковая отлучка продолжительностью своею явно свидетельствует о совершившейся измене мужа или жены, согласно общему состоянию человеческой природы, – при каком положении по слову Христа Спасителя брак должен быть расторгнут». Синод же, получив запрос консистории и видя, что «Устав духовных консисторий» действительно означенною статьею сводит брак к фикции и небытию, – вошел бы с ходатайством об означенной перемене на Высочайшее Имя, – и в ту пору возможной быстроты дела «чудовищная статья» была бы отменена и брак *фактически* спасен был бы. Да, но это случилось бы у живых людей, – не у *монахов*, которые *лично в браке не нуждаются* и им естественно «*все равно*»... Вот где *корень-то* и зло, что «*браком заведуют безбрачные*»...

«Тогда я просил одного моего знакомого лично передать мое всеподданнейшее прошение *Его Императорскому Величеству*, находящемуся в то время в Крыму. Как мне известно, *Его Величество*, ознакомившись с содержанием моего прошения, всецело разделил мое естественное желание и поручил переслать мое прошение к Саблеру для его исполнения. Но вскоре же я получил письмо того же «*Карлыча*», что Синод уже раньше рассматривал мое желание и признал, в силу изложенных причин, неисполнимым».

Все по форме и по закону, – и я скажу. Тут нечего говорить о «Карлыче» (кроме того, что ему «все равно», как и членам Синода, *исключительно в ту пору монахам*, которым тоже «все равно»). Так поступил бы всякий и «не» – «Карлыч»...

«Так я и остаюсь до сего времени связанным брачными узами со сбежавшей от меня законной супругой, скрывшейся из моего дома еще 30 лет тому назад!

Я не подписываю настоящее письмо своей фамилией, конечно, по понятной для вас причине (увы, все ведь такие несчастные считают себя «опозоренными»). – В. Р.).

С полным к вам уважением».

«Караул!» или «не караул»?.. Конечно – «караул». 30 лет муки, стыда!!.. Одиночество, бессемейность! Принудительное сиротство детей! 30 лет *неодолимо* он ругается браку, смеется над «нашим браком – фикцией». Над «нашим браком – соломою без зерна», 30 лет он советует «никому не вступать в брак», ибо это – «лотерея с одними проигрышами», и словесно и всячески, словесно и своим примером, *разрушает идею брака в целой стране, в нашей России*. Вот где разрушается-то брак, он разрушается *самым делом*, а не разговорами и анекдотами, и разрушает его Синод благочестивым «неделанием», безучастием, равнодушием к семейным людям, к их справедливейшим жалобам, к явным их слезам и мольбам.

И тут не хватает краткого слова, которое облетело бы Россию:

– Да, это брак по Чернышевскому. «Устав духовных консисторий», введением слов о «*безвестной отлучке*» – утвердил законность «известной отлучки», утвердил бегство от мужей их жен, бегство мужей от жен, «безнаказанное», «правое»...

«Другая и невинная сторона пусть не женится, а запрещено. А ты, законная жена – беги с любовником куда знаешь». Это в законе?! Да, читатель, в законе!

Чер-р-т зна-ет что-о-о-о!!

* * *

А в сущности ведь «и ожидать было можно». Нигилист-журналист 60 годов сошелся с монахом в суждении о семье и браке, ибо ведь нельзя же отрицать, что именно в отношении брака, его одного и его только, монах есть естественный нигилист. Смотри тезис иеромонаха Иллариона, профессора Московской духовной академии, с приведения которого я начал свои статьи о разводе: «Род человеческий *уже достаточно размножился*; и семьи, брака и детей – теперь *не нужно*». Так думал и Чернышевский. Оба молчаливо согласившись, что «будут маленькие удовольствия».

«ОБМЫЗГАННАЯ РУСЬ» И ЕЕ БЛЕСТЯЩИЕ ЛИТЕРАТОРЫ

А право, есть какой-то садизм в печати, когда обстоятельства складываются благоприятно в смысле «изругать Россию». Тогда я напрасно порицаю кн. Е. Н. Трубецкого за его «надаживания» и в Петрограде и в Москве. Что делать – «тяга в трубу». Всех влечет, все хотят. И «хочет» старинный князь.

Читаю «Биржев. Вед.». «Маленький фельетон. Вприсоску» (??). А вот – и «Розановщина». «Вприсоску» не прочел, но о себе как не прочитать. Г-н «Лукиан», выписав всю цитату из Мережковского о «заплюзганной и прощальной России», говорит, что она, конечно, – такова. Он говорит, что ему «больно и грустно» (вряд ли) всякий раз, когда он попадает, например, в уголок Васильевского острова, где стоит облезлое здание биржи, нелепое здание университета и отвратительное здание Академии Наук, – и все это уродливо над «царственным течением Невы». Ну, что же: зато, вероятно, он любит, не налюбуется зданием «в греческом стиле» Азовско-Донского банка на Морской. Биржа и этот уголок Невы, я помню, воспроизводился в «Мире Искусства», – а там были художники, и они знали, что красиво и некрасиво. Вот Азовско-Донской банк, несмотря на его «греческую красоту», Дягилев, Серов и другие художники едва ли бы воспроизвели.

Вообще есть что-то красивое, русско-красивое, что наша казна не гордится обставляться новыми зданиями с «греческими украшениями», а живет себе в старых почти что (сравнительно с банками) хибарочках. Это хорошо, потому что скромно, потому что не очень видно. Не Пушкин ли взял к «Евгению Онегину» эпитафию: «О, русь», «О, Русь!» Т. е. Русь – деревня. И нам в ней привольно и хорошо.

Не нахвалится Лукиан Трубецким и не наругается Розановым. «В. В. Розанов и кн. Е. Н. Трубецкой... Это дальше, чем Смердяков от Ив. Карамазова». Ну, пусть я Смердяков, но отчего кн. Е. Н. Трубецкой – Иван Карамазов?

Это похоже на «вприсоску», т. е. совершенно непонятно. Кн. Е. Н. Трубецкой – человек корректный, европейский, убийствами не занимается и всегда вымыт самым лучшим мылом. Он к тому же весь виден и прозрачен, как стеклянный шар, и, кажется, не содержит в себе никакого секрета. А ведь Ив. Карамазов был с «секретом».

Что выдумал обо мне Лукиан: что я пишу «в халате» (никогда и не заводил), что у меня по столу бегают русские тараканы (к тараканам слаб, – люблю), что у меня главный друг – «Вера Чеберячка» (киевский процесс), что я только подражаю Достоевскому и вообще вне Достоевского – Розанова нет». Столько казней и за одну вину, – что считаешь Россию. Но я оказываюсь даже хуже и этого; все мои вкусы и тяготения идут «от Кузнечного переулка, от грязных и типично петербургских улиц, которые между Сенной и Пятью углами. Затхлый, спертый воздух, заношенное платье, темные, осклизлые, вонючие лестницы и... острое, болезненное и извращенное любопытство к тайнам пола. В этой клинике», и т. д.

Откуда такое знакомство с моей личностью и биографией. Я умываюсь мылом от Брокера, правда не дорогим, у меня есть зубная щетка, и пью чай и кофе я не с солевой свечкой, как полагается «по-тре-оту», а с сахаром. Вообще, самый обычный буржуа, бывший чиновник. Все признаки хорошего поведения и порядочного тона. Ведь словами о Кузнечном пер. и Сенной и «тайнах пола» благородный сотрудник намекает своим благородным читателям, что мир быта моего и моей психологии – проститутки и их трушобы. Ну, не прав ли я был, сказав, что «по-тре-оту в России» всегда грозит носить отрезанное ухо. Но я читал когда-то, что Сократ советовал: «Лучше тебе пусть отрежут ухо, чем ты – другому». Впрочем, предшественники Лукиана и кн. Е. Н. Трубецкого тоже резали ухо «ракалиям-славянофилам», так что и в сем случае оба, и Лукиан, и Трубецкой, летят «в общую трубу».

А и широка ты, труба-матушка, и дымна. Лукиан рад соседству кн. Трубецкого. Он пишет патетично: «С кн. Трубецким можно спорить, можно не соглашаться, но кто же усомнится в его исключительном благородстве, в его безусловной искренности и правдивости». Вот что значит изругать отечество. «Тогда как Розанов» и т. д. Ну, мы тоже знаем, что бывает тому, кто упирается ненавидеть Россию.

Князь, потершись фракком должно быть о рабочий пиджак Лукиана, скажет: «Samrad, хотя я вас и не вижу, но чувствую, как из всего вашего существа сочится благородство. Руку...»

И протянет вниз руку. Тут Лукиану нужно быть осторожным и не целовать ее. А то взаимная их «вприсоску» выйдет наружу.

ПИСЬМА А. П. ЧЕХОВА

Под редакцию М. П. Чеховой. Том VI.
Москва, 1916 г.

Шестым томом заканчивается издание писем покойного А. П. Чехова. И нельзя не признать, что любящая рука сестры писателя, почтенной Марии Павловны Чеховой, положила этим изданием на надгробный памятник брата поистине золотой венок. Ничего не может быть белее документального, ничего не может появиться более подробного для описания в разъяснения личности успешного любимца русского общества, как эти шесть томов. Около них почти не требуется руки биографа, почти не требуется и комментариев. Сам Антон Павлович как бы из гроба передает читателям письменные памятки о всех переживаниях своих, – даже о тех, какие и он сам позабыл вскоре же после того, как их пережил, но которые, благодаря письмам его, сохранились у адресатов этих писем, и теперь они собраны все воедино; и, можно сказать, читатели и любители Чехова получили возможность судить о нем лучше, полнее и даже доказательнее, чем он сам мог бы им рассказать о себе и разъяснить себя. Он многое забывал, – он, даже встав из гроба и оживившись, завольно-

вался бы самою задачею «рассказать о себе» и рассказывал бы именно под действием этого волнения, во всяком случае – в настроении этой определенной одной минуты: теперь же как бы таинственный фонограф из гроба доносит его спокойные речи, его смешок, его улыбки и раздражения за целую его жизнь, и мы все это слышим в серии чередующихся лет, разных возрастов, «до болезни», «во время болезни» и «незадолго до смерти». Да, письма... в сущности, это единственная правомерная биография и автобиография.

Кем же был Чехов? И почему его так особенно и исключительно любят? Нужно заметить, что «шесть томов писем» удивительно хорошо закруглили, закончили и укрепили эту любовь. «Письма Чехова» в течение последнего ряда лет давали повод всем журналам и всем газетам возможность и повод «поговорить еще раз о Чехове», и он в «текущей журналистике» был наиболее, таким образом, «живым лицом», хотя на самом деле он уже умер. Все это сложилось очень благоприятно, и нельзя не сказать литературно: «счастливым Чехов».

В нем общество полюбило себя и увенчало себя. Наше «интеллигентное общество» с его бурями, с его неудачами, с его нервозностью и раздражениями, с его устремлениями «вдаль» и «куда-то»... Тургенев, Гончаров и Писемский, люди 50-х и 60-х годов, ярко помнившие крепостное время, жившие под давлением этого права или под впечатлением, что оно «недавно еще было», – что они, в сущности, имеют общего с нами? – Ничего. С другой стороны, Достоевский и Толстой слишком гениальны и обособлены, слишком «не как все», – и читательская масса могла ими увлекаться, могла за ними следовать или, наоборот, враждовать с ними, – но она непрерывно их чувствовала вне «себя», не с «собою». Короленко и Горький слишком партийны и частны, слишком политичны. Только Чехов, именно Чехов один, был «со всеми» и «как все», но – в идеализированной форме. Интеллигенция в праве указать на него, почти сказав: «Вот – я. Если хотите судить меня – судите о Чехове. Если хотите осудить меня – осудите тоже Чехова». Понятная огромная и исключительная его популярность. «Человек своей эпохи»...

Портрет Чехова, вот как он «смотрит на вас» через пенснэ со шнурочком – есть портрет опять-таки скорее читателя, чем писателя. Он взят, он «снят» как бы в разговоре с вами, скорее – в разговоре в целой компании подобных «вам», читателю, людей... О чем разговор? О всех и всяких житейских делах, но и о делах тоже не житейских и мечтательных, где как-то «дело Дрейфуса» мешается с тем, «кто у нас министром», и очень скоро переползает к более близкому предмету, что «мы все прочитали вчера» в газетах и журналах. Лицо как-то без «утверждения» и без «отрицания», но как бы «в плавании» между довольно неясными берегами, мимо которых можно и проплыть, и можно к ним и пристать, и на которых, может быть, «мы что-нибудь найдем», а может быть, и «ничего не найдем»... Если взять лицо Тургенева, Толстого, не говоря уже о таких «повелительных» фигурах, как старый Карамзин, – то мы будем поражены, до чего чеховское лицо около них кажется именно читательским лицом, а не писательским лицом. Писатель – старый, новый, все

равно – это всегда огромная программа, огромный в сущности «путь», выраженный в мелочных чертах лица, в постановке фигуры, в посадке фигуры. Писатель – это действительно есть «столб» общества; ибо и в самом деле ведь общество базируется на небольшой группе «современных писателей», получая от них источники мысли и возбуждения. Вот этого «столба общества», выраженного в Карамзине, в Крылове, в Грановском, в Кавелине, в Тургеневе, в Толстом, – совершенно не чувствуется в Чехове. На портрете и всех своих портретах он выражен как бы слушающим, а даже не говорящим; слушающим – «что говорят все», и слушатель этот – умный, наблюдательный, но немного безвольный и даже немного равнодушный, «который потом опишет всех разговаривавших» и даст о них свои «примечания»... Но он слишком приватный человек или слишком бессильный, – может быть, отчасти и ленивый, отчасти и индифферентный, – и от этого не очень вникает в тему, с мыслью: «Э, все темы – пройдут, а люди все-таки останутся».

И вот этот житейский человек, которому случилось быть большим художником, – начал описывать, «о чем говорят люди», а затем – какие бывают и случаются люди и что с ними тоже «бывает» и «случается». А почему «случается» или почему, наоборот, «не случается вовсе другое» – «это кто же разберет». Художнику даже мало до этого дела. Он артист и интеллигент.

Он все «понимает», но он всему мало в сущности «сочувствует». Сочувствует не горячо, а «с ленцой», «по-русски». «Что же от нас может зависеть? Мы не люди власти». Бессильному какая роль? – описывай, размышляй. «Что же, если мы родились в такой истории?» – «Но будет лучше все?» – «О, разумеется», – подтягивал баском Антон Павлыч компании. Не представляя, однако, ясно, «как же это будет лучше» и «когда именно». Не представляя и в тайне вещей не интересуясь: «Разве же мы делаем историю».

Плывут берега и плывет лодочка. Можно пристать и можно не пристать. «Что там такое?» – «Ну, что там разговаривать... Плыдем и куда-нибудь приплывем». «Разумеется, к лучшему» (басом Антон Павлыч). В сущности, в Чехове было много умного и тонкого Крылова, но необыкновенно изящной и тонкой чеканки. Только тот лежал, а этот уже сидел. И оба писали, хлопотали.

«Россией все-таки управляют министры. Ничего не поделаешь. Скверно – но ничего не поделаешь». А в тайне вещей – даже и хорошо: «нам больше досуга». «Притом же в этом положении мы сможем ругать министров»: удобство, недостижимое для «управляющего». При бесталанности – это мучительное положение: но если талант? Если такой пассивный талант, как писательство? Тем – множество, ответственности – никакой. Собственное, это принудительное бездействие при «старом строе» и создало золотой век литературы «старого строя». И если писатели вообще «сердились на него», то это было только к еще большему «обогащению тем», и без того бесконечных.

По профессии и выучке Антон П. Чехов был врачом, т. е. он получил то профессионально-практическое образование, зовущее к «наблюдению больного», и именно – к наблюдению его тела, одного только тела, – и к быстрому выбору и соображению «врачующих медикаментов», – причем врачу «ме-

тафизика просто на ум не приходит». Биология, наука «о жизни», есть кладь метафизики и вечно бьющий ключ ее. Поэтому такие люди, как Бишá, Кювье, Клод Бернар, как Пастер, – были и метафизиками, и философами, и религиозными людьми. Но ближайшая прикладная к биологии наука, которая берет из биологии только выводы и практически применяет их, есть неодолимо-материалистическая наука или, точнее, – неодолимо-практическая профессия. И медики всегда были пропагандистами грубейшего и самого элементарного материализма. Это было бы изъясном в Антоне Павловиче среди более утонченного общества: но русское общество в эпоху, сейчас же следовавшую за победою «над крепостным правом», с памятливыми этапами этой победы, т. е. со всею литературую 60-х годов, и не было способно к восприятию сколько-нибудь менее грубой философии. И здесь Чехов совершенно пришелся «по плечу» обществу, а общество оказалось «как раз приготовленным» к принятию Чехова. «Вот этот уже и выдающийся человек, признанный талант – совсем как мы и ни в одной йоте не расходится с нами в убеждениях». У Чехова были довольно строгие родители купеческого звания, – и они попросту и без рассуждений брали «маленького Антошу» с собою в церковь, к службам. И, удивительная и несчастная вещь: единственные эти долгие стояния в церкви, т. е. память одних усталых ног, одна только усталость – сохранилась в его памяти на всю жизнь от церкви. И еще такие чисто внешние вещи, как колокольный звон по праздникам, что-нибудь вроде «кулича» к Пасхе, и не более, не углубленнее.

Во всяком случае в университете преподавание исторических наук и преподавание всемирной литературы не поддержало в нем этих чахлах воспоминаний детства. И огромный изъян его «Писем» заключается в том, что все метафизическое, мистическое и религиозное до такой степени отсутствует в них, что на этом месте видишь какую-то зияющую дыру. «Меня мучает мысль о смерти Толстого. Я вообще – неверующий человек; но чувствую, что из всех вер толстовство мне все-таки понятнее всего прочего», – пишет он в одном письме к Меньшикову. И здесь опять он очень совпал с обществом. Обществу очень было бы трудно воспринять что-нибудь религиозное от Чехова; но эту «пустую дыру» оно усваивало быстро и легко, опять с отрадою говоря: «Вот и Чехов, такой тонкий писатель, думает то же самое, что я».

Таким образом, необыкновенная усвоимость Чехова, усвоимость его «сразу», сделалась причиною его необыкновенной популярности. И сюда прибавлялся – идеализм. Как фигура, лицо и посадка Чехова есть фигура изящного обыкновенного человека, без своего «угла» в душе, без всякого решительно своего «уединенного», так точно писательский облик Чехова есть облик обыкновенного интеллигентного человека, но всюду закругляющийся «к лучшему», «к идеальному». Прежде всего у него отсутствует все грубое; прежде всего у него нет ни одной неделикатной строки. Но этого мало. На всех письмах его лежит отсвет необязательной мечты; мечты, из которой, правда, ничего не выходит, но которая все-таки есть мечта. Наше бессильное и обессиленное общество опять же могло ссылаться: «Я мечтаю,

как и Чехов», как его «три сестры», как его «дядя Ваня», и все эти безвольные, тусклые, но милые персонажи.

Красота бессилия – вот что нам дал Чехов, что он, в сущности, всю жизнь рисовал. Красота без стрелы, без боли, медленно потухающая... Кажется, уголек вот-вот погас или погасил в печке обугленные листы брошенной в нее бумаги: но вы подули, и вдруг мертвое оживилось снова и переливает пламенем, то красным, то синим. Так Чехов рисует, в сущности, везде «мертвую Русь», которая под дуновением его живительного таланта еще вспыхивает.

– Для чего?

– Чтобы «Художественный театр» играл и чтобы страницы журналов и газет печатались...

«Та была повесть не очень удачна, но эта – гораздо лучше».

В сущности, к этому résumé сводится его переписка и в этом главным образом состоит содержание его писем.

Они до странности бестемны и бестревожны. Каждому автору случается получать много писем; и вот эти письма из «гущи народной» – насколько они более содержательны этой «литературной корреспонденции», где ни из одной страницы не закричит нестерпимо «проклятый вопрос», где вообще нет «неразрешимых вопросов». И тут действительно нужно много отнести к его образованию. Медицинская, инженерная и техническая практика – это действительно нижний ярус образования, это область «дельцов», но уже слишком не мыслителей. Даже тот круг волнений, которыми, например, сплоновался филолог-Белинский, все-таки неизмеримо шире, глубже и интереснее, нежели вся сумма волнений медика-Чехова; хотя насколько же раньше жил Белинский, насколько эпоха Чехова была неизмеримо зреее. Повторяю, письма совершенно частных, безвестных лиц из гущи народной, если они написаны к писателю с философскими и с религиозными темами, – неизмеримо выше областью созерцания, нежели письма Чехова. Человеку с историческим образованием письма Чехова просто кажутся бессодержательными, неинтересными. «Ни одного великого обсуждения», «ни одного мучительного вопроса»: это – в шести томах!

Но русский человек, русский пейзаж, русская судьба – ему всегда милы. Хочется сказать упрек: Чехов успокаивает человека на малом. На слишком малом и, увы, успокаивает слишком чистосердечно. «В Ялте тяжелых туберкулезных больных не пускают в гостиницы, вместе с тем не пускают и на частные квартиры. Положение отчаянное – и именно самых тяжелых больных: они просто остаются на улице, при средствах даже, при деньгах». Можно с ума сойти, можно кричать неделю. Да, но не Антону Павловичу кричать: следующее его письмо уже касается совершенно других тем, «например, Художественного театра в Москве». «Русские люди все-таки очень милые», и как к западу от них, так и к востоку от них (он пишет о Кавказе) живут гораздо худшие и даже вовсе «несносные люди». – «Отчего так?» Антон Павлыч говорит о малой причине: Там не найдешь ни «милрой актрисы», как он все время, без имени и без отчества, называет свою невесту и будущую жену,

г-жу Книппер, ни «трех сестер», вздыхающих из провинции по Москве, ни – «дяди Вани». К тому же ни на запад, ни на восток нет наших милых «вишневых садов». Тут есть маленький эгоизм. «Как хотите – я все-таки есть центр вселенной. И раз мне нравится вишневый сад, а не пальмы, то уж пусть вся планета вертится около вишневого сада».

Чехов убаюкивал русского человека на безвременье, и он успокаивал его на беспутнице. Время было тусклое, да и путей никаких видно не было. «Но все-таки мы русские» и «славные люди». – «Вот не волнуются же ни Станиславский, ни Влад. Ив. Немирович-Данченко. Отчего же буду волноваться я?» Все видят, что действительно на редкость милая и художественная компания, и у всех как-то отлегает от сердца. – «В самом деле, можно жить. Чего же мы все так кукуемся? Вовсе не кукуиться – нельзя, – на то мы русские люди: но на сердце у нас не так плохо, как показывают наши физиономии. «Вот и Марья Леонардовна тоже скажет».

Марья Леонардовна, «милая актриса», грациозно подтверждала это со сцены.

Так тянулась жизнь. Пока одному из них пришлось умереть. Умерший – это наш старый любимец «Антоша Чехонте».

ДУХОВЕНСТВО НА НАРОДНОЙ СЛУЖБЕ

Не так часто, хотя, может быть, и не так редко, попадают у нас *героические священники*. . . Живет себе на селе где-нибудь, а то в уездном городе, – наконец в городе губернском и даже в Москве, в Киеве, в Петрограде: и терпеливо, стойко, другой раз лет тридцать, сорок, близко к полувеку работает и работает, не покладая рук, учит, наставляет, угрожает (батюшка должен быть иногда и «грозен», а слащав он никогда не должен быть), обучает детей «закону Божию», тому же учит и мужиков, и баб, – простирает взор и вдаль, даже в столицу, – и туда или хмурит брови на «непорядки», или радуется при виде доброго дела. О таких случаях «по мелочам» слышишь множество, и удивительно, как они поддерживают дух «к героизму». Так, когда умер здешний священник Косухин, ко мне обратилась с просьбой дочь знаменитого нашего академика Якова Карловича Грота – поддержать в печати брошюру, написанную ею о жизни и незаметном подвиге этого тихого священника. Она говорила о нем с такой бесконечной любовью, с таким бесконечным уважением, что слушать было и трогательно и восторженно. «Я знала его, я знала его. . . Мы – в его приходе». А что он ей, старый, изнеможенный? О другом священнике, где-то в Гаграх или Сочи, – словом, в «курорте», мне пришлось слышать от молодого человека, приехавшего туда умирать от горловой чахотки. «Да что лекарства. Меня вылечили не лекарства, а батюшка. . .» (имя я забыл). «Он прежде был присяжным поверенным, но отказался, – переучился и надел рясу. Говорит очень хорошо, но *никогда не говорит проповедей*. «Не хочу, грех, по старой привычке войти в красноречие, а это священнику не подоба-

ет). Ну что такому скажешь, кроме как расцелуешь его или «по православному» поцелуешь руку. Еще лет восемь назад меня посетил священник Новгородской губернии: он просил литературно поддержать его мысль – «оздоровить и здоровым способом культивировать крестьянство через воспитание *крестьянских девочек*, т. е. будущих матерей семейства, посредством обучения их самым делом, показом и привычкою началам домоводства, гигиены и всякой хозяйственности», – «от собственных детей начиная и даже до скота и до ржаного поля». Я прямо ахнул: так естественно! Ни министерству просвещения с его «школьной сетью», ни синодским церковно-приходским школам на ум не пришло, что, конечно, «деревенское обучение» должно начинаться с мыла и умыванья, – с разъяснения: «какой грех воровать чужие яблоки», с знания, что дать новорожденному ребенку в случае «колик живота» (мучительная боль, ребенок кричит день и ночь, а помощь – не надо проще: не давать груди ребенку иначе как через два часа после предыдущего кормления, ибо колики происходят от непереваривания еще бессильным желудком масс принятого молока). И прочее в том роде: «как убрать избу», как «экономнее испечь хлебы». Так правильно, ясно и домоводственно! Конечно, «сельское», да и городское элементарное обучение должно начинаться с практического, *показом и примерам*, обучения некоторому маленькому «домострою», домоводству, огородничеству, плодоводству, – как, что и когда садить, какой есть для чего «струмент» (инструмент), и прочее тому подобное, а не из «программы до геометрии включительно», которая *отделяет* крестьянина от земли, – а не *разъясняет* крестьянину «землю» и не облегчает крестьянину жизнь на его земле.

Так просто. Я ахнул. И, сколько было в силах, – поддержал доброго священника в его начинании. Увы, он, еще молодой совсем, скоропостижно умер, и затем министерство просвещения начало продолжать свою «школьную сеть».

Пишу к тому случаю, что на этой Страстной неделе, т. е. совсем недавно, пришел ко мне брат нашего уважаемого протопресвитера духовного ведомства, отца Г. Шавельского, – тоже сам священник, и просил поддержки одному, нельзя сказать чтобы не героическому подвигу казацкого священника: именно, *живя в Донской области, в станице Алексеево-Леоново*, некий священник В. Ремизов задумал издавать, печатая в *Сергиевском посаде, Московской губернии*, под духовною цензурою епископа Феодора, ректора Московской духовной академии, пятирублевый журнал: «Православный народный листок»... который, увы, готов закрыться за неподдержкой публикою, т. е. уже за неподдержкой самими же батюшками. «Что же я буду делать, – сказал я в бессилии, – журнал не читают, значит, не нравится». – Журнал не знают, – ответил он мне, – а журнал хороший. Вот я оставляю годовой набор номеров». Прочел... т. е. многие части в журнале прочел: и вижу – все работа около земли, около хлебов, и с насыщением хорошим духовным хлебом. Да за последним смотрит строгий отец-ректор Феодор (он строгий и даже не без суровости, судя по его кратким и всегда выразительным ре-

чам к наставникам и учащимся академии, печатаемым изредка в «Богословском Вестнике»).

Журнал именно священнический и даже частнее – именно журнал сельского пастыря, с богатой личной инициативой, со своим тоном, и без всякого вейния и оттенка «духовного ведомства» и пресловутых его «консисторий». Ничего «ведомственного», официального, – и, может быть, потому-то духовенство и не читает, что это «служебно не нужно». Ах, пастыри: нива Христова – не официальная служба. Да и не того от вас ждет народ. Для народа, для населения, – вся церковь в местном батюшке, и образ церкви, и самый даже идеал ее им усваивается единственно через образ местного батюшки и через взаимодействие с ним. Так это есть еще при темной народной и так еще долго останется, что и о христианстве и даже о самом лике Христовом народ может судить только по тому, «каковы ученики». Жестокосерд священник, груб, корыстолюбив – ну, это и есть «Ренан народный», разрушающий веру почище того французского Ренана. Это и есть «вольтерианство в деревне», оставляющее вокруг себя одни издевательства над христианством, над всякою святынею. Вот какое дело, и больше и хуже его нет в плохом случае, а в хорошем случае нет его чище и светлее.

Печать и печатное объединение – великая сила. «Читаем один журнал» – и как-то «у всех один дух». Единитесь же, батюшки, – единитесь не митроносно, а деревенски. Плечом к плечу – это хорошо. Отраднее будет работать, слыша «оттуда и отсюда хорошие вести».

Ну, а теперь – последний штрих усталого пера: член Государственного Совета, наш знаменитый профессор Владимир Иванович Герье просил меня обратить внимание на книжку, написанную хотя и в форме рассказов, но рассказов все деловых и основанных на огромном материале личного знакомства с деревенскою жизнью молодой писательницы, дочери сельского священника, находящейся в замужестве за интеллигентом – что-то вроде «судебного стряпчего по крестьянским делам», которая и из деловых рассказов мужа, и из своих наблюдений вынесла крайне ценные наблюдения; он прибавил: «наблюдения, имеющие государственное значение». Автор – высшего (университетского) образования, труд – уже не первый: первый же ее труд по какому-то нелепому недоразумению был уничтожен московскою цензурою, так как описывал время нашей смуты из поры московского революционного восстания. Сам автор, скорее консерватор, и, словом, отзвываясь Герье ручается за направление; но – цензура «не разобрала» и уничтожила полезнейшую книгу.

Новая книга этого автора, г-жи А. И. Воиновой-Дандуровой, называется «Ника», и эпиграфом взят перевод этого же заглавия: «Сим победиши». Издана в очень ограниченном количестве экземпляров (что-то несколько сот, менее тысячи), и пока – в виде первой части, за которою последуют продолжения.

Я прочитал и только пожалел, что «мало». Редкое впечатление ныне от книги, когда печатается столько пустоты. Но стало понятно, почему она из-

брала беллетристическую форму: ее манит к пейзажу, к «сценке за околицей», ее манят народные характеры, интеллигентные характеры, ее интересует «целая судьба человека», и вообще «судьба отечества» для нее и невыразима иначе, чем в «судьбе людей». А мысль, а тезис, а наблюдение? Да все это можно сказать в повести еще ярче и памятнее, ярче и впечатлительнее, нежели в журнальной статье «со статистикой», или в книге «с политической экономией».

Но среди сцен, характеров золотой нитью вьется мысль автора «о русской земле», увы – не в цветном сарафане «с кисточками», а в нужде, горе, в великом неубранстве земли... кроме того, что все-таки ее красит прекрасный человек. Иногда и изредка красит. Не без красоты она и у автора. Но все затянула великая печаль неубранства, какой-то беспризорности. И хочется книжку назвать – «Жалоба Петрограду на Петроград».

Нужно бы написать фельетон. Может быть, кто-нибудь напишет. А мои силы, увы, – только уже «указать». Спасибо автору. Он в самом деле сделал народно-государственное дело. И опять (об авторе) – из духовенства, и даже на этот раз – из интеллигенции. Но это уже не болтающая городская интеллигенция, а интеллигентка, припавшая грудью, женскою и любящею, к земле.

Позволим себе очень и очень указать на нее именно *государственным* людям; собственно – она есть обращение к ним. «Рядового интеллигентного читателя» она почти обходит. «Это уж вам не Вербицкая»...

Только издана-то она все-таки в «век Вербицких» и найдет ли себе ухо – неведомо.

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА» И ЕЕ «ОПЫТЫ НАД ЛЮБОВЬЮ»

Пушкин когда-то написал с печалью:

Любви не женщина нас учит,
Но первый пакостный роман...

Увы, роль «пакостного романа» вот уже много лет пытается взять на себя педагогика, девица старая, скромная, несоблазненная и от которой, кажется, все отворачиваются. Эту «не соответствующую возрасту и положению роль она пытается выполнить в предупреждение полового развращения учеников и учениц через неосторожные разговоры с прислугою и товарищами, разъясняя на уроках «деторождение». Хотя непонятно, что же она на уроках будет делать, как не сообщать ученикам то же самое, что они узнают от прислуги или товарищей, – но уже будет сообщать в мундире и всем педагогическом ореоле. «Пакость» таких сообщений, учебных или товарищеских, заключается в том, что там и здесь будет выкинута именно «любовь», именно ее благородный и чистый огонь, который *единственно* и морализует деторождение. Слова Пушкина – истинны и вечны. *Природному мы должны научиться природно*, из самой природы, из самого дела, – когда настанет его пора. А не

научаться из *порочных романов, порочных разговоров, порочной педагогики*. От этой общей темы перейдем к ее частностям.

Ныне действительный статский советник А. П. Нечаев, глава и вождь «экспериментальной педагогики» в России, тоже приложил свое старание сюда, – и именно на почве «экспериментов». Родители испуганы? Подростки смущены? О, не бойтесь! А. П. Нечаев ни с кем не целуется и не учит никого целоваться. Вообще чин и должность гарантируют в данном случае от несчастья. Но... он занимается чем-то глупым и пошлым педагогически. Послушайте, как он сам рассказывает о себе и своих «экспериментах» в специальном журнале «Русская Школа».

«Учащимся предлагалось, выслушав данное им слово, – исходный пункт предлагаемой ассоциации идей, – сейчас же написать первое слово, которое будет вызвано в их сознании по ассоциации с этим словом... и вот между словами были даны учащимся, 210 мальчикам и девочкам в возрасте от 10 до 16 лет, каждого пола и возраста почти поровну, из десяти областей».

Опускаем восемь областей и остановимся на двух:

«9) Эротические переживания. Исходные пункты ассоциаций: *ревность, нежность, страсть, поцелуй*; 10) общественные и государственные отношения... Полученные от учащихся (и десяти лет!!!) ответные листочки с ученическими ассоциациями были экспериментатором подразделены на три категории: ассоциации внешнего характера, содержащие в себе указания на ощущение или на название предметов; например, при исходном пункте «лес» – ассоциация: «зеленый», «шумный», «дачный», «дядин»; 2) ассоциации эмоционального характера: например, «лес» – «приятный», «мрачный» и т. д.; 3) ассоциации неопределенного характера, не вошедшие в первые две группы».

Ну, что же дала «эротика»?

Оказалось нечто благополучное для школ совместного обучения полов и неблагополучное для школ раздельного обучения полов. В самом деле:

«Ученики и ученицы раздельного обучения полов давали при задаче «поцелуй» – свои ассоциации: «жгучий», «приятный» (стр. 59 «Русской Школы»). Напротив, при совместном обучении даются преимущественно ассоциации внешнего характера. Но, например, на тему «ревность» и при совместном обучении отвечали: «слезы», «муж». На слово «любовь» при раздельном обучении реагировали ассоциациями: «ревность к девице», «целоваться», «любовник женщин», «влюбенный в одну», «страстный» (стр. 65); при совместном обучении: «мама», «детей».

Удивительно странный эксперимент, и удивительно странный экспериментатор. Он точно щипчиками вытаскивает из ученических голов «политические и любовные ассоциации». Кто же ему скажет их для его «опытов» и

для педагогической статьи в «Русской Школе»? Ведь это не теленок, у которого берут мозги, чтобы приготовить кушанье «из мозгов». А когда делают педагогическое кушанье из эротики, – не какой-нибудь вообще, а из «эротики» 16-летнего мальчика и 14-летней девочки, то я вообще не знаю, как это назвать, кроме как старческим он... вообще статских советников.

Что́ за пакость, – пакость с первого взгляда, не рассуждая! «Любовь в 14 лет», и о ней рассуждает 50-летний господин... Вспомнишь совет Фамусова:

...друг, для *таких прогулок*
Нельзя ль подальше выбрать закоулоч.

Между тем я с печалью узнал, что идеи «экспериментальной педагогики» берутся к самому серьезному вниманию нынешним министерством просвещения.

Если такие два действительные статские советника, как А. П. Нечаев и граф Игнатъев, «поговорят» между собою на педагогические темы, то просвещение в России двинется вперед с успешностью скачущих блох или скачущих кузнечиков.

«Вот и цикады поют в летнем зное, привлекая любовников»...

Нет. Хорошо бы «цикада»: а это стоит Нечаев, и ему поют о любви «экспериментируемые девицы и гимназисты». Очень мило и как раз во время войны.

ЕЩЕ – ПАМЯТИ РУССКОГО ИСТОРИКА

(О С. М. Соловьеве)

В Московском университете я застал С. М. Соловьева уже незадолго до его кончины. Он читал лекции в самой крошечной аудитории так называемого «нового здания», – именовавшейся у студентов и у сторожей, которые указывали новичкам-студентам, *где* каждая аудитория находится и *как* она называется, – «юридическою внизу». Это была плохо освещенная, небольшая комната первого этажа «нового здания», где-то на границах между юридическим факультетом и историко-филологическим; отсюда, вероятно, и происходит странное название «юридическая внизу».

Парты студенческие были странные, дикие, ни с чем не сообразные; явно еще «от времен Белинского». Именно они были многосаженной длины, каких не попадает еще нигде в учебных заведениях и какие могли строиться только до начала всякой гигиены и всякой педагогики. Они были черные, мрачные и все были покрыты «работой перочинного ножичка», вырезающего фигурки и имена.

С. М. Соловьев, хотя не был очень стар, но был совершенно белый, седой, – без единого темного волоса. Он казался утомленным, но не расслабленным. Слушателей было очень мало, как и весь наш историко-филологический факультет был самый малочисленный в университете, – хотя в актовых отчетах он неизменно произносился первым среди всех других факульте-

тов. И может быть, от этого среди историков и филологов было непоколебимое убеждение, что они суть самые важные слушатели университета, — занимаются самыми важными, ценными науками и призваны в стране играть самую первенствующую роль, хотя бы в скромной должности учителя гимназии. Мы все тихо и уверенно думали, что 1) денег не ищем, 2) карьеры не ищем, 3) но — самые добродетельные и умные (история, филология, древний мир, связь с Renaissance'ом).

Соловьев был весь спокойствие: это была его господствующая черта. Он садился на кафедру, к которой были вплотную придвинуты эти ужасные парты, — закрывал глаза (всегда и постоянно, на все время лекции, лишь иногда открывая их) и клал большую, белую, высокоаристократического сложения руку на «бордюрчик» кафедры, так что мы все время видели эту руку и эту седую, красивую голову.

Читал не громко и не тихо: средне. Помню его объяснение «перемены одежды при Петре Великом». «Это всем кажется пустяком и ненужным, — кажется *внешностью*; но это было не так, господа (к студентам)! Одежда всякая и всегда есть флаг, символ, знамя, — вокруг которого собираются, которое единит собою разрозненных людей в слитую массу. И Петру при задачах его реформы естественно было вырвать из рук врага это знамя и растоптать его ногами». Так как я никогда не читал и не слышал такого объяснения, то был удивлен.

Хорошее было время в смысле профессоров! Говоря нынешним языком старых историй, «тогда процветали в университете: С. М. Соловьев и сменивший его вскоре В. О. Ключевский, Вл. Ив. Герье, Ф. И. Буслаев, И. С. Тихонравов, Н. И. Стороженко, Ф. Е. Корш; и *dii minores** — П. Г. Виноградов, Г. А. Иванов (цицеронианец-классик). На математическом процветал Бредихин; на естественном — зоологи Богданов и Усов; на медицинском — Захарьин; на юридическом — Н. И. Зверев, М. М. Ковалевский, Боголепов и Муромцев.

И, украшая университет, украшали Россию. Слушатели не представлялись яркими, но между ними потом выдались государственно деятельностью и многими учеными трудами ныне благополучно ректорствующий в университете М. К. Любавский, товарищ обер-прокурора Н. Ч. Заиончковский, — и вблизи нашего курса, вперед или назад, были: историк русской литературы Н. А. Котляревский, А. И. Гучков, кн. П. Долгоруков и, кажется, около этого времени были два выдающиеся историка и теоретика философии, братья С. Н. Трубецкой и Е. Н. Трубецкой.

Пишу это под невольным впечатлением прекрасной, даже прекраснейшей статьи г. В. Л., посвященной памяти нашего незабвенного наставника. Статья его — золотой песок, просыпанный на могилу старца. Она удивительно *верна* и *точна* в мыслях и в тоне и во всем освещении, — скажу тоже старинным языком — «священной памяти великого историографа».

Господа, будем помнить стариков! Без этого нет истории и нет связи поколений.

* младшие боги (лат.).

А. Н. ШМИДТ И ЕЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ И ИДЕИ

Появилась в Москве чрезвычайно своеобразная книга: «Из рукописей А. Н. Шмидт. С письмами к ней Вл. Соловьева». О книге этой, до выхода ее, я слышал от одного хотя молодого, но чрезвычайно компетентного лица, как о «самом замечательном не только письменном произведении, но и религиозном феномене русской жизни за весь XIX век»; что А. Н. Шмидт – «правда, личность, отступающая от человеческой нормы и посему могущая показаться болезненною, а может быть, и в самом деле болезненная – однако силы ее, идеи ее и ценность этих идей – чрезвычайны, сверхнормальны». Сообщение это как по личности говорившего, так и по тону речи не оставляло сомнения, что дело идет о чем-то чрезвычайно важном; но в суете жизни и мелочей ее оно как-то потускнело во мне, забылось; я уже начинал думать, что самая «рукопись», читавшаяся и изучавшаяся в Москве, не вызывает более к себе прежнего энтузиазма и, может быть, даже пропало самое желание ее печатать, когда в нынешнем году, месяца два тому назад, мне неожиданно была прислана книга под приведенным выше заглавием. Ее подзаголовок: «О будущности. Третий завет. Из дневника. Письма». – Кто помнит пору «Религиозно-философских собраний» в Петрограде 1903–1904 года и вспоминает шумные и громоносные речи на них Д. С. Мережковского, тот не мог забыть его каких-то намекающих слов о «третьем завете», о какой-то полуоткрытой, но не открытой истине религиозного содержания, которая – как это ни мало вероятно, может, однако, стать наряду с первым заветом, данным Аврааму, Исааку, Иакову и Моисею и глаголевшим «в пророках», и с заветом вторым, который дан человечеству от Христа. Чрезвычайно неприятно и тяжело теперь узнать, что это был литературный плагиат без ссылки на источник. Но, по крайней мере, понятна та сторона в вещаниях Димитрия Сергеевича, что в них ничего нельзя было понять толком, и «третий завет» хоть во всех возбуждал любопытство, но никого не поразил, не испугал и остался каким-то шепотом в зале Географического общества у Чернышева моста, кажется даже не переходя на страницы «издававшегося при Димитрии Сергеевиче» «Нового Пути». Рукописи о третьем завете относятся по написанию к 1886 году и, будучи в руках лиц, несколько связанных с «Новым Путем», несомненно, были известны Мережковскому, ибо об этих рукописях и об их значительности не «таились». Именно в пору «Н. Пути» Мережковский неоднократно ездил в Москву и, конечно, имел общение с лицами, владевшими рукописями. Сама Шмидт умерла в 1905 году. В «Новом Пути» был даже напечатан отрывок из одного ее рассуждения. Итак, Мережковский мог узнать о рукописях Шмидт и об идее 3-го завета даже не от лиц, только имевших случай ознакомиться с этими рукописями, но и от самого автора их. Да и самое имя и идея – «третий завет» слишком характерны, новы и необычайны. Говорил о них Мережковский около 1903 года. Рукописи А. Н. Шмидт были уже написаны в 1886 году. Может ли быть сомнение, где мы имеем оригинал и где имеем повторение или, за неуказанием источника, – плагиат.

А. Н. Шмидт была нижегородская уроженка и хотя носила немецкую фамилию, но на самом деле была русская и родители ее были русскими и православными, – довольно крепкого и старого закала. Родившись здесь 30 июля 1851 года, она почти всю жизнь и провела в Нижнем; систематического школьного образования не получила, а училась дома, хотя позднее выдержала при тамошней мужской гимназии испытание на звание учительницы французского языка, и с 1873 г. по 1876 год преподавала французский язык в местной Марининской гимназии. Отец ее был юрист по образованию и профессии. Она была единственною у родителей дочерью, – и была с детства чрезвычайно способною. Осталась девушкою. Была некрасива. Умерла в 1905 году. По смерти отца жила постоянно при матери, – которая пережила свою дочь на пять лет. Вследствие потери средств к жизни А. Н. Шмидт добывала их тяжелым и, главное, хлопотливым личным трудом, состоя то секретаршей где-нибудь, то сотрудничая по мелочам в «Нижегородском Листке». По воспоминаниям, ее постоянно видели, в домах и на улицах, с ридикюлем, наполненным ее рукописями. Она, таким образом, постоянно носила их при себе. Умерла она от воспаления мозга. 6 января 1905 г., придя на губернское земское собрание, чтобы дать в местную газету отчет о нем, она почувствовала себя плохо. Позванные врачи определили у нее воспаление головного мозга. В течение почти двух месяцев она не открывала глаз и не приходила в сознание. Умерла 7 марта 1905 года и погребена в Нижнем.

Здесь же, в Нижнем, она имела и свои «откровения», о которых, как и о всей ее личности, издатели книги, – которых, кажется, несколько, и все это «соль Москвы» по образовательному и ученому уровню, – говорят в предисловии следующее:

«Хлопотливая и трудовая жизнь Анны Николаевны совершенно не оставляла ей возможности работать над своим образованием, а постоянный недостаток средств не позволял приобретать книг. Известен случай, что для того, чтобы иметь возможность познакомиться с интересовавшей ее книгой, она ходила к малознакомому по ночам, за неимением другого времени. Достаточно сказать, что, по ее же собственным признаниям, она не знала даже о существовании Владимира Соловьева до 1900 года, – т. е. о существовании давно знаменитого в России писателя и философа, сыгравшего в ее жизни столь большую роль. Все ее мистические созерцания являются поэтому делом ее личного творчества или воздействием того таинственного наития, которому сама она их приписывала. Начало этих созерцаний относится приблизительно к 1886 году. Следовательно, она была около 35-ти лет, когда ей было первое явление «Возлюбленного» в церкви Знамения, известной также под именем Жен Мироносиц. Так как она таила от матери, как и от большинства окружающих, свой духовный мир, то записывать свои откровения она могла только урывками, иногда ночью, при самых неблагоприятных условиях. Об этом свидетельствует и внешний вид ее рукописей, – эти полосы тонкой, пожелтевшей бумаги, исписанные беглым карандашным почер-

ком. Однако основная ее рукопись, «Третий Завет», совершенно пожелтевшая, обветшавшая и выпцветшая, очевидно, есть плод упорной работы, судя по тому, что существует много черновиков отдельных ее частей, впрочем мало отличающихся между собою. Гораздо новее другая основная ее рукопись, «Из дневника», написанная уже после смерти Влад. Соловьева. По-видимому, в хаосе бумаг А. Н. Шмидт эти обе рукописи суть самое важное и цельное, — если не считать сделанного ею перевода французской книги Вл. Соловьева «La Russie et l'Eglise Universelle»* и изложение его сочинений. В связи с влиянием Вл. Соловьева находится ее влечение к католицизму, раньше, как видно из «Третьего Завета», у нее совершенно отсутствовавшее. Впрочем, здесь установить ее окончательное мнение затруднительно.

Конечно, вера А. Н. Шмидт во Владимира Соловьева как одно из воплощений Христа на земле в связи с ее собственным самосознанием — есть наиболее страстная, непонятная и соблазнительная черта во всем ее духовном облике, и без того столь загадочном. Мало того, именно этой чертой ставится огромный вопросительный знак относительно и всех предыдущих ее «откровений». Ибо и склонные к принятию религиозных идей А. Н. Шмидт едва ли не наибольшую трудность ощутят в той *конкретности*, с какою она приурочивает их — сначала только к своей личности, а позднее еще и ко Влад. Соловьеву. Однако нельзя отрицать и того, что именно эта конкретность придает учению А. Н. Шмидт сугубое своеобразие и силу.

Биографически во всяком случае заслуживает внимания, что после знакомства с Влад. Соловьевым, за которым скоро последовала и его смерть, ее собственное творчество заметно оскудевает, почти иссякает, а взамен появляются переводы и конспекты философских книг Соловьева. О том, как сам Соловьев относится к ее признаниям, пока можно судить лишь по его письмам к ней. Несомненно, что встреча с А. Н. Шмидт есть одно из важных, хотя и сокровенных событий его биографии. Да и все учение А. Н. Шмидт существенно освещает самые интимные идеи Соловьева, которых он до конца не договаривал, но у А. Н. Шмидт признал себе близкими (смотри его первое к ней письмо). Об их взаимном мистическом соотношении, конечно, возможны разные гипотезы.

После смерти Вл. С. Соловьева у А. Н. Шмидт возникает ряд письменных и личных знакомств как с его ближайшими родственниками, так и с другими лицами, интересующимися религиозными вопросами. Можно видеть, как она металась, изнемогая от своего одиночества и непонятности, и как доверчиво искала сочувствия своим идеям иногда совершенно не по адресу. Но в самом для нее существенном, по-видимому, и тогда она осталась так же одинокой, как и была. При всей открытости и любвеобильности своей натуры она осталась лишена если не участия и личной привязанности, то настоящей дружбы».

* «Россия и Вселенская церковь» (фр.).

Анонимные издатели ее записок, между которыми можно предполагать М. А. Новоселова, редактора издающейся в Москве «Религиозно-философской библиотеки», г. Владимира Эрна, первого теперь у нас знатока итальянской философии, В. А. Тернавцева, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, – т. е. решительно лучшие у нас имена в философии – по кругу религиозных вопросов, – очень хорошо сделали, что поместили эту оговорку касательно отношений А. Н. Шмидт ко Влад. С. Соловьеву. Они правильно и точно выражаются, что это придает «сугубый конкретный интерес ее личности», но не оставляет никакого сомнения в том, что для издателей эта часть ее личности и ее идеи есть именно предмет «интереса», т. е. предмет научного любопытства, но что они совершенно отстраняются от разделения подобного взгляда и даже что этот взгляд А. Н. Шмидт «ставит под большой вопрос прочее ее творчество». Если бы издатели были менее осторожны в отношении к личности А. Н. Шмидт, к которой они питают глубокое почтение и удивление, они попросту выразились бы, что эта часть ее идей и личности представляет явный сумбур, на котором вообще не стоит останавливаться. Этот пункт, как явно ненормальный, патологический, напротив, был большим препятствием к печатанию ее записок. Но важность и ценность прочих ее душевных переживаний, а также идей преодолели этот испуг издателей.

«Теперешнее издание, – говорят они в заключение, – не только не притязает на полноту, но имеет лишь предварительный характер, хотя – если не считать сокращений «Дневника», отчасти вынужденных, – в нем содержится самое существенное, что можно извлечь из имеющихся рукописей, и оно достаточно знакомит с миром идей А. Н. Шмидт. Портреты сделаны с ветхих любительских карточек, увеличенных и переснятых».

Слова эти очень ценны, очень нужны. Они сразу придают всему изданию чрезвычайно серьезный характер чего-то научного, во-первых, и, во-вторых, глубоко почтительного в отношении личности автора «Третьего завета» и «Дневников». Никакого нет сомнения, что к Д. С. Мережковскому не воспоследовало бы в литературе анонимных издателей записок А. Н. Шмидт того почтения, какое они явно выказывают к смиренной секретарше и репортерше жалкого «Нижегородского Листка». Анна Николаевна Шмидт наконец получила за гробно «друзей себе». Став тесно около ее имени и гроба, они выносят с огромным вниманием все ценное, что отыскалось в потрепанном ридикольчике, в котором она носила, никогда с ними не расставаясь, пожелтевшие листочки 30-летней и 17-летней давности.

Мы еще несколько раз вернемся к ее «религиозным переживаниям», а пока скажем о 4-х портретах. «Любительские» фотографии, без ретуширования, передали ее «в натуре», и, увы, впечатление неблагоприятно. Мы вполне верим издателям, что А. Н. Шмидт – «вполне русская, православная, староправославная». Но бывают же случаи кровного и породистого атавизма, когда в ребенке заговорит не душа и нервы ее родителей и даже дедов, а кровь

и нервы... пра-пра-дедов. Я не видел за всю жизнь ни одного лица *русского* с такими чертами и в такой фигуре, как у А. Н. Шмидт; и, наоборот, я *определенно* помню, *фамильно* помню несколько точь-в-точь *таких лиц* немецких, и именно – фанатично-сектантского призвания и подвига. Это лицо прямо «я видел», «я знаю» на собраниях разных евангелистов в Петрограде, в это вот последнее десятилетие. И то же впечатление немецкого упорства «в достижении цели», полного убеждения в «святости задачи», и, наконец, блаженного самоупования святоличностью. «Фу, некрасивая хлыстовка», – бывало скажешь и отвернешься. Спорить с ними невозможно. Они «святы».

Оговорка эта моя тоже ничего не значит и никоим образом не идет «вопреки желанию издателей» записок бедной и милой Шмидт. Я сказал то, что «вижу на портрете», сказал об «атавизме древности», заговорившей в старой нижегородке. Это имеет свое значение. Именно это откидывает появление А. Н. Шмидт, которым так заинтересовался Влад. Соловьев, к циклу подспудных, подземных, «атавистических» германских влияний на Россию, которых вообще чрезвычайно много, которые почти неисчислимы и необозримы во множестве своем, – и в крупных волнах германизма, и в тоненьких просачивающихся его струйках.

Как оценивают и, главное, на чем основываясь, – оценивают русские ученые, издавшие мысли и видения А. Н. Шмидт, ее личность и ее произведения? Вот как говорят они об этом в предисловии:

«Сочинения Анны Николаевны Шмидт... По каким побуждениям издаются в свете эти неведомые сочинения неведомого автора? Как отнестись к этим необычным темам и к еще более странным, скажем более – жутким, притязаниям? Вот вопросы, которые не могут не встать у читателя, впервые приступающего к настоящему томику. И личность и сочинения А. Н. Шмидт окружены плотной атмосферой недоумений; те, кому спутанными и почти таинственными путями выпала на долю нелегкая участь быть чем-то вроде душеприказчиков покойной, десятки раз ставили себе не только эти, но и многие другие вопросы об А. Н. Шмидт и ее литературном наследии. Вот почему теперь, когда, после обсуждений и колебаний в течение ряда лет ими все-таки признано неизбежным настоящее издание, является необходимым указать некоторые из мотивов, их к тому понудивших.

Если рассматривать предлагаемые сочинения только в плоскости литературной и психологической, вне оценки их по существу, т. е. оценки чисто религиозной, то едва ли кто станет возражать, что в сочинениях А. Н. Шмидт мы имеем один из наиболее примечательных памятников мистической письменности, по меньшей мере не уступающих произведениям таких корифеев мистики, как Дм. Пордедж, Як. Бёме, Тереза, канонизованная в католичестве, Сен-Мартен, Сведенборг и т. п. По самобытности же, по отсутствию всяких «влияний», по своеобразию тона и по особенностям в решении мистических

вопросов, Анна Николаевна даже и в плеяде славных мистиков займет совершенно особое место. Единственное, с чем в области мистики есть у нее точки касания, – это Каббала; но Анна Николаевна, образованная весьма недостаточно, о Каббале, конечно, и понятия не имела, так что тут и речи не может быть о «влиянии». Мы ничуть не сомневаемся, что в плоскости историко-литературной, как памятник, сочинения А. Н. Шмидт будут признаны ценным вкладом в несуществующий еще «Corpus mysticorum omnium»*.

Вот, следовательно, основание издания и работы (не малой) над разбором и печатанием ридикюля «рукописей» безвестной нижегородской де-вушки. И Тереза, и Яков Бёме, и Сведенборг были «ничто» перед лицом ученых кафедр, перед лицом «очищенной критикою» науки. Но «что-то» в них было, «что-то» им Бог дал, почему задумчивейшие из светил кафедры, отделяясь (хотя и не теряя связи) от толпы ученых товарищей, отходили несколько в сторону и вчитывались внимательно в «неустроенные рукописи» Бёме или Сведенборга... и начинали так и этак толковать их, выводить к дневному свету рационального суждения или, пожалуй, дневной свет своей университетской науки вводит в эти странные сумерки своеобразных мыслей, где мышление чередуется с визионерством, где стоят голые утверждения без доказательств, – но стоят они в такой-то убеждающей связи и сказаны языком непререкаемого чистосердечия. Тут нет ни «да» ни «нет». Сумеречное или ночное знание – оно совсем другое, чем дневное. Разве свет луны похож на свет солнца? А между тем свет луны есть даже бесспорно только часть солнечного же света; но – «отраженного от луны». Это «отражение», – то, что свет, раньше чем попасть на наш глаз, «побывал на луне», коснулся какой-то другой, «планетной» же стихии, но только – не земной, соделал этот свет совсем другим, сообщил ему другой дух, иной колорит. Не удивительно ли в самом деле, что «солнечников» нет, а «луна-тики» бывают. Бывают эти странные люди, которые не спят и, однако, не помнят себя, не видят действительности в комнате и куда-то идут... А потом, вернувшись в постель, ничего о случившемся с ними не помнят, не знают; и для нас совершенно очевидно, что они побывали «в каком-то другом мире». В каком «другом мире»? Они не знают, мы не знаем. Никто не знает. Но всем решительно ясно и убедительно из факта лунатизма, что «побывавший сперва на луне свет» есть не просто малая дробь солнечного света, но содержит еще что-то в себе, что несколько не содержится в свете солнечном. Так и эти чистосердечные мистики, слишком чистосердечные, до наивности. Они что-то «видят», чего никто из смертных не видел. Ученый подходит и говорит: «Это новый факт, я буду его рассматривать, я буду его изучать. Хохотать я не буду над ним, как мои товарищи, а буду о нем размышлять».

Послушаем дальше ученых издателей.

* «Полный свод мистики» (лат.).

«Не сомневаемся мы и в том, что как личность, так и сочинения А. Н. Шмидт представляют огромный интерес для исследования религиозной психологии. Как «человеческий документ», на коллекционера, эти сочинения – редкая находка. Полуобразованная некрасивая провинциалка, всю жизнь придавленная борьбой из-за куска хлеба для любимой матери, всю жизнь угнетаемая подлинной нуждой, не имевшая ни книг, ни знакомства, ни досуга, и глубина мысли и блеск писательства, богатство философски-мистических вдохновений?! Какой удивительный контраст между внешним и внутренним!

Откуда брала А. Н-на свои вопросы, не говоря уже об ее глубоких и заведомо мудрых решениях и ее пронзительных словах? И далее, как могла эта обойденная судьбою девушка мыслить и говорить о себе в упор так, как не посмела бы помыслить ни одна царица даже в смутных мечтаниях? А если это – безумие, то где же признаки безумия и почему душевное здоровье героини романа, столь дерзновенного, осталось неповрежденным, а нравственная чистота не возмутилась ни самомнением ни высокоумием? И поразительно не только это противоречие провинциального обывательства со вселенским размахом внутренней жизни, а и, того более, в каком-то смысле, еще не поддающемся выяснению, известная законность его. Но хотя бы и не так, – фигура А. Н. Шмидт может удовлетворить самому избалованному вкусу коллекционера религиозных типов и послужит богатой темой для нравственного психологического исследования».

Здесь, мне кажется, сказано достаточно для обоснования издания записок А. Н. Шмидт. В дальнейшем издатели объясняют, что поторопиться изданием (оно года 3–4 откладывалось) заставило их не сказанное, а будто бы то предчувствие, проникающее записки, наступившей мировой войны, которое вынудило не отлагать далее издания, потому что об этой мировой войне думают слишком многие, слишком многие ею озабочены, и при таком положении скрывать от читателей и другие страницы «предсказывающего характера» в записках Шмидт – они не сочли себя в праве. «В то время, как они обсуждали в Москве записки Шмидт, – говорят издатели, – наступила мировая война. Мы не считаем себя вправе взять на себя утверждение, что это, наверное, не одно из тех событий, о которых еще в 80-х годах прошлого столетия говорила волнуясь А-на Н-на. Притом, помимо утверждения и отрицания, возможны и средние мнения. Ведь возможно еще и то, что А. Н., наверно предчувствуя общий типический характер надвигающихся событий, все-таки видела их в туманной перспективе, в которой имеются ближний и дальний планы, почему ранние эсхатологические волны могли быть ею приняты уже за «девятый вал». Повторяем, мы не знаем, насколько истинны все исторические откровения А. Н-ны, но именно потому, что мы этого не знаем, замалчивать о них сейчас, когда они могут оказаться и ключом к мировым событиям, – из боязни и нерешительности замалчивать то, что нам лишь поручено, но вовсе не наше, – стало, очевидно, невозможно».

Эта «предсказательная» часть не очень определена: она заключается в тревоге о самых близких надвигающихся временах, об ожидании самых крупных потрясений и перемене как в политической системе европейских государств, так и в сфере нравственных, социальных и экономических воззрений руководителей интеллигенции и народных масс. Но если смутна и неопределенна общая масса этих предсказаний, то некоторые из них – немногие – и очень определены, определены именно для борьбы германизма с Европой, для теперешней наступившей войны. Так как в то время решительно никто об этой войне не думал, то они вполне удивительны.

Еще сделаем оговорку. Все рассуждения Шмидт действительно чрезвычайно ясны, и мысль о болезненном состоянии писательницы не приходит на ум. Нельзя столько страниц, целую книгу, излагать отчетливым, крепким языком, – с таким отчетливым озиранием на современность, с отсутствием какой бы то ни было где-либо пуганицы. Только она не «доказывает» везде, – хотя и мотивирует, – а высказывает, говорит «тезисы», говорит (с ее точки зрения) «истины». Да, наконец же, не имеет значения и то, хотя и мелочное, явление: каким образом человек «не в здравом уме» мог бы в ежедневной газете исполнять должность хроникера, записывать отчеты разных заседаний, чужие речи, – и, наконец, давать отчеты о текущих пьесах театрального сезона. Как сообщается в кратких биографических о ней сведениях, она эту работу несла много лет, несла до конца своей жизни; и хотя сами редакторы «Нижегородского Листка» и также «Волгаря», где она участвовала, менялись, но все редакторы одинаково оставались довольны ее работою. А ведь даже один случай «путаницы» в таком точном, в таком скрупулезном и в таком ответственном деле явно должен был бы кассировать ее работу, дать ей «отказ».

Нет, она, очевидно, «видела» то, о чем рассказывает.

Что же она видела?

К великому сожалению, «Дневник» А. Н. Шмидт напечатан не целиком, – «по соображениям внешнего и внутреннего характера». Надеемся, что по крайней мере приняты надежные меры для сохранения этой, едва ли не важнейшей части писаний А. Н. Шмидт, где-нибудь в Румянцевском музее и проч., «целиком», – до минования особенно «внешних обстоятельств». Из «Дневника», увы, напечатано даже «менее трети его» (стр. 245, примечание). Но эта «менее трети» «Дневника» напечатана очень точно, с приведением, в примечаниях, всех вариантов текста А. Н. Шмидт.

Вот как он начинается и с чего, можно сказать, все «началось»:

«27-го ноября, в день Знамения Божией Матери, я была со своею матерью у обедни. Я любила стоять за обедней впереди как можно ближе к выносимой Чаше. Я не крестилась и не кланялась, когда ее выносили, чтобы не потерять секунды созерцания ее. Я вся превращалась в зрение и смотрела на Чашу без дум, без молитвы, чувствуя только, что передо мною Тело и Кровь Христа. На этот раз моя спутница (т. е. мать А. Н. Ш.), не понимавшая причин моей привычки, пожелала стоять со мной позади, у двери, откуда Чаша не была нам

видна. Я не стала противоречить. У меня была так переполнена душа, что это меня почти не огорчило. Всю обедню я была проникнута мыслью, что Христос простил мне больше, чем кому-либо из других людей. Грехи моего прошлого дорастали в моем сознании до страшных размеров, – при сравнении их со средствами их предупреждения, которые были мне даны. Солнечное счастье моего детства, теплая атмосфера просвещенных и нежных забот, среди которой я выросла, и дальше еще много, много обстоятельств, имевших отягчавший мой вины смысл... И тяжело и легко было у меня на сердце. Тяжко от воспоминаний о себе, легко оттого, что, несмотря ни на что и вопреки всему, – я чувствовала себя прощенной, полно, бесповоротно, безусловно и незаслуженно. Один священник, которому я призналась на исповеди в моем худшем грехе, сказал мне тоном глубокого убеждения, не дав мне даже договорить: «Вот в эту самую минуту, когда вы мне это говорите, и даже еще ранее, Бог простил вас!» И я не могла не верить, точно слышала это от Самого Христа. Отсюда я выводила неизбежно, что если мне прощено больше, чем всякому другому, то, значит, я и люблю Христа больше, чем всякий другой. Так выходило по его собственным словам, и это подымало в моей душе бурную радость. Я стала молиться Ему так: «Сделай, чтобы я всегда любила Тебя столько же, сколько Ты мне простил, т. е. без меры; сделай, чтобы я явила миру пример самой сильной, самой великой любви к Тебе, чтобы, сколько ни любил Тебя Твои мученики, Твои святые, я все-таки любила бы Тебя еще больше, иначе я буду неблагодарна и Ты можешь отнять у меня Твое прощение. Ведь прощение измеряется любовью за Него. Я не могу жить, если я не буду любить Тебя больше, чем все другие». Мне было отраднo так молиться. Я чувствовала великое утешение исполненной молитвы. Я скоро перестала молиться, точно молиться больше было уж не о чем. Я унеслась далеко в будущее и старалась представить себе, чем будет в глазах Христа такое бедное духом существо, как я, после исполнения такой молитвы. Я что-то видела духовным взором, но не ясно и не знала что. Вдруг мать мне предложила идти вперед и сама пошла за мной. В эту минуту выносили Чашу, и я успела подойти совсем близко к ней. Это было так неожиданно, так противоречило привычкам моей спутницы, что я почувствовала несомненность Христова служения, данного ей, и сердце мое залилось благодарностью. Он точно притянул меня к Себе из Своей Чаши, и этим закончилась та благодатная обедня...

Дни, которые протекли за 29-м ноября, были днями сильнейшего возбуждения моего духа. Каждый день приносил с собой по несколько внутренних событий, самых важных, и они быстро следовали одно за другим. Я переживала в один день целые годы. Я просыпалась каждое утро с мыслью: «Что будет дальше? Что я сегодня узнаю?» – и немедленно, начиная беседу (вариант, очень важный: «день») с Возлюбленным, сообщала ему мысль. В ответ на нее, Он часто намеками сообщал содержание дня, и эти предсказания всегда в точности сбы-

вались. Скоро я стала бояться что-нибудь читать, даже самое маловажное: малейшее прикосновение чужой мысли вызывало в голове моей искры пророческих вдохновений, и меня иногда утомляла эта острота моих ощущений, эта моя чуткость ко всем явлениям жизни, эти неожиданные толкования их, которые мне приходили на ум, наконец – подавляющее богатство выводов из них. Великая Книга, которую я читала, была мне почти не под силу. Но ничто ни разу не давалось мне рассудочно, потому что рассудком я ничего не искала. Каждая новая тайна открывалась исключительно на запрос моего сердца. Одна любовь, больше ничего, делала все эти открытия»...

Вот исходный пункт всей книги. Источник и «Третьего Завета», и всего написанного А. Н. Шмидт, – писем к Иоанну Кронштадтскому, к Влад. Соловьеву, – к отрывкам, напечатанным под псевдонимом в «Новом Пути». Я считаю, что достаточно «ввел» читателя в книгу, – и не стану излагать ее содержание. Пусть читатель сам возьмет в руки книгу и увидит в ней все, что увидит. Тут есть доля визионерства, иллюзии. Но – «наблюдай даже и страшное», «не проходи ничего мимо, не вникнув» – это кажется завет мудрости и древней и новой. Электричества никто не знал, – электричество было только в янтаре, если его потерять. Теперь знают, что электричество – везде. Пусть и читатель «потрет» страшную книгу, которая лежит перед ним.

НОВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Николай Бердяев. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. Москва, 1916 г.

Вышел крупный философский труд – «Смысл творчества. Опыт оправдания человека. Москва. 1916 г.» Н. А. Бердяева, – относящийся, впрочем, столько же к области религии и Церкви, сколько к области метафизики и философии. Он выражает обобщенное «сredo» писателя, если не вовсе старого, то старшего, прошедшего длинный и сложный путь политико-экономических и политических идеалов и отчасти даже борьбы за эти идеалы, которые сменились, однако, потом «вопросами философии и психологии», говоря заголовком гротовско-лопатинского московского журнала. Книга будет, без сомнения, обширно читаться в университетских кружках и в кружках Высших женских курсов. Вот как он объясняет во «Введении» мотив ее и господствующий в ней пафос:

«Дух человеческий – в плену. Плен этот я называю «миром», мировой данностью, необходимостью. «Мир сей» не есть космос, он есть космическое состояние разобщенности и вражды, атомизация и распад живых монад космической иерархии. И истинный путь есть

путь освобождения от «мира», освобождение духа человеческого из плена необходимости. Истинный путь не есть движение вправо или влево по плоскости «мира», но движение вверх или вглубь по линии внемировой, – движение в духе, а не в «мире». Свобода от реакций на «мир» и от оппортунистических приспособлений к «миру» есть великое завоевание духа. Это – путь высших духовных созерцаний, духовной собранности и сосредоточенности. Космос есть истинно-сущее, подлинное бытие, но «мир» – призрачен, призрачна мировая данность и мировая необходимость. Этот призрачный «мир» есть порождение нашего греха. Учителя Церкви отождествляли «мир» со злыми страстями. Плененность духа человеческого «миром» есть вина его, грех его, падение его. Освобождение его от «мира» и есть освобождение от греха, искупление вины, восхождение падшего духа. Мы не от «мира» и не должны любить «мира» и того, что в «мире».

Доселе – все знакомо нам из церковных книг. То же самое скажет любой проповедник с кафедр. Где же философ?

«Но само учение о грехе выродилось в рабство у призрачной необходимости. Говорят: ты грешное, падшее существо и потому не дерзай вступать на путь освобождения духа от «мира», на путь творческой жизни духа, неся бремя послушания последствиям греха. И остается дух человеческий окованным в безвыходном кругу. Ибо изначальный грех и есть рабство, несвобода духа, подчинение дьявольской необходимости, бессилие определить себя свободным творцом, утеря себя через утверждение себя в необходимости «мира», а не в свободе Бога. Путь освобождения от «мира» для творчества новой жизни и есть путь освобождения от греха, преодоление зла, собирание сил духа для жизни божественной. Рабство у «мира», у необходимости и данности есть не только несвобода, но и узаконение и закрепление нелюбовного, разодранного, некосмического состояния мира. Свобода – любовь. Рабство – вражда. Выход из рабства в свободу, из вражды «мира» в космическую любовь есть путь победы над грехом, над жизнью, природой. И нельзя не допускать до этого пути на том основании, что греховная человеческая природа и погружена в низшие сферы. Великая ложь и страшная ошибка религиозного и нравственного суждения в том – оставлять человека в низинах этого «мира» во имя послушания последствиям греха. На почве этого сознания растет постыдное равнодушие к добру и злу, отказ от мужественного противления злу. Подавленная погруженность в собственную греховность рождает двойные мысли, – вечные опасения смешения Бога с дьяволом, Христа – с антихристом. Эта упадочность души, к добру и злу постыдно равнодушной, ныне доходит до мистического упоения пассивностью и покорностью, до игры в двойные мысли. Упадочная душа любит кокетничать с Люцифером, любит не знать, какому Богу она служит, любит чувствовать страх, любит испытывать опасность. Эта упадочность, расслабленность, раздвоенность духа есть косвен-

ное порождение христианского учения о смирении и послушании, – вырождение этого учения. Упадочному двоению мыслей и расслабленному равнодушию к добру и злу нужно решительно противопоставить мужественное освобождение духа и творческий почин. Но это требует сосредоточенной решимости освободиться от ложных, призрачных наслоений культуры и ее накипи, – этого утонченного плена у «мира».

Прежде всего – глубокий упрек *философской* книге: автор *высказывает*, а не *доказывает*. Слышим проповедника, но не видим философа. Но и самое «высказываемое» – тускло, бледно. Остановимся на минуту: есть «высказывания» до того могущественные по силе льющегося в них духа, – льющегося, как раскаленный металл, который горяч и, однако, вместе с тем много *весит*, сильно *давит*, – что душа читателя или слушателя принимает слово *без рассуждений, без доказательств и уяснений*, – именно подавленная этой «массою льющегося металла». Державин хорошо выразил это в «Водопаде»:

Алмазна сыплется гора

и Лермонтов в «Дарах Терека», в словах о Каспии:

И старик во блеске власти
Встал, могучий, как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза...

Эти слова о Каспии, в стародавние годы, как-то всегда приходили мне на ум как *сравнение*, когда я думал о старике Каткове. Он не доказывал, а подавлял; он не разъяснял, а приказывал; и не послушаться его людям власти, людям значительным не было никакой возможности. Это примеры нам близкие, нам еще памятные, – личного и словесного обаяния. Так как, однако, дело идет о религиозных темах, о темах греха и искупления, – то в этой исключительной и высокой сфере мы имеем один давний пример, где, можно сказать, слово раздавило мир. Это – апостол Павел. Хочется сказать, «он повелевал и самым громам»; хочется сказать: «словом он утишал одни бури и словом он поднимал другие бури». Но – не *доказывал*. Где и какие особенно сложные, длинные доказательства. В «доказательствах» нуждался Платон, Сократ нуждался, Аристотель – слишком нуждался. Все это – прозаики души человеческой. Но зачем эти «доказательства» Павлу, когда он говорил и хотел и знал правду и, кроме правды, душа его ничего не хотела, и слушавшие его и видевшие перед собою его знали, что ложь никогда не ночевала у него даже в соседней комнате, а не то чтобы угнездиться в душе его...

И вот «таким», – о, слишком немногим даже во всемирной истории, – «доказательства» не нужны, задерживают, охлаждают, – охлаждают и говорящего, и слушающего. «Не надо доказательств, – кричит слушатель, *горя сердцем*... Бердяев, конечно, никакого «горения сердца» своєю прозою не пробуждает, и читатель ему кричит: «Докажи!»

А Бердяеву и доказать нельзя. Что он здесь напутал, кого упрекает? По-видимому, в последних строках он подразумевает «непротивленцев-толстовцев», которых ведь так мало в общем и все они в общем до того бесталанны, что и говорить о них не стоит. Что же «преодолевать» явное бессилие? Оно само падает, – ранее всякой борьбы. Но Бердяев не ясен и не называет имен; по употреблению слова «упадочники» и по противоположению «Христа» и «Антихриста» можно здесь разуместь и декадентов, с их корифеем Мережковским. Тоже – «сила», еще слабее толстовцев. Нет: Бердяев как-то *обобщенно* говорит о «заразе, охватившей мир», – «пассивно подчиниться последствиям греха» – говорит об этом, как о «последствии христианства», – говорит о почве «церковной традиции». В таком случае, это совершенно не верно, неправильно. Решительно со времен древнейших и до нашего времени без какого-либо перерыва *именно этой традиции* святые христианства и учителя Церкви звали всех людей к подвигу и подвижнической жизни, звали «выйти из мира», разобшиться с ним, даже до удаления в пустыню, в лес, на гору. Неужели можно поверить, что Бердяев никогда не слышал о «горе Афонской», не слышал стиха наших старообрядцев: «О, *мать*, великая пустыня, прими меня в себя», и даже самое наименование монастырей «пустынью» указывает на эту вековую и тысячелетнюю традицию. И неужели все это легче его странички «Введения»? Поистине, текла река в море: над нею прошел дождичек; и дождевые капли оттого, что они падали «сверху», вдруг подумали: «Вот теперь вода стала настоящей, мокрою и река дотечет до *моря*. Она решительно всегда текла в море и дотекла бы и дотечет до моря без всякого дождя, даже самого крупного. Просто это «не нужно», «лишнее».

И что за нападки на «мир» и противопоставление в «бытии» (общее родовое понятие) ему «космоса». «Космосом», т. е. «украшенным», «прекрасным» первому Пифагору пришло на ум назвать мир; и философия поистине может гордиться, что это благородное имя дано было ему не поэтом, не жрецом, не священником и, наконец, даже не в священной какой-нибудь книге, а именно из недр философии, на самой ее первой заре, поднялся человек и сказал: «Как прекрасно все... Это – не только создание чье-то, но это – какая-то красота, на меня сыплющаяся... Это – не вещь и не бытие, а это – космос»... Прекрасно. Прекрасное имя. Прекрасный человек. Сказал ли это, однако, он после выкладок ума, после доказывания? Нет: в самом слове «красота» содержится доказательство происхождения этого слова. Это – не человек сказал, это – глаз ему сказал. Точнее – глаз *внушил* сказать; но философ сперва подумал, а затем подтвердил впечатление глаза. Все «так связано в мире», так в нем гармонично, – «впадинки (говоря в переносном смысле) так соответствуют горкам, а горки – впадинкам», что именно *в этом сочетании, в каком они даны в действительности*, они превращают мир в величайшее удобство, правильность и красоту! И прямо нудишься сказать, нудишься часто: «Даже и сама смерть, как она ни ужасна, как единичный случай, как она ни вырывает у нас каждый раз рыдания, необходима, однако, *в общем*, ибо без нее мир явил бы лицо такой ужасной дряхлости, такого старческого

изнеможения!!! – Тогда как при смерти он вечно юн и молод, ибо только при ней стало возможно и рождение, стало возможно вечное омоложение планеты и всего на ней живущего!»

Итак, это противоположение в «бытии» «мира» и «мирского» «космосу» противоречит тому самому первоначальному и великому уму, который впервые произнес благородное слово «космос»; и, кроме того, оно содержит в себе грех некоторой тщеславной гордыни, презрительно смотря на «мелочи жизни» с высоты какого-то «духа» или каких-то «великих вещей». Тогда как «гармония» и «космос» или «украшенность» мироздания особенно-то и откровенно в рассмотрении его подробностей, «мелочей», т. е. в рассмотрении мелких, мало видных частей мирового механизма. Притом «Сотворимый мир» настолько бесконечно превосходит сотворенные Им вещи, что перед Ним величайшая из них и самонаименьшие уравниваются. Вообще же грешна в мире самая эта улыбка к «малому», самое это слово: «ты – мало»; грешна эта высокомерность, брезгливость, пренебрежение к вещам...

Это – одна часть возражений Н. А. Бердяеву. Другая – еще горше: он говорит, что мир есть «разлад», «ссора» и приписывает это «греху» и «слабости» мира. Он хочет из «разлада» выставить на лоно какого-то «покоя», где (посмеюсь над ним) – сон и сытость философствующего буржуа...

Что же: он отрицает, что мало внедрились в «мир» и «космос» мудрецы от Гераклита до Гегеля, которые все сказали, что в «сварливости» мира и в его *кажущемся* «разладе» лежит корень его оживления, корень того, что «sein» переходит в «werden», что «бытие» развертывается в «генезис»? Да что нам философы, когда перед нами Бог, который через действие на планету сил «центробежной» и «центростремительной» устроил их бег на «орбите», уж наверно прекраснейшей и твердейшей, чем всякая метафизика... Таким образом, то, что Н. А. Бердяев зовет «распрей» и «разладом» мира есть сочетание, так сказать, «контрофорсов», наиболее крепко держащих мировую тьму. Но зачем «контрофорсы»? Зачем не просто лежать? Но из лежания ничего не выйдет, кроме лежания, тогда как по какому-то мотиву Вседержитель хотел, чтобы мир шел, жил, бежал, летел... Верно и существо Вседержителя – летучее, летящее, ибо Он всему дал полет. И вот силы «центробежная» и «центростремительная» или, в истории, «сила прогрессивная» и целый ряд сил – «охранительные», «консервативные», «космосы», «регрессивные», которые все не уничтожают, но регулируют одну «прогрессивную силу». Ибо правь она одна в истории – и народы, царства, законы разлетелись бы в пыль.

Что же говорит Бердяев о творчестве?

«Творческий акт всегда есть освобождение и преодоление. В нем есть переживание силы. Обнаружение своего творческого акта не есть крик боли, пассивного страдания, не есть лирическое излияние. Ужас, боль, расслабленность, гибель должны быть побеждены творчеством. Творчество по существу есть выход, исход, победа. Жертвенность творчества не есть гибель и ужас. Сама жертвенность – активна, а не пассивна. Личная трагедия, кризис, судьба переживаются,

как трагедия, кризис, судьба мировая. В этом – путь. Исключительная работа о личном спасении и страх личной гибели – безобразно эгоистичны. Исключительная погруженность в кризис личного творчества и страх собственного бессилия – безобразно самолюбивы. Эгоистическое и самолюбивое погружение в себя означает болезненную разорванность человека и мира. Человек создан Творцом гениальным (не непременно гением) и гениальность должен раскрыть в себе творческой активностью, победить все лично эгоистическое и лично самолюбивое, всякий страх собственной гибели, всякую оглядку на других... Отъединенная подавленность сама по себе есть уже грех против божественного призвания человека, против зова Божьего, Божьей потребности в человеке. Только переживающий в себе все мировое и все – мировым только победивший в себе эгоистическое стремление к самоспасению и самолюбивое рефлексирование над своими силами, только освободившийся от себя отдельного и оторванного – силен быть творцом и лицом... Путь творческий – мертвенный и страдательный, но он всегда есть освобождение от всякой подавленности. Ибо мертвенное страдание творчества никогда не есть подавленность. Всякая подавленность есть оторванность человека от подлинного мира, утеря микрокосмичности плен у «мира», рабство у данности и необходимости. Природа всякого пессимизма и скептицизма – эгоистическая и самолюбивая. Сомнение в творческой силе человека всегда есть самолюбивая рефлексия и болезненное «я»-чество (т. е. бесконечный эгоизм только своего «я»). Смирение и сомневающаяся скромность там, где нужна дерзновенная уверенность и решимость, всегда есть замаскированное метафизическое самолюбие, рефлексированная оглядка и эгоистическая отъединенность»...

И все в этом роде... «свобода от мира» есть соединение с подлинным миром, – «космосом»... Право: нет двух вещей, также ненавидящих друг друга, как *мир* и «*мир*» Бердяева. А тоже десятиричное «и» в обоих, и тот же твердый на конце знак в обоих. В конце концов – он или *есть*, или *кажется* *самому себе* ужасным еретиком:

«Я знаю, – пишет он в заключение, – что меня могут обвинить в коренном противоречии, раздрающем все мое мирочувствие и все мое мирозерцание. Меня обвинят в противоречивом совмещении крайнего религиозного дуализма с крайним религиозным монизмом. Предвосхищаю эти нападения. Я исповедую почти монический дуализм. Пусть так: «Мир» есть зло, он безбожен и не Богом сотворен. Из «мира» нужно уйти, преодолеть его до конца, «мир» должен стереть от аримановой природы. Свобода от «мира» – пафос моей книги. Существует объективное начало зла, против которого должно вести героическую войну. Мировая необходимость, мировая данность – аримановы. Ей противостоит свобода в духе, жизнь в Божественной любви, жизнь в Плереоме. И я – не исповедую почти пантеистический монизм. Мир Божествен по своей природе. Человек Божествен по

своей природе. Мировой процесс есть самооткровение Божества, он совершается внутри Божества. Бог имманентен миру и человеку. Мир и человек имманентны Богу. Все совершающееся с человеком совершается с Богом. Не существует дуализма Божественной и внебожественной природы, совершенной трансцендентности Бога миру и человеку. Эта антипатия дуализма и монизма у меня до конца сознательна, и я принимаю ее как непреодолимую в сознании и неизбежную в религиозной жизни. Религиозное сознание по существу антипатично. В сознании нет выхода из вечной антипатичности трансцендентного и имманентного дуализма и монизма. Антипатичность сжимается не в сознании, не в разуме, а в самой религиозной жизни, в глубине самого религиозного опыта. Религиозный опыт до конца изживает мир, как совершенно вне-Божественный и как совершенно Божественный, – изживает зло, как отпадение от Божественного смысла и как имеющее имманентный смысл в процессе мирового развития. Мистический тезис всегда давал антиномические решения проблемы зла, – всегда в нем дуализм сочетался с монизмом. Для величайшего из мистиков, Якова Бёме зло было в Боге и зло было отпадением от Бога, в Боге был темный исток и Бог не был ответствен за зло. Все почти мистики стоят на сознании имманентного изживания зла. Трансцендентная точка зрения всегда есть предпоследнее, а не последнее. И переживание зла периферично и экзотерично в религиозной жизни. Глубже, эзотеричнее переживание внутреннего расщепления в Божественной жизни, богооставленности и богопротивления, как жертвенного пути восхождения... Поразителен парадокс религиозной жизни: крайний трансцендентизм порождает оппортунистическое приспособление, сделки со «злом» мира, – а зрелый имманентизм порождает волю к радикальному выходу в Божественную жизнь духа, радикальному преодолению «мира». Зрелый имманентизм освобождает от подавленности злом «мира». «Мир сей» есть плен у зла, выпадение из Божественной жизни, «мир» должен быть побежден. Но «мир сей» есть лишь один из моментов внутреннего Божественного процесса творчества космоса, движения в Троичности Божества, рождения в Боге-человека... Легко может явиться желание истолковать такую религиозную философию, как акосмизм. «Мир» для моего сознания призрачен, не подлинен. Но «мир» для моего сознания некосмичен, это – некосмическое, акосмическое состояние духа. Космический, подлинный мир есть преодоление «мира», свобода от «мира», победа над «миром».

Не хочет ли Бердяев сказать, что «человек начинается только с Наполеона, а до него были – людишки, т. е. не только не Наполеон, но полная противоположность человеку-Наполеону». Эта игра строчными и прописными буквами, «кавычками» и «без кавычек» утомляет и пробуждает смешливые вопросы, даже когда и не хотелось бы смеяться.

Старые мыслители, старые великие философы писали как-то монотонно: что ни слово, что ни «строка дальше» прибавляли мысль, и эта мысль не

забывалась автором, не могла забыться и читателем. Можно сказать, циклопы-философы писали какими-то циклопическими камнями громадной величины, – и их не могло разрушить время. Вот Пифагор назвал мир «Космосом», – 2 1/2 тысячи лет не могут забыть определения. Между прочим это происходило и оттого, что очень мало писали. Писали – под старость, как последнее «заключенье» богатой опытом, наблюдением и мудростью жизни. Теперь пишут чрезвычайно много и, главное, начинают писать чрезвычайно рано. И Бердяев – из числа довольно плодовитых писателей.

Путица его между *миром* и *миром*, зубовный скрежет против *мира* и «аллилуйя» *миру*, может быть, и имеет кое-что основательное, но именно – *кое-что*. Действительно, мы наблюдаем, что нельзя встретить человека, который одобрял бы все сплошь, радовался бы всему сплошь, как бы он ни был настроен оптимистично, сколько бы он ни называл себя пантеистом. «От иной хари стошнит – какой ни держись философии»; это – если говорить по-русски. Платон-философ, хотя утверждал, что «есть и идея низкого, мелочного, пошлого, – даже есть идея порочного», и иллюстрировал для слушателей свою мысль тем, что «есть и идея волоса», – тем не менее на деле и перед лицом своим решительно не выносил афинской охлократии, определенно враждовал с нею, определенно хотел ее гибели, – и ездил к тирану Дионисию Сиракузскому ради государственных целей и вообще политических соображений. Всепрощающий Христос, «благословлявший клянущих Его», тем не менее не благословлял иерусалимских фарисеев. Серафим Саровский отвернулся и не захотел беседовать с одним «будущим декабристом», приехавшим к нему в хижину «поговорить». Он вне сомненья почувствовал при взгляде на лицо его («прозорливец») то гордое, самонадеянное начало души, то темное и высокомерное начало, с которым «праведному простецу» не для чего разговаривать. «Декабрист на завтра», очевидно, хотел скорее поучить его, чем поучиться от него. Итак, нет человека, который бы не «отрицал»: и странно, откуда же это отрицаемое в конце концов взялось, если все «истекло из Бога» (творческий акт).

Таким образом, по-видимому, смешное «мир» и мир Бердяева – существует, не иллюзия.

Но он совершенно не разграничивает их, – у него нельзя понять, в чем же дело? Сообразно героическому характеру всей книги Бердяева, призывающей к творчеству, и согласно некоторым его обмолвкам, он как будто в *мир* без кавычек включает одни крупные калибры человеческой природы, – он хочет разделить бытие на «космос», в котором живут и создают гиганты от Наполеона до Якова Бёме, и на «неукрашенный мир», где живет чиновная мелочь, религиозные «буржуа» со своим стереотипом молитв, церковного кругооборота и обрядности, со своим «смирненным подвигом терпенья», к которому повсюду Бердяев высказывает величайшее отвращение. Если это – так, то это вызывает в нас глубочайший протест, и книга его действительно «манифейская» и нисколько не «христианская». Во-первых: тогда зачем же «всуде призывать Христа» (а Бердяев Его призывает, именует, никакого не

иметь вида, что он «более не христианин»)? Христос до того ясно сказал, что Он вверяет свое Царство «нищим духом»; «чистым сердцем», «миротворцам», «изгнанным правды ради», – что тут *переиначивать никак невозможно и переиначивать никому не дадут*, – ни Якову Бёме, ни Эккорту, ни Бердяеву. И это как ввиду определенности слова, так и еще по практическо-исторической причине: *уже так верили люди две тысячи лет и, именно этому поклонившись, приняли венцы мученичества*. И решительно ни ради какого Якова Бёме и ни ради какого Бердяева ни Церковь или все человечество не скажет: «Эти венцы они не заслужили, ибо ошиблись, не так совсем поняв Христово учение». Нет, таких шуточек в истории нельзя говорить. Кровь, – это всегда слишком серьезно.

Это – одно соображение, опирающееся на бесповоротно ясное слово Христа. Другое соображение опирается на одно великое, лучшее приобретение русской культуры. Дело в следующем. От времен Пушкина и Лермонтова и до времени Толстого и Достоевского русская душа и русская культура глубоко вжилась первоначально, а затем и глубоко же извергнула из себя идеалы «величавого», «демонического», «байронического». Они слишком дорого стоили русской душе; они слишком глубоко ранили русскую душу; они слишком многих «родных наших» – убили. Можно сказать, ни в какой литературе «байронические идеалы» не были пережиты так едко, как у нас, – может быть, от нашей беззаветности, может быть, от нашей мечтательности, может быть, от нашей доверчивости и простодушия. На Западе об этом только «читали», а у нас сделали «опыт *пожить*»... И, увы, – запахло горем, запахло кровью. И после почти векового колебания Русь вынесла могучее решение: – «нет».

Бердяев этого не говорит ясно, но, по-видимому, он крадется бесшумно к реставрации этих именно «байронических» и «демонических идеалов», – только перенося их из сферы общества и «литературных побасенок» в область страшно ответственную и серьезную – церкви, религии и религиозного подвига. Скажем крупными и конкретными словами: на место подвига Серафима Саровского, подвига столь глубоко бессловесного и «неукрашенного», он хочет воздвижения в Русской Церкви, воздвижения совершенно другого идеала и других лиц, вроде Блаженного Августина, вроде Боссозта с его начертанием первой «Всемирной истории». Словом, он хочет «видности» и «громкого слова». Ведь русские, от Преподобного Сергия Радонежского до Серафима Саровского, действительно были куда как не речисты. Они не оставили вовсе книг. Бескнижность русских святых – изумительна. Они только оставили памяти народной лицо свое. Но, увы: всякая книга – оспорима, а вот лицо – неоспоримо. И «лица» наших святых никто не оспорит и никогда никто даже не пытался оспорить. Лицо же это одно ясно говорит: «Не хочу беса и ничего бесовского. Я – с Богом и с человеками, с простотою их и со скорбью их». «Приобретение русской культуры XIX века» глубочайше совпадает (и даже только повторяет) – с основным приобретением Русской Церкви, которое и заключается в этом: Церковь выставила народу для поклонения несколь-

ко лиц, их «бесовщина» была так глубоко исключена, а «божественное» к ним так приближало, как этому не удалось случиться ни в одной церкви.

«Святые» – вот и весь «подвиг Русской Церкви».

Да. Но он – бесконечен. Русский народ уже не заблудится, – и не только сейчас, но и никогда, – имея перед собою эти именно лица. Ну, – и хорошенькие, кое-какие о них рассказы, «Патериков», «Четий-Миней» и разных «Житий». И не заблудится, – имея их перед собою на иконах, молясь им.

Но почему же ясно и отчетливо об этом не говорит Бердяев? Тогда бы ясно было, что он разумеет под *миром* и «*миром*», и почему «мир» «украшенный» «космос» – он противопоставляет «мирскому» и столь худому. Он говорит собственно о *католическом типе* христианства, призывая к нему и вознося его на необыкновенную высоту сравнительно с «изукрашенным», – без мадонн и без красноречия, – православием. Вот где корень и сущность его «пелагианства». После попыток Чаадаева и Влад. Соловьева мы имеем третью попытку. Не продолжаем речей, – ибо речи за нашими богословами.

«БЕЗМЕЗДНЫЙ ТРУД» НА КАЗЕННОЙ НИВЕ...

Самое любимое чтение сейчас – «Старые Годы», «Русский Библиофил» и «Богословский Вестник». Уже бессилен читать что-нибудь крупное и бежишь глазами по мелочам. В «Богословском Вестнике» за конец минувшего года меня не поразило только, а потрясло следующее сообщение. Читаю «Протоколы Московской духовной академии» и в них деловым и формальным тоном сообщение: «Заслуженный профессор NN, выслуживший пенсию и отслуживший положенный срок академической службы, продолжает за всем сим читать слушателям академии небольшой курс лекций и, кроме того, принимает на себя труд рассматривать кандидатские сочинения и представлять о них отзывы (печатаемые там же в «Богословском Вестнике»). Ввиду сего совет академии испрашивал у высокопреосвященного митрополита Московского, не найдет ли он возможным назначить за сию сверхштатную работу некоторое, хотя бы ограниченное, вознаграждение. Митрополит ответил отрицательно, ввиду того что таковое назначение, как в уставе академии не предусмотренное, зависит от Св. Синода. Тогда совет академии с таковым же ходатайством обратился в Св. Синод. «Синод приказали: *отказать*». Постановили: «Занести в протокол заседания».

Нарочно я запросил одного профессора духовной академии, что-де, может быть, профессор NN уже стар, дряхл, – и качества работы его таковы, что за нее не стоит платить? Хотя странно это сказать и выслушать: «Не стоит платить за *работу*». «Тогда, казалось бы: «*Не бери работы*», «*не пользуйся работою*». Но профессор с живостью мне ответил: «Нет, профессор NN еще *совершенно бодр*. Но он любит работу, привык к ней, без нее ему было бы скучно. И он несет ее по 35-летней привычке, хотя бы и бесплатно».

Этого профессора лично я не знаю и только много лет с пользой и учительностью читаю его ясные и многоученые статьи. У меня захолонуло сердце. Каждый бедный кафешантан платит своей голодающей «птичке» за глупые куплеты, которые она распевает с открытой сцены разжиревшей праздной публике: а ученый труд достойнейшего старого профессора берется даром и кем? Страшно выговорить, повторить.

Нужно заметить, что и прежде уже в Петрограде мне случалось наблюдать подобные случаи «безвозмездной работы» частных ученых, которую пользуются казенные учреждения.

О, вот где подтачиваются «авторитеты»! Что там Ренан со Штраусом! Мелюзга. Но если хозяин, *взяв труд чужой*, говорит: «*Не плачу*», то ей-ей в сердце встает какое-то окаянство, и... повторяя Дидерота перед митрополитом Платоном, «безумствуешь в сердце своем» и речешь: «Несть Бог».

Это ужасно потрясает веру: «Духовное ведомство за труд не платит»...

Тот же профессор, к которому я обратился с запросом об этом старом профессоре, мне сообщил года два назад:

«В Московской духовной академии целый чулан-комнатка набит до потолка кандидатскими сочинениями студентов. Они написаны всегда тщательно, большею частью по первоисточникам. Конечно, не все равно качества, но все – серьезные, старательные, а есть между ними и положительно прекрасные труды. Они все не напечатаны, и нет средств их напечатать. Вам нравится наш академический журнал? Но вот он дышит на ладан. Труд ученых сотрудников оплачивается грошами, да и тех неоткуда брать. Субсидия в три-четыре тысячи в год спасла бы его; а он, может быть, закроется».

Господи, ученые труды и «не на что напечатать»! И ведь в каждой из трех других духовных академий тоже, поди, есть «комнатка-чуланчик», с диссертациями от пола до потолка? Ведь это – готовая, *уже лежащая не напечатанною* литература по богословию?! Как бы *одушевились студенты в труде*, в качествах труда, зная, что работа их «увидит печатный свет»...

Но нет света. И света не дает Синод.

И опять я как «Дидерот» реку: «Несть Бог в мироздании».

Свет – это... «что-то случайное». Пожалуй, скажешь («рече безумец»): «Свет был от нигилистов. От Чернышевского, от Добролюбова. Да цензура задушила. А кого – сослала. И вот теперь мы без света».

Буду ли я бунтовать? Хорохориться? Строить оппозицию? Но Господи, какой же я оппозиционер? И мне 60 лет.

Но если не платит духовное ведомство, т. е. казалось бы церковь, старому, усталому, бедному профессору, то и я закричу:

– Не надо ничего. Ложь.

Что же? По душе я кроткий. Но *situation oblige**...

О «Библиофиле» – после.

* положенне обязывает (*фр.*).

Р. С. Двустипшие из Пушкина, приведенное мною в статье об экспериментальной педагогике, читается и так, как я *привел*, – и как его приводит г. Лукиан в «Бирж. Ведом.», цитируя:

Любви нас не природа учит,
А Сталь или Шатобриан.

Это – разночтения. Конечно, я мог выбрать и то, как привел: все равно это *мысль Пушкина и написана его рукою*. Приведенный мною вариант печатался в старых изданиях.

НАШИ БИБЛИОФИЛЫ

Уж если кто благочестив – то это библиографы. На том свете, я воображаю, будет заготовлена особая комнатка: «Библиографическое отделение», – где седые, я думаю, толстенные из себя (от постоянного сиденья) старички, нахмутив ужасно лоб, будут перелистывать книги в переплете тагоquin, с золотыми когда-то и теперь, т. е. уже в то «райское время», почерневшими обрезками, с местами прорванными страничками и со вздохом над каждым таким прерванным местом. А «ангелы мирные», не изменяя Божьей службы, – будут приносить им еще и еще тагоquin'ов, и великолепных переплетов, и изданий Эльзевиров и Альдов, и разные восхитительные миниатюры и гравюры. . . Боже, какое восхищение. И не будет трапезы слаще, чем эта «библиографическая трапеза». Ибо где же еще такие райские кушанья. . .

Признаюсь, за долгий срок писательства я возненавидел книгу. Но библиография – это другое дело. Тут запах этой милой сыроватой плесени. . . Странички – синенькие, помните. И главное – эти головокружительные гравюры.

На изданиях Батюшкова, Жуковского, Крылова – кто их не помнит? Кто не помнит бордюриков и веночков на «Северных цветах»? Уж не говорю об иностранщине.

Так я представляю себе, копаясь в «примечаниях», в хронике аукционов книжных редкостей, в каких-то анонимных статьях (кстати, написанных точнейшим и великолепнейшим языком, напр.: «но автору не удалось этого доказать с *покоряющей убедительностью*», – нельзя не подпрыгнуть на стуле, читая такое выражение «Русского Библиофила»). Какая любовь к предмету, к предметам; везде – какое чудное беспристрастие, например хотя бы даже в отношении благоговейно чтимого Пушкина! Истина, факт – везде «выше Пушкина». Учиться науке у этих старых (представляю себе) копунов. Увы, я их никого не знаю лично. Следовало бы устроить «Выставку библиографов». А то где же их увидишь, узнаешь. Они вечно сидят дома, погруженные в свои «сокровища».

В последней книжке журнала г. Марк Азадовский (уж не совсем русская фамилия!) написал с таким бесконечным *вниманием* о художнике Федотове,

что... даже стыжусь сказать, как хотел бы ему выразить благодарность; и собрал всю библиографию о нем; и издал его неизвестный доселе альбом рисунков, в статье, под заглавием: «Дневник художника, неизвестный альбом Федотова». Да: церковь и библиография – две единственные области, где сохраняется по-настоящему «вечная память» о человеке. Рассматривая (изумительные по талантливости) бытовые рисунки Федотова, поражаешься, до чего за 60 лет изменился «весь человек» в наше время. Поза, фигура, и насколько в них отражается дух, все уже «не то, не то»... Точно прошло не 60 лет, в сущности, возраст одного человека или самое большее – смена двух поколений, а пронеслись как будто века!!! А социалисты рассчитывают через 300 лет все остаться «марксистами».

Но Господь с ними, с этими тленными людьми. Вот о них никогда не будет составлено библиографии. Слишком отвратительный предмет.

В той же 4-й книжке «Русск. Библиофила» – два интереснейших письма Фета (неизданные), о Сопикове и его командировании с книгами Публичной библиотеки в Олонецкую губернию по случаю «вшествия дву-надесяти-языков в Россию».

Очень ценно в литературном отношении указание на труд г. Столпянского, исследующий отношение булгаринской «Северной Пчелы» к Пушкину:

«Статья П. Н. Столпянского в серии книг «Пушкин и его современники» (издание Академии Наук) должна приветствоваться как окончательное обнаружение истинного отношения булгаринской газетки «Северная Пчела» к Пушкину и опровержение нудного радикальствующего «поношения» ее вот уже которым поколением пушкинистов. П. Столпянский принял на себя положительно подвижнический труд: перелистать страницу за страницей «Северную Пчелу» за время ее издания, дабы отметить в ней все относящееся к Пушкину. И вот наблюдения Столпянского дали поразительные результаты. За время с 1825 по 1837 г. в «Северной Пчеле» оказывается, было помещено 265 статей и заметок, имевших прямое отношение к великому поэту и к тому же доброжелательных в огромном большинстве. Известно, что «Северная Пчела» имела крупное влияние на тогдашнее общество, к ней прислушивались, и, конечно, теперь придется пересмотреть вопрос об отношениях Булгарина и Пушкина, и пора признать большую роль «Северной Пчелы» в создании пушкинской славы. Коротенькие, четкие, какие-то юркие статьи «Северной Пчелы», ее многочисленные эпитеты к произведениям Пушкина и афоризмы о них запомнились, влияли и невольно способствовали раскрытию пушкинского гения. Непродолжительный поход «Северной Пчелы» против Пушкина был, по-видимому, случайным эпизодом, в котором был виноват мелочный и самолюбивый Булгарин, но не без вины был и пламенный Пушкин. Работа П. Столпянского будет продолжаться печатанием и в следующих выпусках «Пушкин и его современники», так что мы вправе ожидать и еще более разъясняющих открытий от него».

Настоящим «Булгариным около Пушкина» была, как раз наоборот, – публика, толпившаяся около «Современного рестораника» Чернышевского и его братии. Публика эта затаптывала вместе с Пушкиным Фета, Тютчева, Полонского, Майкова, Ап. Григорьева. Ну, Бог с нею. «Пора ее прошла, и люди те прошли...»

А что, вот мысль: монументы Пушкину, Гоголю, Лермонтову не следовало ли бы окружать в своем роде бронзовыми миниатюрками этих библиофилов, издателей, комментаторов? Ведь они, именно они, никто, как они, раньше бронзового монумента великану слова выковывали кропотливую работу своею бронзовое кружево к памятнику. Они все подготовили, они все сделали в истолковании, в разумении поэта.

В приготавливаемом большом труде г. П. Столпянского, – «История Петербурга» замечательна его прекрасная и верная мысль, что наши «оды» XVIII века в ту пору отсутствия прессы заменяли собою «передовые статьи» теперешних политических газет, разъясняя обществу намерения и планы правительства и, с другой стороны, поддерживая и поднимая дух общества. Они были так же насущны и необходимы, а потому и так же обильны, как теперь политическая печать, – а не были только лично прихотью и ложным пафосом. Очень меткое замечание.

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ЛЮДИ «ИЗМЕНЯЮТ» ДРУГ ДРУГУ?

(К теории и практике развода)

Так ли происходят «романы», как думают? Не только по мелкой беллетристике, но иной раз и по взгляду художественных гигантов, – «любовь» решается соблазнительною «джерсейкой» («Крейцера соната»), которая «обрисовывает бюст», а на этот бюст полюбовался человек с горячею кровью... «И готово», увлеклись, «повенчались». Что за скопческая мораль, т. е. что за скопческое оклеветание?! Теперь *никогда* не делается дело, так никогда оно и не *разделяется*. Сказать ли истину, что в сущности глубокое оклеветание пола, т. е. глубокое оклеветание как юношей и мужчин, с одной стороны, так девушек – с другой, лежит подпочвою и основанием «жестокого развода», – этой «тяготы непосильной», какую духовенство возложило на шею семейных и неудачно семейных людей. Кстати, вопрос неканонический, но моральный: что заповедь И. Христа: «Носите тяготы друг друга и тем исполните закон Христов», относится к *нам* только, «Ивану и Марье», «Ивану и Ивану», или заповедь эта дана также и духовенству? А если она дана и духовенству, то ну как же оно не «понесло тяготу семейных людей» хоть чуть-чуть и *на себя*? А? Ну-те-ка, ответьте, господа духовные, господа консисторские протоиереи? Кажется, вы чуть-чуть камешков прибавляете? «Тяжело? – По-натужся. Вот я тебе еще булыжник на шею».

Мне кажется, в теперешней теории и практике развода мы видим отменным все Евангелие. Образа Христа не видно в этом разводе. Образа милующего, прощающего. О, кто не скажет, напротив: «Окаянный развод!» Будто он дан и практикуется Каином над Авелем. Помните: «и взял ослиную часть и ударил брата». Но тот хоть «потрясся» потом, а эти и не потрясаются. Замечательные люди.

Вот как описывает мне судьбу свою «замужнюю» одна молодая женщина... Почему «мне»? Почему не духовенству? Почему такой странный адрес: «Сотруднику «Нов. Вр.»? И как малого стоило бы батюшкам, консисториям, секретарям духовных консисторий собрать к себе все эти рассказы, включить в свою «суть» и «дело» эти повествования и, обняв широким охватом «русскую семью», ей-ей не плохую, вынести ее к свету, покою и разуму?!

«Прочитав ваши статьи о бракоразводных порядках, я осмеливаюсь изложить перед вами свою грустную историю и просить вашего совета. Будучи молодой и неопытной девушкой, я полюбила одного человека, который избрал себе художественную карьеру и готовился сделаться художником. Он со своей стороны также горячо отвечал на мои чувства, и спустя некоторое время мы обвенчались тайно, так как мои родители и слышать не хотели о подобном браке. Родители мои – люди состоятельные из купеческого рода. Целый месяц я боялась им показаться на глаза, а потом решилась. Моя свадьба была большим ударом для них, но... все-таки я была ихним ребенком, и они меня простили, и мы переехали к ним в дом, заняв небольшую квартиру. Затем пошла жизнь, полная унижения и страданий: муж мой был человек больной и слабый, все время хворал, поступить в академию ему не удалось, и занимался он у частных художников, причем оказалось, что он далеко не имел тех талантов, о каких рассказывал мне. Жить нам приходилось исключительно на средства родителей, причем он никогда не был ничем доволен, всегда ругал и порицал моих родителей, а те в свою очередь упрекали, что он живет на их счет. Одним словом, он ничего не достиг в жизни, и мы, особенно я, терпели большие неприятности. Сначала я во всем верила ему, ухаживала за ним, как самая нежная мать, отказывала себе решительно во всем и все отдавала ему. Наконец я его так избаловала, что он это считал в порядке вещей и всегда лучший и первый кусок брал себе и забывал обо мне.

Детей у меня не было, и это очень меня печалило: я думала, что дети заставят меня переменить образ жизни. Он же всегда укорял меня, что я не способна рожать детей, говорил, что род наш идет к вырождению. Наконец, дело дошло до того, что всякое супружеское общение со мной ему было неприятно, он сам говорил мне об этом, чем глубоко меня оскорблял, и тем оправдывал свои бесчисленные увлечения женщинами. Он бросал меня одну, а сам почти каждый вечер уходил куда-то и являлся домой часа в 2, в 3 ночи, причем не давал мне никакого отчета и сердился, если я его спрашивала».

Прерву на минуту. *Есть ли тут брак? Явно, он – уже фиктивен, он есть только имя и звук, а сердцевины в нем нет никакой.* И «бракоразводный процесс» гораздо раньше его начатия имеет дело не с *действительностями*, ничего в *реальной действительности не разрушает*, а лишь зачеркивает фикцию, пустоту жизни, сокращает незначущие «нули», а не «цифры». Это «сокращение нулей» есть просто прием решения всякой задачи, и о чем тут «плакать», когда в зачеркиваемом «ничего нет»?! Удивительно.

«Вообще, одним словом, он вполне игнорировал мною и, уже не стесняясь, изменял мне на каждом шагу и у меня на глазах. Сколько было ужасных историй! Я же все скрывала от своих и всегда стояла за него. Наконец, мои родители стали настаивать, чтобы он занялся чем-нибудь, так как из художества решительно ничего не вышло. Тогда он стал требовать с них денег на открытие фотографии. Здесь опять была масса неприятностей, описывать которые я не имею возможности. В конце концов, они купили нам разных фотографических аппаратов тысячи на две и помогли открыть нам фотографию в С. Дело у нас пошло, работы было много, но он не мог ладить со служащими, и потому была масса неприятностей.

Вечера все пропадал неизвестно где. Тогда-то я случайно познакомилась с одним интеллигентным господином, который бывал у нас и который пришел в ужас от нашей семейной жизни, – ему казалось, что он очутился сто лет тому назад. Он оказывал мне глубокое уважение и сказал мне, что такая жизнь, как я живу, это не жизнь, а рабство. Будучи совершенно заброшена, я была рада этому знакомству и благодарна ему за сочувствие. В конце концов, он полюбил меня, и я ответила ему взаимностью. Он решил, что с его стороны будет страшным грехом оставить меня в этой обстановке и предложил мне уехать с ним. Я уехала от мужа, бросила ему все свое имущество и поселилась у своего нового мужа. Я знала, как тяжело добиться развода, и я не хотела его добиваться, тем более что я не предполагала иметь детей.

Представьте себе мою радость, когда спустя месяц я почувствовала себя матерью. К концу года у нас родилась дочь, которую мы любим больше всего на свете.

На все мои просьбы согласия от мужа на развод я получала только письма с мольбами вернуться обратно и с излинием безумной любви».

Прерву. Это – типичный полигамист: «давай мне сегодняшнее и вчерашнее», «давай мне мое и не мое». Стадное чувство. Ревности в нем нет и *лица* для него нет, а есть стадо, стадо женщин. Кстати, об удивительном рождении ребенка: как явно, что *внутреннее* Божие благословение легло на втором здоровом случае и не легло на первом, уже в зародыше, в венчании – гнилом. Всего прошел месяц – и «я – мать», пишет воистину счастливая мать.

«При чтении этих писем меня охватывает такая безграничная ненависть к этому ужасному эгоисту.

Теперь, при рождении ребенка, нам пришлось наткнуться на такое препятствие, о котором мы раньше и не подозревали. Оказывается, все дети, рожденные замужней женщиной, записываются на имя законного мужа, и он вправе вмешиваться в их жизнь. Все мои хлопоты записать на одну себя не привели ни к чему. И юристы, и священники мне ответили одно; что ребенок считается законным ребенком, законного мужа. Теперь ребенку четвертый месяц, и мы его не крестим, крестить – значит (юридически. – В. Р.) отказаться от него. Если ребенок помрет не крещеный, – нам предстоит дать ответ перед ним. Скажите, что тяжелее? Настоящий его отец даже не имеет права усыновить его без согласия моего мужа. Но разве он даст когда-нибудь согласие, и кому? Человеку, который отбил у него, так сказать, даровой кусок хлеба. Что теперь делать – научите. Ведь это трагедия, если ребенок будет жить и считать отцом одного человека, а потом на деле окажется, что у него совсем другой отец, что тогда ответить ему? Если бы был мальчик, то все еще ничего, но девочка – дело совсем иное. Скажите, научите, ради Бога, что нужно сделать теперь? Снимите ужасный камень с сердца матери. Я жду вашего ответа, как последнюю опору, – больше я уже не знаю, к кому обратиться. Вы так много пишете и разрабатываете этот проклятый бракоразводный вопрос, вам, наверно, известны те пути, которые еще не знают юристы и священники. Мы перебрали все статьи закона и ничего не могли найти. Все законы в пользу мужа. Меня упрекают, зачем я допустила рождение ребенка. Но, скажите, пожалуйста, разве я не женщина, разве я не вправе брать от жизни те радости, которые она дает?

Будьте так добры сообщить мне, как поступить в таком случае, за что буду вам глубоко благодарна. Адрес мой NN» (подписано имя, отчество и фамилия).

Какая милая Ева, – вся русская, вполне русская, – чистая и непосредственная. Где разврат? Это не пошленькие (и подленькие) повестушки с «адюльтером», бульварного пошиба. Вот как чаще всего происходят *на самом-то деле* измены: они происходят на почве давно уже *пассивного брака*, где искра не горит, где все потухло и не остается вообще ничего, кроме «прав мужа» и «прерогатив жены», где претензии есть, а фундамента под претензиями нет. И еще они происходят от брака двух существ: одного полигамного полигамиста и другой моноандристики, или наоборот: полиандристики и моногамиста. «Стремлюсь к одному!» – «Стремлюсь ко многим!» – сперва тайно, а затем и явно. Увы, человек «царь животных», «венец создания» – включает в себя все типы животного до себя: и попугаев *inseparables*, и стадных, – всех. Эти-то встречи, уже гнилые и сгнившие в момент самого венчания, и расходятся неудержимо. Каждый находит – «свое», она – «одного мужа», он – «одну жену». И это «вторичное нахождение» и являет одно – правду, а до того была просто «ошибка», «обознались», «поклонилась незнакомому, как знакомому».

ИДЕЯ «МЕССИАНИЗМА»

(По поводу новой книги Н. А. Бердяева
«Смысл творчества»)

Почитаешь историю, понаблюдаешь за усилиями в ней отдельных народов и увидишь, до чего много в ней положено усилий на то, чтобы стать «на первое место» среди народов, на самое выпуклое, переднее место; чтобы вести «за собою», «вслед себя» другие народы. Явление таких усилий обыкновенно зовется «мессианизмом», по имени собственно «мессианизма» у евреев. «Мессия может родиться только из нашего народа», – говорили древние пророки израильские; и масса еврейская ожидала в красоте и силе, прежде всего царства, с царским величием, с царским достоинством. Известно, однако, что он пришел совсем с другой стороны и в другом виде. «И биен бысть», «и распят бысть». Греки не знали мессианизма, не звали его. В эпоху, однако, от нашествия персов до смерти Александра Македонского, приблизительно века в два, они натворили таких и столько дел, что «мессианизм» в светской и образовательной форме у них как-то сам собою вышел. Вообще тут есть кое-что, следующее поговорке: «Где не думал, там и нашел». Римляне тоже никогда не занимались мессианизмом: но у них это «вышло» в сфере объединения народов всего тогдашнего исторического горизонта. «Orbis terrarum»* – факт римской истории. Позднее к этому стремились и этого почти достигли римские папы. Но именно «почти»... Вторжение французов в Италию, перенесение папского престола в Авиньон, на юг Франции, и затем реформация сокрушили католицизм в этих усилиях. У французов почему-то никогда не было мессианизма, и, может быть, причина здесь кроется в том, что как в эпоху королей и маркизов, так и во вторую эпоху санкюлотов и Бонапарта французы ощущали себя достаточно «мессианскими». У них сиял «каждый день», а не «завтра», и «мессии», можно сказать, рождались ежедневно, то во дворцах, то под лавкой, то, как король солнца, то, как бездомный Руссо. У поляков был «мессианизм» Тoviaнского и отчасти Мицкевича: чахоточная мечта на «безрыбье» вытащить из моря когда-нибудь «кита». У русских – мессианизм славянофилов и главным образом Достоевского, сказавшийся в знаменитом монологе Ставрогина о «народе-Богоносце» и в речи самого Достоевского на открытии памятника Пушкину.

Удивительно, что никому не пришло на ум, «как это место опасно». Т. е. как опасно вообще и всемирно стремиться к первенству, исключительности, господству. Об этом мы скажем потом, а сейчас договорим о последнем мессианизме.

Это – Германия и теперешняя война.

Германия решительно и деловым образом потребовала себе первенства во всемирной цивилизации, сорок лет подготавливаясь к войне и начав войну

* «Земной круг» (лат.).

с потерей миллионов людей и убивая миллионы людей у соседних народов во имя того, что никто так не умеет выделывать зубных щеточек, как «германский человек». Если взять зубную щетку, сделанную русским, то щетина вываливается, как только вы взглянули на нее; если ее сделал итальянец, то щетина вываливается, когда вы по ней провели рукой. И у француза или англичанина вываливается месяца через четыре после употребления щетки. Но немец, долго размышляя, сделал, наконец, такую щетку, из которой щетина никогда не вываливается. Он назвал ее «вечною щеточкою» и прибавил: «для универсального употребления». Он взял на нее патент у отечества, повез ее в Англию, привез ее во Францию, не говоря уже о России и Италии, о Турции и Румынии. Причем везде решительно увидели, что из германской зубной щеточки и вообще из германских щеток всяких сортов, величин и предназначений щетина действительно никогда не вываливается.

Кайзер это сообразил, нация это сообразила. Все сделали «умозаключение», что они станут самым богатым народом в свете, если зубные щетки, гигроскопическую вату, оптические стекла, всякие медикаменты, наконец, всякие вообще инструменты, машины и технику будут поставлять одни на весь свет. На Россию, на Америку, на Китай. Наконец, даже на Францию и Англию. «Мы забьем всех. Но раньше надо всех побить и принудить брать и пользоваться единственно вечною зубною щеткою *made in Germany*». Война, как обнаружилось решительно и окончательно, ведется за техническое, коммерческое и промышленное подавление Германии всего света. Но как «предпосылка» техники и промышленности – политическое преобладание Германии во всем свете. «Помилуйте, мы изобрели сальварсан. У нас и Эрлих, и Кох. У нас Гельмгольц, Бунзен и Моммзен. Разве это не права на управление миром? Умственные права. Мы живем в век разума, опираемся на разум, у нас разум – первый в мире. И мы будем организовывать человечество». А все началось с зубной щеточки. Но немец не был бы немцем, если бы не мог сделать «умозаключения» от маленькой щетки для гигиены до пределов вселенной.

Место это, я заметил, опасное. Оно кружит головы, рождает чары; рождает силы, творит положительное безумие. Народы, порывающиеся сознательно к «первому месту на земле», начинают совершать явно безумные поступки, очевидные со стороны, но нисколько не видные самим носителям «всемирной миссии». И причина понятна, сказать ли космологически, сказать ли религиозно. Космологически – вот какое выражение: ведь все-таки «земля» наша – маленькая планетка. Ее окружают миры звезд – планет гораздо больших и, вероятно, более интересных и занимательных. Что такое «я», пишущий «эту статью» в городе «Петрограде», на такой-то улице, – перед Сатурном, Юпитером, Сириусом и проч.? А между тем «мессианизм» рождается именно из таких и подобных статей, – из «заманчивой мечты», которая вдруг начинает «кружить головы». Дело, очевидно, и должно кончиться таким «головокружением», весьма болезненным, и не больше. Настоящее обаяние исходит на человека, как и на всю нашу планету, из звезд, из неведо-

мого и беспредельного мира, в котором мы не понимаем ни начал, ни концов. Это – космологически. А религиозно – еще яснее. «Первое место» очевидно, принадлежит Богу и не принадлежит и никогда не должно принадлежать человеку или группам его, народам. Отсюда-то и объясняется безумие. Мы собственно хотим сесть на «Божье место». Хотим – Престола Божия для себя. И естественно, летим «вверх тормашками».

Отсюда великолепное поползновение к лени. Оговорюсь и объяснюсь. Сам я довольно деятельный человек (сколько написал за жизнь), но с великим вниманием и все возрастающим изумлением всматриваюсь в совершенно противоположное моей натуре начало – лень. Мне приходит на ум, что в «лени» содержится метафизический принцип Руси, и «лень»-то именно нас и охраняет от самых ядовитых зол. О, спора нет, что «лень» – дурна, плоха, несносна. При ней – вечно «все не устроено». Вот и развод мой любимый – «стоит на месте». Судьи отпускают «с Богом» – после ужасных преступлений. Все это отвратительно, пакостно, и почти «так жить нельзя».

Готов крикнуть: «Не могу молчать», но удерживаюсь и потихоньку начинаю размышлять:

Ведь жить-то все-таки, однако, «можно». В сущности – «можно». И как ни сорна улица, ни дорога квартира, в театре играют отвратительно, извозчика нигде не найдешь, и прочие «несносности»: но дело в том, что в сих мерзопакостных условиях все-таки «живешь», а к вечеру даже набегит кой-какое удовольствие. Хорошо. Но папы в Авиньоне? Вот кому было плохо. А оттого, что хотели сесть «в Риме» на «первое место». Бог их и чебурахнул. Каково пролететь от Рима до провинциального Авиньона? Это знает тот папа, который «летел». Русские архиереи решительно никогда этого не испытывают, ибо когда «летят», то всегда с небольшой высоты. И вообще «больших высот» не надо в мире. Опасно. Страшно. Тревожно.

В сущности, – обманчиво и лукаво. «Хотел сесть на престоле, а и стула не оказалось!..»

Вот отчего и «смирение» Достоевского собственно лукаво же. «Чего захотел, гордец: стать смиреннее всех. Но смиреннее всех был один Христос, и тайное поползновение Достоевского было подставить любимому своему народу Христово место, Христов престол». Это явная «хлыстовщина», по определению владык – «ересь».

Нет, «лень», вернее. Лень – спасительнее. Ее ни под какую «ересь» не подведешь, ибо суть ее заключается в том, чтобы «посидеть у окошечка и подождать». «А к вечеру позабавимся чаем. При таком случае сон будет ясен, без выкриков, – и так, с легкими и безгрешными сновидениями».

Сна «леди Макбет» не будет. На «престоле» же непременно будут «сны леди Макбет». Это – ужасное, поистине ужасное место. Я не понимаю, как люди не боятся его.

Не величавое и мирообъемлющее «смирение», а простая частная скромность, личная скромность, – вот что хорошо. Дай Бог и этого добиться, но «этому» очень способствует, если «с лендой». Зачем нам и куда нам торо-

питься? Больше жизни все равно не проживешь, а «свою жизнь» всякий, наверное, проживет. Я не говорю о времени войны: теперь мы все торопимся и так должно, ибо иначе нам неприятель сядет на шею и, черт его дери, заставит делать тоже его окаянные «зубные щетки»... «Чтобы разбогатеть», видите ли! Но я не желаю быть очень богат. А посему сделаю сам себе одну щетку. Кой-какую, ненадолго. И потом еще сделаю, и опять. Без всякой «универсальности».

Место Руси, вера Руси – вечная относительность. «Жизнь для жизни нам дана», т. е. для самого *процесса* жизни, который ей-ей хорош, и не нужно к ней никакого «заклочения». «Пусть тянется, матушка, как степная дороженька, нигде не кончаясь, нигде не начинаясь». И – «эй вы, бегите кони, только не растрясите меня».

Я хотел говорить о новой книге – огромной книге – нашего философа и публициста Н. А. Бердяева «Смысл творчества», недавно появившейся в Москве. Там он зовет Россию и, стало быть, всех нас к «религиозному творчеству». К религиозному героизму, к религиозному *величию*... Вспомнил пап, Лютера, испугался и от страха заснул. Были самые легкие сновидения. Проснулся и написал эти немногие строки, – в том смысле, что «боюсь» и что это не «удел Руси».

П. Б. СТРУВЕ О М. М. КОВАЛЕВСКОМ И г. ИЗГОЕВ О г-не ПЕШЕХОНОВЕ

В последней книжке «Русской Мысли» напечатаны две очень интересные статьи; редактор журнала П. Б. Струве – о М. М. Ковалевском и г-на Изгоева возражение радикальному не то «трудовику», не то «социал-демократу» г-ну Пешехонову. Характеристика М. М. Ковалевского может быть названа самым удачным из всего, что было написано по смерти нашего знаменитого «общественного деятеля», и, можно сказать, «исчерпала предмет» так, что тут и прибавлять нечего, и оговаривать нечего. Пожалуй, из всего, что было написано Струве, эти немногие строки являются самыми талантливыми по пронизательности и «точности кисти», хотя сами по себе, своим содержанием, они, разумеется, не представляют особенной ценности. Но бывает, что маленькая вещь «так удается».

Я помню самое начало профессуры М. М. Ковалевского в Москве. Потом только слышал о нем, – он был за границей. Потом, в дни «смуты» или «революции» опять его увидел в Петербурге, уже значительно поседевшим, но все таким же шумным, громким, которого все слушали, на которого все смотрели и который любил быть «везде». Как-то не представлялась его голова склоненною над книгою, хотя было хорошо всем известно, что он очень учен, и разнообразно учен. Как-то не ожидалось, что вот-вот в речи его засветит особый луч, какого вы раньше никогда не видывали, и озарит вашу голову, и в вашей голове «по созвучью» загорятся такие же лучи, и вы в один час поумнеете, как не умнели за много лет. Нет, этого не случилось. Этого не

ожидалось. Но впечатление бывало всегда одно: «Как, однако, он талантлив?» «Но в чем талантлив?! Я этого – не понимаю». Струве разъяснил.

«Смерть М. М. К-го поразила многих, – так много жизни и в тесном, и в переносном смысле было в покойном. Жизненность и была справедливо отмечена как основная черта Ковалевского во многих некрологах». Так он начинает свой очерк, оговариваясь, что эта черта должна быть, однако, не просто констатирована в нем, но и использована.

Жизненность? – Да, это действительно так. В Москве и через 30 лет в Петрограде – он как будто не изменился и был совершенно так же молод, как в первом расцвете. Ничто его не утомило, ни от чего он не устал. И вот эта его неутомляемость, когда всем было известно, что он много и разнообразно трудится, и составляла источник всеобщего убеждения, что «он так даровит». Да ведь это так и есть на самом деле. После всякой работы у него сил «еще оставалось». И ясно было, что силы его были очень велики, что у него было обилие сил. Не «даровитость» ли это? Кто оспорит?

Он никогда не казался утомленным, усталым, и, вероятно, ни один человек от него не выслушал ответа: «мне некогда», «я устал», «мне не хочется». Он всегда был «готов», – к делу, к слову. Не удивительно ли? И не вполне ли благодатно и благотворно, что общество всегда находило этого члена своего готовым встать, найти и сделать? Но будем слушать дальше Струве. Он говорит:

«Общее представление рисует себе Ковалевского как ученого и учителя. Но в нем не было вовсе некоторых, весьма важных и определяющих черт ученого; еще менее сидел в нем учитель, и ни о чем вроде «школы Ковалевского» говорить нельзя. Без всякого преувеличения можно сказать, что если Ковалевский был крупным ученым и знаменитым профессором, т. е. учителем высшей школы, то в значительной мере вопреки своей природе».

Это удивительно метко. Ковалевскому недоставало созерцательности, вдумчивости, небесности. «Мудрость» – она от звезд, в ней дышит небо. Сейчас же это и чувствуется в человеке, в профессоре. Какая разница была в «профессоре Ковалевском» и там же в Москве в «профессорах Буслаеве, Тихонравове, Соловьеве-старце, Ключевском». В последних всегда светило небо. Мысль их ясно была заоблачна, хотя говорили они о земле, о земных вещах и отношениях, – говорили тоже о царствах, о сословиях, о людях. Но мысль их господствовала над предметом, о котором говорили они, – и это «господство» давали им тихие часы ученых размышлений. У Ковалевского как будто не было «никаких часов в кабинете», и вот это-то и есть то, почему Струве не увидел в нем «некоторых существенных черт ученого», не сказал об этом яснее и определеннее. Едва ли, не выдав его профессором на кафедре, Струве думал об этом определеннее. Ему так «казалось». Но ему «показалось» совершенно верно: Ковалевский, хотя был по факту «по сведениям и знаниям», «ученым», и даже «знаменитым ученым», но по натуре и по призванию он ученым совершенно не был. Странное сочетание, но оно совершенно истинное.

Он весь был земной, грузный (замечательная фигура?). Весь был «здесь» и... «теперь», «на этом месте». В нем совершенно ничего не было мечтательного, задумчивого, заоблачного, а при этих ограничениях разве можно стать ученым? Но он «от громадной общей даровитости» стал и ученым, однако поистине «вопреки натуре». В нем не было главных движущих стимулов науки: загадки и вопроса. Какая же «наука» без загадки и без «вопросительности» природы по существу? «Науки» не может быть, ибо все «ясно», – и для Максима Максимовича, вопреки кафедр и всем объятим им наукам, было поистине и несчастным образом все «ясно» гораздо раньше, чем он принялся за науки... В сущности, он учился, – и всю жизнь учился, – потому что всю жизнь был «в высшей степени даровит», а вовсе не потому, чтобы его что-либо тянуло «узнать в науке», «разведать в науке». Вот «разведчика» – в нем совершенно не было. Он был слишком доверчив и не сомневался ни в чем и ни о чем, едва начал лепетать. Эта-то глубокая эмпирия, доверчивость к осязанию и осязаемому и была сутью его природы. Какая же тут «наука»? Науки даже не нужно. Он «верил» няне, с которою играл, – старцем «верил» партиям, к которым принадлежал. И ничего не «проверял» – у няни и у партий.

Но будем слушать дальше Струве: «Еще, быть может, менее Ковалевский был писателем в профессиональном смысле, хотя писал он легко, как, впрочем, делал все легко, без малейшего напряжения. Но писательского призвания и дарования, как такового, у него не было, и не писательством он выдавался среди множества других пишущих людей».

Действительно. Он «писал» всю свою жизнь, но ни одна книга его – при такой «учености», – не признана «настойною», и даже особенно ценною, необходимою, неизбежною, лучшею. Ни один юрист или экономист не скажет: «В этой области без Ковалевского не обойтись». Нет, «без Ковалевского» решительно можно было обходиться во всех областях.

Он всю жизнь писал, и много писал, – но в обществе не запомнилось ни одной «мысли Ковалевского», где вдруг бы засветилось его лицо, загорелся бы его язык. Ни разу не случилось, чтобы его «слово» облетело Россию, и все сказали бы: «Это сказал Ковалевский». Таким образом, на его могиле как-то пустынно, серо. И между тем все характеристики начинаются словом: «даровитость Ковалевского», «живость Ковалевского». Не случилось ли тут чего-то особенного и несчастного? Мне кажется, Струве не договорил одного слова, которое венчает дело. Он не спросил себя и не сказал читателю: «Да был ли Ковалевский тем, чем он должен бы был сделаться?» Он себя не «нашел», – и это отвечает его общему характеру. Но гораздо печальнее, что Россия его «не нашла», и с этого начинается настоящее дело.

Струве ясно говорит, что он не был ни «ученым», ни «писателем», почти не скрывая, что здесь не было его призвания. И настаивает, – как все, кто говорил о Ковалевском, – на его исключительной, редкой одаренности. Но почему же он не спрашивает: «К чему одаренности?» Разве есть талант без приложимости? Странно, как если бы были цветы и запахи без того, кто их

обоняет. Это противоречит законам космологии, где не бывает «потерянных вещей».

И «призвание» Максима Максимыча горело в его на редкость умных небольших глазах, в его подвижности, оживленности, неустанности. Человек, который до пятидесяти лет всегда готов пойти «куда нужно», где «звонит дело», где люди нуждаются «в помощи и совете», – есть ответственный администратор целого края: и едва я произнес это слово, как все закричат: «Какого человека мы потеряли! Какого человека Россия не увидела, пропустила». При его безукоризненной честности, при его великодушии, доброте, благородстве, – а самое главное – при неустанности в работе, при живости темперамента, при его интересах, в равной мере наклонных к юриспруденции и политической экономии, и вовсе не в теоретической части их, а именно в практической, «прикладной», он мог бы привести к оживлению и расцвету всякий край, область, губернию... Он соединил бы и оживил около себя население, «земцев», интеллигенцию, – действуя сразу на суд, на администрацию, на школы, – действуя на крестьян, на учителей, на духовенство, действуя везде, как «практический учитель» и пример, как хозяин добрый и господин благой.

Тогда как именно в этой области, самой важной для Империи, Россия имеет каких-то «письмоводителей», со стопами ежегодной «отписки» и без зерна реального дела <...>

Он был призван к делу, неизмеримо важнейшему, чем всякая книжность и ученость, – чем всякая «письменность» и писательство, – к живому реальному делу на земле – и как бы это пригодилось в стране-то, где и через тысячу лет «порядка и наряда нет», а есть своры, ссоры, мелочь, зуботычины и около этого – «чин чина почитай». Есть соперничество кантов, чинов, ведомств, – и всего прочего такого же, что вообще России не нужно. И как хорошо и характерно, что к нему «письменность» что называется «не пошла». Как экономист в значительной степени, он был бы именно «правителем области» не по типу Сперанского, без великолепных, но и обманчивых «докладов», а с зерном живого дела везде. Так им и воспользовалась бы реальная эпоха Петра, реальное время Екатерины. Но наше «бумажное» и «словесное» время его даже не заметило...

Ну, «с возу упало» – нечего оглядываться. Другая статья, я сказал, – Изгоя. Он является защитником новейшей земельной политики в России, состоящей в переходе или переводе крестьян от системы общинного землевладения к системе частного землевладения, «отрубов» и «хуторов». Как известно, германцы, заняв западные наши губернии, с особым неистовством накидывались на эти «отруба», – сжигая в них жилые строения и портя землю. В то же время реформа с «отрубам» в ученой западной литературе признавалась колоссальнейшей земельной реформой вообще в Европе за весь XIX – XX век. Разрушительная работа германских войск, очевидно, продиктована была сверху, – и вот Пешехонов буквально идет параллельно этой «экономической политике германского солдата» в России, так же ненавидя «отруба» и

«хутора», как немецкий бравый вахтер. Если он делает это без всякого вознаграждения из берлинского «верха», то это тем дешевле для Берлина, но едва ли тем «честнее» для Пешехонова, ибо это в обоих случаях одинаково скверно для России. Берлин по понятным чувствам вражды к России не хочет в России земельного укрепления и благоустройства; Пешехонов тоже этого не хочет по мотивам социально-демократического свойства, вообще предпочитающего «земельную анархию», в мути которой ловится хорошая революционная рыбка. Но, как уже доказано и как разъяснилось дело, – и в разъяснении его много сделал именно г. Изгоев на страницах «Русской Мысли», – через посредство милого «Интернационала» берлинские «ловцы человеков» очень хорошо «подают знаки» русским «народным социалистам», и русские «народные социалисты» ведут в печати нашей речи именно во вкусе действий германской армии над «отрубам» и «хуторским хозяйством»... Все это привело к тому, что г. Пешехонов с великим озлоблением накинулся на г. Изгоева, и... Но пусть излагает дело сам защищающийся г. Изгоев:

«Ответ мне Пешехонова (на защиту системы «отрубов») – не спор по существу, не опровержение моих доводов, а сплошная политическая инсинуация, стремление убить меня политическим ошельмованием. Во множестве вариаций г. Пешехонов все твердит одно: «Изгоев – адвокат землеустройства», «поет дифирамбы землеустроительному ведомству», «привязал свою ладью к землеустроительному пароходу» и только «совершает свое плавание с видом независимости»... «Везде Пешехонов выдерживает тон инсинуации. Он нигде не решается прямо и честно обвинить меня, что я поступил на службу к землеустроительному ведомству. Нет, г. Пешехонов только инсинуирует, что мне «волей-неволей приходится участвовать во всех эволюциях землеустроительного ведомства, – даже и тогда, когда дым парохода, к которому якобы привязана моя ладья, прямо ест глаза и когда всякий другой поспешил бы отойти в сторону».

Нужно заметить, что сам г. Изгоев – правоверный «марксист», как он определенно формулировал свою политическую личность. И вот когда на него так накидывается более левый «русский народник», то для всякого человека со стороны является только зрелище, как жуки разных возрастов и разных озерных «заводей» имеют обыкновение расправляться друг с другом.

В возражении его г-ну Пешехонову интересны не подробности, а следующее определенное указание:

«Г-н Пешехонов останавливается на моем замечании о его «пророчестве» и просит меня указать, где было им, Пешехоновым, высказано категорическое пророчество, что война с Германией материально более шести месяцев длиться не может. «Пророчество» г-на Пешехонова о скором прекращении войны по причинам материальным, по отсутствию денег, я слышал в заседании Вольно-Экономического общества в конце 1914 года, – причем даже было прибавлено, что война прекратится как-то вдруг, каким-то мистическим образом;

говорилось о настроении и воле масс. Довольно твердо запомнился и срок в шесть месяцев. Стенографической записи заседания нет, г. Пешехонов может всех обвинять в неточной передаче его слов, и если он утверждает, что шестимесячного срока для истощения не назначал, для «истощения отечества» в грозной войне, в войне почти за самое «существование», – по примеру Дарвина – «кто кого съест» (хороши русские «народные социалисты» – В. Р.), – то я спорить об этой цифре не стану. Согласен допустить, что «6 месяцев» (цифра эта приводилась) относились к чему-нибудь другому, но на главном настаиваю твердо: г. Пешехонов в заседании Вольно-Экономического общества в конце 1914 г. доказывал невозможность длительной войны по материальным соображениям, – именно он сравнивал миллиарды расходов с общей суммой богатства стран, – и предсказывал близкое окончание войны как-то вдруг. Неужели г. Пешехонов ввиду отсутствия стенограммы решится и это отрицать?»

Очень мило и должно быть отмечено для литературного памятования. Срок «не более шести месяцев» указывался и в германской военной печати, когда она говорила о ближайшей великой европейской войне. И вообще здесь единство и согласованность германских военных авторитетов и русских журналистов «народно-социалистического направления» очевидна и непререкаема. А глухая и вместе совершенно прозрачная ссылка на то, что «война прекратится вдруг и под давлением воли и настроения масс», говорит совершенно определенно о внутренних событиях государства, идущих параллельно войне и могущих вовремя покончить ее и положить отечество под ноги неприятеля. Все это говорилось в конце 1914 г. в Петрограде в Вольно-Экономическом обществе, при обычно большом стечении публики в залах этого общества, – и кроме г. Изгоева это, конечно, слышали и те фланировавшие по Петрограду немцы, австрийцы и всякие неопределенной национальности люди, которые в 1914 г. именно в Петрограде и в Москве так внимательно ко всему прислушивались, так внимательно ко всему приглядывались, ну и вероятно, «подавали знаки» кому следует, и даже, может быть, вдохновляли к речам разных ораторов... Кажется, Вольно-Экономическое общество было и закрыто вскоре, как представлявшее «на правах вольности» слишком удобную трибуну для германской агитации. Ах, помните, – Достоевский предсказывал Смердякова? Всем казался невероятным этот лакей, мечтавший о покорении России «более культурным народом». Прошло 37 лет после предсказания: и «маститые журналисты», как именует Изгоев г. Пешехонова, всходят на кафедру, – на кафедру очень популярного в столице общества, – и притом в самый момент войны, – чтобы заявить, что предсказанию и желанию Смердякова пришло время сбываться. В то же время партия, в которую записан этот Смердяков, именуется «народнической», партией «народных социалистов», – да и в речи делаются ссылки на «давление народной воли», якобы имеющей принудить Россию лечь под ноги германского милитаризма и германского капитализма. Как вам нравится все это великолепие

переодевание, – и еще параллельно указаниям, что его литературный противник «привязал свою лодочку к большому пароходу землеустроительной политики» русского правительства, дым которого «глаза ест», и «всякий другой, кроме Изгоева, отвернулся бы от этого дыма». Как вам нравится все это литературное великолепие? Слово «провокаатор», кажется, дурно пахнет в радикальных кругах. Но дело провокации?.. «От имени народа» говорят и даже кому следует, обещают народ этот «поднять через шесть месяцев» войны, дабы он сам, сложив, как в гробу, руки, лег под ноги, лег «подстилкою» для немецких, в сущности, аграриев, которые будут «культурно обрабатывать» поля глупых хохлов, поляков, белорусов, литовцев и бывлых русских помещиков и чиновников, которым «всем бы провалиться и гнить в могиле».

И говорят смело, открыто, громко. Еще бы: уже 50 лет завоевано имя или лучше сказать – подано заявление о выдаче фирме наименования единственно честной литературно-политической партии в России. А мы жалуемся на Мясоедова и Сухомлинова, – дивимся, откуда они и кто они? Достоевский давно сказал в своей «Записной книжке»: «Откуда взялся нигилизм и нигилисты? Да они всегда были между нами и с нами».

Это какая-то не политическая уже провокация, т. е. что-то маленькое и временное, – а огромная историческая провокация, т. е. предательство «с честным лицом» своей родины и своей истории.

НЕСКОЛЬКО ДОБРЫХ УКАЗАНИЙ

Сто рассуждений не так интересны, как один практический совет. Я получил из Киева от бывшего мирового судьи города Ломжи письмо, написанное карандашом, очевидно по случаю болезни или вследствие престарелых лет, в котором содержатся некоторые «вспомоществования» как родителям так называемых внебрачных детей, так и процессу развода. Письмо так ясно и хорошо, что я мог бы его только испортить «передавая своими словами»:

«Многоуважаемый господин Розанов. Ваши статьи в «Новом Времени», кровью написанные, волнуют до глубины души всех благомыслящих людей. Все согласны, что нет ничего тяжелее разрухи в несчастных браках: это прямо ад, ужас и проклятие, но раз духовное ведомство не желает процесс о разводе передать в гражданский суд и увеличить число причин для развода, – кроме тех трех китов, какие существуют, – то ничего против этого не поделаешь, и приходится подчиниться духовной власти. Но я бы желал предложить, хотя два маленьких просвета в этой ужасной темной области. Между прочим, я тридцать лет служил мировым судьей в городе Ломже и ведал по своей должности все дела сирот и вдов, так как в Привислинском крае нет ни дворянских опеки, ни сиротских судов».

Ну, как не любить Русь, «при всех ее недостатках»? Чего стоят одни названия: «сиротский суд», «дворянская опека»... Не имел в них дел, но, как бы

они ни велись и ни водились, явна человеколюбивая мысль законодателя, учредителя. Да вот поглядите и судью: как он заботится, уже дряхлым стариком, в чуждом ему лично деле, и все думает, «как бы облегчить людей в нужде».

«Много пришлось видеть горя, слез от несчастных браков и много раз приходилось давать советы в устройстве детей незаконнорожденных. На таких детей на всю жизнь накладывается в метрике печать или, лучше сказать, клеймо, которое позорит ребенка. Вот для таких детей в Польше в действующем кодексе есть статья, которая гласит так: *«Если отец своего незаконного ребенка желает признать своим, то он обращается к священнику, и тот при крещении составляет метрику, в которой говорится, что данный ребенок есть сын известного отца, от неизвестной матери»*. Такой ребенок приобретает фамилию отца, его признавшего при крещении, и права отца. Почему бы не применить этого порядка во всех губерниях, а то выходит странность: в Польше существует такой льготный закон, а русские губернии как бы обижены.

Затем – второй просвет. В настоящее время дело обстоит так: супруги фактически расходятся. Жена лет 10–15 странствует по городам, позорит имя своего мужа, но уличить ее в неверности нельзя. Муж сходится с другою женщиною, имеет от нее детей, законная жена знает это, но развода не дает, а без ее жалобы не может возникнуть в духовном суде процесс о разводе. Но введите только одну новую статью: *«Неразведенный супруг, разойдясь со своей женой и вступив в новую связь с другою, каковая связь является продолжительною, – имеет право без всякой жалобы со стороны своей законной жены подать в консисторию жалобу и просить о разводе»*. Тут ясно все, а в особенности, когда есть от такой особы незаконное дитя, не нужно лжесвидетелей и того грязного процесса, какой проделывается для доказательства супружеской неверности. Само собой разумеется, что такое же право – просьбы о разводе – предоставляется и жене, если она, бросив мужа, будет продолжительное время состоять в незаконной связи с другим мужчиною.

Если, господин Розанов, вы найдете, что моя заметка заслуживает внимания, то можете в «Новом Времени» напечатать ее, сославшись на мою фамилию.

Остаюсь с глубоким к вам уважением мировой судья *Смелков*.
Киев.

Так просто. Ну-ка, русское законодательство, пошевелись! Ах, неповоротливо оно. Да и частным нуждам плохо сострадает.

С глубоким трепетом, с глубоким волнением переписываю это письмо матери «незаконного ребенка», так дополняющее прекрасные суждения старика-судьи. Почти нельзя этих строк читать без слез. И пусть молодая мать и человек «при исходе из жизни» пожмут через мое посредство руку другу другу. О, что-то мне говорит, что Россия *первая* избудет, вытравит с лиц младенцев это проклятое клеймо незаконнорожденности.

«Милостивый государь. Вы глубоко захватываете вопрос о тяжелом положении незаконных семей.

Дети-изгои, дети, которые, возмужав, будут служить государству и обществу, но государством не признаются, встречают ваше сочувствие и защиту.

Вы отзываетесь на скорбь родителей незаконного ребенка. Тем более вы отзоветесь на скорбь матери незаконного и от рождения больного ребенка. Клеймо бесправия и клеймо болезни! Семейное и физическое уродство! Природа и люди встали против беззащитного существа, которое доверчиво улыбается человеку и радостно встречает солнце.

Мать».

К письму приложено написанное на машинке стихотворение:

Незаконной она родилась,
И отец ее был не со мной,
Когда жалоба-крик раздалась, –
Первый плач над юдолью земной.

Я ее пеленаю в слезах;
Некрасиво больное дитя;
Только дума таится в глазах,
И лежит оно, ручки скрестя.

Мне тяжел ее старческий взгляд.
Я хочу ее в сад перенести.
Где весенние листья сквозят,
Где сирени готовы расцвести.

Нет в гнезде незаконных птенцов,
Нет на розах румянца стыда,
И не знают ни жен, ни отцов
Мотыльков золотые стада.

Пусть ей слышится радость весны,
Пусть душистая майская ночь
Навевает парчовые сны
На мою незаконную дочь.

Чье бы ни было это стихотворение, автора письма или откуда-нибудь «с книги», оно прелестно. А в самом деле, – каковы думы матери над больным, неудачно рожденным ребенком, – без «судьбы в себе биологической»? Которому «скоро умереть» или который всю жизнь будет уродцем? Для общества и для статистики оно – удвоенно-ненужное дитя, а для матери, *уже единенной с ним до рождения?*

Нельзя и вообразить!

«Я как до пояса закопанная в землю».

Христианская мученица. Нельзя иначе назвать.

А вот – вечером и, задевая ее плечом, несутся по Невскому герои арцы-башевского «Санина», все такие «законные» и творящие «законное дело», – где «последствий» и «детей» не будет...

Скажите, отчего наша цивилизация так противна? Отчего она так гнилью пахнет? Забыл Христа христианский мир. «Блудницу» он осудил и сам провалился в какую-то черную дыру.

«ЙОГИ» ПО ГУБЕРНИЯМ И В ПЕТРОГРАДЕ

Не прошло месяца после выхода «Короба 2» моих «Опавших листьев», как я получил из Киева письмо:

«Очень жаль, многоуважаемый В. В., что «Опавшие листья» выйдут последним коробом (обозначение на обложке – «короб 2-й и последний»). И еще более жаль, что вы не дадите такого произведения вашего таланта, которое (подчеркиваю я) в своем великом секрете выразило бы все ваше мироощущение и миропонимание. Вы как великая ливийская пустыня, где много чудесных оазисов с великолепной и оригинальной растительностью... И как бы хотелось, чтобы вся пустыня превратилась в один великий оазис и чтобы путешественник не погибал бы в промежуточных песках! Ведь ваши писания не для слабых голов. – И потом это великое смятение духа вашего, – и тревоги, страх перед проблемами о посмертном существовании, о полах, их космической роли, – о Боге, Христе, антихристе, конце мира, Суде последнем, – все это не выяснено у вас до конца. Но ведь есть вопросы, которые необходимо выяснить. О них надо сказать себе или «да» или «нет», но не «может быть», «вероятно». Должно быть, вы мало знакомы с религиозной философией древней Индии и последними трудами.

Конечно, разрешение этих проблем – великая трудность, но почему же вам не попытаться разрешить их в великом синтезе? Вам – можно. И не в деталях только. Вам это, по-видимому, дано. И что же, что вам уже 57 лет. «Мы еще повоюем», – как говорит воробей у Тургенева. И наконец, эти вопросы необходимо решить, и – без «может быть». Да или нет. Ничего среднего, никакого «может быть». Да и какое может быть «среднее» для голов вашего калибра? Нужно решить. Иначе – жить тяжело, жить – не имеет смысла. Разве только уже совсем как раб и слуга для другого, для других».

Дальше – точный адрес. Смысл: придите к нам, и вы получите полный синтез того, что у вас в сочинениях мелькает, как подробность и догадка.

Автору письма я ответил, что для того, чтобы «идти в Индию», т. е. в мир совершенно новый, на своем корне стоящий и на этом корне росший две тысячи лет, – надо иметь приблизительно те годы, в какие Александр Маке-

донский тоже «пошел в Индию». А – не в старости, не 57 лет, когда жизнь вообще «приканчивается» и «получает себе итоги», а не изводить из себя «новые начинания». Это – в самом деле так. В старости вообще нельзя нового обширного начинать, как бы это ни манило, сколько бы это «новое путешествие» ни обещало в себе.

Затем, самые «обещания», «соблазн знания»? – Увы, «сладость знания» и «решения знания» не суть «решение бытия и сладость жития». От моего «решения», от новых мыслей «в моей голове» ничего решительно для моего жития не произойдет, не случится. Каковы бы ни были мысли, – пусть они будут светозарны и молоды, – состав мой останется стар, дряхл, изнеможен и проносится те мелкие немногие годы, которые он вообще проносится. От молодых мыслей я не помолодею; от вечных мыслей я не стану вечен. Все очевидно – «в Боге», и вечность моя, и временность. Старость – естественное время «подгрести уголки», а – и на ночь положить крест на лоб.

Естественное решение моих лет, которое осложнилось следующими мыслями, приходившими в голову и раньше седины ее. Мне «Индия» и «индусское» никогда не нравилось. И по следующей странной причине: оно – сонливо. Все индусы и все индусское, «йоги» и «не йоги», брамины и буддийцы, – спят, спят и спят. Но не «полным русским сном», – «после труда», как «отдых», как «блаженное опочивание», а каким-то отвратительным, близким к смерти, сном, какую-то отвратительно дремливостью, после которой нет пробуждения и не будет пробуждения.

И русские теософы со своими «йогами» – такие же. Как-то лет шесть назад на одном религиозно-философском собрании оратор задел «теософское движение в России вообще». Я сидел на эстраде, лицом к публике. И вот из ближних к эстраде рядов поднялось сразу несколько человек, о которых мне раньше и на ум не приходило, что это «русские йоги»... Они быстро вскочили и стали... «пылко возражать». Вот этого-то и нельзя сказать. Из всех из них говорили какие-то внутренние покойники. Это до того отличительно, это до того особливо – этот странный «внутренний покойник» в «настоящем йоге», что я почувствовал боязнь за себя, за свою жизнь.

У нас, у христиан, – конечно, если с утра помолишься – солнышко веселое, утречко – ясное, обед – со вкусом, после обеда сон – добрый. И тихий вечер в конце всего. У страшных «йогов», по-видимому, нет ни утра, ни солнца, ни вечера, а все одни тоскливые «сумерки», в которых он, не засыпая окончательно, вечно «дремлет»: прямо отвратительное существование. И чтобы я из «нашей милой Руси» да пошел в эту гадкую Индию, полную «снотворным одурением»? – Да – ни за что!!! Философии их я не знаю. Но я по лицам вижу, что – отвратительная философия. Да знаете что: может быть «слишком много философии» вообще отвратительно и непереносимо для человека. Я предпочитаю – действительность. В «действительности» и помираем, в «действительности» и поспишь: «действительность» не мешает и философии, но – «с другом приятелем», с «человеком близким». Но «вечно философствовать»? – Извините, я не люблю гашиша.

На мой ответ, что «нельзя всего знать» и «нужно поставить точку перед новым» в известные годы, тот же корреспондент через несколько месяцев ответил мне, опять из Киева, в те печальные дни его, когда все эвакуировалось, когда немцы и австрийцы напирали и на Киев, и на Петроград, и на Москву. Письмо от 22 сентября 1915 года:

«Давно собирался написать вам, многоуважаемый В. В., – но киевская паника помешала мне. Этот случай массового психоза – довольно редок и поэтому очень любопытен. Итоги таковы: страх – это один из видов человеческой глупости; это – первое. Второе – немногие люди имеют свою голову, большинство – взятую на прокат. В конце концов – это очень печально и – позорно. Но довольно об этом... Что это? Если бы и захотели – все равно – не можете всего знать. Это приходит постепенно, и со страданием, которое всегда сопровождает наше знание. Все знать – пророчество Бога; это Его великое двойное бремя. Ибо через страдание достигается творение»...

Нельзя не заметить, что в последних словах – много глубины. Действительно: истинно и глубоко сведущие – только страдавшие. Когда я себя мысленно спрашивал в старые годы: откуда этот налет пустоты в «творениях» Спенсера, Дарвина, Бокля, Канта, откуда эта несомненная примесь легкомыслия у них всех, корифеев второй половины XIX века, – то внутренне всегда говорил себе: «Да это – типично счастливые люди, никогда ничем не страдавшие, – люди, родившиеся без боли: и откуда же им понять глубину моря?»

«Духовный принцип великого единства, одухотворяя материю – принцип множественности, как бы нарушает свою природу, желая, как великий дар любви, дать жизнь всему существу. Но этот дар – жертва. И вот все миротворение, вечно и до сих пор и впредь продолжающееся – страдание, ибо дух, все более и более запутываясь в сильно одухотворенной материи, все более и более страдает, – погружаясь в нее. Иногда ввиду будущих еще больших зол посылается воплотившееся божество (у нас Христос) для спасения и борьбы с антихристом – окончательным перевесом материи. Материя побеждается, мир исчезает, и тогда вновь творится новое небо и новая земля. Все это, как видите, и нечто христианское (я подчеркиваю). Но нет. Есть здесь и индусское. После изучения всех великих религий по их первоисточникам – прихожу в заключение, что наши христианские идеи гораздо ближе не к Библии, а к Ведам и Пуранам. Ведь символ креста, т. е. пересекающихся горизонтальной и вертикальной линий – символ космический, мировой».

Прерву. Да, но нам «символ креста» важен по Тому, Кто на нем распят, и «Кто взял грехи мира» на Себя и к Кому наша молитва, а вовсе не по этой его космологии. Не буду же я целовать цифру «4», потому что она обозначает «четыре страны горизонта». А крест мы целуем – не с мудростью, а с любовью – и это решает все. Космология креста никому из пра-

вославных и в голову не приходит и за эту космологию, надеюсь, никто бы его не стал целовать.

«Так же, как и эти линии (т. е. горизонтальная и вертикальная), которой каждая представляет из себя особый символ, он (т. е. крест) – символ не только нам. И круг и крест, заключенный в круге, и треугольник, и пятиугольник, шестиугольник, и числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, и каждая гласная и согласная; – все это порознь и вместе – символы, «глаголы вечной жизни». Учение Индии о «кумарах», девственниках и девственности – многозначительно.

И в этом отношении перед Индией бледнеют и Египет, и Персия, и Китай.

Много там есть глубокого и о бессмертии души, о посмертном нашем переживании, к чему так близко подходит и современная необиология с ее замечательными опытами и наблюдениями, произведениями. А это, конечно, важно для каждого желающего знать, что с ним будет потом, с окончанием, здесь, его земной жизни. А это, я полагаю, каждый хочет знать, хоть и не каждый сознается в этом. В общем – только религия через века и народы упорно и незыблемо несла великие истины и тайны, великую веру и великие надежды, особенные от всех остальных, которые в будущем будут великими аксиомами, но которые теперь, в эпоху великого сомнения и испытания умов, считаются парадоксами, глупостью, «безумием века сего». Ну, простите мою длинную болтовню. Записался, как говорится. Не плохи вы (вероятно, в ответ на частности моего письма). Может быть – вы слабы. Это – да. Но это от того, что ваши близкие болеют. И это понятно. И вот вы и сами больны. Но иначе нельзя. Так всегда бывает и иначе не может быть, у кого есть великая любовь. И многие бы позавидовали бы вам. Ибо какая цена жизни без нее, и не красна ли она тем, что есть у человека, то, что он любит и во что влюблен. Ради этого стоит родиться и жить. Без этого, конечно, и не стоило бы! Грустно, но и радостно мне за вас.

Видел в книге вашей ваши семейные портреты. Хорошие и славные все лица. Но только вас нет. А хотелось бы увидеть. Не видел вас, но почему-то как бы могу представить ваш облик. Но почему? Всего вам доброго».

Теплое, душевное письмо, молящее «вникнуть». Как за «другом» не пойти. А в письме – явная дружба, не только идейная, но и душевная. Но, – очень далеко!!!

Это – серьезный мотив, тут нет шутки. Всякое растение должно расти на своем корне, всякое деревцо должно не уходить из своего леса. Индия – там смоковницы, там очковые змеи, там (индийская конопля), усыпляющая человека и производящая в нем какие-то одуряющие мены. Я хочу сказать, что наша северная Россия и такая даль юга уже от корня между собою противоположны, и, прожив тысячу лет, до самой Блаватской и ее «Дребрей Индостана», она никогда с Индией не соприкасалась, не взаимодействовала! Куда же тут новое начинать?! Такое новое?!!

И потом – следующее. Хороши сны индийские, но ржаной хлеб сытнее. Я понимаю, что символика «креста», «пятиугольника», цифр «1, 2, 3, 4, 5, 6, 10» – интересна: но есть возраст, когда не этого хочется, а хочется реальной озабоченности о земле своей, о племени своем, об обществе своем, об этом «несносном обществе», которое, однако, – «наше». «Я у него взял хлеб и съел (вся моя жизнь), как же я его оставлю без тех крупниц хлеба, которые лично и от себя могу дать? Вот. Не любишь его, даже ненавидишь, – но и во сне и наяву все-таки о нем думаешь, о «нашем» северном милым обществе. Тут – и гимназии. Тут и конституция. Неулаженная семья. «Наши отвратительные чиновники». Все болит на душе. Ну, а «уйдя в Индию», все это забудем? «Символы – пятиугольника» и «креста» совсем не связываются с «нашим чиновником». Повторяю – есть возраст мечты – это молодость. «Тогда ходи далеко». (И то это можно с соображением, что «под старость на родину воротиться».) И есть старость – возраст озабоченности.

И еще обобщенный ответ корреспонденту и всем философам. Когда стоишь на богослужении и слушаешь именно старым ухом все чудеса глубоко-мыслия в нем, чувствуешь живо разницу между философией всех этих «символов» и тем, что дает она. Оно именно дает «хлеб наш насущный», питающий нас «днесь». Все, слышимое на богослужении, до того «нужно», и нужно «сегодня», а вместе оно до такой степени вечно и универсально, что я решительно не понимаю, как можно, «имея такое вокруг себя», пойти куда-то «за новой мудростью в Индию!». Я сыт у себя на родине. Вот почему я «не алчу чужого вдали». Зачем мне это? Я действительно не алчу, я действительно сыт.

Непорядков много. Но это «мы», наша «деятельность», «косность»: с нею и борись. Я еще раз обращаюсь к богослужению, как его почувствуешь в свежую минуту души (это не всегда бывает). «Выйдя из церкви» через час – едва веришь, что видишь «православную улицу». Самые лица, «нетрезвое поведение души», – это поведение у всех – и точно «не узнаешь страны православной». Напоенный (это не всегда бывает) стихией богослужения, – точно не узнаешь мира, точно «мир не тот». Почему? Его не бывает, едем ли с бала, с лекций, из театра, с выставки картин. Откуда, откуда оно?

Из – страшной серьезности. Все богослужение – о, как оно серьезно, деловито, о хлебе действительно «насущном» и о хлебе действительно «небесном». Все смешано здесь, вернее, здесь все гармонично соединено – царство, престолы, служба («и о всей плоти и воинстве»), ожидание загробного суда, вечная жизнь души.

Чего здесь нет? Нет, скажите, что здесь опущено? И в чтении «паремий», да и в молитвах, мелькают еще имена Вавилонов и Египтов, как бы мы про-должаем – именно только в храме и здесь – их живую жизнь.

На улице я – коллежский советник такой-то. Но не думайте: не только священник и диакон одеты в «ризы»; в «ризах» и все мы.

Вся история у нас на плечах; вся история сшила «мое церковное одеяние». Сниму ли я его? Станный вопрос.

О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ОКРУГОВ

«Старый педагог» в «Нов. Времени» говорил о некоторой *рискованности* исключить вовсе «отметки ученикам» за знание предметов, за знание каждого урока, – на каком-то исключении остановился педагогический съезд в Петрограде, только что закрывшийся, и составил «приговор» – *исключить*. И у меня мелькнула мысль, сама собою просящаяся на бумагу.

Да, позвольте. Россия занимает, слава Богу, *шестую часть суши*. Каждый «учебный округ» в ней равняется обширностью территории то саксонскому королевству в Германии, то баварскому королевству, – то целой Швейцарии, то целой Португалии. Кавказский учебный округ, например, обширнее целой Испании. «В наше время, когда есть железные дороги» попечитель, учителя, профессора, вообще ученые и образованные люди – на Кавказе, в Харькове, в Киеве, в Казани, не говоря уже о «всепоглощающей» Москве, *ровно точь-в-точь такие же*, как в Петрограде, ни капельки, ни чуточки ни глупее, ни малоопытнее и т. д. Гоголевского «три года скачи, ни до какой просвещенной страны не доскачешь» решительно нет теперь. Через три дня доскачешь. И соответственно этому просвещение разлито по всей России, вообще по всем цивилизованным странам совершенно одинаково.

А если так, то для чего решать для «одной шестой части суши *сразу*», когда можно сделать опыт, предоставив «сохранить отметки» и «уничтожить отметки» в отдельных учебных округах, «обширных, как Бавария», – по *убеждению* попечителей ли округов, а еще лучше и естественнее – по решению попечителей, в согласии и с совета избранного лучшего местного персонала педагогов: тех же, например, директоров гимназий?

Вообще, откуда такой теоретизм? Откуда это педагогическое *а priori*? «Мы ничего не знаем *до опыта, до испытания*» – так естественно подумать и так легко «при обширности нашего государства» провести этот опыт на деле, – опыт неторопливый, уделив ему, например, 10 лет. Так просто. Прямо «в кармане лежит». Почему же не догадаться?

«Ах, все простое – так трудно. Для этого надобен ум». А напутать, а затруднить дело, «рассчитать по пальцам и ошибиться» – для этого поистине не надо никакого ума, а достаточно просто иметь путаницу в голове. Именно для России, по ее обширности, «опытная система педагогического труда» представляется до того естественною, до того натуральною, что совершенно удивительно, каким образом она не пришла на ум стольким заслуженным министрам, взысканным и милостью свыше, и доверием народным. Тут и гр. Д. А. Толстой, и выслуживший Андрея Первозванного гр. Делянов.

Опытная система, господа, – опытная система!!! Пусть «округа учебные», обширные, как королевства, думают своим, работают сердцем, обрабатывают подробности учебной и воспитательной (воспитание-то не забудьте!) техники собственными руками. Не имейте честолюбия петроградского, дайте подышать грудью и по Волге, и около Каспия, и в Туркестане, и в дале-

кой Сибири. Такая «кругленькая» страна, как Россия, должна дышать как яйцо или как солнце: смотрите, яйцо дышит не «горлышком», а всеми порами скорлупы. Также и солнце «дышит» на все стороны, посылая лучи и к земле, и даже «куда-то туда вдаль», кажется, ни для кого. Так и мы, и Русь. Не может же граф Игнатъев скушать всю Русь. И раз он допустил «опыты» о любви (экспериментальная педагогика), ему следует допустить и опыты педагогического провинциального самоуправления.

И лучше бы, удобнее всего это начать с довольно мучительного и важного вопроса об «отметках».

ЕЩЕ ОБ ОПЫТАХ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ»

Проф. А. П. Нечаев, давший инициативу опытов над эротическими ассоциациями у учеников и учениц гимназий, – против *уместности* чего в учебных заведениях я написал заметку в «Нов. Вр.», – весьма раздраженно мне ответил в «Речи» и в «Русск. Ведомостях». Ответ я не нашел ясным и по-прежнему мне темно, к чему ведут эти опыты, кроме простого педагогического любопытства? Притом они касаются такой щекотливой и «поползновенной» области, что родители учеников и учениц могут поставить свое «veto», сказав угрюмо: «Всему *свое время*, и ученический возраст, отдаваемый познанию *внешних предметов, внешнему любопытству*, отнюдь не есть возраст *внутреннего внимания к своему полу*». Это наклонная плоскость, очень опасная и скользкая и, увы, *неудержимая*. Может ли поручиться А. П. Нечаев и другие экспериментирующие педагоги за то, *где* остановится внимание мальчиков и девочек и не пойдет ли *молчаливое* внимание дальше, чем этого желают и ждут педагоги. Вообще, нельзя не сказать, что педагоги *наивны* в этом деле. Не только дети, но и взрослые не всегда умеют удержать и сдерживать свои «ассоциации» на этой почве; взрослые, даже врачи, даже профессора. Рассказы о неосторожных «заглядываниях» сюда и о последствиях этого заглядывания – убийственны, тяжелы, страшны. Проф. Нечаев, вероятно, не знает природы «огня», с которым он шутит. Тут уместно вспомнить поговорку: «От двухкопеечной свечи Москва сгорела».

Имея-то в виду эту общественную и педагогическую осторожность, я должен предложить и вниманию общества, и вниманию проф. А. П. Нечаева следующее письмо за подписью «Отец», мною полученное:

«Кто с любопытством, а кто и с возмущением прочтет об экспериментах А. П. Нечаева, – о каких вы говорите в статье вашей; но едва ли не у всякого мелькнет вопрос: «А что, *знали ли* родители этих детей *заранее* о предстоявших опытах и с *согласия* ли их эти опыты происходили?»

Я отец девочки школьного возраста, девочки очень впечатлительной, – и, говоря по совести, не желал бы рисковать ее нравственным

здоровьем, подвергая учебной необходимости отвечать на скользкие (даже и не в детском возрасте) вопросы, – хотя бы и под штемпелем «профессора».

Мне кажется, – и я особенно останавливаюсь на этом, если и не настаиваю, – здесь даже не в возрасте вопрос. Я спросил бы: какая цель спрашивать хотя бы взрослых, – даже не детей, – что ассоциируется в их сознании со словом «поцелуй»?

Конечно, г-да ученые делают учебную мину, задавая эти (я не решусь сказать «пустые») вопросы детям от 10 до 16 лет.

Я согласен, *для науки* и научной мысли нет секретов в природе. Но мир населен обывателями, гражданами более или менее скромной действительности, *каждого дня*. Зачем же нам всем обсуждать вопросы, входящие в компетенцию медиков, психологов и психиатров? Не спорю, может быть, и моей дочери придется когда-нибудь *серьезно* заниматься такими вопросами; но, повторяю, *серьезно, научно*, без примеси обывательского легкомыслия, зубоскальства и нездоровой работы воображения.

Удивительно, на какие аргументы могут идти наши «ученые», чтобы доказать не окончательную беспочвенность симпатичной им идеи! Даже не останавливаются перед рискованными опытами над детьми.

Но теперь вот в чем вопрос.

Я – гражданин Русского государства, имею дочь, которую хочу хорошо воспитать и образовать для жизни.

Наша школа давно уже отказалась от воспитания, – оно не в ее средствах. От образования не отказывалась, но что оно также не в ее средствах – двух мнений быть не может, в особенности в отношении женского образования.

Женская школа наша бесполезна, – это знали все, кто хотел знать правду. Но, как корректный француз, не веря в Бога, принимал священника, так русский обыватель отдавал детей в гимназии и институты, хоть и бесполезные, но и безвредные. «Так принято», – и ответить, что «моя дочь нигде, мол, не учится», – просто неловко, неудобно. «Будто не в состоянии».

Но теперь вопрос обернулся иначе, и я прошу вас спросить, кого надо, – как же быть теперь с детьми, куда отдавать *для образования без порчи их*, чем защитить от гг. Нечаевых, и каким путем протестовать против развращения детей, кроме открытого возмущения против строя, допускающего подобный порядок внутренней жизни?

Отец».

Письмо, написанное на бланке «Памятной записки», помечено 25 мая 1916. О полной образованности писавшего, как «мы с г. Нечаевым», не может быть сомнения. Он обращается собственно к г. министру просвещения, – а теперешний г. министр, столь чуткий к «общественным запросам», не может не выслушать отца семейства, говорящего с двойным авторитетом – и отца, и гражданина.

Я знаю, положение министерства трудно, но и трудно положение семьи. Посмотрите, с какою твердостью этот отец, очевидно внимательно всматривавшийся, говорит: «*О воспитании* в наших женских учебных заведениях и речи быть не может, но, кажется – не в *средствах школы* дать и *какое-нибудь образование*». Это не уместно и для страны, и для семьи. Я, довольно долго быв учителем, – зорко смотрев на окружающее учеником, – и, наконец, как отец пятерых детей от 16 до 19 лет, скажу почти то же, но скажу с некоторым утешением: «*Как-то Бог выносит! И доброе рождение, и дары природы, добрые инстинкты натуры, – спасают дело*». Результат не так отчаян, как можно было предположить. Дети выходят часто *чистыми и прекрасными*. Как это случается, «*вопреки школе*» – непонятно. Но что «*вопреки школе*» – несомненно, трижды несомненно!!!

Инстинкт спасает. Внутреннее врожденное целомудрие, у девочек доходящее до испуга, до неперенесения малейшего намека «около этих тем». Вырастают «*как мусульманки под покрывалом*», но это именно «Бог спасает», «Бог *выносит*». Тут, при этом целомудрии священных инстинктов, – «опыты» г. Нечаева и его «экспериментальной педагогики» – легкомысленны и пошлы. Они могут быть *и очень опасны*. Ведь у мальчиков и девочек может скользнуть мысль: «*Что же, нас этому в школе учат!*», «*нас о поцелуях и о любви учителя спрашивают*». А авторитет учителей, да еще с таким ученым и новым заголовком: «преподаватель или профессор экспериментальной педагогики» – абсолютен. Свежие люди, как русские, на все новое и «модное» кидаются. Кидаются взрослые. Как же не кинуться детям?

Опасно! И г. Нечаеву нужно бросить это неосторожное дело.

P.S. Еще и то надо вспомнить, на это оглянуться, что он начал это дело в отвратительную эпоху, когда нарасхват читаются и попадают едва ли редко к подросткам произведения вроде «Ямы» Куприна, «В тумане» Л. Андреева и вообще произведения «наших симпатичных беллетристов» вроде Арцыбашева и т. п. Почва печатная до того гнила, что с сеянием на ней половых проблем нужно решительно подождать.

РУССКАЯ СТАРИНА

Церковь Илии Пророка в Ярославле. Москва.
Книгоиздательство К. Ф. Некрасова. In folio.

Это что, красота, – она приходит, она уходит, она отвлекает, она развлекает: и, входя в храм, русский человек никогда не спрашивает себя и не спросит, «красиво» ли, но единое спрашивает: «*по отцам ли, по древнему ли, так ли, как нам передано и завещано от мудрейших нас*», – т. е. *истинно ли?* Вопрос об истине есть единственный, представляющийся русской душе в прикосновении со всем, до религии относящимся. И все прочее он считает простою

забавою, недостойною места сего, т. е. храма. Посему храмы православные строги и взыскательны; а когда уже это удовлетворено и достигнуто, – то они и радостны, светлы, светлолики. Но этот свет внутренний и не похож на внешнюю красоту. Таков-то незримый и неписанный канон русского храмосозидательства и расписания храмов. Красота «для вида», – на последнем месте. Но когда пройден и кончен путь строгости, то красота душевная вдруг объявляется сама собою уже на первом месте: ибо что же выше, нежели красота истины?

Так она отсутствует, как намерение, но присутствует, как последствие.

Войдя в православный храм, испытываешь совсем другое впечатление, нежели войдя в храм католический, – не говоря о пустых вовсе лютеранских кирках. И это впечатление, – именно строгости, неотменности, канона и истины. Теперешнее, казенное, новое строительство оставляет зрителя холодным и не внушенным. Зритель стоит в храме пустой; ему не о чем думать и нечего чувствовать, и он «считает пуговицы на мундире», небрежно проводя пальцами по борту сюртука, воображая, что это он «кладет крест» на грудь. Молитва исчезает, потому что исчезло место молитвы – храм. Наоборот, в старых храмах – молишься. Душа полна. Ибо полон храм мыслью, истинною, и эта истина вселяется в зрящего человека.

По верхнему плесу Волги, от Рыбинска и до Нижнего – храмы удивительны, восхитительны. Я не могу забыть впечатления, как только вышел с пристани в Рыбинске. И что дальше – больше, впечатление все разрастается. Именно – полно мысли, все «говорит». Учит, наставляет, вразумляет. И люди здесь живут серьезные, торговые, домостроительные. Здесь – не в историческом, а в метафизическом смысле – «начала» Руси, извод серьезного на Руси. Ответственного и законного. Здесь человек не «разгуляется»; это – «низовья» Волги, с удалым человеком, с лихим человеком.

Хорошо, что ученые люди Руси, с одной стороны, и капитальные люди, с другой стороны, взялись за описание и драгоценное издание старинных церковей этого верхнего плеса Волги. Перед нами «Церковь Илии Пророка в Ярославле» в издательстве ярославско-московской книжной фирмы К. Ф. Некрасова. Ученый текст дан Н. Первухиным, бесчисленные роскошные фотографии – И. Лазаревым. Книга идет по следам работ над тою же церковью наших известных ученых – Влад. В. Сулова, А. И. Успенского, Н. В. Покровского, И. А. Вахрамеева и друг. Книга равно порадует художников, порадует ярославцев и весь православный люд по широкой Руси.

В ИЮНЬСКОЙ ЖАРЕ

Душно так, что отчаяние. Решил пойти в «Комедию». Маленький садишко. Невский, 98. Накануне сказали, что будет играть «знаменитая 5-я симфония Чайковского», – и «как вам не стыдно, если не слышали».

Для оправдания литературного генопé пошел. Но ничего не понял. Нет музыкального образования. Стал думать об античных монетах и сел боком к сцене, опустил голову.

«Уединенно думается лучше».

Вижу две туфельки, чулки волшебного-прозрачного тона, и на 1½ четверти «так же открыто», как в былом декольте. «Вот черти дамы выдумали носить декольте на ногах». Удивительно. Седую голову не подымаю, лица не вижу и все смотрю на чулки. Совершенно прозрачны.

Думаю:

«Что это они с начала света не догадались. Явно, что чулки, а не что-нибудь другое. Ну что такое руки около ног. Нисколько не интересно. Руки и работают меньше. Посмотрите, ходьба: сколько энергии!» – «Гуляют, не нагуляются». – «А походка, вся грация...» – «Нет балета рук, а балет ног есть»...

И все не подымаю головы, на лицо даже и не интересно посмотреть. С этими ногами по Петрограду беда. Вчера звонок трамвая, вскакивает испуганный подросток, за нею – мать, и тоже успела. Я сказал по-христиански: «слава Богу», потому что вагон уже тронулся, и маменька могла попасть и под колесо. Бросил папироску, вхожу в вагон, сажусь, устало вытягиваю ноги и смотрю vis-à-vis с ними 4 ножки в этих самых окаянных чулках.

Это мои вскочившие, *maman et sa fille*. И тоже устали и ужасно вытянули ножки.

Чулки как бел-жемчуг. Прикрывают ноги так же мало, как небесный эфир звезды. «Эфир есть и эфира нет».

Так как я им почти помог при входе, то обвел смеющимся глазом по четырем глазам. Все четыре глаза засмеялись ответно. Все поняли, что относится не к глазам, а к чулкам. Но в вагоне «свобода», и четыре глаза как бы говорили: «Ну, вот чулки и чулки. Мода. И придраться нельзя».

Чего тут «придираться». Мужчины так рады. Ну, а если мужчины рады, очевидно, дамам остается «следовать моде».

Не знаю, как прошлый год, – не замечал, – а в июньских чулках этого года я замечаю что-то дразнящее. «Такая мода! Такая мода!» И юбки как срезаны. А «юбки срезаны» – тогда невольны какие-то смехи, улыбки, сердечное «ау» и Бог знает что...

Как раз после Чайковского смотрели в открытом театре «Египетский балет», – и я мог еще более убедиться действительно в чарующей красоте ног. Эта волнующаяся линия ноги – действительно ни с чем в остальной его фигуре несравнима, и, когда подумаешь о руках, скажешь невольное – «бедные руки»... Я всматривался и думал: «В ноге, чего нет нигде в теле, есть какая-то неизъяснимая нега, – и была действительно культурная ошибка новой, холодной, *зимней* Европы – закрыть ноги. Но что поделаешь – зима».

Однако зиме своя честь, а лету может быть предоставлена своя особая честь. Так удлинять юбки летом действительно не следует. Притом же прямо странно подумать, что было в старые годы, когда барыни «мели юбками мостовые». Прямо мерзость, да я думаю и вредно, не гигиенично. Теперь все легко, воздушно. Опрятность полная.

И так весело, удовольствие, польза, наука, эфир.

К тому же, раз прекратили водку, – уж «пожалуйста, не удлинняйте юбок». Надо же бедному человеку на чем-нибудь отстояться.

Фу, наговорил грехов... А все жара. В такую жару и не того наговоришь. Меня со всех сторон укоряют: «Пора вам угомониться... Уж столько лет».

Но что же мне делать, если у меня не кровь, а температура. Да теперь в Петрограде по такой жаре все ходят «с температурой».

ИЗ ПРЕДВИДЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО О ГЕРМАНИЗМЕ И БОРЬБЕ С НИМ

Летний отдых... начавшийся вторичный напор русских на Галицию... «белые ночи» в Петрограде, при которых все «не спится»: и вот, бродя по комнатам, вытащил я «Дневник писателя» Достоевского и, открыв наудачу, читаю будто что-то «из сегодня»:

«Как только въехали в немецкую землю, так тотчас же все шесть немцев нашего купе, чуть только заперли нас вместе, заговорили между собою о войне и об России. Мне это показалось любопытным, и хоть я знал, что в немецкой печати именно теперь огромный толк об России, но все же не думал, что об этом у них и на площадях говорят. Это были далеко не «высшие» немцы; тут, наверное, не было ни одного барона и даже ни одного офицера. Да и говорили они не о «высшей» политике, а лишь об настоящих силах России, преимущественно военных, об силах лишь в данный момент, в настоящую минуту. С торжествующим и даже несколько надменным спокойствием они сообщили друг другу, что никогда еще Россия не была в таком слабом состоянии по части вооружения и проч. Один важный и рослый немец, ехавший из Петербурга, сообщил самым компетентным тоном, что у нас, будто бы, не более двухсот семидесяти тысяч чуть-чуть порядочных скорострельных ружей, а остальное все лишь переделка кое-как из старого и что число всех скорострельных ружей, вместе взятых, не доходит, будто бы, и до полумиллиона. Что металлических патронов у нас заготовлено пока еще не более шестидесяти миллионов, т. е. всего лишь по шестидесяти выстрелов на солдата, если считать всю армию во время войны в миллион, и, кроме того, утверждал, что и патроны-то эти дурно сделаны. Они, впрочем, толковали довольно весело. Надо заметить, что они знали про меня, что я русский, но по нескольким словам моим с кондуктором, очевидно, заключили, что я не знаю по-немецки. Но я хоть и дурно говорю по-немецки, зато понимаю. После некоторого времени я счел «патриотическим долгом» возразить, но как можно менее горячася, чтобы попасть в их тон, что все их цифры и сведения преувеличены в дурную сторону, что еще четыре года назад у нас вооружение войск доведено было до весьма удовлетворительного результата, но что с тех пор оно еще увеличилось, так как дело вооружения продолжается бесперывно, и

что мы теперь никому не уступим. Они выслушали меня внимательно, несмотря на мой дурной немецкий разговор, и даже сами подсказывали мне всякий раз то немецкое слово, которое я забывал и на котором запинался в речи, одобрительно кивая головами в знак того, что меня понимают. Немцы не сделали мне ни одного возражения, они лишь улыбались словам моим, но не высокомерно, а лишь ободрительно, совершенно уверенные, что я, как русский, говорю, лишь защищая русскую честь, но по глазам их видно было, что не поверили мне ни капли и остались при своем».

Это из июль-августовского «Дневника писателя» за 1876 год, за время начала нашей войны с Турцией. Вот уж когда немцы *внимательно* считали наши ружья и число заготовленных патронов и учитывали, что «патроны-то плоховаты», а из ружей половина «переделанных» из худшей в лучшую систему. То время я помню хорошо и хорошо помню, что нигде в русских газетах не читал и ни от кого *из русских* слухом в разговорах не слышал таковых *числовых* данных о степени и качествах русского вооружения и русских войск. Помню лишь слова манифеста Государя Александра II: «Повелеваем *части* наших войск перейти турецкую границу», – и запомнил это слово «части», из коего заключил, что «войск много *еще остается*» и, стало быть, «можно двинуть», когда понадобится и если понадобится. Но мы, русские, всегда были уверены, что у нас «много» и, во всяком случае, что – «хватит». Но точно цифры не прикидывали. Немцы «прикидывали», и, очевидно, вот уже с какого времени это было им интересно и нужно.

Откуда же у немецких «гостей», как звались иностранцы в России до Алексея Михайловича, эти «сведения», какими отнюдь в точных цифрах и в деловом значении не обладали и русские граждане или обыватели? Но и в то время, как и раньше и как позднее, немцы особенно густо шли в русскую техническую работу, на разные заводы, начальниками отделов, директорами заводов, – предоставляя и «поощряя» самих русских больше заниматься «гуманными и филологическими науками», как венцом просвещения. «Русский человек задним умом крепок»; и в пору теперешней борьбы с Германией как-то иронически оглядываешься на «классическую систему», настойчиво рекомендованную при графе Д. А. Толстом из Берлина и вообще из «просвещенной Германии», и решительное гонение того же министра и министерства на «реальные училища», на «естествознание», и пренебрежение к техническим и к промышленным учебным заведениям в нашем отечестве. Торговых тоже еще тогда не заводилось. Их принесла только эпоха Витте.

В параллель воспоминанию Достоевского «в купе вагона» я припомню свою встречу тоже в купе 2-го класса Варшавской дороги. Сидели немец и его немка и с ними *das Kind*. И немка, в августовскую жаркую пору, не покупала на станциях свежего молока, а все поила ребенка из каких-то бутылочек, с особой сложной укупоркой. По поводу ее я с нею и заговорил. Оказывается, «свежее молоко» она везет вот 2-й день «из Берлина» и покупать русского молока в дороге нигде не будет, потому что это «такие бутылочки»,

в которых молоко сохранится, не прокисая и не портясь, до самой Восточной Сибири. — «Так далеко вы едете?» — изумился я. — «Да». — «В какой же город?» К моему глубокому изумлению, и немец, и немка промолчали на этот вопрос. Два раза неудобно переспрашивать, но раз я переспросил. Они неопределенно сказали, что «на границу с Китаем», но города все-таки не назвали. Только когда стали в эту войну называть «Кунст и Альберт» и что эта фирма «всем на востоке завладела», я стал думать, что мои немцы с «долгим молоком» были чем-нибудь в этой фирме. Но вообще я сейчас же в том купе подумал, что это будут хищники за русским богатством, — уносящие и уже унесшие из-под носа у нашего купечества «в картузах» и миллионы, и работу, и технику, чуть не православие...

Продолжу наблюдения и мысли Достоевского.

Он говорит, что впечатления, дававшиеся немцами времени начала нашей турецкой войны, были вовсе другие, чем какие он получил от них в конце франко-прусской войны.

«Пять лет тому назад, в 1871 году, немцы были, однако, вовсе не так вежливы. Я жил тогда в Дрездене и помню, как воротились саксонские войска после войны; тогда им устроен был городом торжественный вход и орация. Помню, впрочем, эти же войска и год перед тем, когда они только еще шли на войну и когда вдруг на всех углах, во всех публичных местах Дрездена, появилась крупными буквами напечатанная афиша: «der Krieg ist erklaert!» «Война объявлена!» Я видел тогда эти войска и невольно любовался ими; какая бодрость в лицах, какое светлое, веселое и в то же время важное выражение взгляда! Все это была молодежь, и, смотря на иную проходящую роту, нельзя было не залюбоваться удивительной военной выправкой, стройным шагом, точным, строгим равнением, но в то же время и какой-то необыкновенной свободой, еще и не виданной мной в солдате, — сознательной решимостью, выражавшейся в каждом жесте, в каждом шаге этих молодцов. Видно было, что их не гнали, а они сами шли. Ничего деревянного, ничего палочно-капрального, — и это у немцев, у тех самых немцев, у которых мы заимствовали, заводя с Петра свое войско, и капрала, и палку. Нет, эти немцы шли без палки, как один человек, с совершенной решимостью и с полной уверенностью в победе».

Все дело все-таки в офицере, в генерале, — и выше, дальше. Немцы этого года и этих лет, начиная с австро-прусской войны, оттого так «шли», что они шли за Бисмарком, за Мольтке, за Вильгельмом; что Германия «возрожда-лась», входила «в жизнь как следует»... В Баварии в 1911 году меня поразил также веселый, хочется сказать, — воздушный вид и звон войск, ранним утром шедших на ученье. Звук голосов, благородная мелодия песни, шаг именно легкий и свободный — давали в сумме впечатление воздушности. Да. Но все это не так серьезно, как наше: «так что, ваше благородие, изволили давать присягу». Наши войска крестьянские, и от них больше пахнет мужиком. «Рота

или батальон солдат, идущих в город» – это у нас «деревня в городе». Вот еще что я заметил, будучи на вагнеровских представлениях в Мюнхене, где было множество офицеров и генералов. Русский офицер изящнее германского. Как это ни странно и ни «противоречит сведениям», но это – так. Русский офицер духовнее, развитее, умственнее; я сказал бы – литературнее, философичнее, оставаясь также «государственным» и «военным», отнюдь не «штафиркой». Что из офицеров вышел Толстой – это совершенно «ожиданно», это отнюдь не «неожиданно и не странно». Тогда как, кажется, за всю германскую историю из ее офицерского состава, из «духа армии», не вышло ни одного первоклассного писателя, «вершителя судеб литературы». Но и не одно это, и даже это не главное: в *массе* офицерства разлит волнующийся духовный свет, и «с офицером поговорить» – вовсе не нелюбопытно. Из «офицерско-генеральско-адмиральского состава» у нас вышло такое множество ученых, – такое множество техников не исключительно военного смысла, – практических хозяев, – даже поэтов (Лермонтов), беллетристов, сказочников, шутников (с серьезным оттенком), что удивительно. И вот в Мюнхене все это я чувствовал. «Наши изящнее! Наши изящнее! Не тот тон движений, – не то извинение, если случится вас задеть концом сабли. Не так слушает музыку. Не так глядит на соседа». Немец «за войной все забыл», у русского «за войной виден целый мир». Мне было бы прямо страшно, если бы кто-нибудь принял мои слова за «хвастовство» и «национальное самонмение». И я помню, что в Мюнхене же, в театре, среди своих русских, я передавал это впечатление.

«Война была народной, – продолжает Достоевский, – в солдате сиял гражданин, и, признаюсь, мне тогда же стало жутко за французов, хотя я все еще твердо был уверен, что те поколотят немцев. Можно представить после того, как эти же солдаты входили в Дрезден год спустя, уже после побед, наконец-то ими одержанных над французом, от которого они все столетие терпели всякие унижения. Прибавьте к тому обычную немецкую – и уже всенародную – хвастливость собой без меры, в случае какого-нибудь успеха, хвастливость даже мелочную до детскости и всегда переходящую у немца в нахальство, – довольно неприглядная народная черта и почти удивительная в этом народе. Народ этот даже слишком может похвалиться, даже в сравнении с какими бы то ни было славянами, чтобы выказывать столько мелочности. Выходило, что им уж так внове была эта честь, что они сами ее не ожидали. И действительно, они до того тогда восторжествовали, что принялись оскорблять русских. Русских в Дрездене было тогда очень много, и многие из них передавали потом, как всякий, даже лавочник, чуть лишь заговаривал с русским, хотя бы только пришедшим к нему в лавку купить что-нибудь, тотчас же старался вернуть: «Вот мы закончили с французами, а теперь примемся и за вас». Эта злоба против русских вскипела тогда в народе сама собою, несмотря даже на все то, что говорили тогда газеты, понимавшие политику России во время войны, – политику, без которой им, может быть, и не пришлось бы пожать такие лавры. Правда, это был первый пыл

военного успеха, столь неожиданного, но факт тот, что в пылу этом тотчас же вспомнили русских. Это почти невольно проявившееся ожесточение против русских даже мне показалось тогда удивительным, хотя я всю жизнь мою знал, что немец всегда и везде, еще с самой немецкой слободы в Москве, очень-таки не жаловал русского. Одна русская дама, жившая тогда в Дрездене, графиня К., сидела на одном из отведенных для публички мест во время этой торжественной овации войску, входившему в город, а сзади нее несколько восторженных немцев начали ужасно ругать Россию. «Я к ним обернулась и выругала их по-простонародному», – рассказывала она мне потом. Те смолчали. Немцы очень учтивы с дамами, но русскому они бы не спустили. Я сам читал тогда в наших газетах, что наши петербургские немцы, в Петербурге, затевали тогда целыми пьяными ватагами ссоры и драки где-нибудь на попойке с нашими солдатами и это именно из «патриотизма». Статьи, большинство немецких газет наполнено теперь самыми яростными выходками против России. Указывая на эту ярость немецкой прессы, уверяющей, что русские хотят захватить Восток и славян, чтоб, усилившись, надвинуться на европейскую цивилизацию. «Голос» заметил недавно в одной передовой статье своей, что весь этот яростный хор тем более удивителен, что поднялся он, как нарочно, именно сейчас после дружественных съездов и свиданий трех императоров и что это, по меньшей мере, странно. Замечание тонкое».

Мы, русские, – все общество наше, вся масса общества, уж слишком не государственны. Я говорю не о теперешнем моменте, а о целых десятилетиях перед теперешним моментом. Вот о душе нашей можно сказать. Это – такая деревня, такая глушь, из которой «три года скачи – ни до какой заграницы не доскачешь». Не могу забыть своего прямо испуга. Целый год Россия приготавлилась встречать «300-летие Дома Романовых». И вот пришел день, «завтра». Что же вы думаете «сегодня» вечером, часов в 6–7 вечера, приносят в обертке книжку «Русского Богатства». Раскрываю. Ни одного слова об юбилее. Я понимаю, что это радикальный шик. Притом же там сидел Горнфельд, перед которым, как перед в самом деле образованным человеком, все эти невежды Пешехоновы и Мякотины в самом деле «приседали». Но в общем очерке и по той или иной причине это была именно радикальная глушь, радикальное глухое место, от которого «нидокуда не доскачешь». Русская печать прямо задыхалась над «письмами Маркса к Энгельсу», совершенно не догадываясь, что это был тот «осетр», которого скушал Собакевич.

Не спору, за немцами «по государственности» нам не угнаться. Там был Бисмарк и все заволновал бисмарковским волнением. И за французами не угнаться: там поди какая была феерическая история. Вообще не скрою, что этот наш «сон» и «деревня» мне отчасти симпатичны. Но уж слишком!! Накануне германской войны сосать письма Энгельса и Маркса – это та степень партикуляризма и индивидуализма, это такой «Гельдерборг XVIII века», что хорошо-то оно хорошо, но уж «очень». «Совсем Обломов заснул, глядя на локти Акулины Семеновны, когда она пироги валяет». И Горький, когда

пришел и начал издавать «Летопись» и написал в ней «Две души», европейская – деятельная и русская – сонная, то хотя в мысли этой и была, может быть, истина, но *в тот час и день*, когда он это написал и издавал свой «манифест к свету», именно в *этом-то исторический час* это была та же старинная славянская «вязь», такая красивая, но в которой ни одной буквы не разбей, и вообще она «не для чтения» и «не для современности».

Тогда как «упрекаемые» лица, вот именно Достоевский, вот именно славянофилы, Аксаковы, Хомяков, Киреевские, Погодин, были единственными гражданами, тащившими наших социалистов от «осетра» к Руси, к действительности, к задачам эпохи и «смыслу времени».

Может быть, это скучно и помечтать куда вольготнее. «Как Россия устроится со временем по Карлу Марксу». Сон вообще слаще действительности. Но надо иногда и проснуться. Теперь, когда бухают пушки и все спешит к границе, «локтями Акулины Ивановны» решительно некогда заниматься.

Посему я продолжу о Достоевском, «как он нас в 1876 году будил от сна». Писатель прямо современный, «на наши темы».

«КТО ИСТИННО СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК»

(Из тем Карамзина)

Можно человеку родиться со счастливыми дарами: и тогда из них вытечет жизнь, полная подвига, труда и замечательной судьбы. Однако, собственно для обладателя таких даров, в личном и удобном отношении, она не будет особенно счастлива, – и маменька не пожелает своему сыну такой «героической судьбы». Слишком ответственно, слишком на горбу много висит. Быть счастливым – гораздо легче. Для этого надо родиться самодовольным. Когда спрашиваешь себя: «Отчего так много людей самодовольных?» – то единственный удовлетворительный ответ находишь в том, что старая бабушка человечества – Судьба гораздо менее озабочена героическим характером человеческой истории, нежели собственно благополучием своих чад, и для какого-то благополучия наделила большинство рождающихся немудреным даром некоторой глупости и крупного самодовольства. Когда есть эти два качества, не бойтесь за человека: судьба его сложится гладко и удобно. Всегда и непременно будет «неудобно» вокруг него, но ему самому – в высшей степени удобно. Люди будут кричать на него, общество будет кричать на таких: ничего не значит, и «он», и «такие, как он», объявят общество негодным, прогнившим, совершенно даже не заслуживающим, чтобы «такой человек» гнил среди «такого общества». Наконец, он совершит факты явного предательства, измены: унынию нет места, – он все же будет заявлять, что он – герой среди изменной среды, которая его не понимает». Возьмут его с чужой собственностью в руках. Он найдется и скажет, что, напротив, все «собственники суть вору», а он только путем кажущейся «кражи» вернул себе «свое добро». И

если ему станут разъяснять, что ведь он всегда был сутенером и откуда же у него «своя собственность», то он скажет, наоборот, что «птицы небесные питают его, как и израильских пророков», он же был «глашатаем», правда, ничего не делающим, как и пророки, но зато «будившим общественную совесть».

Едва я сказал несколько тезисов любимца общества, как все закричат: «Знаем! Слыхали! Это – наши *левые*, это – Чхеидзе и Керенский...» Я отвечу: Что же? их всегда и было так много, потому что это – самый легкий способ быть счастливым. Судьба знает, что она делает, не мудрствуя лукаво над людьми. Вместо того чтобы работать каждому малютке в колыбельке его счастья, – она положила в каждую почти колыбельку иллюзию счастья, – положила иллюзию чести, иллюзию подвига... Обществу и истории, правда, приходится тяжело: жизнь решительно наполнена негодьями. Но старушка-Судьба решила: «Ведь, однако, общество состоит из отдельных людей, и если каждый порознь негодяй будет чувствовать себя отлично, то почему же такое общество называть несчастным?» Так сложилась странная конфигурация глубоко несчастного общества, состоящего из в высшей степени счастливых негодяев. Оглянувшись, поглядев кругом, конечно, всякий догадается, что мы говорим о величественном «теперь» русского общества... Странная смесь блаженства и несчастья.

И все сложилось мало-помалу и незаметно. Теперешние даже старики помнят с гимназических еще пор, как слагались и росли все названные тезисы, как люди ничего не делавшие всплывали на верх положения, как они заняли всю литературу и всю общественность... И вот под конец нашей жизни (пишу о стариках) грянула великая война, которая, казалось бы, срывает и сорвала все покровы, все личины... Увы, она *могла бы* сорвать их, если бы дело заключалось вообще в каком-нибудь деле. Но никакого решительно дела нет. Сущность времени и сущность нашей русской действительности заключается именно в безделье и в сопровождающей это безделье иллюзии. Что же тут «срывать», как же тут «срывать»? Неужели вы думаете, что Керенский или Чхеидзе когда-нибудь разочаруются? Неужели можно представить себе, чтобы Чернышевский и Добролюбов, встав из гроба, могли выговорить: «Мы, по-видимому, несколько ошибались». Нет, Судьба делает своих избранников не только счастливыми: она делает их вонстину счастливыми, неразрушимо счастливыми. Крез мог потерять царство, Поликрат мог попасть в руки морских разбойников: но что же такое может случиться с Керенским, чтоб он почувствовал себя некоторым «дымом своего отечества»? Ничего такого и ничего подобного не может случиться.

Это нам со стороны кажется, что война, например, разоблачила роль международного социализма. Самим социалистам это нисколько не кажется. Как после Азефа, вождя их, они «еще более укрепились в своих позициях», так точно внутренний и лишь за бессилием тихий бунт социалистов каждой страны против правительства этой страны нимало не поблекнул при печальной вести, облетевшей мир, что во всех странах социалисты анонимно

состояли на службе единого германского правительства. Как могут депутаты русской Государственной Думы Керенский и Чхеидзе, один из Саратова и другой с Кавказа, никогда никаких дел не ведшие с Бисмарком и старым Вильгельмом, допустить, чтоб они были «обойдены» Бисмарком и двумя Вильгельмами, дедом и внуком? Они, которые учились только у Лассаля и Маркса и у нашего Бакунина и ни о чем никогда не помышляли, кроме заработной платы и ее вариаций?!.. Связи нет, т. е. между нашими депутатами и Бисмарком. К тому же Бисмарк так давно помер, а, кроме того, его, как «бюрократа» и «военного», презирают оба русские радикала. Как Куропаткин презирал и ненавидел японцев, пока не приучился их панически бояться. Дело в том, что японцы все «обходили» Куропаткина, хотя Куропаткин в высшей степени этого «не хотел». И депутаты наши «не хотят служить Германии». О, конечно... И эту свою внутреннюю иллюзию принимают за исполнившийся факт. «Как же мы будем служить Германии, когда мы этого не хотим? Чепуха». Но Куропаткин все «отступал». «Японцы показались справа», «японцы показались слева». «Надо отступить», — хорошо еще, что «позиции заготовлены». Для этого Бисмарку достаточно было слишком презирать социалистов, — презирать их тою высотой презрения, какая им и на ум никогда не могла прийти. Ведь они «хоронили старый мир», «гаснущую Европу», и призывали на место ее «новый мир», «возрожденную социализмом Европу». Тут Бисмарк казался просто шепочкою, небольшим препятствием. Бисмарк и сообразил: «Пусть они разрушают старый мир, т. е. конкретно-то Россию, конкретно-то Францию и, может быть, конкретно же — Англию (как известно, года за три до войны социализм перекинулся и в Англию), пока мы заготовляем для них пушки». «Чем больше беды в тылу у врага, тем легче его победить. Пусть же в тыл врага пожар, мор, огонь, вырождение, гнилость, болезни» — и сделал распоряжение о щедром субсидировании через передаточную инстанцию берлинского «Интернационала» миллионами и миллионами марок русского, французского, всяческого заграничного вообще социализма, в то же время сделав вид и позу, что и Германия погибает от социализма». Глупые Михели отлично разыграли роль для умных русских и для остроумных французов. Ворвавшись в Бельгию, социалисты-солдаты потребовали у бельгийских «товарищей» хлебного и овощного «пайка» себе, ибо они, видите ли, «принуждены правительством воевать», а сами по себе, собственно как социалисты, «любят бельгийских товарищей». Бельгийцы растерялись в 1914 году: «Что это, верх нахальства или дружба народов». Все-таки было колебание, но в конце концов в хлебе отказали. У нас как раз в то время, когда 14 русских губерний заняты немцами, на страницах демократического журнала Максима Горького («Летопись») разыгралась полемика: «Можно ли нам, как представителям народнического социализма, принципиально враждебного утеснению народов, принимать нравственное и вообще какое бы то ни было участие в наступательной войне?» Хотя мы были о ту именно пору не в «наступлении», а в «отступлении» и самозащите. «Но все равно, — мы говорим о завтрашнем дне войны, — мы говорим вообще о теперешней и о всякой

войне». Максим Горький сам пролетарий, сам из «низов», – и уж кого-кого, а Максима-то Горького читает русский «пролетарский человек», теперь (приходится сказать «кувы») – весь сплошь грамотный. Этот «пролетарский русский человек», – умный, как и все русские, – находится сейчас весь на фронте или работает на заводах снаряды для войны: и Германии, конечно, не безразлично, что среди русского пролетариата с его здоровенными руками проходит в умах такая гнилая мысль: «А что же, чего, Боже упаси, мы станем делать, если война вдруг да перекинется в Германию?» – «Вдруг станет, увы, наступательною?!» Странная война, точно со спутанными ногами: воюем – если ноги стоят на родной земле; а чуть дошел до границы – ноги подкашиваются, веры в сердце нет, хоть падай. Странная очень война, но очень удобная для Германии. Ей-ей, будь лишний миллиончик, – стоит для пропаганды такой идеи перебросить его в тыл врагу. Я не говорю, что «перебросили», а говорю, что Германия пожертвовала бы и не миллиончиком для такой цели, а больше. Я не спорю, что Керенский и Горький – честные люди, но только указываю, что Куропаткина-то все-таки обходили. И обходили, рассчитывая на его большой ум и непрерывное самодовольство. Ну, а по части самодовольства и большого ума у нас Горькие, Керенские и Чхеидзе – в первых рядах. Я думаю, тайная полиция имеет в Берлине общий приказ (да он, кажется, и вслух говорился): «Германия собственно воюет не против страдальца русского народа, а против угнетающего его русского отвратительного правительства. И марок не щадит во всех случаях, когда против этого никуда не годного правительства поднимает голову русская оппозиция. А так как русские – народ литературный и метафизический, страшно любят отвлеченные споры и готовы умереть из-за мути в стакане воды своей журналистики, – то особенно не щадит марок, когда в журналах поднимается муть и бессмыслица, ослабляющая землю, обессиливающая народ, озлобляющая население на отсталое, никуда не годное правительство»...

Но я отвлекся слишком к «вообще о счастливых людях на Руси», от той определенной темы, о которой хотел говорить. А поговорить мне захотелось о статье г. Базарова – «Усложнение жизни – упрощение мысли», помещенной в пролетарском журнале М. Горького «Летопись».

Базаров – исключение среди русских идеологов революции. В пленках и в детском возрасте он прошел все фазисы этой идеологии, много потрудился даже, чтобы пособить этой идеологии пером. Но теперь он в сороковых годах своего возраста и не то чтобы отстранился от революции, но, отойдя в сторону, размышляет о ней. Всегда наивный Мережковский как-то сказал мне, указывая на его красивую фигуру, стоявшую у стенки:

– Смотрите, как он задумался. Это он думает о Христе.

Это было в религиозно-философском собрании. Не представляю, чтоб он «задумался о Христе». На что Базаров – вообще задумывающийся человек, это – так. И вот он обращается к счастливым сопартийникам, социалистам и марксистам, и предлагает им пересмотреть «карту плавания», лежащую перед сими отважными моряками, – пересмотреть именно в эти дни текущей войны.

«Война, – говорит он, – явилась великим историческим экзаменом для европейской демократии, для созданных ею организаций и учреждений, для вдохновляющих ее идей, настроений, задач. Только действительно жизнеспособное, прочное, пустившее глубокие корни могло выдержать это суровое испытание, – а все поверхностное и наносное, а также все еще не окрепшие ростки новой жизни обречены были на гибель. «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». И нельзя отрицать, что стекла обнаружилось поразительно много в европейском рабочем движении, – гораздо больше, чем ожидали самые скептические противники современного социализма. Недаром тотчас же после начала войны в буржуазных кругах всех стран и народов пронесся вздох облегчения: Интернационал оказался мифом! Интернационал разлетелся вдрызг от первых же ударов критического молота войны: он не только не мог предотвратить катастрофы, – этого от него, конечно, никто и не ожидал, – он не мог даже сделать ни малейшей попытки в этом направлении, он просто перестал существовать как единая международная организация».

Что же «задумчивый» г. Базаров не выговаривает слово, которое выговорили вслух всей Европы события: что никакого «Интернационала», как понимали его в России и во Франции, с этими русскими и с этими французскими задачами и не существовало никогда. «Интернационал» был учреждением берлинской тайной полиции, по планам берлинского же генерального штаба, ради сманивания международного пролетариата, т. е. будущих солдат против Германии, в пучину и дребедень революции, дабы рука не крепко держала ружье и плохо нацеливалась. Это была одна из бесчисленных шпионских организаций Германии у «добрых соседей» в целях ослабления этих глуповатых соседей. Причем лично и за себя каждый германский социалист не только «мог безнаказанно», но и «должен был» почти за полицейскую плату яростно размахивать руками и кричать на тамошних берлинских митингах, так как, чем он был патетичнее «у себя», против «своего германского правительства», тем патетичнее становились «против своего русского правительства» и против своего «французского правительства» социалисты на запад и на восток от Германии. Но только в Германии понимали, «в чем тут дело», а в России и во Франции трудились и старались за чистую совесть. Только непонятно было со стороны видеть, отчего социалисты «множатся, как вобла», *равно* и в русской абсолютной монархии, и во французской демократической республике, т. е. именно в странах ожидаемой войны с Германией, «не размножаясь» в тихих и неинтересных для берлинского генерального штаба Италии, Испании, Голландии, Румынии.

«Крупнейшие авторитеты нашего и союзного нам марксизма утверждают, что вина за развал Интернационала падает всецело на германскую социал-демократию. Это, конечно, совершенно справедливо. Немцы, бесспорно, виноваты. Кто же может быть виноват, кроме немцев? Но почтенные авторитеты забывают, что вменение извест-

ного исторического события в вину кому бы то ни было отнюдь еще не есть его объяснение. И менее всего такая моральная оценка факта в состоянии удовлетворить требовательность марксиста. Ведь с марксистской точки зрения социально-психические явления – даже такие гнусные, как немецкая измена заветам Интернационала, – не могут рассматриваться как нечто самостоятельное, ни на что другое не сводимое, но должны отражать известные социальные интересы. До сих пор предполагалось, что международное объединение отвечает самым насущным интересам рабочих всех стран, не исключая и Германии; предполагалось далее, что на почве этого объединения складывается новая психология, горячая преданность всеевропейскому отечеству демократии, чувство общего единства, если и не исключаящее патриотизма отдельных отечеств, то, во всяком случае, могущее с ним поспорить по глубине, искренности и стойкости. И вот этого-то чувства не оказалось и следа, и притом не только у немцев, но и у французов, и у англичан.

В своем преобладающем большинстве представители рабочей демократии всех европейских национальностей с величайшей легкостью сбросили с себя интернациональный мундир, всецело отделились делу обороны своих отечеств и в настоящее время горячо протестуют против всяких попыток восстановления международной солидарности».

Автор говорит *от себя*: «такие гнусные социально-психологические явления, как немецкая измена заветам Интернационала»... Говорит и не оглядывается ни на себя, ни на социализм во всем его объеме, начиная еще с Сен-Симона, Бабёфа и прочих. «Гнусность» – это слово, в котором надо отдать себе отчет.

Где же она началась, собственно? Кто же эту «гнусность» начал? Г. Базаров все копается в передрыгах марксизма и Интернационала, – цитирует и старые, и новые статейки «еще знаменитого» (у них все свои – «знаменитые») русского социолога г. Потресова, не замечая, что дело давно пошло о всей «щелине» социализма, о всем этом движении, которое во всяком его виде продолжается даже менее ста лет: ибо он возник во Франции между июльской и февральской революциями, когда впервые «рабочий» почувствовал себя новой социальной единицей, из «ничего» пожелавшею сделаться «всем».

Вопрос – вообще о социализме, и произнесенное г. Базаровым слово «гнусность» по мотиву «измены» кому-то кого-то нудит спросить: кто же вообще-то начал измену и был первым гнуснецом в этой серии «предательства», так сказать, заходящих друг за друга, как карты «заходят» одна за другую в тасуемой колоде?

Да первым в Европе гнуснецом и первую в ней гнусностью и было самое зарождение этого социализма, после чего родились все последующие «гнусности», как от одного подлеца рождаются потом все тоже подлецы. Это есть просто подлая история подлого явления, и с точки зрения именно указанной Базаровым измены. Кто же первый изменил, где предатель? Сен-

Симон, дворянин и граф, любивший по утрам поспать, дал своему лакею приказание будить себя такими словами: «Вставайте, мусье, вам надо делать великие дела». Он бы пожелал горьким и тяжелым сном проспять всю жизнь, все свои «рабочие дни», если бы догадался, что ему следует дать слуге распоряжение о других словах: «Вставайте, мой бывлой граф и наш бывлой католик и француз: ибо – день уже и вам пора приниматься за свою гнусную работу». При этом я охотно допускаю, что лично Сен-Симон был благородный человек. Но разве «пожар» становится лучше от того, что его зажигает честный человек, и разве сожженным на *aute-da-fe* еретикам Испании было отраднее при мысли, что их жгут «с самым добрым намерением». Есть гнусность мотива, и я ее не затрагиваю, и есть гнусность факта, о которой одной я и говорю. Базаров произнес слово «измена»: «изменить» – значит сотворить «гнусность». Да и разъяснил еще подробнее:

«На почве объединения рабочих складывается новая психология, горячая преданность всеевропейскому отечеству демократии, чувство общего единства, могущее поспорить со старыми государственными и национальными патриотизмами по глубине, искренности и стойкости».

Да это, конечно, так и очевидно. И в песенке их поется:

Отречемся от старого мира!

Поется эта песенка 20–30 лет, а всему «новому патриотизму» – 85 лет, т. е. длительность собственно *одной* человеческой жизни, и сменились в этом «новом отечестве» самое большое 2–3 европейские поколения!

Так недавни и такие претензии. «Новое отечество» тем укрепленнее врастает в каждого индивидуума, чем он основательнее забывает «старое отечество». И совершенно естественно и последовательно было требование глав социализма, чтобы следовавшее за ними население «нового отечества» не брало с собою «старых богов», – ни Христа и христианства, ни Платона и философии, ни Данте, Вергилия, Гомера или Гёте. Ни у одного нашего социалиста нельзя было встретить процитированную хотя бы одну строчку пушкинского стихотворения; ни у кого из членов всемирного социализма нельзя было встретить ни одного гекзаметра Гомера и ни одного терцина из Данте. Отречение было действительно полное; было просто полное забвение. Одиичалость социализма и социалистов двигалась не по дням, а по часам. Они становились действительно животными, совершенно тупоголовыми. Зато «тем чище сохранялась в них идея». «Мы только рабочие» и мы «только революционеры».

Как же, спрашивается, могли и как обязаны были посмотреть «ответственные за все» представители старых патриотизмов на таковое зарождение в них этого нового патриотизма? Именно *так*, как социалисты сами определяли себя: «Мы – враги старого строя», «с его Христом и христианством, с его нациями и государствами». Тут произошла страшная ошибка,

которая и объясняет быстрый и неудержимый рост социализма во всех странах, без какой-либо ошибки этого роста решительно не совершилось бы. Именно старые отечества по старой гуманности и снисходительности, по старому «спустя рукава» безумно приняли этих внешних, в сущности этих *иностран-ных* врагов своих, – «иностранных» ко всему христианству и к целой Европе, – за *своих* сочленов, *своих* подданных, своих сограждан, – только с «новыми идеями реформистского характера». «Это наши *дети*, только они немного заблуждаются», – за что, в случае убийства, грабежа и бунта, «мы их будем судить *по нашим законам*». Пришлось зачислить врагов гражданского порядка, врагов самой цивилизации, в состав «граждан этой самой цивилизации» в борьбе против этой цивилизации. Лассаль и Маркс совершенно «буржуазно» живут в Берлине, строчат в немецких газетах, печатают книги в немецких типографиях, а русские социалисты обращают $\frac{7}{10}$ русской журналистики и $\frac{7}{10}$ русской школы – в социалистические. Мало того, они заседают в «буржуазных» парламентах, т. е. в законодательных палатах «старого патриотизма», громя его с кафедры и совершенно открыто организуя будущую «борьбу против него». Под эту же легальную защиту социализм и вырос везде в чудовищную величину и сам о себе потерял это очевидное самосознание, что он есть только «гнусная измена».

Что роль его гораздо гнуснее и страшнее, чем Катилины против Рима, чем Пугачева или Разина против России, – потому что ни Катилина не переставал быть «римлянином», ни Пугачев с Разиным не отрекались быть «русскими». Здесь же «измена» была и нации, и зерну государственности. Но посмотрите на самого Базарова, посмотрите на этого развитого умницу: он без затруднения пишет о «гнусности изменить традиции Интернационала», и ему не приходит на ум, что весь вообще социализм и в нем он сам, Базаров, являют лицо этой же самой гнусной измены своей России, которая их (социалистов) воспитала, как сынов, и имеет наивность смотреть на них, на Керенского и Чхеидзе, как только на несколько заблуждающихся «своих детей». И посему Базаров, как и другой знаменитый, г. Потресов, могут распространять свои целебные идеи и на страницах русских журналов, и в зале Географического Общества, у Чернышева моста, рядом с русским Министерством внутренних дел, и в нижнем этаже русского Министерства народного просвещения, всего в двух шагах от здания Петроградской цензуры.

Между тем как на самом деле эти чистенькие господа, одетые в сюртуки и пиджаки, гораздо опаснее и несравненно ядовитее старцев истории, Катилины, Разина и Пугачева. Ибо несравненно менее их признают «старый строй».

Опуская второстепенные стороны в полемике г. Базарова со своими товарищами, писателями «пролетарского типа», господами Потресовым, Вольским и Масловым, я остановлюсь на той поразившей меня мысли его, что Германия, благодаря превосходной организации своей бюрократии и прс-

восходной организации своих материальных средств, показала за два года войны, что может без всякой помощи социал-демократии, без помощи «новой веры» и «нового Евангелия», словом – без всех «страшных лозунгов» революции, достигнуть тех конечных целей, к каким она рвется. Таким образом, и с этой стороны революция оказалась «кобойденною». Ей оказалось просто «нечего делать», потому что все, что она ставила задачей экономической борьбы с буржуазией, оказывается, смогла сделать сама буржуазия при помощи «доброего и недорогого чиновника». Все это так замечательно, что газетам будет приятно услышать слово самого «пролетарского мыслителя», пришедшего в гамлетовское настроение. Он возражает Потресову, который в объяснение развала «Интернационала» говорит, что *на самом деле* в Европе не было никакого *международного социализма*, а были лишь «национальные организации социализма, связанные посредством общего бюро, у которого были функции лишь почти исключительно декларативно-информационного характера». Таковые чисто словесные формы «международности» год назад Потресов считал «ублюдочными», «межеумочными». Он носился с идеею настоящего делового международного социализма, так сказать, с идеей революции и революционного самосознания и самочувствия от океана до океана. Но социалист не был бы социалистом, если бы вслед за одним сновидением он не видел другого сновидения, как опоенный гашишем человек. «Год раздумья, – подсмеивается Базаров, – совершенно примирил г. Потресова с этими межеумочными и ублюдными формами: его вдохновляет теперь не международная, а национально-государственность». «Международность, – восклицает г. Потресов, – это еще не эмбрион, это даже еще не развитие, это – пока что – предисловие к развитию». На эту-то новую, весьма смутную надежду, сам г. Базаров и возражает:

«В Европе (т. е. в европейском социализме) все обстоит благополучно: «предисловие» мало-помалу доползет до «введения», «введение» – до некоторых «предварительных замечаний» и так далее, в разумной постепенности, вплоть до проникновения масс «не безвольной, как было до сих пор, а наделенной творческой волею международностью», – «через патриотизм к международности!».

Это безмятежно-ясноеприятие действительности так соблазнительно, оно с такой грациозной легкостью обходит проклятые вопросы современности, что трудно не поддаться его обаянию. В самом деле, к чему ломать голову над теми противоречиями демократического движения, которые так отчетливо вскрыла война? Не проще ли брать жизнь, как она есть, отдаваясь всем чувством, всем помышлением своим наличным формам гражданственности и спокойно ожидая, пока история подготовит новые, более широкие? Смущает меня только одно: в то время как патриотические борцы «самозащиты» только теперь начинают чувствовать по-настоящему сладость национально-государственной гражданственности, история – в лице командующих классов – решительно разрывает ее рамки. *Империализм есть*

вполне созревшая «творческая воля буржуазии к международнойности». И воля эта уже вполне осуществляется в виде двух международных хозяйственно-политических организаций: центрально-европейской и окраинно-европейской. Идейные выразители интересов демократии доросли до национальной гражданственности, до патриотизма «защитного цвета» и других лозунгов, вдохновлявших буржуазию середины прошлого века, – как раз в тот момент, когда буржуазия переросла эти лозунги.

Что же, быть может, так и должно быть? Быть может, та «идея рабочего сословия», которая, по мысли Лассаля, так высоко возносит рабочих капиталистического общества над слугами феодальной эпохи, – только иллюзия благородного мечтателя? Быть может, та великая социально-организующая миссия, которая, по мысли Маркса, является историческим призванием пролетариата, – тот переход «из царства необходимости в царство свободы», который до сих пор вдохновлял лучших представителей движения, – только «социальный миф»? Быть может, современному пролетариату, как и слугам всех предыдущих эпох, на роду написано донашивать платье с барского плеча, культивируя в своих коморках те умственные и жизненные моды, которые уже давно брошены в гостинных?

Не в этом ли и состоит на деле вся историческая миссия теперешней демократии?

Вопрос этот – отнюдь не риторический. *Глубокое противоречие между идеологией европейского рабочего движения и его действительными формами давно уже выдвигало его вперед.* Война придала этому, уже застарелому, противоречию поистине кричащую остроту, – и притом не только в сфере международной, но также, – и, пожалуй, в еще большей степени, – в сфере «национально-государственной гражданственности». В самом деле, *согласно общепризнанной теории, буржуазия в состоянии лишь подготовить материальные предпосылки для обобществления производства, она развивает производительные силы общества до той высоты, при которой их индивидуально-капиталистическое использование становится невозможным. Тут-то и выступает рабочая демократия со своей исторической миссией: она преодолевает анархию производства, планомерно регулирует хозяйство в интересах всех членов общества и тем самым полагает начало новому, именно социалистическому периоду истории».*

Доселе – Маркс. Это его знаменитое «Евангелие», заставившее подняться рабочих всех стран и, кинувшись вперед, «vorwards», стукнуться лбом в стену. Сколько погибло за эту мечту... Между тем иудейско-марксистская идея в своей истинной части просто повторяет то, что свершилось в истории и что предпологаемо должно окончиться в ней: «обобществление» сил начал вовсе не Маркс, а начали у нас Рюрик, Синеус и Трувор, во Франции – Гуго Капет, в Риме – Ромул, в Англии – Альфред Исповедник, и т. д. Что Маркс

сказал нового и что марксизм создал новое? Это – «правительства» европейских государств, которые всегда и координировали национальную работу, для каковой работы объединения и осмысления и были выдвигаемы «служивые сословия», боярства, дворян, духовенства, ремесленных цехов, вплоть до крестьянства и (недавно) вплоть до рабочих? Зачем же было Марксу говорить это, что говорилось и что делалось и до Маркса? Потому что он был пройдоха, потому что он был иудей, которому все, что делалось в Европе, в христианской Европе, было «пхе». Как иудей и пророк своего кагала, он обманул рабочих всех стран Европы, оболгав перед ними христианскую историю, будто бы она всегда забывала, да и прямо не замечала своих рабочих и свое крестьянство, – как будто в Европе сами христианские рабочие не устраивались в могущественные, самовспомоществуемые цехи и корпорации, как будто в России именно Государь не освободил от крепостной зависимости своих крестьян? Но что иудею за дело до европейской истории, что за дело до христианской традиции и христианских фактов. Его предки жили всегда в черном *гетто* и точили зубы на все вне *гетто*. «На слом Европу, – на слом ее, в которой мы столько веков были рабами, в которой нас никуда не пускали, ни к чему не подпускали». Вот смысл его – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Никакого не было дела этому мошеннику и хапуну до «европейских пролетариев», которым – он хорошо это знал в своей зоркой иудейской душе, – конечно, переломают ноги, если он всерьез подымется, – по простому и древнему мотиву «*salus rei publicae – suprema lex*»*. Какое же сомнение: если в обыкновенной войне за приобретение какой-нибудь провинции или чтобы не потерять провинцию разыгрываются целые сражения, теряется 50 000 солдат, теряется 100 000 солдат, и никто не ахает и не тоскует, все это одобряют, история этого не осуждает, – то может ли быть сомнение, что за спасение европейской цивилизации от «господ пролетариев» будут, раньше гибели ее (цивилизации), и не такие «сражения», а приблизительно вот такие, какие происходят сейчас, с ураганным огнем. Ну и как «милостивые государи», восставшие по лозунгу Маркса «пролетарии» выдержат ураганный огонь против себя, выдержат с голыми руками и с книжкой «Капитал»? Но юркий-то Маркс знал, что все это миф и шарлатанство, т. е. он хорошо знал, что будут не «битвы» пролетариев, а будет «бегство» и «куда попало» пролетариев. Но христианского мяса ни для виселицы, ни для пушки не щадил этот гнусный проныра. Роль его не в истории Европы, а в истории кагала. Вот там он имеет положительную роль. Слова его, очень презрительные, об еврейском племени и об еврейских капиталистах – мне хорошо известны. Но это было «запорошивание глаз» его христианским читателям, в роль вождя коих он становился. Еще бы таких слов не сказать, – кто же бы тогда поверил одному из представителей специфически-капиталистической нации? Слова были необходимы, и они были сказаны где-то незаметно, побочно, как задушевная мысль вождя пролетариев. Между тем полная мысль Маркса, в

* «общественное благо – высший закон» (*лат.*).

ее высказанной и невысказанной части, совершенно ясна: пролетариев достаточно много повесят, а политический строй Европы будет все-таки разрушен, — ибо что же за «государство», в котором народный друг, «пролетарий», если и не в силах столкнуть «коронку» царства, «верх» и «командующие классы» (какое ненавидящее название!!) свои, то все же боязливо и, однако, смертельно ненавидит и эту «коронку», и этих своих «командиров». Что такое вообще армия, вечно ненавидящая полководца и всех офицеров? Что такое корабль, матросы которого ежеминутно готовы к бунту? Пожалуй, ничего не произойдет (т. е. революция не будет), но «плавание», однако, невозможно, но «сражения» все-таки нельзя дать. Никакого «нового строя» не вел за собою Маркс-Азеф: но «штучка», им выдуманная, останавливала, действительно, «ход вперед» в Европе. Тут-то и выглядывали все жидовские мордочки, — выглядывали из гнусных щелей своих, из своих замков и из своих газет. «Мы поживимся». Конечно, настоящая подспудная мысль Маркса была в высшей степени кагальная, и это показала история Европы за последние десятилетия, совершившаяся под сильнейшим воздействием идей его «Капитала». Это он дал, Маркс дал толчок к объединению капиталов, к концентрации капиталов, как национальной сперва в каждой стране, так и к всемирной — во втором фазисе. Гнусные «синдикаты» и гнусные «тресты» — работа его мысли; и вот об *этом* он знал, что оно — «осуществится». Потому что, какие же этому юридические и судебные препятствия? Но будем читать дальше у Барзарова, — ибо он как раз подвел к этому:

«Как известно, до сих пор рабочая демократия даже самых передовых стран была очень далека от практического выполнения этой задачи обобществления: она энергично боролась за повышение своего уровня жизни в пределах тех общественных форм, которые творились буржуазией, но не смела еще и помышлять о самостоятельном творческом вмешательстве в ход истории. Объяснялось это всегда незрелостью «материальных» предпосылок: производительные силы еще не развились настолько, чтобы сделать возможным обобществление производства, — в ожидании этого момента демократии не остается ничего другого, как заниматься накоплением сил в борьбе за лучшие условия существования в пределах существующего строя»...

Читая это изложение Маркса, просто видишь «белые нитки», которыми шито это плутовство еврейского мошенника. «Накопляйте, господа, накапливайте по грошику! Откажись от булочки к чаю, от новой одежки детям или жене — работнице, господин демократ! И все копите, копите, откладывая гривенники в копилку. Вот и я с вами, Карл Маркс... Ну, а когда накопите достаточно, — мы всех этих банкиров, черт их дери, на уру возьмем!!.. Все они попадают в суп накопившего гривенники социалиста, — и тогда-то, тогда-то, в конце веков, при исходе истории, братья-товарищи, мы жирно покушаем»... «Но пока же... копите и копите».

И ведь банкиру очень удобно, что они все «накапливают» и «пока» не беспокоят его, — не беспокоят вот на эти «30 лет, пока он живет», а потом «и

еще на 30 лет отложат», пока будет принимать вклады его сын в торговый дом «Мендельсон и сын». И Марксу было хорошо (всемирная слава, – а жиды ужасно тщеславны), и банкиру было хорошо (безопасность), да, в конце концов, и пролетарию было недурно. Мало он ел в действительности, зато хорошо кушал во сне, а ведь ей-Богу аппетитный и столь продолжительный обед в роскошном сновидении приносит гораздо больше удовольствия, нежели просто удовлетворительный обед вчера или сегодня. Таким образом, Маркс всех сделал счастливыми, не вынув даже талера из кармана и только написав хорошую книжку. Вот кому можно сказать, «удалась его жизнь». Удивительный Маркс.

Что касается русской действительности, то за эпоху приблизительно тридцати лет – длина целого царствования – Маркс был самой значащей у нас политической фигурой. Можно ли с влиянием Маркса, – устойчивым, всеобъемлющим, о котором говорили все газеты и все журналы и авторитету коего никто не мог противостать, – сравнить «падучие звездочки» всех этих Стишинских, Дурново, Коковцовых, Горемыкиных. Даже «большой Витте» только вытирал салфеткой губы этому еле-ядущему Чурбану из Берлина и усердно прислуживал ему и золотой валютой, и винной монополией. Наши министерства так часто «делались из Берлина» или «гороскоп их составлялся» в банкирских лавочках.

«Правда, этот существующий строй давно уже перестал быть частнокапиталистическим. Начало планомерного регулирования систематически проводилось самими капиталистами в обрабатывающей промышленности: синдикаты и тресты осуществили его в отдельных отраслях производства, финансовый капитал – в национально-государственном масштабе. Оставалось только сельское хозяйство, все еще распыленное между многими самостоятельными предпринимателями и, по мнению большинства экономистов, вовсе не обнаруживающее тенденции в сосредоточении. Указание на трудность осуществить планомерное регулирование в современном земледелии было единственным аргументом, придававшим традиционной ссылке на «недозрелость» производительных сил некоторую убедительность.

Но вот – грянула война. Германия, – страна наиболее развитого капитализма, – очутилась благодаря блокаде в особенно тяжелых экономических условиях. *Планомерное регулирование в течение войны всего национального производства, и в первую голову именно производства сельскохозяйственных продуктов, стало государственной необходимостью. И оказалось, что буржуазное государство великолепно справилось с этой задачей: как известно, в прошлом году распашка и обработка полей, посев, сбор и распределение урожая были произведены в Германии под строжайшим контролем государства, по заранее выработанному плану, который в общем и целом удалось осуществить вполне удовлетворительно. Само собой разумеется, это обобществление было проведено отнюдь не в интересах не-*

мецкого рабочего класса, *выгоды землевладельцев* заботливо ограждались, были приняты все меры к тому, чтобы *аграрии получили не только обычную прибыль, но и военную сверхприбыль*. Но очевидно, что с чисто технической стороны эта заботливая охрана частно-владельческих интересов не упрощала, но до крайности затрудняла регулирование производства; война явилась другим, также чрезвычайно усложняющим задачу моментом.

После этого военного опыта германской буржуазии говорить о том, что Германия объективно, по состоянию своих производительных сил, не созрела до обобществления – значит смеяться над себе-седником. *Германская буржуазия сумела реализовать обобществление в формах несравненно более сложных, чем те, с которыми пришлось бы иметь дело германскому пролетариату, если бы он взялся за выполнение своего исторического призвания*».

«Выходи в отставку». Это – пролетариату, и – по единственному мотиву, в то же время вечному мотиву истории: *«Ибо твое дело уже сделано без тебя»*.

Действительно, положение ужасное!! Но сейчас открывается сторона, всей глубины, точнее – всей пропасти, которой не замечает и сам г. Базаров. Тут-то и открывается мошенничество всей «штучки» Маркса:

«Но и это еще не все, – не то горюет, не то радуется наивный г. Базаров. – Даже из тех немногих сведений, которые доходят до нас, видно, что *германская буржуазия не могла бы достигнуть цели, если бы она не имела в своем распоряжении великолепных организаций рабочего класса, созданных и воспитанных германской социал-демократией*».

Так вот для кого работала социал-демократия... Воистину, марксисты могут запеть песенку: *«Так вот где таилась погибель моя...»*

«Итак, на наших глазах *германский пролетариат под руководством своей буржуазии и в ее интересах выполняет ту задачу, которую он полвека тому назад провозгласил своей исторической миссией и о самостоятельном осуществлении которой за свой риск и в своих интересах он до сих пор не решает даже мечтать*».

Мне кажется, вывод один и огромный: Маркс клал демократию, или «социал-демократию», подстилку за спиною его стоявшего кагала; ибо кому же ведь не ясно, что евреи вправе сказать: «Буржуазия – это мы». Промышленность и торговля конфигурируется капиталом, а капитал – в руках евреев. О, конечно, тут «припускаются» и немцы, но именно – «припускаются». «Мы же за *равноправие*», – могут снисходительно улыбнуться евреи в сторону немцев. Но дело-то в том, что и Мендельсон, и Блейхредер, и франкфуртский Ротшильд – они все трое евреи, и таких же всемирно знаменитых имен из немцев, что-то не слышно. «Нам Бог дал талант денег, – сказал мне один почти еще мальчик в еврейском банке, – и с этим ничего не поделаешь». Еврей родился около денег и все думает о деньгах, – тогда как немцу

думается и о музыке, и о Гёте. Совсем разница. У них есть специализация денег. Они не развлекаются.

Но кончим из Базарова и о Базарове.

«Можно ли требовать от старушки-истории более наглядных уроков? Нужно быть слепорожденным, чтобы не заметить той ужасной язвы, какую вскрыла на теле европейской демократии современная война»...

Только именно «слепота и упорство» мешают Базарову увидеть, что война ничего ровно не «вскрыла», что все оказавшееся теперь лежало в существе вещей и лежало в самой мысли Маркса: «Я вас постелю, христиане, ковриком, по которому пойдет еврей». Но кончим о Базарове и его меланхолии.

«При чем же тут, – в заключение восклицает он, – павлиньи перья какого-то якобы высшего «миросозерцания», презрительное третирование «буржуазной культуры», сентиментальные вздохи по «царству свободы»!

Как «при чем»? Всякий воробей нуждается в сладкой водице, всякая канарейка поет «сладкую песенку». Не будь так, демократии было бы очень уж скучно. Она полвека томилась, откладывая гривенники, и чем же ей было утешиться. Маркс и кинул им песенку:

Пролетарии всех стран – соединяйтесь!!!

Пели. Выходили 1 мая на площади. А в 1914–1916 году протянули жиду рученьки: «Барин, мне на чаек!»

Очень мило. И совершенно так естественно было ожидать.

* * *

В чем же в корне и глубоко в корне сущность Маркса?

Он не столько открыл что-нибудь новое Европе, сколько страшным фокусом заставил ее забыть все старое. Всякое «государство» есть «социализация», и «социализация» началась не с Сен-Симона и Маркса, а с Рюрика, Синеуса и Трувора. «Чиновники» отечества суть «рабочие» его, принадлежащие не себе, а ему; и осуществляющие эту «социализацию», это действительно «обобществление». Масса не организованная, лишь *пассивно* «социализированная» и «обобществленная» этими *активными* «социализаторами» внутри себя, сперва и потом долго заливала их; но более и более, однако, подчинялась им. Пока вот не дошла до нашего времени, когда «социал-демократические организации» – «превосходно налаженные марксизмом», являя собою уже не анархическую бытовую силу, не нашего «рабочего с гармоникой и в красной рубашке», но одетых в полотняную общую блузу скучных и постных рабочих болтунов и рабочих дельцов, которые «совсем граждане» и «совсем чиновники». «Социализация» кончилась, «государство» закончилось, и ему, как всему «окончившемуся» живому, остается только умереть. Что же ему делать? Растить некуда, развиваться некуда. Философии оно не понимает, поэзию и религию отвергает: это – тупое стадо «социализированных» животных, которое и могло

только броситься в бессмысленную и жестокую бойню, не отдавая отчета, «зачем» и «почему».

Базаров не произносит нигде слово «чиновник», – это «металл и жупел» для левого, – а в нем все и дело. Вовсе не буржуазия, *только повиновавшаяся приказу чиновника из Берлина*, а именно этот чиновник, не дорогой и аккуратный, без капиталов и на жалованье, осуществил задачу *социалистического обобществления* производства, и даже земледелия. И потому все это, что «государство» еще со времен Карла Великого было *социализацией*. Что же сделал собственно Маркс и что делал во всю свою чахлую и безумную историю социализм?

Он *переименовал имя*, – заставил забыть и возненавидеть «государство» и заставил полюбить и преклониться перед «социализмом». Хотя это одно и то же. Только «социализм» сух, однообразен, однотонен, это уже *улирающее государство, мушья-государство*, – «окончательно из одних чиновников», тогда как прежнее государство знало и Henri IV, Louis XIV, Napoleon'a с Аустерлицем и Ватерлоо. Была картина. В социализме картин не будет. Только труд. И 1 мая «все высыпают на улицу». Но потом на 365 дней опять в норку и за работу. Тоска и могила.

В марксизме вообще содержится обман и был всегда один обман. Ничего не предлагая будущему нового, кроме «государства» и «чиновников», Маркс, путем перемены имени и путем иллюзии, что он открывает человечеству «новый мир», посеял вражду между классами, условиями, посеял анархию и бунт между «чиновниками завтра» (социализм) и между «чиновниками вчера». Надев различные маски на людей и дав им дубины в руки, он устремил одну толпу на другую. «Что и требовалось жиду». Люди стали убивать друг друга, люди стали клеветать один на другого, – и «новый мир» и состоял собственно в море этой клеветы и злобы.

«Интересы рабочих», конечно, не были принесены в жертву Германией 1914–1916 годов, как, зажмуря глаза и исключительно «по Марксу», излагает Базаров. Называя «воронами» марксистов, обряженными теперь в «павлиньи перья», он сам же, однако, приводит замечательный лозунг или, пожалуй, замечательное «открытие» этих марксистов. Они говорят теперь, говорят во всей Германии: «Год гражданского мира с буржуазией более усилил наше влияние, чем десятилетия классовой борьбы».

Конечно, тут не о мире с «буржуазией» надо говорить, а о мире с государством, с чиновничеством, которое одно верховно распоряжается за время войны «производством» в Германии.

Обман Маркса и обман вообще социализма, – при перемене имени, – заключался в том, что, добываясь во что бы то ни стало вражды и социальной розни, социалисты захватили себе одним «любовь к народу», распространяя черную клевету, будто «народ» они открыли, а «народа» не знали и не видели короли, «командующие классы» и чиновники. Это есть самая первоначальная клевета, с которой и началось все, без которой «не было бы пожара». А «пожар» был нужен Марксу, как пожары в России потребовались его едино-

мысленнику Герценштейну в 1905 году. «Пожар» Европы, вообще, нужен еврею, играет ли он на бирже или пишет сочиненья. «Когда горит у врага, я буду богаче». Очень естественно. Собственно о *рабочих*, о *фабричных рабочих*, правда, у европейских правительств не было много заботы, потому что ведь и фабрики и фабричный строй производства есть явление только XIX века. Но это – по неповоротливости правительственных машин. Тут действительно социалисты подметили первыми, и на этом был основан их успех. Но что касается до *народа*, до *простолюдинов*, то на чем же было основано разрушение «вновь изобретенным порохом» рыцарских замков, этих разбойничьих гнезд, как не на мотиве защитить от «благородных рыцарей» простой люд? Если взять Россию, то забота государства о «простых людях», конечно, доминирует под заботою о дворянстве, о духовенстве и т. д. Да это и естественно. Что же значит государство без народа? где его *сила*? где его *смысл*. Каждый государь, поводя рукою по горизонтам своего царства, может сказать с правом «народ – это я». До того они едины и слитны. До того натуральна и неодолима мысль царева: «Где *люди* – там и я». «Люди» без разделения на классы, на сословия. Ибо перед царем всякий вельможа – мужик. А мужик есть «человек с душою», как и вельможа.

Фокус Маркса не удался. И это один из простейших результатов теперешней войны. Но вполне удивительно, каким образом никому в Европе ранее этой войны не пришло на ум обернуть колечко на пальце: где читалось «Маркс» – если бы повернули, увидели бы на другой стороне – «провокаатор».

МОИМ СТРОГИМ СУДЬЯМ...

Ах, легкомыслие, легкомыслие. Все упрекают меня за легкомыслие. «И то пишешь, и это... Зачем?»

Не буду говорить о второстепенном, а остановлюсь на «легкомыслии, как вещи в себе», «по Канту».

Без легкомыслия жизнь не живет. Колеса скрипят, и человечеству делается тяжело. Именно не человеку, а человечеству.

Все трутся друг около друга, и все сердятся. Разве это хорошо. Греха-то сколько. Разве это хорошо? Вдруг легкомыслие. И все «сплыло», как «не было».

А между тем я только «слегкомысличал». Взял грех на себя. Все улыбнулись. Ну, положим, – «и кинули гнилым яблоком». Ради человечества стерпеть можно. Ибо человечество «оправдало гнев свой» и всем стало легче.

«Достойная жизнь», – я понимаю, – хорошо. Но иногда хорошо, по-моему, и недостойная жизнь (лишь бы без злобы). Потому что при «достойной жизни» решительно всем трудно. Представьте общество, состоящее из 100 величественных Дамаянти. Ну еще 100 вынесешь, но 1000 Дамаянти. Задохнешься: и Бог послал миру легкомысленного Наля.

Чтобы человечеству не было так трудно.

И Наль играет в кости. И проигрывает даже царство. Да. Но не проиграй он его, не было бы «Наля и Дамаанти».

А ведь «Наля и Дамаанти» стоят же какого-нибудь княжества Рейс-Шлейц, где все князья водки не пили, за женой ближнего не ухаживали и все смотрели фрунтовую службу солдат.

Легкомыслие не должно быть только очень продолжительно. Но иногда и у некоторых. Тогда оно падает, как роса на землю. Роса реденькая, а дождь частит. Дождя не нужно. Но роса необходима.

«Как хорошо пройтись босыми ногами по росе».

И росу любят, и восход солнца. Но любит ее земля и тогда, когда солнце совсем упало за горизонт. И любит шутку молодость. Но иногда и старость заиграется в шутках.

– Ну, и что же?

– Да «ничего» же. Читайте длинную рацею. Миру будет ой-ой утомительно. И все будут оглядываться. «Господи! Хоть бы кто-нибудь пошутил».

– Вот почему, смертные, не гоните шутки ниоткуда и никогда. Она приходит всегда в облегчение и когда людям очень трудно.

О КАВКАЗСКИХ СЕКТАНТАХ

История написанная всегда наступает слишком поздно сравнительно с историей действительной, и от этого происходят в действительной истории ошибки, ложные страхи, ложные предубеждения. Происходят клеветания лиц и целых учреждений.

Мне пришлось литературно познакомиться, – т. е. заочно, в письмах, с одним сотрудником бакинской газеты «Каспий», – человеком молодым еще, но чрезвычайно деятельным, энергичным и даровитым. Фамилия его – Саянин, и я называю эту фамилию полным именем потому, что когда писал ему о возможности, что захочу поделиться с читателями некоторыми важными его сведениями «с места», то он мне позволил и не скрывать своего имени. Притом так дело становится яснее и доказательнее.

А здесь мы нуждаемся и в достоверности и в доказательности. Недостаток автора – его огромное, переливающее через всякий край сомнение. Но здесь надо вставить две оговорки. Прежде всего, автор действительно даровит, и даже очень, – ну, а это при молодости «понимаете сами»... Но все-таки в его самомнении есть что-то странное, сверхобычное, и когда я искал его корни, то приходил к убеждению, что они кроются в его роде, в его происхождении. Его род, предки, и притом близкие, принадлежали к кавказской секте с «живыми богами»... И я думаю, это ощущение в себе «настоящего бога» передалось мальчику-юноше и человеку, уже кинувшему связи с жизнью, в ослабленной форме повышенного личного самочувствия. Но около этого недостатка стоит огромное достоинство: это – правдивость. И притом правдивость мужественная, способная пойти против общего мнения, общих

взглядов. К этому большому качеству я прибавил бы еще следующее, скользкое по строкам его писем. Хотя он в общем придерживается радикально-политических взглядов, по-видимому даже сочувствует левым, и, во всяком случае, отказывается их жестоко судить и осуждать, тем не менее это у него скорее этнографический радикализм, нежели политический радикализм: ибо ясно видна его забота о всей России и о всех сторонах ее жизни. Между его мыслями, мелькавшими в письмах, приведу следующее прекрасное замечание: «Западные народы, по тяжелым условиям их жизни, как варились на горячем огне; а мы, русские, в своей истории вялились на солнце. От этого они энергичны и деятельны, а мы ленивы, добродушны и слабохарактерны». Мысль удивительно верная, и – заботливая именно о всех русских.

В первом же письме он познакомил меня со своей биографией.

«Заранее уверен, что я напишу вам много крайне интересного, о чем вы не могли и догадываться. Начну с своей биографии. Когда-нибудь, надеюсь, она будет написана в назидание потомству. Вы читали и слышали, надеюсь, что среди русских так называемых «рационалистических» сект (а никаких «рационалистов» среди наших сектантов не было и нет: все это выдумки разных «изучателей»), – слышали вы, что есть одна секта «Общих». С этой сектой ужасно любят носиться наши социал-коммунисты всех оттенков. И действительно, с известной точки зрения «Общие» милы их сердцу более, нежели знаменитые духоборы. Однако правду об этой секте и правду о тех же духоборах в литературе не говорят ни Бонч-Бруевичи, ни, – прости Господи, – Пругавины»...

Уж именно «прости Господи» при упоминании имени этих двух знаменитых «сектоведов»... Нужна же была такая безголовая эпоха, разлитие такого полного атеизма, – притом мелочного и гадкого, – в обществе, чтобы принять за что-то серьезное книжонки этих двух господ, которым в сектантстве понятно и в сектантстве нравится только то одно, что они отвергают православную Церковь и идут против нее, и которые ни малейше не могли понимать, хотя что-нибудь в собственных утверждениях этих сектантов по отсутствию у самих «исследователей» хотя бы какого-нибудь религиозного интереса вообще, хотя бы каких-нибудь религиозных вопросов, религиозной жажды. Полные «балалайкины»... но «балалайкины» были в суде «скором, справедливым и для всех равном». Это – адвокаты. И никогда не думалось, чтобы своими пальцами они коснулись священной и мучительной области веры, – области души и загробных чаяний.

«Как это ни странно, больше всех правды сказал об этой секте Глеб Успенский в своем очерке «Несколько часов среди сектантов», напечатанном в 23-й книжке «Нивы». Но и эта правда – только правда добросовестного фотографа, который многого не успел узнать и на многое закрыл очи.

Секта гремит тем, что она устроила образцовую коммуну на Кавказе, что коммунальный быт у нее сохранился и до наших дней, что –

правда. Но господа «изучатели» упорно скрывают все, что послужило главным двигателем такого явленного чуда, чем питается такая активная вера этих сектантов.

К этой секте я вернусь в письмах к вам не однажды и открою вход в ее святое святых, а пока договорю об очерке Успенского.

У него упоминается главный вождь этой секты, Иван Антонович Саянин, преемник «Царя» общин и основателя секты, Михаила Акинфовича Попова.

У Ивана Антоновича в конечном счете из всего потомства остался один внук: ваш покорнейший слуга. Как видите, я происхожу кость от кости сектантской аристократии. Вырос я в своеобразной обстановке в этой нашей прославленной коммуне, потом попал в город, поучился в школе, после школы сделался рабочим. Работал на заводах семь лет, сделался отчаянным «товарищем». Из завода попал почти не по своей воле в свое родное село. Здесь я поступил к деду по матери на почтовую станцию писарем и частенько заменял ямщика. Дед этот в данное время стоит во главе общины. Таким образом, у меня открылось большое поле для наблюдения и изучения секты. Прослужил три года на станции и сделался сельским писарем. Писарем я пробыл недолго и служил у кочевников на персидской границе. Из писарей я перешел в учителя. Учителем я прослужил у сектантов же пять лет. Позднее перешел на службу к одной акционерной компании. Тут нарочно я поселился среди хлыстов, мормонов, прыгунов, неговистов и т. п. И днесь живу среди сектантов.

Прежде чем перейти к моим наблюдениям, которые не могут не быть для вас крайне интересными, я поговорю еще о своей персоне. Разрешите уж. Честное слово – не из тщеславия.

Устроили меня в Баку на место г. толстовцы из наших сектантов, так как я писал, по их мнению, недурные стихи и статьи. Они меня прочли поэтому чуть ли не в редакторы журнала «Духовный Христианин», – что издается, кажется, и по сей день С. П. Б. Тогда редактор этой дребедени, Проханов, написал в Баку, что он охотно передает журнал бакинским единомышленникам, если они найдут подходящего человека. Они и нашли меня... только скоро разочаровались. Надо вам сказать, что журнал стряпают толстовцы и буквально дурачат всех и каждого тем, что этот журнал подлинно толстовский и что будто сектанты принимают журнал как манну небесную. На самом же деле, сектанты с первого же дня стали бойкотировать журнальшко. Он и до сих пор издается на средства Петербургского общества «Свободных христиан». Подписчиков он никогда не имел больше сотни человек.

В Баку я впервые увидел всю эту ложь, что несет с собой партийная работа. Я, например, увидел, что отвращение от воинской повинности сектантов стряпается в этих кружках. Помнится, я тогда напечатал в этом журнале статью «Нужна ли война»... В статье довольно откровенно поговорил о духоборах и наших сектах. Поднялось дикое

возмущение. Меня стали бойкотировать. Признаюсь, я серьезно испугался этого гевалта и послал в журнал покаянное письмо. Но репутация моя была раз навсегда испорчена. И что всего возмутительнее, опровергать меня стали отнюдь не сектанты. Написал, например, дикую статью «известный» И. М. Трегубов и подписался он: «духобор И. Трегубов». Писали и другие, но тоже не сектанты в собственном смысле, а толстовцы из православных.

Об этих господах можно рассказать кое-что интересное.

Надо вам сказать, что я никогда не переставал «готовиться на писателя» и с этой целью работал, как пчела, над изучением всевозможных сектантов. Даже настоящие сектанты из «приказчиков» казались мне ничего не смыслящими в сектантстве, а тем более гг. толстовцы. С первого же дня пребывания в их среде я, например, открыл, что Л. Толстой просто одурачен всем духоборческим «исходом». Он до самой смерти не разгадал этого движения. Но об этом как-нибудь позже.

Плюнул я тогда на всю эту братию, «присосался» к месту на службе и стал, как вол, работать над своим развитием. Жена у меня, – из молоканок, – такая же жадная до знания, – так мы вдвоем стали гресть против течения. Читал я от молодых своих ногтей. Еще когда писарем был на почтовой станции, проезжающие принимали меня за человека, побывавшего в университете или около университета.

Надо вам сказать, что все наше сектантство живет «духовными толкованиями». Всякая мелочь в Писании ими истолковывается аллегорически. Таким образом, «символизм» был у меня в крови. Это предрасположение сразу открыло мне доступ к пониманию «диких» книг, как их называют в провинции. В первый же год я перечитал всего Мережковского, Бердяева, Розанова и Вяч. Иванова... и т. д. Владимира Соловьева – конечно».

К этому времени автору письма первый раз пришлось попасть в театр. Попал он на пьесу князя Сумбатова – «Измена». – «Штука красочная, хотя и не глубокая», – записывает самоуверенный «внук пророков». – «Две недели я ходил как помешанный: мысль написать большую драму сверлила мне мозг». Стал перебирать свою жизнь, ища сюжета. Сюжета не нашел. До сих пор, однако, он не читал ни одного драматического произведения, – и теперь с жадностью принялся «пополнять образование». Выписал себе из столицы Ибсена, Гауптмана, Островского, Метерлинка. «Я решился превзойти самого Ибсена», – и в скобках замечает: «К примитивному Островскому я сразу почувствовал отчаянную антипатию. И до сих пор его не дочитал». Результатом волнений около пьесы, которую он писал и переписывал, доделывал и переделывал, – была тяжелая болезнь, продолжавшаяся несколько месяцев».

По поводу высмеиваемых им «изучателей раскола»... Это, действительно, странно и вероятно впервые случилось в истории церковных изучений, что за них принялись люди «с пером в руке», но решительно ничего, кроме пера «за душою», не имеющие... Г-н Бонч-Бруевич в свои смешные «Матерьялы по сектантству», озаглавленные почему-то по-русски и по-французски,

внес даже философские творения украинского философа XVIII века Сквороды: хотя Скворода, смиреннейший и благочестивейший православный, издаваемый теперь славянофилами, ни краем уха и ни краем какого-либо внимания не прилежал к сектантам, ничем этого не выразил, ни одним словом, ни намеком об этом не заявил. Единственная его «принадлежность» к сектантству выразилась в том, что он, будучи действительно первым по времени философом-метафизиком на Руси, с мистическим, благочестивым оттенком, но с яркими в себе чертами православия, – жил не на городской квартире, состоял не профессором философии, – а по примеру древнего Сократа, беседовавшего на площадях Афин с народом, с юношеством, также сделался странствующим по Руси философом-собеседником. Господин же Бонч-Бруевич вывел отсюда, что он «бегал от правительства», ну и значит, «состоял в оппозиции»; а так как мысли его были, главным образом, философско-религиозные, то «сектовед» Бонч-Бруевич и зачислил его в состав если не явных, то тайных врагов Церкви, откуда вывел, что он был в тайне души – сектант. Но ведь и Гоголь вечно «ездил»: не зачислит ли поэтому и его Бонч-Бруевич в «хлысты». Да сколько людей вообще ездят, двигаются... Что за признак «сектантства»?!! Еще смешнее обстоит дело с г. Пругавиным. Этот понял в сектантстве только одно: что сектанты – «страдают от правительства», что их «преследуют», что их «сажают в тюрьмы». Он избрал себе собственнно «сектантский отдел тюрем», – и с видом такого же остроумного филантропа, как знаменитый мистер Пинквик, вздыхает о заключенных. Но где же тут секты и почему это сектантство? Нельзя понять. Никто не поймет. Секта, решительно всякая, есть страстнейшее «вероучение»: и он вообще не имеет веры и никакого понятия о вере, никакого «долженствования» в вере, оставь перо свое для стихов, для беллетристики, но не подходи к «канонам»... Это какие-то «песенники», в своем роде бульварные «Беранже» около раскола... И как это стыдно, и как это не по-русски...

Все письма г-на Саянина взволнованы, раздражительны. Все это вытекает из незавидного положения небольшого публициста в глухой провинциальной газете, тогда как он хотел бы говорить «громами» и «всем». Продолжу его суждения о кавказских сектантах.

«Как только мне пришлось впервые взять в руки книги наших «изучателей» сект, – так я решительно возмутился их «определенностью». Какой-нибудь, с позволения сказать, Пругавин говорит докторальным тоном о нас, как человек, открывший решительно все горизонты в затронутом вопросе. Сектанты у него являются, прежде всего, какими-то протестантами с чисто рассудочными, рационалистическими импульсами. Они хотят изменить ту или иную форму своей жизни, – добиться вот того-то. Напр., «Общие» сразу наметили устроить у себя коммунальную форму ради блага чисто материальной жизни. Ну, конечно, потом ополчается на этих революционеров «правительство и своими репрессиями убивает все»...

Все это есть самый пошлый вздор. В том, что формы сектантского «бытия» распадаются и видоизменяются, правительство никогда не было причиною.

Основное суеверие всех в области «изучения» в том, что все мы принимаем «рационалистические» мотивы не побочным следствием в преследовании какой-то другой цели, а именно родником сектантской «динамики», чем-то абсолютно самодовлеющим, дальше которых только дурак будет искать каких бы то ни было «интуиций». В этом заколдованном кругу пребывают все наши «изучатели», из него же никогда не пробовал выбраться и сам Толстой.

В прошлом году я был послан от редакции к «Новому Израилю». Передо мною был там Бонч-Бруевич. После он выпустил свою книгу, где с прямизной наивного дурака восторгался этими сектантами, – говорил, что они своего вождя Лубкова признают за Христа. Конечно, если бы об этом все прочитали в «обозрениях» какого бы то ни было миссионера, то все сказали бы, что это «клевета поповская». Но здесь вся читающая публика проглотила это незначительное обстоятельство и проявила религиозную терпимость до столпов Геркулесовых. Можно ли, в самом деле, возмущаться таким пустяком, что какой-то оригинал, самородок-самоучка, объявил себя только Христом. Надо только принять во внимание, насколько это передовой элемент в русском народе...»

Все это хорошо и верно сказано. «Изучатели» сектантства, не имея сами никакой в себе религиозной веры, а политически и культурно «гнушаясь Россиею» и всем русским, ничего иного не делают около сектантов, кроме как политически и религиозно их опоганивают. Их сочувствие сектантству – политическое и культурное, и выражается оно в одной брезгливости к своему, к родному и русскому. Поэтому, кроме всего другого скверного, тут привходит еще колоссальный обман, – точнее, привходит сплошная мелкая ложь личного отношения с сектантами. «Изучатели» сами-то не только в «мужика-Христа-Лубкова» не верят, но и в настоящего исторического Христа, о Коем написано Евангелие, тоже несколько не верят, а между тем если не прямо, то косвенно дают повод и основание темным изуверам думать, что «вот эти приезжие и образованные люди, пишущие целые книги», тоже чуть не «поклоняются нашему Лубкову», ибо о нем спрашивают, им интересуются, «и разве это без причины». Мужики, естественно, не понимают науки в ее отвлечении, в задачах исторического и этнографического изучения, – и принимают «интерес» за веру, за начало исповедания «нового Христа», за готовность к такому исповеданию. Специально заниматься сектантством мне никогда не приходилось – я только в печати изредка касался его. Но, уже узнав, что я «касаюсь в газетах», прозелиты и вожди сектантства мне неоднократно присылали такие «бумажки», которые я сложил в особую папку с надписью «сумасшедшее сектантство». Это, конечно, не все мною полученные их писания, но, однако, некоторый их отдел. Нужно заметить, что в густо-

ту сектантства, несомненно, замешан некоторый чисто патологической отдел, некоторое прямое сумасшествие, для образованного человека совершенно очевидное и неоспоримое, но для простонародья совершенно незаметное.

Это «*idées fixes*», «навязчивые идеи», «пункты» мысли и говора. В пору Религиозно-философских собраний в Петрограде, в 1903 и 1904 году меня раз шесть посетил интеллигентный человек из мелких чиновников или из мелких литераторов, который при знакомстве подал мне визитную карточку с надписями на одной стороне по-французски и на другой по-русски: «*La première personne Trinité Sainte*», – «Первое лицо Пресвятой Троицы». К сожалению, я постеснился удерживать у себя эту карточку ввиду полного приличия и полной корректности стоявшего передо мною субъекта. Правда, он был одет почти бедно, в грязных перчатках, и т. д., – но посмотрели бы вы, какая у него была борода и общий вид! Это была борода пророка и общий вид человека, который и во сне не сумеет пошутить. Воображаю его возможное действие на народ, – если бы ему пришлось выйти «со словом» на площадь... Речь его, мысли? Совершенно нормальные, разумные, правильные, – «начитанность в Писании» и проч., – но только все странным образом и очень утонченно клонилось к тому, что «Первое Лицо Св. Троицы» – это и есть говорящее с вами лицо. Уверенность его в себе была столь непререкаема и выражалась столь возмутительно, что я гипнотически не мог принять вида «как бы не верю в него», а так и говорил с ним, что вот сожалею, что обстоятельство еще не дозволяют ему явиться «в силе и власти». Жил он в Царском Селе и всегда аккуратно спешил к поезду, который отходит в 6 часов, «к обеду». Раз зимою в этот час было уже темно, и, провожая его в прихожую, при свете лампы, я впервые у него услышал просьбу о деньгах: «Дайте мне 50 коп. на билет». Я подаю ему и говорю: «Как же вы можете, когда Бог, нуждаться в такой ничтожной сумме». Он мне ответил: «Пока я в этой оболочке, как вы меня видите, и в этих условиях жизни, какие несу на себе, и несу добровольно, я не могу выходить из них и должен им подчиниться. И Христос ведь алкал, пока жил на земле, Ему готовили пищу, Он вкушал, хотя был Христос и Бог наш. Через месяц, через год я приду со славою судить живых и мертвых. А пока, как и Сын Человеческий, я нуждаюсь вот в этом, на билет дороги». И он с грустью указал на 50 коп. Я привожу слова его выделенно, и потому читатель воскликнет: «Да это – сумасшедший». Но ведь говорил-то он не «выделенно», а сплошь и о всяких материях, и тут не было ли следа путаницы или неясности мысли. Вообще замечательно, что у него не было ни малейшей путаницы, неясности мысли или слов, не было «каши» во рту и в голове, а, напротив, все было отчетливо, «разрезано» и разложено «по кусочкам» в правильной и без малого «научной» голове. – «Где же вы живете в Царском Селе?» – «Странный вопрос: где же мне жить, как не в Терновом Кусте». Потом из разговоров оказалось, что «терновый куст» – это его несчастная жена, которая довольно-таки была требовательна и даже покрикивала на мужа, когда он безвестно куда отлучался или не возвращался вовремя к обеду. –

«Все, все говорит о скором моем втором пришествии на землю. Разве вы не видите знамение?» – «Какое?» – «А знамение креста на земле?» – «Какое?» – «А смотрите на карту, и вы увидите, что это – крест: Франция и Россия – это одна линия. Совершенно вертикально к ней, и пересекая как раз ее посередине, проходит другая линия – Англии (1904 г.), Германии, Австрии и Италии. Весь мир разделен, враждебен. Но этим составом вражды и дружбы он именно и слагает из себя фигуру креста, и крест этот проходит через землю всех христианских народов. Но тогда вы не видите и другого знамени?» – «Какого?» – «Помните в Апокалипсисе: «И падет огонь с неба на землю»? – «Ну?» – «Так в Порт-Артуре-то? Разве люди не видят прямо реки огненной, падающей на них сверху? (артиллерия, осада)». Что было делать. И я кивал головой. И вот выпусти-ка где-нибудь такого, на Кавказе, среди мужичков.

Возвращаюсь к мыслям и сообщением г-на Саянина.

«Если припомните, по выходе книжки Бонч-Бруевича – Д. В. Философов разнес ее на страницах «Русской Мысли», № 12 за 1910 год. Но статья Философова была напечатана таким «петитом», что ее надо читать с двойными очками, да еще охотнику специалисту.

На мой взгляд, действительно, возмутиться есть чем. Все толки и разговоры о недовольстве правительством у Нового Израиля могут подкупить только набитого дурака настолько, чтобы он мог простить этим сектантам их действительное. На меня, например, произвело привычно неприятное впечатление поклонение этому живому богу, какому-то в своем роде Далай Ламе, и поклонение его супруге «богородице». Короче сказать, я увидел здесь обыкновенное сектантское, что (в палатках или целиком) встречается решительно у всех наших сект, начиная с подлинных хлыстов и кончая прыгунами, общими, молоканами и особенно духоборами.

Прежде чем излагать далее, я позволю себе спросить вас и спросить всякого, можно ли под каким бы то ни было видом помирить догму религиозную Толстого, например, с таким («диким», «хлыстовским», «изуверным»)... обожествлением какого-нибудь мужика?!

От себя говорю: я не проклинаю сект. Напротив, я в их улованиях давно различаю элементы чего-то глубокого, чуть ли не предмирного. Я вижу во всех ответах нашего сектантства стихийное проявление единого, органического чувства, которое во всех своих проявлениях не может не быть крайне интересным с «научной» точки зрения.

Однако: мог ли, т. е. имел ли нравственное право, Толстой быть таким же наивным поклонником, например духоборов, если бы он вдруг узнал, что все они не «таоисты», а «ламаиты», что у них все хорошо, а только вот человека принимают за земного бога... и что у них все хорошее, что так прельстило великого писателя, вытекает только из этого источника. Мог ли Толстой сознательно допустить такой «синкретизм» или такой «эклетицизм», чтобы утолить свою религиозную жажду вот из этого источника, – источника заведомо идолопоклоннического?

А между тем Толстой знал это, – и вместе с тем не понял, что «нравственную победу» он одержал над духоворами таким оружием, за которое браться не имел никакого права. Здесь сразу он становился на фальшивую почву человека, который в дальнейшем для преуспеяния своих истин должен будет перерубить тот сук, на котором уселся так хорошо. Он его перерубит и шлепнется опять в грязь.

Собственно Толстой не понял этого только потому, что не мог понять. Все вопиющее просто прошло мимо его ума, как малопонятная мелочь. Хотя, например, духоворки прислали ему из Америки коллективное письмо, напечатанное потом в книге А. Бодянского, в продажу, кажется, вовсе не поступившей. Слыхал я, что книгу эту просто уничтожили во всем издании гг. толстовцы, что Чертков выбросил из своего кошелька не одну сотню или даже тысячу на скупку экземпляров этой книги... Книжка, действительно, интересна и вовсе не похожа на книжки разных Бирюковых и Бонч-Бруевичей, – просто потому, что Бодянский абсолютно «божия коровка», не способен сознательно врать, пишет чистую правду, философствует на каждой странице, – и тут же приводимыми им самим фактами опровергает самого себя. В этом-то коллективном письме духоворки прямо писали Толстому: «Перестань возвышаться и писать о своем Боге. Один Господь на небесах и на земле – наш хозяин Петюшка Веригин, к которому мы все простираемся и все отдаем ему, ибо он чист телом»... И т. д. Письмо длинное. Ничего не понял Толстой, – до того он был ослеплен этими сектантами».

Удивительно. Читая в коллективном заявлении канадских духовоборов о божестве «на земле и небе» Петюшки Веригина, – тогда как слишком ясно, что земля и небо существовали «до Петюшки» и, очевидно, останутся после «честного погребения» Петюшки, – кажется, что имеешь дело с коллективным помешательством толпы, – помешательством патологическим, мозговым, подобным тому, пример коего я выше привел. Но, по-видимому, кроме физиологических «безрассудств», есть идейные безрассудства, для коих анатомической почвы в мозгу нет, а зато есть традиционная путаница мысли, в которую за толпою впадает и единичная личность, где начинает каждый думать так, как «веруют и говорят все». – «Живые боги из мужиков»? Разительно. И опять я могу из своих встреч привести пример. Когда шел суд над «Охтенской богородицей», ко мне раз вошел тусклый мещанинишко. Он принес статью для газеты в защиту этой «богородицы». Прочитав одну из нее страницу, я ответил автору, что ни в одной газете ее не примут, ибо она написана человеком, очевидно в первый раз вздумавшим «печататься», с нарушением правил и приемов самого элементарного изложения мыслей. Между тем вечерело, и я пригласил его сесть на кушетку. И сам сел. Он как-то привалился к моему плечу и сказал интимно и вместе откровенно:

– Василий Васильевич, что же такое, что «богородица»? Да у нас по России этих самых богородиц – сколько угодно.

Я просто обомлел. Мне стало страшно. «Богородица» ему представлялось не то, что нам всем кажется и на самом деле есть, т. е. как что-то един-

ственное в мире и неповторимое никогда, а как что-то самое заурядное, «бы- вающее по российской земле». Тут в основе лежит глубь невежества, о каком мы представления не имеем, – бескнижность такая, какая не вмещается в наши головы. Явно, они никогда не учили, – и традиционно не учили, никакого «Закона Божия», и никакой для них нет «Истории Ветхого Завета» и «Истории Нового Завета». На почве такой-то безграмотности вдруг выскакивает «Петюшка Веригин», одновременно «наш хозяин» и в то же время «правитель неба и земли».

В дальнейшем г. Саянин переходит к духоборам, связывая их дух и формы их культа вообще с сектантством хлыстовского типа:

«Я в этом письме освещу все движение духоборов, весь их громкий исход из России. Освещу так, что все закоулки будут вам ясно видны и не останетс ничего «нелогичного», не вытекающего из психологии этой экзальтированной толпы. Когда вы читаете о сектантах у «изучателей», – вы всегда должны подчеркивать некоторые логические несообразности, не вытекающие отнюдь из авторской отсебятины. Ничего подобного в моей «концепции» вы не найдете... Ибо пишу я вам о том, что знаю не из книг, что почерпнул из бесед с духоборами, в чем я сам вырос, что для меня – открытая книга.

Интересный свет, кажется, эта расшифровка прольет и на современные политические приемы.

Что такое духоборчество по источникам... и «изучателей». Лучше всего в фактах не расходиться с ними.

Когда хлысты сходятся на радение, они садятся чинно по скамьям, поют заунывные «молоканские» мотивы, держат «суконным» языком проповеди, потом вздыхают и ждут «духа». Дух не сходит, сердца не раскрываются. Все встают и начинают просить друг у друга прощение: «Не обидел ли в чем?» Тому, что кто-то имеет против кого-то что-то – есть явное свидетельство в том именно, что дух не сходит. Просят прощение с земными поклонами, прощают с целованием и ответными поклонами. После церемонии «мира» все опять садятся и паки ждут... Иногда «мир» проделывают по пяти раз. Наконец, все до того умилятся, что начинают плакать от «любви»...

Все это более замечательно, чем описывает автор, – стуча словами, без «сласти»... Нужно бы найти тайну, выразить все это со «сластью», тайну нежности и проникновения. Автор знает сектантство, и мы охотно верим, да об этом говорит и честный его язык, такой гордый и немножко самодовольный. Но он почему-то от них ушел, – и вот на это не обращает внимания. А следовало бы. Он теперь занят писанием драмы, сотрудничеством в газетах и неудачами этого сотрудничества. Занят вообще суетою, – и душа у него гордая, пылкая и суетная. Такому чего же искать в сектах? Он им ничего не принесет, а они ему ничего не дадут. И он совершенно не понимает, что без «умилренности» действительно нет молитвы; а «покаяние», которое пред-

шествует «сошествию духа» на сектантов, очень напоминает собою то «очищение», которому подвергали себя участники в Греции Элевзинских «таинств», с которыми неоспоримо имеют какое-то сходство «потайные» радения наших сектантов хлыстовского типа. Во всяком случае, как есть «одуряющие» средства физические, – разные наркотики, разные полуяды, так есть и средства к тому же приходиться и к тому же приводить чисто морально-психические... можно «покаяться», а можно и «закаяться», т. е. начать истерически рыдать в покаянии, – вместо простого рассказа грехов, проступков, вины перед кем-нибудь. И эту вину опять можно сказать и признать за собой, а можно и так «повиниться» пред другим, что «повинная» перейдет в объятия, в поцелуй с прощившим. Ну, – и поцелуй опять могут лишь раз, два, – а то ведь люди и «зацеловываются». Вот это-то предрасположение себя к встрече «накатывающего духа» явно заметно у хлыстов, которые не только владеют к этому средствами, но и «средства», по всему вероятно, владеют ими, – и иногда даже окончательно ими завладевают. Неизвестно, что бывает с человеком: он ли «пьет» вино, или вино «ест» его...

«И дух сходит, – продолжает г. Саянин. – Я же назвал эти «миры» их – скатами. Человек скатывается по наклонной плоскости, – все ниже и ниже, до самого дна, – и там распространяется, умилеется. Тогда сразу вспыхивает свет»...

Удивительно, «свет», т. е. духовный, – вот эта волна, взмылившая присутствующих до необычайных признаний, чувств, восторгов, умилений, поцелуев. Где уже нет «греха», а только ласки и поцелуи.

«Быть может, все это дико, – продолжает г. Саянин, – но приходится согласиться, что здесь мы имеем дело с подлинным религиозным переживанием, которое не нуждается в толковании текстов из Писания. Мало того, такое переживание совсем нельзя согласовать с унылым темпом поучений. Здесь именно бушует хаос, все «стения и трясься», несется куда-то: «на сионские горы». Здесь начинается подлинная «переоценка всех религиозных ценностей». В каком-то черном дыме этого органического культа подчас сверкают ослепительные искры «гениальных» мыслей и откровения».

Автор говорит: «не нуждается в толковании текстов из Писания»... Конечно, это чисто русское явление, – оригинально русское, которое если и имеет параллельные себе течения у западных народов, или особенно у древних народов, то тут связь сходства, а никак не связь происхождения. На текст трудно и невозможно опереть «выход из себя» под влиянием покаяния, покаянных слов, покаянных умилений. «Выйдя из себя», всякий неодолимо говорит «от себя», – и мы только ученым знанием, ученою начитанностью можем подыскивать ему аналогии. И это наше холодное подыскивание не будет иметь ничего общего с его экстазом. Автор продолжает далее:

«Не так трудно здесь человеку, на которого накатывает дух, провозгласить себя Христом, – и не так трудно поверить в такого бога, –

поверить во все его откровения. Возможно, что душа нашего скифа именно нуждается в «живом боге». Надо еще принять во внимание, что сектантские упования у нас складывались сотню лет тому назад, когда народ был еще более дик.

Всегда живущие только религиозными вопросами, наши хлысты все поголовно грамотны. Писание они толкуют все «духовно» – во всем решительно видят нносказание, словом, – гностицизм проникает все и вся.

Когда же хлысты постепенно теряют способность входить в экстаз, – они у нас называются уже не хлыстами, а – молоканами, духовборами и проч. Как только душа «постарела» у хлыста и не стала способна по-детски верить в откровения и предсказания, так тот же хлыст делается рационалистом: подогрей его – и он опять воспрыгается – таковы наши молокане-прыгуны: эти, перешедшие полосу упадка духовности в молоканстве, хлысты.

Корни у всех сектантов одни. И никаких собственно рационалистов у нас ныне и не было».

Замечательно ясное объяснение, – и, несомненно, правдоподобное, правильное. Разные степени разгоряченности и охлаждения одной и той же стихии физиологической и духовной, – вот суть дела. Откуда взяться «рационализму» у людей без школы, без метода, без умственных и логических принципов? Но один и тот же человек в разные возрасты жизни, в разные фазы своей души, – то «вполне верит видениям и предсказаниям», то лишь «склонен им поверить, – слушает». И наконец, он же, именно он же, отвергает их и смеется над ними. «Море непочатое» человек, вот в чем дело; и «всего есть» в его «утробушке», таинственно и мистически созданной, а вместе с тем созданной и трезво, рационально и, наконец, даже практически. Это как Достоевский сказал в «Бр. Карамазовых»: «Широк человек, слишком широк, – я бы «сузил». С «узким» человеком, конечно, жить удобно, но только разговаривать с ним не захочется. Автор письма продолжает:

«Богослужение у молокан, у прыгунов, у духовборов, у общих, у мормонов, у шелопутов и т. д. – не оставляет сомнения, что все это один и тот же порядок: видоизмененное вносит присутствие пляски или пророчествований или отсутствие таковых. Знаменитый обряд «поклонения» у молокан, у прыгунов, у общих, у духовборов и т. д. и т. д. – один и тот же, и нет никакого сомнения, что это «устоявшийся» обряд хлыстовского примирения-умиления и что совершается он получения духа ради. И совершается этот обряд у всех по-хлыстовски.

При более детальном изучении сектантства не остается сомнений, что все наши секты развились не из философии какого-то Тверитинова, а просто из старинной хлыстовщины. За это говорят, например, пророки, виденцы, пророчицы, духовидицы и... отопревательницы, – которые были или даже есть и теперь решительно у всех сектантов.

Источник один – «ярь непочатая» хлыстовщины. Отсюда и наш специфический сектантский гностицизм. Все наше сектантство пого-

ловно живет Апокалипсисом и ждет десятками лет конца мира. Нельзя представить себе самобытного русского сектанта без Апокалипсиса в голове и в душе.

И признавали и признают они эту «Книгу с небес» не как трактат о чем-то далеком, несбыточном, а о завтрашнем – сегодняшнем дне.

Вот этот воспаленный мессианизм и давал от начала силу нашим сектантам сорганизовываться в коммуноподобные общины. Такого происхождения знаменитые коммуны общих, в одной из которых я родился и вырос».

На минуту остановимся. Да почему же, если в их воображении «близок конец мира», – они соединяются в коммунообразную жизнь? А разве если крушился пароход, то спасшиеся и выкинутые на берег не становятся «на эту ночь», на «день завтра», – и вообще в тревоге и опасности разве люди не становятся моментально «одною общиною», «братьями и сестрами» по несчастью, по общению, по готовности «все разделить с соседом»? Часть в некоторых случаях – рождение коммунизма.

«Кстати, три года тому назад Б. Бруевич попросил меня написать статью об общих для напечатания в своей книге «Матерьялов», часть I. Я написал чистую правду, – и этот дурень просто не напечатал статьи. Только поэтому он пропустил общих в своих «Матерьялах»: и хочется, и колется, а соврешь нагло – наружу выйдет. И соврать ему нельзя, опасно, – и правду написать, т. е. напечатать мою статью, – «с видами» не согласуется. Ну, и п... же: и изучают-то все с «видами». Лгут, дурачат общество, и все ради «блага».

Об общих я напишу вам следующее письмо. Теперь – о духоборах.

Только потому духоборы так обособились, что все время они были поселены в глуши, в куче. С самого начала у них во главе стали «мужи из рода праведного». Образовался духоборческий престол. Вождь у них искони пользовался неограниченными правами. Жил он, как помещик. На его имя было всеми общинами вкупе отписано около 400 десятин лучшей земли, и эту землю обрабатывали ему духоборы безвозмездно. Отсюда его благосостояние. Отсюда эти громкие толки об общинной жизни у духоборов: вся коммуна и была в этом «сиротском доме» вождя, а все остальные жили, как все живут, – своими домами. Были у них и богатые, и бедные. О будировании против говядины и воинской повинности – слыхом не было слыхано. Это все потом уж, от влияния Толстого, ничуть не раньше.

Среди всех сектантов на Кавказе в моей памяти еще царило одно мнение, что духоборы все какие-то бараны и полупьяницы, что можно при муже прямо спать с любой духоборкой <...> что духоборки все курят табак, и т. д. и т. д. И теперь еще мне приходилось слышать от ремонтного офицера одного, что легче всего при покупке лошади нарваться (? – В. Р.) именно у наших духоборов. Ведь их две трети остались на Кавказе, не пошли в Америку.

Упадок нравственности, – по свидетельству Бодянского, стал прогрессировать. Под конец несколько вождей были пьяницы, без всякого морального влияния на духоборов. Словом, пошло разложение такого ненормального строя, как у духоборов, против которого пошла, наконец, сама природа».

В эти слова, как умного и не зараженного в своем роде «сектантством» «изучателя», – ибо суеверие ученого еще хуже религиозного суеверия, как холодное и бездушное, – очень ценны. Я посвящу еще одну последнюю статью письмам г-на Саянина, очень прося и внимания читателя, и извиняясь перед ним за однообразие темы. Но ведь тема, в самом деле, важна и интересна.

Г-н Саянин так заканчивает свои личные впечатления о духоборах Кавказа:

«За сотню лет безграничного повиновения вождям духоборы буквально переродились в особую расу. Если вы когда-нибудь обратите внимание на группу духоборов на картине, вы увидите страшный контраст между женщинами и мужчинами. Женщина-духоборка – это что-то до ужаса массивное, мясистая, топорная, некрасивая. Мужчины кажутся перед бабами переодетыми девками. Словом, контраст огромный и нигде среди других сектантов не повторяющийся. Бодянский в своей книге о них по простоте сердца указывает еще, что духоборки очень скоро перестают рожать и вообще малоплодны. Конечно, ему и в голову не приходит, что это – симптомы простого генетического регрессирования породы, против чего рано или поздно восстановит природа.

К нашему времени духоборы буквально переродились в какое-то невежественное стадо с массой атрофированных инстинктов. Если раньше не было ни одного неграмотного духобора, то теперь они до того одичали, что многие из них отродясь не слышали, что существует на свете книга Евангелие... (как свидетельствуют гг. Бонч-Бруевичи). Конечно, в этом виноватым оказалось все то же правительство. Оказывается, у духоборов пророки говорили с народом как бы от себя, тщательно скрывая существование Евангелия. Духоборы до того просветелись, что стали веровать в своих пророков и вождей, как в ходячих носителей евангельских истин, полученных ими самими непосредственно от Бога. Словом, великий инквизитор не мог бы лучше «переделать» подвиг Христа и лучше этого «успокоить» умы породы».

Прерву на минуту. Я хорошо, отчетливо помню «костромскую глушь», в которой рос до 13 лет. Хотя дом и семья наша были «в губернском городе Костроме», но дальше своего «Боровкого пруда» (среди площади, на окраине города), да четырех соседних домов направо и налево, да что «Сусанин спас Царя от поляков», а теперь «Царь живет в Петербурге», – мы, дети, решительно совершенно ничего о России и о мире не знали. И вообще круг сведений наших едва ли был шире «духоборческих на Кавказе». Но вот разница: духоборы уже, как «противоправительственные сектанты», естествен-

но, загоразивались стеною недоверия и стеною презрения «от всего остального русского», от «России» вообще и особенно от, казалось бы, «гонимой их церкви», а на самом деле, внутренне и духовно, от страстно ими исповедимой и страстно ими гонимой церкви. Мы же, живя в Костроме в такой же глухой тьме, «совершенно верили» в стоящего на ближней Сенной площади городского и знали, что, если обратиться к нему за помощью, – он поможет, что, если ограбят и нападут, – он заступится; и от «городового» мы заключали, что у нас есть «отечество» и «заступа», а там где-то далее – и свет (учебные заведения). Словом, мы жили, – мнимо или реально, для психологии все равно – в каком-то обширном, почти безграничном «добре» и в «добро это верили», – хотя это «добро» для нас и воплощалось всего в Сусанине, «который спас Царя», и в вытекавшем отсюда для нашего сердца умозаключения, что «Царя спасти – это героично, прекрасно и свято». И вот это совершенно крошечное сведение, этот совершенно крошечный кружочек освещенного солнцем пространства и самое главное – вера в него, вера, что кругом нас какой-то обширный неведомый и добрый свет, – положительно содействовала нас «вообще просвещенными». И мы столь же темные, как духоворы, ни за что не стали бы смущать пришедшего к нам с «пророчествами» мученика, и именно потому, что «у нас есть священник, которому мы верим», потому что «обязаны верить» и еще потому, что этого «пророчественного мученика» схватил бы за шиворот «полицейский», а кого «полицейский хватает» – о том мы, тогдашние дети, относительно полагали, что этот хватаемый в каком-то отношении есть «злодей всего добра, которое вокруг». Это я отчетливо помню. И суть особой глухой тьмы, в которой живут духоворы, по описанию г. Саянина, – и в какой еще, я думаю, живут наши «политические нелегальные», заключается собственно не в отсутствии у них книжного света, а вот в полном разрыве связи с родиною, в полном отсутствии, и логическом и моральном, подчинения родине. Всякий, становящийся до такой степени социально и религиозно свободным, совершенно неодолимо становится социально и религиозно диким человеком. Он дичает и в следующих поколениях вырождается, – как яблоня, пересаженная из сада в лес; становится «лесною малиною», с этими крошечными сухими ягодками. Это есть просто существо упорной партийности, «отщепенства» от массы, отщепенства от сада. Много или мало, худо или хорошо, хотя бы только через «полицейского» и через «местного батюшку» правительство за нами «ухаживает», как хозяин за огородом, и «уход» этот выражается или отражается в недопущении прямого и дикого вырождения... Дикие явления, напр. хлыстовства, как оно описано в последнем VII выпуске трудов по сектантству Бонч-Бруевича, «Чемеряки» (секта «Старый Израиль» в Петрограде, руководимая Щетининым) с форменным и дневным отнятием жен у мужей и спаньем с этими чужими женами, под тем предлогом, что он, Щетинин, подражает «Соломону», возможно именно только на дне сектантства, как полного разрыва с родиною. Тогда обрадуется «дикий остров Робинзон», где мать живет со своим «Пятницею»: но только Робинзон-то еще помнил родину и был благвоспитанный и благородный юноша. «Секта» и «ре-

волюция» неодолимо приводят к правам «апашей», «гаврошей» и т. п. И пото-
му просто, что это – разьединение. Вспомнишь библейское: «не хорошо быть
человеку одному». Послушаем г. Саянина дальше:

«Вожди и пророки духоборов составляли так называемые «вопро-
соответные псалмы», которые изучались всеми наизусть и пелись в мо-
ленных. Это нечто вроде катехизиса. Такими графаретками и просвеща-
лись искони эти сектанты. Причем даже у Бонч-Бруевича записано так:
«Чи вы дети?» – «Велиаровы». – «От кого вы присланы?» – «От мини-
стра Велиара». – «Кто в прежнее время от Бога правду сказал?» – «Иуда-
предатель». Здесь одно: невежественный духобор говорит без всякого
смысла заученную с голоса дребедень, многое гугает, а идолопоклон-
ник – «изучатель» строчит все подряд: никто ведь не поймет, что за ерун-
ду он напечатал в «животной книге». Не обратят внимания на некоторые
псалмы вроде записанного у Бонч-Бруевича под № 310, который гласит:
«Прости нам, Господи, грехи наши... Прости и ты, матушка Богороди-
ца... Простите и вы, радость с радостью, кормилец с кормилушкой, Ва-
сютка с Анютечкой, Лариошка с Дунечкой... И ты прости нас, родимый
наш Петюшка, красное солнышко!» Это молитва о грехах. Причем наря-
ду с Богом просят не только Богородицу, но радость с радостью, Васютку
с Анютечкой и т. д. Все эти имена, – «Радость», «Кормилушка» и т. д., –
суть имена умерших вождей духоборов, – которым они просто молятся,
хотя и знают, что все они были просто пьяницы.

Интересно, как вообще сваялся этот человеческий войлок, име-
нуемый «духоборами». Сначала они были выселены из внутренних
губерний в Таврическую губернию, где жили около трех десятков лет
на Молочных водах. И там они управлялись и находились в рабском
повиновении у живого своего бога из рода праведного. Собственно о
будировании против воинской повинности и правительства ничего пре-
дание не говорит. У них было некоторое недовольство, как и вообще у
русских людей, против тогдашней воинской повинности, которая почти
безнадежно отрывала человека от родной семьи. Для последней солдат
умер. – Если принять во внимание чисто сектантское воззрение на «сво-
его», как на такого человека, который стоит «на пути к спасению», а на
всех остальных людей – как на «погибших», то станет совершенно по-
нятным и то, почему духоборы охотно согласились уйти из Таврии на
Кавказ, где в те времена наборов не производилось.

Таким путем русское правительство колонизовало без всяких за-
трат почти весь край. Все наши молокане, которые никогда ничего про-
тив Царя не имели и всегда за него усердно молились, – всегда отличал-
лись воинственными наклонностями, – только поэтому в огромном
количестве уходили на Кавказ. О ссыльных как-то неловко говорить:
наши стариковские предания о ссылках по этапу почти ничего не гово-
рят. Ссылали только наиболее активных людей, единицами. – В сказан-
ном прошу вас обратить особое внимание на мой тезис: сектанты-
духоборы уклонялись от воинской повинности только потому, что опа-
сались потерять своего «верного» для «вечного спасения».

Духоборам на Кавказе дали много свободных земель как будто нарочито в глуши, – откуда надо три года скакать до какого-нибудь культурного центра. – Здесь устроились духоборы, но вовсе не коммунами, а как все живут. Весь коммунизм у них выражался только в том, что они отвели в юридическую (запомните) собственность своему вождю более 300 десятин лучшей земли и всю эту землю обрабатывали искони по наряду, безвозмездно. На этом участке жил их далай-лама, – конечно, не как бедный мужик. Этот дворец бревенчатый и назывался «Сиротским Домом».

При внимательном рассмотрении всего этого явления бросается в глаза то, что и должно было случиться: вожди решительно не знали, что делать со своей безграничной властью. Они, вместе со своими прихлебывателями, составляли поистине сермяжную дурацкую аристократию. Пьянствовали, развратничали. Все их динамическое учение заключалось только в «тащить и не пущать», – в подавливании всякого проблеска индивидуального сознания. Это была какая-то беспримерная сконцентрированная реакция, которая самому воспаленному воображению не приснится. И только поэтому выработалась духоборческая раса. Это вовсе не фраза: духоборы теперь, действительно, отдельная раса, близкая, быть может, к эскимосам.

Бодянский в своей книжке о них без колебания говорит, что вожди их были часто пьяницы, – и потому винопитие процветало вовсю. Действительно, только у духоборов женщины почти поголовно все пили и курили из длинных трубок табак. О «половой простоте» говорить не стоит. Это у них обычай на Кавказе – класть гостя спать с женой хозяина дома. Вы спросите, чем же жил этот народ? На что он уповал все время? На апокалиптический Сион-Град. Жил хилизмом.

С течением времени это упование стало затягиваться тинной житейской пошлости. Духоборчество выродилось в какую-то карикатуру скептицизма и цинизма. Например, если в то время спрашивали у какого-нибудь духобора: «Есть у вас какая-нибудь вера?» – То всегда можно было нарваться на подобный ответ: «Есть одна, только она б...». То же самое и о надеже, и о прочем. Духоборы решительно отучились иметь дело с понятиями, превратились в словопоклонников. Между тем под слоем внешнего довольства словами зрела какая-то органическая сила, какая-то сивуха хлыстовщины. Вулкан дремал, но не погас. Над его кратером плясали пошлый танец трафаретки и слова, но вулкан в полноту времен рванет... и опрокинет все и вся.

Рванул вулкан.

Случилось знаменитое возрождение духоборов. Вот как оно произошло».

Рассказывается далее история Лукерьи Калмыковой, возведенной ими в сан «богородицы», о Петруше Веригине и что, может быть, все это затихло бы, если бы к тому времени не произошло частью темного, частью деланно-

го слияния духоборчества с учением Толстого, начавшего будировать против Церкви и государства. Все это известно из других источников с большими подробностями. Из изложения г. Саянина возьму только одно указание. Он говорит, что когда духоборы «сожгли несколько тысяч рублей и их за это били», – то били их собственно за истребление казенного имущества:

«Все кавказские крестьяне из русских вооружены казенными берданками, а пограничные поселенцы, как духоборы, тем паче. Чуть ли не у каждого духобора была казенная винтовка. Ружья эти всегда на учете, всегда по селам ездят монтеры, чистят их, учитывают патроны и т. д. Словом, считаются казенной собственностью. Вот эту казенную собственность и сожгли экзальтированные мужики. Об этом поручатели духоборчества ни гу-гу... Духоборов вокруг пылающих костров погстагали плетьюми. А они пришли еще в пуший раж: стали все деньги швырять в огонь. Прошло несколько времени. Веригин запретил давать солдат. И духоборы уперлись. Солдат стали ссылать, – это еще больше подлило масла в огонь. Все увидели дорогое и спасительное гонение. Дело дошло до того, что пророки их объявили: так как скоро мы все пойдем в страну-убежище, то чтобы не было маленьких детей... И все перестали... «спать» с женами. Конечно, бабы и мужики все бросили тут пить водку и курить табак».

Так просто объясняется это дело, этот фазис «исхода духоборов из России». Одно общее замечание.

Один из родников сектантства, – уже не апокалиптический и хилиастический, а чисто русский, заключается в следующем: хочется пожить по своей волюшке, хочется завести хоть что-то вроде «своего царства», иметь почти «свою царицу». Описывая Лукерью Калмыкову и ее придворный штат, г. Саянин называет все эти явления «опереточными». Так это и было. Это – и оперетка, и игра в далеких горах и лесах, и, может быть, всего меньше религия и политика. Но дело в том, что «оперетка» или что-то в этом роде живет в душе человеческой издревле и вечно, – но как «оперетка» именно своя, – по своему замыслу, по своему плану. Нельзя не заметить, что русская крестьянская и деревенская жизнь так слишком монотонна, слишком сера и однотонна, слишком лишена каскада, брызга. В явлениях хлыстовщины и вот в таком событии, как завести «Лукерьюшкино царство», с «собственным конвоем» богородицы, и даже, наконец, в сектантском ожидании «труб с неба» и «конца мира» – заметно ожидание и, в сущности, душевный голод по чем-то крупном, не будничном, и вот – от себя, из своей деревни, из нашей общины. Люди слишком задохлись в мелочах, в ежедневном. У них слишком уж отнято все героическое, большое... Все это слишком забрал себе Петроград, центральное правительство... Сектантство своею долею говорит о слишком уже заметном засыхании и пересыхании провинциальной и народной жизни; что народу душно, что народу тесно, что народу скучно... И вот этот урок Петроградом должен быть принят во внимание.

ПАНИХИДА ПО ИОАННЕ ГУСЕ В МОСКВЕ

В нашем историческом и житейском обиходе всегда очень мешало Руси войти в свой идеал «Святой Руси» начало *формальное*, начало *мелочной* традиционности, не отступление от «примеров» и «прецедентов», прежде бывших или даже «у греков бывших и сущих». Особенно это относится до церкви и особенно относится к синодальному ее периоду, когда, испуганная отпором старообрядцев всяким «новшеством», наша духовная иерархия испугана самой мыслью сделать какой-нибудь *свой* и *самостоятельный* шаг. В частности, это сказалося в отношениях к праведной памяти чешского мученика Иоанна Гуса. Он не был, конечно, «православным», т. е. по вероисповеданию, по формуле, по крещению. Но он не остался и католиком, а та борьба, которую он поднял против папства и католического клира, показывает если не точным и буквальным образом, то общим ходом восстания и общим направлением его протеста сближение с православием. «Точности» здесь уже и быть не могло, потому что, получив воспитание и образование в католических церковных училищах, он о самом православии не имел вполне отчетливого представления. И вот он был задавлен, задушен властолюбивым папством. И, по обычаю того жестокого XV века, был «сожжен, как еретик, на костре». «Еретичество» его, однако, не было какою-нибудь личной выдумкою, какою-нибудь личной фантазией, а было протестом против того «папского духа», против которого восставали и боролись и русские иерархи, богословы и витии как московского, так и петербургского времени. Однако самая его мука и характер муки, всегда возмущавшие русское и православное чувство, должны были вызвать и действительно вызвали глубокое сочувствие к национальному чешскому герою. А подробное изучение его личности и богословских вопросов, которые поднимал Гус, несомненно убедили наших ученых историков и богословов в православном *направлении* его мысли. Как одно, так и другое совершенно подготовило почву не только к *общему сочувствию* великой личности замученного католиками славянина, но также и к тому, чтобы это человеческое «сочувствие» получило и церковное выражение хотя бы в небольшом и неответственном праве отслужить по Иоанне Гусе в православном храме панихиду. Об этом издавна и старались московские и петроградские славянофилы, между прочим петроградское славянское благотворительное общество. Но все хлопоты и усилия разбивались о формальные препятствия: Гус не был православным, Гус был по крещению католиком, да и в католичестве он был, говоря политически, «бунтарем», а говоря церковно, и опять-таки формально, «еретиком», отщепенцем. Положение действительно странное: внекатолическое, но и вместе – внеправославное. Однако *правда*-то души Иоанна Гуса, запечатленная кровью и мукою, горела у всех перед глазами; «правда», может быть, и смутная для «церковного ее определения», но уже несколько не смутная и для православного, и для всемирного нравственного чувства и нравственного сознания. Ни петроградское духовное начальство, ни московское духовное начальство и не разрешали панихиды «по католическом еретике».

Ныне боголюбивый глава московской митрополии, высокопреосвященный митрополит Макарий, по ходатайству московских славянофилов, впервые разрешил этот вопрос, — не имевший официального и отрицательного о себе решения, а лишь встречавший себе глухой административный запрет, — в положительном смысле. Благий старец благословил «отслужить по Иоанне Гусе панихиду». «Колокол» сегодня приветствует это решение московского владыки, говоря, что оно имеет и особенно получить обширное церковное значение. Совершенно поддерживая эту мысль, мы думаем, что русская православная грудь будет легче дышать, свободнее дышать, нравственнее дышать. А то «православие» как-то странно и диким образом начало у нас смешиваться с «консисториями» и с «консисторскими распоряжениями». Церковь, через бестактность «предержавших властей», распоряжавшихся в ней, самым печальным образом начала служить «духу века сего»... И электрические лампочки на богослужении, и «еретик» Гус, и еще на наших глазах новый «еретик» Толстой. Последний хотя церковно и заблуждался, конечно, однако, эту вину можно было ему оставить, потому что в эпоху, совершенно безбожную и внецерковную, он среди немногих и громче всех остальных призывал помнить Бога, призывал думать о Боге; призывал, по крайней мере, к доброй народной поговорке: «Без Бога ни до порога».

Будем надеяться на лучшие, на ясные дни церкви...

Спасибо и московским славянофилам за их хлопоты.

НА ТРУДОВОМ ПОСТУ

(Памяти Богдана Вениаминовича Гея)

Безгранично жаль Богдана Вениаминовича Гея. Всем его жаль. Мне его жаль. Кому его не жаль? Средневысокий, худой, но не окончательно. Волосы клоками, вообще как-то неблагообразно. На улице в старой шинели. В редакции — в заношенном пиджаке. Взгляд — сверлит вперед. Всегда вынимает свою табачницу и вертит папироску. Всегда на кого-то кричит. По заботе о сотрудниках — всегда в первом номере. Весь — ширина, доброта, «седой ум».

— Богдан Вениаминович: откуда ваша фамилия — Гей? — как-то спросил я его, подняв голову от передовицы.

— Черт его знает. Одни говорят — из венгров. А может, что-то английское. «Гей», «Маколей», «Грей».

Я оттого и спросил о фамилии, что ведь это — не могло быть «столь русское», как «наш Гей». Хотя если следить собственно за *наружностью* этого когда-то, очевидно, статного красавца, — то, несомненно, открывалась под этою наружностью какая-то чужая порода, чужая кровь, история иных стран. Но «каких» — он и сам забыл.

Он весь был «тутошний», петроградский, русский. Он был «своего времени» человек, наших 70-х, 80-х и позднее годов. Весь жил «трепетом мину-

ты»: а сколько таких минут выпало на его работу (оттого он и «кричал», от застарелого переутомления), на его бессонные заботы и хлопоты по газете.

Он был «соредактором» Алексея Сергеевича, — одним из соредакторов. А в летние месяцы обыкновенно «торчал тут». Все разъедутся, а он «торчит». Кричит, распоряжается, «планирует номер». Но не только летом. «Вот и эту зиму провел Гей». Он как-то не уставал, — терпеливый, зоркий, благородный. Всегда благородный.

Он не знал (да и никто, кажется, в редакции) мелкого интриганства, мелкого завистничества, чем так часто пользуются в центре больших газет и вообще крупных дел. Не знал и не интересовался. Для него, как и для старика Суворина, было важно: «Россия и наша газета». Ну, и впереди всего: «Что же нужно России?»

Он «направлял *передовые*», и собственно с этой стороны я его знаю, просидев 17 лет с ним в одной комнате, — скорее «комнатушке». Он почему-то предпочитал выбирать себе, в огромном помещении редакции, далекие от центра и тесные комнаты. В такой комнате я его впервые увидел, еще не понимая, кто такой «Богдан Вениаминович Гей», полюбив его табак, вихры на голове, и что он «вечно ушел в себя», но и слушает вас. Я «присаживался», и мы «болтали». Потом я догадался, что это «редактор» и «главный», — ближайший друг Суворина. Когда я сделался настоящим сотрудником, мне все любилось «сидеть около Гея». «Я буду заниматься в той комнате, где сидит Гей».

Он меня научил много «уму-разуму» в деле государственности. Это было вот как. Он просто «кричит», т. е. делает поправки к вашей мысли, к вашему плану передовой статьи. Как тогда еще не старый и догадливый человек, я почти сразу догадался, в чем дело. Как автор книги «О понимании», я, конечно, пришел с душевным важничаньем в дело. «Учреждения — наплевать», «Россия — не много стоит», «традиции — чепуха». Обыкновенная программа русского интеллигента. Старый народник и друг Максимова («Куль хлеба») — он *обучил меня России*. Обучил в том смысле, что Россия есть *важное*, и — *первое важное*.

Но «выучка» и «Гей» — несовместимы. Он только «волчился» и «грызся». Он именно кричал, а не поправлял и не направлял, не рассуждал. Из выкриков-то я и увидел, что это — благороднейшая *натура*, *не ум*, а именно *натура* (для коего вне интересов России ничего нет, никаких «О понимании» нет, а есть — *нужда*, дело *России*, и что ей нужно *сегодня*). Так как это была не только верная мысль, но и прекрасное зрелище, то я сейчас же «усвоил Гея».

Покойный беспредельно любил А. С. Суворина, любил всю его семью, любил «весь этот дом». А между тем Суворин тоже на него покрикивал (когда уже стал больным, — от переутомления болезнью). Вообще их как-то нельзя не представлять «вместе». Суворин часто его называл по фамилии «Гей». И как-то отрадно думать, что вот они встретятся «там» и, конечно, сейчас заговорят о «Новом Времени».

— Войница-то какая началась.

– Да. Негаданно. А знаете, Богдан Вениаминович, – на земле хорошо, а и здесь не плохо. Вы знаете, здесь ангелы есть.

Гей положит бобровую шапку на стол какой-нибудь и скажет:

– Устал я там, на земле-то. С вашим «Новым Временем». Вы говорите «ангелы»... Что же, я не опровергал, а только никогда не думал об этом.

ДВА ГОДА

Сегодня исполняется два года, 730 дней, как Германия объявила России войну. 730 дней, и каких дней!

Апокалипсическое время!

И что *им* было нужно, что *ему* нужно? Германия уже торговала на славу, богатела на славу. Германия и без войны уже обратила весь мир в свою полуколонию, начав заливать товарами «made in Germany» даже всегда первенствовавшую в промышленности Англию, не говоря о таких странах, как Россия. Совершенно непонятно воинственное прибавление к этим мирным и бескровным трофеям, которые неосторожные или наивные народы вручили «срединной империи Гогенцоллернов». Беззастенчивый вор десятилетия, державший зазевавшегося прохожего за шиворот и обиравший его карманы, вынул нож и вздумал перерезать горло. В конце концов, скажешь, что этот вор глуп, потому что до ножа он имел больше, чем при ноже, и потому, что он пробудил всю Европу. Борьба началась! Европе стало необходимо и неизбежно вырваться из этого сумасшествия и разбоя. Война теперешняя абсолютна. Она не похожа хотя бы даже тенью ни на одну из предыдущих войн. Она вообще есть нечто новое в истории. Да не говоря об исходах и последствиях ее, она уже самую массу своего вот только за два года течения составляет целый фазис истории. Но какой отвратительный, какой, в конце концов, бессодержательный смысл «выступления» Вильгельма? Этот юнкер, с задранными кверху усами, какую мысль несет он миру? Мысль kota, бросившегося на полудремлющий птичник, – как ему казалось.

Но этому коту не будет так хорошо, как он мечтал 19 июля 1914 года. Вильгельм не поживает на розах, и сны его тревожны. Долго считал немец в тупом уме своем, но как-то перепутал миллионы и тысячи, и его «феерическая молниеносная война на шесть месяцев сроку» оказалась пуфом и иллюзией и сновидением. Европа – на этот раз цивилизованная Европа – не уступит варварской Германии. Мы произносим смело слово «варварской». Но германцы со своими газами превзошли и гуннов, и вандалов. Они не цивилизованы, они – выродки, вырожденцы цивилизации. Достигнув, пожалуй, вершины духовности в своих Гёте, Бетховене и Канте, – в Вильгельме и Круппе немцы показали зубы не то гориллы, не то сумасшедшего маньяка. Перестанем думать об отвратительном существе. Будем думать о том, как справиться с сумасшедшей гориллой.

Вся Европа – в испытании; в великом испытании на силу терпения. Жить вместе с гориллой, конечно, невозможно. Рассчитывать на «союзы» и «мир-

ные договоры» с гориллой, от лица которой маленькис гориллы, ее теперешние «ученые», высказали свои «идеи» о необязательности «в трудную минуту» вообще «писанных чернилами бумажек», – бесполезно. Дикий зверь может быть только укрощен железом; сумасшедший нуждается не в доводах, а в смирительной рубашке. Война, которую определили как «борьбу на истощение», в задаче своей есть, безусловно, и абсолютно борьба «на усмирение».

Но оно трудно, невероятно трудно. Что делать, – стоим перед апокалипсической трудностью; увы, – стоим под апокалипсической невольностью. Без «усмирения немца» он нас так усмирит, что Европа будет странствующим рабом, ходящим «по миру» и ждущим из рук юнкеров и аграриев милостыни.

Немец потянулся за русской землицей. Ему земли надо, для плодородия ихних «Амалий» и всяких дам «о трех К» («Kinder», «Kirche», «Küche». – «Дети», «Кирка», «Кухня», по завету нового их «Лютера», Вильгельма). Вот для этих-то «Амалий» и «Карлов» и понадобились русские черноземные губернии, русские поля, русский простор. Крестьяне и солдаты должны сказать себе: «Пришел немец потеснить нас и занять наш простор». Тут какое же рассуждение, кроме как «в шею»! Он в наших 17 губерниях уже жнет в них, уже жрет их. Тут рассуждения ни к чему. Тут нужно драться. Ну, тут бери, Микула Селянинович, что попало в руки и гони басурманина.

Пушкин сказал нам долг наш:

Но в искушеньях долгой кары
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

В словах этих Пушкин сказал нам и судьбу нашу, и жребий: и если мы будем верны его историческому завету, – и окончим всякое дело исходом в покой, обеспечение, независимость и тишину.

Русский человек зависимым не будет. Нехороша та борона, которая заехала не в свое поле. Ее выбросят. И русский мужик выбросит немца из своих «чистокровных» 17 губерний.

ИЗ ФИЛОСОФИИ НАРОДНОЙ ДУШИ

(На возражение Н. А. Бердяева
о «Русском мессианизме»)

Почему Н. А. Бердяев думает, что если расположить историю народную «с ленцой», то это не будет тот «абсолют», которого вечно взыскует русская душа и который, например, она осуществляет в таких сектах, как наши «странники», или в таких партиях, как русские «максималисты», располагающие дух и действия свои по максимальному террору? Очень «будет». Только это будет лежать на другом конце, однако – того же самого абсолюта и максимализма.

А главное, тогда Россия не дойдет никогда до такого ужаса, – ужаса беспримерного, апокалиптического, – до какого, например, дошла Германия, – и дошла очень последовательно, к 1914 году, не остановившись перед мыслью перекалечить почти все здоровое и взрослое человечество Европы ради достижения своих национально-«величавых» целей. Ах, эта «величавость» безгранично много стоит бедным людям, простым людям, серым людям. Как дорого стоило этим людям папство и его грандиозная «теократия»... Сколько ведь костров, – «всего и не счесть»? Тоже – Наполеон... Тоже – французская революция с сентябрьскими убийствами...

А собственно «велики»-то оказываются Наполеон, Робеспьер, Дантон и Марат, – да 5–6 «умопомрачительных» пап. Но около них всем ужасно плохо.

Тишина, кротость и порядок, тишина и незлобивость – это вечная и настоящая демократия. Это «вечный мужик», пашущий поле и не помышляющий о большем; это вечный Александр III, построивший санаторию Халила и державший бразды мира в Европе; это Гарун-аль-Рашид, о котором неустанно и любовно рассказывала сказки прелестная Шехеризада и который ни с кем не воевал, не обагрив рук и земли кровью, а его помнят и любят века человеческой истории.

Добавить ли дерзкую и головокружительную мысль, что моя гипотеза тянется даже к подножию Вифлеема, где звезда и чудное рождение воссияло именно из тишины и незаметности, а из шума и суеты, из пап и Наполеонов, из революционеров – эта звезда и это рождение никак бы не воссияло?

А человечеству нужно вифлеемское утешение. Мужикам без него трудно. Вот армян вырезали в Эрзеруме: скажите, скажите, что стали бы делать старухи-армянки, одни оставшиеся в городе, если бы каждая не могла поднять глаз на Распятие, висящее в углу комнаты?

Но что Вифлеем, конечно, не нужен Желябову, Наполеону и, может быть, папам, – что он не нужен европейским литераторам, то это – конечно.

Тот тип истории и жизни, который рисуется русскому народу, есть, конечно, тихий, умиротворяющий и «надеющийся на Бога». Но надеющийся не человеческим гордым надеянием, все опирающим на свое «я», – или на Круппа, как Бисмарк и Вильгельм, – а надеющийся на ту вот мысль, что Бог и сам призвет нас к величию, если мы того заслужим, – во-первых, и в срок, когда Он Сам это найдет соответствующим Своему плану.

Ни Н. А. Бердяев, ни И. А. Гофштетер, – также возражавший мне, – не заметили оба начальных строк в моей статье о «мессианизме», что его, т. е. особого в истории призвания, – я не отрицаю в корне и в реальной истории; но указал, что он настает «неожиданно», и обыкновенно для народов, им не занимавшихся. Т. е. что это дело «рук Божиих», а не «рук человеческих». Преднамеренные же «мессианизмы» не удаются, «не выходят», и, я уверен, никогда никому не удадутся. Покажется странным, а между тем я именно думал о «русском мессианизме», когда писал свою статью. И еще менее покажется вероятным, чтобы я думал о «политическом мессианизме». А я думал. И мысли мои слагались просто.

Ведь то неоспоримо, что если бы такая громада (и Бог не напрасно ее нам дал, не «на безделье»), как Россия, – не в словах, не в заявлениях, а великим «лежанием на боку» и отогреванием сего знаменитого «бока» – выразила, показала и доказала всему миру, всем державам, всему цивилизованному человечеству, что «ей-ей, нам кроме своего бока» ничего не надо: то без подхлестывания, без нагайки, без Круппа к нам «под бок», в это самое «российское тепло», потекло бы все слабое и горестное, все утесненное и не могущее долее бороться. И позволю себе сказать, что «наконец-то, наконец-то политический Вифлеем бы воссиял». И для этого решительно ничего не надо, при такой силе, как «лежать на боку». Явно. Для кого не явно? Придет к нам и рассеянный татарин. И измученный армянин. И красавец-грузин или какие еще там водятся черти по побережьям теплых морей. Кажется, мингрельцы.

Только не надо стараться. «Лежи себе в Петрограде». И сказать о каждом народе: «Если ему притеснение от кого, – *на того я иду*». А, – тут уж можно встать. Но при громаде России, будьте уверены, уж никто ни на кого не нападет, если Россия единственно на что «встает», – то на защиту невинного и которому грозит беда.

Русская история в некоторых частях испорчена, – и именно в тех, где она суетилась. Но где она «лежала», – всегда выходило хорошо и успешно. Пока мы «лежали», – под нас «ползли». В сущности, и абсолютно, России «политики больше не нужно», ибо это есть единственное и с начала всемирной истории еще первое царство, которое уже к началу «сознательности» своей сложилось так громадно, что «чего же больше желать». Теперь самое уже «лежанье» принесет нам неистощимые плоды, и даже политический абсолют. Ибо «угнетенных» поистине много, – и неодолимо слишком многие «поползут». Так именно не «мы устроили», так «Бог устроил». Ибо уже к началу сознательности Он дал нам политическое «все».

Говоря так, я просто выражаю то, что «есть». И Наполеон, и теперь Германия лезут на нас потому именно, что мы «уже без трудов – первые», что уже «в начале были первым царством». «Как это так?! *Как это может быть?*» – «Разорвать», «откусить». Но это «смогло стать», и это «стало», конечно, не нашим изволением и старанием (куда – «дураки!»), а именно потому, что «Господу было так угодно» упразднить эту политическую мерзость, что народы живут «жраньем друг друга», и вот Он, Небесный Батюшка, учредил некоторому младенцу («в начале быть первым»). Это так ясно слагается, так ясно сложено, – русский народный характер и в лучших случаях даже русский личный характер так гармонируют этому историческому призванию, что трудно не узнать здесь предопределения. И вот этому-то предопределению давно отвечает русское «полениться». В сущности, суета, грызня и поедание, – как и все эти Наполеоны и папы, вытекли из несносного человеческого: «Встаньте, мусье, *вам надо делать великие дела*». Такою фразой граф Сен-Симон приказал слуге будить себя поутру. Верно, любил засыпаться... Ах, если бы он оставил себя с этим утренним сном. Если бы не торопился Наполеон... Если бы не спешили папы.

И все спешили. И испортили всемирную историю. Наполнив ее стуканем, топотом, а главное – кровью. Без крови никогда не обходилось. Без крови и еще без унижения. Что же это за история? Это безобразие. Надобен Вифлем. Надобно сходить к обедне. Надо послушать муз.

И позабавиться Шехеризадой. Ах, Гарун-аль-Рашид был мудрый царь. И наш тихий Алексей Михайлович тоже был мудрый царь. Оба текли «по веку своему» и «по мысли Божией».

Жили. Умерли. И все их благословляют.

А проклинает – никто.

Так и Россия, я уверен, идет в какое-то великое благословение. Не в то именно, как я говорю, а где-то «около этого». И кой-кому это трудно, ой, – как трудно! Как мог бы Бисмарк и Вильгельм прожить без «нервов» и без «чиханья».

Но великая Российская державушка никому не хочет «чихать в нос» и ни у кого не желает «портить нервов». Этому отвечает и народный характер, общее сложение и склонение истории, всеобщая любовь к обыкновенной бытовой жизни.

ТРУД г. ВЛ. БОНЧ-БРУЕВИЧА О СОВРЕМЕННЫХ ХЛЫСТАХ

Г-н Бонч-Бруевич выпустил громадный 7-й том своих «Материалов к истории и изучению религиозно-общественных движений в России», – посвященный «Чемрекам», – ответвлению «Старого Израиля», – с 10 портретами и фотографическими группами, 4 иносказательными изображениями и другими снимками. Том занимает СС1 страницу «Введением» г-на Бонч-Бруевича и 705 страниц документами о секте, – все это в формате больших изданий нашей Академии Наук. Содержание тома все занято «хлыстовщиной», в данном случае представляемой А. Г. Щетининым... Тут приведены и подлинные судебные дела о Щетинине, с корешком, обложкой, номерами и печатями. И трогательнейшие рассказы о себе и судьбе своей совращенных Щетининым в секту женщин... Дело касается наших дней, обширно захватывает петроградскую рабочую и мелкоторговую среду последнего десятилетия.

Труд этот, – как и прежние, – вызывает горячую благодарность читателя и вызовет будущую благодарность науки громадным собранием «тетрадочек» сектантских и воспроизведением их, как равно и портретов сектантов, со всем великолепием точности, документальности и всяческой подробности вообще академических изданий. Это есть вещь вечная, сторона вечная. О следующей тоже хорошей стороне издания мы скажем ниже. Несчастье издания – личная работа мысли и слова самого г. Бонч-Бруевича, – все его примечания, все его вступительные статьи, все его освещение – затемнение дела. Автор и не скрывает, и не может, и не хочет скрыть, что он лишен всякой религиозно-церковной дисциплины, в смысле ли предварительной учебной и ученой подготовки, в смысле ли вообще владения своими способностями

и своими словами. Какая-то логическая (отнюдь, конечно, не сектантская) «хлыстовщина» царит у него в голове, хлыстовщина в смысле разброда, в смысле беспорядка, в смысле непонимания, в котором месте надо писать «Аз», а в котором «ижицу». И в академическом издании, с подзаголовком его – «Recueil des matériaux concernant l'histoire des mouvements religieux et sociaux en Russie, – redigé par V. Bontsch-Brouévitch»* – это производит смешливое впечатление картуза Максима Горького, надетого на лысую голову древнего учреждения вместо старой бюрократической шляпы с плюмажем. Но есть сторона, которая искупает все это. Г-н Бонч-Бруевич как бы говорит: «Да, я не ученый. О религии понятия не имею. Евангелие если и читал, то забыл, – да и внимания никогда не обращал. Я – просто журналист. Ну, довольно вам порицаний? Но из журнализма моего пронсекают вещи, которые и не снились ученым; живость, простота и доброта. Ученые все были мертвые люди и занимались сектантством как отделом церковной археологии, я живой человек и запустил обе руки прямо в нутро сектантств; я почти также невежествен в религии, как они, – и вот они чистосердечно потащили ко мне все свои тетрадки, все свои нелепые бумагомарания, трогательнейшие исповеди, а я все с удивлением неопита печатаю в академическом издании, со всею точностью академических изданий?»

В предисловии он пишет воистину прекрасные и, конечно, справедливые слова:

«Не могу не отметить здесь отрадное явление среди самих сектантов. Всем хорошо известно, что именно те старинные ответвления русских сектантов, которые объединяются нами под общим наименованием «духовных христиан-израильян» и, в частности, «Старый Израиль», – всегда считались наиболее замкнутыми, недоверчивыми, – о жизни, учении, деятельности которых было очень мало известно, – почему эти общины и назывались «тайными общинами». В настоящее же время весьма охотно, предупредительно, с открытой душой пошли они на наш зов всестороннего изучения и изложения всего того, что ранее считалось тайным, не подлежащим оглашению. В этом томе нашего исследования читатели найдут не одну тяжелую страничку, смысл которых мы объясняем в нашей вступительной статье, – но, посмотрите, с какой открытостью, чистосердечностью и иногда покаянностью написаны они!

Народ хочет сказать о всех своих сокровенностях, о всех своих даже самых тяжелых переживаниях. Мысль, что нечего больше таиться ни в чем, а надо всем сказать истинную правду, все более и более охватывает и вождей общин, и их пророков, и рядовых членов, и можно надеяться, что народ, – сектанты, – сами поведают миру, и из своего миропонимания, и из своей практики жизни, все то, что есть на самом деле, и, наконец, и над этим интересным кругом жизни поднимется завеса и

* «Сборник материалов, касающихся истории религиозных и общественных движений в России, составлен В. Бонч-Бруевичем» (фр.).

настанет время правильной беспристрастной оценки всего того, что одушевляет теперь миллионные массы русских людей.

Предлагаемая книга никогда не могла бы появиться в свет без этих дружных усилий множества людей из среды русских сектантов-израильтян, в чем читатель легко может сам убедиться.

Посылаю всем им мой привет и величайшую благодарность за помощь в деле моего исследования и прошу их все так же упорно, везде и всюду, по всей России, не покладая рук выяснять, записывать и собирать все то, что имеет касательство к духовной, общественной, политической, семейной, общинной и личной жизни и деятельности, как их самих, так и их предшественников».

Конечно, это превосходный прием, превосходный метод. И, «самоосвещаясь», т. е. как будто только помогая г. Бонч-Бруевичу «собирать материалы», — держа для него даже «корректуры» самострашаний (об этом есть указания в тексте книги), сектанты сами ахнут над многим и кое в чем и немало просветятся. Вообще, «свет» здесь действительно необходим. Что среди русского люда, например, понаделал этот «старый израильтянин» Алексей Григорьевич Щетинин. В книге дано несколько его портретов: вот портрет молоденького Щетинина 80-х годов прошлого века. Молоденький, с острой бородкой и необыкновенной остроты взглядом, он точно спрашивает о чем-то таинственном и страшном и знает сам ответ на свой вопрос, — и знает то, что у вас этого ответа нет. Общий очерк стоящей фигурки — приказчика из галантерейного магазина. И вот он же весь оперен и опушен, в богатом меховом пальто, — самоуверенный, твердый, сидит полуразвалившись среди своих почитателей и почитательниц. Это — начало XX века. И последний, в женском одеянии, в женской летней шляпке, среди женской и мужской толпы учеников, — настоящий Сарданапал с Петербургской стороны. Тут он — старик, не то обезьяна, не то черт. Но он имел в своем распоряжении несколько сногшибательных вопросов, которые огорошивали новичка, — а паче того петроградскую мешанку, пришедшую искать у него «истины». — «Что, пришла ко мне за золотом?» Т. е. за «золотым спасительным учением». «Пришла», — отвечает мешаночка. «Золота надо искать *в грязи*», — говорит этот Соломон. И деревенским, крестьянским умом она моментально соображает, что «хлеб тоже не родится *без навоза*». Что сказать? Что скажешь?

Ведь эта мысль — новое озарение, новый взгляд на все вещи. Она только соображает, что и Христос пришел спасти «души *погибших*», пришел именно к *грешникам*. Пока она размышляет, он велит подать себе стакан водки и приказывает пришедшей тоже непременно выпить водки. Без водки вообще он не согласен ввести «в завет». Та упирается, та не хочет и наконец выпивает с мыслью: «Не я *первая*». — «Ложись на кровать. Теперь ты своему мужу не жена, — мне жена». И вот, такова была власть, таков был гипноз этого «остренького человека — бородка клинышком», что честнейшие (видно по тону признаний) замужние женщины, чистые девушки, сдавались на слово «змия». Около этого он совершенно обирал их в денежном отношении, —

этот их «бог» и «пророк». И все прямо, грубо: «Принеси мне деньги, дом продай, а мне принеси деньги», и все это около ссылок на Евангелие, на пророков. Чем же он их заворожил? Ум, хитрость и нахальство. Ну, – тем, что сам себе верил. «Что золото вырывают из грязи», это завертело и его ум. Да и сколько на этом *религиозном пункте* с ума посошли. Никто ему не сказал: «А ты в грязь *закапываешь золото*, если его имеешь; за это скорей *бьют*». – «А ты на золото *наваливаешь грязь*, и за это тоже хорошие хозяева колотят, да и Отец Небесный не пощадит». Но ведь темнота, а он – философ. Безвкусица быта, жизни, вечное спиртное пошло – производят впечатление какого-то кошмара. Вот уж «нечистая изба», и как в нее ушла русская чистая, хорошенькая душенька. А душа у жертв раскола – удивительна. Какие говоры, какие словечки. Прямо записывай в «Словарь великорусского языка»... Спасибо Бонч-Бруевичу за сохранение всех этих словечек, разговоров, бесед, – этих «подлинных документов». Еще о его разврате, все *формы* его – омерзительны, *все слова*, сопровождавшие его поступки, омерзительны («знаю, у тебя болит грудь, – дай, я отсосу у тебя молоко»); «ты жена – я тебя *унижу* как жену»; «он твой муж – я *надругаюсь над мужем*». Везде дело тянет к уничтожению пола, к растаптыванию пола грязными сапожищами, – и нигде решительно пол и жизнь не подняты *кверху*, как в «Песне песней» Соломона, на которого ссылался этот Сарданапал и Соломон с Бармалеевой улицы, который ссылался на творца Екклесиаста; что-де «у него было много, отчего же мне не иметь много». – «Но Соломон каждую жену и девушку *поднял, возвысил* и в своем, и в ее самосознании, а ты каждую же женщину унизил и опозорил». Но и этого ему никто не нашелся сказать.

ОКОЛО ТРУДНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕМ

Недаром Бог сотворил и «да» и «нет», – и думать приходится часто на «да» и на «нет». Истина где-то в тусклом, где-то в сером, в каких-то таинственных соотношениях «да» и «нет». А вот как их скомбинировать – задача ума, да и задача истории.

У меня все болит сердце, что я ответил таким решительным «нет» на те призывы к религиозному творчеству, к религиозному героизму, по крайней мере к религиозной активности, какие высказаны Н. А. Бердяевым и в его громадной, только что появившейся книге «Философия творчества», и в том мелком щебне большой постройке, какой у него под руками сейчас, по окончании большой работы, и который он разрабатывает или доделывает теперь в журнальных и в газетных статьях. Мое указание (*фактически-то* ведь оно верно, с этим не будет и Бердяев спорить), что у нас, русских, все происходит «с леницей», что «на лени Русь выросла» и «от лени» всегда у русских получалось кой-что хорошее, – это указание, конечно, опасно, *если его возвести в принцип*; если не смотреть на «лень», как на *несчастье*, а воспользоваться *ленивым блаженством*. Тогда, я думаю, лень и не станет «удаваться» (как до

сих пор удавалась). Нет, явно, мы должны «стараться», «усиливаться»: а чтобы лень была только внутреннею душою, ну и «тайным учением», около этих энергичных усилий. Тогда, я думаю, будет хорошо.

Мне кажется, Бердяев ставит неверно вопрос. Он ставит, в книге и статьях, вопрос о героизме, а нужно ставить вопрос о герое. Лицо во всемирной истории всегда впереди дела. И что же, стану ли я отрицать, что личности Суворова, Петра Великого, Ломоносова не прекрасны? Что не на них горит наш восторг, а на обломовских туфлях? Ах, я так же люблю героизм, как и Бердяев, – и если посматриваю в туфлю тоже с вожделием, то лично на тот случай, если герою придется пасть, если герой «не удастся самому себе». Ну, тогда – «туфля» и «на покой». «Сделай вид, что ничего особенного не произошло». Туфля действительно часто спасала русских людей, – и замечательно, что только в России «неудавшиеся самим себе герои» выходили так безвредны, так безопасны: другая держава развалилась бы от таких неудач, а у русских все – «ничего», «обходится»...

Если я возражал Н. А. Бердяеву, то потому, что он поднял вопрос о *религиозном* творчестве, и поднял его *теперь*. Если он оглянется кругом, вероятно, он и сам скажет: «Да, *не героическое время*», – все люди, – особенно все люди в церковной сфере, «отправляют свои обязанности», ходят «в свою должность», и таковых «должностей» так много, что некогда и вспомнить о «лишнем»... А ведь всякий «героизм», хотите вы или не хотите, есть все-таки «лишнее», ибо он «сверх-будни»...

Героизм – праздник истории; а герой – воскресный день в ней. Мы же живем в будни, и глубокие будни.

Тут я скажу некоторый упрек Н. А. Бердяеву, и он, несомненно, сам признает его основательность. Именно будя героизм, зовя к подвигу, – Бердяев написал с удивительно старательною едкостью об единственном сколько-нибудь героическом движении у нас в области церковной. Разумею круг или, вернее, «братство» молодых московских славянофилов, представляемых П. А. Флоренским, С. Н. Булгаковым, Вл. Ф. Эрном, В. А. Кожевниковым, Новоселовым, Цветковым, Дурылиным, Д. Д. Муретовым. Я лишь, сжимая слово, написал «сколько-нибудь отрадном»: но если взять у самого же Бердяева *фактическую* характеристику кружка или братства, то явно, что мы имеем дело с явлением огромно-тихим, величаво-незаметным, – и вот в этой-то «тихости» и «незаметности» москвичи гениально угадали смысл русской истории, течение и дух всего религиозного на Руси. Они гениально поняли силу и красоту молчания, «невывявления»; и хотя все «пишут», но явно не стараются, воздерживаются от всякой полемики, никогда не защищают и не оправдывают себя, – и вместе с тем *ежедневно* продолжают свое стойкое дело, свое настойчивое, полное внутренней энергии дело. И Бердяев это видит, и это его злит; прямо – злит, и он от этого своего дурного чувства не отречется. Между тем за 15–20 лет почти «молчания» москвичи решительно поставили «стяг», куда сейчас со всей России обратились глаза ожидания, надежды у всех русских, у всех православно-верующих людей, – доселе горе-

стных и точно бесприютных. И вот совершенно незаметно и почти безмолвно возник, – как это было и в пору старого славянофильства Хомякова, Киреевских и Аксаковых, – совсем другой авторитет духовный, авторитет до некоторой степени и церковный, вне стен консистории, иерархии, вне границ и ограничений духовных академий: авторитет свободный и независимый, опирающийся единственно на ум, образование и «хорошее церковное поведение». Если бы говорить терминами истории католической церкви, мы назвали бы москвичей Порт-Роялем православия. Но нам католических терминов не нужно, потому что у нас есть превосходный свой – славянофильство. Скромно, тихо и безмолвно москвичи протянули руку к могилам старого славянофильства, – хотя они явно ведут доктрину славянофильства дальше, вперед, – и ведут ее энергичнее вперед. Громадный труд Флоренского – «Столп и утверждение истины», разошедшийся весь в четыре месяца (при двух тысячах напечатанных экземпляров) стал в этом кружке «столпом» отправления дальше, а для иных – «столпом возврата», во всяком случае, – пунктом, куда собираются люди. Прибавим сюда и огромные и многочисленные труды Булгакова. Но все это явно неторопливо, «с прохладцей», с полной уверенностью, что они делают дело и что этого дела никто не остановит. Чего же не радоваться? Лучшее русское явление сейчас. И вдруг Бердяев накидывается на него и выбирает самые едкие слова, чтобы наговорить ему «любезностей», при полном бессилии сказать что-нибудь против них серьезное. Он сам же отдает решительно «первенство в культуре и образованности» этой группе мыслителей (и *делателей* – это в них главное). А если так, то чего же толковать?

Остановлюсь на едком упреке; «они *стилизуют* в себе православие», они пугаются при мысли о всякой «реформе»... И правильно. С кем «реформа»? Кто ее «будет *делать*»? – Где «герой» реформы? Москвичи осторожны. Нет человека. Ну, а будет человек – и тогда голос москвичей еще неведом. «Стилизация»... Но «стилизация» есть нечто внешнее и бездушное. Бердяев *этого* о них не скажет, а следовательно, и упрек в стилизации отпадает. Притом нельзя не сказать, до какой степени стойкое и осторожное держание себя в текущую пору «неразберихи» – трудно: и Бердяев вдвойне поймет из этого, до чего он не прав. Затем, «стилизация», как бездушная вещь, сопровождается равнодушием к «текущему положению вещей», – к «данному состоянию» церкви. Там этого нет, это я определено, так сказать, «поименно» знаю. Там есть боли, терзания; есть тоска, может быть большая, нежели в наших говорливых шумах. Но люди не «разбалтываются», а берегут энергию.

Мне особенно отрадно это сказать потому, что хотя я их всех имею друзьями себе (говорю о *своих чувствах*), но друзьями именно и только *личными*, т. е. я их чрезвычайно уважаю и ценю их историческое положение, идейно же лишь «в начальных шагах» согласен, а «в дальнейшем» не согласен и, пожалуй, готов говорить о «творчестве». Здесь я особенно имею в виду семью и ее какое-то странное положение, уж не знаю – в «церкви» или не знаю – в «христианстве, о коем пишу и думаю 20 лет. Что-то «тесно», «неуклюже» и «неладно», и с этим почти все, почти вся Русь соглашается. Кажется, «благо-

дать», кажется, «святой дух реет», а вот (ну, для примера) протоиерей Н. Г. Дроздов, коего как-то очень избидел М. О. Меньшиков, написал, действительно, странные и *для священника* необыкновенные слова в «Земщине» (№ 167), в ответ на жалобу на судьбу своего незаконного младенца матери его, вылившуюся в прелестном стихотворении, присланном мне и мною напечатанном в «Нов. Вр.». Он пишет, – и я, читая, едва верил глазам.

«Но разве *общество* «встает против беззащитного существа»? Не встанут ли нередко *сами-то родители* беззащитных существ? О чем говорят воспитательные дома? О бессердечии государства, общества, – или о чем-то другом? Кто разбрасывает нередко только что увидевших свет хилых малюток по чердакам, черным лестницам? Кто *с бессердечностью* *противоестественно душит* этих крошек, *бросает их* в помойные ямы, как мусор? Разве общество, государство? Кто разводит фабрики ангелов?»

А он – учился в духовной академии. Кроме того, лично добрый, прекрасный священник, отличный и семьянин. Ну, а *не понимает*, почему, в самом деле, матери бросают, как «мусор», своих детей? Да единственно *от вас* и *вашего непонимания*, от какого-то вашего головного окостенения, и отец Дроздов, и отец Дернов (тоже писал об этом), ибо вы своим нелепым и незаконным учением о «прелюбодеянии» указали и приказали и обществу, и государству считать всех таковых внебрачных детей не иначе как «мусором», плодом «прелюбодеяния» родителей; сами же и разведя это «прелюбодеяние» своими правилами развода, своими правилами об епитимьях, далее сократив неправильно на *одну* единицу степени родства, мешающие браку, да и вообще изуродовав через вмешательство аскетизма оставленное вам по наследию и в завещание богатство и удобства и красоту библейской семьи. Но вот, пойдите, объясните это отцу Дернову или отцу Дроздову. Они столько же понимают в этом, как кирпичные стены воспитательных домов. Слава Богу, еще, если их дети или внуки что-нибудь тут поймут...

Дело в том, что все мы, русские, в религиозных и духовных предметах еще неграмотны. Не научились думать, не научились писать; не имеем самого уха, чтобы слышать, – вот чтобы выслушать, например, слова матери незаконного ребенка. Ну, какое же может быть тут «геройство», когда вопрос идет еще о грамотности. И москвичи – молчат. Но чтобы москвичи были «стилизаторами» и равнодушными к делу – этого нет. Тут у Бердяева *нет сведений* – скажу прямо и скажу, основываясь на известных мне фактах, беседах и проч. И вот он еще не начал «героизма», а, «поторопившись», уже «нагрешил». Нужно переждать. Но будет время – воздух очистится. Само по себе и безотносительно к «временам», т. е. если взять дело абсолютно, – конечно, «творчество религиозное» не только необходимо, но и неизбежно; и, склоняя опять глаз к семейному вопросу, и не в одной России, а в Европе, т. е. уже в христианстве, я скажу: убитый и брошенный в мусор невинный ребенок, – конечно, не свидетельство правды, конечно, это свидетельство неправды и беззакония в христианском обществе. И тут нужда новых начинаний кричит о себе.

Решительно можно подумать, что в эту тяжелую войну с Германией, в этом 1916 г., нет более опасных для России чувств, нежели русские патриотические чувства самих русских. Говорю это вообще и закругленно, называя крупные вещи крупными именами и обегая «придаточные предложения», которые запутали бы совершенно ясную в самой себе вещь. Вот уже несколько книжек «Русской Мысли» перед нами, где вокруг одного и того же, кажется, молодого имени Д. Д. Муретова обмениваются ядовитыми словами кн. Е. Н. Трубецкой и сам редактор этого журнала, П. Б. Струве.

О Струве, когда-то редакторе загранично-оппозиционного журнала «Освобождение», нужно заметить, что, вернувшись в дни подлинного исторического «освобождения», в 1905 г., он многого насмотрелся на Руси, — много понял такого, чего из-за границы было невозможно понять, и приблизительно за год или за полгода вышел даже и из состава конституционно-демократической партии, один из основателей и вождей которой он сам был. Но это было, если и решительно, то не так ярко. Окончательно «определился» Струве в июле 1914 г.

Случайно июльская книжка была «дописана» и «сверстана» дня через 3—4, если даже не всего через 2 дня после объявления Германиею нам войны. И вот в рассылаемую подписчикам книжку своего журнала редактор Струве вложил всего одну страничку своего уведомления о страшной войне: в ней он — решительно первый, из этих либерально-литературных кругов — сказал такие горячие слова о России, такие слова о необходимости борьбы с Германиею, что называется «на смерть», и так прекрасно и прямо призвал общество и читателей журнала к забвению всяких ссор, всяких распрей, политических и культурных, внутри России, — как это, вообще, было удивительно выслушать от него, человека с нерусскою фамилиею и нерусским отчеством, да еще давнишнего эмигранта из России. И в словах его было что-то совсем другое, гораздо более свежее и непреднамеренное, нежели что через несколько времени мы услышали потом от других радикалов из-за границы.

Именно с этого дня, приблизительно 23 и 24 июля 1914 г., все русские записали Струве в сердце своем в состав «верных и неизменяющих». И он таким остался и бесспорно останется до могилы. Его не пошатнут и не поколеблют ветры. А ведь журнальное племя, вообще-то «ветреное племя», — и языки газетные гибки.

В настоящее время «Русская Мысль» есть уже определенно-славянофильский журнал; и тут самую замечательную сторону составляет то, что редактор журнала не «руководит сотрудниками», — как бывает обыкновенно в обыкновенных журналах; а скорее он внутренне продолжает медленно перестраиваться и примыкает все более и более к славянофильству.

Таким образом, свой журнал он в значительной степени слил со своею биографиею, — что не только, конечно, не ослабило журнала и не умалило его достоинства и литературных качеств, а, напротив, все это увеличило, при-

дав высокоморальный интерес как литературному явлению. «Перестройка же Струве» весьма понятна: ведь он не только был «эмигрант» и «освобожденец», но именно он в 90-х годах минувшего века привил нам «марксизм», который вскоре получил у нас и в обществе, и в журнальном и газетном мире какую-то оглушающую, разящую силу.

Струве и тут, должно быть, понасмотрелся на «русские увлечения». Вообще он имел все причины и все обстоятельства узнать русскую «суть» и русский «характер», – и это решительно насторожило его в отношении «русских западноевропейских увлечений», коим он так пламенно сам когда-то служил. Но именно если «остановка» здесь не была очень трудна, то было неизмеримо трудно, хотя сколько-нибудь начать втягиваться в славянофильское оперение.

Прежде всего, он, как политик и политико-экономист, абсолютно и в корне был совершенно чужд не только православной окраски, но и чужд, вообще, религиозной окраски какого бы то ни было вида и степени. Зацепка была одна.

Лет пять назад он издал книгу: «Patriotica», – всю окрашенную горячею привязанностью к России и горячим интересом к ее программе в направлении «великая Россия». Но от этой политической стороны до внутренней, до религиозной – огромный шаг. И он в примечаниях к статьям, печатаемым у него в журнале на православно-религиозные темы, не раз оговаривался, как редактор, что, допуская их напечатания у себя, он, однако, считает эти статьи совершенно вне программы своего журнала и вне всякого своего личного соучастия.

Но трудно быть по-настоящему русским и трудно именно в России быть государственным, не начав в то же время «обрастать» православием: до такой степени именно у нас стихия народности и стихия «царственности» вся замешана и взошла на дрожжах православия. Струве сюда еще не сделал решительного шага; и не нужно желать, чтобы в этой тонкой области что-нибудь ускорялось, – чтобы что-нибудь тут «не доспевши» «зрело». Не надо этого. Но только он сильно стоит за крепкую, могучую Русь.

И вот в этой фазе стояния «Русской Мысли» и самого Струве возгорелась полемика около одного из молодых сотрудников журнала, Д. Д. Муретова, – коему Струве для одной его патриотической статьи дал «шаг вперед против себя». Т. е. Муретов написал огненное исповедание национализма, под коим сам и от себя Струве, может быть, и не подписался бы. Немедленно же на него ополчился кн. Е. Н. Трубецкой, и ополчился ядовито, и все, стараясь из-за Муретова достать самого Струве, журнал коего, как начинающий становится славянофильским, непереносим для князя с древнерусскою фамилиею. Так, в последнем выступлении он пишет:

«Слова Д. Д. Муретова об отказе его рассматривать вопрос, поскольку его, муретовская, философия опасна, – покоятся на недоразумении. «Опасными» я считаю мысли Д. Д. Муретова только для философии П. Б. Струве, и ни для кого другого. Д. Д. Муретову не было надобности отвечать на вопрос, который я ставил, но ставил вовсе не ему. Ему незачем было отказываться от

сочувствия еврейским погромам, в чем я его не подозревал. Но для выяснения точки зрения редакции «Русской Мысли» было бы важно знать, вытекает или не вытекает оправдание погромов из предпосылок ее сотрудника и как относится к этим предпосылкам «этический» национализм самого П. Б. Струве. Жаль, что именно этот мой вопрос остается без ответа).

Между тем «ответить» на него вообще ничего не стоит, – и именно ответить князю Е. Н. Трубецкому, верному ученику и последователю покойного Владимира Соловьева. «Гром» вообще для мирной жизни дело нехорошее, ну, – и согласимся, что «погром» тоже нехорош. Да он и в самом деле нехорош, поражая, как что-то стихийное, и правых, и виноватых, – задевая иногда лучших и нисколько не затрагивая самых худших и вредных. Но отвратительно, что в то время как «погром» непереносим для нашего сердца и для нашего уха, печально, что содержит что-то ласкающее для нашего уха слово – «разгром». Вот когда к «разгрому русских помещичьих имений» призывал когда-то Герценштейн в первой Гос. Думе, в своих знаменитых поощрительных словах об «иллюминациях», – и в ту самую пору, как в Самарской губернии и во многих других губерниях «иллюминации» уже пылали, – а из помещиков и особенно из вдовых одиночек-помещиц многие посходили в то время с ума, – то его никто решительно не остановил, не одернул и не прервал ни в самой Думе, ни в печати того времени. Так что дело заключается в симпатичности «погромных» и в антипатичности «разгромных» имуществ, лиц, собственности.

Вот простой ответ Евгению Николаевичу Трубецкому. Печальные и страшные «погромы», вероятно, и не начались бы никогда, если бы им задолго не предшествовали «разгромы» русского имущества, русской собственности, русской торговли, вообще русского достатка и, наконец, даже русской людской массы... Нищими никому в своем отечестве не хочется становиться; нищими потому единственно, что они не так ловки, не так организованы, не приучились еще действовать трестами и синдикатами. Вообще, русский народ – мирный народ. Кажется, трудно против этого спорить. Но бывает, когда и голубь кусается. Это бывает, когда у него у живого начнут по одному выдергивать перья из крыл. Если представить голубем философствующего князя, то, вероятно, и он укусился бы при подобной операции над собою.

Покойный Влад. Соловьев был больше мастером философических софизмов и софистических словечек, нежели мастером философских понятий. В грубой полемике своей против Н. Я. Данилевского и его книги «Россия и Европа» и против Н. Н. Страхова и его сочинения – «Борьба с Западом в нашей литературе» он употребил термин «зоологический национализм»: и хотя это было в 1893–1894 годах минувшего века, его вот и до сих пор словечко не только не умерло, но перебегает поджигательным огоньком в журнальных и газетных полемиках.

Оспаривая Страхова и Данилевского, виртуоз снова говорил, что он ничего не имеет против «национального чувства», а восстает против «зоологического национализма», – «совершенно дикого и жестокого. Он был в то

время католичествуящим у нас писателем. И вот если бы кто-нибудь ему сказал в печати: «Я вполне одобряю ваши католические симпатии: но мне отвратительно, что вы испрашиваете благословения на богословские свои писания у папы Льва XIII и вообще сочувствуете не одному католичеству, но и папству в католичестве», – то что бы он на это сказал? Он в высшей степени на такую постановку о себе раздражился бы, нашел бы ее «бессмысленной», ибо «католичество и папство одно и то же» или «почти одно и то же». И тогда ему можно бы сказать, что так же точно между «национальным чувством» и «национализмом» или нет разницы, или – почти нет.

Все мы «национальны были» при Александре I, а во время войны 1812 года сделались и «националистами». Вспомним Феодора Глинку и его писания тех лет. «Национальное чувство» есть доброе и мирное чувство мирных лет; это – пассивная, не деятельная любовь к месту рождения своего, к своей родине, земле, отечеству. Но когда на них напали? Когда на русскую народность нападают тихо, незаметно, истощая ее, разоряя ее? Явится «национализм», – и это есть то же прежнее чувство, но уже активное, борющееся, защищающееся. «Национализм» рождается из «национального самосознания» – как «армия» рождается из «народа»: это – тот же самый «народ», но уже он «вооружен» и «умеет сражаться». Между тем софист Соловьев не выводил это одно из другого, не считал это разными степенями одного и того же, а совсем напротив: «национальность» он признавал (я думаю, лишь фальшиво и для оправдания себя перед массовым читателем) чуть не «божественным» или каким-то «ангельским» состоянием, а «национализм» прямо считал сатанинским, злобным, диким, противоположным всему культурному и образованному. Между тем это просто софизм, – софизм в его соловьевской голове, а не реальное разделение вещей.

Этим-то софизмом из соловьевских обносков и орудует теперь кн. Е. Н. Трубецкой.

«Г. Муретов советует принять любовь к русскому народу, как она есть, с ее подвигом и с ее грехом. В этом весь пафос его рассуждений: ибо национализм для него – больше, чем простой факт, служащий предметом описания. Это для него – «норма поведения», как он буквально выражается. Г-н Муретов прекрасно знает (напротив, никто этого не знает. – *В. Р.*), что эта «норма поведения» приходит в столкновение с нормами морали. И, однако, напрасно он утверждает, что для него эти столкновения – «просто факт», которому он, г. Муретов, не оказывает никакого содействия или попустительства. Вопрос о том, которое из двух требований или должен исполнить – требование нравственной правды или требование «национального зрса», по выражению г. Муретова, так или иначе нам навязывается, а потому должен быть решен. И г. Муретов решает его в том смысле, что в этом случае я должен принять на душу тяжелый грех ради великой любви к своей родине и великой веры в ее назначение». Так говорит он. И если уж это не аморализм, то я не понимаю, что вообще может называться

аморализмом. Ведь отличительный признак нравственного веления, как такового, заключается именно в его, во-первых, безусловности и, во-вторых, всеобщности. Утверждать, что нравственное веление, в случае столкновения, должно уступать какому-либо другому, значит, – признавать его обязательным лишь условно; иначе говоря, это, значит, отрицать его, так как веление условное по форме, т. е. гипотетическое, уже не есть веление нравственное. Принимать нравственные веления с оговоркою: «поскольку их исполнение не вредно для родины» – значит просто-напросто отрицать их, как нравственные».

Ах, князю Трубецкому ужасно хочется «повредить родине», – но таким особенным образом, чтобы после этого можно было воскликнуть: «Я отрекся от земного отечества ради приобретения отечества небесного. Ибо, повреждая родине, я зато исполнил всеобщее и безусловное требование нравственности». В евангельские времена люди с такими рассуждениями назывались фарисеями, а в новые времена люди с подобными рассуждениями назывались иезуитами, – и они были равно побиты в одном случае Христом и в другом случае здравым смыслом. Кто же не знает, что «нельзя лгать» есть «общее требование морали» и что «опасному больному не говорят истины об его положении, дабы из угрожающей ему смерти не привести его в состояние действительной смерти»? Кто усомнится, что «лишение свободы человека имморально», но что, с другой стороны, «везде существовали тюрьмы»? «Что наказание, боль, мука суть, по всеобщему признанию, зло» и что все-таки грешникам Христос предрек «ад», а Иерусалиму Он же предсказал «разрушение», которое было больше всякой боли. И наконец, что на Содом и Гоморру, которая, к сожалению, была населена только «грешниками», а не специально лжецами, фарисеями и притворщиками, «сам Бог послал серный огонь». Удивительно, как старому профессору философии не пришли на ум эти элементарно-простые примеры истории и Священного Писания, дабы научить его, что ложь есть самый отвратительный из человеческих пороков, – а иногда к ней прибегают еще в злобных намерениях для чего-то «повредить своей родине», причем эта родина ни справа, ни слева не виновна перед зарпортованным философом, но это уж и имени себе не имеет.

Между тем старый князь и не подозревает, что он побит и Ветхим Заветом, и Новым Заветом, и глумится над Д. Д. Муретовым, как опытный фехтовальщик слов над неопытным учеником риторической школы. Он пишет: «Д. Д. Муретов пытается доказать, что и здесь нет аморализма. По его мнению, «принятие любви не отменяет нравственного суда. Признание в любви начала оправдывающего и снимающего вину (вроде вошедшего у нас в обычай оправдания убийств из ревности) есть великая мерзость. Принять любовь не значит оправдать грех, но принять ее можно только, как она есть, с ее подвигом и грехом». Иначе говоря, г. Муретов спасается от аморализма путем глубокого внутреннего противоречия: с одной стороны, нравственный закон, безусловно, обязателен и преступить его – значит совершить великую мерзость. Но, с другой стороны, для меня, безусловно, обязательно нарушить эту

безусловную обязанность и «совершить мерзость», если это нужно для родины. Предоставляю беспристрастному читателю решить вопрос, удастся или не удастся г. Муретову избежать здесь отмены нравственного закона».

Ах, «жив курилка»... И выговорил сладкое самому себе словцо: «совершить мерзость, если это полезно для родины». Все заботятся у нас о «тыле» и гоняются за разными торговыми «мародерами». А как дело обстоит с философствующим «мародерством» в тылу? Конечно, в армии никто не читает князя Евг. Трубецкого: но как войска пошла бы «в штывки», если бы перед ними лежали тетрадочки рассуждений князя Евг. Трубецкого. Ведь что может быть «всеобщее и безусловнее» жизни человека, стоящего перед направленным на него штывком? Приходите, немцы, и забирайте голыми руками всех, – потому что перед вами все ружья опустятся по «моральному требованию русского философа», которому «до родины дела нет».

Мило, прекрасно и философично.

РАССКАЗ ПРОСТОЙ ЖЕНЩИНЫ

Главная моя радость в литературе, что я донес до слуха читательского, – а там, может быть, и со временем и до слуха законодателей и закона – разные беды людские, главным образом – семейные. И как подумаешь, что вот бегут-бегут ножонки и несут в пригоршнях люди свои печали скрытые, иногда сокровенные, то чувствуешь и годы, и месяцы своей жизни «оправданными».

По поводу статей о разводе мне прислала письмо-рассказ одна простолюдинка. Письмо, хотя очень колоритно, но слишком длинно, и я вынужден передать его своими словами. Ну, – до брака если не «любовь», то «понравились», и, как у простых людей – «за свадебку» и «стали жить». Но «жизни» не вышло по удивительному странствующему характеру мужа. Жена на него не жалуется, любит его, не иначе называет как «закон мой» (т. е. вместо «муж мой»), – но приблизительно месяца через два после венца он ушел в странствие, по-видимому, не для заработка, а «Бог весть для чего»... Такая натура. Есть же рыбы, которые «вечно плавают» и ни на каком определенном месте не живут: и у «венца природы», человека, есть такие рыбообразные субъекты-непоседы. За много лет только раз он вернулся к ней, на неделю, – и вот от него у нее двое детей.

Дальше пусть рассказывает она:

«Через пять лет как громом поразило меня – смерть моей любимой свекрови, и я осталась с ребенком без всяких средств. Много нашлось людей, предлагавших мне руку, но я любовника не хотела, а развода получить нет закона. Конечно, с большими деньгами все можно, но их-то я и не имела. Нечего было ждать и пришлось мне покинуть Кронштадт с дорогими мне могилками и жить в Петербурге, где никто меня не знает. Я устроилась домашней швеей, по счастью в хорошем доме. Так прошло два года тяжелого труда; приходилось

работать по 14 часов в сутки, чтобы оплатить свою жизнь, не позволяя ничего лишнего, но для любящего сердца, живущего надеждой на будущее, это не было трудно, и я терпеливо всегда весело ждала своего закона, посланного, как говорила его бабушка, Богом; а попадавшиеся на пути жизни мужчины предлагали свои пошлые услуги и очень многие говорили: «Я бы рад на вас жениться, если бы была свобода, а если нет, так надо же жить, на то и молодость дана». Приходилось, скрепя сердцем, принимать все в шутку и твердо надеяться на один неизбежный луч – возвращение мужа богоданного.

Наконец, настал желанный час, явился он, но как молодой месяц скрылся на третий день. Сама судьба послала ко мне другого человека; он образован, но, уйдя от родных, – сошел с пути жизни. Он старше меня на шесть лет, не имел ни денег, ни службы. Он умолял меня не оттолкнуть его, обещая устроиться и жить только для меня. Получив от меня отказ, он бросился на колени и рыдал, как дитя. Мне бесконечно было его жаль, как заброшенного судьбою. Он дал мне почувствовать пустоту моей жизни; он не был похож на всех навязывавших свою любовь или деньги, он не казался мне мужчиной, искавшим во мне только женщину, его слова, мне сказанные: «Я хочу и ишу друга, только доброго друга», – были так искренни, что невольно пришлось поверить и покориться судьбе. Он всеми силами старался устроиться на должность, но долго еще жизнь показывала ему свои когти, а он все-таки вносил в дом все, что мог, а отношения ко мне и к моей девочке были самые добрые, лучшие, и я почувствовала сильную привязанность к нему после своей продолжительной болезни и его отношений к себе и ребенку».

Она обратилась к своему законному и вместе фиктивному мужу дать ей развод. Как добрый и хороший по натуре человек, он соглашается на просьбу жены:

«Прошение было им подписано и предано в С.-Петербургскую консисторию, но дело плохо подвигалось, да и закон мой, привыкший жить свободно, очутился в городе Тюмени и исколесил всю Сибирь, – и какое ему дело до того, что я хочу семьи. Он подписал прошение и считал все оконченным, – «делай, мол, как знаешь! А мне – все равно!» А мы оба томилась от ненужной цепи формальности. Он тщетно скрывал наше безбрачие и где только мог, выдавал меня своим именем. Даже на новой его службе считали меня его законной женой и в образовавшемся кружке относились ко мне с уважением, – отчето не так чувствовалась тяжесть положения. Так шла наша жизнь почти шесть лет, брак остался одна мечта, а привычка к человеку брала свои права.

Он заболел страшной болезнью душевного расстройства. В первом проявлении ее он ни на минуту не отпускал меня от себя, боясь, что я уйду и не приду. Он часто повторял в бреду: «Ах, скорей бы твой муж умер, и мы поженимся, – а так, я боюсь, придет он и возьмет вас у меня как свою собственность, а я (с вами) жил столько лет и опять

(останусь) один; один – я этого не перенесу. Но я уговаривала его как могла. Он такой был жалкий в своей болезни, что приходилось, как ребенка, уговаривать и ласкать, чтобы успокоить его. Болезнь ухудшалась. Я поместила больного в лечебницу, и через это наша связь стала известна его родне, – и сколько моя душа вынесла унижения, сколько страдало мое самолюбие – одному Богу известно. Тут сильно я почувствовала всю горечь своего положения и силу золотых и бумажных цепей. Зайдя к его опекуну-брату (в помещение службы), – я выслушала его слова: «Он к вам не вернется, он – неизлечимый. Мы будем за него платить год и два, а вы работали – так и работайте». Как больно кольнула эта холодность мою истерзанную душу, но я твердо выдержала, закусив до крови губу, а не успела за собою закрыть двери его кабинета, как слезы хлынули потоком. «Вот оно что значит незаконная жена, – и шесть лет идет насмарку, и ей можно сказать в такой ужасный переворот жизни: «Уйди, мы тебя не знаем, живи, как знаешь». А когда больной почувствовал себя лучше и упросил родных взять его домой, то прислали за мной и просили исполнить желание больного, обещая нам помогать ста рублями ежемесячно. Но и тут не забыли предупредить, что будут давать только пока больной жив. Я не могла отказаться, я считала не вправе уйти от человека, жившего для меня, и я была счастлива видеть его довольным в своей семье, а он был бесконечно благодарен, несмотря на окружающих, и даже при словах его врача, что ему грозит умопомешательство, – я не чувствовала опасного. За всю нашу жизнь, кроме покорности и добра, я от него ничего не видела, и даже мысленно не могла допустить, чтобы он сделал что-нибудь вредного нам. Но частые припадки принудили вторично поместить его в лечебницу; а как он умолял не покидать его, то отвезли после потери сознания, и, видевши, как я была ему необходима в его положении, я продолжала все свое свободное время отдавать ему. Мне часто вспоминались его слова: «Будь мне светлым лучом, что бы со мною ни случилось». Не было сил не пойти и не вызвать удовольствия на его глуповатом лице (какие слова! как все ясно из дела, из положения!! – *В. Р.*), – а ухо резали слова его родных: «И как ей не надоело. Давно бы другая бросила, – ведь не муж». Острое жало кололо сердце, и невольно проклинаешь те бумажные цепи, которые люди признают, а чисто святую любовь к ближнему забывают, – и за добро платят злом. После двух лет душевных страданий я похоронила несчастного близкого и доброго мне человека, и вижу себя такой одинокой, разбитой. Но эти бумажные цепи до сих пор продолжают меня давить своею тяжестью. От жизни я больше ничего не хочу и не прошу. Хотя мне 33 года всего, а жизнь настолько исковеркала мою душу и тело, что оно ждет только вечного покоя. А сколько еще томящихся в этих цепях и жаждущих жизни. Так придите хоть к ним на помощь, сильные люди, и снимите эти тяжелые бумажные цепи, дайте им свободно вздохнуть и благословить ваше имя».

И здесь консистория утвердила фиктивный брак «по Чернышевскому», где никакого *на самом деле брака нет*; и отвергла настоящее христианское супружество, с заповедью Христовой: «Носите тяготы друг друга и тем исполните закон Христов».

Однако оставим консисторию и спросим государство: «А что же *оно*? Ведь это его *подданные в нужде*. Государство – юридический институт. Неужели же юриспруденция две тысячи лет развивалась и *зрела* и не сможет, независимо и в стороне от консисторий, – сама и самостоятельно «юридически» обработать и защитить таковые положения, таковой быт и психологию, – о чем ведь можно выспросить у соседней, выспросить у родных, удостовериться по письмам, что тут нет «лжи». Неужели наука и практика юриспруденции такова, что, кроме «консисторских лжесвидетелей», ни к чему не способна, ко всему бессильна? Где же эти «школы Пухты и Савиньи»? Где работы Петражицкого, Муромцева, М. Ковалевского, – помочь советом, указаниями в таком ясном деле, в тысяче аналогичных положений? Да не в «тысяче»: ведь это целый «народец» нелегалитованных семей. Посмотрите, как занимаются всякой социал-демократической дребеденью, и все сосут «письма Энгельса к Карлу Марксу»: а текущее правое дело у себя под носом никто не хочет сделать.

С. Д. БОНДАРЬ. СЕКТА МЕНОНИТОВ В РОССИИ В СВЯЗИ С ИСТОРИЕЙ НЕМЕЦКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ В РОССИИ

Очерк. Петроград, 1916 г. Стр. VII + 202.

На самом деле, данная книжка вовсе не «очерк», а часть обширного исследования одного из поистине «проклятых вопросов» или, по крайней мере, очень мучительных вопросов в России и об России. Книжка, полная всяческих таблиц, статистик, вообще «работы» и чуждая «парения»; полная особенно цифровых данных о капиталах, на которые работают порознь отдельные немецкие колонии и все они вместе.

«Я печатаю, – говорит автор, – один из выпусков задуманной мною серии очерков по истории иностранных сект в России. В русской литературе не имеется специальных работ по истории менонитской секты в России. Этот-то пробел я и принял на себя задачу пополнить. По плану моему очерк истории менонитской секты должен состоять из трех выпусков: 1) «Очерк истории менонитов в Западной Европе и Америке»; 2) «История менонитов в России»; 3) «История секты «иерусалимских друзей» и «клетериаи» на менонитской и протестантской почве в России. Первый из этих выпусков, приготовленный уже к печати, по независящим причинам отложен печатанием. Краткое извлечение из него мною предпосылается в качестве введения к настоящей работе. Третий выпуск заканчивается».

Вся книжка – проза. А можно допустить и парение. Нельзя представить себе всех тех забот, всего того нянченья с менонитами, как с какими-то «святыми детьми мира сего», русских официальных сфер, особенно министерства внутренних дел и министерства государственных имуществ, какое проходит в деловых бумагах «за номерами». Это нянченье проходит не только в заботах, но и в самом языке, в самом слоге документов. Перед русскою властью издали менониты представлялись мирными братьями, которые не воюют, которые образуют собою какое-то евангельское стадо и ни к чему острому и стреляющему не прикасаются, ни к сабле, ни к ружью, ни к пушке. Это – дети, и им дается правительством воистину материнская ласка. Стоит сравнить судьбу их с судьбою тоже «не стреляющих» духовоборов: какая разница тона бумаг и вещественного отношения! И вот менониты растут не по дням, а по часам, и поистине это тот счастливец и силач русских сказок, который, будучи пущен в бочке по морю, и в один день потянулся, уперся головкой в донышко, и донышко отскочило. Но бочка уже около берега, молодец вышел на берег; к тому времени война с Германией и менониты заявили: «Мы не стреляем потому, что мы никогда не стреляли».

История, – ну, гладкая, как и вообще в России. В России колюче только самим русским. Вот неуклюжая нация, которая никак не может приспособиться к отечеству. И их высокопревосходительствам сколько возни с этими нечесаными бородами. Напротив, менонит теперь приезжает в министерство «в своей карете», голова у него делится пробором на две части и усы à la Wilhelm. Кроме того, говорит не только по-немецки, но удаивает говорить и по-русски. А русские «высокопревосходительства» любят поговорить с образованным человеком, ровно так, как профессора любят перевести на русский язык немецкую книжку.

Нельзя даже винить особенно или исключительно петроградские канцелярии потому, что все движение нашей истории было «к подчинению немцу», и шло оно стойко, последовательно и универсально. Все «русское» было скучно, все немецкое было «интересно». Слава Богу, на небе гром и русский человек, наконец, крестится: «И случилось же лихое *наваждение*».

Приветствуем книжку. Желаем ей распространения. А вы, русские люди, держитесь теперь друг за друга и выпирайте помаленьку нечисть к границе. «Землицу вы оставьте, а шапки, мейнхеры, берите».

БЕРДЯЕВ О МОЛОДОМ МОСКОВСКОМ СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ

Удивительно, как много у нас тратится сил на предметы, совершенно никому не нужные; как много в печати тем, совершенно праздных. Этой праздности всегда было достаточно в нашей литературе, но, казалось бы, в текущую страшную войну мы поудержим несколько языки, потому что ведь теперь всякая сила на учете, всякое слово на учете. Нет, времени все

еще у русского человека слишком много и «словесность» все еще течет из него обильной рекой...

В Москве в самые первые годы XX века зародилось исключительной ценности и значения славянофильское движение, которое по перерыву в нем в конце XIX века стало именоваться «молодым славянофильством». Слово «молодое», впрочем, можно к нему было применить и по молодости его членов. Центр кружка этого составляли первоначально три окончившие университет студента: Флоренский, Свенцицкий и Эрн. Эти три имени назывались и в Петрограде среди общественных и литературных групп, лично никого из них не знавших. В 1901, 1902 и 1903 годах говорили прежде всего о высоком энтузиазме их к Церкви, о погружении в древлеотеческие писания, об аскетическом характере личной жизни. Об одном, напр., говорили, что он спит не иначе как на соломеннике, т. е. длинном коврикe, сделанном из перевязанных тоненьких снопочков соломы. В то же время у них это сочеталось с преданностью математическим и физическим изучением, с изучением истории религии и истории философии. Затем из группы названных лиц почти выбыл Свенцицкий, но зато двое других из учеников уже перешли в учителей, и ныне оба – профессора высших учебных заведений. А главное – кружок количественно расширился, – или, точнее, несколько лиц, и ранее преданных религии и Церкви, отчасти уже пожилого возраста, слились симпатично и радостно с этою подрастающею, энергичною молодежью. Таковы в особенности Михаил Александрович Новоселов, создатель обширного издательства «Религиозно-философская библиотека», Владимир Александрович Кожевников, который вместе с г. Петерсоном издал «Философию общего дела» московского оригинала, праведника и мыслителя Федорова, – Ельчанинов, автор небольшого труда по истории религии, Цветков, издавший «Русские ночи» князя Одоевского, – а, главное, с этим кружком горячо слился проф. С. Н. Булгаков, автор огромного числа книг, когда-то марксист, когда-то почти революционер, а теперь «друг своих друзей», этих самых энтузиастов Церкви. Я имею небольшие, но некоторые связи с этим кружком, лично всех их видал, а с двумя из них – в большой дружбе. Суть связи этого кружка – личная и нравственная; высшее его качество – не вывяляться, не спорить; печататься как можно меньше. Но взамен этого – чаще видеться, общаться; жить некоторою общею жизнью или – почти общею. Без всяких условий и уговоров они называют почти старейшего между ними, Мих. Ал. Новоселова, «авва Михаил». И хотя некоторые из них неизмеримо превосходят почтенного и милого М. А. Новоселова ученостью и вообще «умными качествами», но тем не менее чтут его, «яко отца», за ясный, добрый характер, за чистоту души и намерений и не только выслушивают его, но и почти слушаются его. Так мне передавал один не центральный член этого кружка, но очень любящий весь этот кружок человек. К нему примкнули и некоторые иногородние, как А. С. Волжский, живущий в Нижнем Новгороде. Да и члены самого кружка отъезжают «за работой и заботой» в иные города. Так, в Тифлисе живут Ельчанинов и Цветков. Вообще с Кавказом у них отношения

близкие, по родительским и родственным связям. Здесь я тоже узнал любопытную черту, благородную и трогательную: оказывается, служилые русские люди, заброшенные с войсками или по гражданству на Кавказ, не окаялись, а сохранили всю теплую, горячую привязанность к далекой России, к нашим холодным, суровым лесам. И вот эта сбереженная теплота к покинутой родине принесла в детях этих семей удивительный плод. Когда пришло время посылать сыновей доучиваться в Московский университет, то, оказывается, они принесли в Москву гораздо более горячее чувство к этой самой Москве и ко всему московскому, ко всему старорусскому, чем сколько этого чувства сохранялось к тому времени в самой Москве. Это было время «Весов» и «Золотого Руна», время «Русских Ведомостей» – в Москве; время «Нового Пути» и целого ряда позитивных и социал-демократических журналов – в остальной печати.

Не правда ли, явление простое и ясное, которому бы только радоваться? Среди печати и общества, до такой степени затянутого философскими и политическими пошлостями, до такой степени болтливых и праздных, вдруг являются люди, которые *самую жизнь становятся серьезны*, которые взяли другой тон личных отношений, связей и совсем другой тон литературного выражения. Главное здесь именно то, что это не *литературная школа, а жизненная школа*; что главная их добродетель – скромность и молчание. Вообще тут много таких качеств и оттенков, что, и не принадлежа нисколько к кружку, глядя на него со стороны, можно было не только любить и уважать их, уважать хорошим братским или хорошим чужим уважением, из лагеря другой партии, будучи других убеждений, но можно было и порадоваться целостною радостью за Россию, видя ее, так сказать, в «хороших родах». Господи, ведь сколько праздного рождается; ведь каждый день приносит сколько пустоцвета!

Но есть какое-то чрезвычайно тяжелое для души и созерцания *параллельное завидование* или *параллельное соперничество*... Н. А. Бердяев, для которого тоже интересы религии суть высшие в жизни, опрокидывается на московских славянофилов, как будто ничего хуже их нет на свете, как будто нет других болот на Руси, требующих осушки или дренажа. В статье своей: «Типы религиозной мысли в России. Возрождение православия», напечатанной в последней книжке «Русской Мысли», он усиливается сказать о московском юном славянофильстве все подкапывающее, язвящее, опрокидывающее, что вообще можно придумать. И как-то спрашиваешь себя: «Зачем? Что?» Разумеется, если пощипать свой ум талантливому человеку, то нет ни одной светлой вещи в мире, о которой он не нашелся бы сказать темного слова. Широта слова и «словесности» – беспредельны. Но именно кто «слишком много может», призывается внутренним долгом чести к «особенно узкому выбору». Перед нами еще лежат остатки позитивизма. Давно ли приступлено к изданию «Полного собрания сочинений» Лесевича, – философа, всю жизнь опровергавшего всякую философию... Еще $\frac{1}{4}$ русской журналистики и до сих пор работают в интересах «made in Germany» социализма...

Вообще еще болото русское и до сих пор сыро, вонюче и непроходимо. Московское славянофильство – небольшой сухой уголок в нем. И вот Бердяев, в сущности, идеалист, человек добрый и славный, выливает фиал кипящий... на этот сухой уголок. Что ему? Зачем? Растериваешься и недоумеваешь.

Он пишет, – и это было бы верно, если бы не было *досадливо*... Мы сейчас приведем цитату, но предупредим читателя: пусть он *досадливые слова* заменит нормальными, просто – *излагающими дело*, и в обвинениях Бердяева устранился всякий криминал. Т. е. только какая-то *личная досада талантливого человека* окрашивает все дело в темный или в подозрительный цвет; но устранили эту тень говорящего субъекта – дело окажется простым и светлым, язвящие слова я буду отмечать курсивом:

«Для теперешнего состояния религиозной мысли в России самым характерным и крупным типом является попытка возродить православие. Более всего меня интересует психология религиозной мысли. Для православного течения характерно стремление к религиозной серьезности и к исторической монументальности: оно ищет корней и вековых основ религиозного сознания, боится человеческого произвола и подмены религиозно-подлинного надуманным и искусственно взвинченным. Но эти благие устремления воли не спасают возродителей исторически монументального православия от *искусственной стилизации* прошлого, от *искусственного настраивания себя на лад старинных чувств*, от *упадочного эстетизма* в жизненных оценках, от бессознательных или полусознательных *подмен*. Всего более это чувствуется в самом ярком, талантливом представителе нашей православной мысли – в священнике проф. П. А. Флоренском, книга которого «Столб и утверждение истины»* должна быть признана самым значительным явлением в этом течении. С. Н. Булгаков, свящ. П. Флоренский, Вл. Фр. Эрн, Волжский и др. (NB, следовало бы добавить: Вл. А. Кожевников, Ф. К. Андреев, С. А. Цветков, С. Н. Дурылин, Д. Д. Муретов и, кажется, еще несколько лиц, пока в литературе не выявленных) – это уже если не *новое христианство*, не *новое религиозное сознание*, то, во всяком случае, *новое православие, новое в православии*»...

Нельзя не быть пораженным такими словами, – по крайней мере ввиду священничества одного из них, профессуры в Духовной академии, редактирования духовно-академического журнала!!.. Ведь это похоже на – «гони его вон!». Ибо кто же захочет исповедоваться у человека с «новым православием», да и кто захочет ему доверить редакторство православного журнала? Каким образом Бердяев мог написать такие ответственные слова – уму не-

* Изданная в Москве книгоиздательством «Путь» в количестве 2000 экземпляров, эта замечательная книга вся была раскуплена в *четыре месяца*, и в настоящее время, даже при высоком предложении цены, ее нельзя достать и через букинистов. И хотя *повторить* издание ему уже предлагалось, но он, усматривая в книге какие-то недочеты, отвергает мысль о втором издании.

постижимо. Тем более что слова эти – плод субъективной подозрительности, без всякого объективного основания. Это – грех Бердяева, это – стыд ему.

Дальше цитирую:

«Им не удастся до конца стилизовать себя под старый, архаический тип исторического православия, хотя они видят свой point d'honneur в том, чтобы не быть модернистами. Вопреки своим желаниям и эстетическим вкусам, они все-таки остаются православными модернистами, но раздвоенность их воли и их сознания делает их модернизм не творческим».*

Дальше, мне кажется, Бердяев сам же разрушает огород, который нагородил:

«Это – явление совершенно обратное тому, которое мы видим в католическом модернизме. Там исконные католики пленены современным духом, ищут новой жизни и новой мысли. У нас люди современного духа пленены старой религиозной истиной и ищут путей возврата в лоно Церкви».

Не только «ищут», но и «нашли», – как это можно сказать о превосходном и честном С. Н. Булгакове, авторе «Двух градов» и «Философии хозяйства». Но, например, о Флоренском, о коем и говорит в этом месте Бердяев, то как он может говорить о каком-нибудь «возврате», когда решительно никуда из православия он не уходил, а, напротив, проходил это православие в искусе и послушании и строжайшем повинении у блаженной памяти старца Исидора, беспредельную любовь и почитание коего он выразил в книжке своих воспоминаний о нем?! Что же такое говорит Бердяев? Какой же это «модернист»? Какой «возврат в православие»? Ей-ей, это – «дурной сон» на что-то раздраженного критика. Можно только догадываться, что он сам в русской религиозно-философской мысли является с *point d'honneur*’ом французского модернизма, который и восхваляет в приведенных словах, противопоставляя их русским дуроломам, все не могущим забыть тень Серафима Саровского и идущим просто и прямо под эту тень... Да около Москвы есть и преподобный Сергей Радонежский, так что им даже некуда идти.

«Но православие этих людей, – кончает Бердяев, – не походит на православие епископа Феофана Затворника или на православие таких современных хранителей консервативного православия, как М. Новоселов, В. Кожевников, Ф. Самарин и т. п. С новым православием находит возможные сближаться и устанавливать с ним истинно эстетические связи даже Вячеслав Иванов».

Тут все не точно, не верно. М. А. Новоселов и Вл. А. Кожевников (автор огромного труда об индусской религии и философии) – оба суть «друзья из друзей» московского молодого славянофильства, и оба, по предложению, кажется, Флоренского, сделаны почетными членами Московской духовной академии за их заслуги для православия и личную, и литературную деятельно-

* чувство чести (фр.).

стью; сближение с Вяч. Ив. Ивановым основывается не на «мистико-религиозной почве», а на совместном переводе с греческого языка некоторых классиков. Это – частные оговорки. Что касается до ссылки на Феофана Затворника, – епископа-монаха-затворника, – то каким образом Бердяев не видит той простой вещи, что ни по жизни, ни даже по мышлению православный священник и, следовательно, *семьянин* и вместе *профессор философии* в *Духовной академии* (П. А. Флоренский), – коего он имеет в виду, о коем он определенно говорит, – мог бы походить на Феофана, именно только «стилизуя» себя, именно только с ложью, и притом не умной ложью в душе. В «затворники» себя Флоренский не поставлял, «архиерейства» не ищет, женат, имеет двух сыновей и, слава Богу, пьет с матушкой чай, с Вячеславом Ивановым переводит с греческого, со студентами философствует о Платоне и во всех отношениях (кроме болезни и смерти близких, которые его поражают и поражают) благоденствует. Самая православная жизнь и православное лицо: чего же тут инквизиторствует Бердяев? Поди, справься; я думаю, он по воскресеньям и пироги любит; какое же сомнение о благочестии, о лице, о полной истовости в вере.

Не хорошо пишет Бердяев; да уже не поддувают ли его ветерки из дома Мурузи, где чернокнижничают Мережковский, Философов и З. Н. Гиппиус? Кажется, главный родник мистического зелья и журнальной проказы в России – дом Мурузи, на Литейном? Вот уж «фармазоны» завелись.

Довожу из Бердяева, и посмотрите, как хорошо все дело у москвичей, – если откинуть злые словечки:

«Для интересующего нас типа религиозного сознания характерна неутолимая жажда *возврата* (подчеркивает Бердяев), бегство от современности в материнское лоно Церкви, вечное (далее я подчеркиваю) *обращение* в христианство, которое никогда не может быть завершено. Творческие силы этого течения *надорваны вечным покаянием мысли*, самоопределением, отрицательной реакцией против своего прошлого, против интеллигентского сознания. Представителям этого типа религиозной мысли кажется смелым и дерзновенным их возврат к христианству, к православию от интеллигентского неверия. Они почти *любуются* (то «надорваны», то «любуются». – В. Р.) тем, что стали православными, церковниками, *конкурируют* друг с другом в степени своей ортодоксальности и церковности, *детски радуются* этому своему новому положению в мире. Но внутри самого христианства они не обладают смелостью почина, они лишены творческой силы. Они модернисты не потому, что вступают на путь религиозного творчества, а потому, что не могут победить в себе раздвоенности современных людей. Но *самолюбие* их направлено на то, чтобы быть как можно более ортодоксальными, как можно более верными древним преданиям. Они хотели бы постепенно принять все историческое здание не только Церкви, но и церковно-бытового и церковно-государственного строя, *эстетически* запугивая себя и других уродством всего нового, со-

временного, творимого человеком... Люди этого религиозного типа роковым образом лишены религиозной цельности и особенно жадно ищут цельности в возврате к старой ортодоксальности, к бывшей органичности. *Они вечно осматриваются, озираются назад, убегают от себя и своего времени* и этим обессиливают себя, не могут найти в себе твердой точки опоры для творческого движения вперёд. Это течение обладает довольно высокой философской культурой и отличается большой сознательностью, *даже слишком большой*. Возврат к православной цельности и к *православному примитивизму* в этом течении насквозь сознательный, *надуманный*, философский, культурный, умственный. Наивности переживания и наивности мысли в этом течении нельзя найти. Наивно и непосредственно переживать можно лишь свое новое, современное, впервые творимое. Старое же, бывшее, сотворенное другими, можно пережить лишь сантиментально, рефлексивно-сознательно»...

Конечно, *от себя и вновь* создавать можно живее; но ведь «создашь» на час, создашь личное уродливое, – если дело касается таких великих вещей, как создание религиозное, как сотворение церковное. Отсюда совершенно правилен принцип традиционности, преемства в Церкви, в государстве, да отчасти в искусстве, в литературе, во всем крупном и коллективном. Ведь слушаешь Бердяева, – придешь к такой чепухе, что каждое поколение «для свежести и правды» должно сочинять новую религию, ибо это будет тогда «свое и энергичное творчество»; послушать его, – и «христианами даже нельзя быть», ибо что же «все повторять старые истины из Евангелия». Словом, мы тогда очень далеко уйдем, только это будет все «дальше 11-й версты». Нет, все это – слова и пустые слова, сказанные без осторожности и почти что на ветер. В этой коллективной массивной области о «перемене» можно думать не под впечатлением, что «мне хочется пофилософствовать» или «у меня есть талант к философии», а лишь *в случае необходимости, неизбежности, нужды*. Бывают случаи в истории, что *жизнь начинает резать*. Ну, тогда «переменишься», закричишь о «нужде перемен». Не скрою правды, которую не могу назвать только «личной», по «пристрастию», – потому, что сам о ней много пишу. Мне представляется и даже я утверждаю, – а подтверждение этого в криках, воплях из общества, – что в христианстве или в Церкви есть только один опасный пункт: это – *семья* во всем необозримом множестве слагающих ее черт, из коих только частности и подробности – развод и незаконнорожденные дети. Где-то я недавно прочитал, что в Германии до 8 000 000 девушек брачного возраста остаются в каждом поколении безбрачными. Вот это «вопрос». Дети внебрачные большею частью убиваются, – а когда на это раз было указано, то престарелый протопастор Дроздов в «Земщине» нашел силу и правду только сказать: «До чего люты родители безбрачных детей; выкидывают их в помойные ямы». До того он, «аки младенец», ничего не понимает психологии детоубийства. Ну,

это, кажется, — дело; потому что кровь, потому что убийство. Сколько я понимаю в 60 лет и после десятилетий размышления о положении Церкви других опасных пунктов в ее сложении, управлении и принципах нет, — или все остальное слишком легко устранимо и поправимо.

О московском славянофильстве — немного — я договорю в другой раз.

О ТИПАХ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ В РОССИИ

Печатающиеся в «Русской Мысли» статьи Н. А. Бердяева «Типы религиозной мысли в России» представляют, и в особенности в дальнейшем представят, собою выдающееся явление религиозной и философской мысли в России. Автор берет свою тему в ее живом трепете сейчас. Конечно, это умаляет ее значение, так сказать, в «историографическом» отношении, — в смысле «перспектив назад», «сравнений» и т. п. Но, правду сказать, «живой трепет крыл» и «публицистика сейчас» тоже имеет свои права, — и в особенности в данной-то теме она имеет исключительные права и преимущества. Мы хотим «сейчас» верить или не верить, и что нам до того, верили или не верили и почему не верили или верили люди до нас.

В этом отношении статьи Н. А. Бердяева до некоторой степени можно рассматривать как «заключительное слово» к бывшим в Петрограде Религиозно-философским собраниям. Он на них мало участвовал, — появившись в Петрограде лишь к концу их. Но он был ближайшим другом или, во всяком случае, «своим человеком» у всех вождей тогдашнего религиозного движения, — со всеми видными представителями тогдашнего «церковного обновления». Идеи их не были для него «внешними», чем-то «со стороны идущим», чем-то лишь вычитанным из книг или прочитанным в книжках нового журнала. Нет, это были идеи, о которых и до каждого отдельного собрания и после каждого отдельного собрания он вел беседы, «засиживающиеся за полночь», с авторами докладов, в частных квартирах, у себя на дому, в доме Мережковских и т. д. Собрания тех дней, происходя в зале Географического общества, у Чернышова моста, были общественными и обширно посещаемыми, но в то же время они были и глубоко домашними, личными, частными собраниями по тесной домашней дружбе, связывавшей главных представителей этих собраний, постоянных их «докладчиков» и самых видных «ораторов» на них.

Но, избегая грубоватого, не в данном случае нужного языка, мы сказали бы, что Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппус, Д. В. Философов, А. В. Карташов, — тогда блестящий молодой представитель Петроградской духовной академии и теперь профессор Высших женских курсов в Петрограде, — в тени совсем только что начинающие А. А. Блок, В. Я. Брюсов, — зрелые и чуть-чуть незрелые Н. М. Минский и г-жа Вилькина, — все это были люди не только «одного корыта», но, нужно сказать теснее, — «неразделимого корыта». И вот к ним-

то совершенно тоже «неразделимо» примыкал Н. А. Бердяев. В. А. Тернавцев, – ныне управляющий Синодальной типографией, – дружественно примыкал к ним, почти сливался с ними, но, в сущности, – не сливался, а лишь обширно хлебал из того же, однако внутренне чужого корыта. Подразделение это и необходимость такого подразделения вытекает из следующего. Весь поименованный кружок лиц, центрально руководивший собраниями, состоял из литераторов, живших всецело и исключительно литературными и журнальными интересами, в литературной и музыкальной традиции, с чаяниями, надеждами и, словом, «всем кругом плавания» в литературе и только в литературе, в журналистике и только в журналистике. Какое же было отношение их к России и связь их с Россией? Они занимали в ней определенную точку, – залу у Чернышова моста, – выйдя из которого нанимали извозчика и доезжали до своей квартиры, проезжая тоже по петроградским улицам. Но – и только, и это уже окончательно. Но Россия в ее правительственном механизме и в трудностях этого механизма в ее управлении, в материальной жизни, в ее сословиях и хронологии этих сословий, в ее царствованиях, в ее быте, даже в ее домашнем и семейном укладе, была чем-то узнаваемым лишь из «газетных телеграмм» и из исторических, а преимущественно тоже литературных мемуаров, а не чем-то таким, что закрепилось в воспитании, что горит в живом сознании и в ощущении. Поэтому-то мы и сказали что обширно хлебая из их корыта, Тернавцев «не принадлежал к их корыту», потому что Россия для него массивно существовала, огромно существовала. С добром или злом своим, все равно; Россия для него была и перед ним стояла как огромная сила, «которую не поворотишь», с которой «надо считаться», которую никак нельзя «обойти». Те были – воздушные; он – «стоял на земле». Те были все – авиационные, начинали или, вернее, продолжали вековую российскую умственную «авиацию», смотря на все с воздуха и сверху, препятствий не встречая, ибо летели «над домами». Тернавцев же жил «дома» и знал, что «в дому» все жмет и что из дома нельзя выйти иначе как по определенной лестнице и тогда выйдешь на улицу с определенным именем. Все это было у Тернавцева, сравнительно с ними, сутью и особенностью психологии, – более чем быта; но все-таки отчасти было и последствием быта. Хотя и не исчерпывает вопроса, но все-таки в вопросе играет свою большую роль обстоятельство, что все перечисленные люди, длинный их ряд, были лицами определенной социальной группы, именно «журнальной братии», имевшей в журналистике все источники жизни и полагавшей в журналистике все цели жизни, планы жизни, удачи и неудачи. Вообще все плавание – «журнальное». Это «журнальное плавание» при некоторой неосмотрительности, при небольшой даже переоценке себя, весьма легко было принять за «пророческое плавание» и призвание, наконец, даже за «жертвенное призвание и плавание». Маленький нажим правительства, кой-какие притеснения по цензуре с журналом (тогда ими издавался «Новый Путь») – и «жертва» уже готова, и пророк уже «вопиет», в гостиной, в салоне, в редакции, отраженно – в зале Географического общества. Тут серьезное смешивалось

с комическим. Но чтобы заметить это комическое, нужно было быть человеком практической сметки. Откуда же ее взять «чистому литератору»? Тернавцев, никогда не пролагавший свои пути в «журнальное море» и хотя человек больших способностей, по-видимому не имевший к писательству специального дара и жара, имел совершенно иные скрепы жизни, иные затруднения для себя, иные преодоления перед собою. И, слушая этих ораторов и улыбаясь им, – улыбаясь своею гениально-лукавою улыбкою, он помнил и ни на минуту не мог забыть, что «обязательство уплатить 1-го числа за квартиру» он покроет из какого-то другого «источника» и об этом источнике нужно «очень и очень подумать». «Я, положим, пророк, – а сапоги все-таки надобно купить». Эти окаянные сапоги хотя и представляют ужаснейшую прозу, но совершенно непреодолимы для нашего климата и для условий городского существования в XX веке. И Тернавцев это помнил. «И к авиационной школе» Мережковских не принадлежал.

Но, «как и все», он был хорош с Бердяевым, и Бердяев пишет и о нем, как «о своем человеке». «Валентин Александрович, с его апокалиптическим жаром»... Но о Валентине Александровиче всегда надо помнить (пишу без преувеличения), – что это вполне гениальный человек, – гениальных мыслей и гениальных слов, – но «не для журнала». Какого-то нет таинственного дара «положить на бумагу все». А «апокалиптики», «вещего» и прочее и прочее – сколько угодно. И таинственный взгляд, и лукавая улыбка.

Но Н. А. Бердяев, человек именно этих «собраний», – их духа, их психики, их надежды, – не дожид до замечательнейшего русского явления вот этих истекших 16 лет XX века: до возникновения в Москве, – возникновения и крепкого сложения, – молодого славянофильства. Это славянофильство сейчас же стало слагаться и крепнуть после прекращения петроградских Религиозно-философских собраний, – «не по своей воле», и после закрытия органа этих собраний, «Нового Пути». Я сказал: «Не дожид». Конечно, физически он «дожил», так как сам жив и славянофильство процветает: но он «не дожид» духовно и умственно, так как остановился и застыл в духовной фазе именно Религиозно-философских собраний, – и даже его громадный философский труд, появившийся в этом году, «Философия творчества» (философия собственно религиозного творчества) можно рассматривать, как завещание отчасти и отчасти как результат, как зрелый, обдуманый и систематический результат, именно этих тогдашних петроградских собраний. Он пришел на них поздно и мало в них участвовал. Но именно он зрело и окончательно их обдумал, – именно он ими оказался сильнейшим образом возбужден и дал кое-что «лучшее», именно более закругленное и окончательное, нежели что было в этих собраниях, в своей громадной философской работе. С этой точки зрения, т. е. в смысле «историографическом», труд его в высшей степени благороден, – заслуживает внимания, оценки и большой благодарности всех участников тогдашних собраний.

Но «молодое славянофильство» началось позже, хотя и сейчас после 1903–1904 годов и в нем сам Бердяев не принял никакого участия. Даже кори-

феи молодого славянофильства, – все еще юноши в 1903–1904 годах, первые свои литературные труды, первые свои мысли, первые свои работы прислали из Москвы именно в журнал «Новый Путь».

П. А. Флоренский, В. Ф. Эрн, С. Н. Булгаков, можно сказать, «вошли» или «начали входить» и в «Новый Путь», и даже в Религиозно-философские собрания в тот самый момент, когда из них вышли или выходили прежние участники.

Пока все «закрылось»... Зашумела японская война, всплеснулась революция: все завертелось в водовороте, скрылось... И выплыло – с далеко разбросанными членами: Мережковские и Философов ушли в радикализм, «заветы» «Нового Пути» как будто рассеялись, в Москве возникло книгоиздательство «Путь», с прекрасным идеалистическим направлением в религии и в философии. Но вот и в «Пути» выделились два подразделения, хотя незаметно спорчивые: левое, руководимое князем Е. Н. Трубецким, около которого рядом стоит и Н. А. Бердяев; и более крупное правое течение, которое выражают собою главным образом П. А. Флоренский, В. Ф. Эрн и С. Н. Булгаков. И вот это-то последнее течение и образует собою, сложило собою – молодое славянофильство.

В настоящее время это самое крупное умственное течение в Москве, вне каких бы то ни было сравнений. Сила его заключается в притяжении. Все юное, в буквальном смысле слова и «возрождающее», и «возраждающееся» – льнет сюда, прилипает к нему, тянется, ищет. Это нравственное притяжение основывается на замечательном сложении самого кружка. Он и не литературный, не журнальный, не ученый, хотя и литературный, и журнальный, и ученый, по качествам работ всех членов, по явному литературному и ученому их призванию. Всего правильнее его было бы назвать философско-поэтическим кружком. Но и это – ясно: потому что главный центр и главная связующая всех нить заключается просто в некоей философской дружбе. И, можно сказать, без имени Платона возник «платоновский кружок» людей, связанных дружелюбием тем, работы, интересов, полным единством духом и всецелою преданностью Церкви и России, горячею памятью и благодарностью к старому московскому славянофильству с именами Киреевских, Хомякова, Аксаковых, Данилевского, Страхова, Ап. Григорьева. Таким образом, это церковно-русское движение свободно-интеллигентской окраски. Я меняю имена и определения, и их именно надо менять, потому что явление чрезвычайно сложно и в него входят бесчисленные световые полосы. Даже кое-что входит от «Нового Пути» и «Религиозно-философских собраний»: именно дух молодости, свежести, обновления. Но в то время как и «Новый Путь», и «Религиозно-философские собрания» обновлялись бесспорно западным духом, их «предтечи» были западные атеисты, западные мыслители, западные мистики, западные символисты и декаденты, и имена Ницше, Верлена, Метерлинка, Гауптмана, Бодлера, Гюисманса, – особенно имя Ницше, – были «своими именами»; в Москве своими начали избирать других, а наконец и окончательно окрепли совсем на других именах: Киреевских и Хомякова и

наконец и всего тверже и уже вполне окончательно – преподобного Сергия, «всего России чудотворца». – Огород, пожалуй, и один: да овощи на нем выросли совсем разные. «Прикосновение» было, – но оно и кончилось 1903–1904 годами. Московское славянофильство и «когда-то» Религиозно-философские собрания резко разошлись, – потекли в совершенно разные стороны, хотя, пожалуй, исток, хотя бы внешним образом, у них и был один. «В первый момент» один. Теперь самая память и «Нового Пути», и «Религиозно-философских собраний» слабо хранится. Явление буквально растаяло, испарилось. Напротив, московское славянофильство в полном расцвете и с каждым днем крепнет, – именно благодаря главным образом своему нравственному духу. И вот, конечно, в высшей степени интересно увидеть, что именно о нем говорит человек, поставивший крупный «надгробный памятник» Религиозно-философским собраниям и давший в «философии творчества» завещание от них России.

ЕСТЬ ЛИ «ВСЕОБЩИЕ И БЕЗУСЛОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НРАВСТВЕННОСТИ»?

(К полемике князя Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым)

Если и *есть* такие принципы, то лишь выражаемые крайне отвлеченно, крайне схематично, – как бы «с небес, глядя на землю». Например:

– «Держи чисто свое сердце».

– «Наблюдай, чтобы от твоих поступков было лучше, а не хуже»...

А «кому», «что» и «как», – уж разбирайся сам. А в чем и какая «чистота сердца», – тоже сам гляди в оба. Словом, эти схемы до того отвлеченны, что в них, собственно говоря, никакого поведения не указано. Да это и хорошо. Не будь этой «свободы поведения», этой нужды выбирать *самому каждую минуту*, – и человек был бы мертвецом, самодовольно ходящим по матушке сырой земле, побрякивая «общими принципами морали» и примеряющим эти «принципы», как в магазине «примеряют» башмачок к барышне. Жизнь стала бы праздной, легкой, глупой и безответственной. Знай «измеряй» и знай «поступай по мерке», – и тогда никакого тебе ответа перед Богом.

А Бог сказал человеку совсем другое:

– Трудись. Размышляй, Выбирай. А не будь ленивым нахлебником, ни у Бога, Сотворителя нравственной искры в человеке, ни в обществе, ни у схоластических философских школ.

Вот что мне хотелось бы сказать кн. Е. Н. Трубецкому, который, вновь вступив в полемику с Д. Д. Муретовым, по поводу статьи его о национальном эросе, развивает такие общие принципы:

«Г. Муретов советует принять любовь к русскому народу, *как она есть*, с ее подвигом и с ее грехом. В этом весь пафос его рассуждений: ибо национализм для него – больше чем простой факт, служа-

ший предметом описания. Это – «норма поведения», как он выражается в своей «Борьбе за Эрос». Г. Муретов прекрасно знает, что эта «норма поведения» приходит в столкновение с нормами морали. И, однако, напрасно он утверждает, что для него эти столкновения – «просто факт», которому он, г. Муретов, не оказывает никакого содействия или попустительства. Вопрос о том, которое из двух требований я должен исполнить – требование нравственной правды или требование «национального эроса», так или иначе, нам навязывается, а потому должен быть решен. И г. Муретов решает его в том смысле, что в этом случае я должен принять на душу тяжелый грех «ради великой любви к своей родине и великой (выше разума идушей) веры в ее назначение».

Если это не аморализм, то я не знаю, что вообще может называться аморализмом. Ведь отличительный признак нравственного веления, как такового, заключается именно в его *безусловности и всеобщности*. Утверждать, что нравственное веление, в случае коллизии, должно уступать какому-либо другому, – значит признать его обязательным лишь *условно*; иначе говоря, это значит отрицать его, так как веление *условное* по форме (гипотетическое) уже не есть веление нравственное. Принимать нравственные веления с оговоркою, «поскольку их исполнение не вредно для родины», – значит просто-напросто отрицать их как нравственные и превращать их в советы житейского благоразумия.

Д. Д. Муретов пытается доказать, что и здесь нет аморализма. По его мнению, «принятие любви не отменяет нравственного суда. Признание в любви начала оправдывающего и снимающего вину (вроде вошедшего у нас в обычай оправдания убийств из ревности) есть великая мерзость. Принять любовь не значит оправдать грех, но принять ее можно только, как она есть, с ее подвигом и грехом» (стр. 94).

Иначе говоря, г. Муретов спасается от аморализма путем глубокого внутреннего противоречия: с одной стороны, нравственный закон, безусловно, обязателен и преступить его – значит совершить великую мерзость. Но, с другой стороны, для меня, безусловно, обязательно нарушить эту безусловную обязанность и «совершить мерзость», если это нужно для родины. Предоставляю беспристрастному читателю решить вопрос, удастся или не удастся г. Муретову избрать здесь отмены нравственного закона!»

И все это ерунда, князь. И ерунда потому, что Д. Д. Муретов живой человек, вот именно с «искрой нравственной жизни в себе», мучающийся в тяжелую годину за родину, размышляющий так и этак, бьющийся «лбом о стену», – и уже за эти *поиски* оправданный (помните ли вы принцип Лессинга на этот счет?), а вы человек мертвый, с «табличкой поведения в руках», которому, кроме своего спортивного тщеславия, ни до чего дела нет. И это

видно из той логической эквилибристики, какую вы устраиваете около родины, мучающейся в тяжких муках.

Ваши «безусловные и всеобщие правила поведения» на самом деле выдуманы теми профессорами метафизики, которые всегда жевали казенный хлеб и пребывали уж в таком мирном покое, что даже и тошно. И вот для этих-то мирных дней и в таком тепле и угодье они и сочинили «универсальное поведение», которое разлетается вдребезги, как только выйдешь на холодок.

Человек умирает... Но... «может быть»? Родные, доктор трепещут. Вламывается в калосах князь Трубецкой и говорит ему «правду». Большой умирает. Родные? Они ташат князя Трубецкого за уши вон и говорят: «Лучше бы ты оставался безграмотен, чем учиться такой нравственности».

Блудница, «ятая в грехе прелюбодеяния». Вся «мука» на лице. Весь «грех» – тоже на лице. «Доказано?» – «Доказано!» Ну, «грех», так, ведь, не сравнишь же его с «безгрешностью», положим, князя Трубецкого, кушающего свой завтрак и во время кушанья отнюдь не грешащего. Князь Трубецкой поднимает философские очи и говорит: «Ну, да, хоть *слегка*, – а, все-таки, *наказать*»...

Христос говорит: «Иди, Я тебя не осуждаю. Только впредь не греши».

Господи, – да вся жизнь есть водоворот мельканий: «правда», «нет», «правда», «нет», – сквозь который как в буре голос: «Не залеживайся, человек, – шевели мозгами». И вот это одно: «думай и трудись», кажется, и есть «всеобщее поведение морали».

Блудницу Христос простил. Но фарисеев? Наказал. Где же «общее правило поведения, не подлежащее отменам и ограничениям»? Все ограничивается, все отменяется. Будет «трясение земли, в конце времен». И неужели тогда князь напомним, среди криков и воев, несчастным человекам о своей табличке: «Братья мои! Вы хоть и гибнете, но утешьтесь тем, что и в сей час при старании можете сохранить всеобщие и обыкновенные правила поведения, выработанные у нас в Геттингене и Москве».

Ах, благодетель человечества!

Нет, батюшка, – жизнь есть жизнь. Она страшная, она печальная, она и светлая. А светит в ней один Бог. Он говорит: «Не фарисействуйте, не лукавьте. А живите попросту, как мужички. Мужичок пашет землю, а ты, – если грамотен, – паши правду, паши так и этак, переворачивай и клади на бок, как земельку. Только чтобы росло из твоих поворачиваний зернышко и колосок живой жизни. Нужно наказать, – и накажи. Нужно сражаться – сражайся. Соврать нужно (больному) – и соврать можно. Все можно. Одного нельзя: лукавства и злобы». Бог не осуждает поступков. Никаких. А осуждает Он *худую душу*.

Просто Трубецкой запутался между моралью и «моралью *с виду*», т. е. «всеобщими правилами поведения у фарисеев».

ЕЩЕ ИЗ ОЦЕНОК И ПРЕДВИДЕНИЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Все читаю и читаю «Дневники» Достоевского за время русско-турецкой войны и перекидываю в мыслях своих его слова, тогда сказанные, к нам, сюда, в русско-германскую войну, в годы 1914–1916. И вот что я скажу во главу всего: до чего же бездарна, тупа, лежебока наша так называемая «книжная торговля», воистину «пошлая русская книжная торговля»... Кто ею руководит? Где тут мысль? Где тут смысл и хоть какое-нибудь освещение сверху? Ну, не «с облаков», а хоть с высоты какого-нибудь курятника? Признаюсь, я не верю ни в какие наши «патриотические общества», «национальные обеды», и т. д., и т. п., и т. п. Все – болтовня, жрание и «речи», наши знаменитые «русские речи», – а – *дела никакого!!* А вот, подите вы: в табачных даже лавчонках, везде в киосках на улицах, на углах улиц у книгонош, на вокзалах железных дорог вы встретите мириады желтых, лиловых и красноватых книжонок, в гривенник ценой, в 15 коп. ценой, издаваемых, конечно, не русскими патриотами, – «ныне обедающими», – а какими-то гешефтмахерами «печатно-бумажного дела», с миллионами «Габриэль д'Анунцио» о любви и Кнут-Гамсунов «о любви дикарки к культурному человеку», – и спросите: «Дайте мне «Дневники» Достоевского о русско-турецкой войне», и поистине дикаркаторговка или дикарь-торговец выпучит на вас глаза: «Дневники»? Какие?! Как? Что? – Да и главное – зачем? Вот лучше почитайте Габриэль д'Анунцио о любви к хорошей барышне». Когда-то благородный А. С. Суворин показал путь и смысл торговле книгами своею «Дешевой библиотекой», включившей в себя «за гривенник» все лучшее из русской литературы и все лучшее из западноевропейской литературы, включившей Шекспира, включившей «Историю» Карамзина, включившей Белинского... Надел шапку на голову дурака. Но разве дурак может ходить в шапке? Вся наша печать «дружно» прокляла имя Суворина как представителя «зверского национализма» и задавила его прелестную «Библиотеку» миллионными изданиями «Гамсуна и д'Анунцио», где уже «национализма» не было, а были все девочки и любовь.

И вот – война. Борьба России за «быть» или «не быть». И что же? В эпоху *такой* войны вспомнил ли кто-нибудь о Суворове, – поставил ли кто-нибудь его рублевую статуэтку у себя на письменном столе, – для воодушевления в работе, для какой-нибудь памяти о величайшем русском сердце? И вот «Дневники» Достоевского... Нужно купить «Полное собрание сочинений» Достоевского, чтобы раскопать эти «Дневники»... Да еще «и найдешь ли»? Ведь «столько томов». Да о Достоевском, в пору этой войны за «быть» или «не быть», никто не вспомнил. «Разве же мы националисты? Разве же мы не читатели д'Анунцио?»

Мне попало в глаза, в этих разительных «Дневниках», одно место о русских женщинах, – о прикреплении каждой нации именно *к своей родной женщине*, как «матери сырой земле» самого отечества своего, – без какового прилепления невозможен, в сущности, и самый национализм. Т. е. он

выйдет книжным, литературным, а не деловым. Развивает мысли свои «парадоксалист», — и развивает их в возражение на слова собеседника:

«И, однако же, всему свету известно, что такое англичанка. Это очень высокий тип женской красоты и женских душевных качеств, и с этим типом не могут сравниться наши русские женщины».

«Парадоксалист» в ответ говорит:

«Не русскому отрекаться от своих женщин. Чем наша женщина ниже какой бы то ни было? Я уже не стану указывать на обозначившиеся идеалы наших поэтов, начиная с Татьяны, — на женщин Тургенева, Льва Толстого, хотя уж это одно большое доказательство: если уж воплотились идеалы такой красоты в искусстве, то (подчеркиваю я), *откуда-нибудь да они взялись же, не сочинены же из ничего. Стало быть, такие женщины есть и в действительности.* Не стану также говорить, например, о декабристках, о тысяче других примеров, ставших известными. И нам ли, знающим русскую действительность, не знать о тысячах женщин, не ведать о тысячах незримых, никому невидимых подвигах их, и иногда в какой обстановке, в каких темных, ужасных углах и труппах, среди каких пороков и ужасов! Короче, я не буду защищать прав русской женщины на высокое положение среди женщин всей Европы, но вот что только скажу: неправда ли, мне кажется, должен существовать такой естественный закон в народах и национальностях, по которому *каждый мужчина должен по преимуществу искать и любить женщин по преимуществу в своем народе и в своей национальности? Если же мужчина начнет ставить женщин других наций выше своих и прельщаться ими по преимуществу, то тогда настанет пора разложения этого народа и шатания этой национальности*».

Поразительно... Не тут ли корень вырождения многих аристократических родов? Не здесь ли главным образом кроется причина нашего культурно-исторического шатания, по крайней мере, культурно-исторической непрочности, точно мы «сидим не на своем корне», и деревцо национальное — слабенькое, «вот-вот взять за коронку и стащишь с места?». Увы, сколько русских детей, и значительных детей, сосет молоко из груди немки, а муж засыпает в постели рядом не с русскою женою!! И вот вщепливается в русскую семью не русское начало. И гранит разваливается, ибо в твердыне его уже растет другое. Русские браки, только русские, исключительно русские: вот настоящий щит национальности. Ибо кровь в нас родит и мысли наши, и настроения и упования, все, все! Сейчас дочитываю и вижу, что Достоевский сказал почти это же:

«Ей-Богу, у нас уже начиналось нечто подобное в этом роде в последние его лет, именно пропорционально разрыву нашему с народом. Мы прельщались польками, француженками, даже немками (действительно «даже». — В. Р.); теперь вот есть охотники ставить выше своих англичанок. Тут две точки: или духовный разрыв с национальностью, или просто гаремный вкус. Надо *воротиться к своей женщине, надо учиться своей женщине*, если мы разучились понимать ее»...

Да просто ее затоптали эти международные кокотки, «с такими нарядами», ну и прочими преподобиями (*не* в священном смысле, а говоря вообще). Русская женщина, да ее главное качество скромность, неумение и выговорить слово (и хорошо это), а на душе у нее лучше, чем у заграничной стрекочихи. Мое мнение *было и останется всегда*, что не болтливая, не разговорчивая и не умелая «держат себя в обществе», «в смысле манер и грации», русская девушка и есть самая лучшая на свете, наиболее приспособленная и к детям, и к мужу, и к хозяйству, и к тесному домашнему кружку около мужа. Составляет упущение нашей литературы, что, посвятив столько страниц, столько рассказов и повестей на изображение «духовного быта», она ни разу не остановилась на типе образованной девушки из духовной семьи. В этом столкновении вековых навыков, вековой «душевной тишины» с идеями и понятиями новыми, черпаемыми из всякого учебничка физики, да и из чтения «местной библиотечки», из чтения журналов «с известным направлением», в этой борьбе и столкновении, сколько найдешь пересекающихся линий, «поглощающих» друг друга цветов и оттенков... В среду старых дворянок «тургеневской и толстовской рисовки», и «революционных героинь», рисованных всеми кистями, давно вошла никем не замеченная, не оцененная, не обдуманная «гимназистка» и «епархиалка» из «священнического дома», из «дьяконского дома», в которой сплетены часто самые неожиданные и поразительные узоры души и ума. Но, как не беллетрист, оставляю эту тему, указав на нее беллетристам...

Мысли Достоевского в этих «Дневниках» о русской женщине очень разбросаны, и я позволю себе привести еще другое место, где уже он говорит от своего лица о ней, а не устами выведенного им «Парадоксалиста». Вот эти слова, сказанные в связи с подвигами сестер милосердия во время сербской и нашей борьбы с турками:

«Но главное и самое спасительное обновление русского общества выпадет, бесспорно, на долю русской женщины. После нынешней войны, в которую так высоко, так светло проявила себя наша русская женщина, нельзя уже сомневаться в том высоком уделе, который, несомненно, ожидает ее между нами. Наконец-то падут вековые предрассудки, и «варварская» Россия покажет, какое место отведет она у себя «матушке» и «сестрице» русского солдата, самоотверженнице и мученице за русского человека. Ей ли, этой ли женщине, столь явно проявлявшей доблесть свою, продолжать отказывать в полном равенстве прав с мужчиной по образованию, по занятиям, по должностям, тогда как на нее-то мы и возлагаем все надежды наши теперь, после подвига ее, в духовном обновлении и в нравственном возвышении нашего общества! Это уж будет стыдно и неразумно, тем более что не совсем от нас это и зависеть будет теперь, потому что русская женщина сама стала на подобающее ей место, сама перешагнула те ступени, где доселе ей полагался предел. Она доказала, какой высоты она может достигнуть и что может совершить. Впрочем, говоря так, я говорю про *русскую женщину*, а не про тех чувствительных дам, которые кормили турок конфетами. В доброту к туркам,

конечно, нет худа, но все же ведь это не то, что совершили там (т. е. на войне) *те женщины*; а потому *эти* всего только русские *старые* барыни, а *те* – *новые* русские женщины. Но и не про тех одних женщин говорю и которые там подвизаются в деле Божием и в служении человечеству; те своим появлением только доказали нам, что в русской земле много великих сердцем женщин, готовых на общественный труд и самоотвержение, потому что опять-таки откуда те-то взялись, как не отсюда же?»

Приходится и в быту, в разговорах, слышать суждение, и слышать его *от самих женщин*, иногда смотрящих с сомнением на наше настоящее и особенно на наше будущее: «Ах, строй и дух каждой страны, ее порядок или беспорядок, в сущности, управляется духом и поведением женщины в этой стране». Говорят и *качают головой*, говорят и *винят себя*. Это я слышал и до настоящей страшной войны, и во время уже войны. Что же, женская плоть как-то дальше хватает, у мужчины как-то жизнь выходит «поступками», а у женщин, в самом деле, «поведением». Они связывают, они – узлы общества, они – «ткань» и вместе какой-то «воздух страны», который может быть вредным, а может быть здоровым. Таинственным образом мужчина в стране бывает «тем» и бывает «таким», как этого от него ожидает женщина, как ожидают «мать», «сестра», «тетя», ну, и «невеста» или «жена». Наконец, есть гипноз ожиданий и таинственных, даже вслух не сказанных желаний, какими мальчик бывает окружен, и этот гипноз, еще с детской комнаты, идет от материнского и сестринского сердца. Достоевский говорит о своем времени, но совершенно очевидно, что слова его, только чрезвычайно расширившись, применимы к России, к русским людям, в особенности к русской женщине, и сейчас.

Около образа русской девушки и женщины Достоевский накидывает и обнаружившийся тогда на войне образ «русского интеллигентного человека», усматривая его прежде всего в рядах воинов, кинувшихся к Балканам, на Дунай, на Саву, Мораву и Драву, в борьбу за славянство. Тогда все жертвовали «на православное дело» без более подробного определения назначения денег, и это особенно восхищало Достоевского. Появление множества молодых людей, кинувшихся тогда в «добровольцы» на защиту славянства и «православного дела» на Балканах, связалось у него с идеями, высказанными в романе «Бесы», где говорилось о каких-то темных подземных силах, толкающих русский народ и главным образом молодежь нашу «в цинизм».

«Новые люди и до войны уже объявились у нас, но мы все еще не могли тогда заметить, и когда мы все здесь ожидали увидеть зрелища цинизма и растления, они там явили зрелище такого сознательного самоотвержения, такого искреннего чувства, такой полной веры в то, за что пошли отдавать свои головы, что мы здесь лишь дивились, откуда взялось все это?.. Я говорю о тех незаметных даже по чину своему офицерах, скромных слугах отечества и правого дела, которые умирали вместе с своими солдатами, с полным самоотвержением, потому только, что были великие сердца, великие христиане и *незаметные* (подчеркнуто Д-ким) великие русские люди, которых так

много, чуть не до последнего солдата, в нашем войске. Заметьте тоже, что, говоря о грядущем новом человеке, я вовсе не указываю лишь на одних наших воинов... Явятся и бесчисленные другие (далее подчеркивает Д-кий), *все те, которые прежде так жаждали верить в русского человека*, но не могли проявиться и идти против всеобщего царившего наружу отрицания и пессимизма. Но теперь, созерцая, с какой *верой* в свои силы проявился русский человек *там*, они поневоле ободрятся и поверят, что есть настоящие русские силы и здесь; откуда тамошние же взялись, как не отсюда же?»

А что, не понять ли некоторые мучительные *темы* Достоевского совершенно в *новом освещении* теперь, когда впервые раскрылась подземная работа Германии в соседних странах в преднамерении задуманной гегемонии и решенной всемирной войны. Сам ведь Достоевский упоминает, что проходившие через Саксонию из Франции войска говорили русским: «*Следующая война – с Россией*». В Германии это знали все и знали везде, кроме русского посольства в Берлине, всегда изображавшего «мужа-рогоносца», который узнает «о несчастьи в дому» – последним. И он же передает впечатление, до чего, начиная с франко-прусской войны, немцы вдруг и все почему-то возненавидели русских... Значит, лозунг и мысль пронесли уже тогда по Германии; и тогда заработал знаменитый «Интернационал», в кабалу к которому пошла в 70-е годы русская революционная молодежь... Длинные ниточки связываются концами. Уныние и печаль Достоевского в «Бесах», – уныние о «страшном цинизме» в народе и о каких-то ужасах безумия среди молодежи, не восходит ли источником и началом к зоркому рыбаку на берегах Шпрее, уже тогда «мутившему русскую тихую воду», с намерением поймать нужную рыбку... Сверху подсказывалось гр. Д. А. Делянову вводить «классическую систему», «не пущать» реального образования, к которому рвалось общество и рвались русские молодые люди, а снизу, через всесветных провокаторов Лассалья и Маркса «с их учеными трудами» русская молодежь поднималась против государства, поднималась до дня 1 марта, отводилась в сторону от всякого реального дела, от всякой реальной работы для отечества, направляясь только на мысль о разрушении этого отечества... Так что это серьезная тема для «вполне честных» (совершенно верим) Плеханова, Кропоткина и Екатерины Брешковской, сей «бабушки революции», подумать: насколько все они были в руках берлинской полиции и действовали по ее дальновидным планам, воображая, что «действуют от себя». Во всяком случае, это-то уже совершенно бесспорно, что революционные «успехи Плеханова и Бурцева, Кропоткина и Брешковской» в последние 25 лет заставляли «весело потирать руки» и в берлинской полиции, и особенно в берлинском генеральном штабе. Да помнится, как раз перед войной были захвачены воззвания к рабочим, печатавшиеся на «нейтральной почве австрийского посольства в Петрограде». Об этом печаталось, об этом были сообщения в газетах. Мне, по крайней мере, определенно и лично известно, как две сестры немки, отец коих занимал мелкую службу у нас на железных дорогах, – вели социал-демократическую пропаганду на фабриках и были «форменными

революционерками». Тогда же (пора первой Государственной Думы) я немало удивлялся, отчего они «спасают от бедности русского рабочего», а не «спасают от бедности германского рабочего». Они говорили мне, — и я с удовольствием слушал («патриот»), что русские — «гораздо более художественная народность, чем немцы», Россия, «вообще, страна будущего», и что, бывая за границей, бывая в Германии, они «по самому виду, походке и лицам видели, до чего русские более одаренны». В Петрограде они проникали и в школы, и в семьи, — иногда в семьи рабочих, иногда в семьи просто интеллигентных людей, и везде проводили «Каутского, Бебеля, Либкнехта» и великих старцев революции, Лассалья и Маркса. Я все слушал, внимал и думал: «Как приятно быть русским. Им восхищаются берлинские девушки, — такие образованные и начитанные, хотя немножко с дурным направлением». Но какое же «направление» не простишь из «патриотизма». Так русская революционная «луна» делалась, и хорошо делалась, просто «в Гамбурге», а совсем не «на Гороховой улице».

МОЛОДЫЕ МОСКОВСКИЕ СЛАВЯНОФИЛЫ ПЕРЕД СУДОМ Н. А. БЕРДЯЕВА

В предыдущей статье я отнесся чуть-чуть резко и насмешливо к Религиозно-философским собраниям в Петрограде 1903–1904 годов и к журналу «Новый Путь» Перцова и Мережковского. И это справедливо, — и справедливость этого я чувствовал и в те годы, хотя и участвовал сам и в собраниях и в журнале, — и притом любя, горячо участвовал. Потому что их было за что любить и уважать. Правда, от Мережковского всегда Гюисмансом пахло, — а что такое «Гюисманс» — это знал сам Гюисманс и о нем знал Мережковский. В Мережковском всегда было что-то милое и детское, и в этой игре его в некоторую «чертовщину» (сюда относятся его идеи об антихристе) было именно то, что сам заводящий «чертовщину» ее очень боится, а все окружающие его нисколько не боятся. Между тем, вводя это «ведовское» (от «ведьма», «колдун») начало и в собрания, и в журнал, и всюду, где он сам появлялся, он «смахивал рукой» тот ужасный трезвый реализм, тот отвратительный научный позитивизм, в котором задыхалась Россия перед этим. И более чем кто-нибудь другой из участников собраний (по старшинству перед ними), я знал, что такое это задыхание, ибо гораздо дольше их полз в этой философской уллекслоде, где умирает все идеальное, где умирает все религиозное. И вдруг — «третий завет», «религия Святого Духа», вечное сопоставление Христа и антихриста — применительно ко всем вещам мира сего, применительно к событиям политическим и литературным. Я сказал: «Гюисмансом пахло от Мережковского». Навсегда нужно запомнить одну вещь. Около Мережковского нельзя было внутренне немножко не шутить. Но столь же справедливо и то, что нельзя было с ним «совсем шутить». В нем было что-то «ведовское», чуть страшное, чуть-чуть необыкновенное. Сказать, что он «совсем то же,

что такой-то сотрудник журнала и газеты», – было невозможно. Прямо на обоняние чувствовалось, что «ну, черта тут нет, а какой-то хвостик его все-таки колеблется».

В нем, в его книгах и статьях, а главное, в его человеческом существе был этот «остаточек» или это «некрупное начало» иных и вещей элементов. Ни о ком из присутствующих в зале нельзя было сказать и предположить, что вот он «возьмет и хлопнется оземь, да как завопит вдруг»... И с Мережковским этого не случилось, вернее – не случилось. Но непререкаемо для всех было, что с ним подобное может случиться. И вот этим в себе, «загадкою» в себе, большого или маленького, сильного или бессильного, он и притягивал очень многих к Религиозно-философским собраниям. Этого его действия, в котором содержится и общественное и историческое начало, невозможно отрицать. После всех смехов и шуточек над Мережковским «нечто останется». Его нельзя пересмеять и вышутить до полного и окончательного «конца». «Что-то останется», что-то «было» и «есть».

Бердяев, не называя лично Мережковского, но, без сомнения, имея в виду целую группу лиц, с ним во главе, так начинает свою характеристику «религиозных типов в России»:

«Для духовной жизни России за последние пятнадцать лет знаменательно возникновение и развитие религиозно-философских течений, – искание веры и опыты ее оправдания. Традиционное мировоззрение позитивизма и материализма претерпело серьезный кризис и пережило крах в духовно-передовом слое русской интеллигенции. Россия вступила в XX век с религиозными вопрошаниями, с готовностью направить свою духовную энергию на религиозно-философскую мысль. В широких слоях общества все еще продолжало господствовать традиционное интеллигентское мировоззрение, и старый позитивизм не потерял еще кредита. Но не этими количественными критериями определяется центральное и существенное в национальной духовной жизни. Творческая энергия мысли окончательно ушла от старых направлений и перешла к новым религиозно-философским течениям. Это должны признать и враги этих течений. Но ложно было бы утверждение, что русской религиозной мысли начала XX века ничто не предшествовало в России XIX века. Достоевский, Л. Толстой и Владимир Соловьев предопределили направление русской передовой религиозной мысли в XX веке»...

Характерно для опрометчивости, неполноты и даже до некоторой степени для легкомыслия Н. А. Бердяева, что он как будто никогда не слышал о И. В. Киреевском, Хомякове, Н. П. Гилярове-Платонове, – которые уже никак не меньше религиозным ростом Вл. Соловьева и Л. Толстого, не говоря уж о Достоевском с его «едва касаниями (хотя и глубочайшими) перстами» церковно-религиозного вопроса в его точности и определенности. Да и ранее: а Лермонтов? А Гоголь? И еще первый из всех – малороссийский ходоубщик Сковорода? Видно, что пишет все-таки журналист. Бедный журналист.

«Эти большие, самые большие русские люди поставили темы, над которыми наше сознание теперь работает. Мы уже далеко ушли от их учений, но всегда должны вспоминать их образы, когда обращаемся к своим истокам. Именно они произвели сдвиг в русском сознании и направили мысль нашу на новый путь».

Это – основательно. Об «израиле» русского народа все-таки приходится сказать, что «пророки в нем не оскудевали». И всегда шла ниточка, хотя бы маленькая, где взывалось: «Господа, нельзя же все спать и спать или только все жениться... Где-то есть пустыня, где-то есть небо». Это никогда не прерывалось.

Бердяев продолжает:

«Русская религиозная мысль вращается вокруг христианства и для нее существенно и характерно лишь то, что связано с христианскими темами и вопрошаниями. Только эти течения имеют творческое будущее в России. Религиозная мысль в России имеет много оттенков. Но некоторые формы религиозной мысли имеют лишь переходное значение и для религиозного сознания являются элементарно-зачаточными. Развитое и раскрывшееся религиозное сознание не может не подойти вплотную к христианству и не болеть христианскими темами. Это чувствуется даже в теософических течениях».

Говоря о множественности у нас типов религиозного мышления, Бердяев, однако, ставит во главу всех их то самое молодое московское славянофильство, которое возникло после 1903 года. Тут, хотя и кратко, следует отметить личность М. А. Новоселова. Когда-то в давние-давние годы толстовец и радикал, отрицатель России и совершенный отрицатель Церкви, он ясною и правдивою душою отшатнулся от этого движения, по существу злого и разрушительного, и стал на совершенно обратный путь – созидания, поддержки и укрепления всего русского и церковного. Сколько помнится, он сосредоточил свою деятельность в маленьком городке Торжке, – недалеко от Москвы, начав здесь издавать серию прекраснейших книжек, брошюр и листов под именем «Религиозно-философской библиотеки». Для этой библиотеки трудится множество лиц. На почве этого сотрудничества, но гораздо более на почве личного общения с его светлой и ясной душой, – хотя и не сложной, – с ним сблизилось множество молодых учителей и учительниц около московского района, многие студенты, курсистки и т. д. И около того времени, когда «голые москвичи» толкнулись было в Религиозно-философские собрания и «Новый Путь», но оба они закрылись, – они, как бы выйдя из опустелой храмины – наружу, случайно набрали на М. А. Новоселова, и началось просто общение, дружба. Новоселова нельзя не любить простой непосредственной любовью. Он – такой человек. И вот около его плеча и началось слагание «московского славянофильства», хотя сейчас оно гораздо шире, неизмеримо шире самого Новоселова и всех его преднамерений. Но его удивительно чистый и ясный характер, и таковой же чистый, хотя неизмеримо более сложный характер П. А. Флоренского, почти главы и вождя московского славянофильства, – соделало то, что цементом для людей идейного движения стала именно нравственная, именно

сердечная почва. Точнее – душевная почва, почва душевности. Вот этот-то кружок людей Бердяев и выдвигает в первый ряд:

«Основным среди всех типов религиозно-философской мысли в России является все-таки тип православной религиозной мысли, который выражается в разнообразных попытках возродить православие. Более всего меня интересует психология религиозной мысли. Для православного течения характерно стремление к религиозной серьезности и к исторической монументальности: оно ищет корней и вековых основ религиозного сознания, боится человеческого произвола и подмены религиозно-подлинного надуманным и искусственно взвинченным».

Но разве это – не основательно? Что может быть печальнее, – нет, что может быть страшнее новейших историков религии, – какой угодно и где угодно, всех религий и в тайне вещей ни одной религии, – которые излагают свою тему и рассуждают о своей теме, не имея ни единого зернышка в себе религиозной веры, религиозного чувства и с тем вместе какого бы то ни было понимания религии. И причина одна: что на Западе уже коренным образом потеряна связь с «исторической монументальной религиозностью», т. е. с фактической молящейся церковью. Зрелище это поистине ужасно и зрелище это предупредительно для русских.

«Но эти благие устремления воли не спасают возродителей исторически-монументального православия от искусственной стилизации прошлого, от искусственного настраивания себя на лад старинных чувств, от упадочного эстетизма в жизненных оценках, от бессознательных или полусознательных измен. Всего более это чувствуется в самом ярком, талантливом представителе нашей православной мысли – в свящ. П. Флоренском, книга которого «Столп и утверждение истины» должна быть признана самым значительным явлением в этом течении. С. Н. Булгаков, свящ. П. Флоренский, кн. Е. Н. Трубецкой, В. Эрн, Волжский и другие – это уже если не новое христианство, не новое религиозное сознание, то, во всяком случае, новое православие, новое в православии».

Не забудем, читая все эти «цветочки раздражений», что говорит человек, ревнующий о неудавшихся Религиозно-философских собраниях ввиду полной удачи московского славянофильства.

«Им не удастся до конца стилизовать себя под старый, архаический тип исторического православия, хотя они видят свой *point d'honneur** в том, чтобы не быть модернистами. Вопреки своим желаниям и эстетическим вкусам они все-таки остаются православными модернистами, но раздвоенность их воли и их сознания делает их модернизм не творческим. Это – явление совершенно обратное тому,

* чувство чести (*фр.*).

какое мы видим в католическом модернизме. Там исконные католики пленены современным духом, ищут новой жизни и новой мысли. У нас».

«У нас» – наоборот: и все же являются «модернистами». Тут есть та доля пристрастия и раздражения, которая, будучи замечена у судьи, лишает его права судить.

В последующих страницах своего труда, характеризуя С. Н. Булгакова, Бердяев указывает в нем «подкупающую серьезность и искренность». Вот качество, которого недостает Бердяеву. Как писатель, как мастер характеристик, наконец, – как подвижный ум, он блестящее Булгакова, хотя и не так учен, как он. Но он слишком «новый человек» и уже слишком порвал с «монументальной историчностью». Везде он работает «один» и «сам», везде он работает «не с Россией». У него та же «авиация», как у Мережковского: мысли везде летающие и ни к чему не прикрепляющиеся. Как он упоминает, он «собирается писать книгу об Якобе Бёме», старинном мистике. В то же время он вчитывался и перечитывал книгу Величковского об оптинском старце о. Амвросии. Как он не оглянется на себя, что в нем уже есть только религиозная заинтересованность «разными типами религиозной веры», но нет веры; на самом деле и совершенно – нет религии, иначе как воспоминания о чем-то былом, о чем-то когда-то испытывавшемся. Ввиду этого печального личного религиозного опыта как он может претендовать на москвичей за то, что те придерживаются «почвы», что не теряют связи с действительностью? Москвичи правы, путь их мудрый. Собственная бердяевская «философия творчества» под углом этого зрения представится оправданием личного произвола, «развязыванием» со всякою религиею, а не «связыванием» с какою-либо религиею. И как он не поймет, что это «развязывание» приводит на последнем исходе к той же убивающей углекислоте позитивизма, «реальных знаний», «матерьяльных интересов», из которой только что начала выбиваться горькая русская душенька, тоскующая русская душенька. Это – индивидуализм, со всем его отчаянием и пагубой.

В дальнейшем мы остановимся на его полемике с С. Н. Булгаковым.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТРАНИЦ ИСТОРИИ РУССКОЙ КРИТИКИ

Встретив выражение «сладенький»
в статье об Айхенвальде.

Кроме «сладенького» нужно отметить и то, что он – холодный. Посмотрите, как он поступил с Белинским. Он не напал на него горячо, как критик на критика, как напал бы «наш брат» Скабичевский или Рог-Рогачевский (сей «братии» много), не сказал о нем немногих страстно-ненавидящих или страстно-презрительных слов (Достоевский и кн. П. Вяземский), а ограничился очень

коротенькою статьею, страниц в 6, посвящая другим писателям и полуписателям по двадцати страниц... Он сжал ее до *minimum*'а, но наполнив всю ее строками чрезвычайно вескими, чрезвычайно значительными, меткими, верными (кажущимися верными), убийственными. Это article Вольтера: так же кратко, изящно и сильно. Так же холодно и отвратительно. Он дает, размеренно и считая пощечины, и так как это на шести страницах – на целых шести!! – то нужно представить, что вынес Белинский на этом поистине адском «сквозь строй». И так изящно начал: Белинский, собственно говоря, – *лиф*. Из его хвалителей никто его не читал (а вот я – прочел: но, нужно думать, вполне прочитали и Венгеров и Овсяннико-Куликовский и Рог-Рогачевский с Ивановым-Разумником), и – «раз», «раз», «раз»... (К читателям): «Вы видите, *ничего* не осталось» и «Белинского действительно *нет* и никогда *не было*»... «Белинского выдумала наша критика».

Понятно, почему взбеленились наши «чурки»: Сакулин и сонмы других. «Белинского никогда не было. Его выдумали»...

.....
Первым «пришел» Флексер*, и его ввела симпатичная еврейская девушка, Любовь Гуревич, «совсем русская», мягкая, добрая, не умная. «Совсем – мы». Но Бог (как и русских девушек) наградил ее любящим сердцем, и она, основав «Северный Вестник», вела за руку Флексера.

Флексер уже совсем не то, что Любовь Гуревич. Та – «вся русская», этот – «только еврей» по существу и форме.

Бритый, сухой, деятельный, производительный.

«Сколько часов сделал?» – «Я *все* часы сделал».

Ничего не поделаешь: «часы только от Флексера».

Он копался, работал. Ушел в рудники. Русские не любят лазить под землю, они существенно дилетанты. И вот «из рудников» он вынес на вид, на солнце всю нашу погребенную в библиотеках журналистику и, «показывая то один халат», «то другой халат», произносил:

– Это же халат дырявый. И из скверной материи. У нас в Варшаве шьют лучше.

– Это не годно.

– То глупо.

– Белинский не изучал Канта.

– Добролюбов даже не знал основательно социализма.

– Это невежество, грубость и притом отсутствие всякой логики. Мозговые линии самые слабые.

Хорошо, что случился Михайловский и начал его ляпать по щекам. Флексер свалился. Но за Флексером и, как будто не имея с ним ничего общего, пришел Гершензон. С этим уже и Михайловский не справился бы.

Что сделаешь? «Верит в Бога», даже «по-православному». Пишет, как Александр Стахович, мемуары. «Деревней пахнет». Яиц ни у кого не таскает,

* А. Л. Волинский.

как Горнфельд-прасол («по мелочам»). Он патриот. Защитник отечества. Почти полицию любит. «Совсем русский». «Лучше русского». А в сущности в нем сто евреев, и все точно в чулках, башмаках (бабье начало) и с пейсами.

Ничего не поделаешь. Перетончил всех, ибо прямо влез в миску со щами и высовывается из нее весь облепленный листьями капусты (щи, конечно, «ленивые»).

Русские люди смотрят. Пугаются. Гершензон читает «Отче наш».

– Господи. Он совсем русский.

Гершензон покрылся белой простыней и читает «Отче наш».

– С нами крестная сила.

– Вот вам и крестная сила.

И наконец, этот Айхенвальд.

Красота. Дон-Жуан. Курсистки с ума сходят. Правда, он урод по лицу, но ведь «не в лице дело» (бабья присказка). Пишет как сам Пушкин. Правда – холодно, но ведь кто это разберет. По форме совсем как Пушкин, и ему совсем не опасны все эти Сакулины, Игнатовы, Жебелевы, Овсяннико-Куликовские. «Дал же ему Иегова перо в руки». Перо в литературе решает все, – как копьё в войне. Что же он пишет?

«Силуэты».

Уже критика прошла. «Не нужно». Пусть над «критикою» трудятся эти ослы Скабичевские... Мы будем писать теперь «силуэты», т. е. «так вообще», портреты писателей, «характеристики», причем читатель, наш глуповатый русский читатель, будет все время восхищаться характеризующим, а конечно не тем, *кого* он характеризует. И через это самый предмет, т. е. русская литература, почти исчезнет, испарится, а перед читателем будет только Айхенвальд и его «силуэты».

Вы посмотрели направо – и видите Айхенвальда. Посмотрели налево в зеркало и видите тоже Айхенвальда. Впрямь, в глубину, $\frac{3}{4}$ назад, где угодно – все зеркала, в них один Айхенвальд.

– Ну и ловок же! Как это он устроил. Нет больше русской литературы, а только везде Айхенвальд.

Но что делать... Так ведь и сказано: «*И* о семени твоём благословятся все народы».

Теперь, если принять во внимание, что около этих трех трудится со своим бестолковым «словарем» Венгеров, совмещая в нем «критику», «библиографию» и «все вообще книги», что в каждом почти журнале труженичают два Горнфельда и два Кранихфельда, да еще подают везде «анкеты от себя» Оль д'Ор и В. Азов, и шипит, «делая дело», «Шиповник», издаваемый Коппельманом, – то русская литература окажется в довольно печальном положении.

Есть «бывшие люди» – термин популярный и вразумительный, но придется говорить и поговаривать о «бывшей русской литературе».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<Ответ Д. Заславскому>

Прямо трогает меня забота «Дня» и его сотрудника г. Заславского о моих знакомых:

«Около трех лет отrekliсь от знакомства и общения с В. В. Розановым последние его приличные друзья и знакомые. Казалось, что все счета с этим писателем покончены в литературе, а путь в так называемое приличное общество ему навсегда закрыт» («День» от 25 августа).

Это – по поводу процесса киевского... Между тем как *до него*, так и *после него* евреи знакомились со мною, бывали у меня, а сейчас вот, вернувшись из поездки домой, я застал гостящим в своем дому даровитого еврейского мальчика, родители коего (сын известного врача) нисколько не думают, что я его съем или развращу. Есть евреи и евреи. Есть «похожие на древних» и есть уж слишком «новенькие». «Похожих на древних» я всю свою жизнь уважал, и, кажется, они тоже хорошо ко мне относились. К сожалению, таких мало и, кажется, совсем нет таких в печати, в адвокатуре, среди капиталистов. Но еврейских шапочников, сапожников, мелких портных, вообще «черноту» и «бедноту» еврейскую, ютящуюся по углам и едва имеющую силу кормить своих ребятишек, я не только уважаю (они, впрочем, не нуждаются в этом), но и привязан к ним, определенно их люблю, и это *до Бейлиса, во время Бейлиса и после Бейлиса*. И дай Бог их ребятам *расти, быть верными России и любить русских, и не походить на Грузенберга*. Уверен, мыждемся от евреев другого поколения, совсем не грузенберговского и не кугелевского. Уверен, среди евреев когда-нибудь выступят люди, выступят чистые юноши, которые скажут, что это было пакостное дело, что в кугелевском «Кривом Зеркале» пелась скверная песенка из Кузьмы Пруткова:

Вы любите ли сыр.
Спросили раз ханжу.
Люблю, он отвечал.
Я вкус в нем нахожу.

– на мотив любимейшей церковной и народной молитвы: «Господи, воззвах Тебе, услыши ми», и т. д. И скажут эти будущие (может быть, и теперь кто-нибудь скажет?) евреи, что это было его личное, Кугеля, дело: они же чтут, а во всяком случае, никогда не позволят себе оскорблять никакую человеческую молитву.

Я сказал: «человеческую»... Вот на что еще я хотел обратить внимание в мучительном еврейско-русском вопросе. Читая пророков и прочее, я всегда как-то мысленно становился на сторону уже тогдашнего «гетто» еврейского, «простоты» и «немудрости» еврейской, наконец, на сторону царей-воинов их, – *и против уж очень, «по Каткову», суровых пророков*. Помните эту обычную присказку: «И предстал пророк перед царя, и сказал ему: *поруби царя побежденного*». Тот не исполнил (вот добряк!!). И за это пророк *накла-*

*дывает на царя пророчество-казнь. Это – схема. В этой схеме я становлюсь на сторону царя. Пророки их «очень уж Катковы». Все бы им «порубить», сжечь, вымести. «Немудрое» еврейства – проще, лучше, *человечнее*. Вот это «немудрое» еврейства я и выглядываю. Выглядываю – *общечеловеческое*. И прямо хочется закричать: «Эй, еврей! Не оглядывайтесь очень на пророков. Храните собственное вечное зерно. Вспомните, как Бог *защитил Ниневию* против свирепого Ионы, хотевшего городу этому истребления, защитил великими и *вечными словами*: «Ведь там 200 000 младенцев, которые не умеют различить правой руки от левой».*

Ну, а на Руси таких младенцев еще больше. И вы, евреи, помните Бога своего и помните русских младенцев, да и мужиков, которые часто не очень отличаются от младенцев. И когда вот вы полюбите все вокруг себя, все русское, – как вот полюбил же добрый Шейн, всю жизнь записывавший по деревням русские песни и их музыку, тогда мы полюбим вас и без всякого крещения.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА КАРЛОВИЧА ЗАКРЖЕВСКОГО

Пришло печальное, чрезвычайно печальное известие о смерти юнейшего из наших критиков, Александра Карловича *Закржевского*. Жизнь его ушла в литературу, исключительно в одну только литературу, и потому едва ли кто представлял себе, что автор громадных и систематических трудов о Ф. М. Достоевском и о Лермонтове, написанных гордым, самоуверенным и величественным языком, и к тому же великолепно издававшихся в Киеве, кажется «Обществом печатного дела», – на самом деле есть тихий, донельзя бедный юноша, но в самом деле живущий «в гордом презрении мира», как и полагается юноше что-то немногим за восемнадцать лет. Ну, ему было не 18 лет (хотя 30 не было), но дело в том, что гораздо раньше 18 лет, лет с 16, с 15, он весь спрятался в себя, весь ушел в себя, испуганный и перепуганный ужасами жизни, которых выпало на его кроткую и глубоко несчастную жизнь чрезвычайно много. И независимо от него, фатально от него. Он как-то писал мне (до личного знакомства с ним): «Я боюсь даже выходить на улицу, – и только к ночи украдкой пробегаю к церкви, взглянуть на образ и помолиться».

Откуда же этот гордый и величественный слог тихого и милого человека? Увы, и тут он был жертвою. Он был сын поляка и русской матери. К нему, в его язык, перешел «польский гонор», и отчасти в идеи его брызнул отблеск тех «величавостей», к каким склонны наши западные братья. И вот читателю не приходило на ум соскоблить эту неприятную внешность с его произведений и открыть под нею душу прекраснейшего русского идеалиста, – но, в отличие от «писательской богемы», душу страшно целомудренную, не разращенную, чистую...

Книги его, по правде сказать, читать неприятно и трудно. Этот «величественный слог» и «важные темы» отшибают вкус. Но нужно это преодолеть, нужно

это расшифровывать. Тогда на каждой странице вы увидите правильную мысль, – важную постановку вопроса, верное определение вещей, лиц, писателей, философов, и иногда – изумительно верное. К этому надо добавить, что он всегда был абсолютно свободен от журнальных течений, от партийных программ и лозунгов, и, словом, под каждой строкой вы читаете подпись: «Я – Закржевский». Он говорил везде только *себя*, одного *себя*. И этот «сам Закржевский» был устремлен к величайшим темам бытия, к вечным и вещим загадкам его, к тревогам о Боге, о суетности вещей, к трагедии души человеческой и жизни человеческой... Это – темы, куда смотрит взор. А самый взор – чистый, детский, благородный, невинный. Ну, мне кажется, это достаточно для «писателя».

Я видел его в 1913 году. Он жил на окраине города, на Жилианской улице, во дворе. Помню квартиру «№ 4». Встретила мать его, старушка. Так как это была кухня, которая служила и передней, то я не узнал, кто это. Она передала сыну, что «ждут» и «желают видеть». Нет моего Закржевского. Просто – тоска. «Да что он, спит?!» – Да. Он еще не очень вставши. Жду. И через полчаса пропускаюсь. Комнатка-клеточка необыкновенно чистенькая. Ангельская. Это мать устроила своему больному сыну (нефрит, который смешивался с чахоткой). Молчит. Так как нельзя же молчать, то я говорю. Молчит. Просто неловко. Все тараторю и оглядываюсь. Солнце светит в маленькое окошечко, – темное киевское солнце. Чистая занавесочка, какую устроит только «мамаша сыну». Над кроватью-диваном портреты, «начиная с Шопенгауэра» и «прочих». Шестов. Книги Мережковского. И видно, что последние рубли заплатил за великолепные портреты.

– Разве вы любите Мережковского?

– Люблю.

(А в книгах поругивал за демонизм.)

– И Шестова любите?

– Шестова-то больше всех. Он в Швейцарии. Чахотка.

Эх, вы, киевляне, все с чахоткой. Еще потараторил. Ухожу.

– Я вас провожу.

Поехали. Приехали ко мне.

– Что вы все молчите?

– Я боюсь говорить.

– Как же вы читаете публичные лекции?

(Много читал.)

– Не знаю. Как взойду на кафедру – я другой. Ничего не боюсь.

«Не боюсь» – значило: «громлю». Этот тихий и вдумчивый юноша обыкновенно «громил».

На извозчике, однако, он мне сказал важное слово:

В смерти страшно не то, что вот мы уходим от друзей, от родных, из дома своего... А что смерть есть – *конец*. Она страшна в самой себе. И центр этого ужаса, что она – *конец*, *кончина*.

Не умею выразить. Он сказал это лучше. Но видно было, что он умеет чувствовать вещи.

Но будем верить, друг наш, что «смерть» – не «кончина», а что ты перешел в лучшую жизнь, «иде же несть печаль, ни въздыхание». Ах, сколько «печали» и «страхов» он видел. И вот они кончены. И чистою душою ты «узришь Бога», по несомненному обетованию Спасителя...

ПОВОД

Даже как *литературное чтение*, читается с необыкновенным интересом статья одного из уважаемейших петроградских врачей – Льва Бернардовича Бертенсона, – «Неспособность к брачному сожитию, как повод к прекращению брачного сожития», напечатанная в только что вышедшем № 35 журнала «Русский Врач». Статья, напечатанная полумелким шрифтом, огромна – и превосходным точным и изящным языком, приемами настоящего научного мыслителя, мелкою, как бы «под микроскопом», работою над тягостным и сложнейшим узором жизни, поставленным в заголовке статьи, дает высокое удовлетворение уму или любопытству. Не излагаем ее, ибо для этого надобно писать большую статью, но настойчиво просим всех «прикосновенных к вопросу» лиц – прочесть ее. Из небольшого предисловия узнаем, что это лишь небольшой отрывок к огромному и целостному исследованию на данную тему нашего талантливому медика. Дай Бог кончить, – дай Бог здоровья, чтобы кончить. И, слава Богу, что и в старости, и в болезни люди трудятся над вопросом, мучительным для тысяч и тысяч людей. Вообще здесь кое-что шевелится, – говорю о разводе. Месяца два назад мне прислал исследование свое «о поводах к разводу» (вы думаете, между ними нет «благородных»? – Добрые люди везде есть) секретарь московской духовной консистории (фамилию забыл), с благороднейшим следующим указанием (мне оно давно приходило на ум): что в состав причин – «расторжение брака *по прелюбодеянию*» должны же быть введены, сверх «измены», и так называемые *аномалии пола*, между которыми должны быть определенно в законе названы «предрасположения» одного из супругов, что встречается вовсе не редко, а слишком и слишком часто, и, далее, вообще всякая «неестественность», «извращенность», «анормальность». На этой почве происходят ужасы семейной жизни, отчаяние, тоска, безысходность и (часто) самоубийства (другой стороны). Как тут не «протянуть руку помощи» суду? Как не назвать «прелюбодеянием, служащим поводом к *расторжению брака*» такое извращение. Благородный г. секретарь консистории правильно называет такое извращение гораздо тягчайшим «прелюбодеянием», нежели «измену» жене мужа «по пьяному делу», как говорится в простонародье. Ах, если бы сюда внести вообще доброту и здравый смысл! Такие «пьяные измены», конечно, не суть повод к расторжению брака, союза по идее «вечного». А вот такие аномалии (есть и еще, кроме указанной, – например, застарелая, неотвычная привычка к он....., не бросаемая и в супружестве), – такие аномалии съедают брак в корне, и таковые заранее съеденные браки церковь должна расторгать немедленно же, как «мерзость» и как «брачное богохульство». «Брачное богохульство», – по развращенности

наших времен, следовало бы давно ввести в каноническое право о браке. Сюда, в «брачное богохульство», следовало бы ввести и вытравление плода, и «меры против зачатия», употребляемые ныне «просвещенными мужьями и женами». Вообще в браке давно пора поднять «арапник», а не прикрывать мерзавцев под крышечкой: «брак *свят*, и посему *нерасторжим*». Под «нерасторжимостью» выросли такие черви, которые скоро вырастут в левиафанов. Подбираемся к аксиоме: «Нерасторжимый по закону брак есть *eo ipso* фактически мерзкий, развратный брак».

Вот когда эта иерихонская труба загремит по стране, тогда законодатели «очнутся». Пока блаженно дремлют и чуть-чуть просыпаются. Возвращаясь к статье Л. Б. Бертенсона, отметим, что в армяно-григорианской церкви в 1904 году проведен закон о предбрачном медицинском освидетельствовании женишков, часто вступающих в брак с невинною, прекрасною девушкою в болезни половой, чтобы именно «исправить эту половую болезнь» (народное суеверие). И еще радостнее известие Л. Б. Бертенсона, что на точку зрения необходимости такого освидетельствования и для русских православных стал высокопреосвященный митрополит киевский, Владимир. Если *так*, это обещает скорое решение в эту *добрую сторону*. Сколько один такой закон сохранил бы здоровья народного – нельзя и высчитать. Господи, скоро ли все это будет?! Царское слово, царское слово, – вот чего ждет Русь в брачном вопросе. Сейчас передо мной еще колоссальная книга, только что вышедшая: «Свод законоположений имперских и областных о законности и внебрачности рождения, об узаконении и усыновлении, и о взаимных отношениях родителей и детей, с разъяснением (таких-то и таких-то) статей закона. Составил П. С. Пыпкин, помощник обер-секретаря Правительствующего Сената» (1916 г., стр. 597). Прямо хочется поцеловать руку у такого благодетеля: ведь сколько хватятся за его книгу, скольким она необходима. В тексте, в громадной работе книги, везде нежнейшая забота о детях и родителях. Эх, духовные, что вы не пишете таких книг, даже статей об этом не пишете? Ваше дело, ведь «семья» и «брак» – ваше дело. Но, кажется, легче «лежать на сене, самому не есть и другим не давать». Только есть евангельская притча: «Кто зарывает талант в землю, у того», кажется, отнимается талант или вообще его «наказуют» отнятием того, что было когда-то дано. Небрежение духовенства к браку будет иметь только тот результат, что брак и его заключение от него отнимется и будет создан (мне лично в высшей степени неприятный) «гражданский брак». Это горько, но зачем вы горького хотели?

О С. Н. БУЛГАКОВЕ

В первых главах своих «Типов религиозной мысли в России» г. Бердяев продолжительнее всего останавливается на С. Н. Булгакове. С. Н. Булгаков, сын протоиерея в городе Ливнах, Орловской губернии, избрал себе предметом изучения политическую экономию, лекции которой в Московском универси-

тете он слушал у славного среди наших экономистов А. И. Чупрова. Как человек живой и подвижный, как «народник» по всегдашнему устремлению всего нашего духовного сословия, наконец, как юноша около старого университетского преподавателя, – он не удержался на той линии сдержанного радикализма, на которой стоял его наставник, А. И. Чупров, а пошел много левее от своего преподавателя. А так как «влево» лежал революционный марксизм, то Булгаков и примкнул к нему, и в годы 1905–1906 его порядочно помыли революционные волны. Как не стесняешься в душе, но приходится сказать следующее. Булгаков есть чрезвычайно чистый человек, и ничего кривого, ничего нечистого он никогда не скажет и не подумает. Но, как очень часто у подобных людей, – у него есть доля наивности. Эта наивность принадлежит не столько его уму, сколько его глазу. Во многих случаях он близоруk, и у него нет таланта отгадывать и угадывать вещи, около которых он не терся плечом очень долго, очень близко, – которых он не видит «совсем на близорукоем расстоянии». Отсюда его доверчивость к формулам, доверчивость к широкошумящим явлениям. Почему он сразу же не увидел, не отгадал герценштейновского возгласа в Гос. Думе 1-го созыва об «иллюминациях» от выжигаемых дворянских имений в знаменитом, всеевропейском лозунге Карла Маркса (единоплеменный Герценштейна): «Пролетарии всех стран – соединяйтесь!!» или в его щегольской и гнусной фразе: «Когда рабочие отказываются от своего отечества, то они только отказываются от цепей?» Конечно, Марксу было не более жаль Европы, – старой тысячелетней Европы, чем Герценштейну Саратовской и Самарской Европы, где он не пахал и не сеял, и которые не защищали его предки от Пугачева и от Разина. И вот Булгаков, сын орловского протоиерея и с большими отложениями в крови и в душе от духовного сословия, – кидается наивно в служение формулам не только марксизма, но и фейербаховского отрицания христианства, т. е. на служение тому, что поднялось с лица «Европы» как континента, – изгладить Европу как «культурный мир», не только с его Орловскою губерниєю и с его протоиерейским сословием, но и с царствами, церквами и т. п. Ему не пришло на ум, что это гораздо скорее провокация, чем борьба, и в гораздо большей степени мошенничество, чем наука. Тут прибавляется и третья еще наивность: каким образом зрелый, взрослый и образованный человек мог поверить, что «бунтующие пролетарии», – если они «соединятся» даже в многотысячные, и очень многотысячные толпы, будут в силах сломить армии и правительства, имеющие от буржуазии полномочия, когда эти правительства и армии даже при «кремневых ружьях» смяли без особенно долгой работы и феодализм, и всех рыцарей испанских, французских, германских, английских, раздавили «жакерию», т. е. народное движение во Франции, подавили «восстание крестьян» и «восстание дворян» в Германии, как рассеяли, просто – рассеяли у нас пугачевщину, и Степана Парамоновича <Тимофеевича> Разина, и Запорожскую Сечь, и несколько «восстаний Польши», причем в одном случае Польша имела свою собственную регулярную армию... Явно, что «вооруженная Европа», которую, пожалуй, можно назвать «вооруженою буржуазиею», доступна лишь внутреннему «преоб-

разованию своими же руками», а никак уж не штурму «пролетариев» хотя бы со всего света, даже если бы пришли к «пролетариям» на помощь и много-миллионные толпы китайцев, индусов и т. п. «Индусы», коих 200 миллионов против 40 миллионов англичан, и «хотели бы восстать и сбросить иго», весьма им не сладкое, – и не «могут», потому что «не могут». А еще Англия всего XIX века не имела постоянного войска, а всегда пробавлялась чем-то «вроде войска». Но и «вроде войска», если это «вроде» все-таки владеет пушками, крепостями и скорострельными ружьями, не боится никакой «сколько-угодно-миллионной смуты». И там, и теперь, и всегда было совершенно явно, что «в революцию» можно манить, но революцией ничего невозможно сделать, так как давно уже армии стали могущественнее всего населения, – и армии всего света могущественнее всей нашей планеты.

Ну, а если дойдет дело «до зарезу», как и грозитя социальная революция, с «буржуазными классами», – то, конечно, и бороться будут против социальной революции, тоже «до зарезу», а уж не с этим страхом, как бы кого-нибудь не «зашибить», как бы «в кого-нибудь не попала пуля». Вся ведь борьба рассчитана, и всегда решительно считалась, на «сострадание к нам», [...]

даже удивительно, как в «считанных таким образом» сразу же не рассмотрели идущие за ними – прямо и просто провокаторов, обманщиков и лгунов перед толпою.

И вот в толпу этого доверчивого простонародья вместе с «прочую интеллигенцию» попал и недальновидный С. Н. Булгаков, коему «наука» не могла хорошо считать по пальцам.

Его мыли радикальные волны. Но проходило время. Проходили годы. За одним возрастом пришел другой, более зрелый возраст, – и С. Н. Булгаков передвинулся «от марксизма к идеализму». С этим заглавием вскоре после нашей «революции» вышел сборник статей московских идеалистов, – в котором выдающимся участником явился С. Н. Булгаков. Затем появились «Вехи», – и здесь первая и главная статья принадлежит также Булгакову. Но к здравому уму и чистому разумению Булгакова нужно отнести ту честь, что он не остановился на линии отвлеченного германского идеализма, не примкнул к Шопенгауэру или Гегелю, – вообще не остался «в немцах», а прямо пошел к сокровищам идеализма на родной почве. А этот идеализм – в святых русской Церкви и в дивных глубинах православного богослужения...

И еще годы, уже немногие, прошли: и вот Булгаков, с «значительно поломанными и вывихнутыми членами», – поломанными революцией, вывихнутыми Марксом и Фейербахом, пристал к берегу родного православия, – можно сказать – опять вернулся в Орловскую епархию...

Плавание его было узко, но более прочно.

Бердяев очень хорошо его характеризует, – очень хорошо оценивает его историческое положение. Он говорит:

«Я отношусь очень критически к булгаковскому типу религиозной мысли и хочу религиозно ему противиться. Но путь Булгакова, искания Булгакова имеют большое значение и должны быть высоко

оценены. В нем есть подкупающая серьезность и искренность. Он очень русский, и пережитый им религиозный кризис имеет значение для судьбы русского сознания. В лице Булгакова как бы русская интеллигенция порывает со своим атеистическим и материалистическим прошлым и переходит к религиозному сознанию и христианству. Это – процесс большого углубления. В религии Булгакова нет ничего нового и творческого, но сам он, как явление жизни, – нов и по-новому взволнован. Взволнованность его мысли, ее гибкость, ее способность вечно обогащаться и расширяться очень ценны. И все-таки остается впечатление, что в этой взволнованности Булгакова, этой гибкости и богатстве его мысли, этим вопрошанием его не соответствует рождение новой души. Религиозность его ветхая, запуганная древним ужасом.

Он вернулся к традиционной, кровной религиозности своих отцов и дедов.

Булгаков наводит на мысль о невозможности возродить старое православие так, чтобы это имело значение для судьбы России, для судьбы мира, а не только для судьбы индивидуальной души. Булгаков и свящ. П. Флоренский прежде всего спасаются, и все их мышление, все их познание окрашено в этот цвет самоспасения. Они познают истину под давлением панического страха гибели, и это не может не сказаться на характере познанной ими истины, – на ней лежит печать рабов божественного фатума. Булгаков и свящ. П. Флоренский – не свободны».

В этих указаниях есть много, о чем можно и хочется поговорить. «Личное спасение себя, личное спасение своей души»... Но русское православие, но «христианство на Руси» действительно ведь и вылилось в эту одну заботу; это ли только его зерно, его центр, – но это же вся его периферия. Однако может ли сказать Бердяев, чтобы Христос к чему-нибудь другому, к чему-нибудь иному призывал человека, призывал иудеев Его времени – и вот зовет нас, русских? Решительно нет, решительно круг Евангелия действительно и очерчен заботою о спасении души, – своей личной души, вот как она станет перед Богом. Здесь таинственным образом особливые пути России, о которых мы сейчас скажем в этой особливости, действительно совпали с евангельской заповедью: «Думай о том, как ты лично и сам предстанешь перед суд Божий». А особливость путей России заключается в том, что до сих пор по крайней мере, во весь период своей киевской истории, своей владимиро-суздальской и московской истории, своей, наконец, петербургской истории, «русская душа», «русский человек», «все мы русские» до такой степени лежали за пазушкой государства своего, и сил государства нашего до такой степени было достаточно для полной и совершенной охраны «людей русских» от какой бы то ни было внешней опасности, от всякой гибели в мировых катастрофах, что «душе русской» и не о чем было думать еще, кроме самой ее, кроме этой «русской души». Это иногда забывается, но это всегда нужно помнить при объяснении особенного сложения, какое получила наша Русская Церковь. Нужно помнить и при оценке того, почему и сама

церковь, и все русские люди так горячо молятся за «православное христологическое воинство» и за «Благочестивейшего самодержавного Государя нашего» имярек.

Это – не приказ, это – не официальность, а это – суть дела. Здесь, наконец, не лесть и услужничество, как часто и глубоко ошибочно намекали на это Владимир Соловьев и Д. С. Мережковский, – а это выражение истинной и глубокой признательности и Церкви и народа за то, что за стенами железной силы государства они могут спокойно и до некоторой степени внешне беззаботно предаваться любимейшим своим мечтам, любимейшим своим воображениям и об Апокалипсисе, и о «Горнем», и о земном и небесном Сионе, и об «ответе на Страшном Суде Христовом». Сибариты и дворяне, сибариты и ученые, сибариты и литераторы, Соловьев и Мережковский это ни во что не ценят, ибо они могли бы «и в Геттингене» размышлять о том же, о чем в Питере и Москве. Но вот в Чухломе, Костроме и в Княгининском уезде, Нижегородской губернии, нельзя было бы «о том же рассуждать», напирай на нас со всех сторон враги, и грабь и мучь нас феодалы, пропагандируй нас католики и лютеране. Но «Православный Царь» и «Вся палата», да наш «родимый» с ружьем на плече – стерегут границу, сдерживают врагов и дают русскому человеку и «поспать хорошо», и поразмыслить и даже понаписать, в тетрадки, и раскольничьи не только раскольничьи, «Какие будут знамения пришествия Антихриста». Так и именуется одна не малая книжка Стефана Яворского, именующаяся у меня в библиотеке. А разобрать «Знамения пришествия антихриста» для православного вообще до того сладостно, что слаще этого ничего нет. Помню, как около 1900 года я сам, водя перстом по славянским строкам, выводил и то, и се, насчет антихриста... «Родится от девки блудливой» и непременно «от жидовки», и к тому времени «храм будет осквернен»... Все гораздо занимательнее, чем газеты и философы, электричество и нападение на нас панмонголов в известной лекции Влад. Соловьева. Так вот. Покой и невозмутимая тишина православия, и защищенность народа и веры его от каких бы то ни было катастроф и потрясений.

Бердяев и упоминает, что все это «бесполезно для судьбы мира, для судьбы России»... Для судьбы России это ни в каком случае не «бесполезно», ибо странным кажется считать, будто «мир» и «тишина» бесполезны для страны и населения; но «для мира» это в самом деле бесполезно. Но и в данном случае Бердяеву надо вступить в борьбу с Евангелием: ведь оно не призывало и не призывает ни русских, ни римлян заботиться «о судьбах мира». Ведь христианство и Евангелие действительно таково, оно действительно тому учит, что мы видим в России и видим в нашем православии. Бердяев может сказать, что это «множество тишины» ему не нравится, – это его дело. Но он никак не может доказать ни Церкви, ни русскому народу, чтобы именно этому и всецело этому не научал Сам Иисус Христос. Господи, неужели же ему надо напоминать слова: «Довлеет днєви злоба его»...

«Не пещытеся убо на утро» – это слова Христа. И с Ним русский народ верит, что «утро» не принадлежит человеку, что оно вне его счетов...

Бердяев все, что пишет, – пишет под влиянием, может быть мало заметным ему самому, – католичества. Дело объясняется тем, что в крови его бежит русская и французская кровь и он сам, считая свою ближайшую, т. е. недавнюю генеалогию, рассказывал о половине французской, т. е. католической крови, бегущей в его жилах. Ну, а католичество, действительно, сложилось совсем иначе, чем православие! И – фатально для себя собственно, как для церковности. Католичество, папы вынуждены были в эпоху великого переселения народов спасти всемирно-человеческую культуру, – спасти Европу от пришельцев из Азии, спасти благословенную Италию и «Вечный Рим» от гуннов, вандалов и готов... Под эту же нужду, при виде, как все кружится, блаженный Августин и написал первую католическую книгу «De civitate Dei»*, и вместе в этой книге он дал как бы проспект, строй и план, план и путь – всему католичеству. И, пожалуй, можно сказать, что не из-за «печения опресноков» и не при папе Николае и патриархе Фотии произошло то настоящее «разделение Церкви на западную и восточную»: а оно, это «разделение», было положено вот этою знаменитою и действительно великою книгою. С нее именно папство и католичество взяло попечение о мире и «попечение о завтрашнем дне», даже о всех будущих судьбах человечества, взяв камертон из рук Божиих, из рук Неисповедимых, – в свои смертные, бранные, человеческие руки...

И собственно, чем Бердяев тревожит русскую Церковь и русских людей – это «золотыми снами католичества». Но мы их уже видали у Чаадаева, Владимира Соловьёва; так что теперь и у Бердяева они не будут так соблазнительны для нас, как у предшественников. «Третий сон» уже не манит, не нов.

Нет. Россия стоит на своем корне. Бердяев может сказать, что он ему не нравится. Но он не может доказать, что этот корень не есть подлинно евангельский.

ЕЩЕ О МОСКОВСКИХ СЛАВЯНОФИЛАХ

К числу больших качеств московских славянофилов, о которых я недавно писал в «Моск. Вед.» по поводу нападения на них в «Русской Мысли» Н. А. Бердяева, относится то, что они и хотя и нёхотя воспитывают себя, дисциплинируют. Я сказал: «Хотя и нёхотя». Это – именно так, и в таком-то именно сочетании это дело самовоспитания выходит по-русски, т. е. не преднамеренно, хорошо, бесхитростно. Все заняты, и чрезвычайно. У всех на носу лекции, редакционные занятия, – к чему прибавляются по долгу сердца, а не по одной службе отношения к слушателям, воспитанникам, студентам. Все это так ответственно и тяжеловесно, поглощает столько времени, что нужно манкировать свой долг, чтобы отвлечься на сторону, например, для личной полемики, по мотивам самолюбия и т. д. Да, ведь, и самолюбие, – кроме того, – «грех». Явно. И вот, положив перо, они никогда не отвечают на нападения, хотя имеют

* «О граде Божием» (лат.).

свои печатные органы. Нельзя не заметить в сторону, что именно и особенно «духовная полемика» производит отвратительное всегда впечатление каким-то противоречием ее тона и духа самому существу «духовности», т. е. у христиан, — существу незлобивости и прощения. Но москвичи уходят и дальше. Когда один из них лет пять тому назад женился, то добрый друг его писал мне: «Женитьба имела последствием некоторые радикальные перемены: в квартире его впервые появились газеты, чтение коих он раньше запрещал себе. Жена его не может обойтись без газеты, ну и он теперь стал заглядывать в нее и узнавать, что делается на белом свете». Как, по-видимому, это ни странно, но на самом деле это глубоко основательно. Действительно, человек, и притом всякий человек, должен беречь в себе некоторую солидность, тяжеловатость: он не должен быть скор «на ногу и на руку», думы его должны быть несколько растяженные, темы их — важные, вековые. Не хорошо все это преднамеренно вырабатывать (да и «не выйдет» при преднамеренности), но очень хорошо, когда все «так само складывается». Пришли студенты, — о чем-то спросила жена, — лучше дочитать серьезную книгу и даже из нее сделать себе кой-какие заметки, выписки: и номер газеты, даже когда она лежит перед носом, так и не удалось вынуть из бандероли. Это очень хорошо, очень «духовно». Ведь мы не можем «повлиять на современность», она идет уже совершенно вне нас и от нас независимо; зато от того, что газета осталась лежать в бандероли, кое-что выиграет завтрашняя лекция, «насыщенная Платоном». Кто с Платоном живет — и живи с Платоном; а если смешать Платона с Гинденбургом, то не получится ни Платона, ни Гинденбурга, а наш русский «рассеянный профессор» — «ни то ни се» и «никуда»...

Вообще, в самовоспитании вопрос: «чего *не* читать» еще важнее, нежели «что *читать*». Преднамеренно это не выходит; но непреднамеренно иногда отлично выходит.

И вот с этим маленьким предисловием я позволю себе сделать выдержку из письма, продолжающую то, что уже было мною сказано о полемике Бердяева.

«Хотя газет я вообще не читаю, но ваш фельетон в «Моск. Вед.» все же дошел до меня. И если вы уже приняли к сердцу статьи Н. А. (Бердяева), то, может быть, мое понимание этого дела будет вам безынтересно. Говорю «понимание», а сам чувствую, что надо бы сказать: «непонимание». Ибо, по совести говоря, я не понимаю тут ничего, т. е. не понимаю ничего в Н. А. Он ведь — благородный не только по происхождению, но и по личному характеру; он умен и тонок. А писания его в «Русской Мысли», о коих идет речь, кажутся испусканием тумана в то, что весьма ясно, да и попросту сказать неискренними. Если хочет он, я скажу, что и в тайном устремлении его я понимаю его, хотя и противлюсь всем сердцем, — и в аргументации готов во многом согласиться с ним. Но аргументация вовсе не соответствует тайным устремлениям, и потому все в целостности у него, как если бы Н. А. учился у о. иезуитов. Чего, собственно, хочет он? Церковь ли защищать от нас или нас — от Церкви».

Действительно, у Бердяева есть эта, – не хотелось бы сказать, – бестолочь. Статья и уже длинный ряд статей его, считая со статьями 1914 года тоже о московских славянофилах, высвечивает, с одной стороны, злобой и презрением к старорусской церкви, – что-де она «так развалилась, так ветха, что нечему у нее и научиться новым людям, и около нее можно только закостенеть». Но это – один свет. Другой свет – совсем иной. «Московское славянофильство угрожает Церкви, несмотря на весь их притворный археологизм, ибо их подпочвенная мысль или, вернее, их подпочвенный дух и занятия математикой и т. д. говорят о присутствии таких настроений, которые разрушительны для традиционного в православии образа «святого человека», «праведной души». Таков смысл всех статей на всем протяжении. И автор письма совершенно правильно разрезывает этот туман вопросом: кого же от чего спасает Бердяев: славянофилов от Церкви или Церковь – от славянофилов?

«Если он защищает Церковь от нас, то зачем он сам нападает на нее? Если нас от Церкви, то зачем он нападает, что мы не такие, как епископ Феофан затворник? Не все ли равно это Н. А.? А если ни то и ни другое, то неужели Н. А. хочет просто ссоры, просто вражды, просто ненависти? Выходит же, как будто это именно, если он и против Церкви, и против нас. Пусть же он скажет, *во имя чего он действует*. Повторяю, неужели же во имя разделения и ненависти? При его открытости? Итак, я не понимаю Н. А. Я бы понял с его стороны открытую ненависть к нам, как к (мнимым) нарушителям церковного начала, я бы понял и его ненависть к Церкви, как к (мнимой) подавительнице свободы. Но зачем ему нужно разделение того, что, *по его мнению*, и не соединено, – понять мудрено. Мы же его лично не обижали. Что в нем есть вражда к Церкви, – это его дело, пусть он сам отвечает за него. В нас же он не видит подлинной любви к ней, – «ну, и тем лучше», – должен был бы сказать он, а не обличать нас.

Но обращусь теперь к его аргументации по существу. Повторяю, если бы не тайная мысль Н. А., то со многим можно было бы согласиться, хотя *не Н. А. подвергает нас суду церковному*, – т. е. тому суду, которого он сам-то не признает. Однако мы на суд Н. А. призваны, и он заседает в нем с «Кормчею» в руках. Нас обвиняет он в модернизме. Что значит это? – он и сам не объясняет; но суть дела поясняется в его статье упреком, что мы – не то, что епископ Феофан Затворник. Виноваты ли мы? Сначала вопрос о составе преступления. Конечно, – мы не то, что епископ Феофан. Он – затворник, почитается праведником. Мы же почитаем себя и есмь грешники. Он человек другого поколения (годится нам в деды), другого исторического времени, нежели мы, епископ, монах, другого общественного круга и, наконец, – другая индивидуальность. Не быть, как епископ Феофан, в одних отношениях прискорбно, хотя и не означает еще не церковности, в других – и вполне дозволительно. Мы – в Церкви, а не в секте, и в ней – «обители много суть»...

Как это бесконечно хорошо и «кидает камень прямо в центр». В самом деле, Церковь именно потому, что она – Церковь, и только поэтому выше решительно всяких «самых благонамеренных сект», как бы ни были высоки их устремления и как бы ни казались основательны их утверждения. И именно по этому вот единственно основанию, что только «царские врата» Церкви пропускают через себя «многие обитатели», т. е. многие уклады жизни и многие образы мысли, тогда как всякая решительно церковь «уперлась во что-то одно». И от того это, что Церковь есть сумма последствий из суммы «пережитого и передуманного» Церковью же, христианством же, где все «нарочитое» отсечено, вернее – вымерло, подсохло, а сохранено и живет лишь то, что «всем на потребу», всем «хорошо». Церковь именно в итоге своем есть великое приспособление к человечеству, великое милосердие и «к слабым», и «к недужным», убогим и неумным. И в ней от нищего до Платона (если бы он был христианином) – всем хорошо. Всем хорошо, кроме гордецов и суемыслов. И вот им одним, этим гордым и самонадеянным умам, Церковь говорит: «Я не с вами, или точнее: вы уже самою гордостью личного ума – отделились от меня. Идите своими путями, а я пойду своим средним и общим путем».

Продолжаю письмо:

«Много типов не только бытия, не достигшего святости, но и самой святости. Разве св. Константин Равноапостольный – то же, что преподобный Серафим Саровский? И разве преподобный Сергий Радонежский – то же, что святые мученики? Так что же говорить о нас, *грешных* людях, в которых Церковь терпит и гораздо большее разнообразие и расхождение. Но, – говорит Бердяев, – «мы – совсем не то, что М. А. Новоселов, В. А. Кожевников» и т. д. Однако пусть, во-первых, он вспомнит, что и В. А. Кожевников «совсем не то», что М. А., М. А. Новоселов – не то, что старец Герман, нами всеми глубоко чтимый, о. Герман – не то, что о. Алексей затворник, и т. д. и т. д., и, наконец, С. Н. Булгаков – «совсем не то», что я. Неужели надо доказывать эту банальную истину? Но пусть теперь Н. А. объяснит, почему же мы, будучи «совсем не то», что каждый другой, не откусываем друг другу голову, а, напротив, любим друг друга и, более того, признаем друг друга в главном, в существенном, в основном, – что не мешает искренно и без раздражения и недоброжелательства отмечать друг другу и точки расхождения во второстепенном, в недопонимании и погрешности. Мы *стремимся* ни в чем не отступать от Церковной Истины, а отступаем ли, то нам скажет Господь на Страшном суде. Указанию всякому на возможные и даже необходимые, по греховности нашей, по не очищенности сознания, по недомыслию и незнанию, наконец, – на всякие погрешности слушаем с благодарностью, особенно когда они диктуются *любовью к Церкви же*, а не сторонними аффектами. Готовы выслушать внимательно и Н. А., даже такого, каков он есть, т. е. против нас раздраженного неизвестно за что. Но беда в том, что когда он высказывает *существо своих обвинений*, то мы просто не понимаем, что собственно требуется от нас.

Мы, говорит он, *стилизуем* в себе православие. Это можно понять в хорошую сторону, и тогда Н. А. нас только хвалит. Ведь подлинное православие, подлинная церковность не есть естественное свойство человека и достается долгим подвигом, духовной культурой и воли, и сердца, и ума. Разумеется, и мы, по мере сил, стараемся не уклоняться от подвига, которого требует Церковь, и, конечно, часто погрешаем, в чем не станем себя оправдывать и в чем каемся перед Церковью, с которой после сего Бог и «примиряет, и соединяет» нас. Следовательно, если это усилие над собою (а усилие нужно там, где есть разность уровней – данности и заданности) называть стилизацией, а в несовпадении того, к чему мы влечемся душой и чему противится «закон их», живущий в нас, видеть нашу характерную черту, – то спорить с Н. А. мы не станем. Но можно все это понимать *внешне*: например, Анатолий Франс – стилизатор в том смысле, что внутренно он вовсе не верит в ценность той формы, которую принимает как образец для себя и втайне смеется над нею. Так неужели Н. А. полагает, что мы втайне смеемся над православием и не верим в него и, следовательно, не воплощаем его вполне по нежеланию? Думаю, что он этого не скажет. А если не скажет, то к чему же все его речи? Но можно ли сказать, какую выгоду получаем мы? Кто принуждает нас? Зачем мы ломаем свою жизнь, свои привычки, воспитание и т. д.? Тоже можно сказать о Гюисмансе и его разных героях-стилизаторах. Но разве мы что-нибудь подобное делали и делаем? Мы много по слабости не исполняем из того, что требуется, но мы этого не исполняем сердцем и с внутренним отрицанием. Н. А. правильно подметил, что мы не представляем собой ходячих канонов; но отсюда далеко до утверждения, что мы над канонами смеемся.

Вот пока все, что следует написать по поводу статей Н. А. Повторяю, мы люди грешные, но церковные в основе. Н. А. согласился бы признать последнее только под условием, чтобы мы стали безупречными. А с другой стороны, как ни драгоценен, по-своему, епископ Феофан Затворник, им не исчерпывается беспредельность церковности, – есть и помимо него много типов, степеней, путей... Но разве Н. А. сам всего этого не понимает?»

Было бы приятно, если бы это письмо дошло до Бердяева. Все оно исполнено рассуждения и рассудительности и не заключает в себе никакого не только гнева, но и раздражительности против Н. А. Бердяева.

Для меня непонятно, каким образом Бердяев не понимает, до какой степени дело московских славянофилов трудно и как они правильно и стойко проходят через эти трудности. Перед XX веком традиция славянофильства была почти прервана. За немного лет до XX века умерли последние славянофилы – Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов, С. А. Рачинский. В живых не осталось ни одного, если понятно не считать ходящих славянофилов, живущих славянофилов, если ограничиться литературным и философским выражением определенной литературной же и философской традиции. Хлынула рево-

люция, – отрицание России и Церкви всплыло наверх исторической волны. «Все затянуло жидом», и, казалось, жид берет дирижирующую палочку над Россией. В эту-то пору, в самый разгар революции, слагается твердо, отчетливо и решительно московское славянофильство... Нельзя достаточно оценить всей важности этого исторического положения. Если бы общество наше было более чутко, зорко и деятельно, оно вынесло бы это явление к яркому сознанию всей России. Но есть нечто трогательное в том, что сами-то славянофилы этого определенно не хотят, полагая, что «всякая молитва бывает молча» и настоящее добро делается тоже в молчании. Вообще, как ни высока умственная культура этих людей, еще важнее нравственные задатки их. Так и должно быть у русских; издревле и всегда у русских сердце шло впереди всего. «Умы» могут поссориться, «умы» могут разойтись. Умы могут построить «вавилонскую башню», но чаще – разойтись из-под нее «с разными языками». А сердце имеет в себе какую-то вечную и все одинаковую структуру, которая сразу «узнает другого такого же». Москвичи не всегда так миролюбивы, как сказано в этом письме. Есть типы красоты, но есть типы и некрасивого, и именно – морально некрасивого, с которыми они просто не вступят ни прямо, ни заочно ни в какой разговор. Автор письма и начинает с указания на «благородство Н. А. Бердяева, – не только по рождению, но и по душе». Вот это-то и главное. Но может быть прямая злоба к России; но может быть прямая злоба к Церкви и вообще религиозности. Есть на свете «господин позитивист»; есть на свете другой господин, – «социалист и фанфарон». Конечно, ни одному из подобных, ни прямо, ни косвенно, ни под именем, ни аналогично никто из них не стал бы отвечать. Для Бердяева, как бы он ни относился к России и к Церкви, все-таки религиозный интерес стоит выше всех остальных в жизни. Он – не представитель той «тихой революции», которая заключается в подмывании берегов Европы и в превращении былого царства духа в один беспредельный и необозримый трактир («американизация Европы»). А между тем эта подмывающая волна – очень широка, и без преувеличения можно сказать, что она «царь века сего». Борьба против нее одна: замыкаться от нее, не читать, не слушать, т. е. не давать «подмывать», по крайней мере себя единолично. Бердяев не принадлежит к таким людям. Правильно или криво, но он строит идеал кверху, а не идеал книзу. И вот ему – ответ.

Бердяев, вне всякого сомнения, почти вовсе не знаком с православной Церковью, – иначе как через книги; незнаком по опыту жизни, по практике жизни. Это отнимает почти все качества у его писаний на данную тему. И славянофильство он знает поверхностно и формально. В православии есть великие черты, почти неуловимые, не формулируемые. Суть православия – в святых его; в самых образах их и в самой жизни их. О всех славянофилах Москвы, без проверки и не спрашивая, можно сказать, что они «поверили тому, что видели», а не поверили тому, чему «их научили». В православии они увидели то особенное личное, что именуется «святным», за что «святкой» и нарекается по кончине именно «святным», и им прямо страшно подумать,

как могли бы они от этого отречься, от этого отделиться, – с этим даже не слиться. Москвичи живут близ Троице-Сергия, а там «есть чего посмотреть» и кроме богословской учености. И вот они «посмотрели», и это решило дело. А не умственные выкладки, хотя и они «не мешают».

Бердяев много писал и постоянно пишет. Много думал, – вообще он талантлив. Но ему нужно ко многому еще «принюхаться», – поглядеть глазком, «постранствовать по Руси», расширить вообще свой человеческий опыт, свою человеческую зрительность, свою человеческую осязательность. «Нельзя все думать, с ума сойдешь». И вот при расширении опыта, если этому Бог учредит совершиться, – он мог бы принести на русской ниве совершенно иные плоды. Плоды совершенно другой исторической значительности.

РЕЛИГИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ

Исследуя религиозность С. Н. Булгакова, г. Бердяев задевает множество тем, в высшей степени интересных, в высшей степени важных и волнующих, которые принципиально и окончательно, вероятно, никогда не будут решены и которых решение поистине принадлежит условиям «места и времени». Таков вопрос о связи «религии» и «национальности». По-видимому, «религия» связывает «душу человека», «совесть его» – с «Богом» как сущностью мира, как зерном мироздания. Где тут нации? Они исчезают, как малое. Так судит, например, католичество, стремясь к всемирности, пытаясь в охвате своем обнять Италию, негров и китайцев. Все мы знаем и все мы дивились в свое время, как находчивые и изобретательные иезуиты, ведя пропаганду в Африке, устроили образ «Негритянской богородицы», «Негритянской мадонны» с черною кожей, толстыми губами и только, слава Богу, не в негритянском костюме, т. е. вовсе без костюма. Но, поступая таким образом и будучи с виду «универсальным», «поверх наций», «католичество не выберет, однако, в папы не только негра или славянина, но оно не выберет папою и немца. Существует принцип и непоколебимая традиция, по коей папою не может быть никто, кроме итальянца. Т. е. католичество только в пропаганде универсально, а в зерне своем это есть национальное римско-итальянское явление. «Религия всемирна», существует «для человека и человечества», она «существует только для души», – но, по-видимому, именно – в смысле предмета желания, а не в смысле субъекта желающего. И это восходит к самым корням, к самым началам. Пророки были «из евреев», но вот пришла чреда расторгнуть национальные иудейские узы. Однако самое расторжение произошло не извне: в Вифлееме Иудейском был рожден Спаситель мира, и Его апостолы и ученики – все из евреев. Таким образом, и здесь «исходящий луч» – национален, хотя он – и пролетает всю вселенную. И вот отчего с тех пор и до нашего времени все космополитически-религиозные рассуждения как-то и почему-то являются бессильными. Это – красивые рассуждения, но какие-то орхидейные, висящие в воздухе, без земли над корнями. Без земли и без крыл. Такими орхидей-

ными и бессильными игосифовиями явились на нашей почве учения Чаадаева и Владимира Соловьева, и, по-видимому, в такое же учение слагается и учение Н. А. Бердяева. Он с явным неудовольствием пишет о Булгакове: «Внутренний религиозный опыт Булгакова – сложен и неисследим до конца. Но в том, что подлежит нашему обсуждению в написанных им книгах, я не вижу никаких признаков нового, вторично рожденного, внутренне свободного духа, постигающего все внешнее как символизацию внутреннего, достигающего независимости от материальной родовой жизни. А ведь с этих внутренних достижений должно начаться религиозное возрождение, новая религиозная жизнь»...

Минутная оговорка: у Бердяева так все и мелькает «новое». «Новое» – рай, «старое» – земля, да еще и отвратительная земля, но ведь есть и другой вкус: «новое – гадость», «старое – прелестно». Почему нет? Мне гадки новые незнакомые кушанья, новые квартиры и дома, новая одежда, везде жмущая и еще неприноровленная: а «старый дом», «старый письменный стол», «старая жена», «старая одежда» – привычны, мягчат души и в тысяче отношений сладостны. Я беру сравнительные мелочи, потому что и Бердяев к великому делу религии применяет решительно мелочный масштаб: «нового». «Новое» в религии – хорошо; «старое» же – единственно только по тому одному, что оно «старо», «привычно» и «долго исповедуется», – худо, и худо вне всяких отношений к истине и к благу, добру. Он написал книгу «Философия творчества», которую всю построил на этом фетише «нового».

...«Религия духа, – продолжает он, – не есть отрицание символов плоти. Но религия святой плоти, природной и исторической, – невозможна. Вовне, в объективации, в природе и истории всегда дано лишь относительное, никогда не абсолютное, – лишь символическое, а не реальное».

Да, но ведь и «новенькое»-то подлежит все этим же критериям. Ведь это будет «новая материя», «новая историчность», новая, следовательно, «временность».

Куда же деваться и как поступать? Из «ветшающего» переходим в «ветшающее»? Зачем? Для чего переход? Зачем «переходить», когда, по Бердяеву же, («в лучшее» и «в вечное») перейти человеку не дано по сущности вещей.

Но «религия», будучи обыкновенно «национальным» в переживаниях, в осуществлении, – так сказать, в красках и в напевах, – в самом тоне и «содержании песни» не есть никогда национальное, коллективно-национальное, а самое то главное: религия идет от Бога и дана людям и человечеству – в Откровениях. Недостаток и громадный недостаток Бердяева заключается в том, что он говорит о религии без достаточной тяжеловесности, без достаточной солидности, отчего и происходит, что он толкает нас менять религиозные формы, как политические платья...

«Тип булгаковской религиозности порождает религиозный национализм, абсолютизацию национальной и исторической плоти»...

Ну, «абсолютизацию» не абсолютизацию, – а укрепление – да. Бердяев, – полуфранцуз, полурусский, – просто этого не понимает, а потому и не видит величайшей этого ценности. Ему нравятся цифры «два» и «три», но не нравится «два пуда ржи» и «три каравай хлеба». Между тем отвлеченность не противоречит конкретности, а «любит» конкретность, воплощается в ней и подпирает ее. «Два каравай хлеба» лучше «двух», потому что тут есть и цифра «два» во всей ее полноте и значительности и есть еще сверх этого «хлеб» и мастерство выпечь муку в «каравай». Конкретное всегда выше, полнее, сдобнее отвлеченного, – и вот отчего не без основания многие в истории нашей не любили, точнее – не доверяли разговорам о «христианстве», предпочитая, чтобы на место этого ставили всю сдобность, всю личность, всю «живую душу» православия. Ибо «христианин» – это и лютеранин, и пастор Штекер, и даже Ренан, наконец, это – инквизитор испанский, а «православный»... тоже может быть с большими недостатками, и даже, наверно, с очень большими, но из-за спины его не слышно гари человеческого мяса и не видно отрицательного богословия. «Другое» зло и меньшее, иное и во всяком случае – «наше».

Бердяев может многое поставить на счет православия, но он ему не поставит на счет кровожадного, неумолимого (суть инквизиции) и кривого (иезуитство у католиков). Но вот нашему «национальному характеру: это специфически противно, – и нельзя не сказать, что «Церковь русская», выработавшаяся под воздействием этих национальных черт характера, теперь, в свою очередь, своим «кротким и мягким духом» поддерживает эти добрые национальные черты уже как религиозный авторитет, как (в некоторых случаях) церковная власть, – не допуская быть и в других, в гражданских и бытовых столкновениях жестокости, бесчеловечию и кривизне, хитросплетению. Русская литература гордится своим «грубоватым чистосердечием» и, с другой стороны, тоже гордится своею близостью к жизни, к быту, своим «натурализмом» и «реализмом». В нашей литературе как-то невозможны «Люциферы» и «Манфреды», ну невозможен и «Фауст»; между тем многим ли писателям, из коих часть или полные атеисты, Чернышевский или Тургенев, что лучшие стороны их литературной деятельности обязаны происхождением своим веянию на них, на этих атеистов, церковного дыхания. Ибо церковь надыхала все это в быт, в душу, рассеяла везде, молясь и о болезнях, и о хлебе, и об урожае, и о «плодах» земных», и о «временах мирных». Кротость и тишина православия, – кротость и тишина русских святых, – она теперь действует, как вечное и древнее начало, на купца, на помещика, на священника, на помещика, на воина. Получилось «христололюбивое воинство», – которое и на всемирных весах кое-что весит. И как вот не прав Бердяев в заключительных словах приведенного отрывка:

«В Булгакове преобладает жажда растворения в матери-зсмле. Для его религиозного национального мессианизма более характерна верность материнскому лику, чем мужественно-творческий призыв к

будущему, к активному выполнению национальной миссии в мире. В отношении Булгакова к России совершенно отсутствует сознание необходимости раскрытия и развития человеческого начала (!!! – В. Р.) в России, религиозного откровения личности. Он хотел бы оставить русский народ в натуральном коллективизме, который представляется ему религиозной соборностью».

Но разве «кротость», «тихость» – не человечесны? Да, это несчастье русской интеллигенции. Назови вещь «пацифизмом», и все закричат: «Как это человечесно!» – «какой это высокий идеал». Скажи: «Но об этом молится Церковь», и все отвернутся: «Какая скука!» С этим бедняком ничего не поделаешь.

Полный сухих и пустынных веяний, в другом месте критики православия и тех же идей С. Н. Булгакова Бердяев упрекает, что в Русской Церкви в изображениях Богоматери и всех боголепиях ее преобладает мотив именно Матери, и не мотив Девы. К этому он присоединяет и упреки лично Булгакову за его «софийное хозяйство». Между тем здесь одна из драгоценных черт мышления Булгакова. Обжегшись на Марксе и Фейербахе, в то же время политико-экономист по занимаемой кафедре, С. Н. Булгаков очень правильно и очень мудро стал искать подвести трудовую и хлебную жизнь народа православного под крыло Церкви же, и это совершенно правильно, это отнюдь не антицерковно, потому что «под молитвы церковные» урожай уже подведен, и было даже (мне рассказывал г. Поселянин) пожелание иеросхимонаха оптинского Амвросия об одобрении образа Божией Матери – «Спорительницы хлебов» (урожая). Справедлив или только «переданная легенда» этот рассказ об иеромонахе Амвросии, авторитет коего очень велик, – но вообще православие, будучи столь народным, и именно крестьянски-народным, конечно, имеет тенденцию обнять собою народный труд во всех благочестивых формах его. Но вот тут, где Булгаков делает столь правильный шаг к «религиозному творчеству», вернее – к философски-религиозному, – Бердяев вдруг его останавливает, и останавливает потому только, что это «в духе православия и раскрывает дальше православие», а не в духе католичества, не в духе, например, политически деятельных католических монашеских орденов. Здесь мы прямо видим излом в Бердяеве. Видим, что ему неприятна самая почва православия, самый дух его, самая история его. Ну что же: он по крови своей в значительной части человек чужой истории. Но нам своя родная почва мила и мы желаем пахать именно свою почву. Он нам нисколько не угрожает, но он нас и нисколько не соблазнит.

Остановимся несколько на характеристике других членов Московского славянофильского кружка:

«В противоположность Булгакову и Флоренскому, которые так несвободны внутри себя, – совершенно свободен другой представитель православной религиозной мысли – В. Ф. Эрн. Он утверждает свое исключительное православие из себя, из своей свободы и ни с кем и ни с чем на свете не считается. За религиозно-философским мышлением Эрна чувствуется не столько оригинальный и самобыт-

ный ум, сколько оригинальный и самобытный характер. Но в нем есть что-то не русское, слишком ясное и успокоенное, не мятушееся, что-то от протестантского пиеизма, слишком доктринерское. Эрн менее интересен и показателен для русской религиозной мысли, чем Булгаков и свящ. П. Флоренский, хотя доктринально он один из самых крайних славянофилов. Вполне свободен по сравнению с Булгаковым и Флоренским и князь Е. Н. Трубецкой. Но путь его не сложен и слишком ясен, в нем не чувствуется взволнованного трепета религиозных вопрошений и сомнений. Христианство кн. Е. Н. Трубецкого слишком гладкое, слишком рациональное, не знающее антиномий, слишком, быть может, либеральное. Некоторое сближение Вячеслава Иванова с группой московских православных, их религиозное влияние на него и его эстетическое влияние на них не дает основания причислить его к типу православной религиозной мысли. Он остается прежде всего и больше всего значительным поэтом с религиозными, мистическими и философскими настроениями, не принимающим окончательно никакой веры и никакого философского учения, – учителем искусства, а не учителем жизни. В нем остаются не до конца просветленные элементы свободной мистики и недисциплинированного оккультизма, хотя в известный момент он может являться и в облике православного. Наиболее органическим у Вячеслава Иванова остается все-таки его дионисизм и его язычески-дионисийские интерпретации самого христианства. Руссизм Вяч. Иванова носит на себе печать утонченной западной культуры и художественной стилизации, чуждой русской душе. Центральное значение остается за С. Н. Булгаковым и Флоренским».

А по существу «центральное значение» остается не за каким-нибудь из связанных «дружбою» славянофильских друзей Москвы, а за самым этим «дружеством» их, за прекрасным и благородным союзом их, братством. Вот это-то явление и есть главное и самое обещающее. Нельзя не сосредоточить внимания на том, что громадный том в 800 страниц, в котором изложена «православная теодицея» П. А. Флоренским, – и который, будучи свободным и вдохновенным трудом, был для него «диссертацией на получение профессуры в духовной академии, – изложен не в параграфах и главах, а изложен в форме «Писем к Другу», – писем-рассуждений частного, личного и глубоко интимного характера и особенно тона. Труд этот, жадно и быстро раскупленный нашим духовенством и который автор отказывается вторично издать за какими-то его «недостатками», которые ему нет времени исправить, – составляет эпоху в нашем богословствовании. И эпоха эта составлена не столько даже самым мышлением, на множестве страниц гениальным, сколько именно этим тоном, полным глубокого чистосердечия и, так сказать, великой «внутренности». «Сказалась душа», – сказался ум «вот весь, какой у меня есть». Но вернемся к «дружбе». Диссертация написана в форме «писем к Другу», – а в жизни москвичей проведена эта «дружба» как жизненное христианское начало. Возник собственно светский монастырь, где есть жена-

тые и неженатые, где больше всего религии и молитвы, но где есть и занятие политической экономией (Булгаков), и занятие математикой и мистикой (сам Флоренский горячий защитник платонизма). Богатство цветов, узора, сложность красок – вот самое обещающее здесь. Кружок молод, крепок, – и, конечно, будет все крепиться. К нему все тянутся, главным образом тянется молодежь, кончающая университет. Вот это-то главное. И как не сказать издали: «Заря! Заря!»

ИЗ БЕСЕД НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕМЫ

Был я как-то это время благополучен и на письма, на присылки книг и на посещения. Наш известный эксперт по судебной медицине, проф. Д. И. Косоротов, прислал мне оттиск обширной статьи, напечатанной в «Журнале Министерства Юстиции», – под заглавием таким же, как недавно указанная мною статья Л. Б. Бертенсона, – «О неспособности к брачному сожитию». Статья преисполнена учеными ссылками на нормы права по этому вопросу не только немецкие, французские и английские, – но даже на испанские и шведские нормы законодательные и ученую по этому вопросу литературу. Читал я и, кончив, подумал: «Эх-ма, – а ведь рукавица-то за поясом». Читатель ничего не замечает при мысли о существующем законе расторгать браки по неспособности одного из супругов к отправлению физических обязанностей супружества? Наверное, ничего. А между тем тут две поразительные, *уже принятые в закон и не опротестованные церковью истины*, из которых вытекает множество других и даже вытекает полное здоровье семьи.

Первая истина заключается в том, что таким образом церковь сама согласилась принять в состав разводящих причин одну норму такую, какую вовсе не указал Спаситель и которая вовсе не содержится в знаменитой 19-й главе Евангелия от Матфея, служащей и всегда служившей единственною у нас и во всем христианстве нормою развода. Согласилась, – и вполне разумно. «И приступили к Спасителю *на дороге* фарисеи и стали Его спрашивать, по всякой ли причине можно разводиться?» Как же можно было упустить из виду, что Спаситель был спрошен «в пути», «на дороге», т. е. в физических обстоятельствах таких, которые исключали возможность обширного и долгого рассуждения, как это было то «на горе», то «на Галилейском озере», то «в беседах с учениками»? Это был «встречный ответ» на «встречный вопрос», – дело момента, минуты, где Спаситель и не предусматривал всех возможных коллизий, в которых мы путаемся, напр., теперь. Принцип, сказанный Спасителем, собственно один верховный: не допускать в браке «жестоковейности», т. е. не допускать условий и положений, ведущих к «ожесточению» или к «жестокому, несчастному положению» другой стороны, с которою брак расторгается. Поразительно, что на эту основную сторону мотива Спасителя ни один из канонистов не обратил своего внимания, а между тем она ключ всего дела. Ведь Спаситель прямо так и начал ответ фарисеям: «Моисей *по*

жестоковейности вашей дал право» разводиться с женою по всякому поводу, – и далее ограничивает это право только случаем прелюбодеяния жены. Какие же, собственно, «случаи жестоковейные» имел в виду Спаситель? Да ту явную и простую, что мужу разонравилась его жена, – и, хотя она невинна, любит его и угождает ему, но он *по закону Моисея и жестоковейности* народа иудейского выставляет ее за дверь, изгоняет из дома своего и лишает пропитания. Спаситель и отставивал кров и хлеб жене. Но не принуждал мужа собственно к сожителству и супружеству с нею; так у евреев, и только для одной Европы многоженство прекратилось лишь в XIII веке по требованию знаменитого раввина Герсона. Таким образом, «принудительной любви» и «принудительного сожителства» (разве оно возможно?!) Спаситель не устанавливал, а установили только мы и тем повели к жесточайшим нравам, вплоть до попыток убийства «опостылевшей жены» или «опостылевшего мужа». Евреи «выставляли за дверь», и это было действительно жестоковейно и окаянно, – но мы такие «Авели», что делаем попытки убить и все же не почитаем себя «жестоковейными».

Церковь явно, право, уже вышла из норм 19-й главы Матфея. Вышла и нисколько не нарушила мысли Спасителя, ибо поддержала основной Его мотив: «Да не будет между супругами жестоковейности». Посему если государственная власть покажет ей другие случаи, ведущие тоже к «жестоковейности», то духовная иерархия никак не может перед лицом государства сослаться на то, что «Спаситель не указал такой причины». Ибо уже на одну лишнюю, не евангельскую причину, она согласилась.

Теперь, последую этому же мотиву Спасителя – «не жестоковействовать», спросим всех и спросим духовную иерархию: а каково же положение мужа, если его бросила жена? И жены, если ее бросил муж? Не «жестоковейно» ли паче всяческого? И тут-то входит уже признанная законом и не опротестованная духовенством «неспособность к брачному сожитию», как повод к разводу. Господа, протрите глаза, – отцы родные, протрите их. Неужели же вы не видите, неужели же кто-нибудь не видит, неужели не видят профессора и академики Бертенсон и Косоротов, что «убежавшая от мужа жена» и «скрывшийся от жены муж», само собою разумеется, «содержит в себе еще меньше средств удовлетворить брачно» супруга или супругу, нежели всякая больная и всякий больной. Господа, да чего же толкуете и смешите не только человека, но и куриц:

«Жена расторгается с мужем, хочет или не хочет – все равно, *если общение с нею невозможно*».

Но она убежала в Америку: возможно ли с нею общение?

Явно, что бегство превышает всякую физическую неспособность. Спаситель сказал: «Не огорчай жену любящую, – не разводишься с нею, хотя бы ты и не любил ее». Таков смысл, таков полный тезис Его слов. Но тут жена сама бежала и не хочет жить с мужем. Муж бросил жену, и жена, прождав его три года, просит у духовного начальства развода, – ибо она хочет семейной жизни и детей.

Да. Но куда же девался Иуда-то? И Христос до Тайной Вечери не видел, что «один из учеников предаст Его». В деле развода мы именно и видим, что «один Иуда судит, а прочие 11 апостолов молчат». Или молчат, или занимаются прочими благими делами. Во всяком случае «не судят жену и мужа». Они – святые, они – благие. Учат, творят милостыню. Но «во стул Иуды» уселись особенно профессора канонического права, и в университетах, и в духовных академиях.

Они оглянулись. «Если мы разведем, то выйдет счастье. Чужое, не наше счастье. А мы любим только свое счастье, а чужого счастья мы не любим». «Припечатаем». «Не расторгать брака». «Что, давятся, вешаются, покушаются на жизнь друг друга? Ах, окаянные. Но все-таки не расторгать. И если прольется кровь, мы умываем руки».

«Также» судят под славянскими титлами, профессора Бердников, Барсов, Павлов, Суворов, Красножен, Заозерский, почившие и живые.

В. С. ФЕДИНА. А. А. ФЕТ (ШЕНШИН). МАТЕРИАЛЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ

Если русская поэзия – сокровищница, прав был Владимир Соловьев, говоря, что она хранит «алмазы Пушкина, жемчуг Тютчева, изумруды и рубины Фета»... Нет камней, драгоценнее названных, и нет в нашей литературе поэта, занимающего равное место наряду с Пушкиным, Тютчевым и Фетом. Один Лермонтов неоспоримо их соперник и даже не соперник, а союзник и брат. Слепителен венец, выкованный русскими поэтами, и для него уверенной рукой Лермонтова добыт черный алмаз, дополняющий своим темным блеском светлую игру пушкинских драгоценностей.

«Труд критика – искусство ювелира. Их работа – одинакова: все найденное в недрах гор и в россыпях человеческого духа должно быть рассмотрено, определено и взвешено ими. Исполнила ли наша критика свой долг по отношению к Фету? Создала ли она достойную оправу, четко обрисовывающую тонкую грань его изумрудов? Каждый карат дорог, но подобрано ли и оценено ли в полной мере роскошное наследие Фета? Отрицателен ответ на эти вопросы. Сделано мало, ничтожно мало в сравнении с тем, что можно и нужно было сделать, имея пред собой такое богатство».

Почему? Можно и в 1916 году сказать, что читающее русское общество до Тютчева или Фета, – и особенно до Фета, – еще не созрело. Как же, мы по стихам учимся прозе; и если в стихотворении не вложено полезной прозы, «чему бы нам выучиться, как по учебнику», мы и не будем читать такого стихотворения. Посему нам до сих пор нравились больше всего прозаические поэты, которые нам говорят попросту «истину». Напр., что «человек есть человек» и что «он должен быть гуманен». За такой фунт золота мы ему простим недостаток рифм и даже худое согласование. А поэзия «без удержанья»? Не пришло еще время. Но Соловьев хорошо сказал: в самом деле, с

Толстым, Достоевским, Гончаровым и Тургеневым русская проза только *выравнилась* с поэзией, но не превзошла ее. Русская поэзия – вечная грань мира. Мир обеднеет, солнце несколько потухнет, если бы «взять да и зачеркнуть русскую поэзию».

Федина с безмерною любовью прикасается к Фету, его цветистым камням, к его личности. В книге дано подробнейшее изложение всех данных о странной и запутанной биографии Фета, особенно о его рождении. Эти данные она подвергает внимательнейшему разбору. Выходит, что русской крови собственно несколько не течет в фетовских жилах. Не оспаривая данных, заметим, однако, что кое-что в характере, приемах слова и мирозерцании Фета есть до того русское, что, сколько бы он ни пытался это «впитать со стороны», он не мог бы. «Тут кровь говорит». Возможно ли такое усвоение? Не оспаривая данных, как они содержатся в документах и свидетельствах современников, скажем, однако, что «свидетельство прямого и общего воззрения» что-нибудь значит. «Подробные» свидетельства собственно документов и личных показаний грешат всегда одним: в них самих нет доказательства того, что что-нибудь не потеряно еще, что-нибудь еще не забыто и, наконец, просто по случаю и капризу судьбы тоже не «засвидетельствовано». К 100 рассказам случайно не прибавлен «101». Конечно, если «не рассказано», то нечего и ждать. Но именно в Фете «есть чего ждать». Такова морально-бытовая физиономия.

В книге есть отдельные статьи: 1) «Проблема «муки слова» в поэзии Фета», 2) «Флора и фауна в поэзии Фета и Тютчева», 3) «Горные пейзажи в поэзии Фета», 4) «Значение ароматов в поэзии Фета». В последней статье параллельное изучение лирики Фета, Пушкина, Лермонтова и Бодлэра дает самые неожиданные результаты. Взяв для параллели стихотворения, где названные поэты говорят о «поэзии», «призвании поэта», о «вдохновении» и идеале, какие вдохновляют поэта или мучат поэта, – г. Федина указывает, что у Пушкина и Лермонтова совершенно отсутствуют, так сказать, «пахучие двигатели», отсутствуют сравнения с цветами и запахами, – все образы и сравнения взяты или зрительные, или идейные. Напротив, у Фета – пахучесть, ароматистость, – притом не тяжелая или острая, а северная, не сгущенная пахучесть – везде мелькает в стихах. И он сам определил:

Цветы и песни с давних лет
В благоухающем союзе.

Эта глава читается с высоким интересом. Тут автор показал истинное мастерство исследователя.

Книга его прекраснейший вклад в литературу о Фете и вместе высокий образец критической сосредоточенной работы.

... Совсем недавно я купил третье издание «Введение в историю Греции. Обзор источников и очерк разработки» профессора Харьковского университета г. В. Бузескула; и как раз к этому времени скользили перед глазами столбцы «Неудачного приключения», т. е. дела г-жи Пуарэ и графа Орлова-Давыдова, члена Г. Думы. И по поводу занятой семейной истории титулованного «лорда нашей нижней палаты» я стал припоминать об ужасном «приключении на автомобиле» тоже русского не то магната, не то простого смертного и лишь миллионера, погибшего где-то около Москвы, на «переезде» или «на состязании», — от того, что на исключительном его автомобиле руль перестал действовать, и автомобиль слетел в речку, а миллионер утонул. В торопливых сообщениях между прочим писалось, что они вдвоем с женою «занимали квартиру в 18 комнат». Но жена его «эти дни уехала в имение». Скучая быть один в 18 комнатах, муж переехал в Европейскую гостиницу, — на время, чтобы было с кем завтракать. И вот тут автомобиль, гонка и смерть. И дело Пуарэ. И книга Бузескула.

Я купил собственно ее для того, чтобы прочесть о раскопках Эванса на острове Крите, — ну и заглянул в другие «раскопки». Оказывается, все «копались», кроме русских; и греческую историю тоже все «разрабатывали», кроме соотечественников. А из соотечественников разрабатывали только Бузескул, Иетушил и Поспешил (это не перевираание фамилий, а подлинные). А где же Ивановы и Семеновы? Они занимались приблизительно «делом Пуарэ» и «меняли 18 комнат» скучной квартиры на роскошные номера Европейской гостиницы.

А ведь давно русских «учат». Сколько «раскопал» один Шлиман: а происходил он просто из приказчиков, но приказчиков немецких, — и в детстве зачитался о Трое и решил «Трою откопать». Детский благородный мотив, но держится всю жизнь, — хочется добавить: всю благородную жизнь. Отчего у русских титулованных и нетитулованных особ на уме одни пошлости, и за ними все охотятся бабы? Отчего, вообще, со времен обличения Гоголя русская жизнь продолжает быть такою же пошлой, «не подвинувшись шага вперед»? Куда деваются наши миллионы? Неужели все бабы съели, и все продано по дорогим ресторанам и прожито по дорогим гостиницам?

А раскопки так безумно интересны. Еще раз повторяю: так безумно интересны. Кажется, Крит пережил две эпохи: собственную «критскую» и «эпоху Эванса». Черт знает, что откопали: сто минотавров. Там ходила Ариадна с нитью по лабиринту. Любили. Были в залах загадочные «двойные топоры». Что ими, жертвы приносили? Что они значили, эти «двойные секиры»? У меня есть на монетах: «Идущий Зевс с двойною секирою» (лезвие снизу и другое лезвие сверху). Зачем два лезвия, два острия? Загадочно. Но главное — минотавры и все сказочные чудеса интереснее шлимановских и троянских?

И никто не полюбопытствовал, из Орловых, из Кочубеев, из Бяратинских. Я слышал, в России есть состояния, которые приносят в год по одному миллиону чистого дохода. У Бузескула я прочел, как много «раскапывающих экс-

педиций», в разные места Греции, в разные места Египта, в «благословенную» Месопотамию, на места Вавилона и Ниневии было снаряжено на частные средства, – таких же вот лиц, как наши Орловы, Кочубеи и Барятинские. Почему же ничего благородного и возвышенного не придет на ум нашим Орловым, Кочубеям и Барятинским? Я называю имена совершенно случайно, какие «мечутся» из истории, не желая никого фамильно обидеть, не зная даже, богаты ли именно эти фамилии, – но, однако, зная, что «в этом ряду» есть кто-то виновные, и страшно виновные, перед Россией, перед всем светом, но особенно перед благородным своим происхождением (вполне верю в него, т. е. вполне верю в исторические заслуги) и перед... своею совестью. Но вот перед последним указанием поперхнешься.

Все бабы. Все гостиницы. Все автомобили. Благородный Шлиман, и твои бессмертные открытия. Всего приказчик. И вот за шестьдесят последних лет, когда и сделаны все открытия, не нашлось ни одного... ни одного... ни одного русского барина, с душою и благородной мечтой детства, как у этого немецкого приказчика.

Да, «копали» на Днепре, «у себя под боком»... «Мою туфлю никуда далеко не забросишь», – как говорит Обломов. Да, интересно. Но «раскопки на юге России» вообще не представляют громадного собственно исторического интереса, собственно цивилизационного интереса. На юге России был быт, а не была история. Почему же собственно «история»-то не заняла никого из русских?

И нельзя даже пожаловаться на одних титулованных. Посмотрите, профессор И. В. Цветаев, – «бедный, как все профессора», – однако путем просьб, хлопот, забот воздвиг миллионный «Музей изящных искусств» в Москве. Теперь – украшение Москвы, теперь – достоинство Москвы. Очевидно, дело лежит глубже и заключается в совместной лени или, правильнее сказать, – в совместной неспособности русской титулованной знати и русской профессуры. Дело заключается не в одних Орловых-Давыдовых, «так занятых Пуарэ», но и в том, что и до уровня Бузескула, Нетушила и Поспешила ни один «Иванов» не поднимается.

Бедная Русь. Бездарная Русь.

Все говорят: «Художественная нация». «У нас Толстой» и прочее. А мне давно мерещится, что пора заговорить о бездарности нации, которой ничего в фантазию благородного не затешется, и все там торчат одни «ножки Пуарэ», да в «18 комнат квартире», т. е. одно бабье мясо и одно личное чванство. Что это, ад? Хуже. Кабак, пойло и мерзость.

Тупенькие. Просто одна аттестация: тупенькие. Нет Шлимана. Нет воображения. Кто на одно бабье мясо ползет, – кто ползет на автомобиль и в «18 комнат своей квартиры», – имеет просто психологию черного рака, который не то насекомое, не то черт знает что. И таких «черных раков» просто к черту бросают, и если с нашей аристократией, да с нашими «благородными университетами» черт знает что «случится» – нечего жаловаться и плакать: «Нас обидели».

«Ни к черту не годные вещи» просто «бросаются к черту».

Ну, приходите «Нетушили» и «Поспешили» и занимайте место «приднепровских раскопок», где, говорят, в древности царицы носили роскошные диадемы, но потом пришли сарматы, половцы, печенеги, Орловы-Давыдовы и сто русских профессоров Ивановых, которые хотели против Орловых-Давыдовых устроить революцию, но их за то посадили в кутузку.

И тем кончается русская история. Талантливая история.

ЭЛЕОНОРА ДИКСОН. ГЮЛЬХАНА

Сборник стихотворений. Ташкент. 1916 г.

Запишем Элеонору Диксон в русские поэтессы. Издала в *Ташкенте* книжку стихов:

Ты сегодня мне мил, если хочешь, приди.
Но в грядущее, в даль, не гляди, не гляди!
То, что вечной любовью люди зовут,
Есть на деле всего только тяжкий комут.

Это не имеет права нравиться шестидесятилетнему. Но нравится. Что поделаешь. Поэзия. И еще, «потом»:

Ах, гвоздика уж увяла...
Я гляжу вперед устало...
Вдаль бежит небес лазурь...
Ищет сердце новых бурь.

Нравится и это. Я скажу девушке или поэтессе: «Ничего. За зарей приходит заря. А в заре Бог устроил росу. А роса – она такая свежая, природная, утренняя: и если на которую гвоздичку даже наступили, то под росой она опять выпрямится, опять на нее взглянут с любовью люди, и во всяком случае ее опять любит Бог. Так что в общем нет печали, около которой не стояло бы утешение».

Ну, – поэтесса расшалилась и расшалила своего рецензента. Это из трех стихотворений, под общей рубрикою «Вакханка». На самом деле, автор серьезен, – и сложно серьезен, хорошо серьезен. И хороши в маленькой книжке специально туркестанские мотивы, до того непохожие на наши:

Желтый песок и пустыня...
Яркие солнца огни...
Только песок и одни
Солнца святые огни
В этой безбрежной пустыне...

Стихотворения: «Сартянка», «Сартская девочка» – говорят о всей безумно душливой жизни мусульманского Востока, которая, пожалуй, в синеве

дыма кажется иногда прекрасной и волшебной. И в особенности этот ужас рабства, под именем «брака». Стихотворения под рубрикою «Вакханка» я и объясняю, как реакцию вот на это.

От зари и до зари
Взаперти сидит Сартянка
В душном, темном ичкари,
Как прилично мусульманкам.
Перед ней гайдуш, пьяли...
Полуспит она лениво,
И все снится ей вдали
Стройный юноша красивый...
Мужу-старцу за калым
Продана она атою.
И пошла покорно с ним
О другом полна мечтою
.....
.....
Дети, данные насильем,
Жизнь тупого полусна
И безвольного бессилья...
Нет здесь арфы, нет здесь книг,
Никаких нет развлечений,
И подавлен в ней родник
Всех высоких вдохновений.
Только счастья у нее, –
На огонь глядеть сандаля,
Иль мечтать, насвай жуя,
У ветвистого миндаля...
Иль с другими кунбаши
Поделиться сплетней новой,
Поглядеть, как хороши
У соседок их обнови...
А в тиши немых ночей,
Как колдун из страшной сказки,
Муж приходит от бачей
Для животно-грубой ласки...

Ужас! Ужас! И это – для восьми миллионов, половины мусульманского населения России. Вспоминаю замечание одного славянофила: «Да, в Европе – алкоголизм, проституция, разврат. Ужасаешься на это, но додумываешь думу: да, но только в Европе и гениальное, свободное, личное развитие». И вот когда посмотришь на строгий Восток, с замкнутыми, невольно целомудренными женами, то вдруг странным образом потянешься к вакханкам. Сложен мир, – сложен и как-то нерешителен во все стороны...

«СВЯЩЕННЫЙ» ОТТЕНОК В ТЕПЕРЕШНЕЙ ВОЙНЕ

О современной войне сколько ни думаешь – все мало. У меня мелькает теперь мысль, что ведь она, будучи такою-то и такою-то по мотивам и целям, таковою или иною, по ходу своему и еще неведомому никому исходу, – вместе с тем определилась с одним качеством, которое не упоминалось в печати ни разу. Вот оно: эта война отчасти «священная». Помните, в Греции были «священные войны», из-за оскорбления Дельфийского оракула. Наиболее «священные войны» в Европе были – крестовые походы, «Les croisades», поэзии и историков. Несомненно, «священным характером» отличалось восстание индпендистов в Англии, кончившееся падением династии Стюартов и эпохой Кромвеля. Вполне была «священна» Тридцатилетняя война, гигантское напряжение в борьбе католицизма и реформации. Были войны «социальные», начиная с знаменитой римской «Bellum sociale» (впрочем, эта – только по имени, а не по существу «социальная»), восстание рабов (в Риме же), крестьянская война (в Германии) и «жакерия» во Франции; были войны торговые, коммерческие (из-за ловли сельдей на Ньюфаундлендской мели, отчасти – русско-японская), династические («за испанское наследство», «за австрийское наследство»), национальные (все войны на Балканском полуострове и русско-турецкие). Теперешнее «великое столкновение народов», каковым по существу является война 1914–1915 гг. и каковым именем правильнее всего назвать эту, почти всесветную борьбу, – получила «священный оттенок» в силу методов ведения ее германцами и той реакции на эти методы, какую выказала Европа. Это знаменитые отныне «германские зверства» и странное оправдание их, извинение их, «философская пропедевтика» к ним, какую высказали в лицо всему «темному и невежественному миру», германские ученые, писатели, музыканты, капельмейстеры, архитекторы и вообще «культурные силы просвещеннейшей нации».

Ведь какая формула войны, в этой «пропедевтике», санкционированной всем немецким народом и немецким правительством?

Кратко:

«Я учение тебя, а потому я отрежу тебе голову».

Или пространнее и выразительнее:

«Ха! ха! Мы всех культурнее, просвещеннее – и нам негде жить?! Тесно жить?!» «Мы задыхаемся, достаточно размножившись». «Между тем как соседи наши, русские, Бельгия, Голландия – или варвары-младенцы, или культурные ничтожества. Англия – торгош с богатыми колониями, Франция – выродилась, старуха. Мы же – молоды и отлично размножаемся: то какое сомнение, что мы, нация номер 1, вправе вытолкнуть из бытия (Бельгию), отнять земли (у России – Польшу и Остзейский край), разгромить и отнять колонии (у Англии и Франции), у наций номер второй, третий и десятый». Это есть просто теорема, «которую требуется доказать». Но в наших глазах эта теорема вполне – доказанная, теоретически беспорная и которая нужда-

ется только в материальном осуществлении. Таким материальным осуществлением и является теперешняя война. Самое сопротивление народов есть вполне нелепая вещь, потому что неученая вещь. Ведь у них же не было Гердера, Винкельмана, Бетховена, Канта и Гегеля. Правда, наши вахмистры, до Гинденбурга включительно, не читали Гегеля и не понимают Бетховена, но не в этом дело: они посланцы и уполномоченные тех усопших людей. Уполномочия передал Вильгельм, посредник-распорядитель между сущюю и бывшею Германиею, судья между живыми и умершими. По этому праву и уполномочию «шире дорогу – мудрый идет», мудрый в каске, Сократ со шпагой и барабаном. Раз теорема «доказана» и народам остается «повиноваться», то как непослушных и волнующихся рабов культурных – мы их смирим и заставим железом и огнем, вырезывая у умирающих заживо язык и выкалывая глаза, расстреливая и сжигая пленных, разрушая Реймский и Парижский соборы, сжигая библиотеки (в Лувене).

И делают это слепо и безумно, как идиот, «все себе доказавший» в коронькой, глупенькой, в пошлой теореме, которую и он видит и осмысливает от «альфы до омеги».

Ибо:

«Я учение всех и потому могу резать человека, если он не умен и мешает мне жить» – усвоимо по кратности и идиотом. Ведь идиоты, как известно, тоже «рассуждают»; у них только есть «штанг-пункт», «недвижимая точка» в голове. Для Вильгельма и всех немцев их «недвижимая точка» – «ученость» и «первенство», а «следовательно (идиотизм), – право резать».

Тихие ученые Эрмитажа (все – ученые нумизматы) говорили в августе 1914 г., едва образовался состав двух коалиций: «Вильгельм с ума сошел». Да, но он и канцлер не думали, что к враждебной коалиции примкнет и Англия. Но это только параграф идиотизма: когда Англия прислала в Россию обширное посольство из знаменитых лордов, представителей общества, парламента, печати и духовных лиц, – посетившее и Петроград и Москву, и Сергиев Посад с тамошнею духовною академиею, что это манифестовало, что выражало? Чрезвычайную озабоченность всей Англии, в *целом* ее составе, враждебным положением Германии, с «Deutschland über alles», с «made in Germany», с «Будущность Германии *на морях*», и т. д. и т. д.; устрашенность Англии и англичан, что в роковой день, и недалекий день она будет совершенно разгромлена и чуть ли не завоевана полчищами Вильгельма, готовившего чудовищный флот... конечно, *против Англии!!!* О соперничестве и о подготовке сил к столкновению Германии с Англией столько книг было написано, да и вообще *эта* тревога, именно *эта* – насыщала всю политическую Европу последние 20 лет, гораздо более, чем проблематическая германо-французская и германо-русская война!! И вдруг... Вильгельм, Бетман-Гольвес и вообще немцы *не рассчитывали, не предвидели*, что и Англия будет воевать, когда Германия и Австрия напали на Россию и Францию. В России даже учителя чистописания понимали, что Англия стоит перед «пан или пропал» или перед: «никогда, если не теперь, мы не освободимся от опасности и стра-

ха перед Германиею». Но Вильгельм и его канцлер, и германские ученые, и все общество явно *чистосердечно* не понимали того, что было ясно гимназическому учителю чистописания в России.

Германия учена, но тупа. Русский народ издревле так думает о немцах.

Священный оттенок теперешней войны и заключается в том, что она поистине ведется за «крест на человеке» перед натиском снявшей с себя всякий «крест» Германии как завершительницы типично атеистической культуры... Вспомним «культурную борьбу», поднятую в самой Германии уже Бисмарком, – с заключением в острог епископов, тамошних «архиереев»... Это был варварский шаг Пруссии, добивавшей у себя остатки романтизма (скажем обобщенно), гнавшей «вон» последние тени Гёте, Шиллера и Бетховена... «Ничего не нужно, кроме школьного учебника и артиллерийского снаряда». Германия рубила сук, на котором сидела, – рубила родники и источники того духовного света, за который ее благодарило и за который ее почитало человечество. Все это давно началось. Есть Германия южная и *северная*: и северная поистине отвратительна, черства, суха, формальна и «упившись пивом» (*не* виноградным соком). Около поэтической и музыкальной южной Германии, провинциальной Германии она играет ту же «объединительную и опошляющую роль, поглотительную и варваризирующую, какую около Атики, Афин, Коринфа, Аргоса, Ахайи играла жесткая и грубая Македония. Вильгельм I – параллель Филиппу Македонскому, а Вильгельм II пытается сыграть роль Александра Македонского...

Но возвращаюсь к зерну и *душе* всего дела. Англия, Франция и Россия выступили защитниками старых начал Европы против попыток Германии «организовать *все человечество*» по новым шаблонам, по крупповским шаблонам. Начал старых, но и вместе с тем *вечных*. В нравственном миропорядке и в смысле заповеди как должен относиться человек к человеку – Евангелие вечно. Его хватило на 1900 лет и хватит на миллионы лет, потому что тут *менять нечего*. В смысле правды и благодати, в смысле благородства и вечной песни сердца – Нагорная проповедь и образы Божией Матери, апостолов, Марии Магдалины, Марии и Марфы, притчей и изречений Спасителя – человечеству нечего «высшего и лучшего» ожидать, и уже не двухвершковому «антихристу» Ницше сломить Бесконечного Христа. Самое увлечение Ницше – просто это немецкие пошлости, параграфы немецкого идиотизма, проявление немецкого «пива» и безвкусыя. Господи! И могла же Европа хоть несколько и на краткий срок увлечься этим немецким остроумием...

Европа стоит за старое и вечное; за то, что «сделано» и в поправках не нуждается. За старый «Свет Христов», который по литургийному изречению «просвещает *всех*» (*действительно* «über alles»). И вот это-то и дает войне священный характер, – душевный, религиозный смысл. Правда, мы идем за Христа против антихриста, – и это вовсе не аллегорично, вовсе не смею сказать, ибо Ницше, во-первых, уже написал и напечатал «антихриста» и роль его в новом германизме совершенно бесспорна, а во-вторых, и главное, потому что формула:

– Мы учение и вправе *зарезать*.

Эта формула в самом деле апокалиптична по своей простоте и ясности, ибо ведь это есть «все вверх ногами», *превращение неуловимого света в тьму*, причем те головы, в которых это совершилось, не замечают, что они уже помешались. Вот это-то нравственное и логическое помешательство и есть зерно войны. «Ученое» потопление «*Лузитании*», с детьми и женщинами, «ученое» отрезание языков и вытыкание глаз, – это сцены из Апокалипсиса, это – страницы «светопреставления», т. е. того, что «верх» (Спаситель) станет «низом», а «низ» (Ницше и Гинденбург) станет «верхом». Помните в Апокалипсисе: «*И небо свилось, как свиток*», и «*звезды попадали*», и «поколебалась земля в основаниях своих»: да, ведь это прямо вой германцев, их идиотически-ученые заявления, фанфаронство Вильгельма. Прямо – Апокалипсис, во всю его величину. Духом «антихриста», его смрадом и вонью – так и несет из немецких вонюче-лютых окопов. Это они несут свою антихристову пададь, желая ею накормить все человечество.

Но:

– Нам этого не надо. Мы сыты своим православным светом.

КОПЬЕНОСИЦЫ

За тридцать почти лет литературной деятельности мне много приходилось сталкиваться с людьми, – и особенно сталкиваться с их мнениями в корреспонденции. Накопилось ее большой архив, частью очень ценный. Как-то работая над его упорядочением, приведением в систему и прочее, я, взглянув приблизительно на четыре группы писем, т. е. лиц от четырех не более, подумал: вот если сопоставить письма только этих четырех лиц, совершенно разных, совершенно в разные стороны тянущих, и одни с тоном страстно правдивым и наивным, а другие с тоном лукавым или полулукавым; письма то дерзкие, то нахальные, то высокоумительные, – то для будущего историка наших церковных дней, ждущих не то успокоения, не то церковного собора, ждущих перемен и, может быть, реформы или реформации, можно бы и не писать «Очерка нашего времени», а только напечатать рядом эти письма четырех лиц. До того в них, и именно в *лицах их*, которые выразились через письма, уже горят все «будущие звездочки» церковного обновления, то лукаво мигающие, то сгорающие в своем огне.

Есть много умных и ученых писем. Но не в них горит будущее.

Во всех группах их есть одна, особенно и давно меня привлекающая. Я их мысленно назвал письмами «копьеносиц». Вот почему так назвал. Когда поют «Херувимскую» на литургии, то там каждый помнит слова: «*дориносимо чинми*»... Помню, когда мы в гимназии проходили «богослужение», как теперь помню – в пятом классе, то там эти слова Херувимской песни изъяснялись в том смысле, что какие-то существа «окружают *копьями*» какое-то святейшее существо или святейшее таинство... Хорошо не помню: в моем уме вырисо-

ываются только «копья», и с ним сливается момент «охраны», «защиты». И вот письма названных лиц, частью мужских, но большею частью женских, я назвал письмами «копьеносца»: потому что они как бы «подняли копья» на защиту, главным образом Церкви и православия, но и вообще – на защиту Руси, русской истории, русского государства. В тридцать лет литературной деятельности, конечно, поувлекаешься в разные стороны. И случалось говорить очень и очень влево. И вот сейчас поднимались «копья». Мне теперь очень много лет. Очень я стар и ничего почти «не хочется». Но воспоминания об этих «копьях», как тогда, во время получения их, так и до сих пор, как-то особенно радуют, укрепляют и вообще дают хорошую струю в душу. Именно в них слышишь крепость Руси, – крепость в том, что вообще почитается столь рыхлым, да и сам-то видишь уж слишком много рыхлости в «доброй и мягкой» Руси, – в Руси, – увы! – столь уступчивой и там, где невозможно быть уступчивым. Вообще, есть кой-что и бронзовое, железное в Руси. Его редко прощупываешь, но все-таки прощупываешь. И среди всеобщей слюнвявости, – «ни да, ни нет» – какую отраду чувствуешь, встречая вдруг упорное сопротивление.

Потому-то я и назвал их «копьеносцами». И тогда, в пору новизны, думал: «Молодец, русская баба, эта не выдаст». – «Баба» я произносил и об очень образованных женщинах, – произносил в душе и, таким образом, словом никого не обижая. И в моей душе это русское слово «баба» было самым уважительным.

Но почему-то (я все говорю про внутренние расположения своей души) во главу всех этих писем я ставлю одно, очень мягкое, полученное от какого-то петербургского мещанинишки-стихотворца. Шел 1905 год. Вдруг все поднялось. Буря натиска, – и в центре натиска наша заморенная бюрократия, – до того боязливая, что ей опасно кажется и пошевелиться... Эти-то чиновники, на которых ни много ни мало лежит, однако управление $\frac{1}{6}$ частью всей суши, которая торчит и в Архангельске, торчит и во Владивостоке и без которой даже невозможно послать письма из Владивостока в Архангельск, – которая разводит или заводит хлопок в Туркестане, охраняет рыбу в Волге, рубит леса в Вологде, учит мальчишек и девочек и, словом, *делает и делает и делает* что-то воистину необозримое и неисчислимое. Ну, нельзя отрицать, что скверно делает. Но, позвольте: кто же у нас на Руси-то «хорошо делает дело»? «Хорошо» мы решительно никто не умеем делать, но «чиновник» от «гражданина» все-таки отличается тем, что он «делает», а «гражданин» ровно ничего не делает, а все баклуши бьет. Ну, вот и все на Руси поднялись:

– Чиновник виноват!

– Это он предал Россию Японии...

– Застарели!..

– Просмердели!

У всех заняло дыхание.

– Революция идет.

И казалось, что эта «революция», как снежная шапка с Арарата, вот-вот упадет и раздавит, расшибет города, людей, не говоря уже о мелкой администрации.

Тогда в Петрограде все что-то хитрил Витте. Что он «хитрил», как-то никому не было особенно понятно. Только наступила, – приблизительно на месяц, – полная анархия: и, например, книги отпечатанные, выходя из типографии, поступали прямо в магазины, не заходя в цензуру, хотя цензура на Театральной площади продолжала существовать и никаким законом не была отменена и даже не была ограничена. Время это, кто переживал, все помнят. «Начальству» вдруг перестали повиноваться, и премьер Витте, должно быть что-то «пошептав по министерствам», говорил бесчисленным интервьюерам, что он «ничего не может поделать».

Покойный А. С. Суворин, у которого в газете я писал тогда, рассказал мне в те дни один удивительный случай. Он только что вернулся из-за границы, и поезд Варшавской дороги, в котором он ехал, можно сказать только на несколько часов выскользнул из-под «железнодорожной забастовки», которая тогда наступала или наступила. Вернулся старик в Петроград и тотчас в «Маленьком письме» сказал о революции историческое слово, так потом сбывшееся. Он сказал, что, несмотря на поднявшиеся вихри, – тем не менее «все образуется». Т. е., пошумев и разметав кое-что, ветер «уляжется», события «успокоятся». В революции действительно побеждает тот, кто умеет ждать или у кого есть средства и силы ждать. Революция только пускает очень много «пыли», но для крепких домов и стойких людей она совершенно безопасна – именно по тому существу всякой и всяческой революции, что она есть по-рыв, а не «климат», дело «стечения обстоятельств», а не «вывод истории». – «Выводом истории» может быть только историческое, только стойкое и длительное: а все эти «бегства из Парижа» Карла X или Людовика-Филиппа суть явно «эпизоды», «эффекты», «эффектные случайности». Но вернусь к рассказу Суворина. Он говорил мне:

– Представьте, вчера, часов в пять, я поехал к сановнику (фамилии он не назвал). Долго звонил. Не отпирают. На мой третий и четвертый звонок, наконец, дверь приотворилась и в щель через цепочку спросили, *кто я и кого мне нужно*. И еще раза два лакей подходил к щели и переспрашивал, один ли я, нет ли кого еще на лестнице, и, наконец, впустил. Квартира не освещена, темно. Сейчас же, заперев дверь на цепочку и замок, лакей провел меня в самую заднюю, маленькую комнатку громадной квартиры. Там я нашел сановника.

Дрожа от страха, он спросил меня: «Как вы проехали ко мне?» «Разве еще нет бунта?» «Не сегодня-завтра начнется резня в городе», – и, очевидно, сановник или очень крупный чиновник и спрятался в незаметную дальнюю комнатку, не зажигая свет. Нагнал же тогда Витте страха на всех. В самом деле, если он «не мог справиться», премьер, – то как же было «отражать нападения» хотя бы и очень крупным чиновникам.

Суворин пожимал плечами, но был серьезен. Чиновника он, очевидно, считал трусом, но «положение» считал очень серьезным, и именно оттого, что «руль отказался действовать». А во главе всего скверно было то, что везде была фальшь, хлябанье и «не свои слова». Как будто Витте, человек совершенно необразованный и практический делец в области железных дорог и

финансов, с родственными и денежными связями в еврействе, так особенно страдал от того, что «в России недоставало гражданской свободы». Кому-кому «недоставало», а уж Сергею Юльевичу всего «доставало», а Россию он знал и Россиею интересовался со стороны железных дорог, винной монополии, заграничных займов, а не со стороны наук, искусств, литературы и политической свободы.

Шумело. Гудело. И вот я получаю письмо:

«Милостивый государь, г. N. N.! Считаю вас по-своему правильным, а главное – смелым критиком, я просил бы вас, если вы найдете удобным, поместить в вашей критике настоящую жажду черной сотни. Я первый из членов ее желал бы познакомиться, хотя небольшую часть читателей, а главное писателей, на тему: *рабочие вопросы*. Я неграмотный, что вы и увидите. Но я пишу, что чувствую и чего желает всякий трудящийся».

Непосредственно за этим письмом следует стихотворение, должно быть «в белых стихах». И хоть убейте меня, я не знаю ничего лучшего по непосредственности и «как душа говорит». Вот его текст:

«К писателям и к рабочему вопросу»

Пагубной доли вы ищите в воле.
Не мешайте жить русскому в неволе.
Русь от свободы прячется.
Свободному быть не всякому хочется.
Черное рабство – светлый дух.
Свободное барство – тьма и недуг.
Под крылышком ласковым жить хорошо,
Не учите барствовать – время не пришло.
Попробуйте царствовать, с душой наравне (sic.),
Не будете барствовать не снаружи, не внутри.

*Один из жаждающих крылышка, О. Л-ской.
С.-Петербург., Чернышев пер., дом 3.*

Если есть мысль, то позволяю себе (просить вас) поместить целиком в прозе или по частям, как вы найдете удобным. Я уверен, простой рабочий все поймет. *Л.»*

Я не поместил. Мне не хотелось никак переиначивать слог письма и «белых стихов», – и вообще полученное я ценил «в целом», а «в целом» в газете, я чувствовал, не пройдет. Пришлось отложить «в историю», и в истории, а не как публицистика, письмо получает смысл.

Все говорят – «русский народ пассивен», но не докапываются до корня этого. Не часто, но все-таки приходилось мне знать сложнейшего и глубокого образования людей, знающих три языка, не считая «древних», – начитан-

ных во всей литературе, частью начитанных даже и в ученой литературе, глядя на странную жизнь которых, полную глубокой пассивности, глубокой бездеятельности, думалось: что же бы эти несчастные стали делать без присмотра за ними, без «начальства» дома и на улице? Без начальства и без кой-каких «наследственных» средств жизни им пришлось бы просто протянуть руку, нищенствовать и, беря крайность, – просто умереть на улице голодною смертью. Но что же это были за люди? Я их близко знал и много лет знал. Это были поэты... И «факиры» в мысли. Вернее: их можно назвать «гимнософистами», «голыми мудрецами», как называли индийских факиров вонны Александра Македонского, впервые их увидевшие и до известной степени «открывшие их свету» и истории. Это были люди самой прекрасной и нежной русской души, если хотите – украшение рода русского, свет рода русского: но которые до того были погружены собственно в мечтательное состояние и мыслительное состояние, что им... нужно было «начальство». «Начальство» за них все сделает, начальство им поможет, начальство их защитит. Ибо они и одежкой-то едва умеют защититься. Начальство, наконец, им даст нетрудную, несложную службу, оставляющую место мечте, чтобы они могли быть и «гимнософистами», но вместе и не замерзли на нашем севере, исполняя не столько дело, сколько мнимость дела. Посмотрите, сколько наших чиновников занимаются музыкой, рисованьем, теорией шахматов, грамматикой и словарем цыганского языка (и шахматы, и цыганскую грамматику я именно встречал у чиновников, притом на степени строгой науки), – и при этих влечениях не могут же быть очень внимательны к службе. Но это – у образованных. Если обратиться к рабочим и простонародью, то и среди его заметишь людей «не от мира сего», любящих и песенку, и сказочку, – любящих лишний часок помолиться: и вот им всем тоже ужасно нужен снаружи хозяин. Для такого «хозяин» бывает жена, – «хозяин» и «оберегатель». Но тогда они и с женою оба слабы и валятся на сторону. В старое время таких оберегал и устраивал помещик. Но и помещик тоже иногда валился на сторону, – то занимался музыкой, то любовью, то литературой. Для всех этих обстоятельств, для всей таковой русской обстоятельности, которой у нас решительно больше, чем в Западной Европе, и она нас больше гнетет к земле, больше нам угрожает, – и нужно, действительно, «начальство» или, как автор белых стихов выражается, «крылышко начальства», под которым отчасти и тепло, а главное – не так опасно. Оно кой-когда и пожмет цыпленка, однако от ястреба, от кошки и от лютого мороза и защитит. Это просто – Восток; это просто – не Запад. Автор письма сказал великую славянофильскую вещь: на Западе очень холодно, а русский человек привык к теплу.

Нельзя не заметить, что этому очень отвечает «русская власть», как она исторически у нас сложилась. Посмотрите, сколько у нас «институтов» и сколько «на казенный счет» учатся. Русская администрация есть в четверти своей – благотворительность. Все – «на казенном коште», все – «стипендии». Государство явно «пригревает», и пригревает больше, чем обещает «конституционный строй». Тут есть что-то «помещичье», «барское», но «барское и

помещицье» в лучшей его части, с отбором и выбором, с настоящею неусыпною заботою. «Сирота на Руси не пропадет»: эта короткая строка так много значит, она так нужна бедным и в особенности «шатающимся» людям, с мечтой и «грамматикой цыганского языка», как некой страстью и призванием, что выбросить ее из Руси – значит выбросить бездну хорошего и прекрасного люда, – погасить бездну света на Руси.

Но подите, объясните все это парламенту; объясните все это П. Н. Милюкову, или Набокову, или Родичеву. То – люди крепкие, богатые и зубастые; их никто не заест, они сами всякого обидят. Но так уж мир повелся, что в нем есть обижаящие и обиженные. В письме, в самом пламени революции, вдруг раздался крик обиженного:

– За старое! За давнее! За привычное!

Очень и очень следовало выслушать. Очень и очень следовало сообразоваться.

Среди наших неостроумных радикалов в последние месяцы «ходила по домам» следующая насмешка: «К союзу русского народа принадлежит меньшинство. Потому что сам русский народ к нему не принадлежит? Какой же может быть разговор о союзе русского народа и сколько-нибудь серьезные счеты с ним?» Русский народ вообще пашет и вообще работает, а «союз русского народа» считает себе в честь не иметь других мнений, других взглядов, других оценок действительности, кроме таких, какие имеет и высказывает в песнях, в сказках, в пословицах и в поговорках и в хождении в церковь русский народ; эта партия – сама без главы, а возглавляется народом, идет за народом, вслед за ним и за его сложившейся историей, которая совершилась и которая есть тысячелетний факт. Так вот, может быть, радикалы объяснят и докажут, что «русский народ отказался от самого себя?». О них же, дружках милых, можно сказать, что если их и очень много, то это все – люди не народные и доказать своей связи и своего единства с народом они никак не могут.

К тому же, как узнать, вообще, «много ли людей исповедают такую-то программу»? Налицо – одна печать; один ее голос слышен. А печать на $\frac{3}{4}$ в руках евреев, этих «самых русских людей», – только «прогрессивного образа мыслей». С появлением и развитием печати «мнений страны» вообще нельзя знать, потому что за «мнения страны» принимается «голос литературы». Но в «голосах литературы» гораздо более $\frac{3}{4}$ составляют шкловские псевдонимы и анонимы.

Поэтому в настоящее время является положительною необходимостью выявлять в печати не печатные мнения, т. е. взгляды и оценки людей вообще не печатающихся. Но только подлинные, а не тех героев, которые выводятся в беллетристике и речи которых сочиняются в беллетристике. Эти последние суть какой-то туман и сумбур печати, возведенный в квадрат и куб. Тут уж никаких «концов» не видно и нет средств различить правду от лжи.

Вот почему мои «Копьеносицы» сыграют, мне кажется, некоторую роль. Ибо это голос о русских делах и русских вопросах, отнюдь мне самому не

принадлежащий. Часто даже противоречащий взглядам, мною высказанным в раздражении или «по поводу».

Вот, к примеру:

«М. Г. – Вы так разносторонни, разнохарактерны и многообъемлющи в вашей публицистике, что я еще раз порешил вам написать несколько слов или, вернее, доводов против вашего заблуждения, – заблуждения «века сего» и поголовно ложного направления прессы. Всякому благомыслящему человеку, – ученому или не ученому, аристократу, бюрократу или пролетарию, – «едино есть на потребу», ибо от этого «единого» вся наша мудрость, знание и вечные, повторяю, – вечные устои всякой государственности исходят, низводятся до даже укрепляются. Но, к сожалению, в этой Основе всех Основ – человечество, общество, писатели, литераторы и мыслители времени Судов Божиих настолько пошатнулись, настолько отклонились от нее, что мы копаемся в разных мелочах обыденности, изнемогаем над подбором тех или других данных до усталости, радуемся гибкости пера или словоизвержения, но коль скоро возьмем в руки «Устав Вечной Правды», то увидим, что все наше громоздкое здание само собой падает, низводится до полного ничтожества. «Иже Церковь или власть преслушает, будет яко тать и разбойник», – и вот выходит отсюда, что все наше «передовое» движение во всех его фазах, всех охватившее желание править государством, изменить веками сложившийся строй правления, «столь-де устарелого, бездарного и бешабашного», идет вопреки «Вечной Правды».

Из всеобщей истории мы хорошо знаем, что «vox populi»* *никогда* не был «Гласом Божиим», ибо там, где преобладают страсти людские и наша до мозга костей извратившаяся чувственность, грубость нравов, тьма разнообразнейших пороков, – и хитросплетенная, неверующая ученость, – там Бога и быть не может; а потому, если сам народ, хотя бы даже интеллигентное только общество, суются править государством, – это есть не что иное, как *раздвоение* власти, а всякая *двойственная* власть – немощна, парализуется сама собой. Вообще, – где много, а еще паче – множество правит, никогда там толку, проку не бывает. Мы лезем в те же рухнувшие для *блага* России «веча Новгородские и Псковские» – во время, менее всего для нас благоприятное, мы заводим у себя ту *зыбь* волнений страны со столь разнородными элементами, которая погубила и Грецию, и Рим, и Польшу, ослабила донельзя «еврействующую Францию», гнетет объединившуюся Германию и вызывает к бытию, т. е. производит из себя миллионы пролетариата в Англии и Северных Штатах Америки. При всяком «народном правлении, – демократическом или аристократическом, – будь это: парламент, республика, сеймы, собрания, скупщина и т. д., – *все* недочеты такой страны – выносятся наружу, предаются гласности, обнаруживают большие места преуспеваний народных и открыто дают возможность поживиться «алчным» аппетитом. Страна и народ никогда не имеют покоя, мечутся и бьют тревогу,

* глас народа (лат.).

прибегают к «чужестранной» помощи и пропадают постепенно *почти*, и даже *совсем*, бесследно (Греция, Рим и т. д.). Ни архонты, ни трибуны ничего не создали, кроме падения; Александры же и Цезари, даже Наполеоны возвеличили свои страны, обогатили народы, создали славу и честь нации даже меж чуждыми их народами, основали школы, законы (*Lex* и *Codex*) и дали благоденствие народу. Как только народ сам сунулся мешаться в дела правления, *погиб* в хаосе своих своеобразных Пуришкевичей, Марковых, Хомяковых, Столыпиных, – и быших и будущих *Слетенсеаи бесследно*: это – факт неопровержимый.

Мы ратуем всячески ослабить «ореол Самодержавия», – а того сознать не можем, что с падением Царской «всеобъемлющей Власти и непреложной Воли» похороним последние «проблески» чего-либо истинно-русского. В свое время «гордый Рим» во всех отношениях стоял *выше* своих соперников, и что же? Бесследно исчез в борьбе с ничтожными индо-германскими народностями. Все-таки он оставил после себя доброе имя силы, оружия, – оставил доньне живущий «классицизм». Но что оставим мы, когда все нас опередили, – опередил даже дикий азиат? Скажем – «Веру!» Но именно в семье, в складе жизни и в Вере – у нас самая и есть наибольшая загвоздка... Ученость уже сбросила с себя балласт-*де* Веры... и что же? Ввела развращенность в университет, а теперь уж и в школу.

О, господа просветители, профессора да писатели, да законодатели – путь ваш скользок; за молодое поколение, все эти курсы и полуразвратившееся общество вы отвечаете пред Всевидящим и Всезнающим Господом, усомнившись в святости Церкви Христовой; вы, как раскоряки, ползете, пятитесь назад, как рак, – мутите там воду, где она чиста была Верой, ибо сами не верите ничему и действительно «вконец изверились». Вы ослабленному через вас же и вашу бездельность и бесстыдство Помазаннику Престола хотите навязать конституцию, хотите сделать Его ответственным за одни «материальные» средства, *не* сознавая (да вы и не можете сознать), что Государь несет перед Творцом Вселенной *большую* ответственность: и за *нравственные* и Евангельские устои вверенных ему народов, а с вашими мздомерами (?) он вправе поступать, как найдет нужным. Не законы или строй наш плох или устарел, а весь *мало-мальски* зажиточный класс заелся, зазнался, потерял Христа в душе, в жизни, в семье; деньги, разврат да упрямство одолели нас; вся жизнь в *чревоугодии* до изнеженности. Ум наш стал кощунствовать «паки бытием». Несомненно, что Александр Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон I – при всей силе оружия и массе войн и походов – *менее погубили* народа (духовно в особенности), т. е. погубили душ людских, чем наши корифеи «Тургеневы, Толстые, Розановы» и их прихлебыватели... Это духовно-душевная зараза ума и конечная гибель души в книгах и переводах расплзлась по всему белому миру и вливает омерзительный яд змейковидной струей в сердца и умы поколений. Вот за что нас Господь карает и обнажает язвы народные и раны правительства.

Раз мы, кое-как лишь просветившись, стали подкапываться под самого Спасителя нашего: Камень Вечного Спасения, – Он стал для всех нас Камнем *Преткновенения*; и всех нас, инодумцев, низложит, наметлет, как жернов... et super hanc petram aedificabo Ecclesiam Meam et portae inferorum non superabunt Eam*. Цензура пропустила давно и несколько раз запрещаемые сочинения Толстого, – и приходится платить за это, – приходится самой позволившей себе распустить власти. Не строй и законы плохи, а людей честных и *верующих* нет; все кривит *душой*. Контроль и конституция – нам нужны; нам, т. е. каждому отшатнувшемуся от Церкви и веры предков, а Государству нужны *очищенные* люди от умопомрачения «таинством покаяния», Исповеди и Причащения. Всякая свобода дальнейшая погубит Россию и народ. Дума и зуд конституции, – это назревающая саркома uteri et ventris** всей Империи. Сперва себя самих надо очистить всем Ренанам, Фаррарам, Толстым – *aute-dafe* полков, Думу – ad patres*** – и каждому заняться в *своей* области. Одно лишь польско-русское сближение на почве *равноправия* (вне автономии) и более культурный панславизм могут дать устои всеславянской *великой* Империи. Но сперва надо очистить совесть – и спасти душу свою, а затем ратовать уже о видимых судах Божиих! Слуга покорный – Э. К. Л-к».

Подпись – одна из знаменитых в русской морской службе.

Конечно, тут много сучков «и тебе, и мне», но как прям, тверд и ясен человек. История же, великая история целой страны, нуждается не в сентиментальных разговорах «у нас в комнате», причем из разговоров – ничего не следует, и разговаривающие сами знают, что из разговоров их ничего не следует, и того ради угощают друг друга сладкими словами, благими пожеланиями, нитью фантазии и вообще всеми словесными удобствами. Но «кто-то» должен «подняться на капитанский мостик» и «дать команду», которая спасла бы корабль в бурю. К числу некоторых приобретений, полученных нами в конституционную пору, в это вот истекшее десятилетие, принадлежит выработка понятия, до конституции вовсе не бывшего в употреблении, никогда никому в голову не приходившего: «ответственные слова» (и поступки) и «безответственные слова» и тоже – поступки. Только оглянувшись в прошлое из этих десяти лет, мы все поняли, что решительно все слова и «идеи», двигавшиеся в литературе нашей целые десятилетия, были в сущности «безответственные слова», и потому-то именно их внутреннее свойство – таково, что точно они откуда-то нанесены ветром и движутся «для красоты своей» и без всякого руля. «Что говорил и писал Тургенев», «что говорил и писал Толстой», – это было вполне «безответственно», а потому и выражал просто «талант говорившего» и писавшего, да и писалось, и говорилось, в сущнос-

* и сверх того камнем построения Моей Церкви, и врата ада не одолеют Ее (лат.).

** живота и брюшины (лат.).

*** к праотцам (лат.).

ти, с единственным намерением «выразить талант и показать ум». И вот во всей литературе, в целом обществе, стояла мука, гнев и раздражение: «Почему их не слушают», «почему правительство их не слушается», когда они так горят «истиной и талантом». Можно бы насмешливо ответить раздражению: «Да они сами бы себя не послушались, если бы им пришлось *делать*». «Делать» – значит начать ворочать камни, значит тесать бревна, принорвлять бревно к бревну, складывать избу, и складывать ее в то самое время, когда жильцы с малыми детьми и женами стоят на морозе и не то чтобы ждут войти в постройку, а рвутся войти в постройку и прямо кричат, что они «не могут ждать», «подавай сейчас», «замерзли», одному – «холодно», другому «спать хочется» и третий «совсем нездоров»: хоть бы кровать ему где поставить. Вот – «общество» и вот – «правительство».

«Обществу» (в переносном смысле и аллегорически) всегда тепло, правительству, в тех же переносных смыслах, всегда холодно, бурно, ветрено, беспокойно, опасно. Спрашивается, где вот сейчас была бы Россия, если бы она все царствование Александра III и все царствование Николая II была, в лице правительства, «толстовцем», т. е. распустила бы войска и наслаждалась «радостями земледельца», если бы она, в пору Чернышевского, проделывала над собою «три сна Веры Павловны». Но ведь писатели, и Толстой и Чернышевский, и Некрасов, и Добролюбов, – лезли на «правительство» с нахрапом, и все общество: все миллионы его за долгие годы «рвало и метало», почему же не слушаются «таких гениальных представителей общественности». И что же было делать правительству, которое «хватало за полы» и останавливали в каждом шагу «идеалисты мысли», как свои, не поступать так, как оно и поступало, – да и поступать еще гораздо строже, вот как советует автор письма.

И вот с такой точки зрения действительно «мыслящего реализма» приведенное письмо (из Москвы) чрезвычайно нравится. Видишь, что человек прям и стоит крепко. Видишь, что он умрет, а не сойдет с позиции. Видишь, наконец, что ему дорог не свой дом и не интересы своей партии, наконец, – дорога даже и не «своя программа», хотя он ее имеет: а единственно нужна и дорога целостная Россия, и опять же она дорога не на «теперешний час», вот «пока мы живы», а – в своем будущем, в своем вечном. Действительно, когда вслушиваешься в голоса людей и партии, припоминается слово церковное о «людях века сего» и хочется наряду с ними выдвинуть что называется людей вечных. Хочется укрепить это понятие, хочется, чтобы оно вошло в кругооборот мысли. «Люди века сего» мнутся понятиями «нынешнего времени», каково бы оно ни было, к каким бы десятилетиям ни принадлежало. Они мнутся – «теперь», «теперешним». Это люди движения, хлопот, забот. Им надо противополжить «домовиков»: они сидят дома и стерегут дом; мало куда выходят и «теперешним» вовсе не интересуются, ни хорошим, ни дурным. Им до этого дела нет. Но они приходят в величайшее беспокойство, когда чувствуют, что «пол в комнате колеблется», что дом начинает «ходуном ходить», что что-то неладно «в фундаменте». Тогда они встают и говорят. Тихие и спокойные, – я их назвал бы, однако, величайшими пророками, назвал бы, «Кассандрами», которые среди

«счастливой Трои» говорят о «несчастиях Трои», но – несчастиях завтрашнего дня. Они говорят о том, о чем все молчат, и что всем всего нужнее, и чего все решительно не понимают, ибо «все»-то заняты «сегодняшним пиром на свадьбе принцессы». Эти старики-домовики всегда оплевывались, всегда презирались, никогда их ни один человек не слушал, и вообще роли в обществе они никакой не играют. «Мы следуем за Анновером». Но «нам» пора оглянуться, что на самом деле эти благороднейшие люди страны и каждого поколения, «личные счеты» с жизнью покончившие и которые непрерывно блюдут собственно один интерес: обеспечено ли «завтра» молодежи, обеспечен ли «будущий год» молодоженам, и вообще «исправно ли все» именно для молодых, сильных и крепких людей, – вот для «людей века сего». Бескорыстно они трудятся даже для «самого г-на Анновера», который так хлопочет и везде бегает. Это есть естественный, чудный, исторический «Ареопаг», только без имени, без назначения, без функций, кем-либо им доверенных. Но Бог так устроил в предвечных заботах своих о человечестве, что собственно каждое время и поколение имеет «свой Ареопаг», но только в то время как афиняне слушались своего «Ареопага», мы этот естественный «Ареопаг» у себя презираем и, будучи сами клоунами, обращаем в клоунов этих старцев и играем мальчишескими руками над ключьями их старых одежд.

И вот этот старик (я его не знаю, – предполагаю по тону письма и «по программе») встает и говорит об «auto-da fe». Говорит в бессилии, которое никого не пугает, и мы можем только обратить внимание на то, что молодежь произвела свое «auto-da fe» на Екатерининском канале 1 марта 1881 года, ни с кем не посчитавшись и ни на кого не обратив внимания. Так что его окрик в частном письме совершенно уместен, чтобы встать рядом с теми историческими и публичными «гильотинированиями слева». Пусть несколько задумаются, пусть изредка задумаются, пусть изредка остановятся и заколеблются перед решениями, зная, что хотя Русь и узнает о их подвигах с молчанием, то под этим молчанием кипят довольно живые чувства, волнуется довольно живая кровь.

Этот старик прям и честен и не похож на одного «извилистого графа, – и даже на двух графов преемственно на одной должности, равно «извилистых», которые сыграли крупную роль в начальной фазе «конституционного периода» русской истории. И если клевета говорит, что на нашей стороне только «праздно ликующие, обгадряющие руки в крови» – то вот вам голос человека, довольно далекого от ликования, но который сурово зовет клеветников к ответу.

ВАЖНЫЕ ТРУДЫ О ХОМЯКОВЕ

Почтенный, даже почтеннейший, профессор Киевской духовной академии В. В. Завитневич с 1892 года и по сие время трудится над изучением «первоначальника» славянофильства, А. С. Хомякова, и напечатал уже три громадных

тома исследования его жизни, личности и умственного творчества. По поводу этого труда нельзя не высказать сожаления, почему наша Академия наук, трудящаяся над изданием поэтов, каковое издание доступно и частным ученым, а печатание всегда окупит издержки всякой книгоиздательской фирмы, – почему она, взамен этого популярного и легкого печатания, не предпримет давно нужного и желательного *сводного издания* русских славянофилов, мышление которых вообще представляет собою ядро русского национального самосознания? Тема – поистине академическая, задача размерами своими соответствующая государственному ученому учреждению.

На этот-то, пока почти единственный специальный о Хомякове труд появилась довольно обширная и очень углубленная критика первенствующего в наши дни в богословском и философском мышлении П. А. Флоренского (только что вышедшая книжка «Богословского Вестника»). Яркость и блистания мысли Хомякова попали под гранение его страстного почитателя, вождя теперешнего возрожденного молодого славянофильства (в Москве), но для коего *magis amica veritas**. В одном месте критик книги В. В. Завитневича называет Хомякова «пожалуй самую благородною личностью новой России», – и такими словами, конечно, все сказано. Он осуждает профессора Завитневича за отсутствие почти всякой критики Хомякова:

«Рисунок профессора Завитневича формально правильный и точный, походит на калькированную сводку ровными линиями без нажимов; все контуры – одинаковой толщины, рисунок без тени, без красок, он передает Хомякова бережно, черточка за черточкой, вроде того, как в иконописных лицевых подлинниках передаются очертания иконы во всех ее деталях, складочка за складочкой. Этот рисунок не неверен, но он дает не уразумение Хомякова, а лишь конспект его, это – как бы пересказ Хомякова, но почти без интонаций. Зная уже Хомякова, мы почти ничего не приобретаем из обширного исследования профессора Завитневича. Ничто не задевает заживо в этих обширных томах, и по ним тащишься без оживления, радости и гнева, как по длинной-предлинной однообразной аллее. Судя по многим признакам, автор любит Хомякова и увлечен им, следовательно, у него должны быть и свои оценки, и свои подходы к Хомякову. Но он почему-то не хочет поделиться с читателем самым соком своей работы и все ответственное перекладывает с себя – на читателя. Но кому же брать на себя решение важнейшего, если и специалист по Хомякову не желает или не решается быть лицом ответственным? Чувствуя, что ему не хотят помочь, читатель начинает скучать, сочинение проф. Завитневича читается с трудом и усилием. Между тем Хомяков ли, – водопад идей и тем – не возбуждает острых и тревожных вопросов?»...

Читатель видит, что все это – как отточено, и ни одного слова не поставишь иначе. Тем не менее, принимая во внимание 20-летний труд над Хомя-

* истина – больший друг; истина – прежде всего (*лат.*).

ковым, просто и прямо берешь в охапку и доброго профессора и три его увесистые тома и кричишь: «Золото! Золото! Смотрите, сколько старик при- тащил вам, молодым читателям, золота!!» Труд, седой труд, – сам по себе до того величественно-почтенен, что прямо не думаешь о критике и не хочешь критики.

Но «раз критика есть», благодаришь и критика. У Флоренского, по-види- мому, именно в данном пункте развилось какое-то соперничество с патриар- хом нашего славянофильства, – и своим чуть-чуть филаретовским анализом он везде заставляет читателя становиться на свою сторону. «Заставляет», – и «ничего не поделаешь». Это преимущество мыслителя 1916 года над мыслителем, полвека назад умершим. Примеры? – Вот следующие:

«Редкая по силе диалектика, – всем известная «хомяковская» диа- лектика, – придавала его тезисам такую гибкость и такую убедитель- ность, при которых самое сомнительное и самое опасное кажется при- тупившим острые режущие углы. Но при всей осторожности Хомяко- ва и при его чистосердечном желании не сталкиваться с учением цер- ковным самые основы его воззрений, для человека православного, не кажутся ли подозрительными? В то время как для человека церковного церковь высказывает истину, ибо «так изволися Духу Святому и нам», т. е. «изволися» открыть им, но независимо от них (членов какого-либо собора) в Боге сухую истину, – хомяковская теория церкви оставляет впечатление, что постановления всей церкви истинны потому, что они суть постановления именно *всей* церкви. Важно, как будто, слово «*всей*», как если бы постановления церкви были не *открытием* истины, а *со- чинением* ее, как если бы истина была тождественна человеческому разуму, хотя бы и соборне взятому, а не чем-то вне его лежащим и только этому разуму открывающимся.

...Хомяковская мысль уклончиво бежит от онтологической опре- деленности, переливаясь перламутровой игрой. Но эта игра поверх- ностных тонов, блестящих, но не субстанциальных и потому меняю- щихся и изменяющих свои очертания при малейшем повороте голо- ву, не дает устойчивого содержания мысли и оставляет в сердце трево- гу и вопрос. Имманентизм, – строительство человеком из себя своего спасения, по канону любви, – таков привкус теории Хомякова, – и это далеко от хода мысли церкви, по которой не мы спасаемся, а нас спасает Бог, и мы покорны этому и благодарим его за это».

Хорошо. Так. Превосходно. «Флоренский говорит, как Филарет». Но кро- ме «громких исповеданий» есть исповедание в тиши души. «Вот проснулся ночью и додумываю свою думу». Как известно, есть один собор, так уклонившийся от дела и истины, что последующие соборы и вообще вся церковь нарекла его потом «разбойничьим». Между тем у решений этого собора висел тот же самый замок с начертанием: «изволися Духу Святому и нам». Вот в душе-то, проснувшись ночью, не «додумал ли бы мысль» Флоренский: «Господь их знает, на всех замках начертания одни. Как же быть?» Я хочу

сказать этими словами не что-нибудь «в одну сторону» или «в другую сторону», а лишь то, что все-таки «бедные мы люди» и «слишком большая путаница около нас». Дело в том, что великолепие филаретовского языка («и даже острая как иголка мысль» Филарета или филаретовского пошиба – и она «не вытягивает меня из болота» (иногда), ибо вообще «уж очень трудно жить».

Также без труда он опрокидывает и знаменитую полемику Хомякова против романизма (католиков).

«У католиков не ложное постановление западных соборов, само по себе, как таковое, возмущает Хомякова, а нарушение ими при этом *единства*. И вина католиков, как будто, выходит не в том, что они исповедывают ложный догмат, а в том, что они – *не вместе* с Востоком. Тут преувеличивается значение человеческого согласия или несогласия и умаляется достоинство и ценность истины». – Все это вполне и глубоко верно. Да разве мы не знаем даже случаев, и многих, когда не «все вместе» говорили истину, а ее говорил «один отделившийся от всех».

Далее, Флоренский протестует против определения Хомяковым церкви как «организма любви». Вообще это определение Хомякова до того недостаточно, что внушает улыбку. «Тогда зачем собственно Христос и сама, наконец, церковь? С любовью мы сами устроимся. Источим реки оной из себя – и получится без церкви и без богословских споров что-то лучшее церкви». Таково возражение против «организма любви», в смысле «зерна церковного», что, кажется, – тут нечего и возражать Хомякову. – Так, лет 15 назад и я думал об этом определении Хомякова. Затем жил. Толкался на свете, 15 лет – немало: и, оглядываясь, думаешь: «Много я видел мудрого, много ученого и вообще разных хороших вещей. Но ничего не видал лучше доброго человека». А ведь это формула Хомякова, вставленная зерном в церковь. «Любовь» ужасно проста и не интересна. Как вода: не чай, не ром, а простая вода. «Какая скучища». А вот без этой «скуки» никак не проживешь. Без этой «скуки» мир превратился бы в ад и люди бы задохлись. Какой же вывод? Да что опровергнуть Хомякова логически во многих случаях очень легко: но что-то есть в его словах «от чистого сердца», – за что поваливший его противник наклонится и поцелует его.

Дело в том, что Хомяков есть (да и Флоренский это знает) великая и прекрасная личность, и как-то он истинен и насыщает душу нашу в пафосе своем, в том – куда устремлялся, совершенно независимо от часто неудачно сказанных слов и неверных тезисов, неверных приемов собственно *спора*. А он любил спорить. Это – одна сторона. А другая заключается в том, что утонченный филаретовский скальпель – стальной работы. А сталь (и Флоренский тоже это знает) запрещена к употреблению в построении храма ветхозаветного, а уж тем паче христианского.

Во всяком случае от мягкости, действительно несквозь протестантской, у Хомякова не нужно переходить к «бронзовой крепости» филаретовского стиля, а то мы войдем в звоны «медных языков». Тут где-то истина в середине,

а может быть, и в стороне. У протестантов много воды, а в Византии – великолепных металлических арабесок. А есть еще мягкое тело и живая кровь. Вот бы их попробовать? И ведь путь, именно церковный, к этому указан. В причастии дается «Тело и кровь Спасителя». Вот их и надо вкушать, да ими и растворить богословские споры.

Никогда мы не должны забывать одной вещи: Спаситель был человек. Бог, но и человек. «Человеческое» в Спасителе часто забывается, особенно во время споров и «битв». Когда наступали догматические споры, всегда забывали о Спасителе *как человеке*. Все помнили чудеса. Величие. Пророчества о Иерусалиме. Но (допустим для слога, а мысль-то ведь догматическая) иногда Он бывал добренький-предобренький и совсем простой, ясный. Вот – в притчах. Притчи Спасителя суть простое и народное сокровище. Они почти и не входят в «системы богословия». Но эта идиллическая, – так сказать полевая и пастушеская сторона в Евангелии – она тоже есть. И вот ей следовать как-то очень уж просто и так хочется, хочется...

На эту мысль навели меня мудреные споры.

* * *

К статье Флоренского прибавлено «генеалогическое дерево славянофильства», составленное почтенным изучателем Ю. Ф. Самарина, Ф. К. Андреевым, другим профессором той же Московской духовной академии. Оказывается, поразительное явление: все славянофильские роды – Киреевских, Хомякова, Аксаковых, Самариных, Елагиных, Тютчева, Валуева (составитель «Симбирского сборника»), Языкова представляют собой переплетение родов Ивана Андреевича Бунина, Ю. А. Нелединского-Мелецкого и Ф. И. Ермолова. Таким образом, заметное единство «их духа» имеет подпочвою для себя «единство крови».

Вся вообще статья так ценна для нашего славянофильства, что будет вполне удивительно и вполне небрежно, если она не появится в отдельном издании. Я несколько раз перечел ее, – восхищаясь, так сказать, борьбой гигантов. Старые годы клонят меня к сочувствию «уже умершему», и, признаюсь, я не был беспристрастен к живому. Но нельзя не согласиться, что он показал многие прорехи в мышлении Хомякова, – притом такие, которые, несомненно противоречат стихийному пафосу Хомякова. Например, указание его на то, что вражда Хомякова к так называемому «кушитству» в истории, которое Хомяков признавал темным и даже черным ее началом, «суеверным и материальным», в противоположность «иранскому светлому ее началу», чисто спиритуалистическому, коего сам Хомяков считал себя служителем, и далее указания Флоренского, что «кушитские начала» очень сильно заложены и в нашей церкви, – все это читается с поразительным интересом. Хочется даже сказать, что интимный пафос самого Флоренского бродит именно около кушитских начал. Ах, эта отвергаемая «материя», – эта якобы «пустыня» и «черная земля»: да она, голубчики, содержит столько чар, что за них никакие голубые эмпирии не возьмете. «Земля» и «земля», «черное» и «черное»,

«грязь» и «грязь»: тут Флоренский верно угадывает, что сила Востока «против рационализма Запада» содержится именно в прилеплении и верности «черной земле». Она наша «матушка». И посмотрите, ведь славянофилы со своими выпренными идеями, конечно, о «земле» не думали, «носились в небесах». А дело-то в том, однако, что во всех их ходила одна и та же, одна и сродная – «кровушка». Ну, а именно «кровь» человека, – и кровность, и родство, и «генеалогические деревья», – суть «земля человечества» и «кушитское начало» в истории. «Кровь говорит» – это мы даже по пословице знаем. А раскрыть эту «кровь говорит» в истории – значит услышать самые интересные «говоры народов». Дело в том, что в основе самих-то даже иранцев – «светлых духов Ирана» – лежит это черное и магическое начало кушитства. «Ничего не поделаешь».

П. А. ФЛОРЕНСКИЙ ОБ А. С. ХОМЯКОВЕ

В только что вышедшей, очень запоздавшей июль-августовской книжке «Богословского Вестника» содержится обстоятельный разбор обширного труда профессора Киевской духовной академии В. В. Завитневича, посвященного А. С. Хомякову, – принадлежащий перу редактора журнала, профессора П. А. Флоренского. Вот как Флоренский очерчивает предмет исследования киевского профессора:

«И друзьями своими, и врагами Хомяков, при жизни еще, признан главою того направления русской мысли, которая получила мало подходящую и уродливую кличку «славянофильства». И правительство, и интеллигенция в Хомякове именно видели источник или, по крайней мере, очаг новой идеи. На Хомякова именно направлялись и хвалы и порицания кругов богословских, – не на кого-либо из славянофилов, а почти исключительно на него. Всякий вопрос о славянофилах и славянофильстве на три четверти, кажется, обращался в вопросе о Хомякове, и самая славянофильская группа мыслится, как «Хомяков и другие». Справедливо ли это? Полагаем, что – да, даже и не предрешая, сравнительно с прочими славянофилами, превосходства Хомякова по талантности, уму, образованности и убежденности. Хомяков был и остается идейным центром и руководителем славянофильской мысли не только или, точнее, не столько сам по себе, сколько по занятому им месту. Он, ведь, преимущественный исследователь того священного центра, из которого исходили и к которому возвращались думы славянофилов – православия или, вернее, Церкви. Он наиболее пристально и наиболее последовательно взглядывался в себя, он настойчивее кого бы то ни было твердил о решающем повороте, который грозит мировоззрению народа, в зависимости от неправого отношения к Церкви, и о последующем отселе историческом провале. Славянофильство есть мировоззрение, по замыслу своему непосредственно примыкающее к Церкви, и Хомяков, центр сла-

вянофильской группы, властитель славянофильских дум вследствие того, что по общему смыслу и по прямому признанию славянофилов, особенно старших, – Церковь, которую он, в сущности, занимался внутренне всю жизнь, есть центр бытия тварного».

«Исследователь священного центра России», – это хорошо сказано. «Где он? «Есть ли он? Вот почти век прошел со времени споров И. В. Киреевского и Герцена, с одной стороны, Герцена и Грановского – с другой стороны, после «трепетаний» Белинского, – и этот «центр», его бытие или небытие, стоит перед нами вопросом. Потускли значительно и западники и славянофилы, «позиции» определились и сузились, и сейчас мы имеем борьбу социализма с «бытовой Русью», – т. е. «не надо ее» и «мы все-таки есть». Борьба сделалась менее идейной, менее духовной, – более физической, более динамической. «Кто кого одолеет?» – «Бытовая Русь» решительно теснится, дело «бытовой Руси» проиграно, по крайней мере в «образованном» или в мнящем себя «образованным» обществе. «Западничество» собственено не имеет своих «центров» в России, – и не ищет их, – полагаясь и опираясь на колоссальный центр вне России, на «Европу», на «Запад», ее успехи, ее технику борьбы и жизни, ее ум. Но славянофильство?.. Вот его «центр», конечно, в России: автор статьи о книге проф. Завитневича и вместе невольно критик славянофильства, сам сделал своим монументальным трудом – «Столп и утверждение истины» драгоценный вклад в разыскания этого «центра Руси»... «Быт»?.. «Церковь»?.. Но как все это не ясно в положении, в очертаниях... И, подходя к «мудрой голове», часто спрашиваешь: «Где же у тебя ноги?» Всякий центр действует, живет, осуществляет себя. Вот в России чрезвычайно мало «своего осуществления»... Именно «своего» и именно «осуществления». Тут надо подчеркнуть оба слова.

Голова – мудра. Голова – седая. А вот «ноги» точно парализованы. «Западничество», пожалуй, и не очень мудро, но вот быстро бегаёт. Везде на всех путях оно решительно обгоняет славянофильство. Даже хочется дать ему и насмешливое, и точное определение: «Горькое начало русской истории».

«Центр России»... Ах, тоскует сердце по нем. Хочется его. «Западничество» уже потому противно и, скажем полным словом, – ненавидимо, что оно и в будущем не обещает никакого «собственного центра для России», не хочет его. И оставляет на месте этой «одной пятой суши земного шара» – пустое место. «Россия – пустое само по себе место»: и это лозунг самой деятельной, самой «быстробегающей» части русского общества, – идущей впереди, ведущей за собою. Кто не смутится перед этим положением? Чье сердце не затоскует черной печалью?

Будем слушать дальше П. А. Флоренского:

«Хомяков весь есть мысль о Церкви, и потому понятно, что отношение к Церкви со стороны судящих о Хомякове оказывалось, так или иначе, решающим и в оценке самого Хомякова. Говорю «так или

иначе», ибо в суждениях о Хомякове можно услышать прямо противоположное. С одной стороны, для любящих Церковь, но не видящих ее у Хомякова или, скорее, усматривающих у него подмену истины церковной чем-то другим, самодельным, равно как и для вовсе не любящих Церкви и не чувствующих реальности ее, – учение Хомякова есть неопределенное и туманное учение о чем-то мечтательном и призрачном, какая-то система о пустом месте и, следовательно, софистика, виртуозное пустословие, блестящее оригинальничание. В этих напаках на Хомякова сходятся, порою, представители церковности с ярыми западниками; с другой стороны, для людей, в каком-либо смысле считавшихся с реальностью той Церкви, о которой говорил Хомяков, и признававших, что он говорит о настоящей Церкви, а вовсе не о бессильной пустоте, сочиненной по образцу абсолютов немецкого идеализма, и именно потому боявшихся излишней, по их мнению, реальности этой Церкви, косо посматривавших на самую возможность для Церкви стать там, где Она, по смыслу своему, по праву своему, и должна стоять, – для видевших в Церкви правду на пути к полуправославному и внецерковному строю общества, будь то идея государственности или социализма, сила Хомякова казалась вредной. Крайние государственники, равно как революционные и социалистические деятели, и те и другие не любили учения Хомякова, чуть-ем воспринимая в нем если не будущую победу, то по меньшей мере действительного противника: и тем и другим Хомяков представлялся человеком опасным. Так государственники и революционеры протягивали друг другу руку. Кроме этих всех, отрицавших Хомякова, по той или другой причине, остается, наконец, круг людей, смотревших на Хомякова безусловно положительно. В учении Хомякова они видели залог лучшего будущего России, первый росток народного самосознания, – начатки нового, наконец-то воистину православного, богословия, и т. д.; одним словом, зарю новой культуры, которую воссияет человечеству славянство».

Под «государственниками», которые косо или подозрительно поглядывали на Хомякова, разумеется, без сомнения, Катков, – великий практик политики, сущий «Петр Великий» газетного слова, громов и величия. Катков как-то не видел и не оценивал, что если что могло предупредить политическое разложение общества, имеющее наступить за полным умственным разложением, то это никак не его политические речи, а именно славянофильство, принимая всех к Церкви, историческому средоточию России. По какой-то неразвитости ума, несомненно присущего великому публицисту, он более надеялся на латинский и греческий язык в гимназиях, чем на славянофильство. Если бы «кому следует» он с такою же настойчивостью указывал на то, что давно пора приблизить к центрам правительственного управления людей славянофильского образа мыслей, как он указывал им на пользу прусской учебной системы, то славянофилы, несомненно, и были бы призваны к центрам управления. Но он славянофилов, действительно, недо-

любил и действительно побаивался, как, в сущности, верный «птенец гнезда Петрова», никуда дальше этого «гнезда» не улетевший. Катков был, по существу, западником. Формулу (очень поверхностную) славянофильства: «православие, самодержавие и народность» он читал: «самодержавие, еще раз самодержавие, народность и, пожалуй, несколько Церкви».

При суждениях о Хомякове П. А. Флоренский слишком подчиняется условиям нашего времени и уровню собственного развития, очень высокому, и не принимает по крайней мере к яркому сознанию условий времени Хомякова. Шло царствование императора Николая Павловича и начало «эпохи великих реформ», когда в Церкви царил авторитет митрополита Филарета, а в делах правления «благовествовал» шеф жандармов, Бенкендорф; в литературе же шла линия торжества преемственно Герцена, Белинского, Добролюбова и Чернышевского. При таком положении поднимать стяг внимания к Церкви, зова в Церковь было невероятно трудно. И то, что сделал, однако, Хомяков при этих условиях, было поистине «горою», Флоренский говорит о нем: «Несомненно, что все возраставшая доселе слава Хомякова – в последнее время готова вспыхнуть ярким пламенем, в связи с возникшим отворачиванием от западной культуры и поднявшим голову славянофильством»...

Тут, мне кажется, слишком много дано в пользу славянофильства и, в частности, Хомякова. Труд проф. Завитневича велик, но это и есть только труд Завитневича. Кто его знает, Хомякова? Где сколько-нибудь ссылаются на него? Его идеи не принимают решительно никакого участия в идейном движении нашего общества, и его имя никогда не произносится в литературе. Если мы скажем, что на сто раз почтиительно произнесенного имени «Карла Маркса» придется «один раз услышать выруганное имя «Хомякова», боровшегося «за ядро русского самосознания», – то мы скажем не только явно слишком большую похвалу имени Хомякова, но и сделаем явное преувеличение значения этого имени. Нет, напрасно скрывать: и до настоящего времени имя Хомякова, конечно, всем известно, но оно – злобно известно, проклинаемо известно; а сочинения или «творения» его решительно неизвестны обществу, попав в какой-то «монастырь» и «затворы» единичных редких людей. Если нам ответят на это, что «общество безумно», то мы скажем, что вот это-то и составляет господствующий факт нашей умственной жизни, победить который ни малейше не удалось славянофилам.

На самом деле, и «творения» Хомякова, и труд Завитневича, и острая статья о нем Флоренского – «не по зубам» обществу, и просто смешно читать, когда критик говорит Завитневичу, что его «два тома скучно читать», потому что они «только излагают самого Хомякова», а не дают «критики на Хомякова». Кому скучно читать? Флоренскому скучно читать, потому что они не дают ничего нового, а обществу скучно и тяжело читать, потому что это все сплошь для него новое, никогда не слыханное, никем не виданное, и неужели же они оба, Завитневич и Флоренский, хотят заставить общество столько «работать над собою» и заниматься «своим самообразованием». Это жестоко и грубо. Общество наше, подобно классическим богам, питает-

ся только нектаром и амброзией. Гораздо слаще и легче ему занять свое внимание фельетоном газеты, где оно в 51-й раз прочтет о том, какие великие обещания для человечества содержатся в нем, в этом обществе, какая у него золотая душа и сладкие грезы, до чего оно преисполнено братскими чувствами ко всем народам. Это труда не требует, ответственности не ожидает, это просто сладко и только сладко. «Меньше, – чем на ананасе для себя, – наше общество не мирится». И вот это-то и есть «самое главное дело России», единственное «важное дело России»: как перевести людей от ананаса к хлебу, без которого ему придется, по-видимому, умереть от незаметного истощения.

В высшей степени интересны и важны рассуждения П. А. Флоренского о «протестантском начале в истории» в связи с именем и памятью Хомякова. Самый тревожный вопрос относительно Хомякова, говорит он, заключается в давнем подозрении его, Хомякова, в протестантизме:

«Для Хомякова сущность протестантизма заключается только в протесте против романтизма (католичества), при сохранении, однако, основных предпосылок и характерных приемов мысли этого последнего. Но дозволительно сомневаться, так ли это. Развитие протестантизма и его производных уже после Хомякова обнаружило с несомненностью, что в основе протестантизма как главного выразителя культуры нового времени лежит гуманизм, человекоутверждение, человеколюбие, – или по терминологии, заимствованной из философии, имманентизм, т. е. замысел человечества из себя, вне и помимо Бога, воссоздать из ничего всякую реальность и в особенности реальность святых, – воссоздать во всех смыслах, начиная от построения понятий и кончая духовною реальностью. Между тем существо православия есть онтологизм, т. е. приятие реальности от Бога как Факта, а не человеком творимой, смирение и благодарение. Что же мы видим у Хомякова? Самое противоположение начал «Иранского» и «Кушитского» должно наводить на раздумие. В «Легенде о Великом Инквизиторе» у Достоевского раздвоение образа Христова на два, из которых ни один ни Инквизитор, ни «Христос», – не есть чистое выражение духа Христова, приводит религиозное сознание к бесконечным трудностям, заставляя выбирать между «да» и «нет» там, где *tertium datur**. Инквизитор – не от Христова духа имеет помазание. Но неужели, с другой стороны, оставаясь членом Церкви, дозволительно отрицать «авторитет, чудо и тайну» или хотя бы что-нибудь одно из трех? Так же и у Хомякова: Инквизитору Достоевского соответствует «Кушитство», «Христу» Достоевского соответствует «Иранство»; но тогда духу Христову, Церкви, не находится истинного места в системе. «Иранство», которое для Хомякова почти синонимично христианству и Церкви, на самом деле, по характерным чертам своим, весьма напоминает протестантское самоутверждение человеческого «Я» и, во всяком случае, не ближе к Правосла-

* существует третье (лат.).

вию, чем «Кушитство», в котором Хомяков карикатурно представил многие черты онтологизма. Обо всем этом не принято говорить в печати, хотя дружески подобные суждения неоднократно высказывались. Но пора поставить вопрос о «Кушитстве» ребром. Дух «Кушитства», хотя и в искаженном изложении, которое довел до конца Л. Толстой, в своих кощунственных выходках против тайнства, имеет несомненные черты подлинной церковности. Если бы уж нужно было выбирать между двумя, в разных смыслах неправильными, изображениями церковности у Хомякова, то скорее пришлось бы остановиться на кривом зеркале «Кушитства», чем на приукрашенном «Иранстве». Что в живой православной Церкви имеется и то и другое начало, Хомяков это отлично видел и признавал, но он чересчур просто отделялся от этого себе возражения ссылкой на зараженность православного мира началом Кушитским. Вглядываясь же более внимательно в собственные теории Хомякова, мы, к скорбному удивлению своему, открываем в них тот же дух имманентизма, который составляет существо протестантизма, хотя и в неизмеримо усовершенствованном виде, – главным образом, внесением идеи соборности, – хотя должно отметить, что мысль о соборности сознания не совсем чужда и западной философии, например Канту, не говоря уже о Шеллинге последнего периода, и далее – Фейербаху, Канту и др. Разумеется, православное воспитание и осведомленность в источниках верования и церковной истории побуждали Хомякова быть осторожным в тех местах, где естественно было выразиться расхождению хомяковской мысли с разумом церковным; а редкая по силе диалектика придавала положениям Хомякова такую гибкость и такую убедительность, при которых самое сомнительное и самое опасное кажется притупившим острые режущие углы. Но, при всей осторожности Хомякова и при его чистосердечном желании не сталкиваться с учением церковным, самые источники его воззрений для человека православного, при внимательном их разглядывании, не кажутся ли подозрительными?»

Да, но еще «последующих времен» не наступило для Хомякова, и он совершенно не мог видеть того, что видит перед глазами своими Флоренский. В 40-е и 50-е годы, когда жил Хомяков, было невероятно трудно хотя бы как-нибудь связать умственную жизнь русского светского общества с Церковью, – и он схватил хотя бы «протестантский привкус», все-таки «рациональный» и «гуманитарный» и потому хоть как-нибудь влезавший в голову современников Белинского, Герцена и Грановского. Чтобы «причаститься», надо сперва научиться «пить». Просто – «пить воду». К этому первоначальному физиологическому «присму жидкости в рот» Хомяков и приучал современников Белинского. Да и не «приучил». Никто и никак не хотел «пить», ни – сгущенного православного вина, ни же протестантской водицы. Как это в медицине? Кажется, и «собачье бешенство» начинается «водобоязнью». «Бешенство» нигилизма и начиналось

укором: «Не могу проглотить». В самом деле, как что-нибудь «из Хомякова» начало бы «принимать общество, испивавшее из чаши Фердинанда Лассалья и Карла Маркса? Вещи несовместимые. «Нам надо взбеситься, а вы говорите о лекарствах». Шел или начинался процесс «политического бешенства»; и уже «бешенство» обнаруживалось по отношению ко всяким идеальным или идеалистическим вещам. Вот, говорят еще, есть Пушкин. Кроме Хомякова, – и Пушкин. «Но нам и Пушкина не надо, потому что он не ведет нас на баррикады». Наконец, «на баррикады» повели милых людей три всесветных светила, Лассаль, Гольденберг и Азеф. «Умираем за истину», вопияли россияне, как и шедшие при Петре и Софье за Никитой Пустосвятом.

Одной из интереснейших частей критики П. А. Флоренским «круга мысли» Хомякова являются замечания его касательно теории Хомякова о «самодержавии», Флоренский пишет:

«Как в учении о Церкви Хомяков противопоставляет понятия общественные понятиям государственным, вместо того чтобы прямо утвердиться на понятиях церковных, так и в учении о государстве у него заметно стремление объяснить все из момента социального. «Общество, а не государство» – вот смысл хомяковских утверждений, выраженных прямо. Это сложные построения, думается нам, – не что иное, как осторожный подход народного суверенитета; как там, выше, – подход к началам всечеловеческого суверенитета. Иерархия римская, по смыслу хомяковского учения, виновата тем, что усвоила именно себе всего человечества, т. е. всей Церкви, – делает поспешное уравнивание понятий Хомяков. Я сказал: «поспешное», ибо если бы иерархия римская или даже сам папа провозглашали догматы истинные, а все человечество Риму в этом противилось, то Рим в сем случае и был бы всею церковью, хотя суверенитет человечества был бы узурпирован. А что теории суверенитета Хомяков держится вообще, то это несомненно: он открыто ее высказывает в своих соображениях о происхождении династии Романовых, хотя и не называет этой теории ее настоящим именем. Русские цари самодержавны потому, полагает он, что таковою властью одарил их русский народ после смутного времени. Следовательно, не народ – дети от Царя Отца, но Отец Царь от детей-народа. Следовательно, Самодержец есть Самодержец не «Божиею милостью», а народною волею. Следовательно, не потому народ призвал Романовых на престол царский, что в час просветления, очищенным страданиями сердцем, узрел свершившееся определение воли Божией, почуял, что Михаил Федорович уже получил от Бога венец царский – а потому избрал, что так заблигорассудил наилучшим для себя – даровать Михаилу Федоровичу власть над Русью, – одним словом, не сыскал своего Царя, а сделал себе Царя. И первый Романов не потому сел на престол, что Бог посадил его туда, а потому, что – вступил в договор с народом. Следовательно,

приходится заключить дальше, что «сущие власти» не «от Бога учинены – суть», но от Contrat social*; не «Божье соизволение» держит престол, а «Suffrage universelle»**. Это – хомяковское учение. – Может быть, на это скажут, что такое возражение Хомякову есть смешение области правовой и государственной с областью богословской и духовной. В порядке юридического, скажут, суверенитет народа все-таки должен быть признан, и его не обойти. Это было бы так, если бы сам Хомяков не отрицал чисто юридическую постановку общественных и государственных вопросов и не требовал возглавления всего верою. Конечно, во внерелигиозной, чисто светской мысли, там, где Бог не признается источником общественного строя, – без народного суверенитета обойтись нельзя. Ибо если нет в научном сознании Бога, то кому же, как не народу, быть последним судьей своих дел? и тогда право самодержавия без суверенитета народа обосновано быть не может. Но будет ли такое «самодержавие» – самодержавием? В том-то и дело, что в сознании русского народа самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт, – милость Божия, а не человеческая условность; так что самодержавие Царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных; это входит в область веры, а не выводится из внерелигиозных посылок, имеющих в виду общественную или государственную пользу».

Нельзя яснее этого разъяснить, нельзя доказательнее этого доказать. Нельзя и на минуту усомниться, что Хомяков, сам прослушав это возражение себе, изменил бы вовсе свою «аргументацию самодержавия» и, без сомнения, принял бы ту народную, какую только отдельными словами и очень отчетливо изложил Флоренский. Заметим также для теоретиков русского государственного строительства, – из них особенно имеем в виду профессора Одесского университета, г. Казанского, написавшего громадную книгу: «О самодержавии русских царей», – что они ни в каком случае не должны выпустить из виду рассуждений П. А. Флоренского.

Между тем он взял эту часть теорий А. С. Хомякова только как пример вообще метода его рассуждений. «Это – основная точка зрения Хомякова, – говорит он, – и эта точка зрения с меньшею яркостью, но все же отчетливо определяет и его учение о Церкви. Свободное самоутверждение человека, – бггие имманентное человеку, – проявляющееся в организации любви, для него всего дороже. Действительно, он «великий альтруист», как определяет его профессор Завитневич. Но и великий альтруизм, сам по себе, ничуть не похож на Церковь, ибо Церковь полагает основу свою в том, что вне человечности, а для альтруизма, как и для всякого гуманизма, самой крепкой точкой опоры представляются внутренние, имманентные силы человека. Выказанное здесь положение о Хомякове может показаться неожиданным, но, будучи принятым, оно бросает неожиданный же свет и на борьбу Хомякова с онтологическим момен-

* Общественный договор (*фр.*).

** Всеобщее избирательное право (*фр.*).

том в религии. Отношение к трансцендентному в религии, на его взгляд, кажется проявлением «кушитства». Но тогда понятно, почему он отвергает и авторитет, в применении и к церкви; «каковой, естественно, есть авторитет лишь постольку, поскольку он вне того, кто авторитету подчиняется».

Громадные три тома исследования В. В. Завитневича о Хомякове вызвали весь этот разбор отдельных теорий Хомякова П. А. Флоренским. Как мы с удовольствием узнали на днях, этот критический разбор Флоренского, вместе с приложенною к нему «таблицею родословия» А. С. Хомякова и вместе с тем – родословия почти всего славянофильского кружка, которую составил Ф. К. Андреев, – выйдет в непродолжительном времени в свет самостоятельную книжкою. Это необходимо ввиду ценности содержания. Порадуем приверженных к славянофильству людей и другим известием: вскоре же, в этом году или в следующем, выйдет огромная книга-диссертация о Ю. Ф. Самарине вышеупомянутого Ф. К. Андреева, также профессора Московской духовной академии. О Н. П. Гилярове-Платонове мы имеем уже хорошее исследование кн. Н. В. Шаховского. Таким образом, не быстро, но зато массивно, – в достойных предмета своего трудах, – дело славянофильства, область славянофильства, крепнет и ширится в русском самосознании. Хотелось бы сделать здесь еще одно упоминание-напоминание. Покойный К. П. Победоносцев не «вплотную» примыкал к славянофилам, однако он к ним примыкал все же значительно; примыкал более, чем к каким бы то ни было другим кружкам, партиям и программам в России. И, изучая славянофильство и славянофилов, нельзя его ни обходить, ни упускать из виду. При этом даже нет необходимости или неизбежности касаться его государственной деятельности, – его «дел» вообще. Это слишком громоздко, трудно для освещения и особенно для изучения; но многие упускают из виду, что Победоносцев есть автор «Московского сборника», книги яркой и лирической, – что вообще его «литературность» была довольно обширно выражена. И укажем еще на С. А. Рачинского, коего личность почти совершенно игнорирована в печати. А ведь это – одна из светлейших личностей русской жизни за XIX век.

Ах, гробы, гробы славянофильские. Отчего около всегда так трудно, так не ходко, так неудачно. «Что-то есть»... Что? – Нельзя рассмотреть. Славянофилы – образовали особое течение русской мысли и деятельности, которое пошло «вспять», пошло «наперекор»... Они сделали «обратное движение» двум векам движения, начавшегося с Петра Великого. В сущности, славянофилов у нас не особенно мало, – особенно теперь. И что радуется явно, среди особенно молодежи начинают льнуть к славянофильству. Это, действительно, – «берег»; это, в самом деле, устой и твердыня. Имена, здесь собранные, до такой степени ярки умом и талантом, особенно ярки благородством личности и деятельности, что получше этого «чистого берега» нельзя указать в действительности. Но вот: все около него трудно. Трудно к нему пристать, трудно около него плавать. Отчего это?

Да «вопреки» пошли, – в упор, в отпор. Петр Великий кликнул клич: «К Западу». Все метнулось сюда, слова, мысли; но в особенности метнулось

сюда масса государственности, главный корабль «государства и действительности». Увы, хотя мы часто и «хорохоримся» против государства, а, однако, все плывем в «государственном корабле». От этого все наши так называемые «радикалы», суть только кажущиеся радикалы; на самом деле они чуть-чуть только не официозны. Они только гораздо дальше и гораздо ускореннее идут «на Запад», куда с Петра Великого шло все наше правительство, куда плыл и плывет два века «государственный корабль». Если что в них раздражает собою правительство, то это зуд, прыткость, суета, юркость. Раздражает, потому что большой корабль должен плыть солидно, стойко и со всеми надлежащими флагами, удостоверениями и официальностью.

Но помимо этого, т. е. помимо, в сущности, мелочей, программа и руль и паруса у государства и у радикалов – общи: «к Западу», под «западным ветром».

Славянофилы же возгласили: «к Востоку» и «восточным ветром». Они одни и единственные и суть у нас радикалы.

– «От корня надо лечить все», и от корня надо и поворачивать дела»...

Тут нужно заметить еще одно, – и это тоже много объясняет в трудном положении славянофилов. Оно неразъединимо все связано с Церковью, с работою около Церкви. Теперь обзрите глазом все ставшее уже неизмеримым русское образованное общество и выглядите в нем, кто же собственно «связан с Церковью» или хотя бы даже «интересуется Церковью». Насколько Церковь близка народу и «неизбежна в нем», настолько же Церковь чужда и, так сказать, «неприбежна» обществу. Это – рок, судьба и отвратительная судьба. По этой причине главным образом славянофильству так трудно распространяться и находить себе учеников и прозелитов; хотя, в утешение скажем, – по этой же причине примыкающие к славянофильству примыкают к нему особенно крепко, верно и горячо. Но в общем и в массе – таких столь немного. Можно назвать целый ряд самых влиятельных, читаемых журналов, где имя «Церковь» не только не произносится часто; но и не произносится совершенно никогда. И «никогда» – за десятки лет. «Современник», «Отечественные Записки», «Вестник Европы», «Русское Богатство», «Северные Записки», второй «Современник», «Современный Мир»; многие годы выходивший «Мир Божий» (!!!?), «Книжки Недели» – это же 8–10, это «без малого» почти вся русская «текущая литература», протекавшая около читателя ни много ни мало 60 лет!! Что около этой печати, около 6–7 «ежемесячных книжек» и названных журналов значили одиночные книжки одинокого «Русского Вестника», вечно чахнувшего «Русского Обозрения», или одинокая газета Н. П. Гилярова-Платонова – «Современные Известия» и, наконец, тетрадки «Русского Труда» и других изданий Шарапова. Шел громадный слон, а около него бежал бессильный мальчик.

И хочется сказать, обратясь к питомцам духовной школы: «Ваше это дело», т. е. что поддержка славянофильства давно должна бы сделаться почти соловною задачею нашего духовенства, – но гораздо более активным образом, чем было до сих пор. Знаем, практическая жизнь поглощает почти все

время у нашего духовенства, «служб» так много: «треб» тоже очень много, но ведь все-таки есть и чтение, все-таки есть «остаточек времени». Посмотрите, как в 60-х годах русское духовенство, и особенно сыны его, поддержало «Современник». Без этой до известной степени «сословной поддержки» «Современник» не сыграл бы своей огромной исторической роли. Но ведь лучше же «взять глаза в руки» и увидеть ясно, что здесь духовенство поддерживало, правда, «очень русский журнал», но зато журнал, шедший нескрываямо к задачам искоренения всякой Церкви, всего духовного, а, следовательно, в конце-то концов, конечно, и к истреблению всего духовенства, всякого духовенства, в том числе и, думаю, даже «и буддийского», не говоря уже о «непереносном христианстве». Здесь явно, таким образом, духовенство и сыны его рубили под собою корень. Вина его – и крупная историческая вина против России. Но прошли десятилетия. Явно, и Восток, и Россия, и, в частности, православие загораются новыми зорями. И вот здесь сплотиться около славянофильства – какая поправляющая задача, поправляющая ошибку 60-х годов!

В особенности слово мое – к юным, к питомцам духовных академий, к питомцам и семинарий. Московская академия в этом отношении превосходно работает; в Киеве В. В. Завитневич и дал и дает, я думаю, большой толчок; черед за Петроградом и Казанью. Нельзя не сказать с большой скорбью, что если «когда-то» были хоть малочитаемые журналы славянофильского направления, то таких теперь вовсе нет. Трудно поверить – но нет. В эпоху гигантской борьбы с Германией, когда, казалось бы, «вся Россия должна вспыхнуть славянофильством», по крайней мере должна бы вспыхнуть чисто русскими воззрениями, чувствами, складом мышления, – сколько угодно есть журналов для марксизма, сколько угодно есть журналов для социализма, русскому чувству – нет места. Германский червь хорошо ел и давно ел русскую почву. Но вот это-то, именно это, и показывает, как настоятельна борьба, как она нужна... А что трудно, – то, ведь, вы же, господа, молоды...

К ВОПРОСУ О «НЕДВИЖИМОСТИ» ДУХОВН. СОСЛОВИЯ

Мне как-то приходилось указывать в печати, – да это и само собою очевидно из биографий и автобиографий, – до какой степени много русских иерархов и вообще светил «духовного мира» или «духовного ведомства» вышло не из детей священников, не из детей даже диаконов, а из сыновей дьячков, причетников, может быть, даже пономарей. Тут как-то так складывается, что, глядя чуть-чуть «издали» и «со стороны» на величие и красоту богослужения, «подавая кадило» или «предшествуя со свечой» иерею, – талантливый мальчик получал впечатления исключительной высоты, поэтичности и торжественности. «И с младых лет начинал почитать церковь, государство и отечество», – почитать все торжественное, почитать все высокое. Наконец, особо и высоко

читать все «законное», «уставное». Ведь службы церковные называются «чином». Рассматривая книжное наследие одного умершего славянофила, я ахнул, увидя красивую красную книгу с золотым обрезаем и в красном сафьяновом переплете: «Чиновник архиерейской службы». Покойник специально любил именно архиерейскую службу и, очевидно, читал дома в час отдыха своей «Чиновник», как стихи Пушкина. Но возвращаюсь к теме. Так вот, – «преимущественно из детей пономарей и дьячков»...

Продолжая думать об этой теме, т. е. о личном составе нашего духовенства, я набрел на странную мысль, которую как-то боюсь сказать прямо, а скорее прокрадусь с нею, как с гипотезой. «Причетник», «дьячок», «пономарь» – уже почти крестьянин, попросту – «мужик», отличаясь от него только немного грамотностью. Читать он ничего не читал и не интересуется читать: знает только «псалмы» и «часослов». Да и некогда. Он весь погружен в хозяйственную нужду, в безденежье. Хлебают молоко с черным хлебом, крошив в тарелку, «как и нам случалось» (пишу о своем детстве), – и весь полон труда, озабоченности и самых скромных соображений. Быт, жизнь, «харчи», – «скотинка домашняя» – все решительно крестьянское.

И в меня влезла чудовищная гипотеза, что «церковь русская», «столь отличающаяся от католичества и протестантства и не приемлющая *filioque**», на самом деле не в этом вовсе состоит и не этим характеризуется и определяется, а – тем, что она вообще есть церковь крестьянская, с духом крестьянства, с крепостью крестьянства, с государственностью крестьянства, с жесткостью крестьянства, с грубостью крестьянства, с безжалостностью крестьянства, с его неповоротливостью, неуклюжестью и невпечатлительностью.

Ибо у «мужика», около золотых его черт, есть и эти вот «жесткие». Он – сердоболен; но посмотрите, как он расправляется с конокрадом. Вообще он «крепок», но не обладает особыми «нервами».

А если «так», то – «эврика». Тогда множество особенностей нашего духовного «делопроизводства», «толчен на одном месте» (помните у Гоголя «дядя Митяй и дядя Миняй»), неразберихи, путаницы, бестолковщины, объясняется именно «слабой нервностью мужика», которая у духовенства перешла в знаменитую «черствость отцов духовных», которым «который год кол на голове чешут», а они даже и не «шелохнутся». Говори – не говори – все равно. «Наши семинарии – негодны, Победоносцев их назвал кабаком» (в одном напечатанном письме) – все равно. «Из духовных академий выходит атеисты» – все равно. «Вы все заражены Тюбингенской школой» (отрицает божественность Евангелия) – все равно. «Вы давно еретики и сами не знаете Священного Писания» – все равно.

Просто оторопь возьмет.

Но дело очень просто, и даже несколько не страшно. Они просто кушают молоко с черным хлебом, крошив в тарелку. А вас, т. е. что вы говорите, – просто не слушают. «Вот тебе и вся недолга». Ереси – нет, отступничества –

* ...и от Сына (лат.).

нет. Они и в Бога верят, но «коротенько», без «разглагольствования». Они религиозны – но страшно пассивно и традиционно религиозностью мужика. Они добрые и прекрасные люди, но – крестьяне. Для виду и чтобы «не ударить лицом перед католиками» (вечными соперниками) – «занимающиеся даже чтением тюбингенских историков».

Но в зерне дела и на дне всего – толокно (есть и такая пища деревенская, из солода и кваса). И, читая тюбингенцев, – они преспокойно верят в старый «чох».

Мне как-то, совсем недавно, пришлось разговориться с одним лейб-медиком. Он мне передал, что несколько лет назад тому встретился с одним иерархическим лицом, до того высокопоставленным, что хотя рассказывающий – сам действительный тайный советник, но попросил хозяйку дома «представить себя ему». В тот год были студенческие волнения, и вот иерарх выразился, несмотря на большое число очень высокопоставленных лиц: «Я бы этих студентов сперва выпорол, а потом повесил». Его никто не спрашивал, никто не тянул за словом. Почему он сказал? Да – мужик. «А с конокрадом тем – надо *так расправиться*». Это не богословие, а посему даже и не «порок», а просто – крестьянство. *Род* заговорил, *кровь* заговорила, *традиция* заговорила: а что он «член церкви» и даже одна из глав ее – он просто «о ту минуту забыл». Обыкновенная история за мужичьим столом.

Об этом самом иерархе в высшей степени религиозная, благочестивая, смею думать, – праведная женщина, вдова того славянофила, который любил читать «Чиновник архиерейской службы», – раз сидя в моем доме в гостях, выразилась приблизительно так, как он сам допустил себя выразиться о студентах. Пораженный, я вздрогнул. Она и рассказывает: «Умер диакон его, без малого тридцать лет ему сослуживший. Я подходила к подворью на Васильевском острове: и вот из церкви выносят гроб с телом этого диакона. Тридцать лет вместе службы!!! – и хоть бы он подошел и перекрестил его!!! Нет. Он вышел из кареты и заговорил с какими-то двумя своими знакомыми дамами, страшно декольтированными. Тридцать лет... тридцать лет!»...

И она повторила, что он сказал о студентах.

Осудить. Но что? – Толокно. «Если есть толокно, то оно – вкусно». Тут никакого нет богословия, ни религиозности, ни безрелигиозности. «Не чувствую». Разве присяжные простолюдины, отпуская из суда убийцу своим лживым: «Нет, не виновен», суть люди «неверующие»? Слишком сложно. Нет, они просто спали на суде.

И еще последний (такая удача в рассказах все об одном лице) – рассказ нашего знаменитого академика Николая Павловича Кондакова. Шла японская война, зашла речь о разных лицах, и вот коснулась этого иерарха. Академик, столь преданный церкви, столь много сделавший для церковной археологии, выразился: «Вы знаете, это до того темный и невежественный человек, что он, как мне пришлось убедиться из одного разговора, не различает *«лицо»* в физическом смысле и *«лицо»* в нравственном смысле». Н. Н. К-ов, вероятно, сам позабыл эту характеристику (а может быть, и не забыл), но я ярко ее помню и не ошибаюсь в «йоте», до того она поразила меня.

И наконец, рассказ одного профессора духовной академии тоже об иерархе, но другом: «Нужно было написать резолюцию на докладе, ему представленном. Он прочитал доклад и на полях сделал замечания. А в конце доклада написал: «Все одобряю, *кроме моих примечаний*». Т. е. он одобрил весь доклад, *за исключением мест*, оговоренных в его примечаниях; *но как это выразить* – он не сумел. Резолюция эта сделалась знаменита в духовном мире. Но разве это ересь?

И вот здесь единственно и лежит корень того, что, например, церковно-приходскую школу организовал планами своими, мыслями своими и примером двадцатилетнего школьного сельского преподавания профессор ботаники Московского университета и дворянин Сергей Александрович Рачинский, что самый выдающийся богослов за полвека был Влад. Соловьев, что самый энергичный двигатель идеи «прихода» есть дворянин и, кажется, юрист – Панков, самый деятельный писатель-публицист по церковным вопросам – г. Поселянин (псевдоним светского человека) и единственный выдающийся... чуть не сказал «иерарх» – тоже за полвека – К. П. Победоносцев. Но *где же* духовные, почему их не видно, не слышно? Думаешь, гадаешь, ищешь и находишь разгадку в простом и непререкаемом факте:

– Крестьянство все задавило. Оно сильно, хорошо, охранительно – слов нет. Вообще оно имеет великие утвердительные в себе качества. Кто же тогда решится порицать, отвергать крестьянство. «От него – труд, от него – молитва». Именно оно – хранит Русь. Но уж не ожидайте, чтобы «пошевелилось». «Скорее матушка-Волга вспять потечет». «Как *отцы*, так и *мы*». Ну, хорошо, это – крестьяне. Но, именно, они, эта громада Руси, и могучей, и рослой, местами, да и вообще, страшно жесткой, страшно черствой, – они все подчинили бытию и духу своему в церкви, и «Православная церковь» есть *втайне* и по личному составу духовенства просто «Крестьянская церковь», которая тоже «с боку на бок не переворачивается». А не то чтобы там *filioque* и «верность греческой традиции».

Хотел говорить о «разводе» дальше – и написал длинное «предисловие». Но, я думаю, – «не кстати». Так вот отчего все «стоит». И как «приход», так «реформу семинарии», – так же точно, очевидно, и «развод» придется реформировать светской власти. «Понеже те сидят, уткнув бороду в землю, – и молчат», – как выразился Котошихин о боярах времен Алексея Михайловича. А «заговорят» – то лучше бы и не слушать. Начнут «делать»? – Вот было обливание из насосов афонских монахов – «имяславцев». Все – темнота, деревня, милая и неповоротливая. Таких – поворачивают.

ОГОРЧЕНИЯ ДОМА И НА ВОЙНЕ

I

Точно Русь выросла на каком-то горьком месте. До того в ней было и есть много «огорченного» и «огорчающего». Точно она выросла без «своего праздника», вот особенного ее, личного, русского праздника. Эх, если бы в году да лишний денек, «367-е сутки», и эти сутки были бы специально «русские, сча-

стливые сутки». Не бывать такому блаженству. Все праздники – точно не русские. Ей-ей закричишь иной раз: «Немец украл у нас и праздник». Теперь все хочется валить на шапку немца.

Ну, разве это не «немец подгадил»? Говорю об ученом комитете министерства просвещения. За 20 лет, как я работаю в литературе, я ни о ком и ни о чем не читал и не слышал столько насмешек, презрения и неуважения, как об этом комитете. Это какое-то «врожденно неудачное место», какая-то «врожденно скверная идея» Российского государства, как есть «божественные идеи» и «благородные идеи», которые, кажется, пересчитывали Декарт и Кант. Но, поистине, у «ученого комитета» брань на восточном восточном виснет. Живет себе и живет. Получает жалованье, – очень маленькое, и я приурочиваю к маленькому жалованью то, что оно так «отличается» в постановлениях, приговорах и рецензиях. Уж если кто «строго пишет рецензии», – то это ученый комитет. Ну, вот я прочитал:

«Ученым комитетом министерства народного просвещения включена в список книг, *заслуживающих внимания* при пополнении ученических библиотек средних учебных заведений».

Просто какой-то дипломатический язык. Русский так не скажет. Русский обрадуется. Русский выругается. Но чтобы так «процедить сквозь зубы» ни «да», ни «нет», ни «хочу», ни «не хочу», – то это явно может только немец, в которого Бог вместо души положил какую-то капусту. Немецкого языка никогда никто не мог понять, а при разговоре русский отворачивается, произнося: «Ничего не понимаю».

На книжке, однако, стоит «издание восьмое. 1916 года». Явно – ученики так и рвут из магазинов. Это не то чтобы «заслуживает внимания при пополнении библиотек», а просто – стало учебником, руководством. И, слушая как мои детишки учат из нее что-то о «вещем Баяне», я взял и посмотрел...

«А. Алферов и А. Грузинский. Допетровская литература и народная поэзия. Тексты. Переводы. Примечания. Словарь с 14-ю рисунками».

Посмотрел. Внимательно посмотрел. И вот поглядите, например, 14 рисунков, – это иллюстрационно и потому сразу станет читателю понятно:

- 1) Устав: Древнейшая рукопись: Остромирово Евангелие. Зачало онога.
- 2) Во всю страницу: «Из Святославова Изборника 1073 года»: нечто вроде иконостаса. Святые угодники. Травы и птицы «зело дивные», ни на что не похоже. Лики строгие, наказующие. XI век. Это – рисунок из рукописи.
- 3) Начало так называемого «звериного орнамента» – из Луцкого Евангелия XIV–XV века.
- 4) Вращение небесных светил по Кузьме Индикоплову. Рисунок взят из рукописи XVI века.
- 5) Устройство земли по Кузьме Индикоплову.
- 6) Дикий вол из Кузьмы Индикоплова. Лист рукописи, с рисунком и текстом.
- 7) Лубочная старинная картинка. Из собрания Ровинского.
- 11) Олонецкий «сказитель» былин В. П. Щеголенок.
- 13) Лирник в Киевской губернии.
- 14) Черниговский кобзарь Пархоменко.

Все это окружено текстом на 466 страницах крупного формата и более мелких примечаний. И в каждой странице – выбор, умение, знание. Составители – ученики в университете Ф. И. Буслаева и Н. С. Тихонравова. Имя великих наставников свидетельствует и о духе прилежных учеников. Книга дышит любовью к предмету. И в ней нет крупинки учебного торгашества, что не редко в учебниках и так противно видеть около кармана бедного ученика.

Вспомнил я, как мы все «тащились по словесности» именно допетровской в гимназии. Да и вообще до Карамзина: все было такое отчаяние, скука, поистине «презренный вид». И объяснение просто: составители «руководств» все нам рассказывали, но ничего нам не показывали. А рассказывали-то они... ну, известен учебный язык. Ничего не запоминается. Здесь же, у Грузинского и Алферова, нельзя оторваться: 1) от перевода языком XIX века и 2) подлинного воспроизведения, со всеми архаизмами, и 1) истории покорения Пскова, 2) из диковинных «Азбуковников» и допетровских космографий. Краски. Язык. Живопись. Объядение. Нельзя начитаться. В 60 лет, когда уже голова «ничего не принимает», нельзя оторваться.

Будь же я членом ученого комитета, то сам выпросил бы у министра два ордена и самолично отвез в Москву двум преподавателям гимназий (кажется), которые не только столь полезно, но и столь изящно трудятся для училищ. Изящно и талантливо.

Но что же ученый комитет? Видите ли, там заседают все «профессора», все «настоящие ученые люди», и, без сомнения, – из немцев. Немцу неприятно и тяжело видеть, если у русских школа хороша. А в больших чинах, что поделаешь! И вот бессильные помешать издать хорошую книгу, – они окрысиваются и «одобряют» книгу каким-то «неодобрительным одобрением». Ведь явно, что книга, которую хватают ученики, противна членам ученого комитета, которые еле-еле позволили на нее обратить внимание». И что за противный язык: «включена в список книг, заслуживающих внимания при пополнении ученических библиотек средних учебных заведений». Такие «гадости стиля» пишет только Кугель в «Дне».

Другое огорчение – с фронта. Собственно – по части пересылок. Но о нем завтра.

ЦЕНзуРА

Вопрос о цензуре никогда не был спокоен в России. Под фактом ее, под положением ее в составе государственного управления, под «направлением» ее и «веяниями в ней» всегда чувствовалась зыбкая почва, точно – «трясина»: она была «в переходном положении». Это все чувствовали; но куда перейти – об этом были страстные споры, здесь ничего не было ясно доказано.

– Да ее вовсе не нужно, – вот крайнее мнение, самое левое. – Пусть будет полная свобода мысли и слова. Разве же можно связывать человеческую мысль?

– Цензура нужна, и притом бдительная, строгая. Позвольте, все же соглашаются, что это «седьмая *держава*»: разве же можно допустить существо-

вание в государстве и обок с ним другого как бы духовного государства, от него вполне независимого? Это все равно и даже больше и хуже, чем, напр., существование иезуитского ордена, которое нигде не допускается, не допускается в самых либеральных странах, в республиках? Мысль, мнение, слово, печатное слово – родит из себя факт. Не члены человеческого тела управляют человеческою мыслью, но мысль управляет его членами, его *работою*. Если «правительство» откажется от вмешательства в «печать», то ему нужно и ему проще выйти в отставку, – в отставку по существу; ибо ему останется роль – только повиноваться печати, быть у нее на побегушках; обратиться в правительство «чего изволите». Это невозможно и унижительно для правительства. А оно представляет собою историю и народ, оберегает традиции истории и блюдет нужды населения. Население – десятки миллионов; «пишущей братии» – едва наберется несколько тысяч. Нельзя же тысячами закрыть миллионы, нельзя же нужде миллионов предпочесть удобства и произволение этих немногих тысяч? Это умственная аристократия и прерогатива; но век аристократий и привилегий прошел. *Всё* подчинено и блюдет государством: подчинена и должна блюстись и *печать*. Панама, подкупы, скупки печати – возможна. Она будет фиктивно свободна, свободная от министров. Но где гарантия и обеспечение ее внутренней свободы, – свободы от банков и банкиров, от синдикатов и трестов промышленности? от сословий и сильных классов? Здесь граница между «свободою» и «злоупотреблением» неуследима, неуловима, ступешвана и стерта. Наконец, можно быть «свободным» от приказания и свободным от подкупа: но есть столь же могучая и даже могущественнейшая власть гипноза, веяния, дружбы, симпатии, лести, рукоплескания. К «свободной печати» протянутся все руки, обратятся все души. А литераторы – народ впечатлительный. Разве же можно доверить капризам впечатления, вихрям впечатлительности «седьмую державу»?

Вопросы, на которые трудно что-нибудь определенно и решительно ответить. Увы, ответы так же колеблются и неуловимы, как и самые вопросы и в зависимости от этого. Здесь мы вступаем в область *антиномий*. Можно и так решить, можно и этак решить, – и нельзя предвидеть и доказать, что такое-то решение будет истиннее и основательнее всех прочих. Положение печати оттого и зыбко, что решение о ней ни для кого не ясно и во всяком случае недоказуемо. И практика бредет, в сущности, на «авось» и на «ура»... – «Айда, дадим свободу!» Это – на «ура» бросаются вперед. Споткнулись. «Нет, надо осторожнее!» Фонаря ни у кого нет. Фонарь, кажется, по существу вещи здесь не существует.

Что же делать? Разобраться в мелочах. Разобраться в былом опыте.

Здесь торопливо хочется сказать об одном благоприятном в смысле свободы опыте ее, какой мы наблюдали от 1905 года и до «теперь». Опыт этот не отмечен, по крайней мере, – не формулирован. Значение его, конечно, не вечно и не говорит о будущих временах. Заключается оно в следующем: с 1905 года, с «дней свобод», мы пережили в беллетристике, и в стихах, и в публицистике (не политической) широкую проповедь разнузданности пола,

невообразимое загрязнение литературы порнографией. У П. А. Флоренского, автора классического труда «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи», ныне священника и редактора «Богословского Вестника», я где-то прочел дальновидное определение этой порнографии. Он сказал, что, конечно, она не родилась в этот 1905 год, а существовала в нашем так называемом «образованном обществе» если не всегда, то давно; но 1905–6 годы родили впервые условия и обстановку для ее выявления. Эти условия – новые условия печати и вместе «откровенная психология» тех и ближайших дней, тех и ближайших лет. И что же? Опыт решительно был благоприятен. Литература загрязнилась, но общество явно и ошутимо поздоровело. Известный К. Чуковский, довольно внимательно следящий за настроениями читающего общества и за итогами критики в журналистике, в одном из «новогодних обзоров» своих, приблизительно за 1909 или 1910 год, заметил: «В нынешнем году общество, читатели ненавидели текущую нашу литературу, – ненавидели и презирали то, что им предлагалось к чтению». Это были те годы, когда – памятно – многие отказывались «огулом» читать «новое», читать вообще что-либо из «поэтов-современников» и «беллетристов-современников». Произошла живительная реакция в пользу морального оздоровления. Но она произошла тем путем, каким спартанцы воспитывали в юношестве трезвость; именно они напивали допьяна, до отвращения рабов и вводили в толпу из трезвых юношей, которые через зрелище должны были научиться и действительно научились добродетели трезвого поведения и состояния. Но опыт удался, собственно, от двух причин: на самом деле и в глубине сердца своего инициаторы движения, большею частью молодые писатели и «начинающие беллетристы» (из них отметим одного, – так называемого «графа Алексея Толстого» – bis), не были развращены, они не были падшие, а были просто легкомысленные, легковверные и, самое большое, легконравные люди. Затем на самое общество, на читателей, эта волна грязной литературы хлынула слишком сразу, слишком вдруг и – оглушила. Впечатление произошло, реакция произошла. Совершенно иное было бы действие, если бы порнография «просачивалась» в литературу мало-помалу: тогда она явно могла бы начать «подтачивать» нравы, «навевать» другую и худшую нравственность, чем крепкая стародедовская, в сущности, – вечная и нужная, как выверил опыт веков.

Опыт этот, говорю я, удался; но он нисколько не руководствен для будущих веков. Ни мало он не защищает благотворность абсолютной свободы печати...

Ах, литература, литература... Вспоминаешь, глядя на нее, изречение, которым Руссо начал своего «Эмиля»: «*Tout est bien, sortant des mains de l'Auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme*»*. «Эмиль» имеет подзаголовок: «*de l'éducation*» – «о воспитании»: задача, которую, являясь «в обществе», имеет и «литература». Руссо говорит, что, «рождаясь», каждая вещь

* Все выходит хорошим из рук Мироздателя, все вырождается в руках человека (фр.).

«прекрасна», а «потом» почему-то все «портится». Почему? Как? Все младенцы прелестны; ну а прелестны ли «люди», которые из них «выходят»? Тезис Руссо столько же философский, сколько и религиозный. Ведь то же говорит и Библия историей сотворения человека и последовавшей историей его грехопадения. Все, кто говорит об абсолютной свободе литературы, собственно имеют в виду ее невинное рождение и вовсе как будто не замечают ее последующей истории. А «рождение»-то ее прекрасно, как рождение младенца: эти мудрые люди, или люди с особенным талантом, «даров богов», или, по-вашему, «с даром Божиим», кладут на бумагу таинственным образом вырастающие у них мысли, фантазии, драмы, мелодичные строфы стихов, образы женские и мужские, «идеалы», улучшенное, облитое мечтой и воображением... И через чудо техники, печать, назавтра становится это всем известно, все читают, думают о том же, мысленно спорят, мысленно благодарят. Все это похоже на волшебство, — все это какая-то чудесная сказка, — о котором, казалось бы, можно было мечтать только в золотом веке. И вот — она осуществилась.

— Шантажисты прессы... (эпизод из истории Панамы). Воскликание одного редактора на суде: «Позвольте, моя газета берет не «столько-то», а — «гораздо больше»: потому что она талантливая и с авторитетом...»

Я помню впечатление в русском обществе по поводу тогдашнего разоблачения «шантажистов прессы», происшедшего впервые в истории. Пала какая-то на всех тоска. Что-то удушливое прошло... «Захватило горло», «нечем дышать». Ведь в сокровенной сущности вещей все общество рождает из себя литературу: и вот родитель — общество вздрогнуло: мой чудный младенец, о нем было столько радости — проворовался.

Да. Но «младенцу»-то теперь уже 26 лет, и он с бородой. «Рождение» было прекрасно, а человек вышел «кой-какой». Это уже не религия и мифология, а история. Это та грубая действительность, в которую мы просыпаемся от снов.

Что же делать? Судить по мелочам. Обсуждать рост и биографию обыкновенного человека. «Вообще» мы тут не можем дать «решения». Но размышляем о «деталях», можем кой в чем «помочь».

В следующий раз мы и войдем в эти детали.

НА ЭКЗАМЕНЕ УЧЕНИЦ ШКОЛЫ Г-ЖИ ИСАЧЕНКО-СОКОЛОВОЙ

Ну, хорошо — война, изготовление снарядов, борьба с дороговизной и прочее; но хоть в каком-нибудь уголке города, страны и души должен остаться кусочек пространства, не занятого именно и специально войною. Так оно и есть и останется вечно. Все и каждый о войне помнят, ее нельзя забыть, но — пишут стихи, печатают (с затруднением) книги, пьесы даются в театрах и школы готовятся к экзаменам. 28 и 29 апреля я был приглашен на своеобразный «экза-

мен», состоявшийся в школе г-жи Исаченко-Соколовой, на Ивановской ул., – классических движений, поз и танцев. Экзамен длился с короткими перерывами четыре часа. И здесь я мог более внимательно, нежели когда-то на спектакле этой своеобразной школы, всмотреться в огромную и настойчивую работу ее основательницы и огромного знакомства ее с *пластикою* классического мира, по статуям, живописи (Помпеи), саркофагам (процессии), вазам, камням и монетам. И опять в душе моей прошло это чувство, как при зрелище танцев А. Дункан: пока не знаешь, не присмотрелся и, наконец, не полюбил античного человека в его движениях, ходьбе, беге, «шествовании» (религиозные процессии), в поднятии предмета (жертвенная чаша), в играх и плясках на открытом воздухе (сцену, видимую в театре, нужно мысленно переносить в поле), до той минуты *понятия нельзя иметь* о том, чем был «древний грек», а следовательно, и что такое был греческий *быт* и, наконец, *история* античных народов. Час зрелища в таком театре больше объясняет, чем прочитывание целой книги, хотя бы и с рисунками, увы, *недвижимыми!* А суть-то человека, конечно, не в том, как он «стоит», а как он идет, бежит, убегает, догоняет. И опять два вечера, *смотря одно и то же без утомления*, я пережил восхищение перед единственным по простоте и изяществу миром, который не понятно даже, как возник... Ведь что может быть проще *дорической колонны*, а между тем только одни греки открыли, изобрели, создали этот вечный покой и вечную ясность линии, «в которой ничего лишнего нет», в которой всякое «украшение» было бы безобразием. Вчера и третьего дня я понял между прочим, до чего греческая *архитектура* к сущности связана была с *пластикою* греческого тела: ведь это – одно и то же, одна ясность и одна гармония, в *теле* и *камне*. Цивилизация греческая едина и неразделима! Но как же они ухитрились *никогда не быть некрасивыми!* Как ухитрились *никогда не быть очень сложными?* И, будучи очень и очень ловкими, как они не впали нигде в *хитрость*, «подставить ли ножку», «повалить врага хитрым приемом»? *Танцы невинности*, – сказал я когда-то, посмотрев танцы Дункан. Так оно и есть.

Невинный мир, прекрасный мир.

Одна из учениц, лет 13–14, дала египетские танцы, – скорее совокупность египетских поз, телодвижений, шага, сгибов, молитвы, – и вплоть до изменения позы в положение чего-то вроде лежащего сфинкса, но иначе и по-другому, придвинув ладони к подбородку. Удивительно. Закон египетской телесной пластики – совсем иной, нежели греческой. У греков – все округлено, у египтян – везде угол! Локти, ладони обеих рук или одной руки, ноги, поворот головы – все и везде дает собою треугольник, ромб, квадрат и т. д. Почему? Что за психика? Но вот тайна: к египетским сухоньким фигуркам (нигде на египетских рисунках не попадает ни одной *толстой, жирной фигуры!!!* – должно быть, от сухого климата Египта?), к этим фигуркам необъяснимо «идут» уголки движений и поз, как к «овальным» грекам и гречанкам идет или *прямызна* и *стройность*, или *закругленный жест* (в особенности – жесты рук!). Здесь между греками и египтянами – противоположность! И у обоих – красиво! Почему? Трудно объяснить.

Еще: у египтян в их «уголках» видно что-то более архаичное, элементарное. «Ведь все строится из прямой линии и угла». Эллипсис и шар придут позднее. И греки пришли «потом».

Нужно бы на эти танцы, где в сущности все сплошь наука, приглашать преподавателей университета и гимназий. Поучительно и интересно.

КРИВОЙ ГЛАЗ «РУССКОГО ЗНАМЕНИ»

Говорят, страшен пожар; еще говорят – неприятны чума и холера. Еще неприятней, будто бы, носить от жены «рога». Ну, это все говорят не литературные люди: а кто побывал в журналистике, тот хорошо знает, что мучительнее чумы, нечистоплотнее холеры и неприятнее рогов читать статьи в «Русском Знамени», особенно если доктор Дубровин встает на защиту благочестия, добрых нравов и всяких патриотизмов. Казалось бы, что ему доктору? «Все доктора начитались Бюхнера и в Бога не верят». Но вот, подите же вы, доктор Дубровин и Бюхнера читал, и в Мошотта верит, – в Бога, конечно, не верит, но, издавая «такую газету», еще ничего толком не узнав, обрушивается на нового обер-прокурора Св. Синода г. Раева за его подозреваемые злоумышления против «основ»... «Основой» же христианского вероучения он считает «Устав духовных консисторий», изданный в сороковых годах прошлого века, и в нем «знаменитые статьи». Но не буду излагать сам, а дам читателю «насладиться от Дубровина». Речет тако:

«Прогрессивная печать наиболее желтого оттенка, с особенной «теплотой» приветствуя новую зимнюю сессию Св. Синода, предвещает ей «большой интерес», так как этой сессии предстоит «разработать и провести в жизнь целый ряд первостепенно важных церковных проектов», в числе которых, между прочим, есть и такой «особенно важный», как «увеличение поводов к разводу и облегчение процедуры бракоразводного судопроизводства». Что такой проект действительно имеет *важное* значение, спорить не стоит; весь вопрос в том, какого свойства эта «важность» – положительного или отрицательно-кого... Если церковный брак нужен и полезен человечеству, как священный обряд, охраняющий, оздоравливающий и укрепляющий семейное начало, в чем, кажется, мнений не было, от начала христианства и по сей день, у людей здравомыслящих и ставящих в основу разумной человеческой жизни начала нравственности, то, с этой точки зрения, естественно, надо заботиться...»

О чем, читатель, «надо заботиться»? Да о том, конечно, чтобы живительный и благодатный дар венчания, это, можно сказать, «благодатное сожитие» по духу с нашим добрым православным священником, каковое всякая венчающаяся пара испытывает на себе под его молитвами, скорее бы, как можно скорее и шире, даже сейчас же и во всю ширину Руси, совершился и возблагодатствовал над всеми незаконноживущими семьями, коих на Руси ровно

столько, сколько есть «разъехавшихся» семейных пар, ибо «разъезжаются» обыкновенно уже полюбив, и по разъезде, «не желая быть безбрачными» и вести скотский образ жизни, путаясь в уличном разврате, конечно, вступают в сожитие. Это ведь всегда бывает, и «разъезд» есть только внешняя часть тут же сейчас наступающего «невенчаного брака». И вот, конечно, – их по всей России и сейчас же надо повенчать, по мотивам, так хорошо и так полно изложенным в «Русском Знамени».

Так редакция «Русского Знамени» и сказала бы естественное заключение к своим же словам в передовице № 234, которую с подчеркнутыми синим карандашом местами она или автор передовицы прислали ко мне на дом. Но... лошадь-то в «Русском Знамени» кривая, и так сказав о необходимости венчания, т. е., конечно, о необходимости предварительного развода, она бросается кривым глазом в кривой переулочок таких рассуждений.

С этой точки зрения, какую мы изложили, естественно, надо заботиться о сохранении, прочности и нерасторжимости брака.

Надо. И советуйте, учите, наставляйте, пока люди в браке, «живут» плотски и духовно вместе. Но раз – разъехались: сейчас же расторгнуть брак и повенчать вновь, дабы «блудного, невенчаного жития» совсем не было в стране. Но кривая лошадь не видит прямого пути и несет в сторону:

«Следовательно, важно не увеличение, а уменьшение поводов к его расторжению. Если же, наоборот, нравственные начала в жизни людей, и особенно в семейной жизни, – вещь пустая и ненужная, бредовый вымысел, плод суеверия и невежества, как доказывают современные умники, а полнейшая разнузданность нравов, по их мнению, есть продукт высшей культуры, тогда, конечно, и на церковный брак следует смотреть как на лишнюю обузу, как на ничего не значащий обряд, только закрепляющий людей, налагающий узду на их скотские инстинкты и дикие, животные порывы... Тогда, само собою разумеется, – чем больше поводов к расторжению брака, чем судопроизводство в бракоразводном процессе легче и проще, тем... лучше... тем важнее провести в жизнь и такого рода проект наиболее успешного нравственного разложения, низводящий человека, в его семейном быту, на одну ступень с лошадью, свиньей и собакой... Больно, мучительно больно произносить такие резкие, обидные, оскорбляющие человеческое достоинство выражения! Но не во сто крат ли обиднее и больнее сознавать, что лучшая, по-видимому, *часть человечества*, именуемая себя культурно-прогрессивною, из кожи лезет вон, *всячески* изощряется и *напрягает* все свои силы, единственно ради того, *чтобы уничтожить последнюю грань между скотом и человеком?!* Грыземся мы между собой куда хуже диких зверей; пакостим и стараемся досадить чем-нибудь друг другу на каждом шагу: вера и религия у большинства из нас давно погасли; нравственное разложение посреди нас – полное: сохранилось еще кой у кого, и то больше эгоистическое, чем основанное на нравственности и религии, уважение к семейным началам и законному порядку, их охраняющему; по большинству и это –

ззорно и это кажется лишним, – давайте же снесем и последнюю граду, освободим и расширим «заветный» путь к Содому!..

Когда об этом помышляют отдельные, приватные личности, – еще полгоря; но когда такая преступная мысль охватывает официальные круги, правительственные учреждения, когда она проникает даже в высшую область нашего церковно-административного управления, в наше святая святых этой области – Святейший Синод, – тогда страшно делается за христианство, за людей...»

И ничего ему не «страшно»; г-ну Дубровину. Напротив, самый бесстрашный человек. Бесстрашен: и не кажется ему ужасным, как от «безразводицы» совсем люди перестали венчаться, зная, что «надел хомут – не снимешь», даже хотя бы жена и шлялась по вертепам, для чего есть «гостиницы с хорошими замками», увеселительные поездки, да и вообще можно «без развода бросить мужа» и в то же время получить после него «и пенсию, и наследство»... Именно безразводица породила дурные нравы, нравы, наконец, несносные, нравы, наконец, даже потешные. Есть прекрасные исключения. Знаем, благодарим судьбу. Но именно для худых особ – безразводица золотое дно. «Гуляй на все четыре стороны, а наследство получишь». Мужчины, сообразив свое отвратительное положение, свое смешное положение в браке, даже и при предложении больших кушей приданого, говорят:

– Мерсі. Я нагляделся.

Развод и, следовательно, предварительная угроза им есть тот единственный руль, коим муж может смирить строптивую жену, требовать у нее сидения дома, при муже и при детях, а не «разгуливанья». При нерасторжимости брака женушки просто гуляют, и справиться с этими «жениными гуляньями» нет возможности, кроме физической силы, кроме насилия. Но кто же на это решится. И мужья прямо ревут от безобразия жен.

Вот эту-то концепцию все и упускают из виду. Упускают из виду, что если в самом деле благая мысль осеняет наших законодателей и свобода *как можно более широкая* будет дарована, так лет приблизительно через десять после нового закона (первые годы будут очень обильны разводами, по понятной причине) – разводы и *главное разъезды* в стране почти прекратятся или по крайней мере страшно сократятся. И муженьки тоже «засядут дома», возле жен и детей, – ибо и жены скажут им: «Если ты вечно проводишь время в клубе за картами, то что же ты за муж – ухожу от тебя». Да, в «повод к разводу» я даже включил бы это условие клубной нации: «Кто хоть 3 дня из семи не сидит дома – тому жена вправе дать развод» (без его проклятого «согласия»).

Эх, нет у меня власти. Я бы «утихомирил» семью. У меня все бы стали «шелковыми».

Для наших отвратительных нравов в первые годы это покажется ужасным. «Безжалостные разводители», – возопиют шлюхи и картежники. Ну, а лет через десять уселись бы. Приноровились, погнулись. И – почувствовали бы, что счастливы.

Ибо счастье – в благородстве. А условие благородства в семье – развод.

НОВЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛ И СТАТЬЯ ПРОФ. Н. М. БОГОЛЮБОВА

Казалось бы, всему молодому легко жить, а всему старому уже трудно жить. Да, так это в биологии, но не так в истории. Как-то один наш социолог в юбке, г-жа Елизавета Кускова, исчисляла в «Русских Ведомостях» результаты «опроса» или анкеты среди учащейся молодежи о политической и религиозной группировке этой молодежи. Это было в год начатия великой войны, но за несколько месяцев до войны. Тогда ни для девицы сей, ни для читателей ее статьи не было ясно, что и в этой анкете, и в этой статье Германия как бы делает смотр своих передовых позиций во враждебной стране, перед самым началом войны. И результат смотра был самый удовлетворительный для Германии. Русская радикальная девица в московской профессорской газете «Русские Ведомости» сообщала на всю Россию, что «национально-безразличных» и «политически-безразличных» молодых людей что-то около 2 процентов; «христиански-настроенных» что-то около полупроцента, т. е. один студент на 200 студентов. Потом каких-то еще «средних», «ни нашим, ни вашим» – немного процентов. Вся же остальная масса, что-то около девяносто или восьмидесяти с лишком процентов студенток и курсисток расписала себя по разным группам «российской социал-демократической партии», бурно высказывая, что они не имеют ничего общего ни с русским национальным чувством, ни с «полицейским режимом» нашего правительства. Девица ликовала; студенты обили самодовольны; Бетман-Гольвег, коему, вероятно, были же из Москвы сообщены цифровые выкладки этой статьи, потирал руки от удовольствия и «докладывал выше, кому следует», что Германия, начав войну с Россией, начнет ее со стороны, где нет вообще никакого национального ядра и нет никакого самосознания государственного среди образованного общества и особенно молодой, учащейся и, естественно, энергичной его части.

Бетман-Гольвег был доволен.

Девица была довольна.

Читатели русской газеты были довольны.

«Столько довольных людей», – и как не сказать «слава Богу».

Да. Тут все легко. Легко плывется. Легко говорится. Легко пишется. Только не сообразила девица Елизавета Кускова: не следовало ли большой процент этого громадного процента отнести не столько на счеты «политической и религиозной зрелости» передовой молодежи, сколько на счеты вообще «облегченного существования». Кому же хочется существовать трудно? Принимать на себя насмешки? Защищаться со всех сторон? А тут, можно сказать, не «я сам стою на ногах», а «товарищи меня держат на своих плечах». Идем «грудью» и «массой». «Нас много» – все, конечно, благополучны.

За долгую жизнь мне, конечно, приходилось знать и противоположные течения. «Течений», впрочем, не было. Были какие-то странные одиночки, которые, говоря по-русски и живя в России, решались хвалить на русском языке эту Россию, что, «несмотря ни на что», они все-таки любят зем-

лю, на которой родились, и воздух, которым дышат. Но что же это были за люди и какова судьба их? Говорят, и тут бывали «благополучия». Я их не знал. То, что приходилось знать, – являло такую степень унижения, подавленности, «бесприютности на Руси», что страшно вспомнить. И прежде всего: «нет работы», «нет службы», «негде писать».

Из «благополучных» я знаю только об одном: о Болеславе Маркевиче. И то знаю по разным энциклопедиям. Там написано, что он «благополучно плавал». Он был романист, писатель повестей. И вот «благополучие» это как-то ограничено: я не только сам никогда не держал в руках «повести Болеслава Маркевича», но за всю мою жизнь не помню встречи с таким человеком, который бы «прочел что-нибудь из Болеслава Маркевича». Так что, я думаю, это благополучие «не особенное»...

Как-то я разговорился с одним профессором Московской духовной академии о Н. Я. Данилевском, авторе двухтомной книги «Дарвинизм» и однотомного исследования «Россия и Европа». Он мне сказал:

– Знаете, какая странность: «Россия и Европа» выходила издание за изданием в царствование Александра III, когда на верхах было течение мысли, соответствующее духу этой славянофильской книги. Всех изданий было, кажется, пять и во всяком случае не менее четырех. Но вот странность: видя много частных библиотек, я ни разу не встречал этой книги. И мне говаривали, что книга эта действительно быстро раскупалась по выходе: но она собственноручно скупалась и истреблялась. Оттого «изданий вышло много», а ее «нигде не видно».

Каково? Известно, что германцы скупили большинство земель в нашей Таврической губернии, в Екатеринославской губернии и, вообще, на нашем благословенном юге. Что стоило к многим и многим миллионам, к десяткам миллионов, потраченных на эту скупку земельных богатств в России, прикинуть 10–15 тысяч р., «за царствование Александра III», чтобы «бросить в помойную яму книжонку, вредящую германским интересам в России». А книга очень и очень предупреждала Россию насчет германской опасности.

И вот приходится сказать какой-то странный итог всех этих наблюдений, что русские как-то «не у себя дома в России». Русским скорее живется легко за границей. Там им живется «обыкновенно», на «общем положении». Но в России русским живется решительно «необыкновенно»; и о «положении», например равном с иностранцами, и говорить нечего.

Чего же девица Елизавета Кускова радовалась обилию у нас «социал-демократической партии»? Люди просто избегали «вольего паспорта» и записывались массаами «в оппозицию». Но такая ленивая оппозиция ей-ей недорого стоит. Девица Елизавета Кускова все-таки в конце концов просчиталась.

Все это я пишу по поводу маленькой хорошенькой новинки. Как известно, кроме петроградских Религиозно-философских собраний, ныне совсем уклонившихся влево и говорящих о религии лишь «мнимом» и «лукавом», есть еще «Кружок имени Влад. Соловьева» в Москве, посвященный приблизительно тем же задачам, как петроградские собрания, и, наконец, есть «Рели-

гиозно-философские собрания в Киеве». Ни московский кружок имени Соловьева, ни киевские собрания никогда не имели для себя печатного органа. И вот, с 1916 года начал в Киеве выходить журнал «Христианская Мысль», под редакцией В. И. Экземплярского. В нем мы находим сотрудничающими почти всех главных представителей молодого московского славянофильства, о коем я уже много раз писал и которые в то же время являются членами кружка Владимира Соловьева и многие прежде бывшие участники Религиозно-философских собраний в Петрограде. Тут мы видим С. Н. Булгакова, С. Н. Дурьлина, В. А. Кожевникова, В. Ф. Эрна. Это – москвичи; а из петроградских находим: К. М. Аггеева, Н. А. Бердяева, А. С. Волжского, проф. С. М. Зарина, А. В. Карташева. Все они слиты с представителями киевской богословской кафедры. Три эти группы, без объяснений, составляют богатейший состав сотрудников. И опять же не нужно объяснять, до чего это важное явление русской богословской мысли и до чего во всех четырех наших духовных академиях слушатели должны зорко присмотреться к этому журналу.

Я займусь в октябрьской книжке журнала статью профессора-священника Н. Боголюбова: «К вопросу о происхождении христианства». Автор излагает это «происхождение христианства» по Бауру, который в свою очередь расчленил фазы первоначальной христианской истории «по Гегелю», найдя в них: 1) тезис, 2) антитезис и 3) синтез. Именно будто бы апостолы И. Христа, «гениальной религиозной личности» (стр. 39, – и повторяется несколько раз дальше), составили первоначальную иудеохристианскую общину, придерживающуюся правил ветхого закона и ветхой традиции. Эта община была одною из иудейских сект, видевших в И. Христе «пророка иудейского» и которая совершенно не думала отделяться от иудейства.

«Они не сходили с общенудейской почвы и не стремились к образованию самостоятельного общества. Вся их особенность состояла лишь в том, что если для остальных иудеев ожидаемый Мессия оставался смутным и неопределенным образом, то для них он был уже определенным лицом: они ожидали в качестве Мессии воскресшего Иисуса. Поэтому, чтобы присоединиться к ним, не нужно было становиться ни схизматиком, ни еретиком. Все, что было обязательно для каждого иудея, – посещение храма, соблюдение праздников, постов, законов о пище и т. д., – все это было в равной мере обязанностью и для апостолов после вознесения Иисуса Христа, и они выполняли все эти обязанности с той добросовестностью, которая ставила их законническое благочестие в глазах иудейского народа выше всякого сомнения. Словом, первую христианскую общину еще нельзя назвать вполне христианской, это была лишь другая форма иудейства, секта Lasidim, т. е. благочестивых людей».

Он говорит далее, что, однако, в этой первичной общине иудеохристиан был зародыш, способный выдвинуть развитие христианства до значения самостоятельной религии; только зародыш-то этот был в неразвитом состоянии и иудейская почва не способствовала его развитию. Это – вера

апостолов и учеников их в Иисуса Христа как в Мессию. Тут-то и происходит второй гегелевский момент, «антитезис». Будем читать в изложении проф. Боголюбова.

«Зародыш мессианизма нужно было пересадить на более для него благоприятную почву, – именно на почву языческого религиозного синкретизма и греческой культуры. Это и было сделано апостолом Павлом. Этот человек разорвал тот узкий и крайне опасный для жизни младенца свивальник, которым его запеленали с момента рождения, и провозгласил, что христианство – не простая реформа иудейства, а цельная и самостоятельная религия. Христианство выступило у него с совершенно другим характером. Если в первой общине оно не переступало границ чисто законнической религии, какой было иудейство, то у Павла оно впервые обнаружило свой свободный и абсолютный принцип. Народилось христианство в точном смысле этого слова, – христианство как религия, опирающаяся не на какой-либо внешний, опосредствованный людьми авторитет, а исключительно на непосредственное, коренящееся в вере во Христа, самосознание человека. Всякое посредство между Богом и человеком в деле спасения было уничтожено. Провозглашено было одно посредство, один авторитет, – посредство и авторитет Христа. Закон, храм, жертвы, – все это стало для христиан безразличным: Иисус все заменил собою, все упразднил. Вместе с тем образ Иисуса принял необычайно грандиозные размеры. Для ап. Павла Иисус есть не человек, который был и учил, а Христос, который умер за грехи наши, спасает, оправдывает нас; существо чисто божественное, с которым вступают в общение, с которым чудесным образом соединяются, которое является для человека искуплением, мудростью, оправданием, святостью».

Вот и антитезис дан у Баура: иудеохристианская узость и незначительность, Павлов – универсализм. Нужно теперь Бауру получить третий пункт триады, – синтез, – и начинается гегелевская диалектика:

«Так, религиозное движение, имевшее своим источником историческую личность Иисуса, распалось на два противоположных направления. Но нетрудно заметить, что как в том, так и в другом направлении была своя опасная сторона. Как та форма, которую приняло христианство в первой общине, так и та, которую она приняла у ап. Павла, были односторонними формами (Гегель и его принцип диалектики), и потому (??? – В. Р.) в своей исключительности они не могли проявить достаточной жизненной силы, чтобы организовать в христианскую церковь. Если бы христианство продолжало существовать в той форме, которую оно приняло в первой общине, оно никогда не вышло бы за пределы иудейского мира и навсегда осталось бы в нем в качестве одной из его сект. Церкви христианской не возникло бы. От этой опасности – опасности бесследного исчезновения среди иудейства – спас жизненное дело Иисуса Павел...»

Тут мы можем прервать изложение и немецкого оригинала русской профессорской статьи, и изложение самой этой статьи. Оба зарпортовались, и Баур, и Боголюбов. «Ап. Павел спас жизненное дело Иисуса», и, следовательно, Сам Иисус «не смог бы» ни спасти Себя, ни основать христианство. Но Иисус Христос не только «спас Свое дело» Сам, но и спас человечество и самого апостола Павла. И кто же, кто же хоть один человек усомнится, что Павел без Иисуса – ничто. Да и Павел сам каждую строчкою своих посланий подтверждает, высказывает и кричит, что он – ничто. Какую же пакость написали и Баур и Боголюбов и зачем вообще эта немецкая ученая мочалка предлагается русским читателям?

Оба, и Баур и Боголюбов, совершенно не понимают, как «происходят религии». Они происходят не «по гегелевской методе», а по правде, и хроника их есть не «хроника написания скверной немецкой диссертации», а живое дело и мука сердца, где не подшивается тетрадочка к тетрадочке, как везде у Баура в скверной его работе, а сердце говорит потому, что не может не говорить. Посмотрите, что собственно говорит Баур? Говорит он самую возмутительную ахинею: что христианство произошло компилятивно, «из кусочка» и потом еще «из кусочка», которое шили сперва «христианская община», – но «бессильно», и потом ап. Павел «прибавил еще кусочек», но «односторонне», – и за эту-то будто бы компиляцию, «по Гегелю», мученики терпели, принимали нож на шею и огненные щипцы на тело, и давали радостно вести себя на растерзание львов. Но за вашу дурацкую компиляцию, г-н тюбингенский профессор, св. великомученица Варвара не дала бы отрезать себе даже палец. Баур совершенно не видит, что в христианстве содержится чудо и что в Евангелии, – в Евангелии, а не в посланиях ап. Павла, – чудесна почти каждая страница и чудесна не физическим чудом, напр. шествия по водам и питания 5000 человек пятью хлебами, а чудесна духовным чудом: Словом Иисусовым, которое имеет полную разницу со всеми словами ап. Павла, которые суть человеческие слова, только «апостольские слова», тогда как там слова Божеские, совершенно необыкновенные, и каких «гениальная религиозная личность» не могла бы выдумать и сказать. «Гениальная религиозная личность» относится или еще может быть отнесена к лицу ап. Павла и не относится и нимало не может быть отнесена к лицу Иисуса Христа.

Вот тут-то и пункт тупости Баура, пункт глупости собственно лютеранской, Лютеровой в истории, – что он совершенно не видит лика Иисуса Христа и даже (лютеровский момент в личности каждого протестанта) не имеет восприятия разницы «божеского» и «человеческого». В силу разрыва связи с чудом и святостью у лютеран все снизошло в область одного «человеческого», «человеческих событий», «человеческих фактов», – и все эти несчастные люди, совершенно несчастные, потеряли собственно ощущение всякой религии не только христианской, но даже (кажется) и языческой. Да: лютеране и язычество понимают мелко, – вот их «ученая тайна»: и от этого их истории, напр. Египта, являют такую сплошную пошлость, где, впрочем, «много иероглифов». В религии, в области религии, дальше компиляции лютеранин

никогда не может подняться. В тайне вещей для него «Бога нет», и, следовательно, все в этой области является мифом, суеверием и словами. «Религия» для лютеранина есть вечно «сплетение слов», – и он только старается уразуметь, «по Гегелю» это было, или «по Канту», или «по Спинозе». И поэтому является печальное чувство: «Да зачем они берутся за это дело, вообще – не ихнее».

Баур (и его ученик Штраус) совершенно овладел нашу духовною школою, и проф. Боголюбов совершенно не замечает, какую неприличную статью он написал в христианском журнале, – в русском христианском журнале. Россия есть, может быть, последняя в Европе страна, где религия воспринимается и чувствуется как непрерывное и сплошное духовное чудо, где, напротив, нет ничего человеческого, а все – «дело не наших рук и не нашего разумения». «Религия», сделанная человеческими руками, «по Гегелю» или без Гегеля, для каждого русского, даже (я думаю) для неверующего русского, – есть предмет ужаса и отвращения. Такой «человеческой религии» вовсе не надо. Тогда лучше атеизм и явное безбожие. Да и не надо тут прибавлять «явное»: ибо «религия как человеческая выделка» – это уже и есть полное и совершенное самопризнание атеизма. Не надо этого, – о, не надо!! Несите всю эту ученую вонь на двор и закапывайте в своих позитивных могилах, не смея прикасаться к христианским гробам.

ПРОФ. Е. КАГАРОВ. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ АНТИЧНОЙ НАУКИ В ИХ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

(Харьков, 1916)

Талант – это одно. Но только жесточайший человек может требовать его от других. Этот Божий дар дается не по заслугам, не по добродетелям, в Бог весть почему, по какой-то судьбе темной. Но вот что дано человеческой добродетели: это – прилежание, старательность. С нее и начинается культура. История человеческой культуры есть собственно история человеческой старательности, заботливости, внимания, прилежания. В противоположность гению или таланту, которые владеют человеком, а человек ими не владеет, – этими последними собственно уже культурными дарами человек совершенно владеет. И вот, думается, не то чтобы «два подряд поколения», но даже единое поколение, хорошо и усердно работая, могло бы «создать культуру» той или иной области жизни, ума, науки; а в сумме усилий на всех поприщах – одно или два поколения могли бы, ей-ей, «окультурить» всю страну. Одно-два прилежных, умеренно талантливых поколения – и Россия могла бы выравниваться «почти с Германией» по части книжного, научного творчества.

Мысли эти часто в ночах я думал, все тоскуя: «Отчего русские так ленивы». Ссылка на «талантливость нашей нации» («все таланты – ленивы», обычный афоризм) – мало меня убаюкивала. «Ах, поменьше бы лукавого талан-

та, а побольше бы вы работали» – вот постоянная мысль. У меня вкрадывалась другая воровская мысль: «Да талант непременно будет нудить в работе», «талант – это не покладая рук жизни»... Но оставляю все эти ночные мысли, почти не досказав их, чтобы порадовать читателя принесением хорошего дневного известия.

Это проф. Е. Г. Кагарова (Харьков) – «Основные идеи античной науки в их историческом развитии», появившиеся быстро после его – «Прошлое и настоящее египтологии». Кроме двух неудачных и ненужных эпитафий (из Толстого и Белинского) – книжка читается с захватывающим интересом, и невольно читатель сам входит в трепетание этих медицинских школ, этих физико-механических школ, этих математических школ, какие распространились в Элладе от городов Малой Азии до Италии и до Египта. Прелесть книжки заключается в живейшем интересе автора к собственно областям этих специальных наук, что же касается древности, то каждый читатель поблагодарил бы проф. Кагарова, если бы он дал больше сведений из литературы античной по части специальных наук. Мы слишком привыкли считаться только с античной философией, литературой и скульптурой, забывая или, по крайней мере, не держа ярко в уме, что древние были создателями и всех точных наук. Автор указывает, что у них уже был зародыш и дифференциального счисления, одновременно открытого в XVII веке Ньютоном и Лейбницем, и аналитической геометрии, открытой Декартом в XVI веке.

Интересны сведения о Гиппократе и Галене. Ученики первого, становясь врачами, давали следующую клятву: «Клянусь Аполлоном Врачевателем, Асклепием, Гигией, Панакией и всеми остальными богами и богинями, призывая их в свидетели того, что буду исполнять по силе и по совести эту клятву и обязательство – никому не стану давать смертельного средства, когда у меня его попросят... Ни одной женщине не буду давать средства для умерщвления плода... Скромно и благочестиво буду вести я свою жизнь и служить своему искусству... Все, что во время врачебной деятельности или же вне ее, в жизни людской, пришлось бы мне увидеть или услышать такого, что не подлежит разглашению, я буду сохранять в тайне». Очень хорошо и полно, – полнее нашего, так у современной медицины или, вернее, у современных плохих медиков замечается решительный аппетит, конечно не безгонорарный, к производству «приневоленных выкидышей». Хорошо и двустилие из Гомера, которое можно бы взять в надпись над медицинскими училищами:

Многих воителей стоит один врачеватель искусный, –
Тот, кто и стрелы извлечь и лекарством посыпать умеет.

Другой исследователь состояния медицины в Греции, проф. С. А. Жебелев (Петроград), говорит, что «святые места Асклепия в большинстве случаев расположены были в здоровой местности, снабженной прекрасной питьевой водой: здесь пациенты-паломники зачастую должны были вести гигиенический образ жизни, делать физические упражнения, мочион, принимать ванны и соблюдать диету». (Ссылка у проф. Кагарова.)

Желательно было бы появление этой книжки во 2-м, более расширенном издании: как все порадовались бы отдельному изданию очерка проф. Жебелева, которое пока лежит в усыпальнице археологического журнала.

МАЛЕНЬКИЕ ДУМКИ

Как сейчас помню тот вечер, 1 января 1900 года, когда, собравшись в тесном кружке редакции, мы подняли вопрос, следует ли считать новый век с января 1900 года, когда цифра нового века впервые попадает в написании, или с января 1901 года, «Эльпе», т. е. Лазарь Константинович Попов, – привел рассуждения, и всем стало ясно, что нужно еще 365 дней дожидаться «нового века»...

И у всех было нетерпение. «Новый век! Новый век!» – «Все будет по-новому, все будет хорошо».

Мы были тогда моложе, и сердца бились усиленнее.

Чего хотелось? Революции, войны. Ей-ей, хотелось даже революции; ей-ей, хотелось даже войны. И не потому, что мы были воинственны или революционны: но уж слишком было тоскливое время. «В те годы, – написал бы летописец, – после Сипягина сидел на его месте Плевел». Событий никаких не было, – главное, событий никаких не было. Даже «хроникерам» было не о чем писать...

И не знали мы, что сидели на тихом берегу перед бурями. Что плывем пока «в кисельных берегах», а что настанет времечко совсем другое.

И вот оно настало, пришло. Скоро же после этого 1 января 1900 года. Как стрижи перед бурей, – летали черные птички. И вот я помню вечер того дня, когда «коварный враг на Востоке, без объявления войны и попирая права цивилизации», напал внезапно на наши корабли в Порт-Артуре и некоторые из них вывел временно из строя.

«Ночью и коварно». В Петербурге вечерело. Улицы – вдруг затихли. Мало народу, – явно. И только почему-то спешно-спешно проезжали одиночные кареты.

– Куда? Зачем? «Это явно в связи с потрясшим Россию известием». Так думал я. И мысленно прибавлял: «Должно быть, это Победоносцев будет совещаться с Плевел». «Это, вероятно, Витте едет к военному министру поговорить: как? что? почему? И как поступить в обстоятельствах».

И вот пошли шумы. Шумы истории, шумы общественности. И с того вечера и до сегодняшнего дня Россия не засыпает. «Событий даже стало слишком много». Прежде не о чем было писать и хроникерам, теперь стали так много писать, что, например, «мирному публицисту на египетские темы» совсем не остается клапа пустого места.

Все «события»...

И вот 16 лет событий. Россию растрясло. Решительно нельзя иначе и выразить впечатление, как сказав: «растрясло». Где те кисельные берега? Где прежняя отрада небытия? Мы совсем не спим. Будят то барабаны военные, то барабаны революционные.

События велики, люди малы. Позвольте, что образует «блаженство Греции во время греко-персидских войн» и «что образует величие Греции при Перикле»? Три имени: Мильтиад, Фемистокл и Перикл. Не будь их, и великие эпохи обратились бы в довольно тоскливую хронику, даже «с несчастьями». Величие нашего времени, – бесспорное величие, – смущается мизерабельностью человеческого вида.

Является ужасная тоска по «породе», по «породистому человеку». Теперь, когда революция так окончательно прошла, оглядываясь назад, спрашиваешь себя: «Но где же были люди?» Вы помните, объявился знаменитый «явочный порядок» и люди делали буквально, что хотели. Что же они делали? Печатали прокламации в чужих типографиях и устраивали забастовки. Но ведь это ни «типу», ни «ну». Это – ничего. «Забастовка электричества» есть просто «нет света в Петербурге». Объявился Хрусталеv-Носарь. Проявился Хрусталеv-Носарь. Но прошло 12 лет, и все дивятся: «Какой он был маленький».

Что такое? Почему? Почему события явно великие, а люди явно малы? Дума «Всякий говори, что хочет». «Ну вот теперь заговорят». Или, как выговорилось у Некрасова:

– Теперь пойдут иные речи.

Но дело, в сущности, свелось к «погашенному электричеству». «Света нет». «Ничего не видно». Толки и пересуды «в кулуарах», как-то даже еще омрачают положение. Сказывают и жалуются на какого-то «темного человека», но прибавляют: «Которого, однако, свалить невозможно». Вот заткнули реку пальцем. Столько людей борются и не могут «свалить». И обывательское сердце томится с недоумением: «Хороши же и сто героев, которые не могут побороть одного».

Нет, господа, не в том дело, а в следующем: породы нет, силы нет. Маленький человек в качестве «препятствия» обнаруживает непререкаемым образом именно то, что давно пора увидеть каждому: что навстречу чудовищным событиям, наваливающимся на нас, мы можем выдвинуть только самых жалких людей. «Дума»... ведь могла издать «какие угодно законы». Ну, вот, и в великом «законодательном кипении» что значила бы фигурка маленького человека? Да ее и видно-то бы не было. Она оттого и «увиделась» всеми, что ничего собственно важного не было и нет, все толклись на месте, с выкриками фразы, а сделать что-нибудь «видное векам» – никто не смог.

И тот же «кустав духовных консисторий», как прежде. И то же «барахтающееся в чем-то» министерство просвещения, – как всегда.

Министров больше «ругали», чем «критиковали». Ругали и отечество: а ему не помогли. Где помощь? В чем?

«Все так дорого. Скверно. И не радует «Никола» ни зимний, ни весенний. А всегда, бывало, «радовал», пока текли в «кисельных берегах».

И берега те прошли. А солнышка не видно. Радуетя только его высокопреосвященство: перед ним на богослужении несут теперь Большой Крест.

Большому Кресту мы всегда рады. Разве же мы не Русь?

ГЕРМАНСКАЯ НАУКА И РУССКИЕ УЧЕНЫЕ КАФЕДРЫ

Престарелый германский философ Вундт написал новую и специальную для целей ужасной нынешней войны книжку «Die Nationen und Ihre Philosophie. Ein Kapitel zum Weltkrieg»*. В ней он накидывает очерк европейской философии с эпохи Возрождения и усиливается доказать, что все плодотворное и великое было сотворено в новой философии исключительно одними только немцами, а роль Италии, Франции и Англии была в философии ничтожна, мала, подражательна немцам или бесплодна. Здесь говорится не только о чисто умозрительных, отвлеченных построениях мысли, но и о космологических ее взглядах и научного характера, — и нужно припомнить Галилея и Ньютона, которых «ради прусской победы» маленький Вундт сбрасывает с пьедестала, на котором они стоят четыре века и, конечно, простоят еще ровно столько времени, сколько протянется всемирная история. Вундт этой мелкой брошюрой только показал мелочность своей души, да едва ли он не показал в ней и мелкий, мещанский характер вообще немецкого мышления, по крайней мере в текущую эпоху. Война столь преходящее явление, а наука столь вечна, что фундаменты второй никак не подмоются волнами первой. На эту историю-брошюру отвечает в «Вопросах философии и психологии» Б. В. Яковенко, статью: «Новая история европейской философии»; и нельзя не сказать, что ответ его имеет тоже «защитный цвет», т. е. этот ответ и его горячие и убедительные страницы сформулированы единственно теперь, когда мы ведем с немцами войну, и отвечают единственно психологическому моменту борьбы и дерзости против немцев. Почему и как — этому можно посвятить несколько строк.

Вундт, конечно, умаляя заслуги перед философией итальянцев, французов и англичан, ни единым словом не упоминает о России и русских, т. е. нисколько не «умаляет заслуг русских перед философией». И читатель, конечно, со смехом понимает, о чем я говорю. Русских «умалять» нечего, потому что «русских в философии совсем нет». А между тем, кажется, пре-философская нация, — и если взглянуть в характеры русские, в структуру русской души, в наши всяческие умственные и идейные странствия, осложняемые и биографическими данными до муки, — до креста и могилы, — то как не сказать, что русская душа «бьется в двери философии», как бабочка, залетевшая в комнату, бьется в стекло окна, пытается вылететь в сад. О «нефилософичности души русской» странно говорить, когда это, может быть, самая философическая душа в Европе. И не одни мои эти бледные указания доказывают это, а и дух русского языка, глубина этого языка, универсализм его, как равно и народное творчество пословиц, поговорок, духовных стихов и побасенок. Не бойся я гробого слова, то сказал бы, что «русских растравить от философии», но... Но в чем же это выразилось? Ни в чем ровно. Что за странность, что за дикость? Инстинкт этот странным образом весь передался в литературу, — в беллетристику, в повествования, в стихотворения. Достаточно

* «Нации и их философии. Глава к мировой войне» (нем.).

назвать три имени, Тютчева, Достоевского и Толстого, чтобы объяснить дело. Не прибегая к «защитному цвету» и «военным тонам», а смотря на дело совершенно трезво и просто, мы можем сказать, что более философической литературы, нежели русская, не имеет ни один европейский народ. Тут прямо – трепет мысли и философии. Не говоря о теперешних днях, когда все как-то угасло, растерялось. Но вся жизнь моя, все зрелое время, т. е. вот время от 1870 года приблизительно до 1900 года, прошло под непрерывным действием «философических волн», какие я получал просто при чтении «журналов и газет», за исключением, впрочем, одного журнала, именно «Вопросов философии и психологии», который, тоже получая и тоже читая или пытаюсь читать, я никогда, ни разу, не испытывал ни малейшего философического впечатления. Никакого толка, действия. И ни малейшей темы для размышления.

Да что такое? Что за странность?

А та «странность», что это теперь, во время войны, пошлая брошюрка Вундта опровергается г-ном Яковенко, – однако опровергается не брошенным сквозь замечанием, не мелкой библиографической рецензией-указателем, а в серьезной статье на 31-й странице, – а до войны, в течение целой четверти века, тот же г. Яковенко и решительно все сотрудники «Вопросов философии и психологии» только и делали, что толклись у ног того же Вундта и других его соотечественников, снимали сапоги и надевали сапоги на немецкую философическую ногу.

Ни малейшего дела до русской души с ее приливами и отливами, до русской темной тоски, – ни до чего вообще русского, – так называемой «русской философии» никогда не было. Русская философия не была связана с русскою душою. Она писалась, правда, буквами русского алфавита: но писалась исключительно о книгах немецкого содержания и была собственно «немецкою библиографиею на русском языке»...

Но журнал этот – университетский, профессорский, – и он ничего другого не делает, кроме как отражает печатным и документальным образом состояние или «психологию» философской кафедры в России. Что же такое эта кафедра по отношению к России? Да ничего. Она вообще с Россией нисколько не связана, ничему русскому не служила, а была тоже «немецкою библиографиею в России».

Подавляющая библиография. И не дивно бы, если бы это было в пору Гоголя, Шеллинга, Фихте, Шопенгауэра и Ницше. Нет, все «великие» уже сошли в могилу. «Библиография» разделилась на два подотдела: на «вспоминание о могилах» и на шествие рядом с германскими факельщиками. Дело в том, что германские факельщики тоже «вспоминали о немцах», и вот русские шли рядом с воспоминателями и тоже с ними со-вспоминали о немцах. Больше они ничего не делали. И так как не делали, – то явно и не были способны делать. Потому что иначе бы – делали.

Конечно, о таком «небытии» русской философии Вундту нечего было и упоминать. Его проходят мимо и молча. Что не звучит, то не дает эха.

А Тютчев и Достоевский – есть.

С профессорской кафедры я никогда не слышал произнесенным, упомянутым имя Тютчева или Достоевского. Но пусть они поэты и художники, и «какое же дело до них науке». Но вот уже область мысли – славянофильство. Странно было бы сказать, что И. В. Киреевский и А. С. Хомяков не имеют «ровно никакой связи с философией». Странно было бы сказать и то, что с философией не имеет связи Н. П. Гиляров-Платонов, в то время доживавший свой век в Москве, доживавший век униженный и скорбный. Но я вообще не припомню, чтобы за 27 лет в журнале «Вопросы философии и психологии» было хотя однажды даже упомянуто имя Н. П. Гилярова-Платонова. Между тем там бывали целые книжки журнала «юбилейного характера», – посвященные, т. е. вся книжка целиком была посвящена, – одному какому-нибудь имени, всестороннему его истолкованию, всестороннему его освящению; ну, и некоторой «похвале»... Но это, увы, все были книжки, посвященные своим же сотрудникам. Помнятся имена Н. Я. Грота, В. и С. Соловьева, кажется еще – Преображенского и С. Н. Трубецкого... Не отрицаем, почему и не так? Но почему только так?

А Н. Я. Грот или Н. П. Гиляров-Платонов это, по-видимому, – разница.

Но не станем упрекать, а подведем делу итог. Чем-то странным представляется «кафедра в русском высшем учебном заведении». Что такое она? Что-то изолированное. И, увы, кафедра сама себя изолировала. Почему? Зачем? Как ей не скучно? Вот подите же, не скучно. Сидит профессор на кафедре и читает лекции. «Да о чем?». О немецкой библиографии. «Да зачем?» Да он только это и умеет. Как? Что? Почему? Да он ездил «за границу учиться, – приготавливаться к кафедре», – и там, естественно, слушал немецких профессоров и читал книги их, т. е. немецкие книги этих же немецких профессоров. Он их знает, подлинно знает: и, вернувшись на родину, – и читает о том, что подлинно знает. «Но наука?» – «Разве же наука есть только библиография?» Вот вопрос, который как-то не приходит на ум профессорам, – и совершенно серьезно не пришел на ум ни одному профессору. Нужно читать вовсе не «библиографию данной науки», а нужно перед слушателями русскими, перед этими доверчивыми и наивными слушателями, истолковывать и анализировать самую науку, ее состав, ее план, ее линии, ее затруднения, ее вопросы. Нужно читать о некотором «здании», а не «библиографию здания».

Но вот «здание»-то наука и наук, в том числе и философии, и не приходит на ум нашим профессорам. Оттого и «ничего нет», ибо из библиографии ничего, кроме новой страницы библиографии же, нельзя получить. Странным образом, все кафедры в наших университетах – мертвы.

Отсюда мертвенность занятий студентов. «Что же интересного в библиографии?»

Как известно, нередко проносился яростный отпор профессоров на призыв «быть национальнее». – «Наука не знает национальности. Наука всемирна и космополитична». И всегда это казалось так основательно. Что такое за «русская математика» или «русская медицина» или «русская механика». Уродливые понятия и смешные претензии. Но становимся старше, недоверчивее, и под яростным отпором слышишь глухую тоску отчаяния:

– Да что же мы будем излагать с кафедры, если нам закроют право излагать немецкую библиографию? Вот – философия. Если покопаться между Кантом и Трейхмюллером – то много можно найти книжек, много чужих гипотез, и можно все это излагать не только час одной лекции, но и целый год систематического курса лекций. Вы хотите это отнять? Но тогда что же мы будем делать? Мы принуждены будем мыслить? Но мыслить мы не учились, не умеем, и вообще это совершенно новое дело. Мыслить в философии и мыслить от себя? Не умеем, не можем...

И грозный призрак «отставки» делает спазму в горле и вызывает вопль:

– Наука всемирна.

Именно у вас-то, господа, и у одних у вас, она и не всемирна. Она, конечно, всемирна у немцев, потому что есть немецкая наука и она трудится на всемирном поприще мысли. Но у русских есть только «немецкая библиография», национальная немецкая библиография, и посему, конечно, ни «русской науки», ни «всемирной русской науки» нет и никогда не было. Есть «русская музыка», «русская песнь», «русская литература» и, в основе всего и главнее всего, – великий «русский говор». Но «русской кафедры в русском университете», и особенно «кафедры философии в русском университете»... Это, это что-то... мнимое.

И. АЙВАЗОВ. БАПТИЗМ – ОРУДИЕ ГЕРМАНИЗАЦИИ РОССИИ

(Третье, значительно дополненное издание.

Петроград, 1916). –

ЕГО ЖЕ. ХРИСТОВЩИНА. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКИХ МИСТИЧЕСКИХ СЕКТ

(1915, 3 тома)

И. Г. Айвазов, русский армянин-миссионер, русский «заядлый патриот и националист», – и, следовательно, «человек отпетый» для большинства нашей интеллигенции, – на самом деле виновен только в том, что он молод (лет 40), свеж, крепок, деятелен и действительно «спуску не дает». Я виделся и говорил с ним один раз в жизни и не могу понять той исключительной озлобленности, с которой произносится самое имя. На самом деле, это в высокой степени образованный человек, но только он очень деятелен, пылок и прям. Но почему это худо? Не понимаю. У нас с «большой образованностью» почему-то неправильно связывается некоторая сонливость («устал от науки») и индифферентизм к жизни. Но разве это хорошо? «Моральное дело об Айвазове», если так можно выразиться, решительно нуждается в пересмотре; и к его прямым и резким взглядам решительно полезно прислушиваться. «Что же все жевать мармелад. Надо раскусить и орешек».

Его колоссальный труд о «христовщине» (т. е. о хлыстах) совершенно не подобен бестолковым работам, издаваемым г. Бонч-Бруевичем, где этот господин принимает за «сектантство» порою всякое моральное и идейное сумасшествие, так как он сам, г. Бонч-Бруевич, совершенно не осведомлен в церковном учении, – его стиле и его линиях, – и есть гораздо больше «социолог» и «писатель» на общественные темы, нежели сектовед. Его единственная мысль – это стоять «в оппозиции» к русской церкви, к русскому правительству и к русской истории, и поэтому он даже украинского благочестивого философа Сковороду зачисляет в «сектанты», без малейшей вины того и без малейшего вообще к тому основания. Но оставим г. Бонч-Бруевича.

Только что вышедшая из печати брошюрка г. Айвазова о баптизме – прочитывается в час, – и вместе с тем она очень документальна, очень фактична. Баптизм был и остается таким же орудием церковного разложения, вдвинутом Германиею в Россию, как она вдвинула в Россию интернационал и революцию в качестве разложения рабочего русского класса, т. е. разложения русской трудоспособности, заводов и фабрик. Вообще, не столько «Русские управляли Россией», сколько Германия «направляла Россию», куда ей было нужно: и принадлежит к благоденствиям ужасной войны, что наконец для нас это вскрылось. Здесь особенный ужас заключается в том, что наши официальные сферы в nepостыжной слепоте сами отдавались в руки Германии, слушая ее «дружественных советов» и «высококультурных разъяснений». В самые первые дни войны, в августе или сентябре 1914 года, мне пришлось получить письмо от одного, по-видимому, торгового или промышленного человека; он писал, что в одном из министерств (по-видимому, промышленности и торговли) ему было отвечено в ответ на какое-то ходатайство, с прибавлением неосторожных слов. «Я же русский человек», следующее: «*Нам* (т. е. министерству) русские люди совершенно не нужны». Слова эти были сказаны или министром, или товарищем министра. Это ужасное письмо у меня сохраняется.

В небольшом очерке г. Айвазова читатель прочтет и о знаменитом Фетлере, который читал лекции в Тенишевском училище, на Моховой, и под чьим-то сильным покровительством вел пропаганду баптизма в самом Петрограде, тогда еще Петербурге. Студенты, по преимуществу же курсистки, рассказывали об изумительном пафосе «до самозабвения», германского пропагандиста. А когда «ко всему тому» он еще женился на курсистке Раевских курсов, «притом из духовного звания», то предела увлечения «героическим проповедником» совершенно уже не было. После героев Шпильгагена, круживших головы русскому юношеству 70-х годов прошлого века, в пору министерства Столыпина закружил головы этот осуществленный в жизни «Бранд» Ибсена.

Эх, русская молодежь: кто-кто не топтался в твоей душе. И твоя душа всегда ждала «нового постояльца». Только хозяин и родители ее, отчество, – никогда там не находило места. Бывают люди без отчества. У нас какое-то странное отчество без людей.

Обо всем этом, о недавних днях пропаганды, о заступничестве за баптистов сильных государственных людей вроде барона Иксуля – читатель прочтет в горячей брошюре г. Айвазова.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<О брошюре И. Г. Айвазова>

По поводу моей библиографической заметки о брошюре г. Айвазова касательно баптистов в России и в Петрограде и дерзкой пропаганды их Фетлера, где было сказано «о заступничестве за баптистов сильных государственных людей, вроде барона Иксуля», – я получил письмо от барона Юлия Александровича Иксуль фон Гильденбандта, Галерная, 12, где он сообщает, что «лет десять тому назад входил в состав правительства и других, подходящих под приведенное наименование однофамильцев не знаю. Таким образом, ваше указание, по-видимому, относится ко мне».

Указание я сделал как цитату из брошюры г. Айвазова, лично не зная ничего о бароне Ю. А. Иксуль фон Гильденбандте. Увы, не прямые данные побуждают меня предполагать, что Фетлер как-то вкрался в доверие самого П. А. Столыпина, и потому «широко расхаживал». Ответственность за упоминание фамилии г. барона Иксуля лежит исключительно на г. Айвазове. Барон Иксуль пишет: «К последователям баптизма принадлежит эстляндский барон-миллионер Гапсальского уезда Иксуль. Я осведомился, что зовут его Владимиром, в своей семье он признается умственно ненормальным, на государственной службе не находится. С этим эстляндским бароном я состою разве только в генеалогическом родстве исповедания – евангелическо-лютеранского (Устав иностранных исповеданий, ст. 252 и след.), а не баптистов (там же, ст. 110б и след.), за которых я не заступался. Об изложенном считаю себя вправе и обязанности довести до вашего сведения».

Таким образом, вышло недоразумение, и я также считаю себя в долге принести барону Ю. А. Иксуль фон-Гильденбандту свое извинение, с ссылкой на «усталость», и «некогда разбираться в подробностях» вопроса, который и для меня и для России важен лишь в общих чертах». Но, разумеется, частных людей задевать, и задевать несправедливо, – это требует извинения, о коем хотя барон меня не просит, но я чувствую это, как писательский долг.

ФИЛОСОФИЯ ПОГАСНУВШЕЙ СВЕЧИ

I

Ни мороз, ни грязное петроградское лето, ни отчаянная дороговизна, ни, наконец, напор немцев и отпор немцам, не могут остановить нашествия «йогов» на Россию, которые идут на нее с какими-то мутными глазами и затхлыми душами и несут какие-то печальные истины, может быть и высокие, но определенно отчаянные, унылые, тоскливые, где нет

Ни божества, ни вдохновения.

Что сделалось с Россией после ясного Пушкина, после трезвого Некрасова? Куда девались «мыслящие реалисты»? Наконец, мы не умеем изготов-

лять гигроскопическую вату, все аптеки русские суть на самом деле вовсе не русские, и вообще дальше «сапожника» и «письмоводителя» никуда не ходим. И вот подите же: решили удивить мир: кроме сапожника, письмоводителя, Менделеева и самовара задумали новый подвиг – сменить православие, принятое Владимиром Святым, на буддизм, принесенный нам Блаватской, урожденной немкою Ган (родители Блаватской не были русские, а выехавшие в Россию немцы). Прямо крестишься и шепчешь: «С нами крестная сила!» – «Куда же девался русский здравый смысл?»

От «йогов» некуда деваться. «Йоги» смотрят на вас с витрин всех магазинов и даже мелких книжных лавочек. И вот, наконец, нашелся здравомыслящий и сильный русский человек, который дает отпор этому сильному движению, которое решительно в наши дни имеет вид «победителя». Это – колоссальных два тома: «Буддизм в сравнении с христианством. Том I. Священные книги буддизма: происхождение, состав и характерные черты их. Жизнь и легенда Будды. Том II. Жизнь и легенды Будды (окончание). Община учеников Будды. Санга». В обоих томах заключено около 1400 страниц. Автор, положивший много лет на размышления о буддизме, – на горячие, увлеченные и вместе ревнивые о нем размышления, знает все его подлинные памятники и всю ученую литературу касательно его и «ходит свободно в веках», как до Рождества Христова, когда слагался буддизм, – и в нашем веке, который, зная все веры, не имеет ни одной. Но труд Кожевникова – полный веры: он весь – христианин, в христианстве и в церкви положивший все его упования. Взгляд его выражен в двух строчках: буддизм, учение Готамы, странного мудреца и принца индийского, есть выражение величайшего пессимизма, горя и безнадежности, тоски и отчаяния, до которого когда-либо досягал ум человеческий и особенно сердце человеческое: христианство есть величайший оптимизм, принесенный на землю действительным Спасителем рода человеческого, И. Христом.

В самом деле, почти нечего писать книг о буддизме, спорить о нем, прислушавшись хотя бы к таким перекидываниям вопросами и ответами Готамы с тоскующими учениками своими: «Скажи мне, о Совершенный, – возопиял Дхоката, – тайну угашения самого себя. О, сжался надо мною, научи меня дхамме упразднения себя так, чтобы я понял ее и, не расплываясь, как облако в воздухе, мог бы спокойно и независимо блуждать в этом мире?» Еще: «Одному мне, без помощи, не переплыть великой реки бытия. Укажи же мне, о Всевидящий, как переплыть ее?» Будда ответил: «Переплывешь ее, если будешь иметь в виду Ничто, – если будешь вдумчиво погружаться в созерцание Небытия, – если, отбросивши все чувственные наслаждения и бремя сомнений, станешь вперять взор свой денно и ночью в область угашения». Упасива спросил раз Гатаму: «Прекращается ли в Нирване всякое дальнейшее развитие? Остается ли сознание у успокоившегося в ней? Исчезает ли он там совершенно или только освобождается от всего болезненного?» Готама раздосадовался и ответил: «Для погружившегося в Нирвану нет более форм бытия: для него нет более того, благодаря чему они существуют. А если все отрезано прочь – то покончены, обрезаны, и все опоры» (том II, стр. 703–704).

Мне кажется, «история буддизма» совершенно противоречит «самому Будде». Хотя они и с тусклыми глазами и мутной мыслью, а вот подите же: все спорят, плетут полемику, пропагандируют, строят (как в Петрограде построили) буддийскую молельню, с желтыми восковыми свечечками и гимнами всяческого «уничтожения». К чему же столько дела и жизни, если уж Будда оставил некую духовную «веревку и столб»? Никак не хочет человечество повеситься и все танцует перед столбом. Что такое? Что за притча? Да батюшка с матушкой, вас рождая, — жили, и очень сильно и горячо жили, — и вот в страсти этой передали нам некий жар, который даже до 60, до 70 лет мы никак не можем растратить. «Горячо печется человек», и не расхолодить его холодному Будде: вот в чем загадка мира, которой не разгадал Будда. Человек — зерно. А есть зерно — так будет оно и расти. Вырастет в «дерево». Это дерево — наша жизнь. И человек вовсе не «гаснущая свечка» (любимое сравнение Будды), притом сделанная из скверного лидийского сала, а, например, всякий человек есть «роза». «Розанов», куст, шиповник, колючий, сладкий, душистый, всякий. И вот все эти кусты цепляются, живут, танцуют перед столбом Будды, а не вешаются на столбе Будды, — и, словом, выходит все-таки *«история буддизма»*, а на самом-то деле, если хотите, «буддизма» вовсе и нет, т. е. буддизма как осуществления завета своего учителя. «Извините, прекрасный принц, никто не повесился. Нирваны не вышло, а только изучают вашу загадочную личность».

Ах, горячо печется человек. Горячо, горячо. Солнышка много в нем, травы растущей много. И не умертвить этой живой травки мертвой воде буддизма, сколько бы теософы со своими ужасными глазами ни лили на него этой воды. Ведь «теософия», господа, все-таки не «нирвана». Нирвана значит — «все зачеркнуть». Где же ученики Будды? «Будда» (слово это значит «прозревший») был один... и «будды» больше не будет.

А мы будем нищенствовать...

Будем писать сочиненьища...

Будем нищеславствовать, гордиться, завидовать...

Вот, поди ты: всякие пакости будем делать, потому что всякая пакость все-таки лучше «нет».

Так проваландавшись 60 лет, вздохнем и умрем.

На «том свете» встретит нас Кое-Кто и скажет:

— Вот какую пакость я сделал, этого человечиска: брандахлыстничал 60 лет, а все-таки приполз и просит рая.

«Человечишка» смотрит уголком глаза на Бога и молчит. В самом что называется далеком уголку глаза слезинка. Заметил ее Бог и говорит:

— Все-таки же ничего не поделаешь. Я его создал.

И, приотворив дверь щелочкой, — пропустит к Себе человечишку. Человечишко вползет крошкой-гусеницей. А как вползет — увидит там «всех своих» — папашу, мамашу, друзей (уж, конечно, «друзей»), — взглянет на Бога: а Бог такой большой, да Белый, да Добрый: и скажет:

— Господи, как хорошо!

И обернется в белую бабочку, «по образу и подобию Божию», – с белыми большими крыльями. И прибавит:

«Теперь я больше не буду грешить. Потому что самых условий для греха больше нет. Теперь я не ревную, не завидую, а мне только хорошо. Грешил же я только потому, что мне было нехорошо».

III

А в самом деле, мысль моя о буддистах ведь основательна. Если я спрошу, «кто есть буддист?». И мне ответит хотя один: «Я есмь буддист», то этим самым, что он сказал о себе, он и показал, что не есть буддист, что в душе его есть спор о себе, и спор за буддизм. Он еще не погас. Да ведь и действительно, миллионы погаснувших свечей есть все равно что ни одной свечи, ибо суть-то свечи – в горении, а не в форме из «воска или сала»; да раз она «сгорела» – даже куска сала нет. Что же это значит? Над чем же трудился Будда и какую «историю» он собственно создал? Он создал «историю около себя», а не создал истории («из себя»). Явились «мнения», «учения» и «дальнейшие учения», к XIX веку явилась «ученость о буддизме». Но все-таки «буддизма»-то нет и «от Будды ничего не осталось», ибо сказавший о себе «я буддист» сказал о себе: «Я не дошел до буддизма». Но что же это такое? Что же это такое? Будда породил океан мрака, который есть просто мрак, и его видеть нельзя, и даже его нет. Ибо видеть можно свет и светлое. И воистину-то собственно все горит и нет «погаснувших свечей». Их нет, воистину нет, вот это – «само-наваждение» Будды, эти «погаснувшие свечи». И горит каждый человек. И «умер» он – значит только перенеслась свечка за «занавес нашей жизни», а не погасла в себе и сама. И вот я беру горсть пшеницы в руки и бросаю в лицо мертвого Будды и говорю:

– Сгинь! Нечистый! Ты не Совершенный, а именно Нечистый, ибо обманул столько людей, начав проповедывать им ничтожнейшие истины. Солнце – везде, а не то чтобы «нет света». И Истина есть Все, а не то чтобы «нет никаких истин». И все «есть и будет», и ничего «не погаснет» никогда: ибо «Все»-то состоит из семечек, из зернышек, а вовсе не из твоего буддийского песка. Все – в росте, в жизни, в брызге бытия: и человек до того жив и жизнен, он до того «вечно растущее зерно», что даже около твоего «столба и веревки» вырастил длинные-длинные живые нитки, которые именуются «историей живого буддизма», когда ты завещал одну мертвую палку и завещал похоронить ее.

И вот я хотел сказать: «Была одна проклятая утроба, родившая настоящее – мертвого человека», и не могу. Всякая утроба жива – и Будда родился тоже «живым» и оставил «живое учение». Но если так: не опроверг ли он собою и своим учением себя и свое учение? Буддизм кончен, нет его; потому что он жив. А если «жив», то это есть просто ученая и сектантская труха, пыль слов, – без содержания. Не ясно ли, что есть действительно Солнце и ничего вне Солнца, что есть жизнь и ничего вне жизни, истина и ничего вне истины, а Будда – призрак и претензия? Да наши не умные русские...

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ

Третий раз Вифлеемская ночь встречается русскими войсками в окопах; третью святую ночь Россия встречает с особенным трепетом: третий раз святой праздник для всего мира обезображен насильниками, льющими кровь для порабощения народов, но никогда Европа рабскою не будет. И Германия совершенно напрасно начала кровопролитие, которое уже по самому заданию, вложенному в него немцами, никаким образом не может окончиться для них победоносно. Кто лезет на небо, непременно будет раздавлен небом.

Сейчас какое же слово утешения для вас? Сейчас не может быть утешения, а может быть дан только совет. Этот совет – вот он: жить одною семьею, чтобы в едином сердце бился единый пульс. Но как далеки мы теперь от этого и как это прежде всего необходимо!

В великой войне Россия, очевидно, перековывается на новый лад. И этот лад, очевидно, тянет к гармонии внутри себя, между своими людьми. Странное зрелище представляла Россия собою до войны, и представляла уже не один десяток лет. Страна, в сущности, с самым мирным населением и с наименее ярко выраженными социальными традициями. Россия снаружи и литературно вся волновалась принципами и лозунгами «классовой борьбы» и «сословной розни». Откуда это было? Что за явление? Эта несчастная тема была заброшена к нам из Германии, подготовлявшей Россию к борьбе с собою. Это подготовка шла двумя линиями: укреплением себя и предварительным ослаблением врага.

Впереди общества, возвращающегося к единству и национальности, конечно, должно идти правительство. И при Государственной Думе правительство остается главным работником в стране. От него много зависит, и вот вопрос о самом-то правительстве есть та тема, которая не может, не должна выходить из круга заботливого внимания общества.

Лозунг Германии, «подготовлявшей Россию к поражению», передался подшептыванием к нам, и у нас он пошел по двум линиям: подведение под подозрение русского общества, якобы сплошь революционного; революционирование общества, дабы «подозрение» не везде оказывалось ошибочным; захват во многих областях практической работы России в свои руки. Это создало материальное богатство Германии. Германия воюет с Россией на русские деньги, извлеченные у нас через германскую торговлю и промышленность в России.

Но, двигаясь к освобождению от этих рабских цепей, брошенных на нас в мирное время, мы должны помнить первый лозунг: твердое единство между собою. «Русь едина отныне и до века» – вот, если бы это пронеслось на Русской земле, – это была бы прекраснейшая Вифлеемская ночь.

Помолимся же в этот день единым сердцем и поживем этот год единою думою.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПИСЬМА ЕПИСКОПА НИКОНА

Очень нередко бывало в истории, что маленькие, незаметные и безвредные учреждения и начинания оканчивались страшными и вредными. Кто помнит и знает начало инквизиции? «В зародыше» все безвредно именно оттого, что все очень мало. Кого пугает горящая спичка, от которой закуривают папиросу? Но кого не печет, не жжет и не разоряет пожар? Таково соотношение между «зародышем» и его «последствиями», понятное, впрочем, всякому.

Вот почему письмо еп. Никона, отрицающее приписанное ему М. О. Меньшиковым влияние на учреждение при Св. Синоде «комитета, блюдущего за отношением к церкви повременной печати», хотя и успокаивает прямым своим смыслом, определенными выражениями, но беспокоит тем, что мысль о таком «наблюдении» в синодальных сферах все-таки существует и что сам св. Никон ее оправдывает и мотивирует и во всяком случае прилагает некоторый «свой дух» сюда. Это беспокоит в том отношении, что никто в России не позабыл, как епископ Никон в 1912 году усмирал афонских «имяславцев» водою из пожарных труб. Такая пожарная полемика с «инакомыслящими» не обещает ничего хорошего во всех случаях, когда нетерпеливый епископ прилагает к чему-нибудь свою длань и свой совет.

Между прочим всем, кому ведать надлежит, напомним о следующем.

В противоположность католичеству, где все решает одна иерархия церковная, в православии «охранителем истины является само тело церковное, т. е. масса исповедующего церковь народа». Этот взгляд восточных патриархов, высказанный в половине прошлого века в «Окружном послании», служившем ответом на одно из предложений римской курии, многократно приводился в мотив и нашу церковную власть, в сношениях с тою же курией. И вообще это есть совершенно правое учение, которое было бы не только нарушено, но и совершенно разрушено учреждением «наблюдательного за печатью комитета», о котором с внутренним «благословением» говорит епископ Никон.

Комитет, — успокаивает он, — будет только «наблюдать». Но, увы, всякий зародыш «растет», а всякое учреждение «развивается далее». И за теми лицами, которые «открывают службу» в нем, появится второй ряд лиц, который может внести в нее свои «оттенки». Суровость оценки печати может ослабевать; но эта суровость может и возрастать. Не утверждаем и не отрицаем, что в печати много говорится о церкви неподобающего и неподобающим языком. Но ведь у нас есть четыре духовных академии, со своим просвещением, есть целый ряд стойких церковных журналов: и все это «дурное в печати» может получить себе должный ответ, должную оценку. И задача вся заключается в том и ограничивается тем, чтобы вот эти-то академии и эту духовную печать поставить уважаемо, высоко и авторитетно. Сделать все это — во власти Синода. Во власти его поставить выше науку в академиях и поставить почетнее и независимее профессоров, между которыми есть достойнейшие.

Между тем и наука и профессора страшно унижены в академиях, сжаты и зажаты со всех сторон, – нельзя удивляться, что от такого положения многие угнетаемые из них обращают ожидания свои на области и на течения умственные и политические, которые имеют родником своим уже не церковь. Это очень печально, но виновником здесь являются сторонние духу церкви жестокости утеснения. Снимите их, и дух полемики и отражения легкомыслия в печати сейчас же подыметя.

Вот свободное и прекрасное решение вопроса, вместо чиновных «докладов Святейшему Синоду» о том, что об его мероприятиях «говорит печать». Что такое эти доклады? Кто их будет проверять, если они не печатаются, а остаются «в бумагах»? Как отделить в них правду от заподозрения и даже от клеветы? И как будет реагировать Св. Синод на подобные доклады? Для него это будет мука уже по затруднительности, для всей России какая-то неясная кривда, – и вообще в духовной, в религиозной, в священной сфере образуется еще один мутный поток, тогда как их и без того достаточно. Оглядитесь кругом.

К СТУДЕНТАМ

Дружнее, студенты, – и да не скажет будущий историк Руси, что из университетов выходили только предатели своего Отечества, только пересмешники его, только «мятая солома», на которой топтались иудейские копыта... Вспомните дни старые, когда из университета, по-преимуществу из московского «Благородного университетского пансиона», выходили Погодин, Жуковский, Карамзин, украшение Руси, стояние Руси, твердыня Руси. Пусть немного, всего в состав *одного на сотню*, а может быть, и *одного на тысячу*, но все-таки *есть*, однако, между сыновьями русскими и между дочерьми русских родителей такие, для которых Русь священна и имеет будущее, – *свое русское будущее*, – а отнюдь не в качестве подстилки для двух берлинских пройдох, Лассалья и Маркса.

Становитесь на свои ноги, русские студенты и курсистки! Думайте своей головой! Сбросьте пейсатую голову со своих плеч. Это в минуту слабости и горького исторического часа вы надели на плечи свои чужую голову и – скажу все слово, какое рвется из груди – опоганили Русь.

Ибо студенчество социал-демократическое, хотя не *прямо*, а *косвенно* находившееся на службе и содержании Генерального берлинского штаба (через связь свою с «Интернационалом» и через потаенную, теперь раскрывшуюся, связь «Интернационала» со Штабом) – это было, конечно, опоганением родины.

Омойтесь, опомнитесь, – станьте под светлые знамена Карамзина, Жуковского, Погодина...

Не выдавайте, – и никому не выдавайте, – Руси.

Ей пели песни Кольцов, Никитин, Некрасов: запойте и вы!

Теперь нет трех, пяти, десяти лозунгов, а только два:

– *За Русь!*

– *Против Руси!..*

И если вы не станете: «*За Русь*», то все равно вас назовут, вас осознают, как идущих «*Против Руси!*»...

Но не надо и этого, не надо угроз, обвинений. У меня вырвалось слово, может быть ненужное. Будьте просто:

Ясными,
Чистыми.

21 января 1916 г.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ» И «ЮРИДИЧЕСКАЯ» ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫСОКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЛИЦ

«Русские Ведомости» посвятили в № 172 от 26 июля обширную передовую статью теме «ответственности правительства перед Гос. Думой», которая, по словам газеты, вызывает в обществе много разговоров после того, как в самой Думе была заявлена фракцией прогрессистов резолюция «об ответственном министерстве», и затем – отвергнута почти согласно всеми партиями Думы, одними – по принципиальным мотивам, а партией кадетов (речь г. Милокова) – по мотиву «несвоевременности». Газета также находит, что и момент для поднятия этого вопроса неудобен, а также, что при настоящем порядке выборов в Думу – это прямо нежелательно. «У нас при положении о выборах 3 июня условия таковы, что Дума по своему составу не является отражением страны, а потому и ответственность министерства перед Думой сама по себе еще не означает ответственности его перед страной». С точки зрения газеты и, пожалуй, с точки зрения вообще «демократического парламентаризма», позицию которого газета отстаивает, это очень основательно. Хотя, продолжая мысль газеты, можно сказать, что «ответственности *перед страной*» не достиглось бы и при той системе выборов, которая была до 3 июня и по которой собралась первая Гос. Дума, состоявшая исключительно из левых партий и главным образом, в подавляющем большинстве, из конституционных демократов. Дело в том, что «страну» выражает и может выразить только «плебисцит», т. е. поголовный опрос населения. Самые *выборы и техника выборов* в Гос. Думу, как и решительно во все парламенты мира (кроме разве английского), такова, что она остается чуждой и малопонятной коренному «обывателю» страны, т. е. гуртовому населению. Через что, на-прим., и попали в первой Гос. Думе в «представители России», которая *была и есть* крестьянская, сельская, купеческая, чиновная, духовная, военная, – исключительно один интеллигентный класс, да и то круга исключительно «Вестника Европы» и «Русского Богатства». Второй общий мотив о неприменимости в России ответственного министерства следующий. Система «ответ-

ственного министерства» применяется на Западе, там, где кабинет составляется из лиц главенствующей партии в парламенте, получившей большинство голосов за себя на выборах. Режим этот вполне применим, напр., в Англии, где исторически с древних пор борются за власть только две партии, тори и виги, – при ничтожном участии других партий. У нас этого условия также нет: состав Гос. Думы слишком многопартиен.

Этот общий мотив также основателен.

Попутно газета дает историческую справку:

«Термин *ответственность министров* употребляется и в науке и в просторечии в двух различных значениях. Нужно различать так называемую *юридическую* и *политическую* ответственность министров. Под *юридической* ответственностью министров разумеется особый порядок уголовного преследования их за преступления по должности по постановлению нижней палаты парламента. Исторически этот институт является обыкновенно переходною ступенью к политической ответственности, полное развитие которой делало применение юридической ответственности практически ненужным. Что касается политической ответственности, то она представляет собою такой порядок управления: министерство, составляющееся, по общему правилу, из представителей парламента большинства, опирается на это большинство и ставит свое существование в зависимость от него, выходя в отставку при расхождении с палатой по вопросам более или менее крупного значения. Короче говоря, политическая ответственность министров есть лишь другое название для парламентаризма».

Газета, следуя своим доктринерским воззрениям, естественно, в *принципе*, без отношения к теперешнему трудному и торопливому моменту, – стоит за «ответственность министров», так как по этому доктринерскому воззрению, без «ответственных перед народными представителями министров» – и «парламента нет». Нужно заметить, что лучшие *философско-политические* умы в Европе, напр. Джон Стюарт Милль, были совершенно не удовлетворены системою выборов «представителей народа», – при которой в парламент безусловно попадают не лучшие люди, наиболее добродетельные и, так сказать, делопроизводительные, а лица шумные, захватистые, горделивые, отчасти – ловкие. Когда-то смеялись над гимназиями графа Д. А. Толстого, говоря, что в них ученики занимаются не науками, а баллопромышленничеством. В параллель можно создать термин голосо-промышленничества, и вот оно составляет язву мечтаемого «Русскими Ведомостями» «парламентаризма». Д. С. Милль указывал, что даже в Англии лучшие люди, наиболее высоко оцениваемые всею странюю, в парламент вовсе не попадают. Назовем в Англии Бетмана, Д. С. Милля и Карлейля и скажем, что эти люди, в которых наиболее трепетал философско-политический нерв века, в парламент не попали и даже туда не «голосовались», – по отвращению к шумихе и толчее самых «выборов». Напротив, римский сенат вполне выражал *«народное римское чувство»*, народный римский ум, хотя там и не было

избирательных ящиков и бюллетеней. «Парламентаризм» в условном понимании «Русских Ведомостей» тем и страдает, что он *не* «надобен» и «взглядов страны» – *не выражает*, а выражает только «домашние убеждения» фанатических и хорошо сговорившихся кружков. До некоторой степени – это «политическая кружковщина».

Россия так сложна, Россия так огромна и древня, что попасть ей в управление «кружков», – какой, например, в лице конституционно-демократической партии послал в первую Гос. Думу *почти всех депутатов*, была бы беда. Будем думать, что этого «кружкового управления» и не будет у нас никогда: русский народ, пусть и не очень грамотный, слишком горд для этого и слишком умен. Народ любит и издревле чтит Верховную Власть за ее, так сказать, «беспартийность» и «внеклассовый характер»; за то, что она никогда не подчинялась дворянству ли, духовенству ли, – как это бывало на Западе почти постоянно, – или как потом с «парламентаризмом» власть управления попала в руки «буржуазии», почти с полным выбросом или полным игнорированием дворянства и духовенства. «Парламентаризм» есть просто и однобоко орган буржуазии, с неуловимо выраженной в последние десятилетия зависимостью от банкиров и от одной талантливо-банкирской нации, рассеянной всюду. Связи с историческим, столбовым, бытовым народом, каково по преимуществу крестьянство, дворянство и духовенство, каковы ремесленники и небогатые торговцы, – у него мало. «Не они правят миром», хотя «мир по преимуществу состоит из них».

Газета напрасно только *мелькнула* об «юридической ответственности министров»... Те частные затруднения, чрезвычайно болезненные и опасные, в каких в настоящее время находится Россия, невольно *напоминают* об «юридической ответственности» сановных лиц, министров, но и не одних министров. На «съезде представителей промышленности» было высказано одним из ораторов, что, например, вывоз из Митава запасов меди получил препятствие со стороны генерала П. Г. Курлова, – а потом эти запасы, «вопиюще» – нужные немцам для артиллерийских надобностей, попали в руки немецких войск, когда город был захвачен. Вот факт, вполне благотворно и закономерно могущий стать предметом «юридической ответственности по постановлению нижней палаты». То же можно применить к генералу Сухолинову, если основательно заявление с кафедры Гос. Думы, что он дал в комиссии обороны Гос. Думы «неверные сведения» и затем грубый ответ, «что мы в вашем совете и указаниях не нуждаемся». Качества русской Верховной Власти – что она внепартийна, внесословна и вообще бесстрашна и «равна ко всем». Но при этом общем характере ее могут быть исключения. Вспомним слова депутата Пуришкевича, что «русское правительство сверху донизу опутано немецкими влияниями, немецкими интригами»... Здесь могут наступить моменты *слепоты* и почти невольного, почти гипнотического *безволия*, которые в интересах самой же Верховной Власти и ее Державного авторитета нуждаются в корректуре суда и вообще «юридической ответственности». Телескоп далеко видит, но и в лучших телескопических объективах

попадаются «пузырьки», в точке которого ничего не видно. «Пузырек» не велик, но все-таки он *есть* и может *очень вредить*. Суд есть отличный корректив для такого «пузырька», и право вчинения суда, право «привлечения к ответственности» лиц, заведомо повредивших или вредных, – может быть вполне разумно предоставлено или присвоено Гос. Думе или какой-либо ее комиссии в текущий страдный момент нашей истории. У Петра Великого был отличный «парламентаризм» в руках: это – дубинка. Теперь, увы, не дерутся: но «дубинку» в виде права привлечь к ответственности сановника, чиновника и даже министра, явно неправдиво или бездейтельно «упустившего дело», – очень хорошо. Петр Великий и Курлова и Сухомлинова «побил бы», – просто «по Иловайскому». Но Иловайский давно не в почете. Ну, что же: пусть будет «парламентская комиссия» с правом войти с высоким докладом к кому следует и испросить разрешение «произвести расследование и суд». Ее будут бояться и просто тем, что такая комиссия *есть*, – она уже предупредит распущенность и злоупотребления. А вечно бесстрастная Верховная Власть, конечно, не возьмет под свою защиту ни распущенности, ни лени и вообще никакого беззакония.

Теперь все патриотичны. Теперь Гос. Дума вся и сплошь, кроме двух Аяксов, Керенского и Чхеидзе, патриотична и народна. А патриотическому и национальному представительству можно дать функции, права и прерогативы «не в пример прочим»... Конечно, право, о котором я говорю, было бы опасно вверить Гос. Думе космополитической и безнародной... Но нынче все «под Богом» и все «перекрестясь». А с такими – не страшно. С такими может быть сделан крупный шаг вперед...

ОБ АНТИЧНЫХ МОНЕТАХ

Вместе с Павлом Александровичем Флоренским мы – заядлые любовники монет. В письмах мы то любимся, то ссоримся, спорим о земле и о небе; но когда глаза наши устремлены по одной оси и перед нами лежит греческая монета, то мы только потрагиваем за руку друг друга и уже не можем ничего говорить. Мир умолкнул, толпы нет: на нас глянула жизнь из-за двух тысяч лет, и, замороженные ею, мы ничего не видим и не слышим в «юдоли здешней», идеже бысть «скрежет зубовный и окаянство».

Давно нам хотелось обоим соединить в одной статье мысли свои, занятия свои, а я мечтал всегда – и сердца. И вот пусть под «кое-чем» из нумизматики, приводящей в забвение ум, как некогда игра Орфея в Аиде (если я не перевираю мифологию) наводила тоже экстаз и беспамятство, – пусть это наше давнишнее желание будет исполнено.

Буду чередовать отрывки его и свои, почти не приводя их в порядок: по бессилию, по старости.

Вот давно написанный отрывок, которым я думал доброхотного читателя «вести в интерес собирания древних монет». Для этого я почел за лучшее и простейшее – отчего и как начал сам собирать их.

Собирание мною древних монет имеет, как ни странно сказать, – определенное историческое начало и почти мифическое рождение.

А. В. Орешников, ныне знаменитый нумизмат, – увы, по русской нумизматике, – в молодости купил значительное количество греческих и римских монет, – или числом 900 за 1000 рублей или тысячу монет за 900 рублей. Две эти цифры я удержал в памяти, забыв, которая к чему относится. Это, без сомнения, те монеты, которые он упоминает в своем «Описании греческих монет Московского университета» как принесенные в дар этой *almae matris*, из скромности назвав их «небольшим количеством».

На самом деле и количество и качество их было значительно. Показывая товарищу своему по учению, А. К. Белкину, и мне это собрание, он отделил из него одну монету (дуплет), бронзовую Септимия Севера с изображением на оборотной стороне императора на коне, которого ведет за повод нагой человек.

Было это в 1880 году. Монету я постоянно носил при себе в течение странствующей жизни учителя; и, по временам вынимая ее, любовался. Глаз мой заметил, а душа была удивлена необыкновенною натуральностью – художеством изображения. Будь монета сделана в наше время, – ведение лошади всадника было бы изображено через фигуру *перед нею идущего человека, который держит повод*. Понуры слуга или чиновник, в приличной случаю или положению одежде, шагает впереди лошади, – шагает впереди: и только! Здесь поводарь взят в полоборот: нога его, которую вот-вот он перенесет в новый шаг, уже отделена пяткою от земли, когда передняя нога стоит на земле всею ступнею. На монете видна ступня задней ноги в сгибе; прелесть выделяется ее пятка! И сам он, ведущий не «лошадь», а поистине *коня*, – полуобернулся на императора: каждый знает, до чего красива и выразительна фигура человека в этом полобороте!

– Так не умеют теперь делать! – думывал я не раз.

Потом догадался о худшем, об обломовском:

– Так *не хотят* делать! Ну, зачем представлять человека «идушим», когда можно представить его просто «растопырившим ноги», что, конечно, «сойдет» для казенного ведомства, заказавшего резчику монету... И «оборачивающегося»: это просто даже и не пришло резчику в голову, да и не было бы ему позволено: «Зачем оборачиваться?»... Нечто дерзкое в отношении императора, не церемонное, не служебное...

Э, нищие! Нищие, дохлые и клячи...

Так говорил я, пряча монету обратно в карман.

Под *ADVENTUS AUG* стояло волшебное *SC – Senatus Consulutu*, как я уже знал из объяснения Орешникова. Маленькое объяснение нашей исторической дохлятины. Но *SC* было совершенно стерто: и только, лизнув монету и отведя ее в сторону, поворачивая так и этак, можно было видеть эти две буквы, говорившие о Риме больше, чем Кюнер.

и прочее, как вздыхали наши поэты.

Монету эту я носил про себя и для себя, эгоистически. Но изредка показывал ее ученикам Брянской, Елецкой и Бельской гимназии, – приблизительно с теми комментариями, какие написал сейчас. Ученики так же, как я, восхищались живостью и натуральностью изображения. Я убежден, что горсть римских республиканских динариев, данных классу для рассматривания, сказала бы им больше о древнем мире, чем мертвые рисуночки, продукт *нашей техники*, приложенные к их 75-копеечным учебникам. Но наш «классик» Д. А. Толстой едва ли знал, что в Риме были «динарии»; и через это последние избавились от унижения, «нести службу» в его ведомстве...

Бог с ним...

Который-то ученик в Бельской прогимназии, в ответ на показанную классу монету Септимия Севера, – принес в класс и подарил мне взятую «от мамы» неизвестную монету. Сейчас же я определил, что это была арабская монета. Она вышла очень удачная: лет 12 спустя А. К. Марков определил ее как диргем (?) Гаруна-Аль-Рашида, отчеканенный в городке, коего не значилось в эрмитажном собрании. Я просил его принять ее в дар, – и ныне эта монета бельского гимназиста будет вечно сохраняться в шкафах Эрмитажа, до скончания русского царства. Такового скончания, станем надеяться, не будет.

Затем во внутренних городах России я никогда не видел ни одной древней монеты; а в библиотеках гимназий не видал никогда ни одного сочинения по нумизматике. Россия была *глуха*, абсолютно глуха к миру древних монет; и отношение ее к ним можно бы выразить вопросом спросонья:

– А разве они есть?

Как я не смеюсь и не шутя говорю, что Толстой, вероятно, предполагал, что в Риме расплачивались «рублями» и «копейками», – притом не полновесными, «нашими», – так точно вообще нельзя было встретить в России человека, имевшего бы какое-нибудь представление о нумизматике. Только знакомясь с сочинениями Владимира Соловьева, я где-то прочел у него в публицистике:

«...бывают всякие науки, в том числе и смехотворные: есть, например, наука – *нумизматика* или еще преподается в училищах государственного коннозаводства наука о копыте кавалерийской лошади»...

И пошел, и пошел наш остроумец: во фразировке этой мысли я могу ошибиться; но не ошибаюсь в том, что меня поразило, – в сравнении *нумизматики* с отделом конюшенного ведомства. Только когда в кабинете А. К. Маркова я увидел на стенах портреты – как наших «Пушкина и Гоголя» – знаменитых нумизматов – вероятно, де-Сольси, Бабелона и других, я изменил все самоуверенное невежество Соловьева.

В первый раз русского, «поверившего в нумизматику», я встретил в Кисловодске. Это был персиянин-часовщик, лет за тридцать. Худенький, черный.

Торговал в лачуге-лавчонке против «галерей». На столике у него я увидел несколько серебряных монеток и, обомлев, прочитал на одной:

FAUSTINA AUGUSTA

А на другой:

IMP. C. VESPASIANUS...

– Боже мой! Боже мой! Фаустина, жена Марка Аврелия, философа, – моего любимого, нашего русского любимого! Неужели это подлинная?! Но такой вид, как будто подлинная.

И Веспасиан, разрушивший Иерусалим! Неужели от тех пор? И надписи ясны, монеты совершенно сохранились, не как моя Септимия Севера, почти стершаяся, некрасивая. Как красива Фаустина: сколько достоинства и гордости в лице. Римская женщина, подлинная римская женщина, вот из тех, о ком пишет Кудрявцев в «Римских женщинах». А это... почти, увы, стертая – Августа: сзади что-то непонятное: два кружка, две палочки и около них пухлые червячки. А это Николай Чудотворец... почему она попала в древние монеты? А как сохранилась!

На лицевой стороне прекрасной серебряной монеты было иконное изображение св. Николая, в архиерейской митре, – с чертами строгими и суровыми, как всегда и пишут этого святого, давшего пощечину Арию...

– Хорошо. За римские я даю по три рубля; Августа – стерта почти, но Бог с вами – даю и за нее три рубля. Но это – дешевле? – указал я на Николая Чудотворца.

Персианин посмотрел на меня злобно и гневно:

– Аршок! Тысяча лет! Больше тысячи лет!

Он выкрикивал прямолинейные предложения, очевидно не владея языком.

Продолжая совершенно недоумевать, как «св. Николай Чудотворец» попал на монету, – следовательно, что это за монета, – я дал и за нее три рубля. Что было изображено и написано на обороте – я совершенно не понимал. Не мог уловить...

Это был Сапатрок, – парфянский царь. Древность – более 2000 лет. Портрет его действительно до удивительности совпадает, – но только в профиль, – с Николаем Чудотворцем. Шапкообразная, украшенная жемчугом тиара парфянских царей, – дает полную иллюзию архиерейской митры.

Чтобы кончить о «мифическом периоде» собирания мною монет, – передам еще о нумизмате, торговавшем на Гороховой улице (в СПб.). Увидя на окне его лавочки среди старых русских и несколько римских монет, я вошел в нее. Было узко, тесно и не очень светло. За прилавком сидел в тулупе бледный, сморщенный старик, – или молодой, похожий на старика. Это был несчастный скопец («скопцы-меняль»). На мой вопрос он распорядился «подручному» подать мне, что требовалось (с окна дощечку с монетами).

Я копался. Отбирал. Не решался. Ничего не было интересного.

Скопец сидел неподвижно. «Подручный» его был тоже скопец.

После выбора, – или нерешительности, – он спросил «подручного», желая знать, какие я выбрал монеты.

Тот, не понимая выбора, был в затруднении, как ответить. Дело в том, что среди монет были и татарские, как известно – с надписями и без изображений. Тут-то и сказалось «первое нумизматическое сведение», какое я услышал от природного русского: ибо на Кавказе со мной говорил перс.

– Какие они отобрали? – спросил он про меня.

Молчание. Он пояснил:

– Если с головами – значит, *римские*.

«С головами»... В самом деле, мусульманские – «безголовые». Первое большое деление нумизматики...

* * *

В 1899 году П. П. Перцов, известный писатель, – много путешествовавший по Италии, – вернувшись из родного «гнезда» в Казани, зная мою страсть к древним монетам, подарил мне горсть драхм и 1 афинский статер. Отнеся их в Эрмитаж, – я показал их доброму хранителю последнего, А. К. Маркову, – преподавателю нумизматики в Археологическом институте. И как «профессор» всякому бы студенту, – он мне назвал города и страны – Синион, Аргос, Фессалию, Ахейский союз городов, Афины, Флиус и проч., где чеканились монеты.

– Подлинные? – спрашивал я испуганным голосом.

– Никакого нет сомнения, – ответил он мне равнодушно.

Такое равнодушие!

– Но какого же века? Времени?

– Афинский статер не позднее V века...

– Времени Перикла?!?! – я не смел верить ушам.

– Да. И Пелопоннесской войны.

Так же равнодушно и спокойно.

– Эти же позднее, четвертого и третьего века.

И ушел в исторические и мифологические объяснения.

– Синион...

– Но почему вы знаете, что эта монета – «Синион»?

– А маленькое Е под Химерой.

– Какой «Химерой»? Это – лев?..

– Лев, коза и змея, – вместе соединенные: видите, змейка поднимается над спиною льва.

Действительно – «змейка»: почему же я раньше не видел?? И Е: но почему он знает, что Е значит: «Синион»? Почему он знает Флиус?

– А протома была.

– Какая «протома»?

– Передняя половина быка, – ответил он нетерпеливо. И Ф и четыре точки. Это – монета Флиуса, в Пелопоннесе.

«Боже мой! Боже мой! Почему же этого нет у Иловайского, – когда это так интересно и ново».

Полная и большая фигура Маркова была невозмутима. Он охотно объяснял. Но уж очень спокойно. Нисколько не волновался: и хотя с интересом пересмотрел в лупу все мои монеты, но нисколько не был ими изумлен, ни восхищен. Между тем он видел Химеру, – сделанную людьми, *верившими в химеру!*

Только через год и вообще «со всем ознакомились», я не мог не догадаться, что единственное отношение, какое он мог чувствовать к моим «все новым и новым сокровищам», – было ощущение скуки и что я его отрываю от занятий. Но – неистоимо терпеливый – он не показывал и вида.

– Но где все это прочитать?

– Есть атлас Цыбульского, изданный Вольфом.

Купил. За 4 рубля. Но это – сделанная «во вкусе Толстого» возмутительная по невежеству мазня царско-сельского учителя гимназии. Смешное в «объяснениях» составляло то, что он, при указаниях на монеты, все делает ссылки: «Хранится в Британском музее», «Находится в Берлинском мюнц-кабинете». Тогда как все это, то есть эти монеты, хранится в Эрмитаже, в Петербурге: но ему из Царского Села лень было дотащиться до Эрмитажа, и он «содрал» *изображения* из печатных изданий иностранных музеев, никогда и в глаза не выдав подлинных монет, ни – Лондона, ни – Берлина!!

– Да, этот «иностранец из Лондона и Парижа» всего только шьет скверные пальто на Гороховой. Но что же сделали русские? Например, Марков?

Я не мог внутренне не упрекнуть его. Он подарил мне тогда свои изящные:

Les monnaies des rois parthes. Supplement a l'ouvrage de M. le comte Prokesche-Osten. Par Alexis de Markoff. Paris, 1877*.

Две, квадратной формы, тетради-книжки, с превосходно выполненными изображениями монет. Тут-то я рассмотрел и своего «Николая Чудотворца»... Вся книга полна изящества (изложения) ума и необозримой учености.

– Но отчего вы это написали по-французски? – спросил я его раз с полу-упреком.

– Потому что это французам нужно, – ответил он равнодушно.

«А русским»... – подумал я.

– А русским? – спросил я вслух.

– Ну, пять-шесть человек. Разве для 5–6 читателей можно издавать книгу?

Позднее, занимаясь по «Каталогу греческих монет Британского музея», – я увидел в подстрочных примечаниях ссылки на этот труд Маркова. И передал ему:

– Да. Вскоре по появлению на французском языке кто-то перевел ее и на английский. И англичане пользуются.

Все так же равнодушно. «А на русский» – никто не перевел. Ни одному студенту не пришлось этого в голову.

* Монеты парфянских царей. Дополнение к сочинению графа Прокеше-Остена, написанное Алексеем Марковым. Париж, 1877 (*фр.*).

– Ну... Верно социал-демократией занимаются. Что русскому студенту до парфян.

– Хотя бы вы своих слушателей в Археологическом институте заставили? Он повел плечами. Я опять сетовал.

– Но как же я их «заставлю», если они ничего в науке нумизматике не понимают. Они напутают и испортят.

Я вспомнил Соловьева (Влад.) и Цыбульского.

* * *

Все делается постепенно.

И я узнал, что уже не такое полное отсутствие нумизматов в русской земле: как тихие тени, они прилетают в Эрмитаж, в его полусветные залы и, пробираясь по высокой лесенке «наверх», в «святилище науки», – около старожиллов Эрмитажа, А. К. Маркова и О. Ф. Ретовского, определяют монеты, составляют их описания, делают сургучные слепки (особого состава мягкий сургуч) с интересных эрмитажных экземпляров и, словом, «входят в подробности». Это слова незабвенного Х. Х. Гиля, как-то мне сказанные:

– Всякая вещь становится интересна из своих подробностей. Так и нумизматика: пока вы не начали ее изучать, то есть с лупою в руках не начали знакомиться с *подробностями* каждой монеты, все они и *вся нумизматика* кажутся неинтересными.

Истинно. Как и то, что, «взяв лупу» и раскрыв книги, – уже не расстаешься с нумизматикой.

Позднее я узнал превосходный, – *по точности и необозримым подробностям*, – труд Бутковского-Глинки «Petit Mionnet de poche ou repertoire pratique a l'usage des numismatistes en voyage et collectionneurs des monnaies grecques, avec indication de leurs prix actuels et de leurs degre de rarete par Alexandre Boutkowski-Glinka. Berlin, 1889».

Это в своем роде «Бедекер» нумизматики: старательность, с которою составлена эта книга (увы, – начало только труда, не конченного за смертью автора), введение автором множества монет, оставшихся неизвестными знаменитому Mionnet, – точность, пунктуальность, научность – все делает труд этот именно «Бедекером», незаменимым «спутником» собирателя древних монет!

Ах, – если бы труд этот был написан по-русски: давно бы он уже толкнул русских к занятию этою интереснейшею стороною классического мира! Как он написал в другом своем труде:

«Нумизматика, или История монет древних, средних и новых веков. Составил А. П. Бутковский. Москва. 1861».

В этом-то труде он и выразился (стр. 2):

«...Масса античных монет представляет собою как бы одно металлическое зеркало, в котором отразился весь древний мир с его произведениями и постепенным развитием искусства».

Это – самое лучшее определение нумизматики, какое я знаю и какое можно представить себе: определение художественное, открывающее самую

сердцевину ее, причину ее интереса, занимательности, нужности. И далее Бутковский продолжает – изъясняет:

«Присущие гражданскому обществу, в разных его состояниях, древние монеты разъясняют нам: жизнь городов, законы, бесчисленные учреждения, войны, завоевания, заключения мира, перемены правлений, торговлю, колонии и народные союзы; увековечивают собою пресекавшиеся роды и фамилии и сохраняют в живом воспоминании личности великих людей» (там же).

Это открывает значение нумизматики как самостоятельной, *самоценной* науки, – а не как «пособия» только, не как *ветви* археологии... Отсюда-то, из *самоценности* нумизматики, и проистекает тот неистощимый энтузиазм, какой владеет всеми нумизматами к своему предмету: они вовсе не зачитываются трудами *по истории* Моммзена, Курциуса, Грота; жар их собственно как к книге, как к чтению или не велик, или очень велик. Они рассматривают и рассматривают... Что же они рассматривают? Да «металлическое зеркало, отражающее весь древний мир»: *сейчас* отражающее, *перед глазом* нумизмата, как бы этот мир еще жил, волновался, никогда не умирал!

«Никогда не умирал» мир, на самом деле давно ушедший в могилу.

Вот сердце нумизматики.

Понятно «рассматривание» нумизматом предметов своей науки. Оно подобно очарованию и волшебству: с лупою в руке, «наверху» Эрмитажа, Ретовский или Марков, держа в руках золотой статер (неразборчиво), с головою Пана, – и львом, держащим в пасти конец сломанного дротика (сцена древней охоты), – вовсе забывают, что они «русские», что они «служащие в Эрмитаже», что они «получают жалование», что они «носят мундир»; но, как писал Лермонтов:

...погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда...

– откуда вот взяли эту монету: про Пантикапею, Ольвию, про... весь, весь древний мир.

Никто не имеет такого осязательного отношения к древнему миру, как нумизматы: вот источник их энтузиазма, рвения, – и необозримых, изумительных трудов, какие они написали!!!

Нумизматика, – само по себе, *одна*, количественно обширнее, книгами и сочинениями богаче, нежели все отделы древней истории, в совокупности!!!

Конечно, – это вполне самостоятельная наука... Даже бедно сказать – «наука»: нумизматика переступает обычные определения «науки» как некоего *знания, ведения*, как некоего *открывания* нового. Ибо она, содержа в себе труднейшие знания совершенно точного характера, относящиеся к палеографии, истории, и проч., и проч., есть именно...

– *Осязание* древнего мира и всего, что отсюда проистекает.

Журналы нумизматические, – и статьи, в них помещаемые, как и необозримые томы, посвященные *изучению* древних монет, – работают над безд-

ною вопросов, *возбуждаемых* нумизматикой, при *пособии* историков и археологов древнего и нового мира, но это – не все. Это – «наука», в обычном определении ее; но нумизмат волнуется и движется не только этим: его толкает, поддерживает в неусыпных трудах, волнует именно *зрелище*, и без «живых монет», только по книгам и с книгами – невозможно сделаться «нумизматом». Невозможно (как во всех прочих науках) – прочтя сто книг – написать к ним 101-ю. Так выйдет «Цыбульский», а не «нумизмат».

Где же здесь секрет еще? Не захватывая *вполне* дела, – мы скажем только о искусстве, об эстетике. «Эстетика» – древнее слово, и значит – «ощущение»: «эстетика» у древних была физической, чем теперешняя наука «эстетика», которую занимаются совершенно неуклюжие профессора, ни разу не полюбившие ни женщиною, ни статуею. Нумизматы вот и суть последние «эстетики» в древнем смысле: мотивом их научных трудов и двигателем всей их жизни служат столько же «интересы» в сухом смысле «науки», палеографии, истории и проч., сколько и «осязательный восторг», ими овладевающий при всматривании в гипнотизирующее «металлическое зеркало» древнего мира (Бутковский). Тут входит много эстетики: но, в конце концов, есть немножко и магии... От античного мира с такою безграничною любовью рассматриваемого, отделяется что-то наконец живое, воскресающее – и входит в нумизмата, будя в нем древнего человека, через атавизм, полузоологический, полунисторический...

Как в Лермонтовском заговорил предок «шотландец Лерма», так в нумизмате пробуждается «старьевщик» древних Афин, «торговец» Александрии, «*sofiba*» или «*cives*» Рима, а то и целый «сенатор» Вечного Города: и вот это «пробуждение древнего человека в современном» и составляет живой нерв нумизматики. На этой ступени – и для всех нумизматов она есть подлинная и действительная – нумизматика, «сия бедная наука», которой дал такое определение Влад. Соловьев, обращается только в *средство*: и, не замечая сами того, нумизматы пользуются предметом своим, и «наукою» и живыми монетами, как орудием... От этого, как я заметил по Х. Х. Гиле, они не умирают с тоскою: «Ах, вот еще *нумизматический вопрос не решен*» и «доживу ли я до решения (такого-то) *нумизматического вопроса*», но умирают или близятся к смерти вполне насыщенные... Как пчела с полною ношею меда, летящая в улей...

Нумизмат всегда доволен. Ничего не «ждет»... Что же сообщает это довольство, эту насыщенность, эту готовность умереть всякий час?.. Откуда это отсутствие *тоски* и *недоумения*, присущих всякому горячему ученому, перед которым «так много еще вопросов не решено». Да в одном:

– Я смотрел... И насмотрелся...

Это чувство художника, эстетика...

Полны – человека магически воскресшего в древность, погулявшего по рынкам Александрии, видевшего Арсиною и Веренику, с этим красивым покрывалом на голове, так хорошо легшим в складку около шеи, под затылком... Путешествовавшего в далекую Нумидию и Карфаген, – где видел символ Ваала, – будто принимающего на руки младенца-жертву (брр...); по го-

родам Малой Азии, шумным, сплетничающим, воюющим бесплодными войнами и торгующим богатым торгом... Посмотрел на персов, тогда еще мудрых, на их «феруэры» – души, поднимающиеся в жертвенном пламени над алтарем Ормузда... Послушал вестей из Бактрии, из Афин, Колхиды. И говорящего:

Теперь в могилу. В их прекрасный Элизий, где я увижу Ахилла и Mionneti. Все сыто. Счастливо. Закруглено.

И почти главное для наших скучных времен – «действительные статские советники» отшвырнуты к черту.

* * *

Итак, нумизматика подобно чтению «Contrat social» Руссо: будит мужество, восстанавливает здоровье, делает человека сильнее духом и телом. Все нумизматы долго живут: «древние тени» питают их, как Одиссея, принесшего жертву Тирезию.

Нумизматика есть немножко «древнее жертвоприношение», – последнее оставшееся нам.

* * *

Около магии – мифы, сказки, угрозы, предчувствия...

«Удивительно, – передал мне один нумизмат, – все торговцы древними монетами имели трагическую судьбу... Или разорвались, – а некоторые даже кончили самоубийством». Он назвал несколько имен берлинских, мюнхенских и парижских торговцев, сейчас забытых мною. «Вы знаете, – Беккер, ученый нумизмат, унизившийся до подделки (изумительной!) древних монет, – повесился. Но вообще – все кончали печально. И торговля нумизматическая сейчас в руках одних евреев. Они выжили и богатеют»...

Он рассказывал это мне как «обыкновенную историю», между тем как это – миф и религия: «*Sacra moneta*» – надпись на поздней монете Констанция Хлора. Могли ли бы мы рубль или копейку назвать «*sacer gubli*», «*sacra sореіса*»? Какое несовместимое значение слов: «священный» – *до Бога относящееся, с Богом связанное*: а «рубль» и «копейка» – сюжет менял – скопцов на Гороховой, определивших «римские монеты».

Что же это значит?!

Монета у нас – надела фрак и танцует, а в древности она носила тогу и приносила жертву богам. То есть? Еще я прочел на английских монетах Августа: «*Archiereus*» – «Архиерей»... Август, усыновленный Цезерем, муж Ливии, отец Юлии, тесть Агриппы, – был... «архиереем»!!! Я почти вскочил со стула, когда прочел это в «металлическом зеркале» красивой сирийской монеты. Этого нет не только у Иловайского, но и у Моммзена.

Одно слово хлынуло на меня потоком света: да, конечно, «религия» для древних, как и их «боги» – были вовсе не то, что теперь нам объясняют в семинариях: что-то бесконечное, весь мир держащее «в узде» («покорности») и, с другой стороны, – непременное, как «Отче наш» в таком-то месте

обедни. Все было иное... Какое? Но договорим: от всего мира шла религия, от облаков в небе, от дерева в лесу, их «сives» были соединены «религиею», волчица с Ромулом и Ремом на Капитолии – была ихнею «иконною», сенат был «иконобразен»... На греко-римских монетах так и читается «Ieros Svykantos» («Святой Совет»)...

Все «иконобразно» и вместе священо... Точнее – все шумит, делает, трудится, предпринимает, объявляет войны, заключает миры, «посоветовавшись с богами», испросив у них «знамений» и «указаний» (в жертвах, через рассматривание внутренностей заколотого по ритуалу животного). Что же это такое? Жизнь шумит, «священна» и... «иконобразна». «Религия» не имела того тяжеловесного, страдальческого, трудового, «везущего воз» значения, как у нас: и не носила той «мундирности», «ризности», как у нас же: все было легче, в туниках, в тогах, в легком фимиаме, поднимавшемся от жертвенника, – все было прозрачнее и чище, невиннее и бесполезнее, чем у нас.

И как фимиам от жертвы не замыкался в построенном зданьице, а несся по полям, на торг, на форум, везде, всюду, – так этою еще «легкою религиею», без «ордена» Станислава 3-й степени, был обнят весь древний мир, и торговец, и моряк, и воин...

– Как же бы Беккеру было не удавиться: он подделывал древние «sacrae imagines», «sacras monetas»! Делал – *идолы*, когда обязан был только вырывать из земли подлинные! Он совершил святотатство – и погиб.

– Да и торгующие... Несдобровали, потому что торговали собственно «иконками» древности, принимая их как скопцы-менялы за *наши* «гривенники» и «рубли», без священного в них значения... И были наказаны богами. Боги, древние, гневные и еще живые боги – наказали за «неподобное» обращение с частицами своего культа, своей религии, своих храмов – каковыми были тогдашние «сикли», «драхмы», «статеры», «динарии», «асы», – «священство» коих было настолько велико и, главное, чувствуемо, осязаемо, что царям до позднего времени и в голову не приходило выставлять на монетах свои изображения, *imagines humanae*.

Только позже, когда в этой «легкой как дым» религии цари, совершившие изумившие мир подвиги как «чудотворение», – начали ощущать себя «богами», «Феос» (титул многих царей на монетах) – тогда уже как «Феос» они начали помещать на монетах и свои изображения, чередуя их с «небожителеми-героями», как Геракл, с местными нимфами, с жрицами и вакханками и, наконец, с самими богами и богинями. На монетах Филиппа Македонского – Аполлон, его сына Александра – Геракл: но Гераклу с его символами и одеянием (голова, обернутая в шкуру Немейского льва) придавались черты лица царя; и изредка (на монетах, чеканенных в Родосе) – подлинный портрет Александра Великого; и все же с сохранением символов Геракла.

– Как же было торговцам не разориться. Гневные боги рассеяли их богатство... Сломали хижины, пустили по миру семью. И пощадили только евреев, которые к «монете» имеют совершенно другое отношение, не циничное и неуважительное, а какое подобает древнему человеку – религиозное.

Еврейская вера – ветвь древнего богопочитания. Из Рима присылались жертвоприношения в Иерусалим, как бы пересылались «свечи и масло» с жертвенников Капитолийского Юпитера на жертвенник Элохиму... Но не «Иегове», специальному богу одних только евреев. Евреи поклонялись Богу под двумя именами: Иегове – это было открыто *для них одних*; и Элогиму – под каковым именем они Его чтили вместе со всеми народами, как Творца Вселенной.

И еврейские первосвященники, вот о коих мы учим в «Законе Божиим», будто они «всех чужих богов отвергали», *римский* фимиам курили на своем жертвеннике. Вот отчего евреи, торгуя «древними образками» (*sacra moneta* Констанция Хлора), – и не разорились естественно: Афина или Посейдон, как и древние вакханки и нимфы, – на них не гневаются, как на «своих». Как на себе «двоюродных», как на своих «дедов» и «теток» – племянники, племянницы – и внуки и внучки...

Но этой гипотезы, полной своей уверенности, я ученому нумизмату не сказал. «Осудит за безбожие, ны осмеет, как окаяну». Но «сказки» милы богам.

* * *

Однако я все мало подвигаюсь в изложении предмета.

А. К. Марков «ввел» меня в познание нумизматики, – как я стал собирать монеты, именно как «*sacrae imagines*», как часть древнего «веще-почитания».

Кстати, как у нас просфоры пекут «при церкви», – непременно при ней и *только при ней*, так естественно древние монеты чеканились *при храмах*. И слово «*sacer*», как и характер отношения к монетам древних, можно изъяснить через сближение с нашими «просфорами»: это и не «святой», и не «священный» даже, но «чего нельзя касаться всеу». Ни – «лгать около этого» или «обманывать». И, думается, торговля долгое время уже оттого должна была быть честною, добросовестною и строгою, что средством ее были эти «просфорки» из металла, около которых лукавить было «грех».

Римские монеты чеканились при храме богини Юоны: ее римляне почитали невидимою покровительницею монетного мастерства и помогающею резчикам и чеканщикам в их трудном и тонком искусстве. Поэтому среди других своих «призваний» Юона носила и это – *Juno moneta*.

Дальше письма Флоренского.

ПАМЯТИ Е. И. АПОСТОЛОПУЛО

С 5 на 6 ноября скончалась после продолжительной и тяжелой болезни, на 58-м году жизни, в Одессе, Евгения Ивановна Апостолопуло, урожденная Богдан, бессарабская помещица-дворянка. Это была одна из тех синтетических личностей, которые поистине живут общество своим умом, талантом, рвением, вечным возбуждением и готовностью ко всему лучшему и благородному. Ее знали в литературных и в художественных кругах в Петербурге, когда из своей родной Бессарабии она приезжала в 90-х годах минувшего и в первое десятилетие нынешнего века. Все знали ее как «русскую», и она была русской по воспитанию и образованию, по всем своим воззрениям, по деятельности, работе, по интересам и большим сочувствиям; но не закрывался никогда маленький уголок ее сердца для маленькой родной ее народности – молдаван Бессарабской губернии.

Ее имение «Сахарна», близ большого молдавского села того же имени, неподалеку от станции Рыбница Юго-Западных ж. дорог, было расположено на правом берегу Днестра, на самой границе Бессарабской и Подольской губерний. И дедовские, и родительские корни ее и воспоминания все тянулись к совместным отношениям России и Румынии, их соединению и роковому разделению. Всегда она негодовала, что в румынском королевстве выбросили вон древнецерковнославянское начертание букв, заменив его, из политических тенденций, начертанием латино-католическим, – и простое население Молдавии, обучаемое в школах только латинскому алфавиту, уже не может в своих старых сельских церквях, как равно в старых соборах и монастырях Бухареста и Ясс, разбирать и читать надписи на могильных плитах, на церковной утвари, на иконах.

Она мне показывала надписи сфотографированных старых икон; это – *наши* славянские надписи, как на наших иконах. Согласно этому воззрению и всем своим историко-культурным убеждениям, она всецело отрицала «отдельную Румынию», говоря, что вся Румыния есть и должна быть своеобразным уголком России. «Народ политикой вовсе не интересуется. Народу политика вовсе не нужна. Народу должна быть сохранена только его культурная и бытовая старина, старинные краски и узор жизни».

Этот простой народ своей местности, своей «дедины», она очень любила; любила его особую интересную психологию, его поговорки, из которых хочется привести одну: «Когда девушка свистит – Богородица плачет» (требование скромности); любила его обычаи и нравы. Мечтою всей ее жизни было – собрать и открыть местный музей в Кишиневе, посвященный общерусской живописи и местной старине, народному творчеству в костюмах, в

домашней утвари, во всяческом роде ремесленно-художественных изделий. Нижний этаж ее дома уже представляет собою такой музей, – собрание мебели, ковров, предметов церковной утвари, икон, внутреннего расположения молдавских изб. Чем-то столько же восточным, как и западным, веяло от этого музейчика, удивительно уютного, какого-то «теплого» по своему духу. Музей был в то же время «молдавскою избою», т. е. это не были «вещи», собранные в кучу или лежащие в витринах, а это было «народное жилище», но только подобранное из предметов всей страны и всей ее старой истории. Едва она узнала о своей неисцелимой болезни, – как тотчас же озаботилась составлением духовного завещания, по которому после ее смерти должно было реализоваться ее имущество (ей принадлежит один большой завод в Одессе) и на вырученные деньги (около миллиона) должна быть осуществлена ее мысль касательно музея. План и осуществление самого здания музея возложены на друга ее, с детства, известного архитектора Алексея В. Щусева, – который вообще принимал близкое и горячее участие в ее художественно-народных интересах.

Потеряв рано мужа и пятилетнего единственного сына, потеряв вообще связанность и прикрепленность *к месту*, она в девяностых годах прошлого века приехала в Петербург, и здесь ее занимала мысль – дать *место и условия для работы* молодым начинающим художникам, избавляющие их от забот о «хлебе насущном», от жизни по «петербургским углам» и от ранней потери здоровья. Скромная и не желавшая «выдаваться вперед» («Богородица плачет»), она незаметно и безгласно устроила здесь, на Галерной улице, обширную квартиру, с общей мастерской и комнатами для жильцов, где безвозмездно жили и работали «ученики искусства», едва ли знавшие свою хозяйку иначе как разве при поступлении. Это была художественная коммуна, где коммунары едва ли давали себе отчет, кто это им устроил; как и я, посещавший этот дом, – не знал, что это такое, пока, много лет спустя, она рассказала свой план. Трудно найти слова, чтобы передать всю степень и всю сложность особенных дарований этой женщины, – и казалось иногда, что именно *для общественной службы* нужны такие лица, без рекламы и выставки, без публичных речей, без торжественных собраний, без «уставов» и параграфов, но с постоянною работою и заботою души около всего доброго – с одной стороны, около всего даровитого – с другой.

Синтетичность ее личности восходит и к истории: в сущности, – славянофилика, с интересною прививкою славянофильства на чужую почву и чужую кровь, – в то же время в раннем девичестве она узнала в своей местности несколько молодых людей из духовного сословия, «с нигилистическими замашками и нигилистическим образом жизни», лечивших и учивших, «людей удивительной наивности, невинности и чистоты» (ее рассказ). И образ этих людей «70-х годов», очевидно, веял в ней, как «завет» и «путь». Но в них не было ничего «от Базарова и Марка Волохова», не было цинизма и нигилизма, а только – труд среди народа и для народа, учение, лечение, слияние с простотою крестьянства... Как она передавала, впечатление, ими оставляе-

мое, было таково, что тогдашний местный попечитель учебного округа, покойный Арцимович, будучи католиком и поляком, лучше и «роднее» относился к этим русским и православным, нежели к своим сородичам и единоверцам. Ее родительская семья была близка (кажется – в соседстве) с этой семьей Арцимовичей. В детях, по крайней мере некоторых, эти Арцимовичи совершенно слились с русскими, слились «по вере и крови».

Ее сравнительные наблюдения над молдаванами и русскими очень замечательны. «Когда священник мало просит за свадьбу, то молдаванин оскорбляется» (гонор, честь). И весь народ молдавский – картинный, любит картину, все цветное, – но не ярких, а мягченных тонов, любит в жизни и в домашнем обиходе – красивый узор. «Они – народ воображения и строят легенду и сказку около всякого обыкновенного события». «Но у них, – добавляла она, – нет глубины и мистицизма русских и их великого нравственно-религиозного начала». Она работала на голоде в Казанской губернии, и ее выводы, сделанные на этой работе, и послужили фундаментом для таких заключений. «Один, последний каравай хлеба в избе; после него – помирать; и вот мужик разрезает его пополам и половину кладет на окно: возьмет кто голоднее, кому уже – сейчас помирать». Это действительно поразительно. Она приводила и другие примеры деревенских решений морально-бытовых затруднений. И говорила в заключение: «Если взять русского крестьянина верстах не ближе ста от железной дороги, то я вообще не знаю лучшей породы человека, лучшей его природы, чем этот крестьянин». Основав в имениннике две школы, одну – виноградарства и виноделия, она говаривала: «Увы, уже из школы почти сплошь выходит вовсе не то, что принимаешь в школу. Летам к 17 они все знакомятся с Леонидом Андреевым, с дурными болезнями и ищут носить штиблеты с высокими каблуками. Что с этим делать и как этого избежать – я не знаю и не умею. Это что-то повальное». Кошмаром ее было влияние на первородную молдавскую, малорусскую и польскую этнографию соседних еврейских «местечек». «Они заражают крестьянство варшавскими модами, убивая домотканые материи и национальные костюмы, развращают аптекарскими лавочками с продажей грошовых косметик и вредных для здоровья снадобий (особенно для вытравливания плода), порабащают и разоряют своим «кредитом» (ростовщичество)». Проведя несколько зим в Петербурге, она решила, что место ее – не здесь, а «там», у себя, и ради скрепы с местом и населением решила проводить в «невылазных бессарабских грязях» (чернозем) и томительную осень, и совсем одинокую зиму.

Вся ее личность была в непрерывном, удивительном творчестве. Наблюдения, афоризмы – все это сыпалось в ее тихой беседе, как зерна хлеба с перезревшей нивы. «Подставляй кошницу и собирай». Но не было условий для этого. И вот ушла в землю и будет зарыта, с холодным прахом, – и эта кошница живого ума и чудной, обаятельной души, в которой светились мириады мыслей, грации, возбуждений, положительно – «открытий». Ну вот хоть что-нибудь: «Дважды два никогда не четыре. Это – только в арифметике. Дважды два всегда пять – в жизни». Т. е. жизнь иррациональна, непоследовательна и неле-

па, и мила – именно поэтому; и в ней вечно приходится возиться, переделывать, подправлять хоть приблизительно «до четырех» ($2 \times 2 = 4$). Не правда ли, как кратко, выразительно и верно? Об эпохе огрубения, принесенного Максимом Горьким и вообще литературой «разночинцев»: «Если в темноте я натолкнусь на столб, то скажу невольно – pardon. Это – неодолимо, я так воспитана и привыкла». И как понятна из этих простых слов старая «дворянская литература», без зуботычин, критических и беллетристических. Творчество ее было постоянно. И приходилось говаривать: «Позвольте, у меня – свои мысли. Вы говорите столько интересного и нового, что я ощущаю боль в голове от тесноты и своего и вашего». И об этой «боли» от собеседника и его умственной производительности мне ни разу еще не пришлось никому сказать.

А женщина. И без литературы. Но она была прелестною литературой «на ходу», в изустном слове. Вечная ей память. Как неутешна будет без нее ее Сахарна, и памятный пастух, столь любимый, и беднота, и бездомные, находившие у нее приют.

– Этого мальчика я купила за семь копеек.

– Как «за семь копеек»? (Буруз лет четырех.)

– Нищая молдаванка его водила с собою – мать. Я и говорю: «Отдай мне его, я его выучу мастерству».

– Дай семь копеек.

– Я дала. Она взяла семь копеек и оставила сына. Из дальнего села. Мне его личико показалось интересным и обещающим.

Так она ко всему была внимательна, к вещам, людям. И выбирала. И трудилась.

1917 год

К НОВОЛЕТИЮ 1917 года

Трудное новолетие – вот уже третье. Все народы Европы, и мы в их числе, как бы задыхаются в тяжелом ярме, возложенном на образованное человечество бесчеловечием германского кайзера, которому судьба забыла положить в колыбель главное качество монарха – благородство и великодушие. Ибо с тою обширностью власти, какая ему вручена, что такое монарх без благородства и великодушия? Вот чего не напомнили Вильгельму его политические и ученые друзья, среди которых есть и пастор Штекер, и историк христианства Гарнак.

И вот льется кровь, истребляется целое поколение, – и когда-то, когда-то еще удастся возрождающим силам Европы залечить те раны, ту убыль людей, ту убыль драгоценной крови, которая расточается на полях от Соммы до Евфрата.

Нам всем в Европе остается ждать и бороться. Никакой мысли об уступке не может быть, ибо в этой борьбе уступить или ослабить – значит погибнуть. Железное время. И оно требует железного духа.

Все вести, какие приходят из армии – и крупные, и мелочные, – говорят о ее великом духе, неистощимом терпении, и все это поддерживается и укрепляется тою безотлагательною ежечасною работою, которая не ждет работника ни минуты и не дает ни на минуту ему забыть, заснуть и опозориться. Иное дело в тылу. Эта гражданская безурядица изводит душу. И свежие и сильные люди прямо уезжают на фронт, чтобы отдохнуть душою в сырости и холоде окопов.

Мы напоминаем об этом и нимало этого не скрываем, потому что уверены в победе русской души над ее сном. Пробудись, кто жив! Сон в теперешние времена – это предсмертный сон.

Мужества, мужества и мужества! Гражданского мужества, потому что военное не убывало и охраняет Россию с львиною храбростью! Вот что нам нужно и вот с каким призывом мы обращаемся в это новолетие 1917 г. И пусть не забудется следующее. Сынов своих отечество познает в трудные минуты. Именно теперь-то необозримым и наблюдательным оком высматривается все лучшее на Руси и определяются качества всего худшего. После

войны сейчас же начнется «переоценка человеческих ценностей», и померкнут глаза у всех, кто сейчас веселится, празднует, пользуется всеобщим несчастьем или затруднением. У них померкнут глаза, потому что после войны сейчас же они окажутся никому не нужными «лишними людьми в своем отечестве». Теперь-то, именно теперь, проходит тот исторический час, когда многое из захиревшего в былые годы может подняться, сложиться в новую силу; а празднующее свои вчерашние праздники может опуститься на дно.

Труд, дело, творчество – вот к чему зовет нас этот год. Вся печаль и страда с 1914 г. ведь основывается на том, что Германия кинулась на Россию, как оригинал на своих подражателей, с естественным неуважением к этим своим подражателям, которые «200 лет учились и не выучились». Но «подражательная Россия» оканчивается в эту войну. «Подражательность» есть вообще негодность; «подражательность» есть вообще бездарность. На 200 лет Россия втянулась в косную, бессильную, немощную подражательность Европе, сперва вообще, а с XIX в. – по преимуществу в германскую подражательность, плоды коей мы пожинаем сейчас.

Наша наука, наша литература, наша философия германизированы. Университетская русская наука прямо обратилась в библиографию германской науки по данному предмету, данной кафедре и в общем объеме – по всем наукам и всем кафедрам. Оригинальная русская мысль не то чтобы гналась, а произошло гораздо хуже: на нее не обращалось никакого внимания. Высокомерно заявлялось, что «наука едина и космополитична».

Но так же было и во всем. И особенно печально, что это было в «реальных» министерствах. Как ученые компилировали германскую науку, так министерства компилировали и вторили германским указаниям и германским примерам. Что в русских школах русского? Все это – шаблоны, взятые из Германии и перенесенные в Россию. От гимназического учебника до центральных государственных учреждений везде в России были господами «не русские». И все это было прекрасным подготовлением к войне.

И вот она грянула. Поистине грянула на нас неподготовленных. Мы, как недокормленная и отошавшая нация, вступили в борьбу с упитанною на наших хлебах Германией.

Да не повторится же и не продолжится же это впредь! На свои ноги становитесь, на свои ноги! В работе, но прежде всего в мысли, в характере, в достоинстве. Будь горд, русский человек, – вот завет на Новый год. А горд ты можешь быть лишь как рабочий и как творец в своей работе.

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ «С МЕСТА»

Мне хочется поделиться с читателями несколькими строками письма, написанного автором прекрасного исследования о Фете, которому пришлось в южных губерниях наших увидеть много любопытного, и на это любопытное, хоть и чужим глазом, пусть взглянет и читатель.

Сейчас будет речь не о литературе, не о Фете, но вы так отзывчивы ко всему жизненному, в частности – современному, находящемуся в связи с войной, что некоторые мои наблюдения, быть может, заинтересуют вас. Я почти не читаю газет, но мне известно, что едва ли не одно только «Новое Время» не находило «твердых цен» на хлеб преувеличенными, тогда как «Русское Слово», «Речь» и т. д. лили по этому поводу лицемерные слезы, сопровождая этот плач тенденциозными выпадами против помещиков: «Ненасытные аграрии, мечтающие об одной наживе в годину бедствий, когда трудящееся крестьянство жертвует последней копеечкой». И проч., и проч. Жанр этих агитационных статей вам достаточно знаком, чтобы стоило пародировать их дальше. Это все та же травля землевладения и дворянства с полным забвением его исторических и современных заслуг, с преднамеренным искажением действительности и анахроническими кивками на эпоху крепостного права. Противно читать это, противно потому, что надо всем этим – или грубое невежество, или скрытая зависть, старинная зависть неумытого к умытому, *неимущего* к имущему и расчет, к сожалению верный, воздействия на темные массы: иди, возьми, как в 1905–6 годах, дубину и керосин и разрушь и подожги оставшиеся усадьбы «феодалов», «сеньоров», «эксплоататоров». И невежественные или лицемерные перья этих публицистов рисуют заведомо ложные картины алчности феодалов и бессребренности крестьянства. Как хотелось бы, чтобы этой тенденциозности был положен конец, чтобы правда (также далеко не похвальная, но правда) притупила эти перья, чтобы они были принуждены замолчать. А правда такова: я все лето ездил по югу России – от Бессарабии до Черноморской губ., – и вот что увидел. Крестьяне не продают и не желают продавать ни фунта хлеба по твердым ценам: «Пускай по этим твердым ценам в Петрограде же и находят, и сеют, и жнут хлеб, а мы свой не продадим», и там, где он оценен в 1 руб. 80 коп., желают 3 руб., и т. д. В Ростове нет хлеба – это в средоточии Области Войска Донского! В уезде, где я нахожусь теперь, недели 3 тому назад земская управа объявила покупку хлеба *для нужд армии* по твердым ценам. Вскоре оказалось закупленных 250 000 пуд., но факт: все это был хлеб помещичий, и в этом количестве не было *ни золотника крестьянского*. Эти сведения абсолютно точны. Так вот, не вдаваясь в различнейшие последствия, выводимые отсюда, позволительно спросить: кто же оказался «аграрием»? Алчный ли «феодал» или бессребренный крестьянин? И еще вопрос: хватит ли у «Речи» и прочей прессы мужества признать этот факт? Его бы следовало печатать аршинными буквами перед неремиадами этих публицистов. Цифры бесстрашны, но они все опровергают. И о них молчат и заведомая ложь пишется, пишется. Еще пример: разговариваю я с одной умной, хозяйственной крестьянкой, ездившей в соседний ей городок покупать детям обновки. Она справедливо возмущалась мародерскими ценами на обувь, материи и т. д. «Как не останоят этого грабежа? Цены подняты вдвое! Жить нельзя, хвосты везде», и проч. Случайно я спросил ее, не продает ли она масла? – «Как же, говорит, – продаю. Мне давали 70 руб., а я хотела 80 руб., но теперь, когда в городе меня

разозлили ценами на обувь и одежду, — я до 120 руб. дождусь». Я прямо-таки обомлел: недавняя еще цена на масло в этих местах была 18 руб. за пуд, а она, вот, отказывается, от 70 руб.! Ведь это уже вздорожание на 400%, но ей и этого мало, и она ждет вздорожания на 600–700%! Я заметил ей: «Послушайте! Вы только что бранили лавочников за двойные и тройные цены, но что вы сами делаете? Ваше масло идет в тот же Таганрог: по сколько его будут продавать лавочники даже при цене 70 руб.? Не меньше чем за 100 и те же 120 руб. А раз вы будете брать 120 руб., то они — 160–200 руб. Так? И городское население, стоящее в таких же хвостах, в каких вы только что стояли, будет платить 4–5 руб. за фунт масла, недавно еще стоившего меньше полтинника! И опять брань и проклятия, но уже они будут сказаны по вашему адресу». Что же она отвечает? Ничего, или, вернее, хуже, чем ничего: «А мне какое дело? С меня берут, буду брать и я. Не отдам ни хлеба по твердой цене, ни масла по 70 руб., а там пусть делают, что хотят». — Типичнейший ответ, типичнейший кругозор: когда с нас берут. — «Как это разрешается? Жить нельзя!» — А когда до нас дошел черед, — «буду брать и я», — а что из этого выйдет — это уж «не мое дело», — «моя хата с краю». Вот вам и понимание «години бедствия» и бессребреничество! И пусть мне не говорят, что эти примеры — исключения, пусть народники из «Речи» не втирают очков софизмами: я вижу это лучше в разных губерниях, на месте, ежедневно, чем публицисты из своих кабинетов. Факт налицо. Причины его — статья особая и сводящаяся к тому, что вакханалия в городах и неумение справиться с нею, конечно, развращают и крестьянство: раз гвозди, столь необходимые в хозяйстве, стоят 2 руб. (неясное слово, обозначающее меру. — *В. Р.*), что совершенно не слыхано, крестьянин, естественно, желает получить 120 руб. за масло или 3 руб. за пшеницу, хотя и 1 руб. 80 коп. ему не убыточен. Но эта цена его не удовлетворяет, так как и в мирное время она доходит до 1 руб. 30 коп. Так что же это за повышение для него — до 1 руб. 80 коп.? «Мало, когда рядом за кожи, гвозди, сукно берут вчетверо против прежнего». Вот вам и вся психология крестьянства, весь кругозор, вовсе не сложный, а он в свою очередь коренится в общем печальном фундаменте некультурности, чтобы не сказать иного — дикости, сводящей все экономические и социальные принципы к упрощенной формуле: «бери что можно», а если можно — тащи и грабь. И внедрению последнего немало способствуют недвусмысленные кивки «передовых», либеральных публицистов на «аграриев», «феодалов» и т. д. Все это читается и как редко, к сожалению, опровергается.

Суть русской жизни, суть русских людей — полное неумение жить. Острый народец, создавший гениальные поговорки, — между прочим и поговорки в этом самом неумении жить, — создавший гениальные песни, «за душу хватающие»: но вот ему надо помочь соседу, помочь в простой, несложной беде, — и он начинает чесаться, размышлять, — не уверен, не заплатит ли ему сосед злом за добро... И, выговорив на этот случай и об этом самом соседе новый гениальный афоризм, поворачивается лицом к стене и снова засыпает, как спал и до той минуты, когда его разбудил крик боли из соседней комна-

ты. Иногда думается, что русские погибают от перепроизводства у них литературности, которая в низах и до образования внешнего сказывается в любви «к словцу», и что спасение русских – в долгом, историческом воспитании в молчании. У нас везде базар, у нас везде толпа, – и везде красуется слово. Ходим в опорках, одежонка с плеч валится, – все на нас и для нас делает еврей или немец, сами заплаты на рубище свое поставить не умеем и «в слове так и ходим» («ходишь в слове» – выражение хлыстов на радении). Великую поправку к этому и делают святые-молчальники, но Русь им молится, ставит образа и свечи перед ними, а понять их великое указание в молчании – не умеет.

Отсюда как-то передвигается вопрос к школе. Но школа, и особенно русская школа, поучает словом, – и вся от верху до низу словесна. Наоборот, именно у нас школа должна бы приучать к поступку. «Пришел ли мальчик 9 лет в училище умывшись, – и хорошо умывшись, с мылом, и не сполоснув только лицо водой?» – вот первый вопрос и первое требование, какое воспитательная школа должна бы обращать к мальчику-дикарю, пришедшему «из дому» тоже из совершенно дикой, заросшей всякою дичью, семьи. «Умеет ли этот мальчик помочь соседу?» – помочь не обманом, подсказывая, а чем-нибудь более существенным? Вместо того у маленького дикаря спрашивают перечислить все «республики Южной Америки» или что-нибудь из «Пунических войн». И вот этот гимназист, с Александром Македонским в голове и с каплей соплей под носом, выходит из городского училища и даже из гимназии таким же дикарем, как поступил в нее, но уже с гораздо большими претензиями и теперь с трибуны парламента или предварительно на сходке поучает правительство, как ему надо держать себя. И поучает тоже очень литературно. Только капля соплей все по-прежнему висит у него.

«О ФИЗИЧЕСКИХ ПОВОДАХ К ПРЕКРАЩЕНИЮ БРАЧНОГО СОЮЗА»

По поводу труда лейб-медика Л. Б. Бертенсона

Нынешний обер-прокурор Св. Синода, по-видимому, поставил себе крепкую задачею устранить вопиющую к небу кривду в духовном судопроизводстве. Говорят «о потере веры», говорят «об ослаблении религии», и не замечают говорящие, что у них-то самих под ногами и в руках такое правосудие и лжесудие, что уж всякий может говорить о Боге и вере, о правде и молитве, а им-то именно в этом случае и надлежит помолчать. Если г. Раев совершит здесь и не «все», а только «нечто», – то он покроет имя свое незабываемою благодарною памятью в обществе и в истории обер-прокуратуры Синода. Хочется сказать ему, что в данном именно пункте касательно бракоразводных судебных норм он мог бы получить прекраснейшую помощь в лице маститого нашего ученого Н. Н. Глубоковского и в лице более молодого, но яркого и проникательного мыслителя и тоже ученого профессора (в Демидовском

лице в Ярославле) В. Н. Мышцына. Третье лицо, г. Рункевич, чуть ли не директор канцелярии Св. Синода, у него «совсем под руками». Дело суда – дело тонкое, хитрое, запутанное, казуистическое. Обер-прокурора могут запугать словами: «Так *не бывало!*» – «Вы что-то делаете *новое*».

А возгласы эти или подобные могут раздаться не только из одних духовных сфер. Напротив, в самое недавнее время благой законопроект о разводе, одобренный уже церковными лицами смешанной комиссии, получил совершенно неожиданный отпор со стороны представителей министерства юстиции (времени И. Г. Щегловитова).

И вот ради этого-то, чтобы не испугаться и не смутиться перед препятствиями и возражениями, чтобы дать им надлежащий отпор, – он и должен непременно иметь у себя «за ухом» добрых, крепких, мудрых советников, которые попросту дадут ему лучшие «сведения», «факты», «библиографию предмета» и вообще «ученый и святоотеческий материал».

В прошлом декабре месяце собралась комиссия для обсуждения бракоразводного процесса, а около середины января будут специально обсуждаться «физические поводы» к разводу, исследованию и обсуждению которых маститый лейб-медик Л. Б. Бертенсон посвятил огромную книгу, со включением обширного судебного материала и – «эрудиции по данному поводу», на всех языках и из всех законодательств, католических и протестантских... Материала дано слишком много, и он подавляет. Но подавляет – ум; а сердце он решительно возбуждает, как лучшее бракоразводное *digitalis* (*digitalis* пробождает в медицине умирающее сердце).

Оказывается, суд, медицинское вмешательство врачей, позитивные врачи и «духовные врачеватели душевных ран», – все они точно озлоблены чем-то против приходящих перед лицом их супругов и отказываются пролить хотя бы какой-либо мир и утешение в их душу! «Пять лет замужем и осталась девственница», – заявляет жена. Не позвав даже на этот случай *женщины-врача*, – а они теперь есть в каждом городе, в каждом уезде – *мужчины-врачи* «проверяют» и, проверивши, удостоверяют: «Да, девственница». Пишется протокол с омерзительными медицинскими терминами. Вот вам и «таинство брака»! Одно умозаключение: «Лучше, братец мой, не женись». Люди и перестают действительно жениться ввиду угрозы мерзостями суда в тех случаях, когда брак несчастен. Ну, наконец, жена опозорена судебной гнусностью над нею, но факт добыт: после пяти лет супружества она девственна и брак по каким бы то ни было причинам не начинался и, совершенно очевидно, никогда не начнется, ибо «обстановка для зачатия» продолжалась пять лет. Для здравого смысла это очевидно, но для науки, которая на этот раз похожа на сумасшедшего, это вовсе «не очевидно». В медицинскую управу, для экспертизы над ним, тянут мужа. Самая «медицинская экспертиза» есть прелюбодеяние и уже разрушает таинство брака: приходило ли это на ум медикам и канонистам? Нет? Значит, им непозволительно и заикаться о «тайне брака». Но дальше еще ужаснее: медики начинают «проверять мужа», чинить невероятные, неизреченные, нерасказываемые, не-

печатные гадости с ним, т. е. с вами, читатель, и со мною, писателем. Но... «ничего не вышло». Что же делают эти сумасшедшие? Они составляют протокол, смысла коего нельзя передать, ибо ни одна печать в мире не может быть осквернена словами таких гадостей, какие заполняют весь этот протокол. И вместо того, чтобы получить оплеуху за такую гадость и неприличие, за такое злодеяние над мужем и женою, «20 числа получают жалование». Супруги уходят, откуда пришли. Что же это такое? Суд? Бессудность? Я повторяю и снова настаиваю твердо, что самое введение «медицинской экспертизы» в таинство брака, – введение «освидетельствований» раскалывает совершенно таинство супружества от верхушки и донизу, и ничего не оставляет от глубины, от мистической неясности, от прекрасных и великих покровов брака. Мне непонятно, как этого не поймут закон и люди? К этому присоединилось какое-то странное ученое злодеяние. Во многих местах книги Л. Б. Бертенсона проходит совершенно справедливая полемика его против профессора Д. П. Косоротова (знаменитый эксперт по судебно-медицинским вопросам), который забыл древнее римское и вместе вековечное правило: «*matrimonium – liberorum quaerendorum causa*», «брак существует ради приобретения детей». Он, ссылаясь на множество для супругов совершенно не нужных мнений разных немцев, шведов, англичан и испанцев, – выдвигает тезис, будто «поводом к разводу может служить лишь доказанная через судебную экспертизу неспособность к супружескому соединению, а не доказанная через экспертизу неспособность к деторождению». Таким образом, *дети выкидываются* из брака как смысл его, как достоинство его, как красота его и утешение родительское, – утешение, равно требуемое отцом, равно требуемое и матерью. Проф. Д. П. Косоротов не спросил себя: да имеет ли он право судить об этом? Он – только медик и только ученый. Это ведь смысл и понимание дела целым миром, тысячами миллионов отцов и матерей, от времен римских и наших. И вдруг приходит проф. Косоротов с цитатами из современных учебников права, – и «поправляет дело»!

Проф. Д. П. Косоротов не сообразил, что тут происходит опрокидывание всего института брака, от римских времен и до нас, через выкидывание из него великого мотива отцовства и материнства. «Нам не нужно отцов и матерей. Достаточно, если супруги наслаждаются друг другом». Что же это такое? Введение в брак законной проституции? Все нравственное здание брака рушится.

Дело тут, мне кажется, не в учености и не в цитатах, а в здравом смысле и совести. Консистерия-то тут при чем? Кажется, что ни при чем. Медицина? Гражданский суд? Ни при чем. Посмотрите далее. Иисус Христос (см. Матфея, 19 глава) вовсе не отнял у супругов, саморазводившихся при Нем, до Него и во все время христианской истории, во все время христианской истории до XVIII века, права развода. А это право у нас *отнял не весьма опытный в богословии Петр Великий* знаменитым указом, запретившим писать «какие-либо документы, клонящиеся к расторжению законного брака». Уже самая анонимность и как бы безглавность указа показывает, что великий царь как-то стеснялся назвать прямо свое дело. Да его *в то время* и осудила бы церковная власть, – это мы *теперь* только привыкли к этому злодеянию над

семьею. Она бы ему сказала: «Что же ты лишаешь, Царь-Батюшка, всех семейных людей всяких прав? Брак есть мир, любовь и согласие. А ты хочешь из него сделать каторгу».

Те ужасы, какие рассказаны «с протокольной подробностью» в книге г. Бергенсона, говорят о большем, чем думает автор книги. Они зовут, просят и требуют, чтобы «тайна супружества» была возвращена в свое древнее место, с полным выбросом, с полным изгнанием отсюда медицины, гражданского суда и даже административных учреждений консистории и Синода.

Никакая администрация не может судить между мужем и женою. Ибо они – в «тайнстве».

Одно – внешнее, а другое – внутреннее.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ «РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ БИБЛИОТЕКИ»

Начальник тишины. С. Н. Дурылина.

Сергиев Посад, 1916 г.

Израиль в прошлом, настоящем и будущем.

Сборник статей, 1916 г.

Для очень и очень многих людей из нашего образованного общества, ищущих религиозной ясности, ищущих твердости, – ищущих в основе всего фактической осведомленности, нельзя пожелать ничего лучшего, как чтение небольших, но всегда крайне тщательно составленных выпусков «Религиозно-философской библиотеки», печатающихся уже много лет М. А. Новоселовым при участии и помощи выдающихся писателей философско-богословского настроения в России.

Юно и горячо написанная книжка С. Н. Дурылина, едва ли не юнейшего из московских славянофилов, передает впечатления, им пережитые в Оптиной Пустыни, около могил Киреевских, там похороненных. Хорошо он называет И. Христа «начальником тишины», – словом, взятым из одного богородичного канона: «Ты бо, Богоневестная, Начальника тишины Христа родила еси, Едина Пречистая». Удивительное, поразительное слово, пронизывающее как стрелой самое сердце христианства, т. е. «пронизывающее» в добром смысле, в смысле объяснения и понимания. Действительно: Христос принес на землю тишину, – и этим все сказано. Когда думаешь о врагах христианства, рвущихся на него и из науки, и из философии, и из политики, кончаешь всегда этим: «Шумите, шумите, господа: христианское молчание всех вас победит». Действительно, христианство победит не борьбою, а красотою. Оно побеждает просто тем, что «у нас лучше». И «к нам все придут», придут не теперь, а когда-нибудь, утомившись сердцем и душою в шумах истории и словопрений.

Книжка о евреях, увы, входит в эти шумы. Но входит невольно, неодолимо. «Едва ли кто не видит, что еврейский вопрос, – вопрос мировой и, более того, центральный вопрос всемирной истории. Бесчисленные и запутанные

нити истории сходятся именно в этом узле. В этом, вероятно, согласно большинству вдумывающихся в судьбу Израиля и в судьбы истории человеческой. Но сколь единодушно большинство в оценке важности вопроса, столь же непримиримо враждебны чаще всего слышащиеся голоса, пытающиеся развязать узел... В самом деле, какие решения слышим мы? Это – или юдофильство, или юдофобство. Но кто дерзнет спорить с юдофилами, что «спасение от иудеев» (Иоанна, IV, 22) и что все наиболее ценное из достояния человечества – разумеет Откровение, как Ветхозаветное, так и Новозаветное, – даровано через посредство «избранного народа»? Иудеи считали и считают себя стержнем мира и свои судьбы – осью истории. Можно ли спорить против того? А с другой стороны, великий тайнозритель исторических судеб, св. Иоанн Богослов сам иудей, называет иудейство «сборищем сатанинским» (Откровение, II, 9).

И автор предисловия ссылается на тайно распространяемые масонством определенные культы сатанизма и люциферианства, в движении которых евреи принимают большое участие.

Да, вопрос страшный. Тут и святые, тут и величайший грех. «Наша задача», – говорит автор предисловия, – это именно раскрыть не смягченно и «да» и «нет» величайшей из мировых антиномий и затем показать глубину божественной любви и премудрости, открытых в предыдущих судьбах Израиля. Не политическая и не социально-экономическая сторона еврейства, взятая в самой себе, не духовный смысл совершающихся судеб Божиих служит предметом данного издания. Мы не предлагаем здесь никаких программ, а хотим лишь уяснить духовное соотношение борющихся во всемирной истории сил».

На данную тему это может быть лучшая книжка в русской литературе. Как веще звучат слова Второзакония: «И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли... Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаевание очей и изнывание души» (XXVIII, стих 64–65). Какие страшные слова! И как они сбылись! Но вот загадка: откуда это ведение, это знание будущего? Да, история Израиля – это какая-то «сверх-история», – в самом серьезном и трагическом смысле слова. Приходится верить в Судьбы и Бога, приходится и для того, кто чурается этих понятий.

ПЕРЕВОДЧИК И РЕДАКТОР

(К изданию переводов И. Ф. Анненского)

Есть дела и мысли «вольные и невольные»; в «вольных» мы легко порхаем, а «невольные» делаем по необходимости, – с мыслью, что и за нас когда-нибудь сделает «невольное дело» живой человек, когда мы сами будем мертвы и безгласны и «неповоротливы» в могиле... Такое «невольное дело» и вынуждает сделать сейчас, разбираясь в некоторой идейной тяжбе – между равно

дорогими русскому образованному человеку лицами – Фаддея Францевича Зелинского, нашего знаменитого эллиниста, и покойного Иннокентия Федоровича Анненского, тоже эллиниста и поэта. Прекрасная и еще мало у нас оцененная поэзия Анненского дорога многим. Его преждевременная, неожиданная смерть на пороге Царскосельского вокзала – поразила, ушибла многих. Это был петроградский педагог, «чиновник министерства просвещения», дивным образом сохранивший в себе «чары вымыслов» и влечение к ним и очарование эллинистическим гением. Проф. Зелинский есть глава и наставник целой школы русских эллинистов, автор многочисленных трудов самого высокого культурного значения.

Но, мне кажется, он совершил некоторую неосторожность и не деликатность по отношению к памяти Инн. Фед. Анненского, при редактировании его переводов трагедий Эврипида; неосторожность эту можно понять как вытекшую из громады редакторского труда; возни с рукописями, наконец, – из напора собственного ученого творчества. Но эта неосторожность чрезвычайно больно почувствована близким к покойному лицом и его помощником в учено-литературной работе. Вот как это лицо излагает все это дело в письме ко мне, с просьбой обратиться на дело внимание печати:

«Скоропостижная кончина, ровно 7 лет тому назад, 30 ноября 1909 года, не дала И. Ф. Анненскому завершить печатанием самый большой его труд, труд 15-летней работы; и «Театр Эврипида», – первый вышедший том коего удостоен одобрения от ученого комитета министерства просвещения, – оказался после его смерти в виде рукописей, из коих в двух трагедиях даже не перенумерованы страницы четвертушек бумаги, с «тире» вместо имен, и – в грустной суматохе водворения среди ночи мертвого хозяина в тот самый кабинет, где еще накануне он работал, полный творческих сил, все эти листки были спешно свалены с письменного стола в сундук и еще более перепутаны.

Я, пишущая вам эти строки, его невестка, с которою он в течение многих лет делился своими поэтическими замыслами и которая переписывала его произведения, изучив до тонкости его почерк и свободно разбираясь поэтому в его черновых рукописях, за два почти года внимательного и настойчивого труда, наконец привела в порядок и подготовила к печати 12 переведенных им трагедий с большими статьями в каждой.

Иннокентий Федорович был *первый и единственный* в России ученый и вместе с тем поэт, давший полный стихотворный перевод *всех трагедий* Эврипида... Наследник его продал труд своего отца книгоиздательству «М. и С. Сабашниковых» в полную собственность, и вот в июне или в июле этого года вышел 1-й том Эврипида в переводе И. Ф. Анненского в «Памятниках мировой литературы», под редакцией Ф. Фр. Зелинского. Посмертный труд Инн. Федор. увидел давно желанный свет!! И, казалось бы, радостно надо было встретить это осуществление мечты покойного!

Я услышала об этом в глуши своей деревни и тотчас приобрела книгу. Издана прекрасно, тщательно, красиво, но... и в этом «но» вся

трагедия творца ее, который не может из могилы заступиться за свое детище! Кто прочитает *одно предисловие редактора*, тот не может не увидеть, что *так нельзя* редактировать *посмертный* труд человека, уже имевшего *имя*, известного *эллиниста* и *специалиста* в области Еврипида! Г-н Зелинский редактирует ведь не каникулярную работу гимназиста VII класса, чтобы силою своего авторитета произвольно вносить *поправки* в поэтический перевод (не дословный, не подстрочный, а *поэтический*) И. Ф. Анненского.

В своем предисловии он как бы из милости дарит поэту его метафору:

По сердцу и мыслям провел ты
Мне скорби тяжелым смычком...

И тут же нравоучительно замечает, что во время Еврипида греки не знали скрипок...

Г-н Зелинский не считается с основным мнением поэта-переводчика, что поэтический перевод древнего классика *должен вызвать в современном читателе те же эмоции*, какие трагик умел вызывать в своих слушателях в V веке до Р. Х., – трагедия должна *не утомлять, а дать ту красоту*, от созерцания которой душа облагораживается, становится «над жизнью».

Вот уже первое коренное недоразумение между редактором и его «пациентом» (я говорю «пациентом», потому что он производит над ним ряд мелких и крупных операций, – и думает, что если тот молчит, – значит, ему не больно...).

Пока еще рукописи не возвратились владельцу, нельзя даже *проверить*, какие изменения внес редактор в текст трагедий, так как «оговорки вносимых в текст изменений» выразились у г. Зелинского в объяснительных примечаниях буквально так: «Изменения допущены в следующих стихах: 1–3; 38; 39; 48–51... и т. д., до бесконечности. А где же *первоначальный* текст? где то, что сказал Иннок. Федор.? Мы, читатели, хотим же где-нибудь видеть, пусть в конце книги, *как сказал* не Фаддей Франц., а Иннок. Федорович? Ведь это же *посмертный и проданный* на 50 лет огромный труд Анненского!

Значит, теперь каждому интересующемуся работой Инн. Фед. надо ехать в Лесной и просить наследника: «Позвольте мне порыться в ваших рукописях, мне вот любопытно сверить стих 528 и 890... Может быть, Инн. Фед. сказал лучше, чем его редактор?»

Уже по маленькому факту лично я, работавшая над приведением в порядок рукописей Инн. Фед., могу судить, что не всегда «изменения» г. Зелинского служат на украшение перевода. *Я знаю*, что Инн. Фед. перевел заглавие одной трагедии словом «Умоляющие». В перечне же г. Зелинского я уже читаю – и без оговорки в тексте: «Просительницы». Согласитесь же, что для русского уха между словами: «Умоляющие» и «Просительницы» есть большая разница в нюансах, может быть, и незаметная для г. Зелинского. Со словом «Проситель-

ницы» лично у меня возникает картина не алтаря, у которого ищут защиты несчастные женщины, а приемная важного лица, где какие-то жалкие существа, может быть в салопях стародавнего фасона, с выражением испуга в робких глазах, с трепетом ожидают появления сновника из кабинета... На мой взгляд, «Просительницы» как-то не вяжутся с трагедией, и «Умоляющие» более идут к этому сюжету. Далее, в прозаическом переводе Леконт де Лиля трагедия эта называется «Les suppliants». Разве не странно и не дико было бы прочитать вместо «Гераклиды» – «Геракл и сыновья», вроде «Торговый дом Боткина с сыновьями» – правда?

Беда в том, что *юридически* г. Зелинский неуязвим! Наследник, продавая труд отца, дал право на изменение текста... Тут пострадала лишь *этическая* сторона, тонкая, едва уловимая, но мучительная своей почти непоправимостью для тех, кто ценит талант Инн. Фед. и кто знал, как он много работал над *каждой строчкой перевода*, пока, наконец, она его вполне удовлетворяла со стороны научной и поэтической.

Вот что больно задело меня. Может быть, вы захотите заступиться за бедного Инн. Фед., который только тем и виноват, что не дожил до издания своего перевода!

Ну, пускай бы г. Зелинский делал какие ему угодно *исправления*, пускай «в особенности приводил перевод в гармонию с своим переводом Софокла»... хотя разве это так необходимо! Разве Софокл и Еврипид сиаемские близнецы, что должны быть непременно «на одно обличье!». Пускай ему было бы «приятно иметь место в книге, в котором он бы мог беседовать с читателем от себя лично»!

Но не надо было в конце книги совсем стереть границы, где кончается Инн. Федор. и начинается Фаддей Франц., надо было в посмертном издании дать не голый перечень изменяемых строк, а *самые строки*. Я не думаю, чтобы фирма Сабашниковых, преследующая высокие цели «образования русского общества», захотела бы *обезличить* приобретенный ею труд Инн. Федор. и сознательно допустить «химическое соединение» Иннокентия Федоровича с его редактором Фаддеем Францевичем!

И как-то не верится мне, что Фаддей Франц. действительно *искренно* хотел бы, чтобы с его наследием поступили *так же?!*

На страницах «Русской Мысли» (хорошо не помню, в июньской или июльской книге 1916 г.) г. Зелинский напечатал свою статью, где цитировал строки стихотворного перевода Инн. Фед. *из еще не изданной трагедии* Еврипида, – но, понимаете, я уже отравлена *сомнением*, подлинны ли это строки Инн. Фед. или тоже измененные. Разве это не обидно? И разве *вправе* был так поступить г. Зелинский?

Неужели ему мало собственных лавров, что он захотел влетать в свой венок те лавры, которые должны увенчать тень усопшего?

С уважением остаюсь

О. Хмара-Барцевская.

Смоленская губ., почтовая станция Волочек, г. Каменец».

Все письмо так хорошо и мотивированно изложено, что я считал бы порочным его изменить, прибавлять к нему или убавлять из него. Боль и скорбь соотрудницы и родственницы чрезвычайно дорогого для всех русских поэта и вместе ученого, вложившего дорогую жемчужину в русское просвещение, — это заслуживает полного внимания. Мне тоже думается, что в *примечаниях* следовало восстановить полностью слово самого И. Ф. Анненского. Так мы обязаны к памяти поэта, вообще каждого, поэтический настоящий дар настолько редок и в себе самом несет такой особый аромат «поэтической филологии», непременно личной, непременно особенной, что тут нельзя терять ни одной черты, никакого штриха; даже «знаки препинания», если они немного неправильны, следовало бы сохранять или оговаривать в примечаниях. «Напечатанное» должно быть «факсимиле» души написавшего. Так это вообще и применяется в напечатании старых писем, старых архивных бумаг. И это безусловно должно быть применено ко всему вообще неремесленному и нетехническому. Во всяком случае, я передал *точно* жалобы ближайшего по труду лица покойного Инн. Фед.; и Фаддей Францевич едва ли будет претендовать на меня, так как для полного и убедительного ответа важно знать полное слово обвинения. Сделав миссию «передатчика», я отхожу в сторону.

«НЕЗАКОННЫЕ СОЖИТЕЛЬСТВА»

Мы жили и живем еще в круге какой-то атеизации семьи. Атеизированы дети, атеизированы и родители. Мудрено ли, что одни и другие слагают из себя «атеистическое общество». Чему дивятся богословы, о чем грустит печаль? «Кто сеет ветер, пожнет бурю».

Неужели это не полный атеизм: живут двое родителей, нежно прижимают к себе ребенка; ребенок протягивает к ним ручки. И вот из 170 миллионов населения России об одном миллионе таких семей закон говорит: «Это не семья, а черт знает, что такое». «Они — чужие друг другу». «Ни — одной фамилии им, ни — отчества по отцу ребенку. Пусть отчеством будет служить имя крестного отца».

А отец тут же. И мать — тут. Но пришел чиновник, что-то накаверзничал, кого-то оклеветал, что-то вообще промямлил и, сказав «цыц» кругом, вынул чернильницу и написал гадость, которую назвал «законом». И дети и родители навсегда разъединились.

— Что же, убивать таких детей, что ли?

Но чиновник захлопнул дверь, ничего не ответив. «Что же, неужели я стану разговаривать с такой св...чью?»

Конечно, это — атеизм. Полный. Это был атеизм по отношению детей и по отношению к родам. Навсегда останется памятным, что духовенство, у которого в руках Священное Писание Ветхого Завета и Нового Завета, при этом делавшемся двести лет ужасе, при ежегодном убийстве самими родителями многих тысяч детей по «чиновническому наплеванью», — не предложи-

ло в семинариях и не предложило в духовных академиях написать «сочиненьице», «диссертацийку» о том:

«Что есть рождение *в самом себе* по книгам Ветхого Завета и по книгам Нового Завета?»

Кажется, о «рождении женщины» там, в одном Завете и в другом Завете, сказано побольше строк, слов, речений, восклицаний, умилений, нежели об «иереях» и «архидиаконах»: там сказаны о «рождении» громы, а о чинах духовных шелестит лишь кое-где тихий ветер. Но вот, подите: скуфейки, камилавки, митры, клобуки превознесены на версту выше «рождающей женщины» и ее «младенца». И о «клобуках» очень много полемики, споров, забот и хлопот. А о дитяти и о матери – ни единого слова.

Кроме разве одного:

– Да уж не блудница ли она?

Окрик есть. Склонность к клевете, к подозрению – есть. Утешения – никакого.

Но тут я ей-ей скажу в ответ чиновнику с чернильницей:

– Ах, чтобы вас... Будь бы моя воля, да я бы такие в досаду вам распустил слюни прелюбодеяния по всей планете, именно чтобы размочить ваше сухое окаянство, чтобы и с нашей стороны потешить волюшку над вашей черствостью и вашим фарисейством, что вы бы век чихали и все-таки не расчихались бы.

Ей-ей. Льется младенческая кровь – молчание. Ну, тогда бы я к носу им поднес такую прелесть, что все бы завопиали: «Не могу молчать». Право же, с одной стороны, окаянство рождает другое отмщающее окаянство.

«Прелюбодеяние» и «незаконные дети»... А у меня на полках несколько «Историй канонического права», в которых в каждой сказано, что «венчать простолюдинов запрещалось приблизительно лет 400 истории христианства. Венчали только одних дворян и знатных. Пока не был издан такой-то закон императора, повелевший венчать и браки простолюдинов, крестьян и рабов».

Это – вообще, о сословиях.

И лет 700 в истории христианства существовали в законе установленные «сожителства» (конкубинат); только отмененные в таком-то веке при таком-то императоре.

И «незаконных детей» и «незаконных сожителств» совсем не было. И ни одного младенца христианского не убивалось.

Так неужели же времена приблизительно Иоанна Златоуста и Василия Великого были прелюбодейнее и развращеннее «теперешних», когда на каждой улице есть «Café de Paris» и разные чуланчики и ресторанчики и среди них громовое слово великого догматиста Антония Храповицкого?

Да мне кажется – убить иного младенца хуже, страшнее, противозаконнее, чем если бы «пришлось помириться» с десятью незаконными сожителствами, бывшими вполне законными во время древних святителей церкви и до прихода чиновника с чернильницей.

Да, «незаконное сожительство» никому не мешает, никого не оскорбляет, – не задевает никого. Любят: положим – ей 35 лет, ему 25 лет. 35 лет – очень красивый возраст. Она – бедна, он – богат. Если «заклЮчить брак», – то явно, что он скоро распадется, лет через 10. Зачем же им портить и калечить целую жизнь: они и живут *частицу жизни*, вот лет 10, в «незаконном сожитии». Позвольте, кому они помешали? Кого они оскорбили? Кого они притеснили? Зачем же вы кричите «в законе», что если у них родится ребенок, пойдут дети – то они все «незаконные» и не получают имени ни отца, ни матери?

Да ведь это же окаянство. Прямое. Что же вы убиваете детей? Зачем же вы принуждаете несчастную женщину «прибегать к средствам против зачатия», т. е. производить уже настоящий окаянный блуд?

Начало «плодоистребления» и гадких медицинских средств лежит в законе, упразднившем старинные, вполне «законные сожительства».

Еще пример: образованный человек и совсем простушка. Вы не знаете благородства человеческого сердца (а я слышал о таких); очень не редко бывает, что сама такая девушка, видя, что она такому человеку «не пара», – отказывается «венчаться», «быть женою», а «так жить» – согласна, потому что любит.

Кому же они мешают, черт вас возьми, искириоты? Утрите нос, раскройте глаза и восстановите старинные «законные сожительства», бывшие со времени Златоуста и Василия Великого, – которые вы злодейски переименовали в «незаконные сожительства».

Таких случаев, когда «венчаться» положительно опасно, – положительно вредно, – многое множество. Мамаша не хочет такой невестки (сплошь и рядом), «мамаша вовсе не хочет женить сына» (не редко); он – знатен, она простолюдинка или – наоборот: мириады, мириады примеров, случаев. «Жениться» – несчастье; «жить так» лет 10, 15, а удастся – всю жизнь – можно. Кто же, кто, скажите, как не закон, вбивал гвоздь в голову «незаконных сожительств» – этим самым потребовал создания везде домов терпимости и протитутток?

Потому что на вытравление плода и на убийство ребенка – хорошая не пойдет. А «так жить» лет 5, 6, 10 – да с радостью многие прекраснейшие девушки и вдовы.

Зачем же, зачем людей загнали в окаянство? Чернильницы – большие, малые, в золоте, без позолоты, – как будто все играли в пользу одного разврата и полового преступления.

– Убийство ребенка.

– Вытравление плода.

– Как можно более стеснить, сузить законный брак.

– Вступление в него сделать неудобным, болезненным (нерасторжимость брака).

– Все даже выкинуть из закона слово «сожительство», как бы оно было, такая гадина, коей и имя произнести в приличной книге невозможно; даже в той книге, где трактуются убийства, воровство и уличное непотребство.

– И только широко дверь распахнута перед непотребством. «Сюда – пожалуйте. Здесь вас регистрируют, и даже медицинская помощь – даром, чего не имеет ни единая жена».

Пора выйти из всего этого «очерка семьи». Высочайшее повеление, только что состоявшееся, о рассмотрении поводов к разводу, – есть великая мера к улучшению условий существования и жизни семьи. Но – в одной точке. Царь сказал – будет сделано. Точка эта – самая важная. Невозможные условия развода сделали нестерпимую самую семью. Вынули мир и благополучие оттуда, где, кажется, сущность дела, зерно явления, заключается в благополучии и мире.

25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

Провинциальная печать в России играет или могла бы играть роль, пожалуй важнейшую, чем столичная печать, голос которой перебивается другими огромными влияниями и толчками, идущими от парламента, от правительства, от эха всемирной печати, гул которой отдается в столице. В провинции – тихо. И вот в этой тишине может так ясно раздаваться ежедневная речь нескольких разумных людей, будящих местное общество к сознанию и обдумыванию местных нужд и к поддержанию общего умственного уровня провинции на высоте общерусского духовного развития. Задача прекрасная и высокая, – и из центра хочется сказать издающейся во Владивостоке газете «Дальний Восток» русское спасибо за 25-летнее несение хорошей печатной службы России. Столько лет ей исполнилось 31 декабря 1916 года. Газета была основана и все 25 лет издавалась и редактировалась В. А. и Е. А. Пановыми. Начатая при самых небольших средствах и с самым маленьким персоналом сотрудников и рабочих типографии, в настоящее время она имеет сверх собственной типографии еще литографию, фотоцинкографию, переплетную, картонажную и механическую мастерские, со 120 рабочими. Газета в общем народно-прогрессивного характера, прекрасно обслуживает местные нужды и является самым крупным органом печати не только в Приамурском крае, но и во всей Восточной Сибири. Начатая тогда еще, когда во Владивостоке было всего 15 000 жителей, она имела перед собою всю судьбу этого города, и столь сложную уже судьбу, – и во внешнем отношении, и во внутреннем. Дай Бог и впредь ей стоять на крепкой страже России, как стоит на таковой страже и весь этот русский Сан-Франциско.

О ДВУХ НОВЫХ ПОВОДАХ К РАЗВОДУ

История о том, как райская вещь, и в самом раю еще данная человеку, постепенно, путем заподозривания и оклеветания, а затем путем притеснения и исторических клевет был переведена в аид, в каковом мучатся души человеческие, – мучатся и стеноют, мучатся и плачут, мучатся и скрежещут

зубами, но ничего решительно не могут сделать, ибо «обстановка» для вещи сделана не ими: эта постепенная, медленная и «все время в одну сторону двигавшаяся» история будет со временем, лет через 200, рассказываться в «археологии христианской семьи», и тогда только выяснятся все «зубчики», все винтики и укольцы, какие постепенно были понатыканы на ужасном колесе, на котором пока она вертится и колесуется... И произошло просто: да дайте вещь в руки недобрым человекам, заранее к ней не предрасположенным, передайте садоводство технологу, а фабрику предайте садоводу, – передайте семью монашеству или холостым чиновникам (ведь чиновнику не обязательно быть хорошим семьянином, и даже вообще сколько-нибудь семьянином), и вы получите «косой взгляд» на вещь, который ее постепенно «сглазит» и совершенно незаметно, между прочим, и для себя незаметно «перекосит» эту вещь, искривит, изуродует. Именно «айд», вместо «эдема», а «когда он произошел» и «кто именно его таким сделал» – это поистине разыщет только археология будущего во всем изобилии ученых средств и изысканий... Ведь все садовники «хлопотали» и все технологи тоже «хлопотали», с причитаниями, молитвами и всяческим прилежанием. Столько усердия. Но «при таком поваре» гостей вытаскивают полумертвыми из-за стола и отправляют в больницу.

Смотрите: 1917 год. Комиссия, собрались, надели мундиры. Если «комиссия», то уже, конечно, собрались высокопоставленные люди и признанные не в Петрограде только, а в целой России авторитеты. Что же они обсуждают: через тысячу девятьсот лет после Иисуса Христа и, не забыв Его Имени, они обсуждают вопрос, какой «Отроку-Христу, рассуждающему в храме среди фарисеев» (есть такая прелестная картина, и в Евангелии есть рассказ об этом событии), было легко решить в двух-трех словах, «изумив фарисеев мудростью и простотою решения – и знанием закона». Какого «закона»? Да – *нравственного*. После «книжного закона», каким пробавлялись фарисеи и сидели над его толкованиями (Талмуд в его истории), Отрок-Христос принес на землю справедливый закон, вечный на все времена, один для всех людей, прямой, как стезя Господня, и представляющий «прямую линию», по которой короче всего можно дойти до дела, и по такой именно линии идут даже слепые и кривые. Идут все, «кроме ученых», которые недаром же учились в талмудических школах, а у нас они учатся в университетах и в духовных академиях. Слова Христа, конечно, нельзя предвидеть, но, зная в других обстоятельствах слова Христа, мы можем вообразить, что он сказал бы перед учеными, перед представителями почти всех министерств, кроме государственного контроля, и перед иерархами Синода:

– Кто вас позвал судить сюда, когда вы почти все не семейные, не семейные – важнейшие между вами? И вот вы станете судить криво, потому что у вас ни у кого не болит семья, – не болит у важнейших между вами. Разве вы не читали в древнем законе, что жена была дана первому человеку ради нужды ему и на радость ему, – и была дана еще как помощница. Вы же, извратив закон естественный и вместе Божий, уже девятнадцать веков допус-

тили быть женою и мужем людей, из которых один сумасшедший, или один больной и калека, или один бьет смертельным боем другого. Не видите ли вы, что здесь два случая: злодеяние и несчастье? И со злодеем у доброго человека нет связи, не только брачной, но и никакой, ни даже дружбы – что противостоит естественному нравственному закону, ибо добрый льнет к доброму и злой льнет к злему. Этих браков со «злодеями» не существует, ибо брак есть таинство и в чаше таинства злодеяния нет. А о несчастьи болезни нужно рассудить, что больному нужен уход врача и помощь милосердного брата или милосердной сестры, а сожительствовать с ним невозможно, не желая оскорблять и мучить его супружескими пожеланиями и требованиями и производить от него больное или сумасшедшее потомство. И в сем случае супружество разделяется: помощницею, которою перестала ему быть жена, и также опорой и утешением пусть будет другая женщина, которой в законе должно быть дано разрешение стать около него в таковое положение. И оба они должны сострадать больной, – или сострадать больному другому супругу, – и иметь о нем всяческое попечение и заботу.

Господи, не под благодатью ли мы живем? И неужели благодать «только помазала нас по губам», а в сердце не вошла и никак в нас не действует и ни в чем не обнаруживается? Не явно ли совершенно, что когда так очевидно разрушен «закон брака», включающий в себя идею «помощницы» и «родительницы детей», «плотской сожительницы» (это все – непременно, иначе брак обращается в фикцию), то, наследуя несчастью, не имея силы побороть несчастье (исцелить больного), мы должны «благодатно» прийти на помощь несчастному человеку, и каков бы ни был «гражданский закон о браке», церковь, и именно она, – должна оговорить и защитить права здоровой половины в смысле сохранения за нею, как за здоровую сторону, собственно супружеских, собственно плотских и помогающих сторон брака («жена – помощница мужу»). И конечно, если бы полторы тысячи лет браком управляли не монахи, коим никаким образом нельзя понять, нельзя усвоить чувства и мысли, что без «женской помощи ему не быть», «семье не быть», «мирянину не обойтись», – то давным-давно для сих исключительных случаев было бы построено и исключительное правило «раздвоения брака», по коему прежнему супругу, ныне больному, сохраняется лишь уход и милосердие, без всякого предъявления ему «супружеских прав», о чем бесчеловечно даже и подумать. Господи: «одно ложе с сумасшедшим!» – Да нет той каторги, на которой преступники приговаривались бы к такому наказанию! И такое-то «наказание», кажется, хуже колесования, изощрялось над несчастными супругами, «половина» коих пришла в таковую душевную болезнь. Именно со мною много лет переписывался г-н Д-кий, обратившийся ко мне с просьбою помочь советом и делом в устройении своей душевно-больной жены. Нет слов передать всей его нежности к жене, всех описаний ее страданий; и – он был беден. Тут и было главное затруднение. И раз только промелькнули слова: «Вот в *этом*-то помогла женщина, живущая со мною». Тогда я обо всем догадался, факт для меня налился смыслом: он от того так

бодро, так крепко и поворачивался, и если не уставал от ухода за женою, то потому, что имел около себя радость здоровой, нормальной жизни, имел «советчицу и утешительницу». Сейчас закричат клеветники и подозрители: «А, понимаем, – жена от того и сошла с ума, что он обзавелся любовницею». Господа, если так рассуждать – бросим дело философии и отправимся в каторгу, ибо у нас совесть каторжников. Я же верю в достоинство и красоту людей (да и все в нее верят) и знаю и клянусь, что благородная женщина стала около несчастного, и она-то, она говорила ему, будила его: «Друг мой, не оставляй жены! – друг мой, поедем посетить ее!»

Но окаянные не верят в благодать, живущую в сердцах человеческих. Они – клеветают. Не Христос ли назвал дьявола «клеветником человеков», не дьявол ли клеветал на Иова? И меня страшит мысль, что около «Иова на гноище», каковым пребывает наша семья, в «комиссии» собралось много духов с темною клеветою в себе.

Но Государь сказал. Дело будет исполнено.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ <Об И. Ф. Анненском>

Проф. Ф. Фр. Зелинский после опубликования письма родственницы покойного Ин. Ф. Анненского касательно редактирования им переводов последнего трагедий Эврипида прислал мне обстоятельное письмо, где выяснил все мотивы такого именно редактирования, а не другого. Мотив следующий: сумма поправок перевода заняла бы около двух печатных листов в томе, и он не хотел покупателей «Трагедий» Эврипида вводить в уплату за печатный материал, для читателя (кроме родственников И. Ф. Анненского) совершенно ненужный. Поправки вызывались недостаточно тонким знанием греческого языка И. Ф. Анненским, и пиететом редактора более к Эврипиду, нежели к русскому его переводчику, хотя и прекрасному поэту и вообще человеку, достойному тоже всякой памяти и всякого к себе почтения и благоговения. Проф. Зелинский совершенно справедливо говорит, что он годы потратил на редактирование чужого труда, проверку его по оригиналу, – что потребовало неизмеримой кропотливой работы, – вместо того чтобы посвятить закат жизни любимым уже задуманным трудам, которые – если вопрос идет о «венцах» – принесли бы ему гораздо более их, нежели глухая безвестная роль редактора, где его личный труд уже падал в полную безвестность, ибо оставалось везд имя одного И. Ф. Анненского. Мотив этот не только справедлив, но и глубоко уважителен. Роль «редактора» всегда зачеркивается «временем»: а какая это подчас безумно трудная работа! Ночи... годы ночей... Я предложил уважаемому профессору все это изложить в предисловии к следующему тому перевода Эврипида, оговорив, что все-таки собственные слова И. Ф. Анненского следовало бы сохранить, для памяти его, – печатая петитом, компактно и без всяких мотивов расхождения с ним, что не потребует на том более 1/4 листа.

Но нахожу справедливым, чтобы обо всем этом инциденте, раньше выхода нового тома Эврипида, узнала и та обширная читающая публика, к коей Эврипид, может быть, и не попадет в руки и перед которою по понятным мотивам проф. Зелинский вовсе не желает быть несправедливо обвиненным. Письмо его в ближайшие дни я перешлю г-же Хмара-Борщевской, к коей и к мотивам скорби ее он сохраняет все уважение. Вообще все дело пришло в ясность, – в хорошую нравственную ясность, – и это показывает, что письмо г-жи Хмара-Борщевской все-таки следовало напечатать. Оно не пошатнет, а только еще более укрепит значение Ф. Фр. в области эллинизма, для которого он так много, так энергично и так всесторонне работает.

ЕЩЕ О «НЕЗАКОННЫХ»

Во «Всероссийском (??!) Церковно-Общественном Вестнике», редактируемом профессором М. Остроумовым, появилась статья протоиерея М. Магнитского (№ 18), которую он начинает словами:

«Известный проповедник культа плоти В. Розанов в «Нов. Времени» выступил со статьей «Незаконные сожительства», где с обычным, лишь ему присущим кривляньем, берет это темное пятно нашего времени под свою горячую защиту. Старый писатель громит здесь чиновника «с чернильницей» и духовенство. Чиновник провинился перед ним в том, что написал «гадость» и назвал ее законом. Духовенство заслужило нерасположение г. Розанова на этот раз тем, что, видя 200 лет ужас убиения родителями многих тысяч детей... не разобрало по книгам нового и ветхого завета вопроса о том, что есть рождение. Далее, весьма характерно заявление старого писателя о том, будто у него на полках есть несколько «Историй канонического права», в которых в каждой сказано, что венчать простолоудинов запрещалось, приблизительно 400 лет. Венчали тогда лишь одних знатных. Крестьяне и рабы тогда, будто бы, были не венчаны, и это было золотым временем: незаконных детей и незаконных сожителей тогда совсем не было. Тогда будто бы «незаконные сожительства были вполне законны», это было во времена Иоанна Златоуста и Василия Великого, «до прихода чиновника с чернильницей». Г. Розанов сделал на своих полках великое и удивительное открытие, которого до сих пор не только на Руси, но и во всем свете решительно никто не знал. Все христиане в простоте своих душ думали, что со времени появления христианства установлен был и христианский брак и конец незаконного сожительства. Своими приемами старый писатель очень напомнил актера на сцене, который придумал недостаток своей игры восполнить, – и, конечно, совершенно напрасно, – кривляньем, горячей жестикуляцией и громким криком. Статья неприлична и по тону, и по выражениям, и написана с лукавыми приемами древних софистов напустить на читателя туману с целью доказать, что белое черно, а черное бело».

Каково же будет изумление читателей «Нов. Вр.» и всей России и, может быть, редактора-профессора М. Остроумова, если все они прочтут следующие строки, взятые из книги «Православное церковное право. Составлено по общим церковно-каноническим источникам и частным законам, действующим в автокефальных церквах. С.-Петербург, 1897 г.», страница 575, § 151. Компетенция церкви в брачном законодательстве и суде:

«В первые времена церкви и в продолжение нескольких веков брак имел лишь, гражданское значение и подлежал гражданской юрисдикции, без всякого непосредственного отношения к церкви. Христианин вступал в брак по существовавшим гражданским законам, и брак этот, если только был *legitimum, justum, matrimonium*, церковь признавала без всякого порицания. Наряду с этим гражданским браком появился и брак церковный, скреплявшийся перед епископом и священниками. Но брак этот не имел никаких гражданских последствий и считался перед гражданским судом как бы несуществующим. Для того чтобы брак этот мог иметь и гражданское значение, он должен был совершиться еще по предписаниям гражданского закона, независимо от его церковного совершения. При таком положении вещей сама церковь предлагала своим верным гражданский брак ради их правильных гражданских отношений и, лишь по совершении его, требовала, чтобы они приняли свое благословение от священника. Первый шаг к сближению церковного брака с гражданским сделан в первой половине шестого века императором Юстинианом в отношении брака лишь среднего класса греко-римского государства. Оставляя для брака лишь высшего класса прежние формальности гражданского закона, а для низшего класса – право вступать в брак и без формальностей, Юстиниан допустил лицам среднего класса являться в церковь для заявления о своем желании вступить в брак церковному экдику. Экдик должен тогда позвать трех или четырех священников той же церковной области и составить письменный акт об этом браке с обозначением дня и всех необходимых сведений, за подписью его, вступающих в брак и священников. Этот акт, который с того времени должен был храниться в церковной ризнице, служил доказательством заключения брака, и брак этот имел такое же значение, как заключенный перед гражданской властью. После этого закона Юстиниана церковный брак начал постепенно распространяться по всему греко-римскому государству, и наконец в 893 году император Лев Мудрый издал особый закон, повелевавший считать законным лишь брак, который благословлен церковью. Вскоре затем этот закон был распространен и на низший класс народа, не включенный в закон Льва (*Nov. Alexi Comneni, 1095*). Константинопольский патриарх Афанасий и император Андроник Палеолог раз навсегда установили, что ни один брак не может быть заключен без ведома и благословения приходского священника (*Nov. Andronici Senioris, 1306, cap. 11*). Установленный таким образом христианский брак имел значение

и церковное, и гражданское, почему и самое совершение, естественно, перешло в ведение церкви, которая получила с тех пор право дать свое благословение или отказать в нем тому или другому браку».

Вот в какое время – тринадцатый уже век! Я ошибся, назвав «приблизительно четвертый век». Отчего же так поздно, так сложно пришло это дело и поистине было старым, заржавленным пером поднято из чернильной гущи, совершенно неспособной к писанию? «Почему так поздно возникли гадости?» – спросу я прежним словом.

Да очень просто: брак, плотское сожитие мужчины и женщины до того естественно, необходимо, а в словах Божиих оно до того благословенно с начала же сотворения мира, и благословенно так пышно, великолепно, исключительно, что никому и на ум не приходило (тысячу лет!), что нужна для этого посторонняя санкция, чье-нибудь разрешение и уж особенно «разрешение церкви», когда церковь же поставлена стражем около слов Божиих, а Бог-то именно так и благословил, и освятил размножение. «Не спрашивали у священников, потому что священники прежде всего должны были за это стоять».

Где же «убийство-то детей»? Где «незаконные сожития»? И «осуждение»? И «темное пятно нашего времени»?

ПОСЛУШАЕМ ГОЛОСА МАТЕРЕЙ...

Не будем горды... Не будем горды в законах и законодательствуя... Христос запретил гордость и гнал с очей своих гордых «фарисеев» и книжников... И теперь, когда пошел в ход вопрос об урегулировании брака, пусть смиренно комиссия людей науки и людей властных в администрации прислушается к голосу тех «бытовых и скромных лиц», коих коснется новая нормировка дела, над которой они работают. Рабочие делают заявления в комиссиях, крестьяне поднимают голос, мы знаем «голоса учащейся молодежи», мы постоянно слушаем «голос прессы», и государственные люди не отказываются принимать во внимание голоса журналистов: почему же, и в сотый раз – почему, не выслушать, не узнать, не принять в душе своей голоса (возьмем смелое слово) матрон русских, матерей семейств, замужних женщин, которые неизвестно почему должны уступать место римлянкам, которые были «великолепными язычицами», тогда как наши русские – «всего только христианки». Нет, русские труженицы, конечно, не меньше римлянок... И вот они говорят, прислушайтесь.

«Глубокоуважаемый писатель!

Прочитали группой вашу статью в «Новом Времени». Неужели вы думаете, что отцы духовные и чиновники, в чьих руках находятся сейчас миллионы несчастных людей, из коих большинство жены, могут повернуть дело обратно и «новых» поводов для развода в наших законах может не появиться?

Ради всего святого – кричите, кричите каждый день. Заступайтесь всеми силами за справедливость. Вам много дано и с вас за многое спросится. Пусть наши мечты – простые, человеческие, – станут действительностью.

Теперь другое, – у нас к вам вопросы:

1) Почему в числе «новых» поводов для развода нет «бесплодия». Ведь «дети» – святая цель брака. Что же делать нам, женам, могущим иметь детей и таковых не имеющих по «бесплодию» мужей? Для большинства мужей «бесплодная» жена, если она нормально отправляет все остальные свои обязанности, кроме рождения детей, – находка, но для нас, женщин, не иметь детей – противоестественно и потому вредно для здоровья... Ответьте в печати – почему?

2) Теперь, когда так много ушло из жизни мужчин, неужели общественность не считает своей святою обязанностью, хотя бы ради утилитарных целей, а не в видах справедливости, обратиться должное внимание на «воспитательные дома», «родильные приюты» и пр., и пр. подобные учреждения, где как мухи мрут ребята. Правда, большинство «внебрачные», но все же некоторые из них – будущие люди, может быть, – полноправные граждане свободного государства. В одной из статей «подходного налога» законодатель уравнил брачных и внебрачных детей. Не упускайте времени; теперь многое переоценивается: пора переоценить и взгляд на «внебрачных» матерей и детей. Первые полностью позаботятся сами о себе, только не *клейте их законным позором*, и в огромном большинстве случаев, позаботятся и о своих детях, если будут к тому малейшие материальные средства... А не смогут – дети должны быть достоянием государства-общества: сколько жизней их взяло оно за последние три года, и что бы делало оно, если бы не их незащищенные груди и почти безоружные руки?

Женщина не «мать» – это синий чулок. Будьте же справедливы к нам, не убитым на полях сражений. Мужей нам не найти, нас теперь очень много по сравнению с другой половиной человеческого рода. Общественность должна добиться закона, который обязал бы каждую особь прекрасной половины, достигнувшую зрелости, дать государству ребенка*; только «бесплодие» может освободить ее от этой священной обязанности. В результате десятки миллионов (подумайте только, как много) женщин будут здоровы и государство-общество быстро покроет убитых своих защитников и борцов за правое мировое дело.

* Давно, давно пора подумать. Как страшно, что и в такую пору, как наша, «старая закваска фарисейская» откидывает такое множество новых жизней в сторону под наименованием: «внебрачных», и неузаконением «внебрачных сожительства» приговаривает многие-многие миллионы девушек хиреть, тосковать и впадать в явную и тайные пороки без детей. Святыя эти слова письма: «Каждая зрелая девушка должна дать земле своей, нашей России, ребенка». И это достигается через простое исключение из метрик и из паспортов ненужных и марающих слов, ни к какой цели, кроме единственно замарания, не ведущих.

Ответьте, почему общественность молчит?
Нельзя ли наши мысли передать и г. Меншикову?
Группа женщин, глубоко убежденных, что все вышесказанное разделяется миллионами женщин.

Петроград, 28 января 1917 г.»

Да. В самом деле. Мелкие формальности паспортного, – канцелярского характера. И из-за этого, из-за одного этого огромное детоубийство, миллионы-миллионы «засыхающих смоковниц», которые не благословлены и в Евангелии. Но не странно ли, не дико ли в XX веке, «по поводу обзаведения всех людей паспортами», и что с этою частностью закон не сумел справиться, и теперь гвоздят каждого человека его «паспортом», – получилось совершенно неестественное требование от многих миллионов достигших зрелости женских существ соблюдения «монашеского образа жизни», когда они никакого монашеского пострига не принимали и никаких монашеских обетов не давали??!

Что за чудовищность! Что за чудовищность! Какое насилие над природою! И вопрос в одной строчке закона.

«Все матери – суть законные».

ФРАНЦИЯ ТЕПЕРЬ, ПРЕЖДЕ И ВЕЧНО

Франция в великих напряжениях армии и нации борется, вместе с союзницами своими, против звериного натиска срединных империй Европы.

Германия не хочет братства народов и совместности работы, она хочет единства и требует гегемонии. Между тем до XX века, который мелькнет так же, как мелькнули и протекшие века, именно Германия была полна всяческого партикуляризма и обнаруживала всегда непонимание высших и объединяющих задач целого человечества.

Германия понимает единство как господство, между тем как есть *цельность*, подобная хору многочисленных голосов, вовсе не сливающихся в унисон. Вот идеи этой цельности человечества, которое разными дорогами и с разных сторон устремляется достигнуть вершины духа человеческого, вершины его развития, – этого мы вовсе не замечаем у немцев теперь, и его не видела всемирная история – у немцев прошлых веков.

Немцы эпохи Бисмарка и Вильгельмов – это всего более утилитарные немцы, с утилитарными расчетами на сегодняшний и на завтрашний день, с расчетами на ближайшее господство. Но для чего? Но для кого? Этого – совершенно не видно. Все – для немца и, в конце концов, – все для его сытости. «Сытый немец» уже едва ли над чем-нибудь задумается. Немец деятелен, но пока он голоден. Прекратите его голод, дайте ему поесть хорошо, – и он заснет. Он и спал очень много веков, пока волчий аппетит богатого личного существования не бросил его в битвы и в мир завоеваний. Но для чего самые-то завоевания? Он не ответит иным словом, кроме как «немецкая

сытость». И из этой затхлости узкого национального эгоизма мы никуда не можем выйти, пока мы находимся в Германии.

Все остальные народы, с нею борющиеся, гораздо универсальнее Германии. Обратимся к самой жизни. Походы и завоевания Наполеона... Как это далеко от намерения теперешних немцев сколотить себе прочное отечество! Недостаток немцев – замечательная слабость воображения, бездеятельность мечты и мечтательности, отсутствие хотя бы какой-либо «сказки в жизни» и сказочности в истории. Былой провинциализм их истории и их быта сменился широким охватом мещанских забот о самоустроении, – всегда только об устроении одного себя в целом мире. Немцы живут и даже исторически существуют сдобоно и безвкусно, замкнуто и без отворенных дверей на север, юг, восток и запад. Узкая нация, которая вечно варится только в своем соку, без взаимодействия с иными нациями, без обмена с ними, без вкуса к их душе и творчеству. Как-то и почему-то, но немец всемирно слеп или подслеповат.

Он не имеет длинных взоров и ни о какой чужой звездочке его сердце не болит. Нация существенно не великодушная; и теперешняя чудовищная война, в сущности, так естественно вытекла из всей так называемой «немецкой культуры»!

* * *

Доброта и ясность души и ума французов составляют полную противоположность запутанной и туманной Германии. Предприимчивость не узкокожливственная, а героическая – отличительная черта всей их истории. Франция всю свою историю прожила собственно для человечества, и если как-то само собою сделалось, что она стала в средоточии общечеловеческих вкусов, то это было столько же вследствие действительно изощренного вкуса французов к вещам, к формам, к отношениям, сколько от простой и доброй души французов, которая лишь по недоразумению называется неверным именем «любезной». «Любезность» вы не создадите без любви; «быть любезным» нельзя, исходя из сухости домашнего сосредоточенного устроения. Из Франции дороги вели во весь мир, и Франция шла во весь мир, с надеждами и задачами великого всемирного устроения. Она сохранила в себе постоянство и единство одного и того же духа между Крестовыми походами, между французским двором XV, XVI и XVII веков и между войнами революции и Наполеона. Переменяя одежды веков на себе, сам француз вечно оставался одним и тем же. Он был менее счетчиком и гораздо более вообразителем, который влекся мечтою и следовал за своею мечтою, как оруженосец за рыцарем. В этом отношении особенно бесспорным критерием может служить социализм. Он был там и здесь, возникнув сначала во Франции и потом перекинувшись в Германию. Но что такое французский социализм? У Бабёфа, Сен-Симона и Пьера Леру – это есть мечта всемирного братства людей, на почве единой работы и единой организации в работе. Что же такое германский социализм? Это ненависть и разъединение людей, это «классовая борьба», организующая пролетариат против всех. Поистине, как теперь обнаружилось, – это удочка с

острым крючком, на который Германия пыталась поймать соседние народы. Грубое и бесчеловечное соединение революционных провозглашений и провокаторских приемов спуталось в германском «ученом социализме».

* * *

После войны, и в связи именно с этою убийственной борьбою народов, великую задачу европейской цивилизации делается восстановление и оживление общечеловеческих чувств, стремлений, надежд; оживление бывшего и лучшего братства Европы. Оно есть, это братство, — оно коренится в существе вещей. Центробежные течения и стремления как индивидуумов, так и целых наций не настолько велики, чтобы их не могло уравновесить центростремительное влечение к радости единой, общей, связанной и гармоничной жизни. Международное право, так нагло попранное срединными империями, при бессовестном хохоте их ученых, должно поднять после войны свое железное приказание. Действительно, время Европе жить спокойно, без возможности жестоких единичных выпадов, без возможных диких решений, направленных к подавлению человечества. Ужас события, которое мы переживаем, вытекает из того, что Германия, в непонятном ослеплении и, конечно, в ложной надежде на силы, диктаторски подняла голос и начала приказывать, как единый, суший на земле европеец. Эта узурпация прав человечества, конечно, будет жестоко наказана. Но длительное, но постоянное предупреждение подобной узурпации, конечно, возможно только через совершенно иную роль, какая согласным хором европейских голосов будет представлена международному праву. Кто забыл заповедь Христа о любви к ближним, тому должен быть приказан мир. Вспоминаешь невольно слово Иоанна Богослова в «Откровении» о *пасении народов жезлом железным*.

И вот с этою целью «государства согласия», ныне дающие отпор Германии, должны поднять свой голос, повеление и власть. «Политика Европы», доселе и явно и подспудно направлявшаяся из Германии, очевидно, должна значительно перестроиться и принять совершенно другие цвета и тоны. Железо останется, но для победы на полях мира, а не для победы на поле сражения. Пусть «мир» будет единственным победителем в мире. Ибо еще одно такое кровоизлияние для Европы, — и от нее не останется ничего, кроме развалин.

Благородная Франция, всегда более озабоченная судьбою человечества, нежели судьбою самой Франции, и Россия, добрая мать народов, — по этнографическому составу, — они две должны выковать это забрало для народов, обеспечивающее их от беспощадных ударов, от потрясений и прямо от угрозы их существованию. Вот новая задача, не эгоистически-национальная, но всемирная, которую понесут они после войны.

* * *

Но залог будущего — прошлое. Предоставляя о России говорить другим, спросим, что же являет своим прошлым Франция?

Галлия, которую завоевал Цезарь, — маленькая колонийка Лютетия, куда посылал свои письма Юлиан, — коммуны, города и сложная сеть феодальных

отношений, боровшихся одна линия против другой линии, выступление маленького «Иль-де-Франса» на защиту трудовых и торговых общин против праздных и барственных феодалов и победа над последними; как плод победы – дворы Генрихов, Францисков и Людовиков, – увы, вставших в ту же праздность сладкого существования, какую они отняли у феодалов; появление чудной крестьянской девушки, объединившей около себя войска, Францию, короля и давшей свободу отечеству; ряд мудрецов – Пор-Ройяля, Декарт, Малекбранш и Паскаль, ряд великих математиков, геометров, астрономов, физиков и химиков; революция – и преобразование лика Европы по нивелирующим планам ее; естественная усталость после всего этого бесконечного созидания: вот короткие строки перечня, под которыми читаются огромные томы сложной и великолепной истории. Чем же, однако, все это соединяется? Какое имя тому морю, куда стекаются все реки Франции? Где ее сердце?

Кажется, справедливо будет сказать, что история Франции объединяется в великодушном и братском отношении, какое всегда питали французы к остальным народам человечества. И теперь, в эти роковые исторические минуты, остальные благородные нации Европы стоят плечо к плечу рядом со старшей сестрой своей, которая для многих была матерью-воспитательницей их. Вместе с нею они восстановят право и правду в старой Европе. А прекрасная Франция вернет к себе отторженных от нее, – и еще ярче заблестит ее звезда на просветленном небе человечества. Она, вместе с другими своими союзницами, не допустит «нечистой силе Германии» убить то, «чем люди живы».

И в социальном всемирном устройении, и в героических лицах своих старых трагедий, своего Корнеля и Расина, и в бурных порывах революции, и в таких исключительных и неповторных личностях, как Жанна д'Арк, как Паскаль, как Ж.-Ж. Руссо, – Франция народная и Франция интеллигентная объединяла около себя всемирное сердце человечества, которое шло за нею не из страха и не по принуждению, а по любви и из уважения. Это и есть единственная скрепа народов. Чудные лозунги Франции: «свобода, равенство, братство» – завершаются именно *братством*, как основным пунктом и вообще основным мотивом человеческого единения.

Смысл этих лозунгов величайшего политического движения Франции особенно высветится для всякого, если к ним придвинуть лакейское трехсловие, какое император Германии дал женской половине своей «культурной нации»: «Kirche, Kinder, Küche». Вонь кухни с тупоголовою «Fräuchen», которая на плите готовит еду своему «Herr'u»... – и эти три призыва Франции, обращенные к человечеству. Какая разница, какая бесконечность разницы!!!

Между тем в подробностях, частностях и даже в мелочах жизни и говора, пословиц и даже шуток – отражается всегда целое. Но Вильгельм даже и не «шутит» со своим народом: он сказал вполне серьезно безумно оскорбительную формулу, оскорбительную для женщин, и даже для церкви и детей. «Küche» единственно могла не оскорбиться и не покраснеть от казарменно-

го красноречия берлинского Соломона. Соломон, очевидно, слагал свой «виц», обдумывал «подданную ему страну» и дома, и в истории, – обдумывал ее как-то навсегда. Есть и рожать, – и даже непонятно, зачем тут «Kirche»?

И вот около этой Gräuchen, и за миллион таких Gräuchen – чудная девушка-крестьянка из Дом-Реми, с ее подвигом, с верою и «с голосами, которые зовут, влекут»... Сравнением все сделано, – и на сравнении мы кончим. Вон из истории эту «кухню», и пойдем все с Францией, потому что ее мечты и грезы есть грезы и мечты – человечества.

ОБ «УСЫНОВЛЕНИЯХ» И «УЗАКОНЕНИЯХ»

Свет выходит только из идеала. Из того, что прекрасно и идеально в самом себе, а не из «авторитета» своего. «Авторитет» же, как он ни авторитетен, но, если из него выскочил идеал, будет меркнуть, меркнуть... и погаснет. И тут тот «рок событий», с которым ни история, ни боги, ни герои «ничего не поделают».

«Свет идеала» померк в семье, в браке. И чем-нибудь кончится или не кончится теперешняя комиссия, – все равно, соберется следующая комиссия, и она ничего не запретит, а лишь «отложит», и люди будут все стучать в дверь, пока она не отворится или не проломится. «Выскочат в окно», «разобьются»: но не останутся в комнате, где торчит одна «потухшая свеча».

– Зажгите свет.

– Без света люди не живут.

Я получил следующее письмо от отца двух незаконных детей, бывшего в японскую войну офицером.

«Милостивый Государь, В. В., – великодушно простите, что отнимаю ваше драгоценное время, но задетый вами в статье «Незаконные сожития» – вопрос не позволяет молчать, особенно если он бьет не по оглоблям, не по коню, а по кучеру.

У меня двое малолеток – внебрачных детей. Жена в «нетях» без всякой причины и повода уже девять лет...»

Вот об этом, чтобы «по живому следу» сейчас же разобраться администрации, суду, консистории, местному духовенству, полиции, «ушла ли жена от мужа» с «поводом» или «без повода», – по его вине грубости, жестокости и измены или по своему единственному: «хочу», – об этом решительно ни у кого нет заботы, внимания, хлопот, даже вопроса. *В самом законе об этом ни слова.* Можно сказать, «Россия полна законов, судей и правителей», а только о главном-то обо всем они не «законствуют», не «судят» и не «управляют», – пробавляясь больше формальностями и пустяком.

– «Встаньте, господа, суд идет...» (на заседаниях). И «поднимаешься» лениво, зная, что «пустяки идут».

«Вопрос о судьбе этих несчастных стал для моего отцовского сердца особенно острым после призыва меня из ополчения...»

Он предпринял хлопоты об «узаконении детей». Но тут вставлен «гвоздь»; «узаконение» при жизни живой жены совершенно не дозволено. Но что гораздо окаяннее, и самое «усыновление» внебрачных детей поставлено под условие, «если сбежавшая жена согласна». Но какая же «сбежавшая жена» будет «согласна», если она по природе зла, если обозлена на мужа именно от того, что перед ним виновна и погубила его (кто не знает этой психологии Каина: «Я тебя сгубила, и от этого-то тебя еще более ненавижу»). Пусть «свой грех» выходит «усилением злобы»). Конечно, об отмене этого условия, «согласия жены», – в законе об усыновлениях должен бы в комиссии об урегулировании брака подняться первым вопрос.

Учреждение, в которое автор письма обратился, сделало запрос по месту прежней службы его. Оттуда ответили, что он был уволен за «резкое слово правды» (в словах письма), и это было поводом отказа в усыновлении. Он пишет далее:

– Здесь я останавлиюсь. Позвольте вас спросить, разве это милость для означенного офицера? Ведь он просил милости для будущих россиян, которых он, может быть, и не увидит (призыв на фронт), а не для себя. Ведь не означенные обрюхатят девуку, да «ищи – свисти», а означенный своих птенчиков не покинул, и больной после четвертого воспаления легкого, не имея службы и живя сам-четверть на 38 руб. пенсии, приучил себя десять дней в месяц питаться исключительно водой, чтобы детей обеспечить, хотя хлебом и молоком. Разве это не ужас! А главным образом – (ужас в том), что я пишу о нем хладнокровно. Право, для этого нужны недюжинные нервы, как и для того, чтобы с восторгом слушать лепет пятилетней девочки: «Папа, ты сегодня ничего не кушал, я тебе оставила твою любимую нижнюю корочку, Юрик тоже оставил. Папа, ты плачешь. Тебе ножку больно»...

Кровавые законы... Как не сказать – «кровавые законы», о законах об «усыновлении» и «узаконении», ввиду этого рассказа о прелестных детях и о прелестном отце. «То-то, прелюбодеи», по воззрению «отцов» консистории. «То-то, праведные отцы», скажешь о заседателях консистории. Ну, пойдём дальше:

– За резко высказанную правду, – это было в японскую войну, – я получил аттестацию: негодный к службе... «и как алкоголик».

– Таких алкоголиков, как я, 90%, а каким образом я, блестяще командуя лейб-эскадромом и прославившийся чуть не на весь свет в 1889 году в Штутгарте, отказавшись пить дурацкий немецкий тост, сделался негодным в Манчжурии, где мне не дали под команду даже денщика (это – факт), – необъяснимо. Что ответили из канцелярии обо мне – я не знаю. Но канцелярия ответила мне, что моя просьба отклонена.

«Разве это не ужасно?»

По-моему, «ужасное» в самой просьбе. В инстанции, в «пролезании через щели». Кому какое дело, что я хочу «усыновить». Что такое за вмешательство закона в совершенно личную, в частную жизнь, в «святое святых души» частных граждан. Возились бы со своими полициями, возились бы со свои-

ми революционерами; а «нас» оставили в покое, – нас, частных людей, которые ни «усыновлениями», ни «узаконениями», ни «сожителствами» никого не огорчают и дурной погоды в отечестве не делают. Совершенно непонятно вмешательство закона в то, что есть простой «быт» и подлежит нормировке бытовыми условиями, бытовыми воззрениями, без полиции и судьи.

– Позвольте, ваше превосходительство, мне по-своему почесаться.

– «По-своему» не закон в России. Все обязаны в ней чесаться, как я чешусь.

Автор письма кончает:

«Взгляните на меня сами, – пусть меня освидетельствует сонмище светил с Бехтеревым во главе, – признают ли они меня алкоголиком? Да если и так! Тем более мои дети нуждаются в милости и помощи. Стена!

Где же искать правды?

Научите. Страшно за страну, где не любят детей».

Полная подпись под письмом. Неужели это не кроваво? А и в самом деле: «Не любят детей», вот и все. «Закваска фарисейская», кажется, и не имеет детей, по закону ли или по обету. И... что им, Гекуба?

БЕНЕФИС ВЕЛИКОРУССКОГО ОРКЕСТРА

Бенефис *артистов* великорусского оркестра В. В. Андреева дает случай и повод сказать и «от своей души» и без сомнения «от души» всей матушки Великой России горячее спасибо тем многочисленным талантам и тем многочисленным труженикам, которые окружают «длинного журавля-вирутоза», каковой стоит с палочкою на эстраде и «за всех» раскланивается «один». В самом деле, что мог бы сделать В. В. Андреев один? Хор есть хор, т. е. множество, толпа. Великий дар Андреева дал ему силу связать, соединить людей, устремив всех их к заветной ему одному цели, к понятной ему одному цели, задаче и осуществлению. «Без королевства и король не король», и это можно сказать о всякой коллективной работе. В особенности имя Н. П. Фокина, который гармонизовал и инструментовал для балалаек многие музыкальные творения, созданные их авторами вовсе не для балалаек, домр и гуслей, должно произноситься всеми бесчисленными слушателями великорусского оркестра с благодарностью. Устно В. В. Андреев много раз рассказывал об удивительном одном мастере, может быть С. И. Налимове, выставленном на программе, который изготавливает ему балалайки самого высокого качества, самых тонких свойств. Все это должно принять во внимание, все это уже теперь требует исторической памяти. «Великорусский оркестр», доведенный до такой степени совершенства, как это мы имеем сейчас перед лицом своим, есть крупное историческое дело с самой интересной судьбой «мореплавания». И о добродетельных и талантливых «спутниках» плавания В. В. Андреева никак нельзя забывать. Они прекрасны, прелестны, в этом умении «быть вместе», работать «согласно».

И вот это – урок для русских, которые вечно о всяком деле спорят и около всякого дела ссорятся. Зная хорошо В. В. Андреева, я о нем никогда не слышал дурного слова, а заочного уважения слышал слишком много. И это чувствуется; чувствуется гипнотически, через смысл, через пространство. Необыкновенный ум артиста (его я решительно требую для В. В. Андреева) выразился в том, что он понял, где центр единения, слитности. В уважении нужно уважать тех людей, которыми я руковожу, но которые мне и помогают, создать «мое дело». Он прямо окружил их нежностью (знаю это по рассказам его), как наседка цыплят своих. Удивительно ли, что они ответили всей энергией ума и прилежания. И вот создалось великолепное «русское дело».

Ах, черный журавль еще будет долго дивить Россию. Он вечно прихварывает, в гостях ничего не ест (подозреваю – и оттого, что у него дома стол всегда вкуснее, чем случается в гостях), тощ, сух. «Будто хворает», и вот увидите, – доживет до 80 лет. «Сухое дерево долго скрипит».

Ну, скрипи сухое дерево. И утешай матушку-Русь волшебством своих балалаек. Они и вчера были волшебны. Какой бархат звуков. Мягкость, нежность. В основе, в элементе «трынь», «трынь», а вместе все поют и заунывную русскую песню, и чудеса европейской и русской новой музыки.

Тут домовый, тут леший бродит
Русалка на ветвях сидит...

В ТУМАНАХ БУДУЩЕГО...

Живешь... и часто не веришь себе, что живешь в «такое-то время», в таком-то году, веке, и не веришь даже, что живешь «в такой-то цивилизации». Вот опять взялся за перо, уже старый, уже в годы, когда самому куда смотреть, как не «в могилу», и, собирая последние мысли, хочешь сказать человеку последние мысли, самое дорогое, самое лучшее, что ему, остающемуся «дорогому брату на земле», могло бы пригодиться. И остановился, на чем? – На матери всего живущего, да, наконец, – на наших дорогих матерях, на судьбе наших еще более дорогих дочерей. И говоришь людям: «Берегите их. Стройте им теплый дом, уют. Охраняйте их от всякой невзгоды, дождя, снега и прочей земной гадости».

Вникаешь в подробности, знаешь дело и говоришь: «Вон, там уравняйте дорожку», «там – ухаб», «там – мост проваливается, укрепите его».

Куда. Подымаются камни.

«Больно смотреть, что как раз в этот самый момент (война с Германией) даровитый В. Розанов выступает с попыткой подпилить устои русской семьи и тем всего русского общественного строя. Он проповедует»...

Ну, что я проповедаю – читатели «Нов. Времени» знают.

«Его статьи, в сущности, срам не только для его авторитетного имени, но и для газеты, где он пишет. Потому что они возникли все-таки в нашей русской среде, запачкали девственную русскую народную душу грязью».

«Вы не знаете нашей великой русской женщины, матери грядущего русского нового человека, ее – нашей гордости, нашей славы».

«Довольно! Не заставляйте далее краснеть всякого, у кого одна мысль: величие России!...»

«Он представляет собою неопытного новичка в строительстве русского будущего. Так как я не могу себя представить, чтобы его статьи в момент, когда Россия с неприятелем в борьбе на жизнь и смерть, – не составляли провокацию и измены русской культуре, всем заветам нашей святой старины, всем чаяниям лучезарного будущего России».

Господи! – но я сам патриот. Автор взволнован: зачем я напечатал письмо за подписью: «Несколько русских матерей», – и на самих матерей этих обрушивается за то, что они высказали здоровое, крепкое, лучшее желание: именно, чтобы в новые условия развода было введено правило, обеспечивающее замужней женщине материнство, ради коего она и выходит, главным образом, замуж. Он не находит для этих женщин-«самок» никакого имени и даже, чтобы сразить их и меня, пользуется цитатой из Аристотеля: «Человек есть животное политическое». Пишет – по-гречески, хотя, видимо, не очень образован.

Но что мне Аристотель, когда я имею за себя апостола Павла, сказавшего: «Женщина спасется *чадородием*».

Матери в письме своим вступились за самое свое священное право.

Я же, выступив за право каждой женщины и каждой девушки, достигнув лет зрелости, ну, хотя 30-ти, иметь невозбранно и непопрекаемо младенца, который бы согрел ее старость и осмыслил ее жизнь, – просто требую возвращения прав человеку, которых не лишено ни единое даже животное!! Неужели «в людском обществе» жить жестче, страдальнее, тяжелее, страшнее, чем в лесу, в поле, в берлоге? Господи, в каком веке я живу? Между тем закон так окружает подобную девушку, он так вооружает против нее темную толпу, да и прямо, наконец, отнимает у нее юридически ребенка, не допуская их носить одну фамилию и носить фамилию отца, его родившего, – что девушке остается убить его или снести в воспитательный дом, в «подкидыши». И вот я повторю с благодарностью слово, с месяц назад услышанное мною от матери девяти законных детей и жены доктора русской истории. В мелькающем разговоре она сказала: «Для меня нет ничего святее девушки, которая не отеклась от своего ребенка». Она праздновала свою серебряную свадьбу. Около нее сидела и ее престарелая мать. Дети играли «маленький домашний театр». Она – яркая, ярая патриотка и националистка. Сестра ее – мужем за бывшим уважаемым министром.

Да, так многие думают. Я слышал от чистейших девушек и от чистейших вдов, матерей взрослых дочерей: «Ничего прекраснее девушки, кормящей, растящей и воспитывающей своего незаконного ребенка».

Что же мешает всем это делать? Что склоняет до земли чело этих девушек? Невыносимый закон о незаконнорожденных или о внебрачных детях, невыносимое требование – порождающее так называемые «незаконные со-

жития», которые двенадцать веков истории христианской церкви считались законными и никто их не смел порицать и осуждать. И никто детей своих в христианском обществе не убивал.

Это кроваво-детское требование византийского базилевса Михаила Комнена обагрило кровью христианский мир гораздо более, чем распоряжение Ирода. На памяти его неизмеримо больше крови, чем на Ироде. Совершенно поразительно, как духовенство не вступится за детей, не отстоит заповедь Божию, не предстанет перед государственною властью с хлопотами об отмене ужасного закона «Гражданского брака» нам не нужного, брак никогда «гражданским явлением» не был и не будет: говорить об этом – безумие. Но «сожития» должны быть оставлены всякому человеку в праве, должны быть открытыми и ясными, о них должен быть дан закон, и никто не вправе их порицать – ибо они во исполнение никогда не имеющей поколебаться заповеди Божией. Мало ли есть слабых, «дурнушек» собою, да просто «не удалась жизнь» – мало ли что бывает в жизни. «Жениться на такой он не может, слишком велики «гражданские и экономические обязательства мужа», но «жить» с такою он может, тысячи захотят. И дадут девушке детей: т. е. главное, к чему влечется ее вечный и возвышеннейший инстинкт. Опять спрошу: какому это сатане мешает? Какой Иуда-предатель тут стоит поперек? Да скажу из своей жизни: жила у нас финляндка. Она была до того тиха и скромна, что никогда не ответит, прямо смотря в глаза. Что же было? Эта тихая скромница ежегодно рождала ребенка и отвозила к своему слепому отцу в деревню. «Что же отец?» – спросил я у себя в дому. «Очень любит внуков, все берет их головки, ощупывает их» (слепой).

Зачем же ее стыдить? Перед кем она виновата?

Другая милovidная горничная жила с парикмахером. Он так ее любил, что потребовал, чтобы она перешла с линии «горничных, за которыми ухаживают», на линию кухарки. Она перешла и для этого ушла от нас. И так же безмолвная, тихая, милая. Я все спрашивал внутри себя: «Как же у нее началось, когда она вообще ни одного слова не говорит?» Но таких-то и любят мужчины. Привязываются, уважают. «А жениться нельзя». Почему «нельзя»? Господи, да кто же их знает: ведь жизнь неисчерпаема.

И вот под старость я говорю: снимите позор с девушек. Не смейте казнить никого, кто ни перед кем не виноват. Никого не обидел, никому не наступил на ноги. Восстановите всеобщее древнее право, которое жило и не возбудило против себя голоса ни одного из вселенских соборов. И потому это видно, что тогдашнее духовенство времен Иоанна Златоуста и Василия Великого, времен, когда была построена Св. Софья и изданы великие законы Юстиниана, в том числе и «Corpus juris canonice», «Свод церковного права», – просто не чувствовало права вмешаться и хоть сколько-нибудь задержать исполнение заповеди Божией, данной Адаму и целому в лице его человечеству: «Плодитесь, множьтесь, наполните землю».

Милые девушки: подержитесь еще немного на своих ногах, новый закон скоро будет дан.

ПЕРЕД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ЗАДАЧАМИ ИСТОРИИ

Был больной зуб во рту... И весь организм был здоров, но зуб так ныл, что ничего не давал делать и здоровому вполне человеку. Думал человек и о каплях, и о зубных щипцах: но потрогал пальцами, и зуб как-то сам вывалился, без помощи щипцов и аптеки.

Все царствование было как-то печально. И даже не печально, а неудачно – начиная с Ходынки, начиная с рокового удара саблею какого-то фанатика-самурая в Японии, – и до ужасной японской войны, и до теперешней громкой борьбы народов и цивилизаций. Печаль и неудача научила бы осторожности, бережливости, могла бы научить мысли неудачного человека уйти в тень и дать выдвинуться другим и ярким лицам. Таков был Вильгельм около Бисмарка, французские короли и королевы около Ришелье и Мазарини. Тогда относительное безмолвие и затененность венценосцев и государей как-то «обрабатываются» историею и «в общем результате» получается «хорошо», – получается даже блестяще. Неудача, а, пожалуй, даже, в общем, и очень большая удача русской истории заключалась в том, что «тени» и «безмолвие» не хотели в последний фазис русской истории, – все «говорили», все «делали», – зуб все более и более болел и пришлось его «вынуть руками».

«Неудача» бы – ничего. Но было упорство в неудаче и вот это была настоящая беда. Наконец, была безжалостность к стране, к населению, которое испытывало все эти Experimenta in anima viva*. «Россия – не живодерня». И грозный народ восстал. Заклокотал и восстал. Улицы закружились.

* * *

Но забудем прошлое, хотя оно и незабываемо. Россия, само население, без затенений, лицом к лицу встала перед творчеством. «Ну-ка», – хочется сказать. Теперь Илье Муромцу никто не связывает ноги. Бесконечное поле труда...

Я бы хотел сказать: радостного и бесконечно напряженного труда.

ПОКА КРОВЬ БЕЖИТ ГОРЯЧО...

Гражданин Керенский на 2-й или на 3-й день после принятия им на себя полномочий министра юстиции как-то обмолвился обещанием, что при его управлении «справедливостью» в России не будет ни одного несправедливо обиженного. И есть что-то в его характере, пылающем и прямом, что дает веру этому именно его слову. В него, по-видимому, вложено то «jus naturale»**, которое – говорю по собственному опыту – пылает во всяком человеческом

* Опыт на живой душе (лат.).

** «естественное право» (лат.).

сердце особенно горячо. «Если эта гадость еще будет твориться, то вот я ложусь и умираю».

А если так, то не вытянет ли первый министр русской общиной юстиции, — т. е. той юстиции, которую делают не одни министры, а делает русский народ «всем обществом», как говорят в деревнях, — той мочалки, той жалкой мочалки, которую тянут уже двадцать лет русские люди и никак не могут ее вытянуть по той единственной причине, что «их превосходительствам это было неужгодно»? «Превосходительствам» и светским и духовным. Именно снимет же, наконец, нареkanie с так называемых «внебрачных» или «незаконнорожденных детей». И дело его просто, т. е. дело Керенского: войдя в Св. Синод, спросить: «Покажите мне в Евангелии место, где бы говорилось, что есть дети чистые и нечистые, грешные и негрешные, брачные и внебрачные». Где бы Христос осудил «внебрачных детей» и наименовал их «незаконнорожденными». Это есть двухвековая ложь нашего духовенства, которое умело отстаивать только «монастырские имения» (Арсений Мациевич при Екатерине) и «свою власть» (Никон), а не умело и не хотело отстоять право бедной, сиротливой, одинокой девушки иметь того, кто о ней позаботился бы в старости и помолился бы на могиле ее, когда она умрет. Пусть трепещет в Керенском *jus naturale*. Пусть он кричит, а не говорит. Пусть требует и *добьется*, а не «ходатайствует» и не «испрашивает», как было в старых комиссиях. И тут ему обер-прокурор Синода вовсе нипочем: это *есть наше общее русское jus naturale*, право каждого гражданина и гражданки иметь свое дитя. Уж если что «прочь», то это — «прочь». Никто не смеет давать человеку *меньше прав*, чем сколько имеет всякое животное, и всякая трава, и всякое дерево, кроме камней и монахов, единственно не имеющих детей.

Давно-давно, обдумывая судьбы церкви, и отчего она так печальна, и отчего ей все «не удастся», я решил, и решал в уме своем, что это особое историческое уныние постигает ее по причине удаления от Древа Жизни, что ничего-то «зеленькое» ее не радует, а смотрит она радостно только на мох, камни и монахов. Коричневая церковь, ни черная, ни белая, ни уж особенно зеленая, весенняя и радостная.

— Что печален, Каин?

— Ах, я убил брата моего.

Не «братья» ли ваши, господа духовные, все эти «незаконнорожденные», и не овцы ли, ждущие вашей помощи все (мнимо) «незаконно рождающие девушки»? Воистину христианки по скорбному духу своему. Ибо христианство не форма, а дух. И вот вы отвернулись от них. И занялись камилавками и митрами, таким «христианским добром». Но нет обиженного человека на земле, за которого бы не наказывал Бог. И вот вползла змея к вам в сердце. И сохнет сердце. И проповеди ваши безрадостны. А люди не слушают и отворачиваются. «Это коричневый поп, Бог знает что плетет. Пойдем домой».

И не удались «имущества» при Мациевиче. И не удалась «власть» при Никоне. Потому что, подбирая фалды длиннополых ряс, вы обошли «незаконно родинскую», со словами: «Как бы нам не загрязниться».

Забыв Агарь, которую утешал Ангел в пустыне. И Христа забыв, сказавшего: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Все, что вы можете сказать, это: «Иди и впредь не греши». Но в последний час спора я вам посмеюсь в лицо: сказать-то вы *можете*, а *сделать* ничего не можете. И когда она вторично согрешит, вы все-таки должны *повторить* свое, а *сделать* опять же ничего не можете. А она перед смертью даст священнику «покаяние», народив все-таки 6–7 детей, которые ей дадут по гроб 6–7 молитв. Эх, не угасло еще солнце и шумит зеленый бор.

К делу, Керенский. И рецепт очень прост: «По достижении 16 лет каждая девушка получает самостоятельный свой паспорт». По рождению у нее младенца наименование «девица» в паспорте уничтожается и пишется взамен этого имени, потерявшего истину: «При ней дети: Андрей, Иван» и сколько ей угодно будет.

И сколько там, на фронте, отцы успокоятся, – тоскуя об оставленных своих здесь и «суженых» и «не суженых». Жизнь сложна. Мало ли что бывает в жизни. Жизнь идет не одним «проспектом», а и с «закоулочками». А солнышко греет и проспект, и улицу, и закоулочек. У Бога «лишнего» нет. Смеем ли же мы говорить, что у нас есть «лишние люди»? «Лишние рты» около нашего «хлеба».

Пусть все садятся за один стол, в Божием веселии.

«САМО»-ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Среди тех мириад нового, которые содержит в себе совершившийся государственный переворот, чуть ли не на первом месте стоит следующее:

Угас тот высочайший эгоизм *одной точки*, который подавлял собою жизнь везде, жизнь всех. Эгоизм одной точки – и в смысле *пространства*, и в смысле *лица*.

С самого же начала, как возникло революционное движение в 1905 году, появился в нашей литературе один новый термин – «самоопределение». Термина этого раньше совсем не было. Он нигде не попадался, ни к чему не применялся. Он не слышался в разговорах, и его не было в печати. Ни в рассуждениях о культуре, ни в суждениях о политике, ни в размышлениях он не приходил, по видимому, никому на ум. Между тем в нем именно и заключается все дело.

«Само»-определиться – это значит почувствовать и сознать центр своей жизни в себе самом. Это – великое пробуждение всех вещей, всех лиц. Это именно *рассвет*, *утро*, это какое-то *начало* бытия всех вещей, и не только политическое, а еще более – культурное, духовное, хотя начинается оно именно и непременно с политического «само»-определения, ибо зажатость-то всех и всего в клещах политического эгоизма и держала в рабстве и угнетении всю жизнь.

Мне приходилось много писать с 1893 года о школах, о просвещении, о программах, уставах, о духе и форме учебных заведений. Писал же я на осно-

вании не только размышлений, но и на основании многочисленных наблюдений, собранных во время бытности учителем в провинциальных гимназиях и прогимназиях. И вот, бывало, пишешь – но совершенно без всякой надежды. «Кому это нужно?» – «Кто прочтет?» Да даже если бы это и прочла вся Россия, если бы вся Россия была переубеждена мною, то это все-таки ровно ничего не значит: должен я собственно переубедить *одного человека министра*, и вот тогда получится результат. Это было в пору еще И. Д. Делянова. Но как я «переубежу» его, когда он, кроме «St.-Petersb. Zeitung», плохонькой петербургской газеты на немецком языке, ничего не читает. О чтении этой единственной газеты министром просвещения я узнал после его смерти от людей, знавших хорошо И. Д. Делянова. Он ее читал одну: 1) от старости, 2) от лени, 3) от самоуверенности в уме своем, 4) от полного пренебрежения к России и ее духовной жизни или духовным потребностям. Министр спал – «и вся Россия должна была спать». Что же это такое? Но таково было положение во всех вещах, во всех областях.

До «чреды министра» редко доползали раньше 60 лет: и вот страна, как Россия... не спала, а *вынуждена была вся спать сном 60-летнего старца*.

«Так все само собою совершилось» от уважения к годам, от уважения к «государственному опыту» старцев, еще черт знает от каких «уважений» – при полном и очевидном неуважении ко всей России. Решительно ко всей и решительно во всех отношениях.

И вот – я пишу о деле, мне хорошо известно. Пишу о том, что в Грузии и Армении, в Самарканде и Варшаве учат точь-в-точь того же Ходобая и Кремера, Иловайского и Виноградова, то же самое и в тех же размерах, в тех самых словах, как все учили в Петрограде. Даже Москва, «довольно просвещенный и самостоятельный город», не могла шелохнуться ни на один дюйм в сторону, ни на одно слово разницы в «Уставе учебных заведений». Что же это такое было? Поистине, можно посмеяться в ответе на вопрос: «*Да была* никакого не было, а существовало одно *не было*».

Никто, нигде и никак не мог пошевелиться, если «не по мановению этих старцев», самой крошечной олигархии людей, которым царь «доверял» и не доверял больше никому, ни многим ни малым, ни старым ни умным. Это и везде было в Европе и зовется «централизациею», которой идейно противопоставляется «децентрализация». Но именно только «идейно» и бессильно. Токвиль и лучшие историки Франции указывают, до какой степени французская революция продвинула еще далее централизацию, начатую королями, до какой степени «пожирание Парижем провинций» сделалось после революции еще тягостнее. Понятие «самоопределение», выдвинутое русскою революциею, совсем иное: оно снимает оковы с *дальнего*, говоря: «*Живи собою и для себя*». Оно не то чтобы «децентрализует» страну, а оно дает пульс каждому местечку, каждому племени, каждой окраине, всякому, наконец, лицу. Оно воистину оживотворяет, живит. И это в отношении русских глубоко народно. Давно-давно я читал, что в Казанской и других восточных губерниях (пора бы это немецкое словцо заменить русским – «область» или

«край»), где попадают села наполовину русские и наполовину татарские, сплошь и рядом случается, что татары помогают русским строить церковь, за что русские «благодарят», помогая им потом выстроить мечеть. У русских народно, этнографически нет вражды ни к единому племени и ни к единой вере. Между тем правительство русское по немецким образцам действительно пылало против всех вер и племен, кроме единственной «государственной», с этим неприятным схематическим именем, где стыдливо и к счастью не упоминалось ни о православии, ни о христианстве. Куда уж тут... Это на самом деле вовсе не русское начало, а римское и тевтонское начало. Понятно, что с начала же революции, надеясь тут найти спасение и помощь своим местным вздыханиям. Но как русские сами с отвращением смотрели на усилия политики своего правительства, то понятие *«само»-определения* чрезвычайно быстро и чрезвычайно коренным образом воспринялось самими русскими; и вот уже самими-то русскими оно перенеслось на тысячу культурных, просветительных дел, на всю ткань общественно-сословной жизни, наконец, на ткань личной духовной жизни.

– Не надо мне вашего, я *самоопределяюсь*.

Пробуждается личность, пробуждается свое «я» в каждом, будет ли это территориально, местно, будет ли это духовно и индивидуально. Бог даст, русская революция ничего не задавит, а всем даст «волю». Это мужики в бывалые времена говаривали, засунув одну ногу в «облучок», а другую оставляя «на воле». – «У меня одна нога *на воле*». Русская «государственность» никогда у нас не могла справиться ни с казачеством, ни с другими проявлениями «вольницы», и это – хорошо: русский человек решительно не выносит «муштры», которая у нас вся была от немецкого склада и происходила от немецкой традиции. Сам по себе русский человек есть «вольный». Он не теснит, но и себе тесноты не переносит. И вот если принять эту сторону во внимание, то мы, пожалуй, получим в совершившейся революции проявление большого русского начала. И разом масса возражений против революции падет.

Русский человек и всегда был вольный человек. Даже святые спасаться уходили в пещеры и леса, а не спасались в монастырях «по общему уставу». Вообще «по общему уставу» русский человек не живет, «по общему уставу» он только задыхается. Он всегда и везде «сам».

Это есть «само»-определение.

Если так, это открывает революцию с совершенно новой стороны. Как бунт не политический только, не только экономический и военный, но как духовное и культурное восстание *против неметчины* с ее томительными *единообразиями* в жизни, в мысли, в управлении. Все «по-своему», везде «по-своему»: всякий цветочек «в своей окраске, особенности и величине». И шуми шумнее, прекрасное Древо Жизни. На этот раз – Древо нашей русской жизни.

НА УЛИЦЕ

Сегодня дождь, снег – и на Невском у продавцов какие-то желтые цветы (жасмины?) и – ландыши!! Откуда что? И прохожие тоже – с этими желтыми цветами и с ландышами в руках – идут, улыбаются. Чего? – «Висят» по-прежнему на трамваях (сегодня – удивительное зрелище: один ухватился руками за медные ручки вагона, а ногами «в обхват» обнял «пониже» висящего, но который уже висел на ногах и руках); и вот прежде «кляли судьбу» такие «висящие», а теперь никого не клянут и едут благословенно. Потому сужу «благословенно», что лица в смехе и улыбке. Все торопятся, спешат. В воскресенье, в ясный теплый день, я вышел «до Эртелева переулка» поспать на каком-то заседании: и остановился на углу Кировной: «заворачивали» павловцы (Павловское военное училище) к Г. Думе. И вот я в самой грязи (оттепель) остановился, совсем замороженный красотой юношей от 17 до 21–23 лет. Мимо, прямо перед глазами (стоял близко) идут по 8 или 10 в ряд, – что-то острое и смелое в глазах, и вместе вот это нежное и благородное чудного возраста, а шинели суровые, серые, солдатские; и идут, и идут – и где же кончатся эти ряды? Несли и знамена красные, и какие-то широченные красные же плакаты, с надписями: «Доверие Временному Правительству», «Солдаты – в окопы, рабочие – к станкам» и проч., и проч. Были надписи и бурные. И все эти красные флаги, которые были «в побиении» такими жалкими и некрасивыми, теперь «в торжестве» до того великолепны, особенно же плакаты, пронизанные чуть-чуть начавшим склоняться к вечеру солнцем. В самом деле, «красный цвет», красная материя «сквозь солнце», пожалуй, красивейшая в мире. Тут только нужно выбрать оттенок, – немного в «пурпуровый» – без грубости и жесткости. В воскресенье, может быть от солнца, так и было...

Какие лица, какие лица... Они шли все тоже веселые («манifestация» или «идем представляться»). Но мне все равно отчего: этот талант и душа, змеившиеся в чуть поднятой верхней губе улыбающегося рта, – заставляли биться сердце, и я не покидал грязи, среди которой стоял.

«Все хорошо сегодня, в этот прекрасный воскресный день».

А если «сегодня» хорошо, то не хорошо ли и вообще? Я задумался об истории. История всегда была моею консервативною задержкою. «Позволь, ты должен трудиться для истории», «Ты живешь в истории и должен работать только для нее». Это я твердил себе с университета, с времен Ключевского и Герье. «А у Ключевского что сказано?» «А Герье что говорит?» И вот в этот прекрасный весенний день у меня мелькнуло:

– Что такое за давление истории? Не всякий ли день равен всякому дню? История есть счет дней: и если так, то отчего всякий решительный день, вот сегодняшней мой и наш день, должен уступить какому бы то ни было другому дню?

Тут сейчас, – так как я богослов, – мелькнуло и Христово слово: «Довлет *дневи* злоба его». То указанное Христом преобладание *сегодняшнего* над

вечным. Но именно – только мелькнуло. Меня всю жизнь до того давила история, что философия развивалась самостоятельно от Евангелия. Я думал:

«Мы слишком много соображаем, а нужно жить непосредственнее. Не нужно столько теорий. Теория – это всегда мука и путаница. Из теории не вытащишь ногу и право – не там светит солнце. Разве нет истины прямо в глазе нашем, в слухе нашем, в сегодняшнем нерве нашем, а не в тех остатках «исторических нервов», которые мы носим в себе, как мочалку, всю почерневшую, всю злобную, полную отщепеней не за наши времена и не за наших людей. Поменьше истории, и жить будет радостнее».

Правда, мелькнула и задержка: «Нет, день Рождества Христова, – тот, что был 1917 лет тому назад, – был не похож на прочие дни». Но теперь меня не задерживали и «задержки»: общий поток «ниспровергающих историю» мыслей был слишком силен, он был слишком вымучен всею жизнью, донельзя перегруженною историческими воспоминаниями и ответственностями.

– Ну их, ответственности. Замучился с ними.

* * *

Вот уже две недели, что я не почувствовал ни разу, чтобы меня оскорбила улица, не царапала мою душу, пригнула к земле мою душу. И кажется, что мое переживание есть общее теперь переживание. Вид всех лиц безумно переменялся: именно видно, что они живут день за днем без горечи, и это-то и отражается на лицах всеобщую почти улыбкою. Помню, как-то приехал «в старый Петербург», кажется, президент Французской республики. Было еще рано, час 11-й, и я спускался от Аничкова моста к Литейному проспекту: тут же на мост подымались трое – лавочники или ремесленники:

– Куда вы идете? Разойдитесь! – окрикнул их городовой.

А на улице, в этом месте, и было всего четверо: я да эти трое. Пятый человек – городовой. Но, очевидно, городовой «подготавливал улицу к проезду знатных иностранцев», а тут как раз дальше – Аничков дворец. И он не хотел пропустить собственно к Аничкову дворцу.

Так мне запомнилось. Лавочники сказали, что они – «ничего». Только «гуляют». Но городовой решительно не пустил дальше. Почему не пропустил? Что такое? Что за напасть пройти мимо Аничкова дворца? Очевидно, городовой, столь грубый в окрике на мешанишек, сам был в душе робкий человек и боялся возможного «замечания» от квартального. А квартальный – от полицеймейстера «части», а полицеймейстер – от градоначальника. И вот как-то все и было. Так и были все дела на улице и везде. Все боялись друг дружки, боялись «ответственности», боялись «неисполнения должности», в сущности, боялись черт знает чего. Точно везде стоял «домовой» и пугал всех людей. Разница «с прежним» и заключается в том, что «домового» сняли: и люди просто перестали бояться друг друга, перестали бояться, в сущности, фантомов, призраков, своего какого-то воображения болезненного, и вообще вот той «исторической мочалки», которая заполняет не только души, но и заполняет улицы «злобными воспоминаниями».

Мы все живем вот двадцать дней свободно. Нам никто не делает «замечаний» и не ожидает от нас никакой «ответственности».

– Мы не виновны.

А ведь прежде решительно все люди ходили по улице какими-то «виновными». В чем? Почему? За что? Просто потому, что они были русскими обывателями. Имели блаженство или не блаженство родиться в России.

За двадцать дней я не видел и не вижу, чтобы хотя один человек задержал кого-нибудь другого. И вот это выливается во всеобщее безумное облегчение. Просто стало легче жить, гораздо легче. Непосредственное ощущение так велико, что оправдывает всякие «теоретические соображения», всякие «задержки из истории» и говорит простое, большое:

– Лучше.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА МИХ. ИВ. САПОЖНИКОВА

Выставка картин, устроенная г. Сапожниковым в зале Шредера (рядом с «Вечерним Временем»), Невский пр-т, д. 52, есть, как ни странно сказать, столько же, пожалуй, «выставка текущей революции», – политической революции, государственной революции: хотя автор ее, беспредельно скромный старичок (почти старичок, лет 50-ти), в плохоньком пиджачке, может быть, и не догадывается об этом. А уж во всяком случае немало об этом не догадывалась публика, валом валившая в магазин Шредера покупать билеты на одно из музыкально-выставочных собраний (в консерватории) не столько даже революционеры, сколько революционеры, – и не заглядывавших на выставку картин. Между тем «революция на штыках» не так бы много сделала, а во всяком случае она не была бы так прочна и, главное, *устойчива*, если бы ей параллельно и с нею одновременно не шла революция в идеях, в образах, в мыслях, я думаю – скоро придет в музыку. В чем же дело и как разъяснить словом?

Есть *воспоминание*, есть *обещание*. Не правда ли? Есть две великие тайны в мире: *старость* и *юность*, коим отвечают в возрастах человеческих *старцы* и *юношество*. Опять читатель не может не сказать: «Правда». И вот я кончаю выводом: «А что же, друг мой читатель, совершилось на наших глазах, как не то, что в одно прекрасное утро юноши взяли да и стащили всех старцев в одну общую кутузку, именуемую министерским павильоном в Госуд. Думе». Стащили и заперли на ключ, сказав: «Сидите». Простое событие. Когда до сих пор обычно и постоянно, все века истории, – именно старцы «сажали юношество по карцерам» и тоже запирали на ключ.

У г. М. Ив. Сапожникова разительным образом и «заранее» (п. ч. картины нарисованы (конечно, гораздо *раньше* революции) показано это же самое, но показано «вообще», как некое вечное, как некий процесс не политики только, не одной истории, а целого мира, целой космологии. В 12 картинах, собранных в одну серию «Предрассветные видения», – он изобразил борьбу старого хаоса, предтворческой мглы, – с молодым творческим ут-

ром, ну с восстающим солнцем, что ли, – с сотворяемым человеком, может быть, – с рождающимся дитятею – это сказать, пожалуй, будет всего выразительнее, удобнее и понятнее. Тут именно – космология, тут именно – мифы. Тут «следы» (Штюрмеры), «леса» (администрация бессмыслицы), тут «абри» и «абри». Тут народное, деревня, тут столько же песня и сказка, как и новые преобразования и «братство народов». – Отнимите неясные зори в революции, и вы получите в остатке кислое и надоедливое административное преобразование, от которого просто тошнит. Суть революции в мечте, а не в деле. Если хотите, суть ее в некой поэтической бессмыслице, но певучей, но музыкальной. После того как «История Карамзина до того надоела».

Ах, надоела. Красивый был человек, Карамзин, а все-таки «История» его надоела. И вот – суть революции.

Поменьше красноречия и немножко мальчишества?

Г-н Сапожников нарисовал, задумал борьбу – собственно между язычеством что ли и христианством, но выразил тихо, скромно и не скандально. В этом все *качество его картин*. Ибо до сих пор это если и попадалось в литературе, в поэзии и т. д., то шло скандалом. А как скандал никого не настиг, то старая добродетель и торжествовала, «Карамзин» оставался на месте и не снимал мундира, хотя и обветшалого. Суть – в скромности, суть в беспритязательности борьбы. Но в силах юности и в ее улыбке есть действительно некоторая истина невинности и чистоты. И вот ею она может действительно многое сказать и даже многое взять. Есть язычество порочное и таковое никого и никогда не победит. Конечно! Но ведь есть оно же – чистое, ясное, оно не как просто утро возраста, человечества, мира: и иногда оно еще поспорит с вечером.

В картины очень нужно вдумываться, всматриваться. Они именно символичны, т. е. дают только *тоны и настроения*, которые уже должен наполнять собственными словами зритель. Сумеет ли он? Сможет ли? Берет сомнение. Автору следовало бы все время быть с зрителями и передать им словесно то, что для публики вообще темно. Больше всего мне нравится обширная концепция его замысла, – и что на нее он положил явно всю жизнь, многие годы. Но пусть он верит, что большие надежды как-то само собою не могут не сопровождаться и большими последствиями. Никто у Бога работником напрасно не бывает.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ФРАНЦЕВИЧА ЭРНА

Русская литература и философия понесли большую утрату в лице скончавшегося на днях в Москве *Владимира Францевича Эрна*. Он умер в полном расцвете жизни, всего 35 лет, и кончина его вызовет в Москве не только сожаление, даже не одну скорбь, но и рыдания. До того весь очерк личности его был прекрасен, исключителен, до того, наконец, он был необходим сложившему-

ся в Москве кружку молодого славянофильства, коего он был одним из возродителей, защитников и пропагандистов. Человек огромной логики, обширнейших знаний, и знаний редких, в которые немногие заглядывали, он вместе с тем весь пылал живым ощущением действительности, связями с трепетом текущей минуты. Немец по роду и племени, он был определенно враждебен немецкой культуре, немецкой образованности, немецкой философии, как совершенно его собрат по духу, Владимир Даль, собиратель пословиц и говоров на Руси. Эрн точно так же, как и Даль, весь врос в русскую землю, и слаще русской почвы не находили на земле его немецкие корни. Глядя на лица, как Даль и Эрн, дивишься близорукости Бисмарка и двух Вильгельмов, воображавших, что в «будущности русские и Россия станут навозом для немецкого гения». Как бы не так: да русский природный человек, при всем алкоголе в его крови, при всей халатности, лени и прочая, и прочая, настолько острее противных колбасников, настолько талантливее, шире, сердечнее и упоеннее всяческими упоениями, и худыми, и здоровыми, что, конечно, никто еще не видывал русского человека, переродившегося в бранденбуржца, а немцев, переродившихся в москвичей, до такой степени переродившихся, что их от всего бранденбургского тошнило – сколько угодно. Опасно немцам сближаться с русскими, потому что русская утробушка немедленно переваривает их и обращает в русскую кровь, в русское мясо, в русскую душу.

И дело очень просто: русская душа широкая, а немецкая душа узкая. Широкое в узкое не влезает, а узкое в широкое влезает. Русские добрее, русские ласковее немцев. Какое же сомнение, что русские их сильнее. Сближайтесь, сближайтесь, господа немцы: посмотрим, кто кого съест, кто для кого будет пассивным навозом. Вы еще не имеете ни одного «Иванова», который бы обратился во Франца Вильгельмовича Иванова, лютеранского вероисповедания и с юнкерскими прусскими идеями: а мы уже имеем Владимира Даля, перекрестившегося из бусурман в православие, Климента Зедегергольма, перешедшего в русское монашество, теперь полуславянофила Петра Бернардовича Струве, и вот полного и пылкого славянофила Владимира Францевича Эрна. Так что у нас, у русских, в кармане уже лежит, а у немцев ничего от русских в кармане не лежит. Куда же этим узким немецким душонкам с русской душой соперничать. Русская душа бесконечна и идет к Богу, немецкая выше *Unter der Linden** не поднимается. Из немцев еще стал русским горячим патриотом Эрнест Львович Радлов. Да вообще культурно и духовно русские везде побеждают немцев. У нас только в дипломатике, войне и в торговых договорах выходит «не очень». Но это мы поправим, раз уж наш дух сильнее немецкого.

Громадные труды В. Ф. Эрна открыли для русских совершенно новую область в философии: именно открыли им итальянскую метафизику в лице двух великих мыслителей, Розмини и Джоберти. Каждому из них он посвятил по обширному исследованию. Слово это совершенно новое на русской поч-

* Под липами (*нем.*) – название улицы в Берлине.

ве, на которой мы до сих пор жалко топтались между Бюхнером и Гегелем, между Карлом Фохтом и Кантом. С этой противною и всем надоевшею немецкою традициею давно пора покончить. Довольно с немцев, что они забрали нашего Мясоедова, и незачем им забирать русские философствующие головы.

Родился Эрн в Тифлисе, где в конце 90-х годов прошлого столетия сформировался целый кружок славянофилов, из которых назовем, кроме Эрна, еще Флоренского, Цветкова (классически издал «Русские ночи» кн. Одоевского) и Ельчанинова. Так русские березки красиво сплелись с кипарисами юга.

Вечная память Эрну! Вечная ему благодарность каждого русского сердца. Всегдашняя наша историческая ему любовь.

О ВВЕДЕНИИ У НАС ГРАЖДАНСКОГО БРАКА

В газетах оповещено и, без сомнения, будет быстро проведено в жизнь – начало «гражданского брака». Мысль эту нужно считать личною мыслью теперешнего обер-прокурора Св. Синода В. Н. Львова. Я помню лет шесть тому назад слушал его лекцию на Литейном проспекте, кажется в зале «Клуба общественных деятелей». Лекция была посвящена церковным вопросам. И вот в ней, в конце ее, В. Н. Львов высказался, что есть «большой напор в обществе на церковные нормы брака, будто бы заставляющие страдать многих людей, многих неудачных «семьянинов». Затем с наивным консерватизмом он выразился, что есть исход для этого: церковь все-таки не может и не должна ничем поступиться из древних канонных своих, регулирующих брак. Но она может дать гражданский брак. Это ничем не нарушает ее внутреннего, векового и даже тысячелетнего строя. Она останется той древней, поседелой церковью, всеми чтимою. А люди, которые не хотят ей подчиняться, могут жить по-своему, по-иному.

Волки будут сыты и овцы будут целы. Кто же будет волк и кто овца? Он не предложил себе этого вопроса. Он именно разрешил узел вопроса и нисколько не развивал его.

«Увы» или, наоборот, «к счастью» людей, живущих семейною жизнью, т. е. «в браке» (освященном или не освященном), будет всегда «столько, сколько есть предрасположенных к семейной жизни». Т. е. почти все, за исключением $\frac{1}{1000}$ доли, которым естественное и натуральное место – в монастыре, в уединении, в подвигах молитвы и созерцательности. Это – высокий и даже высочайший путь, но людей совершенно исключительных. Народный (общий) путь – брак, семья. И брак и семья суть не мечты, а народны. И церковь благая, агнчая (агнец) должна бы благословить народный брак, народную семью, всю и целиком, всю и вместе, всю и одинаково. По простому и ясному слову апостола: «Каждый во избежание блуда имей свою жену, и каждая

во избежание блуда имей своего мужа». Это слово апостола просто указывает на нормальное, здоровое состояние народа и общества. Оно так превосходно, так всеобъемлюще, так вечно, – оно до того отвечает на каждый единственный случай личного пожелания мужчины иметь возле себя «спутницу и жену» (выражение апостола в другом месте) и отвечает инстинкту каждой женщины «служить помощницей мужчины» (выражение Священного Писания), что церкви, ее отцам, ее патриархам, ее соборам следовало, не дробя нисколько этого единого и чудного правила, воздержаться от какой-либо последующей выработки брачных норм. К чему тут запрещение четвертого брака? Апостол ведь прямо это запретил приведенным его правилом. Неужели же на тысячу лет и у ста миллионов народа не может случиться потери мужем, без всякой его вины и причины, трех жен раньше наступления старости? К чему тут установление возраста старости и юности? «Каждый имей женщину, и каждая имей мужчину», – и когда пришел возраст. А когда он пришел, в 14 или в 20 лет, зачем ей даже это знать и зачем спрашивать об этом? Зачем ей степени родства, когда всем известно, что в близких степенях родства любовь не зарождается и инстинкта к браку нет? Но тут «в святого вселился чиновник», как ведь вселяется же иногда в святого бес, и вот чиновник начал мерить аршинами, мерить вершками, мерить пудами и фунтами и нагородил правил. Правила все эти ведут к блуду, против которого предостерегал апостол. Именно они все, так или иначе, тому или иному, но непременно запрещают брак. Наивный консерватор Львов совершенно не рассмотрел в канонах церкви о браке одной и единственной тенденции, одного и тысячелетнего уклона: довести человека до блуда, низвергнуть человека в блуд. Это было незаметно для праведников со вселившимся в них бесом, но это совершенно так, по слову апостола, которое мы привели и которое универсально. Ибо нет ни одного канонического постановления о браке, которое в каком-нибудь отношении и какому-нибудь человеку не запрещало бы брак. Правил расширительных о браке – вовсе нет, ни одного. Все правила – только сузительные. Это поразительно, но это так. Т. е. все правила – только к блуду.

Где же теперь овца и волк? «Живут в браке, сколько есть склонных к нему». Это явно овца. Просто это – народ, тело народное; у нас это матушка Русь, у немцев – немцы поганые и у французов – легкомысленные французы, а у англичан – строгие англичане. Это – величина не переменная «иже от создания мира». Где же волк? Тут-то и выявляется наивный консерватор.

Смотрите, какой благочестивый; ни одного правила церкви нарушить не хочет. Совсем фарисей, которые тоже правил не нарушали. Но Христос велел вытащить овцу из ямы и в субботу, хотя было это еще от древнейшего правила, от самого Моисея. От Моисея до Христа много прошло времени, и вот Христос велел бросить все эти правила даже для овцы, не то что для человека. Не совершенно ли явно, что В. Н. Львов – с фарисеями, а не с Христом. Послушайте: да ведь язычники – и те имеют праздничек около такого важного, неизмеримого перелома в жизни, как вступление девушки и юноши в брак. Папуасы имеют, черемисы имеют. Неужели же одни русские и одни

православные не будут иметь «цветочки на свадебке», молитвы перед свадебкой, – а что называется голыми будут ложиться на голые доски. Худо стелет постельку новобрачным В. Н. Львов.

Духовенство никак не должно соглашаться на его гражданский брак. Русские до того привыкли искать религиозного освящения брака, религиозного начала брака, что мысль гражданского брака им решительно и с самого же начала будет противна. Словом, это все испортит, все осквернит.

Между тем избежать этого в высшей степени просто. Церковь раньше и древнее своих епархий и своих консисторий, церковь, хорошо это или худо, но древнее и соборов своих. Она совсем седенькая, эта церковь, тогда как и епархии, и даже соборы только очень старые. Но не было церкви без священника, без иерея. Иерей-то и есть столп самый древний и живой, на коем после Христа утверждается церковь. И вот очень простое правило, метод, средство: нужно неизмеримо возвысить священников и нужно их священническую совесть поставить в качестве живой работы каждого момента выше мертвенной работы, машинной работы разных учреждений, будь это Синод или консистория. И нужно просто предоставить в каждом единичном случае разрешать вопрос, предоставив его священнической совести и совести данного мирянина.

Окаянные сейчас закричат: «А взятки». И по лицу окаянного я вижу, что он первый берет взятки. Против священников воздвигнут голос свой епархиальные начальства и консистории, которые именно и носят Иудин ящик с деньгами. Нет, уж из двух выбирая, из консисторий или священника, русский народ весь предпочтительно остановится с доверием на священнике. Но я имею не одну мысль, а две, говоря эти слова. Вторая мысль следующая:

Нужно, нужно и нужно воздвигнуть в самих священниках пророческий священный дух. А мешают этому правила, помноженные на правила, и еще плюс другие правила. Новые правила, древние правила, правило на правило лезет: и опутанные ими священники сделались совершенно исполнительными чиновниками. Переработка священника в чиновника есть главный результат всего синодального периода русской истории, с которым решительно надо кончить и кончать надо с ним скорее, ибо он все заразил, все погубил. Верните же священнику дар свободы. Смотрите, что такое святые по лесам, которые одни за синодальный период спасались, спасали других, ближних, народ свой. Да они оттого и в леса-то уходили, уходили даже из монастырей в затвор и уединение, чтобы, наконец, остаться наедине с Богом, т. е. остаться свободными перед Небом и без правил. Какое же «правило» с «пророчеством»? Какой «пророк» по «правилам»? Неужели ухо ваше и особенно сердце не слышит здесь противоречия в понятиях? Верните же, верните свободу священникам!! Теперь, когда дышит свободой вся наша страна, когда не лишены свободы даже злые, неужели одного священника, который уже службою своею погружен в непрерывное памятование священных слов, священных гимнов, Священного Писания, – неужели одного его вы оставите в оковах, под подозрением, под недоверием? Тогда отчего лучше не не дове-

рять обер-прокурору, не не доверять консисториям? Священника в ежедневном обращении проверяет приход, и это совершенно достаточный надзор, – притом не обидный, не оскорбительный, – имеющий один результат, именно тот, что или любят прихожане своего батюшку, или не любят. Ах, пролейте же сюда Евангелие, пролейте, пролейте, всему доверив и всего надеясь и все возлюбя.

Вывод же общий насчет гражданского брака будет тот, что он вводится как показатель некоторого частичного отречения самой церкви от брака и от семьи, а отнюдь не тот, что кто-либо от церкви отказался из семьянинствующих. И это нужно твердо запомнить, нужно отчеканить. «В семье живет ровно столько, сколько живет». Церкви предложено: «Хочешь ли ты благословить всех?» Ее дело ответить. Но, не благословив некоторые, она и ответит за это перед Богом в день суда. Сами же живущие пусть в гражданском браке или просто – в любовничестве совершенно ни перед кем не ответят на Суде, ибо они живут как живут, по апостолу «избегая блуда и для этого имея жену и имея мужа». Так что содержащееся в гражданском браке отрицание церковного брака идет именно от церкви, есть дальнейшее продолжение ее ограничительных в браке движений, ограничительного в браке развития. Сами же миряне, в гражданском браке живущие, перед Богом и собою нисколько церковного брака и вообще брака не отрицают, не извращают, а только исполняют. И воздастся «коемуждо по делам его в час Суда».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Об издании книги «Из восточных мотивов»

Неимоверные затруднения, испытываемые с печатанием книг в Петрограде из-за ухода на фронт «запасных» наборщиков и печатников, были причиной запоздания на один месяц выхода 3-го выпуска книги «Из восточных мотивов». Но затем, взаимно с внутренним переворотом в России, совершилось такое потрясение рабочей, денежной и технической стороны, что самые, казалось бы, обеспеченные идейно и даже материально издания получили фатальное препятствие продолжаться впредь до «лучших», до совершенно неопределенных времен. Таковая судьба нависла и над «Восточными мотивами». Достаточно сказать, что корректура двух листов четвертого выпуска, сданная в типографию в конце февраля месяца, была сдана мне в исправленном виде лишь через два месяца, за полным отсутствием рабочих и наборщиков, могущих выправить типографский набор и произвести небольшую вставку. Все это – в типографии «Сириуса», превосходно оборудованной и администрируемой, – без всякой запущенности и небрежности со стороны управления ею. Но затем дошли печальные вести, что самые могучие книгоиздательские фирмы и самые могучие типографии и цинкографии вынуждены переносить печатание книг из Петрограда в другие города, в Финляндию и даже будто бы

за границу. Но по мотивам, изложенным в предисловии к книге «Из восточных мотивов», я не мог мириться ни с задержкою, ни с прекращением печатания этой именно книги. Типография «Сириус» после тщетных попыток оставить себя рабочим людом вынуждена была ликвидировать все дело. В этих печальных и стремительных обстоятельствах я случайно и непредвиденно встретил поддержку, дружбу и готовность помогать мне со стороны образованного лектора турецкого языка в Петроградском университете, Ильяс Мурзы Богорадского, заведшего типографию специально для печатания книг по области Востока. И ныне продолжение печатания книги «Из восточных мотивов» может считаться обеспеченным. Я возложил полную надежду на благородного и ученого типографа, который сам есть и техник своей типографии, снимающий в Публичной библиотеке древние письма и вырезающий их по металлу; словом, не только рабочий, но и ученый в работе. Звезды ему что-то сказали, луна ему что-то подшептала, я прибавил христианскую надежду. И, Бог даст, в июне отпечатается четвертый выпуск, а там все пойдет и далее, к благополучию моему и читателей. Текст книги уже близок к окончанию. И только против десяти обещанных выпусков она потребует не менее пятнадцати, при нескольких сотнях изображений из истории египетской культуры, совершенно новых для читателя.

НАДОЕВШИЕ НОТЫ

Как гул большого колокола покрывает мелкие колокола, так зовом к защите отечества полна печать всех оттенков. И уже без захвата звучат уверения В. Базаровых о спасительности циммервальдизма:

– Мы считаем «циммервальдизм», – рассуждает новый метафизик из басни Хемницера, – самым передовым течением. Один только циммервальдизм хочет спасти честь мировой культуры; один только он пытается излечить Европу от того позорного одичания и озверения, в какое ввергла ее война. И мы верим, что будущее принадлежит циммервальдизму.

Но не о «будущем» нужно говорить в минуту, когда не знаешь, как пережить день, как ступить шаг; и особенно не разводить этих мирных социальных утопий, *когда немцами только что изобретены газы, проникающие внутрь закупоренных помещений и разрушающие слизистые оболочки носа, горла и всех дыхательных путей.*

Довольно вам, господа, среди таких ужасов, – когда с самого же начала война повелась под флагом ужаса, – читать со столбцов политических органов печати какие-то стихотворения в прозе!

* * *

Справа и слева приехавшие с фронта сообщают радость, что устойчивость наших войск возрастает, что, кажется, уже совершился спасительный перелом.

В добрый час! Не забудет крестьянин своей земли, своей Руси. Если бы даже слова, нами слышанные, и не отражали общего состояния, все-таки перелом есть.

Будем верить, что единение растет. Будем верить, что тыл дышит на фронт и что это дыхание страны – укрепляет, а не ослабляет!

ВЕЛИКОРОССИЯ И УКРАИНА НА КИЕВСКИХ СЪЕЗДАХ 25 МАРТА – 8 АПРЕЛЯ

В новой книжке «Русского Богатства» помещена статья г. Шульгина: «Украинский народ и всероссийская революция. Письмо украинца по поводу киевских съездов 25 марта – 8 апреля» и ответ-ограничение на нее старого сотрудника журнала, известного социалиста-народника В. Мякотина. Статьи интересны и важны и по отношению к дорогой нам всем и многострадальной Украине, которая, конечно, получит то, что давно должна бы получить, в смысле полной несвязанности своего духа во внутреннем развитии, в смысле своих крыл, своего полета; и важна даже в отношении других параллельных течений на Руси, в деле отношения Великороссии, например, к народам Кавказа. Участник съездов говорит между прочим:

«Был еще один лозунг, не так давно очень популярный – в интеллигенции («Самостийна Украина»)… Но грома революции быстро и легко разъяснили и совершенно ступшевали эту мысль. Всем стало ясно, что при выборе между самостийностью и федерацией чаша весов склоняется в пользу последней».

Г-н Шульгин приводит резолюцию съездов, и в то время как в «Кирсановских» и «Шлиссельбургских» республиках заявлялось об отделении от России и вообще это было игрою гимназистов, но которую разыгрывали взрослые темные люди, по преимуществу рабочие и солдаты, конечно, в Киеве ничего подобного не могло быть. Проведены были вполне благоразумные предложения и пожелания, с бережливостью в отношении всей России, с порывом оставаться в слитности и единстве:

«Украина жила в эти дни великого подъема мыслью о братском единстве всех народов России и в том числе и народа великорусского. Украинские съезды помнили не только о своих национальных интересах, но глубоко учитывали и интересы всей демократии, всей России. Теперь очередь за Петроградом, за преобладающим народом России, за великороссом. Пойдет ли север навстречу югу?! Будут ли эти отношения развиваться все в тех же идилических формах, как на киевском съезде, во время взаимных приветствий всех народов России? Все это животрепещущие вопросы момента».

Статья г-на Шульгина написана все-таки в превосходных тонах. Он говорит, что малороссы сейчас пьют как бы молодое вино любви, они полны романтизма, – и опасается, как бы трезвая рассудительность великороссов

не брызнула на этот украинский романтизм холодной струей воды излишне практических и сухогосударственных забот. Следует ему и вообще украинцам отметить следующее: что не нужно придавать резкого значения именно теперешнему моменту, вообще моменту, минуте вспышки дурости в одну или в другую сторону. Украинцы должны понять, как великороссам сейчас трудно, – именно сейчас, именно в эти краткие минуты: великороссы не могут не быть не только встревожены, но и испуганы сепаратизмами, поднимающимися со всех сторон, тем, что отечество расплзается по всем швам, Россия разрывается как будто на клочки; тем, что долгое исторического труда собирания Руси в единое целое, – как ни бывало. Вот под воздействием-то этой мысли испуга у великороссов могут вырваться неосторожные слова, вырваться нетерпеливые вопли: но малороссы должны учесть момент и взглянуть на это не как на решение дела, не как на программу, а именно как на крик нервов, впопыхах и неразберихе. Нужно друг друга беречь, и нужно беречь не только деловым образом, но и мысленно, т. е. не заподозривать, не приписывать худых мотивов и худых поползновений. Дело собственно слагается до такой степени явно и неуклонно к федерации народностей России, что совершенно не может быть никакого сомнения о том, что Россия вся и устроится таким образом, что это даже не вопрос чьих-либо пожеланий и требований или чьих-либо соизволений к этому и допущений этого, а просто это склон, скат событий, которому ничто не может противостоять, противодействовать. Но вопрос – времени, вопрос – некоторого терпения, отлагания; вопрос, чтобы не торопить великоросса, у которого теперь столько безумно-уторопленных дел. Вопрос размежевания составляющих Россию народностей должен идти эпически и спокойно, а не лирически, страстно и с порывом. И тогда только все закружится исторически хорошо. Мысль моя, мысль обыкновенного обывателя русского, заключается в том, что чем шире и свободнее, самостоятельнее и независимее, чем ярче для себя устроятся народности в России, чем более без обиды для каждого самого маленького, даже племени, вкрапленного в большую народности, и все это будет совершенно художественно и поэтично, без всяких гражданских взысканий и уплат, – тем для нас, великороссов, будет лучше, лучше для нас как для хранителей единства Руси. Ибо тем плотнее будет и яснее будет прилегание народности к народности. Все будет спаяннее, все будут жить крепче и единее. Если в наступающей эре государственных и этнографических отношений содержится какое-нибудь живительное зерно, какой-нибудь новый напиток, то не в вере ли он заключается, что есть же средство жить по любви, а не по закону подчинения и что привязанность и братство соединяет крепче, нежели страх и повиновение. Но все это – именно сказ, неторопливый и эпический. Не торопите нас, хохлы, – не торопите эти страшные дни, месяцы, годы: и вам все будет дано, будет дано больше и лучше, чем вы сами желаете.

Не нужно недоверия, подозрительности. Душа должна быть ясна и открыта у обоих народов. Вот почему я не придаю особенной значимости словам г-на Шульгина, может быть неосторожным:

«Великоросс все же воспитан на каком-то своеобразном империализме. Бессознательно, но в нем крепко сидит мысль, что он *господин* от Великого океана до Балтийского моря, от Белого и до Черного. И вот в связи с этим Черным морем и еще «черноземной полосой» приходится слышать недоброжелательные возгласы великоросса: «Неужели Украина «отделяется» и отделяет «нас» от Черного моря?» Этот вопрос частью является результатом непонимания самого слова «федерация», но еще в большей степени в этом слышатся нотки вошедшего в плоть и кровь сознания, что он великоросс, хозяин *всей* земли».

Неосторожность слов этих заключается в том, что естественная заботливость о всем пространстве России, которая у великоросса выросла просто из всей его истории, смешивается с аппетитностью великоросса, с алчностью души его к власти и господству, чего у этой души воистину нет и никогда не было. На что вот китайцы, появившиеся теперь в Петрограде, – что они нам? Какая родня? А сколько чувствуется к ним ласки на улице, в обращении. «Иди, иди, ходя, – полезай в трамвай», – «проходи туда, сюда». И русский еще подсадит, поможет ему. Русский народ в этом отношении единственный, исключительный. Это качество русского населения, русских мужиков, я считаю величайшей культурной силой, величайшей объединительной властью для тех, грядущих времен, когда мягкость и ласка, доброта и деликатность сделаются единственной властью для народов и человека. Это не скоро будет, но это будет же когда-нибудь. И вот в эти отдаленные времена, в эту мессианскую минуту, русский народ и объявится всем народам, что он есть. Тот народ, который начал свою изумительную историю с призвания князей, с призвания над собой чужой, инородной власти. Ни одна история не начиналась этим поступком кротости и безвластия. Поэтому подозрения русского народа в «империалистических чувствах», – как это делает неосторожно г-н Шульгин, – я считаю ничтожными, антиисторическими. Россия не Рим и не Гогенцоллерны и главное, она никогда не захочет быть ими.

«Опасность велика, – заключает автор свою статью. – И те, которые призваны руководить этими народами, должны ее учитывать. Мы слишком хорошо знаем, как много ненужных и катастрофических осложнений вносит в жизнь уже созревшая национальная вражда, как трудно бороться с ней, как трудно положить ей предел. И во имя предупреждения этого русские и украинские вожди должны быть настороже. В этой статье я старался показать, что организованное украинское общество, всецело учитывая опасность, твердо держит руль и не дает национальной стихии уклониться от прямого пути. Украинцы сказали свое слово, и теперь очередь за великороссом. Украинцы должны почувствовать, что на севере с ними считаются, как с равными, что их законные требования уважают и не ограничиваются только обращениями, а реально идут навстречу их заветным мечтаниям. Заканчивая статью, мне хочется обратиться к ответственным руководителям русской демократии с такими словами: «Мы, украинцы, сдерживаем крайние порывы свое-

го народа, увлеченного вновь добытой свободой, вы должны рассеять те старые великодержавные традиции, которые старая власть прочно внушила великороссу. Только тогда возможны будут дружные, мирные отношения, для упрочения которых мы всецело готовы отдать свой труд и силы. Теперь, когда истерзанное войной человечество говорит о всеобщем будущем братстве, о вечном мире, теперь больше всего нужно сохранять мир там, где он еще не был нарушен. Мы, украинцы, ждем, что наши ближайшие и более сильные соседи скажут свое слово вовремя и определенно заявят, какова будет их линия поведения в отношении Украины».

В голосе, в тоне слышатся недоверие, подозрительность. Но это воистину по величине своей *мало*-русское чувство, а не *велико*-русское. Тут есть мелочность и не только непонимание великорусского характера и ума, но и неведение великих скатов истории.

Русским, великорусским даже и некуда подвинуться, как только сюда, – и говорим это, имея в виду и армян, грузин, поляков, Литву и т. д. Пойти сюда, не в «федерацию», – нам слово не нравится, – а в общинно-этнографическую жизнь на почве и равенстве взаимной любви и доверия. Скажем более: подобный склад государства, – федеративный, с одной стороны, и удельно-вечевой, с другой стороны, может быть несколько феодальный и общинный, как было в прежние века и было у нас в Киевской Руси, содержит прекрасные духовные обещания еще в одном отношении. Мы вообще в своей истории и независимо от инстинктов населения переутомлены империализмом и космополитизмом, за которым следует неодолимо черед социализма и вообще всякого схематизма. Пестрые народности, живущие бок о бок в союзе друг с другом, – это начало Эллады в противоположность принципу Рима, и это начало даст самые высшие культурные надежды. Мы можем сказать, что все пожелания хохлов лежат у них за пазухой, есть уже сейчас их полная собственность. Только пока идет сражение, не надо выталкивать краюху из-за пазухи и крошить ее и торопливо есть: а пока надо биться с врагом плечо о плечо с братским народом, чтобы потом уже, победив врага, сесть за святую трапезу. Эта трапеза будет обоюдною и горячо радостною. Ни нам о хохлах нечего заботиться, ни им о нас. Мы воистину одно, один русский народ, как и столь же дорогие нам белорусы и Литва, которая при Гидимине уже говорила вся и без понуждения по-русски. Оставим империю власти и оставим только одно царство гармонии, порядка и любви.

О ЧЕМ ДУМАЕТ НИКОЛАЙ II

Пишут, что бывший царь очень осунулся в лице. Может быть, не от одной тоски и обстоятельств. А и от мыслей. От каких?

Хоть и «поздно», воистину «поздно», но подумать никогда не мешает. И вот мне кажется, что он не может не остановиться размышлением над тою

стороною своего «потерянного дела», что есть неизмеримая разница между «быть частным человеком» и «быть правителем царства». Что «Держава» не есть символ в руке царя, еще менее – «игрушка», которую дано поиграть 20–30 лет, а есть некоторая неизмеримая ценность на хребте его, перед которою он *неизмеримо обязан*, и обязан не только перед лицом своего народа, но и перед лицом до некоторой степени всего человечества. Нельзя играть царством, нельзя шутить с царством. И кто «расшучивает» в капризах и произволах, в слушании отвратительных советов отвратительных советников, эту неизмеримую ценность – тот растеривает и расшучивает чужое богатство и даже целую цивилизацию.

Вот грех. Вот ужас.

Гробы отцов – это история. Увы, «теряющий царство» что-то нехорошее делает с гробами своих отцов, как бы опустошая, снимая с них украшения, гася на них лампы. Увы, «кто потерял царство» – тем самым он потряс царство, незаслуженно для подданных, без вины их. Он обидел тысячи, миллионы невинных.

Был мост. Красивая арка через реку. Каменные быки под ним. Вдруг один бык рухнул, да еще такой, над которым шел поезд, и в то самое время, как он шел. Что же вышло? Крики, стоны, – вся картина «крушения исторического поезда».

Говорят о политике. Но есть вещи крупнее политики. «Царство» было переплетено незримо с тысячами вещей, которые в общем суть «исторические сокровища», и такой особенной ценности, что «ими люди живы». Тут – церковь, религия; «святые, которые молились за вас». От Временного правительства вышло поспешное и многоценное обращение к взволнованному населению, предостерегающее каждого и всех вместе русских людей «береечь исторические памятники, как драгоценность, ныне поступающую во владение народа и в которой сказался гений веков». Это суть памятники искусства, дворцы, музеи, библиотеки. Предостережение это проливает смысл на то, о чем я говорю. Но я говорю о невестественных драгоценностях культуры: не о музеях, а о науке, не о библиотеках, а обо всем искусстве, не о том, что из камня и дерева сделано, а о самой душе человеческой и об ее творчестве, от молитвы до песни. О всем том творчестве, которое составляет разницу между людьми Владимира Мономаха и людьми времени Пушкина, Лермонтова и Ломоносова.

Царь бывший, может быть, думает с удивлением: «Я был со всеми любезен, чего же от меня хотели?» Правда, по изложениям «он был любезен» даже в последние страшные дни и последние с ним свидания уже лиц Временного Правительства. Увы, это совсем не то, что нужно. «Любезностей» история не требует. Но она требует хорошо и крепко держать на себе железнодорожный мост.

«Потеря царства» через то самое есть ужасное преступление. Оно таково для всякого и во всех обстоятельствах, но еще «простимее» оно,

если происходит от военных неудач, когда царство просто «завоевывается более сильным врагом». Но когда оно крушится по внутренним причинам, от неумения править, от произвола, от безумных допущенных злоупотреблений, – и, наконец, по-видимому, даже от некоторого соучастия в злоупотреблениях, – то тяжесть и порок крушения возрастает неизмеримо. Ну, вот что сказать о двух вещах, которые я слышал вчера и сегодня. Вчера рассказ доктора: когда бывшая императрица Александра Федоровна посещала лазареты раненых, то она имела обыкновение раздавать раненым крестики или какие-то предметы. «И вот русскому раненому солдату даст серебряный, в несколько копеек, а немцу непременно даст золотой, в несколько рублей». Можно ли найти имя этому? «Болью обливалось сердце, – сказал врач, – чем же мы, русские, хуже немцев?» А как все раненые это чувствовали? «Был ранен на поле битвы пулюю. А теперь в ту же рану уколола женская булавка». Как это мелко. Как это дерзко. Что могла бы ответить на это женщина и императрица. И как не сказать, – «к счастью, бывшая».

Вот когда ковалось падение трона. Потому что ведь сколько же было этих укулов. И как они глубоко входили в душу. Для этого нужно было не только «очень любить немцев», но и ненавидеть русских. Но тогда зачем же «раздавать крестики».

Сегодня же, в Публичной библиотеке. Там теперь человек сорок солдат охраняют, сидят, лежат и курят в канцелярии. Почти саженного роста молодцы. И вот, попросив у одного винтовку, я с интересом рассматривал все ее удивительное устройство. Он показывал, откуда выпадает пустая гильза, и вкладывал «примерно» патроны. Среди показывания он вдруг обмолвился: «Новенькие, и видите, как моментально входят и выходят патроны. Бывало же, старые, с зацепинами и дерешь-дерешь гильзу – насилу она выскочит». – «Как?» – воскликнул я. – «На войне?» – «Под самым под немцем» (в бою). «Да и таких, с зацепинами, было не у всех. На батальон было много солдат вовсе без ружей. А эти – прямо из арсенала». Я все еще не понимаю, скорее, не верю ушам. Что же оказалось (я переспрашивал его, окружающих, и все сказали в один голос): ружья были совсем новые, и в колоссальном количестве, но они не хранились, а *утаивались* в арсенале ли или в других складах. Их случайно нашли во время последних «домашних петроградских» штурмов, нашли в таком количестве, что немедленно же новое правительство отправило несколько поездов на фронт, раздав и всем здешним на место «старых драных», полугодных. И все весело говорили: «С такими ружьями нам немец нипочем».

Не прибавляю буквы. И о массах найденного оружия – не прибавляю буквы. Не злодеяние ли это? Рассказывавшие мне солдаты – первой роты Измайловского полка. Я все не верил и все переспрашивал. Просто как «щупал себя руками», не веря, что это может быть. Каждый, войдя в Публичную библиотеку, может проверить.

ОБМАН ЗА СПИНОЮ РЕВОЛЮЦИИ

За спиной революции ведется какая-то нечестная игра. Почему Временное правительство, давно объявившее, что вооруженное выступление на улицы столицы не допускается, и запретившее это выступление, тем не менее допустило это выступление и допустило убийство 400 человек неповинных людей, не дав товарищу Половцеву накануне тех распоряжений, которые оно дало лишь через два дня? Почему не были за два дня разведены мосты и этим были допущены уголовные элементы ленинцев и бунтуемых ими рабочих Выборгского района к Государственной Думе, на Литейный просп. и на Невский проспект, где совершились и совершались расстрелы, убийства и всякая уголовная мерзость? Почему вообще наша революция диким образом съехала «на нет», почему она спряталась, почему она трусит? Почему совершился подлог с революцией? А он совершился, и это очевидно для всей России. Россия доверила революцию доблестным своим гражданам Родзянко, Гучкову, Милюкову, Керенскому и иным, которых она видела все двенадцать лет думской истории в борьбе с злоупотреблением старого режима, против которого и подняла борьбу, – борьбу за русскую историю и борьбу за русскую культуру? Почему же все это подменилось, кто же все это подменил? Пора сказать правду в глаза. Совершил этот подлог Вседержитель нашей революции, Совет рабочих и солдатских депутатов. Это он вырвал революцию у России, он обеднил Россию на революцию и обогатился ею сам, единолично и единооставно. Он украл у России обещанное сокровище революции, все ее культурные возможности, всю ее историческую будущность. Он не имел права сеять между рабочими и солдатами недоверие к доблестнейшим русским гражданам, всю жизнь доказавшим любовь к России, не имел права анонимно заподозривать его, бросать низкие укоры, скрываясь за подлыми переименованными в «Зиновьевых» и «Стекловых» анонимами. Кто же смел отнять у русских революцию? А она отнята! Россия, – у тебя отнято сокровище теперешнего момента, этих 1905-го – 1917-го годов. Твоя история разрушена, а на место ее не дано ничего, кроме многообещающей «сницы в небе», под именем «голову буржуйам долой!». Народ обманывают, обещаний ему не исполняют. И исполнить нельзя, потому что без скобок и замалчиваний, без скобок и «обходцев» в обещаниях содержится дневной грабёж и дневной разбой, коего страна в 170 000 000 населения и с тысячелетнею историей никак не допустит, не захочет допустить, не сможет допустить. У нас есть Христос, у нас есть Бог, у нас есть семья. Духовенство напрасно так перетрусило и отрекается даже от Христа, шмыгнув под ноги социализму и объявив, вместе со своим глуповатым обер-прокурором Владимиром Львовым, – себя церковь не Христовую, а социалистическою. Позор, позор и позор! Никто в эти месяцы не ведет себя до того унижительно, поистине по-иудовски предав Христа, как наше глупое и пошлое духовенство, к чему-то вообразившее, что оно еще поможет революции, если соберется в Москве, с крестными ходами, на пресловутый «Всероссийский Собор». Оно до того изолгалось, это духовен-

ство, до того все предало и всех предает, до того надругалось над крестом и молитвой, что ему место хоть не уступить Иуде в покаянии, а не то чтобы что-то «спасать» и кому-то «помогать». Спаси, раб, себя, — а о господине не помышляй. Господин, т. е. революция, и сам управится со своим делом. Нахамкис знает, что он делает, и не упустит «своего процента». Нахамкис умен. Умнее попов. Он пролезет не только в президенты, но, хорошо окрестившись и перекрестившись, сядет в Москве вселенским патриархом. Наше время теплое, и люди наши теплые.

Что же вы все, трусы, скажите мне, что я говорю неправду? Пусть скажет Временное правительство первого и единственно достойного состава, — единственного того состава, *которому Россия и доверила ведение, совершение и окончание Революции, доверила всю себя, т. е. Россию, до созыва Учредительного Собрания*, — каким образом могло оно разойтись или трусливо разбежаться, воистину по-дезертирски? Трусы и трусы. Оно должно было умереть, а не разбежаться. Умирают же солдаты на поле брани? Отчего 12 человекам не умереть для спасения России. Пусть бы умерло под штыками Совета рабочих и солдатских депутатов и под их избоем-убийством. Тогда Россия увидела бы, в чем дело, и рёв массы, рёв города Петрограда испепелил бы лгуший совет анонимов под председательством прекрасного Чхеидзе. Но каким образом Временное правительство, начавшее революцию и призвавшее Россию, призвавшее одиннадцатимиллионную армию фронта помочь ей в деле политического и культурного преобразования России и в целях победного конца войны, каким образом оно *смело уйти со своего места* и заменить себя и свое образование, свое просвещение (которому Россия и *доверяла*) толпою рабочих и солдат, которая уже по уровню недостаточного образования может только слушаться выкриков, лозунгов, и вообще есть митинг, тем худший и тем более обманной, что он искусно организован?! И вот понеслись выкрики: «Дави буржуев!» — «Вы все буржуи!» — «Грабь банки!» — «Разорь фабрики!» — «Керенский предался буржуям, потому что он воодушевляет войска». — «Лови Керенского!» Россия доверила себя Временному правительству, но она не доверила себя митингу. А очутилась вся Россия под властью рабочего и солдатского митинга, который наступил ей на горло. Главное в целях и задачах революции сейчас — выбросить из счетов Россию, не принимать во внимание ни ее историю, ни ее культуру, ни ее политику. Да и очень понятно: нет *политической России*, а есть *социал-демократическая Россия*. А у социал-демократического организма, очевидно, задачи не те, какие у политического организма. Обман России заключается именно в этом: что Временное правительство, испуганное за себя, т. е. испуганное лично и эгоистически, выпустило Россию из-под своей власти и из-под своего сохранения. Оно не спасло России, что должно было сделать хотя бы ценою жизни. Впрочем, до этого *не дошло бы*, на убой всего правительства не решились бы самые-самые отважные рабочие и солдаты; а если бы нужно было отдать жизнь, они и должны были без смущения отдать ее, как *честный* капитан корабля жертвует жизнью в бурю, спасая пассажиров.

Каким же образом произошло, что этот первый состав Временного правительства, испугавшись лично за себя и пролепетав жалко, что он «под арестом» и сам сделать ничего не может, передал власть в руки безвестных анонимов? Это – преступление. Кто взявшись за руль корабля в бурю и даже бурю эту родив из себя, потому что Временное же правительство начало революцию, – тот губит и себя и корабль, с драгоценным историческим грузом, с миллионами пассажиров. Что же это за историческая Цусима. Россия сдвинута с исторического основания и никуда не попала. Она, в сущности, – корабль – не только в бурю, но и в управлении – пиратов, не только не заинтересованных в судьбе корабля, но и невежественных в корабельном деле. Потому что какие же это заправила царства «рабочие с трубочного завода» и «солдаты Измайловского полка»? Мы попали в руки некрещеных янычар и средневековой Жакерии. Кровь, убийство и грабёж грозит России. Но тогда, обнадежившие Россию граждане, как же и для чего вы начинали Революцию? «Мы не предвидели!» – Хороши политики.

Если вы вообще из «непредвидящих» и «непредусматривающих», то не надо было брать руль корабля из рук старой власти, у которой «непредвидения» было у самой достаточно. И вот теперь, через два еще месяца, вы вторично выпустили руль корабля и передали всю страну в единовластительные социалистические руки. Но социализм – только одна из русских партий. Не которое-нибудь сословие, класс, а – партия, т. е. умственный интерес и программа. Социализм есть книга и книжное явление, а не «бока России», не часть ее живого остова. Что же это такое и какое сравнение с дурным старым правительством? Гордостью русской истории, гордостью народною, гордостью, по Ключевскому, по Соловьеву, по Костомарову, – было то, что никогда и ни разу русские цари не были сословными царями, – не были «дворянскими царями» (выражение французского короля: «Я есть первый *дворянин* своего королевства»), не были «клерикальными государями», а только – общими, общенародными, общеорганическими, общецарственными. Корона – есть, лица – не видно; сердце бьется, но – для всех. «Служба правится», как и в церкви, но она – всем слышна, всем – видна, но – без преимуществ и «особого окошечка». В этом-то и содержались глубоконародные элементы и, так сказать, «гарантии» и «защитные цвета» русской истории и русской монархии. И вдруг эта-то «гарантия всенародности» из русской истории пропадает: «февральская республика вдруг в июне – июле месяце, не дождавшись всего двух месяцев до Учредительного Собрания, т. е. до подачи всею Россиею голоса о желательном для нее государственном устройстве, – эта республика передает всю власть над странюю партии с иноземным названием («социал-демократическая партия») и иностранного происхождения. Что такое? Как? Почему? Почему не «Русь», не «Новгород», а «социал-демократия»? Почему не «Киев», не «Москва», а что-то, что «нравится Нахамкису». «Нахамкису», а прежде нравилось еще «Марксу и Лассалу». Что за переодевание «всех Руси» в какую-то нерусскую одежду. То был «толуп», «кодежа», по нашей зиме, по нашему – лету; был легонький халатец, легонький кафтанец... Теперь вдруг на русских плечах со-

вершенно незнакомое одеяние неведомого покроя, нового имени, и которая не впору попу, помещику, солдату, бабе, и только впору одному Нахамкесу и его предтече Марксу, да впору из всех русских только одному фабричному рабочему. Крестьянину даже неудобна, а только и исключительно рабочему заводу и фабрики, который и родился-то у нас со времени изобретения парового станка Джемсом Уаттом, Георгом Стефенсоном и Фультоном. Слишком специально и совершенно не по-русски. Где же тут частый лесочек? Где же березка? где малинка? Где курочка и ее яички и где золотистая рожь? Да Русью от этого всего и не пахнет. Именно «иностранный покров», и... «временное» правительство, — именно «Временное», «не надолго» и «промежуточное», передает всю Русь в этот «иностранный покров»? Неужели кто-нибудь решится сказать, что оно имело *право* это сделать? Неужели кто-нибудь решится сказать, что оно имело *право* это сделать? Неужели кто-нибудь скажет, что Временное правительство не узурпировало себе всю власть, права Учредительного Собрания, до коего само же обещало ничего не предпринимать. Между тем как именно по страстности и решительности социал-демократической партии отдать ей власть хотя бы на время именно означало передать власть «навсегда» и «над всю будущностью России». В то же время «социал-демократическая структура общества» не имеет ничего общего с «историческим строем России». Что же сделало правительство? Да оно отдало «на слом Россию». В то же время, поклявшись и трижды переключившись, что оно «ничего не предпринимает относительно России»? Тут мы имеем даже не обман, а какие-то крючки обманов, цепляющиеся друг за друга зубцами и образующие колесо обмана, движимое самым отвратительным паром, движимое вонючею душою и безмозглою головою. «Кадеты ушли», видите ли соблюдая свою «кадетскую честь». А Россия и не «честь одна» ее, а самая судьба, будущность? Ведь Россия передавала им судьбы свои, имея в виду их образование, их культуру, их умственные, теоретические, всяческие интересы и обширный кругозор? Кадеты, начав революцию, повели Россию. Спасибо. Но затем они ее просто бросили. Какое же *за это* им «спасибо» сказать? Бросили кому? Уже в мартовских книжках журналов раздалось негодование на то, что революцией заведуют и ведут ее какие-то «безответственные анонимы». Что такое? Почему маски, почему не имя? Где — маска, там — замаскированность, там, значит, нет правды, там, значит, обман. В отношении кого же? Да «рабочих» и «солдат», которых вы учите, переделываете во что-то «свое» и раздаете им лозунги и программы. Вот эти «маски»:

«Мартов» на самом деле называется Цедербаум,
«Суханов» есть фамилия — Гиммера,
Парвус есть псевдоним Гельфанда,
Каменев — русское переименование Розенфельда,
Стеклов — на самом деле есть Нахамкес,
Зиновьев — это Бернштейн,
Заборский — Трахмаль,
Троцкий — Горонфельд.

Поразительно, что газеты, как «День», как «Речь», знают эти подлинные фамилии, но умалчивают о переименованиях, тогда как нисколько не стеснялись с «Мануиловым»-«Матусевичем» и «Баяном»-«Колышкою». Что-то в фамилиях замаскированных лиц уж очень однотонное, очень однородное. Будто люди, лица подбирались друг к другу и образовали связную и, кажется, «теплую компанию». Этой теплой и исключительной компании не интересна «Русская Правда», написанная Ярославом Мудрым, праздны и пусты для них гроба Александра Невского и Сергея Радонежского, – и что же им соборы Кремля? и русское имущество? и даже русская кровь? Обман! Обман! Обман!

P. S. Статья была дописана, когда появились ужасные разоблачения Бурцева. Боже, даже Максим Горький, и о странных связях с Парвусом «лучшей совести русской литературы», Владимира Короленко... Это уже – история литературы, это войдет в страницы «Истории литературы». И как именно русская литература покраснеет перед всемирной... Куда спрятать лицо?

Но я ужасаюсь, каким образом после разоблачений Бурцева, которые ни разу не обнаруживались ошибочными, не будет сделана выемка переписки и документов у Совета рабочих и солдатских депутатов?

1918 год

РАССЫПАВШИЕСЯ ЧИЧИКОВЫ

В 14 лет «Государственная» Дума промотала все, что князья *киевские*, цари *московские* и императоры *петербургские*, а также *сослуживцы их доблестные* накапливали и скопили в тысячу лет.

Ах, так вот где закопаны были «Мертвые души» Гоголя... А их все искали вовсе не там... Искали «вокруг», а вокруг были Пушкин, Лермонтов, Жуковский, два Филарета, московский и киевский...

Зрелище Руси окончено. — «Пора надевать шубы и возвращаться домой».

Но когда публика оглянулась, то и вешалки оказались пусты. А когда вернулись «домой», то дома оказались сожженными, а имущество разграбленным.

Россия пуста.

Боже, Россия пуста!

Продали, продали, продали. Государственная Дума продала народность, продала веру, продала земли, продала работу. Продала, как бы Россия была ее крепостною рабою. Она вообще продала все, что у нее торговали и покупали. И что поразительно, она нисколько не считает себя виновною и «кающегося дворянина» в ней нет. Она и до сих пор считает себя правою и вполне невинною.

Единственный в мире парламент.

Как эти Чичиковы ездили тогда в Лондон. Да и вообще они много ездили и много говорили. «Нашей паве хочется везде показаться». И... «как нас принимали!»

Оказались правы одни славянофилы.

Один Катков.

Один Конст. Леонтьев.

Поразительно, что во все время революции *эти течения* (славянофильско-катковское) нашей умственной жизни не были даже вспомнены. Как будто их никогда даже не существовало. Социалисты и инородцы единственно действовали.

– А что же русские?

Досыпали «сон Обломова», сидели «на дне» Максима Горького и, кажется, еще в «яме» Куприна... Мечтая о «золотой рыбке» будущности и исторического величия.

С ПЕЧАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Утописты-мечтатели, понятия не имеющие и никогда не имевшие о русском народе, вообразили, что за одно послушание золотых речей их народ этот отдаст и красное яичко в Христово Воскресение, и братское целование при встрече друг с другом, – даже отдаленно знающих один другого людей, – и всю великую обрядность и наряд церковный и народный.

Народ послушался было их на несколько месяцев, но уже теперь испытывает в тяжелых вздыханиях, что значит променять родную историю, скованную в груди этого самого народа, на клубную болтовню разных заезжих людей и туземных господ, подражавших этим заезжим людям.

Прошло всего 14 месяцев, и Россия испытала такой погром и разгром самое себя, перед которым бледнеют все бедствия, вынесенные нами в нашей многотрудной и терпеливой истории.

Вонстину, нет сил больше терпеть и переносить. Ни татарское жестокое нашествие, ни вхождение в Россию Наполеона, ни Крым и Севастополь, ни половцы и печенеги не вносили в Россию и малой доли того крушения сил ее, какое внесли эти всего 14 месяцев. Буквально мы стоим как бы при начале русской истории, буквально – русская история как бы еще и не начиналась. Приходится опять заводить все сначала, приходится тысячелетнего старца сажать за азбуку, как младенца, и выучивать первым складам политической азбуки.

Ни о каком красном звоне, ни о каком *воскресном* событии не может идти речи в теперешнем населении России, которое забыло свою историю и веру, им же самим, этим населением взрожденную, – им же самим, этим населением, возделанную.

Виноградарь сам вырвал лозу, им когда-то посаженную, и пахарь затоптал поле, им вспаханное. Все это под трезвон разглагольствований, в котором была бездна злобы и не было никакого смысла. Кому-то понадобилось возбудить эту злобу, – кому-то понадобилось затемнить этот смысл.

Понадобилось призвать русских людей друг на друга, возбудить сословную или так называемую «классовую рознь», хотя с чужого голоса русские люди впервые выучились или, вернее, начали выучиваться произносить слово «класс». Как будто князья русские не на тех же врагов вели Русь, на которых шли и простые ратники, вчерашние хлеборобы; как будто вообще «езда» не состоит из ямщика, коней и саней...

Но кому-то понадобилось распрячь русские сани и кто-то устремил коня на ямщика, с криком: «Затопчи его!» – ямщика на лошадь, со словами: «Захлещи ее!» – и поставил в сарай сани, сделав невозможную «езду».

Кому-то понадобилось приостановить русское движение, кто-то явно испугался его и начал нашептывать ядовитые шепоты о классовой розни. Кто-то давно начал мутить и возмущать Русь. Не «классовые интересы» занимали этого врага Руси. Ему нужно было ослабить всю Русь.

И вот Русь повалилась и развалилась, как глина в мокрую погоду.

Еще вернее будет сравнение, если мы скажем, что она развалилась под идущим железнодорожным поездом.

Со временем история разберет и укажет здесь виновных. Хотя и теперь уже очевидно, что в Государственной Думе четырех созывов не было с самого же начала ровно ничего *государственного*; у ней не было самой заботы о Государственном и Государевом деле, и она только, как кокотка, придумывала себе разные названия или прозвища, вроде «Думы народного гнева» и тому подобное. Никогда, ни разу в Думе не проявлялось ни единства, ни творчества, ни одушевления. Она всегда была бесталанною и безгосударственною Думою.

Сам высокий титул – «Думы» – к ней вовсе не шел и ею вовсе не оправдался. Ибо в ней было что угодно другое – кроме «думанья». Образование так называемого «прогрессивного блока» в ней было крушением последних *государственных* надежд на нее.

Все партии соединились, даже и националисты, даже и правые, чтобы *обезгосударить* Россию, сделать из нее толчею так называемых «общественных элементов» или общественных сил, не руководимых более одною государственною силою и национальным интересом.

Завершающая формула этого общественного движения, выраженная в требовании «ответственного перед Думою правительства», была особенно интересна ввиду того, что сама Дума обозначалась с тенденцией или с возможностью предать всю Россию врагу, с которым эта Россия находилась «в состоянии войны». Большого абсурда, большей нелепости, кажется, не встречается во всемирной истории и в игре политических сил и страстей.

Последствием было то, чему мы были свидетелями эти 14 месяцев.

Россия обезгосударилась, но и вышло кое-что непредвиденное: она перестала кому бы то ни было и чему бы то ни было повиноваться. Она начала просто распадаться, деформироваться, переходить в состояние первобытности и дикости. Так называемой «русской культуры», от имени которой было предъявлено столько требований, – как не бывало. Зовущий к ответу перед собою остался сам без имени и без лица.

России нужно строить сначала, моля Бога об одном, чтобы это была летаргия, а не смерть.

Так-то мы встречаем праздничек Христов. И колокол зазвучал сегодня в двенадцать часов ночи так печально, с такими дрожащими в себе звуками, как он не звучал ни однажды в тысячу пятьдесят шесть лет изжитой нашим народом истории. Самое страшное из всего, что это оказался и не «народ», а какие-то «люди».

– Чьи это люди? – спрашивают иностранцы и отвечают насмешливо:

– Мы не знаем.

Вот поистине состояние, неизвестное еще в географии.

ИДИЛЛИЯ НА ВУЛКАНЕ

...Я не преувеличиваю, я видел. И в словах моих нет ни минуты воображения.

Но сперва зрительные, осязательные и пр. впечатления. В комнату мою, в «кабинетик-спальную», какую Бог послал, входил, сутулясь весь и весь конфузясь, старичок лет 55, – близко от 60-ти.

– Аксенов. Живу по вашей же улице, наискосок лавочки по Вифанке... Вифанка – это длинная, тягучая с углами, улица в Сергиевом Посаде, пересекающая весь Посад, «но по сторону» от крепости-Лавры, с заключенными внутри ее собором, монастырем и Духовною академиею.

Я устало встал. Старичок держал в руках письмо.

– От моей жены, которая лежит больная. Но как только встанет, она тоже будет у вас. Она сотрудница «Вешних Вод», – журнала студенческого, где и вы участвуете. Она там ведет рассказ «Из глубины веков», – в беллетристической форме ознакомляя читателей с египетскою жизнью...

– С египетскою жизнью? – удивился я, невольно заинтересовавшись темою, с какою сроднился вот уже двадцать лет. – Но это так трудно... Такая огромная литература, полная противоречий. Как она справляется?

Я был уверен, что это что-то если и не пустое вовсе, то и не серьезное... Тут трудится Крыжановская, теософы, дамы... Тут сфинксы, пугала и колдовство. «Ах, зачем преждевременно копаются эти копуши, нарушая священное молчание, которое так шло и идет к Египту, так хорошо укрывало и укрывает Египет».

И я лениво распечатал письмо.

Сотрудница журнала, долго не получая от редактора его, молодого консерватора М. М. Спасовского, никаких писем, извещений, уведомлений, – просила меня уведомиться, в каком же положении журнал, «выходит» ли, «печатается» ли что-нибудь. Ах, «журнал» тоже «фабрика», а все фабрики теперь остановились, и журналистика, как и «газетное мастерство», испытывает теперь, едва ли не ранее всех ощутила на спине своей и, что окаяннее всего, в брюхе своем «ликвидацию буржуазного строя»... Сотрудников много, но «где печататься»? Издатель как «буржуй» посажен в тюрьму за «преступления буржуазного строя», рабочие разбрелись, и наборщик стоит у ворот тоже, впрочем, остановившейся ткацкой фабрики. Паралич прошел по двигательному нерву «производства», увы, не умертвив желудочных нервов и всяких остальных окаянных «чувствующих» нервов того же самого «производства»... И вот она пишет, спрашивает, плачется и оговаривается:

«Вы в своем «Апокалипсисе» призываете нас обратно к культу финикийского солнца. О, силы небесные!.. Активные элементы нашей Государственной Думы сделали то, что страницы русской истории откинулись назад на двести лет. Каким образом могла вам прийти мысль перечеркнуть страницы уже всемирной истории и откинуть все назад на 2500 лет. Я потрясена и как во сне, полном фантастических видений»...

Прямо так горячо. Но «слог», «стиль» не обнаруживают «невежественного копания» в Египте, а говорят о какой-то жизни души, сливающейся или возможном ее слиянии с древним миром. «Финикийский культ солнца»... И я не мог же не поразиться, до чего странно, что евреи, семиты, которые так часто в своей истории уклонялись и имели какую-то сомнамбулическую почти склонность уклоняться к этим финикийским «солнечным культам», теперь в Европе, в чужих странах, в чуждой себе истории, преодолевают в количестве маленькой горсточки народца колоссальное население целой части света! Преодолевают; и явно, активно овладевают средствами нашей цивилизации, не ими начатой, не ими два тысячелетия веденной. Что за тайна? Явно: тайна силы! Какой? – Органической, живой. У них солнышко горит в крови, а у нас какая-то мокрая лужа, «хлад и сон сердец». Не забудем, что не только в политической экономии и социальных движениях царят Маркс и Лассаль, но и в философии царственный пункт принадлежит Бергсону и Когену. Это что-нибудь значит, что-нибудь выражает собою, человек – что стоит? Но против солнышка как поспрашиваю. И в «Апокалипсисе» я стал искать сил солнца, его великих растительных, зиждательных сил. «Ах, если бы на Руси загорелось настоящее солнышко». «Ах, если бы Европу осветило, – осветило и просветило, – полное солнышко, горячее солнышко. Солнышко юга и вот тех финикийских и халдейских стран, цивилизаций, историй».

Я расспросил мужа, – и оказывается, кроме «этой дребедени» – немецкого, французского, английского языка, – жена его читает еще на пяти языках; что ей принадлежит перевод Сервантеса, вызвавший одобрение Академии наук, и некоторые другие классические переводы из Вальтер-Скотта и Бичер-Стоу. Историю же Египта, Финикии и всего Востока она любит беззаветно и занимается ею много лет.

«Это все в Сергиевом Посаде, – подумал я, – где, кроме колоколов, ничего не звонит и никто не думает».

Расспросил и мужа о его прошлом. Род из богатого московского купечества. Прадед или дед его, однако, при занятии французами в 12-м году Москвы «сжег все свои дома!» И с тех пор род ослабел, «и мы вот с женой занимаемся литературой». «Она пишет, а я уж держу корректуру и кое в чем помогаю».

Мне мелькнуло что-то героическое, и я решил познакомиться. «Тут, на углу возле лавочки потребительской», – на заднем дворе и куда-то в яму, приютилось, как ласточкино гнездо из глины, помещенье-флигелек, всего в одну комнатку с прихожей. Платят 20 рублей. Все чисто, литературно. Оказывается, своим переводам она и счет потеряла. Работали «они» долго на одну богатейшую московскую книгоиздательскую фирму, с которою, увы, разорвали связь, когда она начала издавать «аховую» социал-демократическую газету с откровенным сивушным запахом. «Нас звали и туда, для работы, но мы оба – монархических убеждений». «А затем дело расклеилось и с переводами».

Совсем герои. И такие маленькие. Но я не сказал об «ней». В противоположность мужу, мягкотелому, крупному, чуть-чуть обломовского русского типа – она маленькая, худенькая, и вся горит, вся непрерывно пламенеет.

«Мы идеалисты и ни на какой компромисс не пойдём». – «За убеждения свои я всегда готова умереть. Он – тоже». Но я наблюдал связность «их двух»: в мелочах обращения, ставленья самовара, в обращении – совершенно старорусские помещики, как их описал еще Гоголь в незабвенном Афанасии Ивановиче и Пульхерии Ивановне.

«Ах, русские люди, русские люди! – думал я. – Какие вы странные, какие вы славные, – какие вы мучительные *для мысли*». Писательскую богему я давно знаю и знаю, до чего в конце концов и под давлением главным образом нужды ремесло залило в ней всякое искусство; и, что грустно особенно, – залило *художественную душу*, порыв к идеалу... Как и «правые» писательские, домашние, семейные – не из лучших, не из завидных...

Я не знаю, что говорю, и, главное, – к чему. Мне хотелось сказать о русской интеллигенции. Развевали бури ее мечты. Их надписи на знамени стерты, и самое знамя вывалилось или вываливается из рук. Во всех углах и на всех перекрестках ее клянут. И повинна в бедах отечества она неисчетно. Однако если спросить: «Но где же и в *каком* спасение?» – то только и можно ответить: «В этой же интеллигенции, и ни в каком другом классе, формации населения. Ибо все прочее только косо и недвижно. Колокол без языка. Тот Иван Колокол, который повалился. Интеллигенция есть единственный нерв нашей жизни. И вся боль этой жизни, страдание и мука – в ней. И нам от нее уже некуда уйти, исторически некуда. Книга есть все-таки книга, идея есть все-таки идея, культура всемирная и всечеловеческая есть все-таки именно всечеловеческая и всемирная культура. Из связи времен и всемирного нерва нам нельзя выкинуться. Но для этой больной и страдальческой интеллигенции прежней приходит пора великой переработки. С тою же бесконечной энергией, с какою она уложила век бытия своего на разрушение, – одно разрушение и только разрушение, – доведя его до «Дна» Горького и «Ямы» Куприна, до последней трухи последней бессмыслицы, – с таковою же бесконечною энергией она должна возродить «Феникса из пепла», начать восстанавливать, воссоздавать. Мы довели историю свою до мглы, до ночи. Но – перелом. К свету, к рассвету! К великим утверждениям. К великим «да» в истории, на место целый век господствующих «нет».

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ЛИСТЬЕВ

Запущенный сад

Можно жить *ягодкой*. И можно жить *словом* об ягодке. Можно жить *земледелием*. И можно жить *словом* о *земледельческом классе*. Я был тринадцать лет учителем гимназии в провинциальных городах Орловской и Смоленской губерний. Раньше был учеником Костромской, Симбирской и Нижегородской гимназий. И меня поражало, что во всех этих *шести* средних учебных заведениях не было никогда ничего об *ягодке* и о *земледелии*... Как будто Россия не была никогда

садовою и земледельческою старою; как будто она даже была расположена не на почве, а висела в воздухе... И вот эти «висячие сады Семирамиды» или, вернее, мифология о них произрастала единственно в наших учебных заведениях и единственно выращивалась в думах наших несчастных, заброшенных гимназистов. «Заброшенных», несмотря на множество опеки, постоянные ревизии, несмотря на двойной и тройной ярус и пресс наблюдения и наблюдательности.

Младенческая страна. Кто мог бы сказать, что Китай по его культуре стоит выше России. Между тем Китай по культуре стоит гораздо выше России. Там были народные и вместе государственные мудрецы Конфуций и Лао-дзы. У нас был один мудрец, украинский Скворода; но и тот с дней юных погрузился «в мистическую философию», т. е. старался на счет обедни и вкусов к ней. Говоря обобщенно. Ибо что крестьянину до обедни, когда у него на огороде Чертополох растет...

Сахару нет, и его не выдают «по карточкам», а по своим ценам нельзя достать и за двадцать рублей фунт. Потому я выпросил: 1) за 50 р. в месяц право собирать ягоды в саду, который мне показался (ошибочно) очень ягодным, 2) или, так как дом очень интеллигентный и торговать ни за что не хотел, — выпросил тоже право за подарение всех своих сочинений. Приняли интеллигентные садоводы только второе. Не имея же сахару, я решил побаловать домашних питьем чая и кофе с малиною, смородиною и клубникою. Я сказал, что буду сам приходить с десертною тарелочкою и собирать к утреннему кофе и к двум чаям, днем и вечером. Я уже предвкушал наслаждение самого сбора. Но, как и сказали мои соседи, сад оказался обманчив. Он умеренно велик, и особенно много в нем малиника, черной и белой смородины, гряд восемь клубники и десятка полтора яблонь. Но в момент уже уговора клубника «проходила» и, собственно, я рассчитывал на одну малину. Но хозяйка сказала: «Она суховата и мелка». Собственно, предложение мое вытекло из «приглашенного чаепития», когда глубокая тарелка была верхом наложена душистою, крупною белой и черной смородиною и необыкновенно сладкою клубникою. Тут-то я и решил: «Мы уже все лето без сахара; омерзительный так называемый «Ландрин» (конечно, обманный по русскому обычаю) на патоке и замусоренный — отвратителен. И я решил перейти на «свежие ягоды».

Но, увы, и оказалось, что действительно не только «пятидесяти рублей ежемесячно», но даже и «моих сочинений» едва стоит. В чем же дело? «Сад цветущий». Сегодня я собирал в нем ягоды, «сам», — и с таким наслаждением торопился, спешил, но... Сад оказался «выродившийся». Что такое? Никогда не слышал термина. Столько гимназий прошел, столько учился, знаю «Наля и Дамаян-ти», «Рустема и Зораба», «Ундицу», как равно Сократа и Софокла... И впервые на 63-м году услышал термин «выродившийся сад» в России, где «что ни дом — то хоть и маленький садик»... *А есть, к счастью, и с дрожанием души (в голодный год) говорю, — есть и пре-о-гром-ные сады, до десятины величиною...*

Да что, наконец: есть и *инстинкты* садоводства, не лишена их, или по крайней мере не совершенно лишена и хилая или уж очень младенческая Россия. Не могу забыть, с каким удивлением я услышал от учителей Елецкой

гимназии на вопрос о толстеньком и, казалось, вечно спящем на уроках трехкласснике Быханове: «У его матери – превосходное садоводство в соседнем уезде; и не только из нашего уезда, но даже из других губерний жадно и охотно выписывают от нее в свои сады молоденькие яблони и вишни». . . . Значит, *целое заведение*, и в гений женщины вошло не только начать его, но и «организовать перевозку деревцов», и т. д. В своем роде – практический университет садоводства, которым и воспользовалось бы государство, если бы имело у себя когда-нибудь Конфуция или Лаодзы в наставниках. Но, увы, оно имело только «мистического» философа Сквороду.

Суть же сада, с которого я сегодня собирал ягоды, и суть «вырожденности» его заключалась в *перерослости и зарослости* его. И для того чтобы побороть это, надо было вырвать «через одну» прутья малины. Чего проще объяснить, чего проще сделать. И ягоды были бы вдвое крупнее, сочнее, вкуснее. «При полной же отделке сада» с того количества его, какое было у меня перед глазами, вполне можно было (продавая продукты) питаться целой семье круглый год.

Да, но для этого надобно бы было развести «китайскую культуру», высшую на нашей планете земледельческую культуру. «Сам Богдыхан, сын Неба, ежегодно проводит плугом борозду и засекает ее зерном риса». Высший пример для низшего. Все – в иерархии. Все стройно. В недавнее столкновение с Китаем Бог не допустил России «завоевать Китай и разделить его с европейскими союзниками своими»: потому что Он не захотел допустить, чтобы народ почти наиболее глупый покорил умеренно мудрую страну.

* * *

Солнце

Милому Ховину, так сумевшему понять меня
и защитить, как никто еще.

В. Розанов

Музыки, музыки.....

Разве Вы не слышите, как звенит солнце.....

И не видите, что лучи его *езде* мелодичны.

И вот они входят в цветок и делают его музыкальным.

И в человека: и тогда он прекрасен.

В улыбке и в тембре голоса.

Ах, так вот отчего святые – в *солнце*. Венчик на голове, венчик на голове: какой инстинкт заставил всех людей, все народы, все религии окружить головы своих «любимых» – солнцем.

Таинственные соотношения

Берегу как «зеницу ока» прекрасную, даже прекраснейшую книгу Иллюстрова: «Русский народ в его пословицах». Прочел о сборнике «Русских сказок» Смирнова (хотел бы очень получить от автора в обмен на свое сочинение) статью Крючкова в «Книжном Угле». Там же в *первую* голову названным прочел об Ончукове, собиравшем, должно быть, «Онежские былины». Ончукова я лично знал. Работал в «Нов. Времени». Молоденький, – и лет 6–8 назад, он не имел бороды и усов и выглядел совсем мальчиком. Задумался... И сказала мне страшная вещь: «Э, народ болтун. Праздный, бездельный народ». Подпирает эту мою мысль-наблюдение, сказанное мельком у нас за чайным столом Вас. Вас. Андреевым: он ездил с оркестром балалаечников в Англию, как бес умен и наблюдателен и, угощая меня из золотого портсигара душистою папироской, сказал: «В Англии совсем нет песен. Народ не поет. И никаких народных, деревенских инструментов. Мой оркестр и все мое предприятие не могло бы осуществиться, если б я родился в Англии. Но я родился в России, самой музыкальной, самой песенной стране в мире». Шейн, еврей хромоногий (раз видел), всю жизнь пространствовал по русским деревням, собирая тексты и музыку русских народных, по преимуществу бытовых, свадебных и вообще обрядовых песен.

– Совсем дрянь народ. Какой же *толк* из него может выйти, раз он все поет, музыканит, сказывает сказки и шутит прибаутки.

Решительно надо бы собрать не *серьезные* пословицы, а прибаутки русского народа. Тогда балаган русской жизни или «русская жизнь как в балагане» – восстала бы в полном наряде.

«Паршивый народ», – подумал я отчаянно. И, оглядываясь на свою жизнь, сказал, затаил: «От того-то, вот от чего вся жизнь моя прошла с полной бесплодностью, с бесплодностью для себя и для *окружающих*, что я в детстве слушал, как молоденький портной нам, детям, рассказывал сказки, потом, уже, поступив в гимназию, зачитывался сказками бр. Гриммов и, наконец, перешел к философии, но и ее понимая, как «сказку о мире», которая просто мне наиболее нравилась».

Отчаяние... Ни философом, ни ученым, ни политиком такой народ не станет.

И мы прогуляли царство. Ах, так

Вот где таилась погибель моя –

как поется в «Песне о вещем Олеге».

Англичане же, *первый деловой народ в мире*, не имеет просто песен и выписывает музыку из-за границы. Зато какие чудовищные станки. Фабрики. И вся стоит на каменном угле.

– Золотая земля. Бриллиантовый народ. У них и Бэкон и его «Instauratio magna», «De augmentis scientiarum» и «Novum Organon»*. Да, это уж не «О понимании» Василия Васильевича.

Я плакал.

И царство наше свалилось так же, как не появилось философии.

Лучина ты моя, лучина,
Лучина березовая.

И дымит, дымит она. Пока прядет пряха шерсть, чтобы связать чулки мужу. Вонючие. «Нет, Селиваном от Руси с Владимира Святого пахнет». Я плюнул.

Плёвое царство. Плёвая история. Я вспомнил книгу Чаадаева в великолепном издании Гершензона и в более скромном издании Кошелева, которое купил еще студентом под Сухаревой (Главный, *прелестный*, «Книжный Угол» в Москве, теперь, верно, уже секвестрированный). Впрочем, это я *Киреевского*, Ив. Вас., купил, в издании славянофила же А. И. Кошелева. И смешал с Чаадаевым, так как Гершензон же издал и Киреевского в «Пути». Все путаю, путаный философ и путаный писатель. Ну, так как же: Чаадаев, Киреевский. Явно, Чаадаев прав с *его отрицанием России*, которая умеет только пускать сопли на ту дудку, которую держит во рту.

Цы-ня дудка моя
Да ух я.....

Вспомнил я великолепную музыку Вас. Вас. Андреева.

– Все русское – дым (Тургенев).

И я вспомнил *физиологически* отвратительную фигуру этого господина, как видел его единственный раз в зале Московского дворянского собрания (реквизировано?), это было в 1883 (или около того) году. Тургенев «оправдывался» перед студентами, а студент Викторов, медик, с чудовищно большим венком, стоя задом к Тургеневу и напирая на него этим задом, говорил «к публике речь», миря его с этой публикой. Все зрелище было до такой степени отвратительно, за студентов до того было стыдно, что они не сумели выбрать никого «для сей торжественной минуты» лучше, чем этот неделикатный Викторов с его крикливой, пошлой, глупой речью...

Кто его выбирал? Кто его выбирал? – спрашивал я мучительно вокруг.

Никто не знал. Без сомнения, он «назначил сам себя», как хвастун, как нахал, – и затем какой-нибудь кучке политиканов-медиков предложил «утвердить себя». У нас нет «Nabeas corpus», «Magna charta» etc.**, мы в истории только «бедные импровизаторы», как и эти нищие итальяшки («Египетские ночи»).

Физиологически отвратительное Тургенева заключалось в том, чего совершенно не видно на портрете, как известно – скорее поразительной красоты, гармонии и изящества: его крупная голова сидит не только на более круп-

* «Великое восстановление <наук>», «Об успехах науку», «Новый Органон» (лат.).

** «Закон о неприкосновенности личности», «Великая хартия вольности» и т. д. (лат.).

ном, но – на неизмеримо более крупном теле, которое точно все распухло, как у покойника-утопленника. Тело его, фигура его до того огромна, точно это какая-то мебель, а не живой, настоящий человек; точно это «пространство человека», а не его обычная, нам привычная фигура. «Этот человек мне застит глаза», «этот человек застит солнце, – позвольте, мосье Jean, мне за вами ничего не видно», должна была говаривать Виардо, особенно в приемные дни, когда она должна была рассматривать, видеть и следить за гостями.

И вот этот пухлый господин сделал столько же зла, сколько и тощий Чернышевский. Оба били в одну точку, разрушали Россию. Но в то время как «Что делать?» Чернышевского пролетело молнией над Россией, многих опалив и ничего, в сущности, не разрушив, «Отцы и дети» Тургенева перешли в какую-то чахотку русской семьи, разрушив последнюю связь, последнее милое на Руси. После того как были прокляты помещики у Гоголя и Гончарова («Обломов»), администрация у Щедрина («Господа ташкентцы») и история («История одного города»), купцы у Островского, духовенство у Лескова («Мелочи архиерейской жизни») и, наконец, вот самая семья у Тургенева, русскому человеку не осталось ничего любить, кроме прибауток, песенок и сказочек. Отсюда и произошла революция. «Что же мне *делать*. Что же мне, *наконец*, *делать*». «Все – *вдребезги*»!!!

* * *

Колебания мира

.....
.....
Полнокровный
.....
.....

.....
.....
Полон крови
.....
.....

.....
.....
Напряженный
.....
.....

*(Вспоминаю атласы ученых экспедиций
в Египет).*

.....
.....
Бледный лик
.....

**И смиренная тужурка
И смиренный пиджачок.**

(Эстетика Конст. Леонтьева)

* * *

Из последних листьев

Одно было золото – сердце, ум.
Но – ни ног, ни рук.
И сказал мир: куда же он, когда не может работать?
И к чему, когда не может быть на побегушках?
И воззвал к небу: Господи, помоги!..
Оно сжалилось: и прибавило: *писанье*.
(Я).

* * *

Если у тебя выпадет, дружок, поудобнее минутка к вечеру, – когда тени гуше и длиннее, и тебя не заметит ни проходящая жена, ни пробегающие дети, – сядь и отдохни в уголке.

Птичка летала...
Птичка устала...

Ты тоже «я» среди мира. Побудь «сам» и «один». Вынь хлебца, запасенный кусочек. Посоли «пережеванной солью». И отдохни просто и эгоистично.

* * *

В *безмолвии* растений есть особая загадка, прелесть и глубина. Тогда как животные мычанием, ржанием, бляением и щебетанием (птицы), вообще этим *очевидным началом говора человеческого*, нарушают вот эту безглагольную неизъяснимость трав и деревьев.

Замечательно, что обрезание Богом Авраама совершилось по типу деревьев и трав, а не по типу животных. Никакого глагола. Полное безмолвие.

«Расти».

Но и это даже не выговорено.

В этом отношении, в этом сравнении – как болтливо Евангелие. «Болтливое Евангелие». Кто смел бы сказать? Но ведь это так?

И эти многоречивые послания Апостольские. Ой, ой, ой. Прямо – Сорбонна...

* * *

Космогоническое «разрыв-трава»

Не может, не может, не может быть *двух заветов*...

Если «два завета» – два Бога, дву-Божие. Две воли, дву-мыслие, два созерцания.

Как же жить? Боже, научи. О, и этого нельзя сказать: нельзя даже произнести «научи», а только можно другое:

Который же из вас...

Ужасно; ах, так вот в чем «падение Царства». Царство, которое *тянется на-две стороны, – разрывается.*

Вот в чем дело. Бедная Русь.

И ты «полу-делала» и «не доделывала». Начало активности – и бесконечность. Начало пассивности – и тоже бесконечность. Конечно, есть сон и бодрствование. Но самый сон – нужен, как укрепление к бодрствованию. Т. е. самого бодрствования как-то недостаточно, и мы «высыпаемся», чтобы «подпрыгнуть». Мы же, Русь, засыпали, просыпались, пробуждались, чтобы только «перевернуться на другой бок».

И вот, рассыпались. Так понятно.

* * *

Тайна в музыке песнопений

Весь красивый, изящный – он вошел к этому умному юноше с страшно бледным лицом, к которому я пришел за одной нуждой. Он не ожидал встретить меня там, и, выйдя в переднюю, этот не добрый юноша и тот красивый, духовный долго шептались. Я обоих очень любил. Но, наклонив голову, как-то прошептал:

«Нé-бо врагóм Твоим тайну повем, ни лобзание дам Ти яко Иуда. Но яко разбойник, исповедую Тя: помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем»*.

Вошедший был уже не в той темной, поношенной рясе, в которой он постоянно ходит, а в белой, чистойшей и как-то сверкающей (отлив). Он был весь кокетлив, очень оживлен, – и, к изумлению моему, – резко как на «ложь и оклеветание монашества» начал возражать против моих брачных теорий, настаивая, что церковь нисколько «не противится браку – как благословенному *еще в раю*», а что моя теория монашества, изводящая этот институт из природы «людей лунного света», – совершенно *ложна*.

Ошеломленный, я не возражал ему, хотя он же в одном письме писал мне, что один «епископ на покое» без всяких уговоров со мною высказывал ему о монашестве точно такой же взгляд. Епископ этот был очень уважаем «этим» им, – и я был уверен по этой ссылке, что и корреспондент мой не иначе думает. Да он так и думал, я знаю. Длинное письмо его – в «Приложениях» моей книги «Люди лунного света».

Разговор длился около часу. И, уходя, – раздраженный после отказа того богатого юноши, который сжался дать мне займы сто рублей с «отдам че-

* Торжественная молитва, читаемая у православных в самом конце литургии, пред толпою причащающихся и как бы от лица самих этих причастников, выделенных, обособленных, замирающих в страхе (сейчас начнется их причащение) и нарядных. Тут все трогательно, умиленно и живописец Богданов-Бельский, питомец С. А. Рачинского, нарисовал большую картину этого момента литургии, конечно, под вдохновенным разъяснением Рачинского. Р-ский был очень к нему привязан.

рез четыре дня», – все шептал слова знаменитого предпричастного стиха. Гипнотизируемый звуками и особенно мыслью этих слов, я вдруг почувствовал в самой музыке и тоже в смысле – «туда», «сюда», «опять туда» – сгибы змеи.

Придя домой, усталый, – я нашел грустное письмо прекраснейшего курского врача, – не практикующего, – «не очень верного мужа не очень верной жены» (разошлись), как он писал мне. Добрый, почти старый, он доживает век с сыном. Больше всего любит церковь и «старичков русских, из купцов». Весь милый и прекрасный. Любит тоже Франциска Ассизского. Читает Платона и Филарета. Меня тоже очень любит, хотя мы ни разу не виделись, и прислал мне чудный томик «Северных Цветов» Пушкина и Дельвига. Он весь правдив, прекрасен, страдает о разрушении Руси этими и заключил письмо великой скорбью Апостола Павла, сказанною в знаменитом стихе:

«Вижу бо доброе и одобряю: а последую худшему». «Video meliora proboque, deteriora sequor».

Я сел в задумчивости и долго думал. Как струйки дыма (курю махорку, подлинный табак в Посаде дорог), вилась во мне мысль. И подумал:

Как удивительно, невероятно и удивительно, что в церковной музыке и в самом сгибе слов церковных – туда и сюда, вот еще загиб шейки, и головка плоская лежит, язычок двоящийся змеи. И если в самом деле Бог рассудил Врагу Своему, врагу Вечному, – «ползать на чреве», то отчего в песнях церковных и в ходе церковной мысли, совершенно независимо от намерения авторов их, чувствуется присутствие этого же Врага Рода Человеческого и Врага Божия.

Опять вздохи, опять стенания. Да. Доктор-то написал мне не тот текст из Апостола Павла, а другой:

«Боже, кто избавит меня от сего тела грешного». Но я ответил доктору:

– Отчего в христианстве не появлялся никогда Иов, – это прямое, честное мужество и против Бога? Точно Христос стеснил нас невероятным стеснением. Да и как ведь: Он такой Благой Учитель, что навздыхал с человеком достаточно; так что когда человека жгут или гонят за Него, то он не может даже пожаловаться Ему, когда он все вздыхал и вздыхал по человеку.

И вот ропот был возможен: против Бога Израилева. Но Благой Учитель предупреждал и самый ропот.

А тяжело. Иногда – ах, как тяжело. На другой день молодой и гениальный (так редко!) священник пришел ко мне... к удивлению – отслужить молебен.

Опять «туда-сюда», так как всего назад тому дня за четыре он решительно отказался это сделать за недосугом. У нас – все ссоры или, вернее, ссорчивость. Грубость и выкрики, в сущности, от нужды. Он был опять в скромной рясе и уже не так красив. И шепнул мне торопливо:

– Вы на меня сердитесь?

– Немного, – ответил я сухо. Я гордился от отречения его в присутствии «друга» от мыслей, какие он в письмах ко мне, очевидно меньшему другу, явно разделял.

Один живописец, – не Васнецов, а другой, представил его на великолепной огромной картине идущим с «интеллигентом» в пальто. Черту гения в живописце (он вполне гениален, гораздо больше Васнецова) составляет та разительная особенность, что гениальный священник и вовсе не гениальный профессор (без «ноумена» и пропасти в себе) несколько отвернулись друг от друга, хотя в то же время священник явно ведет его. Тут живописец выразил ту же черту, какую я заметил в музыке церковной и неизъяснимых мыслях церковных. И выразил, конечно, сам не понимая, «что, как и почему». Но отметив изумительным движением кисти «туда-сюда». «*Video meliora proboque. Deteriora sequor*». Интеллигент идет, вдохновенно подняв глаза. Священник же опустил голову, и, кажется, глаза его совершенно не заметны. Ныне, через недолго времени, – «интеллигент» уже также священник. Простой, добрый, ясный. Священник же как будто в задумчивости и о другом тексте ап. Павла: «Кто избавит меня от сего тела грешного».

И я подумал еще вдобавок ко всем текстам и не текстам: какие пропасти есть в человеке, и – в мире.

Над ним лазурь...
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в буре есть покой.

«Туда-сюда». Или, как говорит Апокалипсис о священных животных: «и ни днем, ни ночью они не знают покоя».

* * *

«Есть» и «нет»

Бесшумно несутся миры, и нужны были тончайшие инструменты, нужно было в жерле телескопов протянуть крест-накрест две паутинки (от паука нить) и 40 лет осторожнейших наблюдений Тихо де-Браге, и потом еще Кеплера, изобрести дифференциальное и интегральное исчисления и прийти Копернику и еще Ньютону, чтобы сказать с изумлением, перекрестясь, как перед чудом:

Господи, земля движется!
Господи, она не недвижна!!!

И – крестные ходы и *Te Deum laudamus**.
«В самом деле»... «Эврика».
«Наконец-то... о, наконец, познали, догадались».
Но

я кашляю.

Это сразу заметно: квартирная хозяйка говорит: «У вас кашель». – И жена: «Ты – кашляешь». И дети: «Ты, папа, не дал спать: все кашляешь».

* Хвалим Тебя, Господи! (*лат.*)

А между тем принял анисовых капель, и кашель прошел.

Таким образом, самые *пустяки* всегда в высшей степени заметны, осязательны, бьют в нос. А «от чего мы зависим», «что составляет самую суть мира», без чего «мир не есть», то это все выражено столь тихо, неуловимо, неисследимо: вот было необходимо «пройти пяти тысячам годам», чтобы человек наконец, после Тихо де-Браге, Кеплера, Ньютона, Коперника и микрометрических измерений, за целое столетие наконец – *догадался*.

Увидел. Понял!!!

В 24 часа земля обернулась. Но если бы «остановилась» и «все тихо»: то весь Атлантический океан выплеснулся бы из берегов и задавил Европу и Африку, а Великий – залил бы Америку. И – вновь «ничего *не бе*» и мир бы *кончился*.

Тихо несутся миры

собственно оттого и *для того*, чтобы человек *не беспокоился*; что кто-то бережет его *покой и бытие*.

А что

Я кашляю,

то это – выразительно и громко потому, что это вообще – не нужно.

Есть кто-то действительно устроивший весь мир, который до того безумно любит дитячю-человека, глупенького, со страстями, с пороками, что устроил все

тихо, тихо,

чтобы он даже не проснулся никогда и не закричал с испуга.

И не скрыл только кашля человека, ибо «об этом он может не беспокоиться».

Подобное, очевидно, происходит и в истории, и мы замечаем одни «кашли». Этот кашель, правда всемирно-шумный и всемирно-иллюстрированный, есть так называемая «человеческая история».

«Человек кашляет и немного принимает мятных капель».

Например, может ли прийти кому-нибудь на ум, что, конечно, «ноумен» человеческой истории сохраняется, сохраняется все «отношение к Тому, Кто создал мир» – и не более и не далее и не сложнее – *младенческое отношение к Отцу Небесному*. И что Он, конечно, бережет дитячю-человека. Но что поэтому-то именно никогда так называемой «христианской истории» не было: а только написаны об этом томы и томы, библиотеки и библиотеки книг. И – поэзия, и – мифы, и – лавры. Но что это – «в хвосте кометы» и есть просто «разреженный пар» и «легче воздуха» и просто «невесомо».

Нет.

Есть.

И «нет» господствует.

А «есть» – невидимо.

«Что-то такое случилось» – несомненно.

Но «случившееся» нельзя открыть никакими собственно инструментами, ни даже инструментами Тихо де-Браге.

Есть «миропомазание». Да. Но ведь не «миропомазанию» же учил Христос. А чему он учил:

«Блаженны – нищие...»

Конечно, кто же на самом деле захотел быть нищим? Кто жжет свое имущество? И добровольно садится на дороге просить милостыню?

Брр...

«Блаженны – миротворцы».

И все желают ссор и ссорятся. Мир христианский – самый ссорчивый (теперешняя война, где *все* передрались).

«Блаженны чистые сердцем».

Ну, мы знаем, каково у нас сердце. *Про себя-то каждый знает.*

«Блаженны изгнанные правды ради».

Да, мы все лжем, и «выходить из комнаты» никто не хочет «ради заповедей Христовой».

Остается одно миропомазание. И – вот *ее*, эту прибавку человеческую «ко Христу», оно уже раздвинуло. Обряды, церемонии. Слова, слова, и – еще слова. Но ведь в самом деле – не для риторики же приходил Христос. А на самом деле и внутренне именно для риторики. «Обстоятельные слова». «Пар кометы», которые невидим и даже невесом.

«Христос приходил» собственно *не для чего*, и что Он «приходил» – то это неисследимо никакими инструментами. Ни по чему нельзя открыть, что «Он был» и «научил». Ну, а ноумен?

«Райское яблоко» и остается «яблоком». Посмотрите, Израиль – *трудился и получает*. Хочет *быть богат, и богат*. Вообще – что «хочет» – «Бог ему в помощь». Израильская история – действительна, а христианская – мнимость. Одни библиотеки, кашель и анисовые капли. *А реальное* еле обошло стороною, т. е. «история народа Божия», сохранившего от Синая «ноумен», и – реализуется, а наша – тень и небытие. В сущности – реализуется Египет, все греческое и римское, общее – все языческое. А начиная с Константина, мы произносим одни слова и занимаемся миропомазанием. Т. е.? да, Иерусалим «цел», хотя и «в развалинах», а Европа, *хотя и кажется* – цела, но есть на самом деле – мнимость, пар и невесомость.

Бесшумно несутся миры.

Это – Израиль. «О, – все цело. Пойте, пойте песни». Все цело. И пророки, и Девора – цело. Моисей – как он цел: вот и могила. Вот – и легенды. О, легенды ведь еще тверже, чем камень. Ибо в легендах – любовь, благоговение, умиление. Все живо, главное – живо. А что «живо» – об этом говорит мотылек и последняя пылинка жизни, которая никогда не умрет. А «мы», и «папы», и «императоры», и «борьба их», ведь этого воистину «ничего не было» и это только «показалось», что «было». О, – плачьте, плачьте, народы, – вы, которых воистину «не было никогда».

Никто не может отрицать той самой главной тайны сыновства, что он уже, конечно, никогда не может быть отцом. Так это выражено слишком очевидно в жизни и поведении «Сына Единородного». «Сын Предвечный –

согласно со *всем богословием* – есть *eo ipso**. «Предвечный Скопец». Беззерность есть последствие беззерного рождения. Бессеменное зачатие могло передать вид, форму человека, но беззерного только. Вечный скопец, нет, больше, опаснее: предвечный скопец. Что же в смысле *роста, будущего* – содержит он. Он именно и специфически не содержит роста и будущего. Т. е. в смысле истории. Могила истории. Могила, которая *пуста*. В которую не легла куколка. И в которой вообще нет самого обещания. Вспомним мотылька, куколку, гусеницу. Гроб, который пуст. «И пришла ко гробу (которая-то из мироносиц) и увидела, что он – был *пуст*». Это именно ничего. Это ноумен евангельской истории... Что же такое самая эта история? Пуста уже и при жизни, или – при *кажущейся жизни*: как *этого* не сказать. Отсюда – изнеможение. И что Христос, «жил и умер» как изнемогающий даже о Себе (*только* до 33-х годов и дожил), не тайна ли своеобразная? В сущности, Он вечно умирал. Но почему? Но как? Бессеменное зачатие, нет «зерна». Предвечное скопчество. Кто вообще не может быть отцом, в ком сыновство дано не в феномене, а в ноумене, – естественно, *может ли что-нибудь породить?* И он умер «не-для-рождения». Какие же «последствия»? Странно, «какие»: да – никаких. Бесплодность, – пустота. «Христианской истории» и не может быть. Т. е. христианской истории не только нет, но ее – нет предвечно и предустановленно; и уже по этому одному

Бесшумно несутся миры.

Ее никогда и не было. Все, что когда-либо совершилось на почве Европы, – должно бы уйти в могилу безвоскресную.

НАШЕ СЛОВЕСНОЕ ВЕЛИЧИЕ И ДЕЛОВАЯ МАЛОСТЬ

И опять эта славянофильская гордость, – гордость «любовью к своему отечеству», гордость «своим православием», которое так спиритуалистичнее лютеран, гордость «всею Русью», которая – увы! – от Рюрика и до нас построила столько Обломовых, Чацких (тот же Обломов фразистики и пошлости), и палец о палец не ударили, чтобы стать в своем отечестве своим гражданином, «своим» хозяином, своим садоводом, своим домостроителем.

Затем и наговорил в статье «Немного радости» грубостей немцам, которые, придя в Русскую Землю, – честно ее разрабатывали, честно удобрили русские поля, навозили Русь, пахали, «делали горчицу», в Сарепте Самарской... Я припоминаю одного немца. Это было лет десять тому назад.

Утро, звонок. И на пороге кабинета моего входит немец лет 63–65, – который крепким хорошим голосом, сев и отдышавшись, начинает такую речь:

– Я вижу в этой комнате, на противоположной стене, большой и прекрасный портрет Гёте в старости...

* тем самым (*лат.*).

Действительно: я никогда не расстаюсь с этим удивительной красоты портретом Гёте, который приобрел очень странным образом: студентом, в полной нищете (жил на 20 руб. в месяц), я тем не менее любил ходить по воскресеньям к Сухаревой башне, чтобы или купить на рубль, или хотя полюбоваться на старинные, XVIII столетия и начала XIX века, русские издания поэтов, прозаиков и философов, Ломоносова, Кантемира, Карамзина, Жуковского и «Альманахи». И вот раз я купил на целых два рубля и велел «вернуть». Продавец вытаскивает удивительный портрет Гёте, высотой в поларшин, без рамки, с неприятным желтым, как от пролившегося чая, пятном, но пятном около немецкой подписи и нисколько не повреждающим лица и фигуры поэта-философа. Взглянув, я сказал:

– Подождите завертывать (т. е. в портрет, как бы в газетную бумагу, в бумагу «на выброс»). Сколько стоит этот портрет?

– Сколько?.. Пять копеек!

– Я заплатил. Принеся домой, увидел, что он – чудный. Тонкая до прелести гравюра, нежных штрихов, тонкой иглы гравера. Взяв мякиша булки, я осторожно стал его реставрировать, счищать от пятен; затем купил рублевую рамку. И вообще привел в тот вид, в каком до старости моей он украшает комнату, в которой я занимаюсь. Старик-немец продолжал:

– Верно, вы чтите нашего Гёте?

Я заволновался. Моя мысль, не оставлявшая меня во время путешествия по Германии, заключалась в том, что хорошо бы русскому правительству экспедировать русских студентов, оканчивающих курс в университете, в Берлин – с незатейливою целью пропеть «Нох» или «Ура» или самую коротенькую «Канту прелюбезну» (семинарское, бурацкое выражение) перед памятником великого старца, чтобы на другой день, не здороваясь и не прощаясь ни с кем, вообще – непременно без всякой дипломатики, любезностей и корыстей, – сесть на поезд в Bahnhof* Friedrichstrasse и вернуться обратно в Москву, Киев и Петроград. Таковая простая поездка, где каждый выучившийся русский студент (уж извините) тупым рылом, подняв его, взглядывал бы хоть раз в жизни на настоящего человека, воспитывала бы русского юношу с чтением «все из Михайловского» и «из Шелгунова» более, чем все это пресловутое «русское чтение» и «русское развитие».

Не сказав этой своей русской мысли, – печальной мысли, я сказал посетителю своему, немцу, что чту Гёте, как чтит его весь мир. Он горячо сказал:

– А читали вы его «Разговоры с Эккерманом»?

Я читал, с перевода своего друга Аверкиева, и сказал посетителю, до какой степени много там есть глубочайших, глубокомысленнейших мыслей.

– Вот, вот... мое впечатление – точно такое же.

Извините, я отвлекся от мысли своего прихода портретом Гёте, а теперь перейду к предмету посещения, я выехал мальчиком лет 16 из Вестфалии и

* вокзал (нем.).

приехал в Россию, а в сущности – я пришел пешком, или почти пешком. Много работал, всю жизнь много работал. Терпел, трудился, всего перенес. И – разбогател.

Помолчав, прибавил:

– У меня, если вытянуть в ширину железнодорожного пути, то будет в собственности столько земли, сколько от Петербурга до Стрельны. Это хорошее состояние. И на старости лет мне хочется вернуть добродетели, – добродетели и мудрому, – русскому крестьянину то богатство, которое я выработал, пользуясь его трудом. Обдумывая, как это сделать, я пришел к мысли, что русский человек не только не менее смышлен, чем немец, но даже смышлен более его. Ума, сообразительности, даже хорошего нрава и доброго характера – всего этого русскому не занимать. Но он – ужасно темен. И вот мне захотелось помочь этой темноте. Обдумывая, в чем же она заключается, я пришел к выводу, что темна русская изба, – русская крестьянская изба, да и всякая русская изба. Идя по этому пути далее, я нахожу, что корень дела заключается в русской крестьянке. Муж на работе, в поле, пашет, косит, а зимою уходит на заработки. Кто же остается в доме его? Остается его темная, безграмотная жена, на которой лежит воспитание его детей. Между тем она не умеет не только воспитывать их, но не понимает, что такое «платок» и что значит «вытереть нос». Взгляните на гигиену, на то, от чего зависит здоровье, физические силы будущего ребенка. Она не понимает «ванны» и что значит ребенка «обмыть». Она не умеет его «кормить грудью», от чего происходит вечное перекормливание молоком и те болезни живота, от которых столько мрет младенцев в деревне. Выучить же всему этому можно примером, показом, – и вот мне думается, что самое главное и первое, чем вы должны помочь деревне, заключается в том, чтобы дать крестьянкам хорошую наставницу-руководительницу, которая дала бы и научила чисто практически всему, что относится до построения и до ведения «дома», «домашней жизни», «домашнего хозяйства». Учиться можно только от того, кто более зрел, более знает: и я пришел к вам как к русскому публицисту, пишущему в хорошей патриотической газете, за советом и указаниями, как все это осуществить, организовать, сделать. Я дам средства, но, чтобы они не разлетелись впустую, вы дадите мне помощь – в людях. Мне нужна хорошая русская женщина, которая бы восприняла эту мою мысль и – начала работать. Сперва – начиная малым и, Бог даст, – дошло бы до большого.

Так он говорил, этот немец, пришедший нищим из Вестфалии и захотевший «поблагодарить русскую землю», которая сделала его «богатым». Из дела и вопроса немца ничего не вышло. Вышло что-то смешное и унижительное для немца. Странно, как отнеслись к нему русские женщины, молодые «матушки» интеллигентного типа, к которым я рекомендовал его: «Этот старик-немец ищет какую-то русскую женщину добродетельного типа, которая бы осуществляла его планы в деревне»... «Тогда он должен обратиться в специальные конторы». Я очень извинился перед немцем, но увидел, что совершенно ничего не понимает «русская женщина интеллигентного типа»,

которая кажется, что «всю жизнь живет для народа» и на самом деле «около народа» только фразерствует, а на самом деле – ведет себя, как Обломов, Чацкий и Загорецкий.

Из мысли – ничего не вышло. Никто ее не услышал, никто ее не разобрал. Я написал длинную книгу – «Сумерки просвещения», естественно, я очень много думал о просвещении, собственно, крестьянства, «избы крестьянской». Много же говорил об этом с лицами и высокого, и среднего учебно-педагогического персонала, учебно-педагогической администрации. И что же? Все они, – если это лицо министерской организации, т. е. которым стоит «распорядиться», чтобы «дело исполнилось», чтобы «дело пошло в ход», не высказали ничего подобного, ничего и приблизительного, что высказал здравым своим смыслом, нет – что высказал глубокою своею мудростью этот немец-практик и любитель Гёте.

Просто, ясно, гениально. Жив ли этот немец теперь, – да будет навсегда благословенно его имя.

И еще был случай. Через журнал «Русское Обозрение» я был знаком с Давыдом Ивановичем Морозовым, одним из прелестнейших русских людей. Это было в 90-х годах прошлого столетия. Он стоял во главе всей фирмы, заводов и богатств «знаменитых Морозовых» (хлопчатобумажное дело, – увы, за время революции все проданное американцам). Раз я увидел, что он провожает сына, – старшего сына, мальчика лет 16-ти, за границу. Я был славянофил и патриот, и – изумился, огорчился. И сказал: «Зачем отец не держит при себе сына». «Тут – русский дух, тут – Русью пахнет». Морозовы же были и старообрядцы, ревностные к духу «старой веры». Что же мне сказал Давыд Иванович?

– Тут, на Москве и около меня, он избалуется. Посылаю его я в Германию, к моему верному другу, старому фабриканту. Отправляю с полным доверием и на всю его волю. Сын должен принять со временем от меня фабрики, и лучшее воспитание – это немецкое, которое даст ему этот благородный старый немец.

И вот я написал «о немцах» все эти дряблые, нехорошие слова, как «талантливый русский», – немного обломовец и немного Чацкий, – в статье: «Несколько радости». Написал об их «тупости», об их – «недоразвитости». Что мы будем им «петь песни» и «музыканить», а они будут за нас «работать», как и «было». Но поистине, гнило это «было». И пора вогнать осиновый страшный кол в это «было». Это-то «было» и сгнило Русь страшным гноем, от которого почти нет исцеления.

Знаете ли вы, знаете ли вы, милые и дорогие русские, больше которых я, кажется, никого не люблю, и люблю их больше всех славянофилов, – больше Данилевского, Страхова и Хомякова, – что все наше «образование», и «спиритуалистичность», и «пророчество», и «песни», и «сказки» – на самом деле «сказочки», и «песенки», и фальшивые «пророчества»... Что мы – гнили, праздны и отвратительны. Что под флагом «остроумия» мы на самом деле плоско глупы, скабрёзно глупы. Что никакой в нас «спиритуалистичности»

нет, а есть охота поболтать, поспраднословить, позлословить и, вообще, вывести еще страницу «золотой нашей литературы», которая на самом деле есть позорная литература, вся состоящая из смрада и из бесчестия.

Культура-то... она даже и не начиналась около нашего выпренного «православия», с его напевцами и распевцами... О, странность: что почти все наши «грехи» начинаются с православия и его великих изгибов... Поистине, как кости из «изгибов» змеи... Что такое – нельзя понять. Но – так. И только где нет этих «напевцев» – поле очищается, «бельмо сходит с глаза», зрение – лучше, сердце – лучше, чище. Посмотрите-ка вы, позорче: какой русский, поживя в Германии, «добре поживя» и «много в ней приобретя», – сказал бы не то, что мне сказал этот немец, а, наоборот, «изругал бы немца», вот как и я его изругал «неостроумным» и «несумным» и способным лишь к «воловьей работе». О, ужас... но я ли не «православный»? Слишком. И вот я вырываю из себя эти извивы змея – и говорю: «Культура начинается с благородного», «в частности – она начинается с благодарности». Еще частнее: она начинается с глубокого поклона земле, которая тебя вскормила, которая тебя обогатила, которая, просто, тебя приветила («привет», «ласка»). Что самая чернь черни, – ненавидение и презрение почти каждым русским русской своей земли, эта гадость из гадостей, из-за которой и погибла русская земля («нет патриотизма», «нет национального чувства», «никому из русских сама Россия не дорога и не мила»), что это ужасное чувство в своей глубокой основе коренится на том именно, что мы вообще неблагодарный и грубый народ, что мы из чужих-то народов никого не уважаем и не любим, а лишь ими «пользуемся», их «эксплуатируем», около них наживаемся и разживаемся, оставаясь плоско равнодушными к их достоинству, чести и величию. Косная, холодная, приполюсная, мерзлая земля, никому от нас воистину «ни тепло, ни холодно»: и вот в результате эта мерзлая земля и разлезлась по всем швам, как ледник и погреб, около которого развалился его сруб, его деревянная вонючая пристройка. Кому, какому народу было «тепло от Руси»? Кто согрелся в этом погребе? Кого приветила Русь? От армян до красивых грузин, наконец, даже уже своих родных хохлов, так доверчиво «предавшихся Руси», до родных же поляков, мы всех замучили и обманули, всех разорили великим разором, всех презирали, чванясь «своею государственностью», от которой вдруг полетели одни осколки, и оказалось, что «ничего – нет». Эта грубость и пошлость «государственного бытия» – она именно и отразилась раньше всего на «государственном же бытии». Тут тебе – и кол. Тут тебе – и смерть. Воистину, воистину каждый кует себе могилу, сам кует – пока живет. Можно ли, можно ли было думать, что «расцвети Русь» жизнь поляков, хохлов, грузин армян, – покажись она «красным солнышком» над всеми, от Сибири до Кахетии, до благословенных черноморских земель, до мирных и ласковых татар, чтобы все эти народы не встали грудью на защиту «приветливого солнышка», в час грозный и опасный, в час, как этот год и годы. Но на защиту «мерзлого погреба – никто не стал». Все очень рады, что «отвалились», что сруб «догнил» – всем дал свободу и дыхание.

Благородство, благодарность, и раньше всего, к другим-то народам, кто «нам помог», нас научил, нам пособил – вот что образует «судьбу народа» и его траекторию полета в истории. «Как ты – мне, так – и я тебе», «око за око», и обратно: «ты меня вызволил – я тебя вызволю». Увы, «око за око», такой, казалось бы, грубый и мстительный принцип, «брошенный в Новом Завете» и в «благодатной любви», на самом деле он есть вечный принцип всякой земной жизни, всякого земного устройства и земной связности. И мы его вовсе не «благодатно обошли», а около него безблагодатно солгали и возмутительно воспользовались им.

И вот мы все чванились над всеми народами, никого не любили, хотя некоторым и льстили, – но всех в тайне души презирали, как не «остроумных», как не «психологичных», как не «углубленных», без дара «пророчества» и прочих знаменитых даров Достоевского и Толстого... «Где же такая остроумная комедия», как у Грибоедова, и у кого же такой дар смеха, как у Гоголя в его «Душеньках». Не замечая, до чего обе пьесы грубы и бесчеловечны. Именно – бесчеловечны. Это – не красота души человеческой, это – позор души человеческой. Сказать ли, что народ, который мог вынести две эти пьесы, просто – не мог не умереть, не мог уже долго жить, и особенно – не мог благословенно жить. Кому он нужен? Это – именно погреб, мерзлый погреб. Это – ад. Ад – презрения, хохота, неуважения. Кто умеет так посмеяться над человеком, в том нет именно солнышка и, в сущности, – нет истории. «О чем мы хохочем, бесчеловечный тиран?» – «Как тиран, я – православный, я – крещен». – «Знаем мы твое крещение, Православная Русь». – «Ты крестилась в черта, а не в Бога».

Ужасы, ужасы, ужасы... Но как все справедливо. «Око за око»... Мы все «вытыкали глаз» другому, другим. Пока так ужасно не обезглазели...

<ОТ ЛУЧИНКИ К ЛУЧИНКЕ...>

От лучинки к лучинке, Надя, опять зажигай лучинку, скорей, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль.

Что такое сейчас Розанов?

Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами поднимающиеся под тупым углом одна к другой, действительно говорят об образе всякого умирающего. Говорят именно фигурую, именно своими ужасными изломами. Все криво, все не гибко, все высохло. Мозга, очевидно, нет, жалкие тряпки тела. Я думаю, даже для физиолога важно внутреннее ощущение так называемого внутреннего мозгового удара тела. Вот оно: тело покрывается каким-то странным выпотом, который нельзя иначе сравнить ни с чем, как мертвой водой. Она переполняет все существо человека до последних тканей. И это есть именно мертвая вода, а не живая. Убийственная своей мертвечиной. Дрожание и озноб внутренний не поддаются ничему осязаемому.

Ткани тела кажутся опущенными в холодную лютую воду. И никакой надежды согреться. Все раскаленное, горячее представляется каким-то неизреченным блаженством, совершенно недоступным смертному и судьбе смертного. Поэтому «ад» или пламя не представляют ничего грозного, а скорее желанное. Это все для согревания, а согревание только и желаемо. Ткань тела, эти мотающиеся тряпки и углы представляются не в целом, а в каких-то безумных подробностях, отвратительных и смешных, размоченными в воде адского холода. И кажется, кроме озноба, ничего в природе даже не существует. Поэтому умирание, по крайней мере от удара, – представляет собою зрелище совершенно иное, чем обыкновенно думается. Это холод, холод и холод, мертвый холод и больше ничего.

Кроме того, все тело представляется каким-то надтреснутым, состоящим из мелких раздробленных лучинок, где каждая представляется трущею и раздражающе остальные. Все вообще представляет изломы, трение и страдание.

Состояние духа – его* – никакого. Потому что и духа нет. Есть только материя изможденная, похожая на тряпку, выброшенную на какие-то крючки.

До завтра.

Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя странным образом тело так изнеможено, что духовного тоже ничего не приходит на ум. Адская мука – вот она налицо.

В этой мертвой воде, в этой растворенности всех тканей тела в ней. Это черные воды Стикса, воистину узнаю их образ.

* я (лат.).

КОММЕНТАРИИ

В настоящий, двадцать четвертый том Собрания сочинений В. В. Розанова вошли его статьи из газет, журналов и сборников 1916–1918 гг., а также сохранившиеся в рукописях неопубликованные статьи последнего периода жизни писателя. В томе печатается вышедший в начале 1916 г. сборник Розанова «В чаду войны».

Сохраняются те же принципы публикации и комментирования текстов, что и в ранее вышедших томах Собрания сочинений. Принятые сокращения: НВ – «Новое Время»; К – «Колокол»; Б. п. – Без подписи. Статьи Розанова в газете «Колокол» (кроме последней – 10 дек. 1916 г.) печатались в виде газетных «подвалов» под рубрикой «Литературные беседы».

В том не включены статьи Розанова этого периода его творчества, уже опубликованные в вышедших томах Собрания сочинений:

Т. 2. Мимолетное (1994) – Киоволетию 1917 года (НВ. 1917. 1 янв.); Светлый праздник русской земли (НВ. 1917. 2 апр.); В совете рабочих и солдатских депутатов (НВ. 1917. 9 и 13 апр.); Что такое народ теперь? (НВ. 1917. 20 апр.); В наши тревожные дни (НВ. 1917. 27 апр.); Письмо в редакцию (НВ. 1917. 27 апр.); Физическая сила и власть идей (НВ. 1917. 16 мая); Социализм в теории и в натуре (НВ. 1917. 19 мая); Что говорят англичане о русской революции и русском союзе (НВ. 1917. 10 июня); Заметки о новом правописании (НВ. 1917. 14 июня); Что такое «буржуазия»? (НВ. 1917. 20 июня); Голос правды (НВ. 1917. 25 июня); К разгрому библиотек (НВ. 1917. 27 июня); Запоздалое горе... (НВ. 1917. 10 авг.); Не те слова, не те думы (НВ. 1917. 16 авг.). Десять статей 1917 г. из книги: *Розанов В. В. Черный огонь* (Париж, 1991): Поганая власть или добрый совет?; Монархия – старость, республика – юность; Примитивные...; К нашей неразберихе; Сегодня утром; *Servus servorum Dei*; Революционная Обломовка; Принцип анархии; Как начала гноиться наша революция; К положению момента.

Т. 4. О писательстве и писателях (1995) – М. Горький и о чем у него «есть сомнения», а в чем он «глубоко убежден»... (К. 1916. 2 янв.); Не в новых ли днях критики? (НВ. 1916. 3 февр.); Г-н Н. Я. Абрамович об «Улице современной литературы»... (К. 1916. 12 февр.); «Святость» и «гений» в историческом творчестве (К. 1916. 6 мая); О Лермонтове (НВ. 1916. 18 июля); К кончине Пушкина (По поводу новой книги П. Е. Щеголева «Смерть Пушкина») (НВ. 1916. 13 сент.); К 25-летию кончины Ив. Алекс. Гончарова (15 сентября 1891 г. – 15 сентября 1916 г.) (НВ. 1916. 15 сент.); О Конст. Леонтьеве (НВ. 1917.

22 февр.); Гоголь и Петрарка (Книжный угол. 1918. № 3. С. 9–10); Апокалиптика русской литературы («Нужно сказать молнию...») (Книжный угол. 1918. № 5. С. 8–11); С вершины тысячелетней пирамиды (Размышление о ходе русской литературы).

Т. 7. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996) – По поводу новой книги о Некрасове (НВ. 1916. 8 янв.); Владимир Соловьев. Стихотворения (Голос Руси. 1916. 25 апр.); Бердяев о религиозных исканиях Д. С. Мережковского (К. 1916. 30 сент. и 7 окт.); Из книги, которая никогда не будет издана (Стрелец. Пг., 1916. Кн. 2. С. 105–110).

Т. 12. Апокалипсис нашего времени (2000) – ORIENS: «Детородительная религия, т. е. религия животная...» (Книжный угол. Пг., 1918. № 5. С. 7); Последние листья («Из тайн Христовых») (Книжный угол. Пг., 1919. № 6. С. 7); Странное разделение (Книжный угол. Пг., 1922. № 8. С. 9–12).

Т. 14. Возрождающийся Египет (2002) – Пробуждающийся интерес к Древнему Египту (НВ. 1916. 3 нояб.); Отенок разницы (К спору о Египте) (НВ. 1916. 6 нояб.); Психологическое осложнение иероглифов (НВ. 1916. 16 нояб.); Цивилизация «центра» и «окраин» (К духу исторического Египта) (НВ. 1916. 22 нояб.); Этнографические объяснения Египта (НВ. 1916. 30 нояб.).

В ЧАДУ ВОЙНЫ

Сборник статей «В чаду войны» вышел в Петрограде (книгоиздательство «Рубикон», 1916) тиражом 3000 экз. В Главное управление по делам печати издание поступило между 26 апреля и 3 мая. Сборник включает статьи, ранее опубликованные Розановым в газете «Новое Время».

Возрождение России (с. 7)

Впервые – НВ. 1914. 12 нояб. № 13891 под названием «В чаду войны».

Мой сынишка 15 лет... – сын Розанова Василий, родился в 1899 г.

О нашем «христолюбивом воинстве» (с. 9)

Впервые – НВ. 1914. 3 дек. № 13912.

О духе и смысле русской армии (с. 12)

Впервые – НВ. 1914. 16 дек. № 13925.

...в одном радикальном журнале анонимную рецензию на книгу Амфитеатрова... – Речь идет о журнале «Русское Богатство», публиковавшем заметки-рецензии в разделе «Новые книги». Розанов говорит о рецензии: *Без подписи.* А. В. Амфитеатров. 1812 год. Очерки из истории русского патриотизма // Русское Богатство. 1914. № 9. Сентябрь. С. 357–359. Книга Амфитеатрова вышла как 16-й том его Собрания сочинений, выпускавшегося издательством «Просвещение» (СПб., 1913).

С Рождеством Христовым (с. 15)
Впервые – НВ. 1914. 25 дек. № 13934. Б. п.

«Блаженны чистии сердцем, яко тии Бога узрят»... – Мф. 5, 8.

Голоса народные о водке, вине и пиве (с. 18)
Впервые – НВ. 1914. 28 и 30 окт. № 13876 и 13878. Первая часть – под названием «Голоса народные о вине и пиве».

«Христово Воскресение» в 1915 г. (с. 21)
Впервые – НВ. 1915. 22 марта. № 14019. Б. п.

«Днесь будешь со Мною в раю»... – Лк. 23, 43.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ 1916–1918 годов

1916 год

С Новым годом! (с. 27)
НВ. 1916. 1 янв. № 14301. Б. п.

Как «Кюнер» и «Кремер», он учит гимназистов; как Пухта, Савиньи и Блунчли, он учит студентов. – Имеются в виду учебники классических языков (Руководство к изучению латинского языка, составленное по Кюнеру. 3-е изд. СПб., 1858; Кюнер Р., Кремер Я. Латинская грамматика с примерами и упражнениями. М., 1867. Выдержали ряд переизданий); учебники права (История римского права Г. Ф. Пухты / Пер. с 5-го нем. изд. доктора Рудорффа, проф. прав в Берлине. М.: Тип. Семена, 1864; Курс римского гражданского права проф. Г. Ф. Пухты: Пер. с последнего нем. изд. М.: Плевако, 1874; Энциклопедия права Г. Ф. Пухты: Пер. с 6-го нем. изд. Ярославль, 1872; Савиньи Ф. К. Обязательное право / Рус. пер. Фукса. М., 1876; Блунчли И. К. История общего государственного строя и политики с XVII в. до настоящего времени. СПб., 1874; Он же. Современное международное право: Пер. с нем. М., 1876. Ряд переизданий и компилятивных учебных изложений этих авторов).

Старинка (с. 30)
НВ. 1916. 2 янв. № 14302.

Левитан и Гершензон (с. 33)
Русский Библиофил. 1916. № 1. Янв. С. 78–81.

Эти бедные явленья... – Неточность цитирования начальных строк стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855) вызвала критиче-

скую реплику в газете «Речь», на что Розанов отвечал письмом в редакцию газеты (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 330), объясняя ошибку своей рассеянностью.

...Взяли «Власа» вот собирающим копеечки... – Имеется в виду персонаж одноименного стихотворения Н. А. Некрасова (1855).

Богословие в 1915 г. (с. 36)

НВ. 1916. 7 янв. № 14307. Б. п.

Статья написана В. В. Розановым в соавторстве с Н. Н. Глубоковским. Розанову принадлежит ее первая часть (общий обзор – два первых абзаца).

Струве о духовном сословии и духовной школе (с. 40)

К. 1916. 8 янв. № 2896. Подпись: В. Ветлугин.

В последней декабрьской книжке «Русской Мысли» редактор журнала, П. Б. Струве... – Петр Струве «У Троицы в Академии» // Русская Мысль. 1915. № 12 (отд. 2). С. 15–18.

«Освобождение»... – двухнедельный журнал, выходил с июля 1902 г. по октябрь 1905 г. сначала в Штутгарте, а с октября 1902 г. – в Париже. Издавался группой во главе с П. Б. Струве.

...июльская книжка «Русской Мысли»... – В журнале «Русская Мысль», 1914, № 7, на отдельном вкладном листе, предшествующем первой странице, была напечатана, за подписью П. С. (т. е. П. Б. Струве), заметка «На грани»: «Еще один шаг – и мы посреди европейской войны. Неслыханное ослепление австро-венгерских властителей бросило вызов России, ее историческим традициям, ее мировому положению, в расчете, что Россия окажется слаба и снесет все. Но дерзкий вызов встретил твердый отпор, преступное безумие – спокойную решимость <...> Но что бы ни случилось, Россия не может действовать иначе, чем она действует, – непреклонно-твердо, со спокойной уверенностью и умеренностью нравственной правоты и государственной силы. Из великого испытания Россия выйдет оздоровленной и укрепленной. <...> Мы верим в силы России, в ее способность и готовность к оздоровляющему нравственному напряжению. 18 июля». И далее: «Приписка 20 июля. Маски сброшены. Германия, стоявшая за спиной Австро-Венгрии, объявила нам войну. Начинается новая эпоха всемирной истории. В этой борьбе торжество России будет великой победой культуры и правды. П. С.».

«Старые Годы» (с. 43)

НВ. 1916. 11 янв. № 14311.

«Старые Годы» – журнал, «ежемесячник для любителей искусства и старины», выходивший в 1907–1916 гг. в Петербурге под редакцией В. А. Верещагина; издавался при Клубе любителей русских изящных изданий.

Призвание Руси (с. 44)

НВ. 1916. 15 янв. № 14315.

В. О. Ключевский о М. Горьком (с. 46)
К. 1916. 15 янв. № 2902. Подпись: В. Ветлугин.

В статье Струве... – Речь идет о рецензии П. Б. Струве на сборник «У Троицы в Академии» (Русская Мысль. 1915. № 12). Сообщение проф. Е. В. Барсова – на с. 17–18 этой рецензии.

Ключевский (К 75-летию со дня рождения В. О. Ключевского) (с. 49)
К. 1916. 22 янв. № 2908. Подпись: В. Ветлугин.

Свет Христов просвещает всех – ср. Ин., 9. Надпись на фронтоне Храма мученицы Татианы, домашней церкви Московского университета.

Юбиляр (с. 52)
Утро России. 1916. 23 янв. № 13. Подпись: Вологжанин.

К. К. Арсеньев дает в декабрьской книжке... – Арсеньев К. Пятидесятилетие «Вестника Европы» // Вестник Европы. 1915. № 12. С. I–XIV.

«Вестник Европы» – ежемесячный журнал, выходивший в Москве в 1866–1918 гг. Основан М. М. Стасюлевичем, оставшимся его редактором-издателем до 1909 г., когда он передал редакторство К. К. Арсеньеву, сотрудничавшему в журнале с 1866 г.

...название «Вестника Европы»... детища Карамзина... – Первый «Вестник Европы», русский двухнедельный журнал, издававшийся в Москве в 1802–1830 гг., был основан Н. М. Карамзиным, который был его редактором до 1804 г.

«Отечественные Записки» – ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге в 1839–1884 гг., основан А. А. Краевским. С 1867 г. издавался Н. А. Некрасовым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, Г. З. Елисеевым; в 1877 г., после смерти Некрасова, в состав редакции вошел Н. К. Михайловский.

«Русский Вестник» – литературный и политический журнал, выходивший в 1856–1906 гг.; основан в Москве М. Н. Катковым при участии проф. Московского университета П. М. Леонтьева. После смерти Каткова (1887) журнал до 1902 г. выходил в Петербурге. В журнале публиковались романы Тургенева, произведения Л. Н. Толстого, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского.

«Порядок» – литературная и политическая газета, издававшаяся в Москве в 1881–1882 гг. М. М. Стасюлевичем, близкая по направлению к «Вестнику Европы».

**Из истории воспитания и умственных занятий
† князя Олега Константиновича (с. 56)**
Московские Ведомости. 1916. 28 янв. № 22. Подпись:
Петроградский старожил.

Петербургские шарманщики – название очерка (1844) Д. В. Григоровича о бродячих артистах. Очерк включался в школьные хрестоматии XIX – начала XX в.

Новый ежемесячный журнал «Летопись» (с. 61)
К. 1916. 29 янв. № 2914. Подпись: В. Ветлугин.

«Русская Мысль» Лаврова и Гольцева... – ежемесячный научный, литературный и политический журнал, выходивший в Москве в 1880–1918 гг. Основан В. М. Лавровым, с 1885 г. редактировался В. А. Гольцевым и М. Н. Ремезовым. После 1905 г. журнал превратился в орган кадетской партии.

«Русское Богатство» Михайловского и Короленко... – литературный, научный и политический журнал, издававшийся в 1876–1918 гг. в Петербурге. С 1892 г., когда редакцию идейно возглавили Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко, журнал превратился в орган легального народничества. С ноября 1914 г. по март 1917 г. из-за цензурного запрета издание выходило под названием «Русские Записки».

«Летопись» – ежемесячный литературный, научный и политический журнал, выходивший в Петрограде с декабря 1915 г. по декабрь 1917 г.; основан М. Горьким, издатель – А. Н. Тихонов (Серебров).

О Боге (Из-за океана) (с. 67)

Утро России. 1916. 29 янв. № 29. Подпись: В. Сухонин.

Г-н Игорь Грабарь и Третьяковская галерея (с. 69)

НВ. 1916. 31 янв. № 14331.

Об осторожности около победы... (По поводу Эрзерума) (с. 70)

НВ. 1916. 5 февр. № 14336.

Из старых портретов (с. 72)

К. 1916. 5 февр. № 2919. Подпись: В. Ветлугин.

Все минует, все пройдет... – А. С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет...» (1825).

Об Италии (с. 77)

НВ. Приложение. 1916. 6 февр. № 14337.

Царь среди народных избранников (с. 80)

НВ. 1916. 10 февр. № 14341. Б. п.

Что разумелось само собою... (с. 82)

Московские Ведомости. 1916. 17 февр. № 38. Подпись: Петроградский старожил.

«Русское Слово»... «Улица современной литературы» – брошюры-памфлеты Н. Я. Абрамовича (обе – Пг.: Издательство «Памфлет», 1916).

Они стеклися для стяжаній... – А. С. Пушкин. Братья-разбойники (1825).

«Природоведение» живое и убитое (с. 90)
НВ. 1916. 18 февр. № 14347.

Puer aeternus (Я) (с. 92)
Печатается по рукописи (ГЛМ. Ф. 362. Оп. 1. Ед. хр. 61).

Статья «Вечный мальчик» написана Розановым к своему шестидесяти-летию (20 апреля 1916) заранее, за два месяца, т. е. 20 февраля 1916 г. Публикация А. А. Ширяевой.

Письмо в редакцию <Об ошибке в тексте Розанова>
(с. 99)
НВ. 1916. 24 февр. № 14355.

Один из сотрудников «Речи» упрекает меня... – Философов Д. В. Мимоходом // Речь. 1916. 20 февр. № 50.

...я написал в рукописи... ошибку, сделанную мною при цитации знаменитого стихотворения Тютчева... – Речь идет о статье Розанова «Левитан и Гершензон» (Русский Библиофил. 1916. № 1) – см. выше в наст. томе.

Московские литературные и художественные кружки (с. 100)
К. 1916. 24 февр. № 2933. Подпись: В. Ветлугин.

Я останавлиюсь еще... на объяснениях «литературной улицы», какие делает г. Абрамович. – Речь идет о брошюре-памфлете Н. Я. Абрамовича «Улица современной литературы» (Пг., 1916). Настоящая статья является продолжением статьи Розанова «Г-н Н. Я. Абрамович об «Улице современной литературы» (К. 1916. 12 февр. № 2925). См.: Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 4]. О писательстве и писателях (М., 1995).

«Современный Мир» – ежемесячный литературный, научный и политический журнал, выходивший в Петербурге с октября 1906 г. по январь 1918 г. Редактировался А. И. Богдановичем, Ф. Д. Батюшковым, Н. И. Иорданским.

«Русские Ведомости» – политическая и литературная газета, выходившая в Москве в 1863–1918 гг.

«Голос Минувшего» – журнал истории и истории литературы, выходивший в Москве в 1913–1923 гг.; редакторы-издатели – С. П. Мельгунов, В. И. Севемский.

«Вестник Воспитания» – ежемесячный педагогический журнал, выходивший в Москве в 1890–1917 гг.

«Шиповник» – книгоиздательство, существовавшее в 1906–1918 гг. в Петербурге; основано З. И. Гржебиньим и С. Ю. Копельманом. Выпускало беллетристику, книги по философии, искусству, театру, а также литературно-художественные альманахи «Шиповнику» (всего за 1907–1917 гг. вышло 26 выпусков).

«Сатирикон» – еженедельный сатирический журнал, выходивший в Петербурге с апреля 1908 по 1914 г.; издатель – М. Г. Корнфельд. В июне 1913 г.

ведущие сотрудники этого журнала организовали собственный журнал – «Новый Сатирикон», выпускавшийся до августа 1918 г.

«Синий Журнал» – иллюстрированный еженедельный журнал, выходивший в Петербурге с декабря 1910 г. по август 1918 г.

Нельзя ли для таких прозулок... – А. С. Грибоедов. Горе от ума. Д. 1, явл. 4.

К выходу сочинений Аполлона Григорьева (с. 105)

К. 1916. 26 февр. № 2935. Подпись: В. Ветлугин.

...оно не было набором Скотининых и Простаковых. – Имеются в виду персонажи комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781).

«Время» – ежемесячный литературный и политический журнал, издававшийся в 1861–1863 гг. в Петербурге братьями М. М. и Ф. М. Достоевскими.

«Эпоха» – ежемесячный литературный и политический журнал, выходивший в Петербурге в 1864–1865 гг. под редакцией М. М. Достоевского и Ф. М. Достоевского.

Мелкие счета в Гос. Думе (с. 110)

НВ. 1916. 7 марта. № 14367. Б. п.

Из мира слепых (с. 111)

НВ. 1916. 7 марта. № 14367.

К кончине художника В. И. Сурикова (с. 114)

НВ. 1916. 8 марта. № 14368.

Анкета об евреях Л. Андреева, Ф. Сологуба и М. Горького (с. 115)

Московские Ведомости. 1916. 8 и 10 марта. № 55, 57.

Подпись: Петроградский старожил.

М. Горький в последнем номере своей «Летописи»... – Горький М. По поводу одной анкеты // Летопись. 1916. № 1. Январь. С. 189–220.

...обращение к русскому обществу трех корифеев современной беллетристики и поэзии... по поводу антисемитизма в русском обществе. – Обращение под названием «Анкета об евреях (Открытое письмо к публике трех русских писателей)», подписанное именами Леонида Андреева, Федора Сологуба, М. Горького, было опубликовано в газете «Биржевые Ведомости. Утренний выпуск» 3 февраля 1915 г. (№ 14648). В нем говорилось:

«М. Г.! Вам известно трагическое положение евреев в России, вы знаете, что евреи всегда принимали энергичное участие в культурной жизни русского общества. Вам известно также, что в тяжкие для нашей страны дни еврей рука об руку с русскими, не щадя своей жизни, защищают Русь от врага. Это бескорыстное участие в обороне России должно было бы задержать постыдное развитие идей и настроений антисемитизма на Руси; мы не

говорим – уничтожить, но хотя бы задержать. Однако рост зоологической вражды к евреям не прекращается.

Это постыдно, невыносимо постыдно: мы хотим в меру сил наших бороться с этим явлением, угнетающим нашу совесть. Мы обращаемся ко всем честным и разумным русским людям с просьбой дать откровенные ответы на вопросы, поставленные нами. Собрав эти ответы воедино, мы издадим их книгой, которая, быть может, окажется способной помочь русским людям, еще не думавшим об этих вопросах, разобраться в них и поискать возможностей для активной защиты евреев в их борьбе за равноправие вместе с нами, гражданами той страны, культуре и свободе которой евреи служили и служат так же энергично, как служили и служат ей все лучшие русские люди.

1) Думаете ли вы, что антисемитизм как общественное явление возник у нас и распространился под влиянием западноевропейского антисемитизма.

2) Какое влияние может иметь рост антисемитизма на культурное развитие русского народа.

3) Каково влияние антисемитизма на хозяйственный рост России.

4) Какое влияние имеет на рост антисемитизма у нас самый факт еврейского бесправия.

5) Не кажется ли вам, что антисемитизм, дающий, ввиду разноплеменности России, благодарную почву для развития расовых и националистических предрассудков, имеет для России особо пагубное значение.

6) Какова, по вашему мнению, роль евреев в искусстве, науке и общественно-культурной жизни Западной Европы и России.

7) Не можете ли сообщить ваши личные наблюдения и воспоминания, относящиеся к деятельности евреев в различных областях духовной и практической жизни в России или на Западе.

8) Какие вам представляются возможные меры для активного противодействия распространению в России расовой и национальной вражды.

Леонид Андреев. Федор Сологуб. М. Горький.

Ответы на поставленные выше вопросы желательно получить не позднее 15 февраля с. г. Адресовать их надлежит в редакцию журнала «Отечество», Петроград, Бассейная ул., д. 60».

...в программной статье журнала «Две души»... – Горький М. Две души // Летопись. 1915. [№ 1]. Декабрь. С. 123–134.

...«похождения «Потемкина» в Тавриде»... – Имеется в виду восстание моряков 14–24 июня 1905 г. на броненосце русского Черноморского флота «Князь Потемкин Таврический».

Быть с людьми – какое бремя... – из одноименного стихотворения Федора Сологуба (1898).

Вы счастливы, не желающие... – Федор Сологуб. «Расцветайте, расцветающие...» (1896).

«Пролетарии всех стран, объединяйтесь»... «пролетарию терять нечего, кроме цепей»... «пролетарий не имеет отечества»... – Розанов имеет в виду отдельные положения «Манифеста Коммунистической партии» (1848) К. Маркса и Ф. Энгельса.

Новое общество «Искусство для всех» (с. 125)
НВ. 1916. 10 марта. № 14370. Подпись: В. Р-в.

Суворин и Катков (с. 126)
К. 1916. 11 марта. № 2947. Подпись: В. Ветлугин.

В Гос. Думе – о семье и разводе (с. 131)
НВ. 1916. 16 марта. № 14376.

Русские крестьяне на войне (с. 133)
НВ. 1916. 17 марта. № 14377.

Из подробностей о Некрасове (с. 134)
К. 1916. 19 марта. № 2954. Подпись: В. Ветлугин.

...в январской книжке «Русских Записок»... – Евгеньев В. Г. З. Елисеев (Из его редакционной деятельности и литературных отношений) // Русские Записки. 1916. № 1. С. 45–66.

На лекции о «славянском классицизме» (с. 140)
НВ. 1916. 20 марта. № 14380.

К нейтрализации ядовитых газов на войне (с. 141)
НВ. 1916. 24 марта. № 14384.

Задумалась... (с. 142)
НВ. 1916. 25 марта. № 14385.

«Королевские размышления»... – Речь идет о книге Анастасии Цветаевой «Королевские размышления. 1914 год» (М., 1915).

«Старые Годы» и «Русский Библиофил» (с. 143)
К. 1916. 25 марта и 2 апр. № 2959 и 2965. Подпись: В. Ветлугин.

Почему появился «Арцыбашев»? (К вопросу о разводе) (с. 153)
НВ. 1916. 27 марта. № 14387.

...«Высший авторитет и дети» – статья, опубликованная Розановым в газете «Русское Слово» (1907. 12 окт. № 234. Подпись – В. Варварин). См.: Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 16]. Около народной души. М., 2003. С. 237.

Две величины, равные порознь третьей, равны между собою (с. 155)
НВ. 1916. 31 марта. № 14391.

...в письме, недавно приведенном мною... – см. выше предыдущую статью Розанова (НВ. 1916. 27 марта).

К борьбе с удушливыми газами (с. 157)
НВ. 1916. 3 апр. № 14394.

О борьбе с удушливыми газами... я недавно поместил статью... – Имеется в виду статья «К нейтрализации ядовитых газов на войне» (НВ. 1916. 24 марта) – см. выше в настоящем томе.

**«Не надо брака», «не надо плодородия»,
«не надо детей» (с. 158)**
НВ. 1916. 4 апр. № 14395.

Беспризорные дети на говенье (с. 160)
НВ. 1916. 8 апр. № 14339.

С Светлым праздником! (с. 161)
НВ. 1916. 10 апр. № 14401. Б. п.

...«свилось небо, как свиток»... – Откр. 6, 14.

М. М. Ковалевский (с. 163)
К. 1916. 17 апр. № 2975. Подпись: В. Ветлугин.

*«Современные Известия» – ежедневная газета, выходившая в Москве в 1867–1887 гг.; издатели-редакторы Н. П. Гиляров-Платонов и Ф. Гиляров.
...1-го марта... – Имеется в виду убийство 1 марта 1881 г. императора Александра II.*

«Критическое Обозрение» – научно-критический и библиографический журнал, выходивший в Москве в 1879–1880 гг.; издатели-редакторы В. Миллер и М. Ковалевский.

Оставьте наш суд в покое (с. 168)
НВ. 1916. 20 апр. № 14411.

«Вот и Анатолий Федорович говорит»... – Имеется в виду А. Ф. Кони, известный судебный оратор тех лет.

«Придите ко мне все страждущие и обремененные, и я успокою вас». – Мф. 11, 28.

**Священник профессор Вл. Сахаров.
Истинно христианская общественность (с. 169)**
К. 1916. 22 апр. № 2979. Подпись: В. Розанов
(В. Ветлугин).

...«даром получили... – даром и давайте» – Мф. 10, 8.

...«Царство Мое не от мира сего» – Ин. 18, 36.

...«воздайте Богово – Богови, а Кесарево – Кесарю»... – Мф. 22, 21.

А. Яценко. Русская библиография по истории древней философии. – Э. Л. Радлов. Философский словарь (с. 174)
НВ. 1916. 24 апр. № 14414.

Откуда идет грубость суда над разводящимися? (с. 175)
НВ. 1916. 25 апр. № 14415.

К 10-летию Государственной Думы (с. 177)
НВ. 1916. 27 апр. № 14417.

Английская книга в России и ее иудейские критики (с. 180)
Московские Ведомости. 1916. 27 апр. № 96. Подпись: Петроградский старожил.

...первый о появлении ее сообщил... г. Дионео... – Дионес [И. В. Шкловский]. Из Англии. Истолкователь русской народности (По поводу книги Стивена Граама о России)//Русские Записки. 1915. № 5. С. 178–202.

...теперь голос «собрата» поддерживает... Слонимский... – Слонимский Л. Новая книга о России//Вестник Европы. 1916. № 3. С. 368–373.

«Северные Записки» – литературно-политический ежемесячный журнал, выходивший в Петрограде с января 1913 г. по январь 1917 г.

Еще одно бурление... (с. 186)
НВ. 1916. 1 мая. № 14421.

...о том же приблизительно предмете высказался поэт А. А. Блок... – Блок А. А. Судьба Григорьева//Аполлон Григорьев. Стихотворения. Собрал и снабдил примечаниями А. Блок. М.: Изд. К. Ф. Некрасова, 1916. С. 1–40.

Николай Бердяев. Смысл творчества. Опыт оправдания человека (с. 188)
К. 1916. 1 мая. № 2987. Подпись: В. Розанов (В. Ветлугин).

Бесчеловечная раса... (с. 194)
НВ. 1916. 5 мая. № 14425.

Кн. Е. Н. Трубецкой и его «Развенчание национализма» (с. 196)
НВ. 1916. 6 мая. № 14426.

Отклик на эту статью – Лукиан [С. Б. Любошиц]. Розановщина//Биржевые Ведомости. Утренний выпуск. 1916. 7 мая. № 15543.

Опять кн. Е. Н. Трубецкой выступает... – Трубецкой Е. Развенчание национализма. Открытое письмо П. Б. Струве//Русская Мысль. 1916. № 4. Апрель. С. 79–87 (отд. 2).

«Заветы» – литературный, научный и политический ежемесячный журнал эсеровского направления, выходивший в Петербурге с апреля 1912 г. по июль 1914 г.

...*«тело убитого врага хорошо пахнет»*... – выражение, приписываемое римскому императору I в. н. э. Авлу Вителлию (*Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Вителлий. Гл. 10*).

Горе и дремота, дремота и горе... (с. 197)
НВ. 1916. 9 мая. № 14429.

«Бездымный порох» в нашем отечестве (с. 200)
НВ. 1916. 11 мая. № 14431.

Одна легенда о Минине и Пожарском (с. 202)
НВ. 1916. 15 мая. № 14435.

Законодательный нигилизм (с. 203)
НВ. 1916. 16 мая. № 14436.

«Обмызганная Русь» и ее блестящие литераторы
(с. 206)
НВ. 1916. 18 мая. № 14438.

Читаю «Биржев. Вед.» – Лукиан [С. Б. Любошиц]. Розановщина/Биржевые Ведомости. Утренний выпуск. 1916. 7 мая; Онегин [А. Ф. Отто]. Вприсоску. Маленький фельетон <О нехватке сахара-рафинада в военное время> // Там же.

Письма А. П. Чехова (с. 207)
К. 1916. 19 мая. № 3001.

В архиве Розанова сохранилась газетная вырезка статьи с авторской правкой печатного текста (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 202. Л. 3). Публикуется с учетом этой правки.

«Вот и Марья Леонардовна...» – Речь идет об Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой.

Духовенство на народной службе (с. 212)
НВ. 1916. 22 мая. № 14442.

«Экспериментальная педагогика» и ее «опыты над любовью» (с. 215)
НВ. 1916. 25 мая. № 14445.

Любви не женщина нас учит... – А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 1. Строфа IX. Черновик (1823–1825).

...*для таких прогулок...* – А. С. Грибоедов. Горе от ума. Д. 1, явл. 4.

Еще – памяти русского историка (О С. М. Соловьеве)
(с. 217)

НВ. 1916. 27 мая. № 14447.

Пишу это под невольным впечатлением... статьи г. В. Л. ... – Имеется в виду статья: В. Л. С. М. Соловьев как русский национальный историк//НВ. 1916. 22 мая.

А. Н. Шмидт и ее религиозные переживания и иден
(с. 219)

К. 1916. 27 мая и 3 июня. № 30 и 3012.

Новая религиозно-философская концепция (с. 228)

Московские Ведомости. 1916. 27 мая. № 121. Подпись:
Петроградский старожил.

Плерома (греч. – полнота) – в представлении гностиков полное число эонов, духовных сущностей, в которых до конца разворачивает себя духовная первосушность.

...«*есть и идея волоса*» – ср.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 350.

«Безмездный труд» на казенной ниве... (с. 237)

НВ. 1916. 31 мая. № 14451.

В статье об экспериментальной педагогике... – Речь идет о статье Розанова «Экспериментальная педагогика» и ее «опыты над любовью» (НВ. 1916. 25 мая) – см. выше в наст. томе.

Наши библиофилы (с. 239)

НВ. 1916. 2 июня. № 14453.

Как на самом деле люди «изменяют» друг другу? (К теории и практике развода) (с. 241)

НВ. 1916. 6 июня. № 14457.

...«*носите тяготы друг друга и тем исполните закон Христов*»... – Гал. 6, 2.

Идея «мессианизма» (По поводу новой книги Н. А. Бердяева «Смысл творчества») (с. 245)

НВ. 1916. 10 июня. № 14461.

Статья вызвала ответное выступление – *Бердяев Н. А.* Апофеоз русской лени // Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1916. 20 июня.

**П. Б. Струве о М. М. Ковалевском и г. Изгоев
о г-не Пешехонове (с. 248)**
К. 1916. 10 июня. № 3018.

*...две очень интересные статьи... – Струве П. М. М. Ковалевский//
Русская Мысль. № 5. Май. С. 98–100 (отд. 2); Изгоев А. С. Сердит, но не
силен... Ответ г. Пешехонову//Там же. С. 101–110 (отд. 2).*

Несколько добрых указаний (с. 254)
НВ. 1916. 22 июня. № 14473.

«Йоги» по губерниям и в Петрограде (с. 257)
К. 1916. 24 июня. № 3030.

В газете опубликовано под рубрикой «Литературные беседы» (без индивидуального подзаголовка). Принятое здесь заглавие статьи указано Розановым в библиографическом списке его произведений, составленном С. А. Цветковым.

...«и о всей плоти и воинстве» – ср. 2 Кор. 10, 1–4.

О самостоятельности учебных округов (с. 262)
НВ. 1916. 25 июня. № 14476.

**Еще об опытах «экспериментальной педагогики»
(с. 263)**
НВ. 1916. 27 июня. № 14478.

...я написал заметку... – Розанов говорит о своей статье «Экспериментальная педагогика» и ее «опыты над любовью» (НВ. 1916. 25 мая) – см. выше в наст. томе.

Проф. А. П. Нечаев... весьма раздраженно мне ответил... – Нечаев А. Нововременский подход (Письмо в редакцию)//Речь. 1916. 12 июня. № 159; Он же. Письмо в редакцию//Русские Ведомости. 1916. 14 июня. № 136 – тот же текст.

Русская старина (с. 265)
НВ. 1916. 28 июня. № 14479.

В июньской жаре (с. 266)
НВ. 1916. 29 июня. № 14480. Подпись: В. Р.

**Из предвидений Достоевского о германизме и борьбе
с ним (с. 268)**
НВ. 1916. 30 июня. № 14481.

...тот «оседр», которого скушал Собакевич. – Н. В. Гоголь. Мертвые души. Глава 7 (1842).

«Кто истинно счастливый человек» (Из тем Карамзина) (с. 273)

Московские Ведомости. 1916. 2 и 6 июля. № 152, 153.
Подпись: Петроградский старожил.

...поговорить мне захотелось о статье г. Базарова... – Базаров В.
Усложнение жизни – упрощение мысли //Летопись. Пг., 1916. № 2. Февраль.
С. 149–169.

Отречемся от старого мира... – П. Л. Лавров. Новая песня (1875).

Моим строгим судьям... (с. 289)

НВ. 1916. 3 июля. № 14484. Подпись: В. Р.

«Наль и Дамаанти» – герои одного из сказаний («Сказание о Нале») эпоса народов Индии «Махабхарата». Розанов, очевидно, говорит о поэтическом переводе В. А. Жуковского «Наль и Дамаанти» (1844).

О кавказских сектантах (с. 290)

К. 1916. 8, 20, 29 июля и 5 авг. № 3041; 3051; 3058; 3064.
В газете первая часть статьи напечатана под названием «В мире нашего сектантства»; третья часть – под названием «Из мира кавказского сектантства».

...по выходе книжки Бонч-Бруевича – Д. В. Философов разнес ее. – Философов Д. Изучение русского сектантства//Русская Мысль. 1910. № 12. Декабрь. С. 195–200 (отд. 2).

...«тащить и не пущать»... – выражение из рассказа Г. И. Успенского «Будка» (1868) об обязанностях будочника-городового.

Панихида по Иоанне Гусе в Москве (с. 308)

НВ. 1916. 14 июля. № 14495.

На трудовом посту (Памяти Богдана Вениаминовича Гея) (с. 309)

НВ. 1916. 19 июля. № 14500.

Два года (с. 311)

НВ. 1916. 19 июля. № 14500. Б. п.

Но в искушеньях долгой кары... – А. С. Пушкин. Полтава (1829).

Из философии народной души (На возражение Н. А. Бердяева о «русском мессианизме») (с. 312)

НВ. 1916. 30 июля. № 14511.

Почему Н. А. Бердяев думает, что, если расположить историю народную «с ленцой»... – Розанов говорит о статье Н. А. Бердяева «Апофеоз рус-

ской лени» (Биржевые Ведомости. Утренний выпуск. 1916. 20 июня. № 15690). Статья Бердяева была откликом на статью Розанова «Идея «мессианизма» (НВ. 1916. 10 июня) – см. выше в наст. томе.

Труд г. Вл. Бонч-Бруевича о современных хлыстах
(с. 315)

НВ. 1916. 4 авг. № 14516.

Около трудных религиозных тем (с. 318)

НВ. 1916. 12 авг. № 14524.

Князь Е. Н. Трубецкой и Д. Д. Муретов (с. 322)

К. 1916. 12 авг. № 3069.

...несколько книжек «Русской Мысли»... вокруг... имени Д. Д. Муретова... – Речь идет о статьях: *Муретов Д.* Правда нашей войны (Русская Мысль. 1915. № 6. С. 1–12. Отд. 2); *Он же.* Этюды о национализме (Русская Мысль. 1916. № 1. С. 64–72. Отд. 2); *Струве П. Б.* Блюдение себя. Нравственная основа истинного национализма (Русская Мысль. 1916. № 1. С. 140–142. Отд. 2); *Трубецкой Е.* Развенчание национализма. Открытое письмо П. Б. Струве (Русская Мысль. 1916. № 4. С. 79–87. Отд. 2); *Муретов Д.* Борьба за Эрос. Письмо П. Б. Струве по поводу письма к нему князя Е. Н. Трубецкого (Русская Мысль. 1916. № 4. С. 88–95. Отд. 2); *Он же.* О понятии народности (Русская Мысль. 1916. № 5. С. 111–125. Отд. 2); *Трубецкой Е.* Новое язычество и его «огненные слова». Ответ Д. Д. Муретову (Русская Мысль. 1916. № 6. С. 89–94. Отд. 2); *Струве П.* По поводу спора кн. Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым (Русская Мысль. 1916. № 6. С. 95–97. Отд. 2); *Бердяев Н.* К спору между кн. Е. Н. Трубецким и Д. Д. Муретовым (Русская Мысль. 1916. № 8. С. 44–48. Отд. 2).

Окончательно «определился» Струве в июле 1914 г. – см. об этом в комментариях к статье Розанова «Струве о духовном сословии и духовной школе» (К. 1916. 8 янв.)

...*Муретов написал огненное исповедание национализма*... – Речь идет о статье Д. Д. Муретова «Этюды о национализме» (Русская Мысль. 1916. № 1).

...*на него ополчился кн. Е. Н. Трубецкой*... – Розанов цитирует статью Е. Н. Трубецкого «Развенчание национализма» (Русская Мысль. 1916. № 4).

...*когда-то Герценштейн в первой Гос. Думе, в своих знаменитых поощрительных словах об «иллюминациях»*... – Имеется в виду выступление 19 мая 1906 г. депутата Гос. Думы М. Я. Герценштейна, эксперта по аграрному вопросу от кадетской партии. Отмечая необходимость скорейшего надевания крестьян земель, он, в частности, сказал: «Или вам мало майской иллюминации, которая унесла в одной Саратовской губернии 150 усадеб...»

Покойный Влад. Соловьев... употребил термин «зоологический национализм»... – В. С. Соловьев. Оправдание добра. Гл. 14. Разд. V (1897). Соловьев использовал термин «звериный патриотизм».

Рассказ простой женщины (с. 327)
НВ. 1916. 16 авг. № 14528.

С. Д. Бондарь. Секта менонитов в России в связи с историей немецкой колонизации в России (с. 330)
НВ. 1916. 16 авг. № 14528.

Бердяев о молодом московском славянофильстве (с. 331)
Московские Ведомости. 1916. 17 авг. № 189. Подпись:
Петроградский старожил.

«Весы» – ежемесячный литературный и критико-библиографический журнал, выходивший в Москве в 1904–1909 гг.; орган символистов. Редактор-издатель – С. А. Поляков, фактический редактор – В. Я. Брюсов.

«Золотое Руно» – ежемесячный художественный и литературно-критический журнал, выходивший в Москве в 1906–1909 гг. Издавался и субсидировался П. П. Рябушинским.

«Новый Путь» – ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге с января 1903 г. по декабрь 1904 г. В журнале постоянно печатался В. Розанов.

Н. А. Бердяев... в последней книжке «Русской Мысли»... – Бердяев Н. А. Типы религиозной мысли в России. Возрождение православия//Русская Мысль. 1916. № 6. Июнь. С. 1–31 (отд. 2).

«Земщина» – ежедневная газета, выходившая в Петербурге в 1909–1917 гг.; орган правых депутатов Государственной думы.

О типах религиозной мысли в России (с. 338)
К. 1916. 19 авг. № 3074.

Печатающиеся в «Русской Мысли» статьи Н. А. Бердяева... – Бердяев Н. Типы религиозной мысли в России//Русская Мысль. 1916. № 6 (Возрождение православия); № 7. С. 52–72. Отд. 2 (Новое христианство); № 11. С. 1–34. Отд. 2 (1. Теософия и антропософия. 2. Духовное христианство, сектантство).

Религиозно-философские собрания – проходили в Петербурге с ноября 1901 г. до апреля 1903 г. Стенограммы собраний (всего состоялось 22 собрания) публиковались в журнале «Новый Путь» (1903–1904).

Есть ли «всеобщие и безусловные принципы нравственности»? (К полемике князя Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым) (с. 342)
НВ. 1916. 20 авг. № 14532.

...хотелось бы сказать кн. Е. Н. Трубецкому, который, вновь вступив в полемику с Д. Д. Муретовым... – Речь идет о статье Е. Н. Трубецкого «Новое язычество и его «огненные слова» (Русская Мысль. 1916. № 6).

...в своей «Борьбе за Эрос». – Муретов Д. Д. Борьба за Эрос//Русская Мысль. 1916. № 4. С. 88–95 (отд. 2).

Еще из оценок и предвидений Ф. М. Достоевского
(с. 345)

НВ. 1916. 24 авг. № 14536. Статья была также перепечатана в журнале «Вешние Воды» (1916. Т. 16/17. С. 135–141).

...русская молодежь поднималась против государства, поднималась до дня 1 марта... – Имеется в виду убийство 1 марта 1881 г. императора Александра II.

Так русская революционная «луна» делалась, и хорошо делалась, просто «в Гамбурге»... – ср. в «Записках сумасшедшего» (1835) Н. В. Гоголя: «Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается...»

Молодые московские славянофилы перед судом
Н. А. Бердяева (с. 350)

К. 1916. 26 авг. № 3080.

В предыдущей статье... – В. Розанов. О типах религиозной мысли в России (К. 1916. 19 авг.); см. выше в наст. томе (с. 338)

Из последних страниц истории русской критики (с. 354)
Альманах «Стрелец». Под редакцией Александра Беленсона. Пг., 1916. Сб. 2. С. 135–140.

Среди не изданных при жизни Розанова рукописных материалов для книги «Мимолетное» (ОР РГБ. Ф. 249. К. 5) сохранилась запись без заглавия от 13 ноября 1915 г., во многом совпадающая с текстом «Из последних страниц...», опубликованным в «Стрельце». См. *Розанов В. В.* Собр. соч. [Т. 2.] Мимолетное. М., 1994. С. 325–327. Очевидно, дата «13 ноября 1915 г.» и является временем написания этого очерка.

Появление статьи Розанова в футуристическом альманахе «Стрелец» (вышел в середине августа) вызвало ряд критических откликов. «Черносотенные выходки В. Розанова в этом альманахе не случайны <...> Как хорошо, что футуристы обрели, наконец, теоретика в лице В. Розанова. Сам В. Маяковский никогда не сумел бы подвести такого идеологического фундамента под свои унылые и импотентные восклицания <...> Что еще есть, однако, в новом маяковско-розановском, сологубо-беленсоновском альманахе? Увы! Почти ничего больше» (*Не-Буква* [И. М. Василевский]. Распродажа остатков. Второй альманах «Стрелец» // Журнал журналов. Пг., 1916. № 35. Август. С. 3–4). Другие отклики: *Маяковский В.* Письмо в редакцию (Биржевые Ведомости. Утренний выпуск. 1916. 23 авг. № 13757); *Беленсон А.* Письмо в редакцию (НВ. 1916. 24 авг. № 14536); *Заславский Д.* Многообещающий (День. Пг., 1916. 25 авг. № 233); *Ювенал* [М. С. Спасовский]. «Облако в штанах» (Голос Руси. 1916. 26 авг. № 937).

...ограничился очень коротенькою статьею, страниц в 6... – Имеется в виду статья о Белинском в книге: *Айхенвальд Ю.* Силуэты русских писателей. М., 1913. Вып. 3. С. 1–14.

...взбеленились... Сакулин и сонмы других. – Имеется в виду статья: Сакулин П. Н. Белинский – миф // Русские Ведомости. 1913. 4 окт.

«Северный Вестник» – ежемесячный литературно-научный и политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1885–1898 гг., основанный А. М. Евреиновой. С 1891 г. во главе журнала стояли издательница Л. Я. Гуревич и фактический редактор А. Л. Волынский (Флекснер).

Хорошо, что случился Михайловский... – Речь идет о статьях: Михайловский Н. К. О г. Волынском и русском читателе // Русское Богатство. 1893. № 9; Он же. О г. Волынском и скандалистах вообще // Русское Богатство. 1897. № 10.

...«и о семени твоём благословятся все народы» – Быт. 22, 18; 26,4; Деян. 3,25.

Письмо в редакцию <Ответ Д. Заславскому> (с. 357)
НВ. 1916. 28 авг. № 14540.

Прямо трогает меня забота «Дня»... – Речь идет о статье: Заславский Д. Многообещающий // День. 1916. 25 авг. № 233.

Вы любите ли сыр... – Козьма Прутков. Эпиграмма № 1 (1854).

Памяти Александра Карловича Закржевского (с. 358)
НВ. 1916. 30 авг. № 14542.

...автор громадных и систематических трудов о Ф. М. Достоевском и о Лермонтове... – Речь идет о книгах А. К. Закржевского «Сверхчеловек над бездной» (Киев, 1911); «Подполье. Психологические параллели» (Киев, 1911); «Карамазовщина. Психологические параллели» (Киев, 1912); «Религия. Психологические параллели» (Киев, 1913); «Лермонтов и современность» (Киев, 1915).

Повод (с. 360)
НВ. 1916. 1 сент. № 14544.

О С. Н. Булгакове (с. 361)
К. 1916. 2 сент. № 3103.

В газете во втором абзаце статьи пропуск нескольких слов – цензурная купюра.

«Когда рабочие отказываются от своего отечества, то они только отказываются от цепей...» – Розанов имеет в виду положение, сформулированное К. Марксом и Ф. Энгельсом в конце «Манифеста Коммунистической партии» (1848): «Пролетариям нечего... терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир».

«Какие будут знамения пришествия антихриста»... – Речь идет о богословском трактате Стефана Яворского «Знамения пришествия Антихриста» (М., 1752; М., 1794; ряд других переизданий).

«Довлеет дневи злоба его», «Не пецуются убо на утрие»... – Мф. 6,34.

Еще о московских славянофилах (с. 366)
Московские Ведомости. 1916. 22 сент. № 218. Подпись:
Петроградский старожил.

Исследуя религиозность С. Н. Булгакова... – Речь идет о первой статье Н. А. Бердяева из цикла «Типы религиозной мысли в России...» (Русская Мысль. 1916. № 6).

...том... в котором изложена «православная теодицея» П. А. Флоренским... – В 1913 г. П. А. Флоренский издал свой труд «О духовной истине. Опыт православной теодицеи» (М., 1913. Вып. 1 и 2), защищенный им в виде диссертации в мае 1914 г. и вскоре вышедший в дополненном виде под названием «Столп и утверждение истины». Отдельные части этой работы ранее публиковались Флоренским в «Богословском Вестнике» в виде статей с подзаголовком: «Из писем Другу» (Богословский Вестник. 1911. № 1; 3).

Религия и национализм (с. 372)
К. 1916. 25 сент. № 3103.

Из бесед на современные темы (с. 377)
НВ. 1916. 25 сент. № 14568.

В. С. Федина. А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике (с. 379)
НВ. 1916. 28 сент. № 14541.

В. С. Федина – псевдоним историка литературы Владимира Степановича Ильяшенко (1884–1970), состоявшего в переписке с Розановым в 1915 и 1916 гг. и приславшего ему эту свою книгу о Фете.

Цветы и песни с давних лет / В благоухающем союзе... – А. А. Фет. Е. С. Хомутовой, приславшей мне цветы (1885).

В нашем милом обществе (с. 381)
Петроградский листок. 1916. 4 окт. № 273. Авторское заглавие было: «Не очень радостные размышления».

Элеонора Диксон. Гюльхана (с. 383)
НВ. 1916. 4 окт. № 14577.

«Священный» оттенок в теперешней войне (с. 385)
Голос Руси. 1916. 5 окт. № 974.

Копьеносцы (с. 388)
Московские Ведомости. 1916. 6 и 27 окт. № 230 и 248.
Подпись: Петроградский старожил.

Важные труды о Хомякове (с. 398)
НВ. 1916. 12 окт. № 14585.

...углубленная критика... П. А. Флоренского... – Речь идет о рецензии П. А. Флоренского на труд: *Завитневич В. В.* Алексей Степанович Хомяков: В 2 т. Т. 1. Кн. 1 и 2. Киев, 1902. Т. 2. Киев, 1913 (Богословский Вестник. 1916. № 7/8. Июль – август. С. 516–581).

П. А. Флоренский об А. С. Хомякове (с. 403)
К. 1916. 14 и 22 окт. № 3118, 3125.

...второй «Современник» – Имеется в виду выходящий в Петербурге в 1911–1915 гг. ежемесячный «журнал литературы, политики, науки, истории, искусства и общественной жизни». Издание организовано А. В. Амфитеатовым при участии М. Горького.

«Мир Божий» – ежемесячный литературный, политический и научно-популярный журнал, выходящий в Петербурге с 1892 по август 1906 г., редакторы В. П. Острогорский, Ф. А. Батюшков, А. И. Богданович. Его преемником с октября 1906 г. стал журнал «Современный Мир».

«Книжки «Недели» – ежемесячный литературный журнал, приложение к газете «Неделя», выходящий в Петербурге в 1885–1901 гг. Редактор-издатель В. П. Гайдебуров.

«Русское Обозрение» – журнал, издававшийся в Москве в 1890–1898, 1901–1903 гг.

«Русский Труд» – еженедельная политическая, экономическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1897–1899 гг. С. Ф. Шараповым.

К вопросу о «недвижимости» духовн. сословия (с. 413)
Голос Руси. 1916. 15 окт. № 984.

В газетном тексте статьи допущена опечатка в заглавии: ...«недвижимости»... Исправление внесено в соответствии с записью и специальным примечанием об этом Розанова в библиографии произведений Розанова, составленной С. А. Цветковым.

Огорчения дома и на войне (с. 416)
НВ. 1916. 26 окт. № 14599.

Другое огорчение – с фронта... Но о нем завтра. – Продолжения статьи не было.

Цензура (с. 418)
Вешние Воды. 1916. Т. 16/17. С. 119–122.

...«седьмая держава»... – выражение, использованное М. Е. Салтыковым-Щедриным для обозначения могущества цензуры в очерках «В среде

умеренности и аккуратности. 2. Тряпичкины» (1877). При этом подразумевалось широко использовавшееся публицистикой определение прессы, печати как «шестой державы» (в дополнение к пяти великим европейским державам того времени – России, Англии, Франции, Германии, Австро-Венгрии).

Панама – крупное мошенничество, надувательство. Понятие возникло в 1889 г. в связи с раскрытием грандиозных злоупотреблений во французской компании, созданной для строительства Панамского канала.

«Богословский Вестник» – журнал, издававшийся с 1892 г. Московской духовной академией в Сергиевом Посаде. В 1913 г. редактором журнала стал П. А. Флоренский.

Все выходит хорошим из рук Мироздателя... – цитата из книги Ж. Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762) в переводе П. Д. Первого (М.: Кушнерев, 1896. С. 1).

**На экзамене учениц школы
г-жи Исаченко-Соколовой** (с. 421)
Вешние воды. 1916. Т. 16/17. С. 119–122.

Кривой глаз «Русского Знамени» (с. 423)
НВ. 1916. 1 нояб. № 14605.

**Новый духовный журнал и статья
проф. Н. М. Боголюбова** (с. 426)
К. 1916. 4 нояб. № 313.

**Проф. Е. Кагаров. Основные идеи античной науки в их
историческом развитии** (с. 431)
НВ. 1915. 8 нояб. № 14612. Подпись: В. Р.

Маленькие думки (с. 433)
НВ. 1916. 9 дек. № 14643.

Германская наука и русские ученые кафедры (с. 435)
К. 1916. 10 дек. № 3163.

**И. Айвазов. Баптизм – орудие германизации России. –
Его же. Христовщина. Материал для исследования
русских мистических сект** (с. 438)
НВ. 1916. 11 дек. № 14645. Статья была перепечатана в
газете «Колокол» (1916. 16 дек. № 3166 – под названием:
«Розанов о миссионерских трудах И. Г. Айвазова»).

Письмо в редакцию <О брошюре И. Г. Айвазова> (с. 440)
НВ. 1916. 14 дек. № 14648.

Философия погаснувшей свечи (с. 440)

НВ. 1916. 21 дек. № 14655.

Ни божества, ни вдохновения – ср. А. С. Пушкин. «Я помню чудное мгновенье...» (1825).

С Рождеством Христовым (с. 444)

НВ. 1916. 25 дек. № 14659. Б. п.

Размышления по поводу письма епископа Никона (с. 445)

НВ. 1916. 31 дек. № 14663.

...письмо еп. Никона, отрицающее приписанное ему М. О. Меньшиковым влияние на учреждение... комитета... – см.: Меньшиков М. От Мильтона до наших дней // НВ. 1916. 17 дек. № 14651; Никон, архиепископ. Письмо в редакцию // НВ. 1916. 29 дек. № 14661.

К студентам (с. 446)

Молодая Русь. Студенческий сборник. Пг.: Издание журнала «Вешние Воды» 1916. С. 3.

«Политическая» и «юридическая» ответственность высоких учреждений и лиц (с. 447)

Молодая Русь. Студенческий сборник. Пг.: Издание журнала «Вешние Воды» 1916. С. 160–164.

«Русские Ведомости» посвятили в № 172... – [Без подписи]. Москва. 26 июля // Русские Ведомости. 1915. 26 июля. № 172.

Об античных монетах (с. 450)

Написаю в 1916 г. для журнала «Вешние Воды». Печатается по тексту книги: *Спасовский М. М. В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Среди неопубликованных писем и рукописей. 2-е изд., доп. Нью-Йорк, 1968. С. 91–117.*

О судьбе этого сочинения Розанова редактор-издатель «Вешних Вод» Спасовский писал: «В конце 1916 года, совсем незадолго до февральской революции, Розанов предоставил в распоряжение «Вешних Вод» свою рукопись-монографию «Об Античных монетах» с подзаголовком – «Как и почему пришло на ум собирать древние монеты». Предполагалось эту монографию печатать по одному листу (т. е. по 16 страниц) в самом конце журнала – с таким расчетом, чтобы потом можно было эти листы вынуть из журнала и переплести их в самостоятельную отдельную книгу. Но революция помешала всему этому, – объем журнала из-за дороговизны пришлось сократить, а печатание монографии отложить. Так она и не была никогда нигде опубликована» (там же. С. 87).

Волшебный рай... – ср. А. С. Пушкин. «Погасло дневное светило...» (1820). У Пушкина – «волшебные края...».

... погружая мысль в какой-то смутный сон... – М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837).

Дальше письма Флоренского. – М. М. Спасовский писал об этом: «Письма о. Павла Флоренского о нумизматике Розанов не успел передать «Вешним Водам» в Петербурге за кровавым шумом революции и всеобщим смятением. Таким образом, вторую часть монографии придется считать погибшей навсегда» (*Спасовский М. М. Указ. соч. С. 87–88*).

ДОПОЛНЕНИЕ

Памяти Е. И. Апостолопуло (с. 462)

Русский Библиофил. 1915. № 8. Декабрь. С. 96–99.

Она работала на голоде в Казинской губернии, и ее выводы, сделанные на этой работе... – см.: Апостолопуло Е. И. Отчет о помощи пострадавшим от неурожая // Одесский листок. 1899. 13 сент.

1917 год

К новолетию 1917 года (с. 466)

НВ. 1917. 1 янв. № 14664. Б. п.

Из наблюдений «с места» (с. 467)

Голос Руси. 1917. 3 янв. № 1061.

...письма, написанного автором прекрасного исследования о Фете... – Розанов далее цитирует письмо к нему историка литературы В. С. Ильяшенко (псевдоним – Федина). На его книгу «А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике» Розанов написал рецензию (НВ. 1916. 28 сент.) – см. в наст. томе.

«О физических поводах к прекращению брачного союза». По поводу труда лейб-медика

Л. Б. Бертенсона (с. 470)

НВ. 1917. 5 янв. № 14668.

...Л. Б. Бертенсон посвятил огромную книгу... – Бертенсон Л. Физические поводы к прекращению брачного союза. Пг., 1916. 200 с.

Новые издания «Религиозно-философской библиотеки» (с. 473)

НВ. 1917. 11 янв. № 14674.

**Переводчик и редактор (К изданию переводов
И. Ф. Анненского) (с. 474)**
НВ. 1917. 14 янв. № 14677.

На страницах «Русской Мысли»... г. Зелинский... – Зелинский Ф. Алтарь Милосердия («Сентиментализм» и «реализм» в древнегреческой политике) // Русская Мысль. 1916. Сент. № 9. С. 41–69 (отд. 2).

«Незаконные сожительства» (с. 478)
НВ. 1917. 18 янв. № 14681.

25-летний юбилей газеты «Дальний Восток» (с. 481)
НВ. 1917. 19 янв. № 14682. Подпись: В. Р-в.

О двух новых поводах к разводу (с. 481)
НВ. 1917. 23 янв. № 14686.

Письмо в редакцию <Об И. Ф. Анненском> (с. 484)
НВ. 1917. 24 янв. № 14687.

Проф. Ф. Фр. Зелинский после опубликования письма родственницы покойного Ин. Ф. Анненского... – Речь идет о статье Розанова «Переводчик и редактор (К изданию переводов И. Ф. Анненского)» (НВ. 1917. 14 янв.); см. выше в наст. томе.

Еще о «незаконных» (с. 485)
НВ. 1917. 30 янв. № 14693.

Послушаем голоса матерей... (с. 487)
НВ. 1917. 1 февр. № 14695.

Франция теперь, прежде и вечно (с. 489)
НВ. Приложение. 1917. 4 февр. № 14698.

...слово Иоанна Богослова... о пасених народов жезлом железным – Откр. 2, 27; 12, 5.

Об «усыновлениях» и «узаконениях» (с. 493)
НВ. 1917. 5 февр. № 14699.

Бенефис великорусского оркестра (с. 495)
НВ. 1917. 7 февр. № 14701.

«...тут леший бродит...» – из вступления (1826) к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

В туманах будущего... (с. 496)
НВ. 1917. 25 февр. № 14718.

Автор взволнован: зачем я напечатал письмо за подписью: «Несколько русских матерей»... – Имеется в виду статья Розанова «Послушаем голоса матерей...» (НВ. 1917. 1 февр.); см. выше в наст. томе.

«Плодитесь, множьтесь, наполните землю» – Быт. 1, 22; 9, 7.

Перед положительными задачами истории (с. 499)
НВ. 1917. 8 марта. № 14720.

...начиная с Ходынки... – Речь идет о трагических событиях, сопровождавших коронацию Николая II в Москве 18 мая 1896 г. во время начала народного гулянья в честь коронации царя на Ходынском поле Москвы (погибло около 1400 человек, еще 1300 получили увечья). Коронация, торжественный молебен происходили вечером того же дня в Кремле.

...начиная с рокового удара саблею какого-то фанатика-самурая в Японии... – Речь идет об инциденте, случившемся в период путешествия наследника-цесаревича Николая Александровича (будущего Николая II) в Японию. В городе Отсу 23 апреля 1891 г. фанатик, находившийся в числе полицейских, нанес ему удар саблей по голове.

Пока кровь бежит горячо... (с. 499)
НВ. 1917. 17 марта. № 14729.

«Кто из вас без греха, первый брось в нее камень» – Ин. 8,7.

«Само»-определение (с. 501)
НВ. 1917. 19 марта. № 14731.

На улице (с. 504)
НВ. 1917. 23 марта. № 14735.

«Довлеет дневи злоба его» – Мф. 6, 34.

Символическая выставка Мих. Ив. Сапожникова
(с. 506)
НВ. 1917. 12 апр. № 14749. Подпись: Обыватель.

Памяти Владимира Францевича Эрна (с. 507)
НВ. 1917. 7 мая. № 14771. Подпись: Обыватель.
Перепечатано в журнале «Вешние Воды». Пг., 1917.
Т. 22.

О введении у нас гражданского брака (с. 509)
НВ. 1917. 11 мая. № 14774. Подпись: Обыватель.

...«каждый во избежание блуда имей свою жену, и каждая во избежание блуда имей своего мужа» – 1 Кор. 7, 2.

**Письмо в редакцию. Об издании книги
«Из восточных мотивов» (с. 512)**
НВ. 1917. 13 мая. № 14776.

Надоевшие ноты (с. 513)
Петроградский листок. 1917. 30 июля. № 182. Б. п.

**Великороссия и Украина на киевских съездах
25 марта – 8 апреля (с. 514)**
Статья 1917 г.; при жизни автора не публиковалась.

В архиве Розанова сохранились гранки статьи (очевидно, из типографии «Нового Времени»). Подпись: Обыватель. Печатается по тексту сборника: *Нация и империя в русской мысли начала XX века. М., 2004. С. 151–155.*

В новой книжке «Русского Богатства»... статья г. Шульгина... – Шульгин А. Я. Украинский народ и всероссийская революция (Письмо украинца по поводу киевских съездов 25 марта – 8 апреля)//Русское Богатство. 1917. № 4/5 Апрель – май. С. 276–288.

...ответ-ограничение на нее... В. Мякотина. – Мякотин В. А. Два слова по поводу статьи г. Шульгина//Русское Богатство. 1917. № 4/5. С. 289–291.

О чем думает Николай II (с. 517)
Статья 1917 г.; была написана для «Нового Времени». При жизни автора не публиковалась.

Печатается по рукописи – черновому автографу (НИОР РГБ. Ф. 249. К. 5. Ед. хр. 37. Л. 1–4). Публикация А. В. Ломоносова.

Обман за спиною революции (с. 520)
Статья 1917 г.; при жизни автора не публиковалась.

Рукопись (черновой автограф) первоначально была подписана псевдонимом «Обыватель», использовавшимся Розановым весной – летом 1917 г. в газете «Новое Время». Затем подпись исправлена на «Петроградский старожил» – псевдоним, использовавшийся Розановым в 1916 г. в газете «Московские Ведомости». Печатается по рукописи (НИОР РГБ. Ф. 249. К. 5. Ед. хр. 38. Л. 1–9). Публикация А. В. Ломоносова.

1918 год

Рассыпавшиеся Чичиковы (с. 525)

Написана в марте – апреле 1918 г.; при жизни автора не публиковалась. Печатается по тексту книги: *Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Среди неопубликованных писем и рукописей. 2-е изд. Нью-Йорк: Всеславянское издательство, 1968. С. 64–65. По свидетельству публикатора, статья написана Розановым в качестве передовой для газеты, планировавшейся Спасовским к изданию в начале 1918 г. Издание не состоялось.

С печальным праздником (с. 526)

Написана в начале апреля 1918 г. в качестве передовой статьи в номер к Пасхе 22 апреля (5 мая) 1918 г. для газеты, предполагавшейся к изданию М. М. Спасовским. При жизни автора не публиковалась. Печатается по тексту книги: *Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни... С. 67–70.

Идиллия на вулкане (с. 528)

Статья 1918 г., при жизни автора не публиковалась. Печатается по тексту журнала «Вестник русского христианского движения». Париж, 1995. № 172. С. 165–168 (автограф статьи – в РО ИРЛИ).

Из последних листьев (с. 530)

Ряд статей, заметок, афоризмов в неперIODическом журнале-альманахе «Книжный угол» (Пг.) Розанов начал публиковать осенью 1918 г., начиная с 3-го номера этого издания. В письме к издателю «Книжного угла» В. Р. Ховину (Из Сергиева Посада Московской губернии в Петроград) Розанов писал: «Общая рубрика этих статей: *Из последних листьев*. Над статьями еще – *подзаголовки*» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 321. Л. 13).

Запущенный сад (с. 530)

Книжный угол. Пг., 1918. № 3. С. 7–9.

Солнце (с. 532)

Книжный угол. Пг., 1918. № 4. С. 5.

Сохранился автограф этого текста, без даты. Посвящение написано сбоку, по левому краю текста, строкой снизу вверх. Подпись внизу: В. Розанов. (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 321. Л. 12). В ответном письме издателя (открытка с почтовыми штемпелями: «Петроград. 12. 10.<19> 18») говорится: «Дорогой Василий Васильевич <...> Очень благодарен за посвящение на «Солнце». В особенности рад ему сейчас, когда грызут со всех сторон. Отчего до сих пор не высылаете «Апокал.», продал бы его дня в 2 и сейчас выслал бы

деньги. «Книжн. Уг.» немного запоздал (денег не было), скоро выйдет. Еще раз *очень* прошу выслать «Апокал.». Крепко жму руку. Виктор Ховни» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 688. Л. 5). В материалах Розанова к «Апокалипсису нашего времени» сохранился другой вариант этого текста (по-видимому, более ранний) – без посвящения, со значительными разночтениями. См.: *Розанов В. В.* Собр. соч. [Т. 12]. Апокалипсис нашего времени. М., 2000. С. 332–333.

Таинственные соотношения (с. 533)

Книжный угол. Пг., 1918. № 4. С. 6–9.

Неполный автограф этого текста (отсутствует одна страница средней части текста) сохранился в материалах Розанова к «Апокалипсису нашего времени». См.: *Розанов В. В.* Собр. соч. [Т. 12]. Апокалипсис нашего времени. М., 2000. С. 346–348.

Цы-ня дудка моя... – из украинской народной песенной лирики. См.: *Словарь украинского языка / Ред. Б. Д. Гринченко.* Киев, 1909. Т. 4. С. 403.

«Египетские ночи»... – Имеется в виду повесть (1835) А. С. Пушкина.

Колебания мира (с. 535)

Книжный угол. Пг., 1918. № 4. С. 9–11.

Из последних листьев (с. 537)

Книжный угол. Пг., 1918. № 5. С. 6–7.

Одно было золото – сердце, ум... – другой вариант этого текста, со значительными различиями и авторской датой «Ноябрь 1918 года», сохранился в материалах Розанова к «Апокалипсису нашего времени». См.: *Розанов В. В.* Собр. соч. [Т. 12]. Апокалипсис нашего времени. М., 2000. С. 192.

В безмолвии растений... – Вариант этого текста, с существенными разночтениями, сохранился в материалах Розанова к «Апокалипсису нашего времени» (см. там же. С. 224).

Космогоническое «разрыв-трава» (с. 537)

Книжный угол. Пг., 1919. № 6. С. 6.

Который же из вас... – ср. Мф. 26, 21–25; Мк. 14, 18–21; Лк. 22, 21–23; Ин. 13, 21–22.

Тайна в музыке песнопений (с. 538)

Книжный угол. Пг., 1919. № 6. С. 7–10.

Вошедший был уже не в той темной, поношенной рясе, в которой он постоянно ходит, а в белой... – В очерке речь идет о священнике П. А. Флоренском.

...один «епископ на покое»... – Речь идет о епископе Антонии (Михаиле Флоренсове, 1847–1918), жившем с 1898 г. «на покое» в московском Донском монастыре. См. о нем: *Иеродиакон Андроник* [А. С. Трубачев]. Епископ Антоний (Флоренсов) – духовник священника П. Флоренского // *Журнал Московской патриархии*. 1981. № 9–10.

Длинное письмо мое – в «Приложениях» моей книги «Люди лунного света». – Письмо Флоренского (за подписью «Аноним») Розанов включил во второе издание своей книги «Люди лунного света. Метафизика христианства» (СПб., 1913) в виде приложения, озаглавленного «Поправки и дополнения Анонима». См.: *Розанов В. В.* Собр. соч. [Т. 3]. В темных религиозных лучах. М., 1994. С. 395–403.

«Вижу бо доброе и одобряю: а последую худшему» – Рим. 7, 18–23.

«Боже, кто избавит меня от сего тела грешного» – Рим. 7, 24.

Один живописец... предоставил его на великолепной огромной картине идущим с «интеллигентом» в пальто. – Речь идет о картине М. В. Нестерова «Философы» (1917; ныне – в Гос. Третьяковской галерее), на которой изображены П. А. Флоренский и С. Н. Булгаков.

Над ним лазурь... – ср.: М. Ю. Лермонтов. Парус (1832). У Лермонтова: Под ним струя светлей лазури...

...«и ни днем, ни ночью они не знают покоя» – Откр. 4, 8.

«Есть» и «нет» (с. 540)

Книжный угол. Пг., 1921. № 7. С. 3–8.

Наше словесное величие и деловая малость (с. 543)

Мир. М., 1918. 6 окт. № 52. Последняя прижизненная публикация Розанова.

<От лучинки к лучинке...> (с. 548)

РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 244. Л. 23–24.

Впервые опубликована в «Летописи Дома литераторов» (1922. № 8/9. С. 5) под названием «Последние мысли Розанова» с примечанием: «Продиктованы В. В. Розановым его дочери Надежде в декабре 1918 г. за месяц до смерти».

В. Н. Дядичев

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абрамович* Николай Яковлевич (1881–1922), писатель, критик, публицист – 82–86, 88, 100, 102, 104
- Августин* Аврелий (354–430), христианский теолог и церковный деятель, философ, писатель – 236, 366, 453
- Аверкиев* Дмитрий Васильевич (1836–1905), писатель, критик, публицист, переводчик – 544
- Авраам* ветхозаветный патриарх – 219, 537
- Аггеев* (Агеев) Константин Маркович (1868–1919), священник, богослов – 428
- Адамов* И. И., преподаватель Московской духовной академии, автор диссертации об Амвросии Медиоланском – 39
- Азеф* Евно Фишелевич (1869–1918), один из основателей и лидеров партии эсеров, был секретным сотрудником департамента полиции, разоблачен в 1908, умер за границей – 274, 409
- Азов* Владимир (псевд.; Ашкинази Владимир Александрович) (1873 – не ранее 1941), журналист, фельетонист, переводчик – 104, 356
- Айвазов* Иван Егорович (1872–?), религиозный писатель, автор многочисленных работ миссионерского характера – 39, 438–440
- Айхенвальд* Юлий Исаевич (1872–1928), литературный критик, публицист – 356
- Аксаков* Иван Сергеевич (1823–1886), публицист, поэт, общественный деятель, издатель газеты «Русь» – 164, 196, 273, 320, 341
- Аксаков* Константин Сергеевич (1817–1860), публицист, критик, историк, лингвист, поэт – 45, 273, 320, 341
- Александр I* (1777–1825), российский император (с 1801) – 44, 85, 138, 151, 178, 325
- Александр II* (1818–1881), российский император (с 1855) – 29, 70, 269
- Александр III* (1845–1894), российский император (с 1881) – 29, 148, 164, 313, 397, 427
- Александр Македонский* (356–323 до н. э.), царь Македонии (с 336 до н. э.), полководец – 245, 257, 387, 392, 395, 460
- Александр Невский* (1220/1221–1263), князь Новгородский (1236–1251), великий князь Владимирский (с 1252) – 24, 171, 195
- Александра Федоровна* (Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса) (1872–1918), российская императрица, жена Николая II (с 1894) – 519
- Алексей Михайлович* (1629–1676), царь (с 1645) – 269, 315, 416

- Алексий* (90 гт. XIII в. – 1378), православный святитель, митрополит всея Руси (1354) – 369
- Альфред* (Эдуард) *Исповедник* (ок. 1003–1066), король Англии (с 1042) – 282
- Амвросий Медиоланский* (ок. 340–397), христианский церковный деятель, епископ Медиолана (ныне Милан), считается его покровителем, автор книг и проповедей, а также речитативного пения, названного его именем – 39, 171
- Амвросий Оптинский* (Александр Михайлович Гренков) (1812–1891), иеросхимонах, православный подвижник – 57, 58, 375
- Амфитеатров* Александр Валентинович (1862–1938), прозаик, драматург, публицист, фельетонист, критик – 12, 13, 101
- Андреев* Василий Васильевич (1861–1918), музыкант, организатор и руководитель первого оркестра русских народных инструментов – 495, 496, 533, 534
- Андреев* Леонид Николаевич (1871–1919), писатель – 115, 116, 119, 120, 265, 464
- Андреев* Федор Константинович (1888–1928), преподаватель Московской духовной академии, богослов, священник – 145, 334, 402, 411
- Андроник Палеолог*, византийский император – 486
- Анна Ивановна* (1693–1740), российская императрица (с 1730), дочь царя Ивана V – 138
- Аппенский* Иннокентий Федорович (1855–1909), поэт, критик, драматург, переводчик, педагог – 141, 474–478, 484
- Антоний* (Александр Васильевич Вадковский) (1846–1912), митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский (с 1898) – 39, 48, 133
- Антоний* (Алексей Павлович Храповицкий) (1863–1936), митрополит, богослов, был одним из кандидатов на патриарший престол, после эмиграции возглавил высшее церковное управление, а затем Архиерейский синод Русской православной церкви за границей – 479
- Антоний Печерский* (983–1073), основатель (1051) Киево-Печерского монастыря – 171
- Апостолонуло* (урожд. Богдан) Евгения Ивановна (1857/1858–1915), бессарабская помещица, знакомая Розанова – 462
- Арий* (260/280–336), пресвитер в Александрии, основатель еретического течения в христианстве – арианства – 453
- Аристотель* (384–322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый-энциклопедист – 144, 145, 190, 230, 496
- Арсений Мацеевич* (ум. 1780), митрополит Ростовский и Ярославский, протестовавший против отобрания монастырских вотчин, был лишен сана и заключен в крепость – 170, 500
- Арсеньев* Константин Константинович (1837–1919), публицист, юрист, общественный деятель, редактор журнала «Вестник Европы» (1909–1916) – 52–55
- Арцимович* Виктор Антонович (1820–1893), чиновник-реформатор, попечитель учебного округа в Бессарабии – 464

- Арцыбашев* Михаил Петрович (1878–1927), писатель – 73, 132, 133, 153, 154, 176, 177, 265
- Афанасий*, константинопольский патриарх – 486
- Бабелон* (Вавлон), французский нумизмат – 452
- Бабёф* Гракх (наст. имя Франсуа Нозль) (1760–1797), французский революционер – 123, 228, 490
- Базаров* (наст. фам. Руднев) Владимир Александрович (1874–1939), философ, экономист, социал-демократ – 63, 65, 276–278, 280, 281, 286–288, 513
- Байрон* Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт, член палаты лордов (1809) – 153
- Бакушин* Михаил Александрович (1814–1876), революционер, один из идеологов анархизма и народничества – 179, 180, 275
- Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867–1942), поэт-символист – 108
- Баратынский* Евгений Абрамович (1800–1844), поэт – 188
- Барсов* Елпидифор Васильевич (1836–1917), фольклорист, историк литературы – 46
- Барсов* Тимофей Васильевич (ум. 1904), специалист по каноническому праву – 379
- Барсуков* Николай Платонович (1838–1906), историк и археограф, автор сочинения «Жизнь и труды М. П. Погодина» – 116
- Барятинский* Александр Иванович (1815–1879), главнокомандующий войсками и наместник на Кавказе – 137
- Бассано* (наст. фам. да Понте) Якопо (ок. 1517–1582), итальянский живописец эпохи Позднего Возрождения – 148
- Батюшков* Константин Николаевич (1787–1855), поэт – 239
- Баур* Фердинанд Кристиан (1792–1860), немецкий протестантский теолог и историк – 428–431
- Бebelь* Август (1840–1913), один из руководителей германской социал-демократии в Германии – 350
- Бейлис* Мендель Тейвье (ок. 1874–1934), приказчик кирпичного завода в Киве, обвиненный в ритуальном убийстве 13-летнего Андрея Ющинского и на судебном заседании (1913) признанный невиновным, после процесса уехал за границу – 41, 124, 357
- Белинский* Виссарион Григорьевич (1811–1848), литературный критик, мыслитель, общественный деятель – 102, 105, 129, 187, 197, 211, 217, 345, 354, 355, 404, 406, 432
- Белкин* А. К., студент Московского университета, увлекался нумизматикой – 451
- Беллини*, семья итальянских живописцев венецианской школы: Якопо (ок. 1400–1470), Джентиле (ок. 1429–1507), Джованни (ок. 1430–1516) – 148
- Бёме* Якоб (1575–1624), немецкий мистик – 223, 224, 234–236, 354
- Бенкендорф* Александр Христофорович (1781, по др. данным 1783–1844), политический и военный деятель, шеф корпуса жандармов и начальник Третьего отделения – 406
- Бентам* Иеремия (1748–1832), английский философ, экономист, юрист, родоначальник утилитаризма – 448

- Бергсон* Анри (1859–1941), французский философ – 529
- Бердников* Илья Степанович (1841–1915), богослов, специалист по каноническому праву – 379
- Бердяев* Николай Александрович (1874–1948), философ, публицист, с 1922 г. жил за границей – 62, 188, 192, 193, 228, 230–237, 245, 248, 293, 312, 313, 318–320, 331, 333–340, 350–352, 354, 361, 363–375, 428
- Бёрк* Эдмунд (1729–1797), английский политический деятель, писатель, один из идеологов консерватизма – 180
- Берлин* Павел Абрамович (1877–?), писатель – 100, 101, 104
- Бернар* Клод (1813–1878), французский физиолог – 210
- Бертенсон* Лев Бернгардович (1860–1925), врач – 377, 470–472
- Бетман-Гольвег* Теобальд (1856–1921), германский рейхсканцлер и прусский министр, президент (1909–1917) – 386, 426
- Бетховен* Людвиг ван (1770–1827), немецкий композитор, пианист и дирижер – 386, 387
- Бильбасов* Василий Алексеевич (1837–1904), историк, публицист, редактор либеральной газеты «Голос» – 51
- Бирон* Эрнст Иоганн (1690–1772), обер-камергер двора Анны Ивановны и ее фаворит – 138
- Бирюков*, автор книг о сектантстве – 298
- Бисмарк* Отто фон Шёнхаузен (1815–1898), 1-й рейхсканцлер Германской империи (1871–1890) – 270, 272, 275, 313, 315, 387, 489, 503
- Бичер-Стоу* Гарриет (1811–1896), американская писательница – 529
- Биша* Мари Франсуа Ксавье (1771–1802), французский врач, один из основоположников патологической анатомии – 210
- Блаватская* Елена Петровна (1831–1891), теософ и писательница, устраивала спиритические сеансы. В 1875 г. основала Теософическое общество – 260, 441
- Благов* Федор Иванович, зять издателя Ивана Дмитриевича Сыгина – 85
- Блок* Александр Александрович (1880–1921), поэт, публицист – 188, 338
- Блюнчли* Иоганн Каспар (1808–1881), швейцарский юрист и политический деятель – 28
- Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836–1921), писатель – 101
- Богданов* Анатолий Петрович (1834–1896), зоолог и антрополог – 218
- Богданов-Бельский* Николай Петрович (1868–1945), живописец – 538
- Боголенов* Николай Павлович (1846–1901), окончил юридический факультет Московского университета, ректор, затем министр народного просвещения, смертельно ранен студентом-эсером – 218, 428, 430
- Боголюбов* Николай Михайлович (1872–?), протоиерей, религиозный писатель, автор сочинений «Понятие о религии», «Творение и искупление» и др. – 38, 426, 428–431
- Богородский* Ильяс, специалист по турецкому языку в Петроградском университете – 513
- Богоявленский* И. Я., протоиерей, автор диссертации об иерусалимском храме – 38
- Богучарский* В. (наст. имя и фам. Василий Яковлевич Яковлев) (1860, по др. дан-

- ным 1861–1915), публицист, историк революционного движения – 166, 167
- Бодлер Шарль* (1821–1867), французский поэт, предшественник символизма – 341, 380
- Бодянский Александр Михайлович* (1842–1916), автор книги о духоборах – 298, 303
- Бокль Генри Томас* (1821–1862), английский историк и социолог-позитивист – 51, 52
- Болтин Иван Никитич* (1735–1792), историк – 50
- Бондарь С. Д.*, автор книги о секте менонитов – 330
- Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич* (1873–1955), политический деятель, историк, исследователь по сектантству в России – 291, 293–295, 297, 298, 302–305, 315–318, 439
- Бордоне Парис* (1500–1571), итальянский художник – 148
- Борис и Глеб*, князья, убитые (1015) сводным братом Святополком I, канонизированы – 171
- Боссюэт* (Боссюэ) Жак Бенинь (1627–1704), французский католический богослов, проповедник, писатель – 43, 236
- Браге Тихо* (1546–1601), датский астроном – 540, 541
- Бредихин Федор Александрович* (1831–1904), астроном, математик – 218
- Брешко-Брешковская* (урожд. Вериги) Екатерина Константиновна (1844–1934), деятельница народнического революционного движения, публицистка, мемуаристка – 349
- Бродский Николай Леонтьевич* (1891, по др. данным 1881–1951), литературовед, педагог – 104
- Бронзов Александр Александрович* (1858–1919), профессор Санкт-Петербургской духовной академии, историк этики и нравственного богословия, филолог – 38
- Брюсов Валерий Яковлевич* (1873–1924), писатель, критик, переводчик, литературно-общественный деятель – 338
- Бузескул Владислав Петрович* (1858–1931), историк, профессор Харьковского университета – 381, 382
- Булгаков Сергей Николаевич* (1871–1944), богослов, священник (с 1918), философ, экономист – 64, 185, 222, 319, 320, 332, 334, 335, 341, 353, 354, 361–364, 372–377, 428
- Булгарин Фаддей* (Тадеуш) Венедиктович (1789–1859), журналист, критик, издатель – 241
- Бунзен Роберт Вильгельм* (1811–1899), немецкий химик – 246
- Бушин Алексей Николаевич* (1827–1906), помещик Тульской и Орловской губерний, отец писателя И. А. Бунина – 402
- Бушин Афанасий Иванович* (ум. 1791), помещик Тульской губернии, отец Василия Андреевича Жуковского – 402
- Бурнакин Анатолий Андреевич* (? – 1932), критик, журналист, поэт – 140, 141
- Бурцев Владимир Львович* (1862–1942), публицист, участник революционного движения, издатель историко-революционного журнала (в начале сборник) «Былое», разоблачитель агентов охраны (Азефа и др.), в основном в эмиграции – 349, 524

- Буслаев* Федор Иванович (1818–1897), филолог, искусствовед, палеограф – 51, 164, 165, 218, 249, 418
- Буткевич* (урожд. Некрасова) Анна Алексеевна (1823–1882), сестра поэта Н. А. Некрасова – 135
- Буткевич* Тимофей Иванович (1854–1925), протонерей, церковный историк, богослов – 39
- Бутковский* А. П., историк, нумизмат – 456–458
- Бутягина* Александра Михайловна (ок. 1882–1920) (Алечка), падчерица В. В. Розанова – 7
- Бэкон* Фрэнсис (1561–1626), английский философ и политический деятель – 534
- Бюхнер* Людвиг (1824–1899), немецкий врач и естествоиспытатель – 189, 423, 509
- Валуев* Дмитрий Александрович (1820–1845), историк, редактор, издатель, этнограф, записывал народные песни в Симбирской губернии («Симбирский сборник») – 402
- Варвара*, христианская великомученица, по преданию, была казнена в правление императора Максимиана (ок. 306) – 171, 430
- Варун-Секрет* Сергей Тимофеевич (1868–?), товарищ председателя Государственной думы – 82
- Василий Великий* (ок. 330–379), христианский церковный деятель и богослов – 429, 480, 485, 498
- Василий* (Дмитрий Иванович Богдашевский) (1861–?), ректор Киевской духовной академии, религиозный писатель – 38
- Васильевский* М. Н., профессор Казанской духовной академии, автор книги о старообрядческом расколе – 39
- Васнецов* Виктор Михайлович (1848–1926), живописец – 540
- Вахрамеев* Александр Иванович (1874–1926), художник, график, педагог – 266
- Вейнер* Петр Петрович (1879–1931), издатель журнала «Старые годы» – 43
- Венгеров* Семен Афанасьевич (1855–1920), историк литературы, библиограф – 62, 103, 355, 356
- Вербицкая* (урожд. Зяблова) Анастасия Алексеевна (1861–1928), писательница – 201
- Вергилий* Марон Публий (70–19 до н. э.), римский поэт – 279
- Верещагин* Василий Андреевич, критик, историк, редактор, публицист – 99, 153
- Верлен* Поль (1844–1896), французский поэт-символист – 130, 341
- Веронезе* (наст. фам. Кальяри) Паоло (1528–1588), итальянский живописец, венецианской школы – 148
- Верхарн* Эмиль (1855–1916), бельгийский поэт-символист – 130
- Веспасиан* Тит Флавий (9–79), римский император (с 69) – 123, 453
- Виардо* (Виардо-Гарсия) Полина (1821–1910), французская певица (меццо-сопрано), пианист – 535
- Викторов* Петр Петрович (1853–1929), студент-медик – 534
- Вильгельм I* (Гогенцоллерн) (1797–1888), прусский король (с 1861) и германский император (с 1871) – 276, 387, 489, 508
- Вильгельм II* (1859–1941), германский император и прусский король (1888–1918), из династии Гогенцоллернов –

- 23, 270, 312, 313, 386–388, 466, 489, 492, 499, 508
- Вилькина* Людмила Николаевна (1873–1920), писательница, переводчица, с 1890-х гг. жена Н. М. Минского (Вилленкина; официально с 1905) – 338
- Вискельман* Иоганн Иоахим (1717–1768), немецкий историк искусства, основоположник эстетики классицизма – 105, 386
- Виноградов* Павел Гаврилович (1854–1925), историк – 218, 502
- Витте* Сергей Юльевич (1849–1915), председатель Комитета министров (с 1903), Совета министров (1905–1906), под его руководством составлен высочайший Манифест 17 октября 1905 г., мемуарист – 269, 285, 390, 396, 433
- Владимир I* (Владимир Святой) (?–1015), князь Новгородский (с 969/970), великий князь Киевский (с 980), в 988–989 гг. ввел в качестве государственной религии христианство – 195, 441, 534
- Владимир II Мономах* (1053–1125), великий князь Киевский (с 1113) – 518
- Владимир* (Василий Никифорович Богоявленский) (1848–1918), митрополит Киевский (с 1915), расстрелян в 1918 г. – 361
- Воейков* Владимир Николаевич (1868–1947), генерал-майор, дворцовый комендант (с декабря 1913), до Февральской революции был арестован, в августе 1917 г. освобожден, в 1919 г. эмигрировал, написал книгу воспоминаний «С царем и без царя» – 80
- Воейкова* Александра (Александра Протасова) (1795–1828), племянница В. А. Жуковского – 151
- Вошнова-Дандурова* Александра Ивановна (1885–?), писательница, автор книги «Ника» – о судьбе человека и судьбе отечества – 214
- Валжский* (наст. фам. Глинка) Александр Сергеевич (1878–1940), критик и историк литературы – 44, 45, 332, 334, 353, 428
- Волконский* Владимир Михайлович (1868–1953), товарищ председателя IV Государственной думы (1912–1913), товарищ министра внутренних дел (1915–январь 1917) – 82
- Вольский* Владимир Казимирович (1877–1937). В 1903 г. вступил в партию эсеров, принимал участие в вооруженном восстании в Февральскую революцию. На VII съезде Советов признал ведущую роль Советской власти. В 1922 г. арестован, затем выслан, расстрелян – 280
- Вольтер* (наст. имя и фам. Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778), французский писатель и философ-просветитель – 62, 167, 355
- Вольф* Маврикий Осипович (1825–1883), издатель – 85
- Вундт* Вильгельм (1832–1920), немецкий философ, психолог, языковед – 435, 436
- Вырубов* Григорий Николаевич (1843–1913), философ и химик – 192
- Вяземский* Петр Андреевич (1792–1878), поэт, критик, мемуарист – 151, 354
- Гайдебуров* Павел Александрович (1841–1893/1894), издатель, писатель, публицист – 131
- Галахов* Иаков Иаковлевич (1865–?), профессор богословия Томского университета – 38

- Гален* (ок. 130 – ок. 200), римский врач, естествоиспытатель – 432
- Галилей* Галилео (1564–1642), итальянский ученый, один из основоположников нового естествознания – 435
- Гамсуи* (наст. фам. Педерсен) Кнут (1859–1952), шведский писатель – 345
- Гапон* Георгий Аполлонович (1870–1906), священник, организатор «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Петербурга», инициатор шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г. – 64
- Гарибальди* Джузеппе (1807–1882), один из вождей революционного крыла борьбы за освобождение и объединение Италии – 78
- Гарнак* Адольф (1851–1930), немецкий протестантский теолог и церковный историк – 466
- Гарофало* (собств. Тизи) Бенвенуто да (1481–1559), живописец феррарской школы – 148
- Гарун* (Харун) аль-Рашид (763 или 766–809), халиф из династии Аббасидов – 313
- Гаршин* Всеволод Михайлович (1855–1888), писатель и критик – 44
- Гауптман* Герхарт (1862–1946), немецкий драматург – 293, 341
- Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ – 43, 232, 363, 383, 428–431, 436, 509
- Гей* (наст. фам. Гейман) Богдан Вениаминович (1848–1916), журналист, первый секретарь редакции газеты «Новое время» – 309, 310
- Геккель* Эрнст (1834–1919), немецкий биолог-эволюционист – 15–17
- Геккери* Луи Борхард де Беверваард (барон Геккери) (1791–1884), приемный отец Жоржа Дантеса, нидерландский посланник в России – 34
- Гельвеций* Клод Адриан (1715–1771), французский философ – 123
- Гельмгольц* Герман Людвиг Фердинанд (1821–1894), немецкий естествоиспытатель и психолог – 246
- Генрих IV* (1553–1610), французский король, первый из династии Бурбонов – 288
- Гераклит* (ок. 576 – ок. 480 до н. э.), древнегреческий философ – 232
- Гердер* Иоганн Готфрид (1744–1803), немецкий писатель, критик, теолог, философ – 386
- Герман*, один из основателей Валаамского монастыря – 369
- Герцен* Александр Иванович (1812–1870), революционер, писатель, философ – 175, 179, 197, 404, 406, 408
- Герцен* (урожд. Захарьина) Наталья Александровна (1817–1852), жена А. И. Герцена – 33, 34
- Герцештейн* Михаил Яковлевич (1859–1906), экономист, один из основателей партии кадетов – 362
- Гершензон* Михаил Осипович (1869–1925), историк литературы и общественной мысли – 33–36, 99, 103, 355, 356, 534
- Герье* Владимир Иванович (1837–1919), историк – 214, 218, 504
- Гёте* Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель – 141, 279, 311, 387, 543, 544, 546
- Гизо* Франсуа (1787–1874), французский историк – 43
- Гиль* Христиан Христианович (1837–1908), нумизмат, родился в Гер-

- мании, с 1867 г. в России – 456, 458
- Гиляров-Платонов* Никита Петрович (1824–1887), публицист, философ, историк, издатель – 164, 354, 411, 412, 437
- Гинденбург* Пауль фон (1847–1934), немецкий генерал-фельдмаршал (1914), президент (с 1925) – 367, 386, 388
- Гиппиус* Зинаида Николаевна (1869–1945), писательница, жена Д. С. Мережковского, с 1920 в эмиграции – 336, 338
- Гиппократ* (ок. 460 – ок. 370 до н. э.), древнегреческий врач, реформатор античной медицины – 432
- Глинка* Федор Николаевич (1786–1880), поэт – 325
- Глинка-Яичевецкий* Станислав Казимирович (1844–1921), сотрудник «Нового времени», затем редактор газеты «Земщина», органа «Союза русско-го народа» – 201
- Глубоковский* Николай Никанорович (1863–1937), богослов и историк церкви – 38, 470
- Гогецоллерны*, династия прусских королей и германских императоров – 311, 516
- Гоголь* Николай Васильевич (1809–1852), писатель – 34, 42, 110, 117, 132, 175, 188, 241, 294, 351, 414, 452, 525, 535, 548
- Гогоцкий* Сильвестр Сильвестрович (1813–1889), богослов, философ, историк философии, автор «Философского лексикона» (1857–1873) – 173
- Голубинский* (наст. фам. Песков) Евгений Евстигнеевич (1834–1912), историк церкви – 43, 145
- Гольденберг* Иосиф Петрович (1873–1922), член РСДРП, после раскола партии большевик, руководил работой социал-демократической фракции в III Государственной думе. Пытался восстановить единство партии, порвав с большевиками, уехал за границу, затем – член Исполкома Петроградского Совета, в 1921 г. вступил в РКП(б) – 409
- Гольц* Кольмер фон дер (Гольц-паша) (1843–?), прусский генерал, был адъютантом султана Абдел-Гамида, реорганизовал турецкую армию по прусскому образцу (1883–1895) – 9
- Гольцев* Виктор Александрович (1850–1906), публицист, с 1885 г. фактический редактор журнала «Русская мысль» – 61
- Гомер*, полупоэтический древнегреческий эпический поэт – 141, 432
- Гончаров* Иван Александрович (1812–1891), писатель – 76, 77, 82, 104, 208, 380, 535
- Горбунов* Иван Федорович (1831–1895), писатель, актер, мастер устных рассказов – 71
- Горемыкин* Иван Логгинович (1839–1917), председатель Совета министров (апрель – июнь 1906, январь 1914 – январь 1916) – 285
- Горифельд* Аркадий Георгиевич (1867–1941), литературовед, критик, переводчик – 272, 356
- Горский* Александр Васильевич (1812–1875), историк, археолог, ректор Московской духовной академии – 43, 174
- Горький* Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков) (1868–1936), писатель, публицист, обще-

- ственный деятель – 46, 47, 61–64, 84–86, 115–121, 166, 184, 195, 208, 272, 276, 316, 465, 524, 526, 530
- Гофштеттер* Ипполит Андреевич (1860–1951), публицист, сотрудник газеты «Новое время» – 313
- Грбавь* Игорь Эммануилович (1871–1960), живописец и искусствовед – 69, 70
- Грановский* Тимофей Николаевич (1813–1855), историк, публицист, общественный деятель – 209, 404, 408
- Грибоедов* Александр Сергеевич (1790, по др. данным 1795–1829), писатель и дипломат – 12, 166, 548
- Григорович* Дмитрий Васильевич (1822–1899/1900), писатель – 59
- Григорьев* Аполлон Александрович (1822–1864), литературный и театральный критик, поэт, переводчик, мемуарист – 105, 106, 108–110, 188, 241, 341
- Гримм*, братья: Якоб (1785–1863), Вильгельм (1786–1859), немецкие филологи, собиратели и издатели немецких сказок и преданий – 533
- Грот* Джордж (1794–1871), английский историк и политический деятель – 457
- Грот* Николай Яковлевич (1852–1899), философ – 437
- Грот* Яков Карлович (1812–1893), академик – 212
- Грубер* Венцеслав Леонардович (1814–1890), анатом – 75
- Грузенберг* Оскар Осипович (1866–1940), юрист – 357
- Грузинский* Алексей Евгеньевич (1858–1930), филолог, переводчик, педагог – 417, 418
- Грогем* Стефен, английский автор книги о России «Путь Марты и путь Марии» (Лондон, 1916) – 182
- Гуго Капет*, основатель династии Капетингов (987–1328) во Франции – 282
- Гуревич* Любовь Яковлевна (1866–1940), литературный и театральный критик, писательница, переводчица – 355
- Гурий* (Алексей Иванович Степанов) (1880–?), архимандрит, религиозный писатель – 39
- Гус* Ян (Иоанн) (1371–1415), чешский религиозный реформатор, мученик – 308
- Гучков* Александр Иванович (1862–1936), лидер октябристов (март 1910–апрель 1916), председатель III Государственной думы – 218, 520
- Гюисманс* Шарль Мари Жорж (1848–1907), французский писатель – 341, 350, 370
- Давид*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 1004–ок. 965 до н. э.) – 122
- Даль* Владимир Иванович (1801–1872), писатель, лексикограф, этнограф – 508
- Данилевский* Николай Яковлевич (1822–1885), социолог, философ, естествоиспытатель, публицист – 45, 116, 324, 341, 370, 424, 427, 546
- Д’Аннуцио* Габриеле (1863–1938), итальянский писатель – 345
- Данте* Алигьери (1265–1321), итальянский поэт и политический деятель – 78, 79, 279
- Дантес* Жорж Шарль (барон Геккерн) (1812–1895), французский политический деятель, в молодости жил в

- России, убил на дуэли А. С. Пушкина – 34
- Дантон* Жорж Жак (1759–1794), деятель Французской революции, один из вождей якобинцев – 313
- Дарвин* Чарлз Роберт (1809–1882), английский естествоиспытатель – 15, 166, 253, 259
- Дарий I*, царь государства Ахеменидов (522–486 до н. э.) – 71
- Декарт* Рене (1596–1650), французский философ, математик, естествоиспытатель – 199, 417, 432, 492
- Дельвиг* Антон Антонович (1798–1831), поэт, друг А. С. Пушкина – 151, 539
- Деянов* Иван Давыдович (1818–1897), с марта 1882 по 1897 – министр просвещения – 163, 262, 349, 502
- Державин* Гавриил (Гаврила) Романович (1743–1816), поэт, политический деятель – 127, 230
- Дернов* Александр Александрович (1857–?), протоиерей Петропавловского собора, сотрудник церковных изданий – 155, 221
- Джоберти* Винченцо (1801–1852), итальянский религиозный философ, священник – 508
- Джотто* ди Бондоне (1266/1267–1337), итальянский живописец, представитель искусства Проторенессанса – 78
- Дидерот* (Дидро) Дени (1713–1784), французский философ, писатель – 238
- Диксон* Элеонора, узбекская поэтесса – 383
- Димитрий Павлович* (1891–1942), великий князь, сын великого князя Павла Александровича и внук греческого короля Георга I – 57
- Диодор Тарский* (Тарсийский) (ум. ок. 390), христианский богослов, епископ, основатель антиохийской богословской школы, учитель Иоанна Златоуста – 38
- Дионисий I Сиракузский* (ок. 432–367 до н. э.), тиран – 235
- Добролюбов* Николай Александрович (1836–1861), публицист, критик, сотрудник журнала «Современник» – 107, 108, 129, 238, 274, 355, 397, 406
- Добролюбов* Леонид Михайлович (1887–1926), прозаик, драматург, публицист – 64
- Долгоруков* Павел Дмитриевич (1866–1927), окончил Московский университет, один из основателей партии кадетов, занимался организационными вопросами, расстрелян – 218
- Домна Васильевна* (Алешинцева), бонна в доме Розановых (с 1910 по 1917 г.) – 8
- Дорошевич* Влас Михайлович (1865–1922), журналист, публицист, фельетонист, критик – 83–86
- Достоевский* Федор Михайлович (1821–1881), писатель и мыслитель – 16, 44, 53, 55, 68, 75, 107, 108, 130, 141–143, 184, 192, 193, 196, 201, 206, 208, 236, 245, 247, 253, 254, 268–270, 272, 273, 301, 345–349, 351, 354, 358, 380, 407, 436, 548
- Дрейфус* Альфред (1859–1935), работал в чине капитана в французском Генштабе, будучи по происхождению евреем, обвинен в шпионаже (в 1894) в пользу Германии и сослан на каторгу. По требованию французской общественности дело было пересмотрено и Дрейфус в 1906 г. был оправдан – 124, 208
- Дроздов* Николай Георгиевич, протоиерей – 321, 337

- Дружинин* Александр Васильевич (1824–1864), писатель и литературный критик – 105
- Дрелер* Джон Уильям (1811–1882), американский естествоиспытатель и историк – 51
- Дубровин* Александр Иванович (1855–1918), основатель и председатель Союза русского народа, редактор его печатного органа «Русское знамя», осужден как организатор убийств и погромов, расстрелян – 423, 425
- Дункан* Айседора (1877–1927), американская танцовщица – 289, 301, 315–317, 399, 422
- Дурново* Петр Николаевич (1845–1915), директор департамента полиции, министр внутренних дел (1905–1906) – 285
- Дурьлин* Сергей Николаевич (1886–1954), историк литературы и театра, поэт, религиозный мыслитель, священник – 319, 334, 428, 473
- Дягилев* Сергей Павлович (1872–1929), театральный и художественный деятель, оказал влияние на развитие мирового оперного, хореографического искусства – 206
- Евреинова* Анна Михайловна (1844–1919), первая русская женщина-доктор права (Лейпцигский университет, 1875), в 1885–1890 издавала журнал «Северный вестник» – 75
- Еврипид* (ок. 480–406 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург – 475–477, 484, 485
- Екатерина II Алексеевна* (урожд. Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская) (1729–1796), российская императрица (с 1762) – 28, 44, 50, 137, 138, 170, 251, 500
- Елагины* – Авдотья Петровна (1789–1877), мать И. В. и П. В. Киреевских; Василия Алексеевна, племянница В. А. Жуковского – 402
- Елисеев* Григорий Захарович (1821–1891), публицист, сотрудник журнала «Современник», редактор журнала «Отечественные записки» – 53, 139
- Ельчанинов* Александр Викторович (1881–1934), религиозный философ, теолог, педагог – 332, 509
- Епифанович* С. Л., профессор Киевской духовной академии, историк богословия – 39
- Ефрем Сирий* (ок. 306–373), христианский писатель, автор церковных гимнов и проповедей – 60
- Жебелев* Сергей Александрович (1867–1941), филолог и археолог, искусствовед, науковед – 356, 432, 433
- Желябов* Андрей Иванович (1851–1881), один из руководителей «Народной воли», организатор убийства Александра II 1 марта 1881 г. – 313
- Жилкин* Иван Васильевич (1874–1958), публицист, депутат I Государственной думы, трудовик, с 1934 г. член Союза советских писателей – 84
- Жуковский* Василий Андреевич (1783–1852), поэт, переводчик, критик – 104, 151, 152, 239, 446, 525, 544
- Заборский* (наст. фам. Трахмань), политический деятель – 523
- Завитневич* Владимир Зенонович (р. 1859), профессор Киевской духовной академии, защитил диссертацию

- о взглядах А. С. Хомякова (1913) – 398, 399, 403, 406, 410, 411, 413
- Заземанов*, библиограф – 62
- Зайончковский* Н. Ч., товарищ обер-прокурора – 218
- Закржевский* Александр Карлович (1886–1916), писатель и критик – 358, 359
- Замысловский* Георгий Георгиевич (1872–1920), юрист, член «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела», гражданский истец, обвинитель на процессе Бейлиса – 179
- Заозерский* Николай Александрович (1851–1919), профессор канонического права Московской духовной академии – 379
- Зарин* Сергей Михайлович (1875–1941), богослов, профессор, затем ректор (1918) Санкт-Петербургской духовной академии – 38, 428
- Заславский* Д., журналист, сотрудник газеты «День» – 357
- Захарьин* Григорий Антонович (1829–1897/1898), терапевт, основатель клинической школы – 218
- Зверев* Николай Андреевич (1850–1917), юрист и педагог – 218
- Зелинский* Фаддей Францевич (1859–1944), филолог, поэт-переводчик, популяризатор античной литературы – 475–478, 484, 485
- Зиновьев* (наст. фам. Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883–1936), политический деятель, репрессирован – 523
- Золя* Эмиль (1840–1902), французский писатель – 103
- Зосима* (ум. 1478), один из основателей Соловецкого монастыря и его первый игумен – 51
- Ибсен* Генрик (1828–1906), норвежский драматург – 293, 439
- Иван IV Грозный* (1530–1584), первый русский царь (с 1547), из династии Рюриковичей – 32, 168, 170
- Иванов* Вячеслав Иванович (1866–1949), поэт, теоретик символизма – 188, 293, 336, 376
- Иванов* Гавриил Афанасьевич (1826–1901), филолог, профессор Московского университета по римской словесности – 218
- Иванов-Разумник* (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов) (1878–1946), критик, публицист, историк русской литературы и общественной мысли – 355
- Иванцов-Платонов* Александр Михайлович (1835–1894), протоиерей, богослов и проповедник, профессор Московского университета по кафедре церковной истории – 173, 174
- Игнатий* (Дмитрий Александрович Брянчанинов) (1807–1867), богослов, публицист, подвижник – 39
- Игнатов* Илья Николаевич (1856–1921), литературный и театральный критик, публицист, ведущий сотрудник газеты «Русские ведомости» – 356
- Игнатьев* Павел Николаевич (1870–1926), министр народного просвещения (с мая 1915 по декабрь 1916 г.) – 67, 217, 263
- Игорь Константинович* (1894–1918), князь, брат князя Олега Константиновича, убит близ Алапаевска – 60
- Изгоев* (наст. фам. Ланде) Александр (Арон) Соломонович (1872–1935), публицист – 248, 252, 253
- Иисус Христос* – 10, 15–17, 21–23, 36, 51, 123, 145, 160, 162, 168, 172, 173,

- 193, 219, 221, 227, 235, 236, 241, 247, 276, 279, 296, 317, 344, 364, 387, 428–430, 472, 473, 487, 500, 539, 542
- Икскули*, баронский род находился на российской службе с сер. XVIII в. Наибольшую известность получил в кон. XIX – нач. XX в. барон Александр Александрович Икскуль фон Гильденбандт (1840–1902) (лифляндский губернатор) (1874–1882) и его брат Юлий Икскуль фон Гильденбандт (1852–1918), государственный секретарь, член Государственного совета. Оба брата в разное время были президентами евангелическо-лютеранской консистории – 439, 440
- Илларион* (Василий Александрович Троицкий) (1855–1925), архимандрит, профессор Московской духовной академии – 159, 205
- Иллюстров* И. И., автор книги «Русский народ в его пословицах» – 533
- Иловайский* Дмитрий Иванович (1832–1920), историк и публицист – 8, 450, 455, 459, 502
- Инокентий* (Кременский), церковный деятель, религиозный писатель – 38
- Иоанн Богослов*, в Новом Завете апостол, евангелист – 474
- Иоанн Златоуст* (344/354–407), архиепископ Константинопольский (397–404), проповедник и оратор – 51, 479, 480, 485, 498
- Иоанн Крошадтский* (Иоанн Ильич Сергиев) (1829–1908), православный проповедник, духовный писатель – 193, 228
- Иов*, ветхозаветный праведник – 539
- Иорданский* Николай Иванович (1876–1928), публицист и общественный деятель – 100
- Иосиф*, иеросхимонах в Оптиной пустыни – 57
- Исаченко-Соколова*, директриса школы – 421, 422
- Исидор* (Яков Сергеевич Никольский) (1799–1892), церковный деятель и писатель – 335
- Кавелин* Константин Дмитриевич (1818–1885), историк, философ, правовед, психолог – 165, 209
- Кавур* Камилло Бенсо (1810–1861), премьер-министр Сардинского королевства, в едином королевстве Италии глава правительства (1861) – 78
- Кагаров* Евгений Георгиевич, египтолог, филолог-классик – 431, 432
- Казанский* Петр Евгеньевич (1866–?), юрнст, педагог, декан юридического факультета Новороссийского университета в Одессе – 410
- Казнаков* Сергей Николаевич, искусствовед – 43
- Кайгородов* Дмитрий Никифорович (1846–1924), автор научных книг по естествознанию, педагог, преподавал ботанику и орнитологию князю Олегу Константиновичу – 56
- Калита* Иван (Иван I) (до 1296–1340), великий князь Московский (с 1325) – 64
- Каллаш* Владимир Владимирович (1866–1919), литературовед, библиограф – 104
- Камнев* (наст. фам. Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936), политический деятель, большевик – 523
- Каннинг* Джордж (1770–1827), премьер-министр Великобритании, министр иностранных дел – 180

- Каит* Иммануил (1724–1804), немецкий философ – 123, 199, 259, 289, 311, 355, 386, 408, 417, 431, 438, 509
- Каителмир* Антиох Дмитриевич (1708–1744), поэт, дипломат, просветитель, один из основоположников классицизма в России – 544
- Капнист* Павел Алексеевич (1842–1904), попечитель Московского учебного округа (1880–1895) – 163
- Карамзин* Николай Михайлович (1766–1826), историк и писатель – 43, 51, 53, 64, 101, 104, 127, 178, 179, 208, 209, 273, 345, 418, 446, 507, 544
- Кариани* (собств. Бузе) Джованни (1485–1543/1548), живописец из Бергамо – 148
- Каршский* Михаил Иванович (1840–1917), логик и философ, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии – 145
- Карл Великий* (742–814), франкский король (с 768), император (с 800) – 288
- Карлейль* Томас (1795–1881), английский публицист, историк, философ, писатель – 448
- Карташов* (Карташев) Антон Владимирович (1875–1960), политический деятель, публицист, историк церкви – 338, 428
- Катилина* Луций Сергей (ок. 108 – 62 до н. э.), римский претор в 68 до н. э. – 280
- Катков* Михаил Никифорович (1818–1887), издатель (журнал «Русский вестник» и газета «Московские ведомости»), публицист – 28, 53, 126–129, 196, 230, 358, 405, 406, 525
- Каутский* Карл (1854–1938), один из лидеров и теоретиков германских социал-демократов и II Интернационала – 350
- Кеплер* Иоганн (1571–1630), немецкий астроном – 540, 541
- Керенский* Александр Федорович (1881–1970), политический деятель, автор мемуаров – 274–276, 280, 450, 499–501, 520
- Киреевский* Иван Васильевич (1806–1856), философ, литературный критик, публицист, один из основателей славянофильства – 33, 45, 103, 273, 320, 341, 351, 402–404, 437, 473, 534
- Киреевский* Петр Васильевич (1808–1856), фольклорист, археограф, публицист – 45, 273, 320, 341, 402, 404, 473
- Клейнборг* Лев Максимович (1875–1950), литературный критик, публицист, мемуарист – 100, 101
- Клемаисо* Жорж (1841–1929), премьер-министр Франции (1906–1909, 1917–1920) – 395
- Климент Зедергольм* (Карл Густав Адольф; после принятия православия Константин Карлович) (1830–1878), иеромонах Оптиной пустыни, литератор, публицист – 508
- Ключевская* Анисья Михайловна (1837–1909), жена В. О. Ключевского – 50
- Ключевский* Василий Осипович (1841–1911), историк – 43, 46, 47, 49–52, 64, 102, 137, 164, 165, 218, 249, 504, 522
- Книппер-Чехова* Ольга Леонардовна (1868–1959), актриса – 212
- Ковалевская* (урожд. Корвин-Круковская) Софья Васильевна (1850–1891), математик – 72, 73, 75–77
- Ковалевский* Владимир Онуфриевич (1842–1883), зоолог, муж С. В. Ковалевской – 75

- Ковалевский* Максим Максимович (1851–1916), историк, юрист, социолог, издатель журнала «Вестник Европы» (1909–1916) – 163–168, 185, 218, 248–251, 330
- Коген* Герман (1842–1918), немецкий философ – 529
- Кожевников* Владимир Александрович (1852–1917), историк культуры и публицист, был близок к Н. Федорову – 319, 332, 334, 335, 369, 428
- Козлов* Иван Иванович (1779–1840), поэт – 153
- Кокцов* Владимир Николаевич (1853–1943), министр финансов (1904–1914, с перерывом в 1905–1906), председатель Совета министров (1911–1914) – 285
- Коломийцев* Даниил Васильевич (1866–1915), журналист, издатель газеты, поэт – 119
- Колумб* Христофор (1451–1506), мореплаватель, открыл Западное полушарие – 193
- Кольцов* Алексей Васильевич (1809–1842), поэт – 29, 51, 446
- Кондаков* Никодим Павлович (1844–1925), историк древнерусского искусства, в кн. «Иконография Богоматери» (2 т., 1914–1915) разработал иконографический способ изучения средневекового искусства – 39, 415
- Кони* Анатолий Федорович (1844–1927), юрист, судебный оратор – 169
- Константин I Великий* Флавий Валерий (ок. 285–337), римский император (с 306) – 9, 369, 542
- Константин Константинович* (1858–1915), великий князь, внук Николая I, главный начальник и генерал-инспектор военно-учебных заведений (с 1900), президент Петербургской Академии наук (с 1889), поэт, переводчик, драматург (псевд. К. Р.) – 56, 61
- Конт* Огюст (1798–1857), французский философ, один из основоположников позитивизма и социологии – 167
- Конфуций* (Кунцзы) (ок. 551–479 до н. э.), древнекитайский мыслитель, основатель философско-этического учения – конфуцианства – 531, 532
- Копельман* Соломон Юльевич (1881–1944), один из основателей и главный редактор издательства «Шиповник» – 356
- Коперник* Николай (1473–1543), польский астроном – 540, 541
- Корвин-Круковская*, по мужу Жаклар Анна Васильевна (1843–1887), сестра С. В. Ковалевской, участница революционного движения, писательница – 75, 76
- Кориолан*, римский патриций (493 до н. э.), согласно преданию, перешедший на сторону врагов – вольсков – 138
- Корнель* Пьер (1606–1684), французский драматург – 492
- Короленко* Владимир Галактионович (1853–1921), писатель, публицист, педагог – 47, 61, 129, 208, 521
- Корольков* Иоанн Николаевич, протоиерей, профессор кафедры греческого языка Киевской духовной академии – 38
- Корш* Федор Евгеньевич (1843–1915), филолог, переводчик, публицист, педагог – 218
- Косоротов* Дмитрий Петрович (1856–?), преподаватель судебной медицины в

- ряде учебных заведений, автор учебников – 377, 472
- Костомаров* Николай Иванович (1817–1885), историк и писатель – 64
- Котляревский* Нестор Александрович (1863–1925), литературовед – 218
- Котошихин* Григорий Карпович (ок. 1630–1667), подьячий Посольского приказа, бежал в Речь Посполитую, затем в Швецию, где был казнен – 416
- Кох* Роберт (1843–1910), немецкий микробиолог, бактериолог – 246
- Кочубеи* – княжеский и дворянский род, происходил в XVII в. от знатного татарского предка – 381
- Кошелев* Александр Иванович (1806–1883), публицист, мемуарист, общественный деятель – 534
- Крапихфельд* Владимир Павлович (1865–1918), литературный критик, публицист – 101, 356
- Красножен* Михаил Егорович (1860–?), юрист, специалист по каноническому праву – 379
- Краснорецкий* Ф., автор сочинения об истории христианского богослужения – 39
- Кремер* Яков Иванович, автор латинской грамматики (1807), неоднократно издавался – 28, 502
- Кривцов* А., первоприсутствующий сенатор, возглавляющий комиссию, расследующую зверства немецких войск над пленными русскими солдатами – 194, 197
- Кромвель* Оливер (1599–1658), деятель Английской революции, лорд-протектор (военный диктатор) (с 1653) – 186, 385
- Кропоткин* Петр Алексеевич (1842–1921), революционер, теоретик анархизма, философ, ученый, публицист – 349
- Крупп*, немецкий промышленник – 311, 313
- Крылов* Иван Андреевич (1769–1844), писатель, баснописец, издатель – 51, 172, 209, 239
- Крылов* Никита Иванович (1807–1879), юрист – 165
- Крючков* Дмитрий Александрович (1887–1938), поэт, критик, фольклорист, репрессирован – 533
- Ксеркс I* (ум. 465 до н. э.), царь государства Ахеменидов (с 486 до н. э.), сын Дария I – 71
- Кугель* Иона Рафаилович (1873–?), журналист, редактор-издатель газеты «День» – 418
- Кудрявцев* Петр Николаевич (1816–1858), историк, профессор Московского университета, автор сочинения «Римские женщины» (1856) – 453
- Кудрявцев-Платонов* Виктор Дмитриевич (1828–1891), философ и богослов – 145, 453
- Кулаковский* Юлиан Андреевич (1855–1919), философ и историк – 39
- Куприн* Александр Иванович (1870–1938), писатель – 177, 184, 265, 526, 530
- Курбский* Андрей Михайлович (1528–1583), государственный деятель, писатель, переводчик, бежал в Литву (1564) – 31, 76, 168
- Курлов* Павел Григорьевич (1860–1923), генерал-лейтенант (с 1915), в августе 1918 эмигрировал за границу – 449, 450

- Куропаткин* Алексей Николаевич (1848–1925), генерал от инфантерии, военный министр – 275, 276
- Курциус* Эрнст (1814–1896), немецкий археолог и историк – 457
- Кускова* Елизавета (наст. имя Екатерина Дмитриевна) (1869–1958), публицист, издательница, мемуаристка – 426, 427
- Кутлер* Николай Николаевич (1859–1924), политический деятель, юрист, предприниматель, в 1906 г. главноуправляющий землеустройством и земледелием – 110
- Кювье* Жорж (1769–1832), французский зоолог – 210
- Кюндшигер* Г. В., учитель музыки у князя Олега Константиновича – 56
- Кюпер* Рафаэль (1802–1878), немецкий филолог и педагог, автор учебников по античным языкам – 28, 33, 451
- Лавров* Вукол Михайлович (1852–1912), журналист, издатель, переводчик, с 1880 по 1905 г. издатель, с 1885 по 1907 г. редактор журнала «Русская мысль» – 61
- Лавров* (псевд. Миртов) Петр Лаврович (1823–1900), философ, социолог, публицист, один из идеологов народничества – 192
- Лажечников* Иван Иванович (1790–1869), писатель – 138
- Ла-Метри* (Ламетри) Жюльен Офре де (1709–1751), французский философ и врач – 123
- Лансере* Николай Евгеньевич, искусствовед – 43
- Лао-цзы* (наст. имя Ли Эр), автор древнекитайского трактата «Лао-цзы» – 531, 532
- Лассаль* Фердинанд (1825–1864), немецкий социалист, философ, публицист – 123, 275, 280, 282, 349, 409, 446, 522, 529
- Лев VI Мудрый* (866–912), византийский император (886) – 486
- Лев XIII* (Винченцо Джоаккино Печчи) (1810–1903), папа римский (с 1878) – 325
- Левидов* М. Ю., публицист – 62, 64
- Левинсон* Андрей Яковлевич (1887–1933), писатель, критик – 62
- Левитан* Исаак Ильич (1860–1900), живописец – 33–35, 99
- Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646–1716), немецкий философ, математик, физик, языковед – 199, 432
- Леконт де Лиль* Шарль (1818–1894), французский поэт – 477
- Лемке* Михаил Константинович (1872–1923), историк, археограф, публицист – 51
- Леонтьев* Константин Николаевич (1831–1891), философ, писатель, публицист, литературный критик – 45, 525, 535
- Леонтьев* Павел Михайлович (1822–1874), журналист, историк, профессор Московского университета, со-редактор (вместе с М. Н. Катковым) журнала «Русский вестник» (с 1856) и газеты «Московские ведомости» (с 1863) – 53, 127
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт и прозаик – 34, 42, 49, 51, 82, 97, 101, 104, 179, 188, 230, 236, 241, 274, 351, 358, 379, 380, 457, 458, 518, 525
- Леру* Пьер (1797–1871), французский философ – 490
- Лесевич* Владимир Викторович (1837–1905), философ и публицист – 192, 333

- Лесков* Николай Семенович (1831–1895), писатель – 35, 77, 535
- Лессинг* Готтольд Эфраим (1729–1781), немецкий драматург, теоретик искусства – 105, 343
- Либкнехт* Вильгельм (1826–1900), один из основателей и руководителей социал-демократии в Германии – 350
- Лисовский* Николай Михайлович (1854–1920), книговед, библиограф – 149
- Личино* Бернардино (1489–1565), живописец венецианской школы – 148
- Ломоносов* Михаил Васильевич (1711–1765), естествоиспытатель, поэт, художник, историк, общественный деятель – 49, 51, 101, 319, 518, 544
- Лорис-Меликов* Михаил Тариелович (1825–1888), государственный деятель, председатель Верховной распорядительной комиссии (1880), министр внутренних дел (1880–1881) – 53
- Лотто* Лоренцо (ок. 1480–1556), итальянский живописец эпохи Позднего Возрождения – 148
- Львов* Владимир Николаевич (р. 1872), председатель церковной комиссии IV Думы, затем обер-прокурор Синода – 509–511, 520
- Любавский* Матвей Кузьмич (1860–1936), историк, ректор Московского университета (1911–1917) – 218
- Любимов* Николай Алексеевич (1830–1897), ученый-физик, публицист, соратник М. Н. Каткова – 127
- Людвик XIV* (1638–1715), французский король из династии Бурбонов – 288
- Лютер* Мартин (1483–1546), немецкий религиозный реформатор – 248
- Мазарини* Джулио (1602–1661), кардинал (с 1641), первый министр Франции – 499
- Майков* Аполлон Николаевич (1821–1897), поэт – 241
- Макирий*, митрополит Московский – 309
- Макиавелли* Никколо (1469–1527), итальянский политический мыслитель – 78
- Максим Грек* (Михаил Триволис) (ок. 1470–1556), богослов, публицист, переводчик, философ и филолог – 32
- Максим Исповедник* (ок. 580–662), византийский богослов, монах – 39
- Максимов* А. М., воспитатель князя Олега Константиновича – 58
- Максимов* Сергей Васильевич (1831–1901), очеркист, этнограф, мемуарист, путешественник – 310
- Малебранш* (Мальбранш) Никола (1638–1715), французский философ – 492
- Мамай* (ум. 1380), татарский темник, фактический правитель Золотой Орды, потерпел поражение от Дмитрия Донского на Куликовом поле – 71
- Марат* Жан Поль (1743–1793), один из вождей якобинцев, убит роялисткой Ш. Корде – 313
- Мария Павловна* (1890–1958), дочь великого князя Павла Александровича и великой княгини Александры Георговны (дочери греческого короля Георга I) – 57
- Маркевич* Болеслав Михайлович (1822–1884), писатель, публицист, критик – 427
- Марков* Алексей Константинович (1858–?), нумизмат – 452, 454–457, 461
- Марков* Николай Евгеньевич (1866–1945), политический деятель – 395

- Маркс Карл* (1818–1883), немецкий мыслитель, основоположник коммунистической теории, названной его именем – 40, 64, 79, 116, 123, 124, 272, 273, 275, 280, 282, 286–330, 349, 350, 362, 363, 375, 406, 409, 446, 522, 523, 529
- Мартенсен Иоанн* (1808–1883), датский богослов, автор изданного у нас сочинения «Христианское учение о нравственности» (в оп. «Die christliche Ethik») – 39
- Мартов* (наст. имя и фам. Юлий Осипович Цедербаум) (1873–1923), политический деятель – 523
- Маслов Семен Леонтьевич* (1873/1874–1936), с 1902 г. эсер, во Временном правительстве в качестве министра земледелия, выступал против бесконтрольного захвата крестьянами помещичьих земель. В 1930 арестован за нелегальную деятельность и сослан, затем приговорен к расстрелу, реабилитирован в 1988 г. – 280
- Матвеев Артамон Сергеевич* (1625–1682), боярин, приближенный царя Алексея Михайловича, руководил русской дипломатией (1671–1676) – 50
- Мельников-Печерский Павел Иванович* (1818–1883), писатель – 148
- Менделеев Дмитрий Иванович* (1834–1907), ученый, педагог, общественный деятель – 441
- Меньшиков Михаил Осипович* (1859–1918), публицист, сотрудник газеты «Новое время» – 131, 201, 210, 321, 445, 489
- Мережковский Дмитрий Сергеевич* (1865–1941), писатель, публицист, философ, общественный деятель – 84–86, 197, 206, 219, 222, 231, 276, 293, 336, 338, 340, 341, 350, 351, 354, 359, 365
- Метерлиик Морис* (1862–1949), бельгийский драматург и поэт – 293, 341
- Миллер Всеволод Федорович* (1846–1913), филолог, этнограф – 165, 185
- Милль Джон Стюарт* (1806–1873), английский философ и экономист, общественный деятель – 448
- Мильтиад* (ок. 550–489 до н. э.) – афинский полководец – 434
- Милоков Павел Николаевич* (1859–1943), историк, лидер и теоретик партии кадетов – 393, 447, 520
- Милотин Дмитрий Алексеевич* (1816–1912), начальник штаба Кавказской армии (1856–1859) – 137
- Мишин Кузьма Минич* (ум. 1616), нижегородский посадский, один из руководителей борьбы против иноземной интервенции – 120, 202
- Мисский* (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855–1937), поэт, драматург, публицист, философ – 338
- Михаил Александрович* (1878–1918), великий князь, сын Александра III, младший брат Николая II, был убит первым из Романовых близ Перми, куда был сослан в марте 1918 г. – 80, 82
- Михаил Комнин* (1123–1180), византийский император – 498
- Михаил Федорович* (1596–1645), царь (с 1613), основатель династии Романовых – 409
- Михайловский Николай Константинович* (1842–1904), социолог, публицист, литературный критик, один

- из идеологов легального народничества – 53, 61, 129, 192, 193, 197, 355, 544
- Мицкевич* Адам (1798–1855), польский поэт, деятель освободительного движения – 245
- Моисей*, в Ветхом Завете основатель иудаизма, пророк – 113, 219, 377, 510, 542
- Малешотт* Якоб (1822–1893), немецкий физиолог и философ – 189, 423
- Мольте* (Старший) Хельмут Карл (1800–1891), немецкий генерал-фельдмаршал (1871) и военный теоретик – 270
- Моммзен* Теодор (1817–1903), немецкий историк – 43, 246, 457, 459
- Морозов* Давыд Иванович, предприниматель, субсидировал издание журнала «Русское обозрение» – 546
- Морозов* Петр Осипович (1854–1920), историк литературы, редактор Собрания сочинений А. С. Пушкина – 130
- Морозов* Савва Тимофеевич (1862–1905), предприниматель, меценат Московского Художественного театра, выделял суммы на революционеров, покончил жизнь самоубийством за границей – 119
- Моцарт* Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор – 110
- Мур* Томас (1779–1852), английский поэт – 153
- Муретов* Дмитрий Дмитриевич, публицист, сотрудничал в журнале «Русская мысль» – 323, 325–327, 334, 342, 349
- Муромцев* Сергей Андреевич (1850–1910), юрист, публицист, профессор Московского университета, председатель I Государственной думы – 164, 165, 218, 330
- Мусоргский* Модест Петрович (1839–1881), композитор – 110
- Мышцын* Василий Никанорович (1866–?), профессор церковного права в юридическом лицее, религиозный писатель – 471
- Мякотин* Венедикт Александрович (1867–1937), историк, публицист, один из лидеров партии народных социалистов – 272, 514
- Мясоедов* Сергей Николаевич (1865–1915), полковник, из окружения В. А. Сухомлинова, был обвинен в шпионаже в пользу Германии и повешен – 254, 509
- Набоков* Владимир Дмитриевич (1869–1922), один из лидеров кадетов, юрист, публицист – 393
- Налимов* Семен Иванович (1857–1916), мастер игры на народных инструментах – 495
- Наполеон I* (Наполеон Бонапарт) (1769–1821), французский император (1804–1814, март–июнь 1815) – 9, 23, 234, 245, 313, 314, 395, 490, 526
- Нартов* Андрей Константинович (1693–1756), механик и изобретатель – 49, 50, 62
- Натан* Дж., публицист – 62
- Некрасов* Николай Алексеевич (1821–1877/1878), поэт, прозаик, издатель – 29, 35, 53, 107, 115, 129, 134–140, 397, 434, 440, 446
- Некрасов* Федор Алексеевич (ум. 1913), младший брат поэта Н. А. Некрасова – 134, 135

- Нелединский-Мелецкий* Юрий Александрович (1752–1829), поэт – 402
- Немирович-Данченко* Василий Иванович (1848–1936), писатель, публицист – 85
- Немирович-Данченко* Владимир Иванович (1858–1943), режиссер, критик, драматург, педагог – 212
- Немов*, публицист, неославянофил, автор книги «Идея славянского возрождения» – 63
- Нетушил* Иван Вячеславович (1850–?), филолог – 381–383
- Нечаев* Александр Петрович (1870–?), писатель и педагог, основал экспериментальную лабораторию, профессор Александровского лицея при кафедре психологии и философии – 216, 217, 263, 264
- Нечаев* Сергей Геннадиевич (1847–1882), участник революционного движения, организатор тайного общества «Народная расправа», умер в Петропавловской крепости – 179
- Никита Пустосвят* (наст. имя и фам. Никита Константинович Добрынин) (ум. 1682), идеолог раскола, писатель – 409
- Никитин* Иван Саввич (1824–1861), поэт и прозаик – 29, 446
- Николаева* Ольга Ивановна, хозяйка дома, в котором жили братья Розановы в Симбирске – 93
- Николай Александрович* (1843–1865), великий князь, старший сын Александра II, был объявлен наследником престола (1855), но стать императором помешала его ранняя смерть – 53
- Николай I* (? – 867), папа римский (с 858), при нем произошел разрыв с Восточной церковью – 366
- Николай I* (1796–1855), российский император (с 1825) – 29, 39, 44, 138, 178, 406
- Николай II* (1868–1918), последний российский император (1894–1917), расстрелян с членами семьи в ночь на 17 июля 1918 г. – 80, 397, 517
- Николай Чудотворец* (предположительно IV в.), архиепископ Мирликийский, христианский святой, почитаемый и в Восточной и в Западной церкви – 171, 195, 453
- Никон* (Николай Иванович Рождественский) (1851–1919), архиепископ, издатель, церковный публицист – 445
- Ницше* Фридрих (1844–1900), немецкий философ – 43, 130, 192, 193, 341, 387, 388, 436
- Новиков* Николай Иванович (1744–1818), писатель, журналист, издатель, просветитель – 50
- Новоселов* Михаил Александрович (1864–1938), религиозный мыслитель, организатор «Кружка ищущих христианского просвещения», издатель «Религиозно-философской библиотеки» (1902–1917) – 222, 319, 332, 335, 352, 369, 473
- Носарь* (псевд. Хрусталеv) Георгий Степанович (1877–1918), занимался адвокатской практикой, в 1906 г. был привлечен к суду по делу Петербургского Совета рабочих депутатов, бежал за границу, после революции 1917 г. – начальник гайдамацкой полиции в Переяславле, расстрелян – 434
- Ньютон* Исаак (1643–1727), английский математик, физик, астроном, создатель классической механики – 432, 435, 540, 541

- Овсяннико-Куликовский* Дмитрий Николаевич (1853–1920), литературовед, языковед – 355, 356
- Огарев* Николай Платонович (1813–1877), поэт, публицист, общественный деятель, друг и соратник А. И. Герцена – 33
- Одоевский* Владимир Федорович (1803/1804–1869), писатель, музыкальный критик, автор романтических и философско-фантастических повестей – 103, 332, 509
- О. Л. Д'Ор*, псевдоним писателя и журналиста Осипа Львовича Оршера (1879–1942) – 104, 356
- Олег Константинович*, князь (1892–1914), сын великого князя Константина Константиновича, погиб в Первую мировую войну – 56, 57, 61
- Олсуфьева*, воспитательница княжны Татианы Константиновны – 57
- Олчуков* Н. Е. (1872–1942), собиратель печорских былин – 533
- Ордын-Нащокин* (Ордин-Нащокин) Афанасий Лаврентьевич (ок. 1605–1680), боярин, дипломат, руководил российской внешней политикой – 50
- Орешиков* Алексей Васильевич (1855–1933), нумизмат – 451
- Ориген* (ок. 185–253/254), раннехристианский теолог, философ, филолог – 193
- Орлов* Анатолий Петрович (1879–?), богослов и историк, автор труда «Сотериология Ансельма Кентерберийского» – 38
- Орлов-Давыдов* Алексей Анатольевич (р. 1871), прогрессист, депутат IV Государственной думы – 381–383
- Орловы*, княжеский, графский, дворянский род, возник в XVII в. – 381
- Островский* Александр Николаевич (1823–1886), драматург – 104, 293, 535
- Павел*, в Новом Завете апостол – 230, 429, 430, 497, 539, 540
- Павел Петрович* (1754–1801), российский император Павел I (с 1796) – 43, 44, 148
- Павлов* Алексей Степанович (1832–1898), богослов, профессор церковного (канонического) права Московского университета – 379
- Павлова* (урожд. Яниш) Каролина Карловна (1807–1893), поэтесса и переводчица – 188
- Пальма* (Старший) (наст. фам. Негретти) Якопо (ок. 1480–1528), итальянский живописец Высокого Возрождения – 148
- Папина* Софья Владимировна (1871–1957), занималась благотворительной и политической деятельностью, член ЦК партии кадетов, во Временном правительстве была товарищем министра государственного призрения и товарищем министра народного просвещения, весной 1920 эмигрировала – 89
- Паювы* В. А., Е. А., издатели газеты «Дальний Восток» – 481
- Парвус* (наст. имя и фам. Александр Львович Гельфанд) (1869–1924), политический деятель и предприниматель – 523, 524
- Паскаль* Блез (1623–1662), французский философ, писатель, естествоиспытатель – 492
- Пастер* Луи (1822–1895), французский ученый, основоположник современ-

- ной микробиологии и иммунологии – 210
- Первухин* Михаил Константинович (1870–1928), публицист – 266
- Пергамент* Осип (Иосиф) Яковлевич (1868–1909), адвокат, деятель партии кадетов – 118
- Переплетчиков* Василий Васильевич (1863–1918), живописец, пейзажист – 184
- Переферкович* Наум Абрамович (1871–1940), филолог, переводчик, комментатор Талмуда – 146
- Перикл* (ок. 490–429 до н. э.), афинский стратег (главнокомандующий) и политический деятель – 434, 454
- Перцов* Петр Петрович (1868–1947), публицист, литературный критик, переводчик, издатель – 77, 78, 350, 454
- Петерсон* Николай Павлович (1844–1919), публицист, ученик и последователь Н. Ф. Федорова – 332
- Петр I Великий* (1672–1725), царь (с 1682, правил самостоятельно с 1689), первый российский император (с 1721) – 9, 28, 29, 49, 51, 77, 143, 166, 218, 254, 270, 319, 405, 406, 409, 411, 412, 450, 472
- Петражицкий* Лев Иосифович (1867–1931), юрист, один из основателей школы права – 330
- Петров* Григорий Спиридонович (1868, по др. данным 1867–1925), священник, публицист, депутат II Государственной думы, из-за критики православного духовенства был лишен сана, с 1921 – в эмиграции – 84–89
- Печерин* Владимир Сергеевич (1807–1885), общественный деятель, философ, поэт, в 1836 г. эмигрировал, принял католичество – 33
- Пешихонов* Алексей Васильевич (1867–1933), экономист, публицист, член редакции журнала «Русское богатство» – 218, 251, 252, 273
- Пиль* Роберт (1788–1850), премьер-министр Великобритании (1834–1835 и 1841–1846) – 180
- Пинкевич* Альберт Петрович (1883/1884–1939), публицист, педагог – 62
- Писарев* Дмитрий Иванович (1840–1868), публицист и литературный критик, ведущий сотрудник радикального журнала «Русское слово» – 62
- Писарев* Леонид Иванович, профессор Казанской духовной академии, автор труда по христианской патристике – 38
- Писемский* Алексей Феофилактович (1821–1881), писатель – 77, 208
- Питт* Уильям Старший, граф Чатам (1708–1778), премьер-министр Великобритании (1766–1768), министр иностранных дел – 180
- Пифагор Самосский* (VI в. до н. э.), древнегреческий философ, математик, религиозный и политический реформатор – 231, 235
- Платон* (428/427–348/347 до н. э.), древнегреческий философ – 145, 168, 176, 190, 230, 238, 279, 336, 341, 367
- Платон* (Петр Егорович Лёвшин) (1737–1812), митрополит Московский, богослов и философ – 238, 539
- Плеве* Вячеслав Константинович (1846–1904), министр внутренних дел и шеф отделения корпуса жандармов (с 1902), убит эсерами – 433

- Плеханов* Георгий Валентинович (1856–1918), политический деятель, философ, теоретик марксизма – 192, 349
- Плотин* (ок. 203/205–269/270), древнегреческий философ, основатель неоплатонизма – 144
- Победоносцев* Константин Петрович (1827–1907), правовед, обер-прокурор Синода (1880–1905) – 164, 411, 414
- Погодин* Михаил Петрович (1800–1875), историк, писатель, издатель – 64, 273, 446
- Погожев* Евгений Николаевич (псевд. Поселянин) (1870–1931), церковный писатель – 416
- Пожарский* Дмитрий Михайлович (1578–1642), князь, боярин, один из руководителей борьбы против иноземной интервенции – 202
- Покровский* Михаил Николаевич (1868–1932), историк и политический деятель – 63, 64
- Покровский* Николай Васильевич (1848–1917), церковный археолог, историк искусства – 39, 266
- Половцев* Лев Викторович (1867–1936), политический деятель, один из организаторов партии правового порядка и лидеров умеренно-правых – 520
- Полонский* Яков Петрович (1819–1898), поэт – 241
- Попов* Лазарь Константинович, сотрудник газеты «Новое время» (1851–1917) (псевд. Эльпе) – 433
- Попов* Нил Александрович (1833–1891/1892), историк – 164
- Пордедж* (Пордеж) Джон (1607–1681), английский мистик – 223
- Посошков* Иван Тихонович (1652–1726), экономист и публицист – 124
- Поспешил*, историк античности – 381–383
- Потемкин* Григорий Александрович (1739–1791), генерал-фельдмаршал, фаворит и ближайший помощник Екатерины II – 127
- Потресов* (псевд. Старовер) Александр Николаевич (1869–1934), политический деятель, социал-демократ, публицист – 278, 280, 281
- Преображенский* Василий Петрович (1864–1900), философ, литературный критик – 321
- Приклонский* А., фольклорист – 30, 31
- Пругавин* Александр Степанович (1850–1920), публицист, историк, этнограф, религиовед – 291, 294
- Пуарэ*, знакомая депутата графа А. А. Орлова-Давыдова – 381, 382
- Пугачев* Емельян Иванович (1740/1742–1775), донской казак, предводитель казацко-крестьянского восстания 1773–1775 гг. – 8, 280, 362
- Пуришкевич* Владимир Митрофанович (1870–1920), лидер крайне правых «Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела», депутат II–IV Государственных дум, участник убийства Г. Е. Распутина – 179, 395, 449
- Пухта* Георг Фридрих (1798–1846), немецкий юрист, представитель исторической школы права – 28, 330
- Пушкин* Александр Сергеевич (1799–1837), поэт и прозаик – 34, 42, 43, 50, 51, 76, 77, 83, 85, 103–105, 120, 130, 151, 168, 172, 178, 179, 206, 215, 236, 239–241, 245, 312, 356, 379, 380, 409, 414, 440, 452, 453, 518, 525, 539
- Пыпин* Александр Николаевич (1833–1904), литературовед и этнограф – 51, 53–55, 102, 103, 129, 130

- Радлов Эрнест Леопольдович* (1854–1928), историк философии, переводчик – 174, 508
- Раев Николай Павлович* (1856 – после 1917), директор Высших женских исторических, литературных и юридических курсов, обер-прокурор Синода (август 1916) до Февральской революции – 423, 470
- Разин Степан Тимофеевич* (ок. 1630–1671), донской казак, предводитель казацко-крестьянского восстания 1670–1671 гг. – 280, 362
- Ранке Леопольд фон* (1795–1886), немецкий историк – 43
- Расин Жан* (1639–1699), французский драматург и поэт – 402
- Рачинский Сергей Александрович* (1833–1902), педагог, деятель народного просвещения – 370, 411, 416, 538
- Ремизов Алексей Михайлович* (1877–1957), писатель – 188
- Ренаи Жозеф Эрнест* (1823–1892), французский филолог, историк, востоковед, писатель – 214, 238, 374, 396
- Решников* (наст. фам. Селитренников) *Андрей Митрофанович* (1882–1957), сотрудник «Нового времени», после революции эмигрировал – 201
- Репин Илья Ефимович* (1844–1930), живописец – 34, 114
- Ретовский О. Ф.*, археолог и нумизмат – 456, 457
- Ришелье Арман Жан дю Плесси* (1585–1642), кардинал (с 1622), фактический правитель Франции – 499
- Роберти* (де Роберти де Кастро де ла Серда) *Евгений Валентинович* (1843–1915), социолог, философ-позитивист – 192
- Робеспьер Максимилиен* (1758–1794), деятель Французской революции – 313
- Ровинский Дмитрий Александрович* (1824–1895), собиратель и исследователь гравюры – 417
- Рогачевский* (псевд. Львов-Рогачевский) *Василий Львович* (1874–1930), литературный критик, публицист – 101, 354, 355
- Родзянко Михаил Владимирович* (1859–1924), один из лидеров партии октябристов, председатель III и IV Государственных дум, в 1917 г. глава Временного комитета Государственной думы – 80–82, 520
- Родичев Федор Измайлович* (1853–1932), политический деятель, один из создателей партии кадетов, депутат I–IV Государственных дум. С 1920 – в эмиграции – 393
- Рождественский Д. В.*, автор учебного пособия по Священному Писанию – 37
- Розанов Василий Васильевич* (1856–1919) – 63, 92, 99, 111–113, 134, 154, 155, 158, 160, 161, 198, 202, 203, 205, 207, 253–255, 257, 259, 293, 298, 329, 336, 346, 357, 375, 395, 429, 469, 485, 493, 496, 532, 548
- Розанов Василий* (Вася) (1899–1918), сын писателя – 7, 8, 98
- Розанов Николай Васильевич* (1847–1894), брат писателя – 93
- Розанов Сергей Васильевич* (1858–?), брат писателя – 96
- Розанова Надежда Васильевна* (Надя) (1900–1956), дочь писателя – 548
- Розмини-Сербати Антонио* (1797–1855), итальянский католический философ – 508

- Романовы*: царская (с 1613) и императорская династия (1721–1917) в России – 409
- Ромул*, легендарный основатель Рима и первый его царь (VIII в. до н. э.) – 282
- Россейкин* Ф. М., профессор Московской духовной академии, автор сочинения о правлении Фотия – 39
- Ростиславов* Александр Александрович (1860–1920), историк искусства, художественный критик – 33
- Ростовцев* Иван Николаевич, елецкий врач – 93, 94
- Ротшильд* Майер Амшель (1744–1812), основатель банкирского дома во Франкфурте-на-Майне – 286
- Рукевич* Степан Григорьевич (1867–1924), церковный историк – 471
- Руссо* Жан Жак (1712–1778), французский писатель и философ – 245, 420, 421, 459, 492
- Рюрик* (ум. ок. 879), согласно летописному преданию, предводитель варяжских дружин, обосновавшихся в Новгороде – 195, 282, 287, 543
- Сабашниковы*, Михаил Васильевич (1871–1943) и Сергей Васильевич (1873–1909), издатели – 33, 475, 477
- Саблер* (с 1915 Десятковский) Владимир Карлович (1846–1920), обер-прокурор Синода (1911–1915) – 204
- Савватий* (ум. 1435), инок, один из основателей Соловецкого монастыря – 51
- Савиньи* Фридрих Карл (1779–1861), немецкий юрист, глава исторической школы права – 28, 330
- Саводник* Владимир Федорович (1874–1940), историк русской литературы и критик – 105, 108, 109
- Сагарда* Николай Иванович, специалист по теоретическому богословию – 37
- Садовский* (псевд. Садовской) Борис Александрович (1881–1952), поэт, прозаик, историк литературы, мемуарист – 186
- Сакулин* Павел Никитич (1868–1930), литературовед – 103, 355, 356
- Саллюстий* (Гай Саллустеней Крисп) (86–ок. 35 до н. э.), римский историк – 33, 35
- Самарин* Федор Дмитриевич (1858–1916), общественно-политический и церковный деятель славянофильского направления – 335
- Самарин* Юрий Федорович (1819–1876), философ – 402, 411
- Сапожников* Михаил Иванович, художник, символист, учился в мастерской живописи и рисования Антона Ажбе (1862–1905) в Мюнхене – 506, 507
- Сатиш* Николай Михайлович (1814–1873), поэт, переводчик, мемуарист – 33
- Сахаров* Владимир, священник – 169
- Саяшин* (или Саяшин), корреспондент Розанова на Кавказе, сотрудник бакинской газеты «Каспий» – 290, 294, 297, 299, 300, 303–305, 307
- Сведенборг* Эмануэль (1688–1772), шведский мистик – 223, 224
- Свенцицкий* Валентин Павлович (1879–1931), драматург, прозаик, религиозный писатель – 332
- Свечин* Александр Андреевич (1878–1938), дежурный флигель-адъютант (1916) – 80

- Сен-Мартен* Луи Клод (1743–1803), французский философ-мистик – 223
- Сен-Симон* Клод Анри де Рувруа (1760–1825), французский мыслитель, сторонник социалистического переустройства общества – 123, 278, 279, 287, 314, 490
- Серафим Саровский* (Прохор Сидорович (Исидорович) Мошнин) (1754, по др. данным 1759–1833), православный подвижник – 44, 235, 236, 335, 369
- Сервантес Сааведра* Мигель де (1547–1616), испанский писатель – 529
- Сервий Туллий*, по античному преданию, 6-й царь Древнего Рима (578–534/533 до н. э.) – 138
- Сергий Радонежский* (Варфоломей Кириллович) (1314/1321–1392), православный подвижник, основатель и игумен Троицкого монастыря (впоследствии Троице-Сергиева лавра) – 50, 236, 335, 369
- Серебрянский* Н. И., историк, автор сборника древнерусских княжеских житий – 39
- Серов* Валентин Александрович (1865–1911), живописец и график – 206
- Сеченов* Иван Михайлович (1829–1905), физиолог – 75
- Сидоров* Алексей Алексеевич (1891–1978), историк искусства книги – 104
- Сильвестр* (ум. ок. 1566), священник московского Благовещенского собора (с кон. 1540-х гг.), известен своей редакцией книги «Домострой» – 49
- Синеус*, брат Рюрика, правивший, согласно преданию, в Белоозере – 282, 287
- Сипягин* Дмитрий Сергеевич (1853–1902), министр внутренних дел (с 1900), убит эсерами – 433
- Сиротинин* Василий Николаевич (1855–?), врач – 94
- Скабаланиович* М. Н., профессор Киевской духовной академии, автор «Толкового Типикона» (о порядке христианского богослужения) – 39
- Скабичевский* Александр Михайлович (1838–1910), литературовед, критик – 354, 356
- Сковорода* Григорий Саввич (1722–1794), украинский философ, поэт, музыкант, педагог – 351
- Скотт* Вальтер (1771–1832), английский писатель – 153, 529
- Слободзинский*, елецкий врач – 93
- Слоцимский* Леонид (Людвиг) Зиновьевич (1850–1918), публицист, сотрудник журнала «Вестник Европы» – 53–55, 129, 181, 182, 184, 186
- Смирнов* Алексей Матвеевич, составитель сборника великорусских сказок архива Русского географического общества (Пг., 1917, вып. 1) – 533
- Смит* Адам (1723–1790), шотландский (английский) экономист и философ – 124
- Соколов* И. И., секретарь «Палестинского православного общества», редактор его публикаций – 39
- Соколов* Л. А., профессор Киевской духовной академии, автор книги о епископе Игнатии (Брянчанинове), содержит его переписку – 39
- Сократ* (ок. 470–399 до н. э.), древнегреческий философ – 83, 189, 207, 230, 386, 531
- Соловьев* Владимир Сергеевич (1853–1900), философ, поэт, публицист – 45,

- 89, 145, 196, 220–223, 228, 237, 293, 324, 329, 354, 365, 366, 373, 379, 416, 427, 428, 437, 452, 456, 458
- Соловьев* Николай Васильевич (ум. 1915), редактор журнала «Русский библиофил» (с 1911) – 148–150, 185
- Соловьев* Сергей Михайлович (1820–1879), историк – 43, 50, 64, 102, 164, 165, 217, 218, 249, 522
- Сологуб* (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927), писатель-символист – 115, 116, 119–121
- Соламон*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965 – ок. 928 до н. э.) – 122, 318
- Софокл* (ок. 496–406 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург – 477, 531
- Сольси де*, французский публицист – 452
- Спасович* Владимир Данилович (1829–1906), юрист, профессор Петербургского университета – 129
- Спасовский* Михаил Михайлович (1890–1971), редактор-издатель журнала «Вешние воды», в котором принимал участие Розанов – 528
- Спенсер* Герберт (1820–1903), английский философ и социолог – 259
- Сперанский* Михаил Михайлович (1771–1839), государственный деятель – 251
- Спиноза* Бенедикт (Барух) (1632–1677), нидерландский философ – 431
- Стаицлавский* (наст. фам. Алексеев) Константин Сергеевич (1863–1938), режиссер, актер, педагог, теоретик театра – 212
- Стасов* Владимир Васильевич (1824–1906), историк искусства, художественный критик – 102, 103
- Стасюлевич* Михаил Матвеевич (1826–1911), историк, издатель, общественный деятель – 51–55, 129
- Стахович* Александр Александрович (1830–1913), земский деятель – 355
- Стеклов* Юрий Михайлович (наст. фам. Нахамкис) (1873–1941), большевистский партийный деятель, публицист, репрессирован – 520–523
- Стефан Яворский* (1658–1722), церковный деятель и писатель – 365
- Стефенсон* Джордж (1781–1848), английский изобретатель – 523
- Стишинский* Александр Семенович (1852–1922), в 1899–1904 товарищ министра внутренних дел, апрель – июнь 1906 главноуправляющий землеустройством и земледелием, один из лидеров «Союза русского народа». После Февральской революции арестован, заключен в Петропавловскую крепость, затем эмигрировал – 285
- Столянский* Петр Николаевич (1872–1938), историк, литературовед, автор статей «Пушкин в «Северной пчеле», «Старый Петербург» – 240, 241
- Столыпин* Петр Аркадьевич (1862–1911), с 1906 г. министр внутренних дел и председатель Совета министров, смертельно ранен анархистом и террористом Богровым – 83, 395, 439, 440
- Стороженко* Николай Ильич (1836–1906), историк западноевропейских литератур, профессор Московского университета – 102, 218
- Страшляковский* Александр Николаевич (1839–1903), педагог – 75

- Страхов* Николай Николаевич (1828–1896), философ, публицист, литературный критик – 61, 106, 109, 110, 324, 341, 370, 546
- Струве* Петр Бернгардович (1870–1944), экономист, философ, историк, публицист, один из лидеров партии кадетов – 40–42, 46–49, 196, 248–250, 322–324, 508
- Стюарты*, королевская династия в Шотландии (1371–1714) и в Англии (1603–1649, 1660–1714) – 385
- Суворин* Алексей Сергеевич (1834–1912), издатель, публицист, театральный критик – 126–131, 310, 345, 390
- Суворов* Александр Васильевич (1730–1800), полководец, генералиссимус (1799) – 9, 319, 345
- Суворов* Николай Семенович (1848–1915), автор работ по церковному праву – 379
- Суриков* Василий Иванович (1848–1916), живописец – 114, 115
- Сусанин* Иван Осипович (?–1613), крестьянин Костромского уезда, погиб, спасая от иноземцев царя – 303, 304
- Суслов* Владимир Васильевич (1856/1859–1921), архитектор, церковный археолог, автор трудов по древнерусской архитектуре – 266
- Суслова* Надежда Прокофьевна (1843–1918), первая в России женщина-врач – 77
- Суханов* (наст. фам. Гиммер) Николай Николаевич (1882–1940), политический деятель, экономист, репрессирован – 523
- Сухомлинов* Владимир Александрович (1848–1926), начальник Генштаба (декабрь 1908 – март 1909), затем военный министр, провел ряд реформ, но они не устранили неудач. В марте 1916 арестован, заключен в тюрьму (после Февраля), приговорен к бессрочной каторге, в 1918 освобожден по амнистии, эмигрировал, умер в Германии – 254, 449, 450
- Сфорца*, династия миланских герцогов (1450–1535), главный представитель Франческо Сфорца – 78
- Сытин* Иван Дмитриевич (1851–1934), издатель – 84–86
- Тальников* (наст. фам. Шпитальников) Давид Лазаревич (1882–1918), критик – 101
- Тареев* Михаил Михайлович (1867–1934), философ и богослов, профессор Московской духовной академии (1902–1918) – 115
- Татиана* (Татьяна) Константиновна, княжна (1890–1970, др. данные 1979), сестра князя Олега Константиновича – 57
- Татищев* Василий Никитич (1686–1750), историк, государственный деятель – 50
- Тейхмюллер* (Трейхмюллер) Густав (1832–1888), немецкий философ – 438
- Тереза Авильская* (Тереза де Хесус) (1515–1582), испанский мистик – 223, 224
- Тернавцев* Валентин Александрович (1866–1940), чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода, богослов, религиозный писатель – 222, 339, 340

- Тецель* Иоганн (ок. 1455–1519), немецкий доминиканский монах, торговавший для отпущения грехов индульгенциями, что вызвало протест Лютера и дало толчок религиозной реформе – 174
- Тинторетто* (наст. фам. Робусти) Якопо (1518–1594), итальянский живописец – 148
- Тит* Флавий Веспасиан (39–81), римский император (с 79) – 123
- Тихоурахов* Николай Саввич (1832–1893), литературовед и археограф – 51, 164, 165, 218, 249, 418
- Тициан* (Тициано Вечеллио) (ок. 1476/1477 или 1489/1490–1576), итальянский живописец – 148
- Товянский* Анджей (1799–1878), польский религиозный мыслитель – 245
- Толстая* Мария Николаевна (1830–1912), сестра Л. Н. Толстого – 58
- Толстой* Алексей Константинович (1817–1875), писатель – 188
- Толстой* Алексей Николаевич (1882/1883–1945), писатель – 420, 452
- Толстой* Дмитрий Андреевич (1823–1889), министр народного образования (1866–1880) – 54, 262, 269, 448, 452, 455
- Толстой* Лев Николаевич (1828–1910), писатель и мыслитель – 12, 43, 51, 53, 55, 58, 89, 119, 127, 135, 151, 159, 188, 201, 208–210, 236, 271, 293, 297, 298, 302, 309, 346, 351, 380, 382, 395–397, 408, 432, 436, 548
- Третьяков* Павел Михайлович (1832–1898), собиратель произведений русского искусства, его коллекция стала основой Третьяковской галереи, которую он подарил Москве – 69, 70
- Троцкий* (наст. фам. Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940), политический деятель – 523
- Трубецкой* Евгений Николаевич (1863–1920), философ, правовед, публицист, общественный деятель – 115, 196, 197, 206, 207, 218, 322–327, 341, 342, 344, 353, 376
- Трубецкой* Сергей Николаевич (1862–1905), философ, публицист, общественный деятель, в 1905 г. первый выборный ректор Московского университета – 218, 437
- Трубинов* Александр Александрович, искусствовед – 43
- Трувор*, брат Рюрика, правивший, согласно преданию, в Изборске – 282, 287
- Туберовский* А. М., религиозный писатель, специалист по христианской догматике – 38
- Тургенев* Иван Сергеевич (1818–1883), писатель – 33, 56, 76, 77, 82, 101, 104, 154, 188, 208, 209, 257, 346, 374, 380, 395, 396, 534, 535
- Тэн* Ипполит (1828–1893), французский философ, социолог искусства, историк – 77–80
- Тютчев* Федор Иванович (1803–1873), поэт, публицист, дипломат – 36, 99, 241, 379, 380, 402, 436
- Уатт* Джеймс (1736–1819), английский изобретатель паровоза – 523
- Усов* Сергей Алексеевич (1827–1886), зоолог, археолог, профессор Московского университета – 164, 218
- Успенский* Александр Иванович (1873–1938), историк, директор Археологического института – 261

- Успенский* Глеб Иванович (1843–1902), писатель – 35, 44, 110, 291, 293
- Утилы*, поддерживающая Стасюлевича материально в ведении «Вестника Европы» родня жены – 129
- Фаррар* Фредерик Уильям (1831–1903), английский писатель и теолог – 433
- Фаустина* (младшая), римская императрица (ум. 176), дочь Фаустины старшей, жена императора Марка Аврелия – 453
- Федина* (наст. имя и фам. Владимир Степанович Ильяшенко) (1884–1970), автор материалов к характеристике А. А. Фета – 379, 386
- Федоров* Николай Федорович (1828–1903), религиозный мыслитель, один из основоположников русского космизма – 332
- Федотов* Павел Андреевич (1815–1852), живописец, рисовальщик – 239, 240
- Фейербах* Людвиг (1804–1872), немецкий философ – 123, 363, 375, 408
- Фемистокл* (ок. 525 – ок. 460 до н. э.), афинский полководец – 434
- Феодор*, ректор Московской духовной академии – 213
- Феодосий Печерский* (ок. 1036–1074), игумен Киево-Печерского монастыря (с 1062) – 171
- Феодосий I (Великий)* (ок. 346–395), римский император (с 379) – 171
- Феофан Затворник* (Георгий Васильевич Говоров) (1815–1894), богослов, публицист, епископ, ректор Петербургской духовной академии, с 1866 удалился в Вышенскую пустынь, с 1872 жил уединенно, занимался переводами, вел обширную переписку – 38, 335, 336, 368
- Феофан* (Туляков), епископ, наместник Александро-Невской лавры, специалист по теоретическому богословию – 38
- Фет* (наст. фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892), поэт – 107, 188, 240, 241, 379, 380, 467, 468
- Фетисов* Н. Н., историк древней церкви – 38
- Фетлер*, баптист, читал лекции в Тенишевском училище – 439, 440
- Филарет* (Василий Михайлович Дроздов) (1782/1783–1867), богослов, религиозный философ, историк, проповедник – 399, 400, 405, 406, 525, 539
- Филарет* (Федор Георгиевич Амфиатров) (1779–1857), митрополит Киевский (с 1837) – 525, 539
- Филипп Македонский* (ок. 382–336 до н. э.), царь Македонии, отец Александра Македонского – 387, 460
- Филипп II* (1527–1598), испанский король (с 1556), из династии Габсбургов – 71
- Филозенко* Федор Дмитриевич (1869–?), священник, член IV Государственной думы – 132
- Философов* Дмитрий Владимирович (1872–1940), литературный критик, публицист – 12, 84–86, 99, 297, 336, 338, 341
- Философова* (урожд. Дягилева) Анна Павловна (1837–1912), деятельница женского движения в России – 77
- Фихте* Иоганн Готлиб (1762–1814), немецкий философ и публицист – 115, 436

- Флексер** Хаим Лейбович (псевд. Аким Львович Вольтинский) (1861, по др. данным 1863–1926), литературный и театральный критик, теоретик и историк искусства, философ – 355
- Флоренский** Павел Александрович (1882–1937), православный священник, философ, ученый, инженер – 222, 319, 320, 332, 334–336, 341, 352, 353, 364, 375–377, 399–404, 406–411, 420, 450, 509
- Фокин** Н. П., мастер игры и композиции на народных музыкальных инструментах – 495
- Фонвизин** Денис Иванович (1744/1745–1792), писатель – 49–51
- Фотий** (ок. 810/ок. 820–890-е гг.), патриарх Константинопольский (858–867, 877–886), низложен императором, умер в ссылке – 39, 366
- Фохт** (Фогт) Карл (1817–1895), немецкий философ и естествоиспытатель – 189, 509
- Франс** Анатолий (наст. имя и фам. Анатолий Франсуа Тибо) (1844–1924), французский писатель – 370
- Франциск Ассизский** (наст. имя и фам. Джованни Бернардоне) (1181/1182–1226), итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев – 62, 78, 539
- Фредерикс** Владимир Борисович (Адольф Антон Владимир) (1838–1927), министр Императорского двора и уделов (1897 – март 1917) – 80
- Фультон** (Фултон) Роберт (1765–1815), американский изобретатель – 523
- Фурье** Шарль (1772–1837), французский социальный мыслитель, приверженец идеи социалистического переустройства общества – 123
- Хемницер** Иван Иванович (1745–1784), поэт-баснописец – 513
- Хмара-Борщевская** О., родственница И. Ф. Анненского – 477, 485
- Ховин** Виктор Романович (1891 – после 1940), литературный критик, писатель, издатель – 532
- Ходзинский** А., автор сочинения о литературной деятельности и богословско-философском мировоззрении П. Д. Юркевича – 39
- Ходобай**, автор учебника иностранных языков – 502
- Хомяков** Алексей Степанович (1804–1860), философ, богослов, писатель, публицист, общественный деятель, один из основателей славянофильства – 45, 273, 330, 341, 351, 395, 398–409, 411, 437, 546
- Цветаев** Иван Владимирович (1847–1913), создатель и первый директор Музея изящных искусств в Москве – 382
- Цветков** Сергей Алексеевич (Александрович) (1888–1964), философ, публицист, друг Розанова, составитель его библиографии – 319, 332, 334, 509
- Цезарь** Гай Юлий (102/100–44 до н. э.), римский диктатор и полководец – 295, 491
- Цицишат** Луций Квинций (Цинциннат), римский патриций, консул (460 до н. э.) и диктатор (458 и 439 до н. э.), считался образцом верности и долга – 138
- Цыбульский** С., преподаватель гимназии в Царском Селе – 455, 456, 458

- Чаадаев* Петр Яковлевич (1794–1856), мыслитель и публицист – 33, 237, 366, 373, 534
- Чайковский* Петр Ильич (1840–1893), композитор – 266, 267
- Чеботаревская* Анастасия Николаевна (1876–1921), писательница, переводчица, жена Ф. К. Сологуба – 62, 125
- Челышев* Михаил Дмитриевич (1866–1915), городской голова (Самарская губерния), депутат III Государственной думы (октябрист) – 18
- Чернобурова* Е., няня князя Олега Константиновича – 56
- Чернышевский* Николай Гаврилович (1828–1889), писатель, публицист, критик, философ, общественный деятель – 51, 107, 108, 129, 130, 193, 205, 238, 241, 274, 330, 374, 397, 406, 435, 535
- Чертков* Владимир Григорьевич (1854–1936), общественный деятель, издатель, друг Л. Н. Толстого – 185
- Чехов* Антон Павлович (1860–1904), писатель – 44, 47, 119, 184, 207, 212
- Чехова* Мария Павловна (1863–1957), сестра А. П. Чехова, педагог – 207
- Чичерин* Борис Николаевич (1828–1904), юрист, историк, философ – 165
- Чуковский* Корней Иванович (наст. имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков) (1882–1969), писатель, литературовед, критик – 420
- Чупров* Александр Иванович (1842–1908), экономист, статистик, публицист – 362
- Чхеидзе* Николай Семенович (1864–1926), политический деятель, один из лидеров меньшевиков – 274–276, 280, 450, 521
- Шабанов* Василий (XVI в.), стремянный князь А. М. Курбского, умер от пыток – 76
- Шавельский* Георгий Иванович (1871–1951), протопресвитер армии и флота – 213
- Шарапов* Сергей Федорович (1855–1911), экономист, издатель – 413
- Шаскольский*, публицист – 62, 65, 66
- Шаховской* Николай Владимирович (1856–1906), в 1900–1902 председатель Главного управления по делам печати, автор книги «Гиляров-Платонов. Краткий публицистический очерк» – 411
- Шейн* Павел Васильевич (1826–1900), фольклорист и этнограф – 533
- Шекспир* Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт – 345
- Шелгунов* Николай Васильевич (1824–1891), публицист, критик, общественный деятель, мемуарист – 544
- Шеллинг* Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854), немецкий философ – 43, 408, 436
- Шервинский*, врач – 94
- Шестов* Лев (наст. имя и фам. Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938), философ и писатель – 359
- Шиллер* Иоганн Фридрих (1759–1805), немецкий поэт и теоретик искусства – 153, 387
- Шишков* Александр Семенович (1754–1841), государственный деятель, адмирал, писатель – 178, 179
- Шлегель* Август Вильгельм (1767–1845), немецкий историк литературы и переводчик – 105
- Шлегель* Фридрих (1772–1829), немецкий критик, филолог, философ, писатель – 105

- Шлиман* Генрих (1822–1890), немецкий археолог – 381, 382
- Шмидт* Анна Николаевна (1851–1905), журналистка из Нижнего Новгорода, автор религиозно-мистических сочинений, вела переписку с В. С. Соловьевым – 219–226, 278
- Шмидт* Петр Петрович (1867–1906), военный моряк, руководил Севастопольским восстанием 1905 г. – 118
- Шопенгауэр* Артур (1788–1860), немецкий философ – 130, 359, 363, 436
- Шпильгаген* Фридрих (1829–1911), немецкий писатель – 439
- Штёкер* Адольф (1835–1909), немецкий пастор и политический деятель – 374, 466
- Штирнер* Макс (наст. имя и фам. Каспар Шмидт) (1806–1856), немецкий философ, младогегельянец, автор книги «Единственный и его достояние» – 167
- Штраус* Давид Фридрих (1808–1874), немецкий теолог и философ – 17, 43, 238, 431
- Штурмер* Борис Владимирович (1848–1917), председатель Совета министров (с 20 января), одновременно министр внутренних дел и главнокомандующий отдельным корпусом жандармов (март – июнь 1916), министр иностранных дел (июль – ноябрь 1916), на заседании Думы был обвинен в германофильстве и уволен в отставку, скончался в заключении в Петропавловской крепости – 80
- Шульгин* Василий Витальевич (1878–1976), политический деятель, публицист, один из лидеров правого крыла II–IV Государственных дум – 514–516
- Щегловитов* Иван Григорьевич (1861–1918), министр юстиции (1906–1915) – 471
- Щеголёнок* Василий Петрович (1805/1806 – после 1886), сказитель, крестьянин Олонецкой губернии (Карелия) – 417
- Щедрин* (наст. фам. Салтыков) Михаил Евграфович (1826–1889), писатель-сатирик, публицист – 129, 535
- Щетилин* Алексей Григорьевич, руководитель секты «Старый Израиль» (в Петрограде) – 304, 315, 317
- Щусев* Алексей Викторович (1873–1949), архитектор – 463
- Эванс* Артур Джон (1851–1941), английский археолог, вел раскопки на острове Крит – 381
- Эдисон* Томас Алва (1847–1931), американский изобретатель и предприниматель – 79
- Экземплярский* В. И., редактор журнала «Христианская мысль» – 428
- Эккерман* Иоганн Петер (1792–1854), личный секретарь И. В. Гёте – 544
- Эккорт* (Экхарт) Иоганн (1260–1327), немецкий мистик, монах-доминиканец – 236
- Энгельгардт* Александр Николаевич (1832–1893), агроном, химик, публицист, автор книги «Из деревни» (выдержала 7 изд.) – 53
- Энгельс* Фридрих (1820–1895), немецкий мыслитель, соратник К. Маркса – 272
- Эрлих* Пауль (1854–1915), немецкий врач, бактериолог и биохимик, один

из основоположников иммунологии и химиотерапии – 246

Эри Владимир Францевич (1882–1917), философ, историк философии, публицист – 64, 222, 319, 330, 334, 341, 353, 376

Юнгеров Павел Александрович (1856–?), религиозный писатель – 38

Юркевич Памфил Данилович (1826/1827 – 1874), философ и богослов, профессор Киевской духовной академии, профессор Московского университета, а затем декан историко-филологического факультета университета, учитель В. С. Соловьева – 39

Юстиниан I (482 или 483–565), византийский император (с 527) – 486

Языков Николай Михайлович (1803–1846/1847), поэт, находился в родственных связях с Д. А. Валуевым и А. С. Хомяковым (женаты на сестрах матери Валуева) – 402

Яковенко Борис Валентинович (1884–1949), философ, историк философии, публицист – 435, 436

Ярослав Мудрый (ок. 978–1054), великий князь Киевский (с 1019) – 24, 50

Яценко Александр Семенович (1877–1934), профессор международного права, философии, библиограф – 174

Составитель *В. М. Персонов*

СОДЕРЖАНИЕ

В ЧАДУ ВОЙНЫ

Возрождение России	7
О нашем «христолюбивом воинстве»	9
О духе и смысле русской армии	12
С Рождеством Христовым	15
Голоса народные о водке, вине и пиве	18
«Христово Воскресение» в 1915 г.	21

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ 1916–1918 годов

1916 год

С Новым годом!	27
Старинка	30
Левитан и Гершензон	33
Богословие в 1915 г.	36
Струве о духовном сословии и духовной школе	40
«Старые Годы»	43
Призвание Руси	44
В. О. Ключевский о М. Горьком	46
Ключевский (К 75-летию со дня рождения В. О. Ключевского)	49
Юбиляр	52
Из истории воспитания и умственных занятий † князя Олега Константиновича	56
Новый ежемесячный журнал «Летопись»	61
О Боге (Из-за океана)	67
Г-н Игорь Грабарь и Третьяковская галерея	69
Об осторожности около победы... (По поводу Эрзерума)	70
Из старых портретов	72
Об Италии	77
Царь среди народных избранников	80

Что разумелось само собою...	82
«Природоведение» живое и убитое	90
Puer aeternus (Я)	92
Письмо в редакцию <Об ошибке в тексте Розанова>	99
Московские литературные и художественные кружки	100
К выходу сочинений Аполлона Григорьева	105
Мелкие счета в Гос. Думе	110
Из мира слепых	111
К кончине художника В. И. Сурикова	114
Анкета об евреях Л. Андреева, Ф. Сологуба и М. Горького	115
Новое общество «Искусство для всех»	125
Суворин и Катков	126
В Гос. Думе – о семье и разводе	131
Русские крестьяне на войне	133
Из подробностей о Некрасове	134
На лекции о «славянском классицизме»	140
К нейтрализации ядовитых газов на войне	141
Задумалась...	142
«Старые Годы» и «Русский Библиофил»	143
Почему появился «Арцыбашев»? (К вопросу о разводе)	153
Две величины, равные порознь третьей, равны между собою	155
К борьбе с удушливыми газами	157
«Не надо брака», «не надо плодородия», «не надо детей»	158
Беспризорные дети на говенье	160
С Светлым праздником!	161
М. М. Ковалевский	163
Оставьте наш суд в покое	168
Священник профессор Вл. Сахаров. Истинно христианская общественность	169
А. Яценко. Русская библиография по истории древней философии. – Э. Л. Радлов. Философский словарь	174
Откуда идет грубость суда над разводящимися?	175
К 10-летию Государственной Думы	177
Английская книга о России и ее иудейские критики	180
Еще одно бурление...	186
Николай Бердяев. Смысл творчества. Опыт оправдания человека	188
Бесчеловечная раса...	194
Кн. Е. Н. Трубецкой и его «Развенчание национализма»	196
Горе и дремота, дремота и горе...	197
«Бездымный порох» в нашем отечестве	200
Одна легенда о Минине и Пожарском	202
Законодательный нигилизм	203
«Обмызанная Русь» и ее блестящие литераторы	206
Письма А. П. Чехова	207

Духовенство на народной службе	212
«Экспериментальная педагогика» и ее «опыты над любовью»	215
Еще – памяти русского историка (О С. М. Соловьеве)	217
А. Н. Шмидт и ее религиозные переживания и идеи	219
Новая религиозно-философская концепция	228
«Безмездный труд» на казенной ниве... ..	237
Наши библиофилы	239
Как на самом деле люди «изменяют» друг другу? (К теории и практике развода)	241
Идея «мессианизма» (По поводу новой книги Н. А. Бердяева «Смысл творчества»)	245
П. Б. Струве о М. М. Ковалевском и г. Изгоев о г-не Пешехонове	248
Несколько добрых указаний	254
«Йоги» по губерниям и в Петрограде	257
О самостоятельности учебных округов	262
Еще об опытах «экспериментальной педагогики»	263
Русская старина	265
В июньской жаре	266
Из предвидений Достоевского о германизме и борьбе с ним	268
«Кто истинно счастливый человек» (Из тем Карамзина)	273
Моим строгим судьям... ..	289
О кавказских сектантах	290
Панихида по Иоанне Гусе в Москве	308
На трудовом посту (Памяти Богдана Вениаминовича Гея)	309
Два года	311
Из философии народной души (На возражение Н. А. Бердяева о «русском мессианизме»)	312
Труд г. Вл. Бонч-Бруевича о современных хлыстах	315
Около трудных религиозных тем	318
Князь Е. Н. Трубецкой и Д. Д. Муретов	322
Рассказ простой женщины	327
С. Д. Бондарь. Секта менонитов в России в связи с историей немецкой колонизации в России	330
Бердяев о молодом московском славянофильстве	331
О типах религиозной мысли в России	338
Есть ли «всеобщие и безусловные принципы нравственности»? (К полемике князя Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым)	342
Еще из оценок и предвидений Ф. М. Достоевского	345
Молодые московские славянофилы перед судом Н. А. Бердяева	350
Из последних страниц истории русской критики	354
Письмо в редакцию <Ответ Д. Заславскому>	357
Памяти Александра Карловича Закржевского	358
Повод	360
О С. Н. Булгакове	361

Еще о московских славянофилах	366
Религия и национализм	372
Из бесед на современные темы	377
В. С. Федина. А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике	379
В нашем милом обществе	381
Элеонора Диксон. Гюльхана. Сборник стихотворений	383
«Священный» оттенок в теперешней войне	385
Копьеносицы	388
Важные труды о Хомякове	398
П. А. Флоренский об А. С. Хомякове	403
К вопросу о «недвижимости» духовн. сословия	413
Огорчения дома и на войне	416
Цензура	418
На экзамене учениц школы г-жи Исаченко-Соколовой	421
Кривой глаз «Русского Знамени»	423
Новый духовный журнал и статья проф. Н. М. Боголюбова	426
Проф. Е. Кагаров. Основные идеи античной науки в их историческом развитии	431
Маленькие думки	433
Германская наука и русские ученые кафедры	435
И. Айвазов. Баптизм – орудие германизации России. – Его же. Христианщина. Материал для исследования русских мистических сект	438
Письмо в редакцию <О брошюре И. Г. Айвазова>	440
Философия погаснувшей свечи	440
С Рождеством Христовым	444
Размышления по поводу письма епископа Никона	445
К студентам	446
«Политическая» и «юридическая» ответственность высоких учреждений и лиц	447
Об античных монетах	450

ДОПОЛНЕНИЕ

Памяти Е. И. Апостолапуло	462
---------------------------------	-----

1917 год

К новолетию 1917 года	466
Из наблюдений «с места»	467
«О физических поводах к прекращению брачного союза». По поводу труда лейб-медика Л. Б. Бертенсона	470
Новые издания «Религиозно-философской библиотеки»	473
Переводчик и редактор (К изданию переводов И. Ф. Анненского)	474
«Незаконные сожительства»	478
25-летний юбилей газеты «Дальний Восток»	481

О двух новых поводах к разводу	481
Письмо в редакцию <Об И. Ф. Анненском>	484
Еще о «незаконных»	485
Послушаем голоса матерей...	487
Франция теперь, прежде и вечно	489
Об «усыновлениях» и «узаконениях»	493
Бенефис великорусского оркестра	495
В туманах будущего...	496
Перед положительными задачами истории	499
Пока кровь бежит горячо...	499
«Само»-определение	501
На улице	504
Символическая выставка Мих. Ив. Сапожникова	506
Памяти Владимира Францевича Эрна	507
О введении у нас гражданского брака	509
Письмо в редакцию. Об издании книги «Из восточных мотивов» ...	512
Надоевшие ноты	513
Великороссия и Украина на киевских съездах 25 марта – 8 апреля ...	514
О чем думает Николай II	517
Обман за спиною революции	520

1918 год

Рассыпавшиеся Чичиковы	525
С печальным праздником	526
Идиллия на вулкане	528
Из последних листьев	530
Запущенный сад	530
Солнце	532
Таинственные соотношения	533
Колесания мира	535
Из последних листьев	537
Космогоническое «разрыв-трава»	537
Тайна в музыке песнопений	538
«Есть» и «нет»	540
Наше словесное величие и деловая малость	543
<От лучинке к лучинке...>	548
Комментарии	550
Указатель имен	581

Научное издание

Василий
Васильевич
Розанов

Собрание сочинений

В ЧАДУ ВОЙНЫ

Статьи и очерки 1916–1918 гг.

Ведущий редактор *П. П. Апрышко*
Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*
Технический редактор *Т. А. Новикова*
Корректоры *Т. И. Андрианова, Т. Ю. Коновалова*

Подписано в печать 13.05.08.
Формат 60х84^{1/16}.
Бумага офсетная
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 40,0. Уч.-изд. л. 46,81.
Тираж 2000 экз. Заказ № 3238

Оригинал-макет
подготовлен в издательстве «Республика».
ГП Издательство «Республика».
Ул. Пилота Нестерова, 5/7, Москва. А-167,
ГСП-3 125167.

Издательство «Росток»
E-mail: rostok_publish@front.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: (812) 323-54-70

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПУБЛИКА»
И ИЗДАТЕЛЬСТВО «РОСТОК»**

**Выпускают
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В. В. РОЗАНОВА**

в 30 томах

**В 1994—2008 гг.
вышли следующие тома:**

- Т. 1 — Среди художников (1994)**
- Т. 2 — Мимолетное (1994)**
- Т. 3 — В темных религиозных лучах (1994)**
- Т. 4 — О писательстве и писателях (1995)**
- Т. 5 — Около церковных стен (1995)**
- Т. 6 — В мире неясного и нерешенного (1995)**
- Т. 7 — Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996)**
- Т. 8 — Когда начальство ушло... (1997, 2005)**
- Т. 9 — Сахарна (1998, 2001)**
- Т. 10 — Во дворе язычников (1999)**
- Т. 11 — Последние листья (2000)**
- Т. 12 — Апокалипсис нашего времени (2000)**
- Т. 13 — Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев (2001)**
- Т. 14 — Возрождающийся Египет (2002)**
- Т. 15 — Русская государственность и общество
(Статьи 1906–1907 гг.) (2003)**
- Т. 16 — Около народной души (Статьи 1906–1908 гг.) (2003)**
- Т. 17 — В нашей смуте (Статьи 1908 г.) (2004)**
- Т. 18 — Семейный вопрос в России (2004)**
- Т. 19 — Старая и молодая Россия (Статьи и очерки 1909 г.) (2004)**
- Т. 20 — Загадки русской провокации (Статьи и очерки 1910 г.) (2005)**
- Т. 21 — Террор против русского национализма (Статьи и очерки 1911 г.)
(2005)**

- Т. 22 — Признаки времени (Статьи и очерки 1912 г.) (2006)
Т. 23 — На фундаменте прошлого (Статьи и очерки 1913–1915 гг.) (2007)
Т. 24 — В чад войны (Статьи и очерки 1916–1918 гг.) (2008)
Т. 25 — Природа и история. – Статьи и очерки 1904–1905 гг. (2008)

Подготовлены к выпуску
следующие тома:

- Т. 26 — Религия и культура. – Статьи и очерки 1902–1903 гг.
Т. 27 — Юдаизм. – Статьи и очерки 1898–1901 гг. – Сумерки просвещения
Т. 28 — Эстетическое понимание истории (Статьи и очерки 1889–1897 гг.
Т. 29 — Литературные изгнанники. *Книга вторая*
Т. 30 — Листва. – Указатели к Собранию сочинений



ЗАДАВА
ЕСПУБЛ





ВЛАСТЬ
ЕСТУБА



